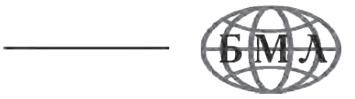
Аркадий АВЕРЧЕНКО

ЮМОРИСТИЧЕСКИЕ РАССКАЗЫ

Свыше пятисот иллюстраций
Н. В. Ремизова (Ре-Ми),
А. А. Радакова, Н. Э. Радлова,
Й. Венига

БИБЛИОТЕКА МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ



Аркадий Тимофеевич Аверченко
(1880–1925)

Аркадий Тимофеевич Аверченко

ЮМОРИСТИЧЕСКИЕ РАССКАЗЫ

творческое объединение
Алькор

Совместный проект издательства СЗКЭО
и переплётной компании
ООО «Творческое объединение „Алькор“»

Санкт-Петербург
СЗКЭО

ББК 84(2Рос-Рус)1
УДК 821.161.1
А19

Первые 100 пронумерованных экземпляров от общего
тиража данного издания переплетены мастерами
ручного переплета ООО «Творческое объединение „Алькор“».

Классический европейский переплет выполнен
из натуральной кожи особой выделки растительного дубления.
Инкрустация кожаной вставкой с полноцветной печатью.
Тиснение блинтовое, золотой и цветной фольгой.
6 бинтов на корешке ручной обработки.
Использовано шелковое ляссе, золоченый каптал из натуральной кожи,
форзац и нахзац выполнены из дизайнерской бумаги Malmero
с тиснением орнамента золотой фольгой. Обработка блока с трех
сторон методом механического торшенирования
с нанесением золотой матовой полиграфической фольги горячим способом.
Оформление обложки пронумерованных экземпляров
разработано в ООО «Творческое объединение „Алькор“»

Текст воспроизводится по изданиям
«Веселые устрицы», «Круги по воде», «Зайчики на стене»,
«Дюжина ножей в спину революции», «Что им нужно», «Шалуны и ротозеи»,
«Записки театральной крысы», «Теплая компания», публикациям журнала
«Сатирикон» и «Новый Сатирикон», 1908–1915 гг.

А19 **Аверченко А. Т.** Юмористические рассказы — СПб.: СЗКЭО, 2022. — 728 с., ил.

Издание включает семь сборников блестящего сатирика начала XX в. А. Т. Аверченко: «В свободной России», «Около искусства», «Круги по воде», «Зайчики на стене», «Дюжина ножей в спину революции», «Что им нужно», «Записки театральной крысы», отдельные рассказы и автобиографию писателя. Всего в книге более ста восьмидесяти его произведений. Иллюстрируют книгу рисунки сотрудников журналов «Сатирикон» и «Новый Сатирикон»: Ре-Ми (Н. В. Ремизова), А. А. Радакова, Н. Э Радлова, А. Е. Яковлева, а также чешского художника Й. Венига.

ISBN 978-5-9603-0660-7 (7БЦ)
ISBN 978-5-9603-0661-4 (Кожаный переплет)
© СЗКЭО, 2022

ЗАЙЧИКИ НА СТЕНЕ

Светлому моему другу —
Софье Наумовне.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Всякий раз, когда я просыпаюсь ясным солнечным утром — на стене и на потолке над моей кроватью весело дремлют желтые солнечные зайчики. Я долго, не отводя глаз, гляжу на них и чувствую широкую беспричинную радость, а мысль в это время работает и создает веселые замысловатые образы... Но иногда ветер хлопнет оконной рамой, зайчики тревожно и пугливо перепрыгнут на другое место, а я благодарно улыбнусь им и сейчас же весело спешу к письменному столу.

Так и написались «зайчики на стене».

——

Когда я выпустил свою предпоследнюю книгу, кое-кто задал мне вопрос:

— Не слишком ли много я пишу? Не много ли это — в один год три книги?

Я тогда промолчал, потому что знаю хороший тон, потому что знаю — не принято автору вступать в полемику со строгими угрюмыми критиками.

Теперь же, — возражая критикам в настоящем предисловии, я не рискую заслужить упрек в бестактности, потому что начинаю *первый*...

И вот мои возражения:

Если все мои книги и выпущены в текущем году, то писались они в течение трех лет.

А сроку их выхода я не придавал никакого значения...

Дело не в этом. Хорошие это книги — их прочтут; плохие — бросят.

Упрек в многописании — если в него вдуматься — упрек, не имеющий под собой никакой солидной почвы.

И вот почему: я пишу только в тех случаях, когда мне весело. Мне часто очень весело. Значит, я часто и пишу. Канарейка веселится и поет еще чаще, но никому не придет в голову заткнуть ей глотку; наоборот, всякий, кто слушает ее пение, не упустит случая похлопать ее поощрительно по плечу и сказать ласково:

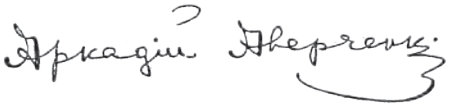
— Молодец, птичка божья. Старайся!

Прямая противоположность канарейке — дверные петли, которые, наоборот, поют очень скупо и редко; но даже и эта умеренность не спасает их от нареканий. Самые музыкальные натуры морщатся, хмурятся и ворчат:

— Неужели никакой черт не догадается их смазать, что ли, чтобы они не скрипели?!

Вот пример, который, по моему мнению, доказывает ясно и просто всю неосновательность упреков в многописании...

Все дело, таким образом, сводится только к чутью и искренности критического определения: — кто автор? Веселая ли певчая птица или — дверь, пение которой вызывает неутолимое желание заткнуть ей глотку.



ОТЕЦ

Стоит мне только вспомнить об отце, как он представляется мне взбирающимся по лестнице, с оживленным озабоченным лицом и размашистыми движениями, сопровождаемый несколькими дюжими носильщиками, обремененными тяжелой ношей.

Это странное представление рождается в мозгу, вероятно, потому, что чаще всего мне приходилось видеть отца взбирающимся по лестнице, в сопровождении кряхтящих и ругающихся носильщиков.

Мой отец был удивительным человеком. Все в нем было какое-то оригинальное, не такое, как у других... Он знал несколько языков, но это были странные, не нужные никому другому языки: румынский, турецкий, болгарский, татарский. Ни французского, ни немецкого он не знал. Имел он голос, но когда пел, ничего нельзя было разобрать — такой это был густой, низкий голос. Слышалось какое-то удивительное громыхание и рокот до того низкий, что казался он выходящим из-под его ног. Любил отец столярные работы, но тоже они были как-то ни к чему — делал он только деревянные пароходики. Возился над каждым пароходиком около года, делал его со всеми деталями, а когда кончал, то, удовлетворенный, говорил:

— Такую штуку можно продать не меньше чем за пятнадцать рублей!

— А материал стоил тридцать! — подхватывала мать.

— Молчи, Варя, — говорил отец. — Ты ничего не понимаешь...

— Конечно, — горько усмехаясь, возражала мать.— Ты много понимаешь...

Главным занятием отца была торговля. Но здесь он превосходил себя по странности и ненужности — с коммерческой точки зрения — тех операций, которые в магазине происходили.

Для отца не было лучшего удовольствия, как отпустить кому-нибудь товар в долг. Покупатель, задолжавший отцу, делался его лучшим другом... Отец зазывал его в лавку, поил чаем, играл с ним в шашки и бывал обижен на мать до глубины души, если она, узнав об этом, говорила:

— Лучше бы он деньги отдал, чем в шашки играть.

— Ты ничего не понимаешь, Варя, — деликатно возражал отец. — Он очень хороший человек. Две дочери в гимназии учатся. Сам на войне был. Ты бы послушала, как он о военных порядках рассказывает.

— Да нам-то что от этого! Мало ли кто был на войне — так всем и давать в долг?

— Ты ничего не понимаешь, Варя, — печально говорил отец и шел в сарай делать пароход.

Со мной у него были хорошие отношения, но характеры мы имели различные. Я не мог понять его увлечений, скептически относился к пароходам, и, когда он подарил мне один пароход, думая привести этим в восторг, я хладнокровно, со скучающим видом потрогал какую-то деревянную штучку на носу крошечного судна и отошел.

— Ты ничего не понимаешь, Васька, — сказал, сконфузившись, отец.

Я любил книжки, а он купил мне полдюжины каких-то голубей-трубачей. Почему я должен был восхищаться тем, что у них хвосты не плоские, а трубой, до сих пор считаю невыясненным. Мне приходилось вставать рано утром, давая этим голубям корм и воду, что вовсе не увлекало меня. Через три-четыре дня я привел в исполнение адский план — открыл дверцу голубиной будки, думая, что голуби сейчас же улетят. Но проклятые птицы вертели хвостами и мирно сидели на своем месте. Впрочем, открытая дверца принесла свою пользу: в ту же ночь кошка передушила всех трубачей, принеся мне облегчение, а отцу горе и тихие слезы.

Как все в отце было оригинально, так же была оригинальна и необычная его страсть — покупать редкие вещи. Требования, которые предъявлял он к этого рода операциям, были следующие: чтобы вещь приводила своим видом всех окружающих в удивление, чтобы она была монументальна и чтобы все думали, что вещь куплена за пятьсот рублей, когда за нее заплачено только тридцать.

* * *

Однажды на лестнице дома, где мы жили, послышалось топанье многочисленных ног, крики и кряхтенье. Мы выбежали на площадку лестницы и увидели отца, который вел за собою несколько носильщиков, обремененных большой, странного вида вещью.

— Что это такое? — с беспокойством спросила мать.

Лучезарное лицо отца сияло гордостью и скрытой радостью человека, замыслившего прехорошенький сюрприз.

— Увидите, — дрожа от нетерпения, говорил он. — Сейчас поставим его.

Когда «его» поставили, и носильщики, облагодетельствованные отцом, удалились, «он» оказался колоссальной величины умывальником с мраморной лопнувшей пополам доской и красным потрескавшимся деревом.

— Ну? — торжествующе обратился отец к окружающим. — Во сколько вы оцените эту штуку?

— Да для чего она? — спросила мать.

— Ты ничего не понимаешь, Варя. Алеша, скажи-ка ты — сколько, по-твоему, стоит сей умывальник?

Алеша — льстец, гиперболист и фальшивая низкопоклонная душонка — всплеснул измазанными чернилами руками и ненатурально воскликнул:

— Какая прелесть! Сколько стоит! Четыреста двадцать пять рублей!

— Ха-ха-ха! — торжествующе захохотал отец. — А ты, Варя, сколько скажешь?

Мать скептически покачала головой.

— Да что ж... рублей пятнадцать за него еще можно дать.

— Много ты понимаешь! Можете представить — весь этот мрамор, красное дерево и все — стоит по случаю всего двадцать пять рублей! Вот сейчас мы его попробуем! Марья! Воды.

В монументальный рукомойник налили ведро воды... Нажатая ногой педаль не вызвала из крана ни одной капли жидкости, но зато, когда мы посмотрели вниз, ноги наши были окружены целым озером воды.

— Течет! — сказал отец. — Надо позвать слесаря. Марья! Сбегай.

Слесарь повозился с полчаса над умывальником, взял за это шесть рублей и, уходя, украл из передней шапку.

Умывальник поселился у нас.

Когда отца не было дома, все с наслаждением умывалась из маленького стенного рукомойника, но если это происходило при отце, он кричал, ругался, заставлял всех умываться из его покупки и говорил:

— Вы ничего не понимаете!

У всех было основание избегать большого умывальника. У него был ехидный отвратительный нрав и непостоянство в симпатиях. Иногда он обнаруживал собачью привязанность к сестре Лизе и давался умываться из него нормальным, обычным способом. Или дружился с Алешей, был предупредителен к нему — покорный, как ребенок, лил прозрачную струю на черные Алешины руки и не позволял себе непристойных выходок.

Со всеми же другими поступал так: стоило только нажать на педаль, как из крана со свистом вылетала горизонтальная струя воды и попадала неосторожному человеку в живот или грудь; потом струя моментально опадала и, притаившись, ждала следующего нажатия педали. Человек нагибался и подставлял руки, надеясь поймать проклятую струю в том самом месте, куда она била.

Но струя не дремала.

Увидя склоненные плечи, она взлетала фонтаном вверх, обрушивалась вниз, обливала голову и затылок доверчивого человека, моментально пропадала и, нацелившись на ноги, орошала их так щедро, что человек, побежденный умывальником, с проклятием отскакивал в сторону и убегал.

Иногда же умывальник вертел струей, как змея головой, поворачивал ее, кривлялся, и тогда нужно было бегать вокруг этой монументальной дряни, чтобы поймать руками ускользающую увертливую струю. Потом уже мы придумали делать на нее форменную облаву: становились вокруг, протягивали десяток рук, и загнанная струя, как ни изворачивалась, а кому-нибудь попадала...

* * *

Однажды на лестнице раздался знакомый топот и кряхтенье... Это отец, предводительствуя армией носильщиков, вел новую покупку.

То была странная процессия.

Впереди три человека тащили громадный четырехугольник с отверстием посередине, за ними двое несли странный точеный стержень, а сзади замыкали шествие еще два человека с каким-то подобием громадного глобуса и стеклянным матовым полушарием, величиной с крышу небольшого сарайчика.

— Что это? — с тайным страхом спросила мать.

— Лампа, — весело отвечал отец.

— А я думала — тумба для афиш.

— Не правда ли, — подхватил отец, — прегромадная вещь. Я и торговался полчаса, пока мне не уступили.

Лампу установили рядом с умывальником. Она была ростом под потолок и вида самого странного, на редкость неудобного — тяжелая, некрасивая, похожая на какое-то чудовищное африканское растение.

— Ну, как думаешь, Алеша... Сколько она стоит?

— Три тысячи! — уверенно сказал Алеша.

— Ха-ха! А ты что скажешь, Варя?

Мать, севши в уголку, беззвучно плакала.

С отца весь восторг сразу слетел, и он, обескураженный, подошел к матери, нагнулся и нежно поцеловал ее в голову.

— Эх, Варя! Ты ничего не понимаешь!.. Васька! Сколько, по-твоему, должна стоить такая лампа?

— Семь тысяч, — сказал я, обойдя вокруг лампы. — По крайней мере, я дал бы за нее столько, лишь бы ее отсюда убрали.

— Много ты понимаешь! — растерялся отец.

Лампа оказалась из одного семейства с умывальником.

Керосин (четырнадцать фунтов), налитый в нее, потек, отравил воздух, а когда слесарь исправил ее (тот самый, который украл шапку), то лампа втянула в себя громадный черный фитиль и ни за что не хотела выпустить его. Вытащенный какими-то щипцами, фитиль загорелся, но так начадил, что соседи пришли спасать нас от пожара, предлагая бесплатные услуги по выносу вещей и тушению огня.

А громадная необъятная лампа горела маленьким микроскопическим огоньком, таким, какой теплится в лампадке у икон, тихо потрескивала и язвительно прищелкивала своим крохотным красным язычком.

Отец стоял перед ней в немом восторге.

* * *

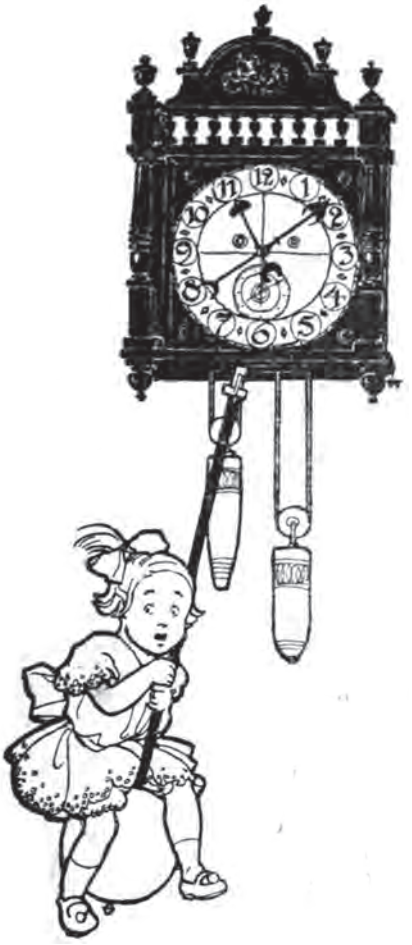
Однажды на лестнице послышался такой же шум, грохот и крики.

— Что еще? — выскочила мать.

— Часы, — счастливо смеясь, сообщил отец.

Это было самое поразительное, самое неслыханное из всего купленного отцом.

По громадному циферблату стремительно носились две стрелки, не считаясь ни с временем, ни с усилиями людей, которые вздумали бы удержать их от этого. Внизу грозно раскачивался колоссальный маятник, делая размах аршина четыре, а впереди



весь механизм хрипло и тяжело дышал, как загнанный носорог или полузадушенный подушкой человек...

Кто их сделал? Какому пьяному, ненормальному, воспаленному алкоголем мозгу явилась мысль соорудить этот безобразный неуклюжий аппарат, со всеми частями, болезненно, как в бреду, преувеличенными, с ходом без логики и с пьяным отвратительным дыханием внутри, дыханием их творца, который, может быть, околел уже где-нибудь под забором, истерзанный белой горячкой, изглоданный ревматизмом и подагрой.

Часы стали рядом с умывальником и лампой, перемигнулись и сразу поняли, как им вести себя в этом доме.

Маятник стремительно носился от стены к стене и все норовил сбить с ног нас, когда мы стремглав проскакивали у него сбоку... Механизм ворчал, кашлял и стонал, как умирающий, а стрелки резвились на циферблате, разбегаясь, сходясь и кружась в лихой вакхической пляске...

Отец вздумал подчинить нас времени, показываемому этими часами, но скоро убедился, что обедать придется ночью, спать в полдень и что нас через неделю исключат из училищ за появление на уроки в одиннадцать часов вечера.

Часы пригодились нам как спортивный, невиданный доселе нигде аппарат... Мы брали трехлетнюю сестренку Олю, усаживали ее на колоссальный маятник, и она, уцепившись судорожно за стержень, носилась, трепещущая, испуганная, из стороны в сторону, возбуждая веселье окружающей молодежи.

Мать назвала эту комнату «Проклятой комнатой».

Целый день оттуда доносился удушливый запах керосина, журчали ручейки воды, вытекавшей из умывальника на пол, а по ночам нас будили и пугали страшные стоны, которые испускали часы, перемежая иногда эти стоны хриплым зловещим хохотом и ржаньем.

Однажды, когда мы вернулись из школы и хлынули толпой в нашу любимую комнату повеселиться около часов, мы отступили, изумленные, испуганные: комната была пуста, и только три крашеных четырехугольника на полу показывали те места, где стояли отцовы покупки.

— Что ты с ними сделала? — спросили мы мать.

— Продала.

— Много дали? — спросил молчавший доселе отец.

— Три рубля. Только не они дали, а я... Чтобы их унесли. Никто не хотел связываться с ними даром...

Отец опустил голову, и по пустой комнате гулко прошелся его подавленный шепот:

— Много ты понимаешь!

Теперь он умер, мой отец.

ГОРОДОВОЙ САПОГОВ

Ялтинский городовой Сапогов получил от начальства почетное, полное доверия к уму и такту Сапогова поручение: обойти свой участок и проверить всех евреев — занимается ли каждый еврей тем ремеслом, которое им самим указано и которое давало такому еврею драгоценное, хрупкое право жить среди чудесной ялтинской природы...

Проверять хитрых семитов Сапогову было приказано таким образом: пусть каждый семит сделает тут же, при Сапогове, на его глазах, какую-либо вещь по своей ремесленной специальности и тем докажет, что бдительное начальство не введено им в заблуждение и недостойный обман.

— Ты только держи ухо востро, — предупредил Сапогова околоточный. — А то — так тебя вокруг пальца и обкрутят!

— Жиды-то? Меня-то? Да Господи ж.

И пошел Сапогов.

— Здравствуйте, — сказал Сапогов, входя к молодому Абраму Голдину. — Ты это самое, как говорится: ремесло свое... Сполняешь?

— А почему мне его не исполнять? — удивился Абрам Голдин. — Немножко кушаю себе хлеб с маслом. Знаете — фотография, конечно, такое дело: если его исполнять, то и можно кушать хлеб с маслом. Хе-хе! На здоровьичко...

— Та-ак, — нерешительно сказал Сапогов, переминаясь с ноги на ногу. — А ты вот что, брат... Ты докажи! Проверка вам от начальства вышла...

— Сделайте такое одолжение, — засуетился Абрам Голдин, — мы сейчас из вас сделаем такую фотографию, что вы сами в себя влюбитесь! Попрошу вас сесть... Вот так. Голову чуть-чуть на бок, глаза сделайте, прошу, немножко интеллигентнее... рот можно закрыть. Закройте рот! Не делайте так, будто у вас зубы болят. Нос, если вам безразлично, можно пока рукой не трогать. Потом, когда я кончу, можно его трогать, а пока держите руки на грудях. Прошу теперь не шевелиться: теперь у вас за-ме-чатель-но культурный вид! Снимаю!! Готово. Спасибо! Теперь можете делать со своим носом, что вам угодно.

Сапогов встал, с наслаждением расправил могучие члены и с интересом потянулся к аппарату.

— А ну — вынимай!

— Что... вынимать?..

— Что там у тебя вышло? Покажь!

— Видите ли... Сейчас же нельзя! Сейчас еще ничего нет. Мне еще нужно пойти в темную комнату проявить негатив.

Сапогов погрозил Голдину пальцем и усмехнулся.

— Хе-хе! Стара штука!.. Нет, брат, ты мне покажи сейчас... А этак всякий может.

— Что это вы говорите?! — встревоженно закричал фотограф. — Как же я вам покажу, когда оно не проявлено! Нужно в темную комнату, которая с красным светом, нужно...

— Да, да... — кивал головой Сапогов, иронически поглядывая на Голдина. — Красный свет, конечно... темная комната... Ну, до чего же вы хитрые, жидова! Учитесь вы этому где, что ли. Или так, — сами по себе? Дай мне, говорит, темную комнату. Ха-ха! Не-ет... Вынимай сейчас!

— Ну, я выну — так пластинка будет совершенно белая!.. И она сейчас же на свету пропадет!..

Сапогов пришел в восторг.

— И откуда у вас что берется?! И чтой-то за ловкий народ! Темная, говорит, комната... Да-а. Ха-ха! Мало, чего ты там сделаешь в этой комнате... Знаем-с. Вынимай!

— Хорошо, — вздохнул Голдин и вынул из аппарата белую пластинку. — Смотрите! Вот она.

Сапогов взял пластинку, посмотрел на нее — и в его груди зажглась страшная, тяжелая, горькая обида.

— Та-ак... Это, значит, я такой и есть? Хороший ты фотограф. Понимаем-с!

— Что вы понимаете?! — испугался Голдин.

Городовой сумрачно посмотрел на Голдина...

— А то. Лукавый ты есть человек. Завтра на выезд получишь. В 24 часа.

Сапогов стоял в литографской мастерской Давида Шепшелевича, и глаза его подозрительно бегали по странным доскам и камням, в беспорядке наваленным во всех углах.

— Бонжур, — вежливо поздоровался Шепшелевич. — Как ваше здоровьице?

— Да так. Ты ремесленник будешь? А какой ты ремесленник?

— Литографический. Ярлыки разные делаю, пригласительные билеты... Визитные карточки делаю.

— Вот ты мне это самое и покажи! — сказал, подмигивая, Сапогов.

— Сколько угодно! Мы сейчас, ваше благородие, вашу карточку тиснем. Как ваше уважаемое имя? Сапогов? Павел Максимович? Одна минутка! Мы прямо на камне и напишем!

— Ты куда? — забеспокоился Сапогов. — Ты при мне, брат, пиши!

— Да при вас же! Вот на этом камне!

Он наклонился над камнем, а Сапогов смотрел через его плечо.

— Ты чего же пишешь? Разве так?

— Это ничего, — сказал Шепшелевич. — Я на камне пишу сзаду наперед, а на карточке оттиск выйдет правильный.

Сапогов засопел и опустил руку на плечо литографа.

— Нет, так не надо. Я не хочу. Ты брат, без жульничества. Пиши по-русски!

— Так оно и есть по-русски! Только это ж нужно, чтобы задом наперед.

Сапогов расхохотался.

— Нужно, да? Нет, брат, не нужно. Пиши правильно! Слева направо!

— Господи! Что вы такое говорите! Да тогда обратный оттиск не получится!

— Пиши, как надо! — сурово сказал Сапогов. — Нечего дурака валять.

Литограф пожал плечами и наклонился над камнем.

Через десять минут Сапогов сосредоточенно вертел в руках визитную карточку и, нахмурив брови, читал:

— Вогопас Чивомискам Левап.

На сердце у него было тяжело...

— Так... Это я и есть такой? Вогопас Чивомискам Левап. Понимаем-с. Насмешки строить над начальством — на это вы горазды! Понимаем-с!! Хороший ремесленник! Отметим-с! Завтра в 24.

Когда он уходил, его добродушное лицо осунулось. Горечь незаслуженной обиды запечатлелась на нем.

— Вогопас, — думал, тяжело вздыхая, городовой. — Чивомискам!

Старый Лейба Буцкус, сидя в углу сквера, зарабатывал себе средства к жизни тем, что эксплуатировал удивительное изобретение, вызывавшее восторг всех окрестных мальчишек... Это был диковинный аппарат с двумя отверстиями, в одно из которых бросалась монета в пять копеек, а из другого выпадал кусок шоколада в пестрой обертке. Многие мальчишки знали, что такой же шоколад можно было купить в любой лавчонке, без всякого аппарата, но аппарат именно и привлекал их пытливые молодые умы... Сапогов подошел к старому Лейбе и лаконически спросил:

— Эй, ты! Ремесленник... Ты чего делаешь?

Старик поднял на городового красные глаза и хладнокровно отвечал.

— Шоколад делаю.

— Как же ты его делаешь? — недоверчиво покосился Сапогов на странный аппарат.

— Что значит — как? Да так. Сюда пятак бросить, а отсюда шоколад вылезет.

— Да ты врешь, — сказал Сапогов. — Не может этого быть!

— Почему не может? Может. Сейчас вы увидите.

Старик достал из кармана пятак и опустил в отверстие. Когда из другого отверстия выскочил кусок шоколада, Сапогов перегнулся от смеха и, восхищенный, воскликнул:

— Да как же это? Ах ты, Го-осподи. Ай-да, старикан! Как же оно так случается?

Его изумленный взор был прикован к аппарату.

— Машина, — пожал плечами апатичный старик. — Разве вы не видите?

— Машина-то — машина, — возразил Сапогов. — Да как оно так выходит? Ведь пятак то медный, твердый, а шоколад сладкий, мягкий... как же оно так из твердого пятака может такая скусная вещь выйти?

Старик внимательно посмотрел своими красными глазами на Сапогова и медленно опустил веки.

— Электричество и кислота. Кислота размягчает, электричество перерабатывает, а пружина выбрасывает.

— Ну-ну, — покрутил головой Сапогов.— Выдумают тоже люди. Ты работай старик. Это здорово.

— Да я и работаю! — сказал старик.

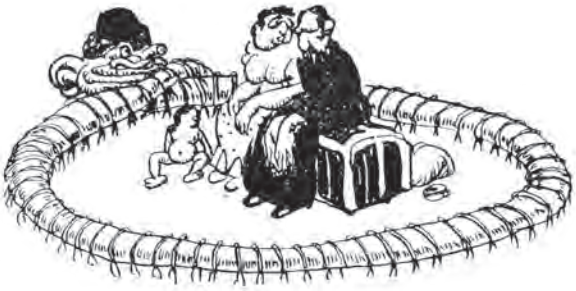
— И работай. Это, братец, штука! Не всякому дано! Прощевайте!

И то, что сделал немедленно после этого слова Сапогов, могло быть объяснено только изумлением его и преклонением перед тайнами природы и глубиной человеческой мысли: он дружеским жестом протянул старому шоколадному фабриканту руку.

На другой день Шешпелевич и Голдин со своими домочадцами — уезжали на первом отходящем из Ялты пароходе.

Сапогов по обязанностям службы пришел проводить их.

— Я на вас сердца не имею, — добродушно кивая им головой, сказал он. — Есть жид правильный, который без обману, и есть другой сорт — жульнический. Ежели ты, действительно, работаешь: шоколадом или чем там — я тебя не трону! Нет. Но ежели — Вогопас Чивомискам Левап — это зачем же?



ГРАФ КАЛИОСТРО

I

У кого из нас не сжималось сердце и не хмурились страдальчески брови при чтении в газетах краткого, но выразительного сообщения:

— «Дикая расправа. Вчера обыватель города Мымры избил палкой газетного корреспондента».

Кто из нас не качал печально головой и не говорил со стоном отчаяния:

— Какая темнота! Боже, какая косность!

И рисовался нам облик затравленного, замученного носителя и проводника света и культуры, откуда-то глядели страдающие недоуменные глаза газетного корреспондента с застывшим в них вопросом:

— За что?

— За что? Теперь я знаю, за что.

——

С самых ранних лет меня до глубины души волновала и возмущала человеческая несправедливость. И до глубокой старости я буду негодовать на человеческую односторонность и близорукость в тонких деликатных вопросах.

Таким тонким деликатным вопросом я считаю многовековую исконную вражду между провинциальным журналистом и провинциальным обывателем, и меня всегда удивляло, что никто до сих пор не мог разобраться как следует в вышеупомянутом деликатном вопросе.

Все, как будто сговорившись, согласным хором восклицали по прочтении телеграммы об избиении обывателем провинциального журналиста:

— Какая ужасающая тьма! Что за дикари!

И, конечно, всю вину обрушивали на обывателя.

Вероятно, многим известно, что у обывателя часто бывает совершенно противоположное отношение к провинциальному журналисту. Обыватель патриотичен, он гордится своим городом, своей газетой, своим журналистом, и нередко с его уст срываются такие одобрительные слова:

— Читали вы сегодня в «Мымринском Курьере» статью графа Калиостро (провинциальные журналисты избирают себе самые звучные, красивые псевдонимы)? Читали? Ах, шельма! Ах, собака! Попадись такому на язычок... Как это он ловко отбрил сегодня помощника заведующего городскими скотобойнями... А вчера — тоже: «известно ли», говорит, «кому это надлежит ведать, что ямы, выкопанные для посадки деревьев, залило водой и затянуло грязью?» Очевидно, говорит, «городские деньги идут не на благоустройство города, а для наполнения ям зловонной водой?» Так и колет! Так и брызжет ядом! И откуда что берется?!

Обыватель гордится своим фельетонистом, восхищается им.

Когда граф Калиостро, с гордым, независимым видом, шагает по городскому саду, обыватели почтительно уступают ему, как существу высшему, дорогу, а сзади слышится тихий заглушённый шепот:

— Смотрите, смотрите!.. Это граф Калиостро! Который вчера порядки в городской библиотеке похваливал.

— Ах, какой интересный!

И шагает, шагает граф Калиостро, с загадочной улыбкой на лице, таинственный в своем могуществе, до краев наполненный неограниченными возможностями прохватить, разнести и продернуть всех, кто является врагом культуры и общественности.

Ни у кого тогда ни на минуту не появляется мысль поколотить графа Калиостро или причинить ему какую-либо другую неприятность — он, как коронованная особа среди своих почтительных подданных, в полной безопасности...

И долго работает он так, окруженный всеобщим уважением и тихим удивлением, бичуя пороки и неправду. И кажется, что Россия благоденствует под мирным тактичным управлением знатных титулованных иностранцев: в городе Мымрах борется с городскими скотобойнями граф Калиостро, в Звенигороде бичует думские

порядки суровый непреклонный князь Серебряный, а Елабугу защищает от натиска тьмы и спячки Железная Маска или какой-нибудь Марк Аврелий, или граф Монте-Кристо...

Так борется и работает эта титулованная нация.

И вдруг — среди безоблачного неба появляется странное, неожиданное, страшное сообщение:

— «Мымры. Обыватель Коренастов поколотил палкой журналиста Балкашкина, пишущего под псевдонимом — граф Калиостро».

Это является каким-то зловещим сигналом.

Подданные восстают на своих королей, и звенигородский обыватель начинает очертя голову колотить своего князя Серебряного, в чем от него не отстает елабужец, неожиданно набрасывающийся без всякого милосердия на Железную Маску, Марка Аврелия или даже на самого сурового, загадочного Монте-Кристо.

И рисуется перед глазами облик свергнутого с пьедестала, затравленного поборника светлых идеалов и носителя культуры, и откуда-то издалека звучит страдальческий недоуменный вопрос Марка Аврелия:

— За что?

Пожалуй, ответить на этот вопрос будет не так трудно.

II

Разворачивая местную газету, обыватель Коренастов всегда полон истерического любопытства: что-то сегодня она принесет ему интересного?

Просмотрев одним глазом телеграммы, набрасывается на фельетон и с замирающим сердцем читает:

«В страшное время мы живем!

В человеке глохнет все хорошее, светлое.

Мы возвращаемся к первобытным временам:

— Зверства и жестокости!

Вчера мы были свидетелями следующего факта: измученная лошадь тащила под гору тяжелый воз, а ломовик осыпал ее ударами, кричал, ругался и всячески оскорблял беззащитное животное, не могущее ответить ему теми же словами.

Что же делает наше общество покровительства животных?

Оно спит?

— Покойной ночи, господа!

Если вам нужны подушки — не возьмете ли вы их у гласных нашей городской думы? Ха-ха! Да... Глубокую истину высказал великий Островский:

— „Жестокие, сударь, у нас нравы“».

Фельетон производит на Коренастова ошеломляющее впечатление.

— Ловко, шельма! Как это он здорово ввернул Островского.

Бедный Коренастов не знает, что ни одно произведение графа Калиостро не обходится без трех цитат:

1) Жестокие, сударь, у нас нравы.

2) Всякое бывало, как говорит Бен-Акиба.

3) Поживем — увидим.

Первая принадлежит Островскому, вторая — Гучкову, а третья — неизвестно кому. Вероятно, Марку Аврелию или Железной Маске...

Коренастов доволен, Коренастов кивает головой и переходит к хронике.

Хроника такая:

— «Вчера закончено рытье ям для посадки деревьев на Павловской улице. Можно сказать меткими словами великого русского поэта Никитина:

...Вырыта заступом яма глубокая...

— В последние дни наступили неожиданные холода с ветром и дождями. „Холодно, холодно, холодно", — как говорили три сестры в пьесе Чехова того же названия».

Нравится Коренастову и хроника. Написана она бойко, живо, с цитатами и ссылками на популярных авторов. Видно, что писал интеллигентный человек.

Прочитывает Коренастов и театральную рецензию.

— «Шедшая вчера пьеса популярного сатирика Гоголя „Ревизор" была разыграна очень недурно, с ансамблем. Все исполнители были на своих местах. Не удовлетворила нас только Макбетова. Петров провел свою роль с огоньком. Побольше бы таких хороших пьес! Публики было немного. Скоро антреприза заканчивает сезон и уезжает. „Негр сделал свое дело, негр может уходить"»...

Коренастов в восхищении.

III

На другое утро Коренастов снова разворачивает газету. Читает фельетон:

— «Городская дума до сих пор ничего не сделала с приказчичьим отдыхом.

Почему?

Она спит? Не нужна ли ей подушка? Пусть она возьмет ее в обществе покровительства животных!

А приказчики пока что — работают, как лошади...

Да... Жестокие, сударь, у нас нравы!

Мы не будем удивлены, если этот вопрос пролежит под сукном еще десять лет.

— Всякое бывало! — как говорил мудрец Бен-Акиба в „Уриель-Акосте" популярного Гуцкова.

Поживем — увидим».

Коренастов молчит. Не выводит его из молчания и задумчивости даже хроника:

— «Вчера закрылись за прекращением эпидемии холерные бараки. „Негр сделал свое дело, негр может уходить"».

Безмолвно прочитывает Коренастов театральную рецензию:

— «Шедшая вчера пьеса популярного автора Шекспира „Гамлет" была разыграна очень недурно, с ансамблем. Все исполнители были на своих местах. Не удовлетворила нас только Макбетова. С большим огоньком провел свою роль тени отца Гамлета Петров. Почаще бы ставить такие чудные пьесы! Публики было мало. „Мало слов, а горя реченька", — как говорил популярный певец гражданской скорби Н. А. Некрасов». Молчит Коренастов.

IV

Снова и снова разворачивает по утрам Коренастов «Мымринский Курьер». Снова и снова читает он графа Калиостро. И снова бичует неугомонный граф лавочников, которые нагружают мальчишек тяжелыми кульками.

Снова подкрепляет он это обвинение цитатой:

— Жестокие, сударь, у нас нравы. Впрочем, поживем — увидим.

Хроника по-прежнему пишется бойко, интеллигентно:

«Вчера отбыл с курьерским поездом в Москву податной инспектор Косолапов. „В Москву, в Москву“, — как говорили три сестры Чехова в пьесе того же названия».

И снова, как и прежде, несчастная Макбетова не может удовлетворить капризного графа Калиостро, хотя она и пытается играть Лизу в нашумевшей в свое время пьесе драматурга Грибоедова, так трагически, безвременно погибшего под ножами убийц (жестокие, сударь, и т. д.).

Коренастов дочитывает газету, и брови его сжаты, и на лице написана мрачная решимость, страдание и боль, а плечи нервно подергиваются.

Молча встает он, приглаживает волосы и, глядя куда-то в угол, сдержанно говорит жене:

— Жена! Дай мне сюртук. Вернусь через час.

Отыскивает палку, шляпу и уходит.

Через час возвращается, ставит палку в угол и, не промолвив ни слова, ложится в постель.

Спит тревожно.

А на другой день, как удар грома, появляется в газете неожиданное бессмысленное, дикое сообщение:

— «Обыватель Коренастов избил палкой нашего сотрудника графа Калиостро (А. М. Балкашкина). Жестокие, сударь ты мой, у нас нравы!»

И поднимается сразу целый лес всплескивающих рук:

— Боже! Где мы живем? Среди дикарей? Какая косность... какое мракобесие...

До глубокой старости буду я негодовать на человеческую односторонность и близорукость в тонких, деликатных вопросах.

ЯД

(ИРИНА СЕРГЕЕВНА РЯЗАНЦЕВА)

Я сидел в уборной своей знакомой Рязанцевой и внимательно смотрел, как она гримировалась. Ее белые, гибкие руки быстро хватали какие-то неизвестные мне щеточки, лапки, карандаши, прикасались ими к черным прищуренным глазам, от лица порхали к прическе, поправляли какую-то ленточку на груди, серьгу в ухе, и мне казалось, что эти руки преданы самому странному и удивительному проклятию: всегда быть в движении.

— Милые руки, — с умилением подумал я. — Милые, дорогие мне глаза...

И неожиданно я сказал вслух:

— Ирина Сергеевна! А, ведь, я вас люблю.

Она издала слабый крик, всплеснула руками, обернулась ко мне, и через секунду я держал ее в своих крепких объятиях.

— Наконец-то! — сказала она, слабо смеясь. —Ведь, измучилась вся, ожидая этих слов. Зачем ты меня мучил?

— Молчи, —сказал я.

Усадил ее на колени и нежно шепнул ей на ухо:

— Ты мне сейчас напомнила, дорогая, ту нежную, хрупкую девушку из пьесы Горданова «Хризантемы», которая — помнишь — тоже так, со слабым сорвавшимся криком: «наконец-то!» бросается в объятия помещика Лаэртова. Ты такая же нежная, хрупкая и так же крикнула своим милым, сорвавшимся голоском... О, как я люблю тебя!

На другой день Ирина переехала ко мне, и мы, презирая светскую условность, стали жить вместе.

* * *

Жизнь наша была красива и безоблачна.

Случались небольшие ссоры, но они возникали по пустяковым поводам и скоро гасли, за отсутствием горючего материала.

Первая ссора произошла из-за того, что однажды, когда я целовал Ирину, мое внимание привлекло то обстоятельство, что Ирина смотрела в это время в зеркало.

Я отодвинул ее от себя и, обижаясь, спросил:

— Зачем ты смотрела в зеркало? Разве в такую минуту об этом думают?

— Видишь ли, — сконфуженно объяснила она, — ты немного неудачно обнял меня... Ты сейчас обвил руками не талию, а шею. А мужчина должен обнимать за талию.

— Как... должен? — изумился я. — Разве есть где-нибудь такое узаконенное правило, чтобы женщин обнимать только за талию? Странно! Если бы

мне подвернулась талия — я бы обнял талию, а раз подвернулась шея — согласись сама...

— Да, такого правила, конечно, нет... но как-то странно, когда мужчина обвивает женскую шею.

Я обиделся и не разговаривал с Ириной часа два.

Она первая пошла на примирение.

Подошла ко мне, обвила своими прекрасными руками мою шею (мужская шея — узаконенный способ!) и сказала, целуя меня в усы:

— Не дуйся, глупый. Я хочу сделать из тебя интересного умного человека... И потом (она застенчиво поежилась) я хотела бы, чтобы ты, под моим благотворным влиянием, завоевал бы себе самое высокое положение на поприще славы! Я хотела бы быть твоей вдохновительницей, больше того —хотела бы сама завоевать для тебя славу.

Она скоро ушла в театр, а я призадумался: каким образом она могла бы завоевать для меня славу?.. Разве что, сама бы, вместо меня, писала рассказы, при условии, чтобы они у нее выходили лучше, чем у меня? Или: что она понимала под словом «вдохновительница?» Должен ли я был всех героев своих произведений списывать с нее, или она должна была бы изредка спросить меня: «Владимир! Напиши-ка рассказ о собаке, которая укусила за ногу нашу кухарку. Володичка! Не хочешь ли взять темой нашего комика, который совсем спился, и антрепренер его прогоняет».

И вдруг я неожиданно вспомнил. Недавно мне случилось видеть в театре пьесу «Без просвета», где героиня целует героя в усы и вдохновенно говорит: «Я хочу, чтобы ты, под моим влиянием, завоевал себе самое высокое положение на поприще славы! Я хочу быть твоей вдохновительницей!»

— Странно, — сказал я сам себе.

А во рту у меня было такое ощущение, будто я раскусил пустой орех.

С этих пор я стал наблюдать Ирину... И чем больше наблюдал, тем больший ужас меня охватывал.

Ирины около меня не было... Изредка я видел страдающую Верочку из пьесы Лимонова «Туманные дали», изредка около меня болезненно, с безумным надрывом, веселился трагический тип решившей отравиться куртизанки из драмы «Лучше поздно, чем никогда»... А Ирину я и не чувствовал.

Дарил я браслет Ирине, а меня за него ласкала гранд-кокет, обвивавшая мою шею узаконенным гранд-кокетским способом... Возвращаясь поздно домой, я, полный раскаяния за опоздание, думал встретить плачущую, обиженную моим равнодушием Ирину, но в спальне находил, к своему изумлению, какую-то трагическую героиню, которая, заломив руки изящным движением (зеркало-то— ха-ха! — висело напротив), говорила тихо, дрожащим предсмертным голосом:

— Я тебя не обвиняю... Никогда я не связывала, не насиловала свободы любимого мною человека... Но я вижу далеко, далеко... (она устремляла отуманенный взор в зеркало и вдруг неожиданным, громким шепотом заявила): Нет! Ближе... Совсем близко я вижу выход; сладкую, рвущую все цепи, благодетельницу смерть...

— Замолчи, — нервно говорил я. — Кашалотов, «Погребенные заживо», второй акт, сцена Базаровского с Ольгой Павловной. Верно? Еще ты играла Ольгу Павловну, а Рафаэлов —Базаровского... Верно?

Она болезненно улыбалась.

— Ты... хочешь меня обидеть? Хорошо! Мучай меня, унижай сейчас, но об одном только молю тебя: когда я уйду с тем, кто позовет меня по-настоящему — сохрани обо мне светлую, весеннюю память!

— Не «светлую», — хладнокровно поправлял я, стаскивая с ноги ботинок и расстегивая жилет, — а «лучезарную». Неужели ты забыла четвертый акт «Птиц небесных», 7-е явление?

Она, молча, широко открытыми глазами смотрела на меня, что-то шептала страдальческими губами и, неожиданно, со стоном, обрушиваясь в постель, закрывала подушкою голову.

А из-под подушки виднелся блестящий, красивый глаз, и он был обращен к зеркалу, а рука инстинктивно обдергивала конец одеяла.

Однажды, когда я после какой-то размолвки, напившись утреннего чаю, встал и взялся за пальто, предполагая прогуляться, она обратила на меня глаза, полные слез, и сказала только одно тихое слово:

— Уходишь?

Сердце мое сжалось, и я хотел вернуться, чтобы упасть к ее ногам и помириться (все-таки я любил ее), но тотчас же я спохватился и выругал себя беспамятным идиотом и разиней.

— Слушай, — сказал я, укоризненно глядя на нее. — Прекратится ли когда-нибудь это безобразие?.. Вот ты сказала одно слово — всего лишь одно маленькое словечко и это не твое слово, не ты его говоришь!..

— А кто же его... говорит? — испуганно прошептала она, инстинктивно оглядываясь.

— Это слово говорит графиня Добровольская («Гнилой век», пьеса Абрашкина из великосветской жизни в 4-х актах, между вторым и третьим актом проходит полтора года). Та самая Добровольская, которую бросает негодяй князь Обдорский и которая бросает ему вслед одно только щемящее слово: «уходишь?» Вот кто это говорит!

— Неужели? — прошептала сбитая с толку Ирина, смотря на меня во все глаза.

— Да, конечно же! Ты же сама еще и играешь графиню. Ну, милая! Ну, не сердись... Будем говорить откровенно... На сцене — пойми ты это — такая штука, может быть, и хороша, но зачем же такие штуки в нашей жизни?.. Милая! Будем лучше сами собой. Ведь я люблю тебя! Но я хочу любить Ирину, а не какую-то выдуманную Абрашкиным графиню или слезливую Верочку — плод досугов какого-то Лимонова... Я говорю серьезно, будем сами собой!

На глазах ее стояли слезы. Она бросилась мне на шею и плача, крикнула:

— Я люблю тебя! Ты опять вернулся!

Так как она, в неожиданном порыве, обняла меня под мышками (способ не принятый!), я многое простил ей за это. Даже подозрительные слова: «ты опять вернулся» — пропустил я мимо ушей.

——

Когда примирение состоялось, я с облегченным сердцем уехал по делам и вернулся только к обеду.

Ирина была неузнаваема. Театральность ее пропала. Заслышав мои шаги в передней, она с пронзительным криком: «Володька пришел», выскочила ко мне, упала пе-

редо мной на колени, расхохоталась, а когда я, смеясь, нагнулся, чтобы поднять ее — она поцеловала меня в темя и дернула за ухо (способы ласки — диковинные и на сцене мною не замеченные).

А когда я за обедом спросил ее, не сердится ли она на меня за утренний разговор, она бросила в меня салфеткой, сделала мне своими очаровательными руками пребольшой нос и, подмигнув, сказала: «Молчи, старый, толстый дурачок».

Хотя я не был ни старым, ни толстым, но мне это нравилось больше прежних: «о, свет моей жизни! О, солнце, освещающее мой путь!»

Вечером она уехала в театр, а я сел за рассказ.

Не писалось. Тянуло к ней, к этому большому, изломанному, но хорошему в некоторых порывах ребенку.

Я оделся и поехал в театр. Шла новая комедия, которой я еще не видел. Называлась она «Воробушек».

Когда я сел в кресло, шел уже второй акт. На сцене сидела Ирина и что-то шила, а когда зазвенел за кулисами звонок и вошел толстый красивый блондин, она вскочила, засмеялась, шаловливым движением бросилась перед ним на колени, потом поцеловала его в темя, дернула за ухо и радостно приветствовала:

— Здравствуй, старый толстый дурачок!

Зрители смеялись. Все смеялись, кроме меня.

——

Теперь я счастливый человек.

Недавно, сидя в столовой, я услышал из кухни голос Ирины. Она с кем-то разговаривала... Сначала я лениво прислушался, потом прислушался внимательно, потом встал и прильнул к полуоткрытой двери.

И по щекам моим текли слезы, а на лице было написано блаженство, потому что я видел ее, настоящую Ирину, потому что я слышал голос подлинной, без надоевших театральных вывертов и штучек, Ирины.

Она говорила кому-то, очевидно, прачке:

— Это, по-вашему, панталоны? Дрянь это, а не панталоны! Разве так стирают? А чулки? Откуда взялись, я вас спрашиваю, дырки на пятках? Что? Не умеете, — не беритесь стирать. Я за кружево на сорочках платила по рубль двадцать за аршин, а вы мне ее попортили!

Я слушал эти слова, и они казались мне какой-то райской музыкой...

— Ирина! — шептал я. — Настоящая Ирина.

А, впрочем... Господа! Кто из вас хорошо знает драматическую литературу? Нет ли в какой-нибудь пьесе разговора барыни с прачкой?..

НЕЗАМЕТНЫЙ ПОДВИГ

I

Я приближался к городу Калиткину — цели моего путешествия. И по мере моего приближения — я начинал интересоваться им, городом Калиткиным.

За шесть станций до Калиткина я спросил одного из соседей по вагону:

— Вы знаете город Калиткин? Что в нем находится замечательного? Есть ли там какие-либо памятники, музеи, красивые виды?

— Доподлинно вам не могу сказать, — поразмыслив немного, отвечал сосед. — Кажется, что там нет ни музеев, ни памятников. Знаю только одно, — что там живет знаменитый гражданин.

— Какой гражданин?

— Доподлинно вам не могу сказать. Ни имени его не упомнил, ни причины его известности... Знаю только, что очень знаменитый.

За три станции до Калиткина я, заинтересованный, обратился к другому соседу:

— Вы не знаете, что это за знаменитый гражданин, живущий в Калиткине?

— Знаю. Феоктист Иваныч Барабанов.

— Да?! А чем же он, извините меня за беспокойство, знаменит?

— Точно не могу вам сказать. Знаю только, что он, Барабанов, человек чрезвычайно знаменитый. Даже за пределами Калиткина!

За одну станцию до Калиткина я пристал с расспросами к третьему пассажиру.

— Кто такой Барабанов?

— Феоктист Иваныч? Он же спас Россию.

— Неслыханно! Как же это он сделал?!

— Доподлинно я этого не знаю. Известно только, что...

Поезд споткнулся и остановился. Это был город Калиткин — местопребывание загадочного знаменитого гражданина Барабанова, спасшего Россию.

Я выскочил из вагона, сел на извозчика и поехал в гостиницу, самую лучшую в городе. Она же была и средняя гостиница и самая худшая в городе, потому что была она единственная во всем Калиткине.

Умывшись в номере, я позвал хозяина гостиницы и, полный лихорадочного интереса к знаменитому гражданину, спросил:

— Барабанова знаете?

— Господи!!!

— Он спас Россию?

— А как же!

— Как же он ее спас?

— От немцев — вот как.

— От каких немцев?

— От войны с Германией он ее спас — вот от чего!

— Как же он это сделал?

— Доподлинно не скажу, но что он ее спас — так уж будьте покойны. Уж это верно. Весь город знает об этом.

— Да он чем был в то время, когда спасал Россию? Посланником, что ли?

— Нет, не посланником.

— Министром?! Королем дружественной державы?!!

— Барабанов? Уездным землемером он был в то время, Барабанов.

— Чудеса! Ступайте.

Хозяин с гордым самодовольным выражением лица вышел из номера, а я, наскоро одевшись и расспросив дорогу в клуб, последовал за ним.

В клубе мне необходимо было видеть нескольких лиц, а кроме того, я надеялся выяснить, наконец, полную таинственности и загадок историю землемера Барабанова...

II

Старшина записывал меня в какую-то книгу, а я в это время, горя нетерпением, спросил его:

— Кто Барабанов?

— Он? Спас Россию.

К этому подвигу Барабанова в Калиткине, очевидно, все привыкли и говорили о нем без тени волнения и радости. Старшина сказал эту великую громоподобную фразу таким хладнокровным тоном, каким сообщают:

— А я только что выпил рюмку водки.

Человек быстро со всем свыкается. Я уверен, что современники и знакомые Пушкина говорили о нем приблизительно в таком тоне:

— А Саша опять какую-то штуковину написал. Не помню, как она называется... «Борис Годунов», что ли.

Слуга великого Гоголя чистил каждый день сапоги барину безо всякого душевного трепета и даже (о, я хорошо знаю слуг) частенько поплевывал на эту существенную часть туалета творца «Мертвых душ». Ему, бедняге, и в голову не приходило, что его барину, в конце концов, поставят на каждой свободной площади по памятнику.

Я возразил старшине:

— Спас-то он спас. Я уже слышал об этом. Но как?

— Он? Он предотвратил войну между Германией и Россией. А в тот год эта война была бы гибельна для России. Не знаю даже, остались ли бы мы с вами живы.

— Что же он сделал для этого?! — с легкой нервностью в голосе воскликнул я.

— Сделал? Он чего-то, именно, и не сделал. Не сделал чего-то такого, что, — если бы было им сделано — повело бы за собой ужасную войну с Германией... Согласитесь сами, что, в этом случае, — сделал, не сделал — одно и то же!

— Как же вы сами не знаете, что это такое ужасное, чего Барабанов не сделал или что это героическое, что им было проделано?!

Старшина развел руками.

— Да он сам редко об этом рассказывает. А я слышал от других.

— Где Барабанов? — отрывисто спросил я.

— Он сейчас здесь, в клубе. Сидит в читальне. Он теперь почти не выходит оттуда. Читает в газетах политические известия и изучает по каким-то книгам историю народов. О войнах каких-то читает. За-ме-ча-тель-ный человек!!

Я не мог больше выдержать. Я пошел к Барабанову.

III

Передо мной сидел в низеньком кресле немолодой человек в черных очках, с бледным истощенным лицом, и внимательно читал толстую большую книгу.

Я, с весьма понятным чувством волнения и почтительности, рассматривал его, этого нового Ивана Сусанина, сидевшего так скромно и незаметно в читальне маленького провинциального клуба, вместо того чтобы греметь в столице, быть осыпанным деньгами, почестями и орденами...

Передо мной сидел человек, спасший Россию — громадную страну, одна губерния которой по площади больше всей Франции и Италии!

Я приблизился к креслу и прерывающимся от волнения голосом спросил:

— Бара-банов?..

— Я Барабанов, — сказал знаменитый землемер, опуская книгу. — Здравствуйте. Что такое?

— Меня интересует один вопрос... — переступив с ноги на ногу, смущенно начал я. — Каким образом вы спасли Россию? Об этом все говорят, трубит весь город, но как это сделано — никто толком не знает.

Барабанов положил книгу на стол и тихо отвечал:

— Да, я спас Россию.

— Это так... поразительно... что я бы хотел... поподробнее.

— О! это длинная история... В кратких словах она такова: я сделал один шаг, который предотвратил кровопролитную войну между Германией и Россией, — совершенно тогда не подготовленной и потерпевшей бы, наверное, ряд страшных поражений, вплоть до полного падения и разрушения великого государства...

— И вы сделали в предотвращение этого один только шаг?! Какой же это шаг?! Что это за святой, гениальный, проникновенный шаг?

Землемер Барабанов скромно улыбнулся.

— С первого взгляда — шаг этот очень простой: двенадцать лет тому назад, пятого сентября, я не поехал в Петербург, хотя и собирался туда. Не знаю — что меня толкнуло, но я не поехал. Мог бы поехать, даже должен был поехать — но не поехал!

Я оглянулся. Нас окружало до двадцати человек именитых граждан Калиткина, постепенно набравшихся в читальню и слушавших теперь наш разговор с редким вниманием и благоговением.

— Вы не поехали в Петербург!.. — пораженный, воскликнул я. — А что бы было, если бы вы туда поехали?!

— Что? А я вам скажу — что. У меня там живет зять Дудукаев — человек крайне любопытный, горячий и вспыльчивый. Я, признаться, к нему и ехал. Ну-с... А вы знаете, милостивый государь, что как раз в то же время в Петербург приезжал германский кронпринц, с целью нанести нашему Государю визит и ознакомиться с Россией? Знаете ли вы об этом?

Горя нетерпением, я машинально ответил:

— Знаю. Что же дальше?

— Дальше? А дальше было бы вот что... Как я вам уже сказал — зять мой Дудукаев был человек истерически любопытный и грубо, до потери сознания, вспыльчивый. Кроме того, был он близорук. Если бы я в то время приехал в Питер — он обязательно потащил бы меня смотреть кронпринца и, конечно, по своей близорукости, лез бы в самую гущу толпы, поближе к кронпринцу... Конечно, полицейские, видя его странную настойчивость и стремительность, отпихнули бы его, он, не стерпевши, дал бы кому-нибудь в ухо и, конечно, произошла бы грандиознейшая свалка, в самом центре которой оказался бы ничего не подозревавший кронпринц. Вы знаете, господа, что

во время драки дерущиеся не разбирают ни сана, ни положения человека и, как всегда бывает в таких случаях, — кронпринцу влетело бы больше всех! Остальное понятно. Возгорелся бы крупный международный конфликт, а так как в то время русским министром иностранных дел был человек бездарный, бестактный, напыщенный и грубый, — ненавистник немцев, — то дело немедленно получило бы страшный для России оборот. Министр вовлек бы Россию в пагубную для нее войну, и я не знаю...

Барабанов обвел толпу калиткинцев задумчивым взором:

— ...И я не знаю — многие ли среди присутствующих были бы сейчас живыми и здоровыми.

— Да здравствует Барабанов! — крикнула толпа.

IV

Пораженный, не знающий, что подумать, стоял я перед землемером и смотрел ему прямо в глаза:

— И это все сделали вы?!..

— Конечно. Подумайте, если бы я поехал в Петербург...

— Черт возьми! — воскликнул я. — А чем же вы докажете, что все это было бы так, если бы вы приехали?

Барабанов прищурился.

— А чем вы докажете, что этого бы не было?

Один из калиткинских дураков подошел к Барабанову и ободряюще похлопал его по плечу.

— Правильно, Барабанов! Под это уж не подкопаешься.

— Да, — сказал кто-то сзади. — Это уж, как по писаному.

Я видел ясно, что Барабанов дурачит меня и всех присутствующих. Но как я мог уличить его во лжи? Ведь он говорил то, что могло бы быть...

Я хотел повернуться и уйти, но неожиданная, прекрасная мысль удержала меня на месте.

— Да.... Пожалуй, вы, действительно, спасли Россию... А скажите: что же удержало вас от поездки в Петербург? Неужели только предчувствие? Или еще что-нибудь было?

Не замечая той страшной западни, которую я ему готовлю, Барабанов простодушно отвечал:

— Отчасти предчувствие, а главным образом, то, что я не получил от матери из Киева ожидаемых денег. Она в то время попала нечаянно под какой-то экипаж, сломала руку и лежала в больнице, почему и не могла выслать денег.

— Стойте! — торжествующе закричал я. — Так это, выходит, не вы спасли Россию, а я!!!

— Почему?! — закричали все, придвигаясь ближе.

— Да потому, что я и есть тот самый человек, экипаж которого наехал на вашу матушку.

— Предположим.... Но... При чем же здесь Россия? — презрительно усмехнулся Барабанов.

— При чем?! А при том, что, если бы я не наехал на вашу матушку, она выслала бы вам деньги, а вы бы потащились в Петербург и устроили бы там мировой скандал. Значит, я и спас Россию — нашу великую, любимую, прекрасную родину!!

— Постойте! — крикнул сзади тот человек, к которому я приехал по делу. — Постойте! Выходит, что и не он даже спас Россию, а я. Я к нему тогда собирался в Киев, но не поехал. А если бы поехал — он, наверное, не раздавил бы матери Барабанова. Не поехал же я потому, что гулял на свадьбе дочери Бумагина.

Бумагин был тут же. Он ударил себя в грудь и сказал:

— Значит, не ты спас Россию, а я. Дочь-то ведь моя!

— Значит, она и спасла ее! — сказал кто-то сзади.

— Нет, жених! Если бы он не женился...

— При чем здесь жених... Тетка его, после смерти...

— Значит, тетка?!

Поднялся страшный крик и спор.

Через полчаса выяснилось, что Россию спасла та русская неграмотная баба, служанка тетки жениха, которая вкатила по ошибке несчастной тетке двойную, смертельную дозу какого-то лекарства.

Тут же решили выделить из среды калиткинцев депутацию — с поручением разыскать эту служанку и принести ей благодарность за спасение России.

——

Когда ее отыскали — она оказалась существом исключительной скромности: она даже не знала о совершенном ею подвиге — спасении от гибели великой, прекрасной, дорогой каждому из нас родины!

ГЕРАКЛ

I

На скамейке летнего сада «Тиволи» сидело несколько человек...

Один из них, борец тяжеловес Костя Махаев, тихо плакал, размазывая красным кулаком по одеревенелому лицу обильные слезы, а остальные, его товарищи, с молчаливым участием смотрели на него и шумно вздыхали.

— За что?.. — говорил Костя, как медведь, качая головой. — Божжжеж мой... Что я ему такого сделал? А?.. «Тезей! Геракл»!..

Подошел член семьи «братья Джакобс — партерные акробаты». Нахмурился.

— Э... Гм... Чего он плачет?

— Обидели его, — сказал Христич, чемпион Сербии и победитель какого-то знаменитого Магомета Оглы. — Борьбовый репортер обидел его. Вот кто.

— Выругал, что ли?

— Еще как! — оживился худой, пренесчастного вида борец Муколяйнен. — Покажи ему, Костя.

Костя безнадежно отмахнулся рукой и, опустив голову, принялся рассматривать песок под ногами с таким видом, который ясно показывал, что для Кости никогда уже не наступят светлые дни, что Костя унижен и втоптан в грязь окончательно и что праздные утешения друзей ему не помогут.

— Как же он тебя выругал?

Костя поднял налитые кровью глаза.

— Тезеем назвал. Это он позавчера... А вчера такую штуку преподнес: «сибиряк, говорит, Махаев, — борется, как настоящий Геракл».

— Наплюй, — посоветовал член семейства Джакобс. — Стоит обращать внимание!

— Да... наплюй. У меня мать-старушка в Красноярске. Сестра три класса окончила. Какой я ему Геракл?!

— Геракл... — Задумчиво прошептал Муколяйнен. — Тезей — еще так-сяк, а Геракл, действительно.

— Да ты знаешь, что такое Геракл? — спросил осторожный победитель Магомета Оглы.

— Черт его знает. Спрашиваю у арбитра, а он смеется. Чистое наказание!..

— А ты подойди к репортеру вечером, спроси — за что?

— И спрошу. Сегодня еще подожду, а завтра прямо подойду и спрошу.

— Тут и спрашивать нечего. Ясное дело — дать ему надо. Заткни ему глотку пятью целковыми и конец. Ясное дело — содрать человек хочет.

Костя приободрился.

— А пяти целковых довольно? Я дам и десять, только не пиши обо мне. Я человек рабочий, а ты надо мной издеваешься. Зачем?

Он схватился за голову и простонал, вспомнив все перенесенные обиды:

— Госсподи! за что? Что я кому сделал?!

Лица всех были серьезны, сосредоточены. Около них искренно, неподдельно страдал живой человек, и огрубевшие сердца сжимались жалостью и болью за ближнего своего.

II

Был поздний вечер.

По уединенной аллее сада ходил, мечтательно глядя на небо, спортивный рецензент Заскакалов и делал вид, что ему все равно: позовет его директор чемпионата ужинать или нет?

А ему было не все равно.

Из-за кустов вылезла массивная фигура тяжеловеса Кости Махаева и приблизилась к рецензенту.

— Господин Заскакалов, — смущенно спросил Костя, покашливая и ненатурально отдуваясь. — Вы не потеряли сейчас десять рублей? Не обронили на дорожке?

— Кажется, нет. А что?

— Вот я нашел их. Вероятно, ваши. Получите...

— Да это двадцатипятирублевка!

— Ну, что ж... А вы мне дайте пятнадцать рублей сдачи — так оно и выйдет.

Заскакалов снисходительно улыбнулся, вынул из кошелька сдачу, бумажку сунул в жилетный карман, и снова зашагал, пытливо смотря в небо.

— Так я могу быть в надежде? — прячась в кустах, крикнул застенчивый Костя.

— Будьте покойны!

Прошла ночь, наступил день. Ночь Костя проспал хорошо (первая ночь за трое суток), а утро принесло Косте ужас, мрак и отчаяние.

В газете было про него написано буквально следующее:

«Самой интересной оказалась борьба этого древнегреческого Антиноя — Махаева с пещерным венгром Огай. В искрометной схватке сошелся Махаев, достойный,

по своей внешности, резца Праксителя, и тяжелый железный венгр. Как клубок пантер, катались оба они по сцене, пока на двадцатой минуте страшный Геракл не припечатал пещерного венгра».

Опять днем собрались в саду, на той же самой скамейке, и обсуждали создавшееся невыносимое положение...

Ясно было, что грубый, наглый репортер ведет самую циничную кампанию против безобидного Кости Махаева, и весь вопрос только в том — с какою целью?

Сначала решили, что репортера подкупили борцы другого, конкурирующаго чемпионата. Потом пришли к убеждению, что у репортера есть свой человек на место Кости, и он хочет так или иначе, но выжить Костю из чемпионата.

Спорили и волновались, а Костя сидел, устремив остановившийся, страдальческий взгляд на толстый древесный ствол, и шептал бледными, искривленными обидой губами:

— Геракл... Так, так. Антиной! Дождался. «Достойный резца»... Ну, что ж — режь, если тебе позволят. Ешь меня с хлебом!.. Пей мою кровь, скорпиён проклятый!

Костя заплакал.

Все, свесив большие, тяжелые головы, угрюмо смотрели в землю, и только толстые, красные пальцы шевелились угрожающе, да из широких мясистых грудей вылетало хриплое, сосредоточенное дыхание...

— Антиноем назвал! — крикнул Костя и сжал руками голову. — Лучше бы ты меня палкой по голове треснул...

— Ты поговори с ним по душам, — посоветовал чухонец. — Чего там!

— Рассобачились они очень, — проворчал поляк Быльский. — Вчера негра назвал эбеновым деревом, на прошлой неделе про него же написал: сын Тимбукту... Спроси — трогал его негр, что ли?

— Негру хорошо, — стиснув зубы, заметил Костя, — он по-русски не понимает. А я прекрасно понимаю, братец ты мой!..

Долго сидели, растерянные, мрачные, как звери, загнанные в угол.

Думали все: и десятипудовые тяжеловесы и худые, изможденные жизнью, легковесы.

Жалко было товарища. И каждый сознавал, что завтра с ним может случиться то же самое...

III.

Вечером Костя опять выследил спортивного рецензента, и когда тот всматривался в неразгаданное небо, заговорил с ним.

— Слушайте, — сосредоточенно сказал Костя, беря рецензента за плечо. — Это с вашей стороны нехорошо.

Рецензент поморщился.

— Что еще? Мало вам разве? — спросил он.

Кровь бросилась в лицо Косте.

— Аа... ты вот как разговариваешь?! А это ты видел? Как это тебе покажется?

Вещь, относительно которой спрашивали рецензентова мнения, была большим жилистым кулаком, колеблющимся на близком от его лица расстоянии.

Рецензент с криком испуга отскочил, а Костя зловеще рассмеялся.

— Это тебе, брат, не Тезей!

— Да, Господи, — насильственно улыбнулся рецензент. — Будьте покойны!.. Постараюсь.

И они разошлись...

Разошлись, не поняв друг друга. Широкая пропасть разделяла их.

Снаружи рецензент не показал виду, что особенно испугался Кости, но внутри сердце его похолодело...

Идя домой, он думал:

— Ишь, медведь косолапый. Дал десятку и Антиноя ему мало. Чем же тебя еще назвать? Зевесом, что ли? Попробуй-ка сам написать...

И было ему обидно, что его изящный стиль, блестящие образы и сравнения тратятся на толстых, неуклюжих людей, ползающих по ковру и не ценящих его труда. И душа болела. Была она нежная, меланхолическая, полная радостного трепета перед красотой мира.

В глубине души рецензент Заскакалов побаивался страшного, массивного Кости Махаева и поэтому решил в сегодняшней рецензии превзойти самого себя.

После долгого обдумывания, написал о Косте так:

— «Это было грандиозное зрелище... Мощный Махаев, будто сам Зевс борьбы, сошедший с Олимпа потягаться силой с человеком, нашел противника в лице бронзового сына священного Ганга, отпрыска браминов, Мохута.

Ягуар Махаев с пластичными жестами Гермеса напал на терракотового противника и, конечно, —Гермес победил! Не потому ли, что Гермес лицом — Махаев, в борьбе делается легендарным Гераклом? Мы сидели и, глядя на Махаева, думали: и такое тело не иссечь? Фидий, где ты со своим резцом?»

Вечером Заскакалов пришел в сад и, просмотрев борьбу, снова отправился в уединенную аллею, довольный собой, своим протеже Махаевым и перспективой будущего директорского ужина.

.....

Быстрыми шагами приблизился к нему Махаев, протянул руку и — не успел рецензент опомниться, как уже лежал на земле, ощущая в спине и левом ухе сильную боль.

Махаев выругался, ткнул ногой лежащего рецензента и ушел. Рецензентово сердце облилось кровью.

— А-а, — подумал он. — Дерешься?... Хорошо-с. Я, брат, не уступлю! Не запугаешь. Тебе же хуже!.. Теперь ни слова не напишу о тебе. Будешь знать!

На другой день появилась рецензия о борьбе, и в том месте, где она касалась борьбы Махаева с Муколяйненом, дело ограничилось очень сухими скупыми словами:

— «Второй парой боролись Махаев с Муколяйненом. После двадцатиминутной борьбы победил первый приемом «обратный пояс».

Махаева чествовали.

Он сидел в пивной «Медведь», раскрасневшийся, оживленный и с худо скрытым хвастовством говорил товарищам:

— Я знаю, как поступать с ихним братом. Уж вы мне поверьте! Ни деньгами, ни словами их не проймешь... А вот как дать такому в ухо — он сразу станет шелковый. Заметьте это себе, ребята!

— С башкой парняга, — похвалил искренний серб Христич и поцеловал оживленного Костю.

СУХАЯ МАСЛЕНИЦА

I

Знаменитый писатель Иван Перезвонов задумал изменить своей жене. Жена его была хорошей доброй женщиной, очень любила своего знаменитого мужа, но это-то, в конце концов, ему и надоело.

Целый день Перезвонов был на глазах жены и репортеров... Репортеры подстерегали, когда жена куда-нибудь уходила, приходили к Перезвонову и начинали бесконечные расспросы. А жена улучала минуту, когда не было репортеров, целовала писателя в нос, уши и волосы и, замирая от любви, говорила:

— Ты не бережешь себя... Если ты не думаешь о себе и обо мне, то подумай о России, об искусстве и отечественной литературе.

Иван Перезвонов, вздыхая, садился в уголку и делал вид, что думает об отечественной литературе и о России. И было ему смертельно скучно.

В конце концов, писатель сделался нервным, язвительным.

— Ты что-то бледный сегодня? — спрашивала жена, целуя мужа где-нибудь за ухом или в грудобрюшную преграду.

— Да, — отстраняясь, говорил муж. — У меня индейская чума в легкой форме. И отрясение мозга! И воспаление почек!!

— Милый! Ты шутишь, а мне больно... Не надо так... — умоляюще просила жена и целовала знаменитого писателя в ключицу или любовно прикладывалась к сонной артерии...

Иногда жена, широко раскрывая глаза, тихо говорила:

— Если ты мне когда-либо изменишь — я умру.

— Почему? — лениво спрашивал муж. — Лучше живи. Чего там.

— Нет, — шептала жена, смотря вдаль остановившимися глазами. — Умру.

— Господи! — мучился писатель Перезвонов. — Хотя бы она меня стулом по голове треснула или завела интригу с репортером каким-нибудь... Все-таки веселее!

Но стул никогда не поднимался над головой Перезвонова, а репортеры боялись жены и старались не попадаться ей на глаза.

II

Однажды была масленица. Всюду веселились, повесничали на легкомысленных маскарадах, пили много вина и пускались в разные шумные авантюры...

А знаменитый писатель Иван Перезвонов сидел дома, ел домашние блины и слушал разговор жены, беседовавшей с солидными положительными гостями.

— Ване нельзя много пить. Одну рюмочку, не больше. Мы теперь пишем большую повесть. Мерзавец этот Солунский!

— Почему? — спрашивали гости.

— Как же. Писал он рецензию о новой Ваниной книге и сказал, что он слишком схематизирует взаимоотношения героев. Ни стыда у людей, ни совести.

Когда гости ушли, писатель лежал на диване и читал газету.

Не зная, чем выразить свое чувство к нему, жена подошла к дивану, стала на колени и, поцеловав писателя в предплечье, спросила:

— Что с тобой? Ты, кажется, хромаешь?

— Ничего, благодарю вас, — вздохнул писатель. — У меня только разжижение мозга и цереброспинальный меннингит. Я пойду пройдусь...

— Как, — испугалась жена. — Ты хочешь пройтись? Но на тебя может наехать автомобиль или обидят злые люди.

— Не может этого быть, — возразил Перезвонов, — до сих пор меня обижали только добрые люди.

И, твердо отклонив предложение жены проводить его, писатель Перезвонов вышел из дому.

Сладко вздохнул усталой от комнатного воздуха грудью и подумал:

— Жена невыносима. Я молод и жажду впечатлений. Я изменю жене.

III

На углу двух улиц стоял писатель и жадными глазами глядел на оживленный людской муравейник.

Мимо Перезвонова прошла молодая, красивая дама, внимательно оглядела его и слегка улыбнулась одними глазами.

— Ой-ой, — подумал Перезвонов. — Этого так нельзя оставить... Не нужно забывать, что нынче масленица — многое дозволено.

Он повернул за дамой и, идя сзади, любовался ее вздрагивающими плечами и тонкой талией.

— Послушайте... — после некоторого молчания, сказал он, изо всех сил стараясь взять тон залихватского ловеласа и уличного покорителя сердец. — Вам не страшно идти одной?

— Мне? — приостановилась дама, улыбаясь. — Нисколько. Вы, вероятно, хотите меня проводить?

— Да, — сказал писатель, придумывая фразу попошлее. — Надо, пока мы молоды, пользоваться жизнью.

— Как? как вы сказали? — восторженно вскричала дама. — Пока молоды... пользоваться жизнью. О, какие это слова! Пойдемте ко мне!

— А что мы у вас будем делать? — напуская на лицо циничную улыбку, спросил знаменитый писатель.

— О, что мы будем делать!.. Я так счастлива. Я дам вам альбом — вы запишете те прекрасные слова, которыми вы обмолвились. Потом вы прочтете что-нибудь из своих произведений. У меня есть все ваши книги!

— Вы меня принимаете за кого то другого, — делаясь угрюмым, сказал Перезвонов.

— Боже мой, милый Иван Алексеевич... Я прекрасно изучила на вечерах, где вы выступали на эстраде, ваше лицо, и знакомство с вами мне так приятно...

— Просто я маляр Авксентьев, — резко перебил ее Перезвонов. — Прощайте, милая бабенка. Меня в трактире ждут благоприятели. Дербалызнем там. Эх, вы!!

IV

— Прах их побери, так называемых порядочных женщин. Я думаю, если бы она привела меня к себе, то усадила бы в покойное кресло, и спросила — отчего я такой

бледный, не заработался ли? Благоговейно поцеловала бы меня в височную кость, а завтра весь город узнал бы, что Перезвонов был у Перепетуи Ивановны... Черррт! Нет, Перезвонов... Ищи женщину не здесь, а где-нибудь в шантане, где публика совершенно беззаботна насчет литературы.

Он поехал в шантан. Разделся, как самый обыкновенный человек, сел за столик, как самый обыкновенный человек, и ему, как обыкновенному человеку, подали вина и закусок.

Мимо него проходила какая то венгерка.

— Садитесь со мной, — сказал писатель. — Выпьем хорошенько и повеселимся.

— Хорошо, — согласилась венгерка. — Познакомимся, интересный мужчина. Я хочу рябчиков.

Через минуту ее отозвал распорядитель.

Когда она вернулась, писатель недовольно спросил:

— Какой это дурак отзывал вас?

— Это здесь компания сидит в углу. Они расспрашивали, зачем вы сюда приехали и о чем со мной говорили. Я сказала, что вы предложили мне «выпить и повеселиться». А они смеялись и потом говорят: «Эта Илька всегда напутает. Перезвонов не мог сказать так!»

— Чер-р-рт! — прошипел писатель. — Вот что, Илька... Вы сидите — кушайте и пейте, а я расплачусь и уеду. Мне нужно.

— Да расплачиваться не надо, — сказала Илька. — За вас уже заплачено.

— Что за глупости?! Кто мог заплатить?

— Вон тот толстый еврей-банкир. Подзывал сейчас распорядителя и говорит: «За все, что потребует тот господин — плачу я! Перезвонов не должен расплачиваться». Мне дал пятьдесят рублей, чтобы я ехала с вами. Просил ничего с вас не брать.

Она с суеверным ужасом посмотрела на Перезвонова и спросила:

— Вы, вероятно... переодетый пристав?..

Перезвонов вскочил, бросил на стол несколько трехрублевок и направился к выходу.

Сидящие за столиками посетители встали, обернулись к нему, и — гром аплодисментов прокатился по зале... Так публика выражала восторг и преклонение перед своим любимцем, знаменитым писателем.

Бывшие в зале репортеры выхватили из карманов книжки и, со слезами умиления, стали заносить туда свои впечатления. А когда Перезвонов вышел в переднюю, он наткнулся на лакея, который служил ему. Около лакея толпилась публика, и он продавал по полтиннику за штуку окурки папирос, выкуренных Перезвоновым за столом. Торговля шла бойко.

V

Оставив позади себя восторженно гудящую публику и стремительных репортеров, Перезвонов слетел с лестницы, вскочил на извозчика и велел ему ехать в лавчонку, которая отдавала напрокат немудрые маскарадные костюмы...

Через полчаса на шумном маскарадном балу в паре с испанкой танцевал веселый турок, украшенный громадными наклеенными усами и горбатым носом.

Турок веселился во всю — кричал, хлопал в ладоши, визжал, подпрыгивал и напропалую ухаживал за своей испанкой.

— Ходы сюда! — кричал он, выделывая ногами выкрутасы. — Целуй менэ, барышна, на морда.

— Ах, какой вы веселый ковалер, — говорила восхищенная испанка. — Я поеду с вами ужинать!..

— Очин прекрасно, — хохотал турок, семеня возле дамы. — Одын ужин — и ныкаких Перезвонов!

Было два часа ночи.

Усталый но довольный, Перезвонов сидел в уютном ресторанном кабинете, на диване рядом с хохотушкой-испанкой и взасос целовался с ней. Усы его и нос лежали тут же на столе, и испанка, шутя, пыталась надеть ему турецкий нос на голову и на подбородок.

Перезвонов хлопал себя по широким шароварам и пел, притоптывая:

— Ой, не плачь, Маруся — ты будешь моя!

Кончу мореходку, женюсь я на тебя...

Испанка потянулась к нему молодым теплым телом.

— Позвони человеку, милый, чтобы он дал кофе и больше не входил... Хорошо?

Перезвонов потребовал кофе, отослал лакея и стал возиться с какими-то крючками на лифе испанки...

VI

В дверь осторожно постучались.

— Ну? — нетерпеливо крикнул Перезвонов — нельзя!

Дверь распахнулась, и из нее показалась странная процессия... Впереди всех шел маленький белый поваренок, неся на громадном блюде сдобный хлеб и серебряную солонку с солью. За поваренком следовал хозяин гостиницы, с бумажкой в руках, а сзади буфетчица, кассир и какие-то престарелые официанты.

Хозяин выступил вперед и, утирая слезы, сказал, читая по бумажке:

— «Мы счастливы выразить свой восторг и благодарность гордости нашей литературы, дорогому Ивану Алексеичу, за то, что он почтил наше скромное коммерческое учреждение своим драгоценным посещением, и просим его от души принять по старорусскому обычаю хлеб-соль, как память, что под нашим кровом он вкусил женскую любовь, это украшение нашего бытия»...

В дверях показались репортеры.

VII

Вернувшись домой, Перезвонов застал жену в слезах.

— Чего ты?!

— Милый... Я так беспокоилась... Отчего ты такой бледный?.. Я думала — ушел... Там женщины разные!.. Масленница... Думаю, изменит мне...

— Где там! — махнув рукой, печально вздохнул знаменитый писатель. — Где там!

ПО ТУ СТОРОНУ...

Мир таинственного и загадочного — мир прекрасный, привлекательный и в то же время страшный, именно этой своей загадочностью и таинственностью.

Немногие могут заглянуть за страшную завесу неизвестного, а те, кто заглянул, на всю жизнь сохраняют в душе холодный ужас, а на голове много лишних прядей седых волос.

В моей жизни было всего три случая таинственных, непонятных явлений, которые находятся всецело по ту сторону человеческого постижения и при воспоминаниях о которых сердце мое наполняется удивлением и страхом, а по спине пробегает легкая, холодная дрожь.

——

Первый случай был давно, во дни моей молодости.

Однажды, когда я прогуливался по пустынному полю, ко мне подошла старая цыганка и, пытливо взглянув в лицо, сказала:

— Барину скоро предстоит дорога.

— Откуда ты знаешь? — удивленно вскричал я.

— Старая Любка все знает, — зловеще сказала цыганка.

Пораженный этим странным предсказанием, я дал цыганке двугривенный, и она исчезла.

Прошло года три. Я уже стал забывать о своей прогулке, встрече с цыганкой и ее словах, как однажды осенью на мое имя пришла телеграмма, чтобы я экстренно выезжал в N, где жил мой дядя.

Полный тяжелых предчувствий, поехал я в N, и на вокзале, встретив тетку, узнал печальную новость: дядя вчера умер!

— А какое у нас сегодня число? — спросил я.

— Десятое.

— Поразительно! — подумал я. — Ровно три года и десять дней со времени моей встречи с цыганкой... Откуда она могла знать о предстоящей смерти дяди и теткиной телеграмме?

Рассказывая о последних минутах дяди, тетка сообщила, что старик за десять минут до смерти был еще жив...

Эта странность еще больше утвердила меня в мысли, что между двумя рассказанными случаями: предсказанием цыганки и смертью дяди была какая-то загадочная, не разрешимая человеческим пониманием связь...

——

Второй случай был совсем недавно. До сих пор я не могу прийти в себя, и если до сих пор я не верил в необъяснимое в природе, то этот случай с категорической ясностью мог поколебать мой скептицизм.

Был солнечный светлый день, исключавший всякую возможность предположения о чем-нибудь таинственном, что случается только в страшные, темные осенние ночи... Мне нужно было сделать кое-какие покупки. Я нанял по часам извозчика — молодого, безусого парня (я это хорошо запомнил). Мы заезжали в несколько мест, и я, думая о своих делах, совершенно забыл об извозчике и его ординарной наружности.

Последнее место, куда я заехал, был банк. Закончив в несколько минут свои дела, я вышел на улицу, вскочил в пролетку и приказал извозчику ехать домой. Он ударил по лошадям и, пошевелившись на козлах (я никогда не забуду этой минуты...), медленно обернул ко мне свое лицо.

— Куда прикажете? — спросил извозчик, глядя на меня исподлобья.

Я вскрикнул и закрыл в ужасе лицо руками: на меня смотрело б о р о д а т о е, с т а р о о б р а з н о е лицо с длинными усами и морщинами на щеках.

До сих пор я твердо помню, что между тем, как я впервые нанял этого извозчика, и страшным моментом его поворота ко мне прошло не более двух часов... Откуда же могла взяться эта большая борода, усы и морщины у моложавого безусого парня?! Что случилось за это время в природе? Пронеслось ли над нашими головами несколько никем не замеченных десятков лет, украсивших парня всеми атрибутами зрелого возраста, или... сам дьявол сидел на козлах, меняя по своему желанию личину извозчика?

Удивительнее всего, что старый извозчик уже не помнил улицы, с которой он впервые взял меня, и странными мне показались его преувеличенные поклоны и благодарность, когда я уплатил ему условленные два рубля за время.

Кто был мой извозчик? Тайна по-прежнему окутывает этот страшный вопрос непроницаемым покровом... Разрешится ли она когда-нибудь? Бог весть.

——

Третий случай я считаю самым страшным.

Однажды прислуга сообщила мне, что в новолуние на чердаке появляется какая-то белая фигура, пугающая всех своим зловещим видом.

— Вздор, — улыбаясь, сказал я. — Почему именно в новолуние? Если она является, то может явиться, когда угодно.

Но прислуга стояла на своем.

— Хорошо, — сказал я. — Я проверю это. Теперь как раз не новолуние, и я посмотрю — явится ли твое привидение?

В ту же ночь я, с замирающим сердцем, и не слушая уверений прислуги, что раз нет новолуния, не будет и привидения, отправился на чердак.

. . . . . .

Рано утром, бледный, с перекошенным от ужаса лицом, я еле сполз с чердака вниз. На все вопросы у меня только и хватило пролепетать:

— Прислуга была права... Новолуния не было, привидение, действительно, не появилось. Ясно, что в новолуние, значит, оно является.

После этого необъяснимого случая прошло много времени... Я тогда же немедленно настоял на переезде с ужасной квартиры, но даже и теперь, когда я вспоминаю о ночи на чердаке, волосы мои шевелятся, и я стараюсь изгнать из памяти эту ночь, убедившую меня в существовании таинственных, призрачных существ загробного мира...

МАГНИТ

I

Первый раз в жизни я имел свой собственный телефон. Это радовало меня, как ребенка.

Уходя утром из дому, я, с напускной небрежностью, сказал жене:

— Если мне будут звонить, спроси — кто? и запиши номер.

Я прекрасно знал, что ни одна душа в мире, кроме монтера и телефонной станции, не имела представления о том, что я уже 8 часов имею свой собственный телефон, но бес гордости и хвастовства захватил меня в свои цепкие лапы, и я, одеваясь в передней, предупредил, кроме жены, — горничную и восьмилетнюю Китти, выбежавшую проводить меня:

— Если мне будут звонить, спросите — кто, и запишите номер.

— Слушаю-с, барин.

— Хорошо, папа.

И я вышел, с сознанием собственного достоинства и солидности, и шагал по улице так важно, что нисколько бы не удивился, услышав сзади себя разговор прохожих:

— Смотрите, какой он важный!

— Да. У него такой дурацкий вид, будто бы он только что обзавелся собственным телефоном!

II

Вернувшись домой, я был несказанно удивлен поведением горничной: она открыла дверь, отскочила от меня, убежала за вешалку и, выпучив глаза, стала оттуда манить меня пальцем.

— Что такое?!.

— Барин, барин! — шептала она, давясь от смеха. — Подите-ка, что я вам скажу... Как бы только барыня не услыхала.

Первой моей мыслью было, что она пьяна; второй — что я вскружил ей своей наружностью голову, и она предлагает мне вступить с ней в преступную связь.

Я подошел ближе и строго спросил.

— Чего ты хочешь?

— Тш..! Барин! Сегодня вы к Вере Павловне не приезжайте ночью, потому их-ний муж не едет в Москву!

Я растерянно посмотрел на загадочное, улыбающееся лицо горничной, и тут же решил, что она, по-прежнему, равнодушна ко мне, но спиртные напитки лишили ее душевного равновесия, и она говорит первое, что взбрело ей в голову.

Из детской вылетела Китти, с размаху бросилась мне на шею и заплакала.

— Что случилось? — обеспокоился я.

— Бедный папочка!.. Мне жалко, что ты будешь слепой!.. Папочка, лучше уж ты брось эту драную кошку, Бельскую.

— Ка...кую... Бельскую?—ахнул я, смотря ей прямо в заплаканные глаза.

— Да твою любовницу. Которая играет в театре. Клеманс сказала, что она драная кошка. Клеманс говорит, если ты ее не бросишь, она выжгет тебе два глаза кислотой, а потом она просила, чтоб ты сегодня обязательно приехал к ней в шантан! Я мамочке не говорила, чтоб ее не расстраивать. О глазах-то.

Вне себя, я оттолкнул Китти и бросился к жене.

Жена сидела в моем кабинете за столом, держа в руках телефонную трубку, и истерическим, дрожащим от слез голосом, говорила:

— И это передать?.. Хорошо-с. Можно и это передать. И поцелуй? Что?.. Тысячу поцелуев? Передам и это... Все равно уж, за одно!..

Она повесила телефонную трубку, обернулась и, смотря мне прямо в глаза, сказала странную фразу:

— В вашем гнездышке на Бассейной бывать уже опасно: муж, кажется, проследил.

— Это дом сумасшедших, — испуганно вскричал я. — Ничего не понимаю!!.

Жена подошла ко мне и, приблизив свое лицо к моему, без всякого колебания сказала:

— Ты... мерзавец!

— Первый раз об этом слышу. Это, вероятно самые свежие вечерние сведения?!

— Ты смеешься?.. Будешь ли ты смеяться, взглянув на это?..

Она взяла со стола испещренную надписями бумажку и прочла:

— № 349–27. — «Мечтаю тебя хоть одним глазком увидеть сегодня в театре и послать хоть издали поцелуй!»

— № 259–09. — «Куда ты, котик, девал то бриллиантовое кольцо, которое я тебе подарила? Неужели, заложил подарок любящей тебя Дуси Петровой?»

— № 317–01. — «Я на тебя сердита... Клялся, что я для тебя единственная, а на самом деле — тебя видели на Невском с полной брюнеткой. Не шути с огнем!»

— № 102–12. — «Ты — негодяй. Надеюсь — понимаешь?»

— № 9–07. — «Мерзавец! И больше ничего».

— № 177–02. — «Позвони, как только придешь, моя радость. А то явится муж, и нам не удастся уговориться о вечере. Любишь ли ты, по-прежнему, свою Надю?»

Жена скомкала листок и с отвращением бросила его мне в лицо.

— Чего ж ты стоишь? Чего ж ты не звонишь своей Наде, — с дрожью в голосе спросила она. — Я понимаю теперь, почему ты с таким нетерпением ждал телефона! Позвони же ей... № 177–02! А то придет муж, и вам не удастся «условиться о вечере». Подлец!

Я пожал плечами.

Если это была чья-либо шутка, то такие шутки, обыкновенно, не доставляли мне радости, покоя и скромного веселья.

Я поднял бумажку, внимательно прочитал ее и подошел к телефону.

— Центральная? № 177–02. Спасибо. Это 177–02?..

Мужской голос ответил мне.

— Да. Кто говорит?

— № 300–05. Позовите к телефону Надю.

— Ах, вы номер 300–05? Я на нем уже ее однажды поймал! И вы ее называете Надей? Знайте, молодой человек, что я при встрече надаю вам пощечин. Я знаю кто вы такой!

— Спасибо. Кланяйтесь от меня вашей Наде и скажите, что она сумасшедшая!

— Я ее не виню, бедняжку. Подобные вам негодяи хоть кому вскружат голову. Ха-ха! Профессиональные обольстители! Знайте, № 300–05, что я поколочу вас, не позже завтрашнего дня, палкой.

Этот разговор не успокоил меня, не освежил моей воспаленной головы, а, наоборот, еще больше сбил меня с толку.

III

Обед прошел в тяжелом молчании.

Жена за супом плакала в салфетку, оросила слезами жаркое и сладкое, а дочь Китти, не отрываясь, смотрела в мои глаза, представляя их выжженными и, когда жена отворачивалась, — дружески шептала мне:

— Папа!.. Так ты бросишь эту драную кошку, Бельскую? Смотри же... Брось ее.

Горничная, убирая тарелки, делала мне таинственные знаки, грозила в сторону пальцем и фыркала в соусник.

По ее лицу было видно, что она считает себя уже навеки связанной со мной ложью, тайной и преступлением.

Зазвонил телефонный звонок.

Я вскочил и помчался в кабинет.

— Кто звонит?

— Это № 300–05?

— Да. Что нужно?

Послышался женский смех.

— Это говорю я, Дуся. Неужели, у тебя уже нет подаренного мной кольца? Куда ты его дел?

— Кольца у меня нет, — отвечал я. — И не звони ты мне больше никогда, чтоб тебя дьявол забрал!!

И повесил трубку.

После обеда, отверженный всей семьей, я угрюмо занимался в кабинете и несколько раз говорил по телефону.

Один раз мне сообщили, что если я не дам на воспитание ребенка, то он будет подброшен под мои двери с соответствующей запиской, а потом — кто-то подтвердил свое обещание выжечь мне глаза серной кислотой, если я не брошу «эту драную кошку», Бельскую.

Я обещал ребенка усыновить, а Бельскую бросить раз навсегда.

Звонили и ночью.

IV

На другой день утром к нам явился неизвестный молодой человек с бритым лицом и, отрекомендовавшись актером Радугиным, сказал мне:

— Если вам все равно — поменяемся номерами телефонов.

— А зачем? — удивился я.

— Да видите ли... Ваш номер 300–05 был раньше моим, и знакомые все уже к нему привыкли...

— Да, они уже очень привыкли, — согласился я.

— ...И, поэтому, так как мой новый номер мало кому известен — происходит путаница.

— Совершенно верно, — кивнул я головой. — Происходит путаница. Надеюсь, с вами вчера ничего дурного не случилось? Потому что муж Веры Павловны не уехал ночью в Москву, как предполагал.

— Да? — обрадовался молодой человек. — Хорошо, что я вчера запутался с Клеманс и не попал к ней.

— А Клеманс-то собирается вам за Бельскую выжечь глаза, — сообщил я, подмигивая.

— Вы думаете? Хвастает. Никогда я из-за нее не брошу Бельскую.

— Как хотите. А я обещал, что бросите. Потом, тут вам ребенка вашего хотел подкинуть номер 77–92. Я обещал усыновить.

— Вы думаете, он мой? — задумчиво спросил бритый господин. — Я уж, признаться, совершенно спутался: где мои, где не мои.

Его простодушный вид возмутил меня.

— А тут еще один какой-то — муж Нади — обещался вас поколотить палкой. Поколотил?

Он, улыбаясь, добродушно махнул рукой.

— Ну, уж и палка! Простая тросточка. Да и темно. Вчера. Вечером. Так как же — поменяемся номерами?

— Ладно. Сейчас скажу на станцию.

V

Я вызвал к нему в гостиную жену, а сам пошел к телефону.

Разговаривая, слышал доносившиеся из гостиной голоса:

— Так вы артист? Я очень люблю театр.

— О, сударыня! Я это почувствовал с первого взгляда. В ваших глазах есть что-то магнетическое! Почему вы не играете? Вы так прекрасны! В вас чувствуется что-то такое, что манит и сулит небывалое счастье, о чем можно грезить только во сне, которое... которое...

Послышался слабый протестующий голос жены, легкий шум и все это покрыл звук поцелуя.

ИХНЕВМОНЫ

Редактор сказал мне:

— Сегодня открывается выставка картин неоноваторов, под маркой «Ихневмон». Отправляйтесь туда и напишите рецензию для нашей газеты.

Я покорно повернулся к дверям, а редактор крикнул мне вдогонку:

— Да! забыл сказать самое главное: постарайтесь похвалить этих ихневмонов... Неудобно, если газета плетется в хвосте новых течений и носит обидный облик отсталости и консерватизма.

Я приостановился.

— А если выставка скверная?

— Я вас потому и посылаю... именно вас, — подчеркнул редактор, — потому что вы человек добрый, с прекрасным, мягким и ровным характером... И найти в чем-либо хорошие стороны — для вас ничего не стоит. Не правда ли? Ступайте с Богом.

——

Когда я, раздевшись, вошел в первую выставочную комнату, то нерешительно поманил пальцем билетного контролера и спросил:

— А где же картины?

— Да вот они тут висят! — ткнул он пальцем на стены. — Все тут.

— Вот эти? Эти — картины?

Стараясь не встретиться со мной взглядом, билетный контролер опустил голову и прошептал:

— Да.

По пустынным залам бродили два посетителя с испуганными, встревоженными лицами.

— Эт-то... З-забавно. Интер-ресно, — говорили они, пугливо косясь на стены. — Как тебе нравится вот это, например?

— Что именно?

— Да вот там висит... Такое, четырехугольное.

— Там их несколько. На какую ты показываешь? Что на ней нарисовано?

— Да это вот... такое, зеленое. Руки такие черные... вроде лошади.

— А! Это? Которое на мельницу похоже? Которое по каталогу называется «Абиссинская девушка»? Ну, что ж... Очень мило!

Один из них наклонился к уху другого и шепнул:

— А давай убежим!..

Я остался один.

Так как мне никто не мешал, я вынул записную книжку, сел на подоконник и стал писать рецензию, стараясь при этом использовать лучшие стороны своего характера и оправдать доверие нашего передового редактора.

— «Открылась выставка „Ихневмон“, — писал я. — Нужно отдать справедливость — среди выставленных картин попадается целый ряд интересных удивительных вещей...

Обращает на себя внимание любопытная картина Стулова „Весенний листопад“. Очень милы голубые квадратики, которыми покрыта нижняя половина картины... Художнику, очевидно, пришлось потратить много времени и труда, чтобы нарисовать такую уйму красивых голубых квадратиков... Приятное впечатление также производит верхняя часть картины, искусно прочерченная тремя толстыми черными линиями... Прямо не верится, чтобы художник сделал их от руки! Очень смело задумано красное пятно сбоку картины. Удивляешься — как это художнику удалось сделать такое большое красное пятно.

Целый ряд этюдов Булюбеева, находящихся на этой же выставке, показывает в художнике талантливого, трудолюбивого мастера. Все этюды раскрашены в приятные темные тона, и мы с удовольствием отмечаем, что нет ни одного этюда, который был бы одинакового цвета с другим... Все вещи Булюбеева покрыты такими чудесно нарисованными желтыми волнообразными линиями, что просто глаз не хочется отвести. Некоторые этюды носят удачные, очень гармоничные названия: „Крики тела“, „Почему“, „Который“, „Дуют“.

Сильное впечатление производит трагическая картина Бурдиса „Легковой извозчик“. Картина воспроизводит редкий момент в жизни легковых извозчиков, когда одного из них пьяные шутники вымазали в синюю краску, выкололи один глаз и

укоротили ногу настолько, что несчастная жертва дикой шутки стоит у саней, совершенно покосившись набок... Когда же прекратятся, наконец, издевательства сытых, богатых самодуров-пассажиров над бедными затравленными извозчиками! Приятно отметить, что вышеназванная картина будит в зрителе хорошие гуманные чувства и вызывает отвращение к насилию над слабейшими»...

Написав все это, я перешел в следующую комнату.

Там висели такие странные, невиданные мною вещи, что, если бы они не были заключены в рамы, я бился бы об заклад, что на стенах развешены отслужившие свою службу приказчичьи передники из мясной лавки и географические карты еще не исследованных африканских озер...

Я сел на подоконник и задумался.

Мне вовсе не хотелось обижать авторов этих заключенных в рамы вещей, тем более что их коллег я уже расхвалил, с присущей мне чуткостью и тактом. Не хотелось мне и обойти их обидным молчанием.

После некоторого колебания я написал:

«Отрадное впечатление производят оригинальные произведения гг. Моавитова и Колыбянского... Все, что ни пишут эти два интересных художника, написано большей частью кармином по прекрасному серому полотну, что, конечно, стоит недешево и лишний раз доказывает, что истинный художник не жалеет для искусства ничего.

Помещение, в котором висят эти картины, теплое, светлое и превосходно вентилируется. Желаем этим лицам дальнейшего процветания на трудном поприще живописи!»

Просмотрев всю рецензию, я остался очень доволен ею. Всюду в ней сквозила деликатность и теплое отношение к несчастным, обиженным судьбою и Богом людям, нигде не проглядывали мои истинные чувства и искреннее мнение о картинах — все было мягко и осторожно.

Когда я уходил, билетный контролер с тоской посмотрел на меня и печально спросил:

— Уходите? Погуляли бы еще. Эх, господин! Если бы вы знали, как тут тяжело...

— Тяжело? — удивился я. — Почему?

— Нешто ж у нас нет совести, или что?! Нешто ж мы можем в глаза смотреть тем, кто сюда приходит? Срамота, да и только... Обрываешь у человека билет, а сам думаешь: и как же ты будешь сейчас меня костить, мил-человек?! И не виноват я, и сам я лицо подневольное, а все на сердце не хорошо... Нешто ж мы не понимаем сами — картина это, или што? Обрати-

те ваше внимание, господин... Картина это? Картина?! Разве такое на стенку вешается? Чтоб ты лопнула, проклятая!..

Огорченный контролер размахнулся и ударил ладонью по картине. Она затрещала, покачнулась и с глухим стуком упала на пол.

— А, чтоб вы все попадали, анафемы! Только ладонь из-за тебя краской измазал.

— Вы не так ее вешаете, — сказал я, следя за билетеровыми попытками снова повесить картину. — Раньше этот розовый кружочек был вверху, а теперь он внизу.

Билетер махнул рукой.

— А не все ли равно! Мы их все-то развешивали так, как Бог на душу положит... Багетщик тут у меня был знакомый — багеты им делал — так приходил, плакался: что я, говорит, с рамами сделаю? где кольца прилажу, ежели мне неизвестно, где верх, где низ? Уж добрые люди нашлись, присоветовали: делай, говорят, кольца с четырех боков — после разберут!.. Гм... Да где уж тут разобрать.

Я вздохнул.

— До свиданья, голубчик.

— Прощайте, господин. Не поминайте лихом — нету здесь нашей вины ни в чем!..

——

— Вы серьезно писали эту рецензию? — спросил меня редактор, прочтя исписанные листки.

— Конечно. Все, что я мог написать.

— Какой вздор! Разве так можно трактовать произведения искусства? Будто вы о крашеных полах пишете или о новом рисуночке ситца в мануфактурном магазине... Разве можно, говоря о картине, указать на какой-то кармин и потом сразу начать расхваливать вентиляцию и отопление той комнаты, где висит картина... Разве можно бессмысленно, бесцельно восхищаться какими-то голубыми квадратиками, не указывая — что это за квадратики? Для какой они цели? Нельзя так, голубчик!.. Придется послать кого-нибудь другого.

При нашем разговоре с редактором присутствовал неизвестный молодой человек, с цилиндром на коленях и громадной хризантемой в петлице сюртука. Кажется, он принес стихи.

— Это по поводу выставки «Ихневмона»? — спросил он. — Это трудно — написать о выставке «Ихневмона». Я могу написать о выставке «Ихневмона».

— Пожалуйста! — криво улыбнулся я. — Поезжайте. Вот вам редакционный билет.

— Да мне и не нужно никакого билета. Я тут у вас сейчас и напишу. Дайте-ка мне вашу рецензию... Она, правда, никуда не годится, но в ней есть одно высокое качество — перечислено несколько имен. Это все, что мне нужно. Благодарю вас.

Он сел за стол и стал писать быстро-быстро.

— Ну вот, готово. Слушайте: «Выставка „Ихневмон“. В ироническом городе давно уже молятся только старушечья привычка да художественное суеверие, которое жмурится за версту от пропасти. Стулов, со свойственной ему дерзостью большого таланта, подошел к головокружительной бездне возможностей и заглянул в нее. Что такое его хитро-манерный, ускользающе-дающийся, жуткий своей примитивностью „Весенний листопад“? Стулов ушел от Гогена, но его не манит и Зулоага. Ему больше

по сердцу мягкий серебристый Манэ, но он не служит и ему литургии. Стулов одиноко говорит свое тихое, полузабытое слово: „Жизнь“.

Заинтересовывает Булюбеев... Он всегда берет высокую ноту, всегда остро подходит к заданию, но в этой остроте есть своя бархатистость, и краски его, погашенные размеренностью общего темпа, становятся приемлемыми и милыми. В Булюбееве не чувствуется тех изысканных и несколько тревожных ассонансов, к которым в последнее время нередко прибегают нервные порывистые Моавитов и Колыбянский. Моавитов, правда, еще притаился, еще выжидает, но Колыбянский уже хочет развернуться, он уже пугает возможностью возрождения культа Биллитис, в ее первоначальном цветении.

Примитивный по синему пятну „Легковой извозчик“ тем не менее показывает в Бурдисе творца, проникающего в городскую околдованность и шепчущего ей свою напевную, одному ему известную, прозрачную, без намеков, сказку»...

Молодой человек прочел вслух свою рецензию и скромно сказал:

— Видите... Здесь ничего нет особенного. Нужно только уметь.

Редактор, уткнувшись в бумагу, писал для молодого господина записку на аванс.

Я попрощался с ними обоими и устало сказал:

— От Гогена мы ушли и к Зулоаге не пристали... Прощайте! Кланяйтесь от меня притаившемуся Моавитову, пожмите руку Бурдису и поцелуйте легкового извозчика, шепчущего прозрачную сказку городской околдованности. И передайте Булюбееву, что, если он будет менее остро подходить к бархатистому заданию — для него и для его престарелых родителей будет лучше.

Редактор вздохнул. Молодой господин вздохнул, молча общипывая хризантему на своей узкой провалившейся груди...

ЖЕНА

I

Когда долго живешь с человеком, то не замечаешь главного и существенного в его отношении к тебе. Заметны только детали, из которых состоит это существенное.

Так, нельзя рассматривать величественный храм, касаясь кончиком носа одного из его кирпичей. В таком положении чрезвычайно затруднительно схватить общее этого храма. В лучшем случае можно увидеть, кроме этого кирпича, еще пару других соседних — и только.

Поэтому мне стоило многих трудов и лет кропотливого наблюдения, чтобы вынести общее заключение, что жена очень меня любит.

С деталями ее отношения ко мне приходилось сталкиваться и раньше, но я все никак не мог собрать их в одно стройное целое.

А некоторые детали, надо сознаться, были глубоко трогательны.

——

Однажды жена лежала на диване и читала книгу, а я возился в это время с крахмальной сорочкой, ворот которой с ослиным упрямством отказался сойтись на моей шее.

«Сойдись, проклятое белье, — бормотал я просящим голосом. — Ну, что тебе стоит сойтись, чтоб ты пропало!»

Сорочка, очевидно, не привыкла к брани и попрекам, потому что обиделась, сдавила мое горло, а когда я, задыхаясь, дернул ворот, петля для запонки лопнула.

«Чтоб ты лопнула! — разозлился я. — Впрочем, ты уже сделала это. Теперь, чтобы досадить тебе, придется снова зашить петлю».

Я подошел к жене.

— Катя! Зашей мне эту петлю.

Жена, не поднимая от книги головы, ласково пробормотала:

— Нет, я этого не сделаю.

— Как не сделаешь?

— Да так. Зашей сам.

— Милая! Но ведь я не могу, а ты можешь.

— Да, — сказала она грустно. — Вот именно, поэтому ты и должен сам сделать это. Конечно, я могла бы зашить эту петлю. Но ведь я не долговечна! Вдруг я умру, ты останешься одинок — и что же! Ничего не умеющий, избалованный, беспомощный перед какой-то лопнувшей петлей — будешь ты плакать и говорить: «Зачем, зачем я не привыкал раньше к этому?..» Вот почему я и хочу, чтобы ты сам делал это.

Я залился слезами и упал перед женой на колени.

— О, как ты добра! Ты даже заглядываешь за пределы того ужасного, неслыханного случая, когда ты покинешь этот мир! Чем отблагодарю я тебя за эту любовь и заботливость?!

Жена вздохнула, снова взялась за книгу, а я сел в уголку и, достав иголку, стал тихонько зашивать сорочку. К вечеру все было исправлено.

Не забуду я и другого случая, который еще с большей ясностью характеризует это кроткое, любящее, до смешного заботливое существо.

Я получил от одного из своих друзей подарок ко дню рождения: бриллиантовую булавку для галстука.

Когда я показал булавку жене, она испуганно выхватила ее из моих рук и воскликнула:

— Нет! Ты не будешь ее носить, ни за что не будешь!

Я побледнел.

— Господи! Что случилось?! Почему я не буду ее носить?

— Нет, нет! Ни за что. Твоей жизни будет грозить вечная опасность! Эта булавка на твоей груди — слишком большой соблазн для уличных разбойников. Они подсмотрят, подстерегут тебя вечером на улице и отнимут булавку, а тебя убьют.

— А что же мне... с ней делать? — прошептал я обескураженно.

— Я уже придумала! — радостно и мелодично засмеялась жена. — Я отдам ее переделать в брошку. Это к моему синему платью так пойдет!

Я задрожал от ужаса.

— Милая! Но ведь... они могут убить тебя!

Лицо ее засияло решительностью.

— Пусть! Лишь бы ты был жив, мой единственный, мой любимый. А я — что уж... Мое здоровье и так слабое... я кашляю...

Я залился слезами и бросился к ней в объятия. «Не прошли еще времена христианских мучениц», — подумал я.

Я видел ее заботливость о себе повсюду.

Она сквозила во всякой мелочи. Всякий пустяк был пронизан трогательной памятью обо мне, во всем и везде первое было — ее мысль о том, чтобы доставить мне какое-нибудь невинное удовольствие и радость.

Однажды я зашел к ней в спальню, и первое, что бросилось мне в глаза, — был мужской цилиндр.

— Смотри-ка, — удивился я. — Чей это цилиндр?

Она протянула мне обе руки.

— Твой это цилиндр, мой милый!

— Что ты говоришь! Я же всегда ношу мягкие шляпы...

— А теперь — я хотела сделать тебе сюрприз и купила цилиндр. Ты ведь будешь его носить, как подарок маленькой жены, не правда ли?

— Спасибо, милая... Только постой! Ведь он, кажется, подержанный! Ну, конечно же, подержанный.

Она положила голову на мое плечо и застенчиво прошептала:

— Прости меня... Но мне, с одной стороны, хотелось сделать тебе подарок, а с другой стороны, новые цилиндры так дороги! Я и купила по случаю.

Я взглянул на подкладку.

— Почему здесь инициалы Б. Я., когда мои инициалы — А. А.?

— Неужели ты не догадался?.. Это я поставила инициалы двух слов: «люблю тебя».

Я сжал ее в своих объятиях и залился слезами.

II

— Нет, ты не будешь пить это вино!

— Почему же, дорогая Катя? Один стаканчик...

— Ни за что... Тебе это вредно. Вино сокращает жизнь. А я вовсе не хочу остаться одинокой вдовой на белом свете. Пересядь на это место!

— Зачем?

— Там окно открыто. Тебя может продуть.

— О, я считаю сквозняк предрассудком!

— Не говори так... Я смертельно боюсь за тебя.

— Спасибо, мое счастье. Передай-ка мне еще кусочек пирога...

— Ни-ни... И не воображай. Мучное ведет к ожирению, к тучности, а это страшно отражается на здоровье. Что я буду без тебя делать?

Я вынимал папиросу.

— Брось папиросу! Сейчас же брось. Разве ты забыл, что у тебя легкие плохие?

— Да одна папир...

— Ни крошки! Ты куда? Гулять? Нет, милостивый государь! Извольте надевать осеннее пальто. В летнем и не думайте.

Я заливался слезами и осыпал ее руки поцелуями.

— Ты — Монблан доброты!

Она застенчиво смеялась.

— Глупенький... Уж и Монблан... Вечно преувеличит!

Часто задавал я себе вопрос: «Чем и когда я отблагодарю ее? Чем докажу я, что в моей груди помещается сердце, действительно понимающее толк в доброте и человечности и способное откликнуться на все светлое, хорошее».

Однажды, во время прогулки, я подумал:

«Отчего у нас никогда не случится пожар или не нападут разбойники? Пусть бы она увидела, как я, спасший ее, сам, с улыбкой любви на устах, сгорел бы дотла или с перерезанным горлом корчился бы у ее ног, шепча дорогое имя».

Но другая мысль, здравая и практическая, налетела на свою пылкую безрассудную подругу, смяла ее под себя, повергла в прах и, победив, разлилась по утомленному непосильной работой мозгу.

«Ты дурак и эгоист, — сказала мне победительница. — Кому нужно твое перерезанное горло и языки пламени. Ты умрешь, и хорошо... Но после тебя останется бедная, бесприютная вдова, нуждающаяся, обремененная копеечными заботами...»

— Нашел! — громко сказал я сам себе. — Я застрахую свою жизнь в ее пользу!

И в тот же день все было сделано. Страховое общество выдало мне полис, который я, с радостным, восторженным лицом, преподнес жене...

——

Через три дня я убедился, что полис этот и вся моя жизнь — жалкая песчинка по сравнению с тем океаном любви и заботливости, в котором я начал плавать.

Раньше ее отношение и хлопоты о моих удовольствиях были мне по пояс, потом они повысились и достигали груди, а теперь это был сплошной бушующий океан доброты, иногда с головой покрывавший меня своими теплыми волнами, иногда исступленный. Это была какая-то вакханалия заботливости, бурный и мощный взрыв судорожного стремления украсить мою жизнь, сделать ее сплошным праздником.

— Радость моя! — ласково говорила она, смотря мне в глаза. — Ну, чего ты хочешь? Скажи... Может быть, вина хочешь?

— Да я уже пил сегодня, — нерешительно возражал я.

— Ты мало выпил... Что значит какие-то полторы бутылки? Если тебе это нравится — нелепо отказываться... Да, совсем забыла, — ведь я приготовила тебе сюрприз: купила ящик сигар — крепких-прекрепких!..

——

Я чувствую себя в раю.

Я объедаюсь тяжелыми пирогами, часами просиживаю у открытых окон и сквозной ветер ласково обдувает меня... Малейшая моя привычка и желание раздувается в целую гору.

Я люблю теплую ванну — мне готовят такую, что я из нее выскакиваю красный, как индеец. Я раньше всегда отказывался от теплого пальто, предпочитая гулять в осеннем. Теперь со мной не только не спорят, но даже иногда снабжают летним.

— Какова нынче погода? — спрашиваю я у жены.

— Тепло, милый. Если хочешь — можно без пальто.

— Спасибо. А что это такое — беленькое с неба падает? Неужели снег?

— Ну, уж и снег! Он совсем теплый.

——

Однажды я выпил стакан вина и закашлялся.

— Грудь болит, — сказал я.

— Попробуй покурить сигару, — ласково гладя меня по плечу, сказала жена. — Может, пройдет.

Я залился слезами благодарности и бросился в ее объятия.

Как тепло на любящей груди... Женитесь, господа, женитесь.

АЛЬБОМ

Они лежат на столе, покрытом плюшевой скатертью, в каждой гостиной — пухлые с золоченым обрезом и металлическими застежками, битком набитые бородатыми, безбородыми, молодыми и старыми лицами.

Мнение, что альбом фотографических карточек — семейная реликвия, сокровище воспоминаний и дружбы, — совершенно ошибочно.

Альбомы выдуманы для удобства хозяев дома. Когда к ним является в гости какой-нибудь унылый, обворованный жизнью дурак, когда этот дурак садится боком в кресло и спрашивает, внимательно рассматривая узоры на ковре:

— Ну, что новенького?

Тогда единственный выход для хозяев — придвинуть ему альбом и сказать:

— Вот альбом. Не желаете ли посмотреть?

И дальше все идет как по маслу.

— Кто этот старик? — спрашивает гость.

— Этот? Один наш знакомый. Он теперь живет в Москве.

— Какая странная борода. А это кто?

— Это наш Ваня, когда был маленький.

— Неужели?! Вот бы не сказал! Ни малейшего сходства.
— Да... Ему тогда было семь месяцев, а теперь двадцать девять лет.
— Гм... Как вырос! А это?
— Подруга жены. Она уже умерла. В Саратове.
— Как фамилия?
— Павлова.
— Павлова? У нее не было брата в Петербурге? В коммерческом банке.
— Не было.
— Я знал одного Павлова в Петербурге. А это кто, военный?
— Черножученко. Вы его не знаете. На даче в прошлом году познакомились.
— В этом году на даче нехорошо. Дожди.

В этом месте уже можно отложить альбом в сторону: беседа наладилась.

Для застенчивого гостя альбом фотографических карточек — спасательный круг, за который лихорадочно хватается бедный гость и потом долго и цепко держится за него.

Предыдущий гость, хотя и дурак, обиженный судьбой, но он человек не застенчивый, и альбом ему нужен только для разбега. Разбежавшись с альбомом в руках, он отрывается от земли на каком-нибудь «дождливом лете», и потом уже плавно летит дальше, выпустив из рук альбом-балласт.

Застенчивому человеку без альбома — гибель.

Мне пришлось быть в обществе одного юноши, который, придя в гости, наступил на собачку, попытался поцеловать хозяину руку и объяснил все это адской жарой (дело было в ноябре). Он чувствовал, что партия его проиграна, но случайно взгляд его упал на стол с толстым альбомом, и бедняга чуть не заплакал от радости.

Он судорожно вцепился в альбом, раскрыл его и, почуяв под ногами землю, спросил:

— А это кто?
— Это первый лист. Тут карточки нет... Переверните.
— А это кто?
— Это моя покойная тетя, Глафира Николаевна.
— Ну?! А это?

Он перелистал альбом до конца и — беспомощно и бесцельно повис в воздухе.

— Спасите! — хотел крикнуть он. — Утопаю!

Но, вместо этого, снова положил альбом на колени и спросил:

— Отчего же она умерла?
— Кто?.. Тетя? От сердечных припадков.

«Почему ты, подлец»,— подумал молодой гость, —«отвечаешь так односложно? Рассказал бы ты мне подробно, как болела тетка и кто ее пользовал... Вот бы времечко-то и прошло».

— От припадков? Да уж, знаете, наши доктора... А это кто?
— Лизин крестный отец. Вы уже спрашивали раз.

Он просмотрел альбом до конца, отложил его и взялся за пепельницу.

— Странные теперь пепельницы делают...
— Да.

Взоры его обратились снова на альбом. Он протянул к нему руку, но альбома не было. Альбом исчез.

Хозяин положил его на этажерку.

— А где альбом? — спросил гость. — Я хотел спросить вас насчет одной фотографии. Там еще две барышни сняты.

Нашли альбом, отыскали барышень. Молодой гость, пользуясь случаем, еще раз перелистал альбом, «чтобы составить общее впечатление».

Присутствуя при этом, я носился в вихре веселья и чувствовал себя прекрасно. И вздумалось мне подшутить над гостем. Когда он зазевался, я стащил со стола альбом и сунул его под диван.

Гость привычным жестом протянул руку за альбомом и, не найдя его, чуть не крикнул:

— Ограбили!

Искоса оглядел этажерку, ковер под столом, и, побледнев, поднялся с места:

— Ну... мне пора.

II

С некоторых пор у меня стали бывать гости. Ясно было, что без альбома мне не обойтись.

К сожалению, человек я не домовитый, родственники почему-то карточек мне не дарили, а если кто-нибудь и присылал свой портрет с трогательной надписью, то портрет этот попадал в руки горничной, тщеславной, избалованной женщины.

Гости стали приходить ко мне все чаще и чаще. Без альбома дело не клеилось.

Я перерыл все ящики своего письменного стола.

Были обнаружены три карточки: «самая толстая девочка в мире Алиса 9 пуд. 18 фун.», «вид гавани в Ревеле» и «знаменитый шимпанзе Франц катается на велосипеде».

Даже при самом снисходительном отношении к этим трем карточкам, они не могли быть признаны за мою «семейную реликвию».

Оставалось единственное средство: пошарить на стороне.

И мне повезло!.. После двух дней прилежных поисков, я обнаружил на полке у одного торговца разной рухлядью громадный кожаный альбом, битком набитый самыми разнообразными карточками — как раз то, что мне было нужно.

В альбоме было до двухсот портретов — все моих будущих родных, друзей и знакомых! Эта вещь могла занять моих гостей часа на два, что давало мне возможность свободно вздохнуть, и я, поэтому, радовался, как ребенок.

Дома я внимательно пересмотрел альбом, и — никому в мире до меня не посчастливилось сделать этого — сам выбрал себе отца, мать, старого дядю и двух красивых братьев. Любимых девушек было три, и я долго колебался между ними, пока не отдал сердце первой по порядку, брюнетке с красивыми чувственными глазами.

В альбоме был один недостаток: случайно не попалось ни одного крошечного ребенка который бы сумел быть мной в детстве. А дети 13–14 лет, к сожалению, совершенно не были на меня похожи.

Пришлось ограничиться тем, что сделать все приятные симпатичные лица родственниками, а безобразные, некрасивые, отталкивающие (таких — увы — было не мало) — простыми знакомыми...

В тот же вечер ко мне пришли гости, народ все тоскливый и молчаливый.

Меня, впрочем, это не смутило.

— Не желаете ли взглянуть на семейный альбомчик? — предложил я. — Очень интересно.

Все оживились, обрадовались, ухватились за альбом.

— Кто это?

— Это моя бедная любимая матушка... Она умерла от сердечных припадков... Земля ей пухом!

Гости притихли и, благоговейно покачав головами, перевернули страницу.

— А это кто?

— Мой папа. Мы с ним большие друзья и частенько переписываемся. Это брат. Он теперь имеет хорошее дело и зарабатывает большие деньги. Не правда ли, красивый? Это просто знакомые. А вот, господа, эта девушка... Как она вам нравится?

— Хорошенькая.

— Вы говорите — хорошенькая... Красавица! Моя первая любовь.

— Да? А она вас любила?

— Она?! Я для нее был солнцем, воздухом, без которого она не могла дышать... Эту карточку она подарила мне, когда уезжала заграницу. Когда она делала на карточке надпись, то так плакала, что с ней сделалась истерика!.. Такой любви я больше не видел. И... ее я больше не видел...

Лицо мое было печально... На ресницах повисли две непрошенные предательские слезинки.

— Давно это было? — тихо спросил один гость, с тайным сочувствием пожимая мне руку.

— Давно ли? Семь лет тому назад... Но мне кажется, что прошла вечность.

— И с тех пор, вы говорите, ее не видели?

— Не видел. Куда она исчезла — неизвестно. Это странная, загадочная история.

— Что же она вам написала на обороте карточки?

— Не помню, — осторожно отвечал я. — Это было так давно...

— Разрешите взглянуть? Я думаю, раз девушка исчезла, мы не делаем ничего дурного.

— Не помню — на этой ли карточке она сделала надпись или на другой...

— Все-таки разрешите взглянуть, — попросил один господин с романтической натурой, сентиментально улыбаясь, — первый любовный лепет невинной девической души — что прекраснее этого?

— Что прекраснее этого? — как эхо, повторил другой гость, и вынул карточку из альбома.

Он обернул карточку другой стороной, всмотрелся в нее и вдруг вскрикнул:

— Что за черт?

— Не смейте касаться того, что для меня «святая-святых», — испуганно закричал я. — Зачем вы вынимаете карточку?

— Странно...— не обращая на меня внимания, прошептал гость. — Очень странно.

— Что такое?!!

— Вот что здесь написано: «Пелагея Косых, по прозвищу Татарка. Родилась в 1880 году. В 1898 году за воровство присуждена к месяцу тюрьмы. В 1899 году занялась хипесничеством. Рост средний, глаза синие, за правым ухом — родинка».

— Что такое — хипесничество? — спросила какая-то гостья.

— Хипесничество? — промямлил я. — Это такое... вроде телефонистки.

— Нет, — сказал один старик. — Это заманивание мужчины женщиной в свою квартиру и ограбление его с помощью своего любовника-сутенера.

— Хорошая первая любовь! — иронически заметила дама.

— Это недоразумение, — засмеялся я. — Позвольте карточку... Ну, конечно! Вы не ту вынули. Нужно эту — видите, полная блондинка. Первая моя благоуханная любовь.

Благоуханную любовь извлекли из альбома, и сентиментальный господин прочел:

— «Катерина Арсеньева (прозв. Беленькая) род. в 1882 году. 1899–1903 занималась проституц., с 1903 г. — магазинная воровка (мануфактурн. товар).

III

Гости пожимали плечами, а некоторые (самые нахальные) осмелились даже хихикать.

— Интересно, — сказал старик, — что написано на обороте карточки вашего отца?

— Воображаю, — отозвалась дама.

— Не смейте оскорблять этого святого человека! — крикнул я. — Он выше всяких подозрений. Это светлая, сияющая добротой и любовью, душа!

Я вынул отца из альбома и благоговейно поднес карточку к губам. Целуя ее в припадке сыновней любви, я потихоньку взглянул на обратную сторону и прочел:

— «Иван Долбин. Род. 1862 г. 1880 — мелкие кражи, 1882 — кража со взломом, (1 г. тюрьмы), 1885 — убийство семьи Петровых — каторга (12 л.), 1890 — побег. Ра-

зыскивается. Особые приметы: густой голос, на правую ногу прихрамывает. Указательный палец левой руки искалечен в драке».

За столом, где лежал альбом, послышался смех и потом восклицания — насмешливые, негодующие.

Я отшвырнул портрет отца и бросился к альбому... Несколько карточек уже было вынуто, и я, смущенный, растерянный, без труда узнал, что моя бедная матушка сидела в тюрьме за вытравление плода у нескольких девушек, а любимые братья, эти изящные красавцы, судились в 1901 году за шулерство и подделку банковских переводов. Дядя был самый нравственный член нашей семьи: он занимался только поджогами с целью получения премии, да и то поджигал собственные дома. Он мог бы быть нашей семейной гордостью!

— Эй, вы! Хозяин! — крикнул мне гость, старик. — Говорите правду: где вы взяли альбом? Я утверждаю, что этот старый альбом принадлежал когда-то сыскному отделению по розыску преступников.

Я подбоченился и сказал с грубым смехом:

— Да-с! Купил я его сегодня за 2 рубля у букиниста. Купил для вас же, для вашего развлечения, проклятые вы, нудные человечишки, глупые мучные черви, таскающиеся по знакомым, вместо того, чтобы сидеть дома и делать какую-нибудь работу. Для вас я купил этот альбом: нате, ешьте, рассматривайте эти глупые портреты, если вы не можете связно выражать человеческие мысли и поддерживать умный разговор. Ты там чего хихикаешь, старая развалина?! Тебе смешно, что на обороте карточек моих родителей, родственников и друзей написано: вор, шулер, проститутка, поджигатель?! Да, написано! Но ведь это, уверяю вас, честнее и откровеннее. Я утверждаю, что у каждого из вас есть такой же альбом, с карточками таких же точно лиц, да только та разница, что на обороте карточек не изложены их нравственные качества и поступки. Мой альбом — честный откровенный альбом, а ваши — это тайное сборище тайных преступников, развратников и распутных женщин... Пошли вон!

Оттого ли, что было уже поздно, или оттого, что альбом был просмотрен, и впереди предстояла скука, — но гости после моих слов немедленно разошлись.

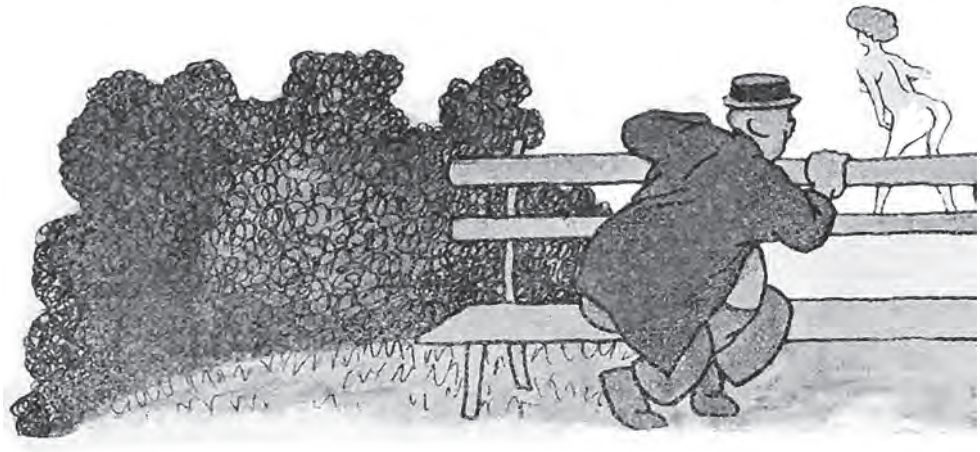
Я остался один, открыл форточки, напустил свежего воздуха и стал дышать. Было весело и уютно.

Если бы у моего альбома выросла рука — я пожал бы ее. Такой это был хороший, пухлый, симпатичный альбом.

ДВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ ГОСПОДИНА ВОПЯГИНА

— Господин Вопягин! Вы обвиняетесь в том, что 17 июня сего года, спрятавшись в кустах, подсматривали за купающимися женщинами... Признаете себя виновным?

Господин Вопягин усмехнулся чуть заметно в свои великолепные, пушистые усы и, сделав откровенное, простодушное лицо, сказал со вздохом:



— Что ж делать... признаю! Но только у меня есть смягчающие вину обстоятельства...

— Ага... Так-с. Расскажите, как было дело?

— 17 июня я вышел из дому с ружьем рано утром и, бесплодно прошатавшись так до самого обеда, вышел к реке. Чувствуя усталость, я выбрал теневое местечко, сел, вынул из сумки ветчину и коньяк и стал закусывать... Нечаянно оборачиваюсь лицом к воде — глядь, а там, на другом берегу, три каких-то женщины купаются. От нечего делать, (завтракая в то же время — заметьте это, г. судья!), я стал смотреть на них.

— То, что вы в то же время завтракали, не искупает вашей вины!.. А, скажите... эти женщины были, по крайней мере, в купальных костюмах?

— Одна. А две так. Я, собственно, господин судья, смотрел на одну — именно, на ту, что была в костюме. Может быть, это и смягчит мою вину. Но она была так прелестна, что от нее нельзя было оторвать глаз...

Господин Вопягин оживился, зажестикулировал.

— Представьте себе: молодая женщина лет двадцати четырех, блондинка с белой, как молоко кожей, высокая, с изумительной талией, несмотря на то, что ведь она была без корсета!.. Купальный костюм очень рельефно подчеркивал ее гибкий стан, мягкую округлость бедер и, своим темным цветом, еще лучше выделял белизну прекрасных полных ножек, с розовыми, как лепестки розы, коленями и восхитительными ямоч...

Судья закашлялся и смущенно возразил:

— Что это вы такое рассказываете... мне, право, странно...

Лицо господина Вопягина сияло одушевлением.

— Руки у нее были круглые, гибкие — настоящие две белоснежных змеи, а грудь, стесненную материей купального костюма, ну... грудь эту некоторые нашли бы, может быть, несколько большей, чем требуется изяществом женщины, но, уверяю вас, она была такой прекрасной, безукоризненной формы...

Судья слушал, полузакрыв глаза, потом очнулся, сделал нетерпеливое движение головой, нахмурился и сказал:

— Однако, там ведь были дамы и... без костюмов?

— Две, г. судья! Одна смуглая брюнетка, небольшая, худенькая, хотя и стройная, но — не то! Решительно, не то... А другая — прехорошенькая девушка лет восемнадцати...

— Ага! — сурово сказал судья, наклоняясь вперед. — Вот видите! Что вы скажете нам о ней?.. Из чего вы заключили, что она девушка и, именно, указанного возраста?

— Юные формы ее, г. судья, еще не достигли полного развития. Грудь ее была девственно мала, бедра не так широки, как у блондинки, руки худощавы, а смех, когда она засмеялась, звучал так невинно, молодо и безгрешно...

В камере послышалось хихикание публики.

— Замолчите, г. Вопягин! — закричал судья. — Что вы мне такое рассказываете? Судье вовсе не нужно знать этого... Впрочем, ваше откровенное сознание и непреднамеренность преступления — спасают вас от заслуженного штрафа. Ступайте!

Вопягин поклонился и повернулся к дверям.

— Еще один вопрос, — остановил его судья, что-то записывая. — Где находится это... место?

— В двух верстах от Сутугинских дач, у рощи. Вы перейдете мост, г. судья, пройдете мимо поваленного дерева, от которого идет узкая тропинка к берегу, а на берегу высокие, очень удобные кусты...

— Почему, удобные? — нервно сказал судья, — что значит, удобные?

Вопягин подмигнул судье, вежливо раскланялся и, элегантно раскачиваясь на ходу, исчез.

ШУТКА

Василиса Нестеренкова занимала скромное, чуждое светскости и блеска, общественное положение — она торговала семечками и апельсинами. Поэтому, все другие занятия и должности, которые возвышались над уровнем ее коммерческих операций, казались ей уделом людей исключительных, отмеченных Богом, и на этих людей Василиса смотрела с явным почтением и тайным страхом.

Жоржа Зяблова, парикмахерского подмастерья, который изредка покупал у нее апельсины, она считала человеком недюжинным и пареньком «с продувной головой», а на свою дочь, сумевшую без посторонней помощи выдвинуться и стать в житейской иерархии на недосягаемую головокружительную высоту, — она молилась.

Дочь ее занимала место кассирши в Москве в мануфактурном магазине купца Хлапова, изредка писала матери письма, которых та не могла читать, и присылала деньги, которых та не решалась тратить. Потому что была она неграмотна и мечтала о приданом для своей дочери.

——

— Жоржик... — заискивающе говорила госпожа Нестеренкова, кутаясь в дырявый платок, — так вы ж мне напишете? А? А?

Парикмахерский подмастерье закатывал глаза, хмурил брови, шевелил толстыми пальцами и в задумчивости насвистывал что-то длинное.

— Да... Напиши! Вы думаете, это легко писать? Я четыре года учился, пока научился. А теперь так насобачился, что могу с маху написать письмо. Это тоже нужно знать, где какое слово поставить, где тире.

— Тире? — бессмысленно прищурилась госпожа Нестеренкова. — Да зачем оно?

— Как зачем? Молчали бы лучше, когда не знаете.

Он задумался.

— Фразы тоже. Разные. Все это знать нужно. Ну-ка, попробуй ты, матушка, написать! Воображаю!..

— И как это вам, Георгий Кириллыч, все это ниспослано... — с явной грубой лестью прошептала семечница. — И откуда что берется?! И как же это у человека должны шарики работать, чтобы, не пито, не едено, цельное письмо накострячить!

Жорж неожиданно обиделся на сказанное семечницей вульгарное слово.

— Что? Накострячить? Ну, и кострячь сама письма, если тебе надо! Тоже, скажите, пожалуйста... «Накострячить»!..

Он повернулся спиной и хотел уходить, но семечница схватила его за руку и удвоила порцию грубой лести и подмазыванья:

— Господи! Да куда ж вы?.. Такой прекрасный, умный господин и вдруг — уходит. Такой, можно сказать, красавчик,за которым девки помирают и вдруг, это самое... Вчера еще хозяин ваш лимонад покупал у меня, разговаривал: много, — говорит, — у меня этого народу, много дармоедов, только, — говорит, — Зяблов, Георгий Кириллыч, распроединственный золотой человек.

— Да ты врешь.

— И с чего это с такого я бы соврала? Ни на ноготь не прибавила, вот верное слово!

И соврала старуха. Правда, парикмахер покупал у старухи лимонад, правда, разговаривал о Зяблове, но, главным образом, в таком тоне:

— Дня не дождусь, когда этот паршивец уберется. Пьяница, лгун и чуть ли не на руку нечист!

Но — Жорж был грамотен, являл себя знатоком тире, фраз и междометий, и находившаяся под гипнозом всего этого старуха несла сплошную околесину.

— Умру, — говорит, — кому дело передать? «Да кому ж», — говорю я, — «и передать, как не Жоржику?». Посмотрел на меня: «ему и передам!».

— Да ты врешь, старуха! — восклицал Жорж, смеясь счастливым смехом, будто бы кто-то тихонько щекотал его. — Так и сказал?

— Так. Ей Богу, так!

Неожиданно щепетильному Жоржу показалось, что старуха фамильярничает с ним.

Он заложил руки в карманы брюк, повернулся к собеседнице в пол-оборота и холодно сказал:

— В сущности говоря, что вам угодно?

— Жоржик! Красавец! — заегозила старуха. — Так я же это самое и прошу!

— Что — это самое? Выражайтесь яснее!

— Да письмо ж.

— Что — письмо?

— Да написать. Я ж неграмотная, верное слово!

— Кому письмо?

— Да дочке же моей! Что в Москве-то. Дочка. Так вот ей. Деньги она мне еще намедни прислала.

Жорж сосредоточенно нахмурился.

— А отчего ж ты неграмотная? А?

— Да где ж мне было... — развела руками госпожа Нестеренкова. — Сначала была все маленькая, да маленькая, — рано было... А потом вдруг — большая! Глядишь — и поздно.

— То-то и оно, — недовольно проворчал Жорж. — Как детей рожать, так вам грамоты не нужно, а как письма им писать — занятых людей беспокоите...

— Я ж не даром! — всплеснула руками встревоженная старуха. — Заплачу, как полагается.

Жорж посвистал.

— Гм... Написать разве?

Старуха, молча кутаясь в платок, стояла перед Жоржем и со страхом следила за игрой его лица, на котором ясно было написано:

— Захочу, — напишу, захочу — и не напишу.

— Ладно, — сказал Жорж. — Напишу.

Семечница вздрогнула от радости.

——

Жорж сидел в каморке у старухи.

— Вот вам, — говорила она, носясь из угла в угол, — яичница, колбаса, рыба жареная. Водочки выкушайте.

— Выкушайте, — лениво передразнил благодушно настроенный Жорж. — Я не пью водки с красной головкой. В ней сивуха.

— Можно с белой головкой, — залебезила семечница, пряча за уши выбивающиеся пряди волос. — Сейчас пошлю девчонку.

— Я не хочу колбасы без чесноку! Я люблю с чесноком!

— Да она ж и есть, Георгий Кириллыч, с чесноком.

— Да, знаем мы... с чесноком, — проворчал Жорж. — Письма им еще пиши! Целый день работаешь, как собака: то каких-то дураков брей, то какие-то письма пиши... Невесело это, знаете.

Говоря эти ленивые слова, Жорж в то же время лихорадочно пил водку, ожесточенно набрасывался на яичницу и рыбу и, недовольно крутя головой, обнюхивал белый хлеб.

— Что это он, как будто, черствый... А?..

Закончив насыщение, Жорж съел еще пару апельсинов, изнеженным движением откинулся на спинку убогого дивана и зевнул.

— Ты... тово, Василиса... Я бы вздремнул немного перед письмом... А ты бы постерегла, чтоб никакой черт меня не бесп...

Глаза его сомкнулись.

Старуха вздохнула, растерянно посмотрела на гостя, но сейчас же согласилась, захлопотала...

— Ну, что ж... отдохните. Благо, сегодня праздник, в паликмахтерскую не иттить. Позвольте подушечку вам...

Жорж с усилием поднял веки и возмущенно прошептал:

— По... чему мухи... бес...покоют?

— Теперь-то? — сказала старуха. — Зимой?! Не беспокойтесь, Георгий Кириллыч. Никаких мух-то и нет.

— Чигарики на курузах, — прошептал Жорж, тщетно желая что-то объяснить.

— Чего извольте? — забеспокоилась старуха.

Но Жорж уже спал.

Старуха села на скамеечку около его головы и, глядя ему в лицо, погрузилась в терпеливое ожидание: когда он проснется и напишет то, что ей нужно...

——

Писали письмо.

Жорж проснулся в веселом, приподнятом настроении, и ему все было смешно: как это он неожиданно опьянел, как заснул и как он, по словам старухи, требовал, засыпая, совершенно неизвестной вещи: чигариков на курузах. Смешна ему была и сама семечница со своей суетливостью, тайной боязнью, что он откажется писать письмо, и весело было ему чувствовать, что ближайшая семечницына судьба — всецело в его руках...

И пришла неожиданно ему в голову совершенно юмористическая, безумно веселая затея: написать старухиной дочке письмо совсем не так, как будет диктовать старуха.

Перспектива повеселиться за счет бестолковой, глупой старухи так захватила веселого подмастерья, что он придвинул бумагу, чернила и даже, упустив из виду возможность поломаться в отношении густоты чернил и пококетничать трудностью писать вообще, — благодушно сказал:

— Ну, Василиса... говори. Что писать-то?

Улыбнувшись счастливой улыбкой, госпожа Нестеренкова склонила на бок голову, подперла ее рукой, сладко замечталась и потом сказала тоненьким дребезжащим голосом:

— Дорогая дочка Варенька! Очень я удивилась твоему присылу пяти рублей и за что тебя благодарю и кланяюсь...

— «Дорогая дочка Варенька», — писал, заливаясь внутренне хохотом, Жорж, — «эк чем вздумала меня удивить — пятью рублями!.. Ты бы мне сто выслала... Или двести! Тогда бы я тебя благодарила и кланялась... А так — что ж: на один день выпивки с соответствующей закуской мне и хватит только»...

— Написал? — спросила семечница.

— Написал, — отвечал Жорж.

Семечница поджала губы.

— Ну... Что ж бы еще такое? «И очень также прошу тебя, Варенька, с хозяевами быть тихой, скромной, без галош не выходить и беречься от климату, вообще, также»...

— «Прошу тебя, уважаемая Варенька», — склонив на бок голову, выводил подмастерье, — «чтобы не очень-то церемониться с хозяевами, потому — эти черти разве понимают? Куска фиксатуару или гребенки старой в карман не сунешь: сейчас же заметят!.. Смотри не сядь в галошу и соблюдай климатические условия в отношении тишины»...

— Есть?

— Сделано! — сказал Жорж. — Хоть на выставку. Хорошее письмо, Василиса, получит твой, как это говорится: отпрыск... Еще что писать?

Василиса сразу сделалась мечтательной.

— И, кроме всего того, — сказала она, нараспев, тонко-претонко, — береги себя, как ты девушка, и мужчина вас, дур, всегда на худое потянуть может... Он-то и деньги, пожалуй, покажет, рублем поманит, — только анафемские это деньги, нечистые... Не для девушек они!.. Сохрани себя до хорошего человека, по закону который, по доброму согласию, через отцов церкви, по поводу замужества...

— Правильно, — кивнул головой Жорж. Обмакнул перо в чернильницу и приписал:

— «И имей в виду, что наше дело женское, и от трудов праведных, как это говорится, каменных домов не купить. Служба-то службой, да и после службы подработать можно, если ты не дура! Мужчинами-то дураками хоть пруд пруди... Оберешь его, как липку, так что и не заметит!!! А замужество, — это, брат, вилами по воде писано. Да-с. Это тебе любой отец церкви скажет. Кланяется тебе один очень интересный господин по имени Жорж Зяблов, который, будь ты здесь — был бы тебе хоро-

шим кавалером и ухажором. Очень умный и красивый. Прощай, дочка, жду от тебя деньжат, да побольше, не скупись. Целуем тебя с этим Жоржем! Твоя мать потомственная, почетная семечница и кавалерша ордена Льва и Солнца — Василиса! Пьем за ваше здоровье! Ура!»

Конец письма понравился Жоржу чрезвычайно... В нем был и тонкий, здоровый юмор и несколько дружеских теплых слов, по его, Жоржа, адресу и легкий шутливый тон по отношению к глупой сентиментальной семечнице — все было округлено, закончено.

— Готово, мамаша! — воскликнул шутливо Жорж, хлопая ладонью по письму. — На чаек с вашей милости.

Счастливая старуха захлопотала, засуетилась, сунула подмастерью в руку полтинник, наклеила на конверт марку и, не чуя под собой от удовольствия ног, побежала на улицу.

Отыскала почтовый ящик и бережно, тщательно всунула в отверстие письмо, протолкнув его пальцем как можно дальше.

В ЗЕЛЕНОЙ КОМНАТЕ

(Послеобеденные разговоры)

— Я где-то читал, — сказал мой друг Павлов, — что цвет обоев в комнате очень влияет на настроение человека... Голубые обои располагают к лени, неге и мечтательности, желтые — действуют тяжело, угнетающе, красные дают настроению повышенный интенсивный тон, а белые умиротворяют, смягчают и успокаивают человека...

Есть у некоторых людей такие характеры: если они услышат о каком-нибудь удивительном явлении, — то не успокоятся, пока не приведут примера или явления еще более удивительного, случая еще более странного. Если при таком человеке рассказать о том, что индейские слоны нянчат ребят, он снисходительно улыбнется и расскажет, что австралийские кенгуру не только нянчат ребят, но и дают им первые уроки закона Божьего, лечат от золотухи и помогают прорезываться зубам. Если при таком человеке рассказать, что вы видели в цирке атлета, поднимающего десять пудов и держащего в зубах взрослого зрителя, — этот человек сейчас же вспомнит об одном малоизвестном кузнеце, которого он знал, и который поднимал одной рукой шестнадцать пудов, а зубами, «совершенно шутя», держал лошадь и перегрызал подковы.

Седой, маленький господин внимательно выслушал Павлова, тихо улыбнулся и качнул головой.

— Это что! Я помню случай, который никогда не изгладится из моей памяти. Все, кому я ни рассказывал, были ошеломлены этим поразительным случаем, многие считают его беспримерным и необъяснимым, но я, по зрелом обсуждении, нахожу, что в нем не было ничего сверхъестественного, необъяснимого... Вы позволите рассказать его?

Мы были очень заинтригованы.

— О, конечно, конечно!!

Рассказ маленького, седого господина

В прежнее время я был очень богат и жил широко, шумно и весело. Однажды, наняв и обмеблировав роскошную барскую квартиру, я решил устроить новоселье. Пригласил человек полтораста своих друзей и знакомых, заказал ужин и думал провести вечер приятно, разнообразно и весело. Гости все были народ отборный, хороший, потому что богатому человеку, конечно, есть из чего выбирать...

Сначала все сидели в моей громадной столовой, пили чай и мирно обсуждали исход какого-то осложнения на Балканах...

Потом перешли в гостиную, разбились на группы и стали доканчивать разговоры, начавшиеся в столовой.

Около меня сидели двое — инженер и адвокат — и обсуждали фразу одного из них, что «славянские государства — это какое-то гнездо ос».

— Вообще, мы, славяне, — пожал плечами адвокат, — народ вздорный, непрактичный и тупой... Стыдно сознаться, но это так.

Инженер недовольно поморщился.

— Гм... Видите ли, я сам славянин и не соглашусь с тем, что вы сказали о славянском племени... Конечно, те, которые сами чувствуют в себе эти черты...

Адвокат побагровел.

— Слушайте, милостивый государь!.. Если я вас правильно понял...

— Да, да, — резко рассмеялся инженер, — вы совершенно правильно поняли меня! Человек, который унижает великое племя, считающее его своим, человек, характеризующий это племя вздорным и тупым, — вероятно, выводит это печальное заключение на основании автобиографических данных.

— Вы за это ответите! — вскричал адвокат, хватая инженера за руку.— Такие оскорбления смываются кровью!!

— Прочь грязную лапу! — заревел инженер. — С удовольствием прострелю твою ограниченную, лишенную высоких мыслей голову.

Разговор этот был так неожидан, что я не успел даже замять его.

Адвокат вскочил, отошел в сторону и стал шептаться с полным красивым офицером. До меня долетели слова:

— Вы не откажетесь, конечно, полковник, быть свидетелем?..

— О, с удовольствием... Другого я сейчас найду.

Адвокат отошел, а полковник остановил проходившего мимо сына банкира и шепнул ему:

— На одну минуту!.. Затевается дуэль... Надеюсь, вы не откажетесь быть вторым свидетелем, вместе со мной.

Банкирский сын свистнул.

— Ду-эль?.. Какие же это идиоты вздумали подставлять свои лбы под пули?..

— Милостивый государь! — раздраженно возразил полковник. — Я бы попросил вас умерить выражения там, где дело касается моих друзей... Это, по меньшей мере, бестактно!

— Прошу без замечаний! — вспыхнул его собеседник. — Если вы носите военный мундир, то это не значит, что вы можете говорить чепуху! Тоже, подумаешь: бестактно.

— Ах, так?.. — с трудом сдерживая себя, прошипел полковник. — Надеюсь, что все вами сказанное обязывает вас, как честного человека...

— Пожалуйста! — пожал плечами банкирский сын. — Я хотя и не военный, но пистолет держать умею!..

— Ладно! Жду ваших свидетелей!..

Банкирский сын, с дрожащими от негодования губами, отошел к столу и нагнулся к сидящему за столом студенту.

— Миша... Неприятная история! У меня, кажется, дуэль. Ты не откажешься быть секундантом?

Миша подумал.

— Извини, брат, но откажусь. У меня на носу экзамены, а если я впутаюсь в эту историю — Бог весть, чем она кончится.

— Ну, вздор — экзамены. Неужели, ради меня, ты не сделаешь этого?

— Ей-Богу, милый, не могу.

Банкирский сын криво усмехнулся.

— Не можешь?.. Скажи прямо — трусишь.

— Ну-ну, брат... полегче! За такие слова — знаешь?

Шепот их перешел в бешеное шипенье и свист. Как две разъяренные пантеры, отскочили они друг от друга, и студент, ни минуты не медля, быстро подошел ко мне.

— Что? — спросил я изумленный, сбитый с толку. — Небось, секундантом хотите пригласить? Слышал, все слышал... Да что вы, господа, белены объелись, что ли?

— Вы можете не соглашаться, — угрюмо сказал студент, — но таких выражений я не допущу. Нужно быть бесцеремонным идиотом, чтобы, в качестве хозяина...

— Довольно! — вскричал я. — В качестве хозяина я не могу хорошенько отколотить вас, но завтра я пришлю вам своих друзей...

К нам подлетели четыре человека.

— Не согласитесь ли вы... — начал один.

— Быть, — успел вставить другой.

— Секундантом, — докончили двое.

— Куда вы лезете, — оттолкнул первый второго. — Я его приглашал первый, а не вы!

— Что?! Толкаться? Да знаете ли вы, что подобные поступки смываются кровью....

— Сделайте одолже...

— Ой! кто это на ногу наступил?

— А вы не подставляйте.

— Ах, так! Я вас хотя не знаю, но вот вам моя карточка...

— А вот моя, черт вас дери!

В гостиной стоял невообразимый шум... Все вопили, бешено брызгали слюной, ругались и толкали друг друга. Большинство гостей наступало на меня, спрашивая, где я мог достать так много грубиянов, мужиков и бестактных ослов.

В ужасе схватился я за голову и выбежал в другую комнату... Возмущенные гости выбежали за мной. Я упал в кресло с закрытыми глазами и долго сидел так.

А когда открыл их, то увидел, что около меня стоит вызвавший меня на дуэль студент и миролюбиво говорит мне:

— А ведь я, мне кажется, погорячился... Вы уж меня простите! Я готов извиниться.

— Помилуйте, — радушно сказал я. — Ну, какие там извинения... Я сам виноват.

Около нас инженер держал адвоката за пуговицу и, пожимая плечами, говорил:

— В сущности говоря, вы правы: конечно, славяне, в общем, тупы и не практичны... Чего это я давеча на вас набросился...

— Ну, все-таки — я вас понимаю. Обидно! — бормотал, сконфуженно глядя вниз, адвокат. — Мне не следовало этого говорить. Извиняюсь и думаю, что все будет забыто. Вашу руку!

К студенту Мише подошел банкирский сын и, красный от смущения, сказал:

— Свинья я, Миша! Ударь меня по физиономии!

— За что? — удивился Миша. — Скорее я был не прав. Пожалуй, если хочешь, я действительно буду секундантом у тебя.

— Не надо, дорогой, любимый Миша. Уже не надо. Я помирился с этим симпатичным славным полковником.

Всюду были ласковые улыбки и дружеский шепот. Полное спокойствие воцарилось среди нас.

——

Маленький, седой господин замолчал.

— Вот она какая история-то!

— Да в чем же дело-то? — с живым недоумением воскликнул Павлов.

— Как... в чем дело? — удивился старичок. — Разве я вам не сказал? Все дело в гостиной, где мы были раньше, и приемной, куда мы потом перешли.

— Э, черт! Да что же там такое было?

— Неужели вы не догадываетесь? Гостиная была оклеена темно-красными обоями, с ярко-красной мебелью, а приемная у меня окрашена белой краской.

— Ну?!!

Старичок хитро посмотрел на нас.

— Цвета-то... Влияют как на настроение! Не правда ли?

Павлов негодующе пожал плечами:

— Если красный цвет действует возбуждающе, белый умиротворяюще, то зеленый вредно действует на человеческое воображение, — заставляя бесстыдно лгать!

Я обвел глазами комнату, в которой мы сидели. Она была зеленая.

ИСЧАДИЕ ГОРОДА

I

Среди пугающего неожиданного завывания автомобильных гудков, бешеных звонков трамваев, немолчного топота лошадиных копыт, мелькания электрических лампочек и головокружительного верчения кинематографических лент, среди несущейся по громадным улицам обезумевшей от желания жить толпы, среди театров с пряными, развратными, испорченными, как старый сыр в угоду гурману, — пьесами, среди всего этого бродят растерянные люди с потухшими тусклыми взорами, и никто не подозревает — какие странные, неслыханные болезни носят они в себе...

——

Учитель гимназии Сверкалов надевал перед зеркалом воротничок и что-то мурлыкал тоненьким голоском.

Жена посмотрела на него и дружески усмехнулась.

— Что? Предвкушаешь ряд веселых минут и вечер приятного отдохновения? Смотри — не опоздай!

Про себя она подумала:

— Пусть скорее уходит. Я тогда сейчас же засяду за вышивание туфель ко дню его именин... Надо, чтобы он ничего не подозревал о туфлях.

В это же самое время Сверкалов почувствовал в груди страшную тяжесть, в ногах дрожанье, а сердце похолодело, как кусок льда.

— Что это значит? Что это? — прошмыгнула быстрая мысль в голове. — Почему она сказала: «смотри не опоздай». Что это значит «ряд веселых минут и вечер приятного отдохновения»?.. Что она имела в виду?

Сверкалов задумался, потупив омраченное лицо.

— Не думает ли она, что я еду к Ликушиным ради самой госпожи Ликушиной?.. Не думает ли она, что между нами что-то есть? Какой вздор!! Если оно так — необходимо рассеять это нелепое подозрение...

— Скажи откровенно, — спросил с наружным хладнокровием Сверкалов. — Как ты находишь madame Ликушину?

Взгляд его сверлил жену.

— Как? Да ничего. Она милая, — равнодушно отвечала жена. — Еще может нравиться.

— Что это такое? — похолодел Сверкалов. — Что значит этот намек?

Жена в это время думала о туфлях и вздрогнула, когда муж схватил ее за руку.

— Знай же, что я эту Ликушину ненавижу! Она мне противна!

Жена удивленно взглянула на него.

— Почему? Что она такое сделала?

К Ликушиной Сверкалов был совершенно равнодушен, и вопрос жены застал его врасплох.

— Подозревает, — заледенело сердце. — Так и есть — подозревает... Ты спрашиваешь — почему?

И, чтобы отвлечь от себя всякое подозрение, бедный учитель гимназии махнул на все остальное рукой:

— Потому что у нее есть любовник.

Жена пожала плечами и усмехнулась.

— Да тебе-то что... Ведь не влюблен же ты в нее?..

— Почему ты это спросила?! — быстро-быстро заговорил Сверкалов, хватая жену за руку. — Что это значит? Неужели ты подозреваешь?.. А? А? Говори...

— Бог с тобой, — удивилась жена. — Я только не понимаю, с чего ты так волнуешься... Я ведь знаю, что ты любишь меня...

— Что это? — внутренне дрожал Сверкалов. — Искренность или ирония?.. Что она думает? О, я бы много дал, чтобы узнать, что она думает?..

Тут же он решил окончательно рассеять подозрения жены.

— Ты знаешь, между прочим, что Ликушина имеет целую челюсть вставную... Брр!.. И волосы красит.

Думая о туфлях, жена машинально спросила:

— Да? Откуда ты знаешь такие подробности?

В груди Сверкалова что-то оборвалось. Похолодело.

— Конец!.. У нее самые определенные подозрения.

Не попадая рукой в рукав пиджака, Сверкалов подозрительно и злобно закричал:

— Что ты пристаешь ко мне с Ликушиной? Что это значит?

— Господи! Да кто ж к тебе пристает. Ты сам же начал о ней разговор. Чего ты волнуешься? Не буду же я ревновать тебя к Ликушиной.

— Конец! — охнул внутренно Сверкалов. — Гибель!

Схватился за голову и выбежал из дому...

II

Севши в трамвай, Сверкалов первым долгом вынул двугривенный и стал держать его на виду, весь замирая от опасения, что в нем могут заподозрить пассажира, желающего прокатиться без билета.

Кондуктор раза два промелькнул мимо него, отбирая деньги у других, а Сверкалов тянулся за ним, беспокойно повторяя:

— Получите же с меня... Почему вы не берете с меня?!

Наконец кондуктор протянул руку к Сверкалову. Взял его двугривенный, повертел в руках и, равнодушно возвращая, сказал:

— Пожалуйста, перемените. Это оловянный.

— Конец, — оборвалось внутри у Сверкалова. — Он, наверное, думает, что я нарочно хотел подсунуть ему фальшивый... Черт знает что! Еще, пожалуй, подумает, что я сам и сделал его... Какая гадость.

Сверкалов ненатурально засмеялся, взял обратно деньги, вынул другие и сказал:

— Это мне подсунули где-нибудь. Вот, получите.

И, посмотрев на застывшее лицо кондуктора, заискивающе спросил:

— Что, много у вас работы?

Сейчас же стало ясно, что вопрос, после случая с двугривенным, совершенно нелеп и неуместен. Нужно было загладить его.

Сверкалов снова вынул из кармана оловянный двугривенный, осмотрел его и сказал:

— Ей-Богу, как настоящий! Ха-ха! А вы, небось, думаете — вот, мол, барин хотел всучить под шумок фальшивый двугривенный... А? Говорите, черт вас возьми... думали?..

Во рту накипала скверная горечь.

— Зачем я это говорю? Глупо, бессмысленно. Ведь я, действительно, тянулся за кондуктором так настойчиво, будто в самом деле хотел сплавить двугривенный... Боже! Как тяжело!.. Как гадко...

Так как Сверкалов был уверен, что его соседи подозревают в нем фальшивомонетчика, то — посмотрел на полного блондина в очках и сказал:

— Вот я — имею в гимназии службу, зарабатываю тысячи две, человек более или менее обеспеченный... А каково бедному, если ему попадется фальшивый двугривенный... Не правда ли? Мне-то ничего... служба, доверие начальства... Гм...

Полному господину нужно было сходить на остановке. Он недоуменно посмотрел на Сверкалова, встал и вышел.

— Конец! — по своей привычке охнул Сверкалов. — Гибель!

Не дожидаясь следующей остановки, он выскочил из трамвая и остальную часть пути, с тяжелым сердцем, прошел пешком.

III

Горничная попросила Сверкалова в кабинет Ликушина.

— Барин говорит по телефону... сейчас придет.

Сверкалов сделал несколько шагов по кабинету, подошел к столу и стал рассматривать разные безделушки... Взял машинально какое-то кожаное потертое портмоне и стал рассеянно вертеть его в руках.

Сзади раздался неожиданный голос:

— А! Вы здесь!..

Сверкалов вздрогнул и выронил портмоне.

— Не беспокойтесь, — сказал Ликушин, быстро нагибаясь. — Я подниму.

— Конец! — заскрежетал зубами Сверкалов. — Что он подумает? Что он может подумать? Застал меня одного в кабинете, с чужим портмоне в руках... Господи, как это противно... Как гнусно!..

— Портмоне рассматривал, — болезненно улыбаясь, сказал он. — Очень замысловатая штука.

— Что вы, — небрежно возразил хозяин. — Самая примитивная штука: нажать сверху пружину — оно и раскроется!

— Да? — задрожал внутренне Сверкалов. — Не думаешь ли ты, что и я нажимал пружину и лазил внутрь?.. Этого только еще недоставало...

— А мне его не удалось открыть, — заявил он угрюмо.

Хозяин отложил портмоне в сторону и взял гостя за руки.

— Да? Ну, как поживаете, мой дорогой? Что поделывали последнее время?

— Кошельки чужие открывал, — болезненно усмехнулся про себя Сверкалов. А вслух сказал:

— Ничего. Скажите, где вы купили это портмоне?.. Я бы очень хотел приобрести себе такое. Я его поэтому и рассматривал!

— Господи! Да в самом паршивом магазине можно его купить... Что это вы так заинтересовались этим портмоне?

Сверкалов, бледный, с прыгающими губами, нагнулся к хозяину.

— Почему заинтересовался? Не думаете ли вы, что я хотел ознакомиться с его содержимым? А? Вы уж говорите прямо?

— Как он глупо шутит, — поморщился внутренно Ликушин. — Ха-ха, милейший! Немного же заработали бы вы!.. Там какая-то мелочь... Жена ваша здорова?

— Здорова, — отвечал отрывисто Сверкалов. — С вами случалось когда-нибудь: взял в руки какую-нибудь вещь — совершенно машинально... Начинаешь ее вертеть в руках и только потом с удивлением спохватишься: Э! Как эта вещь попала тебе в руки?!. Случалось?

— Не помню, — удивился Ликушин. — А что?

— Да, так спрашиваю. Кстати, знаете, я скоро получаю от тетки наследство. Так что в деньгах совершенно не нуждаюсь...

В кабинет вошла хозяйка дома и поздоровалась со Сверкаловым.

— Хе-хе! — сказал Сверкалов. — Почему же вы, Дмитрий Павлыч, не расскажете супруге о только что происшедшем забавном инциденте... Представьте, прихожу я, — Дмитрия Павлыча нет... Беру совершенно машинально это портмоне, вдруг входит он. Я, от неожиданности, роняю портмоне, и мне сделалось смешно: вдруг Дмитрий Павлыч подумает, что я хотел вытащить содержимое кошелька и был застигнут на месте преступления.

Ликушин внимательно взглянул на Сверкалова.

— Да почему вы придаете такое значение этому пустяку? — медленно спросил он.

— Подумал! — оборвалось сердце. — Раньше не думал и не придавал значения, а теперь после моих бестактных разговоров и объяснений что-то подозревает. Теперь — конец!.. Гибель!

Сверкалов выхватил из кармана бумажник и закричал:

— У меня есть деньги... Вот триста рублей!! Я в чужих не нуждаюсь... Не думайте!.. Не ду-у-у...

Упал в кресло и закатился долгой томительно жуткой истерикой.

Ликушины забегали, схватили воду, терли виски, охали и недоумевали.

IV

За окном был веселый, ликующий праздник: торжествующе гудели автомобили, сверкало электричество и тревожно-радостно звонили трамваи, празднуя грубую победу над человеком.

АНЕКДОТЫ ИЗ ЖИЗНИ ВЕЛИКИХ ЛЮДЕЙ

Памяти Марка Твена

I

Недавно один знакомый сказал мне:

— После смерти Марка Твена в печати появилось несколько анекдотов из его жизни. Все газеты перепечатывают их, а читатели покатываются со смеху. Ну и забавник же был этот знаменитый юморист! Читали?

— Не читал. Смешно?

— Да уж так смешно, что мы за животики держались. Вечно он что-нибудь этакое выкинет. Подождите... не помню ли я? Ну, конечно, припомнил! Например, такой анекдот: к нему очень приставали разные лица с просьбами — дать свой автограф. Он раздавал их направо и налево, но вскоре узнал, что его автографы продаются за большие деньги, служа предметом корыстного торга. Он был так возмущен этим, что одному господину из числа спекулянтов, который обратился к Твену с просьбой об автографе, — ответил письмом, написанным на пишущей машине. В этом письме Твен негодовал на то, что его автографами торгуют, и называл такую торговлю позорным явлением. Хо-хо-хо!

Я терпеливо переступил с ноги на ногу.

— Ну? Ну-ну?

— Да что — ну? вот и все.

— А анекдот-то где же?

— Тут же. Это и есть анекдот.

И он стал хохотать, корчась и размахивая руками в припадке истерического веселья.

Я ушел от него и вскоре встретился с другим знакомым.

— Я думал, — еле сдерживая улыбку, заявил другой знакомый, — что Твен был только юмористом в литературе... Но оказывается, что он был таковым и в жизни. Последний анекдот о Твене, перепечатанный всеми газетами, немало распотешил читателей и доставил им много веселых минуточек. Не слышали?

— Не помню, — подумав, сказал я. — Какой анекдот?

— О его женитьбе! Ха-ха!

Мой собеседник сел на скамью, уткнул голову между колен и весь задрожал от хохота.

— До сих пор не могу вспомнить спокойно! Ха-ха! Влюбился знаменитый юморист в одну девушку и попросил у ее отца руки дочери таким образом: «Вы ничего не замечаете?» — спросил Твен отца. «Ничего», — отвечал отец. «Понаблюдайте внимательней, — может быть, и заметите».

Оглушительный припадок хохота прервал рассказ моего знакомого. Он кашлял, раскачивался и в изнеможении отмахивался руками.

— Да я вас слушаю, — поощрил я его. — Продолжайте.

— Да я и кончил, — отдышавшись, сказал он. — Это и есть анекдот о женитьбе Марка Твена.

Я скромно молчал.

— Однако вы невеселый человек, — обиженно заметил знакомый. — Вас ничем не проберешь. Разве что на вас может подействовать шутка Твена со своим тестем.

Это уж такая вещь, которая даже мертвого заставит расхохотаться. Однажды тесть подарил Марку Твену большой дом. Знаменитый юморист поблагодарил его и прибавил: «Если вам когда-нибудь вздумается приехать к нам погостить — для вас всегда найдется теплый угол».

— Весь анекдот? — осторожно спросил я.

— Весь. Хе-хе! Так и говорит: «для вас, говорит, всегда найдется теплый угол».

— Больше никаких анекдотов о Твене не имеется?

— Есть еще один. Об автографах. Тоже препотешный, признаться.

— Об автографах я уже знаю, — задумчиво возразил я. — Не надо рассказывать. До свидания.

Весь тот день я был задумчив.

— Как это могло случиться, — думал я, — что такой безмерно веселый всемирный юморист оставил после себя такие странные унылые анекдоты? Одно из двух: или они кем-либо выдуманы после смерти Твена, или Твен действительно имел в жизни эти три случая, но ни в одном из них не думал острить, поступая так, как поступил бы всякий другой обыкновенный человек. А кто-то подслушал разговор с тестем, прочел деловое письмо к спекулятору автографами, да и вообразил, что это и есть анекдоты. И записал их. И напечатал. И перевели. И смеются.

Я слишком люблю Твена и чту его память, чтобы оставить покойника с такими вялыми скучными анекдотами.

Я решил придумать другие анекдоты для веселого, остроумного Твена. Я твердо верю, что он заслуживает большего. Мне кажется, что такой бриллиант должен быть в лучшей оправе, чем та — из тяжелых неуклюжих булыжников, — которой его окружили бестактные неумелые почитатели.

Написать несколько анекдотов для меня не стоило большого труда — стоило только порыться в своей памяти и вспомнить все те шуточки, которые случалось мне отпускать в веселой компании. Я твердо уверен, что за мной никто не ходил по пятам и не записывал сказанного мной, без чего, все равно, все мои остроты погибли бы для света. А так они, по крайней мере, принесут пользу светлой памяти веселого Твена.

II

Спустя некоторое время после этого в газетах появилась новая серия свежих анекдотов о Твене. Вот некоторые из них:

По одному источнику

Сидя в одном обществе, Твен потешал слушателей веселыми шутками и анекдотами.

Один из слушателей, позавидовав Твеновым лаврам, заявил:

— Я сегодня тоже сочинил препотешный анекдотец. Вы позволите его рассказать вам?

И он начал рассказывать какую-то смешную историйку, но на половине был остановлен Твеном.

— Постойте! Мне кажется, что я смогу докончить придуманный вами анекдот.

И к великому восторгу и смеху публики великий юморист тут же блестяще закончил начатую его завистником историю.

Все были поражены талантливым проникновением Твена в мысли рассказчика.

А Твен застенчиво покраснел и скромно заявил:

— О, это сущие пустяки! Дело в том, что у меня и у него в кабинетах висит отрывной календарь, очевидно, одного и того же издания.

Портрет

Однажды Твен и его приятель совершали загородную прогулку на велосипедах. По близорукости Твен налетел на какой-то предательский камень и покатился под откос вместе с велосипедом.

Его приятель, как завзятый спортсмен, первым долгом заинтересовался состоянием велосипеда.

Он крикнул сверху:

— Цела ли рама, дружище?

— Рама-то цела, — отвечал Твен из оврага... — Но зато портрет, кажется, вдребезги!

Самоубийца

Однажды Твена спросили:

— Покушались ли вы когда-нибудь на самоубийство?

— Да, — серьезно ответил Твен. — Единственный раз в жизни. Это было во время моего путешествия по России, — в Москве. Взгрустнулось мне — я и решил.

— Каким же образом вы покушались?

— Я пытался утонуть, спрыгнув с Кузнецкого моста.

Вся соль твеновского ответа заключается в том, что «Кузнецким мостом» в Москве называется обыкновенная улица без всякого признака не только моста через воду, но даже и капли какой-нибудь воды.

Разница

Твен несколько раз обещал издателю одной американской газеты написать рассказ, но все время что-нибудь мешало ему.

— Помилуйте, — сказал однажды издатель. — Такой великий человек и вдруг — обманывает!

— Чем же я велик? — удивился Твен.

— Ну да! Вы для Америки были тем же Робинзоном Крузо, который, попав на необитаемый остров, первый возделал и украсил этот остров.

— Ну, между мной и Робинзоном Крузо большая разница, — отвечал Твен, подумав. — У него на всю жизнь был один Пятница, а у меня на одной неделе семь пятниц!

III

Когда вышеприведенные анекдоты о Твене появились в печати, они вызвали общий восторг и удовольствие.

Печатая эти анекдоты, газеты сопровождали их такими предисловиями:

— Неувядаемый юмор в творениях великого юмориста, оказывается, был его спутником и в обычной жизни. Его маленькие шутки, расточаемые в разговорах с друзьями и знакомыми, — настоящие перлы! В них сразу можно узнать незлобивый смех и веселье великого американца. Вот некоторые из этих перлов...

И тут же приводились истории с портретом, календарем, Кузнецким мостом и Пятницей.

Сначала эти похвалы льстили моему самолюбию, а потом мне сделалось обидно.

Все хвалили покойника Твена, а меня никто даже не потрепал по плечу. Ни одна газета даже и не подумала приписать хотя один рассказанный анекдот — мне, как владельцу его и автору.

Я был в тени.

Тогда я пошел в одну редакцию и заявил:

— А ведь анекдоты-то о Твене — это мои. Я их отчасти выдумал, а отчасти некоторые истории действительно со мной случились. Я их и тиснул под маркой Твена. А теперь я не хочу больше. Прошу меня разоблачить в вашей газете!

Но редактор хладнокровно возразил мне:

— Эти анекдоты прославились постольку, поскольку они принадлежали всемирно остроумному великому Твену. А если эти истории случились с вами — никому они не нужны и никто бы их и не напечатал! Подумаешь — кому интересны эти черты из вашей биографии!

— Почему же не интересны? — огорченно спросил я.

— Да потому, что вы никому не известный маленький человек. Когда сделаетесь знаменитым и прославитесь — тогда другое дело...

Я круто повернулся спиной и пошел делаться знаменитым и прославляться. (Между прочим, могу сознаться, что это ужасно трудно.)

IV

Ради заработка я изредка сочиняю анекдоты о великих людях. Так как тратить на этих великих людей лучшие из своих выдумок и анекдотов не имеет смысла (может быть, они мне самому пригодятся впоследствии) — я пускаю в оборот следующие вещи, тем не менее приводящие невзыскательную публику в восторг.

О Суворове

Однажды Суворов перед битвой с французами спросил встречного солдатика:
— Как думаешь — побьем басурманов?
— Так точно! — отвечал бойкий солдатик.
Великий полководец тут же дал ему серебряный рубль и сказал:
— Ну, ступай.

О Петре Великом и шуте Балакиреве

Как известно, великий преобразователь никогда не расставался со своей знаменитой дубинкой.

Однажды пуговица с его камзола оторвалась и закатилась под стол.

Великий основатель Петербурга нагнулся, пошарил дубинкой под столом и достал пуговицу.

Находившийся поблизости шут Балакирев спросил:
— Ну, что, Алексеич, нашел пуговицу?

О Гоголе

Однажды великий сатирик пришел к знакомым.
— Какова погода? — спросили его.
— Дождь идет, — отвечал незабвенный творец «Ревизора».
И тут же повесил мокрый плащ на гвоздик.

Вот что я пишу и печатаю о великих людях.

Сам же я, признаться, в частной жизни говорю вещи гораздо более ценные, веселые и достойные всяческого внимания.

Но они так и гибнут бесследно. Что ж...

ДУРНАЯ НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ

Жена пришла в кабинет мужа и, упав в кресло, глухо зарыдала.
— Что случилось? — в ужасе спросил муж.
— Сын... Ваня... Горе! Горе наше...
— Заболел, что ли?
— Нет, не заболел, — сдерживая рыдания, отвечала мать. Устремила распухшие заплаканные глаза на лампу и, сквозь всхлипывания, стала тихо рассказывать:
— Вчера еще вечером... ничего не было заметно... Поужинал, как всегда, лег спать. Нынче тоже... пил чай... гулял. А недавно... приходит ко мне... часа два тому назад... Не узнаю: глаза так странно блестят и руки болтаются, как на ниточках. Что ты, — говорю, Ваничка? «Маменька, — говорит он мне... — Маменька! Извините, говорит, меня, но я буду писать драму!»

Муж судорожно вскочил, и кресло с глухим стуком отлетело в сторону.

— Что-о?!!

Жена покорно и скорбно качнула головой.

— Да, — говорит: «Драму хочу писать». — Ваничка, — говорю я ему, — Ваничка! Подумай, что тебе такое вскинулось! Мыслимо ли? Я обер-офицерская дочь, отец в банке служит, а ты... И заплакала! Слезы у меня—кап-кап! Что же ты с нами, старыми, делаешь? Зачем фамилию нашу позоришь?— «Маменька, — говорит, — такая уж моя судьба, чтобы написать драму».

Наступила жуткая тишина.

Отец, склонившись на стол, тихо, беззвучно плакал.

— Господи! За что? Того ли я ожидал себе на старость? Да лучше бы я тебя своими руками в колыбе...

Он схватился за голову.

— Это мы сами виноваты! Подумали ли мы о том, какую наследственность даем своему ребенку? Могли ли мы жениться, когда у меня тетка была слабоумная, а отца твоего уволили с военной службы за алкоголизм?! За грехи предков... Ха-ха-ха!

Жуткий хохот обезумевшего от горя отца гулко прокатился по кабинету.

* * *

В маленькой мрачной комнате сидел за столом молодой человек и, пугливо озираясь, писал.

Около дверей то и дело беззвучно шмыгала его мать и, вытирая красные глаза, шептала мужу, уныло сидевшему в уголке кабинета:

— Пишет! Второй акт дописывает!

— Пишет... Воззри, Господи, яко на Иова многострадального! Ты видишь — не ропщу я... Все в руце Твоей!

Время от времени молодой человек, опустив голову, проходил в кухню, выпивал пересохшими губами кружку воды и опять возвращался к столу.

— Ваничка... — простирал к нему руки отец. — Ваничка! Дитя ты наше разнесчастное!

Скоро новость о том, что молодой человек пишет драму, разнеслась по всей улице. Когда он однажды спустился в лавочку, чтобы купить бумаги (прислуга категорически отказалась от этого), лавочник встретил его угрюмо и неприветливо:

— Родителей ваших знаю, достойные люди... А вы, накося, что выкидываете... Драму пишете!

Молодой человек улыбнулся бледной виноватой улыбкой и попробовал отшутиться:

— Тебе же лучше, Кузьмич: на бумаге деньги заработаешь!

— Не хочу я этих денег ваших. Проклятые это деньги! Душу они выжгут.

Когда молодой человек возвращался домой, его встретила ватага мальчишек.

— Глиста чертова! Драму пишет!

— Энтот?

— Он самый. Дармодел, кочерыжкина голова!

— Свистни его камнем. Фьють!!!

— Улюлю!

Под ноги ему полетели камни, палки.

Молодой человек побежал домой, но под воротами дворник выплеснул ему на голову из чайника кипяток, будто бы нечаянно... А соседская кухарка, поднимаясь по лестнице, увидела его, покачала головой, сунула ему в руку копейку, перекрестилась и прошептала:

— Несчастненький...

* * *

Когда он дописал четвертое действие, мать его не вынесла потрясения и тихо умерла со словами прощения на добрых материнских устах...

Окончив драму, молодой человек завернул ее и, крадучись, пошел в цензурный комитет.

— Что прикажете? — встретил его курьер.

— Драму принес.

— Фу, ты, пропасть! А я думал, что... Нечего здесь... Пойди, на приступочках посиди. А то тут одежа висит, как бы ты не стянул грешным делом.

Он вышел, сел на ступеньках и худой, с поджатыми губами, упорно сидел два часа.

Потом пришел цензор. Молодой человек назвал свое имя и протянул цензору руку, но тот спрятал свои руки в карманы и, брезгливо глядя на рукопись, сказал:

— Драма?

— Драма!

— Зачем?

— Так.

— Вы сапоги умеете чистить?

— Нет...

— То-то и оно. Сапог не умеете чистить, а драмы пишете... Не глядели бы мои глаза на эту публику. Уходите!

* * *

Потом он принес свою драму в театр, антрепренеру. Как раз шла генеральная репетиция, и плотники переставляли декорации. Узнав, что он принес драму, они потихоньку уронили ему на голову боковую кулису, а потом опустили под ним люк.

Он кротко вынес все это и, сопровождаемый насмешками и бранью, добрался до антрепренера.

— Чем могу служить? — спросил антрепренер.

— Я вам драму принес.

— Дра-аму? Для чего же она нам, ваша драма?

— Поставить бы у вас?

— Да для чего же мы ее будем ставить?

— Другие же драмы вы ставите? — робко спросил молодой человек.

— Сплошная дрянь! Ставлю потому, что нужно же что-нибудь ставить.

— Хе-хе! — заискивающе засмеялся молодой человек. — Вот, может, и мою поставите. Позвольте вам ее вручить!

Антрепренер взял завернутую в толстую бумагу драму и, не разворачивая, осмотрел сверток.

— Тоже дрянь! Не подойдет.

— Но, ведь, вы еще не читали?!

— Да уж я знаю, будьте покойны! Наметался на этом деле. Скверная драма. Наверняка, провалится. Савелий, проводи их.

* * *

Возвращаясь обратно, молодой человек купил портфель, пришел домой и положил написанную драму в этот портфель. Потом спустился вниз, купил в лавочке бумаги и принялся писать новую драму.

Отец, сидя в своем кабинете, долго крепился. Наконец, однажды, когда сын писал четвертую драму, он потихоньку зашел в его комнату, упал перед ним на колени и хрипло зарыдал:

— Ваничка, прости, Христа ради, меня и твою покойную мать! — сказал он, плача. — У меня тетка слабоумная, а у нее отец алкоголик... Прости нас.

ОДИНОКИЙ ГРЖИМБА

I

Тот человек, о котором я хочу написать — не был типом в строгом смысле этого слова. В нем не было таких черт, которые вы бы могли встретить и разглядеть на другой же день в вашем знакомом или даже в себе самом и потом с восхищением сказать присутствующим:

— Ах, знаете, я вчера читал об одном человеке — это типичный Петр Иванович! Да, признаться, есть в нем немного и Егора Васильевича... Хе-хе!

В этом смысле мой герой не был типом. Он был совершенно оригинален, болезненно нов, а может быть, — чрезвычайно, ужасающе стар.

Мне он представлялся удивительным осколком какого-нибудь распространенного несколько тысяч лет тому назад типа, ныне вымершего, исчезнувшего окончательно, за исключением этого самого Гржимбы, о котором речь идет сейчас. Везде, где появлялся Гржимба, он производил впечатление странного допотопного чудовища, чудом сохранившего жизнь и дыхание под многовековым слоем земли, и теперь выползшего на свет Божий дивить и пугать суеверный православный народ.

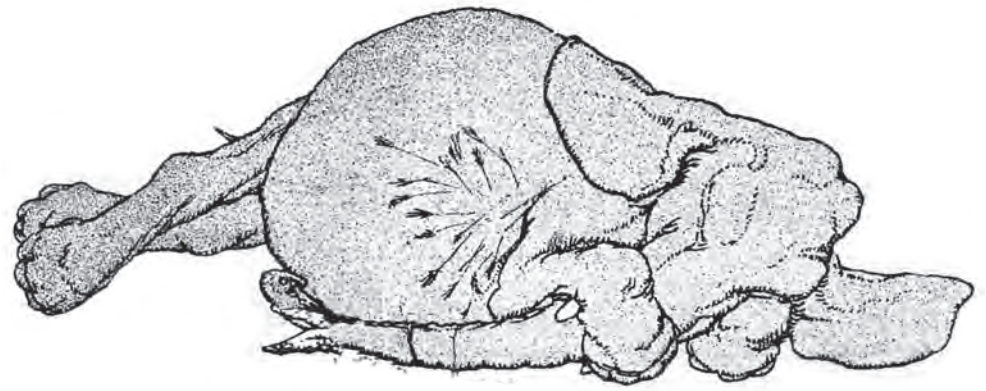
И еще — я находил его похожим на слона-одиночку. Африканские охотники рассказывают, что иногда от слоновьего стада отбивается отдельный слон. Он быстро дичает, мрачнеет, становится страшно злым, безрассудно свирепым и жестоким. Бродит всегда одинокий, а если встречается со слоновьим стадом, то вступает в драку, и его, обыкновенно, убивают.

Гржимба был похож на такого слона.

Моя нянька сказала о Гржимбе другое.

Когда она немного ознакомилась с ним, то всплеснула морщинистыми руками, заплакала и воскликнула:

— Что же это такое! Бедненький... Ходит, как неприкаянный.



Нянька, да я — мы были единственными людьми, которые почему-то жалели дикого, загадочного «неприкаянного» Гржимбу.

А вообще его все считали страшным человеком.

II

Когда мне было 10 лет, мать моя держала гостиницу и меблированные комнаты в небольшом провинциальном городке на берегу широкой реки.

Однажды мы сидели за утренним чаем и занимались разсказываньем друг другу сновидений, пригрезившихся нам в эту ночь.

Мать, как женщина прямая, честная, рассказывала то, что видела в действительности: ей грезилась «почему-то лодка», и в этой лодке сидели наши соседи Хомутовы «почему-то» все в маленьких-маленьких платочках... и «почему-то» они говорили: «идите к нам!»

Я слушал мать лениво, рассеянно, придумывая в это время себе сон поэффектнее, позабористее, чтобы совершенно затмить простодушные маменькины лодочки и платочки.

— А мне снилось, — густым голосом прогудел я раскачивая головой, отчего моя физиономия, отражаясь в самоваре, кривлялась и ненатурально удлинялась, — мне снилось, будто бы ко мне забрались двенадцать индейцев и схватили меня, чтобы оскальпировать. Но я — не дурак — схватил глобус, да глобусом их. Ого! Убежали да еще томагавки забыли.

Я помолчал немного и равнодушно добавил:

— Потом слона видел. Он что-то орал и хоботом пожрал всех наших жильцов.

Мать только что собралась изумиться красочности и разнообразию моих грез, как на парадных дверях прозвенел резкий звонок.

— Пойди, открой, — сказала мать. — Я швейцара услала.

Я вскочил, помчался, издавая громкие, пронзительные, но совершенно бесцельные крики, подбежал к стеклянным дверям и... остановился в изумлении: за ними было совершенно темно, будто бы неожиданно вернулась ночь.

Машинально я повернул ключ и дверь распахнулась.

Послышалось урчанье, проклятие, и на линии горизонта моих глаз я увидел два нечеловеческих, чудовищно толстых колена. Мне пришлось сильно задрать голову, чтобы увидеть громадный, необъятных размеров живот, вздымавшийся, опадавший и опять раздувавшийся, будто бы в нем ходили какие-то внутренние волны.

Мне нужно было отбежать на десяток шагов, чтобы увидеть этого человека во весь рост. В то время он показался мне высотой в пять-шесть аршин, но после я узнал, что он был трехаршинного роста. Гора-живот переходила в гору-грудь, которая заканчивалась громадной шеей. А на шее сидела небольшая голова с круглыми, красными щеками, обкусанными усами и маленькими злыми глазками, которые свирепо прыгали во все стороны.

Голову покрывал поношенный цилиндр, и — что меня поразило больше всего — цилиндр держался на голове с помощью черной ленты, проходившей под подбородком.

Точь в точь, как пожилые дамы завязывают лентами старомодные шляпки.

— Мальчишка, — хриплым, усталым голосом небрежно уронил удивительный незнакомец. — Есть вино?

— Не знаю... — растерялся я. — Спрошу у мамы.

Я побежал к матери, а когда мы с ней вернулись, то нашли его уже в гостиной, сидящим на диване, со скрещенными на животе руками, ходившими ходуном вместе с животом, и расставленными далеко друг от друга огромными ножищами в пыльных растрескавшихся сапогах.

— Что вам угодно? — спросила мать, и по ее тону было видно, что она перепугана насмерть.

— Стакан вина.

— У нас вино внизу... Где общая столовая. Впрочем... (незнакомец в это время сердито заурчал).... пойди вниз, принеси им стакан вина.

Я принес бутылку белого вина и стакан.

Стараясь не подходить к посетителю близко, я издали протянул руки на сколько мог, именно таким образом, как в зверинце кормят страшных слонов.

Гигант взял бутылку и стакан. Стакан внимательно осмотрел, сунул в карман рыжего сюртука, а из бутылки вынул зубами пробку, выплюнул ее и сейчас же перелил содержимое бутылки в свою страшную пасть.

Я в это время смотрел на его живот: заметно было, что он оттопырился еще больше.

Посетитель презрительно осмотрел пустую бутылку, сунул ее в карман (потом оказалось, что он это делал со всяким предметом, приковывавшим его внимание) и отрывисто спросил:

— Жить можно?

— Вы хотите сказать, есть ли комнаты? — робко спросила мать. — Да, есть.

— Где?

— Пожалуйте, я покажу.

Мы пошли странной процессией: впереди катился крохотный, как горошина, я, за мной маленькая мать, а сзади колоссальная, стукавшаяся обо все притолоки своим цилиндром, туша незнакомца.

— Вот комната, — сказала мать, поворачивая ключ в дверях.

Незнакомец прорычал что-то, выдернул ключ, быстро вскочил в комнату, и мы немедленно услышали звук повернутого изнутри ключа.

— Вот тебе раз, — только и нашлась сказать моя бедная мать.

III

Когда пришел швейцар и проснулись некоторые квартиранты, мы рассказали им о нашем новом страшном жильце. Все были потрясены теми подробностями, на которые я не поскупился, и теми слезами, на которые не поскупилась мать.

Потом пошли на цыпочках слушать, что делается в комнате чудовища.

Оттуда доносилось заглушённое ворчание, проклятия и стук падавших стульев, будто бы жилец был чем-то недоволен.

Неожиданно ключ в замке повернулся, дверь приоткрылась, и мы все в ужасе отпрянули. В самом верху образовавшейся щели на головокружительной, как мне казалось, высоте, появилась голова, сверкавшая злыми глазенками, и хриплый голос проревел:

— Эй!! Горячей воды и полотенец! Чего вы, анафемские выродки, собрались смотреть на меня? Людей не видели, что ли?

Голова скрылась и дверь захлопнулась.

Слуга понес ему воду и полотенца, и потом, когда мы собрались в столовой, рассказал страшные вещи: жилец сидел в углу, в полной темноте и проклинал всех, на чем свет стоит, жалуясь на свою уродливость, толщину и тяжелую жизнь.

При появлении слуги, он схватил его за руку, оттащил от порога, а дверь снова запер на ключ. Вел он со слугой длинный разговор, главным образом, о еде, расспрашивал, много ли дают кушаний и можно ли здесь получить «настоящие порции»? Во время разговора беспрестанно мочил горячей водой полотенце и выжимал его на лицо и шею, перемежая это занятие отборной руганью. Потом свернул полотенце в жгут и стал бить им по столу, в такт длиннейшему разговору о жареной баранине и картофеле с хлебом.

— Я очень боялся, — озираясь, говорил нам слуга, — чтобы он не хватил меня по голове мокрым полотенцем. Тут бы из меня и дух вон!..

Обед принес матери новые огорчения.

Неизвестный потребовал себе в комнату двойную порцию, а когда ему налили громадную чашку щей и дали восемь котлет, он потребовал еще столько же, жалуясь, что это «не настоящая порция».

Дали ему еще.

А через час он прокрался в столовую, где как раз никого в то время не было, — и утащил к себе телячью ногу и два белых хлеба.

Обглоданную ногу я нашел в тот же вечер лежащей в коридоре, около дверей этого человека.

С большим трудом удалось взять у него для прописки паспорт: он не хотел пускать слугу в комнату, отчаянно ругался и рычал, как медведь.

По паспорту он оказался дворянином Иваном Гржимба и после паспорта показался нам еще таинственнее и ужаснее.

Ночью я долго не мог уснуть, раздумывая о неведомом, неизвестно откуда пришедшем Гржимбе и о его страшной судьбе. Ужасало меня то, что в нем не замечалось

ничего человеческого, ничего уютно-обыкновенного, что было в каждом из нас... Он не смеялся, не плакал, не разговаривал ни о чем, кроме еды, и, мне казалось, что много лет он уже так бродит с места на место, оторвавшийся слон от семьи других слонов, не понимаемый никем и сам ничего не понимающий.

Сейчас, среди ночи он представлялся мне сидящим в углу своей запертой комнаты и жалующимся самому себе на свою страшную судьбу.

— Зачем он обтирает шею мокрым горячим полотенцем? — пришло мне в голову. — Для чего это?

Я знал, что белых медведей в зверинцах, чтобы они не издохли, обливают холодной водой, и, не задумываясь, объяснил себе таким же образом и поведение Гржимбы.

— А вдруг, — подумал я, — горячая вода остынет, и Гржимба умрет?

Мне было жаль его. Нянька тоже жалела его.

«Неприкаянный»... Это верно, что неприкаянный. Что-то он теперь делает?

А Гржимба как раз в это время стоял у дверей детской и грозил мне кулаком.

Я был уверен, что это сон, но оказалось, что поведение Гржимбы было явью. После мы выяснили, что Гржимба ночью бродил по комнатам и отыскивал съестное. Жильцы слышали его тяжелое хриплое дыханье в коридоре, а утром мать не досчиталась в маленькой буфетной двух коробок сардин и банки варенья.

Коробки из-под сардин мы нашли в коридоре у его дверей. Очевидно, ключей для коробок у него не было, и он просто голыми пальцами разломил толстые жестяные коробки.

IV

Прошло три дня. Мать все время ходила мокрая от слез, потому что часть жильцов выехала, боясь за себя, а Гржимба не только не платил денег, но прямо разорял коммерческое предприятие матери.

Днем он съедал почти все, что было заготовлено в кухне, а ночью, когда все спали, бродил везде одинокий, чуждый, непонятный, бормоча что-то под нос и отыскивал съестное. К утру в доме не было ни крошки.

На четвертый день мать, по категорическому требованию оставшихся жильцов, заявила полиции о происшедшем, и в тот же вечер я был свидетелем страшной сцены: явилась полиция — бравая, бесстрашная русская полиция и застала она дикого, слоноподобного жильца врасплох. Он был одинок и безоружен, а полицейских с дворниками собралось десять человек, не считая околоточного.

К Гржимбе постучали.

— К черту! — заревел он.

— Отворите, — сказал околоточный.

— Кто там? Ко всем чертям. Прошибу голову и откушу пальцы! Проткну кулаком животы!

— Это я, — сказал околоточный. — Коридорный. Принес вам кой-чего поужинать...

За дверью послышалось урчанье, брань — и ключ повернулся в дверях.

Два дюжих городовых налегли на дверь, один просунул в щель носок сапога, и вся ватага с шумом вкатилась в комнату.

В комнате царила абсолютная темнота, а из одного угла за столом слышался страшный рев и проклятия, от которых дрожали стекла.

Черный гигант отломил кусок железной кровати и свирепо размахивал им, рыча, сверкая в темноте маленькими глазками.

— Бери его, ребята, — скомандовал околоточный.

Городовой подлез под стол, схватил громадные, как бревна, ноги и дернул... Гржимба пошатнулся, а в это время сзади, с боков обхватили его несколько дюжих рук и повалили на сломанную кровать. Он вырвался и еще долго сопротивлялся с глупым мужеством человека, не рассуждающего, что организованной силе все равно, придется покориться.

Когда его связали и вывели, комната имела такой вид, будто бы в ней взорвалась бомба. Мы, столпившись в углу, с ужасом смотрели на этого странного, никому не понятного, человека, а он рычал, отплевывался и, вздергивая головой, поправлял сползавший цилиндр, поломанный и грязный, державшийся на той же широкой черной ленте.

— Что же с ним делать? — спросил старший городовой околоточного.

— В Харьков! — рявкнул Гржимба.

— Что — в Харьков?

— В Харьков! Отправьте! Туда хочу!

И его увели, — эту тяжелую пыхтящую гору, окруженную малорослыми победившими его городовыми.

В ту ночь мы с нянькой много плакали.

Я представлял себе громадного вечно голодного Гржимбу без папы, без мамы, без ласки — бедного нахального Гржимбу, который насильно внедряется в разные дома, а его ловят, вытаскивают оттуда, причем он безуспешно пытается сопротивляться, и потом его высылают в другой город, как тяжелого, никому не нужного слона... И так бродит из города в город одинокий Гржимба — таинственный осколок чего-то, непонятного нам, — того, что, может быть, было несколько тысяч лет тому назад.

Откуда Гржимба? Где он одичал?

Нянька тоже плакала.

ВИНО

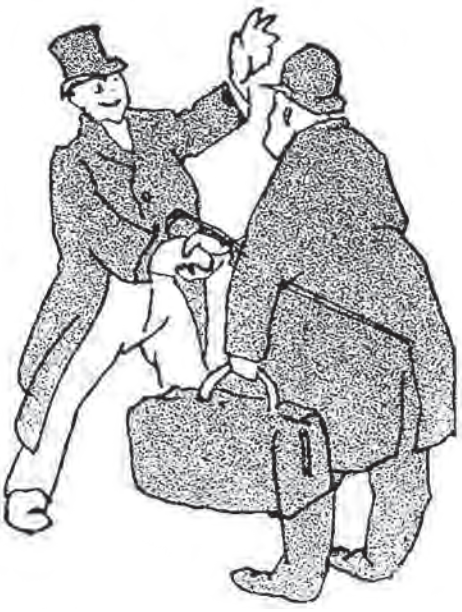
I

Литератор Бондарев приехал в город Плошкин прочесть лекцию о современных литературных течениях.

На вокзале Бондарев был встречен плошкинским жителем Перекусаловым — ветеринарным врачом и старым гимназическим приятелем литератора.

Перекусалов так обрадовался встрече с Бондаревым, что от него даже немного запахло вином. Он обнял Бондарева, отошел от него, раздвинул руки и, любуясь издали, со склоненной на бок головой, сказал:

— Ах, ты свинтус этакий! Эх, ты собака! Как возмужал!.. Какой сделался знаменитый! Боюсь, что ты всех тут с ума сведешь!.. У меня остановишься?



— Нет, в гостинице, — пожимая руку Перекусалова, ответил Бондарев. — У тебя жена, дети, и я боюсь стеснить тебя. Приезжай вечером с женой на лекцию.

— Он еще приглашает! Не только я буду, — но и инспектор народных училищ Хромов, и Федосей Иваныч Коготь, и член управы Стамякин! И жена Стамякина будет — прехорошенькое создание! Туземная царица красоты! Увидишь — влюбишься в нее, как собака.

Вечером после лекции ко мне отправимся — отпразднуем приезд, как это говорится, —столичной звезды! Ах, как я тебя люблю и всегда любил, милый Бондарь!

— Ты уже... обедал? — спросил Бондарев.

— А что? Нет, брат... на дорогу посошок выпил — перед встречей-то. Едем сейчас в отель Редькина. Там уж и пообедаем.

Вечером, читая лекцию, Бондарев видел в первом ряду сияющего, торжественного Перекусалова, рядом с ним краснолицего мясистого человека, оказавшегося, как потом выяснилось, обладателем фамилии Коготь, а еще дальше — маленького хилого Стамякина с женой, которая, действительно, была на редкость красивой, интересной женщиной.

Все эти люди неистово аплодировали Бондареву, радостно шумели, а Стамякин даже втайне гордился, что близко знаком с Перекусаловым, который в таких дружеских отношениях со столь известным литератором...

После лекции все поехали к Перекусалову ужинать,

II

Сначала гости дичились Бондарева и жались по углам, но когда он рассказал два-три смешных анекдота и какой-то пикантный петербургский случай — все оттаяли.

Обильный ужин, украшенный десятком бутылок с различными этикетками и разнообразным содержимым — окончательно сломал лед.

Все зашевелились, оживились.

Бондарев, сидя рядом с обаятельной Стамякиной, не сводил с нее глаз, подливал ей вина и без умолку рассказывал о Петербурге, о себе, сообщал тысячу смешных, забавных вещей, отчего Стамякина красиво усмехалась, придвигалась незаметно к Бондареву ближе и изредка бросала на него из-под трепещущих ресниц сладкий, доходивший до самого сердца, взгляд.

— Да ведь она прелестна, — думал Бондарев, оглядывая ее. — Хорошо бы увезти ее в Питер... Фурор бы...

Пили много, но никто, кроме хилого маленького Стамякина, не пьянел. Инспектор Хромов, сидевший сбоку Бондарева, бросал на него восторженные взгляды и все подстерегал удобный случай, чтобы вступить в разговор.

Подстерег. И спросил робко, тронув литератора за рукав:

— Как вам приходят в голову разные темы? Я бы думал, думал и целый век ничего не придумал.

— Профессиональная привычка, — благодушно ответил Бондарев. — Мы уже совершенно бессознательно всасываем все, что происходит вокруг нас — впечатления, наблюдения, факты — потом перерабатываем их, претворяем и отливаем в стройные художественные формы.

— Да... претворяем... в формы, — засмеялся инспектор. — В хорошую бы форму я бы претворил что-нибудь. Из всех редакций помелом бы выгнали.

Наливая своей соседке вино, Бондарев наклонился немного и шепнул одними губами, как шелест ветерка:

— Милая...

Красивая Стамякина закрыла густыми ресницами глаза.

— Кто?

— Вы.

— Смотрите, — улыбнулась тихо и ласково Стамякина, — вы играете с огнем. Я опасная.

— Пусть. Я с детства любил пожары.

— А как вам платят за принятые сочинения в редакциях? — любовно смотря на Бондарева, спросил инспектор. — Авансом или после?

— Большей частью, авансом, — улыбнулся Бондарев. — Мы стремимся вперед и спешим жить.

— По-моему, — заявил Хромов, — нужно бы людей, подобных вам, содержать на счет казны. Ешь, пей на казенный счет, веселись и не думай о презренном металле! Пиши, о чем хочешь и когда хочешь... Гм... Или вас должно содержать общество, которое вас читает.

— Это прекрасно, — сказал Бондарев, пожимая под столом руку соседки. — Но это утопия.

— Конечно, утопия, — подтвердила Стамякина, гладя бондаревскую руку.

— Форменная утопия, — пожал плечами Бондарев, кладя руку на круглое колено соседки.

— Безусловная утопия, — кивнула головой соседка и попробовала потихоньку снять руку, которая жгла ее даже сквозь платье.

— Пусть так, как есть, — сказал Бондарев.

— Нет, — так нельзя, — улыбнулась Стамякина.

— Нельзя? — вскричал инспектор Хромов. — А, ей-богу, можно. Вот, например, где вы, Николай Алексеич, остановились?

— В отеле Редькина.

— И напрасно! И совершенно напрасно!! С какой стати платить деньги? Милый Николай Алексеич! Дайте слово, что исполните мою просьбу... Ну, дайте слово!

— Если в моих физических силах — исполню, — пообещал, сладко улыбаясь, Бондарев.

— Милый Николай Алексеич! — Я преклоняюсь перед вами, перед вашим талантом. Сделайте меня счастливыми. Бросьте вашего Редькина, переезжайте завтра утром ко мне!

— Да я ведь послезавтра вечером уезжаю, зачем же? — сказал Бондарев.

— Все равно! На один день! Если бы я был богат, я бы построил вам на берегу тихого моря мраморный дом и сказал бы: «Бондарев! Это ваше... Живите и пишите здесь, в этом доме!». Но я не богат и предлагаю вам более скромное помещение. Но от чистого сердца, Бондарев! А?

— Спасибо, — сказал, тронутый Бондарев. — Если вам это доставит удовольствие — завтра же перееду к вам.

— Браво! — восторженно вскричал инспектор Хромов, шумно вскакивая с места. — Господа! Предлагаю выпить за здоровье того светлого луча, который на мгновение осветил нашу тусклую темную жизнь! Урра!

— Урра! — крикнули гости.

III

— Вы должны отказаться от своих слов! — бешено кричал бледный Перекусалов, тряся за плечо красного возбужденного Федосея Ивановича Коготь.

— Нет, не откажусь! — ревел Коготь. — Ни за что не откажусь! Хоть вы меня режьте — не откажусь! Зачем мне отказываться?

— Нет, ты откажешься!

— Нет-с, дудки. Вот еще какой! Не откажусь.

Прочие гости столпились около этой пары и миролюбиво уговаривали:

— Да бросьте! Чего там... Подумаешь!

— Будто дети какие!..

— Нет, я этого так не оставлю! Ты должен дать удовлетворение!

Коготь презрительно вздернул плечами.

— Когда и где угодно!

— Послушай, — сказал Бондарев, беря под руку Перекусалова. — В чем дело? Чего ты так разъярился?

— Он меня оскорбил, — тяжело задышал Перекусалов. — Такого рода оскорбления требуют для своего разрешения единственного пути! Ты, надеюсь, понимаешь?..

— Ффу, как глупо! Надеюсь, это все не серьезно?

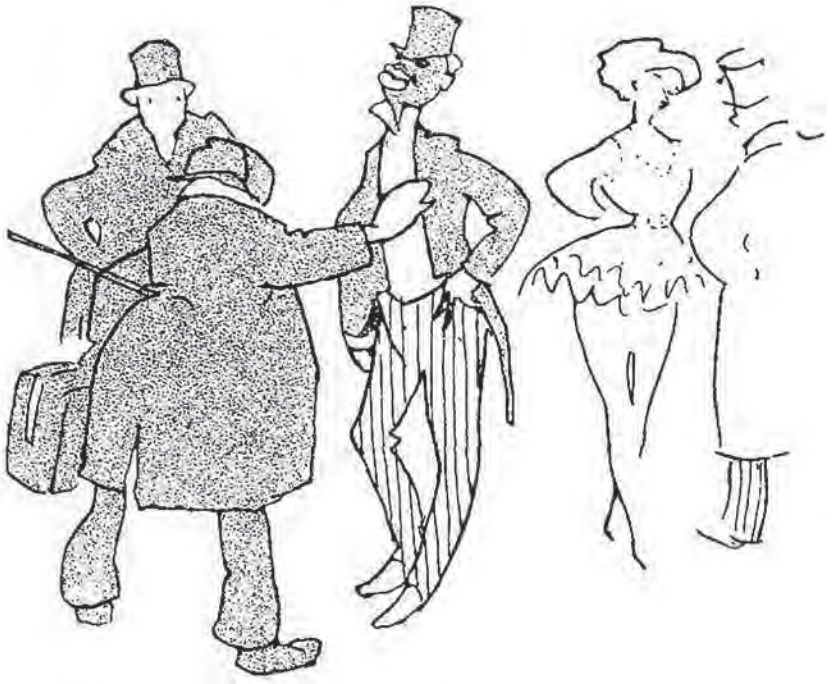
— Что?? Ты что же думаешь, что если мы в медвежьем углу живем, то и вопросы чести разрешаем по-медвежьи: ударом кулака или показанием языков друг другу? Не-ет, брат!.. Я, может быть, закис здесь в Клуши, но поставить на карту жизнь — если затронута честь —всегда сумею.

В глазах Перекусалова засветилось, засверкало что-то новое, красивое и необычное. Бондарев с уважением посмотрел на него.

— Надеюсь, ты не откажешься быть свидетелем с моей стороны?

Бондарев положил ему руку на плечо и сказал:

— Конечно. Я все это устрою. Но, скажи пожалуйста... чем этот субъект тебя оскорбил? Может быть, пустяки?



— Нет, не пустяки! Вовсе не пустяки, Бондарев! Я не могу тебе сказать, что именно — мне это слишком тяжело — но не пустяки.

— Хорошо, — серьезно сказал Бондарев. — Тогда — решено! Завтра я заеду к тебе и сообщу о подробностях.

Гости стали торопиться домой.

Когда Стамякина хватилась мужа, то выяснилось, что он лежит в кабинете хозяина на диване. Когда его разбудили, он с трудом открыл глаза, заплакал и заявил, что пусть лучше завтра сошлют его на каторгу, чем сегодня поднимают с дивана.

— Завтра можете меня ругать, бить по лицу, унижать, но сегодня — я вас очень прошу — не трогайте меня... Все равно я сейчас же упаду и разобью голову до крови. Не трогайте меня, миленькие!

— Свинья! — прошептала Стамякина и взяла Бондарева под руку. — Вы не откажетесь проводить меня?

Сердце Бондарева сладко заколотилось.

— Вы... спрашиваете?.. Господи!

Когда ехали на извозчике, Бондарев держал красавицу за талию, а она смотрела ему в лицо отуманенными глазами и говорила:

— Вы мой господин! Вы приехали дерзко равнодушный, схватили мою жизнь, как хрупкий орех, и раздавили ее властной рукой. А я то думала, что моя жизнь — крепкая, крепкая... прочная, прочная... Зачем вы сделали это?

— Настя... Если бы я тебе сказал: уедем со мной, брось все... ты бы бросила? Уехала?

— С тобой? В Лондон, на луну; умерла бы, если бы ты умирал, плакала бы твоими слезами и смеялась бы твоим смехом...

Она взяла руку Бондарева, поднесла к губам и поцеловала два раза...

— Завтра я буду у тебя, — сказал Бондарев. — И завтра позову тебя. Пойдешь?

— Твоя.

IV

Утром, проснувшись, Бондарев долго лежал на кровати и мечтал.

— Подумать только, что среди тысячи заброшенных, забытых точек на необъятной Руси — есть одна точка: микроскопический город Плошкин. И здесь люди, как это ни странно, —другие, и живут они и думают не захолустно: в один вечер я нашел и наивного фанатика, любителя литературы, моего восторженного поклонника, и смелую, с большим сердцем, женщину, и человека, готового рискнуть жизнью ради чести... И все это очень красиво и странно!

Он оделся, уложил в небольшой сак вещи и, расплатившись, вышел на улицу.

— Извозчик! Знаешь инспектора Хромова? Вези меня к нему!..

— Пожалуйте!

Хромова дома не было. Бондарева встретила бледная беременная жена инспектора и с пугливым недоумением осмотрела его.

— Мужа хотели видеть?

— Да видите ли... — нерешительно сказал Бондарев. — Ваш супруг пригласил меня вчера погостить у вас денек, вместо того, чтобы жить в гостинице. — Я Бондарев.

— Вечно он... — печально качнула растрепанной головой хозяйка. — А разве в гостинице вам нехорошо было?

— Ничего себе... Но ваш супруг так настаивал...

— Охота вам было этого дурака слушать? Разве он что-нибудь понимает? Пригласил! У нас три комнаты всего, повернуться негде — изволите видеть! Вы уж меня извините, но когда это сокровище вернется, я его съем за это.

— Приятного аппетита! — пожал плечами Бондарев, повернулся и вышел. — Действительно, — подумал он, — идиот какой-то... Очень нужно было принимать его приглашение. Изво-озчик, черт! Свободен? Вези меня к Коготю. Знаешь — Федосеем зовут. Иванычем.

— Господи ж! — высморкался извозчик. — Завсегда.

— С этой дуэлью еще запутался... Черт знает, что такое! Если бы не дал Перекусалову слова— сразу бы плюнул на все. А то теперь мотайся, как дурак...

Мимоходом он заехал к какому-то доктору.

Долго объяснял ему относительно дуэли, а доктор прихлебывал светлый чай и, молча, слушал.

— Так как же, а? Вы не бойтесь. Вам, как врачу, не грозит никакая ответственность.

Доктор встал, протянул литератору руку и сказал:

— Плюньте!

И ушел во внутренние комнаты.

— Порядки! — размышлял Бондарев, трясясь на извозчике по направлению к Коготю. —Тут, пожалуй, и пистолетов не достанешь...

Коготь встретил Бондарева радостно.

— А-а!.. Литератор! Звезда! Садитесь. Чаишки хотите?

— Спасибо, — сказал Бондарев. — Я, собственно, на счет выработки условий...

— Условий? Которых?

— По поводу дуэли.

— Какой дуэли?

— Да вчера же! Перекусалов вызвал вас, и вы приняли вызов.

— Юморист вы, — сказал одобрительно Коготь, — вечно у вашего брата закавыки.

— Какие закавыки? Есть случаи, когда полагается быть серьезным. Надеюсь, вы не отказываетесь от дуэли?

— Вы... в самом деле?

Коготь загрохотал, обрушился на диван, закашлялся от стремительнаго хохота и заболтал мясистыми ногами.

— Зарезал литератор! Уморил! Так Петька меня на дуэль вызвал? Го-го!

— В чем дело? — закричал Бондарев.

— Вот — голубчик: режьте меня, жгите — буквально-таки, ни капелюшечки не помню!! Где, когда, что? Правда, пили мы, как носороги. А скажите, милый... Мы... не дрались?

— Нет, — сухо сказал Бондарев. — В таком случае, прощайте.

Злой, поехал Бондарев к Перекусалову.

Тот еще лежал в кровати.

— Скажи, — спросил сердито Бондарев, — ты помнишь, как вчера вызвал господина Коготь на дуэль?

— Неужто, вызвал? — удивился Перекусалов. — За что, не помнишь?

— Это тебе лучше помнить! — закричал Бондарев. — Это ты заставил меня сегодня дурака валять, ездить к доктору, к твоему противнику, который тоже решительно отперся от всякой дуэли... Как это глупо, как пошло!

— Ты... доктора ездил приглашать? — дико посмотрел на литератора Перекусалов. Закрыл голову одеялом и захохотал стонущим, охающим смехом.

— О-ой, не могу! О-ой, смерть пришла!

Бондарев злобно ударил его по голове, выбежал на улицу и вскочил на извозчика.

— На вокзал! Или нет... Постой... Ты знаешь, где Стамякин живет? Вези к ним.

Стамякина не было дома. Красавица вышла к Бондареву, кокетливо кутаясь в розовый капот и щуря темные глаза.

— Кого я вижу! Какой вы милый, что заехали!

— Настя! — сказал страдальчески Бондарев, целуя ее руки. — Я только сегодня понял, среди какого ужаса, среди какой тины и пошлости ты живешь! Настя! Уедем со мной...

Она высвободила свои руки, погрозила ему пальцем и мягко, как кошечка, опустилась на диван.

— Ответьте мне на один вопрос...

— Спрашивай все, что угодно. Милая!

— Сколько вы зарабатываете в год?

— Зачем тебе? Тысяч пять-шесть...

— Ну, будем благоразумны... Вы предлагаете мне уехать с вами. Вы, не спорю, мне нравитесь... Но что же будет!! Положение всеми уважаемой жены известного в городе человека я переменю на какое-то жалкое, двусмысленное положение — любовни-

цы человека, который, ведь, может меня и разлюбить. И — что такое 6 тысяч? Мы здесь проживаем восемь, а в Петербурге — чтобы жить так, нужно двенадцать. Ну, милый... Ну, не сердитесь же! Будьте рассудительны...

— Настя! — закричал в ужасе Бондарев. — Грежу я, что ли? Где же вчерашнее?!

Она погрозила ему пальчиком.

— Вчерашнее? Не нужно было подливать мне так много вина за ужином.

V

Хотя Бондарев старался уехать из Плошкина незаметно, но провожать его собралась вся вчерашняя компания.

В буфете пили вино. Общество оживилось.

— Милый Николай Алексеич, — сказал любовно инспектор Хромов — по-моему, несправедливо, что министерство путей сообщения берет с таких людей, как вы, деньги за проезд. Таких людей нужно возить бесплатно, в купе первого класса.

— Эх! — простонал Перекусалов, опуская голову. — Он хоть и вторым классом поедет, но едет на красивую, интересную жизнь. Ах, братцы, если бы вы знали, как я тянусь к красоте!!

— Красота — это страшная сила! — подтвердил Коготь, выпивая залпом вино.

Красивая Стамякина нагнулась к Бондареву, чокнулась с ним рюмкой и шепнула:

— Скажите на прощанье что-нибудь такое, отчего мне было бы хорошо... Что скрасило бы мою глупую жизнь.

— Могу! — громко засмеялся Бондарев. — Господа! Пейте больше! Много пейте! Как можно больше...

ЧУДЕСА

То, что случилось со мной в первый день Пасхи — навсегда поселило в моей душе убеждение, что есть такие странные необъяснимые явления в нашей жизни, которые не поддаются самому внимательному анализу и перед которыми мы стоим, как перед загадочной завесой, скрывающей за собой целый ряд удивительных чудес и тайн.

Мы стоим перед этой завесой, недоумевающие, с пальцем, положенным на полураскрытые уста, и с тоской спрашиваем:

— Что же?! Что это было?

И молчит завеса.

——

Был первый день Пасхи. 12 часов пополудни.

Я стоял перед зеркалом во фраке, свежевыбритый, в чудесном настроении, так как был я молод, стояла весна, и теплое солнце матерински ласкало всякого, кто подвертывался под его лучи.

Сначала поехал я к Волдыревым. Мать семейства и дочери приняли меня весело, радостно, все насквозь пронизанные весенним светом и радостью красивого праздника...

Просидел я у них даже больше положенного на визиты срока, что-то около получаса. Закусывали.

Когда я вышел от них, настроение у меня было прекрасное, а стоявший на углу извозчик в новом армяке, с примазанными маслом волосами, умилил и рассмешил меня своей праздничностью и своим видом человека, понимающего серьезность ниспосланного Богом праздника.

Мне пришло в голову невинно подшутить над ним, таким торжественным и строгим.

— Извозчик! — сказал я, подходя. — С новым годом!

Он посмотрел на меня, пожал плечами и солидно ответил:

— Воистину Воскресе!

— Хорошая у тебя лошадь, — сказал я. — Какой породы? Лягавая?

— Работницкая.

— Бегать умеет?

— Побежит.

У него был такой солидный, приличный вид, что мне сделалось стыдно своих шуток. Я протянул ему руку и сказал:

— Прощай, брат. Кланяйся там отцу, дедушке.

— Покорниче благодарим. Дед вымер нынче.

Я сочувственно вздохнул и отошел.

——

Потом сидел у Крамалюхиных. Удивительная вещь — Пасха! Встретили меня, как родного, тогда как в обычное время отношения наши не выходили за рамки простого холодного знакомства.

Жена Крамалюхина отказалась христосоваться.

— А я все-таки поцелую вас, — улыбаясь, сказал я.

— Да как же вы меня поцелуете, если я не хочу?

— А я все-таки поцелую.

— Не понимаю, право...

Я рассмеялся. Чудачка и не думала, что это так просто.

— Ей Богу, поцелую!!

— Право... мне даже странно...

Она отвернулась, а я воспользовался этим моментом и поцеловал ее в шею.

— Ого! — сказал муж.

Я залился смехом.

— Ну? А говорили — не похристосуюсь. Вот и похристосовался!

— Однако, — сказал муж.

— Не правда ли? Хе-хе. Стоит только захотеть. Кстати, — вспомнил я. — Знаете вы анекдот о «стоит только захотеть»?

— Какой анекдот?

— Я вам расскажу...

Мне пришло в голову, что анекдот этот не совсем приличен и при даме рассказать его неудобно. Но эту мысль заменила другая:

— В сущности, ведь она замужняя и прекрасно все должна понимать...

И я сказал вслух:

— Анна Петровна! Разрешите рассказать этот смешной анекдот при вас. Правда, он немножко, как это говорится: тово, — ну, да ведь и вы —хе-хе — не девочка же. Я думаю, — прекрасно все понимаете, а?

Я, улыбаясь, заглядывал ей в лицо, а она встала и неожиданно куда-то вышла.

— Странная она какая-то сегодня, — удивился я.

— Это вы ее со своим анекдотом прогнали, — объяснил муж. — Нельзя же при дамах неприличные анекдоты рассказывать.

На меня от этих слов сразу повеяло такой непроходимой пошлостью узких мещанских узаконений и копеечной моралью людей, зарывшихся в свое грошовое мещанское благополучие, что я не выдержал и сказал:

— Почему? Ну, будем, дорогой Илья Ильич, откровенны хоть раз в жизни. Ведь не институтка же ваша жена? Представьте, если бы я был ее любовником — она бы выслушала от меня этот анекдот и только бы посмеялась. Я буду говорить, извините меня, просто: то, что мы с ней чужие — это простой случай! Конечно, я не говорю...

Муж хотел что-то возразить, но в это время вошла жена.

— Ильюша! Тебя сейчас просят по важному делу к Дебальцевым. Нужно тебе сейчас ехать, а мне уже пора в театр на дневное представление.

— Простите, — сказал я. — Я не буду вас задерживать. Только какие же сегодня театры? В первый день театров не бывает.

— Бывает.

— Уверяю вас — не бывает. Я это хорошо знаю. Вас, наверное, обманули!

Она закусила губу:

— Ну, один театр все-таки открылся.

Прекрасно зная, что в первый день в театрах не играют, я был поражен до глубины души. Очевидно, Анна Петровна была жертвой чьей-то глупой шутки.

— Это надо выяснить, — сказал я. — Вы позволите мне поехать с вами? Нет ли здесь какой-нибудь глупой шутки или чего-нибудь еще похуже. Дело в том, что я могу поклясться, что в первый день ни в каких театрах не играют.

— Это театр в частном доме, — сказала она, задумчиво отворачиваясь.

— Ах, так?.. А что идет?

— Эта... Сирано де Бержерак.

— Прекрасно! Я давно хотел видеть эту пьесу. (Отчего бы мне не посмотреть ее? — подумал я). Слушайте, поедем вместе.

— Это неудобно, — быстро ответила она. — Я по приглашению.

— Пустяки! Я заплачу десять рублей. В пользу там каких-нибудь вдов или сирот. Вот. Получите!

Вынув десять рублей, я пытался всунуть их ей в руку, но она не взяла.

— Стесняетесь от молодого человека деньги получать? — пошутил я. — Явление в наш практический век беспримерное! Ну, прощайте. Не буду вас задерживать.

——

Я вышел. Так как следующий визит был у меня намечен в книжке «к Ахеевым», я взял извозчика и поехал.

Несмотря на теплый ясный воздух, мне почему-то взгрустнулось.

— В сущности, — подумал я, — к чему это все? Все эти визиты, окорока, английская горькая, христосование? Ведь, все равно, все умрут. И я умру... И извозчик умрет.

Сердце мое охватила смертельная жалость к этому понуренному, терпеливо сидящему на козлах человеку, который должен умереть, и — ни одна душа о нем не вспомнит. После безрадостной жизни— безвестная смерть!

— Извозчик! — предложил я. — Хочешь я доставлю тебе удовольствие?

— Какое?— обернулся он.

— Хочешь, я тебя покатаю? Ты садись на мое место, а я на твое. Хочешь?

— Нельзя. Обштрахуют.

Мне до слез было жаль этого покорного печального человека.

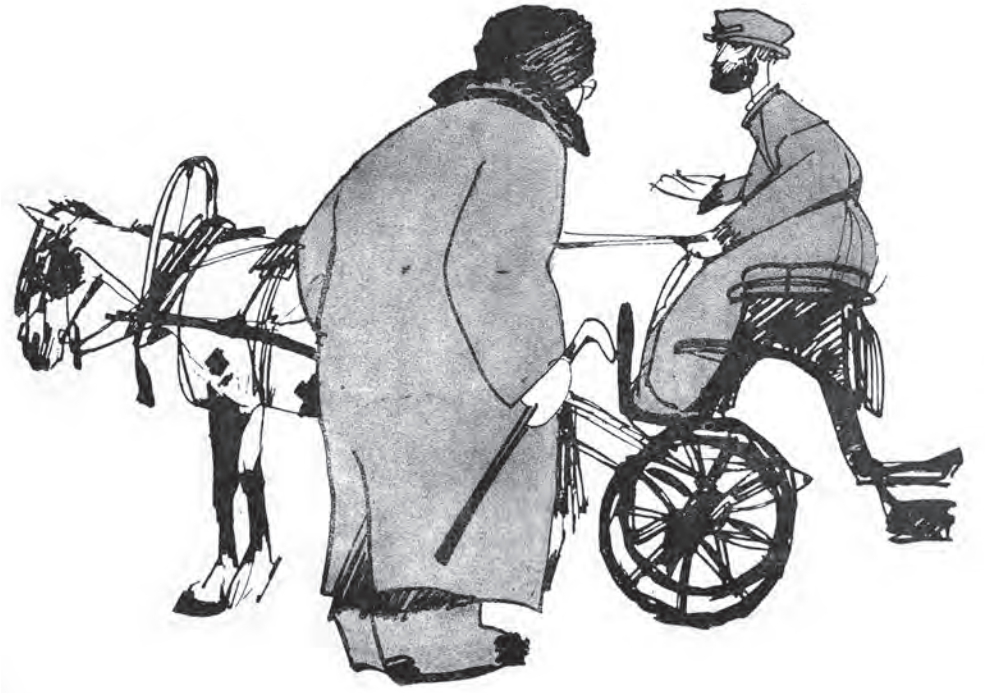
— На сколько? — спросил я. — Ну, самое большее, на двадцать пять рублей? Так получай их! А теперь — пересаживайся!

Может быть, с точки зрения уличного благоприличия это и было странно, но моральная красота моего поступка искупала какие-то глупейшие уличные правила, и я, без тени смущения, перелез на козлы.

Уличные моралисты, — судите меня!

Я довез извозчика до самого подъезда Ахеевых и, остановившись, слез. И неожиданно в голову мне пришла простая человеческая мысль, центром которой был оправлявший в этот момент сбрую извозчик.

— Извозчик, — подумал я, — такой же человек, как и другие... Почему я могу войти к Ахеевым, а он не может? Потому что на нем грубый армяк и что он крестьянин? А Кольцов? А Никитин? И я спрошу их прямо: вот вы, господа, либеральничаете, говорите о меньшем брате... А посадите ли вы его с собой за стол?



Уговорить извозчика стоило мне больших трудов. Наконец, он согласился и я, демонстративно обвив рукой его шею, чтобы еще больше подчеркнуть равность наших положений, вошел с ним к Ахеевым.

У них были гости: какой-то старец и толстая дама.

— Здравствуйте! — сказал я громко. — Христос Воскресе! Вот вы, господа, либеральничаете, говорите о меньшем брате... А посадите ли вы его с собой за стол?

Остановившись посреди комнаты, мы с извозчиком внимательно следили за выражением лиц хозяев.

— Отчего же, — сказал Ахеев. — Теперь такой праздник, что мы всякому рады. Садитесь.

— Не бойся, милый, — дружелюбно толкнул я извозчика в спину. — Садись. Я знаю, что у этих добрых людей слово не расходится с делом. Дайте моему другу извозчику стакан коньяку.

И, так как я решил идти до конца, то попросил:

— И не какой-нибудь дряни, а лучшей марки. Он такой же человек, как и мы.

Извозчик принялся за еду и питье, а мы сидели и молчали. Смотрели на него...

Но было скучно. Я это чувствовал.

— Отчего вы все такие скучные? — спросил я. — В жизни так мало радости, что смех и веселье нужно изобретать.

Толстая дама улыбнулась.

— Посоветуйте, что делать. А мы уже повеселимся.

— Итальянцы любят шутки, мистификации, — сказал я, — а мы не любим. Давайте сделаем какую-нибудь мистификацию!

— Какую?

Я обвел глазами стол.

— Можно устроить мистификацию для визитеров. Смотрите: вино из бутылок можно вылить — заменить уксусом, сырную пасху посыпать солью и перцем, в окорок, вместо гвоздики, натыкать маленьких гвоздиков, а куличи выдолбить внутри и насыпать туда земли с цветочных горшков и окурков.

Я расхохотался.

— Вообразите их удивление, когда они начнут есть и пить. Ха-ха! Я вам сейчас это все устрою.

— Да не надо, — сказать Ахеев.

— Почему же не надо? Надо. Вы увидите, как это будет превесело.

Я опрокинул цветочный горшок и, высыпав землю, стал поливать ее мадерой.

Произошла глупейшая сцена: хозяин вырвал у меня бутылку и бестактно крикнул:

— Не смейте этого делать!

— Почему? Вы же просили... мистификацию...

Он вырвал у меня кулич, верхушку которого я успел уже снять, и крикнул:

— Убирайтесь вон!

Я изумленно посмотрел на него.

— Вы сумасшедший! Я же вас не трогаю!

— Пойдем, — сказал извозчик.

Я посмотрел на лицо хозяина, который, казалось, готов был перервать глотку за какой-то кулич и початую бутылку скверной мадеры, — и мне сделалось про-

тивно сидеть среди этих людей... И мучительная, тяжелая тоска охватила мою душу.

— Жалкие вы черви! — с отвращением сказал я. — Идем, мой друг. Ты еще не сыт? Эй, вы! — надменно продолжал я. — Я беру у вас эту колбасу, жареную курицу, бутылку коньяку и графин водки. Не беспокойтесь — плачу. Человек с душой торгаша! Получите двенадцать рублей... Ха-ха! Сдачи не надо.

В конец уничтоженный хозяин и гости не смели посмотреть мне в глаза. Хозяину, очевидно, было смертельно неловко за свой бестактный поступок с куличом.

——

Мы подошли к пролетке, и я разложил на сиденье забранные с собой припасы...

— Ешь, извозчик, пей. А я посижу около лошади, постерегу, чтобы ее не украли конокрады.

В то время в городе свирепствовала шайка конокрадов и, поэтому, моя боязнь этих дьявольски хитрых людей была небезосновательной.

Извозчик пил коньяк прямо из бутылки, а я сидел у ног лошади, глядел на него и думал:

— Вот кто никогда не покинет меня! Из таких именно самородков, черноземных людей и выходят честные старые преданные слуги.

Будущее показало, что я не ошибался.

— С визитами я не поеду! — сказал я сам себе. — Пора уже прекратить этот глупейший обычай.

О, традиции, всосанные с молоком матери! В душе все-таки было смутное неопределенное чувство боязни, что знакомые обидятся, если я о них не вспомню. Но этому горю можно было помочь.

Мимо проходил рассеянный сосредоточенный человек без шапки. Я остановил его.

— Милый! Вот тебе записная книжка... Сделай по ней, вместо меня, визиты. Тут у трех я уже был, а у остальных не был. А это тебе за труды. Двадцать рублей. Довольно? Скажи что я, мол, кланяюсь... Не забудешь?

Он молча взял деньги, книжку и ушел. Будто гора свалилась с моих плеч.

——

Солнце склонялось к закату. Какая-то тихая, неопределенная грусть вползла в душу. Мы сидели с извозчиком у колес пролетки, и каждый думал о своем.

— Спой мне, — тихо попросил я, очнувшись, — что-нибудь тихое, задушевное, отчего бы душа сладко и больно сжималась.

Извозчик послушно открыл рот и запел. Глухие надтреснутые звуки выходили, разливаясь в предвечернем воздухе. Но вот они окрепли, зазвенели — и полилась широкая безудержная русская песня.

— И-и-э-э-у-х — ха! Га-а-а, — пел извозчик, и тихо припал, притаился истомленный солнцем воздух.

— Кто здесь песни орет? А? Отчего ты не на козлах? — раздался сверху чей-то грубый голос. — В участок захотел, полосатый черт?

Мы вскочили.

Перед нами стоял грубый, с красным лицом, городовой и махал кулаком.

— Вы кричать не имеете права, — возразил я. — А если вы оскорбили моего товарища, назвав его полосатым чертом, то он выше этого. Стыдно ругаться! Вы себя этим унизили, а не его. Сами вы полосатый невыносимый дурак!

— Ага-га! — завопил городовой. — Ругаться? Пойдем!

Я вырвался из его рук, ударил его кулаком в лицо, отчего он упал, отбежал в сторону и крикнул своему другу извозчику:

— Спасайся! Бежим! Против нас целый заговор — я все понял! Держись около меня.

И мы побежали.

На нашем пути встретилась какая-то церковь.

— Храм Божий! Сюда! — скомандовал я. — Здесь мы в сравнительной безопасности.

— Пойдем на колокольню, — предложил извозчик.

— Прекрасно! Беги вперед!

Колокольня была открыта. Мы вбежали по узкой лесенке и захлопнули за собой обе двери. В глазах моего спутника горело мужество, а его беззаветная храбрость ободряла и меня, усталого, измученного...

— Часов пять мы здесь продержимся, — сказал я. — А там придет подмога. Мои молодцы не дремлют.

Мы залегли на колокольне.

Я отламывал кирпичи на случай защиты от неожиданного нападения, а мой верный извозчик схватился за язык большого колокола и, раскачав его, зазвонил тревожно и громко.

— Надо бы так устроить, — посоветовал я, — чтобы наши друзья услышали эти призывные звуки, а враги не догадались, где мы.

Извозчик обещал приложить к этому все усилия и зазвонил еще громче. Я выглянул в амбразуру окна.

— Идут! Борись, брат! Мужайся.

Мы поцеловались, схватили кирпичи и осыпали ими черную толпу врагов, глухо шумевшую внизу.

— Сдавайтесь! — крикнули они.

— Ни за что! — отвечал я, высовываясь. — Лучше смерть, чем позор.

Извозчик прищурился и бросил в них кирпичом; потом сел под колокол и сразу, как мертвый, уснул.

— Борись, Петя, — посоветовал я, прилег у окна и положил голову на какую-то скамеечку.

Что было дальше—не помню.

——

Если бы все случившееся произошло глухою ночью, когда осенний ветер дует в трубы, и темные силы справляют свой дикий шабаш, туманя и мороча человека, сбитого ими с толку, — это еще было бы допустимо.

Но как могло случиться среди бела дня то, что рассказано выше — я до сих пор не могу объяснить.

И стоим мы теперь с моим другом извозчиком, недоумевающие, с пальцами, положенными на полураскрытые уста, и с тоской спрашиваем:

— За что? На два месяца? За что же, Господи?

ПЕТУХОВ

I

Муж может изменять жене сколько угодно и все-таки будет оставаться таким же любящим, нежным и ревнивым мужем, каким он был до измены.

Назидательная история, случившаяся с Петуховым, может служить примером этому...

. . . . . .

Петухов начал с того, что, имея жену, пошел однажды в театр без жены и увидел там высокую красивую брюнетку. Их места были рядом, и это дало Петухову возможность, повернувшись немного боком, любоваться прекрасным мягким профилем соседки.

Дальше было так: соседка уронила футляр от бинокля — Петухов его поднял; соседка внимательно посмотрела на Петухова — он внутренне задрожал сладкой дрожью; рука Петухова лежала на ручке кресла — такую же позу пожелала принять и соседка... а когда она положила свою руку на ручку кресла — их пальцы встретились.

Оба вздрогнули, и Петухов сказал:

— Как жарко!

— Да, — опустив веки, согласилась соседка. — Очень.

В горле пересохло до ужаса.

— Выпейте лимонаду.

— Неудобно идти к буфету одной, — вздохнула красивая дама.

— Разрешите мне проводить вас.

Она разрешила.

В последнем антракте оба уже болтали, как знакомые, а после спектакля Петухов, провожая даму к извозчику, взял ее под руку и сжал локоть чуть-чуть сильнее, чем следовало. Дама пошевелилась, но руки не отняла.

— Неужели мы так больше и не увидимся? — с легким стоном спросил Петухов. — Ах! Надо бы нам еще увидеться.

Брюнетка лукаво улыбнулась.

— Тссс!.. Нельзя. Не забывайте, что я замужем.

Петухов хотел сказать, что это ничего не значит, но удержался и только прошептал:

— Ах, ах! Умоляю вас — где же мы увидимся?

— Нет, нет, — усмехнулась брюнетка. — Мы нигде не увидимся. Бросьте и думать об этом. Тем более, что я теперь каждый почти день бываю в скетинг-ринге.

— Ага! — вскричал Петухов. — О, спасибо, спасибо вам.

— Я не знаю — за что вы меня благодарите? Решительно, недоумеваю. Ну, здесь мы должны проститься! Я сажусь на извозчика.

Петухов усадил ее, поцеловал одну руку, потом, помедлив одно мгновение, поцеловал другую.

Дама засмеялась легким смехом, каким смеются женщины, когда им щекочут затылок — и уехала.

II

Когда Петухов вернулся, жена еще не спала. Она стояла перед зеркалом и причесывала на ночь волосы.

Петухов, поцеловав ее в голое плечо, спросил:

— Где ты была сегодня вечером?

— В синематографе.

Петухов ревниво схватил жену за руку и прошептал, пронзительно глядя в ее глаза:

— Одна?

— Нет, с Марусей.

— С Марусей? Знаем мы эту Марусю!

— Я тебя не понимаю.

— Видишь ли, милая... Мне не нравятся эти хождения по театрам и синематографам без меня. Никогда они не доведут до хорошего!

— Александр! Ты меня оскорбляешь... Я никогда не давала повода!!

— Э, матушка! Я не сомневаюсь — ты мне сейчас верна, но ведь я знаю, как это делается. Ха-ха! О, я прекрасно знаю вас, женщин! Начинается это все с пустяков. Ты, верная жена, отправляешься куда-нибудь, в театр и находишь рядом с собой соседа, этакого какого-нибудь приятного на вид, блондина. О, конечно, ты ничего дурного и в мыслях не имеешь. Но, предположим, ты роняешь футляр от бинокля или еще что-нибудь — он поднимает, вы встречаетесь взглядами... Ты, конечно, скажешь, что в этом нет ничего предосудительного? О, да! пока, конечно, ничего нет. Но он продолжает на тебя смотреть, и это тебя гипнотизирует... Ты кладешь руку на ручку кресла и — согласись, это очень возможно — ваши руки соприкасаются. И ты, милая, ты (Петухов со стоном ревности бешено схватил жену за руку) — вздрагиваешь, как от электрического тока. Ха-ха! Готово! Начало сделано!! «Как жарко», — говорит он. «Да», — простодушно отвечаешь ты. — «В горле пересохло»... — «Не желаете ли стакан лимонаду»?

— «Пожалуй»...

Петухов схватил себя за волосы и запрыгал по комнате.

Его ревнивый взгляд жег жену.

— Леля! — простонал он. — Леля! Признайся!.. Он потом мог взять тебя под руку, провожать до извозчика, и даже — негодяй! — при этом, мог добиваться: когда и где вы можете встретиться. Ты, конечно, свидания ему не назначила — я слишком для этого уважаю тебя, но ты могла, Леля, могла ведь вскользь сообщить, что ты часто посещаешь скетинг-ринг или еще что нибудь... О, Леля, как я хорошо знаю вас, женщин!!

— Что с тобой, глупенький? — удивилась жена. — Ведь этого же всего не было со мной...

— Берегись, Леля! Как бы ты ни скрывала, я все-таки узнаю правду! Остановись на краю пропасти!

Он тискал жене руки, бегал по комнате и, вообще, невыносимо страдал.

III

Первое лицо, с которым встретился Петухов, приехав в скетинг-ринг — была Ольга Карловна, его новая знакомая.

Увидев Петухова, она порывистым искренним движением подалась к нему всем телом и, с криком радостного изумления, спросила:

— Вы? Каким образом?

— Позволите быть вашим кавалером?

— О, да. Я здесь с кузиной. Это ничего. Я познакомлю вас с ней.

Петухов обвил рукой талию Ольги Карловны и понесся с ней по скользкому блестящему асфальту.

И, прижимая ее к себе, он чувствовал, как часто-часто под его рукой билось ее сердце.

— Милая! — прошептал он еле слышно. — Как мне хорошо...

— Тссс... — улыбнулась розовая от движения и его прикосновений Ольга Карловна. — Таких вещей замужним дамам не говорят.

— Я не хочу с вами расставаться долго-долго. Давайте поужинаем вместе.

— Вы с ума сошли! А кузина? А... вообще...

— «Вообще» — вздор, а кузину домой отправим.

— Нет, и не думайте! Она меня не оставит!

Петухов смотрел на нее затуманенными глазами и спрашивал:

— Когда? Когда?

— Никогда! Впрочем, завтра, я буду без нее.

— Спасибо!..

— Я не понимаю, за что вы меня благодарите?

— Мы поедем куда-нибудь где уютно-уютно. Клянусь вам, я не позволю себе ничего лишнего!!

— Я не понимаю... что вы такое говорите? Что такое — уютно?

— Солнце мое лучистое! — уверенно сказал Петухов.

Приехав домой, он застал жену за книжкой.

— Где ты был?

— Заезжал на минутку в скетинг-ринг. А что?

— Я тоже поеду туда завтра. Эти коньки — прекрасная вещь.

Петухов омрачился.

— Ага! Понимаю-с! Все мне ясно!

— Что?

— Да, да... Прекрасное место для встреч с каким-нибудь полузнакомым пройдохой. У-у, п-подлая!

Петухов сердито схватил жену за руку и дернул...

— Ты... в своем уме?

— О-о, — горько засмеялся Петухов, — к сожалению — в своем. Я тебя понимаю! Это делается так просто! Встреча и знакомство в каком-нибудь театре, легкое впечатление от его смазливой рожи, потом полуназначенное полусвидание в скетинг-ринге, катанье в обнимку, идиотский шепот и комплименты. Он, — не будь дурак, — сейчас тебе: «поедем куда-нибудь в уютный уголок поужинать»... Ты, конечно, сразу не согласишься...

Петухов хрипло, страдальчески засмеялся.

— Не согласишься... «Я», скажешь ты, «замужем, мне нельзя, я с какой-нибудь дурацкой кузиной»! Но... змея! Я прекрасно знаю вас, женщин — ты уже решила на другой день поехать с ним, куда он тебя повезет. Берегись, Леля!

Растерянная, удивленная жена сначала улыбалась, а потом, под тяжестью упреков и угроз, заплакала.

Но Петухову было хуже. Он страдал больше жены.

IV

Петухов приехал домой ночью, когда жена уже спала.

Пробило три часа.

Жена проснулась и увидела близко около себя два горящих подозрительных глаза и исковерканное внутренней болью лицо.

— Спите? — прошептал он. — Утомились? Ха-ха. Как же... Есть от чего утомиться! Страстные, грешные объятия — они утомляют!!

— Милый, что с тобой? Ты бредишь?

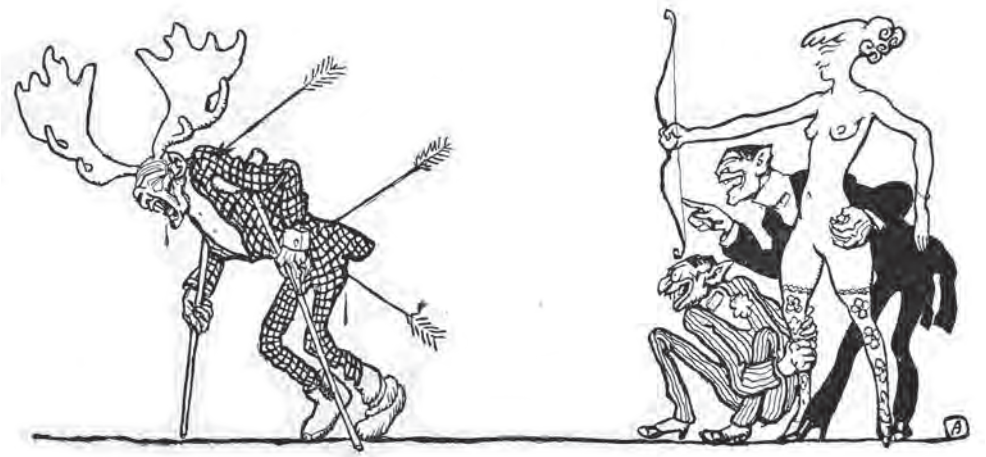
— Нет... я не брежу. О, конечно, ты могла быть это время и дома, но — кто, кто мне поклянется, что ты не была сегодня на каком-нибудь из скетинг-рингов и не встретилась с одним из своих знакомых?! Это ничего, что знакомство продолжается три-четыре дня... Ха-ха! Почва уже подготовлена, и то, что ты говоришь ему о своем муже, о доме, умоляешь его не настаивать — это, брат, последние жалкие остатки прежнего голоса добродетели, последняя никому не нужная борьба...

— Саша!!

— Что там — Саша!

Петухов схватил жену за руку выше локтя, так, что она застонала.

— О, дьявольские порождения! Ты, едучи даже в кабинет ресторана, твердишь о муже и сама же чувствуешь всю бесцельность этих слов. Не правда ли? Ты стараешься держаться скромно, но первый же бокал шампанского и поцелуй после легкого сопротивления — приближает тебя к этому ужасному проклятому моменту... Ты! Ты — чистая, добродетельная женщина только и находишь в себе силы, что вскричать: «Боже, но ведь сюда могут войти»! Ха-ха! Громадный оплот добродетели, который рушится от повернутого в дверях ключа и двух рублей лакею на чай!! И вот — гибнет все! Ты уже не та моя Леля, какой была, не та, черт меня возьми!! Не та!!



Петухов вцепился жене в горло руками, упал на колени у кровати и, обессиленный, зарыдал хватающим за душу голосом.

V

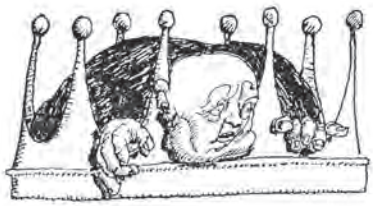
Прошло три дня.

Петухов приехал домой к обеду, увидел жену за вязаньем, положил руки в карманы и, презрительно прищурившись, рассмеялся.

— Дома сидите? Так. Кончен, значит, роман! Недолго же он продолжался, недолго. Ха-ха. Это очень просто... Стоит ему, другу сердца, встретить тебя, едущей на извозчике по Московской улице чуть не в объятиях рыжего офицера генерального штаба, — чтобы он написал тебе коротко и ясно: «вы могли изменить мужу со мной, но изменять мне со случайно подвернувшимся рыжеволосым сыном Марса— это слишком! Надеюсь, вы должны понять теперь, почему я к вам совершенно равнодушен и — не буду скрывать — даже ощущаю в душе легкий налет презрения и сожаления, что между нами была близость. Прощайте!»

Жена, приложив руку к бьющемуся сердцу, встревоженная, недоумевающая, смотрела на Петухова, а он прищелкивал пальцами, злорадно подмигивал ей и шипел:

— А что — кончен роман!? Кончен?! Так и надо. Так и надо! Го-го-го! Довольно я, душа моя, перестрадал за это время!!



СЛУЧАЙ С ПАТЛЕЦОВЫМИ

Что может быть хорошего из Назарета?

Глава I
Ключи

Однажды летом в одиннадцать часов вечера супруги Патлецовы сидели на ступеньках парадной лестницы в трех шагах от своей квартиры — и ругались.

— В конце концов, — бормотал Патлецов, — это даже удивительно: стоит только поручить что-либо женщине, и она приложит все усилия, чтобы исполнить это как можно хуже и глупее!..

— Молчал бы лучше, — угрюмо отвечала жена, — уже достаточно одного того, что мужчины картежники и пьяницы.

Муж горько, страдальчески засмеялся:

— В огороде бузина, а в Киеве дядька... Представьте себе, — обратился он к угловому солидному столбику на перилах, так как ничего другого поблизости не было, — представьте, что я, выходя днем с нею из дому, вышел первый, а ее попросил запереть парадную дверь и ключи взять с собой... Что же она сделала? Ключи забыла внутри, в замочной скважине, захлопнула дверь на английский замок, а ключик от него висит тоже внутри, на той стороне дверей. Как вам это покажется?

Солидный столбик от перил даже не улыбнулся, храня полное молчание, свойственное субъектам этого типа, а Патлецов, стремясь излить душу, не смутился молчанием собеседника и продолжал:

— И представьте, чем эта женщина оправдывается?! А вы, говорит, картежники! Логично, доказательно, всеобъемлюще!

Госпожа Патлецова хлопнула кулаком по молчаливому слушателю своего мужа и, энергично обернувшись, спросила:

— Скажи: чего ты от меня хочешь?

— Мне было бы желательно знать, как мы попадем в квартиру?

Жена задумалась.

— Это ты виноват! Ты отпустил прислугу до завтра — ты и виноват. Если бы она была внутри, она бы открыла нам.

— Видели? — обратился к своему единственному другу столбику Патлецов и заскрежетал зубами... — Я виноват, что отпустил прислугу?! А она ее нанимала — значит, она и виновата! А какой-то глупый англичанин изобрел английский замок, он и виноват?!

— Недаром я так не хотела выходить за тебя замуж,— возразила жена. — Если бы не вышла — ничего бы и не было...

— Что? Как вам это понравится?..

Если бы у столбика было какое-нибудь отверстие сверху — он зевнул бы им. Так все это было скучно...

После долгого саркастического разговора Патлецов предложил жене два проекта: поехать до утра в гостиницу или переночевать тут же, на площадке лестницы у дверей.

Первый проект был забракован на том основании, что ездить по гостиницам неприлично; за второй проект автор его удостоился одного только краткого слова:

— Ду-рак.

— Ну что ж, — кротко улыбнулся Патлецов. — Если я дурак, а ты умная, придумай сама выход. А я вздремну...

Он прислонился к перилам и действительно задремал. Его разбудил плач.

— Ты чего?

— Мне страшно. Ступай за слесарем.

— Да какой же слесарь в двенадцатом часу. Все честные слесаря спят...

— Бери хоть нечестного. Мне все равно!

Муж улыбнулся:

— Вот если бы сейчас поймать вора с отмычками, он бы оборудовал все это моментально.

— Поймай вора.

— Что ты, милая... Как же это так: поймай вора!.. Что это, блоха на теле, что ли? Где я его ловить буду?

И тут же Патлецов немедленно вспомнил: за углом той большой улицы, где они жили, был грязный переулок, а в переулке помещался трактир «Назарет», пользовавшийся самой печальной, скверной репутацией. Говорили, что в трактире гнездились разные темные личности, жулики не у дел и карманщики, проживавшие здесь дневную добычу.

Сначала то, о чем думал Патлецов, показалось ему неимоверно глупым, чудовищным, а потом, когда он поразмыслил минут десять, план стал казаться гораздо проще и исполнимее.

— Во всяком случае, — усмехнулся про себя Патлецов, — это оригинально и, во всяком случае, никакого другого выхода, кроме гостиницы, которую эта дура отвергает, нет!

Он сказал жене, что пойдет поискать слесаря, спустился с лестницы и исчез.

Глава II
«Назарет»

Теплый, влажный, пропитанный невыносимым запахом прокисшего пива и старых закусок воздух окутал Патлецова, когда он открыл темную, липкую дверь.

На первый взгляд в «Назарете» не было ничего страшного: за столиками сидели легковые извозчики, истерзанные мастеровые и женщины, такие дешевые, что две из них равнялись по стоимости — порции рубленых котлет.

Патлецов подошел к толстому одноглазому буфетчику и деликатно наклонился к нему:

— Не могу я навести у вас справочки?

— Ну? — сурово и подозрительно кивнул головой одноглазый.

— Мне нужен слесарь. Нет ли здесь между вашими... гостями слесаря?

— А вам для чего такого?

— Ключи от дверей потерял. В квартиру не могу попасть.

Вид у Патлецова был солидный, искренний. Буфетчик хмыкнул.

— Бог их знает... Все они слесаря, так или иначе. Ходят тут всякие.

— Да вы мне только укажите на кого-нибудь... а я сам поговорю. Я заплачу ему.

— Вон туда идите, — ухмыльнулся буфетчик. — Видите, в уголку роятся. Только меня не путайте. Может, они и не возьмутся. Мне-то что!

В уголку сидело трое. Приняли они Патлецова недоверчиво, странно поглядывая на него, сбитые, очевидно, с толку его странным предложением.

Один носил странное имя — Зря, другого называли Аркашенькой, а третий был сложнее: Мишка Саматоха.

— Да вам что нужно, господин? — с каким-то неискренним удивлением спросил Зря, самый старший.

— Кто хочет, ребята, честно рубль заработать?

— Да мы всегда честно рубли зарабатываем, — с болезненным самолюбием вора заворчал Аркашенька.

— И прекрасно! Мне нужен слесарь... Ключи я от дверей забыл. Так — открыть.

Все трое, как куклы, замотали головами.

— Не занимаемся.

— Как же так? А мне сказали, что кто-то из вас слесарь.

Мишка Саматоха, молодой бритый парень, с лицом актера и такими невыносимо блестящими глазами, что он беспрестанно гасил их блеск скромным опусканием век, возразил:

— Да как же так — ночью, идти в чужую незнакомую квартиру, отмыкать какие-то двери — Бог его знает, что оно такое... Хорошо ли это?

— Да я хозяин квартиры! — загорячился Патлецов. — Понимаете — хозяин! И я вам разрешаю... Мало того — я даже прошу вас об этом! Вы меня выручите...

В практике трех друзей это был редкий, смехотворный случай, — когда хозяин сам давал разрешение на то, что они делали всегда с душевной тревогой и тайным трепетом.

Тем не менее Зря и Аркашенька отказались от предложения категорически.

— Я два рубля дам! Я очень, очень прошу вас. Ну что вам стоит выручить человека?!

— Да почему вы в слесарную мастерскую не обратились? — спросил, гася свои алмазные глаза, Саматоха.

— Заперто все уже! Господи! А мне сказали, что тут в «Назарете» можно найти этих... слесарей... безработных. Как же мы иначе попадем в квартиру? Мы бы с женой вам были очень благодарны... Чрезвычайно.

Зря и Аркашенька снова сухо отказались. А сентиментальному Саматохе польстило, что его так просят и что этот господин в золотых очках и его жена, вероятно, красивая, не менее нарядная женщина будут ему, Саматохе, очень благодарны.

А когда Патлецов, заметив колебание раскисшего Мишки, взял его за руку и горячо пожал ее, Мишка встал и, разнеженно усмехнувшись, буркнул:

— Идите вперед. Я... сбегаю за инструментом и догоню вас.

Глава III
Мишка Саматоха

Жена Патлецова была очень удивлена и обрадована, когда муж явился с каким-то человеком и сообщил радостно:

— Нашел! Вот он сейчас откроет.

У Саматохи в суконке были завернуты какие-то вещицы, издававшие металлический лязг. Саматоха поклонился жене Патлецова, положил на подоконник суконку и развернул ее.

— О-ой, что это? — с кокетливым любопытством протянула госпожа Патлецова, заглядывая в суконку, — зачем так много?

— Инструменты, сударыня, — снисходительно улыбнулся Мишка Саматоха. — Разные тут.

— А это что?

— Это английский лобзик, — стал объяснять польщенный вниманием Мишка. — Пилочка такая... Преимущественно для амбарных замков и засовов. Вот этим ее смазывают, чтобы не слышно было.

— А зачем, чтоб не слышно? — спросила жена.

Патлецов и Саматоха перебросились быстрыми смеющимися взглядами и отвернулись друг от друга.

— Это, изволите ли видеть, американский ключ — последнее слово техники — со вставными бородками: можно вставить какую угодно... вот набор бородок... Это обыкновенные отмычки, к сожалению, не полный набор, — всего двенадцать штук...

Невыносимые алмазные глаза Мишки сверкали вдохновением артиста... Он вертелся, щелкал пальцами по синеватой стали, гремя отмычками, с увлечением объяснял достоинства новой системы буравчика перед прежними и умилялся до слез, когда госпожа Патлецова робко дотрагивалась тоненькими холеными пальчиками до странных, таинственных приборов.

— Ну, а как же вы откроете нашу дверь? — спросил Патлецов. — Этим, что ли?

— Английский замок? Нет, этой штучкой. То совсем для другого. Вот, смотрите...

Мишке Саматохе хотелось под взглядом прекрасных женских глаз сделать свое дело как можно красивее, проворней и с блеском. Он улыбнулся госпоже Патлецовой, вынул маленький крючок, как фокусник, показал его публике, засучил рукава и принагнулся к замку.

— Только он не будет уже больше годиться, — предупредил он, — ничего? Английские замки, видите ли, нужно сломать снаружи, чтоб открыть...

— Все равно, — нетерпеливо сказал Патлецов. — Лишь бы попасть нам домой.

— Слушаю-с.

Послышался треск... Саматоха с лицом доктора, делающего трудную операцию, суетливо нагнулся к своему набору инструментов, быстро вынул необходимый и сунул его куда-то вбок, в щель.

У своего плеча он слышал дыхание глядевшей на его работу с любопытством госпожи Патлецовой.

И сам Патлецов был неимоверно заинтересован.

Потный, сияющий Саматоха чувствовал себя героем дня.

— Пожалуйте-с!

Госпожа Патлецова радостно вскрикнула и бросилась в открытую дверь. Патлецов посмотрел на собиравшего свои инструменты Саматоху и сказал ему:

— Подождите здесь. Я сейчас вынесу деньги.

Дверь захлопнулась, и Саматоха остался один... Он, насвистывая, занялся складыванием своих принадлежностей, любовно осматривал их, дышал на них ртом и потом чистил тусклый металл рукавом потертого пиджака.

Прошло минут пять-шесть. К Саматохе никто не выходил. Саматоха уже хотел напомнить о себе деликатным стуком в дверь, как она распахнулась, и в ее освещенном четырехугольнике показались Патлецов, дворник и городовой.

— А-ах! — крикнул протяжно Мишка Саматоха, отпрыгивая к окну.

— Вот что, милый мой, — строго обратился к нему Патлецов. — Ты, я вижу, слишком большой искусник и слишком опасная персона, чтобы оставлять тебя на свободе. Сегодня ты открыл дверь с моего разрешения, а завтра сделаешь это без оного... Общество должно бороться с подобными людьми всеми легальными способами, какие есть в его распоряжении... Понимаешь? А такой субъект, как ты, да на свободе, да с этим инструментом — благодарю покорно! Да я ночей не буду спать...

. . . . . .

Когда молчаливого Саматоху уводили, он уже не старался тушить бриллиантовый взгляд своих глаз. Они так сияли, что больно было смотреть.

Патлецов аккуратно запер дверь и, почесав спину, пошел спать.

АРГОНАВТЫ

I

В то время я стоял во главе одного сатирического журнала, и, по обязанности редактора, мне приходилось ежедневно просматривать уйму рукописей, присылаемых со всех концов.

Произведения, которые присылались авторами с прямой и бесхитростной целью увидеть свое имя в печати, — были в большинстве случаев удивительными образчиками российской безграмотности, небрежности и наивности.

Мотивы присылки рукописей были, по большей части, одни и те же и излагались они всегда вначале препроводительного письма:

— «Говорят — попытка не пытка... Поэтому, посылаю, в надежде, что»... и т. д.

— «Не имея средств к существованию, решил выступить на поприще литературы и, поэтому, посылаю»... и т. д.

— «Не Боги горшки обжигают, а поэтому, прилагаемые стихи прошу напечатать»...

— «Будучи обременен многочисленным семейством, хотя и дьякон, хотел бы подработать на стороне, стишками или чем»...

— «Ввиду того, что все знакомые находят мои произведения недурными и даже великолепными, я посылаю их вам для печати. Гонорар — на ваше усмотрение»...

— «Очень бы хотелось видеть себя в печати. Поэтому, посылаю стишки и, если поместите, со своей стороны, обещаю способствовать художественному и литературному успеху издания».

А стихи были такие:

Скоро спомнил я зимнее время,
Как гулял с тобой по горам,
Кругом снег, пелену растилая,
Не давал нам гулять по горам.

Так что, автор, даже при самом сильном, искреннем желании «способствовать литературному успеху издания», не мог этого сделать...

Однажды, среди всего этого потока вздорных рассказов, безграмотных стихов и нелепых претензий, мое внимание остановило письмо из каких-то Степанцов, сопровождавшее стихи. И то и другое было так удивительно, что я расхохотался, позвал сотрудников, секретаря и прочел послание из Степанцов еще раз.

Вот какое оно было:

«Мы — я и брат— пишем вам об этом. Наша цель не столь строиться к славе своих ранних творений, сколько в получении авторитетных анализов наших с братом недосугов, что открыло бы нам альтернативы сокровищ в литературных подвигах грядущих сочинений. Мы с братом встречаем в наших юных корпусах моментов много невыносимых — даже до боли приведших дефектов, что много повредило нам в плавном сообразовании со всей литературной корпорацией. Мы запоздали. Но ничего! Нам еще нельзя упускать листву на безнадежное высушение и неозеленение. К сожалению, нравоучительной использованности в Степанцах нам не найти. Так что, посылаем с братом свои произведения, и ежели ваш уважаемый журнал отнесется к нам инертно и напечатает — то посвятим свою жизнь великой литературе поэтических сообразований... Ответьте в «почтовом ящике» под фирмой «Абраму и Бенциону Самуйловым из м. Степанцов».

При письме прилагались стихи обоих братьев, причем Абрам, обладавший, очевидно, пылким сангвиническим темпераментом, писал так:

СТИХИ.

Тебя безумною любовию любя,
Готов отважиться на подвиг я опасный,
Но если ты обманываешь меня,
То знай, что мститель я ужастный!
Как ягуар, я кровожаден, зол,
Тебя я буду мучить пыткою смертельной,
Потом, вонзив в сердце тебе топор —
Ращет покончу с жизнью твоей изменной!!

Меланхолик Бенцион был прямой противоположностью своему порывистому брату... Тона у него были элегические, нежные, и даже стихи так и назывались: «Элегия».

Ты пела в сладостном томленьи:
«Милый мой, люблю тебя!»
Внимали сим речам в сомненьи
И звезды, лес, шептавшийся с природой...

*

Теперь же все прошло... на век...
Нет больше этих чудных снов.
И так исчезнет всякий человек:
Бесследно также, как все это.

Письма и стихи очень потешили секретаря и сотрудников.

— Какой же вы ответ дадите этим чудакам? — спросил секретарь.

— Увидите, —рассмеялся я.

На другой день я ответил в «почтовом ящике» в ряду других юмористических шутливых ответов неудачникам пера и карандаша — и братьям Абраму и Бенциону Самойловым из м. Степанцов:

— «Братья писатели! Приводим ваши стихи, представляя их на суд публики... Очень талантливо! Я думаю, все согласятся с нами, что самое лучшее для вас, — это забросить ваши степанцовские дела и приехать в Петербург, чтобы такие гениальные дарования развивались и совершенствовались в благоприятных условиях. Довольно ли вам по 500 рублей в месяц заработку?»

В ближайшем номере журнала «почтовый ящик» был напечатан, и журнал разлетелся по всей необъятной России, вплоть до безвестного м. Степанцов.

II

Однажды, когда я, сидя у себя, просматривал последнюю корректуру, мне сообщили:

— Вас на лестнице спрашивают каких-то двое.

Я вышел.

На площадке лестницы, действительно, стояли два худых грустных господина, обремененных чемоданом, парой подушек и какими-то коробками и сверточками.

— Что т-такое? — отшатнулся я в удивлении. — В чем дело? Вы, вероятно, не ко мне?

— Ну, если вы редактор, так к вам, а если вы не редактор— так не к вам, — сказал, дружелюбно улыбнувшись, старший человек.

— Мы прямо к нему, так сказать, к редактору, — подтвердил господин помоложе.

— Кто вы такие?

— Конечно, он нас не узнал, — обернулся один к другому.

— Конечно, раз они нас никогда не видели. Хе-хе! Мы братья. Братья Самуйловы. Он Абрам, а уж я — так Бенцион.

— Что же вам от меня угодно?

— Смотрите! — сказал Бенцион. — Этот человек так занят, что даже все забыл. Мы же из Степанцов, которые стихи вам присылали, а вы еще написали — приезжайте — можно склеить гениальное дельце.

Бенцион толкнул Абрама в бок, и тот одобрительно, полный радужных перспектив, захохотал.

Я похолодел.

— И вы потому, что прочли мой ответ в почтовом ящике, — потому и приехали?!

— Ну, конечно, — кивнул курчавой головой Абрам. — Зря на что мы бы не поехали... А так — отчего же!

— Сделайте милость! — подтвердил Бенцион.

Я стоял бледный, растерянный.

— Где же вы... остановились?

— А нигде. Прямо, как с вокзала, то — к вам. Стихов привезли — кучу! Три недели писали.

— Ну, хорошо... заходите через... четыре дня. Я подумаю.

Братья схватили свой чемодан, подушки, взялись за руки и послушно повернули к дверям.

— Постойте, — остановил я их. — А деньги-то у вас пока есть?

— Абрам, — с любопытством обратился Бенцион к брату, — а деньги у нас пока есть?

Тот полез в карман.

— Есть. Рупь с мелочью. Билеты стоят, извините, до черта дорого. Ну, мы как-нибудь пока.

— Постойте! — нетерпеливо вскричал я. — Нате вам, пока, а там увидим.

— Зачем? — удивился Абрам. — Ведь мы же еще не заработали.

— Это так принято — называется: аванс. Берите!

— Называется аванс, — подтвердил Бенцион. — Бери, Абрам. Отработаем!

Они застенчиво взяли деньги и ушли, а я весь день чувствовал себя в глупом положении неопытного, растерявшегося спирита, который вызвал духов, а что с ними делать — не знает...

Когда я рассказал в редакции об этом случае — весь день во всех углах стоял гомерический хохот.

III

Братья пришли ровно через четыре дня.

— Здравствуйте, — сказал Бенцион. — Как поживаете? Нечего сказать — большой город Санкт-Петербург. А?

— Нечего отнимать время у них, — перебил его деловым тоном Абрам. — Вынимай стихи!

Оба, как по команде, вынули из карманов по пачке стихов и положили передо мной.

— Эти еще лучше, чем те, — сказал Бенцион.

— Ого! — захохотал Абрам, подталкивая ободрительно брата вбок. — Гораздо более!

Я развернул одну пачку, с тайной бессмысленной и беспочвенной надеждой — найти в ней что-нибудь мало-мальски годное для печати.

Первое стихотворение начиналось так:

Будет осень, но будет не время,
Скажут: милый знакомиться с ней,
С той красивой, пухлявой девчуркой.
Чей глазки печальны, как ночь!

— Хорошо, — нерешительно сказал я. — Зайдите через неделю. Мы их прочтем, посоветуемся.

— А?—торжествующе вскричал Абрам, подмигивая Бенциону.—Уже нас читают! Уже об нас советуются. Недурно, а?

— У вас еще есть деньги? — спросил я Абрама.

— Есть ,— отвечал он, — но по лицам братьев я видел, что денег у них нет.

Чтобы не слышать возражений, я сказал:

— Получите деньги! Это так принято. Всякий писатель, давая вещь для печати, еще раз получает аванс.

— Хорошее дело быть писателем, — удивился Бенцион. — Какой дурак Гришка Конухес, что он сидит в своей галантерее! Что такое, я спрошу вас — галантерея в Степанцах?.. Ха-ха!

Они раскланялись и ушли, а я схватил сам себя за волосы и заскрежетал зубами.

Через неделю они опять пришли, взявшись под руку, сияющие, полные самых радужных надежд.

— Ну?

— Пока ничего,—пожал я плечами. — Деньги у вас есть?

— Нет, — покачал головой Абрам, — Деньги мы у вас больше не возьмем. Мы узнали: таких правилов нет — чтобы деньги брать, да брать, а что же дальше?

Опустив голову, Бенцион тихо добавил:

— Ну, нам некоторые тут знакомые сказали, что стихи наши не такие гениальные, как мы думали.

Сердце мое сжалось.

— Ну, что вы! Стишки ничего себе, да только...

В это время у меня сидел заведующий нашей конторой, — грубоватый, мрачный старик.

— Да что, в самом деле, — стихи, да стихи! Стихов у нас и так — хоть залейся!.. Вы бы лучше объявление хорошее принесли.

— Объявление? — удивился Бенцион. — Какое?

— Публикацию от какой-нибудь фирмы для нашего журнала. А то стишки — эка невидаль!

Братья стояли, молча. Вздохнули и дружно сказали друг другу:

— Ну, идем.

— Ну, идем.

— Возьмите еще аванс, — крикнул я, хватая Бенциона за руку.

Он деликатно высвободился и ушел.

IV

Однажды, когда я сидел, полный черных мыслей о своем легкомысленном поступке и о судьбе исчезнувших братьев, ко мне постучались.

— Ну? Кто там?

— Извините, — сказал Бенцион, протискивая вперед Абрама. — Мы еще раз к вам. Вот: не надо ли?

Протиснутый вперед Абрам положил мне на стол какую-то бумагу и застенчиво отскочил. Его место занял Бенцион, положил какую-то бумагу и, глупо улыбаясь, тоже отскочил.

— Еще стихи, — усмехнулся я про себя и робко заглянул в подсунутые мне бумаги...

— Что это?

— Объявления, — ухмыляясь, сказал Бенцион. — Вы хотели иметь объявления, так мы вам достали. Он — табачная фабрика, а я — корсеты и «друг человека — желудок».

Фирмы были солидные. Я позвал заведующего конторой и дал ему принесенные объявления.

— Молодцы! — похвалил их старик, будто они именно и сделали то, что от них требовалось. — Так и надо! Тащите еще. Принесли вы, приблизительно, полтораста двойных — значит, следует вам около 22-х рублей, что ли. Хотите получить?

Глаза Абрама сверкнули голодным огоньком, но он потушил его и, опустив голову, сказал:

— Мы должны.

— Должны, — как эхо, подтвердил Бенцион. — Ой, мы еще много должны!

— Пустяки. Это был аванс, — усмехнулся я. — Выдайте им. После сосчитаемся.

Братья просияли, подтолкнули друг друга, засмеялись и вышли вслед за стариком.

Я чувствовал себя на седьмом небе.

V

Изредка я наводил в конторе справки об удивительных братьях Самуйловых. Мне сообщили, что сначала они показывались редко, объявления, очевидно, давались им туго, но потом — способности экс-поэтов развернулись пышным цветком.

Однажды, зайдя в конфектный магазин, я имел случай наблюдать братьев на их трудной, неблагодарной работе.

Не замечая меня, Бенцион стоял перед старшим приказчиком и убежденно говорил:

— Реклама есть двигатель торговли. Ни одна копейка, брошенная на рекламу, не пропадет даром. Все солидные фирмы сознали необходимость широкой рекламы, тем более в таком распространенном журнале, как...

— Мы никому, вообще, не даем объявлений, — сказал приказчик.— Наша фирма не публикуется.

Он ушел за перегородку, а Бенцион развел руками и обратился к продавщице:

— Помилуйте! Реклама — это двигатель торговли... Копейка не пропадает! Все солидные фирмы, которые коммерческие...

Барышня улыбнулась и занялась каким-то покупателем.

Абрам взял за пуговицу господина в пальто и сказал:

— Вы не можете себе представить преимущества рекламы! Это двигатель торговли, и я удивляюсь...

— Да я покупатель! — сказал господин. — Ей Богу, мне нечего рекламировать.

— Нечего? — удивился Абрам. — Очень жаль!

Он увидел меня и радостно поздоровался.

— Здравствуйте! Поймите, пожалуйста, что всякая коммерческая фирма, понимающая рекламу, как двигатель торговли...

— Это вы не мне объясните, — засмеялся я. — А им.

— Я им уже объяснял... Чудаки! Не понимают... Имейте в виду — каждая копейка, потраченная на рекламу...

Мы все втроем вышли из магазина.

Я простился с ними, сел на извозчика и, уезжая, расслышал, как Бенцион говорил Абраму:

— Вы понимаете, что разумно данная реклама, которая есть двигатель торговли, должна оправдывать каждую истраченную копей...

VI

Недавно я получил записку без подписи, гласившую:

— «Если бы вы приехали сегодня вечером к Контану, то это было бы очень хорошо. А если бы вы спросили там, где кабинет номер двенадцать? — то это было бы еще лучше... Не кушайте много за обедом. Ну? Приедете? Приезжайте...»

Я усмехнулся и решил поехать.

В кабинете, как и можно было предполагать, находились братья Самуйловы. Увидев меня, Бенцион подтолкнул локтем Абрама, засмеялся и воскликнул:

— Он-таки приехал! Он выпьет с нами рюмочку другую шампанского за всеобщее процветание и за альтернативы сокровищ в литературных недосугах. Вы, может быть, думаете, что сделали глупость, выписав нас для работы в журнале? Позвольте

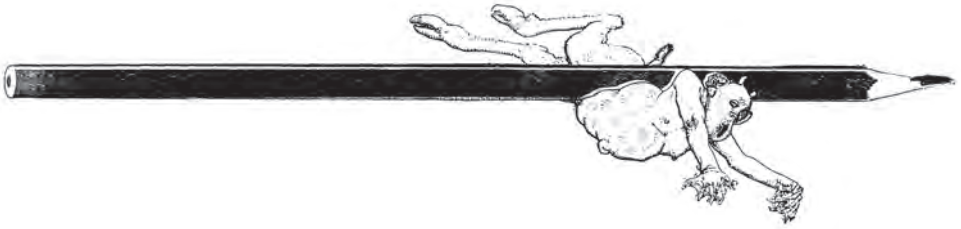
вас удостоверить, что глупости здесь не было ни малейшей... Мы, ей Богу, катаемся как какие-нибудь сыры в маслах.

— Ого-го! — одобрительно сказал Абрам. — Этот редактор знает, что он делает. Он с расчетом делает.

Я засмеялся и крепко пожал повеселевшим братьям руки.

И начался наш веселый пир...

Хорошо пить, когда небо безоблачно.



СМЕРТЬ ДЕВУШКИ У ИЗГОРОДИ

Я очень люблю писателей, которые описывают старинные запущенные барские усадьбы, освещенные косыми лучами красного заходящего солнца, причем в каждой такой усадьбе, у изгороди, стоит по тихой задумчивой девушке, устремившей свой грустно-рассеянный взгляд в беспредельную даль.

Это самый хороший, не причиняющий неприятностей сорт женщин: стоят себе у садовой решетки и смотрят вдаль, не делая никому гадостей и беспокойства... Я люблю таких женщин. Я часто мечтал о том, чтобы одна из них отделилась от своей изгороди и пришла бы ко мне успокоить, освежить мою усталую, издерганную душу.

Как жаль, что такие милые женщины водятся, исключительно, у сельских садовых изгородей, не забредая в шумные города.

С ними было бы легко; в худшем случае они могли бы только покачать головой и затаить свою скорбь, если вы их чем-нибудь обидели.

Прямая им противоположность городская женщина: глаза ее ни на одну секунду не устремятся в беспредельную даль; глаза эти бегают злые, ревнивые, подстерегающие тут же — около вас и вокруг вас... Городская женщина никогда не будет кутаться в такой уютный мягкий пуховой платок, какой всегда красуется на плечах милой женщины у изгороди; ей подавай нелепейшую шляпу с перьями, бантами и шпильками, которыми она протыкает свою многострадальную голову. А попробуйте ее обидеть... Ей ни на секунду не придет в голову мысль затаить обиду. Она сейчас же начнет шипеть, жалить вас, делать тысячу гадостей, и все это с самым обворожительным светским видом и тактом...

О, как прекрасны девушки у изгороди!

У меня в доме завелось однажды существо, которое можно было безо всякого колебания причислить к сорту городских женщин.

На этой городской женщине я изучал женщин вообще, и — много странного, любопытного и удивительного пришлось мне увидеть.

Когда она поселялась у меня, я поставил ей непременным условием — не считать ее за человека.

Сначала она призадумалась.

— А кем же ты будешь считать меня?

— Я тебя буду считать существом выше человека, — предложил я, — существом особенным, недосягаемым, прекрасным, но только не человеком. Согласись сама — какой же ты человек?

Кажется, она обиделась.

— Очень странно. Если у меня нет усов и бороды...

— Милая! Не в усах дело. И уж одно то, что ты видишь разницу только в этом — доказывает, что никогда мы с тобой не споемся. Я даже не буду говорить навязшие в зубах слова о повышенном умственном уровне мужчины, о его превосходстве, о сравнительном весе мозга мужчины и женщины — это вздор! Просто мы разные — и баста. Вы лучше нас, но не такие как мы... Довольно с тебя этого? Если бы прекрасная, нежная роза стремилась стать на один уровень с черным свинцовым карандашом — ее затея вызвала бы только презрительное пожатие плеч у умных рассудительных людей!..

— Ну, поцелуй меня, — сказала женщина.

— Это можно. Сколько угодно.

Мы поцеловались.

— А ты меня будешь уважать? — спросила она помолчав.

— Очень тебе это нужно! Если я начну тебя уважать — ты протянешь от скуки ноги на второй же день. Не говори глупостей.

И она стала жить у меня.

Часто, утром, просыпаясь раньше, чем она, я долго сидел на краю постели и наблюдал за этим сверхъестественным чуждым мне существом, за этим красивым чудовищем.

Руки у нее были белые, полные, без всяких мускулов, грудь во время дыхания подымалась до смешного высоко, а длинные волосы, разбрасываясь по подушке, лезли ей в уши, цеплялись за пуговицы наволок и, очевидно, причиняли не меньше хлопот и беспокойств, чем ядро на ноге каторжника. По утрам она, расчесывая свои волосы, рвала гребнем целые пряди, запутывалась в них и обливалась слезами. А когда я, желая прийти ей на помощь, посоветовал остричься — она назвала меня дураком.

То же самое мнение обо мне она высказала и второй раз, когда я спросил ее о цели розовых атласных лент, завязанных в хрупкие причудливые банты на ночной сорочке.

— Если ты, милая, делаешь это для меня, то мне они совершенно не нужны и никакой пользы не приносят. А в смысле нарядности — кроме меня, ведь их никто не видит. Зачем же они?

— Ты глуп.

Я не видел у нее ни одной принадлежности туалета, которая была бы рациональна, удобна и проста. Панталоны состояли из чудных кружев и бантов, так что согревать ног не могли, корсет мешал ей нагибаться и оставлял на прекрасном белом теле красные следы.

Подвязки были такого странного запутанного вида, что дикарь, не зная, что это такое, съел бы их. Да и сам я, культурный сообразительный человек, пришел однажды в отчаяние, пытаясь постичь сложный, ни на что не похожий их механизм.

Мне кажется, что где-то сидит такой хитрый, глубокомысленный, но глупый человек, который выдумывает все эти вещи и потом подсовывает их женщинам.

Цель, к которой он при этом стремится — сочинить что-нибудь такое, что было бы наименее нужно, полезно и удобно.

— Выдумаю-ка я для них башмаки, — решает в пылу своей ужасной работы этот таинственный человек.

За образец почему-то он всегда берет все мужское, все умное, необходимое, и делает из этого предмет, от которого мужчина сошел бы с ума.

— Гм... — думает этот человек. — Башмак... Хорошо-с.

Под башмак подсовывается чудовищный громадный каблук, носок суживается, как острие кинжала, сбоку пришиваются десятка два пуговиц и — бедная, обманутая доверчивая женщина обута.

— Ничего, — злорадно думает этот грубый таинственный человек. — Сносишь! Не подохнешь... Я тебе еще и зонтик сочиню. Для чего зонтики служат? От дождя? От солнца? У мужчин они большие, плотные? Хорошо-с. Мы тебе вот что сделаем: маленький, кружевной, с ручкой, которая должна переломиться от первого же порыва свежего ветра.

И этот человек достигает своей цели: от дождя зонтик протекает, от солнца, благодаря своей микроскопической величине, не спасает и, кроме того, ручка в нем ежеминутно отваливается.

— Носи, носи, — усмехается суровый незнакомец. — Я тебе и шляпу выдумаю. И кофточку, которая застегивается сзади, и пальто, которое совсем не застегивается, и носовой платок, который можно будет втянуть целиком в ноздрю при хорошем печальном вздохе. Сносишь! За тебя, брат, некому заступиться; мужчина с вашим братом подлецом себя держит.

Однажды я зашел в магазин дамских принадлежностей при каком-то «Институте красоты». Мне нужно было сделать городской женщине какой-нибудь подарок.

— Вот, — сказала мне продавщица, — модная вещь.

В бархатном футляре лежало что-то, вроде узкого стилета с затейливой резьбой и ручкой из слоновой кости.

— Что это?

— Это, monsieur, прибор для вынимания из глаза попавшей туда соринки. 12 рублей. Есть такие же из композиции — 9 с полтиной, но без серебряной ручки.

— А есть у вас, — с тонкой иронией спросил я, — клей для приклеивания выпавших волос на старое место?

— На будущей неделе получим, monsieur. Не желаете ли новинку — аппарат для извлечения головных шпилек, завалившихся за спинку вагона.

— Благодарю вас, — холодно возразил я. — Я скорее попытаюсь это сделать с помощью мясорубки или ротационной машины.

Ушел я из магазина с чувством гнева и возмущения, вызванного во мне хитрым, нахальным незнакомцем.

——

Жившая у меня городская женщина проводила время так: просыпалась в половине первого пополудни и ела в постели виноград, а если был виноградный сезон, то — что-нибудь другое: плитку шоколада, лимон с сахаром или конфекты.

Читала газеты; именно те места, в которых говорилось о Турции.

— Почему тебя интересуют именно турки? — спросил я однажды.

— Они такие милые. У тети жил один турок водонос, черный-черный, загорелый. А глаза глубо-окие. Ах, уже час? Зачем же ты меня не разбудил?

Она вставала и подходила к зеркалу. Высовывала язык, дергала его, будто убеждаясь, прочно ли он сидит в своем гнезде, и потом, надев один чулок, заглядывала в конец неразрезанной книги, купленной мной накануне.

Через пять минут она заливалась слезами.

— Зачем ты ее купил?

— А что?

— Почему непременно — «Историю маленькой блондинки»? Потому что я — брюнетка? Понимаем-с, понимаем.

— Ну?! Еще что?

— Я знаю: тебе нравятся блондинки и маленькие. Хорошо. Ты глубоко в этом раскаешься.

— В чем?

— В этом.

Она плакала, а я рассеянно смотрел в окно. Входила горничная.

— Луша, — спрашивала горничную жившая у меня женщина, — зачем вчера барин заходил к вам в три часа ночи?

— Да он не заходил.

— Ступайте!

— Это еще что за штуки?! — кричал я сурово.

— Я хотела вас поймать. Гм... Или вы хорошо умеете владеть собой, или ты изменяешь мне с кем-нибудь другим.

Потом она еще плакала.

— Дай мне слово, что, когда ты меня разлюбишь — ты честно заявишь мне об этом. Я не произнесу ни одного упрека. Просто уйду от тебя. Я оценю твое благородство!

——

Недавно я пришел к ней и сказал:

— Ну, вот. Я и разлюбил тебя.

— Не может быть! Ты лжешь! Какие все мужчины негодяи.

— Мне не нравятся городские женщины — откровенно признался я. — Они так запутались в кружево и подвязки, что их никак оттуда не вытащишь. Ты глупая изломанная женщина, ленивая, бестолковая, лживая. Ты обманывала меня, если не физически, то взглядами, желанием, кокетничаньем с посторонними мужчинами! Я стосковался по девушке на низких каблуках, с обыкновенными резиновыми подвязками, придерживающими чулки, с большим зонтиком, который защитил бы нас двух от дождя и солнца. Я стосковался по девушке, встающей рано утром и готовящей собственными любящими руками вкусное кофе. Она будет тоже женщиной, но все-таки это другой сорт. У изгороди усадьбы, освещенной косыми лучами заходящего солнца, стоит она в белом простеньком платье и ждет меня, кутаясь в уютный пуховой платок... К черту приборы для вынимания попавших в глаз соринок!

— Ну, поцелуй меня, — сказала слушавшая меня очень внимательно женщина.

— Не хочу. Я тебе все сказал. Целуйся с другими.

— И буду. Подумаешь, какой красавец выискался. Думает, что кроме него никого и нет. Не беспокойся, милый. Поманю — толпой побегут.

— Прекрасно. Во избежание давки советую тебе установить с помощью наряда полиции очередь. Прощай!!

И ушел.

——

На другой день к сумеркам я уже нашел все, что мне требовалось: усадьбу, косые лучи солнца и тихую задумчивую девушку, кротко опиравшуюся на изгородь...

Я упал перед ней на колени и заплакал.

— Я устал и весь изломан. Исцели меня! Ты должна сделать чудо.

Она побледнела и заторопилась:

— Встаньте! Не надо... Я люблю вас и принесу вам всю свою жизнь. Не надо плакать... Мы будем счастливы.

— У меня было прошлое! — сказал я. — У меня была женщина.

— Мне нет дела до твоего прошлого. Если ты пришел ко мне, значит у тебя не было счастья.

Она смотрела вдаль мягким задумчивым взглядом и повторяла, — в то время, как я осыпал поцелуями ее дорогие для меня ноги (в ботинках на низких каблуках):

— Не надо, не надо...

Через две недели я, свежий, молодой, переродившийся, вез ее к себе в тот город, где жил, — с целью сделать своей рабой, владычицей, хозяйкой, любовницей и женой.

Тихие слезы умиления накипали у меня, когда я бросал мимолетный взгляд на ее милое загорелое личико, простенькую шляпу с голубым бантом и серое платье, простое, трогательное.

Мы уже миновали задумчивые зеленые поля и въехали в шумный, гудевший как громадный шмель, город.

— Она здесь? — неожиданно спросила меня моя спутница.

— Кто — она?

— Эта... твоя...

— Зачем ты это спрашиваешь?

— Вдруг вы... будете с ней встречаться? А?!

— Милая! Раньше ты так не говорила. И потом — это невозможно. Я, ведь, сам от нее ушел.

— Ах! Это, мне кажется, все равно. Зачем ты сейчас посмотрел на ту высокую женщину?

— Да так просто.

— Так? Но, ведь, ты же мог смотреть на меня?

Она сразу сделалась угрюмой, и я, чтобы рассеять тяжелое положение, предложил:

— Зайдем в этот магазин. Мне нужно купить воротничков.

— Зайдем. И мне тоже кое-что нужно.

В магазине она спросила:

— У вас есть маленькие кружевные зонтики?

Я побледнел.

— Милая!! За... чем... Они же неудобны. Лучше большой...

— Большой? Что ты такое говоришь? Кто же здесь, в городе, носит большие зонтики. Это не деревня!.. Послушайте! У вас есть подвязки, знаете, такие, с машинками. Потом ботинки на пуговицах... да не эти! Дайте с высокими каблуками, еще выше... еще!

И я сидел, молчаливый, с сильно бьющимся сердцем и искаженным страданием лицом, и наблюдал, как постепенно гасли косые красные лучи заходящего солнца, как спадал с плеч уютный пуховой платок, как вырастала изгородь из кружевных хрупких зонтиков, и как на них причудливыми гирляндами висели панталоны из кружев и бантов... А на тихой дремлющей вдали и осененной ветлами усадьбе — резко вырисовывалась вывеска с тремя странными словами:

— Modes et robes.

Девушка отошла от изгороди и — умерла.

МАЛЬЧИК С ЗАТЕКШИМ ГЛАЗОМ

(О КРИТИКАХ)

Критиков мне приходилось встречать с самого детства.

Будучи семилетним мальчиком я однажды прыгал по двору, подбрасывая в то же время камушек и стараясь после каждого прыжка снова поймать его. Тогда это доставляло мне громадное удовольствие, которое теперь я бы уже не пережил пытаясь повторить это, — потому что сделался я человеком взрослым, тяжелым и пресыщенным подобными удовольствиями.

Прыгая таким образом, заметил я мальчишку с синяком под глазом, приблизившегося ко мне и очень заинтересованного моими телодвижениями.

Это был типичный критик.

— Вот-то дурак!—сказал он неодобрительно щуря затекший глаз.

— Почему дурак?

— Да это ж легко. Это всякий сделает.

— А как надо?

— Ты попробуй так: закрой глаза, подпрыгни, подбрось камень высоко-высоко, да и поймай его. Вот это будет штука!

Мне очень хотелось заслужить одобрение мальчишки с затекшим глазом. Очевидно, это был понимающий человек, хорошо знакомый с подпрыгиванием и подбрасыванием камней, а я был начинающий дилетант-новичок.

Я сделал все по указаниям критика: зажмурил глаза, подпрыгнул, метнул высоко камень и сейчас же услышал звон разбитого стекла и чей-то болезненный крик.

Сначала меня отколотила проходившая мимо кухарка, в голову которой попал камень, разбивший до того в своем полете оконное стекло; потом колотил меня квартирант, окно которого пострадало от камня, а потом я перешел в руки случайно проходившего по двору человека, равнодушного к моему поступку, но поставившего, вероятно, целью доставлять себе время от времени дешевое невинное удовольствие: избивать подвернувшихся под руку детей.

Мальчишка с затекшим глазом терпеливо перенес побои, которые выпали на мою долю.

Когда все ушли, я размазал по лицу слезы и сказал ему с упреком:

— Видишь! Вот тебе и попробовал.

— И дурак.

— Да почему же дурак? Ты ведь сам сказал.

— Молчи, сволочь...

Он ударил меня грязным кулаком по шее и, переваливаясь, ушел с невыносимо наглым видом.

С тех пор я этого мальчика не видел. Куда он ушел? — Бог весть. В какой газете он сейчас сотрудничает? Совершенно неизвестно. И, тем не менее, я его встречаю...

II

Первую книгу моих рассказов критика встретила с некоторым интересом и отметила появление ее целым рядом статей.

Запомнились мне несколько статей...

1) Над русской литературой висит какое-то заклятие... В России не может быть настоящего жизнерадостного смеха, он всегда переходит в злую, брызжущую бешенством обличения сатиру; таковы все рассказы писателя, которому посвящается эта статья. Все время из каждой строки глядит на вас искаженное мучительной гримасой боли и ужаса лицо автора. Это не Марк Твен и даже не Джером. Это скорбная гримаса Чехова.

2) Странно читать эту книгу, книгу утробного жизнерадостного смеха, в то время, когда лучшая часть интеллигенции сидит в тюрьмах, когда самодеятельность общества задавлена, когда администрация не разрешает даже открытия потребительной лавки при станции Малаховка. Нет! Не смех как самоцель нам теперь нужен, а ядовитый бич сатиры нам теперь нужен. Автор усиленно подражает Мопассану и Горбунову. Спрашивается — похож ли он по манере письма на Чехова? Нисколько.

3) Автор изображает быт — и только. Ни смеха, ни юмора в книге нет. Это бытовые вещички, и они могут быть комичны постольку, поскольку комичен сам быт. В рассказах нет ничего общего с рассказами Чехова, но можно отметить сильное влияние на писателя Глеба Успенского. Пытается подражать молодой литератор и Достоевскому.

4) Глупое гоготанье никогда ни в ком не вызывало восторга. Подражать Лейкину легко, но как отнесется к этому читатель? — вот вопрос. Человек который хохочет если ему показать палец... Что делать такому человеку в великой русской литературе, хранящей заветы великого Белинского и Добролюбова? К сожалению, у автора с Чеховым нет ничего общего...

Я читал критические статьи и не знал как мне быть? Я понимал еще тех критиков которые находили, что я подражаю Виктору Гюго или Эдгару По. Но зачем некоторые из них считали нужным отметить, что я нисколько не похож на Чехова, Писемского и Октава Мирбо?

Я очутился в положении того молодого человека, к которому подошел праздный прохожий и с любопытством спросил:

— Вы не сын здешнего городского головы?

— Нет. А что? — совершенно искренно сказал тот молодой человек.

— Я так и думал: вы на него совсем не похожи.

Что делать нам, бедным писателям?

Я помню одного знакомого критика, который очень любил, когда я в большом обществе читал вслух свои новые произведения.

Он слушал чтение с удовольствием. Когда я кончал, он одобрительно кивал головой и задумчиво говорил:

— Очень хорошо!.. Только помнится мне, что я где-то уже что-то подобное читал.

Спина моя холодела.

— Не может быть? — испуганно говорил я. — Где же вы могли прочесть? Я только сейчас это написал. Только сегодня!

Он мялся.

— Мм... не знаю. Может быть. Но хорошо помню, что где-то в каком-то журнале я читал уже почти такую самую вещь.

Я схватывал его за руки, сжимал их и, чуть не плача, молил:

— Где? Где вы могли прочесть? Ну, вспомните!!

— Право, не припомню. Самый факт остался в памяти, а названия журнала и год издания не запомнил.

И все впечатление от рассказа пропадало, все настроение было испорчено.

И все слушатели были на его стороне, а на меня поглядывали иронически, и я читал в их взглядах:

— Что, батюшка? Стянул? Попался!?

Опозоренный, я уходил и, уходя, был твердо уверен: критик просто хотел блеснуть своей эрудицией, зная, что поймать его никак невозможно, и зная, что я совершенно беззащитен в этом случае.

У него было какое-то ужасное право на меня, неизвестно кем ему данное. А у меня на него не было никаких прав. Он со мной мог сделать все, что угодно, а я только мог тайком по ночам плакать и с кротостью молить Всевышнего, чтобы Он послал ему изнурительную лихорадку или эпилепсию.

Но Бог терпел его.

Бог стерпел даже его критическую статью обо мне, в которой он упрекнул меня за недостатки и безграмотность моего слога, — причем написал об этом так:

— Автор приводимого юмористического рассказа, который еще молодой, в доказательство чего можно привести много погрешностей в слоге вышеозначенного, что и объясняется этим качеством.

III

За время моей литературной деятельности я получил целый ряд очень ценных советов, которыми за недосугом не воспользовался.

— Зачем вы пишете рассказы? — спросил меня однажды знакомый.

— Да так. А что?

— Напишите-ка роман.

— Почему?

— Ну, вот... Как же без романа? Обязательно, напишите.

— Я бы и написал, — нерешительно возразил я, — но вот Петров находит, что я и так пишу большие вещи. Петров говорит что теперь время миниатюр в сорок строк.

— Ваш Петров осел.

И если бы мой собеседник был моложе, и если бы один глаз у него был подбит — в нем без труда можно было бы узнать мальчишку-критика, который советовал мне бросать камушек с закрытыми глазами.

Этот странный мальчишка день-деньской торчит около меня и мешает мне работать.

— Ты что пишешь-то? — спрашивает он глядя через плечо и щуря подбитый глаз.

— Рассказ.

— И глупо. Пьесу нужно писать, а не рассказ.

Я уверен, что если бы я отложил в сторону рассказ и начал писать пьесу, он снова ввязался бы в мою работу.

— Что ты делаешь?

— Пьесу пишу.

— Брось ее. Отчего бы тебе не написать повести из фабричного быта?

Если бы я ответил ему категорически:

— Не желаю.

Он тут же вздул бы меня.

И вот я отмалчиваюсь, а мальчишка бегает за мной и все советует:

— Пиши политические памфлеты! Отчего бы тебе не попробовать написать стихи? Мне кажется, тебе бы должны удаваться пародии!

Мы с ним никогда не поймем друг друга.

Я до самой своей смерти не прощу ему случая с моим рассказом «Праведник». Однажды, будучи в хорошем веселом настроении, я написал юмористический рассказ: хозяин дома восхищается прямолинейностью и откровенностью гостя, который много терпел за эти качества; хозяин преклоняется перед гостем, превозносит его, а гость, улучив минуту, набрасывается на хозяина, и начинает обличать и разносить его с такой прямолинейностью, что для хозяина остается только один выход — выбросить моралиста-гостя за дверь.

Написав это, я был уверен что написал презабавный юмористический рассказ. Но мальчишка с затекшим глазом не дремал. Он наткнулся на этот рассказ и написал о нем следующее:

— «Глубокая безысходная трагедия разыгрывается на протяжении нескольких страниц этого рассказа. Сердце щемит, когда подумаешь, сколько приходится вытерпеть человеку, ратующему за правду, как встречает этого пророка тупой косный индивидуум, шкура которого зачерствела, и сердце превратилось в камень. Глубокий пессимизм автора и безотрадность всей вещи доказывает, что молодой писатель вступил на какой-то новый путь — путь беспросветного отчаяния. Со своей стороны мы приветствуем этот переход — от пустеньких смешных рассказов — до подлинного произведения серьезного искусства. Влияния Чехова не чувствуется».

Попробовал бы я, по совету мальчишки с затекшим глазом — вступить на этот путь «бросания камнями с закрытыми глазами»! Читатель немедленно набросился бы на меня и поступил бы со мной по примеру кухарки квартиранта и того случайного господина, который так любил доставлять себе бесплатное удовольствие — колотить беззащитных детей.

А мальчишка с затекшим глазом стоял бы около, терпеливо перенес бы все доставшиеся мне побои, делая вид, что это не он заварил всю кашу, и, пожалуй, после всех — добил бы меня окончательно.

АРКАДІЙ

АВЕРЧЕНКО

ВЕСЕЛЫЯ УСТРИЦЫ

БИБЛІОТЕКА „САТИРИКОНА"

ИЗДАНІЕ М. Г. КОРНФЕЛЬДА.

АВТОБИОГРАФИЯ

Еще за пятнадцать минут до рождения я не знал, что появлюсь на белый свет. Это само по себе пустячное указание я делаю лишь потому, что желаю опередить на четверть часа всех других замечательных людей, жизнь которых с утомительным однообразием описывалась непременно с момента рождения. Ну вот.

Когда акушерка преподнесла меня отцу, он с видом знатока осмотрел то, что я из себя представлял, и воскликнул:

— Держу пари на золотой, что это мальчишка!

«Старая лисица! — подумал я, внутренне усмехнувшись, — ты играешь наверняка».

С этого разговора и началось наше знакомство, а потом и дружба.

Из скромности я остерегусь указать на тот факт, что в день моего рождения звонили в колокола и было всеобщее народное ликование. Злые языки связывали это ликование с каким-то большим праздником, совпавшим с днем моего появления на свет, но я до сих пор не понимаю, при чем здесь еще какой-то праздник?

Приглядевшись к окружающему, я решил, что мне нужно первым долгом вырасти. Я исполнял это с таким тщанием, что к восьми годам увидел однажды отца берущим меня за руку. Ко-

нечно, и до этого отец неоднократно брал меня за указанную конечность, но предыдущие попытки являлись не более как реальными симптомами отеческой ласки. В настоящем же случае он, кроме того, нахлобучил на головы себе и мне по шляпе — и мы вышли на улицу.

— Куда это нас черти несут? — спросил я с прямизной, всегда меня отличавшей.

— Тебе надо учиться.

— Очень нужно! Не хочу учиться.

— Почему?

Чтобы отвязаться, я сказал первое, что пришло в голову:

— Я болен.

— Что у тебя болит?

Я перебрал на память все свои органы и выбрал самый нежный:

— Глаза.

— Гм... Пойдем к доктору.

Когда мы явились к доктору, я наткнулся на него, на его пациента и свалил маленький столик.

— Ты, мальчик, ничего решительно не видишь?

— Ничего, — ответил я, утаив хвост фразы, который докончил в уме: «...хорошего в ученье».

Так я и не занимался науками.

* * *

Легенда о том, что я мальчик больной, хилый, который не может учиться, росла и укреплялась, и больше всего заботился об этом я сам.

Отец мой, будучи по профессии купцом, не обращал на меня никакого внимания, так как по горло был занят хлопотами и планами: каким бы образом поскорее разориться? Это было мечтой его жизни, и нужно отдать ему полную справедливость — добрый старик достиг своих стремлений самым безукоризненным образом. Он это сделал при соучастии целой плеяды воров, которые обворовывали его магазин, покупателей, которые брали исключительно и планомерно в долг, и — пожаров, испепелявших те из отцовских товаров, которые не были растащены ворами и покупателями.

Воры, пожары и покупатели долгое время стояли стеной между мной и отцом, и я так и остался бы неграмотным, если бы старшим сестрам не пришла в голову забавная, сулившая им массу новых ощущений мысль: заняться моим образованием. Очевидно, я представлял из себя лакомый кусочек, так как из-за весьма сомнительного удовольствия осветить мой ленивый мозг светом знания сестры не только спорили, но однажды даже вступили врукопашную, и результат схватки — вывихнутый палец — нисколько не охладил преподавательского пыла старшей сестры Любы.

Так — на фоне родственной заботливости, любви, пожаров, воров и покупателей — совершался мой рост и развивалось сознательное отношение к окружающему.

* * *

Когда мне исполнилось 15 лет, отец, с сожалением распростившийся с ворами, покупателями и пожарами, однажды сказал мне:

— Надо тебе служить.

— Да я не умею, — возразил я, по своему обыкновению выбирая такую позицию, которая могла гарантировать мне полный и безмятежный покой.

— Вздор! — возразил отец. — Сережа Зельцер не старше тебя, а он уже служит!

Этот Сережа был самым большим кошмаром моей юности. Чистенький, аккуратный немчик, наш сосед по дому, Сережа с самого раннего возраста ставился мне в пример как образец выдержанности, трудолюбия и аккуратности.

— Посмотри на Сережу, — говорила печально мать. — Мальчик служит, заслуживает любовь начальства, умеет поговорить, в обществе держится свободно, на гитаре играет, поет... А ты?

Обескураженный этими упреками, я немедленно подходил к гитаре, висевшей на стене, дергал струну, начинал визжать пронзительным голосом какую-то неведомую песню, старался «держаться свободнее», шаркая ногами по стенам, но все это было слабо, все было второго сорта. Сережа оставался недосягаем!

— Сережа служит, а ты еще не служишь... — упрекнул меня отец.

— Сережа, может быть, дома лягушек ест, — возразил я, подумав. — Так и мне прикажете?

— Прикажу, если понадобится! — гаркнул отец, стуча кулаком по столу. — Черрт возьми! Я сделаю из тебя шелкового!

Как человек со вкусом, отец из всех материй предпочитал шелк, и другой материал для меня казался ему неподходящим.

* * *

Помню первый день моей службы, которую я должен был начать в какой-то сонной транспортной конторе по перевозке кладей.

Я забрался туда чуть ли не в восемь часов утра и застал только одного человека в жилете без пиджака, очень приветливого и скромного.

«Это, наверное, и есть главный агент», — подумал я.

— Здравствуйте! — сказал я, крепко пожимая ему руку. — Как делишки?

— Ничего себе. Садитесь, поболтаем!

Мы дружески закурили папиросы, и я завел дипломатичный разговор о своей будущей карьере, рассказав о себе всю подноготную.

Неожиданно сзади нас раздался резкий голос:

— Ты что же, болван, до сих пор даже пыли не стер?!

Тот, в ком я подозревал главного агента, с криком испуга вскочил и схватился за пыльную тряпку. Начальнический голос вновь пришедшего молодого человека убедил меня, что я имею дело с самим главным агентом.

— Здравствуйте, — сказал я. — Как живете-можете? (Общительность и светскость по Сереже Зельцеру.)

— Ничего, — сказал молодой господин. — Вы наш новый служащий? Ого! Очень рад!

Мы дружески разговорились и даже не заметили, как в контору вошел человек средних лет, схвативший молодого господина за плечо и резко крикнувший во все горло:

— Так-то вы, дьявольский дармоед, заготовляете реестра? Выгоню я вас, если будете лодырничать!

Господин, принятый мною за главного агента, побледнел, опустил печально голову и побрел за свой стол. А главный агент опустился в кресло, откинулся на спинку и стал преважно расспрашивать меня о моих талантах и способностях.

«Дурак я, — думал я про себя. — Как я мог не разобрать раньше, что за птицы мои предыдущие собеседники. Вот этот начальник — так начальник! Сразу уж видно!»

В это время в передней послышалась возня.

— Посмотрите, кто там? — попросил меня главный агент.

Я выглянул в переднюю и успокоительно сообщил:

— Какой-то плюгавый старичишка стягивает пальто.

Плюгавый старичишка вошел и закричал:

— Десятый час, а никто из вас ни черта не делает!! Будет ли когда-нибудь этому конец?!

Предыдущий важный начальник подскочил в кресле как мяч, а молодой господин, названный им до того «лодырем», предупредительно сообщил мне на ухо:

— Главный агент притащился.

Так я начал свою службу.

* * *

Прослужил я год, все время самым постыдным образом плетясь в хвосте Сережи Зельцера. Этот юноша получал 25 рублей в месяц, когда я получал 15, а когда и я дослужился до 25 рублей, ему дали 40. Ненавидел я его, как какого-то отвратительного, вымытого душистым мылом паука...

Шестнадцати лет я расстался со своей сонной транспортной конторой и уехал из Севастополя (забыл сказать — это моя родина) на какие-то каменноугольные рудники. Это место было наименее для меня подходящим, и потому, вероятно, я и очутился там по совету своего опытного в житейских передрягах отца...

Это был самый грязный и глухой рудник в свете. Между осенью и другими временами года разница заключалась лишь в том, что осенью грязь была там выше колен, а в другое время — ниже.

И все обитатели этого места пили как сапожники, и я пил не хуже других. Население было такое небольшое, что одно лицо имело целую уйму должностей и занятий. Повар Кузьма был в то же время и подрядчиком, и попечителем рудничной школы, фельдшер был акушеркой, а когда я впервые пришел к известнейшему в тех краях парикмахеру, жена его просила меня немного

обождать, так как супруг ее пошел вставлять кому-то стекла, выбитые шахтерами в прошлую ночь.

Эти шахтеры (углекопы) казались мне тоже престранным народом: будучи большей частью беглыми с каторги, паспортов они не имели и отсутствие этой непременной принадлежности российского гражданина заливали с горестным видом и отчаянием в душе — целым морем водки.

Вся их жизнь имела такой вид, что рождались они для водки, работали и губили свое здоровье непосильной работой — ради водки и отправлялись на тот свет при ближайшем участии и помощи той же водки.

Однажды ехал я перед Рождеством с рудника в ближайшее село и видел ряд черных тел, лежавших без движения на всем протяжении моего пути; попадались по двое, по трое через каждые 20 шагов.

— Что это такое? — изумился я...

— А, шахтеры, — улыбнулся сочувственно возница.— Горилку куповалы у селе. Для Божьего праздничку.

— Ну?

— Тай не донесли. На мисти высмоктали. Ось как!

Так мы и ехали мимо целых залежей мертвецки пьяных людей, которые обладали, очевидно, настолько слабой волей, что не успевали даже добежать до дому, сдаваясь охватившей их глотки палящей жажде там, где эта жажда их застигала. И лежали они в снегу, с черными бессмысленными лицами, и если бы я не знал дороги до села, то нашел бы ее по этим гигантским черным камням, разбросанным гигантским мальчиком-с-пальчиком на всем пути.

Народ это был, однако, по большей части крепкий, закаленный, и самые чудовищные эксперименты над своим телом обходились ему сравнительно дешево. Проламывали друг другу головы, уничтожали начисто носы и уши, а один смельчак даже взялся однажды на заманчивое пари (без сомнения — бутылка водки) съесть динамитный патрон. Проделав это, он в течение двух-трех дней, несмотря на сильную рвоту, пользовался самым бережливым и заботливым вниманием со стороны товарищей, которые все боялись, что он взорвется.

По миновании же этого странного карантина — был он жестоко избит.

Служащие конторы отличались от рабочих тем, что меньше дрались и больше пили. Все это были люди, по большей части отвергнутые всем остальным светом за бездарность и неспособность к жизни, и, таким образом, на нашем маленьком, окруженном неизмеримыми степями островке собралась самая чудовищная компания глупых, грязных и бездарных алкоголиков, отбросов и обгрызков брезгливого белого света.

Занесенные сюда гигантской метлой Божьего произволения, все они махнули рукой на внешний мир и стали жить как Бог на душу положит. Пили, играли в карты, ругались прежестокими отчаянными словами и во хмелю пели что-то настойчивое тягучее и танцевали угрюмо-сосредоточенно, ломая каблуками полы и извергая из ослабевших уст целые потоки хулы на человечество.

В этом и состояла веселая сторона рудничной жизни. Темные ее стороны заключались в каторжной работе, шагании по глубочайшей грязи из конторы в колонию и обратно, а также в отсиживании в кордегардии по целому ряду диковинных протоколов, составленных пьяным урядником.

* * *

Когда правление рудников было переведено в Харьков, туда же забрали и меня, и я ожил душой и окреп телом...

По целым дням бродил я по городу, сдвинув шляпу набекрень и независимо насвистывая самые залихватские мотивы, подслушанные мною в летних шантанах — месте, которое восхищало меня сначала до глубины души.

Работал я в конторе преотвратительно и до сих пор недоумеваю: за что держали меня там шесть лет, ленивого, смотревшего на работу с отвращением и по каждому поводу вступавшего не только с бухгалтером, но и с директором в длинные, ожесточенные споры и полемику.

Вероятно, потому, что был я превеселым, радостно глядящим на широкий Божий мир человеком, с готовностью откладывавшим работу для смеха, шуток и ряда замысловатых анекдотов, что освежало окружающих, погрязших в работе, скучных счетах и дрязгах.

* * *

Литературная моя деятельность была начата в 1904 году и была она, как мне казалось, сплошным триумфом. Во-первых, я написал рассказ... Во-вторых, я отнес его в «Южный край». И в-третьих (до сих пор я того мнения, что в рассказе это самое главное), в-третьих, он был напечатан!

Гонорар я за него почему-то не получил, и это тем более несправедливо, что едва он вышел в свет, как подписка и розница газеты сейчас же удвоилась...

Те же самые завистливые, злые языки, которые пытались связать день моего рождения с каким-то еще другим праздником, связали и факт поднятия розницы с началом русско-японской войны.

Ну, да мы-то, читатель, знаем с вами, где истина...

Написав за два года четыре рассказа, я решил, что поработал достаточно на пользу родной литературы, и решил основательно отдохнуть, но подкатился 1905 год и, подхватив меня, закрутил меня, как щепку.

Я стал редактировать журнал «Штык», имевший в Харькове большой успех, и совершенно забросил службу... Лихорадочно писал я, рисовал карикатуры, редактировал и корректировал и на девятом номере дорисовался до того, что генерал-губернатор Пешков оштрафовал меня на 500 рублей, мечтая, что немедленно заплачу их из карманных денег.

Я отказался по многим причинам, главные из которых были: отсутствие денег и нежелание потворствовать капризам легкомысленного администратора.

Увидев мою непоколебимость (штраф был без замены тюремным заключением), Пешков спустил цену до 100 рублей.

Я отказался.

Мы торговались, как маклаки, и я являлся к нему чуть не десять раз. Денег ему так и не удалось выжать из меня!

Тогда он, обидевшись, сказал:

— Один из нас должен уехать из Харькова!

— Ваше превосходительство! — возразил я. — Давайте предложим харьковцам: кого они выберут?

Так как в городе меня любили и даже до меня доходили смутные слухи о желании граждан увековечить мой образ постановкой памятника, то г. Пешков не захотел рисковать своей популярностью.

И я уехал, успев все-таки до отъезда выпустить 3 номера журнала «Меч», который был так популярен, что экземпляры его можно найти даже в Публичной библиотеке.

* * *

В Петроград я приехал как раз на Новый год.

Опять была иллюминация, улицы были украшены флагами, транспарантами и фонариками. Но я уж ничего не скажу! Помолчу.

И так меня иногда упрекают, что я думаю о своих заслугах больше, чем это требуется обычной скромностью. А я, — могу дать честное слово, — увидев всю эту иллюминацию и радость, сделал вид, что совершенно не замечаю невинной хитрости и сентиментальных, простодушных попыток муниципалитета скрасить мой первый приезд в большой незнакомый город... Скромно, инкогнито, сел на извозчика и, инкогнито, поехал на место своей новой жизни.

И вот — начал я ее.

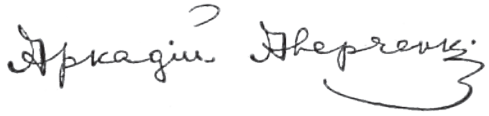
Первые мои шаги были связаны с основанным нами журналом «Сатирикон», и до сих пор я люблю, как собственное дитя, этот прекрасный, веселый журнал (в год 8 руб., на полгода 4 руб.).

Успех его был наполовину моим успехом, и я с гордостью могу сказать теперь, что редкий культурный человек не знает нашего «Сатирикона» (на год 8 руб., на полгода 4 руб.).

В этом месте я подхожу уже к последней, ближайшей эре моей жизни, и я не скажу, но всякий поймет, почему я в этом месте умолкаю.

Из чуткой, нежной, до болезненности нежной скромности, я умолкаю.

Не буду перечислять имена тех лиц, которые в последнее время мною заинтересовались и желали со мной познакомиться. Но если читатель вдумается в истинные причины приезда славянской депутации, испанского инфанта и президента Фальера, то, может быть, моя скромная личность, упорно державшаяся в тени, получит совершенно другое освещение...



I
В СВОБОДНОЙ РОССИИ

История болезни Иванова

Однажды беспартийный житель Петербурга Иванов вбежал, бледный, растерянный, в комнату жены и, выронив газету, схватился руками за голову.

— Что с тобой? — спросила жена.

— Плохо! — сказал Иванов. — Я левею.

— Не может быть! — ахнула жена. — Это было бы ужасно... тебе нужно лечь в постель, укрыться теплым и натереться скипидаром.

— Нет... что уж скипидар! — покачал головой Иванов и посмотрел на жену блуждающими, испуганными глазами. — Я левею!

— С чего же это у тебя, горе ты мое?! — простонала жена.

— С газеты. Встал я утром — ничего себе, чувствовал все время беспартийность, а взял случайно газету...

— Ну?

— Смотрю, а в ней написано, что в Ченстохове губернатор запретил читать лекцию о добывании азота из воздуха... И вдруг — чувствую я, что мне его не хватает...

— Кого это?

— Да воздуху же!.. Подкатило под сердце, оборвалось, дернуло из стороны в сторону... Ой, думаю, что бы это? Да тут же и понял; левею!

— Ты б молочка выпил... — сказала жена, заливаясь слезами.

— Какое уж там молочко... Может, скоро баланду хлебать буду!

Жена со страхом посмотрела на Иванова.

— Левеешь?

— Левею...

— Может, доктора позвать?

— При чем тут доктор?!

— Тогда, может, пристава пригласить?

Как все почти больные, которые не любят, когда посторонние подчеркивают опасность их положения, Иванов тоже нахмурился, засопел и недовольно сказал:

— Я уж не так плох, чтобы пристава звать. Может быть, отойду.

— Дай-то Бог, — всхлипнула жена.

Иванов лег в кровать, повернулся лицом к стене и замолчал.

Жена изредка подходила к дверям спальни и прислушивалась. Было слышно, как Иванов, лежа на кровати, левел.

* * *

Утро застало Иванова осунувшимся, похудевшим... Он тихонько пробрался в гостиную, схватил газету и, убежав в спальню, развернул свежий газетный лист.

Через пять минут он вбежал в комнату жены и дрожащими губами прошептал:

— Еще полевел! Что оно будет — не знаю!

— Опять небось газету читал, — вскочила жена. — Говори! Читал?

— Читал... В Риге губернатор оштрафовал газету за указание очагов холеры...

Жена заплакала и побежала к тестю.

— Мой-то... — сказала она, ломая руки. — Левеет.

— Быть не может?! — воскликнул тесть.

— Верное слово. Вчерась с утра был здоров, беспартийность чувствовал, а потом оборвалась печенка и полевел!

— Надо принять меры, — сказал тесть, надевая шапку. — Ты у него отними и спрячь газеты, а я забегу в полицию, заявку господину приставу сделаю.

* * *

Иванов сидел в кресле, мрачный, небритый, и на глазах у всех левел. Тесть с женой Иванова стояли в углу, молча смотрели на Иванова, и в глазах их сквозили ужас и отчаяние.

Вошел пристав.

Он потер руки, вежливо раскланялся с женой Иванова и спросил мягким баритоном:

— Ну, как наш дорогой больной?

— Левеет!

— А-а! — сказал Иванов, поднимая на пристава мутные, больные глаза. — Представитель отживающего полицейско-бюрократического режима! Нам нужна закономерность...

Пристав взял его руку, пощупал пульс и спросил:

— Как вы себя сейчас чувствуете?

— Мирнообновленцем!

Пристав потыкал пальцем в голову Иванова:

— Не готово еще... Не созрел! А вчера как вы себя чувствовали?

— Октябристом, — вздохнул Иванов. — До обеда — правым крылом, а после обеда левым...

— Гм... плохо! Болезнь прогрессирует сильными скачками...

Жена упала тестю на грудь и заплакала.

— Я, собственно, — сказал Иванов, — стою за принудительное отчуждение частновладельч...

— Позвольте! — удивился пристав. — Да это кадетская программа...

Иванов с протяжным стоном схватился за голову.

— Значит... я уже кадет!

— Все левеете?

— Левею. Уходите! Уйдите лучше... А то я на вас все смотрю и левею.

Пристав развел руками... Потом на цыпочках вышел из комнаты.

Жена позвала горничную, швейцара и строго запретила им приносить газеты. Взяла у сына томик «Робинзона Крузо» с раскрашенными картинками и понесла мужу.

— Вот... почитай. Может, отойдет.

* * *

Когда она через час заглянула в комнату мужа, то всплеснула руками и, громко закричав, бросилась к нему.

Иванов, держась за ручки зимней оконной рамы, жадно прильнул глазами к этой раме и что-то шептал...

— Господи! — воскликнула несчастная женщина. — Я и забыла, что у нас рамы газетами оклеены... Ну, успокойся, голубчик, успокойся! Не смотри на меня такими глазами... Ну, скажи, что ты там прочел? Что там такое?

— Об исключении Колюбакина... Ха-ха-ха! — проревел Иванов, шатаясь, как пьяный. — Отречемся от старого ми-и-и...

В комнату вошел тесть.

— Кончено! — прошептал он, благоговейно снимая шапку. — Беги за приставом...

* * *

Через полчаса Иванов, бледный, странно вытянувшийся, лежал в кровати со сложенными на груди руками. Около него сидел тесть и тихо читал под нос эрфуртскую программу. В углу плакала жена, окруженная перепуганными, недоумевающими детьми.

В комнату вошел пристав.

Стараясь не стучать сапогами, он подошел к постели Иванова, пощупал ему голову, вынул из его кармана пачку прокламаций, какой-то металлический предмет и, сокрушенно качнув головой, сказал:

— Готово! Доспел.

Посмотрел с сожалением на детей, развел руками и сел писать проходное свидетельство до Вологодской губернии.

Кто ее продал...

I

Не так давно «Русское знамя» разоблачило кадетскую газету «Речь»... «Русское знамя» доказало, что вышеозначенная беспринципная газета открыто и нагло продает Россию Финляндии, получая за это от финляндцев большие деньги.

Совсем недавно беспощадный ослепительный прожектор «Русского знамени» перешел с газет на частных лиц, попал на меня, осветил все мои дела и поступки и обнаружил, что я, в качестве еврействующего журналиста, тоже подкуплен и — продаю свою отчизну оптом и в розницу, систематически ведя ее к распаду и гибели.

Узнав, что маска с меня сорвана, я сначала хотел было увернуться, скрыть свое участие в этом деле, замаскировать как-нибудь те факты, которые вопиюще громко

кричат против меня, но ведь все равно: рано или поздно все выплывет наружу, и для меня это будет еще тяжелее, еще позорнее.

Лучше же я расскажу все сам.

Добровольное признание — это все, что может если не спасти меня, то, хотя частью, облегчить мою вину...

Дело было так:

II

Однажды служанка сообщила мне, что меня хотят видеть два господина по очень важному делу.

— Кто же они такие? — полюбопытствовал я.

— Будто иностранцы. Один как будто из чухонцев, такой белесый, а другой маленький, косой, черный. Не иначе — японец.

Два господина вошли и, подозрительно оглядев комнату, поздоровались со мной.

— Чем могу служить?

— Я — прикомандированный к японскому посольству маркиз Оцупа.

— А я, — сказал блондин, небрежно играя финским ножом, — уполномоченный от финляндской революционной партии «Войма». Моя фамилия Муляйнен.

— Я вас слушаю, — кивнул я головой.

Маркиз толкнул своего соседа локтем, нагнулся ко мне и, пронзительно глядя мне в глаза, прошептал:

— Скажите... Вы не согласились бы продать нам Россию?

Мой отец был купцом, и у меня на всю жизнь осталась от него наследственная коммерческая жилка.

— Это смотря как... — прищурился я. — Продать можно. Отчего не продать?.. Только какая ваша цена будет?

— Цену мы дадим вам хорошую, — отвечал маркиз Оцупа. — Не обидим. Только уж и вы не запрашивайте.

— Запрашивать я не буду, — хладнокровно пожал я плечами. — Но ведь нужно же понимать и то, что я вам продаю. Согласитесь сами, что это не мешок картофеля, а целая громадная страна. И притом — нужно добавить — горячо мною любимая.

— Ну, уж и страна!.. — иронически усмехнулся Муляйнен.

— Да-с! Страна! — горячо вскричал я. — Побольше вашей, во всяком случае... Свыше пятидесяти губерний, две столицы, реки какие! Железные дороги! Громадное народонаселение, занимающееся хлебопашеством! Пойдите-ка, поищите в другом месте.

— Так-то так, — обменявшись взглядом с Муляйненом, возразил японец, — да ведь страна-то разорена... сплошное нищенство...

— Как хотите, — холодно проворчал я. — Не нравится — не берите!

— Нет, мы бы взяли, все-таки... Нам она нужна. Вы назовите вашу цену.

Я взял карандаш, придвинул бумагу и стал долго и тщательно высчитывать. Потом поднял от бумаги голову и решительно сказал:

— Десять миллионов.

Оба вскочили и в один голос воскликнули:

— Десять миллионов?!

— Да.

— За Россию?!

— Да.

— Десять миллионов рублей?!

— Да. Именно рублей. Не пфеннигов, не франков, а рублей.

— Это сумасшедшая цена.

— Сами вы сумасшедшие! — сердито закричал я. — Этакая страна за десять миллионов — это почти даром. За эти деньги вы имеете чуть не десяток морей, уйму рек, пути сообщения... Не забывайте, что за эту же цену вы получаете и Сибирь — эту громадную богатейшую страну!

Маркиз Оцупа слушал меня, призадумавшись.

— Хотите пять миллионов?

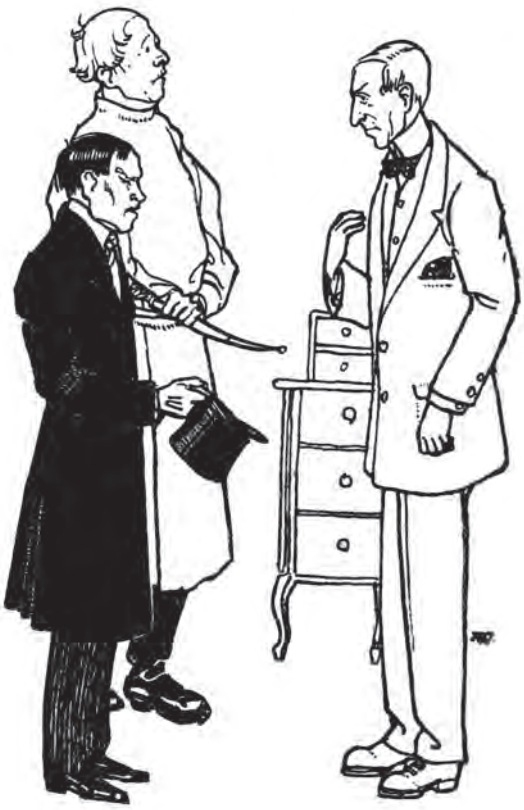
— Пять миллионов? — рассмеялся я. — Вы бы мне еще пять рублей предложили! Впрочем, если хотите, я вам за пять рублей отдам другую Россию, только поплоше. В кавычках.

— Нет, — покачал головой Муляйнен. — Эту и за пять копеек не надо. Вот что... хотите семь миллионов — ни копейки больше!

— Очень даже странно, что вы торгуетесь, — обидчиво поежился я. — Покупают то, что самое дорогое для истинного патриота, да еще торгуются!

— Как угодно, — сказал Муляйнен, вставая. — Пойдем, Оцупа.

— Куда же вы? — закричал я. — Постойте. Я вам, так и быть, миллион сброшу. Да и то не следовало бы — уж очень страна-то хорошая. Я бы всегда на эту цену покупателя нашел... Но для первого знакомства — извольте — миллион сброшу.



— Три сбросьте!

— Держите руку, — сказал я, хлопая по протянутой руке. — Последнее слово, два сбрасываю! За восемь. Идет?

Японец придержал мою руку и сосредоточенно спросил:

— С Польшей и Кавказом?

— С Польшей и Кавказом!

— Покупаем.

Сердце мое отчего-то пребольно сжалось.

— Продано! — вскричал я, искусственным оживлением стараясь замаскировать тяжелое чувство. — Забирайте.

— Как... забирайте? — недоуменно покосился на меня Оцупа. — Что значит «забирайте»? Мы пла-

тим вам деньги главным образом за то, чтобы вы своими фельетонами погубили Россию.

— Да для чего вам это нужно? — удивился я.

— Это уж не ваше дело. Нужно — и нужно. Так — погубите?

— Хорошо, погублю.

III

На другой день, поздно вечером, к моему дому подъехало несколько подвод, и ломовики, кряхтя, стали таскать в квартиру тяжелые, битком набитые мешки.

Служанка моя присматривала за ними, записывая количество привезенных мешков с золотом и изредка уличая ломовика в том, что он потихоньку пытался засунуть в карман сто или двести тысяч; а я сидел за письменным столом и, быстро строча фельетон, добросовестно губил проданную мною родину...

* * *

Теперь — когда я окончил свою искреннюю тяжелую исповедь — у меня легче на сердце. Пусть я бессердечный торгаш, пусть я Иуда-предатель, продавший свою родину... Но ведь — ха-ха! — восемь-то миллиончиков — ха-ха! — которые у меня в кармане — не шутка.

И теперь, в ночной тиши, когда я просыпаюсь, терзаемый странными видениями, передо мной встает и меня пугает только один страшный, кошмарный вопрос:

— Не продешевил ли я?!

Русская история

Посвящается
мин-ву нар. просвещения.

I

Один русский студент погиб от того, что любил ботанику.

Пошел он в поле собирать растения. Шел, песенку напевал, цветочки рвал.

А с другой стороны поля показалась толпа мужиков и баб из Нижней Гоголевки.

— Здравствуйте, милые поселяне, — сказал вежливый студент, снимая фуражку и раскланиваясь.

— Здравствуй, щучий сын, чтоб тебе пусто было, — отвечали поселяне. — Ты чего?

— Благодарю вас, ничего, — говорил им студент, наклоняясь и срывая какую-то травинку.

— Ты — чего?!!

— Как видите: гербаризацией балуюсь.

— Ты — чего?!!?!

Ухо студента уловило наконец странные нотки в настойчивом вопросе мужиков.

Он посмотрел на них и увидел горящие испугом и злобой глаза, бледные лица, грязные жилистые кулаки.

— Ты — чего?!!?!

— Да что вы, братцы... Если вам цветочков жалко, я, пожалуй, отдам вам ваши цветочки...

И выдвинулся из среды мужиков мудрейший среди них старик Петр Савельев Неуважай-Корыто.

Был он старик белый, как лунь, и глупый, как колода.

— Цветочки собираешь, паршивец, — прохрипел мудрейший. — Брешет он, ребята! Холеру пущает.

Авторитет стариков, белых, как лунь, и глупых, как колода, всегда высоко стоял среди поселян...

— Правильно, Савельич!.. Хватай его, братцы... Заходи оттелева!

Студент завопил.

— Визгани, визгани еще, чертов сын! Может, дьявол — твой батя — и придет тебе на выручку. Обыскивай его, дядя Миняй! Нет ли порошку какого?

Порошок нашелся.

Хотя он был зубной, но так как чистка зубов у поселян села Гоголевки происходила всего раз в неделю у казенной винной лавки, и то — самым примитивным способом, то культурное завоевание, найденное у студента в кармане завернутым в бумажку, с наглядностью удостоверило в глазах поселян злокозненность студента.

— Вот он, порошок-то! Холерный... Как, ребята, располагаете: потопить парня или так, помять?

Обе перспективы показались настолько не заманчивыми для студента, что он сказал:

— Что вы, господа! Это простой зубной порошок. Он не вредный... Ну, хотите — я съем его?

— Брешешь! Не съешь!..

— Уверяю вас! Съем — и мне ничего не будет.

— Все равно погибать ему, братцы. Пусть слопает!

Студент сел посредине замкнутого круга и принялся уписывать за обе щеки зубной порошок.

Более сердобольные бабы, глядя на это, плакали навзрыд и шептали про себя:

— Смерть-то какую, болезный, принимает! Молоденький такой... а без покаяния.

— Весь! — сказал студент, показывая пустой пакетик.

— Ешь и бумагу, — решил Петр Савельев, белый, как лунь, и глупый, как колода.

По газетным известиям, насыщение студента остановилось на зубном порошке, после чего его якобы отпустили.

А на самом деле было не так: студент, морщась, проглотил пустой пакетик, после чего его стали снова обыскивать: нашли записную книжку, зубочистку и флакон с гуммиарабиком.

— Ешь! — приказал распорядитель неприхотливого студенческого обеда, Неуважай-Корыто.

Студент хотел поблагодарить, указавши на то, что он сыт, но когда увидел наклонившиеся к нему решительные бородатые лица, то безмолвно принялся за записную книжку. Покончив с ней, раздробил крепкими молодыми зубами зубочистку, запил гуммиарабиком и торжествующе сказал:

— Видите, господа? Не прав ли я был, утверждая, что это совершенно безопасные вещи?..

— Видимое дело, — сказал добродушный мужик по прозванию Коровий-Кирпич. — Занапрасну скубента изобидели.

— Темный вы народ, — сказал студент, вздыхая.

Ему бы нужно было, ругнувши мужиков, раскланяться с ними и удалиться, но студента погубило то, что он был интеллигент до мозга костей.

— Темный вы народ! — повторил он. — Знаете ли вы, например, что эпидемия холеры распространяется не от порошков, а от маленьких таких штучек, которые бывают в воде, на плодах и овощах, — так называемых вибрионов, столь маленьких, что на капле воды их гораздо больше, чем несколько тысяч.

— Толкуй! — недоверчиво возразил Петр Савельев, но кое-кто сделал вид, что поверил.

В общем, настроение было настолько благожелательное, что студенту простили даже его утверждение, будто бы молния происходит от электричества и что тучи есть следствие водяных испарений, переносимых ветром с одного места на другое.

Глухой ропот поднялся лишь после совершенно неслыханного факта, что луна сама не светит, а отражает только солнечный свет.

Когда же студент осмелился нахально заявить, что Земля круглая и что она ходит вокруг Солнца, то толпа мужиков навалилась на студента и стала бить...

Били долго, а потом утопили в реке.

Почему газеты об этом умолчали — неизвестно.

II

Выгнанный за пьянство телеграфист Васька Свищ долго слонялся по полустанку, ища какого-нибудь выхода из своего тяжелого положения.

И совершенно неожиданно выход был найден, в виде измятой кокарды, оброненной между рельсами каким-то загулявшим офицером.

— Дело! — сказал Васька Свищ.

Приладил к своей телеграфистской фуражке офицерову кокарду, надел тужурку, нанял ямщика и, развалившись в кибитке, скомандовал:

— Пшел в деревню Нижняя Гоголевка! Жив-ва!!! Там заплатят.

Лихо звеня бубенцами, подлетела тройка к Старостиной избе.

Васька Свищ молодцевато выскочил из кибитки и, ударив в ухо изумленного его парадным видом прохожего мужика, крикнул:

— Меррзавцы!! Запорю!! Начальство не уважаете?? Беспутничаете! Старосту сюда!!

Испуганный, перетревоженный выскочил староста.

— Чего изволишь, батюшка?

— «Батюшка»? Я тебе, рракалия, покажу, — батюшка! Генерала не видишь? Это кто там в телеге едет?.. Ты кто? Шапку нужно снять или не надо? Как тебя?

— Ко... коровий-Кирпич.

Телеграфист нахмурился и ткнул кулаком в зубы растерявшегося Коровьего-Кирпича...

— Староста! Взять его! Впредь до разбора дела. Я покажу вам!!! Распустились тут? Староста, сбей мне мужиков сейчас: бумагу прочитать.

Через десять минут все мужики Нижней Гоголевки собрались серой, испуганной, встревоженной тучей.

— Тихо! — крикнул Васька Свищ, выступая вперед. — Шапки долой! Бумага: вследствие отношения государственной интендантской комиссии санитарных образцов с приложением сургучной печати, по соглашению с эмеритурным отделом публичной библиотеки — собрать со всех крестьян по два рубля десять копеек тротуарного сбора, со внесением оного в Санкт-Петербургский мировой съезд!.. Поняли, ребята! Виновные в уклонении подвергаются заключению в крепость сроком до двух лет, с заменой штрафом до пятисот руб. Поняли?!

— Поняли, ваше благородие! — зашелестели мужицкие губы.

— Благо-о-родие?! — завопил телеграфист. — Мер-рзавцы!!! Кокарды не знаете? Установлений казенной палаты на предмет геральдики не читали?! Староста! Взять этого! И этого! Пусть посидят! Тебя как? Неуважай-Корыто? Взять!

Через час староста с поклоном вошел в избу, положил перед телеграфистом деньги и сказал робко:

— Может, оно... насчет бумаги... поглядеть бы... Касательно печати...

— Осел!!! — рявкнул телеграфист, сунул в карман деньги, брезгливо отшвырнул растерянного старосту с дороги и, выйдя на улицу, вскочил в кибитку.

— Я покажу вам, негодяи, — погрозил старосте телеграфист и скрылся в облаке пыли.

Мудрейший из мужиков Петр Савельев Неуважай-Корыто, белый, как лунь, и глупый, как колода, подошел к старосте и, почесавшись, сказал:

— С самого Петербурху. Чичас видно! Дешево отделались, робята!

Люди

Иван Васильевич Сицилистов приподнялся на одном локте и прислушался...

— Это к нам, — сказал он задремавшей уже жене. — Наконец-то!

— Пойди, открой им. Намокши на дожде, тоже не очень приятно стоять на лестнице.

Сицилистов вскочил и, полуодетый, быстро зашагал в переднюю.

Открыв дверь, он выглянул на лестницу. Лицо его расплылось в широкую, радостную улыбку.

— Ба, ба!! А я-то — позавчера ждал, вчера... Рад. Очень рад! Милости прошу к нашему шалашу.

Вошедший впереди всех жандармский офицер зажмурился от света. Лицо его выражало самое искреннее недоумение.

— Пардон!.. Но вы, вероятно... не поняли. Мы к вам с обыском!

Хозяин залился смехом так, что закашлялся.

— Оригинал... открыл Америку! Ведь не буду же я думать, что вы пришли со мной в преферанс перекинуться.

Он весело захлопотал около пришедших.

— Позвольте пальтецо... Вам трудно снять. Ишь, как оно намокло! Теперь я вам посвечу... Осторожнее: тут порог.

Жандармский офицер и пристав недоумевающе переглянулись, и первый, потоптавшись, сказал нерешительно:

— Разрешите приступить. Вот предписание.

— Ни-ни-ни! И думать не могите! Из-под дождя, с измокшими ногами прямо за дело — этак не трудно и насморк схватить... А вот мы сейчас застрахуемся! А предписание ваше можете бабушке подарить: неужели порядочный человек не может верить порядочному человеку без предписания? Присядьте, господа! Виноват, ваше имя, отчество?

Офицер пожал плечами, отнеся этот жест к улыбавшемуся уже в усы приставу, и сказал, стараясь придать своим словам леденящий тон:

— Будучи официально уполномочен для производства обыска...

Хозяин замахал на него руками...

— Знаю, знаю!! Ах ты, Господи... Ну неужели обыск от вас уйдет? Разве же я не понимаю! Сам помогу! Но почему нам чуждаться хороших человеческих отношений?.. не правда ли, Никодим Иванович, кажется?! да? хе-хе! Узнал-с, узнал-с!! И никогда не догадаетесь — откуда?! На донышке фуражки вашей в передней прочел!! Ха-ха-ха!! Так вот... Лизочка! (Это моя жена... Превосходнейшая женщина!.. Я вас познакомлю.) Лизочка, дай нам чего-нибудь, — господам офицерам с дождя погреться!.. Ни-ни! Откажетесь — безумно меня обидите!!

Из соседней комнаты вышла прехорошенькая молодая женщина. Приводя мимоходом в порядок пышные волосы, она улыбнулась и сказала, щуря заспанные еще глазки:

— Отказать мужчине вы еще могли, но даме — фи! Это будет не по-джентльменски!

Муж представил:

— Моя жена Елизавета Григорьевна — Никодим Иваныч! Господин пристав... виноват, не имею чести...

Пристав так растерялся при виде вошедшей красавицы, что вскочил и, щелкнув каблуками, преувеличенно громко отрекомендовался:

— Крутилов, Валериан Петрович!

— Да что вы?! Очень рада. У меня сына одного Валей зовут. Лукерья!

Явившейся кухарке она приказала:

— Проведи понятых и городовых пока на кухню! Разогрей пирог, достань колбасы, огурцов... Водки там, кажется, есть с полчетверти... Одним словом, займись ими... А я похлопочу насчет их благородий!

Улыбнувшись смотревшему на нее во все глаза приставу, она выпорхнула.

Жандармский офицер, ошеломленный, открыл рот и начал:

— Извините, но...

За дверью послышался шум, возня, детские голоса, и в комнату ворвались два ликующих сорванца лет пяти-шести.

— Обыск, обыск! У нас обыск! — подпевали они в такт прыжкам таким тоном, будто радовались принесенному пирожному.

Один, топая босыми ножонками, подбежал к офицеру и ухватил его за палец.

— Здравствуй! Покатай меня на ноге, так: гоп, гоп!

Отец сокрушенно покачал головой.

— Ах вы, экспроприаторы этакие! Вы уж извините их... Это их в Одессе у меня разбаловали. Обыски у меня бывали чуть не два раза в неделю... ну, для них и не было лучшего удовольствия. Подружились со всеми... Верите — шоколад стали им носить, игрушки...

Видя, что мальчик тянется губками к его рыжим длинным усам, жандармский офицер нагнулся и поцеловал его.

Другой сидел верхом на колене пристава и, рассматривая погоны, деловым тоном спрашивал:

— Сколько у тебя звездочек? А сабля — вынимается? Я в Одессе сам вынимал — ей-Богу!

Вошедшая с подносом, на котором стояли разноцветные бутылки и закуски, мать искусственно-строго заметила:

— Сколько раз я тебе говорила, что божиться — дурная привычка! Он надоедает вам — спустите его на пол.

— Ничего-с... Помилуйте! Тебя как зовут, крыса, а?

— Митей. А тебя?

Пристав рассмеялся.

— Валей. Будем знакомы.

Мать, улыбаясь гостям, наливала в рюмки коньяк и, подвигая офицеру икру, говорила:

— Милости прошу. Согрейтесь! Нам так совестно, что из-за нас вы обеспокоили себя в эту дурную погоду.

— Валя! Дай мне икры, — потребовал Митя, царапая пальцем пуговицу на сюртуке пристава.

——

Через час жандармский офицер, подперев кулаком щеку, курил предложенную ему хозяином сигару и слушал.

— Разногласие с меньшевиками, — объяснял хозяин, — происходит у нас главным образом из-за тактических вопросов... Затем, наше отношение к террору...

Покачивая на руках уснувшего ребенка и стараясь не шуметь, пристав пытался сесть так, чтоб спящего не раздражал свет лампы.

——-

Городовой Харлампов муслил толстый палец и потом, хлопая картой по столу, говорил:

— А вот мы вашего короля прихлопнем! Теперича — дворник — принц, а вы, Лукерья Абрамовна, — королевой будете. Вроде как бы английская Виктория. Хе-хе!

Лукерья застенчиво улыбалась, наливая пиво в пустые стаканы.

— Тоже ведь придумает эдакое... Уж сказано про вас — бюрократический режим.

Почести

В № 11981 «Нового времени»
Меньшиков написал тысячный фельетон.

Меньшиков проснулся рано утром.

Спустил с кровати сухие с синими жилами ноги, сунул их в туфли, вышитые и поднесенные ему в свое время Марией Горячковской, — и сейчас же подошел к окну.

— Погодка, кажется, благоприятствует, — пробормотал он, с довольным видом кивнув головой, — я рад, что погода не помешает народным массам веселиться в радостный для них день юбилея.

Одевшись, он зачерпнул из лампадки горстью масло и обильно смазал редкие, топорщившиеся волосы.

— Для ради юбилея, — прошептал он, ежась от струйки теплого масла, поползшей по сухой согнутой спине.

Через полчаса швейцар суворинского дома открыл на звонок дверь и увидел сидящего, в ожидании, на ступеньках лестницы Меньшикова.

— Ты чего, старичок, по парадным звонишься? — приветствовал его швейцар. — Шел бы со двора.

— День-то какой ноне, Никитушка!

— Какой день? Обыкновенный.

— Никитушка! Да ведь можешь ты понять, тысячный фельетон сегодня идет!

— Так.

— Ну, Никитушка?

— Да ты что, ровно глухарь на току топчешься? Хочешь чего, что ли?

— Поздравь меня, Никитушка.

— Экий ты несообразный старичок... С чем же мне тебя поздравлять?

— Никитушка!.. Тысячный фельетон. Сколько я за них брани и поношения принял...

— Ну, так что же?

— Поздравь меня, Никитушка.

— Эк ведь тебя растревожило. Ну, что уж с тобой делать: поздравляю.

— Спасибо, Никитушка! Я всегда прислушивался к непосредственному голосу народа. Вот обожди, я тебе на водку дам... Куда же это я капиталы засунул? Вот! Десять копеечек... Ты уж мне, Никитушка, три копеечки сдачи сдай. Семь копеечек тебе, а три копеечки мне... Хе-хе, Никитушка...

— На! Эх ты, жила.

— Не благодари, Никитушка... Ты заслужил. Это ведь говорится так — на водку, а ты бы лучше на книжку их в сберегательную кассу снес... Ей-Богу, право. Самто — встал?

— Встал. Иди уж. Ноги только вытри.

Через полчаса швейцар открыл на звонок дверь и увидел Меньшикова.

——

— К вам я, Алексей Сергеич...

— Что еще? Говорил я, кажется, что не люблю, когда ты на дом приходишь. Нехорошо, — увидать могут. Если нужно что, можешь в редакции поманить пальцем в темный уголок — попросишь, что нужно.

— День-то какой нынче, Алексей Сергеич!

— А что — дождь?

— Изволили читать сегодня? Тысячный фельетон у меня идет.

— Ну?

— Можно сказать — праздник духа.

— Да ты говори яснее: гривенником больше хочешь за строчку по этому случаю?

— За это я вашим вечным молитвенником буду... А только — день-то какой!

— Да тебе-то что нужно?

— Поздравьте, Алексей Сергеич!

— Удивляюсь... Ну скажи — зачем тебе это понадобилось?

Меньшиков переступил с ноги на ногу.

— Хочу, чтобы как у других... Тоже, если юбилей, то поздравляют.

— Глупости все выдумываешь! Иди себе с Богом!

——

Придя в редакцию, Меньшиков подошел к столу Розанова и протянул ему руку.

— Здравствуйте, Василь Васильич!

Близорукий Розанов приветливо улыбнулся, осмотрел протянутую руку и повел по ней взглядом до плеча Меньшикова. С плеча перешел на шею, но когда дошел до лица, то снова опустил взгляд на бумагу и стал прилежно писать.

— Я говорю: здравствуйте, Василь Васильич!

— ...Брак не есть наслаждение... — бормотал Розанов, скрипя пером. — Брак есть долг перед вечным...

От напряженного положения протянутая рука Меньшикова стала затекать. Опустить ее сразу было неловко, и он сделал вид, что ощупывает карандаш, лежавший на подставке.

— Странный карандашик... Таким карандашиком неудобно, я думаю, писать...

Меньшиков опустился на стул, рядом со столом Розанова, и беззаботно заговорил:

— А я сегодня тысячный фельетон написал. Ей-Богу. Можете поздравить, Василь Васильич... Много написал. Были большие фельетоны и маленькие были. Да-с... Сегодня меня, впрочем, уже многие поздравляли: швейцар Никита — этакий славный народный чернозем! Алексей Сергеич поздравляли...

— ...Всякое половое чувство должно быть радостным и извечным... — бормотал, начиная новую страницу, Розанов.

— Я уж так и решил, Василь Васильич: напишу тысячный фельетон о печати! Хе-хе! Изволили читать? Вы где на даче в этом году живете? Впрочем, я думаю, что разговор со мной отвлекает вас? Ухожу, ухожу. Люблю, знаете, с приятелем в беседе старое вспомнить... До свиданья, Василь Васильич...

Меньшиков протянул опять руку, подержал ее минуты три, потом потрогал пресс-папье и сказал одобрительно:

— Славное пресс-папье!

——

Старческими шагами побрел к кабинету А. Столыпина.

— Здравствуйте, Александр Аркадьич!

Меньшикову очень хотелось, чтобы Столыпин, хотя бы по случаю юбилея, пожал ему руку. Но старый, усталый мозг не знал — как это сделать?

Постояв минут десять у стола Столыпина, Меньшиков пустился на хитрость:

— А вы знаете — через три минуты будет дождь...

— Вечно ты, брат, чепуху выдумываешь, — проворчал Столыпин.

— Ей-Богу. Хотите пари держать?

Простодушный Столыпин попался на эту удочку.

— Да ведь проиграешь, старая крыса?

Однако руку протянул. Меньшиков с наслаждением долго мял столыпинскую руку. Когда Столыпин вырвал ее, Меньшиков хихикнул и, довольный, сказал:

— Спасибо за то, что поздравили!

Потом Меньшиков ушел из редакции и долго бродил по улицам, подслушивая, что говорит народ о его юбилее.

Никто ничего не говорил. Только в трамвае Меньшиков увидел одного человека, читавшего «Новое время». Подсел к нему и, хлопнув по своей статье, радостно засмеялся.

— Что вы думаете об этой штуке?

Читавший сказал, что он думает.

Меньшиков вышел из трамвая и долго шел без цели, бормоча про себя:

— Сам ты старый болван! Туда же — в критику пускается.

——

Вечером сидел у кухарки на кухне и рассказывал:

— Устал я за день от всего этого шума, поздравлений, почестей... Начиная от швейцаров — до Столыпина — все как один человек. А Столыпин... чудак, право. Схватил руку, трясет ее, трясет, пожимает, — смех, да и только! Старик тоже — увидел меня, говорит: что нужно — проси! Отведи в уголок и проси. Ей-Богу, не вру! Хочешь, говорит, набавить — набавлю. Публика тоже... В трамваях тоже... обсуждают статью.

——

Ночью он долго плакал.

Робинзоны

Когда корабль тонул, спаслись только двое:

Павел Нарымский — интеллигент.

Пров Иванович Акациев — бывший шпик...

Раздевшись догола, оба спрыгнули с тонувшего корабля и быстро заработали руками, по направлению к далекому берегу.

Пров доплыл первым. Он вылез на скалистый берег, подождал Нарымского и, когда тот, задыхаясь, стал вскарабкиваться по мокрым камням, строго спросил его:

— Ваш паспорт!

Голый Нарымский развел мокрыми руками:

— Нету паспорта. Потонул.

Акациев нахмурился.

— В таком случае я буду принужден...

Нарымский ехидно улыбнулся.

— Ага... Некуда!

Пров зачесал затылок, застонал от тоски и бессилия и потом молча, голый и грустный, побрел в глубь острова.

——

Понемногу Нарымский стал устраиваться. Собрал на берегу выброшенные бурей обломки и некоторые вещи с корабля и стал устраивать из обломков — дом.

Пров сумрачно следил за ним, прячась за соседним утесом и потирая голые худые руки. Увидев, что Нарымский уже возводит деревянные стены, Акациев, крадучись, приблизился к нему и громко закричал:

— Ага! Попался! Вы это что делаете?

Нарымский улыбнулся.

— Предварилку строю.

— Нет, нет... Это вы дом строите! Хорошо-с!.. А вы строительный устав знаете?

— Ничего я не знаю.

— А разрешение строительной комиссии в рассуждении пожара у вас имеется?

— Отстанете вы от меня?..

— Нет-с, не отстану. Я вам запрещаю возводить эту постройку без разрешения.

Нарымский, уже не обращая на Прова внимания, усмехнулся и стал прилаживать дверь.

Акациев тяжко вздохнул, постоял и потом тихо поплелся в глубь острова.

Выстроив дом, Нарымский стал устраиваться в нем как можно удобнее. На берегу он нашел ящик с книгами, ружье и бочонок солонины.

Однажды, когда Нарымскому надоела вечная солонина, он взял ружье и углубился в девственный лес, с целью настрелять дичи.

Все время сзади себя он чувствовал молчаливую, бесшумно перебегавшую от дерева к дереву фигуру, прячущуюся за толстыми стволами, но не обращал на это никакого внимания. Увидев пробегавшую козу, приложился и выстрелил.

Из-за дерева выскочил Пров, схватил Нарымского за руку и закричал:

— Ага! Попался... Вы имеете разрешение на право ношения оружия?

Обдирая убитую козу, Нарымский досадливо пожал плечами.

— Чего вы пристаете?

Занимались бы лучше своими делами.

— Да я и занимаюсь своими делами, — обиженно возразил Акациев. — Потрудитесь сдать мне оружие под расписку на хранение, впредь до разбора дела.

— Так я вам отдал! Ружье-то я нашел, а не вы!

— За находку вы имеете право лишь на одну треть... — начал было Пров, но почувствовал всю нелепость этих слов, оборвал и сердито закончил:

— Вы еще не имеете права охотиться!

— Почему это?

— Еще Петрова дня не было! Закону не знаете, что ли?

— А у вас календарь есть? — ехидно спросил Нарымский.

Пров подумал, переступил с ноги на ногу и сурово сказал:

— В таком случае, я арестую вас за нарушение выстрелами тишины и спокойствия.

— Арестуйте! Вам придется дать мне помещение, кормить, ухаживать за мной и водить на прогулки!

Акациев заморгал глазами, передернул плечами и скрылся между деревьями.

——

Возвращался Нарымский другой дорогой.

Переходя по сваленному бурей стволу дерева маленькую речку, он увидел на другом берегу столбик с какой-то надписью.

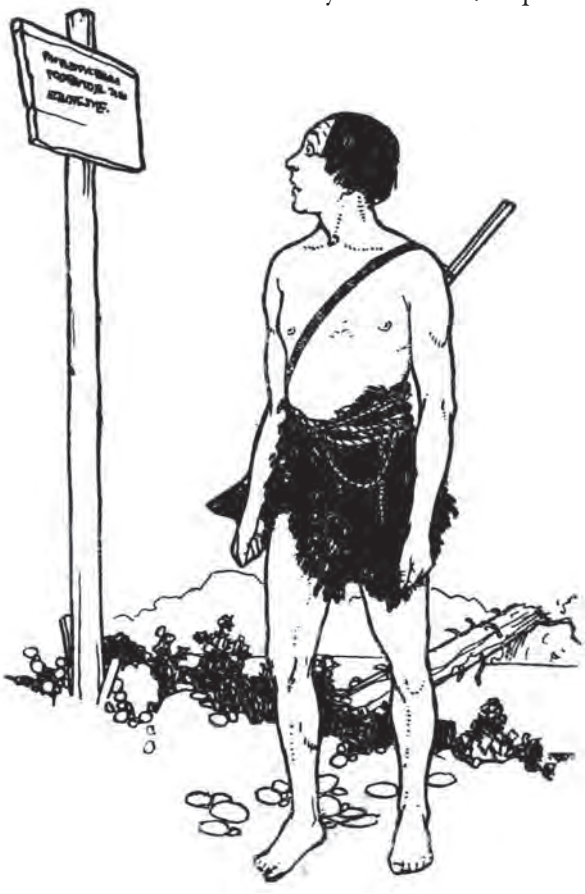
Приблизившись, прочел:

— Езда по мосту шагом.

Пожав плечами, наклонился, чтоб утолить чистой, прозрачной водой жажду, и на прибрежном камне прочел надпись:

— Не пейте сырой воды! За нарушение сего постановления виновные подвергаются...

Заснув после сытного ужина на своей теплой постели из сухих листьев, Нарымский среди ночи услышал вдруг какой-то стук и, отворив дверь, увидел перед собою мрачного и решительного Прова Акациева.



— Что вам угодно?

— Потрудитесь впустить меня для производства обыска. На основании агентурных сведений...

— А предписание вы имеете? — лукаво спросил Нарымский.

Акациев тяжело застонал, схватился за голову и с криком тоски и печали бросился вон из комнаты.

Часа через два, перед рассветом, стучался в окно и кричал:

— Имейте в виду, что я видел у вас книги. Если они предосудительного содержания, и вы не заявили о хранении их начальству — виновные подвергаются...

Нарымский сладко спал.

——

Однажды, купаясь в теплом, дремавшем от зноя море, Нарымский отплыл так далеко, что ослабел и стал тонуть.

Чувствуя в ногах предательские судороги, он собрал последние силы и инстинктивно закричал. В ту же минуту он увидел, как вечно торчавшая за утесом и следившая за Нарымским фигура поспешно выскочила и, бросившись в море, быстро поплыла к утопающему.

Нарымский очнулся на песчаном берегу. Голова его лежала на коленях Прова Акациева, который заботливой рукой растирал грудь и руки утопленника.

— Вы... живы? — с тревогой спросил Пров, наклоняясь к нему.

— Жив. — Теплое чувство благодарности и жалости шевельнулось в душе Нарымского. — Скажите... Вот вы рисковали из-за меня жизнью... Спасли меня... Вероятно, я все-таки дорог вам, а?

Пров Акациев вздохнул, обвел ввалившимися глазами беспредельный морской горизонт, охваченный пламенем красного заката, и просто, без рисовки, ответил:

— Конечно, дороги. По возвращении в Россию вам придется заплатить около ста десяти тысяч штрафов или сидеть около полутораста лет.

И, помолчав, добавил искренним тоном:

— Дай вам Бог здоровья, долголетия и богатства.

Визит

Октябрист приблизился к швейцару и, кланяясь, вежливо сказал:

— Здравствуйте, ваше благородие! Христос Воскресе!

Польщенный швейцар улыбнулся.

— Ну, какое там благородие: далеко мне.

— Не скажите. Жена, детки — здоровы?

— Сынишка кашляет.

— Что вы говорите! Это ужасно.

— Да... А жена уехала в Вытегру.

— Что вы говорите?! Прекрасный город Вытегра. Я слышал, что ваша супруга предостойнейшая женщина... Сами ли вы в добром здоровьи?

— Что это ты, брат, чудной какой? Уж не октябрист ли?

Октябрист стыдливо потупился и прошептал:

— Октябрист.

— Ага! Так, так... Ты начальство почитай. А уж мы тебя не забудем... Хе-хе!

Швейцар дружески потрепал улыбающегося Октябриста по животу и спросил:

— Доложить?

— Да-с, господин управляющий.

Через минуту Октябрист входил в приемную его превосходительства...

Маленькая злая собачонка, лежавшая на диване, заворчала, бросилась на вошедшего и укусила его за ногу...

Октябрист улыбнулся и, прищелкивая пальцами, стал звать собачонку:

— Цып-цып-цып!..

— Ах, извините, пожалуйста! Она вам порвала брюки...

— Христос Воскресе, ваше пр-во-с. Ничего-с... Они только пошутили, собачки ваши. Насчет же брюк, то в рассуждении вентиляции это даже полезно...

— Но у вас из ноги каплет кровь!

— По совести говоря, ваше пр-во, я бы их, собачоночку эту, еще благодарить должен-с. Сложения, я, знаете, апоплексического, а они мне бесплатное кровопускание сделали. Хе-с, хе-с!..

Сели. Октябрист посмотрел в окно и сказал:

— Какая прекрасная погода!

— Что вы! Погода скверная...

— Вы знаете, ваше пр-во, я еще с утра, когда встал, то говорю жене: «Знаешь, Липочка, погода будет неважная». И действительно, погода оказалась скверная!

Октябрист подумал немного и решил сказать хозяину что-нибудь самое приятное.

— Прекрасная у вас собачка! Рублей сто стоит?

— Что вы! Жена ее за пять рублей щенком купила. Ах, да! Не хотите ли вы закусить? Пожалуйте к столу.

Проходя к столу, Октябрист задержался около висевшей на стене картины и похвалил ее.

— Прекрасный морской вид. Вообще Рембрандт в этом отношении не имеет соперников.

— Какой же это Рембрандт? Это Судковский.

— Но, ваше пр-во, Рембрандт тоже был хорошим художником. Хотя Судковский, конечно...

Октябрист потрогал рукой раму, погладил полотно и значительно сказал:

— Тысяч пятнадцать!

— Триста рублей! Пожалуйте... Вам прикажете налить чего-нибудь?

— Ах, что вы! В рот не беру!.. Я так рассуждаю: разве может человек, любящий родину, отравлять себя алкоголем?!

Но сейчас же, вспомнив о казенной продаже водки, гость сконфузился и покраснел...

— Конечно, те, кто занимается физическим трудом, должны ее пить, потому что, как это говорится: mens sana in Квисисана... Но напряженный умственный труд, ваше пр-во, требует трезвости.

— А вот я, грешный человек, люблю выпить рюмку-другую.

— Совершенно правильно, ваше пр-во. Я еще читал где-то, что алкоголь в небольших дозах возбуждает энергию и деятельность. А я, в сущности, не пью из-за, извините, печени.

Вошел слуга и доложил, что хозяина вызывают к телефону.

— Извините. Одну минуту.

Оставшись один, Октябрист поправил галстук и строго посмотрел на лежавшую у его ног собачку.

— У-у, дрянь этакая! Чтоб ты лопнула!

Собачонка посмотрела на него равнодушным взглядом.

— Только жаль, что визжать будешь... А то бы я тебе такого пинка дал, что ты к стене отлетишь. Пошла вон!! Черти тебя задери...

Он наклонился и сильно дернул собачонку за ухо.

— Гррр... — громко зарычала она.

— Ну, ну... Собаценочка! Цто ты, цто ты? Ну, кто нас обидел, кто... Мы нервненькие, правда?

Октябрист прислушался, дрожащей рукой налил себе рюмку рябиновой и, боязливо поглядев на собаку, выпил. Потом взял рукой кусок семги и поспешно засунул ее в рот, торопясь прожевать.

— А вот и я. Позвольте предложить вам чего-нибудь скушать.

Гость сделал вид, что закашлялся, вынул носовой платок и выплюнул в него семгу.

— В сущности, я, ваше пр-во, сыт. Уже завтракал-с.

— В таком случае, кофе? Ликеру? Ну, ликеру-то вы со мной выпьете... Легонького. Абрикотину.

— Не смею отказаться.

Гость потянулся за налитой рюмкой. Собачонка от его движения вздрогнула и звонко залаяла. Вздрогнул и гость.

— Ах, Боже ты мой, что я наделал!!

Тоненькая струйка абрикотина поползла по белоснежной скатерти.

— Ваше пр-во! Честное слово, это ваша собачка... Они залаяли...

— Ну, пустяки. Сейчас вытрут.

— Ваше пр-во! Я сам присыплю солью. Тогда пятна не будет.

Гость дрожащей рукой схватил баночку с горчицей и стал трясти ее на пятно.

— Виноват, но ведь это горчица.

— Ваше пр-во!.. Ей-Богу, нечаянно. Позвольте, я ножичком соскоблю горчицу.

— Да не беспокойтесь. Вон вы ножом и разрезали скатерть. Видите, какой вы!..

— Ваше!.. Видит Бог, не хотел я этого... Вы и в Думе знаете меня, я никогда — чтобы кто-нибудь... Можете даже Остен-Сакена спросить...

В смущении и растерянности Октябрист замолол такую дрянь, что даже его прво сконфузился.

— Вы, может быть, нездоровы? Тогда не смею удерживать...

— Прощ... щайте, ваше пре...пре... Воистину Воскресе... Прощайте, собачка... Вввв...

Октябрист не помнил, как добрался домой. Его трясла лихорадка, и жена уложила его спать.

Он метался в кровати, бредил, и в бреду ему чудилась страшная картина: ехидная собачонка, после его ухода, поманила лапой хозяина и, когда тот нагнулся к ней, потихоньку сообщила:

— А этот-то... что был у тебя... Когда ты вышел к телефону — он выпил рюмку водки и спрятал в карман кусок семги. Своими глазами видела.

— Хорошо... — сурово сказал хозяин. — Если так, то завтра же разгоним Думу...

Бедствие

Неожиданный урожай тек. года поставил в большое затруднение — как м-во путей сообщения, так и сельских хозяев, принужденных продавать хлеб почти даром. «Торгово-Промышл. Газета».

I

Перед директором департамента стоял чиновник и смущенно докладывал:

— Мы получили самые верные сведения... Сомнений больше нет никаких! Так и лезут из земли.

— Что ж это они так... Недоглядели, что ли?

— Да что ж тут доглядывать, ваше пр-во. Дело Божье!

— Конечно, Божье... Но ведь и пословица говорит: на Бога надейся, а сам не плошай. А вы говорите — лезут?! Что же лезет больше?

— Многое лезет, ваше пр-во... Рожь, пшеница...

— Но, не понимаю... Теперь, когда агрономическая культура сделала такие шаги, неужели нельзя принять какие-нибудь меры?

— Какие меры, ваше пр-во?

— Чтоб они не лезли, эти самые пшеницы, ржи и прочее.

— Тут уж ничего не поделаешь. Раз полезло из земли — с ним не справишься. Зерно маленькое-маленькое, а силища в нем громадная! Нет, уж, видно, судьба такая, чтобы быть урожаю!

— Ну, а мужики что?

— Да что ж мужики — плачут. Сколько лет уже, говорят, не было этих самых урожаев, а тут — разгневался Господь — послал.

Директор осмотрел уныло свои ногти и вздохнул.

— Мужиков жаль!

— Да-с. Сюрпризец! Вот уж правду говорят: многострадальный русский народ.

— Э?

— Многострадальный, говорю. И они многострадальные, и мы... Нам-то еще хуже, ваше пр-во! Как начнут это вагоны требовать, пробки разные устраивать, в газетах нас ругать — чистейшей воды драма.

— А, может... еще и недород будет?

— Нет ни малейшей надежды. Я наводил справки. В один голос все — урожай!

— Опять эта кутерьма пойдет: бесплатные столовые, общеземские организации на местах, пострадавших от урожая, крестьянское разорение. Эх ты, русский народ!

В голосе директора послышались лирические нотки.

— Эх ты, русский народ! Кто тебя выдумал, как говорит незабвенный Гоголь... До того ты темен и дик, что от простого урожая отвертеться не можешь.

— Трудно отвертеться, ваше пр-во. Лезет.

— Кто лезет?

— Все, что в земле есть. Поверите — в некоторых местах опасаются, что и фрукты могут дать урожай!!

— Что вы говорите! Эх, хорошо говорил покойный Гоголь: урожай, кто тебя выдумал?

II

Мужик Савельев стоял у межи своего поля и ругался:

— Ишь ты! Ишь ты, подлая! Так и прет! У людей как у людей — или градом побьет, и скот вытопчет, а у нас — хучь ты ее сам лаптем приколачивай!

— Что ты, кум, ворчишь? — спросил, подойдя к Савельеву, мужик Парфен Парфенов.

— Да что, брат дядя, рожь у меня из земли лезет. И недоглядишь, как урожай будет.

— Ну? — сказал Парфен Парфенов. — Влопаешься ты, кум!

— И то! Сколько лет по-хорошему было: и о прошлом годе — недород, и о позапрошлом — недород, а тут — нако-ся! Урожай. Пойтить в кусочки потом и больше никаких апельцинов!

— А во, брат, тучка оттеда идет. Помочить может, — на корню она, подлая, подгниет. Все лучше, чем потом по двугривенному за пуд расторговываться.

Глаза Савелия Савельева загорелись надеждой.

— Где? Где туча?..

— Во. Гляди, может, градом осыплется.

— Вашими бы устами, Парфен Лукич, — сказал повеселевший Савельев, — да мед пить!

Задрав рыжие бороды кверху, долго стояли кумовья и следили за ползущей тучей.

III

Газета «Голос мудрости» писала в передовой статье:

— Мы давно призывали общество к более тесному единению и борьбе со страшным бичом русского крестьянина — урожаем! Что мы видим: в нормальное, спокойное время, когда ряд недородов усыпляет общественное внимание, все забывают, что коварный враг не спит и в это же самое время, может быть, продирает ростками землю, чтобы выбиться наружу зловещими длинными колосьями, словно рядом бичей, угрожающих нашему сельскому хозяйству. А потом ахают и охают, беспомощно мечась перед призраком бедствия:

— Ах, урожай! Ох, урожай!..

И нищает сельское хозяйство, и забиваются железные дороги пробками, тормозя нормальное развитие отечественной промышленности. Сельские хозяева! Помните:

— Враг не дремлет!

IV

По улице большого города шел прохожий. Истомленные оборванные люди, держа на руках двух ребят, подошли к нему и зашептали голодными голосами:

— Господин! Помогите пострадавшим от урожая!

— Неужели вы пострадавшие? Может, вы только симулируете пострадавших от урожая? — спросил сердобольный прохожий.

— Де там! Хворменный был урожай!

— И много у вас уродилось?

— Сам-двадцать!

— Несчастные! — ахнул прохожий. — Нате вам три рубля. Может, поправитесь.

. . . . . .

Мученик науки

Провинциальные губернаторы предписали местной полиции следить за внешкольным поведением учащихся.

Когда околоточный входил в комнату, шашка его зацепилась за ручку двери.

Отцепить старались: он сам, Мишка, Мишкин отец и горничная. Все были смущены, и околоточный больше всех.

Он конфузливо потер красные большие руки, для чего-то надул щеки и, с деланной развязностью, сказал:

— Ну, как сынок ваш?

— Ничего, здоров, благодарю вас. Мишка! Оставь нос — по рукам получишь.

Постояли все, помолчали.

— Погодка-то нынче, а?

— Да.

Околоточный подошел к стене и с нескрываемым интересом стал рассматривать картину, изображавшую «Бабушкины сказки».

— Вы бы присели!

— Благодарю вас. Прекрасная картина!

— Да.

Околоточный сел и потер руки.

— Ну, как дела, молодой человек?

Царапая ногтем спинку кресла, Мишка застенчиво ответил:

— Благодарю вас. Ничего.

Околоточный подергал головой, вскочил с кресла и опять подошел к картине.

— Масляными красками?

— Нет, премия к «Ниве».

— Ага! Так, так. Хороший журнальчик.

— Да.

— Престранная вещь у нас вчера в участке случилась: привезли какого-то пьяного, а он по-русски ни слова.

— Поди ж ты! Иностранец, значит, — догадалась мать. — Мишка! По рукам получишь!

— Вы, молодой человек, тово... маменьку слушайтесь. Они вас кормят.

Мишка в паническом ужасе посмотрел на околоточного и прошелестел:

— Я... Слушаюсь.

— Эти картины вообще вещь превосходная. Заплатил семь рублей в год — и Салтыкова тебе какого-нибудь дадут двенадцать книжек, и украшение для гостиной.

— Да.

— В этом году какое приложение дают?

— Не знаю. Мы теперь перестали выписывать.

Околоточный встал и потрогал рукой картину.

— Совершеннейшие масляные краски. Даже удивительно.

Он вытер холодный пот со лба и застегнул верхнюю пуговицу мундира.

Сел и снова ее отстегнул.

— Вы, может быть, посмотрели бы, как мальчик занимается?

Околоточный даже икнул от радости.

— Да, да! Это очень интересно.

— Пойдемте в его комнату!

Все встали и пошли через темный коридор.

Идя впереди, околоточный попал в самый конец коридора и когда открыл преграждавшую ему дальнейший путь дверь, то сейчас же отшатнулся и быстро ее захлопнул.

— Не сюда! Здесь не хорошо, — предупредил отец, а Мишка сзади тихонько хихикнул.

Вошли в небольшую комнату Мишки и сели. Мать села на кровать с таким расчетом, чтобы можно было ногой незаметно пододвинуть вглубь какую-то вещь, которая, поместившись на виду, могла своим видом шокировать благовоспитанный глаз.

Околоточный обвел глазами комнату и с тайным ужасом заметил, что стены были без картин, совершенно голые.

Он обратил свое внимание на стол, закапанный чернилами. Взял истерзанный атлас и стал его внимательно перелистывать.

— Америка... А ну, молодой человек, покажите, где здесь город... Трансвааль, что ли?

Мишка придвинулся к столу и уверенно сказал:

— Трансвааль на три страницы дальше: в Африке.

Околоточный насильственно улыбнулся и неумело подмигнул.

— Ишь ты! Вас не поймаешь... Я-то знал, а вот хотел вас подвести.

И соврал. Решил, на всякий случай, запомнить.

— А историю вы знаете?

— Древнюю или новую?

— Ну да, поновее что-нибудь... Как звали, например, того царя, у которого из живота дерево выросло?

— Это не у него, а у его мамы. Снилось ей. Его звали Кир.

— Вот, вот. А то, представьте, — обратился он к отцу, — был еще такой чудак: взял и высек плетьми море. Как вам это понравится?

— Да, вообще... Комичные эти греки были.

Околоточный передвинул чернильницу и спросил Мишку с неожиданною строгостью:

— А Берлин где?

— В Германии.

— Молодец! Ловко угадал. Ну, ты учись тут, слушайся родителей, а я пойду.

Все сразу повеселели.

Отец пожал уходившему руку, а мать приветливо спросила:

— Чаю не хотите?

— Нет-с, не пью, то есть уже пил. Всего лучшего.

Стоя на улице, околоточный долго вытирал платком лоб и щеки и злобно озирался.

Потом, увидя проходившего мороженщика, набросился на него.

— Морррроженое продаешь, ррракалия?! Кричишь, мерзавец?! За нарушение тишины, знаешь...

И, закусив белыми зубами губу, он ударил мороженщика в ухо.

Спермин

Это была самая скучная, самая тоскливая сессия Думы.

Вначале еще попадались некоторые неугомонные читатели газет, которые после долгого сладкого зевка оборачивались к соседу по месту в трамвае и спрашивали:

— Ну, как Дума?

А потом и эти закоренелые политики как-то вывелись...

Голодным, оборванным газетчикам приходилось долго и упорно бежать за прохожим, заскакивая вперед, растопыривая руки и с мольбой в голосе крича:

— Интересная газета!! Бурное заседание Государственной Думы!!

— Врешь ты все, брат, — брезгливо говорил прохожий. — Ну, какое там еще бурное?..

— Купите, ваше сиятельство!

— Знаем мы эти штуки!..

Отодвинув рукой ослабевшего от голода, истомленного нуждой газетчика, прохожий шагал дальше, а газетчик в слепой, предсмертной тоске метался по улице, подкатывался под извозчиков и, хрипло стеная, кричал:

— Интересная газета! На Малой Охте чухонка любовника топором зарубила!! Купите, сделай милость!

И жалко их было, и досадно.

* * *

Неожиданно среди общего сна и скуки, как удар грома, грянул небывалый скандал в Думе.

Скандал был дикий, нелепый, ни на чем не основанный, но все ожило, зашевелилось, заговорило, как будто вспрыгнуло живительным летним дождиком.

Негодованию газет не было предела.

— После долгой спячки и пережевывания никому не нужной вермишели Дума, наконец, проснулась довольно своеобразно и самобытно: правый депутат Карнаухий закатил такой скандал, подобного которому еще не бывало... Встреченный во время произнесения своей возмутительной речи с трибуны общим шиканьем и протестами, Карнаухий выругался непечатными словами, снял с ноги сапог и запустил им в председательствующего... Когда к нему бросились депутаты, он выругал всех хамами и дохлыми верблюдами и потом, схватив стул, разбил голову депутату Рыбешкину. Когда же, наконец, прекратятся эти возмутительные бесчинства черносотенной своры?! Исключение наглого хулигана всего на пять заседаний должно подлить лишь масла в огонь, так как ободрит других и подвинет на подобные же бесчинства! Самая лучшая мера воздействия на подобных господ — суд и лишение депутатского звания!

Газетчики уже не бегали, стеная, за прохожими. Голодное выражение сверкавших глаз сменилось сытым, благодушным...

* * *

Издателю большой ежедневной газеты Хваткину доложили, что к нему явился депутат Карнаухий и требует личного с ним свидания.

— Какой Карнаухий? Что ему надо? — поморщился издатель. — Ну, черт с ним, проси.

Рассыльный ушел. Дверь скрипнула, и в кабинет, озираясь, тихо вошел депутат Карнаухий.

Он подошел к столу, придвинув к себе стул, сел лицом к лицу с издателем и, прищурившись, молча стал смотреть в издателево лицо.

Издатель подпер голову руками, облокотился на стол и тоже долго, будто любуясь, смотрел в красное широкое лицо своего гостя.

— Ха-ха-ха! — раскатился издатель неожиданным хохотом.

— Хо-хо-хо! — затрясся всем своим грузным телом Карнаухий.

— Хи-хи-хи!

— Го-го-го!

— Хе!

— Гы!

— Да и ловкач же ты, Карнаухий!

Сквозь душивший его хохот Карнаухий скромно заявил:

— Чего ж ловкач... Как условлено, так и сделано. Донс муа того кельк-шозу, который в той железной щикатулке лежит!

Издатель улыбнулся.

— Как условлено?

— А то ж!

Издатель встал, открыл шкапчик, вынул несколько кредиток и, осмотревшись, сунул их в руку Карнаухому.

— Эге! Да тут четвертной не хватает!

— А ты министрам кулак показывал, как я просил? Нет? То-то и оно, брат. Ежели бы показал, так я, тово... Я честный — получай полностью! А раз не показал — согласись сам, брат Карнаухий...

— Да их никого и не было в ложе.

— Ну, что ж делать — значит, мое такое счастье!

Карнаухий крякнул, покачал укоризненно головой, сунул деньги в карман и взялся за шапку.

— Постой, брат, — остановил его издатель, потирая лоб. — Ты ведь, тово... Исключен на пять заседаний? Это хорошо, брат... Так и нужно. Пока ты забудешься. А там я б тебе еще работку дал. Скажи... не мог бы ты какого-нибудь октябриста на дуэль вызвать?

— Так я его лучше просто отдую, — добродушно сказал Карнаухий.

— Ну, вот... Придумал тоже! Дуэль — это дело благородное, а то — черт знает что — драка.

Карнаухий пощелкал пальцами, почесал темя и согласился:

— Что ж, можно и дуэль. На дуэль своя цена будет. Сами знаете...

— Не обижу. Только ты какой-нибудь благовидный предлог придумай... Подойди, например, к нему и привяжись: «Ты чего мне вчера на пиджак плюнул? Дрянь ты октябристская!» Можешь толкнуть его даже.

— А ежели он не обидится?

— Ну, как не обидится. Обидится. А потом, значит, ты сделай так...

* * *

Долго в кабинете слышался шепот издателя и гудящий бас Карнаухого.

Провожая его, издатель сделал страшное лицо и сказал:

— Только ради Создателя — чтобы ни редактор, ни сотрудники ничего не знали... Они меня съедят.

— Эге!

Когда Карнаухий вышел на улицу, к нему подскочил веселый, сытый газетчик и крикнул:

— Грандиозный скандал! Исключение депутата Карнаухого на пять заседаний!!

Карнаухий улыбнулся и добродушно проворчал:

— Тоже кормитесь, черти?!

Октябрист Чикалкин

К октябристу Чикалкину явился околоточный надзиратель и объявил, что предполагавшееся им, Чикалкиным, собрание в городе Битюги с целью сообщения избирателям результатов деятельности его, Чикалкина, в Думе — не может быть разрешено.

— Почему? — спросил изумленный Чикалкин.

— Потому. Неразрешенные собрания воспрещаются!

— Так вы бы и разрешили!

Околоточный снисходительно усмехнулся.

— Как же это можно: разрешить неразрешенное собрание. Это противозаконно.

— Но ведь, если вы разрешите, оно уже перестанет быть неразрешенным, — сказал, подумавши немного, Чикалкин.

— Так-то оно так, — ответил околоточный, еще раз усмехнувшись бестолковости Чикалкина. — Да как же его разрешить, если оно пока что — неразрешенное? Посудите сами.

— Хорошо, — сказал зловеще спокойным тоном Чикалкин. — Мы внесем об этом в Думе запрос.

— Распишитесь, что приняли к сведению, — хладнокровно кивнул головой околоточный.

* * *

Когда октябрист Чикалкин остался один, он долго, взволнованный и возмущенный до глубины души, шагал по комнате...

— Вы у меня узнаете, как не разрешать! Ладно!! Запрос надо формулировать так: известно ли... И тому подобное, что администрация города Битюга своими не закономер...

Чикалкин вздохнул и потер бритую щеку.

— Гм. Резковато. За версту кадетом несет... Может, так: известно ли и тому подобное, что ошибочные действия администр... А что такое ошибочные? Ошибка — не вина. Тот не ошибается, кто ничего не делает. Да что ж я в самом деле, дурак... Запрос! Запрос! Не буду же я его один вносить. А фракция — вдруг скажет: несвоевременно! Ну, конечно, скажет... Такие штуки всегда несвоевременны. Запрос! Эх, Чикалка! Тебе, брат, нужно просто министру пожаловаться, а ты... Право! Напишу министру этакое официальное письмецо...

* * *

Октябрист Чикалкин сел за стол.

— Ваше высокопревосходительство! Сим довожу до вашего сведения, что произвол властей...

Перо Чикалкина застыло в воздухе. В столовой гулко пробило два часа.

— ... что произвол властей...

В столовой гулко пробило половину третьего.

— ...что произвол властей, которые...

Рука онемела. В столовой гулко пробило пять.

— ...что произвол властей, которые...

Стало смеркаться.

— Которые... произвол, котор...

И вдруг Чикалкину ударило в голову:

— А что, если...

Он схватил начатое письмо и изорвал его в клочья.

— Положим... Не может быть!.. А вдруг!

Октябрист Чикалкин долго ходил по комнате и, наконец, всплеснув руками, сказал:

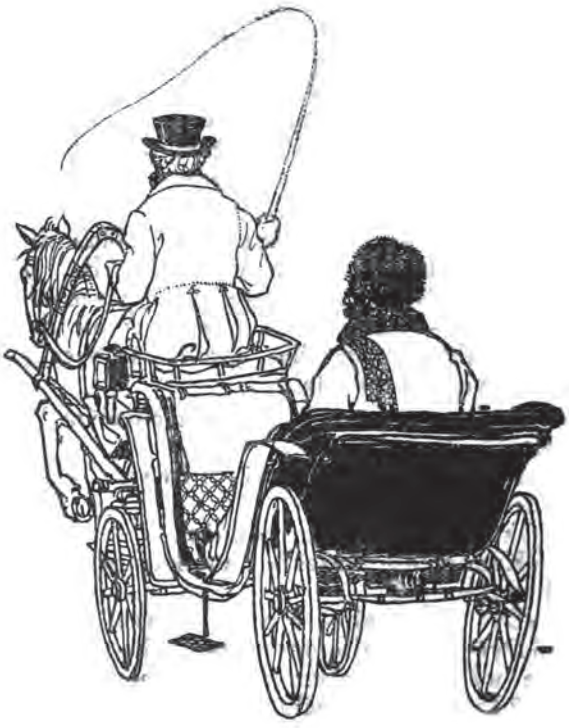
— Ну, конечно! Просто нужно поехать к исправнику и спросить о причине неразрешения. В крайнем случае — припугнуть.

* * *

Чикалкин оделся и вышел на улицу.

— Извозчик! К исправнику! Знаешь?

— Господи! — с суеверным ужасом сказал извозчик, — да как же не знать-то! Еще позавчерась оны меня обстраховали за езду. Такого, можно сказать, человека, да не знать! Скажут такое.



— Что же он — строгий? — спросил Чикалкин, усаживаясь в пролетку.

— Он-то? Страсть. Он, ваше высокоблагородие, будем прямо говорить — строгий человек. И — и! Порох! Чиновник мне один анадысь сказывал... Ему — слово, а он сейчас ножками туп-туп, да голосом: в Сибирь, говорит, вас всех!! Начальство не уважаете!!

— Что ж он — всех так? — дрогнувшим голосом спросил Чикалкин.

— Да уж такие господа... Строгие. Если что — не помилуют.

Октябрист Чикалкин помолчал.

— Ты меня куда везешь-то? — неожиданно спросил он извозчика.

— Дык сказывали — к господину исправнику...

— Дык сказывали! — передразнил его Чикалкин. — А ты слушай ухом, а не брюхом. Кто тебе сказывал? Я тебе, дураку, говорю — вези меня в полицейское управление, а ты к самому исправнику!.. Мало штрафуют вас, чертей. Заворачивай!

* * *

— Да, брат, заговорил Чикалкин, немного успокоившись. — В полицейское управление мне надо. Хе-хе! Чудаки эти извозчики... ему говоришь туда, а он тебя ве-

зет сюда. Так-то, брат. А мне в полицейское управление и надо-то было. Собрание, вишь ты, мне не разрешили. Да как же! Я им такое неразрешение покажу! Сейчас же проберу их хорошенько, выясню, как и что. Попляшут они у меня! Это уж такая у нас полиция — ей бы только придраться. Уже... приехали?.. Что так скоро?

— Старался, как лучше.

— Могу я видеть пристава? — спросил Чикалкин, входя. — То есть... господина пристава? ...можно видеть?

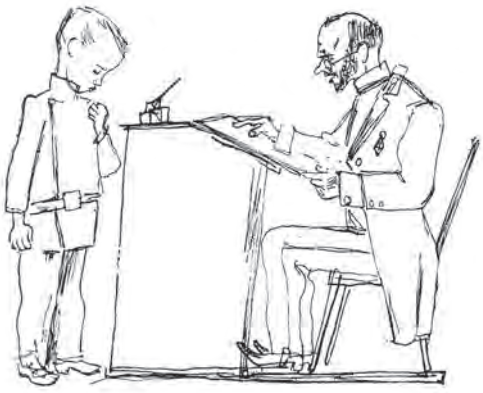
— Пожалуйте.

— Что нужно?— поднялся навстречу Чикалкину грузный мужчина с сердитым лицом и длинными рыжими усами.

— Я хотел бы этого... спросить вас... Могу ли я здесь получить значок для моей собачки на предмет уплаты городского налога?

— Э, черт! — отрывисто вскричал пристав. — Шляются тут по пустякам! В городской управе нужно получать, а не здесь. Герасимов, дубина стоеросовая! Проводи.

Невозможное



Учитель истории Максим Иванович Тачкин сидел, склонив голову к журналу, и тихо зловеще перелистывал его.

— Вызовем мы... ну, хотя бы... Синюхина Николая!

Синюхин Николай побледнел, потупил голову, приблизился к кафедре и открыл судорожно искривленный рот.

— Ну-с? — поощрил его Тачкин.

— Я урока не знаю... — смотря в окно, испуганно заявил Синюхин.

— Да? — наружно удивился Тачкин. — Почему? Не можешь ли ты мне объяснить?..

Синюхину Николаю нужно было бы объяснить, что система «от сих до сих» и «повторить то, что было задано в прошлую среду» — настолько сухая система, что она никак не могла заинтересовать Синюхина. Мог бы Синюхин сказать и то, что он пытался несколько раз вчитаться в книгу, несколько раз начинал «от сих», но сухие, не будившие пылкого воображения факты путались в голове, рассыпались и своей ненужной громоздкостью мешали Синюхину добраться «до сих», до этих милых, манящих каждого прилежного, зубрящего ученика своим уютом и грядущей свободой — «сих».

Синюхин не хотел откровенничать с учителем.

— У меня голова болела... мама захворала... в аптеку бегала...

— Ой-ой-ой, — засмеялся Тачкин. — Как много! А поставлю-ка я тебе, Синюхин Николай, единицу. А?

Он посмотрел внимательно в лицо ученику Синюхину и, заметив на нем довольно определенное, лишенное двусмысленности выражение, отвернулся и задумался...

— Воображаю, как он сейчас ненавидит меня. Воображаю, что бы он сделал со мной, если бы я был на его месте, а он — на моем.

. . . . . .

Держа под мышкой журнал, в класс вошел ученик Николай Синюхин и, вспрыгнув на кафедру, обвел внимательным взором учителей, сидевших с бледными, испуганными лицами, на ученических партах.

Ученик Николай Синюхин опустился на стул, развернул журнал и, помедлив одну зловещую минуту, оглядел ряд сидящих лиц в вицмундирах с блестящими пуговицами...

— Ну-с, — сказал он. — Кого же мы вызовем?.. Разве Ихментьева Василия?..

Учитель географии Василий Павлович Ихментьев съежился, обдернул вицмундир и робко приблизился к кафедре.

— Ихментьев Василий? — спросил ученик Синюхин, оглядывая учителя. — Гм... Должен сказать вам, Ихментьев Василий, что ваше поведение и успехи меня не радуют!

— Почему же? — оторопев, спросил учитель. — Почему же, Николай Степанович? Кажется, я стараюсь...

— Да? — иронически улыбнулся Синюхин. — Стараетесь? Я бы этого не сказал... Видите ли, г. Ихментьев... Я человек не мелочный и не придерусь к вам из-за того, что у вас вон, сейчас, оторвана одна пуговица вицмундира и рукав измазан мелом... Это пустяк, к науке не имеющий отношения, и мне до сих пор стыдно за то время, когда за подобные пустяки виновные наказывались уменьшением отметки в поведении. Нет! Не то я хочу сказать, Ихментьев Василий... А позвольте спросить вас... Как вы преподаете?! Как вам не стыдно? Ведь вы получаете деньги не за то, чтобы дуться по ночам в винт, пить водку и потом являться на уроки в таком настроении, при котором никакая география вам и в голову нейдет...

— Я не буду... — тихо пролепетал учитель. — Это... не я... Я не виноват... Это Тачкин Максим приглашал меня к себе на винт... Я не хотел... а это он все.

Синюхин сердито хлопнул своей крохотной ладонью по кафедре.

— Имейте в виду, господин Ихментьев, что и шпионства, предательства и доносов на ваших товарищей не допущу! Я не буду этого поощрять, как поощряли это в свое время вы. Стыдно-с! Ступайте на свое место и поразмыслите-ка хорошенько о вашем поступке. Тачкин Максим!

— Здесь! — робко сказал Максим Иваныч.

— Я знаю, что здесь. Пойдите-ка ближе... Вот так. Сейчас один из ваших недостойных товарищей насплетничал на вас, будто бы вы подбивали его играть в карты. Может быть, это и было так, но оно, в сущности, меня не касается. Я не хочу мешаться в вашу частную жизнь и вводить для этого какой-то нелепый внешкольный надзор за учителями — я стою выше этого! Но должен вам заявить, что ваше отношение к делу — ниже всякой критики!

— Почему же, Николай Степаныч, — опустил голову учитель Тачкин. — Кажется, уроки я посещаю аккуратно.

— Да черт с этой вашей аккуратностью! — нервно вскричал Синюхин Николай. — Я говорю об общем отношении к делу. Ваша сухость, ваш формализм убивают у учеников всякий интерес к науке. Стыдитесь! У вас такой интересный, увлекательный предмет — что вы из него сделали? История народов преподается вами, как какое-то расписание поездов. А почему? Потому, что вы не учитель, а сапожник! Ни дела вашего вы не любите, ни учеников. И, будьте уверены — они народ чуткий и платят вам тем же... ну, скажите... что вы задали классу на завтра?

— От сих до сих, — прошептал Тачкин.

— Да, я знаю, что от сих до сих! А что именно?

— Я не... помню.

Лицо Синюхина Николая сделалось суровым, нахмуренным. Он сердито вскочил, стал на цыпочки, дотянулся до уха учителя и, нагнув его голову, потащил за ухо в угол.

— Безобразие! — кричал он. — Люди в футлярах! Формалисты! Сухари! Себя засушили и других сушите! Вот, станьте-ка здесь в углу на колени — может быть, это отрезвит немного вашу пустую голову... А завтра пришлите ваших родителей — я поговорю с ними!

Стоя на коленях и уткнув голову в угол, учитель истории Максим Иванович Тачкин горько плакал...

«Если единица, — думал он про себя, — застрелюсь!»

. . . . . .

. . . . . .

Тачкин улыбнулся себе в усы, поднял от журнала голову и сказал, обращаясь к угнетенному единицей растерянному Синюхину Николаю:

— Так-то, брат Синюхин. Поставил я тебе единицу. А если мое поведение тебе почему-либо не нравится — можешь и ты мне поставить где-нибудь единицу.

Класс засмеялся удачной шутке. Учитель поднял голову и устало сказал:

— Молчать! На следующий урок — повторите то, что было задано в прошлую среду.

Где-то ликующе прозвонил звонок...

Зверинец

— К вам можно? — повторил я через запертую дверь.

— Кто такой? — послышался изнутри сердитый старческий голос.

— Это я, Михаил Осипович, — пустите. Я вам ничего дурного не сделаю.

Дверь, защелкнутая на цепь, приотворилась, и на меня глянуло испуганное, злое лицо Меньшикова.

— Да ведь вы небось драться пришли? — недоверчиво прохрипел он.

— Чего же мне драться... У меня и палки нет.

— А вы, может, руками... а?

— Нет, руками я вас не буду... Право, пустите. Я так, поболтать пришел.

После долгого колебания Меньшиков снял цепь и впустил меня.

— Здравствуйте, коли пришли. Не забываете старика. — Хе-хе...

— Где вас забыть!

Он привел меня в большую холодную гостиную, с застоявшимся запахом деревянного масла, старой пыли и какой-то мяты...

Мы сели и долго молчали.

— Альбомик не желаете ли посмотреть? — придвинул он мне книгу в кожаном переплете, с оторванными застежками.

Я развернул альбом и наткнулся на портрет какого-то унылого человека.

— Кто это?

— Большой негодяй! Устраивал сходки разныя... Да — шалишь, — сообщил я кому следует... засадили его.

— Гм... А этот?

— Морской чиновник? Вор и растратчик. Я в одной статье такое про него написал, что вверх тормашками со службы полетел.

— Это вот, кажется, очень симпатичное лицо...

— Какое! Бомбист, совершеннейший бомбист! Школьным учителем был. Он, правда, бомб еще не метал, но мог бы метать. Ужасно казался мне подозрительным! В Якутской области теперь.

— А этот?

— Этот? Просто мерзавец. Вот тут еще есть — жид, зарезавший отца, поджигатель, два растлителя малолетних... а эти — так себе, просто негодяи.

Он закрыл альбом и, прищурившись, ласково сказал:

— Может, вы свою карточку дадите, а? Я бы вставил ее в альбомчик.

— Гм... после разве, когда-нибудь.

Он сидел со сложенными на животе руками, молча, с любопытством, поглядывая на меня.

Потом встал, оправил лампадку и, вытирая замаслившиеся руки о волосы, спросил скрипучим голосом:

— Небось бомбы все бросаете?

— Нет, не бросаю. Чего же мне их бросать...

— Нынче все бросают.

Узнавши, что я бомб не бросаю, он повеселел и, скорчив лицо в улыбке, хлопнул меня по колену:

— Так уж и быть!.. Показать разве вам мой зверинец?!

Я удивился.

— Зверинец? Разве вы так любите животных?

— Хе-хе... У меня особый зверинец... Совершенно особенный!

Взявши связку ключей, он подмигнул мне и повел через ряд пустынных холодных комнат, с тем же запахом.

— Вот мой зверинец, — сказал он, скаля беззубый рот в подобие приветливой улыбки и открывая ключом последнюю дверь.

В небольшой комнате сидели за столом и играли в «шестьдесят шесть» трое мужчин и одна женщина.

— Ну, как вы тут, ребята? — сказал Меньшиков, подозрительно осматривая всех и похлопывая по ноге откуда-то взявшимся арапником.

— «Раскаявшийся рабочий»! «Раскаявшийся рабочий»!! Ты опять пьян, мерзавец?! — закричал он вдруг, вглядываясь в лицо человека с красным носом и слезящимися глазами. — Ты чего смотрела, «Дама из общества»? А ты, «Осведомленное лицо с Кавказа», — шампур тебе в глотку?! Дармоеды! Всех выгоню!!

Кавказец, в истасканном бешмете, встал и, почесав грязной рукой за ухом, хладнокровно сказал:

— Зачем крычать? Ему водкам давал «Мужичок из деревни».

«Дама из общества» строила мне уже глазки и, подойдя бочком, спросила:

— Парле ву франсе?

— Пошла, пошла, старая грешница, — закричал на нее Меньшиков, грозя арапником.

Потом, видя, что я с удивлением смотрю на всю эту сцену, он мне объяснил.

— Это, видите ли, зверинец. Для статей держу этих дармоедов... Вдохновляют меня. Тут они не все... Некоторых гулять я отпустил. Здесь вы видите «Мужичка из деревни», «Раскаявшегося рабочего», «Осведомленное лицо с Кавказа» и «Даму из общества».

— Она в самом деле из общества? — спросил я, поглядывая на ее толстое накрашенное лицо.

— Да, я ее взял из общества спасения от разврата падших женщин. Дом она какой-то на Лиговке содержала. А это вот — «Мужичок из деревни». Пьяница, каналья и, как напьется, колотит «Даму из общества».

— А «Осведомленное лицо с Кавказа»?

— У Макаева шашлык жарил. Я его к себе сманил. Правильный парень. Тараска! Что нужно жидам делать?

— Резать! — завизжало «Осведомленное лицо».

— Видите!.. Ты куда, мерзавец! Отдай им бумажник!

Он хватил арапником по руке «Раскаявшегося рабочего» и, отняв у него появившийся откуда-то мой бумажник, возвратил его мне.

— Вы с ним поосторожнее. Что ни увидит, негодяй, все сопрет. Часы целы ли?

«Дама из общества» тайком ущипнула меня за руку, а «Осведомленное лицо с Кавказа», заметив это, скрипнуло зубами и положило руку на рукоять кинжала.

— Пойдемте! — сказал я.

Меньшиков подмигнул мне и сказал:

— Роман тут у них... Но «Дама», кажется, флиртирует, кроме того, с «Мужичком из деревни». Впрочем, пойдемте. Воздух у них тут... действительно!

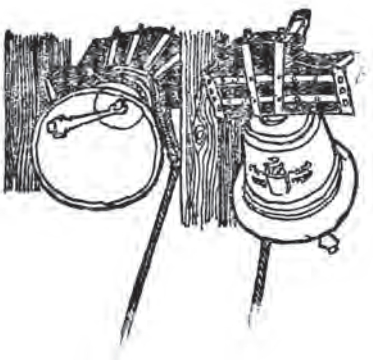
Мы вышли. Я стал прощаться.

Провожая меня, Меньшиков лукаво подмигнул и сказал:

— А ведь давеча соврали-то, а? Хе-хе... Бомбочки-то ведь бросаете? Ну, сознайтесь!

Боясь сознаться, я поспешно вышел.

Путаница



Радостный трезвон праздничных колоколов — самая предательская вещь... Я не знал ни одного самого закоренелого злодея, который устоял бы против радостного перезвона праздничных колоколов... Были случаи, когда такого закоренелого злодея пытали, мучили, желая вырвать у него хотя бы словечко правды о его преступлении — он молчал, будто воды в рот набравши... Но стоило только радостно и праздничнo зазвонить над его ухом, как он вспоминал свою молодость, каялся, плакал и, рассказавши всю подноготную, обещался вести новую жизнь.

Иногда его даже и за язык никто не тянул — признаваться. Но стоило только потянуть за язык колокола — преступник, без промедления, вспоминал свою молодость и каялся во всем, разливаясь в три ручья.

Таково уж странное свойство праздничного перезвона.

* * *

Старый провокатор, носивший партийное прозвище — Волк, сидел в своей большой неуютной комнате и тревожно прислушивался к радостному перезвону праздничных колоколов.

Он вспомнил свою молодость, мать, ведущую его, маленького, чистенького, в церковь, и этот перезвон — мучительно радостный и ожидательно-праздничный. И когда он подумал о своем теперешнем поведении, о своем падении в пропасть предательства — сердце его сжалось и на глазах выступили слезы... А колокола радостно гудели:

— Бом-бом! Бом-бом!

— Нет! — простонал провокатор. — Больше я не могу!.. Сердце мое разрывается от раскаяния!.. Довольно грешить! Пойду и признаюсь во всем — пусть делают со мной, что хотят. Никогда не поздно раскаяться в своих грехах.

Он оделся и вышел из дому.

* * *

Идя по улице, Волк бормотал себе под нос:

— Пойду прямо в полицию и расскажу все начистоту: как выдавал революционерам ее тайны и как я однажды стянул со стола полковника предписание об обыске у своего знакомого эсера. Все выложу! Пусть сажает в тюрьму, пусть делает со мной, что хочет!..

— Бом-бом! Бом-бом! — радовались колокола.

По мере приближения к дому полковника шаги Волка все замедлялись и движения делались нерешительнее и нерешительнее.

Новое чувство зажигалось в груди старого Волка.

— Куда я иду? — думал он. — Разве мне сюда нужно идти каяться? Кому я делал тяжкий вред? Кого продавал? Товарищей? А они мне доверяли... Ха-ха! Туда и иди, старый Волк! Перед ними и кайся!

Взор его просветлел.

Он решительно повернулся и зашагал в обратную сторону, по направлению конспиративной квартиры товарища Кирилла.

— Приду и прямо скажу: так и так, братцы! Грешник я великий, за деньги продавал вас — простите меня или сделайте со мной, что хотите.

Он всхлипнул и вытер глаза носовым платком. Ему самому было жаль себя. Вдали показались окна квартиры товарища Кирилла.

— Приду и скажу, — бормотал Волк. — Обманывал я вас!.. И полицию обманывал, и вас обманывал. Полицию даже больше.

Он замедлил шаг, остановился и задумался.

— Гм... Ведь если я полицию больше обманывал, я перед нею и должен каяться. Ей я и должен признаться, что вел двойную игру. Она не виновата в том, что она полиция, — она исполняет свои обязанности. Бедненький полковник... Сидит теперь, дома и думает: «Вот придет Волк, парочку сведений принесет». А я-то!

— Бом-бом! Бом-бом! — разливались колокола.

Волчьи глаза увлажнились слезами.

Он решительно повернул и пошел назад.

— ...Сидит он и думает: «Придет Волк, принесет парочку сведений». Хорошо у него, уютно. Лампа горит, на стенах картинки... Тепло. Это не то, что те, которые недавно влопались. Сидят по камерам и скрипят зубами. Поддедюлил вас Волк!

Он вздохнул.

— А ведь им теперь, поди, холодно, голодно, в камерах каменные полы. Они мне доверяли, думали — свой, а я... Эх, Волк! Глубока твоя вина перед ними, и нет ей черты предела.

«Бом-бом! — ревели колокола. — Покайся, Волк! — Бом-бом!»

Схватившись за голову, застонал несчастный и побежал к товарищу Кириллу.

— Все скажу! Руки их буду целовать, слезой изойду. Где моя молодость? Где моя честность?

* * *

К Кириллу Волк не зашел.

Долго стоял он на улице, раздираемый сомнениями и обуреваемый самыми противоположными чувствами. Ему смертельно хотелось покаяться, никогда так, как теперь, не жаждал он очищения, умиротворения мятущейся души своей, и долго стоял так Волк на распутье:

— Куда идти?

И не знал.

Мимо него быстро прошел человек, лицо которого показалось Волку знакомым. Отложив на минуту раскаяние, Волк подумал:

— Где я видел этого человека? Да, вспомнил! Это Мотя. Я его частенько встречал в полиции!

В Волке проснулись профессиональные привычки.

— Куда это он идет? Ба! Да ведь это подъезд товарища Кирилла!..

Неужели...

Волк догнал Мотю и положил ему руку на плечо. Мотя обернулся, сконфузился и растерянно сказал:

— А, Волк! С праздником вас.

Но сейчас же он оправился, и его пронзительные глаза устремились на Волка.

— Вы... тоже сюда?

— Да, — сказал Волк, а про себя подумал: — Не думает ли он на меня донести, червяк поганый! Хорош бы я был перед Кириллом.

Он переступил с ноги на ногу и сказал:

— Видите ли, Мотя. Мне почему-то хочется быть с вами откровенным: я, в сущности, партийный работник, а в полицию хожу так себе... для пользы дела!

— Вот и прекрасно! — обрадовался Мотя. — Тогда и я буду откровенен: ведь я, признаться, проделываю то же самое!

Но в глазах Моти Волк заметил странно блеснувший огонек, который слишком поспешно был потушен опустившимися веками.

— Эге! — подумал Волк и, рассмеявшись, дружески хлопнул Мотю по плечу.

— К черту уловки и хитрости! Я вижу — вы парень ой-ой какой! Ведь я насчет партийности-то подшутил над вами. Ну, какой я, к черту, партийный работник, когда на днях типографию провалил.

— Ха-ха! — закатился хохотом Мотя. — То-то! Сообразили.

Но смех его показался Волку фальшивым, а глаза опять блеснули, погасли.

— Господи! — подумал, растерявшись, Волк. — Ничего я не разберу. Зачем бы ему являться к Кириллу, если он гласно работает на отделение? С другой стороны... Гм...

Мотя раздумывал тоже.

Так они долго стояли, в недоумении рассматривая друг друга.

— Пойди-ка, влезь в его душу, — думал растревоженный Волк. — Ну, времечко!

— Черт его знает, чем он, в сущности, дышит, — досадливо размышлял Мотя. — Ну, времена!

Постояв так с минуту, оба дружески улыбнулись друг другу, пожали руки и разошлись. — Мотя наверх, по лестнице, а Волк на улицу.

Выйдя на воздух, Волк вздохнул и прислушался: колокола перестали звонить.

— Ага! — облегченно подумал Волк. — То-то и оно. А то — каяться!

Не размышляя больше, зашагал он к полковнику и, вызвав его, сообщил, что Мотя очень подозрителен, что он шатается по конспиративным квартирам и что за ним надо наблюсти.

А Мотя в это время сидел в квартире Кирилла и говорил, опасливо озираясь:

— Подозрителен ваш Волк... Шатается к полковнику и, вообще, не мешало бы за ним наблюсти!..

II
ОКОЛО ИСКУССТВА

Труха

Это было самое веселое, оживленное место предпраздничного рынка... Лавчонка, маленькая, полутемная была битком набита покупателями, а на улице у входных дверей стоял бойкий, крикливый мальчишка и зазывал еще новую публику:

— Пожалуйте! — кричал он, раскрывая рот так, что углы губ касались концов его громадных ушей. — Эй! К нам пожалуйте! Очень даже прекрасные привидения, покойники, девочки на всякий рост, бесприютные собачки-с! Громадный выбор занесенных снегом странников, волки-с. Только у нас настоящие волки! Эй!

А в лавчонке крику было еще больше.

Приказчик, держа в правой руке за шиворот что-то длинное, одетое в белый саван, с деланным изумлением кричал:

— Это-с, по-вашему, не привидение?! А что же это тогда, по-вашему, такое, если не привидение? Который год торгуем — никогда не было, чтоб сумлевались! Вы, вероятно, ваша милость, не видели никогда настоящего привидения, потому такое и говорите!

— Да оно... не страшное! — робко возражал покупатель и косился на фигуру, беспомощно болтавшуюся в мужественной руке приказчика.

— Это не страшное? — изумлялся приказчик. — Да какие ж тогда страшные бывают?! Обратите внимание на их личико: мертвецкая бледность и глаза, как свечки. Вот эту кнопку только нажать... А голос! Извольте прислушаться!

Приказчик нажал рукой спину привидения. Оно заскрипело и, захлопав ртом, проревело:

— Ищи документы, раскрывающие тайну твоего рождения — на чердаке, в двойной крышке старого сундука!

Рот захлопнулся, глаза потухли и фигура безжизненно повисла в приказчичьих руках. Покупатель призадумался.

— Ничего... Слова хорошие. Из них можно что-нибудь сделать... Гм... Тайна рождения... Заверните!

— Браку не надо ли? — спросил приказчик, заворачивая покупку.

— А что у вас за брак?

— Чиновник один. Раскаивался в ночь под Рождество, что выгнал больную жену с ребенком. А они как раз и пришли в эту ночь, под видом нищих.

— Ну?

— Ну, вот. А мальчишка наш лавочный, что орет сейчас у дверей, чтоб ему пусто было — вынул чиновника из коробки, да и отвертел ему голову. Согласитесь — не может же жена возвращаться к безголовому чиновнику. Целый набор испортил, негодяй. Возьмите! Дешево бы отдал...

— Да куда ж он мне?..

— Ну, можно что-нибудь такое... Жена могла бы держать корчму, пользующуюся дурной репутацией, а муж тоскует по ней и приезжает в рождественскую ночь, желая сделать сюрприз. Его не узнают и убивают. И только после, по отрезанной голове, с которой ей дали поиграть, дочка узнает черты своего любимого папы. Прекрасный сюжет!

— Пожалуй! — сказал покупатель, раздумывая. — Я в провинцию пошлю, куда-нибудь. Там это любят. Только вы и голову не забудьте положить.

— Помилуйте-с — все здесь, в коробке. Прикажете сверху вьюги положить? Копеек на тридцать.

— Разве у вас теперь вьюга отдельно продается? — удивился покупатель.

— Да-с. Лучше комбинируется. Можно чиновника — и вьюгу, заблудившегося мальчика и — вьюгу. Почти что она везде идет.

— Тогда посыпьте чиновнику на двугривенный. Да мне отдельно дайте немножко. Можно просто стихотворение в прозе о вьюге сделать. Благодарю вас.

* * *

В лавку вошла дама в очках.

— Здравствуйте! Позвольте мне одного замерзающего мальчика. Поменьше только и похуже одетого.

— Не держим-с, — вздохнул приказчик. — Погоды нынче, как назло, теплые, а товар скоропортящийся.

Дама растерянно посмотрела на приказчика.

— Тогда, может быть, найдется девочка на улице, прильнувшая к оконному стеклу, за которым елка?

— Продали-с. Была одна прильнувшая девочка, и ту для детского журнала взяли. Много не держим — потому из моды выходит. Из новенького чего не пожелаете ли: палач, вешающий родного племянника, экспроприаторы, нападающие в рождественскую ночь на усадьбу, раскаявшийся губернатор. Много теперь идет.

— Что-нибудь с волками нет ли? — спросила дама.

— Пожалуйте-с: охотник в лесу и волки, испугавшиеся праздничного колокола; прохожий и волки; заброшенная усадьба и волки; тройка лошадей и волки. Прикажете завернуть?

— Дайте с заброшенной усадьбой. А старые преданные слуги у вас не продаются отдельно? Я бы взяла одного.

— Сделайте одолжение. Только я бы, мадам, посоветовал вам лучше слугу с тройкой взять. А волков отберете отдельно. Усадьба тоже у меня случайная осталась, — от экспроприаторов. Один покупатель экспроприаторов забрал, а усадьбу, на которую нападают, оставил. Совсем бы задаром.

* * *

Высокий, представительный беллетрист, обладатель известного имени и целой тучи забранных всюду авансов, стоял у прилавка и безнадежно оглядывал наваленных в беспорядке привидений, волков и экспроприаторов, которых сразу можно было узнать по зверским, размалеванным красным лицам и громадным пистолетам, заткнутым за пояс.

— Все у вас, почтеннейший, — грустно говорил беллетрист, — одно и то же... Те же волки, раскаявшиеся старики, обсыпанные вьюгой, и разные бездомные женщины.

Приказчик развел руками и сказал извиняющимся тоном:

— Трудновато для вас подобрать. Так, мелюзга какая — все берет. С руками рвут. Из провинции какой приедет, так он и привидение возьмет и прохожего старика. Усадьбу с экспроприаторами увидит, и ту возьмет. Волков ему предложишь — и волками не побрезгует. И волков-то дашь ему старых, облезлых, с одышкой. А уж до вьюги как доберется, — дорвется до дешевки, — так всю покупку запорошит, то и не разберешь — где усадьба, где волк! Простой народ. Вам, конечно, этого не предложишь.

— Из новенького нет ли чего?

— Особенно — нет. Рождество под тропиками, унесенные льдиной в святую ночь, палач, вешающий племянника. Предложить вам разве рождество на дирижабле?

— Фу, какая пошлятина! — поморщился беллетрист.

— Нельзя ли что-нибудь из очень старого? Такого старого — что уже основательно надоело и забыто. Можно стилизацию сделать.

— Спущусь в погреб, пороюсь, — вздохнул усталый приказчик. — Там такое есть, что сорок лет не ворошили.

Через десять минут приказчик вылез с запыленной, облезлой коробкой и бросил ее на прилавок.

— Не подойдет ли? Самая старинная вещь. Антик-с.

— Что это такое? — брезгливо поморщился беллетрист, оглядывая коробку.

— Девица в заброшенной бане, гадающая на суженого, который в безвестной отлучке. Вот-с — свечи, два зеркала, девица... Это гроб, который отражается. Делается

это просто, вот так: сюда — зеркала, тут свечи... девицу садим на эту скамеечку. Теперь стоит только выдвинуть из зеркала этот гроб — трах! Девица падает. Ее находят в обмороке утром, на следующий день. Потом горячка, почтальон, письмо, извещающее о смерти жениха. Старина-матушка! Возьмите!

В глазах писателя читалось колебание...

В лавку вошел высокий, худой гимназист с красными, как гусиные лапы, руками и густо рассыпанными по лицу веснушками. Глаза его смущенно бегали по непривычной обстановке, а сам он робко жался к дверям и говорил страшным сиплым, искусственным басом.

— Нет ли у вас чего для рождественского рассказа? Чтоб недорогое.

— Митька! — крикнул приказчик мальчику. — Покажи им бездомную собачку.

— Нет ли... странника замерзающего? — робко спросил гимназист, умоляюще смотря на приказчика.

— Нет, — сухо отвечал приказчик. — Берите или бездомную собачку, которая ходит под Рождество по улицам, или — елочку, которую срубили для детей и которая тоскует по родному лесу.

Митька повел гимназиста в угол и стал открывать перед его носом маленькие коробочки.

— Вот бездомная собачка. Видите — подавишь ее — она визжит! А это тоскующая елочка.

— А прильнувшей девочки нет? — шепотом спросил гимназист.

— Вышли. Да берите собачку — чего там! Можно агромадный рассказище написать. Вьюги дам на три копейки.

Мальчишка завернул гимназисту бездомную собачку, отщипнул от куска клочок вьюги, грязный, уже начавший подтаивать, и сказал:

— Этой штукой перед употреблением посыплете собачку. Сохранять в холодном месте. До свиданья-с.

Беллетрист, следивший с улыбкой за этой сценой, вдруг засмеялся и сказал приказчику:

— Знаете? Я куплю у вас эту собачку и этот кусочек вьюги, но только — вместе с гимназистом.

— Для чего вам? — изумился приказчик.

— Да я из этого прекрасную вещь сделаю: «Первый рождественский рассказ». Гимназист, сочиняющий свою первую вещь, — это прелестно!

— Да как же я собачку... с гимназистом продам? — спросил приказчик.

— Да что ж такое! Заверните их вместе и вынесете на извозчика. Подумаешь — церемониться с гимназистом!.. Никто и не узнает.

— Слушаю-с!..

* * *

В лавку ввалилась хохочущая компания.

Один из компании наступил беллетристу на ногу, поставил лежащее на прилавке привидение вверх ногами, к великому веселью товарищей, и крикнул:

— Эй! старичок! Покажи нам свою дребедень!

— Это не дребедень, — обиженно возразил приказчик, — а прекрасные сюжеты для рождественских рассказов. Прошу не держать привидения вниз головой.

— Кто это такие? — спросил беллетрист шепотом.

— Юмористы. Пустейшая и беспардоннейшая публика. Придут, перевернут все, осмеют и почти ничего не купят. Прежде юморист хороший был... Солидный. Придет — дай ты ему пьяного визитера, перепутавшего знакомые дома, или чиновника, который не получает ожидаемого ордена, или загулявшего купца. Основательный был юморист. А теперь рассобачились. Эй, господин, господин! Нельзя так делать... Что же вы в одну коробку суете и пожар усадьбы, и замерзшего странника, и детскую елку...

Компания забавлялась тем, что посадила призрака верхом на замерзающего странника и заставила их плясать перед елкой, взявшись за руки со страшными экспроприаторами и худыми рождественскими волками.

Потом свалили все это в кучу и, найдя коробку вьюги, стали с хохотом бросать ее горстями друг другу в лицо.

Я вошел в лавку, обвел всех присутствующих взглядом и сказал приказчику:

— Пришел к вам за сюжетом...

— Сделайте милость! — вежливо изогнулся он. — Что прикажете: палача, вешающего племянника, вьюгу с волками, пожар усадьбы, призрака...

— Старый дуралей! — обиженно закричал я. — Неужели ты не понимаешь, что мне этого мало?! Я беру все сразу: усадьбу, экспроприаторов, вьюгу, беллетриста, племянника, палача, гимназиста, твоих мальчишек, самого тебя, всю твою бестолковую рухлядь, и я прошу завернуть мне это в бумагу, чтобы я мог унести домой — с одним-единственным желанием и целью — сжечь весь этот вздор, эту глупую труху раз и навсегда!.. К черту рождественские рассказы!!.

«Аполлон»

Однажды в витрине книжного магазина я увидел книгу... По наружному виду она походила на солидный, серьезный каталог технической конторы, что меня и соблазнило, так как я очень интересуюсь новинками в области техники.

А когда мне ее показали ближе, я увидел, что это не каталог, а литературный ежемесячный журнал.

— Как же он... называется? — растерянно спросил я.

— Да ведь заглавие-то на обложке!

Я внимательно всмотрелся в заглавие, перевернул книгу боком, потом вниз головой и, заинтересованный, сказал:

— Не знаю! Может быть, вы будете так любезны посвятить меня в заглавие, если, конечно, оно вам известно?.. Со своей стороны, могу дать вам слово, что если то, что вы мне сообщите, секрет, — я буду свято хранить его.

— Здесь нет секрета, — сказал приказчик. — Журнал называется «Аполлон», а если буквы греческие, то это ничего... Следующий номер вам дастся гораздо легче, третий еще легче, а дальше все пойдет как по маслу.

— Почему же журнал называется «Аполлон», а на рисунке изображена пронзенная стрелами ящерица?..

Приказчик призадумался.

— Аполлон — бог красоты и света, а ящерица — символ чего-то скользкого, противного... Вот она, очевидно, и пронзена богом света.

Мне понравилась эта замысловатость.

Когда я издам книгу своих рассказов под названием «Скрежет», то на обложке попрошу нарисовать барышню, входящую в здание зубоврачебных курсов...

Заинтересованный диковинным «Аполлоном», я купил журнал и ушел.

* * *

Первая статья, которую я начал читать, — Иннокентия Анненского, — называлась «О современном лиризме». Первая фраза была такая:

«Жасминовые тирсы наших первых мэнад примахались быстро...»

Мне отчасти до боли сделалось жаль наш бестолковый русский народ, а отчасти было досадно: ничего нельзя поручить русскому человеку... Дали ему в руки жасминовый тирс, а он обрадовался и ну — махать им, пока примахал этот инструмент окончательно.

Фраза, случайно выхваченная мною из середины «лиризма», тоже не развеселила меня:

«В русской поэзии носятся частицы теософического кокса, этого буржуазнейшего из Антисмертинов...»

Это было до боли обидно.

Я так расстроился, что дальше даже не мог читать статьи «О современном лиризме»...

* * *

Неприятное чувство сгладила другая статья: «В ожидании гимна Аполлону».

Я человек очень жизнерадостный, и веселье бьет во мне ключом, так что мне совершенно по вкусу пришлось предложение автора:

«Так как танец есть прекраснейшее явление в жизни, то нужно сплетаться всем людям в хороводы и танцевать. Люди должны сделаться прекрасными, непрестанно во всех своих действиях, и танец будет законом жизни».

Последующие слова автора относительно зажжения алтарей, учреждения обетных шествий и плясов привели меня в решительный восторг.

«Действительно! — думал я. — Как мы живем... Ни тебе удовольствия, ни тебе веселья. Все ползают на земле, как умирающие черви, уныние сковывает костенеющие члены... Нет, решительно, обетные шествия и плясы — вот то, что выведет нас на новую дорогу».

Дальше автор говорил:

«Не случайно происходит за последние годы повышение интереса к танцу...»

«Вот оно! — подумал я. — Начинается!»

У меня захватило дыхание от предвкушения близкого веселья, и я должен был сделать усилие, чтобы заставить себя перейти к следующей статье:

«О театре».

* * *

Автор статьи о театре видел единственное спасение и возрождение театра в том, чтобы публика участвовала в действии наравне с актерами.

Идея мне понравилась, но многое показалось неясным: будет ли публика на жалованье у дирекции театра, или актеры будут уравнены с публикой в правах тем, что им придется приобретать в кассе билеты «на право игры»... И как отнесутся актеры к той ленивой, инертной части публики, которая предпочтет участию в игре — простое глазение на все происходящее?..

Впрочем, я вполне согласен с автором, что важна идея, а детали можно разработать после.

* * *

Вечером я поехал к одним знакомым и застал у них гостей.

Все сидели в гостиной небольшими группами и вели разговор о бюрократическом засилье, указывая на примеры Англии и Америки.

— Господа! — предложил я. — Не лучше ли нам сплестись в радостный хоровод и понестись в обетном плясе к Дионису?!

Мое предложение вызвало недоумение.

— То есть?..

— В нашей повседневности есть плясовой ритм. Сплетенный хоровод должен нестись даже в будничной жизни, перейдя с подмостков в жизнь... Позвольте вашу руку, мадам!.. Вот так... Господа! Ну, зачем быть такими унылыми?.. Возьмите вашу соседку за руку. Что вы смотрите на меня так недоумевающе? Готово? Ну, теперь можете нестись в радостном хороводе. Господа... Нельзя же так!..

Гости растерянно опустили сплетенные по моему указанию руки и робко уселись на свои места.

— Почему вам взбрела в голову такая идея — танцевать? — сухо спросил хозяин дома. — Когда будет танцевальный вечер, там молодежь и потанцует. А людям солидным ни с того ни с сего выкидывать козла — согласитесь сами...

Желая смягчить неловкую паузу, хозяйка сказала:

— А поэта Бунина в академики выбрали... Слышали?

Я пожал плечами.

— Ах, уж эта русская поэзия! В ней носятся частицы теософического кокса, этого буржуазнейшего из Антисмертинов...

Хозяйка побледнела.

А хозяин взял меня под руку, отвел в сторону и сурово шепнул:

— Надеюсь, после всего вами сказанного вы сами поймете, что бывать вам у нас неудобно...

Я укоризненно покачал головой и похлопал его по плечу:

— То-то и оно! Быстро примахались жасминовые тирсы наших первых мэнад. Вам только поручи какое-нибудь дело... Благодарю вас, не беспокойтесь... Я сам спущусь! Тут всего несколько ступенек...

* * *

По улице я шагал с тяжелым чувством.

— Вот и устраивай с таким народом обетные плясы, вот и води хороводы! Дай ему жасминовый тирс, так он его не только примахает, да еще, в извозчичий кнут обратив, тебя же им и оттузит! Дионисы!

Огорченный, я зашел в театр.

На сцене стоял, сжав кулаки, городничий, а перед ним на коленях купцы.

— Так — жаловаться?! — гремел городничий.

Я решил попытаться провести в жизнь так понравившуюся мне идею слияния публики со сценой.

— ...Жаловаться? Архиплуты, протобестии...

Я встал с места и, изобразив на лице возмущение, со своей стороны, продолжал:

— ...Надувалы морские! Да знаете ли вы, семь чертей и одна ведьма вам в зубы, что...

Оказалось, что идея участия публики в актерской игре еще не вошла в жизнь...

Когда околоточный надзиратель, сидя в конторе театра, писал протокол, он поднял на меня глаза и спросил:

— Что побудило вас вмешаться в действие пьесы?..

Я попытался оправдаться:

— Тирсы уж очень примахались, господин околоточный...

— Знаем мы вас, — скептически сказал околоточный. — Напьются, а потом — тирсы!.....

Американцы

Издатель журнала «Северное сияние» Роздеришин и секретарь Бильбокеев составляли объявление о подписке на будущий год.

— С чего начинать-то? — спросил, беря в руку перо, Бильбокеев.

— Ну... как, обыкновенно начинается...

— Обыкновенно начинают так, — сказал опытный Бильбокеев. — «Не прибегая к широковещательным рекламам»...

— Это хорошо. Солидно. Только... постойте, дорогой... Что это мы хотим сейчас составить?

— Широковещательную рекламу.

— Ну, вот. А пишем — «не прибегая»... Неудобно.

Бильбокеев подумал.

— Существует еще одно хорошее вступление для такого рода объявлений: «не щадя затрат, наш журнал»...

— Прекрасно! — восхищенно воскликнул Роздеришин. — Именно — «не щадя затрат»... Так и начните.

Бильбокеев написал «не щадя затрат» и выжидательно посмотрел на издателя.

— Ну-с?

— Что? — спросил издатель.

— Вот я написал — «не щадя затрат», — а что же дальше?

— Да это и хорошо, что же еще?

— Видите ли, я написал придаточное предложение. Как вам, вероятно, известно — придаточное предложение само по себе, без главного — существовать не может... Где же главное предложение?

— Чивой-то я не понимаю, — сказал Роздеришин, растерянно смотря на секретаря.

— Ах ты, Господи! Вот мы написали: «не щадя затрат»... Ну, а что же дальше?! Нужно так писать: «не щадя затрат, — мы сделаем то-то и то-то». Ну, вот вы и скажите, на что мы обещаем не щадить затрат? Что это такое — то-то и то-то?

Издатель вздохнул.

— Вот оно что! Дальше можно бы написать, что, мол, «идя навстречу интересам многоуважаемых господ подписчиков»...

Секретарь приписал несколько слов и прочел вслух:

— «Не щадя затрат и идя навстречу интересам многоуважаемых господ подписчиков»...

Он остановился.

— Ну-с? А где же главное предложение?

— Неужели главного еще нет? — удивился Роздеришин.

— Конечно! Вот мы не щадим затрат, идем навстречу. А на что не щадим, куда идем?

— Гм... — задумался издатель и даже вытянул губы трубочкой. — Действительно. «Идя навстречу интересам многоуважаемых господ подписчиков»... А ведь они, черти полосатые, разве понимают — каково издателю? Гм... Что бы им такое дальше ввернуть? Разве, насчет окраин?..

— Каких окраин?

— Что, мол, журнал будет уделять большое внимание насущным интересам окраин... Некоторые объявляют так.

— Никанор Палыч! Да ведь это газета может уделять! Какие у нас могут быть интересы окраин? На первой странице какая-нибудь «девочка с яблоком», потом роман «Разными дорогами», опять — «девочка с кошкой», она же, поздравляющая с днем рождения бабушку, «флорентийская цветочница», смесь, и в конце та же проклятая девчонка с собакой, под названием «Два друга». И так — каждый номер. Где ж тут окраины? Нужно одно из двух — или насчет самого журнала размазать побольше — или насчет премий!

— Что ж насчет журнала... Даем мы, как обыкновенно: 52 номера роскошно иллюстрированного журнала, с произведениями лучших мастеров слова на веленевой бумаге...

— Это мы и в прошлом году писали и в позапрошлом... Нужно что-нибудь насчет реформ. Вроде, что: 1910 год будет годом наших реформ!

— Да какие же реформы?.. Рассыльного Мотыку я давно собираюсь турнуть, взять на его место — потолковее...

— Ну, что вы такое говорите, Никанор Палыч! В других журналах, как у людей... Вон «Зарницы» как написали: мы, говорят, не щадя затрат, будем печатать некоторые рисунки по способу «дрей фарбен друк!».

Роздеришин с суеверным ужасом посмотрел на секретаря.

— Господи! Что же это?..

— Трехцветная печать! А у нас все одним цветом жарим... Эйн фарбен друк!

— Голубчик! — сказал издатель. — А вы так и напишите... Что, мол, мы с будущего года будем рисунки печатать эйн фарбен друком.

Бильбокеев рассмеялся.

— Не щадя затрат?

— Не щадя. Можно тут же написать: «идя навстречу». А?

— Нет, Никанор Палыч — не отвертитесь!.. Придется вам на премии налечь. Что вы предполагали дать?

— У меня тут отмечено: «Альбом красавиц на меловой бумаге — приятное развлечение домашнего очага, полное собрание сочинений знаменитого писателя сороковых годов и книжка портретов членов Государственной Думы»...

Бильбокеев задумчиво качнул головой.

— Недурно. Красавиц штук десять можно дать. Надо в клише порыться. Члены Думы только дорого обойдутся... Фотографии покупать, клише делать...

— Поехали! Может, еще и в три краски печатать? Пороемся в старых клише и довольно.

— Да у нас никаких клише членов Думы и нет!..

— И не надо. Мало ли у нас есть клише, вообще. «Свен Гедин, путешественник по Тибету», «Знаменитый ученый Пастер», «Английский министр колоний», «Убийца президента Карно» — всех можно пустить в дело. Только по бородам подобрать.

— Как... по бородам?

— Да так. У кого из членов Думы борода — ставить клише с бородой, у кого усы — с усами. А что не похожи будут — пустяки. Подумают — нечаянно перепутали. Съедят.

— Разве что так! — сказал Бильбокеев. — А что это за знаменитый писатель сороковых годов, с полным собранием сочинений? У вас там фамилия не указана.

— Да и сам не знаю. Купил на складе по случаю — тысяч двадцать томов какой-то чепуховины, а чьи — так и не посмотрел. Вы уж его там распишете сами.

— Постойте! Мы так и продолжим... Значит: «не щадя затрат и идя навстречу интересам публики, редакция решила дать ряд премий, стоящих в отдельной продаже 27 рублей 55 копеек. 1) «Альбом красавиц». Это изящное издание явится лучшим украшением домашнего очага и своими грациозными формами будет веселить глаз всех любителей женской красоты — лучшего, чем украсила вселенную мать-природа. Перед подписчиком пройдет ряд лучших красавиц, стоящих в отдельной продаже 8 рублей. 2) Полное собрание сочинений знаменитого мастера слова сороковых годов (не забудьте потом фамилию вставить), произведения которого до сих пор перечитываются и заучиваются наизусть. Имя это стоит в плеяде наравне с такими мастерами слова, как Пушкин, Белинский и незабвенный русский сатирик Н. В. Гоголь, сквозь слезы смеявшийся над дореформенной Русью и заклеймивший своим талантливым пером взяточничество и отечественную косность. 3) Все подписчики, внесшие деньги до первого января, получат роскошное издание «Наши депутаты». Перед читателем пройдет здесь ряд «лучших людей страны», призванных залечить раны и уврачевать нашу матушку Россию. Всякий может запечатлеть в сердце дорогие черты, внеся деньги до первого января (на год 6 руб., полгода 3 руб. 50 коп.).

Бильбокеев перевел дух.

— Хорошо?

— Здорово. О Гоголе метко сказано. Именно что — не щадя затрат! Спасибо.

Роздеришин пожал Бильбокееву руку, а тот ухмыльнулся и сказал:

— Все-таки, я думаю сверху написать: «не прибегая к широковещательным рекламам»... А?

Подмостки

Я сидел в четвертом ряду кресел и вслушивался в слова, которые произносил на сцене человек с небольшой русой бородой и мягким взглядом добрых, ласковых глаз.

— Зачем такая ненависть? Зачем возмущение? Они тоже, может быть, хорошие люди, но слепые, сами не понимающие, что они делают... Понять их надо, а не ненавидеть!

Другой артист, загримированный суровым, обличающим человеком, нахмурил брови и непреклонно сказал:

— Да, но как тяжело видеть всюду раболепство, тупость и косность! У благородного человека сердце разрывается от этого.

Героиня, полулежа на кушетке, грустно возражала:

— Господа, воздух так чист, и птички так звонко поют... В небе сияет солнце, и тихий ветерок порхает с цветочка на цветочек... Зачем спорить?

Обличающий человек закрыл лицо руками и, сквозь рыдания, простонал:

— Божжже мой! Божжжже мой!.. Как тяжело жить!

Человек, загримированный всепрощающим, тихо положил руки на плечо тому, который говорил «Божже мой!».

— Ирина, — прошептал он, обращаясь к героине, — у этого человека большая душа!

На моих глазах выступили слезы.

Я вообще очень чувствителен и не могу видеть равнодушно даже, если на моих глазах режут человека.

Я смахнул слезу и почувствовал, что эти люди своей талантливой игрой делают меня хорошим, чистым человеком. Мне страстно захотелось пойти в антракте в уборную к тому актеру, который всех прощал, и к тому, который страдал, и к грустной героине — и поблагодарить их за те чувства, которые они разбудили в моей душе.

И я пошел к ним в первом же антракте.

Вот каким образом познакомился я с интересным миром деятелей подмостков...

* * *

— Можно пройти в уборную Эрастова?

— А вы не сапожник?

— Лично я не могу об этом судить, — нерешительно ответил я. — Хотя некоторые критики находили недостатки в моих рассказах, но не до такой степени, чтобы...

— Пожалуйте!

Я шагнул в дверь и очутился перед человеком, загримированным всепрощающим.

— Ваш поклонник! — отрекомендовался я. — Пришел познакомиться лично.

Он был растроган.

— Очень рад... садитесь!

— Спасибо, — сказал я, оглядывая уборную. — Как интересна жизнь артиста, не правда ли?.. Все вы такие душевные, ласковые, талантливые...

Эрастов снисходительно усмехнулся.

— Ну, уж и талантливые... Далеко не все талантливы!

— Не скромничайте, — возразил я, садясь.

— Конечно... Разве этот старый башмак имеет хоть какую-нибудь искру? Ни малейшей!

— Какой старый башмак? — вздрогнул я.

— Фиалкин-Грохотов! Тот, который так подло играл роль героя.

— Вы находите, что он не справился с ролью? Зачем же тогда режиссер поручил ему эту роль?

Эрастов всплеснул руками.

— Дитя! Вы ничего не знаете? Да ведь режиссер живет с его женой! А сам он пользуется щедротами купчихи Поливаловой, которая — родственница буфетчика Илькина, имеющего на антрепренера векселей на сорок тысяч.

Я был ошеломлен.

— Какой негодяй! И с таким человеком должны играть вы и эта милая, симпатичная Лучезарская!..

— Героиня? Да ей-то что... Она сама живет с суфлером только потому, что тот приходится двоюродным братом рецензенту Кулдыбину. У нее, впрочем, есть муж и дочь лет двенадцати. Но она своими побоями скоро вгонит девчонку в гроб — я в этом уверен. Впрочем, она не прочь продать девчонку комику Зубчаткину только потому, что у того есть некоторые связи в Н-ом театре, куда она мечтает пробраться...

— Неужели она такая?

— Да, знаете... Готова с каждым первым попавшимся. Покажите ей десять рублей — побежит. Ей комическая старуха Мяткина-Строева давно уже руки не подает!

— Смотрите-ка! Комическая старуха, а какая благородная брезгливость, — изумился я.

— Она не потому. Просто у Мяткиной-Строевой был любовник на выходах — Клеопатров, которого она содержала, а Лучезарская насплетничала, что он в бутафорской шлем украл — его и уволили среди сезона. Вы меня извините, сейчас мой выход минут на пять, если хотите — подождите... Я вернусь, еще поболтаем. Ужасно, знаете, мне с моими взглядами жить среди этой грязи и сплетен. Я сейчас!

Он ушел. Я остался один.

Дверь скрипнула, и в уборную вошел Фиалкин-Грохотов, весело что-то насвистывая.

— Васьки нет? — спросил он благодушно.

— Нет, — ответил я, вежливо раскланиваясь. — Очень рад с вами познакомиться — вы прекрасно играли!

Лицо его сделалось грустным.

— Я мог бы прекрасно играть, но не здесь. Я мог бы играть, но с этим... Эрастовым! Знаете ли вы, что этот человек в диалоге невозможен? Он перехватывает реплики, не дает досказывать, комкает ваши слова и своими дурацкими гримасами отвлекает внимание публики от говорящего.

— Неужели он такой? — удивился я.

— Он? Это бы еще ничего, если бы он в частной жизни был порядочным человеком. Но ведь его вечные истории с несовершеннолетними гимназистками, эта подозрительно-счастливая игра в карты и бесцеремонность в займах — вот что тяжело и ужасно. Кстати, он у вас еще взаймы не просил?

— Нет. А что?

— Попросит. Больше десяти рублей не одолжайте — все равно не отдаст. Я вам скажу — он да Лучезарская...

В двери послышался стук.

— Можно? — спросила Лучезарская, входя в уборную. — Ах, извините! Очень рада познакомиться!

— Ну что, голуба? — приветливо сказал Фиалкин-Грохотов, смотря на нее. — Что он там?..

— Ужас, что такое! — страдальчески ответила Лучезарская, поднимая руки кверху. Это такой кошмар... Все время путает слова, переигрывает, то шепчет, как простуженный, то орет. Я с ним совершенно измоталась!

— Бедная вы моя, — ласково и грустно посмотрел на нее Фиалкин-Грохотов. — Каково вам-то.

— Мне-то ничего... У меня сегодня с ним почти нет игры, а вот вы... Я думаю, — вам с вашей школой, с игрой, сердцем и нервами, после большой столичной сцены... тяжело? О, как мне все это понятно! Вам сейчас выходить, милый... Идите!

Он вышел, а Лучезарская нахмурила брови и, наклонившись ко мне, озабоченно прошептала:

— Что вам говорил сейчас этот кретин?

— Он? Так кое-что... Светский разговор.

— Это страшный сплетник и лгун... Мы его все боимся, как огня. Он способен, например, выйти сейчас и рассказать, что застал вас обшаривающим карманы висящего пиджака Эрастова.

— Неужели? — испугался я.

— Алкоголик и морфинист. Мы очень будем рады, если его засадят в тюрьму.

— Неужели? За что?

— Шантажировал какую-то богатую барыню. Теперь все раскрылось. Я очень буду рада, потому что играть с ним — чистое мучение! Когда он да эта горилла — Эрастов на сцене, то ни в чем не можешь быть уверенным. Все провалят!

— Почему же режиссер дает им такие ответственные роли?

— Очень просто! Эрастов живет с женой режиссера, а тому только этого и надо, потому что ему не мешают тогда наслаждаться счастием с этой распутницей Каширской-Мелиной, которая жила в прошлом году с Зубчаткиным.

Она грустно улыбнулась и вздохнула:

— Вас, вероятно, ужасает наше театральное болото? Меня оно ужасает еще больше, но... что делать! Я слишком люблю сцену!..

В уборную влетел Эрастов и, скрежеща зубами, сказал:

— Душечка, Марья Павловна, посмотрите, что сделала эта скотина с началом второго действия! Что он там натворил...

— Я это и раньше говорила, — пожала плечами Лучезарская. — Эта роль — главная в пьесе и поэтому по справедливости должна была принадлежать вам! Впрочем... Вы ведь знаете режиссера!

* * *

Следующий акт я опять смотрел.

Лучезарская стояла около окна, вся залитая лунным светом, и говорила, положив голову на плечо Фиалкина-Грохотова:

— Я не могу понять того чувства, которое овладевает мною в вашем присутствии: сердце ширится, растет... Что это такое, Кайсаров?

— Милая... чудная! Я хотел бы, чтобы судорога счастья быть любимым вами сразу захватила мое сердце, и я упал бы к вашим ногам бездыханным с последним словом на устах: люблю!

Около меня кто-то вынул платок, задев меня локтем, и, растроганный, вытер глаза.

— Чего вы толкаетесь, — грубо проворчал я. — Болтают тут руками — сами не знают чего!..

Проклятие

Однажды Леонид Андреев затосковал.

Сначала его забавляли неизвестные молодые люди, приезжавшие к нему по два и по три раза в день, — а потом надоели.

Каждый из них, явившись к Андрееву, уводил писателя в угол и, судорожно вцепившись в пуговицу его бархатной тужурки, подавленным шепотом спрашивал:

— Что вы скажете о мессинском землетрясении?

И он смотрел на Андреева такими испытующими глазами, что тому делалось ясно: неизвестный молодой человек подозревает его в организации и устройстве этого бедствия.

— А что? — тоже подавленным шепотом спрашивал испуганный Андреев. — Я в то время был у себя на даче... и, клянусь вам...

— Нет, я хочу знать, как вы находите это землетрясение?

— Оно... ужасно... неприятно, — неуверенно отвечал Андреев.

— Да? Очень вам признателен. Я так и напишу: Леонид Андреев в дружеской беседе высказал свой ужас и возмущение перед загадочными силами природы, который... Очень вам благодарен! Бегу.

И он убегал, уступая место другому молодому человеку, такому же симпатичному и юркому.

Второй молодой человек тоже цеплялся за Андреева, как утопающий за соломинку, и с истерическим любопытством спрашивал:

— Какое ваше мнение о Толстом?

— О Толстом? Великий старик, сделавший...

— Благодарю вас. Очень рад был с вами побеседовать! Я так и напишу: Недавно Андреев в тесном семейном кругу высказал не лишенное оригинальности мнение о Толстом. Толстой, — сказал писатель, — хотя и велик, но его старость и сопутствующие этой поре жизни немощи лишают его возможности дать вещи, подобные незабвенным прежним: «Анне Карамазовой» и «Братьям Карениным». Мерси. Лечу.

Третий молодой человек, стоявший в затылок за вторым, ловким движением ноги отбрасывал второго, уже насытившегося, в сторону и спрашивал Андреева в упор:

— О Метерлинке! Что скажете?

— Метерл...

— Благодарю вас! Я так и сообщу нашим читателям! Я очень рад, что ваше мнение совпадает с моим. Лечу. Привет супруге.

Постепенно все это приелось Андрееву.

— Ах, как бы я хотел развеселиться! — говорил он.

— Господи! — удивлялась жена. — Что же может быть легче! В передней есть еще три молодых человека. Позвать? Может, они тебя развеселят...

* * *

Однажды Андрееву пришла в голову лукавая мысль: потихоньку, инкогнито, уехать в Москву и там повеселиться вовсю.

Он остриг волосы, надел черные очки и, взявши чемоданчик, поехал в Москву.

Умылся в номере гостиницы, радостно ухмыльнулся и, довольный собой, зашагал на Тверскую.

Навстречу ему шли две московские барышни.

— Вот Андреев, — сказала одна.

— Леонид, — добавила вторая.

Они остановились и повернули за писателем, смотря на него с изумлением и страхом.

— Идет по улице... — прошептала одна с остолбенелым лицом.

Другая всплеснула руками:

— Смотри, смотри! В калошах... Андреев в калошах!

— Что вам угодно, барышни? — со вздохом спросил Андреев.

— Ай-ай-ай! — взвизгнули обе. — Разговаривает!

И, обезумевши от ужаса, бросились врассыпную.

На Тверскую Андреев не пошел. Накупил газет и, печальный, побрел в свой номер.

В первой газете, которую он развернул, было написано:

— «Передают из достоверных источников, что Леонид Андреев находится в настоящее время в Антверпене. Писателю город очень понравился. Целыми днями его видят гуляющим по набережной и в гавани».

— А надо будет, в самом деле, когда-нибудь, — подумал Андреев, — проехаться в Антверпен. Вероятно, любопытный город.

Отложил первую газету и взял другую.

— «На днях в дружеской беседе Леонид Андреев, — сообщалось во второй газете, — восхищался немецким поэтом Бирбаумом. Он считает его одним из лучших представителей немецкой поэзии».

— Бирбаум... — прошептал Андреев, — странная фамилия. Надо будет почитать что-нибудь Бирбаума...

Встал и, потянувшись, взглянул на часы.

— Ужасно однообразные газеты нынче... Восемь часов... Пойду-ка я куда-нибудь в театр повеселиться.

Вышел, сел на извозчика и сказал:

— Вези меня, братец, в какой-нибудь театр. Смерть, хочется повеселиться. Хе-хе...

— В Художественный? — спросил извозчик.

— Можно и в Художественный. Впрочем, нет, брат. Там идет моя «Анатема». Вези куда-нибудь в другое место. К Коршу, что ли.

Приехав в Коршевский театр, Андреев купил билет и на цыпочках вошел в зрительный зал.

На сцене стоял актер в студенческом мундире, страстно взывая к актрисе:

— Оль-Оль! Я люблю тебя! Посмотри на эти Воробьевы горы...

— «Дни нашей жизни», — разочарованно прошептал Андреев. — Экая незадача!

Неприятная горечь накоплялась в груди и комком подкатывала к горлу.

Он встал, вышел на улицу и сел на другого извозчика.

— Вези меня, голубчик, в какой-нибудь театр, кроме Художественного и Солодовниковского.

— Пожалуйте!

Подойдя к кассе третьего театра, Андреев взял билет и спросил кассиршу:

— А что сегодня идет?

— «Анфиса», Леонида Андреева. Очень хорошая вещь.

Андреев скомкал билет и со стоном выбежал на улицу.

— Есть еще один театр, — сказал он сам себе, — но у меня и пьеса еще одна есть: «Жизнь человека». Я уверен, что наткнусь именно на нее. И еще один есть театр. Но туда не стоит и показываться: там, я знаю, — «Черные маски».

Во взоре его светилось отчаянье.

Громадный равнодушный город катил перед ним тысячные людские волны, громадный город заключал в себе массу развлечений, но — все они были не для него.

— Для всех, кроме него! Ха-ха!

Чем дальше, тем все больше и больше ему хотелось повеселиться... Взгляд его упал на гигантскую огненную вывеску:

— «Синематограф «Moderne».

— Пойду я хоть в синематограф, — подумал несчастный и уныло побрел в иллюминованный подъезд.

Через минуту публика в ужасе шарахнулась от какого-то невысокого черного человека, который со страдальческим воем, расталкивая всех, бросился к выходу.

В синематографе демонстрировали сенсационную картину: «Леонид Андреев у себя на даче. Только самое короткое время! Леонид Андреев на моторной лодке. Редкое зрелище! Леонид Андреев и Оскар Норвежский за чаем! Леонид Андреев говорит в граммофон. Невозможное стало возможным! Спешите смотреть!»

На лице Андреева застыла мертвенная скука; в глазах виднелось страдание. Он махнул рукой и пошел на вокзал написать жене письмо, — что завтра выезжает обратно.

— Открыточку? — спросила его продавщица в вокзальном киоске. — Вот, пожалуйста... Не желаете ли: Леонид Андреев, последний выпуск.

Андреев, шатаясь, отошел от киоска, опустился на колени и, воздев руки кверху, заплакал:

— Господи! За что ты меня проклял?!

Пернатое

I

До сих пор мне почти совсем не приходилось думать о жизни африканских дикарей... Занятый своими делами, я совершенно забыл об их существовании и имею основание утверждать, что их отношение ко мне носило такой же характер — полнейшего равнодушия.

В своей жизни я написал целый ряд фельетонов и статей: юмористических, сатирических, ядовитых, полных сарказма и негодования, но едва ли хотя одно мое произведение вызвало на устах африканского дикаря улыбку или заставило его искренно негодовать вместе со мною по поводу все ухудшающейся жизни на нашей бестолковой планете.

Так мы жили: я — сам по себе, а дикари, под палящими лучами африканского солнца, — сами по себе.

Но однажды, когда я сидел в редакции, освещенной электрическим светом, имея перед собой телефон, сзади — шкап, битком набитый гениальными творениями, а сбоку последние телеграммы, сообщавшие мне о различных событиях в самых последних закоулках земного шара, — мне до боли сделалось жаль несчастных, неве-

жественных дикарей, лишенных не только телефона и шкапа, набитого книгами, но даже простой, дешевой, копеечной вечерней газеты!

— Вот, — сказал я сам себе, — ты сидишь здесь, залитый электрическим светом, сильный, всезнающий культурный человек, а в это же самое время где-нибудь у истоков Нила жалкий, тупой дикарь, раздираемый когтями свирепого льва, молча страдает и от когтей, и от отсутствия вечерней газеты, и от своей собственной тупости и невежества...

Сердце мое болезненно сжалось, и к горлу подкатил тяжелый ком.

Для журналиста — у меня на редкость добрая, отзывчивая душа и широкое, способное на героизм и самопожертвование сердце.

Целую неделю у меня не выходила из головы судьба африканских дикарей, а еще через неделю — я решил поехать к ним, неся с собой знание, просвещение и истинные культурные начинания, могущие поднять дикаря до меня, всезнающего, разностороннего газетного работника.

Издатель сначала удивился моему решению, потом огорчился, потом выразил опасение — не страдаю ли я тихим помешательством, а потом выдал мне аванс, написал в своей газете, что «редакция, не щадя затрат, решила послать собственного специального корреспондента в Центральную Африку»... и я уехал...

II

Утомившись после длинного дневного перехода под свирепыми лучами центрального африканского солнца, я, вместе со своими проводниками, остановился на ночлег в тропическом лесу, сплошь состоявшем из лиан, змей и голодных назойливых львов.

Не прошло и часу беспокойного, тяжелого сна, как я услышал крики, беготню, возню и, очнувшись, увидел себя схваченным дюжими черными руками нескольких неизвестных мне людей, очевидно, тех самых, которые так страдали от отсутствия вечерних газет.

Не теряя присутствия духа, я с помощью знаков обратился к ним со следующей речью:

— Милостивые дикари! Я, конечно, понимаю, что весь ваш жизненный уклад и дедовские традиции, теряющиеся во тьме прошлых веков, повелевают вам сейчас же без остатка съесть меня, запив чистой ключевой водой. Но я имею мужество сказать, что это будет самым идиотским поступком вашей безграмотной жизни! Вы убьете курицу, могущую нести золотые яйца, уничтожите жемчужину, которая будет самым лучшим украшением короны вашего короля. Из истории мы знаем один пример такой бессмысленной расточительности — когда

царица Клеопатра распустила в уксусе жемчужину и проглотила эту отвратительную смесь, но ведь это было сделано глупой, истеричной женщиной, а вы — рассудительные, неглупые дикари, с честными, открытыми лицами!..

Известно, что человека можно поймать на самую грубую лесть. Дикари, польщенные моими последними словами и обескураженные указанием на печальной памяти пример Клеопатры, заговорили что-то на своем чернокожем языке, а потом один спросил меня знаками:

— Если бы мы пренебрегли своими священными традициями и оставили тебя несъеденным, что бы ты мог предложить нам взамен этого акта исключительного милосердия?

— Мне гораздо легче указать вам, — гордо отвечал я, — чего я не могу предложить! Я научу вас всему: ваши вигвамы зальются светом электричества! Книгопечатание поднимет ваш умственный уровень, принципы культурной дипломатии расширят ваши границы, а огнестрельное оружие защитит вас от нападений хищных зверей.

Восторженный крик исторгся из нескольких десятков грудей, и обезумевшие от радости дикари потащили меня к королю, куда-то в глубь девственного африканского леса...

III

Гордо, полный сознания собственного достоинства, стоял я перед чернокожим королем.

— Неужели, ты, один человек, можешь все знать? — изумленно допрашивал меня простодушный дикарь.

— Я журналист! — отвечал я знаками. — Журналисты должны все знать. Наша деятельность требует исключительной разносторонности.

— Что ты считаешь самым главным в жизни человеческой? — спросил меня король.

— Печатное слово.

— Можешь ты научить нас этому?

— Господи! — удивился я. — Ничего нет легче.

— Как же это делается?

— Как?

Все окружающие притаили дыхание. Сам король подался вперед, олицетворяя собой воплощенное внимание.

— Делается это просто: приходит мне в голову какая-нибудь мысль... Я сажусь за стол и излагаю ее на бумаге. Затем зову мальчишку...

— Мальчишки у нас есть. Сколько угодно, — вставил король.

— ...Зову мальчишку и отсылаю в типографию. Там набирают, печатают и потом это рассылается по всему свету!

Глаза короля заблистали восторгом.

— Что нужно для того, чтобы устроить типографию? Из чего она делается?

Я подумал.

— Из... железа.

— Железо у нас есть! Эй! кто там... Дать этому бледнолицему железа, сколько ему понадобится. Пусть десять самых расторопных моих подданных помогают ему.

— Видите ли... — нерешительно сказал я. — Типографские машины бывают нескольких родов: самая сложная — ротационная, для газет, потом бывают плоские, иллюстрационные... Самая простая, так называемая американка...

IV

У моих ног лежала груда разного железа. Меня окружили десять откомандированных мне на помощь дикарей, и все они с рабской готовностью смотрели в мои глаза, ожидая первого жеста, чтобы начать работу.

Я поднял кусок железа и повертел его в руках. Мне часто приходилось видеть типографские машины, но в них было нацеплено столько разных колес, рычагов и винтиков, что я сейчас был в полнейшем недоумении — с чего мне начать.

— Прежде всего, — промямлил я, — мы должны бросить ретроспективный взгляд и проследить дело книгопечатания со времени его возникновения. Один бедный человек, по имени Гуттенберг, родившийся в тысяча... (я пожалел, что со мной не было энциклопедического словаря) да... родившийся несколько веков тому назад, придумал вместо рукописных букв вырезанные из дерева. Сначала они вырезались на целой доске, а потом Гуттенберг стал делать их подвижными...

Я запнулся и, безнадежно опустив голову, умолк.

Толпа дикарей с жадным доверчивым любопытством окружала меня, ловила каждое мое слово, каждый жест, как величайшее откровение...

— Да... вот таким образом и было изобретено Гуттенбергом книгопечатание... Впрочем, господа, прежде чем начинать устраивать типографию, мы должны заняться бумагой. Знаете ли вы, как делается бумага?

— Мы о ней и не слыхивали, — заявил король.

— Неужели?! — вскричал я, с сожалением оглядев дикарей. — Ведь это такой пустяк! Должен вам сказать, что бумага изготовляется из тряпок, тряпки из отслужившей свой срок одежды, одежда из материи, а материя из льна, который — суть растение!

Я победоносно взглянул на ошеломленных дикарей. Король робко спросил:

— Не можешь ли ты, о, чужестранец, указать мне, какое из растений — суть лен?

Я обвел глазами поросшую травой поляну, но так как, не выезжая всю жизнь из города, никогда не видел живого льна, — то благоразумно ответил:

— Бумагу можно делать также из древесных волокон! Американцы приготовляют так называемую древесную бумагу. Должен вам сказать, что Америка со времени открытия ее Колумбом сделала большие завоевания в технике... Громадные мосты титанической работы, тресты, захватившие в свою власть всю промышленность...

— Нет, нет, — перебил меня король. — Ты расскажи, как делается бумага из дерева?

— Как? — да очень просто: электричеством!

На лицах дикарей было написано истерическое любопытство.

— Что же это такое электричество? — спросил король. — Можешь ты его сделать?

— Каждый мальчишка в европейской школе проходит физику, — презрительно возразил я. — В жизни культурного человека электричество играет первенствующую роль: по освещенным электричеством улицам то и дело мчатся битком набитые трамваи, на верхние этажи высочайших домов человек попадает в одну минуту с помощью электрического лифта, гигантские синематографы запечатлевают все события, и человечество двадцатого века триумфально катит к далекому будущему среди электрических молний, освещенное голубым свет...

— Нет, ты не говори нам так, — нетерпеливо перебил меня король. — Ты расскажи лучше, ну... как устроить синематограф?!

— Простите, — с достоинством возразил я. — Но я журналист, и всякую свою мысль привык облекать в законченную, округленную форму. А синематограф устраивается с помощью электричества.

— Да как же он устраивается?!!

— Он? Прежде всего, я должен... гм... объяснить вам, что такое электричество... Это таинственная, не исследованная еще как следует сила природы, той природы, которая в своем вечном многообразии...

— Как мы можем получить электричество? — нервно вскричал король. — С чего начать? Ты нам это расскажи!

— Электричество? Существует, видите ли, два рода электричества... Положительное и отрицательное... Так называемые катушки Румкорфа, состоящие из...

За несколько лет моей писательской работы мне ни разу не приходилось касаться электричества, и все мое отношение к данному предмету ограничивалось тем, что я однажды заплатил монтеру за починку звонков 4 рубля.

— Так называемый магнитный полюс, — пролепетал я, — который является следствием... Гм... В простейшем своем роде электричество в природе можно вызвать с помощью элементарнейших опытов... Например: вы берете гребенку и проводите ею по волосам... Характеристический треск, который вы слышите, и есть электричество, разряжающееся...

— Он все врет, — послышался сбоку голос. — Он решительно ничего не знает. Давайте его съедим!

— Я ничего не знаю?! — с негодованием воскликнул я. — Сами вы врете! я все знаю! я могу посвятить вас в создавшуюся политическую конъюнктуру Европы, могу осветить с самой оригинальной точки зрения творчество Ибсена, расскажу вам о возвращении к культу Греции, о танцах будущего, о крушении индивидуализма, о кознях Австрии...

Меня связали и потащили куда-то... А я говорил:

— Аэропланы — суть аппараты тяжелее воздуха. Различаются — монопланы, бипланы и так называемые геликоптеры.

— А как они делаются? — с любопытством спросил тащивший меня дикарь.

Подробно я этого не знал и потому, помолчав, сказал:

— Скоро человек завоюет воздух, и эти большие белые птицы будут реять в безоблачном небе, которое притихнет, будто изумленное дерзостью во все проникающего человеческого гения...

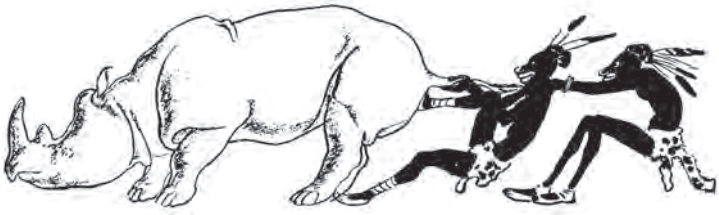
— Он будет очень вкусен, — похвалил меня один дикарь, ощупывая голову.

— Он понравился мне с первого взгляда, — сказал другой.

Я слишком культурный человек, чтобы меня могла тронуть эта грубая лесть...

Я промолчал и, брошенный на траву, стал терпеливо ожидать, когда меня зарежут.

— Заявить им разве, — подумал я, — что я знаю, как делаются ружья? Я несколько раз возмущался в печати бесчеловечием пули дум-дум, негодовал по поводу отсталости России в деле вооружения артиллерии дальнобойными орудиями, но как все это делается — пусть меня повесят — не знаю...



Еще воспоминания о Чехове

Сей труд автор благоговейно посвящает Н. Ежову... как автору остроумного труда о Чехове, напечатанного в «Историческом Вестнике».

I

Однажды мы с Антоном Павловичем сидели в его саду и тихо беседовали.

— Вас спрашивают... Можно вас видеть? — доложил старый слуга.

Непосредственно за этими словами из-за спины слуги раздался веселый голос:

— Чего там спрашивают?! Хо-хо! Смерть не люблю этих китайских церемоний! Доложи, да прими, да еще, пожалуй, визитные карточки потребуешь — терпеть не могу цирлих-манирлих. Здравствуй, Антоша!

Антон Павлович привстал и недоумевающе посмотрел на веселого господина в лихо надетом набекрень котелке, с жизнерадостными, но немного мутными глазами, и с манерами, красиво развязными и размашистыми.

— Простите... — недоумевая сказал Антон Павлович.

— Не узнаешь, шельмец?! Славой... как это говорится... обуян? Загордился? Хо-хо! Смерть не люблю, когда эдакое вот... двуногое — нос задирает!!!

— Не будете ли добры, — мягко сказал Чехов, юмористически взглянув на меня, — назвать себя, чтобы я мог вспомнить. С годами, знаете... память слабеет.

— Хо-хо! Как это говорится: Изабелла — ослабела! А ты, брат, изменился, похудел. Ну, что твоя чахотка? Небось, кровью харкаешь уже?

— Будьте добры, — вмешался я, выступая вперед, — сказать, кто вы такой, потому что Антон Павлович вас не может узнать.

— А! И вы здесь... господин хороший! Как поживаете? Небось, тоже пишете? Много развелось теперь пишущей братии... и всякий о себе мнит, что гений. Правильно, Антоша? Помнишь, как я тебя в былое время называл: Антошка-картошка? Да, брат, было времячко...

Веселый господин сел на мое место и, задумчиво сбивая суковатой палкой головки цветов на куртинах, продолжал:

— Вот видишь, Антоша... ты меня забыл, а я тебя помню. Забыл Колю, шельмец?! А ведь в одной газете работали. Я о кораблекрушениях разных, о бешеных со-

баках писал, а ты рассказы мастачил. Хо-хо! Ловкач ты, брат! Нос у тебя есть. Потому и выдвинулся, что нос есть. Умеешь по ветру... А я тоже, брат... стал уже разные фельетонные фигли-мигли разводить. Читал, небось, как я на днях отцов города за городские скверы продернул? Ванька Арепьев часто говорил: бойкое у тебя, Коля, перо... Ох, бойкое! Помнишь Ваньку Арепьева?

Чехов наморщил лоб.

— Что-то не помню... Фельетончика вашего о скверах, к сожалению, тоже не читал.

Веселый господин протяжно свистнул.

— Да ты что, Антоша... в самом деле в знаменитости продираешься? За литературой не следишь, бывших друзей не признаешь... Оттого и вид у тебя такой... туберкулезный! А я, брат, тебе одну штукенцию притащил. Замечательная повесть. Сам и писал, милый Антуан, собственными руками. Прочти и скажи свое вещее слово. Может, в «Русское Богатство» пристроишь.

Антон Павлович со вздохом взял пожелтевшую, растрепанную, видавшую виды рукопись и развернул ее.

— Она у вас... гм... не обработана.

— Как не обработана? Врешь, брат, до последней запятой обработана!

— Да вот тут... первая же фраза: «к высокому гроту подъехал мужчина, который зиял темным загадочным отверстием...» Кто зиял?

— Конечно, грот. Всякий по смыслу догадается. А я уже вижу, брат, что ты подкапываешься. Нехорошо, Антоша... Неискренно! Конечно, с таким отношением к товарищу — никакое «Русское Богатство» не напечатает. Ну, Бог с тобой! У меня есть к тебе другая дружеская просьба... дай мне пятьсот рублей!

— Как — пятьсот рублей?

— Взаймы. После сосчитаемся.

— Да у меня такой суммы, право, нет...

— Полно врать-то! Небось, в год зарабатываешь в пять раз больше. Ну, нет пятисот, дай триста. Я тебе оставлю мою рукопись... За нее всякий издатель даст в десять раз больше!

— Уверяю вас... У меня при себе рублей тридцать—сорок есть. И на те я должен жить всю неделю. Впрочем, половину — могу.

— Эх, Антоша! Засушила тебя слава! Мелок ты стал: товарищам завидуешь, в денежных отношениях потерял широту русской души... Жмешься, брат! А ведь все равно — кашляешь, кашляешь, да и помрешь скоро... Кому свои миллионы оставишь?

Веселый господин похлопал меня по плечу, как бы призывая в свидетели своего утверждения, покачал головой и, обиженный, исчез так же неожиданно, как явился.

Больше мы с ним не встречались...

II

Когда в печати появились воспоминания Куприна, Бунина и Горького — о Чехове, веселый господин решил, что настала его очередь.

— Что ж... — подумал он. — Недаром Ванька Арепьев частенько говорил, что у меня бойкое перо. Попробуем!

Веселый господин отодвинул начатый фельетон о непозволительном отношении отцов города к водопроводному вопросу и начал:

ВОСПОМИНАНИЯ О ЧЕХОВЕ

Должен сказать, что Чехова я знал очень близко... Начинали мы с ним в одной газете, и я, по-приятельски, даже называл его Антошей.

— Эх, ты, — говорю, — Антошка-картошка!

Зная его близко, должен сказать, что дружественная критика окружила его совершенно незаслуженным ореолом и каким-то идолопоклоннническим отношением...

Мало кому известно, что слухи о доброте и деликатности Антона Петровича были сильно преувеличены. Наоборот, покойный писатель к своим бывшим товарищам по работе относился с невыносимым пренебрежением, еле узнавал их при встрече.

Кроме того, угасший писатель был скупенек и часто, позванивая в кармане сторублевками, отказывал в займе даже своим близким нуждающимся друзьям.

Отличительной чертой незабвенного покойника была грубость, доходящая порой до наглости... Так, например, пишущий эти строки был свидетелем того, как Антон Павлович раскритиковал прекрасную повесть маститого писателя, который находился тут же. Нужно ли говорить, что эта грубая критика была совершенно несправедлива, являясь результатом болезненной зависти к более талантливым коллегам чахоточного писателя...

Покойный, конечно, понимал, что его нудные, тягучие измышления, лишенные элементарного знания жизни, сразу тускнели и терялись рядом с прекрасными, полными жизненной правды произведениями маститого автора. «Чего же спят наши отцы города, не обращая внимания на позорное состояние городской канализации».

К числу отрицательных свойств дорогого всем покойника нужно отнести также его известную близким — приверженность к алкоголю и полнейшее неуменье отличать свое от чужого. (Пишущий эти строки хорошо помнит, как незабвенный писатель обменял свои старые калоши на его новые и спрятал однажды, якобы по рассеянности, вместо носового платка — совсем новенькую салфетку.)

——

В будущем автор настоящих воспоминаний о Чехове постарается глубже и полнее очертить физическую и моральную физиономию писателя, так безвременно угасшего (настолько безвременно, что он забыл возвратить автору этих воспоминаний серебряный портсигар и три рубля денег, похищенных тайком знаменитым певцом русских сумерок)...

Крайние течения

Сотрудник московского журнала «Весы», декадент Эллис, уличен в похищении листов и порче книг в публичной библиотеке. (Газетная хроника).

I

— И вам не стыдно? — укоризненно спрашивал судья, смотря на стоявшего перед ним Декадента, — ну, скажите: пара ли она вам?

— Она из хорошей семьи, — ответил, моргая глазами, Декадент. — Отец ее был предводителем стада, и потом жил несколько лет на городской конюшне, а мать получила на выставке медаль.

— Да, но ведь она же — коза!

— Коза, господин судья.

— Так как же вы так?! А?..

— Я не из расчета, господин судья. Я по любви.

— Что же вы нашли в ней хорошего? Коза — козой и останется. Вот вы говорите, что хотите узаконить вашу любовь браком. Намерение в своем первоисточнике — почтенное. Не спорю. Но подумали ли вы о тех тяжелых осложнениях и инцидентах, которые должны возникнуть потом? Вы из хорошей семьи, у вас есть престарелые родные... Того ли ожидали ваши папа и мама, когда растили вас и качали на коленах, маленького, с кудрявой головкой, о такой ли партии для своего первенца думала ваша уважаемая матушка? Уж не говоря о том, что ваш брак, как противный каноническим правилам, будет только гражданским, подумали ли вы о том, что будет, если ваши родственники, ваши друзья захотят познакомиться с вашей... супругой? Сможете ли вы ввести ее в порядочное общество равноправным членом и не заставит ли она своим бестактным поведением краснеть вас, с первых же шагов ее светской жизни? Я понимаю, конечно, вы скажете: я молод, я ее перевоспитаю, с милым рай в шалаше, ну... и прочее там... Хорошо-с! А о старости... О старости своей подумали ли вы, молодой человек?! Кто вам — хворенькому, седенькому, слабенькому подаст напиться?! Кто поправит вам подушку и даст в чайной ложечке лекарство? Коза? Коза пригреет вас, приголубит, утешит и облегчит в жизненных неудачах и передрягах?

На глазах престарелого судьи стояли слезы.

Декадент плакал навзрыд.

— Что же мне делать, господин судья? Теперь я и сам вижу, что она мне не пара.

— Гоните ее от себя!

— Она будет очень страдать, — прошептал Декадент, сморкаясь в носовой платок. — Мы так любили друг друга...

— Вы должны ее возненавидеть!

— Спасибо, господин судья. Возненавижу. А тут еще у моего приятеля была собака... Очень красивая. Ее звали — Леди. Если бы...

— Нельзя, — твердо сказал судья. — Тоже нельзя. Гнать и ненавидеть!

— Тут еще кошку на днях я одну видел, — признался Декадент. — Препикантное создание!..

— Ни-ни! Гоните от себя всякие соблазны... Поселите в своем сердце вместо любви — ненависть.

— Поселю, господин судья, — обещал растроганный Декадент.

II

— И вам не стыдно? — укоризненно спрашивал судья, смотря на стоявшего перед ним Декадента. — Ну, скажите, разве для воспитанного молодого человека подходящее занятие — давить кошек веревками и травить собаками?

— А мы потом этих собак кипятком обливали, — попытался оправдаться Декадент.

— Тоже нехорошо. Нет в вас меры. То вы хотите козу осчастливить предложением руки и сердца, то собаку кипятком шпарите. Ведь собака вам ничего дурного не сделала?

Декадент подумал.

— Ничего.

— Так зачем же вы ее кипятком обливаете?

— Да, теперь я и сам вижу, господин судья, что это было лишнее.

— Вот видите. А зачем кошек давить? Существо она чистенькое, никому вреда не приносит, а, наоборот, в хозяйстве полезное — мышей ловит — за что же ее убивать?

— На днях у тети моей, — оживился Декадент, — во какую мышь поймала!

— То-то и оно. И тетенька ваша, наверное, ее любит, молочком за это, печенкой кормит. А вы взяли ее, да веревкой удавили! Покличет ваша тетушка свою Машку:

Машенька, Машенька, где ты? Ан нет Машеньки... На веревке удавлена... Померла! Не нужно ей уже ни молочка, ни печеночки...

Старый судья прослезился. Декадент тоже плакал.

— Не буду больше, господин судья.

— То-то и оно. Вы бы лучше книжки читали, чем животных мучить...

— Буду книжки читать, господин судья, — пообещал Декадент.

III

— И вам не стыдно? — укоризненно спрашивал старый судья, смотря на стоявшего перед ним Декадента. — Что дурного сделали вам книжки в Публичной библиотеке, что вы из них выдирали страницы?

— Я полюбил чтение, господин судья.

— Так зачем же страницы выдирать?!

— Я не все. Несколько страничек... И то в толстых книжках. Если тоненькая — я понимаю, что нельзя. Она оттого еще тоньше будет. А толстая — что ей сделается?

— Ну, поставьте вы себя на место другого читателя... Приходите вы, берете книгу, разворачиваете, ан от 16-й до 86 страницы — и нет!

— Как нет? Есть! — возразил Декадент, полез в карман и вынул несколько измятых листков. — Вот они!

— Так это у вас! Поймите, у вас, потому что вы их тайком вырвали... А возьмите вы другого читателя... Ну, ученого какого-нибудь, профессора, скажем, медицины. Нужно ему пополнить какой-нибудь пробел в теории, которая приведет его к открытию лекарства, скажем, от чахотки, поедет он в Публичную библиотеку, возьмет нужную книгу и — что же! Необходимые страницы вырваны. Что тогда получится: средство от чахотки не открыто, больные будут умирать по-прежнему, — и все это сделали вы!

Декадент заплакал.

— Когда вы так хорошо все объяснили, то я, действительно, вижу, что был не прав. Я больше не буду, господин судья! Но что же мне делать, посоветуйте?!

— Боюсь вам и советовать, — сказал судья. — Советовал вам гнать от себя козу, вы стали давить кошек, посоветовал читать — вы стали драть страницы... Разве вот что... начните писать что-нибудь!

— Это невозможно! — рыдая, воскликнул Декадент.

— Почему?

— Я уже пишу! В «Весах»!!

Неизлечимые

«Спрос на порнографическую литературу упал. Публика начинает интересоваться сочинениями по истории и естествознанию». (Книжн. известия)

Писатель Кукушкин вошел, веселый, радостный, к издателю Залежалову и, усмехнувшись, ткнул его игриво кулаком в бок.

— В чем дело?

— Вещь!

— Которая?

— Ага! Разгорелись глазки? Вот тут у меня лежит в кармане. Если будете паинькой в рассуждении аванса — так и быть, отдам!

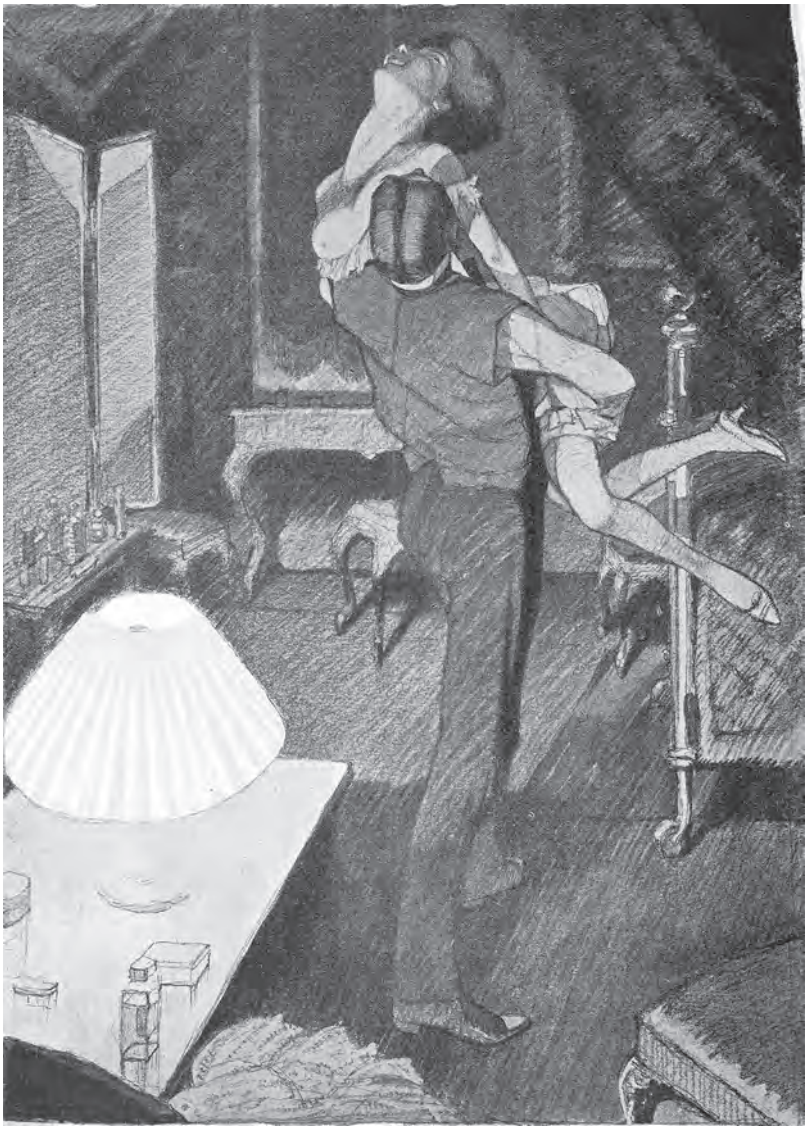
Издатель нахмурил брови.

— Повесть?

— Она. Ха-ха! То есть такую машину закрутил, такую, что небо содрогнется! Вот вам наудачу, две-три выдержки.

Писатель развернул рукопись.

«...Темная мрачная шахта поглотила их. При свете лампочки была видна полная, волнующаяся грудь Лидии и ее упругие бедра, на которые Гремин смотрел жадным взглядом. Не помня себя, он судорожно прижал ее к груди, и все заверте...»



— Еще что? — сухо спросил издатель.

— Еще я такую штучку вывернул: «Дирижабль плавно взмахнул крыльями и взлетел... На руле сидел Маевич и жадным взором смотрел на Лидию, полная грудь которой волновалась и упругие выпуклые бедра дразнили своей близостью. Не помня себя, Маевич бросил руль, остановил пружину, прижал ее к груди, и все заверте...»

— Еще что? — спросил издатель так сухо, что писатель Кукушкин в ужасе и смятении посмотрел на него и опустил глаза.

— А... еще... вот... Зззаб... бавно! «Линевич и Лидия, стесненные тяжестью водолазных костюмов, жадно смотрели друг на друга сквозь круглые стеклянные окошечки в головных шлемах... Над их головами шмыгали пароходы и броненосцы, но они не чувствовали этого. Сквозь неуклюжую, мешковатую одежду водолаза Линевич угадывал полную волнующуюся грудь Лидии и ее упругие выпуклые бедра. Не помня себя, Линевич взмахнул в воде руками, бросился к Лидии, и все заверте...»

— Не надо, — сказал издатель.

— Что не надо? — вздрогнул писатель Кукушкин.

— Не надо. Идите, идите с богом.

— В-вам... не нравится? У... у меня другие места есть... Внучек увидел бабушку в купальне... А она еще была молодая...

— Ладно, ладно. Знаем! Не помня себя он бросился к ней, схватил ее в объятия, и все заверте...

— Откуда вы узнали? — ахнул, удивившись, писатель Кукушкин. — Действительно, так и есть у меня.

— Штука нехитрая. Младенец догадается! Теперь это, брат Кукушкин, уже не читается. Ау! Ищи, брат Кукушкин, новых путей.

Писатель Кукушкин с отчаянием в глазах почесал затылок и огляделся:

— А где тут у вас корзина?

— Вот она, — указал издатель.

Писатель Кукушкин бросил свою рукопись в корзину, вытер носовым платком мокрое лицо и лаконично спросил:

— О чем нужно?

— Первее всего теперь читается естествознание и исторические книги. Пиши, брат Кукушкин, что-нибудь там о боярах, о жизни мух разных...

— А аванс дадите?

— Под боярина дам. Под муху дам. А под упругие бедра не дам! И под «все завертелось» не дам!!!

— Давайте под муху, — вздохнул писатель Кукушкин.

* * *

Через неделю издатель Залежалов получил две рукописи. Были они такие:

I. Боярская проруха

Боярышня Лидия, сидя в своем тереме старинной архитектуры, решила ложиться спать. Сняв с высокой волнующейся груди кокошник, она стала стягивать с красивой полной ноги сарафан, но в это время распахнулась старинная дверь и вошел молодой князь Курбский.

Затуманенным взором, молча, смотрел он на высокую волнующуюся грудь девушки и ее упругие выпуклые бедра.

— Ой, ты, гой, еси,— воскликнул он на старинном языке того времени.

— Ой, ты, гой, еси, исполать тебе, добрый молодец! — воскликнула боярышня, падая князю на грудь, и — все заверте...

II. Мухи и их привычки
(ОЧЕРКИ ИЗ ЖИЗНИ НАСЕКОМЫХ)

Небольшая стройная муха с высокой грудью и упругими бедрами ползла по откосу запыленного окна.

Звали ее по-мушиному — Лидия.

Из-за угла вылетела большая черная муха, села против первой и с еле сдерживаемым порывом страсти стала потирать над головой стройными мускулистыми лапками. Высокая волнующаяся грудь Лидии ударила в голову черной мухи чем-то пьянящим... Простерши лапки, она крепко прижала Лидию к своей груди, и все заверте...

Золотой век

I

По приезде в Петербург я явился к старому другу, репортеру Стремглавову, и сказал ему так:

— Стремглавов! Я хочу быть знаменитым.

Стремглавов кивнул одобрительно головой, побарабанил пальцами по столу, закурил папиросу, закрутил на столе пепельницу, поболтал ногой — он всегда делал несколько дел сразу — и отвечал:

— Нынче многие хотят сделаться знаменитыми.

— Я не «многий», — скромно возразил я. — Василиев, чтоб они были Максимычами и в то же время Кандыбинами — встретишь, брат, не каждый день. Это очень редкая комбинация!

— Ты давно пишешь? — спросил Стремглавов.

— Что... пишу?

— Ну, вообще, — сочиняешь!

— Да я ничего и не сочиняю.

— Ага! Значит — другая специальность. Рубенсом думаешь сделаться?

— У меня нет слуха, — откровенно сознался я.

— На что слуха?

— Чтобы быть этим вот... как ты его там назвал?.. Музыкантом...

— Ну, брат, это ты слишком. Рубенс не музыкант, а художник.

Так как я не интересовался живописью, то не мог упомнить всех русских художников, о чем Стремглавову и заявил, добавив:

— Я умею рисовать метки для белья.

— Не надо. На сцене играл?

— Играл. Но когда я начинал объясняться героине в любви, у меня получался такой тон, будто бы я требую за переноску рояля на водку. Антрепренер и сказал, что лучше уж пусть я на самом деле таскаю на спине рояли. И выгнал меня.

— И ты все-таки хочешь стать знаменитостью?

— Хочу. Не забывай, что я умею рисовать метки!

Стремглавов почесал затылок и сразу же сделал несколько дел: взял спичку, откусил половину, завернул ее в бумажку, бросил в корзину, вынул часы и, засвистав, сказал:

— Хорошо. Придется сделать тебя знаменитостью. Отчасти, знаешь, даже хорошо, что ты мешаешь Рубенса с Робинзоном Крузо и таскаешь на спине рояли — это придает тебе оттенок непосредственности.

Он дружески похлопал меня по плечу и обещал сделать все, что от него зависит.

II

На другой день я увидел в двух газетах в отделе «Новости искусства» такую странную строку: «Здоровье Кандыбина поправляется».

— Послушай, Стремглавов, — спросил я, приехав к нему, — почему мое здоровье поправляется? Я и не был болен.

— Это так надо, — сказал Стремглавов. — Первое известие, которое сообщается о тебе, должно быть благоприятным... Публика любит, когда кто-нибудь поправляется.

— А она знает — кто такой Кандыбин?

— Нет. Но она теперь уже заинтересовалась твоим здоровьем, и все будут при встречах сообщать друг другу: «А здоровье Кандыбина поправляется».

— А если тот спросит: «Какого Кандыбина?»

— Не спросит. Тот скажет только: «Да? А я думал, что ему хуже».

— Стремглавов! Ведь они сейчас же и забудут обо мне!

— Забудут. А я завтра пущу еще такую заметку: «В здоровье нашего маститого...» Ты чем хочешь быть: писателем? художником?..

— Можно писателем.

— «В здоровье нашего маститого писателя Кандыбина наступило временное ухудшение. Вчера он съел только одну котлетку и два яйца всмятку. Температура 39,7».

— А портрета еще не нужно?

— Рано. Ты меня извини, я должен сейчас ехать давать заметку о котлете.

И он, озабоченный, убежал.

III

Я с лихорадочным любопытством следил за своей новой жизнью.

Поправлялся я медленно, но верно. Температура падала, количество котлет, нашедших приют в моем желудке, все увеличивалось, а яйца я рисковал уже съесть не только всмятку, но и вкрутую.

Наконец, я не только выздоровел, но даже пустился в авантюры.

«Вчера, — писала одна газета, — на вокзале произошло печальное столкновение, которое может окончиться дуэлью. Известный Кандыбин, возмущенный резким отзывом капитана в отставке о русской литературе, дал последнему пощечину. Противники обменялись карточками».

Этот инцидент вызвал в газетах шум.

Некоторые писали, что я должен отказаться от всякой дуэли, так как в пощечине не было состава оскорбления, и что общество должно беречь русские таланты, находящиеся в расцвете сил.

Одна газета говорила:

«Вечная история Пушкина и Дантеса повторяется в нашей полной несообразностей стране. Скоро, вероятно, Кандыбин подставит свой лоб под пулю какого-то капитана Ч*. И мы спрашиваем — справедливо ли это?

С одной стороны — Кандыбин, с другой — какой-то никому не ведомый капитан Ч*».

«Мы уверены, — писала другая газета, — что друзья Кандыбина не допустят его до дуэли».

Большое впечатление произвело известие, что Стремглавов (ближайший друг писателя) дал клятву, в случае несчастного исхода дуэли, драться самому с капитаном Ч*.

Ко мне заезжали репортеры.

— Скажите, — спросили они, — что побудило вас дать капитану пощечину?

— Да ведь вы читали, — сказал я. — Он резко отзывался о русской литературе. Наглец сказал, что Айвазовский был бездарным писакой.

— Но ведь Айвазовский — художник! — изумленно воскликнул репортер.

— Все равно. Великие имена должны быть святыней, — строго отвечал я.

IV

Сегодня я узнал, что капитан Ч* позорно отказался от дуэли, а я уезжаю в Ялту.

При встрече со Стремглавовым я спросил его:

— Что, я тебе надоел, что ты меня сплавляешь?

— Это надо. Пусть публика немного отдохнет от тебя. И потом это шикарно: «Кандыбин едет в Ялту, надеясь окончить среди чудной природы юга большую, начатую им вещь».

— А какую вещь я начал?

— Драму «Грани смерти».

— Антрепренеры не будут просить ее для постановки?

— Конечно, будут. Ты скажешь, что, закончив, остался ею недоволен и сжег три акта. Для публики это канальски эффектно!

Через неделю я узнал, что в Ялте со мной случилось несчастье: взбираясь по горной круче, я упал в долину и вывихнул себе ногу. Опять началась длинная и утомительная история с сиденьем на куриных котлетках и яйцах.

Потом я выздоровел и для чего-то поехал в Рим... Дальнейшие мои поступки страдали полным отсутствием всякой последовательности и логики.

В Ницце я купил виллу, но не остался в ней жить, а отправился в Бретань кончать комедию «На заре жизни». Пожар моего дома уничтожил рукопись, и поэтому (совершенно идиотский поступок) я приобрел клочок земли под Нюренбергом.

Мне так надоели бессмысленные мытарства по белу свету и непроизводительная трата денег, что я отправился к Стремглавову и категорически заявил:

— Надоело! Хочу, чтобы юбилей.

— Какой юбилей?

— Двадцатипятилетний.

— Много. Ты всего-то три месяца в Петербурге. Хочешь десятилетний?

— Ладно, — сказал я. — Хорошо проработанные 10 лет дороже бессмысленно прожитых 25.

— Ты рассуждаешь, как Толстой, — восхищенно вскричал Стремглавов.

— Даже лучше. Потому что я о Толстом ничего не знаю, а он обо мне узнает.

V

Сегодня справлял десятилетний юбилей своей литературной и научно-просветительной деятельности...

На торжественном обеде один маститый литератор (не знаю его фамилии) сказал речь:

— Вас приветствовали как носителя идеалов молодежи, как певца родной скорби и нищеты, — я же скажу только два слова, но которые рвутся из самой глубины наших душ: здравствуй, Кандыбин!!

— А, здравствуйте, — приветливо отвечал я, польщенный. — Как вы поживаете?

Все целовали меня.

Без почвы

Многие находят, что катанье на колесных коньках — очень трудная вещь... Конечно, в наш слабый развинченный век, когда многие не умеют даже как следует кататься на простом извозчике — этот спорт представляет некоторые трудности, но, конечно, не такого сорта, чтобы, отправляясь впервые на скетинг-ринг, попрощаться с родственниками, написать завещание и затвердить наизусть последние предсмертные слова.

——

Я стоял у буфетного столика, опираясь на мягкие перила вокруг асфальтовой площадки, по которой носились с треском и веселым гамом оживленные парочки, — стоял и думал:

— Только-то и всего? Да ведь сущий пустяк — покатиться на этих колесиках! Мне кажется, я открыл главный секрет этого спорта: стоит только стараться не упасть —

и дело наполовину сделано. А если вы не рухнули на пол сразу, то последующие шаги не представляют никаких затруднений... Чтобы сдвинуться с места, необходимо попросить кого-либо из находящихся вблизи толкнуть вас легонько в спину. А коньки уж — такая подвижная штука, что мигом домчат вас до противоположной стороны площадки. Попробуем.

Я подошел к служителю, сел на диван, протянул ноги и сказал тоном лихого, безрассудно смелого спортсмена:

— Парочку коньков! Да получше!! Чтобы они обязательно были на колесиках!

— Да они и так все на колесиках, — возразил служитель, завинчивая какие-то винты на моей ноге.

— Да? — смутился я. — Это прекрасный обычай.

— Готово, господин!

Я опустил на пол оседланные ноги и потихоньку подвигал ими... Увы, твердой земли я не ощутил: мои ноги как будто болтались в воздухе.

— Это... всегда так? — робко спросил я.

— Что всегда?

— Так... скользко.

— А как же: колесики! Пожалуйте на площадку.

Я поднялся с дивана, но нога моя стремительно юркнула куда-то в сторону, и я снова опустился на свое место. Мне часто до того приходилось сиживать на диванах, но никогда я не получал такого искреннего удовлетворения от этого, как теперь.

Никогда бы раньше я не мог поверить, что можно так привязаться и полюбить простую дешевую, набитую шерстью подушку. Ни за какие деньги не хотел бы я расстаться с ней...

— Что же вы? Пожалуйте.

— Хи-хи, — засмеялся я. — Хи-хи... Я, голубчик, еще немножко посижу здесь. Устанешь, знаешь ли, за день... Тут у вас очень мило: тепло, уютно.

Он отошел от меня, а я остался сидеть, томительно вздыхая и изредка осторожно постукивая скользкой ногой по полу.

Рядом со мной надевали коньки господину, который был в таком же положении, как я. Но в этом человеке был дух героя! При Иоанне Грозном он, вместо Ермака, мог бы завоевать Сибирь; при встрече с тигром он ударил бы его кулаком в темя и, ошеломив этим изумленного зверя, притащил бы его на веревке домой... В этом человеке помещался дух героя! Он не сидел полчаса на диване, не мямлил, как я, а сразу встал, выпрямился смело во весь рост и — грохнулся на буфетный стол всей своей тяжестью.

Если заразительны дурные примеры, то заразительны и хорошие: я встал и, прижимаясь к служителю со всей порывистостью и лаской, на которую способна моя привязчивая натура, направился к барьеру.

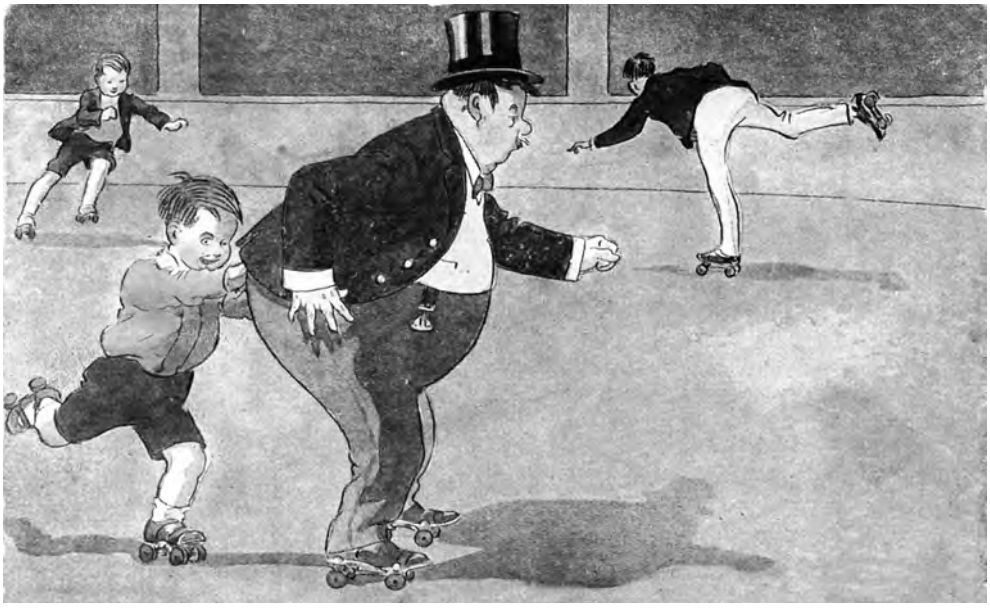
И вот — я остался один, судорожно уцепившись за барьер и делая вид, что меня страшно заинтересовало устройство потолка.

— Отчего же вы не катаетесь? — дружески спросил меня кто-то из сидевших за столиками.

— Да я... катаюсь.

— Вы бросьте барьер! не держитесь за него — тогда легче.

Я послушался совета. Но мои ноги (никогда я не подозревал в своих собственных конечностях столько хитрости и ехидства) заметили этот маневр и сразу разбежались в обе стороны так далеко, что мне стоило большого труда снова собрать их воедино.



При этом я сделал движение, напоминающее самую популярную фигуру в кэк-воке, и снова с судорожною поспешностью уцепился за барьер.

— Смелее, смелее! — кричал мне доброжелатель.— Не льните так к барьеру, как к любимой женщине. Свободнее руки, отъезжайте от барьера.

— Очевидно, он знает, что нужно делать, — подумал я и отъехал от барьера.

И тут я оказался будто висящим в воздухе. Коньки сами ерзали по асфальту, как живые, я откидывался назад, изгибался, как угорь, и, наконец, видя, что позорное падение неизбежно — с молниеносной поспешностью схватил за обе руки какого-то подвернувшегося конькобежца.

— Что такое? — изумился он. — В чем дело?

Стискивая его руки, я тряс их, изгибался и, чтобы загладить свой бестактный поступок, сказал трясущимися губами:

— А, здравствуйте!.. Как поживаете? Вы... меня не узнаете?

— Первый раз вижу. Пустите мои руки!

Он вырвался. Ноги мои не упустили удобного случая сделать гадость их хозяину, разъехались в стороны, и я тяжело опустился боком на асфальт.

— Упали? — участливо спросил мой доброжелатель.

Я сделал вид, что поправляю коньки.

— Нет, это я так сел. Затянул ремни. Они, знаете, от катанья ослабевают.

Повозившись с каким-то ремнем, я тихонько подполз к барьеру и — снова нашел в нем старого, верного, испытанного друга.

— Если вы замечаете, что падаете, — сказал человек, сидевший за столом (теперь я подозреваю, что он был — случайный зритель, впервые зашедший полюбоваться на новый спорт), — если вы замечаете, что падаете, — то немедленно поднимайте одну ногу... Равновесие установится, таким образом, сразу.

Снова я с тяжелым сердцем расстался с барьером... Исполнить совет моего доброжелателя было тем легче, что я поскользнулся сразу. И совет был исполнен даже в

двойной дозе. Он советовал при падении поднять одну ногу, а я поднял обе. Правда, это было после падения, и для этого пришлось коснуться спиной асфальта, но я увидел, что в падении, в сущности, нет ничего страшного.

Мимо меня пролетел изящный господин, грациозно наклонившись вперед и легко, без усилия скользя по асфальтовой глади.

— Попробую и я так, — подумал я. — Ну, упаду! Эка важность!

Положив руки назад, я неожиданным ураганом ринулся в толпу катающихся. Я упал всего два раза, но сбил с ног человек десять, опрокинул неизвестного толстяка на барьер и, сопровождаемый разными пожеланиями и комплиментами, усталый, довольный собой отправился снимать коньки.

——

На второй день я опрокинул всего двух человек и к барьеру прикасался лишь изредка, большей частью покровительственно похлопывая его по упругой спине... На третий день я не опрокинул уже ни одного человека (опрокинули меня — какой-то неуклюжий медведь,— чтоб его черт побрал, — и неизвестная девица, бездарная до обморока), на барьер смотрел с презрением, как на нечто смешное, ненужное, и демонстративно держался подальше от этого пережитка старинной неуклюжести и страха... Пролетая мимо напуганных, искаженных ужасом лиц, кричал им покровительственно: «смелее!», и теперь — если бы мне предложили приз за катанье, — я взял бы его без всякого колебания, отнекиваний и ненужной скромности.

III
МОИ УЛЫБКИ

Четверг

В восемь часов вечера Ляписов заехал к Андромахскому и спросил его:

— Едете к Пылинкиным?

— А что? — спросил, покривившись, Андромахский. — Разве сегодня четверг?

— Конечно, четверг. Сколько четвергов вы у них бывали, и все еще не можете запомнить.

Андромахский саркастически улыбнулся.

— Зато я твердо знаю, что мы будем там делать. Когда мы войдем, m-me Пылинкина сделает радостно-изумленное лицо: «Господи! Андрей Павлович! Павел Иванович! Как это мило с вашей стороны!» Что мило? Что мило, черт ее возьми, эту тощую бабу, меняющую любовников, — не скажу даже, как перчатки, потому что пер-

чатки она меняет гораздо реже! Что мило? То ли мило, что мы являемся всего один раз в неделю, или то, что мы, войдя, не разгоняем сразу пинками всех ее глупых гостей? «Садитесь, пожалуйста. Чашечку чаю?» Ох, эта мне чашечка чаю! И потом начинается: «Были на лекции о Ведекинде?» А эти проклятые лекции, нужно вам сказать, читаются чуть ли не каждый день! «Нет, скажешь, не был». — «Не были? Как же это вы так?» Ну, что, если после этого взять, стать перед ней на колени, заплакать и сказать: «Простите меня, что я не был на лекции о Ведекинде. Я всю жизнь посвящу на то, чтобы замолить этот грех. Детям своим завещаю бывать от двух до трех раз на Ведекинде, кухарку вместо бани буду посылать на Ведекинда и на смертном одре завещаю все свое состояние лекторам, читающим о Ведекинде. Простите меня, умная барыня, и кланяйтесь от меня всем вашим любовникам!»

Ляписов засмеялся:

— Не скажете!

— Конечно, не скажу. В том-то и ужас, что не скажу. И еще в том ужас, что и она и все ее гости моментально и бесследно забывают о Ведекинде, о лекциях и с лихорадочным любопытством набрасываются на какую-то босоножку. «Видели танцы новой босоножки? Мне нравится». А другой осел скажет: «А мне не нравится». А третий отвечает: «Не скажите! Это танцы будущего, и они мне нравятся. Когда я был в Берлине, в кафешантане...» — «Ах, — скажет игриво m-me Пылинкина, — вам, мужчинам, только бы все кафешантаны!» Конечно, нужно было бы сказать ей — кафешантаны. А тебе бы все любовники да любовники? «Семен Семеныч! Чашечку чаю с печеньицем, а? Пожалуйста! Читали статью о Вейнингере?» А чаишко-то у нее, признаться, скверный, да и печеньице тленом попахивает... И вы замечаете? Замечаете? Уже о босоножке забыто, танцы будущего провалились бесследно до будущего четверга, разговор о кафешантане держится две минуты, увядает, осыпается и на его месте пышно расцветает беседа о новой пьесе, причем одному она нравится, другому не нравится, а третий выражает мнение, что она так себе. Да ведь он ее не видел?! Не видел, уверяю вас, шут этакий, мошенник, мелкий хам!! А ты должен сидеть, пить чашечку чаю и говорить, что босоножка тебе нравится, новая пьеса производит впечатление слабой, а кафешантаны скучны, потому что все номера однообразны.

Ляписов вынул часы:

— Однако уже скоро девять!

— Сейчас. Я в минутку оденусь. Да ведь там только к девяти и собираются... Одну минуточку.

* * *

В девять часов вечера Андромахский и Ляписов приехали к Пылинкиным.

M-me Пылинкина увидела их еще в дверях и с радостным изумлением воскликнула:

— Боже ты мой, Павел Иваныч! Андрей Павлыч! Садитесь. Очень мило с вашей стороны, что заехали. Чашечку чаю?

— Благодарю вас! — ласково наклонил голову Андромахский. — Не откажусь.

— А мы с мужем думали, что встретим вас вчера...

— Где? — спросил Андромахский.

— Как же! В Соляном Городке. Грудастов читал о Пшебышевском.

На лице Андромахского изобразилось неподдельное отчаяние.

— Так это было вчера?! Экая жалость! Я мельком видел в газетах и, представьте, думал, что она будет еще не скоро. Я теперь газеты вообще мельком просматриваю.

— В газетах теперь нет ничего интересного, — сказал из-за угла чей-то голос.

— Репрессии, — вздохнула хозяйка. — Обо всем запрещают писать. Чашечку чаю?

— Не откажусь, — поклонился Ляписов.

— Мы выписали две газеты и жалеем. Можно бы одну выписать.

— Ну, иногда в газетах можно натолкнуться на что-нибудь интересное... Читали на днях, как одна дама гипнотизмом выманила у домовладельца тридцать тысяч?

— Хорошенькая? — игриво спросил Андромахский.

Хозяйка кокетливо махнула на него салфеточкой.

— Ох, эти мужчины! Им бы все только — хорошенькая! Ужасно вы испорченный народ.

— Ну, нет, — сказал Ляписов. — Вейнингер держится обратного мнения... У него ужасное мнение о женщинах...

— Есть разные женщины и разные мужчины, — послышался из полутемного угла тот же голос, который говорил, что в газетах нет ничего интересного. — Есть хорошие женщины и хорошие мужчины. И плохие есть там и там.

— У меня был один знакомый, — сказала полная дама. — Он был кассиром. Служил себе, служил и — представьте — ничего. Потом познакомился с какой-то кокоткой, растратил казенные деньги и бежал в Англию. Вот вам и мужчины ваши!

— А я против женского равноправия! — сказал господин с густыми бровями. — Что это такое? Женщина должна быть матерью! Ее сфера — кухня!

— Извините-с! — возразила хозяйка. — Женщина такой же человек, как и мужчина! А ей ничего не позволяют делать!

— Как не позволяют? Все позволяют! Вот одна на днях в театре танцевала с голыми ногами. Очень было мило. Сфера женщины — все изящное, женственное.

— А, по-моему, она вовсе не изящна. Что это такое — ноги толстые, и сама скачет, как козел!

— А мне нравится! — сказал маленький лысый человек. — Это танцы будущего, и они открывают новую эру в искусстве.

— Чашечку чаю! — предложила хозяйка Андромахскому. — Может быть, желаете рюмочку коньяку туда?

— Мерси. Я вообще не пью. Спиртные напитки вредны.

Голос из угла сказал:

— Если спиртные напитки употреблять в большом количестве, то они, конечно, вредны. А если иногда выпить рюмочку — это не может быть вредным.

— Ничем не надо злоупотреблять, — сказала толстая дама.

— Безусловно. Все должно быть в меру, — уверенно ответил Ляписов.

Андромахский встал, вздохнул и сказал извиняющимся тоном:

— Однако я должен спешить. Позвольте, Марья Игнатьевна, откланяться.

На лице хозяйки выразился ужас.

— Уже?!! Посидели бы еще...

— Право, не могу.

— Ну, одну минутку!

— С наслаждением бы, но...

— Какой вы, право, нехороший... До свиданья. Не забывайте! Очень будем рады с мужем видеть вас.

Ласковая, немного извиняющаяся улыбка бродила на лице Андромахского до тех пор, пока он не вышел в переднюю. Когда нога его перешагнула порог — лицо приняло выражение холодной злости, скуки и бешенства.

Он оделся и вышел.

* * *

Захлопнув за собой дверь, Андромахский остановился на полутемной площадке лестницы и прислушался. До него явственно донеслись голоса: его приятеля Ляписова, толстой дамы и m-me Пылинкиной.

— Что за черт?

Он огляделся. Над его головой тускло светило узенькое верхнее окно, выходившее, очевидно, из пылинкинской гостиной. Слышно было всякое слово — так отчетливо, что Андромахский, уловив свою фамилию, прислонился к перилам и застыл...

— Куда это он так вскочил? — спросил голос толстой дамы.

— К жене, — отвечал голос Ляписова.

M-me Пылинкина засмеялась.

— К жене! С какой стороны?!

— Что вы! — удивилась толстая дама. — Разве он такой?..

— Он?! — сказал господин с густыми бровями. — Я его считал бы добродетельнейшим человеком, если бы он изменял только жене с любовницей. Но он изменяет любовнице с горничной, горничной — с белошвейкой, шьющей у жены, и так далее. Разве вы не знаете?

— В его защиту я должен сказать, что у него есть одна неизменная привязанность, — сказал лысый старичок.

— К кому?

— Не к кому — а к чему... К пиву! Он выпивает в день около двадцати бутылок!

Все рассмеялись.

— Куда же вы? — послышался голос хозяйки.

— Я и так уже засиделся, — отвечал голос Ляписова. — Нужно спешить.

— Посидите еще! Ну, одну минуточку! Недобрый, недобрый! До свиданья. Не забывайте нашего шалаша.

* * *

Когда Ляписов вышел, захлопнув дверь, на площадку, он увидел прислонившегося к перилам Андромахского и еле сдержал восклицание удивления.

— Тс-с-с!.. — прошептал Андромахский, указывая на окно. — Слушайте! Это очень любопытно...

— Какой симпатичный этот Ляписов, — сказала хозяйка. — Не правда ли?

— Очень милый, — отвечал господин с густыми бровями. — Только вид у него сегодня был очень расстроенный.

— Неприятности! — послышался сочувственный голос толстой дамы.

— Семейные?

— Нет, по службе. Все игра проклятая!

— А что, разве?..

— Да, про него стали ходить тревожные слухи. Получает в месяц двести рублей, а проигрывает в клубе в вечер по тысяче. Вы заметили, как он изменился в лице, когда я ввернула о кассире, растратившем деньги и бежавшем в Англию?

— Проклятая баба, — прошептал изумленный Ляписов. — Что она такое говорит!

— Хорошее оконце! — улыбнулся Андромахский.

— ...Куда же вы?! Посидели бы еще!

— Не могу-с! Время уже позднее, — послышался голос лысого господина. — А ложусь-то я, знаете, рано.

— Какая жалость, право!

* * *

На площадку лестницы вышел лысый господин, закутанный в шубу, и испуганно отшатнулся при виде Ляписова и Андромахского.

Андромахский сделал ему знак, указал на окно и в двух словах объяснил преимущество занятой ими позиции.

— Сейчас о вас будет. Слушайте!

— Я никогда не встречала у вас этого господина, — донесся голос толстой дамы. — Кто это такой?

— Это удивительная история, — отвечала хозяйка.

— Я удивляюсь, вообще... Представили его мне в театре, а я и не знаю: кто и что он такое. Познакомил нас Дерябин. Я говорю Дерябину, между разговором: «Отчего вы не были у нас в прошлый четверг?» А этот лысый и говорит мне: «А у вас четверги? Спасибо, буду». Никто его и не звал, я даже и не намекала. Поразительно некоторые люди толстокожи и назойливы! Пришлось с приятной улыбкой сказать: пожалуйста! Буду рада.

— Ах ты дрянь этакая, — прошептал огорченно лысый старичок. — Если бы знал — никогда бы к тебе не пришел. Вы ведь знаете, молодой человек, — обратился он к Андромахскому, — эта худая выдра в интимных отношениях с тем самым Дерябиным, который нас познакомил. Ей-Богу! Мне Дерябин сам и признался. Чистая уморушка!

— А вы зачем соврали там, в гостиной, что я выпиваю 20 бутылок пива в день? — сурово спросил старичка Андромахский.

— А вы мне очень понравились, молодой человек, — виновато улыбнулся старичок. — Когда зашел о вас разговор — я и думаю: дай вверну словечко!

— Пожалуйста, никогда не ввертывайте обо мне словечка. О чем они там сейчас говорят?

— Опять обо мне, — сказал Ляписов. — Толстая дама выражает опасение, что я не сегодня завтра сбегу с казенными деньгами.

— Проклятая лягушка! — проворчал Андромахский.

— Если бы вы ее самое знали! Устраивает благотворительные вечера и ворует все деньги. Одну дочку свою буквально продала сибирскому золотопромышленнику!

— Ха-ха! — злобно засмеялся старичок. — А вы заметили этого кретиновидного супруга хозяйки, сидевшего в углу?..

— Как же! — усмехнулся Андромахский. — Он сказал ряд очень циничных афоризмов: что в газетах нет ничего интересного, что женщины и мужчины бывают плохие и хорошие и что если пить напитков много, то это скверно, а мало — ничего...

Старичок, Ляписов и Андромахский уселись для удобства на верхней ступеньке площадки, и Андромахский продолжал:

— И он так глуп, что не замечал, как старуха Пылинкина подмигивала несколько раз этому густобровому молодцу. Очевидно, дело с новеньким лямиделямезончиком на мази!

— Хе-хе! — тихонько засмеялся Ляписов. — А вы знаете, старче, как Андромахский сегодня скаламбурил насчет этой Мессалины: она не меняет любовников как перчатки только потому, что не меняет перчаток.

Лысый старичок усмехнулся:

— Заметили, чай у них мышами пахнет! Хоть бы людей постыдились...

* * *

Когда госпожа Пылинкина, провожая толстую даму, услышала на площадке голоса и выглянула из передней, она с изумлением увидела рассевшуюся на ступеньках лестницы компанию...

— Я уверен, — говорил увлеченный разговором Ляписов, — что эта дура Пылинкина не только не читала Ведекинда, но, вероятно, путает его с редерером, который она распивает по отдельным кабинетам с любовниками.

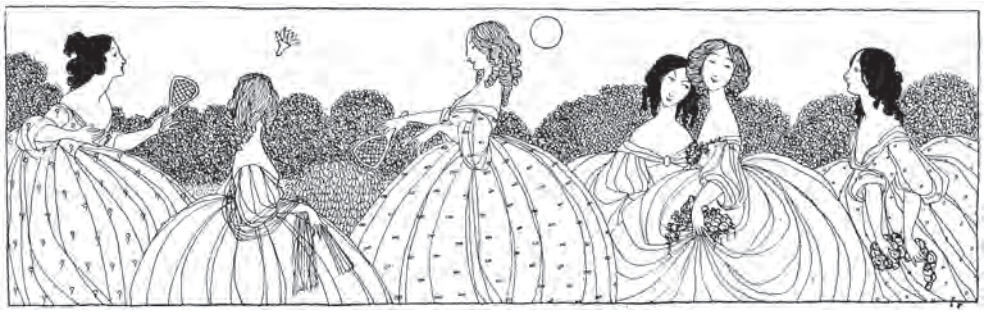
— Ну да! — возражал Андромахский. — Станут любовники поить ее редерером. Бутылка клюквенного квасу, бутерброд с чайной колбасой — и madame Пылинкина, соблазненная этой царской роскошью, готова на все!..

Госпожа Пылинкина кашлянула, сделала вид, что вышла только сейчас, и с деланным удивлением сказала:

— А вы, господа, еще здесь! Заговорились? Не забудьте же — в будущий четверг!..

МОЗАИКА

I



— Я несчастный человек — вот что!

— Что за вздор?! Никогда я этому не поверю.

— Уверяю тебя.

— Ты можешь уверять меня целую неделю, и все-таки я скажу, что ты городишь самый отчаянный вздор. Чего тебе недостает? Ты имеешь ровный, мягкий характер, деньги, кучу друзей и, главное, — пользуешься вниманием и успехом у женщин.

Вглядываясь печальными глазами в неосвещенный угол комнаты, Кораблев тихо сказал:

— Я пользуюсь успехом у женщин...

Посмотрел на меня исподлобья и смущенно сказал:

— Знаешь ли ты, что у меня шесть возлюбленных?!

— Ты хочешь сказать — было шесть возлюбленных? В разное время? Я, признаться, думал, что больше.

— Нет, не в разное время, — вскричал с неожиданным одушевлением в голосе Кораблев, — не в разное время!! Они сейчас у меня есть! Все!

Я в изумлении всплеснул руками.

— Кораблев! Зачем же тебе столько? Он опустил голову.

— Оказывается,— меньше никак нельзя. Да... Ах, если бы ты знал, что это за беспокойная, хлопотливая штука... Нужно держать в памяти целый ряд фактов, уйму имен, запоминать всякие пустяки, случайно оброненные слова, изворачиваться и каждый день, с самого утра, лежа в постели, придумывать целый воз тонкой, хитроумной лжи на текущий день.

— Кораблев! Для чего же... шесть?

Он положил руку на грудь.

— Должен тебе сказать, что я вовсе не испорченный человек. Если бы я нашел женщину по своему вкусу, которая наполнила бы все мое сердце, — я женился бы завтра. Но со мной происходит странная вещь: свой идеал женщины я нашел не в одном человеке, а в шести. Это, знаешь, вроде мозаики.

— Мо-за-ики?

— Ну да, знаешь, такое из разноцветных кусочков складывается. А потом картина выходит. Мне принадлежит прекрасная идеальная женщина, но куски ее разбросаны в шести персонах...

— Как же это вышло? — в ужасе спросил я.

— Да так. Я, видишь ли, не из того сорта людей, которые, встретившись с женщиной, влюбляются в нее, не обращая внимания на многое отрицательное, что есть в ней. Я не согласен с тем, что любовь слепа. Я знал таких простаков, которые до безумия влюблялись в женщин за их прекрасные глаза и серебристый голосок, не обращая внимания на слишком низкую талию или большие красные руки. Я в таких случаях поступаю не так. Я влюбляюсь в красивые глаза и великолепный голос, но так как женщина без талии и рук существовать не может — отправляюсь на поиски всего этого. Нахожу вторую женщину — стройную, как Венера, с обворожительными ручками. Но у нее сентиментальный, плаксивый характер. Это, может быть, хорошо, но очень и очень изредка... Что из этого следует? Что я должен отыскать женщину с искрометным прекрасным характером и широким душевным размахом! Иду, ищу... Так их и набралось шестеро!

Я серьезно взглянул на него.

— Да, это действительно похоже на мозаику.

— Не правда ли? Форменная. У меня, таким образом, составилась лучшая, может быть, женщина в мире, но если бы ты знал — как это тяжело! Как это дорого мне обходится!..

Со стоном он схватил себя руками за волосы и закачал головой направо и налево.

— Все время я должен висеть на волоске. У меня плохая память, я очень рассеянный, а у меня в голове должен находиться целый арсенал таких вещей, которые, если тебе рассказать, привели бы тебя в изумление. Кое-что я, правда, записываю, но это помогает лишь отчасти.

— Как записываешь?

— В записной книжке. Хочешь? У меня сейчас минута откровенности, и я без утайки тебе все рассказываю. Поэтому могу показать и свою книжку. Только ты не смейся надо мной.

Я пожал ему руку.

— Не буду смеяться. Это слишком серьезно... Какие уж тут шутки!

— Спасибо. Вот видишь — скелет всего дела у меня отмечен довольно подробно. Смотри: «Елена Николаевна. Ровный, добрый характер, чудесные зубы, стройная. Поет. Играет на фортепиано».

Он почесал углом книжки лоб.

— Я, видишь ли, люблю очень музыку. Потом, когда она смеется — я получаю истинное наслаждение; очень люблю ее! Здесь есть подробности: «Любит, чтобы называли ее Лялей. Любит желтые розы. Во мне ей нравится веселье и юмор. Люб. шампанск. Аи. Набожн. Остерег. своб. рассужд. о религ. вопр. Остерег. спрашив. о подруге Китти. Подозрев., что подруга Китти неравнодушна ко мне»... Теперь дальше: «Китти... Сорванец, способный на всякую шалость. Рост маленький. Не люб., когда ее целуют в ухо. Кричит. Остерег. целов. при посторонн. Из цветов люб. гиацинты. Шамп. только рейнское. Гибкая, как лоза, чудесно танц. матчиш. Люб. засахар. каштаны и ненавид. музыку. Остерег. музыки и упоминания об Елене Ник. Подозрев.».

Кораблев поднял от книжки измученное, страдальческое лицо.

— И так далее. Понимаешь ли — я очень хитер, увертлив, но иногда бывают моменты, когда я чувствую себя летящим в пропасть... Частенько случалось, что я Китти называл «дорогой единственной своей Настей», а Надежду Павловну просил, что-

бы славная Маруся не забывала своего верного возлюбленного. В тех слезах, которые исторгались после подобных случаев, можно было бы с пользой выкупаться.

Однажды Лялю я назвал Соней и избежал скандала только тем, что указал на это слово, как на производное от слова «спать». И хотя она ни капельки не была сонная, но я победил ее своей правдивостью. Потом уже я решил всех поголовно называть дусями, без имени, благо, что около того времени пришлось мне встретиться с девицей, по имени Дуся (прекрасные волосы и крошечные ножки. Люб. театр. Автомоб. ненавидит. Остерег. автомоб. и упомин. о Насте. Подозрев.).

Я помолчал.

— А они... тебе верны?

— Конечно. Так же, как я им. И каждую из них я люблю по-своему за то, что есть у нее хорошего. Но шестеро — это тяжело до обморока. Это напоминает мне человека, который когда собирается обедать, то суп у него находится на одной улице, хлеб на другой, а за солью ему приходится бегать на дальний конец города, возвращаясь опять за жарким и десертом в разные стороны. Такому человеку, так же как и мне, приходилось бы день-деньской носиться как угорелому по всему городу, всюду опаздывать, слышать упреки и насмешки прохожих... И во имя чего?!

Я был подавлен его рассказом. Помолчав, встал и сказал:

— Ну, мне пора. Ты остаешься здесь, у себя?

— Нет, — отвечал Кораблев, безнадежно смотря на часы. — Сегодня мне в половине седьмого нужно провести вечер по обещанию у Елены Николаевны, а в семь — у Насти, которая живет на другом конце города.

— Как же ты устроишься?

— Я придумал сегодня утром. Заеду на минутку к Елене Николаевне и осыплю ее градом упреков за то, что на прошлой неделе знакомые видели ее в театре с каким-то блондином. Так как это сплошная выдумка, то она ответит мне в резком, возмущенном тоне, — я обижусь, хлопну дверью и уйду. Поеду к Насте.

Беседуя со мной таким образом, Кораблев взял палку, надел шляпу и остановился, задумчивый, что-то соображающий.

— Что с тобой?

Молча снял он с пальца кольцо с рубином, спрятал его в карман, вынул часы, перевел стрелки и затем стал возиться около письменного стола.

— Что ты делаешь?

— Видишь, тут у меня стоит фотографическая карточка Насти, подаренная мне с обязательством всегда держать ее на столе. Так как Настя сегодня ждет меня у себя и ко мне, следовательно, никоим образом не заедет, то я без всякого риска могу спрятать портрет в стол. Ты спросишь — почему я это делаю? Да потому, что ко мне может забежать маленький сорванец Китти и, не застав меня, захочет написать два-три слова о своем огорчении. Хорошо ли будет, если я оставлю на столе портрет соперницы? Лучше же я поставлю на это время карточку Китти.

— А если заедет не Китти, а Маруся... И вдруг она увидит на столе Киттин портрет?

Кораблев потер голову.

— Я уже думал об этом... Маруся ее в лицо не знает, и я скажу, что это портрет моей замужней сестры.

— А зачем ты кольцо снял с пальца?

— Это подарок Насти. Елена Николаевна однажды приревновала меня к этому кольцу и взяла слово, чтоб я его не носил. Я, конечно, обещал. И теперь перед Еленой Николаевной я его снимаю, а когда предстоит встреча с Настей — надеваю. Помимо этого мне приходится регулировать запахи своих духов, цвет галстуков, переводить стрелки часов, подкупать швейцаров, извозчиков и держать в памяти не только все сказанные слова, но и то — кому они сказаны и по какому поводу.

— Несчастный ты человек, — участливо прошептал я.

— Я же тебе и говорил! Конечно, несчастный.

II

Расставшись на улице с Кораблевым, я потерял его из виду на целый месяц. Дважды за это время мною получаемы были от него странные телеграммы:

«2 и 3 числа настоящего месяца мы ездили с тобой в Финляндию. Смотри, не ошибись. При встрече с Еленой сообщи ей это».

И:

«Кольцо с рубином у тебя. Ты отдал его ювелиру, чтобы изготовить такое же. Напиши об этом Насте. Остерег. Елены».

Очевидно, мой друг непрерывно кипел в том страшном котле, который был им сотворен в угоду своему идеалу женщины; очевидно, все это время он как угорелый носился по городу, подкупал швейцаров, жонглировал кольцами, портретами и вел ту странную, нелепую бухгалтерию, которая его только и спасала от крушения всего предприятия.

Встретившись однажды с Настей, я вскользь упомянул, что взял на время у Кораблева прекрасное кольцо, которое теперь у ювелира, — для изготовления такого же другого.

Настя расцвела.

— Правда? Так это верно? Бедняжка он... Напрасно я так его терзала. Кстати, вы знаете — его нет в городе! Он на две недели уехал к родным в Москву.

Я этого не знал, да и вообще был уверен, что это один из сложных бухгалтерских приемов Кораблева; но все-таки тут же счел долгом поспешно воскликнуть:

— Как же, как же! Я уверен, что он в Москве.

Скоро я, однако, узнал, что Кораблев действительно был в Москве и что с ним там случилось страшное несчастье. Узнал я об этом, по возвращении Кораблева, — от него самого.

III

. . . . . .

— Как же это случилось?

— Бог его знает! Ума не приложу. Очевидно, вместо бумажника жулики вытащили. Я делал публикации, обещал большие деньги — все тщетно! Погиб я теперь окончательно.

— А по памяти восстановить не можешь?

— Да... попробуй-ка! Ведь там было, в этой книжке, все до мельчайших деталей — целая литература! Да еще за две недели отсутствия я все забыл, все перепу-

талось в голове, и я не знаю — нужно ли мне сейчас поднести Марусе букет желтых роз, или она их терпеть не может? И кому я обещал привезти из Москвы духи «Лотос» — Насте или Елене? Кому-то из них я обещал духи, а кому-то полдюжины перчаток номер шесть с четвертью... А может — пять три четверти? Кому? Кто швырнет мне в физиономию духи? И кто — перчатки? Кто подарил мне галстук, с обязательством надевать его при свиданиях? Соня? Или Соня, именно, и требовала, чтобы я не надевал никогда этой темно-зеленой дряни, подаренной — «я знаю кем!». Кто из них не бывал у меня на квартире никогда? И кто бывал? И чьи фотографии я должен прятать? И когда?

Он сидел с непередаваемым отчаянием во взоре. Сердце мое сжалось.

— Бедняга ты! — сочувственно прошептал я. — Дай-ка, может быть, я кое-что вспомню... Кольцо подарено Настей. Значит, «остерег. Елены»... Затем карточки... Если приходит Китти, то Марусю можно прятать, так как она ее знает, Настю — не прятать? Или нет — Настю прятать? Кто из них сходил за твою сестру? Кто из них кого знает?

— Не знаю, — простонал он, сжимая виски. — Ничего не помню! Э, черт! Будь что будет.

Он вскочил и схватился за шляпу.

— Еду к ней!

— Сними кольцо, — посоветовал я.

— Не стоит. Маруся к кольцу равнодушна.

— Тогда надень темно-зеленый галстук.

— Если бы я знал! Если бы знать — кто его подарил и кто его ненавидит... Э, все равно!.. Прощай, друг.

IV

Всю ночь я беспокоился, боясь за моего несчастного друга. На другой день утром я был у него. Желтый, измученный, сидел он у стола и писал какое-то письмо.

— Ну? Что, как дела?

Он устало помотал в воздухе рукой.

— Все кончено. Все погибло. Я опять почти одинок!..

— Что же случилось?

— Дрянь случилась, бессмыслица. Я хотел действовать на авось... Захватил перчатки и поехал к Соне. «Вот, дорогая моя Ляля, — сказал я ласково, — то, что ты хотела иметь! Кстати, я взял билеты в оперу. Мы пойдем, хочешь? Я знаю, это доставит тебе удовольствие»... Она взяла коробку, бросила ее в угол и, упавши ничком на диван, зарыдала. «Поезжайте, — сказала она, — к вашей Ляле и отдайте ей эту дрянь. Кстати, с ней же можете прослушать ту отвратительную оперную какофонию, которую я так ненавижу». — «Маруся, — сказал я, — это недоразумение!»... — «Конечно, — закричала она, — недоразумение, потому что я с детства — не Маруся, а Соня! Уходите отсюда!» От нее я поехал к Елене Николаевне... Забыл снять кольцо, которое обещал ей уничтожить, привез засахаренные каштаны, от которых ее тошнит и которые, по ее словам, так любит ее подруга Китти... Спросил у нее: «Почему у моей Китти такие печальные глазки?..», лепетал, растерявшись, что-то о том, что Китти — это производное от слова «спать», и, изгнанный, помчался к Китти спасать об-

ломки своего благополучия. У Китти были гости... Я отвел ее за портьеру и, по своему обыкновению, поцеловал в ухо, отчего произошел крик, шум и тяжелый скандал. Только после я вспомнил, что для нее это хуже острого ножа... Ухо-то. Ежели его поцеловать...

— А остальные? — тихо спросил я.

— Остались двое: Маруся и Дуся. Но это — ничто. Или почти ничто. Я понимаю, что можно быть счастливым с целой гармоничной женщиной, но если эту женщину разрезают на куски, дают тебе только ноги, волосы, пару голосовых связок и красивые уши — будешь ли ты любить эти разрозненные мертвые куски?.. Где же женщина? Где гармония?

— Как так? — вскричал я.

— Да так... Из моего идеала остались теперь две крохотных ножки, волосы (Дуся) да хороший голос с парой прекрасных, сводивших меня с ума ушей (Маруся). Вот и все.

— Что же ты теперь думаешь делать?

— Что?

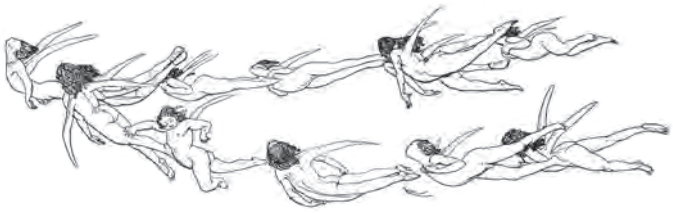
В глазах его засветился огонек надежды.

— Что? Скажи, милый, с кем ты был позавчера в театре?? Такая высокая, с чудесными глазами и прекрасной, гибкой фигурой.

Я призадумался.

— Кто?.. Ах да! Это я был со своей кузиной. Жена инспектора страхового общества.

— Милый! Познакомь!



РУБАНОВИЧИ

Есть целый класс людей, с которыми мы часто встречаемся, вступаем в деловые сношения, ведем длинные, горячие разговоры и которых мы вместе с тем совершенно не знаем.

Их души, логика, вкусы и стремления совершенно чужды нам, а их профессиональные привычки, действия, своею загадочностью и неясностью только раздражают нас.

Это — портные.

— Я хочу заказать себе пиджачный костюм, — говорю я, обращаясь к одному из них, в то время как он, скривив набок голову, внимательно смотрит на мою грудь, руки и плечи.

У всякого портного есть болезненное, странное и ненужное ему стремление — изредка тяжело и неуклюже острить. Сапожники гораздо сосредоточеннее и серьезнее.

— Вы только хотите? — прищуривается портной. — Так вы уж прямо лучше заказывайте.

— Да, закажи вам, — нерешительно возражаю я.— Ведь вы, небось, сдерете втридорога.

— Я сдеру? Ха-ха! Хорошие шутки, нечего сказать. Ну, хотите — я вам дам десять рублей, если вы найдете другого портного, который взял бы за такой материал и работу столько же, сколько я. Хотите?

Он прекрасно знает, что я не взвалю себе на плечи эту странную операцию. Если бы даже я и нашел другого такого портного, то мой портной нашел бы массу поводов отвертеться от уплаты десяти рублей. Костюм бы он признал сшитым прескверно, а материал — дешевым гнильем.

— Хотите? Покажите мне такого другого портного,— презрительно говорит он. — И я плачу вам кровных пятнадцать рублей.

— Нет, не надо. Но только я знаю, что переплачу вам.

— Вы? Переплатите? Ну, хотите, я даю сто рублей, если вы переплатите?!

Сто рублей я у него не возьму. Я прекрасно знаю, что он сдерет с меня больше, чем нужно, и он это прекрасно знает. Мы молчаливо считаем этот вопрос решенным в положительном для него смысле и переходим к дальнейшему.

— Сколько же вы возьмете?

— Сию минуту... Это мы до копейки высчитаем.

Он берет бумажку и пишет на ней ряд каких-то цифр. Значение их ни я, ни он не понимаем. Но цифры имеют гипнотизирующее значение своей абсолютной честностью и безотносительностью. На бумажке стоит два косых 4, одно пошатнувшееся 7, три длинных худощавых единицы и одно громадное 3, похожее на змеиную конвульсию. Впрочем, после некоторого колебания портной переделывает его в 8 и ставит сбоку две пятерки.

Губами он лениво бормочет:

— Семнадцать, да две — двадцать четыре, да сорок пять — итого четырнадцать, отсюда вычитываем шесть, да семь — множимое получается 62.

Он поднимает от бумажки голову и уверенно говорит:

— 71 рубль. Ну, рубль я, как на первый раз, то отбрасываю. Пойдите-ка поищите подобный костюмчик. Я вам сорок рублей положу на это место.

— Семьдесят рублей?! Что вы, голубчик!.. Да вот этот костюм, который на мне, — тридцать два рубля стоил!

Костюм мой, конечно, стоил шестьдесят. Но мы оба забываем всякую меру и перестаем церемониться с цифрами.

Портной берет меня за плечи, подводит к свету и, оглядывая, качает головой:

— Тридцать два? А я думал — восемнадцать. За такой костюм — тридцать два рубля?.. Вот видите — где не нужно, где вас обманывают — вы переплачиваете, а когда вам думают, что вы не будете торговаться, вы...

Он неожиданно схватывает меня за борт пиджака и, с бешеной силой, дергает к себе.

— Это работа?! Вы видите, она трещит, как тряпка... А фасон? Неужели вам было не стыдно носить такую работу? Вы посмотрите, как оно на вас сидит?!

Он хватает меня за бока, дергает вверх брюки, опускает сзади воротник, оттопыривает внизу жилетку так, что она торчит уродливым горбом, и загибает внутрь отвороты пиджака.

— Хорошенький фасончик, — критически говорит он, отходя вдаль и любуясь, со скривленной набок головой, — очень хорошенький... Как корова на седле. И с вас не смеялись?

Раньше, конечно, мой костюм не вызывал ни в ком веселого настроения. Но умелые руки моего собеседника придали ему такой вид, который, в лучшем случае, испугал бы окружающих.

Я с трудом привожу одежду в порядок, а портной цепляется за рукава и торжествующе кричит:

— Это стоит тридцать два рубля? Это же бумага! Неужели вы не видите? Скверный лодзинский товар!

Я вспоминаю, что предыдущий портной, который также обрушился на мой предыдущий костюм, упрекал отсутствующего предшественника, что он подсунул мне лодзинский товар. Я возражал, что материя продана мне, как английская, а он не верил и кричал: «разве этот жулик даст вам английский товар? У меня вы получите английский!»

* * *

Я до сих пор не знаю — что такое «английский товар». Каждый предыдущий портной облекал меня в него, и каждый последующий безжалостно разбивал мои иллюзии.

Теперешний портной, с которым я веду разговор, тоже побожился, что я хожу, одетый в «чистейшую лодзинскую бумагу» и, чтобы облегчить мое положение, принес торжественную клятву употребить в дело все самое английское...

— Ладно, — соглашаюсь я. — Снимайте мерку. Только брюки сшейте так же, как эти. Я люблю такой фасон.

— Эти брюки с фасоном? Дай Бог вашему прежнему портному, чтобы он на том свете ходил в брюках с таким фасоном! Они ведь такие же короткие, как зимний день в Санкт-Петербурге...

— Потому, что вы их слишком давеча подтянули... Вот они так должны быть!

— Так? Ну — поздравляю вас... Они такие же длинные, как рука нашего околоточного... С таким фасоном можно каждую минуту запутаться и разбить, извините, нос.

Мне приходилось часто слышать, как актеры отзываются об игре своего коллеги; приходилось узнавать мнение одного беллетриста о другом; но никогда в этих случаях я не замечал столько сконцентрированной ненависти и презрения, как в отзывах портных друг о друге.

В этом с ними могут состязаться только легковые извозчики, для которых каждый другой извозчик — личный враг, и в отношении к нему позволительны все средства: хлестнуть по спине кнутом, стать со своей пролеткой поперек дороги или, при невозможности сделать все это, просто крепко и ядовито выругаться...

Я не знаю, много ли у портного радостей, которые скрашивали бы его монотонную жизнь?.. Может быть, у него нет совсем радостей, кроме одной, которой он предается с диким исступлением, немецким постоянством и ослиным упорством.

Эта единственная, непонятная обыкновенному человеку и заказчику, портняжская радость и удовольствие — не сдать в срок работу.

Можно принимать все меры, пускать в ход угрозы, брать с него клятвы — это все излишне: ни один человек не получал в срок заказанное платье.

Давая клятву, всякий портной про себя думает:

— Э, нет, брат!.. Жизнь слишком скучна и не цветиста, чтобы я ради твоих прекрасных глаз пожертвовал лучшим наслаждением, которое дала нам человеческая культура: не принести работы в обещанный срок...

Я пробовал пускаться на хитрость: когда мне нужно было получить платье десятого декабря, я назначал пятое, уверив портного, что шестого утром уезжаю в Америку и каждый час промедления принесет мне неисчислимые убытки.

Но портной каким-то образом разгадывал мою тактику, догадывался о десятом числе и приносил заказ двенадцатого...

Он объяснял, что у него заболел мастер, что самому ему пришлось выехать на два дня в другой город и что он долго возился с маленьким сыном, который обварил руку... А в глазах его читалось: «никуда я не уезжал и сын здоров, как тыква... Но почему мне не доставить себе маленького невинного удовольствия?..»

* * *

Тот портной, о котором я говорил сначала, принес работу, просрочив только шесть дней. Когда я оделся в новое платье, то сразу увидел, что воротник поставлен неимоверно низко, что из-под него видна запонка на затылке, что жилет, собираясь в десятки складок, лезет тихо и настойчиво вверх к подбородку, а брюки так коротки, что весь мир сразу узнает цвет моих чулок...

Но портной восторженно хлопал руками, смотрел в кулак и, подмигивая мне, смеялся счастливым смехом:

— Ага! Это вам не Рубанович...

— Черт знает что, — морщился я. — Брюки коротки, жилет лезет вверх и воротник сползает на самые лопатки...

— Где? — изумился портной. — Вы посмотрите!

Одной рукой он поднимал кверху воротник, другой оттягивал жилет и в это же время наклонял меня так, что края брюк спускались сантиметра на два ниже.

— Видите? Прекрасно!

— Может быть, — угрюмо возразил я, — пока вы держите. Может быть, если вы, не расставаясь со мной все время, пока я ношу это платье, будете бегать сзади,

подтягивать кверху воротник, книзу жилет, при условии, что я скорчусь под прямым углом, — может быть, тогда эти недостатки и не будут заметны! Но что же станется с вашим семейством и заказчиками, если мы год или два будем, как два каторжника, скованы одной цепью — отвратительно сшитым вами платьем?..

Есть случаи, когда портные не понимают юмора.

Он пожал плечами, взял семьдесят рублей и ушел.

Следующий портной оценил этот костюм в двенадцать рублей, заявив, что если бы сказать, что он сделан из лодзинского материала, то это было бы комплиментом (он сделан из белостокской бумаги), и что не нужно иметь никакого стыда, чтобы носить на себе костюм, сидящий, как лошадь на седле коровы...

ЧЕТВЕРО

I

В купе второго класса курьерского поезда ехало трое: чиновник казенной палаты Четвероруков, его молодая жена — Симочка и представитель фирмы Эванс и Крумбель — Василий Абрамович Сандомирский...

А на одной из остановок к ним в купе подсел незнакомец в косматом пальто и дорожной шапочке. Он внимательно оглядел супругов Четвероруковых, представителя фирмы Эванс и Крумбель и, вынув газету, погрузился в чтение.

Особенная — дорожная — скука повисла над всеми. Четвероруков вертел в руках портсигар, Симочка постукивала каблучками и переводила рассеянный взгляд с незначительной физиономии Сандомирского на подсевшего к ним незнакомца, а Сандомирский в десятый раз перелистывал скверный юмористический журнал, в котором он прочел все, вплоть до фамилии типографщика и приема подписки.

— Нам еще ехать пять часов, — сказала Симочка, сладко зевая. — Пять часов отчаянной скуки!

— Езда на железных дорогах однообразна, чем и утомляет пассажиров, — наставительно отвечал муж.

А Сандомирский сказал:

— И железные дороги невыносимо дорого стоят. Вы подумайте: какой-нибудь билет — стоит двенадцать рублей.

И, пересмотрев еще раз свой юмористический журнал, добавил:

— Уже я не говорю о плацкарте!

— Главное, что скучно! — стукнула ботинком Симочка.

Сидевший у дверей незнакомец сложил газету, обвел снова всю компанию странным взглядом и засмеялся.

И смех его был странный, клокочущий, придушенный, и последующие слова его несказанно всех удивили.

— Вам скучно? Я знаю, отчего происходит скука... Оттого, что все вы — не те, которыми притворяетесь, а это ужасно скучно.

— То есть как мы не те? — обиженно возразил Сандомирский. — Мы вовсе — те. Я как человек интеллигентный...

Незнакомец улыбнулся и сказал:

— Мы все не те, которыми притворяемся. Вот вы — кто вы такой?

— Я? — поднял брови Сандомирский. — Я представитель фирмы Эванс и Крумбель, сукна, трико и бумазеи.

— Ах-ха-ха-ха! — закатился смехом незнакомец.— Так я и знал, что вы придумаете самое нелепое! Ну, зачем же вы лжете себе и другим? Ведь вы кардинал при папском дворе в Ватикане и нарочно прячетесь под личиной какого-то Крумбеля!

— Ватикан? — пролепетал испуганный и удивленный Сандомирский. — Я — Ватикан?

— Не Ватикан, а кардинал! Не притворяйтесь дураком. Я знаю, что вы одна из умнейших и хитрейших личностей современности! Я слышал кое-что о вас!

— Извините, — сказал Сандомирский. — Но эти шутки мне не надо!

II

— Джузеппе! — серьезно проворчал незнакомец, кладя обе руки на плечи представителя фирмы Эванс и Крумбель. — Ты меня не обманешь! Вместо глупых разговоров я бы хотел послушать от тебя что-нибудь о Ватикане, о тамошних порядках и о твоих успехах среди набожных знатных итальянок...

— Пустите меня, — в ужасе закричал Сандомирский.

— Что это такое?!

— Тссс! — зашипел незнакомец, закрывая ладонью рот коммивояжера. — Не надо кричать. Здесь дама.

Он сел на свое место у дверей, потом засунул руку в карман и, вынув револьвер, навел его на Сандомирского.

— Джузеппе! Я человек предобрый, но если около меня сидит притворщик, я этого не переношу!

Симочка ахнула и откинулась в самый угол. Четвероруков поерзал на диване, попытался встать, но решительный жест незнакомца пригвоздил его к месту.

— Господа! — сказал странный пассажир. — Я вам ничего дурного не делаю. Будьте спокойны. Я только требую от этого человека, чтобы он признался — кто он такой?

— Я Сандомирский! — прошептал белыми губами коммивояжер.

— Лжешь, Джузеппе! Ты кардинал.

Дуло револьвера смотрело на Сандомирского одиноким черным глазом.

Четвероруков испуганно покосился на незнакомца и шепнул Сандомирскому:

— Вы видите, с кем вы имеете дело... Скажите ему, что вы кардинал. Что вам стоит?

— Я же не кардинал!! — в отчаянии прошептал Сандомирский.

— Он стесняется сказать вам, что он кардинал, — заискивающе обратился к незнакомому господину Четвероруков. — Но, вероятно, он кардинал.

— Не правда ли?! — подхватил незнакомец. — Вы не находите, что в его лице есть что-то кардинальное?

— Есть! — с готовностью отвечал Четвероруков.

— Но... стоит ли вам так волноваться из-за этого?..

— Пусть он скажет! — капризно потребовал пассажир, играя револьвером.

— Ну, хорошо! — закричал Сандомирский. — Хорошо! Ну, я кардинал.

III

— Видите! — сделал незнакомец торжествующий жест. — Я вам говорил... Все люди не те, кем они кажутся! Благословите меня, ваше преподобие!

Коммивояжер нерешительно пожал плечами, протянул обе руки и помахал ими над головой незнакомца. Симочка фыркнула.

— При чем тут смех? — обиделся Сандомирский.

— Позвольте мне, господин, на минутку выйти.

— Нет, я вас не пущу, — сказал пассажир. — Я хочу, чтобы вы нам рассказали о какой-нибудь забавной интрижке с вашими прихожанками.

— Какие прихожанки? Какая может быть интриж..?

При взгляде на револьвер коммивояжер понизил голос и уныло сказал:

— Ну, были интрижки, — стоит об этом говорить...

— Говорите!! — бешено закричал незнакомец.

— Уберите ваш пистолет — тогда расскажу. Ну что вам рассказать... Однажды в меня влюбилась одна итальянская дама...

— Графиня? — спросил пассажир.

— Ну, графиня. Вася, говорит, я тебя так люблю, что ужас. Целовались.

— Нет, вы подробнее... Где вы с ней встретились и как впервые возникло в вас это чувство?..

Представитель фирмы Эванс и Крумбель наморщил лоб и, взглянув с тоской на Четверорукова, продолжал:

— Она была на балу. Такое белое платье с розами. Нас познакомил посланник какой-то. Я говорю: «Ой, графиня, какая вы хорошень..!»

— Что вы путаете, — сурово перебил пассажир. — Разве можно вам, духовному лицу, быть на балу?

— Ну, какой это бал! Маленькая домашняя вечеринка. Она мне говорит: «Джузеппе, я несчастна! Я хотела бы перед вами причаститься».

— Исповедаться! — поправил незнакомец.

— Ну, исповедаться. Хорошо, говорю я. Приезжайте. А она приехала и говорит: «Джузеппе, извините меня, но я вас люблю».

— Ужасно глупый роман! — бесцеремонно заявил незнакомец. — Ваши соседи выслушали его без всякого интереса. Если у папы все такие кардиналы, я ему не завидую!

IV

Он благосклонно взглянул на Четверорукова и вежливо сказал:

— Я не понимаю, как вы можете оставлять вашу жену скучающей, когда у вас есть такой прекрасный дар...

Четвероруков побледнел и робко спросил:

— Ка...кой д-дар?

— Господи! Да пение же! Ведь вы хитрец! Думаете, если около вас висит форменная фуражка, так уж никто и не догадается, что вы знаменитый баритон, пожинавший такие лавры в столицах?..

— Вы ошиблись, — насильственно улыбнулся Четвероруков. — Я чиновник Четвероруков, а это моя жена Симочка...

— Кардинал! — воскликнул незнакомец, переведя дуло револьвера на чиновника. — Как ты думаешь, кто он: чиновник или знаменитый баритон?

Сандомирский злорадно взглянул на Четверорукова и, пожав плечами, сказал:

— Наверное, баритон!

— Видите! Устами кардиналов глаголет истина. Спойте что-нибудь, маэстро! Я вас умоляю.

— Я не умею! — беспомощно пролепетал Четвероруков. — Уверяю вас, у меня голос противный, скрипучий!

— Ах-хах-ха! — засмеялся незнакомец. — Скромность истинного таланта! Прошу вас — пойте!

— Уверяю вас...

— Пойте! Пойте, черт возьми!!!

Четвероруков конфузливо взглянул на нахмуренное лицо жены и, спрятав руки в карманы, робко и фальшиво запел:

По синим волнам океана,
Лишь звезды блеснут в небесах...

Подперев голову рукой, незнакомец внимательно, с интересом, слушал пение. Время от времени он подщелкивал пальцами и подпевал.

— Хорошо поете! Тысяч шесть получаете? Наверное, больше! Знаете, что там ни говори, а музыка смягчает нравы. Не правда ли, кардинал?

— Еще как! — нерешительно сказал Сандомирский.

— Вот видите, господа! Едва вы перестали притворяться, стали сами собою, как настроение ваше улучшилось, и скуки как не бывало. Ведь вы не скучаете?

— Какая тут скука! — вздохнул представитель фирмы Эванс и Крумбель. — Сплошное веселье.

— Я очень рад. Я замечаю, сударыня, что и ваше личико изменило свое выражение. Самое ужасное в жизни, господа, это фальшь, притворство. И если смело, энергично за это взяться — все фальшивое и притворное рассеется. Ведь вы раньше считали, вероятно, этого господина коммивояжером, а вашего мужа чиновником. Считали, может быть, всю жизнь... А я в два приема снял с них личину. Один оказался кардиналом, другой — баритоном. Не правда ли, кардинал?

— Вы говорите, как какая-нибудь книга, — печально сказал Сандомирский.

— И самое ужасное, что ложь во всем. Она окружает нас с пеленок, сопровождает на каждом шагу, мы ею дышим, носим ее на своем лице, на теле. Вот, сударыня, вы одеты в светлое платье, корсет и ботинки с высокими каблуками. Я ненавижу все лживое, обманчивое. Сударыня! Осмелюсь почтительнейше попросить вас — снимите платье! Оно скрывает прекраснейшее, что есть в природе, — тело!

Странный пассажир галантно направил револьвер на мужа Симочки и, глядя на нее в упор, мягко продолжал:

— Будьте добры раздеться... Ведь ваш супруг ничего не будет иметь против этого?..

Супруг Симочки взглянул потускневшими глазами на дуло револьвера и, стуча зубами, отвечал:

— Я... нич... чего... Я сам люб-блю красоту. Немножко раздеться можно, хе... хе...

Глаза Симочки метали молнии. Она с отвращением посмотрела на бледного Четверорукова, на притихшего Сандомирского, энергично вскочила и сказала, истерически смеясь:

— Я тоже люблю красоту и ненавижу трусость. Я для вас разденусь! Прикажите только вашему кардиналу отвернуться.

— Кардинал! — строго сказал незнакомец. — Вам, как духовному лицу, нельзя смотреть на сцену сцен. Закройтесь газетой!

— Симочка... — пролепетал Четвероруков. — Ты... немножко.

— Отстань, без тебя знаю!

Она расстегнула лиф, спустила юбку и, ни на кого не смотря, продолжала раздеваться, бледная, с нахмуренными бровями.

— Не правда ли, я интересная? — задорно сказала она, улыбаясь углами рта. — Если вы желаете меня поцеловать, можете попросить разрешения у мужа — он, вероятно, позволит.

— Баритон! Разреши мне почтительнейше прикоснуться к одной из лучших женщин, которых я знал. Многие считают меня ненормальным, но я разбираюсь в людях!

Четвероруков, молча, с прыгающей нижней челюстью и ужасом в глазах, смотрел на страшного пассажира.

— Сударыня! Он, очевидно, ничего не имеет против. Я почтительнейше поцелую вашу руку...

Поезд замедлял ход, подходя к вокзалу большого губернского города.

— Зачем же руку? — болезненно улыбнулась Симочка. — Мы просто поцелуемся! Ведь я вам нравлюсь?

Незнакомец посмотрел на ее стройные ноги в черных чулках, обнаженные руки и воскликнул:

— Я буду счастлив!

Не сводя с мужа пылающего взгляда, Симочка обняла голыми руками незнакомца и крепко его поцеловала.

Поезд остановился.

Незнакомец поцеловал Симочкину руку, забрал свои вещи и сказал:

— Вы, кардинал, и вы, баритон! Поезд стоит здесь пять минут. Эти пять минут я тоже буду стоять на перроне с револьвером в кармане. Если кто-нибудь из вас выйдет — я застрелю того. Ладно?

— Идите уж себе! — простонал Сандомирский.

Когда поезд двинулся, дверцы купе приоткрылись, и в отверстие просунулась рука кондуктора с запиской. Четвероруков взял ее и с недоумением прочел: «Сознайтесь, что мы не проскучали... Этот оригинальный, но действительный способ сокращать дорожное время имеет еще то преимущество, что всякий показывает себя в натуральную величину. Нас было четверо: дурак, трус, мужественная женщина и я — весельчак, душа общества. Баритон! Поцелуйте от меня кардинала...»

ЛЕКАРСТВО

I

В глаза я называл ее Марьей Павловной, а за глаза Марусей, Мэри и Мышоночком... Сегодня когда я ехал к ней, то думал:

— Соберусь с духом и скажу!.. Если она ответит «да» — в груди моей запоют птицы и жизнь раз навсегда окрасится приятным розовым светом. Если — «нет»... я ничего не скажу, повернусь и выйду из комнаты... И никто никогда не услышит обо мне ни слова. Только, может быть, через несколько лет до нее и всех ее знакомых дойдет слух о странном монахе, известном своей суровой отшельнической жизнью, который поселился в пустыне, одинокий, таинственный, со следами красоты на изможденном лице, благоволящий мужчинам и отворачивающийся от женщин...

Это буду я.

Я вошел к Марье Павловне с сосредоточенно сжатыми губами и лихорадочным блеском в глазах.

— Что это вы такой? — удивленно спросила она.

— Я... должен иметь с вами один... очень важный для меня разговор!

В глазах ее засветились два огонька и — погасли.

— Хорошо. Только я раньше должна съездить в два места... Надеюсь, вы меня проводите?

— Конечно! Как можно задавать такие вопросы?..

— Я сейчас оденусь, заедем в мануфактурный магазин и потом к портнихе. Ладно?

— Хотя бы к двум портнихам!.. — поклонился я.

Она призадумалась.

— К двум? Мне бы, собственно, нужно было к двум, да я не знаю адреса одной. Посидите. Я скоро оденусь. Даша! Сбегай-ка за дворником!

— Зачем это вам дворник понадобился? — изумился я.

— Не могу же я выйти на улицу в одном платье?!

— А разве дворник...

— Это длинная история! Жена дворника, которая служит у каких-то квартирантов, имеет сестру, работающую у той самой портнихи, которой я отдала переделать свою ротонду. Так вот, если жена дворника сообщит сейчас мужу адрес, где работает ее сестра, — я и пошлю Дашу туда за ротондой.

— Так, так. Это и есть тот адрес — один из двух, — которого вы не знаете?

— Что вы путаете! Это тот адрес, который я знаю. Как же иначе я бы нашла его?

— Смешные вы, женщины! — улыбнулся я.

Она показала мне язык и убежала в другую комнату.

Я уселся, взял газету и прочел ее от начала до конца. Марья Павловна одевалась. Я пересмотрел альбом, взял какую-то книгу, прочел три главы. Марья Павловна одевалась! После шестой главы я имел совершенно точные данные, что Марья Павловна еще не совсем одета, а девятая глава заставила ее выглянуть из комнаты и спросить меня:

— Нет ли у вас крючка для застегивания ботинок? Я не могу найти свой. Целый час ищем!.. Почему вы не носите с собой крючка?

— Хорошо, — кротко отвечал я. — Теперь я буду носить его с собой. Во избежание задержек на будущее время я буду также теперь захватывать с собой щипцы для

завивки волос, ротонду и головные шпильки. Если вам нужно еще что-нибудь — вы предупредите.

Она, очевидно, не поняла меня, потому что отвечала:

— Нет, щипцы у меня есть. А вот головные шпильки, если бы вы носили — я иногда брала бы у вас, потому что они страшно теряются.

Вошла Даша и спросила:

— Не видали, барин, крючка для ботинок? Он тут где-то.

— Не знаю. Я пересмотрел альбом, — его там не было. И в книге нет. Может быть, спросить того дворника, который имеет сведения о ротонде?..

И Даша меня тоже не поняла.

— Демьян! — закричала она, выбегая в переднюю, — не видел барышниного крючка?

Я вошел в ту комнату, где одевалась Марья Павловна, и сказал:

— Придется мне поискать.

Из деликатности я старался не смотреть на причесывающуюся Марью Павловну, но она воскликнула:

— Только, ради бога, не смейте на меня смотреть!

Не посмотреть было уже неловко. Я взглянул на нее, на стоящую около нее пару крошечных ботинок, и спросил:

— Вы эти ботинки и хотите надеть?

— Да... только вот крючка нет.

— Крючок можно купить, — отвечал я. — Его можно сделать, найти, украсть, но — увы — он будет вам бесполезен.

— Почему?!

— Потому что ботинки ваши не на пуговицах, а на шнурках.

Она засмеялась.

— Да? А ведь и в самом деле! Даша! Не ищи крючка... А вы, сударь, уходите пока.

Я вышел и от скуки опять взялся за газету. Выглянула Даша и спросила:

— Барин, не видели барышниной брошки?

— Не знаю, где она. Впрочем, вы можете взглянуть на крышу соседнего дома. Не зацепилась ли она каким-нибудь образом за дымовую трубу.

Даша с озабоченным видом взглянула в окно, развела руками и ушла обратно в комнату барышни.

— Там нет... Под ковром смотрели?

— Смотрела. И в умывальнике нет.

— Ах ты ж, Господи!

Я нервно вошел в их комнату и спросил:

— Куда вы ее обыкновенно кладете? Какого она вида?

— Обыкновенно она у меня на груди. А вид у нее такой... знаете, что у лошадей на лапах бывает!

— На каких лапах?

— Ну, такое... Копыто называется...

— Я не помню у вас такой брошки-копыта. Вероятно, подкова?

— Да, да... такое, знаете, что стучит.

— Так бы вы прямо и сказали!.. Такое, что стучит — это всякий догадается. Подкову я помню. Ювелир, значит, уже вставил бирюзу, которая выпала? Помните, мы на той неделе вместе отдавали?

— Нет еще.

— Так она, значит, у ювелира? Скажите, сколько времени затрачиваете вы обыкновенно на поиски в этой комнате вещи, находящейся в другой улице?

— Действительно, она у ювелира! Даша, глупая, не ищи: я совсем и забыла.

Так как я был признан дамами очень сообразительным, толковым парнем, то меня оставили на всякий случай присутствовать при завершении туалета.

Все пошло гладко, если не считать того, что дамы тщетно пытались открыть флакон с духами, проклиная тугую пробку. Мне не стоило большого труда убедить их, что открывать его не имеет смысла, так как он совершенно пуст, и что, вероятно, можно достигнуть больших результатов, если открыть другой флакон, стоявший тут же и по горло наполненный духами.

II

Когда мы приехали в магазин, приказчик галантно поклонился нам, но сейчас же побледнел и взглядом, полным ужаса, уставился на розовую, улыбающуюся Марью Павловну.

— Покажите мне что-нибудь новенькое на блузку. Только — самое новое. Я всегда бываю у вас, и вы всегда показываете мне старое.

— Какой негодяй! — подумал я.

Приказчик полез на какую-то лестницу и стал сбрасывать на прилавок целый водопад разных разноцветных тряпок, — с таким видом, будто бы он хотел устроить между собой и покупательницей крепкую надежную баррикаду, за которой можно укрыться.

В глазах его виднелось отчаяние и покорность судьбе.

— Вот это, сударыня... Прелестный рисунок.

— Этот? Вы смеетесь надо мной! Это бабы платки такие носят.

— Тогда вот! Самый последний крик делямод.

— Этот? Нет, вы, право, надо мной смеетесь!

Я никогда не видел, чтобы так смеялись. На лбу приказчика выступил пот, а губы пересохли и нервно дрожали... Куски материй сыпались с полок дождем, развертывались, забраковывались, скрывались под свежей струей новых материй, которые, отверженные, в свою очередь, стонали под тяжестью все новых и новых кусков, которые то были «аляповаты», то слишком в крупную, то слишком в мелкую клетку... А одна материя подверглась суровому осуждению даже за то, что клетка на ней оказалась слишком средней.

— Вот эта мне нравится, — робко сказал я, указывая на какой-то желтый угол, торчавший снизу.

Приказчик с благодарностью взглянул на меня, но потом вздохнул и сказал:

— Это не материя. Это оберточная бумага из середины куска. Вот это очень недурно, кажется.

— Это? — в искусственном восхищении вскричал я. — Это великолепно.

— Покажите еще что-нибудь в этом роде, — ласково попросила моя спутница.

Приказчик уже не стоял за прилавком, а лежал где-то наверху на огромной груде измятых скомканных кусков. Мы должны были задирать головы, чтобы видеть этого доброго человека, который хриплым голосом кричал нам сверху:

— Вот тоже... рекомендую... Дернье крик делямод...

Образ действий приказчика меня изумлял.

Что могло удержать его от одного незаметного жеста руки, которым можно было бы опрокинуть на голову покупательницы часть этой груды «чего-нибудь на блузку»... Откапывание погребенной под развалинами покупательницы и вся последующая веселая суматоха дали бы приказчику некоторую возможность передохнуть и собраться с силами, а покупательница на собственной голове и плечах убедилась бы, что бывает очень неудобно, когда «что-нибудь на блузку» весит от восьми до десяти пудов.

Последние «крики делямод», доносившиеся сверху, делались все тише и тише. Я понял, почему приказчик, увидев мою спутницу, побледнел от ужаса, а моя спутница в это время мягким, как серебряный бубенчик, голосом говорила:

— Этот цвет немного темен или, вернее, слишком для меня светел... Кажется, ничего я не подберу.

Она вздохнула и встала, ласково кивнув головой извивавшемуся где-то наверху телу приказчика.

— Мы уходим? — спросил я. — В таком случае, заверните мне, господин приказчик, вот этот кусок и этот... и этот!

— Для чего это вам? — изумилась Марья Павловна.

Я хотел сказать ей, что приказчик в самом худшем случае заслужил не этой бессмысленной для меня покупки трех кусков, а пожизненной пенсии и воспитания детей на

казенный счет. Впрочем, едва ли ему нужна была пожизненная пенсия, так как, по своему наружному виду, бедняга мог дотянуть не дольше, чем до конца текущей недели.

III

Мы вышли из магазина — я, нагруженный громадным свертком, она, пустая, с победоносно веселым видом — и сели на извозчика.

— Ну? — спросил я.

— Ну?

— Куда же ехать?!

— Да к портнихе. Ведь я же говорила.

— Извозчик, к портнихе.

— На какую улицу прикажете?

— На какую улицу? — спросил я, оборачиваясь к своей спутнице.

— Такая... длинная. Я позабыла, право, как она называется.

— А, длинная! Так бы вы и сказали. Вероятно, еще по бокам стоят дома и у каждых ворот сидит дворник? Да?

— Да, да. Что-то в этом роде. Там еще есть четырехэтажный дом с такими воротами.

— С какими?

Она вытянула вперед пальцы и неопределенно пошевелила ими.

— Вот с такими, знаете?..

— Ах, вот такие ворота? Очень красивые. А улицы вы так и не знаете?

— Да я знала, да позабыла. Помню, сейчас нужно вправо завернуть.

— Извозчик! Направо.

— Да куда он едет?! Не туда! Направо!

— Он и едет направо!!

— Тогда, значит, налево.

— Эти извозчики вечно путают, — сурово проворчал я. — Дело в том, что у извозчиков и у прочих мужчин правая сторона случайно совпадает с правой рукой, а у женщин она совпадает — с левой! И мужчины так тупы, что не могут к этому привыкнуть.

— Вообще, вы, мужчины... — критически сказала Марья Павловна и улыбнулась с сознанием собственного превосходства.

Мы повернули на какую-то улицу и поскакали по ней, причем я бросал проницательные взгляды на все дома с «такими» воротами. А моя спутница в это время украдкой перекрестилась.

— Что это на вас напала такая богомольность? — пожал я плечами. — Не хотите ли вы посвятить себя Богу?

— Нет, — сказала она. — Я так узнаю, где правая сторона.

— То есть... как же это?

— Да ведь крестятся правой рукой! Я перекрещусь и думаю: «ах, вот она где, правая сторона».

— Изумительно просто! И дорогу можно находить, и грехи в то же время замаливать. Если бы все знали этот остроумный способ — не было бы заблудившихся и грешных людей.

— Вы льстите мне! — кокетливо хлопнула она меня перчаткой по руке. — Да это и не я придумала. Подруга.

— Богато одаренная натура, — одобрительно сказал я.

IV

Ввиду громадного количества домов с «такими воротами» портниху мы не нашли.

Когда через час ехали обратно, Марья Павловна вспомнила:

— А что вы мне хотели сказать такое серьезное? Помните, давеча дома говорили? Еще говорили, что это для вас очень важно!..

И я не назвал ее мысленно ни Мэри, ни Мышонком, а зевнул и сказал:

— Ах, да! Я хотел спросить только: где вы покупаете такое прекрасное печенье к чаю?

И с этого момента пустыня лишилась одного из лучших отшельников, которые когда-либо спасались в ней...

ЛОЖЬ

Трудно понять китайцев и женщин.

Я знал китайцев, которые два-три года терпеливо просиживали над кусочком слоновой кости величиной с орех. Из этого бесформенного куска китаец с помощью целой армии крохотных ножичков и пилочек вырезывал корабль — чудо хитроумия и терпения: корабль имел все снасти, паруса, нес на себе соответствующее количество команды, причем каждый из матросов был величиной с маковое зерно, а канаты были так тонки, что даже не отбрасывали тени, — и все это было ни к чему... Не говоря уже о том, что на таком судне нельзя было сделать самой незначительной поездки, — сам корабль был настолько хрупок и непрочен, что одно легкое нажатие ладони уничтожало сатанинский труд глупого китайца.

Женская ложь часто напоминает мне китайский корабль величиной с орех — масса терпения, хитрости — и все это совершенно бесцельно, безрезультатно, все гибнет от простого прикосновения.

* * *

Чтение пьесы было назначено в 12 часов ночи.

Я приехал немного раньше и, куря сигару, убивал ленивое время в болтовне с хозяином дома адвокатом Лязговым.

Вскоре после меня в кабинет, где мы сидели, влетела розовая, оживленная жена Лязгова, которую час тому назад я мельком видел в театре сидящей рядом с нашей общей знакомой Таней Черножуковой.

— Что же это, — весело вскричала жена Лязгова.

— Около двенадцати, а публики еще нет?!

— Подойдут, — сказал Лязгов. — Откуда ты, Симочка?

— Я... была на катке, что на Бассейной, с сестрой Тарского.

Медленно, осторожно повернулся я в кресле и посмотрел в лицо Серафимы Петровны.

Зачем она солгала? Что это значит?

Я задумался.

Зачем она солгала? Трудно предположить, что здесь был замешан любовник... В театре она все время сидела с Таней Черножуковой и из театра, судя по времени, прямо поехала домой. Значит, она хотела скрыть или свое пребывание в театре, или — встречу с Таней Черножуковой.

Тут же я вспомнил, что Лязгов раза два-три при мне просил жену реже встречаться с Черножуковой, которая, по его словам, была глупой, напыщенной дурой и имела на жену дурное влияние... И тут же я подивился: какая пустяковая, ничтожная причина может иногда заставить женщину солгать...

* * *

Приехал студент Конякин. Поздоровавшись с нами, он обернулся к жене Лязгова и спросил:

— Ну, как сегодняшняя пьеса в театре... Интересна?

Серафима Петровна удивленно вскинула плечами.

— С чего вы взяли, что я знаю об этом? Я же не была в театре.

— Как же не были? А я заезжал к Черножуковым — мне сказали, что вы с Татьяной Викторовной уехали в театр.

Серафима Петровна опустила голову и, разглаживая юбку на коленях, усмехнулась:

— В таком случае я не виновата, что Таня такая глупая; когда она уезжала из дому, то могла солгать как-нибудь иначе...

Лязгов, заинтересованный, взглянул на жену:

— Почему она должна была солгать?

— Неужели ты не догадываешься? Наверное, поехала к своему поэту!

Студент Конякин живо обернулся к Серафиме Петровне.

— К поэту? К Гагарову? Но этого не может быть! Гагаров на днях уехал в Москву, и я сам его провожал.

Серафима Петровна упрямо качнула головой и с видом человека, прыгающего в пропасть, сказала:

— А он все-таки здесь!

— Не понимаю... — пожал плечами студент Конякин.

— Мы с Гагаровым друзья, и он, если бы вернулся, первым долгом известил бы меня.

— Он, кажется, скрывается, — постукивая носком ботинка о ковер, сообщила Серафима Петровна. — За ним следят.

Последняя фраза, очевидно, была сказана просто так, чтобы прекратить скользкий разговор о Гагарове. Но студент Конякин забеспокоился.

— Следят??! Кто следит?

— Эти, вот... Сыщики.

— Позвольте, Серафима Петровна... Вы говорите что-то странное: с какой стати сыщикам следить за Гагаровым, когда он не революционер и политикой никогда не занимался?!

Серафима Петровна окинула студента враждебным взглядом и, проведя языком по запекшимся губам, раздельно ответила:

— Не занимался, а теперь занимается. Впрочем, что мы все: Гагаров да Гагаров. Хотите, господа, чаю?

* * *

Пришел еще один гость — газетный рецензент Блюхин.

— Мороз, — заявил он, — а хорошо! Холодно до гадости. Я сейчас часа два на коньках катался. Прекрасный на Бассейной каток.

— А жена тоже сейчас только оттуда, — прихлебывая чай из стакана, сообщил Лязгов. — Встретились?

— Что вы говорите?! — изумился Блюхин. — Я все время катался и вас, Серафима Петровна, не видел.

Серафима Петровна улыбнулась.

— Однако я там была. С Марьей Александровной Шемшуриной.

— Удивительно... Ни вас, ни ее я не видел. Это тем более странно, что каток ведь крошечный, — все как на ладони.

— Мы больше сидели все... около музыки, — сказала Серафима Петровна. — У меня винт на коньке расшатался.

— Ах так! Хотите, я вам сейчас исправлю? Я мастер на эти дела. Где он у вас?

Нога нервно застучала по ковру.

— Я уже отдала его слесарю.

— Как же это ты ухитрилась отдать слесарю, когда теперь ночь? — спросил Лязгов.

Серафима Петровна рассердилась.

— Так и отдала! Что ты пристал? Слесарная по случаю срочной работы была открыта. Я и отдала. Слесаря Матвеем зовут.

* * *

Наконец, явился давно ожидаемый драматург Селиванский с пьесой, свернутой в трубку и перевязанной ленточкой.

— Извиняюсь, что опоздал, — раскланялся он. — Задержал прекрасный пол.

— На драматурга большой спрос, — улыбнулся Лязгов. — Кто же это тебя задержал?

— Шемшурина, Марья Александровна. Читал ей пьесу.

Лязгов захлопал в ладоши.

— Соврал, соврал драматург! Драматург скрывает свои любовные похождения! Никакой Шемшуриной ты не мог читать пьесу!

— Как не читал? — обводя компанию недоуменным, подозрительным взглядом, вскричал Селиванский. — Читал! Именно ей читал.

— Ха-ха! — засмеялся Лязгов. — Скажи же ему, Симочка, что он попался с поличным: ведь Шемшурина была с тобой на катке.

— Да, она со мной была, — кивнула головой Серафима Петровна, осматривая всех нас холодным взглядом.

— Когда?! Я с половины девятого до двенадцати сидел у нее и читал свою «Комету».

— Вы что-нибудь спутали, — пожала плечами Серафима Петровна.

— Что? Что я мог спутать? Часы я мог спутать, Шемшурину мог спутать с кем-нибудь или свою пьесу с отрывным календарем?! Как так — спутать?

— Хотите чаю? — предложила Серафима Петровна.

— Да нет, разберемся: когда Шемшурина была с вами на катке?

— Часов в десять, одиннадцать.

Драматург всплеснул руками.

— Так поздравляю вас: в это самое время я читал ей дома пьесу.

Серафима Петровна подняла язвительно одну бровь.

— Да? Может быть, на свете существуют две Шемшуриных? Или я незнакомую даму приняла за Марью Александровну? Или, может, я была на катке вчера. Ха-ха!..

— Ничего не понимаю! — изумился Селиванский.

— То-то и оно, — засмеялась Серафима Петровна. — То-то и оно! Ах, Селиванский, Селиванский...

Селиванский пожал плечами и стал разворачивать рукопись.

Когда мы переходили в гостиную, я задержался на минуту в кабинете и, сделав рукой знак Серафиме Петровне, остался с ней наедине.

— Вы сегодня были на катке? — спросил я равнодушно.

— Да. С Шемшуриной.

— А я вас в театре сегодня видел. С Таней Черножуковой.

Она вспыхнула.

— Не может быть. Что же, я лгу, что ли?

— Конечно, лжете. Я вас прекрасно видел.

— Вы приняли за меня кого-нибудь другого...

— Нет. Вы лжете неумело, впутываете массу лиц, попадаетесь и опять нагромождаете одну ложь на другую... Для чего вы солгали мужу о катке?

Ее нога застучала по ковру.

— Он не любит, когда я встречаюсь с Таней.

— А я сейчас пойду и скажу всем, что видел вас с Таней в театре.

Она схватила меня за руку, испуганная, с трясущимися губами.

— Вы этого не сделаете?!

— Отчего же не сделать?.. Сделаю!

— Ну, милый, ну, хороший... Вы не скажете... да? Ведь не скажете?

— Скажу.

Она вскинула свои руки мне на плечи, крепко поцеловала меня и, прижимаясь, прерывисто прошептала:

— А теперь не скажете? Нет?

* * *

После чтения драмы — ужинали. Серафима Петровна все время упорно избегала моего взгляда и держалась около мужа. Среди разговора она спросила его:

— А где ты был сегодня вечером? Тебя ведь не было с трех часов.

Я с любопытством ждал ответа. Лязгов, когда мы были вдвоем в кабинете, откровенно рассказал мне, что этот день он провел довольно беспутно: из Одессы к нему приехала знакомая француженка, кафешантанная певица, с которой он обедал у Контана, в кабинете; после обеда катались на автомобиле, потом он был у нее в Гранд-Отеле, а вечером завез ее в «Буфф», где и оставил.

— Где ты был сегодня?

Лязгов обернулся к жене и, подумав несколько секунд, ответил:

— Я был у Контана. Обедали. Один клиент из Одессы с женой француженкой и я. Потом я заехал за моей доверительницей по Усачевскому делу, и мы разъезжали в ее автомобиле — она очень богатая — по делу об освобождении имения от описи. Затем я был в Гранд-Отеле у одного помещика, а вечером заехал на минутку в «Буфф» повидаться с знакомым. Вот и все.

Я улыбнулся про себя и подумал: «Да. Вот это ложь!»

ВИЗИТЕР. ОПЫТ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Всякий, кому приходилось видеть визитера в начале его хлопотливой деятельности, знает — какое это чистенькое, надушенное, сверкающее белизной белья и лаком ботинок существо!

Перед выходом из дому визитер долго стоит у зеркала и приглаживает несколько волосинок, отставших у уха; он долго возится над тем, чтобы кончик его белого галстука не заскакивал за край жилета, и заботливо удаляет крошечную невинную пылинку, развязно усевшуюся на носке ботинка. Пушинка на рукаве фрака приводит его в нервный трепет. Она сбрасывается с рукава так энергично, что даже производит при падении легкий стук. Двумя пальцами вытаскивается из жилетного кармана маленький кончик красного шелкового платочка — ровно настолько, чтобы на общем фоне черного и белого алело необходимое декоративное пятнышко.

Вот что проделывает визитер, собираясь уходить.

Нет нужды, что на пятом визите фрак его будет обсыпан пудрой, вымазан горчицей, и на носке ботинка уютно прикурнет прилипшая головка кильки; а на десятом визите галстук лихо передвинется набекрень, и пряжка его будет весело болтаться на мужественной груди визитера, а в красном шелковом платочке, засунутом за жилет, будет завернут плохо прожеванный кусок колбасы, не могший проползти в сузившееся визитерово горло.

Нет нужды! Визитер, одеваясь дома, о будущем не думает.

Все его мысли и мироощущение — в настоящем.

* * *

Явившись в знакомый дом, визитер первым долгом бросается всех целовать, преисполненный нежной любви и ласки к прекрасному человечеству.

Мужчины по большей части переносят поцелуи визитера стоически. Лишь некоторые отрывают визитера после первого же поцелуя, так что следующие два — приходятся в воздух.

Визитер этим не смущается: воздух так воздух — он поцелует и воздух. И воздух хороший человек.

С дамами визитеру приходится повозиться.

— Ах, я, простите, не целуюсь.

— Да почему?

— Ах, нет, нет — как можно.

— Помилуйте, такой праздник... Нужно обязательно поцеловаться.

— У меня принцип — не целоваться. Ах, ах!

У многих дам единственный принцип в жизни — не целоваться на Пасху. Во все остальное время их легкомысленной жизни они целуются без всякого порядка и смы-

сла, и тому же визитеру легче добиться прикосновения женских губ зимой, осенью и летом, чем на Пасху.

Если дама продолжает отказываться, визитер, обуреваемый высокими порывами, набрасывается на даму и, скрутив ей руки, целует ее в лопатку, в гребенку, торчащую из волос, и в тот же безропотный воздух.

Обыкновенно неприхотливый визитер удовлетворяется этим слабым выражением христианской любви, и его немедленно ведут к столу.

— Закусите-ка... Рюмку рябиновой?

В первые два визита визитер обыкновенно разбирается в напитках и закусках чрезвычайно тонко: он сначала выпьет померанцевой и закусит кусочком икры; потом зубровки и — ветчины; напоследок — рюмку коньяку и отведает кулича.

От коньяку поморщится, а кулич похвалит.

Следующие визиты усыпляют в визитере чувство излишней изысканности: сначала он пьет какой-нибудь ликер, закусывает омаром, а потом переходит на простую водку, заедая ее сахарным розаном с кулича.

И чем дальше — тем вкус его делается менее изысканным, но более прихотливым, идя рука об руку с рассеянностью.

Налитое по ошибке, вместо белого вина, прованское масло он хочет закусить ветчиной; но рука его попадает немного дальше, отщипывает кусок разноцветной бумажной бахромы с окорока и отправляет это красивое произведение хозяйского сынишки — в рот.

— Хорошая семга, — одобрительно кивает головой визитер, прожевывая бумагу. — По... чем продавали?

Потом он неистово хохочет сам над собой, объясняя всем, как он ошибся, сказав вместо «покупали» — «продавали»...

Он замечает свои ошибки и спешит сознаться в них. Это его бесспорное достоинство. И хохочет он с открытым ртом, из которого торчит полусъеденная разноцветная бумага, а галстук уже успел передвинуться, и пряжка как живая пляшет на груди, в такт смеху веселого хозяина.

* * *

На первых визитах хозяева дома еще делают кое-какие попытки завязать с визитером беседу. Прием один и тот же:

— В какой церкви были у заутрени?

— В соборе.

— А где разговлялись?

— Дома.

— А хорошие у вас куличи вышли?

— Хорошие.

— А летом вы на даче?

— На даче.

— Как вообще поживаете?

— Да ничего. Ну, мне пора.

— Да посидите еще.

— Нет, нет, что вы!

Последующие визиты делают визитера человеком очень оригинальным, полным свежих неожиданностей, но вести с ним обыкновенную светскую беседу делается чрезвычайно затруднительным.

На вопрос:

— Где были у заутрени?

Он, зрело обдумав свой ответ, говорит:

— Четырнадцать. Да еще восемь позавчера.

— Что — восемь?

— Высокий такой блондин. Живи, говорит, у меня — чего там!

— Что?

— Вот вам и что! Его из печки вытащили, а он пополам. Тесто жидко замесили, что ли. Вы позволите еще рюмочку ветчины?

На самом последнем визите визитер уже не говорит, а только иронически и подозрительно посматривает на всех исподлобья.

В этот период своей жизни он легко и безболезненно отвергает все завоевания тысячелетней культуры и цивилизации, с такой любовью созданной предками. Он может неожиданно расхохотаться; или начнет с аппетитом раскусывать хрустальный бокал; или будет пытаться влезть в рояль, с категорической, не допускающей возражений просьбой:

— Разбудить его в половине шестнадцатого.

Закончив все визиты, визитер долго бродит по улицам, полный смутных, неопределенных мыслей. Редко кому приходилось видеть визитера в таком переходном состоянии, но автору этой статьи однажды удалось подсмотреть, как вел себя в вышеприведенном случае визитер.

Он брел неверными шагами вдоль улицы, изредка одобрительно похлопывая по стенам и заглядывая в отверстия водосточных труб.

Он был в таком состоянии, что на главное не обращал внимания... Вызывали к себе его интерес только пустяки.

Шагая по улице, он увидел лежащую на своем пути спичку. Он изумленно остановился над ней и застыл в напряженной позе.

Потом, осторожно подняв ее, подошел к дремавшему дворнику у ворот.

— Человек! Где у вас склад ненужных отбросов?

— Чего-с?

— Укажите такое место, где бы я мог положить этот предмет, мешающий правильному движению пассажиров.

— Да бросьте ее, — сказал, засмеявшись, дворник.

— Чего там.

Он взял из рук визитера спичку и бросил ее на землю.

— Нет, милый дворник, ты этого не делай. Зачем ты это делаешь? Это делать нехорошо.

— Да кому же она мешает? — сказал дворник.

— Тут люди ходят. Зацепится кто-нибудь, упадет, сломает ногу. Ему больно будет... Умрет... без... миропомазания...

Ось нагнулся, поднял снова спичку, вырыл под воротами пальцем ямку, облегченно вздохнул.

— Так-то оно и спокойнее... Прощайте, Никифор.

Визитер побрел дальше, остановился у какого-то подъезда и сел на ступеньку.

Рассеянный взгляд его упал на ботинок, на котором присохла оброненная им в предпоследнем доме килька.

Визитер снял ее с ботинка и положил на ладонь.

— Бедненькая! — сказал он, глотая слезы. — Неужели ты уже умерла? Нет! Ты еще будешь жить. Я тебя возьму к себе, и там в тепле и холе ты проживешь остаток дней твоих. О, жестокие, безнравственные люди!.. Господи, Боже ты мой! За что, спрашивается? За что?

И он, раскачиваясь, баюкал пыльную кильку на руках, гладил ее, целовал и отогревал своим дыханием.

Потом вынул шелковый платочек, разостлал его на коленях, положил в него кильку и, с трудом поднявшись, сунул все это в карман белого жилета.

Побрел, пошатываясь, и я потерял его из вида.

* * *

Один знакомый рассказывал мне прелюбопытную историю, касающуюся пасхальных визитов.

Она совершенно достоверна, так как знакомый этот служит чиновником в пробирной палатке и имеет в Петербурге двухэтажный дом.

Я не думаю, что такой человек мог бы выдумать свою историю, или раздуть ее, или изукрасить.

Да он был и слишком глуп для этого.

Кто знает хорошо институт пасхальных визитов — тому эта история не покажется особенно странной и небывалой.

* * *

Вот что он рассказал:

Однажды перед Пасхой пришлось ему поехать по делам из Петербурга в Харьков.

Город этот был незнаком ему, и он всю страстную субботу проскучал. На другой день утром, когда проснулся, солнце светило в окно и около его кровати лежал тщательно вычищенный фрак.

Чиновник пробирной палатки сладко и радостно потянулся на кровати и сказал сам себе:

«Нынче нужно делать визиты — первый день Пасхи, слава Богу! Пора бы одеваться».

Он встал, оделся, побрился и вышел на улицу. На улице сторговался с извозчиком, сел в пролетку, вынул записную книжку с разными адресами и заглянул в нее.

— Вези меня на Дворянскую, номер 7.

Приехал на Дворянскую, отыскал, как и значилось в книжке, квартиру номер 4 и позвонил.

— Дома? — спросил он горничную. — Принимают? Христос Воскресе.

— Пожалуйте-с! Воистину.

Чиновник был радостно встречен хозяином дома, расцеловался с ним и подошел к хозяйке с протянутыми губами.

— Да я не христосуюсь с мужчинами, — кокетливо заявила хозяйка.

— Да почему?

— Ах, нет, нет — как можно!

Чиновник все-таки поцеловал сначала какой-то рюш у нее на шее, потом серьгу в ухе, потом воздух, а потом все трое, весело смеясь, направились к столу...

— Рюмочку зубровки! Попробуйте нашего кулича — нынче, кажется, удачные.

— Попробую! Да, кулич прекрасный..

— Где были у заутрени? — спросила хозяйка.

— В университетской церкви.

— А где разговлялись?

— Дома.

— Летом на даче думаете?

— На даче. Ну, мне пора.

— Да посидите еще! В кои-то веки соберетесь.

— Нет, нет, что вы.

Чиновник вышел, сел на извозчика и заглянул в книжку.

— Московская, 12, квартира 20.

Извозчик привез. Чиновник позвонил, похристосовался с плутоватой горничной, расцеловался с хозяином, был несказанно удивлен отказом хозяйки от христосования и потом пил доппель-кюммель.

— Где были у заутрени?

— В университетской церкви.

— Летом на даче?

— Да, ну, мне пора. До свиданья-с.

— Куда же вы?

Третье место, куда поехал извозчик, было:

— Ивановская, 9, квартира 6.

После обычного христосования и двух рюмок коньяку хозяйка спросила:

— Где были у заутрени?

— В университетской. Хотел было в Исаакиевский собор, да далеко, знаете, от меня.

— Я думаю, — сказала хозяйка.

— Да, — подтвердил чиновник. — Минут сорок нужно ехать.

— Откуда?!!

— Да от меня!

— Помилуйте, что вы говорите!.. Как же от Харькова до Петербурга сорок минут езды?

Чиновник встал, потрясенный до самого дна.

— Это... какой город?

Хозяйка засмеялась.

— Вот тебе раз! Человек в Харькове сидит на Ивановской улице у Сверчковых, — да не знает, что это за город.

— Так вы Сверчковы? — вскричал чиновник.

— А у меня в книжке записан такой адрес: Ивановская, 9, квартира 6 — Чаплыгина. Вы, значит, не Чаплыгины?

— Да нет же — мы Сверчковы.

— Тогда извините, — растерялся чиновник. — Всего лучшего. Я уж пойду.

— Куда же вы — посидите!

* * *

— Понимаете, — говорил мне, рассказывая об этом случае, чиновник, — экая чепуха получилась. И в Петербурге, и в Харькове есть и Московская, и Дворянская, и Ивановская. Я по петербургским адресам и ездил.

— Да как же они вас принимали, незнакомого? — спросил я удивленно.

— Да им-то что?.. Приехал визитер, во фраке, христосуется, был у заутрени, пьет водку — значит, все как нужно, все как следует... А мое тоже положение — разве все знакомые лица упомнишь? Не разговорись я об Исаакии — так бы никто ничего и не заметил.

* * *

Жизнь посылает нам удивительные хитросплетения и устраивает самые замысловатые комбинации.

Если история, рассказанная выше, и кажется невероятной, то повторяю: не мог же чиновник пробирной палатки, владелец двухэтажного дома, выдумать ее?!

АРКАДІЙ АВЕРЧЕНКО

КРУГИ ПО ВОДѢ

БИБЛІОТЕКА САТИРИКОНА ИЗДАНІЕМ Г. КОРНФЕЛЬДА 1912

Посвящаю Александре Яковлевне Садовской

ОТ АВТОРА

Я расскажу все как было.

— Как вы предполагаете назвать эту книгу? — спросил мой издатель.

— Я подумаю, — отвечал я. — Через три дня дам вам ответ.

Через три дня, встретившись со мной, издатель вторично задал тот же вопрос.

Я поднял глаза к небу и тихо сказал:

— Жаркое, пышное лето... Медленная, зеркальная река, обрамленная дремлющей зеленью... Я стою на берегу и один за другим бросаю в воду круглые камушки... С громким всплеском они падают, исчезают, но от них бегут круги... Сначала маленький круг — резкая, энергичная морщина на зеркальной глади... За маленьким — больший, тоже четкий и энергичный, а за ним все более и более широкие, но уже нежные, незаметные... какие-то умиротворенные и кроткие... И последний огромный круг, замирающий где-то за пределами моего зрения, совсем неуловимый, как улыбка на лице умирающего... Я бросаю второй, третий камушек. Такие же ожерелья появляются вокруг того места, где он утонул, — ширятся, расплываются и умирают. Вернее, не умирают, — они все идут, идут крошечными, микроскопическими волнами, но простой, грубый глаз их не увидит...

— Все это так, — перебил издатель, этот человек с типографской машиной вместо сердца, — но все-таки как же вы назовете книгу?

— Мои рассказы, — задумчиво сказал я, — те же круги по воде... Сравнение головы читателя с рекой, в которую бросаешь камни, немного смелое, но я прибегаю к этому сравнению, чтобы вы меня поняли... Мои рассказы так же должны западать в читательские головы и, сделав в читательской памяти резкий, энергичный круг, постепенно расплыться на всю читательскую жизнь нежными, еле уловимыми волнами.

— Пожалуй, это для читателя слишком сложно, — возразил издатель. — Он не сумеет всего этого проделать.

— Чего проделать? Ему ничего не надо и проделывать. Это сделается само собой...

— Значит, вы говорите, что берете книгу, бросаете ее читателю в голову, и он...

— Да нет же! — нетерпеливо сказал я. — Просто книга выходит обыкновенным способом, но я даю ей такое название, которое должно иметь некоторую логическую связь с ее содержанием.

— Я немного не понял... как название? «Широкая, пышная река летом, в которую вы...»

— Ах, Боже мой! Я назову книгу: «Круги по воде». При чем тут пышная река летом?

Понял ли меня этот человек, с фальцовочной машиной вместо души, презиравший всякое первое издание, еле раскланивавшийся с третьим и подобострастный, суетливый перед десятым? Я думаю, нет.

Тем не менее он сказал:

— Как хотите. Значит, круги по воде? Я, значит, сегодня же заказываю обложку художнику.

* * *

Конечно, кроме себя, никого винить мне не следует. Нужно было обстоятельно потолковать с художником, рисовавшим обложку, чего я, за недосугом, не сделал.

Увидев эту обложку уже в печати, я зашатался... У меня потемнело в глазах и из груди вырвался стон.

— Что это такое?! — закричал я, сдерживая готовые хлынуть слезы.

— Круги на воде, — самодовольно сказал художник. — Не думаете ли вы, что их маловато? Я на них не скупился.

— Это круги на воде! — застонал я. — Совсем другая мысль!.. А мне нужно было не «на», а «по»! Слушайте!

Я, обессиленный, опустился на стул и тихо начал:

— Жаркое, пышное лето... Медленная, зеркальная река... Я стою на берегу и один за другим бросаю в воду камушки... И от них бегут круги...

— Да... — неуверенно сказал художник. — Те круги иначе рисуются... Другой сорт... Впрочем, знаете что? Оставьте так.

— Так?! А моя мысль, моя прекрасная аллегория...

— Так тоже получается аллегория... Вы выпустили книгу. Для всякого человека, которого гнетет тоска, это тот спасательный круг, за который он должен ухватиться...

— Вы мне не льстите? — подозрительно спросил я.

— Что вы! Прекрасная книга! Прямо спасение утопающих.

— Ну вы думаете, прекрасная? — улыбнулся я сквозь слезы.

— Она-то? Поразительная книга!

Это меня немного успокоило.

——

Я счел необходимым предпослать читателям это краткое объяснение, боясь, чтобы они не заподозрили меня в отсутствии сообразительности.

Виноват художник.

Нет более прямолинейных и «не от мира сего людей», чем художники.

Недавно я попросил того же самого художника нарисовать обложку для «альманаха мелочей» под названием. «Пауки в банке».

— Хорошо, понимаю! — сказал он, вдумавшись в заглавие. — Это будет очень забавно: изобразить помещение банка и за конторками сидят этакие пауки, водя лапами по книгам...

— Боже вас сохрани! Не банк, а банка. Пауки в банке! Аллегория собрания ядовитых мелочей!

Нет более прямолинейных и стремительных людей, чем художники.

Попробуйте поручить одному из них нарисовать, не объяснив как следует, зайчиков на стене. Будьте уверены, что он аккуратно развесит на стене головой вниз десяток мертвых зайцев и будет утверждать потом, что тут есть тоже аллегория.

Автор.

ДВУЛИЧНЫЙ МАЛЬЧИШКА

I

Авторы уголовных романов и их читатели не поняли бы странной двойственной натуры мальчишки Алешки — натуры, которая в свое время привела меня в восхищение и возмутила меня.

Авторы уголовных романов и их читатели прославились своей прямолинейностью, которая обязывала их не заниматься *смешанными* типами. Злодеи должны быть злодеями, добрые — добрыми, а если капелька качеств первых попадала на вторых или наоборот — все кушанье считалось испорченным... Злодей — должен быть злодеем без всяких уверток и ухищрений... Он мог раскаяться, но только в самом конце, и то при условии, что, в сущности, он и раньше был симпатичным человеком. Добрый тоже мог стать в конце романа злым, бессердечным, но тоже при условии, что автор опрокинет на него целую гору несчастий, людской несправедливости и тягчайших разочарований, которые озлобят его. Ни в одном из таких романов я не встречал жизненного простого типа, который сегодня поколотил жену, а завтра подаст гривенник нищему, утром прилежно возится у станка, штампуя фальшивые деньги, а вечером вступится за избиваемого еврея.

Человек — более сложный механизм, чем, например, испанский кинжал, вся жизнь которого сводится только к двум чередующимся поступкам: он или режет кому-нибудь горло, или не режет.

Попадись автору уголовных романов Алешка — он повертел, повертел бы его, понюхал, лизнул бы языком и равнодушно отбросил бы прочь.

— Черт знает что такое!.. Ни рыба ни мясо.

В жизни не так много типов, чтобы ими разбрасываться...

Я подбираю брошенного разборчивым романистом Алешку и присваиваю его себе.

Об Алешке я сначала думал, как о прекрасном, тихом, благонравном мальчике, который воды не замутит. В этом убеждали меня все его домашние поступки, все комнатное поведение, за которым я мог следить не сходя с места.

Мы жили в самых маленьких, самых дешевых и самых скверных меблированных комнатах. Я — в одной комнате, Алешка с безногой матерью — в другой.

Тонкая перегородка разделяла нас.

Я так часто слышал мягкий, кроткий Алешкин голос:

— Мама! Хочешь, еще чаю налью? Отрезать еще кусочек колбасы?

— Спасибо, милый.

— Книжку тебе еще почитать?

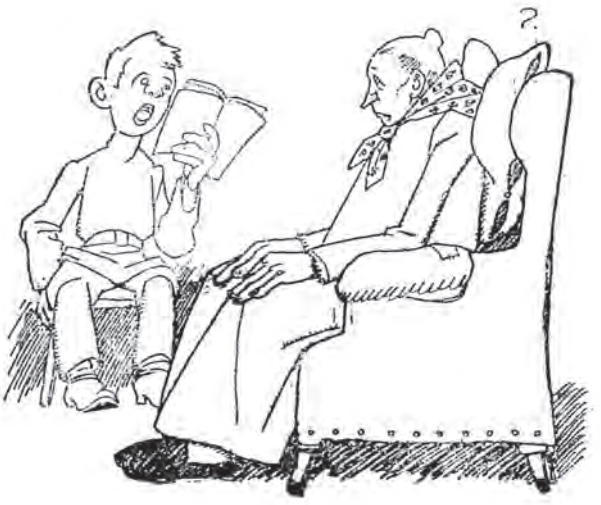
— Не надо. Я устала...

— Опять ноги болят? — слышался тревожный голос доброго малютки. — Господи! Вот несчастье так несчастье!..

— Ну ничего. Лишь бы ты, крошка, был здоров.

— Ну-с, — важно говорил Алешка, — в таком случае ты спи, а я напишу еще кое-какие письма.

Было ему около десяти лет.



— Мама! Хочешь, еще чаю налью? Отрезать еще кусочек колбасы?

II

Однажды я встретился с ним в коридоре.

— Тебя Алешкой зовут? — спросил я вежливо, ради первого знакомства, дергая его за ухо.

— Алешкой. А что?

— Да ничего. Ну, здравствуй. У тебя мать больная?

— Да, брат, мать больная. С ногами у нее неладно. Не работают.

— Плохо ваше дело, Алешка. А деньги есть?

— В сущности, — сказал он, морща лоб, — денег нет. Тем и живем, что я заработаю.

— А чем ты зарабатываешь?

Посмотрев на меня снизу вверх (я был в три раза выше его), он с любопытством спросил:

— Тебе там наверху не страшно?

— Нет. А что?

— Голова не кружится?

Я засмеялся.

— Нет, брат. Все благополучно.

— Ну и слава Богу! До свиданья-с.

Он подпрыгнул, ударил себя пятками по спине и убежал в комнату матери.

Эти нелепые замашки в таком благонравном мальчике удивили меня. С матерью он был совсем другим. Я понял, что хитрый мальчишка надевает личину в том или другом случае, и решил при первой возможности разоблачить его.

Но он был дьявольски хитер. Я несколько раз ловил его в коридоре, подслушивал его разговоры с матерью — все было напрасно. При встречах со мной он был юмори-

стически нахален, подмигивал мне, хохотал, а сидя с матерью, трогательно ухаживал за ней, читал ей книги и в конце вечера неизменно говорил с видом заправского молодого человека:

— Ну-с, а мне нужно написать кое-какие письма.

Я приставал к нему несколько раз с расспросами:

— Что это за письма?

Он был непроницаем.

Однажды я решился на жестокость.

— Не хочешь говорить мне, — равнодушно процедил я, — и не надо. Я и сам знаю, кому эти письма...

— Ну? Кому? — тревожно спросил он.

— Разным благодетелям. Ты каждый день с этими письмами пропадаешь на несколько часов... Наверное, таскаешься по благотворителям и клянчишь.

— Дурак ты, — сказал он угрюмо. — Если бы я просил милостыни, то и у тебя просил бы. А я заикнулся тебе хоть раз? Нет.

И добавил с напыщенно-гордым видом:

— Не беспокойся, брат... Я не позволю себе просить милостыни... Не таковский!

Должен признаться: я был крайне заинтересован таинственным Алешкой. Сказывались мои двадцать два года и 24 часа свободного времени в сутки.

Я решил выследить Алешку.

III

Был теплый летний полдень.

Из-за перегородки слышался монотонный голос Алешки, читавшего матери «Анну Каренину». Через некоторое время он прервал чтение и заботливо спросил:

— Устала?

— Немного.

— Ну, отдохни. А я пойду. Если захочется без меня кушать, смотри сюда: вот ветчина, холодные котлеты, молоко. Захочется читать — вот книга. Ну, прощай.

В последовательном порядке послышались звуки: поцелуя, хлопнувшей двери и Алешкиных шагов в коридоре.

Я схватил шляпу и тихонько последовал за Алешкой.

Через двадцать минут мы оба очутились в Летнем саду, наполненном в это время дня дряхлыми старичками, няньками с детьми и целой тучей девиц с вечными книжками в руках.

Алешка стал непринужденно прохаживаться по аллеям, бросая в то же время косые проницательные взгляды на сидевших с книжками девиц и дам и делая при этом такой вид, будто бы весь мир создан был для наслаждений и удовольствий.

Неожиданно он приостановился.

На скамейке, полускрытой зеленым кустом, сидела сухая девица и, опустив книгу на колени, мечтательно глядела в небо. Думы ее, вероятно, витали далеко, отрешившись от всего земного, рассеянный взгляд видел в пространстве его, прекрасного чудесного героя недочитанной книги, обаятельного, гордого красавца, а неспокойное сердце девичье крепко и больно колотилось в своей неприглядной, по наружному виду, клетке.

Алешка тихо приблизился к мечтательнице, стащил с головы фуражку и почтительно сообщил:

— А вам, барышня, письмецо есть...

— От кого? — вздрогнула девица и обернула к Алешке свое ставшее сразу пунцовым лицо.

— От «него», — прошептал Алешка, щуря глаза с самым загадочным видом.

— А... кто... он?.. — еще тише, чем Алешка, прошелестела девица.

— Не велено сказывать. Ах! — вскрикнул он неожиданно (будто прорвался) с самым простодушным глуповатым восторгом. — Если бы его видели; такой умница, такой красавец — прямо удивительно!

— От «него», — прошептал Алешка, щуря глаза с самым загадочным видом

Девица дрожащими руками взяла письмо... на лице ее было написано истерическое любопытство. Грудь тяжело вздымалась, а маленькие бесцветные глаза сияли, как алмазы...

— Спасибо, мальчик. Ступай... Впрочем, постой. Вот тебе!

Девица порылась в ридикюле, вынула две серебряных монеты и сунула их в руки доброму вестнику.

Добрый вестник осыпал ее благодарностями, отсалютовал фуражкой и сейчас же деликатно исчез, не желая присутствовать при такой интимности, как чтение чужого письма.

Сидя на противоположной скамье, я внимательно следил за девицей. Бледная как смерть, она лихорадочно разорвала конверт, вынула из него какую-то хитроумно сложенную бумажку, развернула ее, впилась в нее глазами и сейчас же с легким криком уронила ее на пол... Бесцветные глаза девицы метали молнии, но она быстро спохватилась, напустила на себя равнодушный вид, поднялась, забрала свою книгу, сумочку и быстро-быстро стала удаляться.

Когда она скрылась с глаз, я вскочил, поднял брошенное письмо от «него» и прочел в этом таинственном письме только одно слово: «Дура!»

Второе лицо Алешки было разгадано.

IV

Алешка выходил из сада, распространив все свои письма и легкомысленно позвякивая серебром в растопыренном кармане.

— А почему, скажите пожалуйста, я не могу быть умным молодым человеком? А?

У входа я поймал его, крепко схватил за руку и прошипел:

— Ну-с, Алешенька... Теперь мы знаем ваши штуки!..

— Знаешь? — сказал он цинично, нисколько не испугавшись. — Ну и на здоровье.

— Кто это тебя научил? — суровым тоном спросил я, еле удерживаясь от смеха.

— Сам, — улыбнулся он с очаровательной скромностью. — Надо же чем-нибудь семье помогать.

— Но ведь если ты когда-нибудь попадешься — знаешь, что с тобой сделают? Изрядно поколотят!

Он развел руками, будто соглашаясь с тем, что всякая профессия имеет шипы.

— До сих пор не колотили, — признался он. — Да вы не смотрите, что я маленький. О-о... Я хитрый как лисица... Вижу: где, как и что.

— Все-таки, — решительно заявил я, — твоя профессия не совсем честная...

— Ну да! Толкуйте.

— Да, конечно. Ведь ты же обманываешь девиц, сообщая им, что письмо — от красивого, умного молодого человека, в то время как оно написано тобой.

Мальчишка прищурился. Мальчишка этот был скользок, как угорь.

— А почему, скажите пожалуйста, я не могу быть умным молодым человеком? А?

— Да уж ты умный, — согласился я. — Уж такой умный, что беда. Только почему ты, умный молодой человек, пишешь такие резкие письма. Почему «дура», а не что-нибудь другое?

И он ответил мне тоном такого превосходства, что я сразу почувствовал к нему невольное уважение.

— А разве же они — не дуры?

Вечером я лежал на диване и слушал тоненький, нежный голосок:

— Мамочка, дать еще цыпленка?

— Спасибо, милый, я сыта.

— Так я тебе почитаю.

— Не надо. Ты, вероятно, устал, продавая эти противные газеты. Отдохни лучше.

— Спасибо, мамочка. Мне еще надо написать кое-какие письма!.. Охо-хо.

С тех пор прошло несколько лет... И до настоящего дня этот проклятый двуличный мальчишка не выходил у меня из головы.

Теперь он вышел.

РАЗДВОЕНИЕ ЛИЧНОСТИ

I

Встретившись утром с Натальей Сергеевной, я услышал от нее следующее:

— Забыли меня? Нечего сказать — хороши! Вероятно, новый «предмет», как говорят, кажется, военные писаря, завелся?

— Я? Забыл вас? Тебя... Наташа?

— Тс-с-с... Без фамильярностей. Что мы делаем сегодня вечером?

— Что угодно! Хотите, отправимся в театр?

— А что там?

— Новая пьеса «Цепи любви». Интереснейшая штучка! Сюжет новый и захватывающий: молодой граф живет счастливо с женой, но это счастье обманчиво... Представь себе... гм... те!.. — представьте, говорю я, что у этого графа есть на душе грех: любовница, которую он покинул с ребенком и которая в один прекрасный день приезжает в дом, случайно, как гувернантка. Ребенка она выдает за младшую сестру, граф, конечно, догадывается, в чем дело, но не может сказать, у жены какие-то странные предчувствия... Очень интересно! Масса драматических коллизий, захватывающий лиризм некоторых мест...

— Ну, поедем.

Я обещал заехать за Натальей Сергеевной к 8 часам; в тот же день около 5 часов вечера явился на обед к Марусиной. Обедал.

— Как вы думаете, — спросила за жарким Марусина. — Хорошая эта пьеса «Цепи любви»?

— А что? — осторожно прищурился я.

— Я бы хотела сегодня посмотреть ее.

— Сегодня? Хотите, лучше завтра поедем?

— Нет, именно сегодня. Только вот не знаю — интересная ли это пьеса?

— Дрянь. Страшная чепуха... Сюжет старый, как мир, и захватанный всеми горе-драматургами... Какой-то идиотский граф (конечно! Без графа подобная галиматья не обойдется...) женился, и вот он якобы счастлив, а на самом деле у него есть старая любовница с ребенком, которая является в дом под видом гувернантки... Очень жизненно, не правда ли? Ну и так далее... Весь этот вздор пересыпан глупыми коллизиями, неуместным лиризмом и залит целым морем одуряющей скуки.

— Ну, а я все-таки хочу пойти.

— Автор, как мне говорили, прегорький пьяница. Вероятно, все эти дикие «Цепи» написаны в алкогольческом бреду.

— А я все-таки пошла бы.

— Что ж, пожалуйста. Кстати, вы не подвержены грудной жабе?

— Нет. А что?

— Это удивительное помещеньице в смысле сквозняков и грудной жабы. Как будто бы архитектор именно и строил все здание с расчетом исключительно на грудную жабу.

Мы помолчали.

— Фойе неуютное... Капельдинеры грубияны.

— Вы пойдете со мной?

— К сожалению, я уже обещал одному человечку быть там. Но тем не менее в театре прошу разрешения побыть немного около вас.

— Что это за человечек еще?

— Просто одна знакомая. Напросилась, ну, сами понимаете, неловко было отказать... Согласился...

— А-а... Вот как... Новая привязанность?

Я фальшиво расхохотался.

— Вечно вы надо мной подтруниваете... Нельзя быть такой злой... Новая привязанность... Ха-ха-ха! И это говорите вы!..

— Пустите мои руки, фальшивая душа!.. Так вы не оставите меня в театре одну?..

. . . . . .

II

Когда мы ехали в театр, Наталья Сергеевна была весела и болтлива; я молчал.

— Чего вы молчите?

— Разве я молчу?

— Да вы же не сказали ни одного слова.

— Нет, сказал... целых три: «разве я молчу»?.. А теперь даже еще больше.

— Спасибо. Вы безумно щедры. Если так будет продолжаться, я прогоню вас от себя и буду сидеть одна.

— О, если бы ты, милая, это сделала... — подумал я, сочувственно пожимая самому себе холодную руку.

Первое действие уже началось, когда мы приехали и вошли в ложу. Пьесу я не смотрел, сидел молчаливый, бросая редкие взгляды в партер и отыскивая в рядах высокую фигуру в золотистом платье с пышными белокурыми волосами.

...Я вздрогнул. Марусина сидела в третьем ряду и, отвернувшись от сцены, упорно разглядывала в бинокль меня и мою соседку.

Я украдкой поклонился.

— Кому это вы там еще кланяетесь? — сухо спросила Наталья Сергеевна.

— Одна знакомая.

— Какая там еще знакомая?

— Так, деловое знакомство. Кстати, хорошо, что она здесь. Мне нужно ей слова два по делу сказать...

— Начина-ается! Какое такое еще дело?

— Продажа мельницы. Я устраиваю тут одному помещику ее мельницу на Днепре.

— Вот как? С каких это пор вы комиссионерством занялись?

— Вам не дует?

— Нет. Я спрашиваю: с каких это пор вы комиссионерством занялись?

— Миленькая, — захихикал я. — Да вы, кажется, меня ревнуете?

Она презрительно пожала плечами и замолчала. Когда кончился акт, я поднялся и сказал:

— Вы разрешите на минутку отлучиться? Я скажу только слова два-три и вернусь.

— Пожалуйста! Можете хоть совсем не возвращаться.

— Милая! Вы... сердитесь?

— Ничего я не сержусь... За что? Я серьезно говорю: если у вас есть такое срочное дело, которое нельзя отложить даже в театре, вы не стесняйтесь... Только едва ли вежливо оставлять женщину одну в незнакомом месте, где мужчины такие нахалы.

— Господи... но ведь вы же в ложе!

— А что ему стоит взять да перелезть из соседней ложи через барьер...

— Ну хорошо... Я останусь!

— Нет, идите, идите... Мне так неловко, что я затруднила вас, заставив сопутствовать мне...

— Фи... Стыдитесь...

С тяжелым чувством спустился я в партер. Марусина очень обрадовалась.

— Здравствуйте еще раз! Вы знаете, какая прелесть: около меня есть свободное место. Хотите посидеть со мной один акт?..

— Я... был бы счастлив... Но там дама...

— Да? Я видела ее. Недурна, только мажется, кажется, неимоверно. Впрочем... простите... вам, может быть, неприятно?..

— Нет, ничего. Кх... кх... Ну, как поживаете?

— Спасибо. Если бы я знала, что вы не можете покинуть вашу даму даже на минутку, я бы ни за что сюда не приехала. А у меня как раз жажда — пить очень хочется — только что ж... не буду вас затруднять.

— Пойдем! — грубо проворчал я.

— Нет, что уж... Потерплю...

— По-ойдем!

Я встал, взял ее под руку и потащил в фойе, чувствуя на своей спине раскаленный взгляд одинокой Натальи Сергеевны...

III

— Ну, как мельница? — спросила меня Наталья Сергеевна, когда я с видом побитой собаки вполз в ложу.

— Какая вы злая! Если бы вы знали, что она говорила о вас, вы не были бы такой...

— Интересно: что она могла там сказать... — скривилась Наталья Сергеевна.

— Она нашла вас очаровательной! Будь я, говорит, мужчиной — непременно бы в нее влюбилась... Эти губы, этот цвет лица... Она уверена, что я влюблен в вас и совершенно искренно поздравляла меня с хорошим вкусом.

— Ну да... нашли красавицу! Я думаю вы наполовину выдумали.

— Ей-Богу, нет. Чего мне выдумывать...

Я неожиданно замолк и глубоко задумался.

— А что если... их познакомить сегодня? Идея во всех отношениях хорошая... Можно перетащить Марусину в нашу ложу, и мне уже не придется в антрактах носиться как угорелому из ложи в партер и обратно... Кроме того, они, вероятно, разговорятся и перестанут терзать и мучить меня своими словечками и шпильками... Кроме того, мне, конечно, предстояло провожать Наталью Сергеевну домой, а Марусина просила свезти ее в ресторан, — теперь можно обеих свезти в ресторан... А после развести по домам на автомобиле... И кроме того, — о, черт возьми! — почему бы им и в самом деле не подружиться? Бабы, в сущности, хорошие, сердечные, если отбросить в сторону неуместную ревность и разные женские штучки...

— Вы ей так понравились, — сказал я вслух, — что она мне даже надоела просьбами: познакомить вас.

— Да? — открыла широко глаза Наталья Сергеевна... Ну что ж — если она приличная женщина — отчего же? Пригласите ее в нашу ложу.

Скрывая радость, я встал и отправился вниз к Марусиной.

— Поздравляю вас, — сказал я. — Вы произвели на мою даму ошеломляющее впечатление... Она все допытывалась: кто эта красавица, с которой я выходил в фойе? Утверждает, что я влюблен в вас до безумия.

— Она мне тоже нравится. У нее в глазах есть что-то симпатичное.

— Конечно, конечно! Она ко мне все приставала, чтобы я познакомил ее с вами. Просто влюблена в вас.

— Да? Я с удовольствием познакомлюсь с ней.

— Прекрасно! Какая вы милая... Пойдемте в нашу ложу.

Она удивленно взглянула на меня.

— Как... в нашу ложу?.. Но я думала, что она спустится сюда.

— Зачем? Будем втроем сидеть в ложе.

— После — пожалуй. Но сейчас, если ей хочется познакомиться, — пусть она сюда и придет. Неудобно же мне тащиться в ложу к незнакомой женщине...

Я потоптался на месте и сказал:

— Ну ладно. Пойду приведу ее сюда.

IV

Я не думал, что дело так осложнится: Наталья Сергеевна наотрез отказалась спуститься в партер.

— Если ей так хочется познакомиться — пусть придет сюда.

— Да она стесняется! Говорит: ваша дама такая ослепительная, что мне даже страшно.

— Ну, а я к ней тоже не пойду!

— Обождите, — с наружной жизнерадостностью сказал я. — Одна минута — и все будет устроено. Пустяки!

Я побежал вниз.

— Она боится показаться вам навязчивой и стесняется прийти сюда. Отчего бы вам не зайти в нашу ложу?

— Глупости! С какой стати?.. Посидите лучше со мной этот акт... если, конечно, я вам не безразлична...

Я взглянул на нашу ложу. Женская рука делала мне оттуда какие-то знаки. Я напряженно засмеялся.

— Ну ладно... Тогда вот что: выходите в фойе, а я приведу туда свою даму... На нейтральной, так сказать, почве!

— Это другое дело! Ну, проводите меня.

Я привел ее в фойе, посадил на диван и хотел помчаться в ложу, но был остановлен.

— Позвольте... Как же вы меня оставляете одну, в фойе. Это неудобно.

— А... как же я приведу свою даму?

— Ну... можно послать за ней кого-нибудь...

— Помилуйте, это неудобно... Она светская женщина...

Марусина сухо сказала:

— Я тоже светская женщина. Впрочем, делайте как знаете. Все равно сегодняшний вечер уже испорчен...

Через минуту я уже был в ложе.

— Хотите прогуляться в фойе? — простодушно спросил я.

— Надо было предложить это раньше, — сумрачно проворчала Наталья Сергеевна. — Впрочем, пойдем...

Я привел ее в фойе, сделал полкруга, наткнулся, как будто нечаянно, на сидевшую на диване Марусину и воскликнул:

— Вот как кстати! Позвольте, господа, познакомить вас: Наталья Сергеевна Боровитина — Елена Ивановна Марусина.

Дамы подали друг другу руки, а я, усталый, в изнеможении, оперся о косяк двери и затих...

— Нравится вам пьеса? — спросила Марусина.

— Не особенно. А вам?

— Так себе. Длинноватая...

«Слава Богу, — подумал я. — Наладилась, завертелась мельница!» Вслух попросил:

— Разрешите мне, пожалуйста, пойти в буфет, выкурить папиросу.

— А кто же... отведет меня на место?

— Не желаете ли в нашу ложу сесть?— любезно предложила Наталья Сергеевна.

— Молодец баба! — подумал я. — Умница. Недаром я тебя так люблю...

— Спасибо... Если вас не стеснит...

Я потихоньку убежал в курительную.

V

Шел последний акт...

— Куда бы нам, mesdames, отправиться после спектакля поужинать? — несмело предложил я.

— К Контану, — сказала Марусина.

— Если вы, дорогая Елена Ивановна, ничего не имеете — я бы предложила Донона. Там лучше кормят.

— О, мне все равно. Только у Контана прекрасный оркестр. Я предлагаю к Контану.

— К Контану так к Контану. Только я так привыкла к Донону... Отправимся лучше туда.

— Хорошо. Можно к Донону. Только Контан, по-моему, лучше. Если ехать — так к Контану.

В это время кончился спектакль.

— Я раздевалась внизу, — сказала Марусина. — Не проводите ли вы меня?

— А как же я?— спросила Наталья Сергеевна. — Впрочем, конечно, если вам удобнее проводить Елену Ивановну...

— Нет, что вы, — сказал я с нервной дрожью в голосе.— Мне все равно.

— Все равно? — тонко улыбнулась Марусина. — Тогда, конечно, принесите раньше платье Натальи Сергеевны. Не беспокойтесь... Я сама отыщу свое...

— Я не допущу этого! — горячо воскликнул я.

— Я сейчас провожу вас вниз...

— Кажется, уже поздно, — мило улыбнулась Наталья Сергеевна. — В ресторан не стоит ехать. Не правда ли? Я поеду домой. Надеюсь, вы меня проводите, милый друг?.. Вы меня так часто сегодня покидали, что теперь, надеюсь, не покинете.

Я растянул лицо в беззаботную улыбку и весело сказал:

— Сейчас! Сейчас все это будет сделано. Не беспокойтесь! Одну минутку... Только одна минутка — и готово.

Я оставил их в ложе вдвоем. Выбежал... Отыскал свободного капельдинера, сунул ему в руку пять рублей и сказал:

— Пойди в ложу номер третий. Там две барыни. Скажи им, что я сейчас шел по коридору, а меня схватили два агента сыскной полиции и, несмотря на сопротивление, куда-то потащили. Вырази надежду, что это недоразумение, которое дня через три разъяснится, что меня, вероятно, смешали с кем-то другим. Не забудь сказать, что я очень сопротивлялся, отбивался...

Отыскав свое пальто, я оделся и уехал.

Сидел весь вечер в скромном ресторанчике, попивая вино, — и никогда мне не было так хорошо, тихо, светло и радостно...

Вообще, я люблю одиночество.

ЧАД

План у меня был такой: зайти в близлежащий ресторан, наскоро позавтракать, после завтрака прогуляться с полчаса по улице, потом поехать домой и до обеда засесть за работу. Кроме того, за час до обеда принять ванну, вздремнуть немного, а вечером поехать к другу, который в этот день праздновал какой-то свой юбилей. От друга постараться вернуться пораньше, чтобы выспаться как следует и на другое утро со свежими силами засесть за работу.

Так я и начал: забежал в маленький ресторан и, не снимая пальто, подошел к буфетной стойке

Так я и начал: забежал в маленький ресторан и, не снимая пальто, подошел к буфетной стойке.

Сзади меня послышался голос:

— Освежиться? На скорую руку?

Оглянувшись, я увидел моего юбилейного друга, сидевшего в углу за столиком в компании с театральным рецензентом Буйносовым.

Все мы обрадовались чрезвычайно.

— Я тоже зашел на минутку, — сообщил юбилейный друг. — И вот столкнулся с этим буйносным человеком. Садись с нами. Сейчас хорошо по рюмке хватить.

— Можно не снимая пальто?..

— Пожалуйста!

Юбиляр налил три рюмки водки, но Буйносов схватил его за руку и решительно заявил:

— Мне не наливай. Мне еще рецензию на завтра писать нужно.

— Да выпей! Какая там еще рецензия...

— Нет, братцы, не могу. Мне вообще пить запретили. С почками неладно.

— Глупости, — сказал я, закусывая первую рюмку икрой. — Какие там еще почки?

— Молодец, Сережа! — похвалил меня юбилейный друг. — За что я тебя люблю: за то, что никогда ты от рюмки не откажешься.

Именно я и хотел отказаться от второй рюмки. Но друг с таким категорическим видом налил нам по второй, что я безропотно чокнулся и влил в себя вторую рюмку.

И сейчас же мне чрезвычайно захотелось, чтобы и Буйносов тоже выпил.

— Да выпей! — умоляюще протянул я. — Ну, что тебе стоит? Ведь это свинство: мы пьем, а ты не пьешь!

— Почему же свинство? У меня почки...

— А у нас нет почек? А у юбиляра нет почек? У всякого человека есть почки. Это уж, брат, свыше...

— Ну, я только одну...

— Не извиняйся! Можешь и две выпить.

Буйносов выпил первую, а мы по третьей.

Я обернулся направо и увидел свое лицо в зеркале. Внимательно всмотрелся и радостно подумал: «Какой я красивый!»

Волна большой радости залила мое сердце. Я почувствовал себя молодым, сильным, любимым друзьями и женщинами — и безудержная удаль и нежность к людям проснулась в душе моей.

Я ласково взглянул на юбиляра и сказал:

— Я хочу выпить за тебя. Чтобы ты дождался еще одного юбилея и чтобы мы были и тогда молоды так же, как теперь.

— Браво! Спасибо, милый. Выпьем. Спасибо, Буйнов! Пей — не хами.

— Я не хам... хамлю, — осторожно произнес странное слово Буйносов. — А только мне нельзя. Рецензию нужно писать со свежей головой.

— Вздор! После напишешь.

— Когда же после... Ведь ее в четверть часа не напишешь.

— Ты?! — с радостным изумлением воскликнул юбилейный друг. — Да ты в десять минут отхватаешь такую рецензию, что все охнут!

— Где там... — просиял сконфуженный Буйносов и, чтобы отплатить другу любезностью за любезность, выпил вторую рюмку.

— Ай да мы! Вот ты смотри: скромненький, скромненький, а ведь он потихонечку нас за пояс заткнет...

— А вы что же думали, — засмеялся Буйносов. — И заткну. Эх, пивали мы в прежнее время! Чертям тошно было! Э-э!.. Сережа, Сережа! А ты почему же свою не выпил?

— Я... сейчас, — смутился я, будто бы меня поймали на краже носового платка. — Дай ветчину прожевать.

— Не хами, Сережа, — сказал юбилейный друг. — Не задерживай чарки.

Я вспомнил о своей работе.

— Мне бы домой нужно... Дельце одно.

К моему удивлению, возмутился Буйносов:

— Какое там еще дельце? Вздор — дельце! А у меня дела нет?! А юбиляру на вечере хлопот мало? Посидим минутку. Черт с ним, с дельцем.

«А действительно, — подумал я, любуясь в зеркало на свои блестящие глаза. — Черт с ним, с дельцем!..» Вслух сказал:

— Так я пальто сниму, что ли. А то жарко.

— Вот! Молодец! Хорошо, что не хамишь. Снимай пальто!

— ...И пива я бы кружку выпил...

— Вот! Так. Освежиться нужно.

Мы выпили по кружке пива и разнеженно посмотрели друг на друга.

— Сережа... милый... — сказал Буйносов. — Я так вас двух люблю, что черт с ней, с рецензией. Сережа! Стой! Я хочу выпить с тобой на «ты».

— Да ведь мы и так на «ты»! — засмеялся я.

— Э, черт. Действительно. Ну, давай на «вы» выпьем.

Затея показалась такой забавной, что мы решили привести ее в исполнение.

— Графинчик водки! — крикнул Буйносов.

— Водку? — удивился я. — После пива?

— Это освежает. Освежимся!

— Неужели водка освежить может? — удивился я.

— Еще как! Об этом даже где-то писали... Сгорание углерода и желтков... Не помню.

— Обедать будете? — спросил слуга.

— Как? Разве уже... обед?..

— Да-с. Семь часов.

Я вспомнил, что потерял уже свою работу, небольшой сон и ванну. Сердце мое сжалось, но сейчас же я успокоился, вспомнив, что и Буйносов пропустил срочную рецензию. Никогда я не чувствовал так остро справедливости пословицы: «На миру и смерть красна».

— Семь часов?! — всплеснул руками юбиляр. — Черт возьми! А мой юбилей?

Буйносов сказал:

— Ну куда тебе спешить? Времени еще вагон. Посидим! Черт с ней, с рецензией.

— Да, брат... — поддержал и я. — Ты посиди с нами. На юбилей еще успеешь.

— Мне распорядиться нужно...

— Распорядись! Скажи, чтобы дали нам сейчас обед и белого винца.

Юбиляр подмигнул.

— Вот! Идея... Освежает!

Лицо его неожиданно засияло ласковой улыбкой.

— Люблю молодцов. Люблю, когда не хамят.

Когда нам подали кофе и ликер, я бросил косой взгляд на Буйносова и сказал юбиляру:

— Слушай! Плюнь ты на сегодняшний юбилей. Ведь это пошлятина: соберутся идиоты, будут говорить тривиальности. Не надо! Посиди с нами. Жена твоя и одна управится.

— Да как же: юбилей, а юбиляра нет.

Буйносов задергался, заерзал на своем месте, засуетился:

— Это хорошо! Это-то и оригинально! Жизнь однообразна! Юбилеи однообразны! А это свежо, это молодо: юбилей идет своим чередом, а юбиляра нет. Где

юбиляр? Да он променял общество тупиц на двух друзей... которые его искренне любят.

— Поцелуемся! — вскричал воодушевленно юбиляр.

— Верно! Вот. Будем освежаться бенедиктином.

— Вот это яркий человек! Вот это порыв, — воодушевился Буйносов. — В тебе есть что-то такое... большое, оригинальное. Правда, Сережа?

— Да... У него так мило выходит, когда он говорит: «Не хами!»

— Не хамите! — с готовностью сказал юбиляр.

— Сейчас бы кюрасо был к месту.

— Почему?

— Освежает.

Я уже понимал всю беспочвенность и иллюзорность этого слова, но в нем было столько уюта, столько оправдания каждой новой рюмке, каждой перемене напитка, что кюрасо был признан единственным могущим освежить нас напитком...

. . . . . .

— Извините, господа, сейчас гасим свет... Ресторан закрывается.

— Вздор! — сказал бывший юбиляр. — Не хами!

— Извините-с. Я сейчас счет подам.

— Ну, дай нам бутылку вина.

— Не могу-с. Буфет закрыт.

Буйносов поднял голову и воскликнул:

— Ах, черт! А мне ведь сегодня вечером нужно было в театр на премьеру...

— Завтра пойдешь. Ну, господа... Куда же мы? Теперь бы нужно освежиться.

В мою затуманенную голову давно уже просачивалась мысль, что лучше всего — поехать домой и хоть отчасти выспаться.

Мы уже стояли на улице, осыпаемые липким снегом, и вопросительно поглядывали друг на друга.

Буйносов поднял голову и воскликнул: — Ах, черт! А мне ведь сегодня вечером нужно было в театр на премьеру...

Есть во всякой подвыпившей компании такой психологический момент, когда все смертельно надоедают друг другу и каждый жаждет уйти, убежать от пьяных друзей, приехать домой, принять ванну, очиститься от ресторанной пьяной грязи, от табачной копоти, переодеться и лечь в чистую, свежую постель, под толстое уютное одеяло... Но обыкновенно такой момент всеми упускается. Каждый думает, что его уход смертельно оскорбит, обездолит других, и поэтому все топчутся на месте, не зная, что еще устроить, какой еще предпринять шаг в глухую темную полночь.

Мы выжидательно обернули друг к другу усталые, истомленные попойкой лица.

— Пойдем ко мне, — неожиданно для себя предложил я. — У меня еще есть дома ликер и вино. Слугу можно заставить сварить кофе.

— Освежиться? — спросил юбиляр.

«Как попугай заладил, — с отвращением подумал я. — Хоть бы вы все сейчас провалились — ни капельки бы не огорчился. Все вы виноваты... Не встреть я вас — все было бы хорошо, и я сейчас бы уже спал».

Единственное, что меня утешало, это — что Буйносов не написал рецензии, не попал на премьеру в театр, а юбиляр пропьянствовал свой юбилей.

— Ну, освежаться так освежаться, — со вздохом сказал юбиляр (ему, кажется, очень не хотелось идти ко мне), — к тебе так к тебе.

Мы повернули назад и побрели. Буйносов молча, безропотно шел за нами и тяжело сопел. Идти предстояло далеко, а извозчиков не было. Юбиляр шатался от усталости, но тем не менее в одном подходящем случае показал веселость своего нрава; именно разбудил дремавшего ночного сторожа, погрозил ему пальцем, сказал знаменитое: «Не хами!» — и с хохотом побежал за нами...

...Разбудил дремавшего ночного сторожа, погрозил ему пальцем, сказал знаменитое: «Не хами!»

— Вот дурак, — шепнул я Буйносову. — Как так можно свой юбилей пропустить?

— Да уж... Не дал Господь умишка человеку.

«А тебе, — подумал я, — влетит завтра от редактора... Покажет он, как рецензии не писать. Будет тебе здорово за то, что я пропустил сегодняшнюю работу и испортил завтрашнее утречко».

Я долго возился в передней, пока зажег электричество и разбудил слугу. Буйносов опрокинул и разбил какую-то вазу, а юбиляр предупредил слугу, чтобы он вообще не хамил.

Было смертельно скучно и как-то особенно сонно... противно. Заварили кофе, но он пах мылом, а я, кроме того, залил пиджак ликером. Руки сделались липкими, но идти умыться было лень.

Юбиляр сейчас же заснул на новом плюшевом диване. Я надеялся, что Буйносов последует его примеру (это развязало бы, по крайней мере, мне руки), но Буйносов сидел запрокинув голову и молчаливо рассматривал потолок.

— Может, спать хочешь? — спросил я.

— Хочу, но удерживаюсь.

— Почему?

— Что же я за дурак: пил-пил, а теперь вдруг засну — хмель-то весь и выйдет. Лучше уж я посижу.

И он остался сидеть, неподвижный, как китайский идол, как сосуд, хранящий в себе драгоценную влагу, ни одна капля которой не должна быть потеряна.

— Ну, а я пойду спать, — сухо проворчал я.

——

Проснулись поздно.

Все смотрели друг на друга с еле скрываемым презрением, ненавистью, отвращением.

— Здорово вчера дрызнули, — сказал Буйносов, из которого уже, вероятно, улетучилась вся драгоценная влага.

— Сейчас бы хорошо освежиться!

Я сделал мину любезного хозяина, послал за закуской и вином. Уселись трое с помятыми лицами...

Ели лениво, неохотно, устало.

«Как они не понимают, что нужно сейчас же встать, уйти и не встречаться! Не встречаться, по крайней мере, дня три!!!»

По их лицам я видел, что они думают то же самое, но ничего нельзя было поделать: вино спаяло всех троих самым непостижимым, самым отвратительным образом...

САЗОНОВ

I

Рукавов собирался пить чай.

Он налил стакан, посмотрел его на свет и неодобрительно поджал губы.

— Чаишко-то, кажется, мутноватый... Ох уж эти меблированные комнаты! Ох уж эта холостая жизнь!

Дверь скрипнула. Рукавов оглянулся и увидел прижавшегося к притолоке и молча на него смотревшего Заклятьина.

— А, здравствуйте! — равнодушно сказал Рукавов. — Вот приятный визит. Входите... Ну, как дома? Все благополучно? Чаю хотите?

Заклятьин отделился от притолоки и сделал шаг вперед.

— Я пришел только сказать вам, Рукавов, — держась рукой за сердце, сказал Заклятьин, — что людей, подобных вам, нужно убивать без милосердия, как бешеных собак. И, клянусь, я убью вас!

Рукавов отставил налитый стакан. Брови его были нахмурены.

— Слушайте, Заклятьин... Я не знаю, на чем вы там помешались и каким вздором сейчас наполнена ваша голова... Но об одном прошу вас: обдумывайте, что говорите! Даже в пылу гнева. Есть такие слова, о которых потом жалеешь всю жизнь. Садитесь. Что случилось?

— Рукавов! Вы меня поражаете!

— Чем? Наоборот, вы меня поражаете. Хотите чаю?

— Рукавов! Берегитесь!

Рукавов улыбнулся.

— Хорошо. Только скажите: от чего. Тогда, может быть, я и буду беречься.

Заклятьин скривил лицо и, взявшись руками за спинку стула, внятно отчеканил:

— Я узнал, что вы находитесь в связи с моей женой, Надеждой Петровной.

— Есть ложь смешная, есть ужасная, есть глупая. То, что вы, Заклятьин, говорите, — ложь третьей категории.

Рукавов снова взялся за свой стакан и, размешивая сахар, бросил холодный взгляд на бледное, искаженное злостью лицо Заклятьина.

— Это не ложь! Когда я уезжал в Москву, вас видели однажды выходящим от моей жены в восемь часов утра.

— И это все? — сурово спросил Рукавов. — Стыдитесь! Извольте, я скажу вам: да, в восемь часов утра выходил от вас, но вошел я к вам в восемь без четверти. Про-

сто забыл накануне вечером свою палку и зашел за ней. Уверен, что Надежда Петровна спала в это время сном праведницы.

— Знаете ли вы, — злобно прошипел Заклятьин, — что я нашел у нее в столе записку от вас, правда, прямых указаний не дающую, но вы там называете мою жену на ты!

Рукавов пожал плечами:

— Какой же в этом ужас? Просто как-то в шаловливом настроении я назвал ее «ты» и теперь постоянно дразню ее этим. Мне было забавно, как она сердится.

— Рукавов! — потупившись, тихо сказал Заклятьин.

— Сегодня жена сама сказала мне, что вы ее любовник.

Рукавов поднял одну бровь.

— Вы... можете поклясться в этом?

— Даю вам мое честное слово.

— Ох, эти женщины, — усмехнулся Рукавов, качая головой. — Никогда не знаешь, как с ними держаться... Впрочем, вы не подумайте, что я отрицал давеча все только потому, что боялся вас. А просто не в моих правилах разглагольствовать о своих победах.

— Еще бы, — угрюмо сказал Заклятьин. — Это так понятно! И тем не менее еще раз повторяю: берегитесь! Я убью вас.

Рукавов пожевал губами.

— Можно вам задать вопрос, но только совершенно серьезно? И вы отвечайте так же.

— Да.

— За что вы хотите меня убить?

— Вы разбили мою жизнь. Все мое счастье было в этой женщине — вы отняли ее!

Рукавов погрузился в задумчивость.

— Вот что, Заклятьин... Я вам сейчас возражу, но не потому, что желаю сохранить свою жизнь... Я понимаю — слишком глупо для меня было бы плакать и восклицать, прячась за стол: ах, не убивайте меня, ах, пощадите меня!.. В конце концов, жизнь — не такое уж важное кушанье. И на помощь я звать не буду... и из комнаты не выйду. Можете убить меня во всякую минуту. И тем не менее еще раз спрашиваю: чем я виноват?

— Вы обманули меня. Вы отняли у меня жену.

Голос Заклятьина звучал торжественно и громко.

— Я жену вашу не отнимал. Она сошлась со мной по своей воле.

— Если бы не вы — мы были бы с ней по-прежнему счастливы.

— А какая у вас гарантия — что не явился бы другой?

— Рукавов! Вы ее оскорбляете!

— Чем? Что вы, помилуйте... И в мыслях не имел. Только смотрите: мы оба рискуем стать в смешное положение. Говоря о другом любовнике, я хочу подчеркнуть, что я — человек, не блещущий никакими талантами и красотой, что я — самый заурядный человек. Не начнете же вы сейчас опровергать меня, доказывая, что я человек особенный, ошеломляющий, человек такого сорта, перед которым женщина устоять не может! Человеку, которого хотят убить, не говорят комплиментов!..

— Хорошо! — поморщась, перебил его муж. — Допустим, что вы самый ординарный человек. Что же из этого следует?

— А то, что ординарных людей тысячи. Не будете же вы всех их убивать.

— Не буду. Но они ведь и не любовники жены.

— Если один ординарный человек — любовник, то почему и другой не мог быть любовником? Лотерея!

— В которой муж всегда проигрывает, — громко усмехнулся Заклятьин.

— Утешьтесь! Если я женюсь — я тоже проиграю.

— А вдруг не проиграете? Ведь это цинизм — так думать! Неужели не может быть семьи без измены?

Рукавов встал, протянул вперед руку и взволнованно и быстро заговорил:

— Нет! Прочной любви нет. Верности нет. Опровергайте меня примерами! Скажите мне: «Жена Петрова всю жизнь была верна мужу! Жена Сидорова так и умерла, храня супружескую верность!» Сотни таких случаев есть... тысячи! Верно! Но они моих слов не опровергают. Добавьте даже, что за женами Петрова и Сидорова волочились безуспешно десятки поклонников, что красавец Иванов предлагал этим верным женам все свое состояние, умница Карпов доказывал нелепость верности, вельможа Григорьев тщетно ослеплял этих жен своим могуществом и великолепием... Заклятьин! Слушайте меня, я вам скажу: это все пустяки... А Сазонова-то ведь и не было!

— Какого... Сазонова? — машинально спросил Заклятьин.

— Сазонова! Это я сейчас его выдумал, но Сазонов существует, и живет он, негодяй, в каждом городе: в Харькове, Одессе, Киеве, Новочеркасске!..

— Какой Сазонов?

— Вот какой: в Москве живут муж и жена Васильевы. Сорок лет прожили они душа в душу, свято блюдя супружескую верность, любя друг друга. И вот, несмотря на это, Заклятьин, вы не имеете права сказать: «Ах, это была идеально верная жена — мадам Васильева! За ней ухаживали десятки красавцев, а она все-таки осталась верна своему мужу...» — «Почему она осталась верна? — спрошу я вас. — Не потому ли, что сердце ее абсолютно не было способно на измену?» Нет! Нет, Заклятьин! Просто — потому что Сазонов сидел в это время в Новочеркасске. Стоило ему только приехать в Москву, стоило случайно встретиться с семьей Васильевых — и все счастье мужа полетело бы к черту, развеялось бы, как одуванчик от ветерка. Так можно ли серьезно толковать о верности лучшей из женщин, если она, верность эта, зависит только от приезда Сазонова из Новочеркасска?

— Но в таком случае, — нахмурился Заклятьин, — мы возвращаемся к тому, с чего я начал: Сазоновых этих нужно убивать, как бешеных собак!

— Берегитесь! Вас тоже должны будут убить.

— Меня? За что?

— Потому что вы тоже — Сазонов для какой-нибудь женщины, живущей в Курске или Обояни. Может быть, вы никогда и не встретитесь с ней — тем лучше для ее мужа! Но вы — Сазонов.

II

Заклятьин оперся локтями о стол, положил голову на руки и застонал:

— Где же выход? Где выход?!

— Успокойтесь, — участливо сказал Рукавов, гладя его по плечу. — Хотите чаю?

— Боже мой! Как вы можете говорить так хладнокровно?..

— Да ведь чай-то пить все равно нужно, — улыбнулся Рукавов. — Он был мутноватый, но теперь отстоялся. Я вам налью, а?

— Ах ты, Господи... Ну, давайте!!

— Вам два куска сахару? Три?

— Три.

— Крепкий любите?

— Рукавов! Где же выход?

— У вас же был выход, — тихо усмехнулся Рукавов.

— Когда вы пришли давеча, помните. Хотели убить меня, как бешеную собаку.

— Нет, — серьезно сказал Заклятьин. — Я вас убивать не буду. Она больше виновата, чем вы.

— И она не виновата... Слабые, хрупкие, глупые, безвольные женщины! Мне их иногда до слез жалко... Привяжется сердцем такая к одному человеку, уж на подвиг готова, на самозаклание. И своего, задушевного — ничего нет. Все от него идет, — все ее мысли, стремления, все от Сазонова. Все с его барского плеча. Охо-хо!..

Заклятьин выпил свой чай, прошелся раза два по комнате и, круто повернувшись к дивану, упал ничком на него.

— Рукавов, — проскрежетал он. — Я страдаю. Научите, что мне делать!

Рукавов подсел к нему, одной рукой обнял его плечи, а другой — стал ласково, как ребенка, гладить по коротко остриженной голове.

— Бедный вы мой... Ну, успокойтесь. Делать вам ничего не нужно. Жену я у вас заберу, потому что если бы даже она и осталась у вас, то какая же это будет жизнь? Одно мученье. Вы будете мучить ее ревностью, она вас — ненавидеть... Что хорошего? Постарайтесь развлечься, встречайтесь с другими женщинами, увлекайтесь ими. Вы человек неглупый, интересный... Гораздо интереснее меня — клянусь вам, что говорю это совершенно серьезно... Всего-то моего и преимущества перед вами, что я — Сазонов, которого угораздило приехать из Новочеркасска. Лежите смирненько, милый. Ну вот. Встретите вы еще хорошую, душевную женщину, которая приголубит вас по-настоящему...

Плечи Заклятыша судорожно передернулись.

— Я Надю никогда не забуду.

— Ничего-о, миленький... забудете, — мягко, простодушно протянул Рукавов. — Это сейчас, когда чувствуется вся острота обиды и разочарования, кажется, что горе такое уж большое, такое безысходное... А там обойдется, дальше-то. Ну, конечно, если уж вам под сердце тоска и злость подкатит до того, что будет нестерпимо, ну — убейте меня. Только что ж... Если хорошенько вдуматься — ведь это не поможет, не имеет никакого смысла... Злости против меня у вас нет, а раз нет злости — не нужно и преступление...

Сумерки обволакивали комнату.

В тихом воздухе долго звучали тихие слова:

— Не плачьте, миленький. Вы большой, взрослый мужчина — нехорошо. Это только женщина может убиваться до смерти, стенать, теряя любимого человека, — потому что у женщины ничего другого, кроме жизни сердца, не имеется. А мы, мужчины, — творцы красоты жизни, творцы ее смысла — должны считать свои сердечные раны такими же царапинами, как и те, которыми награждает нас судьба

в других случаях. Удержите ваше сердце от терзаний — мужчина должен уметь сделать это. Попробуйте пить даже первое время, попробуйте наскандалить как-нибудь поудивительнее, чтобы это перебросило вас в другую колею. И не смотрите на весь мир так, как будто он — неловкий слуга, не сумевший услужить вам и поэтому достойный презрения и проклятий. Используйте его получше и умирайте попозже. Через год вы забудете все ваше несчастье наполовину, через пять лет — совсем, а к старости и имени-то вашей бывшей жены не вспомните... Так стоит ли из-за этого терзаться? Вы хотели убить меня... Не беспокойтесь, умру и так, своею смертью, и она умрет, и вы... Все умрем... И даже могилки наши одинокие исчезнут с лица земли — новая жизнь пронесется над ними, — и ни одна душа не будет знать о трех людях, о трех незначительных букашках, которые когда-то волновались, любили и страдали...

Рукавов говорил странные, сбивчивые, мало выражавшие его мысли слова, но тон их был мягок, ласков и любовен; печальные слова плыли по комнате и смешивались с печальными сумерками.

Заклятьин полежал еще немного с закрытыми глазами, потом вздохнул, встал с дивана, обнял Рукавова, поцеловал его и, нашарив в темноте шляпу, ушел.

КУРИЛЬЩИКИ ОПИУМА

I

В комнате происходил разговор.

— У нас с тобой нет ни копейки денег, есть нечего и за квартиру не заплачено за два месяца.

Я сказал:

— Да.

— Мы вчера не ужинали, сегодня не пили утреннего чая и впереди нам не предстоит ничего хорошего.

Я подтвердил и это.

Андерс погладил себя по небритой щеке и сказал:

— А между тем есть способ жить припеваючи. Только противно.

— Убийство?

— Нет.

— Работа?

— Не совсем. Впрочем, это противно, как ежедневное занятие... А один день для курьеза попробуем... А?

— Попробуем. Что нужно делать?

— Пустяки. То же, что и я. Одевайся, пойдем на воздух.

— Хозяин остановит.

— Пусть!

Когда мы вышли из комнаты и зашагали по коридору, я старался прошмыгнуть незаметно, не делая шуму, а Андерс, наоборот, бесстрашно ступал ногами, как лошадь.

В конце длиннейшего коридора нас нагнала юркая горничная.

— Господин Андерс, хозяин Григорий Григорьич очень просят вас зайти сейчас к ним.

— Свершилось! — прошептал я, прислонясь к стене.

— А-а... Очень кстати. С удовольствием. Пойдем, дружище.

Отвратительный старикашка, владелец меблированных комнат, помешанный на чистоте и тишине, встретил нас холодно:

— Извините, господа. По делу. Вероятно, в душе думаете: «Зачем мы понадобились этой старой скотине?»

Андерс укоризненно покачал головой и хладнокровно сказал:

— Мы все равно собирались сегодня зайти к вам.

В глазах старика сверкнула радость.

— Ну? Правда? В самом деле?

— Да... хотели вас искренно и горячо поблагодарить. Вы знаете, мне приходилось живать во многих меблированных комнатах, иногда очень дорогих и роскошных — но такой тишины, такой чистоты и порядка, я буду говорить откровенно: нигде не видел! Я каждый день спрашиваю его (Андерс указал на меня) — откуда Григорий Григорьич берет время вести такое громадное сложное предприятие?..

— Он меня действительно спрашивал, — подтвердил я. — А я ему, помнится, отвечал: «Не постигаю. Тут какое-то колдовство!»

— Да, — сказал старик с самодовольным хохотом. — Трудно соблюдать чистоту, тишину и порядок.

— Но вы их соблюдаете идеально!! — горячо воскричал Андерс. — Откуда такой такт, такое чутье!.. Помню, у вас в прошлом году жил один пьяница и один самоубийца. Что ж они, спрашивается, посмели нарушить тишину и порядок? Нет! Пьяница, когда его привозили друзья, не издавал ни одного звука, потому что был смертельно пьян, и, брошенный на постель, сейчас же бесшумно засыпал... А самоубийца — помните? — взял себе, потихоньку повесился и висел терпеливо, без криков и воплей, пока о нем не вспомнили на другой день.

— А ревнивые супруги! — подхватил я. — Помнишь их, Андерс? Когда она застала мужа с горничной — что было? Где крики? Где ссора и скандал? Ни звука? Просто взяла она горничную и с мягкой улыбкой выбросила в открытое окно. Правда, та сломала себе ногу, но...

—...Но ведь это было на улице, — ревниво подхватил старикашка. — То, что на улице, к моему меблированному дому не относится...

— Конечно!! При чем вы тут? Мало ли кому придет охота ломать на улице ноги — касается это вас? Нет!

— Да... много вам нужно силы воли и твердости, чтобы вести так дело! Эта складочка у вас между бровями, характеризующая твердость и непреклонную волю...

— Вы, вероятно, в молодости были очень красивы?

— Да и теперь еще... — подмигнул Андерс. — Ой-ой!.. Если был бы я женат, подальше прятал бы от вас свою же... Ой, заболтались с вами! Извиняюсь, что отнял время. Пойдем, товарищ. Еще раз, дорогой Григорий Григорьич, приносим от имени всех квартирантов самые искренние, горячие... Пойдем!..

Повеселевший старик проводил нас, приветственно размахивая дряхлыми руками. В коридоре нам опять встретилась горничная.

— Надя! — остановил ее Андерс. — Я хочу спросить у вас одну вещь. Скажите, что это за офицер был у вас вчера в гостях... Я видел — он выходил от вас...

Надя весело засмеялась.

— Это мой жених. Только он не офицер, а писарь... военный писарь... в штабе служит.

— Шутите! Совсем, как офицер! И какой красавец... умное такое лицо... Вот что, Надичка... Дайте-ка нам на рубль мелочи. Извозчики, знаете... То да другое.

— Есть ли? — озабоченно сказала Надя, шаря в кармане. — Есть. Вот! А вы заметили, какие у него щеки? Розовые-розовые...

— Чудесные щеки! Прямо нечто изумительное. Пойдем.

Когда мы выходили из дому, я остановился около сидевшего у дверей за газетой швейцара и сказал:

— А вы все политикой занимаетесь? Как приятно видеть умного, интеллиг...

— Пойдем, — сказал Андерс. — Тут не надо... Не стоит...

— Не стоит, так не стоит.

Я круто повернулся и покорно зашагал за Андерсом.

II

Прямо на нас шел худой, изношенный жизнью человек с согнутой спиной, впалой грудью и такой походкой, что каждая нога, поставленная на землю, долго колебалась в колене и ходила во все стороны, пока не успокаивалась и не давала место другой, неуверенной в себе, ноге. Тащился он наподобие кузнечика с переломанными ногами.

— А! — вскричал Андерс. — Коля Магнатов! Познакомьтесь... Где вчера были, Коля?

— На борьбе был, — отвечал полуразрушенный Коля.

— Как обыкновенно. Ах, если бы вы видели, Андерс, как Хабибула боролся со шведом Аренстремом. Хабибула тяжеловес, гиревик, а тот, стройный, изящный...

— А вы сами, Коля, боретесь? — серьезно спросил Андерс.

— Я? Где мне? Я ведь не особенно сильный.

— Ну да... не особенно! Такие-то, как вы, сухие, нервные, жилистые и обладают нечеловеческой силой... как ваш гриф? А ну, сожмите мою руку.

Изможденный Коля взял Андерсову руку, натужился, выпучил глаза и прохрипел:

— Ну что?

— Ой!! Пустите!.. — с болезненным стоном вскричал Андерс. — Вот дьявол... как железо!.. Вот свяжись с таким чертом... Он те покажет! Вся рука затекла.

Андерс стал приплясывать от боли, размахивая рукой, а я дотронулся до впалой груди Коли и спросил:

— Вы гимнастикой занимаетесь с детства?

— Знайте же! — торжествующе захихикал Коля.— Что я гимнастикой не занимался никогда...

— Но это не может быть! — изумился я. — Наверное, когда-нибудь занимались физическим трудом?..

— Никогда!

— Ой!! Пустите!.. — с болезненным стоном вскричал Андерс. — Вот дьявол... как железо!..

— Не может быть. Вспомните!

— Однажды действительно лет семь тому назад я для забавы копал грядки на огороде.

— Вот оно! — вскричал Андерс. — Ишь хитрец! То — грядки, а то — смотришь еще что-нибудь... Вот они скромники! Интересно бы посмотреть вашу мускулатуру поближе...

— А что, господа, — сказал Коля. — Вы еще не завтракали?

— Нет.

— В таком случае я приглашаю вас, Андерс, и вашего симпатичного товарища позавтракать. Тут есть недурной ресторан близко... Возьмем кабинет, я разденусь... Гм... Кое-какие мускулишки у меня-то есть...

— Мы сейчас без денег, — заявил я прямолинейно.

— О, какие пустяки... Я вчера только получил из имения... Дурные деньги. Право, пойдем...

В кабинете Коля сразу распорядился относительно вин, закуски и завтрака, а потом закрыл дверь и обнажил свой торс до пояса.

— Так я и думал, — сказал Андерс. — Сложение сухое, но страшно мускулистое и гибкое. Мало тренирован, но при хорошей тренировке получится такой дядя...

Он указал мне на какой-то прыщик у сгиба Колиной руки и сказал:

— Бицепс. Здоровый, черт!

— Так я и думал, — сказал Андерс. —Сложение сухое, но страшно мускулистое и гибкое...

III

Из ресторана мы выбрались около восьми часов вечера.

— Голова кружится... — пожаловался Андерс. — Поедем в театр. Это идея! Извозчик!!

Мы сели и поехали. Оба были задумчивы. Извозчик плелся ленивым, скверным шагом.

— Смотри, какая прекрасная лошадь, — сказал Андерс. — Такая лошадь может мчаться как вихрь. Это извозчик еще не разошелся, а сейчас он разойдется и покажет нам какая-такая быстрая езда бывает. Прямо — лихач!

Действительно, извозчик, прислушавшись, поднялся на козлах, завопил что-то бешеным голосом, перетянул кнутом лошаденку — и мы понеслись.

Через десять минут, сидя в уборной премьера Аксарова, Андерс горячо говорил ему:

— Я испытал два потрясения в жизни: когда умерла моя мать и когда я видел вас в «Отелло». Ах, что это было!! Она даже и не пикнула.

— Ваша матушка? — спросил Аксаров.

— Нет, Дездемона. Когда вы ее душили... Это было потрясающее зрелище.

— А в «Ревизоре» Хлестаков... — вскричал я, захлебываясь.

— Виноват... Но я «Ревизора» ведь не играю. Не мое амплуа.

— Я и говорю: Хлестакова! Если бы вы сыграли Хлестакова... Пусть это не ваше амплуа, пусть — но в горниле настоящего таланта, когда роль засверкает, как бриллиант, когда вы сделаете из нее то, чего не делал...

— Замолчи, — сказал Андерс. — Я предвкушаю сегодняшнее наслаждение...

— Посмотрите, посмотрите, — ласково сказал актер. — Вы, надеюсь, билетов еще не покупали?

— Мы... сейчас купим...

— Не надо! С какой стати... Мы это вам устроим. Митрофан! Снеси эту записку в кассу. Два в третьем ряду... Живо!..

В антракте, прогуливаясь в фойе, мы увидели купеческого сына Натугина, с которым были знакомы оба.

— А... коммерсант! — вскричал Андерс. — О вашем последнем вечере говорит весь город. Мы страшно смеялись, когда узнали о вашем трюке с цыганом из хора; ведь это нужно придумать: завернул цыгана в портьеру, приложил сургучные печати и отправил к матери на квартиру. Воображаю ее удивление остроумно остроумно да пока в России есть еще такие живые люди такое искреннее широкое веселье Россия не погибла дайте нам пятьдесят рублей на днях отдадим!

Хотя во всей андерсовской фразе не было ни одного знака препинания, но веселый купеческий сын сам был безграмотен, как вывеска, и поэтому последние слова принял, как нечто должное.

Покорно вынул деньги, протянул их Андерсу и сказал, подмигивая:

— Так, ловко это вышло... с портьерой?

* * *

Усталые, после обильного ужина возвращались мы ночью домой. Автомобиль мягко, бережно нес нас на своих пружинных подушках, и запах его бензина смешивался с дымом сигар, которые лениво дымили в наших зубах.

Покорно вынул деньги, протянул их Андерсу...

— Ты умный человек, Андерс, — сказал я. — У тебя есть чутье, такт и сообразительность...

— Ну, полно там... Ты только скромничаешь, но в тебе, именно в тебе есть та драгоценная ясность и чистота мысли, до которой мне далеко... Я уж не говорю о твоей внешности: никогда мне не случалось встречать более обаятельного, притягивающего лица, красивого какой-то странной красот...

Спохватившись, он махнул рукой, поморщился и едва не плюнул:

— Фи, какая это гадость!

ЯЗЫК

I

Иногда так приятно поглядеть на людские страсти, поступки и стремления со стороны, не будучи совершенно заинтересованным в происходящем. Созерцающий человек кажется самому себе выше других, ибо он имеет право, не волнуясь, с доброй, немного иронической улыбкой, следить за всем происходящим, и, если он мудр, такое созерцание должно доставить ему громадное наслаждение.

Не напоминает ли он тогда сам себе доброго, прекрасного Бога, который так же беспристрастно следит за смешной суетней и курьезным столпотворением в человеческом муравейнике?

——

Я сидел на бульваре за буфетным столиком и, беззаботно поглядывая по сторонам, потягивал из стакана какую-то мудреную, прохладительную, мною самим изобретенную жидкость.

За соседним столиком сидела в одиночестве со стаканом чаю красивая молодая дама, по виду — иностранка.

За соседним столиком сидела в одиночестве со стаканом чаю красивая молодая дама, по виду — иностранка. Одета она была скромно, но элегантно, и ее пышная, зрелая красота в этот томный весенний вечер вызвала со стороны бульварных фланеров не один поворот головы и жадный взгляд.

Но моя соседка рассеянно глядела по сторонам, прихлебывала чай и ни на кого не обращала особенного внимания.

Вдруг я заметил молодого человека в прекрасной панаме. Он два раза прошел мимо моего столика, чуть не задев его и в то же время бросая красноречивые взгляды на сидевшую даму.

Молодой человек был тоже красив, имел нежные, юношеские губы, прекрасно очерченные, как на греческих статуях,

и темные, крохотные усики. Кроме того, у него были горячие, томные глаза и прекрасный рост, что давало ему много преимуществ перед другими гуляющими — золотушными чиновниками, вульгарными юнкерами и какими-то кривоногими телеграфистами.

Меня восхитила смелость этого молодца. Он, пройдя два раза мимо меня, неожиданно повернул назад, очутился лицом к лицу с пышной красавицей и, опустившись на какой-то отбившийся от пустого столика стул, в одном шаге от моей соседки, спросил ее:

— Вероятно, вам сидеть так — тоска смертельная? А?

Есть разные типы ухаживателей. Некоторые, воспылав к женщине страстью, года три терзаются, не будучи представленными этой женщине, потом, наконец, находят общего знакомого, который, улучив минутку, знакомит их с предметом страсти, и тогда завязывается длинная, утомительная канитель: вздохи, пожатия — такие незаметные, что от них в случае чего можно отпереться, полунамеки и одинокие рыдания по ночам при свете задумчивой луны.

А есть и другой тип ухаживателя.

Увидев впервые на улице женщину, которая ему нравится, этот расторопный человек подлетит к ней, поспешно приподнимет шляпу и сразу перешагнет семь верст.

— Сударыня! — скажет он одним духом. — Куда изволите спешить? Жизнь коротка; нужно ею пользоваться и ловить подходящие сладкие моменты. Тут есть один очень укромный уголочек под вывеской «Византия», где нас не сыщет никакая собака, — пойдемте!

Удивительнее всего, что женщина часто так поражается этим предложением, что неожиданно для себя принимает его. Потом, конечно, плачет, мучается и терзается дня три, если не больше.

— Сударыня! — скажет он одним духом. — Куда изволите спешить?

II

Молодой господин, за которым я наблюдал, напоминал больше второй тип, чем первый.

— Ну признайтесь — ведь лучше было бы со мной убить несколько часочков, чем тосковать одной? Э?

Дама подняла на него серые, немного изумленные глаза, и ответила с порозовевшим от смущения лицом на чистом немецком языке:

— Простите, я немка, и говорю только на немецком языке.

— Ах, вы по-русски не говорите, — огорченно заметил молодой человек, не знавший, очевидно, ни одного языка, кроме собственного — русского.

— Я недавно приехала в этот город, — печально сказала дама, — и почти никто не понимает меня.

— Я не с какой-нибудь гнусной целью, — возразил молодой человек, силясь понять странные, незнакомые слова. — Я просто прогуливаюсь. Компренэ? Променад!

— Да, да,— вздохнула дама. — Несколько месяцев тому назад я похоронила мужа и теперь совершенно одинока.

— Да уж, знаете... — сочувственно кивнул головой молодой господин. — Есть такие мужчины, от которых не скоро отстанешь.

— Что? — машинально переспросила немка.

— Да я не о себе говорю. Я такой скромник, что просто удивительно. А вот другие — прямо ужас.

— Так тяжело, когда нет в городе ни одной знакомой души, — сказала немка, и ее прекрасные серые глаза затуманились. — Если бы у меня здесь была подруга, я пришла бы к ней и проплакала всю ночь: так мне тяжело и грустно.

— Ничего, — успокоил ее молодой человек, — выучитесь. Один мой знакомый тоже так! Ни в зуб толкнуть. А потом — ничего.

— А если бы вы знали, как трудно мне устраивать дела покойного мужа... Он перед смертью служил тут в одной местной технической конторе.

Молодой господин внимательно выслушал собеседницу и, указав пальцем на ее стакан, сказал:

— Может быть, чего-нибудь другого выпьете? Позвольте вам предложить.

Дама взглянула на стакан.

— Да, чай пью. Ничего, он не остынет. Бывало, мой муж — всегда любил холодный чай.

Она подняла свое красивое лицо, на которое падала тень модной шляпы, и долго смотрела на луну. Вероятно, она думала:

— Вот эта милая, красивая луна везде одна — и здесь, и в Вене — и она мне такая же родная... А люди разные, и никто тут не может меня развеселить.

— Вы очень красивы! — прошептал молодой господин, с восхищением глядя на нее. — Когда я смотрю на вас, у меня бьется сердце. Если бы было можно, я засыпал бы все ваше нежное тело поцелуями.

— Почему... — спросила дама, — почему я к вам чувствую такое доверие? Мне кажется, вы не позволите сказать вольного комплимента, вы сдержанны и скромны с женщиной... Мне это нравится. Впрочем, вы, вероятно, втайне слишком высокого мнения о своей наружности? А?

Печальные глаза ее сделались кокетливыми и засветились такой теплотой, что ее собеседник тихо взял ее руку в свою и тихо погладил.

— Какая чудесная рука!

Рука действительно была на редкость красивая — нежная, полная кисть с ямочками на тыльной части и выхоленными, блестевшими при лунном свете ноготками.

— Дома забыла, — улыбнулась дама. — А обыкновенно я всегда хожу в перчатках...

— Вы мне безумно нравитесь! — вскричал молодой господин. — А я... Послушайте, скажите: я, я! Я вам хоть немножко, хоть чуточку нравлюсь?

Даму удивила эта неожиданная горячность, так не вязавшаяся с предыдущим мирным разговором о перчатках.

Она недоумевающе взглянула на собеседника, с горячностью колотившего себя в грудь, и спросила, силясь понять:

— Вы? Что такое? Что — вы? Вы не носите перчаток? Ах, Господи... В чем дело? Может быть, я вас чем-нибудь обидела?.. Как жаль, что мы не понимаем друг друга!..

Она в искреннем порыве положила свою руку на руку молодого человека и стала ее гладить.

— А, — расцвел он. — Значит, я вам тоже нравлюсь? Значит, вы немножко любите меня... Ах вы, моя милая!

Несмотря на то, что он сказал это по-русски, дама ответила по-немецки:

— Вы мне очень нравитесь. У меня есть к вам какое-то странное доверие. Конечно, если бы вы понимали меня, я бы этого не сказала! Но вы мне нравитесь, мой пылкий незнакомец!

И она поглядела на него так ласково, что даже у меня, молча наблюдавшего эту сцену, забилось сердце...

Молодой господин схватил ее руку и стал целовать ее, не отрываясь.

Дама вздрогнула и деликатно высвободила руку.

— Что вы, что вы, мой милый мальчик, — улыбнулась она, укоризненно грозя ему, — ведь на нас же все смотрят.

— Что? Что вы говорите? Муж? Вероятно, о муже? Но подумайте — ведь вы же сейчас одна? Ведь ваш муж преступник, если такое сокровище, как вы, заставляет быть в одиночестве. Стоит ли думать и вспоминать о таком человеке?

И опять — удивительно — она почти поняла его, хотя говорили они на разных языках.

— Зачем? — сказала она с неожиданной грустью,— зачем он умер, оставив меня одинокой, всем чужой тут? Не трогайте мою руку, милый ребенок. Вы знаете, я, вероятно, старше вас... Ну, сколько вам лет? Сколько, а?

Молодому господину, вероятно, было года двадцать два, а ей двадцать четыре. Но он не смог ответить ей на этот вопрос, хотя и видел, что она обращается к нему с каким-то вопросом.

— Что? — мучительно переспрашивал он. — Что?

— Сколько лет? Ну? Вам! Я спрашиваю: вам?

Она показала пальцем на его грудь и показала пальцами, что хочет узнать цифру его лет.

— У меня? — спросил молодой господин. — Часы? Есть. Еще очень рано. Я вам покажу.

Он вынул плоские золотые часы и протянул их даме. Та наклонилась над циферблатом и с улыбкой показала две цифры.

— Вот! Десять и одиннадцать. Вам уже есть двадцать один год, а? Вам, вам! Ах, какой вы непонятливый.

Она рассмеялась, будто жемчуг рассыпался по тарелке.

— А, — сказал, кивая головой, юноша. — Понимаю. Домой? Нужно быть дома между десятью и одиннадцатью? Да, да! Но еще очень рано.

— Так? — захлопала в ладоши дама, — значит, я угадала? 21 год. Вы, мой милый ребенок...

«Милый ребенок» придвинулся ближе к ней и, положив незаметно, в тени спинки стула свою руку на ее талию, сказал:

— Поедем ко мне!

— Что вы! Сумасшедший! Увидят, — ахнула дама.

— Примите руку.

— Я не могу! — горячо сказал юноша. — Я с ума сойду, если мы сегодня расстанемся. Если тебе нужно домой в одиннадцать часов — поедем ко мне! У нас еще два часа... Ведь я тебе тоже нравлюсь?

...взяв красавицу под руку, повел ее...

Рука его продолжала лежать на ее талии. Рука эта, очевидно, жгла тело молодой женщины. Трепет пробежал по ее плечам, и она, схватив свободную руку юноши, прошептала слабеющим голосом:

— Ради Бога! Не надо... Я даже не знаю, что вы говорите.

И вот страсть молодого человека сделала чудо. Он напряг все силы своего ума и вспомнил:

— Алл он нах гауз! Ко мне! Хорошо?

Он указал пальцем на себя.

— Домой? — шаловливо засмеялась дама. — К вам? Милое дитя! Да о чем же мы там будем разговаривать? Впрочем... нужно идти... становится сыро...

Молодой господин постучал лакея, бросил ему рубль и, взяв красавицу под руку, повел ее, ловко лавируя между столиками под восхищенными взглядами сидевших дам и мужчин.

И две стройные, сильные фигуры шли по аллее к выходу, освещенные, облитые одним и тем же светом луны, сковавшим их в единую серебряную группу.

И имя этой скульптурной серебряной группе было: «Желание».

——

Я проследил с божественным хладнокровием за ними, до тех пор пока они не скрылись в зеленой, лунной пыли. И я, как Бог, знал последующее, хотя не мог его видеть: недолгую борьбу красавицы с предприимчивым юношей, ее несогласие идти к нему, потом ее согласие, потом жаркие тесные объятия, тихие благодарные поцелуи и свет луны на крохотных, беспорядочно брошенных туфельках, на висящей на спинке стула кофточке и шляпке, на которую бесцеремонно взгромоздился мужской жилет, не думавший о таком легкомыслии там, на бульваре, когда он облекал грудь своего хозяина.

. . . . . .

Могу сказать — в этот вечер на бульваре я видел яркое подтверждение старой истины: есть в природе такой язык, который выше любого иностранного.

ЦЕПНАЯ СОБАКА

I

Когда Зырянинов вошел в кабинет, полное добродушное лицо редактора журнала «Северное сияние» засияло радостью.

— Я в восторге, что вижу вас, — приветливо сказал он. — Одну минутку! Я только сейчас вот отпущу посетителя.

Посетителем был хилый молодец со скорбным видом и такими длинными волосами, что опущенная голова его напоминала плакучую иву. Он говорил:

— Почему же вы находите, что моя повесть не подходит? Неужели она слаба?

— Я нахожу? — воскликнул редактор, — Бог с вами! Я нахожу ее прелестной. Мы по этому поводу часа полтора спорили со вторым редактором «Сияния» Лиходеевым. Но он уперся как бык — и вот видите: приходится возвращать вам эту вещь. Верьте мне, я как будто с кровью отрываю ее от сердца. Ведь между нами-то говоря, это лучшее, что вы написали!

— Спасибо... Вы меня хоть немного утешили. Виноват... Один вопрос: почему вы должны подчиняться мнению этого Лиходеева, а он вашему — нет?

— Иногда и он подчиняется. Лишний голос всегда принадлежит тому из нас, кто почему-либо против принятия произведения. Этим мы достигаем лучшего отбора материала в журнале.

— А что, если бы я... сходил к этому... Лиходееву. Поговорил бы... А?

— Пожалуйста! Это самое лучшее. Может быть, вы смягчите его сердце.

Хилый писатель тряхнул своей «плакучей ивой», поблагодарил редактора и исчез.

Редактор обратился к Зырянинову:

— Вы зашли за ответом?

— Да.

— Аванс? Пятьсот рублей?

— Да! Я же говорил.

— Гм... Я думаю, это можно устроить. Вот только не знаю, как Лиходеев. В этом деле нужно и его согласие.

— А вы думаете — он не согласится? — испуганно спросил Зырянинов.

Редактор улыбнулся.

— Ну что вы... Это было бы слишком. Он не такой уж зверь, каким кажется. Правда, иногда бывает тяжеленек, душу всю своими капризами вымотает, но... в общем, дело с ним делать можно.

— Фамилия у него зловещая.

— Да уж... И характерец тоже не из первосортных. Иногда и меня до белого каления доводит. А вообще — пустяки! Сходите — ваше дело чистенькое. Если он даст согласие, идите прямо в кассу и получайте монеты. До свидания! Когда будете уходить — загляните.

Зырянинов вышел из кабинета редактора и, проходя через контору, обратился к экспедитору:

— Как зовут господина Лиходеева?

Экспедитор усмехнулся.

— За глаза? Малютой Скуратовым. Скотиной! А в глаза — Филиппом Ипатычем.

— А что он, скажите... действительно злой?

— Он? Мерзавец первой руки. Злобный скряга, палач, человек с камнем в груди вместо сердца! Его за глаза так и называют: «Малюта Скуратов»! Редактор Бильбокеев добрая душа, но тряпка, и всецело в руках этого проклятого старика. Бильбокеев, хотя наружно и храбрится, но втайне боится его как огня.

— Я не понимаю, — спросил Зырянинов, — для чего в одном журнале два редактора?

— Издательская глупость. Завел издатель эту моду, да и сам не рад. Малюта, кажется, и его в руки захватил. А у вас есть дело к этому мерзавцу?

— Да... аванс. Бильбокеев согласился, а теперь остановка за Лиходеевым.

— Не даст. Это уж не первый случай. А Бильбокеев обещал? Бедняга... И жалко его, и досадно, и смешно.

— Гм... — сказал Зырянинов. — Вы говорите: Филипп Ипатыч? Ну, посмотрим-с...

II

Кабинет Лиходеева был маленький, полутемный, запыленный и грязный — настоящее жилище паука, раз навсегда соткавшего себе уютную паутину.

Наружность Лиходеева представляла яркий контраст с его характером: это был маленький, розовый старичок, с ясным взглядом голубых глаз и мягкими ласковыми жестами. Только иногда ласковые глаза прикрывались тяжелыми веками и голос делался жестким, неприятным.

Когда вошел Зырянинов, он, кроме Лиходеева, застал у этого зловещего старика еще одного человека — судя по разговору, начинающего поэта.

— Что мне Бильбокеев! — говорил, стуча маленьким кулаком по столу, Лиходеев. — Я сам себе Бильбокеев! Стихи ваши слабы — вот и все.

— Да почему же?

— Очень просто. Это какая-то рубленая капуста, а не стихи.

— Ну например, например... Укажите хоть одно место?

— Не помню я там ваших стихов. Еще указывай...

— У меня есть и другой экземпляр. Вот он! Будьте добры взглянуть.

Лиходеев нехотя взял бумажку и повертел ее в руках.

— Ну, вот это:

«К ее ногам я нес свои мечты,
Безумье грез, росинки слез вечерних...
Я ей шептал: «Прими, поверь в них...»

. . . . . .

— Что это такое?

— Виноват... Что же вам не нравится?

— Грубо. «К ее ногам!» Почему не к «ножкам», не к «стопам»?

— У меня так вылилось...

— Плохо, что вылилось... Потом: «росинки слез вечерних». Зачем это? Кому это нужно? Что, вы хотите мир этим перевернуть? Стыдитесь! Да я бы на вашем месте утопился; со стыда сгорел бы. Взрослый мужчина! Прощайте, молодой человек! Хе-хе! Это вам не Бильбокеев! Притворяйте дверь, у меня ревматизм. Вам что угодно?

— Здравствуйте, Филипп Ипатыч. Я — Зырянинов. У меня принята вещь... Я хотел аванс. Бильбокеев направил к вам.

Лиходеев посмотрел на него добрыми глазами, покачал головой и поджал губы.

— Напечатана?

— Еще нет, но...

— Так как же вы хотите получить деньги под то, что еще не напечатано?

— Мне очень нужны деньги.

— Э, батенька... Кому они не нужны.

— Бильбокеев мне обещал.

Старик вздернул плечами.

— Удивляюсь я этому Бильбокееву! Это ребенок какой-то. «Обещал, обещал»! Обещать легко. Как это так: «Дайте мне аванс». Почему? «Деньги нужны»! Да мне-то, например, деньги не нужны что ли?! Однако я не прошу. Сегодня вы аванс взяли, завтра жену у меня взяли...

— Извините! — резко перебил Зырянинов. — Это не одно и то же.

— Э, дорогой мой... Что там говорить. Теперь пошло всеобщее развращение.

Зырянинов сухо спросил:

— Так, значит, вы в авансе отказываете?

— Господи! Ведь я же доказал вам, как дважды два, что аванса мы не можем дать. Обращаюсь к вашей рассудительности.

«Старик-то, кроме того, что зол — еще и глуп», — подумал Зырянинов, а вслух сказал ледяным тоном:

— Прощайте. Нам с вами, кажется, разговаривать больше не о чем.

И отправился к Бильбокееву.

III

— Ну что? — спросил Бильбокеев, пожимая руку Зырянинову. — Удачно?

— Это мерзавец какой-то! — злобно проскрежетал Зырянинов.

Бильбокеев вскочил и всплеснул руками:

— Неужто отказал?

— Да!

— О, черт возьми... Я всего ожидал от этого маньяка, но отказать в такой простой вещи...

— И вы знаете: он не только скуп, но и глуп до противного. Он при мне так раскритиковал стихотворение одного поэта...

— А что же он вам сказал?

— Сегодня, говорит, деньги возьмете, а завтра чужую жену...

— Вот кретин-то. Да вы бы ему сказали, что вам очень нужны...

— Говорил. «А мне, говорит, не нужны?»

Редактор переплел пальцы и со страдальческой миной сжал их так, что они хрустнули.

— Боже! Какой осел... О, когда мы только от него избавимся? Это будет счастливейший день моей жизни.

— Ваше положение, — сочувственно сказал Зырянинов, — тоже не из важных. Я это понимаю...

— Ах, как это все неприятно... Мне так хочется вам это устроить... Я понимаю — когда деньги нужны...

— А знаете что? Напишите ему записку, что вы категорически настаиваете на выдаче мне аванса. А я ее снесу ему.

— С удовольствием. Я буду рад, если дело выгорит. И паука, может быть, зазрит совесть.

Бильбокеев стал писать записку.

— Ха-ха! Пишу ему: «Дорогой мой Филипп Ипатыч», а хочется написать: «Проклятое, тупое дерево, мерзавец Филька!..» Ну вот-с. Записка готова. Я все-та-

ки думаю, что он согласится. Скажите ему на словах, что я прошу сделать мне в личное одолжение.

— Я не знаю, как и благодарить вас, — в волнении воскликнул Зырянинов...

IV

Лиходеев распекал какого-то потрепанного человека.

— Зачем исторический роман? Кому это нужно? Что? Бильбокеев? А что мне ваш Бильбокеев! Бильбокеев мне не указ. Исторический роман из эпохи Самозванца... Ха-ха! Да вы что, были там? Видели эту эпоху? Нет? Так нечего вам и говорить. До свиданья. Притворяйте дверь. А! Вы опять пришли? Что вам угодно?

— Вот записка от Бильбокеева. Он еще просил передать, что согласие ваше будет личным ему одолжением.

— Ребенок! — сказал старик. — Сущий ребенок.

Одним глазом он скользнул по записке и, разорвав ее, бросил в корзину.

— Извините. Ничего не могу.

— Во-первых, — сказал Зырянинов, — я очень сожалею, что просьба моя удовлетворена вами быть не может, а во-вторых, ты ни более ни менее, как старый идиот, мерзавец, и когда черти заберут тебя в ад — на земле будет дышаться легче, солнце засияет ярче и птицы запоют громче!..

Лиходеев протянул к нему дрожащие руки и жалобно сказал:

— За что же вы... старика... обижаете?

— А за то, — в чрезмерном волнении вскричал Зырянинов, — что этот старик отказывает мне в деньгах, на которые можно было бы вернуть жизнь моей жене. У нее начало чахотки, и если повезти ее на юг, то спасти бы можно. А старику на это наплевать.

Лиходеев опустился на стул и схватился руками за голову...

Так он просидел минуты две. Потом поднял голову и, глядя на Зырянинова скорбными глазами, прошептал:

— Хорошо... Скажите в кассе... что я разрешаю. Там, вероятно, выдадут.

V

В третий раз вошел Зырянинов в кабинет Бильбокеева.

— Отказал?

— Наоборот, согласился. Я уже и денежки получил.

— Быть не может! Это так не похоже на нашего Малюту Скуратова.

— Представьте, разжалобился. Я его, впрочем, ругнул порядочно.

— Сердечно рад за вас! Поздравляю... Вы прямо маг и чародей. Чудесно, чудесно. Уходите? Ну, прощайте. Желаю вам повеселиться!

Оставшись один, Бильбокеев прошелся несколько раз по кабинету и позвонил.

— Скажите Филиппу Ипатычу, — обратился он к служителю, — что я очень извиняюсь за беспокойство и прошу, если он сейчас не занят, пожаловать ко мне по важному делу. Не забудьте извиниться за беспокойство.

Через минуту вошел Лиходеев. Он подошел к столу и стал неподвижный с опущенной головой.

— Слушайте, Фиалкин! — сердито полушепотом начал Бильбокеев. — Это что еще за новости? Какое вы имели право давать какие-то глупейшие разрешения на авансы?! Я не для того плачу вам сорок рублей ежемесячно, чтобы вы выкидывали подобные глупости. Во всяком благоустроенном дворе есть цепная собака, но если она начинает ласкаться к прохожим, вместо того чтобы рвать им штаны, — ее выбрасывают ко всем чертям! Зарубите себе это на носу.

ПЛОВЕЦ НА БОЛЬШИЕ РАССТОЯНИЯ

I

Дело было зимой в Петербурге, в трескучие морозы, когда термометр показывал 22° — вот почему никто не мог поймать и уличить во лжи этого проклятого мошенника Новаковича.

Мы оказались в совершенно беспомощном положении, а Настасья Николаевна не придумала ничего лучшего, как прийти в восторг от подвигов Новаковича.

Мы четверо составляли свиту Настасьи Николаевны — женщины, которая была более умна, чем проницательна, и более красива, чем умна. Из нас четверых — трое были скромные, простодушные, честные люди, а четвертый — Новакович.

Перед камином в гостиной Настасьи Николаевны разостлали пушистый ковер, поставили на двух томах энциклопедического словаря бутылку бенедиктина и рюмки, легли на животы все, не исключая Настасьи Николаевны, и, примостившись поудобнее, стали говорить о том, что кому приходило в голову.

— Интересно: какой вкус имеет человеческое мясо?— щурясь на огонь, промямлил молодой Шмидт.

— Не пробовал, — ответил Новакович, как будто бы спрашивали об этом именно его, — лгать не буду: что не пробовал — то не пробовал...

— А вот, — сказала Настасья Николаевна, — вас здесь четверо мужчин: были ли у кого-нибудь из вас в течение вашей жизни обагрены руки человеческой кровью?

— Не могу похвастаться, — отвечал опять назойливый Новакович. — Чего не было — того не было.

Новакович

— У меня были обагрены, — признался молчаливый Работорговцев, обращая к нам расширившиеся от ужасных воспоминаний глаза. — Однажды я наклонился зашнуровывать ботинок, а кровь так и хлынула из носу на руки. Я, видите ли, полнокровный.

— Вы, видите ли, не полнокровный, а глупый, — возразила Настасья Николаевна. — Ну, хорошо... если вы не совершали преступления, то, может быть, на вашей совести, господа, есть какие-нибудь подвиги?

Подвиги оказались у Новаковича.

— Есть подвиги! — заявил он. — Два. Однажды я, раздеваясь в купальне, услышал крики. Оказалось, что кто-то тонет... Я, как был в ботинках, в белье, бросился в воду и вытащил несчастного.

— А второй подвиг? — спросил Шмидт.

— Да это и есть второй. Первый — когда я бросился одетый в воду, а второй — когда я вытащил утопающего.

— А кто, господа, из вас самый лучший пловец? — спросила Настасья Николаевна.

— Я! — сказал Новакович.

— Ну это уж слишком! — возмутился я. — Откуда вы знаете, как плаваем мы: Шмидт, Работорговцев и я?! Может быть, мы трое плаваем как рыбы!

— Хорошо, — язвительно засмеялся Новакович.

— Сколько вы можете проплыть без отдыха?

— Полверсты, — подумав, отвечал Шмидт.

— А я версту, — заявил я.

— И я, — заявил Работорговцев.

— Версту?! — засмеялся Новакович. — Это у них называется «как рыбы»!.. Ха-ха! Знаете ли вы, милые мои, что я проплывал по шести верст!

Если бы в то время было лето, я схватил бы Новаковича за шиворот, потащил бы к морю и, швырнув его в воду, заставил бы проплыть на моих глазах эти шесть верст.

Но он, чувствуя себя хозяином положения, перевернулся на спину, засвистал и потом небрежно продолжал:

— Да... А как я ныряю! Боже ты мой!.. Однажды, купаясь в реке, я нырнул на глазах публики и исчез. Искали меня до самого вечера. А я преспокойно вынырнул на другом берегу, потихоньку оделся и ушел.

— Во что же вы оделись, если ваша одежда была на другом берегу?

Новакович посмотрел на меня, скосив свои холодные глаза.

— У меня была заготовлена другая. На втором берегу...

Мы трое скрипели зубами, грызли края рюмок с бенедиктином, но ничего не могли с ним поделать.

А он рассказывал Настасье Николаевне:

— Прыгать в воду нужно умеючи. Если прыгать с большой высоты неумело — можно разбиться о воду... я прыгал однажды с самой верхушки мачты корабля... Сажень десять... Море внизу кажется маленьким-маленьким.

— Как же вы могли, — спросил методичный Шмидт, — прыгать с мачты прямо в море, если на вашем пути встречается борт корабля? Он должен далеко выдаваться за линию полета.

— Да, — согласился Новакович, целуя руку Настасьи Николаевны. — Он и выдавался.

— Ну?! Так как же...

— Да так, — усмехнулся Новакович. — Я прыгал во время волнения, когда была качка. Я выжидал наклона корабля в мою сторону и прыгал. Промедли я несколько секунд — мое тело безжизненной массой ударилось бы о борт корабля...

— Вы, значит, очень ловки? — любуясь им сквозь опущенные веки, спросила Настасья Николаевна.

Новакович, охорашиваясь, сложил руки на груди, вытянул ноги и хладнокровно кивнул головой.

— Да, я очень ловкий.

— Да уж ловкий, нечего и говорить, — проворчал Шмидт.

— Ловкий парень! — усмехнулся Работорговцев.

— Я ловкий! — засмеялся Новакович.

— Ловкий, — подумал я. — Ловкий, чтоб ты пропал.

— Ловкий, — подтвердил еще раз Новакович. — Не пропаду. Я, можно сказать, вырос на море.

— Как же вы говорили раньше, что ваша родина Москва? — спросил я, подмигнув Шмидту. — Как же так?

— Да, Москва!.. Что ж из этого? — удивился Новакович.

— Как же так: то — Москва, то — вырос на море?

— Ну да — что ж из этого?

— Какое же в Москве море?

— В Москве моря нет. Но что ж из этого следует?

Его наглый, какой-то хладнокровно-стальной тон смутил меня.

— Как же... вы... росли?.. — пробормотал я.

— Так и рос. Не оставаться же мне ради вашего удовольствия всю жизнь маленьким ребенком.

Настасья Николаевна засмеялась. Лучше бы она меня ударила.

II

22 градуса мороза, Петербург, пылающий камин, пушистый ковер и бенедиктин на энциклопедическом словаре — все это осталось далеко позади.

Было жаркое, летнее утро, был севастопольский бульвар, тихое море и нагретая солнцем скамейка, на которой я еле мог усидеть.

Сзади меня послышался скрип песка под чьими-то ногами и мелодичный свист. Я оглянулся и бросился вдогонку за промелькнувшим человеком.

— Новакович! — крикнул я. — Эй, Новакович! Стойте!

Приветствовал он меня равнодушно, без особенной радости.

— Очень рад видеть вас, Новакович, — сказал я, зловеще улыбаясь. — Посостязаемся! Надеюсь, вы помните, что говорили зимой на пушистом ковре? Хе-хе! Это редкое зрелище — видеть, как человек переплывает расстояние в шесть верст.

— А разве я говорил шесть? — осведомился, чертя палкой по песку свое имя, Новакович.

— Шесть.

— Да, но в речной воде. Речная легче морской.

— Хорошо, — согласился я. — Пусть. Положим на морскую воду половинное расстояние: три версты. Идет?

Он о чем-то думал.

— Пожалуй. Когда?

— Завтра.

Он мог удрать из Севастополя сегодня же вечером. Поэтому я решил не спускать с него глаз и увязался за ним обедать. После обеда мы ужинали, а потом, поздно вечером, я под каким-то предлогом напросился к нему ночевать.

Было ясное, жаркое утро. Держа Новаковича под руку, я вел его в купальню, а он вперемешку со свистом рассказывал:

— Теперь нет хороших пловцов... Помню, лет семь тому назад я плавал в Одессе с одним английским матросом... Вилли Сандерсом. Отплыли мы так, что берегов не видно. Что делать? Куда возвращаться?.. Компаса нет... «Плывем, — говорит Сандерс, — сюда». «Как — сюда? А вдруг берег останется сзади, и мы поплывем в открытое море»... Положеньице! Поплыли на авось...

— Ну? — мрачно спросил я.

— В десяти верстах пароход нас подобрал. Что смеху было!

— Вот и купальня, — сказал я. — Ну-с, разденемся.

Мне казалось, что я припер Новаковича к стене. Выхода ему не было... В его плаванье я верил так же, как в философский камень.

К моему удивлению, он бодро разделся, натянул купальный костюм и вышел на лестницу.

— Вот что... — обратился он ко мне. — Я поплыву, и если через два часа не вернусь — значит, что-нибудь меня задержало. Тогда вы не ждите — можете идти домой. Завтра увидимся.

— Ладно, ладно... Лезьте в воду.

— Сейчас полезу. Как вы думаете — холодная вода?

— 20 градусов.

— Ага... 20. Сейчас... сейчас полезу.

Он опустил одну ногу в воду и вдруг, вздрогнув, обернулся ко мне. На лице его была написана гадливость и отвращение, будто бы он наступил на лягушку.

— Что с вами? — удивился я.

Он взял меня за руку, отвел в сторону и шепнул, брезгливо выпятив губы:

— Я не могу лезть в воду.

— Почему?!

— Тот вон толстый человек, который за канат держится, сейчас плюнул в воду.

— Тот вон толстый человек, который за канат держится, сейчас плюнул в воду.

— Эка важность! Не в ванну же он плюнул, а в море. Море велико.

Не слушая меня, он стянул купальный костюм и с дрожью отвращения стал одеваться...

— Какая гадость! И как это позволяют плеваться?.. Фи! Только вспомню об этом — с души воротит! А вы... — обратился он ко мне, брезгливо всматриваясь в мое лицо, — неужели вы бы купались в такой заплеванной воде?

— Дело не в этом, — угрюмо возразил я.

— Завтра встанем пораньше и придем, когда никого не будет. Ладно?

— Вот это — другое дело. Сделайте одолжение!

III

Когда мы пришли на другое утро — в купальне не было ни души. Только в соседней женской купальне слышался чей-то разговор, взвизгивания и плеск воды.

Новакович опять быстро, с готовностью, переоделся в купальный костюм, вышел на лестницу, потом сейчас же вернулся и, смущенно смеясь, подошел ко мне.

— Ну? Что еще? — нервно спросил я.

— Там... женщины, — сконфуженно прошептал он.

— Да! Женщины. А вы что, — злобно прошипел я, — стесняетесь их?!

Он застенчиво провел пальцем по шву купального костюма.

— Они... смотрят... Я почти... голый. Как же так?

— Подумаешь, Иосиф Прекрасный! — разозлился я. — Лезьте в воду! Плывите!

Он тихо смеялся, подкатывая глаза, будто бы его щекотали.

— Ах, что вы, что вы!.. На виду у женщин... С голыми ногами... Ах! Мне, право, так неловко...

— Хорошо! — закричал я. — Хорошо! Мы возьмем лодку, отплывем в открытое море, и вы там поплаваете, черт возьми. Вам ведь все равно?!

— И прекрасно! — оживился он. — Лучше этого и придумать нельзя... Хоть сейчас.

— Ладно, — усмехнулся я. — Сейчас — так сейчас.

Через двадцать минут мы в четыре весла неслись из бухты на большом, просторном ялике.

— Ну вот, здесь хорошо, — сказал я, искоса поглядывая на него. — Ни души не видно, и всюду открытое море. Глубина здесь аршин сорок — пятьдесят.

— Средняя глубина,— кивнул головой Новакович.— На такой глубине я в молодости доставал со дна ракушки.

Он разделся, взял купальный костюм, завернутый в газетную бумагу, и стал его разворачивать. Скользя глазами по газете, он вдруг наклонился, впился в нее взглядом и тихо выругался.

— О, черт возьми! Вот не везет — так не везет!

— Что?!! — крикнул я, сжимая кулаки.

— Оказывается, в открытом море нельзя купаться. Вот постановление градоначальника, напечатанное в газете: «Во избежание несчастных случаев, запрещается купальщикам выезжать в открытое море»...

— Вздор! — сказал я. — Нас здесь никто не увидит, а яличнику я дам за молчание пять рублей! Лезьте в воду.

Новакович обиженно пожал плечами.

— Как! Вы хотите, чтобы я нарушил приказ начальства, того начальства, которое поставлено над нами самим Богом, которое заботится о нас и которое знает лучше: что хорошо, что плохо?! Никогда я себе этого не позволю... Э, нет... Плохо же вы знаете Новаковича!

Я действительно плохо знал Новаковича. Когда мы возвращались, я устало, апатично смотрел на далекий горизонт, а Новакович оживленно рассказывал:

— Помню, в Красном море был со мной случай: нырнул я, вижу — акула... Я как крикну на нее...

ГОРНИЧНАЯ ИЗ БОЛЬШОГО ДОМА

I

Два верхних этажа громадного дома были заняты меблированными отдельными комнатами, населенными разгульным, беспутным народом: репортерами, студентами, начинающими поэтами и просто разными порочными молодыми людьми.

В минуты просветления после нашей чадной жизни мы собирались в угловой комнате рыжего Васюканова и, тихо беседуя, недоумевали:

В минуты просветления после нашей чадной жизни мы собирались в угловой комнате рыжего Васюканова...

— Чем живет наш хозяин?

Денег за комнаты не платил никто, кроме технолога Ильяшенко. Да и то, поступая так в пьяном виде, Ильяшенко потом глубоко и сильно раскаивался. Вытрезвившись, он рвал на себе волосы, а однажды даже пошел отнимать у хозяина деньги, заплаченные в одну из таких минут разгула и расточительности.

Хозяин денег не возвратил.

Жильцов было так много, что хозяин в лицо их не помнил, хотя были такие, например, как я, которые жили по два года.

Однажды, поднимаясь по лестнице, я столкнулся лицом к лицу с хозяином.

Он посмотрел на меня и, заискивающе подтолкнув меня плечом, нерешительно спросил:

— Слушайте... А как же насчет деньжат? А?

Я широко раскрыл глаза.

— Деньжат? Каких деньжат?

— За квартиру...

— За квартиру? За какую квартиру?

В моем тоне было столько неподдельного изумления, что хозяин, сбитый с толку, сконфузился.

— Разве вы не мой квартирант?

— Я? Что вы?! У меня свой дом на Дворянской и именье в Крыму... А сейчас я иду к своим друзьям. Так, знаете... навестить.

Он погладил ладонью руки перила лестницы.

— Вот оно что! Так, так... В таком случае, молодой человек, не могли бы вы повлиять на ваших друзей в смысле деньжат, а? Они что-то, между нами говоря, сильно затянули уплату.

Я принужденно рассмеялся.

— Как же вы меня просите об этом, когда даже не знаете, к кому я иду?!

— О, это все равно... Мне все должны. Вы не беспокойтесь: ошибки никакой не произойдет.

— Хорошо, — пообещал я. — Будьте покойны. Все будет сделано.

— То есть... что — все?

— Все решительно! Без всякого исключения! Все в буквальном смысле этого слова! Прощайте. Привет супруге!

Он, волоча ноги, пошел вниз, а я, как стрекоза, взлетел наверх и кликнул сейчас же клич среди всего беспардонного народа:

— Господа! — сказал я. — Положение становится невыносимым! Хозяин уже осмеливается затрагивать скромных честных жильцов на лестницах! Очевидно, дела его совсем швах.

Сострадательный настройщик предложил:

— Устроим ему подписку!

В тот же вечер в пользу хозяина была устроена подписка, давшая 4 рубля 2 копейки наличными деньгами и 7 рублей 30 копеек в виде пустой стеклянной посуды типа бутылки.

II

Ко мне зашел Васюканов и со стоном покатился на кровать.

— Ужасный случай!

— Да?

— Да! Глупый хозяин нанял новую горничную.

— Не обязал ли он тебя платить ей жалованье?

— Она некрасивая! Понимаешь, такая некрасивая, что я чуть не упал в обморок. У нас шесть горничных — есть хорошенькие, средние и некрасивые, но это — Бог мой! Что я с ней буду делать!

— Предложи ей вместо любви дружбу.

— Это не то. Моя специальность требует не дружеских, а интимных отношений с женщинами, посвятившими себя услугам человечеству и уборке комнат.

— Неужели она такая некрасивая?

— А вот посмотри сам.

Опечаленный специалист по горничным нажал кнопку звонка и мрачно опустился на диван.

Вошла новая горничная.

Была она маленького роста, с длиннейшими красными руками, широкоскулая, с микроскопическим нацелившимся в потолок носом, веснушчатая, серолицая, увенчанная жидким пучком волос бледно-желтого цвета.

— Вот она, — сказал жестокий с женщинами сердцеед Васюканов. — Рекомендую! Звезда Востока. Лакомый кусочек для любителей изящного и элегантного!

Горничная смутилась, опустила голову и из-под нахмуренных бровей метнула сердитый взгляд на Васюканова.

— Этого мало, что они хотят. Нужно, чтобы и мне они понравились.

— Замолчи! — вскричал я. — Здравствуйте, голубушка. Как вас зовут?

— Валей!

— Ва...лей?!

— Ну да. Валентина. Что же тут удивительного?

— Гм... — сказал Васюканов. — Никогда я не встречал большей гармонии между именем и внешними данными! Вот, милая Валентина, — мой друг не прочь за вами приволокнуться. Вы, несомненно, ребенок в его вкусе.

Валентина пожала плечами и, прищурив глаза так, что они бесследно пропали, тихо сказала:

— Этого мало, что они хотят. Нужно, чтобы и мне они понравились.

Посмотрела презрительно на Васюканова и вышла.

С этих пор наш этаж невыносимо задирал нос перед другими этажами: на нашем этаже была самая безобразная горничная в околотке.

Только мы, только наша свора могла изобрести такую безумно нелепую причину самохвальства и гордости.

III

Напротив двери моей комнаты в коридоре помещался телефон.

Васюканов сидел у меня и рассказывал, какой он умный и как все удается ему в жизни.

— Я теперь живу безбедно и сыто, а почему? Потому что башка работает.

— С каких же пор ты стал жить безбедно?

— С прошлой недели. В прошлую среду я явился к соседу Оськину, к этой старой желтой крысе. И выпросил взаймы рубль. «Да вы не отдадите?» — догадался почему-то Оськин. «Я? Что вы! Я, признаться, славлюсь своей честностью. Завтра же отдам». Взял у него. Прожил. На другой день пошел к швейцару Гавриле и говорю: «Милый! Выручи двумя рублями. Завтра отдам!» Сначала он усомнился, а потом дал. Рубль я сейчас же пошел отдал Оськину, а рубль прожил. Через день прихожу к Оськину: «Одолжите, пожалуйста, три рубля».

— «Да вы не отдадите!» — «Я? Рубль же отдал, как обещал, и три отдам». Зловещий старик дал. Пошел я к Гавриле, вернул ему два рубля, а на рубль жил и веселился сообразно со склонностями. Затем снова явился к Гавриле: «Дай, милый, четыре

рубля». «Вам, — говорит, — можно, вы аккуратные!» Дал. Три рубля снес я Оськину, а рубль истратил на пищу, питье и одежду. Потом прихожу к Оськину через день, прошу: «Дайте пять рублей!» — беру! Четыре рубля Гавриле, а рубль...

— Довольно! — сказал я. — Система ясна. В ней есть только один недостаток. Сколько и кому ты сейчас должен?

— Гавриле. Девять.

— На пятнадцатом рубле предприятие лопнет, предупреждаю тебя. — Постарайся, по крайней мере, чтобы пострадал Оськин.

Васюканов пообещал:

— Он пострадает.

За дверьми раздался голос, настолько скрипучий, что его без колебания можно было приписать предмету нашей своеобразной гордости: Валентине.

— Кто у телефона? — спрашивала она. — Что? Это вы, Михаил Львович? Здравствуйте. Что? Что вы делаете? Как? Все в свои газеты пишете? Вы, смотрите, на меня не напишите!.. Все утро? Думали обо мне? Охота вам. Я такая неинтересная!.. Ха-ха! Что? Нет, не приду. Вы не умеете скромно держать себя. Когда зовете, так вы и такой и сякой, и скромненький, и тихий, а придешь — сейчас с объяснениями... Что? Кататься? Нет, не поеду. Холодно! Да и зачем на извозчиков тратиться... Что? Обманываете! Все вы сначала о любви толкуете, а мы, дуры, верим...

Мы сидели с Васюкановым смущенные, растерянные.

— Ч...черт знает что!! — сказал он, смотря на меня во все глаза. — У этого огородного пугала есть любовник?!

— Очевидно! — пробормотал я и рассмеялся. — Интересно бы его видеть.

— Наверно, какой-нибудь беглый из приюта для слепорожденных... Или опустившийся ночлежник, живущий за ее счет...

— Нет, милый, это не то. Он пишет в газетах и тратит свои деньги, чтобы катать ее на извозчиках.

Васюканов ударил кулаком по столу.

— Черт знает что! Теперь всю ночь я не буду спать!.. Это кошмар какой-то!

Я открыл дверь и выглянул.

Она стояла еще у телефона и говорила:

— Ну, прощайте. Завтра я позвоню. Что? Тысячу поцелуев? Не много ли будет? Ха-ха!

Увидев меня, она смутилась, охнула, закрыла лицо руками и убежала.

IV

Прошло два дня.

У меня сидели гости: Васюканов, Ильяшенко и два молодых агента по сбору объявлений — все наши соседи, жившие по этому же коридору.

Разговаривали. Неожиданно нашу беседу перебил звонок и голос в передней:

— Алло! Я у телефона. Да. Валентина. Здравствуйте, господин Жорж. Что? Видеться со мной? А что скажет Михаил Львович, если узнает? Да... Большая разница. Он любит по-настоящему, а вы только говорите... Что? Этого мало! На словах вы все любите! Куда? В драматический? Спасибо, в другой раз. Сегодня может позвонить Миша. Как? Интересная пьеса? Гм... Ну ладно. Только с условием: после театра чтобы

без ужинов. Прямо домой. Что? Ха-ха! Знаем мы эти ужины. А? Знаем мы вас, мужчин... Хорошо, только оденусь и приеду. А? Да.

Валентина повесила трубку и стремглав понеслась в свою комнату, вероятно, одеваться. Васюканов развел руками.

— Очевидно, в этом городе есть какая-нибудь особенная секта людей, которым нравится Валентина?! Какой-нибудь орден подвижников. Раньше бичевали тело, а теперь любезничают с этим кошмаром, с этой гримасой человечества! Хо-хо-хо!

Ильяшенко, задумчиво глядя через наши головы, сказал:

— Вы судите поверхностно. Предположите, что в этом уроде есть что-то такое, есть такая какая-то сила и обаяние, которые лишают иных людей рассудка... Может быть, в сущности, она интереснейшая женщина!

— Но как же такую можно поцеловать? — вскричал хриплым голосом беспокойный, порывистый Васюканов. — Как?

— Попробуйте, — усмехнулся сборщик объявлений.

Васюканов хлопнул ладонями.

— Попробую!!

Вошла Валентина, одетая в синее бархатное платье. Наряженная, в шляпе, она казалась еще безобразнее. Мне показалось даже, что было что-то гармоничное в ее безобразии.

Все мы смотрели на нее чрезвычайно внимательно.

— Вам, господа, ничего не понадобится? — независимо спросила она. —Я ухожу. Может, в лавку сходить нужно?

— В театр едете? — спросил Васюканов и — как это ни странно — в голосе его прозвучала нотка ревности.

Агент подошел к ней ближе и, обняв рукой ее талию, спросил:

— Неужели, вы без корсета?

Она засмеялась.

— Тсс... Нельзя руки распускать, господа. Я девушка.

— Девушка? — прищурился Васюканов. — Кланяйтесь от меня, девушка, Жоржу.

Она всплеснула руками, смутилась и у нее вырвалось:

— Ах! Откуда вы знаете?

Все засмеялись, и она, сконфуженная, убежала, переваливаясь на ходу.

V

Однажды я, проходя вечером по коридору, видел, как Васюканов поцеловал Валентину; при этом он держал ее за руку и спрашивал:

— Что это за Жорж? Что это за Михаил Львович и Костя? Почему ты с ними разговариваешь? Они тебе нравятся? Да? Да?

Она тихо усмехалась.

— Пустите. Не жмите руку. Какие вы все странные... Вчера и господин Ильяшенко меня все спрашивал: кто такие, да почему с ними разговариваю, да люблю ли?

Увидев меня, Васюканов выпустил ее руку и, принужденно усмехаясь, сказал:

— Странное существо! Не правда ли?

Я промолчал.

Вечером ко мне зашел Ильяшенко, один из агентов и Васюканов.

И опять мы слышали разговор:

— Кто это? Дядя Вася? Здравствуйте! Спасибо за подарок... Что? Напрасно тратитесь... Вы уже старый, а я девушка честная и того, что вы думаете, — не будет... Что? Замуж? Ох-хо! О нет, нет. Давно видели Жоржа? Кланяйтесь ему...

Брови Васюканова были нахмурены. Ильяшенко кусал губы, а агент только повторял:

— Черт подирай! О, черт подирай!

Кажется, все они думали о Валентине больше, чем нужно. Разговор после этого шел вяло. Прощаясь с ними, я сказал:

— Заходите ко мне завтра в это время. Я что-то покажу вам.

——

Они пришли.

— Тссс, — сказал я. — Молчите!

Я вынул из кармана нож, вышел в коридор и, взобравшись на подоконник, перерезал вверху телефонный провод.

— Зачем это? — удивился Васюканов, когда мы вернулись в комнату. — Ведь хозяину придется платить за исправление.

— Я сам заплачу, — сухо сказал я.

В коридоре послышались знакомые шаги, остановившиеся около телефона, и сейчас же послышался голос:

— Центральная? Дайте номер 43-65. Что? Спасибо. Кто у телефона? Это Жоржик? Здравствуйте. Ну как вам спалось после вчерашнего? Что? Ха-ха! Не знала я, что вы такой нахал... Ха-ха-ха-ха! Мне кажется, вы не можете видеть женщину, чтоб не... ну, вы знаете что... Что? Любите? Ох, сколько раз я уже слышала от вас, мужчин, это! Всем, наверное, вы говорите одно и то же. Что? Хорошо. Сегодня я приеду к вам... Только, чтобы без объятий! Слышите?..

НЕУДАЧНАЯ АНТРЕПРИЗА

I

— Пусти! О, ччер...рт!..

— Нет-с, я вас не пущу...

— Какое тебе дело! Касается это тебя? Пусти-и!!

— Отойдите от перил — тогда пущу...

— Обниму тебя покрепче, да вместе и прыгнем — будешь тогда знать!

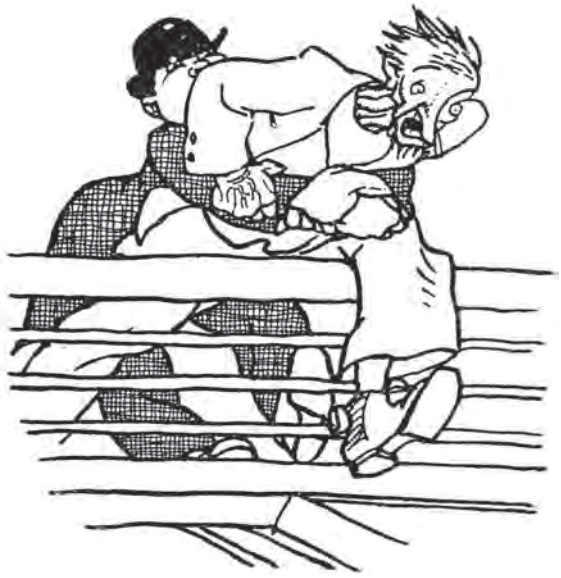
— Ну нет... Я на это не согласен. Послушайте... Вы непременно решили топиться?

— Нет, так просто — поплавать. Ха-ха! Все равно мягкосердечный ты человечек... Отойдешь — я тут же и сигану.

— Ладно в таком случае. А не согласились бы вы утонуть вместо сегодняшнего дня — завтра?

— Спасибо, милый. Значит, выходит — три дня голодал — голодай и четвертый?

— Послушайте... Хотите, мы обломаем прекрасное дельце? У вас есть родственники? Жена?.. Есть?



—Пусти! О, ччер...рт!..
— Нет-с, я вас не пущу...

— Гм... Мало ей от меня радости.

— Так вот... раз вы уже решили утонуть — отчего вам не принести жене и детям какую-нибудь пользу. Отдайте себя в мое распоряжение до завтра, а там топитесь хоть десять раз. Но жена ваша получит тысчонку рублей...

Спаситель был полный, краснощекий мужчина с проворными ухватками и резким смешком. Худой, давно небритый самоубийца, одетый в заношенный серый пиджак, болтавшийся на нем, как на вешалке, посмотрел исподлобья на спасителя, погладил рукой перила моста и ворчливо спросил:

— А что вы со мной сделаете?

— А вот, — захлебываясь какой-то внутренней волной, вскричал весело дородный незнакомец, — а вот что я с вами сделаю... Смотрите: кладу сначала в вашу руку золотой десятирублевик, а затем — веду вас в ближайший ресторанчик и кормлю вас сколько влезет. За обедом потолкуем. Недурно-с? Ась? Недурновато-с?

— А не будете там размазывать мне разные слова и уговаривать не топиться? Если зовете для этого — так и знайте: вскочу, убегу и опять в воду. Так уж я решил!

Его худой кулак упрямо и грозно опустился на железные перила.

— Вот чудак! Вовсе не буду я уговаривать вас не топиться. Просто прошу повременить денек. А если вы три дня не ели — подумайте: разве плохо съесть сейчас добрый кусок хорошей розовой ветчины, яичницу, пару котлет с жареным картофелем, какую-нибудь этакую осетрину и запить все бутылкой холодного пива или вина.

Худой человек потер ладонью небритую щеку.

— Да... вы умеете говорить. Пойдем.

II

— Вот вам! Ешьте. Ветчина, рыба, икра. Кушайте. А я буду говорить. Вы можете меня слушать?

— Мг...

— Прекрасно. Я рассуждаю так: всякое дело, если за него умело взяться, — может принести заинтересованному лицу немалую пользу. А в данном случае нас, заинтересованных, даже трое: вы, жена ваша и я. Чем заинтересованы вы? Вы умрете со спокойной совестью, что жена ваша надолго обеспечена, что жизнь ваша не пропала даром, что вы, умирая, принесли любимому существу пользу. Чем заинтересована ваша жена? Она получает тысячу чистоганчиком — мало тысячу — две тысячи! Совершен-

но не ударив палец о палец! Теперь вы, конечно, спросите, какую пользу получаю я? Я должен взять на этом тысяч тридцать, тридцать пять!! Каково? Вы спросите: почему же так много? Да ведь — Господи же! Ведь я же антрепренер. Мой риск, мои деньги!! Это уж правило — что при хорошем деле антрепренер получает больше всей своей труппы. Конечно, труппа или в данном случае — вы — могли бы сказать: «А ну тебя к черту! Зачем мы будем отдавать тебе то, что можем сами взять». Тут-то я вам и крикну: «Дудки-с! Дудочки! А капитал? А оборотные средства? Где они у вас?» А без них вы ничего не сделаете.

— Ага, — догадался самоубийца, энергично прожевывая ветчину. — Значит, вы хотите меня застраховать?

Плотный господин даже завизжал от радости.

— Конечно же! Конечно! Рассуждайте так: раз вы решили умереть — вы от этого ничего не теряете. Жена ваша выигрывает — и все довольны! Ну, скажите мне, скажите: можно что-нибудь мне возразить? Ну, возражайте же, возражайте!

— Гм... возразить-то, пожалуй, нечего, — промямлил задумчиво самоубийца. — Дело ясное! Как говорится — не подкопаешься. А если я скажу, чтобы вы выдали моей жене половину заработка... то есть, тысяч пятнадцать? Что вы запоете?

— Если вы это скажете? А я запою — ищите себе другого! А я не согласен!! Нет расчета! Я слишком для этого коммерсант!

Коммерсант помолчал и потом, побарабанив по скатерти пальцами, обиженно продолжал:

— Да, право. Даже обидно... То еле его от воды оттащил, а то он начинает торговаться, как тряпичник. Скажите, что изменилось в вашей жизни за этот час? Только что раньше жена ваша умерла бы с голоду, а теперь она заработает пару тысчонок.

— А знаете, — сказал самоубийца, поглядывая на собеседника из-за громадной кости отбивной котлеты, которую он обсасывал, — если бы жена моя знала о нашем условии, она бы отказалась от денег.

— Почему? Господи! Почему?

— Потому что она меня любит. Если бы ей предложили на выбор меня, каков я есть — нищий, выгнанный с завода за забастовку, попавший под надзор полиции — или кучу золота — будьте покойны — ха-ха! — она выбрала бы меня.

— Но раз вы уже утонете, — рассудительно возразил антрепренер, — ей уж выбора не будет.

— Если она узнала бы, что я утонул — это убило бы ее, — разнеженно прошептал самоубийца, одним взмахом салфетки утирая жирные губы и крупную слезу в уголке глаза.

— Однако раньше вы об этом не думали? — съязвил антрепренер.

— Раньше у меня было только одно чувство — голод. Тогда уж ни о чем не думаешь. А раз человек сыт — он добрее и не прочь подумать о своих ближних.

Полное лицо спасителя налилось кровью.

— О, черрт? — испуганно вскричал он. — Не раздумали ли вы топиться?

Худой опустил голову и задумался.

— Нет, пожалуй... Дело такое, что раздумать нельзя. В сущности, что изменилось с тех пор, как вы меня оттащили от перил моста? Только то, что я сыт и в кармане лежит золотой?

— Конечно, конечно, — подхватил антрепренер. — Только и всего. А завтра вы опять будете голодны, а если начнете есть, то через неделю от золотого ничего и не останется.

— Ну, нет, — глубоко задумавшись, покачал головой самоубийца. — На этот золотой можно сделать лучше: поехать в другой город и поступить на завод.

— Глупости! Глупости!!! Кто вас там примет? Везде полные штаты даже с избытком.

— Это ничего... Если хороший мастер — его всегда возьмут. А я, по механическому делу — о-о, какой дока!

— Все равно, если под надзором полиции — через месяц опять вылетите и опять голодать будете. Уж поверьте-с.

— Почему же? Буду жить скромненько... Для семьи... Полиция меня и не будет трогать. Накоплю деньжонок... Вы знаете, такой мастер, как я, может до ста рублей вырабатывать? Ей-Богу. Можно половину проживать, половину откладывать. Да жене если купить машинку, она шить будет — смотри, тоже две красненьких набежит. А там сынишка у меня поднимется — славненький пятилеток — к тому времени и в гимназию его отдать будет не трудно. Пусть и он не хуже других. А там университет... Не справимся сами — уроками поможет.

— Как же... дожидайтесь! Знаем мы эти студенческие уроки... На сапоги не хватит!

— Отчего же... Он у меня парнишка крепкий. Выбьется. А там, смотри — доктором будет или податным инспектором...

— Нет-с! Не будет! Не будет он податным инспектором!! Это, батенька, не так легко!

— Почему?

— Почему? Отдавай мне мои десять рублей — вот почему! Ишь ты, какой! То топиться, а то в инспекторовы отцы лезет. Подавай денежки!

Худой человек почесал щеку, подумал немного и, сунув руку в карман, вынул золотой.

— Нате... получайте, пожалуй. Обойдусь как-нибудь и без них.

— Обойдешься?! Интересно это мне знать: как обойдешься?

— Ну как-нибудь... Можно в автомобильный гараж поденно поступить — моторы чинить... Я в этом маракую. Перебиться немного, скопить на дорогу, а там опять на оседлое место, на завод. Да... пожалуй, так и придется сделать...

— Швейная машинка!! — заревел спаситель, стуча кулаками по столу. — Податной инспектор?! Кукиш с маслом!! Если так — иди опять топись! Черт с тобой... И страховать тебя не буду — пусть жена твоя с голоду подохнет!

— Зачем же ей подыхать с голоду, — благодушно улыбнулся самоубийца. — Даст Бог, выкрутимся.

— Выкрутишься... Вот свяжись с дураком...

Антрепренер посмотрел с омерзением на мечтательное лицо худого человека и сказал с целью как-нибудь побольше уязвить его:

— Ты небось и тогда ломался, когда у перил стоял... Все равно не прыгнул бы.

— Нет, прыгнул, — возразил самоубийца. — Вот вам крест, прыгнул бы.

— У-у, р-рожа! — зарычал с ненавистью антрепренер. — Так теперь-то чего не хочешь?!!

— Да, может, обойдусь. Выхожусь...

— Говорю тебе, не выходишься! Топился бы лучше уж, гадина омерзительная.

— Чего ж ругаться... Не виноват же я, что планишки некоторые теперь появились.

— Пла-анишки! А почему на мосту планишков никаких не было?

— Почему, да почему... Откуда же мне знать, почему?

Один недоумевал сдержанно, лениво. Другой — злобно, бешено сверля противника разгоряченными тридцатью тысячами, налитыми кровью глазами.

— Почему? Ну почему?

И никто из них даже не поглядел на скромно лежавшие на тарелках остатки жареной рыбы, ветчины и огрызок отбивной котлеты с картофелем.

КАК МЕНЯ ОБВОРОВЫВАЛИ

I

Однажды я ехал в поезде, имея в кармане две тысячи рублей наличными. В купе вагона нас было двое: я и еще один господин — самого продувного вида.

Еще когда не зажигали огней, я уже решил, что этот господин не прочь обокрасть меня, а когда наступил вечер — я готов был дать голову на отсечение, что мой сосед не кто иной, как самый зловредный, опытный, хитрый вор без всяких твердых принципов и устоев.

«Хорошо-с, — думал я, свесившись с верхней койки, на которой мне предстояло провести ночь, и разглядывая подозрительного соседа. — Мы с тобой, братец, еще потягаемся!.. Ты хитер, да и я ведь человек не последнего сорта! Посмотрим...»

Голова моя усиленно заработала.

«Если я засну, — размышлял я, — то он сейчас же обшарит мои карманы, найдет в боковом кармане деньги и удерет... Значит, нужно или совсем не спать, или заснуть, спрятав предварительно деньги в надежное место. Не отдать ли их обер-кондуктору?.. Но кто может мне поручиться, что тот завтра утром не отопрется от всего, заявив, что никаких денег он и не видывал? Или сделать так: пойти в уборную и сунуть деньги до утра в умывальник или за электрический фонарь... Конечно, они могут сохраниться до утра. А вдруг кто-нибудь найдет их и заберет себе?..»

По зрелому размышлению я признал все эти планы рискованными и негодными.

«Не спрятать ли деньги в чемодан, привязав потом его веревкой к ноге? Вор схватит чемодан, веревка дернет меня за ногу, я проснусь, наброшусь на вора и околочу его...»

Это было бы очень недурно, если бы вор дал предварительную клятву не перерезывать ножом веревку, привязанную к ноге.

Но такую клятву, я был уверен, трудно у него вырвать, да и поклявшись, он мог бы нарушить данную клятву, потому что эти люди имеют о совести и религии самое смутное представление...

— А не предложить ли мне ему просто сто рублей с условием, чтобы он соскочил на первой же станции? Неудобно. Спросит — почему? Раскричится...

Я долго и тщетно ломал голову и в конце концов остановился на одной мысли, которая показалась мне наиболее подходящей.

«У меня много карманов в платье, — подумал я. — Если разложить деньги поровну по всем карманам — вор вытащит деньги из одного кармана и удерет, не подозревая, что в каждом другом кармане лежит такая же сумма... Лучше потерять мне сто или полтораста рублей, чем две тысячи — это ясно. Лучше уменьшить риск в пятнадцать раз, чем рисковать всем!»

Я погрузился в расчеты.

«В пиджаке у меня пять карманов, да в жилете четыре... Нет, тоже пять — один внутренний. Итого десять. В брюках — два по бокам, да один сзади на пуговице... Если при этом надеть пальто, в котором пять карманов — получится восемнадцать. Предположим, я размещаю в каждый карман по сотне рублей... Останется две сотни лишних. Куда же их сунуть? В ботинки разве? Самое лучшее место! Наиболее рискованными карманами являются наружные в пальто. Они так явно мозолят глаза, что даже честному человеку трудно удержаться, чтобы не заглянуть в них. Нельзя ли сделать так: из карманов пальто перевести одну сотню в брючный карман, а другую — во внутренний жилетный (самое безопасное место). Или насовать в пальто по десяти рублей на карман — пусть берет, простофиля. Но тогда у меня останется лишних двести пятьдесят. Можно в пиджак. Какой пиджак? Что за вздор... Это я хотел сказать — чемодан? Где чемодан?.. Вот он! Странно только — почему он шевелится?»

Действительно, мой чемодан зашевелился, верхняя крышка отскочила и изнутри выползло нечто вроде змеи красивого изумрудного цвета. Меня страшно удивила особенность женщин притворяться: я сразу разгадал хитрость! Это была не змея, а рукав зеленой кофточки жены. Я увидел жену во весь рост. Она потрепала меня по плечу, опустилась на качалку и лениво сказала:

— Вот скучища-то! Хоть бы в театр куда-нибудь. Еще не поздно? Который час?

Я протянул руку к своим часам и, содрогнувшись, очнулся.

Никакой жены не было. Она исчезла и даже не одна, а с моим подозрительным соседом.

Я огляделся. Купе было совершенно пусто.

Я схватился за карман. Он был пуст.

В отчаянии я схватился за голову. В ней тоже после крепкого тяжелого сна ощущалась пустота.

Так обокрали меня первый раз в жизни.

II

Вторая кража была на значительно меньшую сумму. Просто когда я жил на кавказском курорте и вышел однажды прогуляться по горам, откуда-то из-за утеса выскочили кавказские разбойники и украли меня. Повторяю — эта кража была для воров менее прибыльна, чем первая, в вагоне, потому что со мной не было ни копейки денег, а сам по себе я стоил немногого.

Разбойники схватили меня, связали, посадили на лошадь и заявили самым убедительным тоном:

— Если вздумаешь бежать — мы тебя убьем.

— Да для чего я вам понадобился? — с любопытством спросил я. — Вот еще, нашли тоже сокровище!

Моя скромность не произвела на них хорошего впечатления. Начальник толкнул меня в спину и сказал:

— Мы за тебя получим хороший выкуп.

Я был изумлен.

— За ме-ня? Неужели я кому-нибудь нужен?

— Твои родственники выкупят тебя.

Абреки показались мне решительными дураками.

— Родственники? Только им и дела, что выкупать меня. Как же! Есть у меня один дядя, да и тот повесится прежде, чем заплатит за меня три рубля.

— Мы за тебя получим десять тысяч!

Впервые узнал я свою настоящую рыночную стоимость, и размер ее немало меня порадовал. Лично я был о себе более скромного мнения.

— Не буду с вами торговаться, — сказал я, качая головой, — потому что это меня унизит. Но если была бы малейшая возможность зашибить на мне деньгу, я первый сказал бы вам: «Просите двадцать тысяч. Мы оба по-братски заработаем на этом деле». Однако я не говорю этого. Почему? Совершенно безнадежное предприятие — за меня никто не даст ни копейки!

— У тебя есть друзья! — угрюмо сказал начальник.

Я горько засмеялся.

— Друзья! Я у них по уши в долгу! Я перехватывал деньги, где только мог... Когда ваш посланный явится к ним за выкупом, они поймают его, свяжут и потребуют уплаты всех моих долгов. Скажу вам откровенно: никогда вы не делали более глупой и менее удачной кражи, чем кража меня. Ваш торговый дом может лопнуть на мне, как мыльный пузырь. Я величина в покупательском смысле не только положительная, не только нулевая, но даже отрицательная! Прогоните меня как можно скорее.

— Пиши письмо! — закричал сердито начальник. — Проси выкупа или мы тебя зарежем, как собаку.

— Кому? — вспылил и я. — Кому я буду писать? Ротшильду? Испанскому королю? Говорю же вам: ни одна душа в мире не даст за меня ни копейки. Что я такое? Писаный красавец, гений, за которого всякий отвалит какой угодно куш?! Украли... тоже! Не могли найти ничего лучшего... Где у вас глаза-то были?

Тон у меня был такой убедительный, что все сконфузились.

— В таком случае мы тебя зарежем, — предложил начальник.

— Тоже предприятие! Из одной глупости в другую. Такие вы умные интеллигентные разбойники, а рассуждаете, как... черт знает кто. Ну, вы меня зарежете — какая вам от этого польза? А если отпустите — я вернусь в город и буду расхваливать вас на всех перекрестках. Распишу: какие вы смелые, мужественные, благородные... Популярность ваша возрастет, и бедное население окружит вас ореолом героев. Богачи будут вдвойне бояться вас и беспрекословно выкупать друг друга. Кроме того, вернувшись в город, я постараюсь сам разбогатеть, обрасти, как говорится, шерстью, и если когда-нибудь снова попадусь вам — за меня любой банк заплатит вам сколько пожелаете. Отпустите меня, а? Черт со мной, в самом деле!

— Черт с ним, в самом деле, — сказал, пожимая плечами, начальник. — Развяжите его. Пусть убирается на все четыре стороны.

Опьяненные моим дешевым красноречием, невежественные сыны гор развязали мне руки, и я пустился бежать по крутым утесам и камням с такой быстротой, что,

— Пиши письмо! — закричал сердито начальник. — Проси выкупа или мы тебя зарежем, как собаку.

если бы случилось мне споткнуться и упасть в пропасть, — от моего десятитысячного тела остались бы жалкие обломки, рублей на двадцать—двадцать пять по наивысшей оценке.

III

До сих пор я считаю самым гнусным делом третью кражу. Отчасти потому что она была двойная, а отчасти в ней был замешан один из моих лучших друзей.

Друга этого звали Фролов.

В дни нашей ранней молодости мы были неразлучны, но потом, когда в нашем городе появилась красавица вдова Марфа Леонидовна, — наши отношения испортились. Ухаживали мы за ней оба, оба бывали у нее, но однажды Фролов в мое отсутствие совершенно необъяснимым образом взял надо мной перевес, и с тех пор красавица была для меня совсем потеряна. Я был так огорчен, взбешен и расстроен, что не являлся к ним (они поселились вместе) целый год, а потом однажды явился, чтобы высказать счастливым любовникам свое настоящее мнение об их отношении ко мне.

Когда я приехал к ним, Фролова не было, и приняла меня Марфа Леонидовна.

Я уселся в кресло, угрюмо оглядел ее пышную великолепную фигуру и спросил сдавленным голосом:

— Счастливы?

Она улыбнулась.

— О, конечно.

— Послушайте, — сказал я, придвигаясь к ней в порыве неизъяснимого вдохновения. — Я через пять минут уйду и никогда больше, слышите ли, никогда не покажусь вам на глаза. И только об одном умоляю — объясните мне, как другу: за что вы его полюбили? Чем он покорил вас?

Она смотрела в окно, мечтательно улыбаясь и постукивая носком туфельки о ковер. Потом, после некоторого колебания, сказала:

— Вам это может показаться странным, но Володю я полюбила за одно стихотворение. Такое стихотворение мог написать только талантливый, безумно любящий человек. И когда он прочел его мне и посвятил — я дала ему первый поцелуй.

Я всплеснул руками.

— Володька написал хорошие стихи?! Полноте! Он способен рифмовать «село» и «колесо», «медведь» и «плетень» — я очень хорошо его знаю. Наверное, бездарные глупейшие стишонки написал он вам?

— Ошибаетесь, — нахмурилась она. — Стихи бесподобные. Так мог написать только большой поэт. Правда, такие стихи могла подсказать исключительно любовь ко мне — больше он стихов не писал.

— А как они... начинаются? Не помните?

Она обратила глаза кверху и тихо начала:

В ночь разлуки с тобою приснился мне сон.
Страшен был, непонятен был он...
Для него нет в уме обьясненья —
Мне пригрезились волны забвенья
Мутной Леты, и он — этот дряхлый Харон —
Вел ладью свою против теченья...
Я в ладье той сидел
И печально гляде...

Я вскочил с кресла и с громким криком схватил прекрасную вдову за руку.

— Слушайте! — вскричал я. — Да ведь это мое стихотворение!! Я его тогда же, помню, написал и показывал Фролову. Фролов пришел от него в неистовый восторг, просил даже переписать его...

Красавица побледнела, как бумага. Грудь ее вздымалась, подобно морской волне.

— Возможно ли это?

— Клянусь вам — это мои стихи.

Руки ее бессильно упали на колени.

— Что же... теперь делать?

Я вскочил с кресла...

Я заглянул ей в лицо и сказал:

— Первый ваш поцелуй принадлежал вору; отдайте второй — собственнику!

— Но ведь я целый год любила его за это стихотворение!

— В таком случае, — озабоченно сказал я, обнимая ее талию, — нам нужно как можно скорее наверстать этот украденный год!!

И эта честная женщина пожалела обворованного простака, и тихо улыбнулась ему, и поспешила согласиться с ним...

Я И МОЙ ДЯДЯ

Один знакомый спросил меня:

— Скажите, Двуутробников, у вас есть здесь в Петербурге какие-нибудь родственники?

— Нет, — сказал я. — Никаких.

— Может быть, однофамильцы?

— Нет. Моя фамилия очень редкая. Пожалуй, единственная.

— А я вчера, проходя по Николаевской улице, видел на парадных дверях карточку: «Илья Капитонович Двуутробников».

— Капитонович?.. Гм... И мой отец тоже был «Капитонович».

— У вас был дядя?

— Был... давно-давно. Да куда-то потом исчез.

— Так поздравляю вас! Это, наверно, и есть ваш дядя. А дядя, живущий на хорошей улице и имеющий на дверях медную карточку — это чудесный материал для будущего наследства!

Глаза мои заблистали.

— Я хочу к дяде! — вскричал я.

— ...Да и не только наследство... богатые дяди любят даже при жизни делать племянникам кое-какие подарочки.

— Я хочу к дяде! — закричал я, обуреваемый новым, неизведанным мною, чувством. — Я сегодня же хочу видеть милого дядю.

— Не забудьте же, — сказал знакомый, прощаясь со мной, — что это я сообщил вам о дяде. Если возьмете у него малую толику — поделитесь со мной.

— К дя-яде!! — ревел я, приплясывая.

— Я хочу к дяде!

— Я хочу к дяде!

— К дя-яде!!

Я написал такое письмо:

«Милый дядюшка! Это пишет вам ваш дорогой племянник Марк Двуутробников, живший доселе в одиночестве без родственного участия, попечения и ласки. О, как тяжело, незабвенный дядюшка... Зайду к вам сегодня вечерком. В чаянии быть вам полезным

Ваш Марк».

Вечером я звонил к дядюшке.

Дверь открыл мне какой-то старик в рваном пестром халате, подпоясанный веревкой с громадным толстым узлом на животе.

— Кого вам? — подозрительно спросил он.

— А что, братец... — спросил я, — дядюшка мой Илья Капитоныч принимает?

Старик, шлепая стоптанными калошами, отошел в угол пустой комнаты, опустился на подоконник и сморщил лицо.

— Принимает?! Где мне принимать. Я и лекарство-то перестал принимать, потому что в доме ни шиша нет, а мошенники-аптекаря в долг не отпускают.

— Это, значит, вы и есть мой дядя?—строго спросил я.

— Я! А то кто же. Спасибо, что вспомнил племянничек. Авось хоть он поддержит чем-нибудь бедного больного, разоренного дядьку. Знаешь, братец, не приди ты — я уже не знаю, чтобы мне и делать, форменный ты, брат, якорь спасения.

Идя к дядюшке, я втайне считал его якорем спасения. Теперь два якоря спасения стояли друг против друга и смущенно переглядывались...

Якорь спасения, который помоложе, вздохнул и подумал:

— Не влопался ли я в скверную историю? Не сядет ли этот оборванный дядюшка мне на шею? Не придется ли мне его содержать? Не проиграл ли я на этом деле?

А старший якорь спасения переминался с ноги на ногу, тер переносье, с надеждой заглядывал мне в глаза.

— Какой же ты молоденький!.. Какой раскрасавчик? Как пышно одет? Небось тысяч шесть в год зарабатываешь?..

Старая развалина имела хороший нюх: я действительно зарабатывал в год шесть тысяч.

— Дядюшка! — воскликнул я, утирая кулаком слезу. — Дядюшка! Знаете ли вы, что это платье — единственное, что у меня есть. Вы живете по сравнению со мной богачом!.. А я... даже собственного угла не имею... Живешь просто из милости у приятелей: сегодня у одного, завтра у другого.

Заложив руки назад, я поспешно перевернул бриллиантовое кольцо камнем внутрь и потом, помахивая сжатым кулаком, энергично продолжал:

— Дядюшка! Знаете ли вы, что мне по три дня не приходилось есть горячей пищи?! Чай, колбаса, французская булка — таково было мое неприхотливое меню.

Глаза дяди засверкали:

— Как?! У тебя есть чай, колбаса и булки и ты... жалуешься?! О милый... Если бы ты угостил меня подобным обедом — я, кажется, насытился бы на месяц. О, Боже! Свежая вареная колбаса... чуть-чуть с чесночком. Французская булка похрустывает на зубах... Чай ароматно и приветливо испускает теплый пар... Ложечка тихо позвякивает в стакане, размешивая сахар.

Я чувствовал, что гибну, что кто-то схватил меня за горло и хочет ограбить.

— Дядюшка! — отчаянно воскликнул я. — У меня даже нет ложечки! Я размешиваю чай ручкой зубной щетки!

— О?! — недоверчиво прищурился дядя. — У тебя есть даже зубная щетка? Решительно ты прожигаешь жизнь! Зубная щетка... Когда ты, милый, придешь ко мне еще раз, захвати ее с собою... Давно не видел я зубной щетки... Хоть перед смертью поглядеть...

Я с отвращением посмотрел на этого мизерного человечка и угрюмо спросил:

— Дядюшка! — отчаянно воскликнул я. — У меня даже нет ложечки! Я размешиваю чай ручкой зубной щетки!

— Значит, вам тоже неважно живется?

— Мне? Если ты, милый, не позаботишься обо мне — я скоро умру от голодухи и лишений... Раньше у меня была одна знакомая кухарка с верхней площадки, которая снабжала меня объедками и огрызками с барского стола за то, что я читал ей Евангелие. Но теперь Евангелие дочитано — и я лишился кухаркиной поддержки.

— Чем же вы питаетесь? — спросил я, нервно прохаживаясь по пустой неприветливой комнате.

Шаркая калошами, он подошел ко мне ближе и шепнул:

— Животными.

— Какими?

— Преимущественно крысами. У нас тут много развелось этих грызунов. Я ставлю ловушку и потом жарю пойманных крыс. Они по вкусу чуть-чуть напоминают молодую баранину и только немного отдают свечным салом. Если ты, дорогой мой, заглянешь ко мне еще раз, я угощу тебя горяченьким...

— Спасибо, дядюшка, — с горечью возразил я. — Но едва ли мне придется еще раз воспользоваться вашим гостеприимством.

— А что? — с беспокойством спросил дядя.

— Дело в том, что это платье, в сущности, не мое, дядюшка. Я давеча прихвастнул. Это платье взято на прокат у приятеля... Я вернусь к нему сейчас, возвращу платье — и положение мое делается в прямом смысле безвыходное.

У нищего старика, в сущности, была добрая душа... На лице его выразилось живейшее сочувствие.

— Эге! Дела твои действительно плохи... Нельзя ли этому помочь? Я вчера утащил, признаться, у швейцара коверчик, который был разостлан на площадке... Нельзя ли тебе соорудить из него своими средствами теплый костюмчик. Только уж ты тогда, являясь ко мне, молнией проносись мимо швейцара. А то — узнает свое добро — беды не оберешься. Хе-хе!..

Я сделал кислое лицо.

— Тоже... придумали! Кто же шьет из цветных ковров платье?! Да и кто шить-то будет?

— Ничего, брат. Можно, как-нибудь... Иглы, правда, у меня нет, но зато есть припрятанная про запас парочка-другая рыбьих костей. А то, хочешь, я тебе свой пальмерстончик уступлю. Ходи в пальмерстончике.

Я оглядел отвратительные лохмотья, облекавшие его тощее тело, и решительно сказал:

— Нет! Не надо. Я не хочу лишать вас последнего. Не судьба нам, значит, встречаться. Прощайте, бедный, дорогой дядюшка.

— Куда же ты? Посиди еще.

— Да на чем тут, черт возьми, сидеть, — досадливо вскричал я. — Когда даже стульев нет.

— А ты... на подоконнике... — робко предложил дядя. — Или я тебе газетку на полу постелю, посидим еще, поболтаем о том о сем.

— Благодарю вас!! — бешено вскричал я. — От вас пышет гостеприимством! Усядемся мы на рваных газетах, займемся шитьем пальмерсточника из старых рыбьих костей и краденых «коверчиков», а потом, подкрепив силы парой жареных крыс, разойдемся веселые и довольные друг другом. Нет-с, дядюшка! Я к такой жизни не привык-с!

— Конечно, — с обидой в голосе прошептал дядя. — Где нам! Вы привыкли на стульях сидеть, чаи с колбасами распивать, зубными щеточками жизнь свою украшать... Где нам...

Я почувствовал, что обидел старика.

— Ну чего там, дядя, бросьте. Не стоит. Только вот что: объясните мне одну дьявольскую загадку.

Дядя побледнел и съежился.

— Что такое?

— Почему у вас медная дощечка прибита? Почему квартира ваша на втором этаже? Что у вас в следующих комнатах?

— О милый! Это целая история... Квартира эта принадлежит моему другу, торговцу стеклом и фаянсовой посудой. Однажды дела его испортились... ему грозила продажа с аукциона товаров, полное разорение... Тогда он ночью свез самый ценный товар в эту квартиру, сложил до поправления дел, а мне разрешил из милости жить в первых двух комнатах. В остальные я и не захожу.

— Гм... Ну, прощайте, дядя... Свидимся ли, Бог весть.

— Куда же ты?

— Я думаю, мне пора! Кстати, который теперь может быть час?

——

Машинальным движением старик засунул руку за пазуху своей отвратительной хламиды, вынул массивные золотые часы и сказал:

— Шесть.

— Дядюшка! У вас золотые часы!!

С юношеской неосторожностью я всплеснул руками — и бриллиант сверкнул на моем пальце.

Хитрый старик заметил это и, сунув за пазуху часы, с усмешкой сказал:

— Убей меня, если я поверю, что это тысячное кольцо одолжил тебе тот же приятель!

Я потыкал пальцем в грудь старика и многозначительно сказал:

— Часы. Золотые.

— Золотые? Ха-ха, — визгливым, фальшивым смешком раскатился дядя. — Нового золота, брат! Шесть с полтиной — в лучшие времена были куплены. Их теперь и за рубль не продашь.

— Э, черррт!.. — вне себя зарычал я. — Вы все еще ломаетесь?.. Так докажу же я вам, что юность порывистее, откровеннее и честнее старости! Вот... и вот! И вот! И вот!!

Я снял кольцо, вынул золотой портсигар, часы, бумажник, в котором было около сотни рублей, тонкий батистовый платок — и все это лихорадочно расшвырял по подоконнику.

— Вот вам колбаса! Вот булки! Вот вам моя нищета и злосчастье! Перехитрил ты меня, старая лисица! А дома еще есть фрак, два сюртука, бриллиантовая булавка и запонки.

Мы обернулись друг к другу и долго пронзительно смотрели один на другого.

— Ага... — сказал, лукаво хихикнув, старикашка. — Вот это другое дело.

Он развязал веревку на животе, стянул свой халатик и с отвращением отбросил его в угол.

— Долго пришлось мне рыться на чердаке, пока подвернулась под руку эта подходящая дрянь.

Под халатом у него был черный суконный жилет и элегантный бархатный пиджак.

— Адольф! — заорал он во все горло. — Вели Ильюшке подавать обед!! Ты не откажешься, надеюсь, пообедать со мной?

— Крысами? — насмешливо прищурился я.

— Но ведь и не колбасой, — возразил дядя. — У меня повар не из последних.

Он взял меня под руку, потащил в столовую, но на пути остановился и с силой хлопнул меня по плечу.

— А ведь получишь ты после меня наследство, каналья! Чувствую я это.

— А то как же, — хладнокровно улыбнулся я. — Конечно получу. Ведь я ваш настоящий, неподдельный племянник.

— Выдержки у тебя не хватает... — упрекнул он.

— Я ж еще молодой!

Дядька визгливо захохотал.

МОЛНИЯ

I. ПРИЕЗД НЕЗНАКОМЦА

Если сказать правду, то рудничный поселок «Исаевский» считался первым среди других поселков — по числу и разнообразию развлечений.

Жаловаться было нечего: каждая неделя приносила что-нибудь новое. То конторщик Паланкинов запьет и в пьяном виде получит выговор от директора, то штейгерова корова сбесится, то свиньи съедят сынишку кухарки чертежника... А однажды рудничный врач, в пьяном виде, отрезал рабочему совсем не ту ногу, которую следовало. Этой ногой досужие, скучающие конторщики кормились целую неделю, потому что хотя здоровая нога и была зарыта в больничном саду, но родственники безногого пронюхали об этом, вырыли ногу и явились к доктору просить на чай. Доктор раскричался, заявил, что понимает в медицине не хуже любого человека, и только после долгих споров, когда родственники стали энергично наступать на него с ногой в руках, — он сдался и уплатил десять рублей, не считая докторского старого осеннего пальто, подаренного безногому рабочему за беспокойство.

Немало развлекла рудничную молодежь и история с неизвестным прохожим, который, шатаясь в зимнюю ночь около поселка, влез погреться на коксовую печь старой системы и прогорел. Объясняли так: когда он ложился, печь была еле-еле теплая, а потом огонь разгорелся, пробился сквозь угольную кору и прожег бок спящему.

Видом своим изжаренный прохожий напоминал громадного поросенка, кожа на нем полопалась, волосы обгорели, и, так как он из-за каких-то формальностей целую неделю ждал погребения — конторщики, стосковавшись по свежему, новому человеку, гурьбой шли в сарай, поднимали простыню и рассматривали покойника.

Но все это были мелочи по сравнению с тем событием, которое оставило самый яркий след в жизни поселка... Событие это было — кинематограф и стереоскопы.

Однажды в осеннее утро, похожее как две капли воды на другие утра, в контору приехал худой черный человек с цыганским лицом и белыми зубами, сверкнул этими зубами, сверкнул белками глаз и потребовал, чтобы его проводили к главному инженеру...

...в контору приехал худой черный человек с цыганским лицом и белыми зубами...

Сначала все предположили, что это — лесной поставщик, и не обратили на него никакого внимания, но это оказался не поставщик!

Инженер после краткой беседы с приезжим вышел в контору и сказал:

— Вот, господа, monsieur Кибабчич предлагает устроить у нас временный кинематограф. Я думаю дать ему разрешение, конечно, только в том случае, если это не будет неблагоприятно отражаться на общем ходе занятий вверенного мне поселкового персонала!..

Инженер повернулся и ушел, а контора загудела, оживилась, и Кибабчич сразу оказался в кругу двадцати молодых людей с испитыми от работы, пьянства и скуки лицами.

Все впились в него глазами и стояли молча с полминуты.

Самый развязный из конторщиков Масалкин протянул ему руку и сказал:

— Позвольте познакомиться.

Кибабчич очаровал всех своим ловким непринужденным ответом. Он сказал:

— Очень рад.

— Позвольте познакомиться, — протянул руку табельщик Уважаев.

И конторщик Петухин протянул тоже руку и сказал:

— Позвольте познакомиться.

И всем говорил Кибабчич, этот чудесный, загадочный человек из другого неведомого мира:

— Очень рад. Очень рад.

— Ну, — сказал старик Лиховидов, — посмотрим, посмотрим ваш кинематограф.

— Не оставьте меня вашим благосклонным вниманием, — расшаркался Кибабчич.

— Мы будем ходить каждый день! — в порыве беспредельной радости вскричал Петухин.

Над поселком «Исаевским» загоралась новая заря.

II. ПРЕМЬЕРА

В большом помещении, носившем название «ожидальная», потому что зимой в нем сотни рабочих ожидали расчета, кипела работа. Плотники натягивали на раму полотно, устраивали скамьи для публики и загородку для рабочих.

Конторщики то и дело выскакивали из конторы и прибегали смотреть, как идет работа и успеют ли закончить все к вечеру воскресенья, когда была назначена премьера.

Уже в субботу с утра в конторе никто не занимался. Все бродили от одного стола к другому и с напускным видом равнодушия вели беседы.

— Симпатичный он человек, этот Кибабчич. Такой простой. Вчера даже обедал у штейгера Анисимова.

— Ну?.. Все-таки, что ни говорите, затеять такое дело нужна большая сметка! Ведь это как театр!

— А его сестра на мандолине играть будет, — сказал пронырливый Масалакин.

— Что ты! Артистка?

— Значит, артистка, если играет на мандолине!

— И ты с ней знаком?

— Ну, не знаком еще. Но могу познакомиться... через Анисимова.

Все пожали плечами, но на лицах читалась самая некрасивая, незамаскированная зависть.

Наступило воскресенье.

Хотя начало сеанса было назначено в восемь часов, но рабочие пришли в четыре, конторщики — в шесть с половиной, а бухгалтер и штейгер, как истые аристократы, пресыщенные жизнью и удовольствиями, — в семь часов.

Масалакин, этот несокрушимый смелый лев, успел-таки познакомиться с сестрой Кибабчича, невзрачной брюнеткой, и с семи часов вечера уже стоял около ее стула, рассматривая мандолину с искусственным спокойствием человека, умеющего владеть собой.

Масалакин одет был шикарнее всех.

Масалакин одет был шикарнее всех. На нем был смокинг, темно-красный закрытый жилет и изящные скороходы, сквозь верхние прорезы которых виднелись чистые белые чулки. На пальце сверкал огромный бриллиант, выменный у Петухина на собрание сочинений Жюля Верна, а в галстуке торчала такая громадная булавка, что Масалакин время от времени одним размашистым движением подбородка сверху вниз втыкал ее глубоко по самую шляпку в галстук.

Дамы смотрели на него с обожанием, конторщики завидовали, а он бросал на всех рассеянные, снисходительные взгляды и вел со своей соседкой разговор вполголоса.

И думал он: «Почему не все люди одинаковы? Почему я красив, блестящ и умею поговорить, а другие конторщики — жалкие, невидные, ничем не выделяющиеся... Почему одних Господь отличает, а других сваливает в одну кучу?..»

Премьера удалась на славу. Картины весело мелькали на экране, m-lle Кибабчич играла вальс «Сон жизни», а Масалакин изредка наклонялся к ней с целью показать, что между ними уже установились дружеские отношения, и спрашивал:

— А из «Евгения Онегина» Чайковского что-нибудь играете? Или марш «Вахтпарад»?

Во время перерыва дочь больничной сиделки Аглая Федоровна подозвала блестящего Масалакина и сказала:

— Фу, какой вы нарядный! Слушайте, вы знакомы с самим антрепренером... как его?

— Кибабчич, — уронил небрежно Масалакин. — Как же, Кибабчич!

— Познакомьте меня с ним.

Масалакин ринулся в будку, вытащил оттуда Кибабчича и, дружески взяв его под руку, потащил в третий ряд.

— Да иди, Костя! Да иди сюда, я тебя с одной барышней познакомлю. Не бойся!

Все ахнули, услышав, что Масалакин уже на «ты» с гордым, богатым директором кинематографа. Конторщики завидовали...

И когда этот человек все успевал?

III. НА ДРУГОЙ ДЕНЬ

Утром в конторе опять завидовали блестящему Масалакину, расспрашивали его о домашней жизни директора кинематографа и, подмигивая, говорили:

— А вы прямо ухажером сделались этой, что на мандолине играла. Смотрите, влюбитесь.

Масалакин радостно смеялся.

— Уж и влюблюсь! Просто я люблю театральный мир и артистов. В них есть что-то благородное!

— Она действительно его сестра?

— Да-а. Она окончила курсы игры на мандолине, бывала в Петербурге. Даже несколько раз.

Во время обеденного перерыва Масалакин предложил товарищам:

— Хотите, пойдем в кинематограф?

— Да там же сейчас ничего нет.

— Все равно. Я покажу вам полотно, ленты. Картинки маленькие-маленькие.

И он, как свой человек, повел конторщиков в «ожидальню».

Там царила полутьма. Кибабчич возился в будке, а сестра его меняла на мандолине струну.

— Позвольте познакомить вас, — сказал Масалакин.

— Очень приятно, — сказала барышня.

— Очень приятно. Очень приятно. Очень приятно, — застенчиво сказали три конторщика.

Кибабчич вылез из будки и стал показывать полотно и ленты.

— Неужели за полотном ничего нет? — удивился Уважаев.

— Ничего. Простая стена.

— Поразительно. А я думал... А это что такое?

— Стереоскопы. Сейчас я зажгу лампочку. Если в это отверстие бросить пятак и вертеть ручку, то вы увидите раздевающуюся парижанку, купанье в Биаррице и мечеть в Каире. Очень интересно.

Раздевающаяся парижанка понравилась больше всего. Петухин истратил на нее три пятака, Уважаев — четыре, а какой-то маленький, вновь поступивший конторщик с бледным лицом — сорок копеек.

Масалакин в это время что-то шептал барышне тихим, разнеженным голосом.

IV. ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ

Каждый вечер зажигались лампы, впускалась по билетам публика и Кибабчич показывал свои картины. Несмотря на то что их было только восемь и программа ни разу не менялась, публика с охотой десятки раз просматривала и «Выделку горшков в Ост-Индии», и «Барыня сердится» (очень комическая), и «Путешествие по Замбезе» (видовая)...

Наоборот, было так приятно узнавать старых знакомых: барыню, бьющую посуду на голове мужа, негров, вытаскивающих гиппопотама, и неловкого штукатура, обливающего краской прохожих.

— Сейчас будет «Жертва азарта»! — предсказывал Петухин, развалившись во втором ряду.

— Нет, это через картину, — возражала сиделкина дочь Аглая. — А сейчас «Барыня сердится», очень комическая. Я хорошо помню, Константин Сергеич! — кричала она, оборачивась к будке. — Ведь сейчас «Барыня сердится», очень комическая?

— Да, да, Аглая Федоровна. Впрочем, какую вы хотите, ту и пущу!

— Ах, какой вы кавалер!

Аглая краснела. Все завидовали.

Днем в «ожидальне» всегда торчал кто-нибудь из конторщиков.

Заходил Петухин и, здороваясь с Кибабчичем, говорил:

— Скучно что-то. Посмотреть разве «Парижанку»?

— Пожалуйста, — радушно говорит Кибабчич, — картина интересная.

Петухин бросал пятак, смотрел «Парижанку», потом «Купание в Биаррице», а потом, чтобы отстранить от себя подозрения в склонности к эротике, жертвовал пятак на скучную «Мечеть в Каире».

Приходил и Уважаев.

— Смотрел уже «Парижанку»?

— Смотрел. И «Мечеть» смотрел. И «Купанье».

— Хочешь еще посмотрим? Куда ни шел пятачок? Посмотрим?

— Ну, давай.

Друзья становились у стекол и вертели ручку, любуясь знакомой, до последней черточки и складки белья, «Парижанкой».

— Вечером будете? — спрашивал Кибабчич.

— Конечно, будем. «Барыня сердится» будете показывать?

— Все буду. Приходите.

Друзья становились у стекол и вертели ручку.

Кибабчич был светлым лучом Исаевского поселка, несмотря на то что конторщики совершенно разорились на стереоскопы и билеты. Кибабчича приглашали с сестрой на обеды, на именины, катали на рудничных лошадях... Аглая вышила ему голубую сорочку, а Масалакин подарил m-lle Кибабчич громадную коробку конфет от Шелепова — таких сухих, что их перед едой нужно было обливать теплой водой.

V. ТЬМА

И вот в один осенний день все это неожиданно кончилось... Кибабчич объявил, что завтра состоится последний спектакль и на другое утро они с сестрой перевозят свой театр на новое место.

Погас светлый луч...

Больше всех были в отчаянии Масалакин и Аглая... Она пришла вечером к Кибабчичу, вызвала его и имела с ним долгий разговор. А Масалакин сказал своей артистке, что едва ли переживет удар... Она ответила, что им нужно расстаться, а Масалакин заявил, что все артистки равнодушны и жестоки!.. И намекнул, что если он когда-нибудь умрет, то немалая доля вины в этом придется на долю кое-кого.

По окончании спектакля директору кинематографа и его сестре был устроен ужин, на котором Петухин говорил длинную, отрывистую речь, смысл которой заключался в том, что он благодарит дирекцию за доставленное эстетическое удовольствие и что деньги, в сущности, дрянь. Все сидели печальные, как на похоронах... А утром блестящая труппа покинула Исаевский поселок... Уехали: брат, сестра, «Парижанка», «Барыня сердится», штукатур, гиппопотам, «Мечеть» и Аглая, которая бросила отчий кров для захватывающе интересной жизни с обаятельным авантюристом Кибабчичем.

И стало мертво, темно и пусто...

Даже неудачное покушение Масалакина на самоубийство при помощи баночки хлористого натра, украденного в рудничной аптеке, и то не расшевелило заснувших.

СВОЙ КРЕСТ...

Noblesse oblige[1]*

Однажды канцлер докладывал королю о текущих делах.

—...Кроме аудиенции, которую, ваше величество, вам предстоит дать завтра итальянскому послу, сегодня вам будут представляться: турецкий посланник, поверенный в делах Мексики и...

Король поднял свое бледное, угрюмое лицо и неожиданно произнес странные, неслыханные слова:

— А... знаете что? Ну их всех к черту!

— Ваше королевское величество! Осмелюсь напомнить, что с итальянским посланником предстоит беседа о новом торговом договоре...

— А... знаете что?.. Ну их всех к черту. Отвяжитесь от меня с вашими договорами, — крикнул король. — Не желаю! Довольно. Никаких приемов, официальных обедов и полуофициальных завтраков. Спасибо! Сыт по горло.

Канцлер почтительно склонился.

— Слушаю-с. В таком случае, может быть, вы не откажетесь принять в пятницу немецкого посла?

Король всплеснул руками.

— Это удивительно! Скажите, неужели мы говорим с вами на разных языках? Неужели вы меня не поняли?

— Слушаю-с. Какие будут теперь приказания вашего королевского величества?

— Никаких. В том-то и штука, что никаких. Надоело мне все это до смертушки! Ухожу я от вас. Уйду в лес, найду какую-нибудь заброшенную хижину и буду жить в ней, питаясь плодами да рыбой, пойманной в ближайшей речке. Ах, если бы ты знал, — сказал задушевным тоном король, переходя на «ты», — как я давно об этом мечтаю.

— Слушаю-с. Прикажите приготовить автомобиль и выработать маршрут?

— Этого только недоставало!! Смешной ты человек, братец... Единственно, что я прикажу — чтобы мне по дороге никто не мешал, не кричал «ура!» и не приставал с расспросами и услугами. Дай повсюду распоряжение, чтобы считали меня по дороге простым крестьянином. Да приготовь котомку и палку.

---

[1] Положение обязывает *(фр.)*.

— Будет исполнено. Котомка и палка будет, к сожалению, готова только к вечеру.

— Господи! Почему так долго?

— Котомку я предлагаю сделать из лионского бархата с вышивкой жемчугом, шелками и аграмантом. Палку изготовим вам из розового дуба с золотым набалдашником, украшенным десяточком-другим бриллиантиков...

— Знаешь что? Ты мне надоел. Если ты это сделаешь, я выброшу твою бархатную котомку и золотую палку в окно, а сам убегу безо всего.

——

Ранним утром вышел из дворца король, одетый в крестьянское платье, и пошел на восток.

Пройдя несколько верст, свернул в сторону и зашагал по девственным пустым полям. Только один раз встретился ему работавший в поле человек.

Человек этот, увидев короля, раскрыл рот и выпучил глаза так, что они чуть не высыпались из орбит.

— Чего ты смотришь? — нахмурился король. — Разве ты знаешь, кто я?

— Так точно. Знаю.

— Ну кто?

— Кто вы? Простой мужик, ваше королевское величество.

— Тьфу!

Раздосадованный, зашагал король дальше. И вот, углубившись в лес, нашел король то, что искал. Среди высоких, стройных деревьев притаилась маленькая заброшенная хижина дровосека, все убранство которой заключалось в маленьком кабинетном рояле, кровати с пружинным матрасом и полдюжине простых венских стульев. Даже ковров не было в этом убежище нищеты и заброшенности!

Король, как ребенок, захлопал в ладоши и нашел, что лучшего помещения ему и не потребуется.

Голод стал мучить его.

«В речке должна быть рыба, — подумал король. — Хорошо бы поймать ее. Но чем?»

Он задумчиво опустил глаза и вскрикнул от радости: на траве лежала брошенная кем-то удочка. Король схватил ее и помчался к речке. У берега лежал красивый, выдолбленный посредине камень, на котором сидеть оказалось очень удобно. Король забросил в густые камыши удочку и, когда через минуту дернул удилище, на конце лесы держалась большая серебристая рыба. К удивлению короля, она оказалась совершенно очищенной от чешуи и даже выпотрошенной. Это заставило короля призадуматься. Он еще раз забросил удочку и опять через минуту вынул рыбу, которая была битком набита перцем и лавровым листом, а во рту держала большой очищенный лимон.

«Странная порода», — подумал король и пошел в свою хижину.

В печке весело пылал огонь.

— Откуда это? Гм... Может быть, я нечаянно давеча бросил на стружки спичку — стружки и загорелись? Непонятно...

Король сварил рыбу, съел вкусную, жирную уху и вышел прогуляться. Жажда томила его. По дороге ухо короля уловило журчанье ключа, пробивавшегося в скале. Жаждущий путник без труда нашел ключ, прильнул к нему — и, изумленный, отпрянул прочь. Вода была сладкая, пахла апельсином, а сбоку на скале висела медная дощечка с надписью: «Газирована. Приготовлена на кипяченой воде».

Глаза короля потускнели, и лицо омрачилось. Он тихо отошел от лимонадного ключа и побрел дальше среди роскошных фруктовых деревьев, отягченных большими аппетитными плодами.

Рука его машинально протянулась к белому сочному яблоку. Но яблоко было высоко. Король стал на цыпочки... Со своей стороны яблоко тоже принагнулось, вздрогнуло и, отделившись от ветки, упало в королевские руки. Близорукий король не заметил, что от ветки шла вниз проволока, терявшаяся в кустах, но близорукий король заметил, что яблоко было искусно очищено от кожицы и даже сердцевина с семенем была выдолблена.

Король швырнул яблоко в кусты и побрел дальше. По дороге он нервно теребил тонкий батистовый платок, который какими-то судьбами очутился в кармане его грубой крестьянской куртки. Потом возвел глаза, свои печальные потускневшие глаза, к небу — и выронил из рук платок.

В тот же момент из густых кустов высунулась чья-то рука, схватила платок и почтительно протянула его королю.

— Негодяй! — заревел король, хватая эту руку.— Так-то вы устраиваете вашему королю одиночество и жизнь в пустыне!!

Он вытащил за руку растерянного слугу, закричал на него, затопал ногами, покатился в истерическом припадке наземь и стал рыдать и вопить, стуча кулаками по траве.

— Как?! Я хочу быть один, я хочу уйти от вас, и я не могу этого сделать?! Я, король, не могу сделать того, что доступно ничтожнейшему из моих подданных?! Всю жизнь, значит, на меня наложены эти проклятые цепи ненужной мне придворной заботливости и дурацкого комфорта — и никуда я, никуда не спрячусь от них?! И, значит, как бы я ни старался — я до самой смерти не сброшу этих бархатных, усеянных жемчугом, пут, этих золотых палок с бриллиантовыми набалдашниками... О, если так — довольно! Лучше смерть...

Вокруг рыдавшего короля уже стояла почтительная, молчаливая толпа придворных и робко поглядывала на своего повелителя.

— Лучше смерть! — ревел обезумевший король.— Лучше в реку! Прощайте, мои погубители. Ни с места! Не смейте следовать за мной.

И помчался бедный король к реке. Но как ни спешил король — придворные были резвее его...

——

Король добежал до реки и остановился, удивленный: на берегу он увидел маленькую пристань и несколько ступенек, ведущих к воде. Пристань была украшена зелеными гирляндами, цветами и транспарантами, а ступеньки, ведущие к воде, обиты красным дорогим сукном.

— Это что? — строго спросил король.

Выдвинулся вперед церемониймейстер.

— Это-с? Место для самоубийства, ваше королевское величество. Мы в отчаянии, что не успели нагреть воду и довести ее до температуры вашей ежедневной утренней ванны — но времени было так мало...

Король опустился на траву (впрочем, не на траву: под него сейчас же подкатили свернутый в трубку персидский ковер) и долго и тихо плакал. Все, окружив короля, молча ждали... Потом король встал, утер слезы и обвел всех страдальческими глазами.

— Ну... черт с вами! Забирайте меня.

И повели короля во дворец.

ДУРАКИ, КОТОРЫХ Я ЗНАЛ

I. УДИВИТЕЛЬНЫЙ КОНКУРС

Громов сосредоточенно взглянул на меня и сказал:

— В этом отношении люди напоминают устриц.

— В каком отношении и почему устриц? — спросили мы: я и толстый Клинков.

— В отношении глупости. Настоящая, драгоценная, кристальная глупость так же редка в человеке, как жемчужина в устрице.

— Не рискованно ли сравнивать глупость с жемчужиной? — спросил рассудительный Клинков.

— Не рискованно!! Вы знаете, я уже второй год культивирую около себя дурака. Что это за прелесть! Сущая жемчужина. Нужен был тщательный половой подбор, несколько поколений глупых людей, чтобы произвести на свет такое сокровище. Зовут его Петенька.

— У меня тоже есть свой дурак, — похвастался Клинков. — Он, вероятно, лучше твоего. Это самый веселый, восторженный дурак на свете. Я познакомился с ним в одном доме шесть месяцев тому назад и с тех пор полюбил его, как сына. Он восхищается всем, что я говорю, и от самых серьезных слов хохочет, как сумасшедший. Этот человек считает меня самым тонким остряком. Когда я однажды при нем рассказал о землетрясении в Мессине, он перегнулся пополам от хохота. «Ах, ты ж, Господи! — восклицал он, задыхаясь. — Только этот плутишка Клинков может так рассказывать курьезные вещи с серьезным лицом».

— Позвольте! — хлопнул себя ладонью по лбу молчавший до того Подходцев. — Да ведь и у меня есть дурак. Правда, он хитер, как дикарь, и скрывает свою глупость, как скупой рыцарь — золото. Но иногда она — эта глупость — блеснет нечаянно сквозь какую-нибудь прореху и озарит тогда своим сиянием весь мир! Он служит в таможне, и зовут его Эрастом.

— Красивое имечко, — завистливо проворчал Клинков. — Моего зовут просто Феодосий.

— А у меня... нет своего дурака, — печально вздохнул я. — Боже ты мой! У всех других есть дураки, все живут люди как люди, — а я совершенно одинок. Громов, подари мне своего дурака.

— Ни за что на свете. Вот еще!

— Ну на что он тебе? Ты другого найдешь.

— Нет, нет, — сухо сказал Громов. — Не будем говорить об этом.

— Клинков! — обратился я к толстому другу. — Продай мне своего веселого дурака. Я тебе отвалил бы не маленькие деньги.

— Попроси у Подходцева.

— Зарежьте вы меня прежде, чем я отдам вам его, — закричал Подходцев. — Если я лишусь его, я не перенесу этого. Я умру от горя.

Эраст

— Самый лучший дурак — мой, — хвастливо засмеялся Громов. — Мой славный, кристальный Петенька.

— Ну нет, — возразил пыхтя Клинков. — Твой сдаст перед моим.

Подходцев самоуверенно засмеялся.

— Оба они, вероятно, ничто перед моим Эрастом. Я уверен, что ваши дураки и не дураки вовсе. Так просто самозванцы. А мой — стоит только посмотреть на его лицо — и всякий скажет: «Да, это он!»

Все трое счастливцев закричали, заволновались, заспорили.

— Чего проще, господа, — пожал я плечами. — Устройте конкурс своих дураков. Чей дурак лучше — тот возьмет первый приз.

— Прекрасно! — воскликнул Подходцев.

Все благодарили меня, а Клинков даже поцеловал.

Конкурс решено было устроить в моей квартире. Так как я не имел своего дурака («обездурачен» — как определил мое положение Подходцев), меня и выбрали в качестве жюри.

В тот же день я получил от Подходцева, Клинкова и Громова адреса Эраста, Феодосия и Петеньки, поехал к ним и, после недолгой беседы, получил от каждого определенное обещание посетить меня. Чтобы все три дурака могли заранее освоиться друг с другом, я утром в день конкурса собрал их в маленьком ресторанчике, где мы позавтракали и обменялись мнениями по разным вопросам жизни.

Все трое действительно оказались на редкость дураками — все здоровый, отборный, неимоверно глупый народ.

От часовой беседы с ними голова моя так распухла, что, при возвращении домой, шапку пришлось нести в руках.

II. КОНКУРЕНТЫ

К десяти часам вечера приехали все. Каждый приехал со своим дураком, подобно охотникам, которые являются к сборному пункту с собственной собакой на веревке...

Сразу же все прибывшие разбились на две группы: умные тихо шушукались в углу кабинета, а дураков я усадил за чайный стол и принялся энергично угощать чаем с коньяком.

Ко мне подкрался на цыпочках Подходцев с миной озабоченного родственника мертвеца, которого собираются отпевать, и шепнул:

— Ну что ж... Можно начинать?

— Да. Я распоряжусь, чтобы дали закуску и вино.

Я ободрительно подмигнул насторожившимся дуракам и вышел из комнаты.

Подали ужин. Я посадил всех вразбивку: дурака между двумя умными и умного между двумя дураками. Мне же, как арбитру, пришлось сесть вне этого порядка.

Была минута напряженного молчания.

— Однако и жарко же здесь! — вздохнул Подходцев.

Подходцевский дурак Эраст укоризненно поглядел на своего хозяина и возразил:

— В доме повешенного не говорят о веревке.

— Почему, милый?

— Потому что потому.

— Нет, Эрастик, — захныкал Подходцев. — Вот ты сделал мне замечание, ты обидел меня, а за что? Где у тебя веревка и где повешенный? Если веревка — воздух, а повешенный — хозяин, то ты обидел и хозяина. Если же веревки — все присутствующие, ты обидел и присутствующих. Что ты, родной, думал сказать этой фразой?

— Не хотели ли вы сказать, что из нас можно веревки вить? — спросил обиженно Громов.

— Или что мы вешаемся всем на шею? — возвысил голос Клинков.

Дурак Клинкова, веселый Феодосий, услышав слова своего патрона, всплеснул руками и громко захохотал.

— Ну и Клинков! Ну и удружил же! Молодец Клиночек. Очень зло сказано.

— Ваш спор, господа, отклонился в сторону, — заметил Петенька. — Я принужден указать на то...

— Тише, ребята! — зычно рявкнул Громов. — Мой Петя говорит.

—...На то, что сравнение разогретого воздуха с веревкой грешит неправильностью. Веревка, как известно, имеет два измерения.

— Одно, — тихо сказал Эраст.

— Почему, Эрастик? — прищурился Подходцев.

— Одна веревка, одно и измерение.

— Дайте Петечке договорить, — ревниво перебил его Громов. — Говори, Петечка.

—...Итак, я говорю: воздух есть нечто невесомое, нечто такое, нечто...

— Искомое! — подсказал Громов.

— Почему искомое?

— Потому что мы его ищем. Все люди ищут воздуха, потому что иначе они бы задохлись.

Эраст пожал плечами и сухо возразил:

— Однако же я никогда не ищу воздуха и — как видите — не задыхаюсь.

— Очень зло сказано! — усмехнулся, кивая головой, Феодосий.

— Мы опять отклонились от темы, — поморщился громовский дурак. — Сравнение воздуха с веревкой неправильно в самом корне.

— В корне чего? — переспросил методичный, сухой, таможенный Эраст.

— Э?

— Я говорю — в корне чего: воздуха или веревки?

— Веревки и воздуха.

— Очень зло сказано, — значительно сказал Феодосий.

Петенька

— Значит, по-вашему, веревка и воздух имеют корни? — придирчиво подхватился Эраст. — Да? Может, веревка имеет и листья, да?

— Я не понимаю, — робко сказал громовский дурак Петенька, — чего он на меня кричит?

— Отчасти Петя прав, — вступился Клинков. — Если веревка не имеет листьев — она имеет ствол.

— Кто из вас, господа, был когда-нибудь влюблен? — спросил неожиданно Подходцев.

Его дурак Эраст прищурился.

— Это вы почему спросили?

— Так просто, Эрастик.

— Нет, позвольте... нельзя так спрашивать... Ведь всякий вопрос должен же иметь под собой какую-нибудь почву?

— Господа! У нас получается сад! —вскричал Клинков.

— Почему сад? — презрительно спросил непоколебимый дурак Эраст.

— У нас есть почва, есть стволы, есть листья и есть корни...

— Зло сказано!! — восторженно взвизгнул Феодосий.

— Тонко сострено!

Но сейчас же под тяжелым взглядом таможенного Эраста съежился Феодосий и сконфуженно зашептал что-то Петеньке.

Феодосий

— Мы сейчас говорили одно, а Подходцев о какой-то любви спрашивает. Был разговор о вещественности воздуха, атмосферы...

— Воздух и атмосфера не одно и то же, — встрепенулся Петенька.

— А какая же разница?

— Атмосфера одна, а воздуху много, — подсказал Громов.

— Да? Вы так думаете? — заскулил, вертя головой, ядовитый подходцевский дурак Эраст. — Вы так полагаете? Таково ваше мнение?

— Так его, Эраст, так! — зааплодировал Подходцев.

— Хватай его за ноги.

— Вы полагаете — атмосфера одна, а воздуху много? Да? Так? Так я скажу вам, миленький, что иногда в одном паровом котле помещается двадцать атмосфер.

— Ай да ловко! — загрохотал Феодосий. — Ловко подцепили Громова! Молодец Эраст! Остроумно! Осадили Громчика с атмосферой.

— Это называется атмосферический осадок, — добродушно вставил Петенька.

— Зло сказано! — похвалил и его восторженный Феодосий.

III. ИТОГИ

— А не довольно ли? — шепнул мне Подходцев. — Кажется, физиономии выяснились.

— Господа! — громко сказал я. — Пойдем в кабинет. Туда нам дадут кофе. Эраст, Петенька, Феодосий! Идите в кабинет — мы скоро придем — сейчас только кое-какие счеты нужно выяснить.

Дураки переглянулись, подмигнули друг другу и, взявшись под руку, послушно зашагали в кабинет. Мы остались одни.

— Ну-с, — сказал гордо Громов. — Теперь вам ясно превосходство моего веселого Феодосия? Надеюсь...

— Ну, уж твой Феодосий... Обратили вы внимание, господа, какой у меня умный, рассудительный дурак Эрастик? Как он методически рассуждает?

— Что?! Да мой Петенька на голову выше. Он, правда, не веселый, не методичный, но ведь его разговор о корне веревки и воздуха — это все! Это Шекспир.

— Тссс!.. — приложил я палец к губам. — Хотите слышать, о чем говорят дураки на свободе? Пойдем в спальную. Оттуда все слышно.

В спальне было темно. Мы на цыпочках подкрались к полуоткрытым в кабинет дверям и заглянули...

— Господа! — возбужденно говорил Петенька. — По справедливости, приз принадлежит мне за моего дурака! За Громова. Вы заметили, что он ляпнул насчет атмосферы. Я в душе чуть не помер со смеху.

— Па-азвольте. Па-азвольте, — перебил Эраст. — По-моему, мой Подходцев в тысячу раз глупее Громова. Его бестактный разговор о любви, когда его никто и не спрашивал...

— Это зло сказано! — захохотал Феодосий. — Но, братцы, прошу вас! Ей-Богу! Пусть мой Клинков будет первым. Он самый веселый, остроумный дурак современности. А? Братцы!

— Па-азвольте! Я стою за своего Подходцева! Впрочем, спросим хозяина, как мы с ним и условились. Пусть он скажет.

В спальне произошла возня. Это Подходцев схватил меня за шиворот и вытащил в столовую.

— Говори, что это все значит?

Я нахально засмеялся.

— То и значит, что конкурс был двойной. Я уверил ваших дураков, что они умные, а вы — дураки, и что забавно бы устроить насчет вас конкурс. Вы думаете, что это вы их привезли, а они думают, что они вас привезли. Вы состязались на них, а они на вас.

— Проклятый! Ты испортил наших дураков!

— Зачем ты это сделал? — сурово спросил Громов.

Я сделал умильное лицо и пропищал:

— Что ж, братцы... У вас небось были дураки, а у меня не было. Я и сделал себе... целых шесть сразу!

МУЖЧИНЫ

Кто жил в меблированных комнатах средней руки, тот хорошо знает, что прислуга никогда не имеет привычки предварительно докладывать о посетителях... Как бы ни был неприятен гость или гостья, простодушная прислуга никогда не спросит вас: расположены ли вы к приему этих людей.

Однажды вечером я был дома, в своей одинокой комнате, и занимался тем, что лежал на диване, стараясь делать как можно меньше движений. Я человек очень прилежный, энергичный, и это занятие нисколько меня не утомляло.

Я вскочил с дивана, сделал по направлению к посетительнице три шага и спросил удивленно:
— Чем могу быть вам полезен?

...По пустынному коридору раздались гулкие шаги, шелест женских юбок, и чья-то рука неожиданно громко постучалась в мою дверь.

Машинально я сказал:

— Войдите!

Это была скромно одетая, немолодая женщина в траурной шляпе с крепом.

Я вскочил с дивана, сделал по направлению к посетительнице три шага и спросил удивленно:

— Чем могу быть вам полезен?

Она внимательно всмотрелась в мое лицо.

— Вот он какой... — пробормотала она. — Таким я его себе почему-то и представляла. Красив... Красив даже до сих пор... Хотя прошло уже около шести лет.

— Я вас не знаю, сударыня! — удивленно сказал я. Она печально улыбнулась.

— И я вас, сударь, не знаю. А вот привелось встретиться. И придется еще вести с вами длинный разговор.

— Садитесь, пожалуйста. Я очень удивлен... Кто вы?

Дама в трауре поднялась со стула, на который только что опустилась, и, держась за его спинку, с грустной торжественностью сказала:

— Я мать той женщины, которая любила вас шесть лет тому назад, которая нарушила ради вас супружеский долг и которая... ну, об этом после. Теперь вы знаете, кто я?! Я — мать вашей любовницы!..

Посетительница замолчала, считая, вероятно, сообщенные ею данные достаточными для уяснения наших взаимоотношений. А я не считал эти данные достаточными. Я не считал их типичными.

Я помедлил немного, ожидая, что она назовет, по крайней мере, фамилию или имя своей дочери, но она молчала, печальная, траурная.

Потом повторила, вздыхая:

— Теперь вы знаете, кто я... И теперь я сообщу вам дальнейшее: моя дочь, а ваша любовница, недавно умерла на моих руках с вашим именем на холодеющих устах.

Я рассудил, что вполне приличным случаю поступком будет: всплеснуть руками, вскочить с дивана и горестно схватиться за голову:

— Умерла?! Боже, какой ужас!

— Так вы еще не забыли мою славную дочурку? — растроганно прошептала дама, незаметно утирая уголком платка слезинку. — Подумать только, что вы расстались больше пяти лет тому назад... Из-за вашей измены, как призналась она мне в минуту откровенности.

Я молчал, но мне было безумно тяжело, скверно и горько. Я чувствовал себя самым беспросветным негодяем. Если бы у меня было больше мужества, я должен бы откровенно сказать этой доброй, наивной старушке:

«Милая моя! Для тебя роман замужней женщины с молодым человеком — огромное, незабываемое событие в жизни, которое, по-твоему, должно сохраниться до самой гробовой доски. А я... я решительно не помню, о какой замужней даме говоришь ты... была ли это Ася Званцева, или Ирина Николаевна, или Вера Михайловна Березаева?»

Я нерешительно поерзал на диване, потом бросил на посетительницу испытующий взгляд и потом, свесив голову, осторожно спросил:

— Расскажите мне что-нибудь о вашей дочери...

— Да что ж рассказывать?.. Как вы знаете, они с мужем не сошлись характерами. Он ее не понимал, не понимал души ее и запросов... А тут явились вы — молодой, интересный, порывистый. Она всю жизнь помнила те слова, которые были сказаны вами при первом сердечном объяснении... Помните?

— Помню, — нерешительно кивнул я головой, — как же не помнить?.. Впрочем, повторите их. Так ли она вам передала.

— В тот вечер мужа ее не было дома. Пришли вы, какой-то особенный, «светлый», как она говорила. Вы заметили, что у нее заплаканные глаза, и долго добивались узнать причину слез. Она отказывалась... Тогда вы обвили рукой ее талию, привлекли ее к себе и тихо сказали: «Счастье мое! Я вижу, тебя здесь никто не понимает, никто не ценит твоего чудесного жемчужного сердца, твоей кристальной души. Ты совершенно одинока. Есть только один человек, который оценил тебя, сердце которого всецело в твоей власти...»

— Да, это мой приемчик, — задумчиво улыбнулся я.— Теперь я его уже бросил...

— Что?! — переспросила старушка.

— Я говорю: да! Это были именно те слова, которые я сказал ей.

— Ну вот. Потом вы, кажется, стали... целовать ее?

— Наверное, — согласился я. — Не иначе. Что же она вам рассказывала дальше?

— Через несколько дней вы гуляли с ней в городском саду. Вы стали просить ее зайти на минутку к вам выпить чашку чаю... Она отказывалась, ссылаясь на то, что не принято замужней даме ходить в гости к молодому человеку, что этот поступок был бы моральной изменой мужу... Вы тогда обиделись на нее и целую аллею прошли молча. Она спросила: «Вы сердитесь?» — «Да, — сказали вы, — вас оскорбляет такое отношение и, вообще, вам очень тяжело и вы страдаете». Тогда она сказала: «Ну, хорошо, я пойду к вам, если вы дадите слово вести себя прилично...» Вы пожали плечами: «Вы меня обижаете!» Через полчаса она была уже у вас, а через час стала вашей.

И, опять приподнявшись со стула, спросила старуха торжественно:

— Помните ли вы это?

— Помню, — подтвердил я. — А что она говорила, уходя от меня?

— Она говорила: «Наверное, теперь вы перестанете уважать меня?», а вы прижали ее к сердцу и возразили: «Нет! Никого еще в жизни я не любил так, как тебя!» А теперь... она умерла, моя голубка!

Старая дама заплакала.

— О! — порывисто, в припадке великодушия вскричал я. — Если бы можно было вернуть ее вам, я пожертвовал бы для этого своей жизнью!

— Нет... ее уже ничто не вернет оттуда, — рассудительно возразила старуха.

— Не говорила ли она вам еще что-нибудь обо мне?

— Она рассказывала, что вы сначала виделись с ней каждый день, потом через день, а потом на вас свалилась неожиданно какая-то срочная работа, и вы виделись с ней раз в неделю. А однажды она, явившись к вам неожиданно, застала у вас другую женщину.

Я опустил голову и стал сконфуженно разглаживать рукой подушку.

— Помните вы это? — спросила дама.

— Помню.

— А когда она расплакалась, вы сказали ей: «Сердцу не прикажешь!» И предложили ей остаться хорошими друзьями.

— Неужели я предложил ей это? — недоверчиво спросил я.

Вообще это было на меня не похоже. Я хорошо знал, что ни одна женщина в мире не пошла бы на такую комбинацию, и потому никогда не предлагал вместо любви дружбу. Просто я спрашивал: «Кажется, мы охладели друг к другу?» У всякой женщины есть свое профессиональное женское самолюбие. Она почти никогда не говорит: «Кто это мы? Никогда я к тебе не охладевала!» А опустит голову, промедлит минуты три и скажет: «Да! Прощайте!»

Очевидно, старуха что-то напутала.

— Не передавала ли мне покойница что-нибудь перед смертью?

И в третий раз торжественно поднялась со стула старуха, и в третий раз сказала торжественно:

— Да! Она поручила вам свою маленькую дочь.

— Мне? — ахнул я. — Да почему?

— Как вы знаете, муж ее умер четыре года тому назад, а я стара и часто хвораю...

— Да почему же именно мне?

Старуха печально улыбнулась.

— Сейчас я скажу вам вещь, которая не известна никому, — тайну, которую покойница свято хранила от всех и открыла ее мне только в предсмертный час: настоящий отец ребенка — вы!

— Боже ты мой! Неужели? Вы уверены в этом?

— Перед смертью не лгут, — строго сказала старуха. — Вы отец, и вы должны взять заботы о вашей дочери.

Я побледнел, сжал губы и, опустив голову, долго сидел так, волнуемый разнородными чувствами.

— А может быть, она ошиблась? — робко переспросил я. — Может быть, это не мой ребенок, а мужа.

— Милостивый государь! — величаво сказала старуха. — Женщины никогда не ошибаются в подобных случаях. Это инстинкт!

Нахмурившись, я размышлял.

С одной стороны, я считал себя порядочным человеком, уважал себя и поэтому полагал сделать то, что подсказывала мне совесть. Он должен быть мне дорог, этот ребенок от любимой женщины (конечно, я в то время любил ее). С другой стороны, эта неожиданная, тяжелая обуза при моем образе жизни совершенно выбивала меня из колеи и налагала самые сложные, запутанные обязанности в будущем.

Я — отец! У меня — дочь!..

— Как ее зовут? — спросил я, разнеженный.

— Верой, как и мать.

— Хорошо! — решительно сказал я. — Согласен. Я усыновлю ее. Пусть носит она фамилию Двуутробникова.

— Почему Двуутробникова? — недоумевающе взглянула на меня старуха.

— Да мою фамилию. Ведь я же Двуутробников.

— Вы... Двуутробников?!

— А кто же?

— Боже мой! — в ужасе закричала странная гостья.

— Значит, это не вы?!

— Что не я?

— Вы, значит, не Класевич?! Дочь называла фамилию Класевич и сказала этот адрес.

— Как же! — тараторил я. — Моя фамилия Двуутробников, номер десятый, а Класевич дальше.

Неожиданная бурная волна залила мое сердце.

— Класевич, — захохотал я. — Поздравляю вас: вы ошиблись дверью. Класевич в следующей комнате, номер одиннадцатый. А моя комната — номер десятый. Пойдемте, я провожу вас.

Оживленный, веселый, взял я расстроенную старуху за руку и потащил за собой.

— Как же! — тараторил я. — Моя фамилия Двуутробников, номер десятый, а Класевич дальше. Он — номер одиннадцатый. Он тут уж давно живет в этих комнатах, вот тут, рядом со мной. Как же! Класевич... Очень симпатичный человек. Вы сейчас с ним познакомитесь... А вы, значит, вместо одиннадцатого номера в десятый попали?! Хе-хе... Ошибочка вышла. Как же! Класевич, он тут. Эй, Класевич! Вы дома? Тут одна дама вас по важному делу спрашивает... Идите, сударыня. Хе-хе... А я-то, слушаю, слушаю...

НОВЫЙ СОЛОМОН

Vanitas vanitatun et omnia vanitas...[1]

I

Я не помню, что именно навело моих ближних на мысль сделать меня мировым судьей: была ли у них гениальная способность угадывать скрытое призвание в человеке, или просто не было никого другого, кому можно было бы навязать это хлопотливое дело? Во всяком случае я охотно взялся за него, не споткнувшись даже об единственное условие, которое мне поставили: судить по совести.

Наоборот — должен сказать, что это условие именно и прельстило меня... Законы я знал плохо, а совести у меня был непочатый угол. Совести — могу сказать с гордостью — у меня были целые залежи (вероятно, потому что до сих пор мне не приходилось пускать ее в дело...).

Кроме совести у меня перед глазами был еще благой пример в лице царя Соломона, который тоже был судьей и, занимаясь этим делом, ловко умел выкручиваться из самых затруднительных положений, несмотря на полное отсутствие законов и уставов о мировых судах.

В особенности восхищал меня его известный всем прием с двумя женщинами, которые судились из-за ребенка: одна присваивала его себе, а другая — себе. Я согласен, что узнать действительную мать было бы трудно, если бы не гениальная мысль царя Соломона: он взял меч и заявил, что разделит ребенка на две равные части. Фальшивая мать согласилась на это (по принципу: ни тебе, ни мне), а настоящая мать упала на колени и, заливаясь слезами, вскричала: «Не рубите младенца, пожалуйста! Отдайте его лучше ей!»

Таким образом Соломон и обнаружил настоящую мать.

Были и другие способы: установить истину свидетельскими показаниями, разыграть младенца в чет и нечет или подождать, пока он вырастет, чтобы посмотреть — на кого он будет похож? Но, конечно, «способ с мечом» в таких случаях — наилучший.

Вступая в новую должность, я дал себе слово отбросить всякие связывающие человеческое творчество законы и действовать исключительно по принципам, завещанным великим царем Соломоном: быстрота и натиск! А эпиграфом к своей деятельности я мысленно поставил историю с мечом и ребенком. По-моему, она должна быть исходным пунктом для каждого здравомыслящего судьи.

——

Вступая в новую должность, я не знал, что деятельность судьи так разорительна для его здоровья, для его кошелька и его самолюбия: меня подцепили на удочку, сделав судьей, — я в этом убедился в первый же день моей работы, в тот самый первый день, который был и последним. Да! Сознаться нужно — маловато поработал я на почетном поприще правосудия: всего один день...

---

[1] Суета сует и все — суета... *(лат.)*.

II

...Я сел в кресло, обвел присутствующих взглядом и сказал:

— Итак — начнем. Тяжущиеся! Подходите по порядку.

Втайне я был бы очень рад, если бы первым делом оказалось дело двух женщин, заспоривших о младенце... Я знал бы, как поступить в этом случае... (недаром в кармане у меня лежал громадный складной ножик, купленный еще вчера, как необходимый атрибут жреца правосудия). Но, к сожалению, первым делом оказалась сложная и запутанная история под названием: «Оскорбление словами».

Мещанин Федосеев жаловался на купеческого сына Лутохина, который якобы обозвал его словом «дурак».

Дело упростилось бы, если бы Лутохин отпирался от сказанного слова (в таких случаях дело обыкновенно прекращается), но Лутохин на первый же мой вопрос откровенно признался:

— Да. Я назвал его дураком!

— И не стыдно вам? — сказал я. — Зачем же вы это сделали?

— Потому что он действительно дурак.

— Вот странно: что это, звание, что ли?

— Конечно, звание, — хладнокровно подтвердил Лутохин. — Сметливый вы, например, судья — вас называют судьей; Федосеев дурак — его нужно называть дураком...

Лутохин крепко утвердился на этой позиции, и мне трудно было выбить его оттуда.

«Интересно, — подумал я. — Как бы поступил на моем месте сметливый царь Соломон? Я уверен, он подошел бы к этому запутанному делу с самой неожиданной стороны... Эх! Будь один из них младенец...»

И тут же меня озарила мысль, настоящая царская, соломоновская: «А что если Федосеев в самом деле дурак? Попробую испытать его. Если Лутохин прав, прекращу это загадочное дело, да и все».

Я очнулся от задумчивости, поднял глаза на обиженное лицо Федосеева и сказал тоном судьи:

— Вы жалуетесь на купеческого сына Лутохина, который назвал вас дураком... Скажите, вы твердо уверены, что вы умный?

— Твердо, — отвечал Федосеев.

— Хорошо-с, — потер я с довольным видом руки (дело начинало налаживаться). — Если это так, то я задам маленькую загадку и по ответу посмотрю: кто вы такой?

Федосеев промолчал, растерянно глядя на меня.

— Вот-с, если бы перед вами горели две свечи: длинная и короткая... То какую бы вам нужно было погасить, чтобы эти обе свечи потом сравнялись?

Федосеев долго, напряженно думал и потом, солидно погладив бороду, ответил:

— Длинную.

Я усмехнулся.

— Вот и выходит, что Лутохин был прав. И выходит, что вы дурак. Ступайте! Прекращено дело.

Царь Соломон, глядя с небес на меня, вероятно, радовался, а мещанин Федосеев обиделся. Он сказал:

— Какой же вы судья, если ругаетесь... Я буду жаловаться на вас.

— Ступайте, ступайте, — нетерпеливо крикнул я. — Сколько угодно! Следующий! Подходите!

Следующим делом я заинтересовался больше: оно было почти соломоновским, только роль ребенка играло осеннее пальто, да вместо женщин были мужчины. Но принцип был тот же.

— Вот, ваше благородие, — сказал один из двух мужчин, по профессии смазчик вагонов. — Висело мое пальто на гвоздике, а он пришел да взял. «Ты, говорю, куда?» «Это, говорит, не твое пальто, а мое». «Как твое, когда я его покупал?» «Нет, говорит — мое».

— А что вы скажете? — обратился я к другому человеку с рыжими волосами и грязными руками.

— Он врет, ваше благородие, — заявил грязный человек. — Пальто мое.

— Хорошо-с, — с наружным хладнокровием резюмировал я. — Он говорит пальто его, вы говорите пальто ваше. Самое справедливое будет, если я разделю его пополам.

Я разложил пальто на столе, вынул ножик и выжидательно посмотрел на тяжущихся. Я ожидал, что настоящий владелец, по соломоновскому принципу, упадет на колени и со слезами на глазах, простирая ко мне руки, скажет: «О, не режьте его! О, отдайте его лучше этому человеку!»

Однако оба они стояли и хладнокровно смотрели, как я вертел ножиком, занесенным над распростертым пальто.

В «деле с ребенком» Соломона удержало от раздела ребенка на две части то обстоятельство, что предмет спора был живой. Меня это удержать не могло...

Я аккуратно разделил ножом пальто на две части и, вручив их смазчику и грязному человеку, сказал:

— Вот вам по справедливости! Ступайте.

Один из них повертел в руках свою половину (именно грязный человек), чему-то усмехнулся, бросил свою часть на пол и ушел, хлопнув дверью.

А смазчик — теперь я убедился, что он был настоящим владельцем — положил обе половины пальто на стол и сказал:

— Пожалуйте за пальто пятьдесят рублей.

— Как? — испугался я.

— Да так. Пальто было новехонькое, а вы его разрезали... Пожалуйте деньги!

По зрелому обсуждению этого вопроса я решил, что смазчику, действительно, причитается указанная сумма. Я заплатил ему и тут же утешил себя тем, что мой принцип судопроизводства в общем все-таки был верен: настоящий-то владелец был все-таки мною обнаружен!

III

Следующее дело заставило забиться мое сердце живейшей радостью: дело это именно и заключалось в споре двух женщин из-за знаменитого ребенка.

Это казалось прямо-таки чудесным: аналогия между моим и соломоновским делом была почти полная. И обе матери, и ребенок, завернутый в одеяльце, находились тут же.

Выше я сказал слово «почти». К сожалению, разобравшись в деле, я нашел в нем значительное уклонение от соломоновского шаблона.

Это выяснилось из разговора.

— Добрые женщины! — сказал я. — Насколько я понимаю, каждая из вас, называя себя матерью, хочет присвоить этого ребенка?

— Если она хочет, — сказала поспешно толстая женщина, — пускай забирает себе. Ребенок ведь ее!

— Ишь ты, ловкая какая! — подхватила худая. — Мой ребенок?! Какой же он мой? Он твой! Дала мне его на руки подержать, да сама убечь и хотела! А еще мать!..

— Нет, ты мать, — возразила другая. — Что ты врешь? Знаем мы вас: всякая хочет своего ребенка сплавить! Грешить вы все мастера, а потом ребят на чужую шею вешать норовите!

Они подняли невозможный крик. Я задумался.

— Вот, — говорил я сам себе. — Как со времен Соломона изменился свет! Раньше каждая женщина присваивала себе даже чужого ребенка, а теперь каждая мать своего подсовывает чужим людям. Боже мой, Боже мой... А из-за какого-то пальто люди теперь способны перегрызть друг другу глотку!..

Они подняли невозможный крик

Привычным движением я вынул из кармана ножик и сказал:

— Сейчас каждая из вас получит по половине ребенка! Я его разрежу.

Ни одна из них не бросилась передо мною на колени... Обе стояли в ожидании операции, тупо глядя на меня и на мой ножик.

Конечно, у меня и в мыслях не было перерезывать пополам младенца... Я только хотел попугать женщин. Но они не испугались. Просто они, как я полагаю, не доверяли мне.

Я со вздохом спрятал в карман ножик и попробовал прием более культурный.

— А-а... Хорошо же! — угрожающе сказал я. — Если так — я забираю ребенка себе. Вот вам!

Поразительно. Опять ни одна из них не испугалась, не заплакала, не умоляла «о, добрый господин» и т. д.

Просто обе они облегченно вздохнули и, повернувшись, вышли из комнаты.

А младенец остался у меня на руках.

IV

Я устал от всех этих судейских дрязг и следующее дело — об оскорблении действием — гнал на всех парах, стремясь поскорее закончить свой трудовой день...

— На что вы жалуетесь? — спросил я здоровенного приказчика бакалейной лавки.

— Он мне вчерась по морде ударил, этот вот.

Его противником был жирный, легковой извозчик с наглым выражением лица.

— А если бы и вы его ударили? — спросил я. — Вы бы на него не жаловались?

Приказчик задумался.

— Нет. Тогда бы не жалился.

— А почему же вы его не ударили?

— Не успел, ваше благородие, некогда было.

— А сегодня у вас время есть?

— Есть.

Я обратился к его противнику:

— Что бы вы хотели? Сидеть две недели в тюрьме или получить один удар по физиономии.

По долгу милосердного человека и судьи я бросился разнимать их...

Извозчик обрадовался и сказал:

— Лучше один удар!

— Так дайте ему хорошенько по голове, — сказал я приказчику. — И все тут.

Приказчик тоже обрадовался и, размахнувшись, так ударил своего врага, что тот покатился на пол.

— А! — сказал извозчик, поднимаясь. — Я тебя бил — ты не падал, а меня небось с ног валишь. Покажу ж я тебе!

Он вцепился в приказчика и стал беспощадно тузить его. По долгу милосердного человека и судьи я бросился разнимать их и сейчас же почувствовал, что сделал это напрасно: оба набросились на меня — судью и милосердного человека.

Только теперь я понимаю, как трудна деятельность мирового судьи: в один день я потерял пятьдесят рублей и доброе имя, получив взамен этого — чужого, ненужного мне ребенка и несколько тумаков.

«Царю-то Соломону хорошо было, — подумал я.— У него стража была и царская власть... Что ни сделает — все хорошо».

Теперь я сижу дома и рассуждаю: почему я не удержался на своем месте? Ума у меня не было, что ли? Нет, ум был. Совести? Была и совесть. Сообразительности не хватало? Сколько угодно.

Почему же?

МОКРИЦА

I

Когда я дочитал до конца свою новую повесть, все присутствующие сказали:

— Очень хорошо! Прекрасное произведение!

Я скромно поклонился. Сзади кто-то тронул меня за плечо.

— Послушайте... извините меня за беспокойство... послушайте...

Я обернулся. Передо мной стоял маленький человек средних лет, ординарной наружности. Глаза скрывались громадными синими очками, усы уныло опускались книзу, бороденка была плохая, наполовину как будто осыпавшаяся.

— Что вам угодно?

— А то мне угодно, милостивый государь мой, что повесть ваша совершенно неправильная! Уж я-то знаток этих вещей...

Он самодовольно засмеялся.

— Вы... что же критик?

— Бухгалтер.

— А... так... — нерешительно протянул я. — Но вообще-то вы: знаток литературы?

— Бухгалтерии! — упрямо сказал он, глядя на меня громадными стеклами.

— Уж в бухгалтерии-то, батенька, меня не поймаешь!

Он поежился и кокетливо захохотал с таким видом, будто я собирался его ловить.

— Вам не нравится моя повесть?

— Нет, ничего. Повесть как повесть. Только неправильная.

Заинтригованный, я отвел его в угол, сунул ему в руку рукопись и сказал:

— Укажите мне неправильные места.

Такое доверие польстило ему. Он вспыхнул до корней волос, застенчиво перелистал рукопись и, найдя какое-то место, отчеркнул его ногтем.

— Вот! Это неправильно: «Корчагин не показывал виду, что знает о проделках жены, но втайне все ее вольности, все измены и оскорбления записывал ей в кредит. Дебет же ее, в который он решил записывать ее ласки и поцелуи, — был пуст». Вот!

— Вам не нравится это место?

— Присядем, — сказал маленький бухгалтер.

Мы сели.

— Видите ли... Я взял на себя смелость сделать вам замечание, потому что вы впали в громадную ошибку... Вы знакомы с двойной итальянской бухгалтерией?

— Н...нет...

— Двойная итальянская бухгалтерия изобретена несколько сот лет тому назад монахом Лукой Пачиоло. Принцип ее заключается в двойной записи каждого счета, чем достигается механическое контролирование правильности записи. Если баланс счетов не сходится в цифрах, — это показатель неправильности в частных записях. Записи в счетовых книгах отмечаются на двух сторонах развернутой книги: на левой и правой. На левой стороне счета или лица записывается так называемый дебет — это счет или лицо должны владельцу книги; на правой стороне записывается так называемый кредит — это владелец книги состоит в долгу у лица или счета. Поняли?

— Да... пожалуй...

— Теперь ясно, что вы совершили колоссальную, непростительную ошибку: Корчагин должен был измены и оскорбления жены записать ей не в кредит, а в дебет! А ласки ее — наоборот — не в дебет, а в кредит! У вас это перепутано.

Я горячо пожал бухгалтеру руку.

— Я вам очень, очень признателен. Я сейчас же исправлю эту досадную погрешность.

Моя горячая благодарность смутила его. Он махнул рукой и сказал:

— Помилуйте! Я всегда рад... Конечно, нужно хорошо знать бухгалтерию... Дебет — это, что нам должны, кредит — то, что должны мы счету.

Я еще раз пожал ему руку и отошел. Он озабоченно крикнул мне вслед:

— Так не забудьте же: дебет — нам должны, кредит — мы должны.

— Не забуду, не забуду.

II

Мы сидели в укромном уголку обширного кабинета и тихо разговаривали.

Ольга Васильевна положила свою руку на мою и ласково, задушевно, сказала:

— Эта повесть — ваша лучшая вещь. Громадная изобразительная сила, яркие краски причудливо смешиваются на этих страницах с волшебными, лирическими полутонами, мощный голос зрелого мужа сплетается с полудетским лепетом влюбленного юноши...

— А, вы здесь, — сказал бухгалтер, подходя к нам. — Ну что... исправили?

— Исправил, — сказал я. — Спасибо.

— Что такое? — удивилась Ольга Васильевна.

Бухгалтер усмехнулся, снисходительно подергав плечом.

— Ах, уж эти писатели... Представьте, какую он штуку написал... Ну хорошо, что я был тут, указал, исправили... А то что бы вышло? Неприятность! Скандал! Можете себе вообразить: он дебет написал там, где нужен кредит, а кредит — где дебет!

Укоризненно покачав головой, он прошел дальше, но потом круто повернулся и крикнул нам:

— А разница называется — сальдо!

— Что-о?

— Я хочу вас предупредить — если будете писать еще что-нибудь: предположим, что в дебете 100 рублей, а в кредит — полтораста; разница — 50 рублей — и называется сальдо! Сальдо в пользу кредитора.

— Ага... хорошо, хорошо, — сказал я, — запомню.

Бухгалтер снисходительно улыбнулся и добавил:

— А измены и оскорбления ваш Корчагин в кредит ее счета не мог записывать... Он записал их в дебет.

Он кивнул головой и исчез; вслед за ним ушла и Ольга Васильевна. Оставшись один, я побрел в гостиную.

В одном углу происходил оживленный разговор. До меня донеслись слова:

— Как услышал я — так будто бы меня палкой по голове треснули. Как-с, как-с, думаю? Она же его оскорбляла, она же ему изменяла, да он же ей это и в кредит пишет? Хорошая бухгалтерия... нечего сказать! Хорошо еще, что спохватились вовремя... исправили...

Один из гостей, заметив меня, подошел и сказал:

— Вы неисправимый пессимист. В вашей повести вы показываете такие бездны отчаяния и безысходности...

— Это что! — раздался сзади нас вкрадчивый голос. — Он еще лучше сделал: его Корчагин дурные стороны жены заносил в кредит ей, а хорошие — в дебет. Помилуйте-с! Да я бухгалтерию как свои пять пальцев знаю. Как же... Вот если бы здесь была книга — я бы вам наглядно показал... Вот, предположим, этот альбом открыток: тут, где Кавальери — это дебет... А тут... вот эта... Типы белорусов — это кредит. Я-то уж, слава тебе Господи, знаю это как свои пять пальцев.

— Да, да, — нетерпеливо сказал я. — Хорошо. Ведь я уже исправил.

— Хорошо, что исправили, — добродушно согласился он. — А то бы... Ведь таких вещей никак нельзя допустить!.. Помилуйте... Дебет и кредит — это небо и земля.

— Пожалуйте ужинать, — сказал хозяин.

III

Все усаживались, шумно двигая стульями. Бухгалтер сел против меня... Посмотрел на меня, как заговорщик, сделал правой рукой предостерегающий знак и засмеялся.

— Да-с! — сказал он. — Бухгалтерия — это штука тонкая. Ее нужно знать. Я вам когда-нибудь дам почитать книжку «Популярный курс счетоводства». Там много чего есть.

Я сделал вид, что не слышу.

Сосед с левой стороны спросил меня:

— Если я не ошибаюсь, в основу вашей повести заложена большая отвлеченная мысль, но она затемнена повествовательной формой, которая...

— Была затемнена, — согласился бухгалтер. — Но теперь все исправлено. Все, как говорится, в порядке. Вы... вот что... Если еще что-нибудь будете писать и вам встретятся на пути какие-нибудь такие бухгалтерские штуки и экивоки — вы, пожалуйста, ко мне... без церемоний! Обсудим: как и что. Я выложу вам как на ладонке!

— Нет, зачем же, — сухо возразил я. — В этом, вероятно, не представится надобности. Ведь беллетристика и бухгалтерия — это две совершенно разные вещи.

Огорченный бухгалтер притих. Съел какую-то рыбку, подумал немного, потом приподнялся и, ударив меня через стол по плечу жестом старого знакомого, спросил:

— А вы знаете, что такое транспорт?

— Знаю.

— Нет, не знаете! Вы думаете, это просто собрание разных подвод для перевозки кладей? Да? Но в бухгалтерии это совсем другое: транспортом называется обыкновенный перенос итога с одной страницы на другую. Внизу подписывается итог страницы и переносится на следующую.

— Почему вы думаете, — спросил я левого соседа, — что повествовательная форма произведения должна затемнить общую отвлеченную мысль?

— Потому что художественные детали разбивают это впечатление.

— Это верно, — согласился бухгалтер, делая мне ободряющий жест. — Разбивает впечатление. Ведь это, если сказать какому-нибудь бухгалтеру, — он помрет со смеху. А? Хе-хе... Дебет поставить в кредит? А? Что такое, думаю? Это же невозможно!

——

Не дождавшись сладкого, я извинился и встал:

— Я пойду на минуту к письменному столу. Хочу не забыть исправить два-три места в повести.

Я сел и исправил.

Когда сзади раздался голос: «Ну что, исправили? Теперь уж не спутаете дебет с кредитом?» — я нахмурился и сказал:

— Да-с, я исправил. Вот слушайте: «Корчагин не показывал виду, что дебет жены записан ему в сальдо. Он перенес большой кредит в транспорт, который вместе с сальдо давал перенос дебета на счет того лица, которому пришла идиотская затея заняться бухгалтерией; это заносим ему в кредит».

С жалобным криком, простирая дрожащие руки, бросился он ко мне, но я с отвращением отшвырнул его и, сунув рукопись в карман, ушел.

СЛУЧАЙ 24-ГО ДЕКАБРЯ

Возвращаясь по вечерам в свой запущенный, пустынный дом, я уже привык к этим трем парам тусклых, стеклянных глаз, внимательно следивших с верхней площадки лестницы за тем, как я подымался на второй этаж, открывал ключом дверь в свою холодную, неуютную комнатку и шарил спички на ночном столике.

Три пары глаз следили за мной вплоть до того момента, когда я захлопывал дверь... Вслед за тем над моей головой раздавались робкие, тихие шаги, заглушённый шепот, капризный визг малютки — и все смолкало.

Это были три обыкновенных безобидных привидения из числа тех, которые водятся в старых, полуразрушенных домах: вероятно, муж, жена и их малютка-привиденыш — крохотное смешное существо в коротеньком, потертом балахончике, с кривыми ногами и прозрачным, печальным личиком.

Мне иногда хотелось приласкать его, но он был пуглив, как мышонок, и стоило только ему заметить мой ободряющий жест, как он с визгом убегал под защиту отца — унылого, сосредоточенного привидения, которое вечно шепталось о чем-то с женой и сокрушенно качало прозрачной, худой головой, цвета морской воды.

Иногда, открыв внезапно дверь, я заставал их за невинной забавой, которая, очевидно, доставляла некоторое удовольствие маленькому привидению: стоя на верхней площадке лестницы, мать сажала малютку верхом на перила, и он с тихим визгом съезжал вниз — прямо в объятия отца.

Но стоило только им заметить меня, как они подхватывали сына под руки и поспешно убегали с самым смущенным видом.

А в общем мы не могли пожаловаться друг на друга... Жили, как добрые соседи. Я не мешал им, они не шатались ко мне, не смущали мой покой и не мешали мне работать...

——

24 декабря меня не пустили в трактир, в котором я привык проводить свои вечерние досуги за чашкой кофе и бутылкой коньяку.

Я долго стучал в закрытые ставни и раздраженно кричал:

— Пустите меня! О, черт возьми!.. Пустите вы меня или нет?! Что это за новости, в самом деле?

После моих долгих криков и проклятий дверь, наконец, приоткрылась, и выглянувший слуга сказал:

— Извините, господин, но сегодня канун праздника и наше заведение совсем закрыто.

— А куда же мне деваться? — сердито заревел я. — Куда я пойду в этой проклятой дыре?

— Это нас не касается-с.

Я поднес к его лицу сжатый кулак.

— А хочешь ты, чтобы это тебя коснулось, паршивец? Ну черт с вами. Я не пойду в ваш проклятый вертеп. Но только условие: вынеси мне бутылку коньяку и стаканчик... я отправлюсь домой! Чтоб вам всем сгнить до завтра!

Я долго стучал в закрытые ставни и раздраженно кричал: — Пустите меня! О, черт возьми!..

Я был разъярен, вероятно, больше, чем того требовали обстоятельства, но нужно же понять и меня: вместо долгой задушевной беседы в теплой накуренной комнате с несколькими радушными завсегдатаями, мне предстояло провести целый вечер и ночь в одиночестве в холодной, угрюмой комнате старого дома.

. . . . . .

Поднимаясь по лестнице, я опять заметил три пары стеклянных глаз, молча следивших за моими движениями. Мальчишка просунул ужасную бледную голову сквозь колонки перил и моргал глазами застенчиво и часто.

Я вошел в комнату, заперся, налил стаканчик вина и опустил со стоном голову: одиночество подошло ко мне и стало грызть мое сердце, мою голову, мой мозг.

— Ба! — проворчал я, сжимая горячие виски. — А не отправиться ли мне к соседям? Все равно, если я сегодня ночью повешусь — завтра, наверное, уже попаду в их ние друзья дома.

Я опустился на кровать и стал рассуждать так:

— Удобно ли это? Как они взглянут на мой визит?.. Впрочем, будем рассуждать так: если, вообще, привидения иногда являются человеку, то почему человек не может явиться привидениям? Сегодня, кажется, ночь таких появлений. Если они, эти профессионалы, забыли свой обычный долг вежливости — мое дело напомнить им об этом.

Я захватил под мышку бутылку коньяку, сунул в карман стаканчик и, пригладив машинально волосы, побрел вверх по дряхлой, скрипучей, как старуха, лестнице.

Я опустился на кровать и стал рассуждать...

——

Они жили на чердаке в восточном углу, за старым поломанным комодом красного дерева.

Когда я вошел, все трое, освещенные луной, стояли у слухового окна и рассматривали какого-то паука, которого держал на ладони отец семейства.

Кажется, они испугались, увидев меня: малютка тихонько пискнул и сел на пол, а мать и отец обвили руками плечи друг друга и, сдвинувшись ближе, попятились. Вероятно, произошло то замешательство, которое случается при появлении среди людей призрака.

— Здорово, милые соседи, — успокоительно сказал я, ставя бутылку на старый комод. — Как видите — хе-хе — гора пришла к Магомету.

Не думаю, чтобы это были интеллигентные призраки. Они меня не поняли. Отец семейства тихо сказал:

— Да... Здравствуйте... Какой Магомет?

— Ничего, это так говорится. Как поживаете, дорогая хозяйка? Довольны ли помещением?

— Ах нет, — возразила она, поднимая ребенка с пола. — Очень плохо.

— Сыро?

— Ах, что вы... Наоборот, очень сухо. Посудите сами, как же мальчику жить в сухом месте? Он и так у нас такой слабенький...

Слова эти привели меня в недоумение, но я сделал вид, что понял ее, и утвердительно сказал:

— Так, так... И потом, вероятно, эта проклятая темнота...

— Проклятая темнота? Да ее нет совсем. Ну как ребенок, спрошу я вас, может жить на свету, да еще на этом проклятом свежем воздухе, который всякого призрака губит хуже, чем дневной свет. У нас тут неподалеку есть двоюродный брат с женой — тем повезло так повезло... Со стен вода течет, как водопад, — паутина, пыли по горло и темнота кромешная.

Я решительно не мог взять в толк, о чем говорит эта болтливая баба. А когда она замолкла, вышло еще хуже: я не знал, о чем говорить с угрюмой семейкой, сидевшей передо мной.

— Вот пишу теперь пьесу, — сказал я в припадке откровенности. — Весной, вероятно, поставлю.

Отец семейства постучал рассеянно, равнодушно по застонавшему комоду и спросил:

— Мокриц любите?

— А на что они мне, — не менее равнодушно возразил я. — Бог с ними.

— Плохо в нынешнем году. Осень была сухая и ребенку есть нечего: ни одной мокрицы.

— Если бы вы прочли мою статью о рациональном питании...

— Хоть бы пауки были, — сказала печально жена. — А то ни тех ни других. Не все же мальчику плесень со стен слизывать.

В полном изумлении посмотрел я на нее.

— Да зачем... плесень слизывать?

— То-то и я говорю. Разве это еда? Уж о сороконожках и говорить нечего — их днем с огнем не сыщешь.

Я чувствовал себя в самом глупом положении: нужно было как-нибудь вытягивать разговор, но собеседники мои давали такие странные реплики, что я ежеминутно рисковал попасть впросак.

— Вчера я читал книгу: чудеса загробного мира — я думаю, сюжет очень для вас интересный...

— Дайте нам вашу книгу, — сказала мать, — пусть ребенок пососет ее.

— Эта книга не для того, сударыня, — сухо возразил я, — чтобы сосать ее. Книги читают.

— Вот так-так, — ехидно улыбнулась мать. — Книжку для дитенка жалеют! Хорошие люди...

Мне сразу как-то сделалось смертельно скучно с этой троицей, для которой сороконожки были идеалом роскоши, а паутина — лучшей частью меблировки.

Было очевидно, что мы говорим на разных языках... Я думал, что они заинтересуются моей пьесой — они не интересовались. Надеялся, что их заинтересует человеческое мнение о загробном мире — они посмотрели на книгу, трактующую об этом вопросе, как на предмет насыщения своего прожорливого отпрыска.

У нас были разные интересы, разные вкусы и противоположные взгляды на жизнь.

«Эти привидения не блещут умом, — с горечью подумал я. — Просто ограниченные, тупые, глупые люди».

Я встал, захватил свою бутылку и стал сухо прощаться.

Они меня не удерживали. Когда я спускался с лестницы, до меня донесся вопрос жены, очевидно обращенный к мужу:

— Спрашивается, зачем этот осел притащился сюда?

— Да... Тоски нагнал порядочно, — хихикнул столбообразный супруг.

— Дайте нам вашу книгу, — сказала мать...

Вернулся я к себе в комнату в еще более скверном настроении, чем вышел давеча. Выпил с горя весь коньяк и заснул...

——

Теперь, когда я возвращаюсь по вечерам домой, за мной уже не следят три пары внимательных, любопытных глаз: мы, очевидно, хорошо раскусили друг друга.

ГРАЖДАНЕ

...Матушка! Матушка! Пожалей своего бедного сына.
Гоголь.

I

Хозяин дома Хохряков сидел, склонив голову набок, и слушал...

— Нет, это что, — говорил один из гостей. — А вы помните студента Ивкова, которого в прошлом году арестовали?.. Оказывается, этажом ошиблись. Правда, через три дня выпустили...

— Что ваш Ивков! Мою знакомую барышню Матусевич в Харькове выслали из города за то, что она не знала галантерейного приказчика Файнберга.

— Как так? — лениво спросил один из гостей.

— Очень просто. Изловили за какие-то книжки Файнберга, а потом спросили вскользь: «Не знаете курсистки Матусевич?» — «Не помню. Впрочем, фамилия знакомая». Тогда вызывают Матусевич. «Не знаете ли приказчика Файнберга?» — «Не помню. Впрочем, фамилия незнакомая»... Ага! Явное противоречие! Он говорит — знакомая, она говорит — незнакомая...

— Ну?

— Вот вам и «ну»!

— Это что! — сказал тот гость, который уже рассказывал об Ивкове. — В Севастополе одному книгопродавцу грозили каторжные работы за то, что у какого-то человека при обыске нашли записочку: «Явка к книгопродавцу такому-то. Получишь 500 рублей. Пароль — Александр». А тот — ни сном ни духом! Насилу адвокат отстоял.

— Страшно! — сказал Хохряков.

Все удивленно оглянулись на него.

— Чего вам страшно?

— Ничего... Пойдем, господа, ужинать.

Гости поужинали и, рассказав еще пару-другую забавных случаев, разошлись...

Хохряков остался один.

Подойдя к письменному столу в кабинете, он увидел прислоненное к свече письмо с заграничным штемпелем и с адресом, написанным рукой его друга Плясовицкого. Распечатал, прочел:

«Дружище Хохряков! Я в Швейцарии, классической, как говорится, стране свободы. Ах, свобода, свобода!.. Помнишь, как мы ходили с тобой в девятьсот пятом году, начиненные трескучими прокламациями, как колбасы... Ты тогда еще толковал об активной работе и на две ночи дал приют какому-то заблудшему эсдеку, а я пожертвовал на организацию милиции одиннадцать рублей... Смехи, как вспомнишь! Воздух здесь чудный и гор...»

Губы Хохрякова побелели.

Он скомкал письмо, бросил его в корзину и прошептал, дрожа всем телом:

— Он... сумасшедший...

Направился к себе в спальню, но сейчас же вернулся, отыскал в корзине скомканное письмо из Швейцарии, порвал его на мелкие кусочки, перемешал их, после чего, потоптавшись по кабинету, отправился спать.

Спал он беспокойно. Забылся к утру, но и утром помешали... Из шкафа вылез неизвестный старик с белой бородой, побрящал какими-то штуками, надетыми на руки, покачал головой и, сказав Хохрякову внушительно: «Кусочки, бывает, и склеивают», снова уполз в шкаф — постоянное, как решил Хохряков, его местопребывание...

Было восемь часов утра.

Хохряков вскрикнул, спрыгнул с кровати, побежал в кабинет и заглянул в корзину. Она была пуста.

«Свершилось!» — подумал Хохряков и скрипнул зубами.

II

Слуга Викентий, суетясь по кабинету, стирал пыль с мебели, а Хохряков смотрел на него из спальни в замочную скважину и думал:

«Большое самообладание. Отметим... Издалека к тебе не подойдешь... Нужно или следить за тобой, или огорошить сразу. Поборемся, поборемся».

Странно: ужаса, страха перед будущим пока не ощущалось...

Даже какая-то бодрость и предприимчивость вливалась в усталый от дум и тревог мозг.

Хохряков распахнул внезапно дверь и, стараясь, чтобы не задрожал голос, спросил:

— Как погода?

— Солнечно, — отвечал, повернувшись, Викентий.

«Солнечно? — мысленно прищурился Хохряков. — А письмецо где? А швейцарские кусочки куда дел?»

Вслух спросил:

— Скоро кончишь уборку?

— Сейчас.

— А из корзины выбросил сор?

— Выбросил.

«О-о, — подумал, нервничая, Хохряков. — Ты, милый мой, опаснее, чем я думал. Ишь ты, ишь ты! Ни один мускул, ни одна жилка не задрожала. А? Это что? Губы? Губы-то и поджал, губы и поджал... На губах и попался... Хе-хе! Ага! А ведь пустяк...»

Хохряков прошелся по кабинету и, равнодушно смотря в окно, тихо уронил:

— Кусочки все были?

Хохряков смотрел на него из спальни в замочную скважину...

— Как-с?

— Небось с подбором повозился...

— Чего-с?

Хохряков нагнулся к нему и взял за плечо:

— А т а м - т о, т а м... Хорошо поблагодарили? Есть на молочишко?.. Знаем-с! Не проведешь.

Викентий странно посмотрел на него и, отвернувшись к креслу, спросил:

— Чай сюда подать прикажете?

— Сюда! — напряженно засмеялся Хохряков. — А к чаю дай мне... ш в е й ц а р - с к о г о шоколада. Дашь, милый?

— Слушаю-с, — сказал Викентий и выбежал из кабинета.

Когда Хохряков остался один — силы его покинули. Он опустился в кресло и, стирая пот со лба, прошептал:

— Хорошо владеете собой, Викентий Ильич! Пре-крас-ное само-обла-дание... Это и понятно! Барина своего — с нервами не продашь. Хе-хе! Ну, да мы-то поборемся!

III

Викентий действительно прекрасно владел собой... На другой день Хохряков после разговора о погоде в упор спросил его:

— Что, если бы я случайно разорвал письмо — ты мог бы подобрать обрывки и склеить?

Я пойду сегодня в участок, — потолковать с приставом...

Викентий скользнул по Хохрякову взглядом и сказал:

— Попробую.

— Так, так... (Не вздрогнул даже! Не пошевелился!) Я, знаешь, голубчик Викентий... Что, наш участок — далеко отсюда?

Хохряков наклонился к лицу Викентия и громко, хрипло дыша, вонзился в него взглядом.

— На том квартале. На углу.

— Ага! Прекрасно! Я пойду сегодня в участок, — потолковать с приставом. Хе-хе! Понимаешь, милуша Викентий, потолковать...

— О чем-с? — спросил Викентий, переступая с ноги на ногу.

«Ага! Вот оно! Заинтересовался парень. Не выдержало ретивое... А вот мы вас...»

Хохряков помедлил.

— О чем? О Ш в е й ц а р и и. Об эсдеках... О письмах, чудесно воскресающ... Что ты так на меня смотришь?!. Понял? Понял?

Хохряков пронзительно крикнул и, оттолкнув Викентия, выбежал из комнаты.

По дороге в участок Хохряков криво улыбался и думал:

«Я даже знаю, что произойдет... Я приду пощупать почву, только пощупаю ее, матушку! Но произойдет сцена в участке из «Преступления и наказания» Достоевского... Ха-ха... Поборемся, Порфирий, поборемся!!»

Когда Хохряков вошел в приемную, он увидел стоящего у дверей пристава, который распекал оборванного простолюдина.

— Ты говоришь, подлец, что золотые часы купил? Ты? Ты? Ты их мог купить?!

— Да и купил, — возражал простолюдин. — Захотел узнать который час — и купил.

Пристав мельком взглянул на вошедшего Хохрякова и обратился к оборванцу:

— Ведь часы ты украл! Где ты мог взять 200 рублей? Ну? Ну?

— Нашел, ваше благородие... В уголочку лежали.

Хохряков приблизился к приставу и внушительно, серьезно глядя в его глаза, прошептал:

— Я Хохряков.

— Хорошо. Потрудитесь обождать.

— Эге, — болезненно покривился про себя Хохряков. — Да и ты, брат, я вижу, дока!.. И ты нервы свои, чтоб не разгулялись, в карман прячешь. О-о... Ну, что ж — походим... Походим друг около друга.

— В уголочку лежали? Просто украл ты их и больше ничего!

— Ошеломил я его, — внутренне усмехнулся Хохряков. — Наверное, втайне прийти в себя не может... Понимаем-с! На оборванце успокаивается, а сам про себя думает: «Зачем Хохряков сам объявился? Извещения ему еще не было?» Не-ет, брат. А Хохряков-то и пришел. Хохряков сам с усам.

Пристав подошел к Хохрякову и, рассматривая какую-то бумагу, спросил:

— Чем могу служить?

— Насчет Швейцарии я...

— Какой Швейцарии?

«Хладнокровничаешь? — подумал Хохряков. — А зачем головы не поднимаешь? Голос мой изучить тебе хочется, повадки... Просты уж больно ваши хитрости, господин пристав!»

— В Швейцарию хочу ехать. Зашел узнать, как можно в наикратчайший срок получить заграничный паспорт...

— Это нужно через градоначальство, — пожал плечами пристав.

Хохряков стал нервничать. Хладнокровие противника повергло его в дрожь и не изведанный еще страх... Он встал и резко сказал:

— Прощайте, ваше благородие... Поклон вам от Викентия Карпикова... Хе-хе!

— Какого... Карпикова?

— Знаете что, господин пристав, — серьезно сказал Хохряков, наклоняясь вперед. — Бросим все эти штуки, уловки, будем говорить, как два умных человека: когда?

— Что — когда? Что с вами?

— Когда меня возьмете? — покорно прошептал Хохряков.

— Куда?!!

— Хе-хе... Кусочки как подклеивали? На прозрачную кальку? Чтоб обратную сторону можно было прочесть? А Викентий молодец! Твердокаменный!.. Я — и так и этак...

Он обрушился на стол и затрясся от долго сдерживаемых рыданий.

Пристав внимательно глядел на Хохрякова и, наконец, ласково засуетился.

— Сейчас, сейчас... Вы позволите мне, господин Хохряков, поехать с вами домой? Вы недалеко живете?

— Кусочков не хватает? — бледно улыбнулся Хохряков. — Ищите... Все равно. Мне теперь уже все равно... Ищите! Всюду ищите! Мучители мои! Кровопийцы! Инквизиторы... Сибирь? Давайте ее, вашу Сибирь... Лучше Сибирь, чем так... Душу? Душу мою вы вынули за эти два дня — так Сибирью ли вам запугать меня?!

Он обрушился на стол и затрясся от долго сдерживаемых рыданий.

— Ефремов! — сказал пристав, придерживая голову Хохрякова. — Позвони семнадцать ноль восемь: карету и двух служителей!.. Успокойтесь, господин Хохряков... Мы все это разберем и сейчас же отвезем вас в Швейцарию... Не плачьте... Хорошо там будет, тепло...

— Суда не надо, — попросил, вздрагивая нижней челюстью, Хохряков. — Не правда ли? Зачем суд? Прямо и отправляйте.

— О, конечно, — согласился поспешно пристав. — Конечно. Прямо и отправим.

— Прямо и отправляйте. Зачем еще мучить?

——

Карета увозила Хохрякова. Полузакрыв глаза, он изредка судорожно всхлипывал и повторял:

— Бедные мы, русские! Бедные...

ЛАКМУСОВАЯ БУМАЖКА

I

Я был в гостях у старого чудака Кабакевича, и мы занимались тем, что тихо беседовали о человеческих недостатках. Мы вели беседу главным образом о недостатках других людей, не касаясь себя, и это придавало всему разговору мирный, гармоничный оттенок.

— Вокруг меня, — благодушно говорил Кабакевич, — собралась преотличная музейная компания круглых дураков, лжецов, мошенников, корыстолюбцев, лентяев, развратников и развратниц — все мои добрые знакомые и друзья. Собираюсь заняться когда-нибудь составлением систематического каталога, на манер тех, которые

продаются в паноптикумах по гривеннику штука. Если бы все эти людишки были маленькие, величиной с майского жука, и за них не нужно бы отвечать перед судом присяжных, я переловил бы их, вздев на булавки, имел бы в коробке из-под сигар единственную в мире коллекцию! Жаль, что они такие большие и толстые... Куда мне с ними!

— Неужели, — удивился я, — нет около вас простых хороших, умных людей, без глупости, лжи и испорченности?

Мне казалось, — я этими словами так наглядно нарисовал свой портрет, что Кабакевич поспешит признать существование приятного исключения из общего правила — в лице его гостя и собеседника.

— Нет! — печально сказал он. — А вот, ей-Богу, нет!

«Сам-то ты хорош, старый пьяница», — критически подумал я.

— Видишь, молодой человек, ты, может быть, не так наблюдателен, как я, и многое от тебя ускользает. Я строю мнение о человеке на основании таких микроскопических, незаметных черточек, которые вам при первом взгляде ничего не скажут. Вы увидите настоящее лицо рассматриваемого человека только тогда, когда его перенести на исключительно благоприятную для его недостатка почву. Иными словами, вам нужна лакмусовая бумажка для определения присутствия кислоты, а мне эта бумажка не нужна. Я и так, миленький, все вижу!

— Это все бездоказательно, — возразил я. — Докажите на примере.

— Ладно. Назови имя.

— Чье?

— Какого-нибудь нашего знакомого, это безразлично.

— Ну, Прягин Илья Иванович. Идет?

— Идет. Корыстолюбив!

— Прягин корыстолюбив? Вот бы никогда не подумал... Ха-ха! Прягин корыстолюбив?

— Конечно. Ты, молодой человек, этого не замечал, потому что не было случая. А мне случая не нужно.

Он умолк и долго сидел, что-то обдумывая.

— Хочешь, молодой человек, проверим меня. Показать тебе Прягина в натуральную величину?

— Показывайте.

— Сегодня? Сейчас?

— Ладно. Все равно, делать нечего.

Кабакевич подошел к телефону.

— Центральная? 543-12! Спасибо. Квартира Прягина? Здравствуй, Илья. Ты свободен? Приезжай немедленно ко мне. Есть очень большое, важное дело... Что? Да, очень большое... Ждем!

Он повесил трубку и вернулся ко мне.

— Приедет. Теперь приготовим для него лакмусовую бумажку. Придумай, молодой человек, какое-нибудь предприятие, могущее принести миллиона два прибыли...

Я засмеялся.

— Поверьте, что, если бы я придумал такое предприятие, я держал бы его в секрете.

— Да нет... Можно выдумать что-нибудь самое глупое, но оглушительное. Какой-нибудь ослепительный мираж, грезу, закованную в колоссальные цифры.

— Ну ладно... Гм... Что бы такое? Разве так: печатать объявления на петербургских тротуарах.

— Все равно. Великолепно!.. Оглушительно! Миллионный оборот! Сотни агентов! Струи золота, снег из кредитных бумажек! Брраво! Только все-таки разработаем до его прихода цифры и встретим его с оружием в руках.

Мы энергично принялись за работу.

II

— Что такое стряслось? — спросил Прягин, пожимая нам руки. — Пожар у тебя случился или двести тысяч выиграл?

Кабакевич загадочно посмотрел на Прягина.

— Не шути, Прягин. Дело очень серьезное. Скажи, Прягин... мог бы ты вступить в дело, которое может дать до трех тысяч процентов дохода?

— Вы сумасшедшие, — засмеялся Прягин. — Такого дела не может быть.

Кабакевич схватил его за руку и, сжав ее до боли, прошептал:

— А если я докажу тебе, что такое дело есть?

— Тогда, значит, я сумасшедший.

— Хорошо, — спокойно сказал Кабакевич, пожимая плечами и опускаясь на диван. — Тогда извиняюсь, что побеспокоил тебя. Обойдемся как-нибудь сами. (Он помолчал.) Ну что... был вчера на скачках?

— Да какое же вы дело затеваете?

— Дело? Ах да... Это, видишь ли, большой секрет, и если ты относишься скептически, то зачем же...

— А ты расскажи, — нервно вскричал Прягин. — Не могу же я святым духом знать. Может, и возьмусь.

Кабакевич притворил обе двери, таинственно огляделся и сказал:

— Надеюсь на твою скромность и порядочность. Если дело тебе не понравится — ради Бога, чтобы ни одна душа о нем не знала.

Он сел в кресло и замолчал.

— Ну?!

— Прягин! Ты обратил внимание на то, что дома главных улиц Петербурга сверху донизу покрыты тысячами вывесок и реклам? Кажется, больше уже некуда приткнуть самой крошечной вывесочки или объявления! А между тем есть место, которое совершенно никем не использовано, никого до сих пор не интересовало и мысль о котором никому не приходила в голову... Есть такое громадное, неизмеримое место!

— Небо? — спросил иронически Прягин.

— Земля! Знаешь ли ты, Прягин, что тротуары главных улиц Петербурга занимают площадь в четыре миллиона квадратных аршин?

— Может быть, но...

— Постой! Знаешь ли ты, что мы можем получить от города совершенно бесплатно право пользования главными тротуарами?

— Это неслыханно!

— Нет, слыхано! Я иду в городскую думу и говорю: «Ежегодный ремонт тротуаров стоит городу сотни тысяч рублей. Хотите, я берусь делать это за вас? Правда, у меня на каждой тротуарной плите будет публикация какой-нибудь фирмы, но не все ли вам равно? Красота города не пострадает от этого, потому что стены домов все равно пестрят тысячами вывесок и афиш — и никого это не шокирует... Я предлагаю вам еще более блестящую вещь: у вас тротуарные плиты из плохого гранита, а у меня они будут чистейшего мрамора!

Прягин наморщил лоб.

— Допустим, что они и согласятся, но это все-таки вздор и чепуха: где вы наберете такую уйму объявлений, чтобы окупить стоимость мрамора?

— Очень просто: мраморная плита стоит два рубля, а объявление, вечное, несмываемое объявление — двадцать пять рублей!

— Вздор! Кто вам даст объявления?

Кабакевич пожал плечами. Помолчал.

— А впрочем, как хочешь. Не подходит тебе — найду другого компаньона.

— Вздор! — взревел Прягин. — К черту другого компаньона... Но ты скажи мне: кто даст вам объявления?

— Кто? Все. Что нужно для купца? Чтобы его объявление читали. И чтобы читало наибольшее количество людей. А по главным улицам Петербурга ходят миллионы народу за день, некоторые по нескольку раз, и *все смотрят себе под ноги*. Ясно, что — хочешь не хочешь, — а какой-нибудь «Гуталин» намозолит прохожему глаза до тошноты.

— Какую же мы прибыль от этого получим? — нерешительно спросил Прягин. — Пустяки какие-нибудь? Тысяч сто, полтораста?

— Странный ты человек... Ты зарабатываешь полторы тысячи в год и говоришь о ста тысячах, как о пяти копейках. Но могу успокоить тебя: заработаем мы больше.

— Ну, сколько же все-таки? Сколько? Сколько?

— Считай: четыре миллиона квадратных аршин тротуара. Возьмем даже три миллиона (видишь, я беру все минимумы) и помножим на 25 рублей... Сколько получается? 75 миллионов! Хорошо-с. Какие у нас расходы? 30% агентам по сбору реклам — 25 миллионов. Стоимость плит с работой по вырезыванию на них фирмы — по три рубля... Ну, будем считать даже по четыре рубля — выйдет 16 миллионов! Пусть — больше! Посчитаем даже двадцать! На подмазку нужных человечков и содержание конторы — миллион. Выходит 46 миллионов. Ладно! Кладем еще на мелкие расходы 4 миллиона... И что же останется в нашу пользу? 25 миллионов чистоганом! Пусть мы не все плиты заполним — пусть половину! Пусть — треть! И тогда у нас будет прибыли 10 миллионов... А? Недурно, Прягин. По 5 миллионов на брата.

Прягин сидел мокрый, полураздавленный.

— Ну что? — спросил хладнокровно Кабакевич. — Откажешься?

— По... подумаю, — хрипло, чужим голосом сказал Прягин. — Можно до завтра? Ах, черт возьми!..

III

Я вздохнул и заискивающе обратился к Кабакевичу и Прягину:

— Возьмите и меня в компанию...

— Пожалуй, — нерешительно сказал Кабакевич.

— Да зачем же, ведь дело не такое, чтобы требовало многих людей, — возразил Прягин. — Я думаю, и вдвоем управимся.

— Почему же вам меня не взять? Я тоже буду работать... Отчего вам не дать и мне заработочек?

— Нет, — покачал головой Прягин. — Это что ж тогда выйдет. Налезет десять человек, и каждому придется по копейке получить. Нет, не надо.

— Прягин!

Я схватил его за руку и умоляюще закричал:

— Прягин! Примите меня! Мы всегда были с вами в хороших отношениях, считались друзьями. Мой отец спас однажды вашему — жизнь. Возьмите меня!

— Мне даже странно, — криво улыбнулся Прягин. — Вы так странно просите... Нет! Это неудобно.

Я забегал по кабинету, хватаясь за голову и бормоча что-то.

— Прягин! — сказал я, глядя на него воспаленными глазами. — Если так — продайте мне ваше право участия в деле. Хотите десять тысяч?

Он презрительно пожал плечами.

— Десять тысяч! Вы не дурак, я вижу.

— Прягин! Я отдам вам свои двадцать тысяч — все, что у меня есть. Подумайте, Прягин: завтра утром мы едем с вами в банк, и я отдаю вам чистенькие, аккуратно сложенные двадцать тысяч рублей. Подумайте, Прягин: когда вы входили сюда, вы продали бы это дело за три рубля! А теперь, — что изменилось в мире? Я предлагаю вам капитал — и вы отказываетесь! Бог его знает, как у вас еще выйдет это дело с тротуарами!.. Городская дума может отказать...

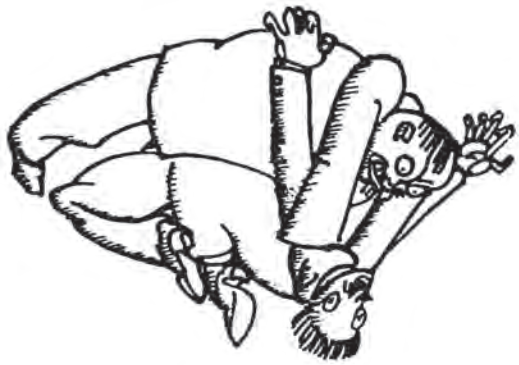
— Не может быть!! — бешено закричал Прягин. — Не смеет!! Ей это выгодно!!

— Торговые фирмы могут найти такой способ рекламы не достигающим цели...

— Идиотство!! Глупо! Это лучшая в мире реклама! Всякий смотрит себе под ноги и всякий читает ее...

— Прягин! У меня есть богатая тетка... Я возьму у нее еще двадцать тысяч и дам вам сорок... Уступите мне дело!!

— Перестанем говорить об этом, — сухо сказал Прягин. — Довольно!! Кабакевич... я завтра утром у тебя; условимся о подробностях, напишем проект договора...



...Догнал меня и повалил на ковер...

— А, так... — злобно закричал я. — Так вот же вам: сегодня же пойду в одно место, расскажу все и составлю свою компанию... Я у вас из-под носа выдерну это дело!

Я вскочил и побежал к дверям, а Прягин одним прыжком догнал меня, повалил на ковер, уцепившись за горло, и стал душить.

— Нет, ты не уйдешь, негодяй... Каба... кевич... По-мо... ги мне!..

Нечаянно, в пылу этой дурацкой борьбы, мои глаза встретились с гла-

зами Прягина, и я прочел в них определенное, страшное, напряженное выражение...

Кабакевич был удивительный человек.

— *Прочли,* — догадался он, освобождая меня из-под Прягина. — Ну, довольно. У вас разорван галстук... Не находите ли вы, что кислоты слишком подействовали на лакмусовую бумажку?

— Вот не ожидал я от него этого, — тяжело дыша, проворчал я.

— Ага! — засмеялся старый Кабакевич. — Ага? Прочли? Глаза-то, глаза — видели? Ха! Такую вещь приходится читать не каждый день!..

ТРУДОЛЮБИВЫЙ ХАРЛАМПЬЕВ

Как-то в дружеском разговоре его спросили:

— Вы знаете, в каждом человеке есть какое-нибудь одно качество, которое резко выделяется на общем фоне; какое качество есть у вас?

Он поднял серые глаза, в которых застыла вековечная печаль, и скромно сказал:

— Трудолюбие.

Все засмеялись.

— Только-то? Ну, это маловато.

— Ничего... Я очень доволен этим качеством, и с меня его хватит.

Человека, который обладал единственным качеством — трудолюбием, — звали Харлампьев. Он был маленький, хромой и всегда ходил с громадным зонтиком, который по росту был похож на его старшего брата. Жил тем, что писал в скучных газетах и журналах скучные статьи.

Впрочем, если бы он написал когда-нибудь нескучную статью — ее бы не напечатали.

——

Однажды, когда он сидел за утренним чаем, к нему пришел его приятель Волкодавский и, усевшись рядом, долго молчал.

— Чего вы? — спросил Харлампьев.

— Я о вас сегодня слышал кое-что очень неприятное... Совсем я этого не думал и не мог предполагать.

Лицо у Волкодавского было расстроенное, нахмуренное.

— А! — хладнокровно сказал Харлампьев. — Что же именно?

— Помните, вы как-то говорили, что вы трудолюбивы... Мне рассказывали о такого сорта вашем трудолюбии, от которого лучше быть подальше. Знаете, что я слышал? Что вы в молодости служили в Харькове почтовым чиновником... И были настолько трудолюбивы, что ни одно простое письмо не доходило до адресата, потому что все марки сдирались, а письма уничтожались. Потом на каком-то денежном пакете вы попались уже серьезным образом и вам пришлось уйти с большими неприятностями... Сидели, кажется, в тюрьме... Как честный человек, я не пустил этот слух дальше, а принес его вам. И, как честный человек, считаю долгом спросить: «Правда ли это? Если это неправда, — для меня будет особенным удовольствием пожать вашу руку. Если же правда...»

— Постойте, — поднимая загадочные глаза на Волкодавского, остановил его трудолюбивый Харлампьев. — Не надо жать мне руку, а только скажите: от кого вы это слышали?

— Я этого не могу сказать... Дал слово...

— Послушайте, — быстро потирая руки, сказал Харлампьев. — Почему то лицо, которое сообщило вам о моем прошлом, взяло с вас слово не называть его? Потому что боялось попасть в ответ? Это могло быть только в том случае, если ваше лицо само выдумало мое прошлое. В таком случае вам стыдно покрывать негодяя. Но я не думаю, чтобы то лицо выдумало. Оно от кого-то слышало — я в этом уверен. В таком случае оно ничем не рискует, и я ему не причиню никакого вреда.

— Вы правы, — сказал прямолинейный Волкодавский. — Я слышал это от Алексея Михайловича Козубовича.

— Спасибо. Эй, Марья! Собери-ка мне чемодан. Положи немного белья, папирос и револьвер. Я уезжаю.

— Куда вы уезжаете? — спросил, широко открыв глаза, Волкодавский.

— О, мало ли куда? Я еще и сам не знаю — куда придется ехать. Трудолюбивый человек должен работать. Ему нельзя сидеть на одном месте. Прощайте! Я вам очень благодарен за сообщение. Я думаю, может быть, вам еще и удастся пожать мне руку. Марья! Не забудь и мой зонтик!

В тот же день до обеда Харлампьев положил чемодан на извозчика и уехал.

——

Козубович собирался обедать.

— Доложите барину, — сказал в передней чей-то тоненький голос, — что Харлампьев хочет видеть его на минутку. Что он, мол, его не задержит.

— А, Харлампьев! — радушно сказал хозяин. — Входите в кабинет.

Маленький Харлампьев вошел, неся в одной руке большой чемодан, в другой — свой колоссальный зонтик.

— Вот и я, — сказал он. — На минутку.

— Куда это вы собрались ехать?

— Еще не знаю. На всякий случай. Слушайте, Козубович! От кого вы слышали, что я в Харькове был почтовым чиновником, отклеивал марки и украл денежный пакет?

Козубович поморщился и нервно сказал:

— Этот Волкодавский! Словно баба какая-то. Вы извините... Он мне даже дал слово молчать.

— От кого вы слышали? — опять спросил тоненьким голоском Харлампьев, поблескивая серыми печальными глазами.

— Гм... Я не считаю удобным... Может быть, это обыкновенная сплетня.

— Тем более... От кого вы слышали?

— Но... мне неудобно...

От кого вы слышали, что я в Харькове был почтовым чиновником?

Харлампьев подошел к чемодану, открыл его, вынул револьвер и направил на хозяина. Процедил тихонько:

— Если вы не скажете, от кого вы слышали, — значит, выдумали вы. В таком случае сию же минуту я вас застрелю.

— Да как же... — подхватил оживленно Козубович. — Варнакин Петя мне это и сказал. Когда бишь? Да... позавчера в ресторане. Именно позавчера. Что ты, Петя, говорю я. Мыслимо ли это?

Трудолюбивый Харлампьев взял зонтик, с трудом поднял большой чемодан и, кивнув головой, хлопотливо вышел из кабинета.

Через полчаса Петя Варнакин был очень удивлен, когда увидел Харлампьева у себя в меблированной комнате с чемоданом в одной руке, револьвером в другой и зонтиком под мышкой.

— Петя! — сказал Харлампьев. — С тобой я долго не буду разговаривать. Кто рассказал тебе о моих проделках на харьковской почте? Живо! А то голова твоя треснет сейчас, как пустой орех.

Петя звякнул зубами и оперся на стол.

— А, здравствуйте. Как поживаете?

— Кто тебе сказал? Имя.

— Господи! Такой случай... Захар Иваныч Миронов мне это рассказывал. Только представьте — ведь он уехал в Одессу на прошлой неделе.

— Это ничего. Я поеду за ним. Видишь, у меня и чемоданчик припасен. Только... Петя! Ты не врешь? Если ты хочешь меня сбить с толку, я вернусь из Одессы и застрелю тебя.

Петя! С тобой я долго не буду разговаривать.

— Да ей-Богу не вру! Разве можно врать...

— Ну, прощай, Петя. Спасибо.

Харлампьев подхватил свой чемодан, зонтик, сунул револьвер в карман и, прихрамывая, мелкими шажками выкатился на улицу.

— Извозчик! На вокзал!

——

Миронов был найден в Одессе с большим трудом. Узнав, что у Харлампьева револьвер, он принял этого трудолюбивого человека с распростертыми объятиями.

— Будьте добры сообщить мне, — мягко попросил Харлампьев, — от кого вы слышали, что я в Харькове был, как почтовый чиновник, замешан в краже на почте?

— Вы знаете, что? Я этому не верю!

— Благодарю вас. Но от кого вы слышали?

— Да бросьте. Пойдем лучше ужинать. Охота разводить сплетни.

— Верите ли вы тому, что, если я сейчас не найду у вас дальнейшей нити этого слуха, если эта нить сейчас оборвется на вас — вы будете мной убиты?

— Верю.

— Ну?

— Марья Дмитриевна Остроухова.

— Она сейчас где?

— Она к брату поехала в Лодзь. Там вы ее и найдете.

Харлампьев кротко вздохнул, собрал свои пожитки, сунул револьвер в карман и, покорно опустив голову, ушел.

Несколько дней он провел в вагоне, почти не останавливаясь в тех городах, где ему приходилось бывать. Остроухова послала его из Лодзи к Максудову в Ростов, Максудов выразил ему искреннее сожаление и перебросил его в Самару. Из Самары он должен был поехать в Ряжск, и только в Ряжске получил отрадное известие: оказалось, что инженер Когортов, командированный в Ряжск, слышал о почтовых подвигах Харлампьева от Балкина, который жил в том же городе, где и Харлампьев, — в Петербурге.

Что-то подсказало усталому Харлампьеву, что нить клубка подходит к концу.

Он приехал в Петербург и, не заезжая домой, с вокзала, отправился к Балкину.

— Балкин! — сказал он, опуская на пол чемодан, зонтик и привычным движением вынимая револьвер. — Вы меня знаете. Я изъездил пол-России и не остановился бы даже перед поездкой за границу, чтобы найти только кончик той веревки, которая опутала меня. Смотрите мне в глаза и скажите: кто говорил вам о том, что я, в бытность в Харькове почтовым чиновником, воровал марки с писем и попался в краже денежного пакета?

— Вы очень похудели и осунулись, — с состраданием глядя на него, сказал Балкин. — Бедный вы! Неужели вы объездили для этого пол-России?

— Да. Я очень трудолюбивый человек.

— Бедный вы, бедный. Спрячьте ваш револьвер. Я и так сказал бы вам. Всю эту историю рассказывал мне Илья Ильич Паяльников.

— Что-о? Илюша Паяльников? — Харлампьев хрипло засмеялся. — О-о! Ну вот это, вероятно, и конец. Даете вы честное слово, что подтвердите ему то, что говорили мне?

— Отчего же? Три честных слова!!

——

У Паяльникова были гости: два чиновника, художник Мстивоев и Волкодавский.

— Не докладывайте обо мне барину, — сказал кротко маленький Харлампьев, когда горничная открыла ему дверь. — Я сам доложусь.

Он вошел, как был — в пальто, с чемоданом и зонтиком в руках. Ни с кем не поздоровавшись, поставил на пол чемодан, сел на него, положил зонтик на колени и, подперши голову маленькими кулачками, внимательно стал всматриваться в полное, цветущее лицо хозяина Паяльникова.

— Что ты, брат Харлаша, — удивился хозяин, — с чемоданом, как будто собираешься куда? Почему ни с кем не здороваешься?

— Сейчас, — сказал Харлампьев, странно посматривая на него. — Ты, Илюша, рассказывал обо мне Балкину, что я, служа в Харькове на почте, воровал марки и денежные пакеты? Постой, постой, не возражай. Это правда, что я говорю. Не хочешь ли, чтобы я сейчас же привез сюда Балкина? Илюша! Я бы мог спросить тебя, как и других: кто тебе сообщил это? Но я не спрошу. Почему? Да потому что мы в Харькове жили с тобой в одно время, и ты прекрасно знаешь, что я даже не служил на почте. Ты тогда был студентом, а я работал в газете. Не правда ли? Действительно, в прошлом году ты просил меня, чтобы я написал статью о построенном тобой мосте; действительно, я отказался — но неужели за это ты мне платишь почтовыми марками? Твое положение сейчас очень нехорошее. Ты Балкину обо мне говорил — это факт. Мою харьковскую жизнь ты знаешь — это факт. Следовательно, тебе даже нельзя отпереться и сослаться на какого-нибудь уже умершего человека, который якобы сообщил тебе об этом. Ну-с? Что мне с тобой теперь делать? Единственно — это.

Прихрамывая подошел затем к Волкодавскому и сунул ему эту руку.

Трудолюбивый Харлампьев поднялся с чемодана, прихрамывая подошел к хозяину и вдруг звонко ударил его по лицу маленькой рукой.

Прихрамывая подошел затем к Волкодавскому и сунул ему эту руку.

— Нате. Пожимайте, если хотите.

— С удовольствием, — засмеялся прямолинейный Волкодавский. — Пойдемте, милый, отсюда. Га! Га! Да здравствует трудолюбие!

РЕВОЛЮЦИОНЕР

В первый день св. Пасхи к Кутляевым пришел Птицын. Глава семьи Кутляевых был чиновник, и звали его Исидором Конычем, а Птицына называли Васенькой.

— А! Васенька! Христос Воскресе!

Птицын пришел, наряженный в смокинг и лакированные башмаки, с ярким, сверкающим цилиндром в руках.

— А! — закричал весело Кутляев, растопыривая руки. — Васенька! Христос Воскресе!

— Здравствуйте, — вежливо поклонился Птицын. — Я, простите, не христосуюсь...

— Почему, Васенька? — кокетливо склоняя голову набок, спросила жена Кутляева.

Васенька поздоровался с ней, поклонился сидевшей в углу старой тетке, опустился на предложенный стул и, обмахиваясь платочком, сказал:

— Видите ли... Я нахожу этот обычай отжившим. В нем, вы меня извините, нет логики. Будем рассуждать так: почему знакомые целуются при встречах на Пасху и не целуются на Рождество? Вы, конечно, возразите мне, что Пасха — это праздник любви, торжества и радости. Хорошо-с. Тогда, — спрошу я вас, — а Рождество, чем же хуже Рождество? Чем оно меньше по радости и торжеству? Да и вообще: я понимаю поцелуй как акт физического влечения одного пола к другому, что уже, конечно, есть простое требование природы. А, согласитесь сами, ведь указанных мною элементов в пасхальном поцелуе нет? Ведь нет?

Жена Кутляева задумчиво качнула головой и вздохнула. Муж сказал:

— Пожалуй, это и верно.

— Конечно же верно!

Васенька говорил серьезно, подыскивая выражения, округляя периоды и внимательно поворачиваясь к собеседнику, который подавал реплику. Собеседник внимательно выслушивался и сейчас же получал ясный, точно формулированный ответ.

— Хотя, — возразила госпожа Кутляева, — я того мнения, что в этой радости, в этих поцелуях и дружеских объятиях есть что-то весеннее.

— Хорошо-с, — солидно, складывая руки на груди, сказал Васенька. — Хорошо. Но если это так, то почему же не целоваться в июне или сентябре?

— Что вы говорите?! — вспыхнула Кутляева. — Разве можно?

— Вот то-то и оно. Нужно как можно дальше отходить от нашей затхлой традиции, от всего того, что «все делают».

— Однако, — сказал Кутляев, — вот вы же, Васенька, с визитом пришли?..

Васенька привстал.

— Я могу и уйти, если вам мое посещение не нравится...

— Что вы, что вы! Как вам не стыдно?.. Мы очень рады! Я только к тому говорю, что визиты тоже традиция.

— Да-с! Пошлейшая, никому не нужная традиция! И вот именно поэтому я решил всюду ходить и во всеуслышанье заявлять: «Господа! Бросьте этот глупый, утомительный обычай! Станьте выше! Стремитесь быть сверхчеловеками!»

— Вы водку пьете? — спросил Кутляев.

— Что? Какую водку? Ах водку. Рюмочку я, конечно, выпью, но не потому, что это какой-то там праздник, а просто небольшое количество алкоголя мне не повредит.

Кутляев налил две рюмки водки, а жена его сказала:

— Если вы, Васенька, это натощак — я вам дам сначала кусочек свячёного кулича. Хотите?

Васенька резко и строго обернулся к хозяйке.

— Нет-с, Наталья Павловна, не хочу. Нет, не хочу! Согласитесь сами, зачем? Что изменится в нашей будущей жизни от того, если я съем этот кусок желтого, сладкого хлеба, а не тот? Если вы мне дадите именно тот, который был обрызган священником? Зачем это? Да и вообще кулич... Почему вы меня не угощали им, когда я у вас был в декабре? Почему теперь мне должно хотеться, а тогда нет? Согласитесь сами, странно!

— Да бросьте вашу философию, — хлопнул его по плечу хозяин. — Ох уж эта мне интеллигенция! За ваше здоровье!

— При чем тут здоровье, — поморщился Птицын.— Просто нам с вами хочется выпить — мы и пьем.

— Кулича нашего попробуете? — робко спросила хозяйка.

— Принципиально не попробую, уважаемая Наталья Павловна. Вот в сентябре будут именины вашей дочки, — тогда съем. А есть его сейчас, согласитесь сами, это ординарно.

Он обвел глазами стол, и взгляд его остановился на высоком куличе, увенчанном тремя сахарными розами и шоколадным барашком с крошечным зеленым флагом.

— Вы простите меня, Наталья Павловна, но... можно мне быть с вами откровенным?

— Пожалуйста, — съежившись, сказала хозяйка.

— Я уж такой человек, что всегда режу правду-матку в глаза! Это самое лучшее. Не правда ли? Скажите: неужели вы серьезно думаете, что эти сахарные розы и этот барашек — на что-либо нужны? Ведь вкусу они вашим куличам не придадут, а...

— Ах, какой вы критик, — слабо усмехнулась хозяйка.— Я и не знала... На всякий пустяк обращаете внимание... Это сделано так только — для красоты.

Птицын горько улыбнулся.

— Для красоты... Красота — это Рафаэль, Мадонна, Веласкес какой-нибудь! Венера Милосская! Вы извините меня, но я так говорю, потому что считаю вас хорошими, умными людьми, и знаю, что вы не обидитесь... А какая же красота — барашек с рынка стоимостью в пятиалтынный? Ни моего эстетического, ни моего морального чувства такая безвкусная вещь удовлетворить не может.

— Ха-ха! — засмеялся Кутляев, — вот не думал, что у покойного Павла Егорыча такой умный сынок будет. Ай да Васенька! Бог с ними, с барашками... Вы бы еще рюмочку! Красным яичком закусите или поросеночком.

Васенька нахмурился.

— Позвольте быть с вами откровенным: вы их для вкусу покрасили или для красоты?

— Черт его знает для чего. Взял да и покрасил.

— Я думаю, краска, которой они выкрашены, не безвредна. В таком случае я очень попрошу вас, добрейшая Наталья Павловна, дать мне простое, белое яйцо. Оно, правда, не так сияет, но ведь я же и не любоваться на него буду...

Птицын долго ел молча, опустив голову и о чем-то думая.

— Поросенок тоже, — закачал он укоризненно своей широкой черной костистой головой. — Ведь если крашеное кушанье вообще красиво, — почему бы и поросенка не выкрасить в голубой цвет или побронзировать золотым порошком. Однако этого не делают. Правда, для чего-то всунули ему в рот кусок петрушки, но, я думаю, никто этим не будет восторгаться. Всунули просто неизвестно для чего...

— Охота вам, Васенька, петь Лазаря, — нервно перебил его хозяин. — Ну и всунули! Ну и поросенок. Надо же чем-нибудь великий праздник отметить.

— Так, так, — покачал головой Васенька. — Подъем религиозного чувства знаменуется всовыванием в пасть мертвого животного пучка зелени... Логично!

* * *

В комнату влетел завитой, пронизанный насквозь праздничным настроением блондин, расшаркался и радостно, во всю мочь легких заорал:

— Простите, не целуюсь...

— Христос Воскресе! Исидор Коныч, троекратно! Наталья Павловна, троекратно! Мой молодой товарищ, — троек...

— Простите, не целуюсь, — сказал твердо и значительно Птицын. — Устаревший пережиток. Форма без содержания...

— Фу-ты, ну-ты, — пропел молодой блондин. — А то бы лобызнулись. Не хотите? Как хотите.

Склонив голову набок и смотря укоризненными глазами на пришедшего, Птицын ехидно спросил:

— Визиты делаете?

Блондин склонил голову направо и юмористически пропищал:

— Визиты делаю! Мученик естества.

— Выпейте чего-нибудь.

— С восторгом в душе! Боже ты мой! Какие красивые яйца!! И зелененькие, и розовенькие. И лиловые!

— Вам нравятся? — иронически спросил Птицын.— А мне, представьте, не нравятся. Это не есть вечная красота... Вечная красота — это Рафаэль, Мадонна... Знаменитая статуя Венеры Милосской, находящаяся в одном из заграничных музеев, — вот что должно нравиться.

— Эх, куда заехали, — засмеялся молодой человек и молящим голосом попросил:

— Можно съесть лиловенькое? Мне нравится лиловенькое!

— Да какое угодно, — радушно сказала хозяйка.

— Вечные самообманы в жизни, — печально прогудел Птицын. — Гонимся мы за лиловыми яйцами и забываем, что внутри они такие же, как и красные, как и белые... Слепое человечество!

— Где вы были у заутрени? — спросила хозяйка.

— В десяти местах! Носился как вихрь. Весело, ей-Богу! Радостно! Колокола звонят вовсю. Дилим-бом! Бам-бам! То тоненькие. То такие большие густые дяди! Гу-у! Гу-у!

— Красота не в этом, — сказал Птицын, внимательно, по своему обыкновению, выслушав собеседника. — Не в том, что по одному куску металла бьют другим куском металла... И не в том, что яйца красные и голубые... И не в том, что у вас на сюртуке атласные отвороты. Красота — это Бетховен, симфония какая-нибудь... Кёльнский собор! Микеланджело! Слепое человечество...

Хозяйка вздохнула и сказала блондину:

— Садитесь! Чего же вы стоите?

— Мерси. С удовольствием, — расшаркался представитель слепого человечества.

Повернулся к столу и сел.

— Что вы делаете! — закричал болезненно и пронзительно Птицын. — Вы сели на мой цилиндр!

— Ну? — удивился блондин. — В самом деле!

Птицын вертел в руках сплющенный, весь в крупных изломах и складках цилиндр и со слезами в голосе говорил:

— Ну что теперь делать! Сели на цилиндр. Ну куда он теперь годится... Кто вас просил садиться на мой цилиндр?!

— Я нечаянно, — оправдывался блондин, пряча в усах неудержимое желание рассмеяться. — Да это пустяки. Его можно выпрямить и по-прежнему носить.

Красота не в этом. Красота — это Рембрандт, Айвазовский...

— Да-а... — злобно смотря на блондина, плаксиво протянул Птицын. — Сами вы носите! Разве в нем можно показаться на улице?!.

— Почему же? — усмехнулся гость. — Красота не в этом. Красота — это Рембрандт, Айвазовский, Шиллер какой-нибудь... Мадонна!

На глазах Птицына стояли слезы бешенства и обиды.

— Полез... Прямо на шляпу!

— Слепое человечество, — захохотал блондин. — Ну, если не хотите так ее носить, я вам заплачу. Ладно?

Птицын сжал губы, получил от блондина пятнадцать рублей и, ни с кем не прощаясь, угрюмо ушел.

Поросенок, держа в зубах пучок зелени, заливался беззвучным смехом.

ПРИНЦИП

Иван Сергеич имел цельный, гармоничный характер и не гордился этим только потому, что был скромен и прост в обращении; эти качества резко отличали его от других воров, водившихся в трактире «Лужайка», — людей в общей массе крикливых, хвастливых и наглых.

Деятельность Ивана Сергеича имела строго определенное направление, от которого он не уклонялся ни вправо, ни влево: не убивал, но зато и не работал. Только воровал.

К людям не ворующим относился недоверчиво, с легким затаенным презрением, и когда вдумывался в их жизнь, то про себя нередко удивлялся: «Почему они тоже не воруют?»

После долгого раздумья объяснял это себе двумя причинами: беспощадной логикой социального строя (если все обворовываемые будут воровать, то некого будет обворовывать), а также отсутствием предприимчивости и неловкостью лиц, которые предпочитали зарабатывать пропитание трудом.

— И трудитесь, черти, — думал с ласковой насмешливостью Иван Сергеич. — Вам же хуже! Все равно украду.

И крал.

Эту веселую человеческую комедию изредка прерывали длинные антракты — именно тогда, когда Иван Сергеич попадал в тюрьму. Здесь он имел возможность бросать ретроспективные взгляды на пройденный путь и каждый раз успокаиваться на том, что ошибок в системе не было: право Ивана Сергеича — воровать, но зато право обворованных — ввергать его в тюрьму... Пожалуйста!

После этого никто не имел возможности упрекать друг друга в несправедливости и дуться один на другого. И по выходе из тюрьмы можно было начинать новую жизнь: трудящиеся, нажившись, должны были снова плохо положить несколько вещей, а Иван Сергеич брал уже остальное на себя.

Воровал Иван Сергеич двадцать пять лет — с тех пор как себя помнил. Если считать, что проживал он в год около двух тысяч, то накрадено им было за всю жизнь мелкими вещами и суммами — пятьдесят тысяч. Эти деньги должны бы вызвать еще большее к себе уважение, если принять во внимание, что ни одна копейка из них не была нажита обыкновенным трудом или убийствами. Кражи — только кражи.

——

Это был превосходный, очень уютный особняк, имевший все данные для того, чтобы понравиться Ивану Сергеичу.

Оба они — особняк и Иван Сергеич стояли друг против друга на глухой, пустынной улице, и один из них думал: «Если выдавить стекло — стоят на подоконнике горшки с цветами или не стоят? Свалишь их или не свалишь?»

Долго размышлять было рискованно: через час прекрасная темная ночь сменится рассветом. Поэтому Иван Сергеич, закусив нижнюю губу, провел по стеклу кольцом, наложил на него какую-то тряпку и через минуту стоял уже на подоконнике, зорко всматриваясь в непроглядную тьму, сгустившуюся в комнате. Мягко спрыгнул босыми ногами на паркет и, простирая вперед чуткие руки, побрел наугад...

— Ох, ччерт!..

Нога его споткнулась обо что-то мягкое, большое, неподвижное, и Иван Сергеич, падая, схватился рукой за спинку кресла. Кресло стукнулось о стол, на столе задребезжала лампа... Иван Сергеич присел и сейчас же увидел, как в стороне мелькнула желтая вертикальная полоска света, которая сейчас же перешла в прямоугольник — и в дверях, освещенный маленькой лампой, показался человек.

Лампу он вытянул вперед и с любопытством водил ею во все стороны до тех пор, пока луч света не упал на присевшего около стола Ивана Сергеича.

Иван Сергеич взвизгнул, выпрямился и бросился к открытому окну, но незнакомец опередил его одним прыжком, не выпуская лампы из рук, сел на подоконник и, усмехнувшись, спросил:

— Испугались?

— Испугался, — признался Иван Сергеич и зашаркал смущенно босой ногой по полу.

— Эх вы! Как же можно быть таким нервным... Не бойтесь. Хозяина дома нет.

Лампу он вытянул вперед и с любопытством водил ею во все стороны...

Иван Сергеич изумленно сверкнул глазами и спросил:

— Да... а вы кто?

— Я? Вот тебе раз! Ну, угадай-ка, миленький, кто я?

Блуждающие глаза Ивана Сергеича остановились на выдвинутых ящиках письменного стола, на большом солидном узле, валявшемся на полу, — том самом узле, о который споткнулся он минуту тому назад, — затем глаза Ивана Сергеича перешли на широкую смеющуюся рожу незнакомца, и оба человека, глядя друг на друга, стали смеяться.

— Ах, поди ж ты! — всплеснул руками Иван Сергеич. — А я думаю: хозяин. Тикать хотел. Один ты тут?

— Один.

— Да как ты сюда пролез? Окна были целые, парадные заперты — я толкал.

— А я ключом. Зашел, а потом заперся, чтобы не мешали.

— А если хозяин подойдет?

— Он-то? Каждую ночь в клубе до восьми часов утра в карты режется! Всю хурду-мурду успеем вывезти.

— Вы... везти? — ахнул Иван Сергеич.

— А ты что думал? Эх вы, — засмеялся новый вор.— Сколько уже веков прошло, а все вы, воры, ничему не научились. Простой вы народ — воры! Без плана, без выдержки, без хладнокровия... Тебе бы, дураку, только влезть в окно, рискуя, что тебя сцапают, стянуть какую-нибудь подушку или пальто, ценой в пять целковых — и убежать... и ты уже думаешь, что большое дело сделал!

— А ты... как же? — спросил, усаживаясь на узел, Иван Сергеич.

— Вот так же! Как видишь!.. Я целую неделю потратил на слежку: как живет хозяин, да что он делает, да когда возвращается вечером? И что ж ты, братец мой, думаешь... Прислуга приходящая, никого больше ни души, а сам из клуба под утро возвращается.

Иван Сергеич вздрогнул.

— А он сейчас не приедет?!

— Будь покоен, братец: верные сведения имею.

Новый вор помолчал.

— Так вот как. И задумал я вычистить квартиру до последнего гвоздика. Переулок глухой — кому помешать нужно? Работай тихенько, смирненько. К семи часам утра заказал я две подводы с нашими ребятами — приедут, все и вывезем.

Иван Сергеич ударил себя по коленкам и восторженно вздернул головой.

— Ловко!! Все как есть?

— Все, миленький ты мой. До гвоздочка, до последней карточки. Кой-что я уже и уложил.

— Ловкий дьявол... Меня-то в долю примешь?

— Почему не принять. Товару много. Расторгуемся. Однако, миленький... Американцы, о которых ты по своему умственному убожеству не имеешь никакого понятия, говорят: время — деньги. За дело! Я письменным столом займусь, а ты картины снимай.

Новые друзья весело захлопотали. Наглость и уверенный план другого вора обворожили Ивана Сергеича. Заворачивая в полотняные простыни картины и связывая веревками груды дорогих золотообрезных книг, Иван Сергеич время от времени садился на пол и громко торжествующе хохотал:

— Ай да мы! Ну и мы! Ну и воры нынче пошли!

— Не дери глотку, — скромно сказал новый вор.— Дело нужно делать, а он гогочет... Укладывай лампу в ящик... Да с резервуаром поосторожней! Он, кажется, фарфоровый. Разве вы, черти, понимаете?

Иван Сергеич хлопотал, вертелся по комнате, упаковывал, распутывал веревки, развязывая узлы острыми зубами, и все время среди этих занятий восторженно поглядывал на товарища.

А тот, уложив всего одну этажерку с безделушками и какой-то чемодан, уселся в кресло и важно закурил папироску.

Работы было еще много, но он всем своим видом показывал, что закончить ее предоставляет простоватому Ивану Сергеичу, который с мокрым, потным лицом то и дело подбегал к товарищу и, держа в руках какой-нибудь альбом с фотографическими карточками, отрывисто спрашивал:

— Брать?

— Бери, Ваня, бери. Все пригодится.

— А салфеточку эту? Неужто и ее брать? На что она?

— А что ж салфеточка — собака, что ли? Зачем ее оставлять... Да поторапливайся! А то ребята с подводами приедут — куда нам все поспеть?

И вместо того чтобы помочь утомленному, запыленному Ивану Сергеичу, он только курил да поглядывал на окна, в которых занимался рассвет...

Приехали «ребята с подводами».

Все было уложено, связано, и Иван Сергеич, еле держась на ногах от усталости и суеты, разрешил и себе закурить папироску.

— Нечего там раскуриваться! — оборвал его безжалостный товарищ. — Помогай таскать вещи. Смотри — до хозяина досидимся.

— А ты чего же не помогаешь? — робко спросил Иван Сергеич.

— Напомогался достаточно! Моя работа раньше была. Не бросай папироски на ковер: прожжешь — за него и полцены не дадут! Черти вы! Разве понимаете?

——

На улице было холодно... Босые ноги чувствовали на мостовой предрассветную сырость.

Товарищ Ивана Сергеича тоже вышел к подводам и равнодушно смотрел, как их нагружали «ребята».

— Готово, ребята? — спросил он.

— Все готово.

Тогда товарищ обратил сонное лицо к Ивану Сергеичу и, улыбнувшись, сказал:

— А теперь — иди себе, братец, подобру-поздорову.

— Как — иди? — ахнул Иван Сергеич. — А вещи? А дележка?

— Какие вещи?

— Да эти! Что мы собирали.

— А разве они твои, эти вещи?

Иван Сергеич рассердился.

— Да ведь и не твои!!

— Нет, мои.

— Это же еще почему такое? Хозяин ты им, что ли?

Незнакомец засмеялся.

— Эх ты! Говорил же я, дураки вы, воры! А кто ж я? Конечно, хозяин. На другую квартиру переезжаю, с ночи укладывался... А ты тут пришел, помог... Да я ничего не имею. Спасибо, что помог. По крайней мере, честным трудом рубль заработал. Хе-хе! Я даром, братец, чужого труда не хочу. На, получай! За честный твой труд!

Хозяин вынул из кармана рубль и сунул его в руку Ивану Сергеичу.

. . . . . .

Уже всходило солнце, когда Иван Сергеич брел по пустой улице недовольный, брюзжащий сам на себя, с серебряным рублем, зажатым в грязный кулак.

Гармоничная натура Ивана Сергеича могла показаться странной непонимающему, недалекому человеку.

Этот рубль, заработанный трехчасовым тяжелым, неблагодарным трудом, — жег ему руку.

Проходя по мосту, Иван Сергеич плюнул, очень неприлично обругался и выбросил дурацкий рубль в воду.

Проходя по мосту, Иван Сергеич плюнул, очень неприлично обругался и, размахнувшись, выбросил дурацкий рубль в воду.

ЖИВОТНОЕ

Мой приятель — студент Ушкуйников и я — мы сидели в цирке и смотрели на громадного, мясистого парня, который стоял на арене и, изогнувшись чудовищным глаголем, поднимал над головой какие-то металлические шары.

— Ловко! — восторженно прошептал Ушкуйников, шевеля мускулистыми руками. — Одной рукой! А в них около семи пудов.

— Ну так что? — спросил я, с усмешкой глядя на него.

— Семь пудов! Это — рекорд!

— Чего ты так волнуешься? Разве тебе не все равно, если в этом инструменте, висящем сейчас над его головой, — семь пудов, а не пять или шесть?

— Что ты! — удивился Ушкуйников. — Как же может быть все равно? Шесть пудов — это и я жму! А вот семь — это уже гениально!

— А что, если бы нашелся человек, — саркастически спросил я, — который мог бы переплюнуть через двухэтажный дом? Ты бы тоже назвал его гениальным?

— Поехала! — засмеялся Ушкуйников. — Это уже, брат, философская отвлеченность. Шопенгауэр!

Не знаю, что меня привязало к этой большой, добродушной, глуповатой, сильной собаке. Мы были совершенно разные люди: я — маленький, худой, с нежными руками, впалой грудью и вечной боязнью холода, жары и ветра; он — высокий, широкогрудый, с железными мускулами, громким хохотом и с какой-то медвежьей грацией и ловкостью в движениях... Я — умный, много читавший, много знающий человек, он — недалекий, простой, с самыми примитивными влечениями и настроениями.

Когда мы шли из цирка, я, делая короткие шажки, смотрел на него снизу вверх.

Когда мы шли из цирка, я, делая короткие шажки, смотрел на него снизу вверх, нервно дергал его большую красную руку и язвительно говорил:

— Я тебе удивляюсь! Ты человек без полутонов. Осчастливить тебя можно тем, что — каким-либо образом — утроить твой рекорд в поднимании восьмипудовой гири... А сделать несчастным — еще легче. Стоит только ударить тебя оглоблей по голове; тогда ты, ощутив физическую боль, — будешь чувствовать себя страшно несчастным.

Он рассмеялся.

— Ну и чудак же ты! Выдумает что-нибудь вечно. Разве можно оглоблей драться?

— Вот видишь! Видишь? Очень мило... ты даже не уловил моей главной мысли, а обратил почему-то внимание на оглоблю, будто бы в ней весь центр! Оглобля играет здесь чисто служебную роль, как подспорье, как иллюстрация к отвлеченной мысли.

— Да брось, — сказал Ушкуйников. — Философия. Гегель.

— Ты меня извини, — с горячностью вскричал я. — Но я не понимаю тебя... У тебя какая-то мания притворяться глупее, чем ты есть. Ведь ты, как студент, все-таки знаешь, что употребление тобой имен философов совершенно бессмысленно. Ни Шопенгауэр, ни Гегель здесь ни при чем.

— Да брось.

— Чего там бросать? Я знаю, когда тебе возразить нечего, ты говоришь: да брось. Это, брат, самый глупейший прием в споре.

Он, сбитый с толку, приостановился.

— Чего ты ругаешься? Смотри — горло пересохнет. Хочешь, я сейчас посажу тебя на крышу этого киоска? Оттуда удобно говорить блестящие речи!

— Конечно, конечно! У тебя ведь другого аргумента быть не может. Или на какую-нибудь дурацкую крышу посадишь, или повалишь на тротуар.

— Да брось, — поежился Ушкуйников. — Я же пошутил.

Я сделал вид, что не слышу его.

— Ты можешь ударом кулака раздробить мне голову, но ведь эту же операцию может произвести и любой дом, который уронит с карниза мне на голову кирпич. Какая же между вами тогда разница?

— Между мной и домом? — спросил притихший студент.

— Да-с. Между тобой и домом. Теперь уже пора бросить это!.. Раньше, конечно, когда любовь женщины добывали дубиной, и пищу добывали дубиной, и честь свою защищали дубиной — тогда физическая сила была хороша... А теперь, когда мы идем по гладкому тротуару, мимо целой тучи городовых, навстречу вежливо извиняющимся при невольном толчке прохожим, — кому и на что нужны твои рекорды, бицепсы и твое примитивное «да брось...».

— Да брось, — сказал Ушкуйников. — Почему же человеку и не быть сильным, если он хочет этого?

— Не надо. Устарело. Пережиток. Уродливый атавизм.

— Эммануил Кант, — прошептал Ушкуйников.

— Дурак.

— Да брось. Пойдем лучше в кабак. Чего ты так распетушился?

II

В ресторане мы выбрали в боковой комнате укромный, безлюдный уголок и уселись за столик.

— Дайте мне баранью котлетку. А ему, — усмехнулся я, указывая на Ушкуйникова, — четыре порции сосисок с капустой.

— А сколько у вас штук на порцию? — спросил с любопытством Ушкуйников.

— Четыре штуки.

— Тогда четырех порций хватит.

— Однако, — болезненно поморщился я. — Я хотел пошутить... А ты серьезно?..

— Такими вещами не шутят, — сентенциозно сказал Ушкуйников. — И дайте маленькую кружку пива за 20 копеек.

— Это самая большая, — возразил лакей.

— Ну уж и большая! Хвастаетесь. Давайте скорей! Иначе я выпью всю вашу кровь и жалкие остатки тела съем!

Он подмигнул лакею и захохотал.

Когда лакей отошел, Ушкуйников сладко потянулся, встал и заявил.

— Хорошо бы, пока подадут ужин, сыграть одну партийку на бильярде. Как движение — очень полезно!

— Играй сам свою партийку. Я не хочу.

— Да почему?

— Что в ней хорошего, в бильярдной игре? Тычут палками в какие-то шарики, а те катаются по сукну, падая изредка в узкие, неудобные для этой цели, отверстия. Очень забавно!

Эта живая, нарисованная мною картина подействовала на впечатлительного Ушкуйникова угнетающе. Он приостановился, и на его лице появилось выражение нерешительности и колебания: стоит ли действительно играть?

Но сейчас же его медленную голову осенила какая-то мысль... Он улыбнулся, погрозил мне пальцем, сказал:

— Барух Спиноза!

И ушел в бильярдную.

Я развернул газету. Погрузился в чтение.

III

— Зд...ррасссьте! Скуч...ск...учаете?..

Я поднял голову и увидел перед собой неопределенно улыбающееся лицо какого-то плотного господина, склонившегося над моим столом.

— Простите, — заявил я. — Я не имею удовольствия вас знать.

— Неужели? Оч-чень жаль. Позвольте присесть?

— Да зачем же? — возразил я.

Он придвинул стул, сел, протянул руку к моей газете и отложил ее на подоконник.

— Охота вам читать! Все равно чепуха. Ничего интересного. А я — можете представить — вдребезги!

— Что вдребезги?

— Прокутился. Даже на пиво не осталось.

— Это место занято, — сказал я, с гримасой смотря на его красные сузившиеся глазки.

— За-ня-то? — откинулся он на спинку стула. — Послушайте!.. Может, вы не рады, что я к вам сел, а?

В его заплывших глазах мелькнуло что-то такое, от чего я сделал равнодушное лицо и с легкой дрожью в голосе сказал:

— Почему же не рад? Я ничего... Я только к тому, что место занято. А то — сидите.

— Б...лагодарю вас! Спасибо. Б...лагороднейший человек!

На лице его появилось выражение нежности.

— Ни...когда не забуду! Позвольте поцеловать вас.

— Да к чему же, — насильственно засмеялся я. — Ведь мы же даже не знакомы.

— Позвольте расцеловать вас, — упрямо повторил незнакомец.

— Я... вообще... не целуюсь, — возразил я, с нетерпением поглядывая на двери, выходившие в общую ресторанную залу.

— Глупо! Ид...иотски глупо! Как так можно — не целоваться?

Он притих, потом поднял тяжелую голову и ударил сжатым кулаком по столу.

— Я трребую!

— Чего вы требуете? — с тайной злостью и нервной дрожью в голосе спросил я.

— Я вам противен? — кричал он, размахивая перед моим лицом массивными руками. — Ха-ха! Вы важный... барин? Да? Может, граф? Может, какой-нибудь князь де Черт меня побери?

Я бледно улыбнулся и, снисходительно смеясь, сказал:

— Да извольте... Если вы уж так хотите — поцелуемся.

— Снисхождение... да? Они снизошли! Ха-ха! А теперь я не желаю!.. Ага! Что, съел? Вот не желаю и не желаю.

Я сидел молча с дрожащим подбородком и больно покусывал губы. Он посмотрел на меня исподлобья.

— Обиделись? А? Неррвы... «Ах, милый Жан, — пропищал он тоненьким голоском, — у меня сегодня нервы...» Ну черт с тобой! Из-звиняюсь. Дай руку!

— Зачем вам моя рука?..

— Дай руку! — закричал он. — Раз я говорю — значит, дай!

— Чего вы ко мне пристаете? — дрожащим голосом сказал я. — Я с вами не знаком, а вы говорите мне «ты».

Он грузно встал, взял одну из моих рук и хлопнул ею по своей мясистой ладони.

— Значит, так? Решено?

Неожиданно он навалился на меня всей тушей. Спиртом несло от него невыносимо.

— Гов...вори!.. Значит, чтоб уж больше никаких? Чтобы нет и нет! И кончено! Пр...равильно?

В двух вершках от меня нависли его мутные, воспаленные глаза. Я снова усмехнулся уголками дрожащих губ и, подделываясь под его несуразно пьяный тон, сказал:

Неожиданно он навалился на меня всей тушей.

— Ну, правильно — и правильно. Хорошо. И кончено. А теперь садитесь на свое место.

— Од...дин поцелуйчик!

Я закрыл глаза и вообразил себе, что бы я сделал со своим собеседником, если бы обладал силой Ушкуйникова... Я схватил бы его за горло, вцепился бы зубами в его ухо, а когда он заревет от боли, повалил бы его на пол и стал бы бить ногами в бока и живот, в этот отвратительный толстый живот, который сейчас терся о мое лицо...

— Одно лобзание! Лобызни меня, друже!

Любитель поцелуев неожиданно отшатнулся от меня, и из-за него выглянуло улыбающееся лицо Ушкуйникова...

— Что за черт? С кем ты тут поцелуи разводишь?

Я вскочил, нервно дрожа.

— Ты его спроси, а не меня! Подходит ко мне, незнакомый, пьяный, кричит, хватает за руки, лезет целоваться...

Я думал, что Ушкуйников сейчас же взмахнет кулаком и ударит моего мучителя.

Он обернулся к нему и укоризненно сказал:

— Вы чего же это, дядя, а? К незнакомым пристаете... Выпили — и идите домой.

Пьяный нахмурился и, внезапно обернувшись, схватил Ушкуйникова за воротник.

— А ты кто здесь такой?

— Да это все равно, — усмехнулся Ушкуйников. — А только вы мне воротник поломаете так. Пустите... Шли бы вы домой.

— Ах ты, корова, — сказал пьяный. — Взять да трахнуть тебя, чтоб ты знал.

Схваченный двумя руками моего приятеля, понесся вон из комнаты.

— Совершенно это лишнее. Ну что хорошего. Вы меня поколотите, я вас. Обоим будет больно...

— Што-с?!

Я не мог сдержать себя.

— Дай ты хорошенько этому пьяному скоту по затылку... Чего ты с ним церемонишься?

Незнакомец оттолкнул Ушкуйникова и быстро обернулся ко мне.

— Ага... Вот как?

Рука его мелькнула в воздухе, натолкнулась на что-то, подставленное Ушкуйниковым, и бессильно повисла.

— Это уже не хорошо, — серьезно сказал Ушкуйников. — А я еще с вами церемонился. Вы просто глупый пьяница. Убирайтесь отсюда!

— Нет, я не пойду, — завизжал злобно и испуганно пьяный.

— Ну как же так не пойдете, — не мог сдержать улыбки Ушкуйников. — Пойти нужно. Позвольте, я вам помогу.

Он толкнул незнакомца в плечо, тот сделал пол-оборота, как на невидимой оси, и сейчас же, странным, особенным образом, схваченный двумя руками моего приятеля, — понесся вон из комнаты.

В дверях показались лакеи.

——

Нам подали ужин.

Я был бледен и задумчив, а Ушкуйников, осмотрев одобрительным взглядом сосиски и заглянув в кружку с пивом, — рассмеялся.

— А он веселый все-таки дядя. Я думаю, когда не пьян — рубаха-парень!

Я заскрипел зубами.

— Убить его надо бы, мерзавца.

— Да брось! За что?..

— Есть люди, которые не имеют права пить!

— Спенсер!

ПРАЗДНИК ЛЮБВИ

I

По обширной базарной площади, мокрой от недавнего дождя и сверкавшей от солнца, — шли, взявшись за руки, два подрядчика: Никифор Блазнов и Иван Потапыч Стечкин.

— Конечно, — говорил Никифор, — будь я барон или там герцог — тебе было бы приятнее со мной идти.

— Мила-ай ты мой, — ласково возражал разнеженный Стечкин. — Что мне барон! Что мне герцог! Главное — чтоб душа была, да чтоб человек без поступков был.

— Без поступков человека не бывает.

— Бывает. Редко, но бывает.

— Нету такого человека, чтоб был без поступков. Все с поступками!..

— Ну хорошо, родной мой. Ну — может быть, бывает. Бог с ними. Пошли им Господь Вседержитель счастья... Ничего, Никифор Васильич, что я вас под руку держу?

— Ничего. Помилуйте-с.

— Ты бы застегнул пальто, Никифор Васильич. Дует, а?

— Ничего, благодарю вас. Вы, может быть, устали, Ваня? Мне бы очень не хотелось, чтобы вы уставали...

На глазах Стечкина блеснули слезы умиления.

— Ах, что вы, Никифор. Мне даже очень приятно с вами идти.

Приятели остановились среди площади и, припав друг к другу, обменялись долгим поцелуем.

Приятели припав друг к другу, обменялись долгим поцелуем

— Смотрите, Ваня, — сказал подрядчик Никифор, указывая на деревянный балаган, обвешанный разноцветным полотном, — вот цирк. Не зайдем ли мы сюда повеселиться?

— В такой праздник не повеселиться грех. В буденный день нужно трудиться, а праздники посланы нам Господом для отдохновения.

— Что верно, то верно!

Приятели взялись за руки и подошли к кассе.

— Господин кассир! Христос Воскр... Чудеса! Кассира-то нет. Где же кассир?

— Они, может быть, внутри заняты? Пойдем внутрь, поищем...

Подрядчики вынули по трехрублевке и, держа деньги впереди себя на вытянутой руке, чтобы кто-нибудь ненароком не заподозрил в них желания повеселиться на дармовщинку, — шагнули за занавес.

Худой, костлявый человек, бормоча что-то, сидел на барьере, покрытом кумачом, и натягивал на тощие ноги темно-розовое трико.

— Актер! — благоговейно сказал Никифор. — Здравствуйте. Христос вам Воскресе. Извините, что так нахально... Нам бы кассира...

— Я кассир, — сказал худой человек и, не натянув как следует трико, побежал к кассе.

Получив билеты, подрядчики поблагодарили артиста и осведомились:

— Представление скоро?

— Да вот публика наберется — и начнем.

— А буфет тут есть? Лимонадцу бы...

— Пожалуйте!

Расторопный кассир, придерживая руками плохо натянутое трико, побежал вперед, юркнул за стойку и, взяв в руку штопор, сразу превратился в солидного буфетчика.

— Как дела? — спросил Никифор.

— Дела как будто ничего, только публики мало. Место выбрали неудачное, что ли, — уж не знаю.

— Публику зазывать надо, — посоветовал Стечкин. — Такое дело.

— Где ж тут нам разорваться, — жалобно сказал артист. — Мы только работаем вдвоем с братом, да великан, да лошадь.

— А хозяин?

— Да мы-то и хозяева. И ничего тут не поделаешь. Великан с утра лежит пьян — разговелся сильно. А брат одевается к выходу. Хучь разорвись.

Опечаленные этим меланхолическим сообщением, подрядчики вздохнули и тихо поплелись на места.

— Нет, так нельзя... — сказал вдруг Никифор, приостанавливаясь. — Этак дело и лопнуть может. Пойдем, Ваня, наружу.

Подрядчики вышли на помост, отыскали какой-то барабан, звонок и энергично принялись за дело... Барабан загудел, застонал, колокольчик залился бешеным, тонким звоном, а Ваня, у которого голос был зычный, внушительный, — сложил руки рупором и крикнул на всю площадь:

— Пож-жалте! Замечательное представление лучших магиков, комиков и солистов лучших дворов! Будет выведена настоящая живая лошадь! Поразительный великан, небывалой еще длины, исполнит разные группы!!

Заметив нескольких прохожих, остановившихся около балагана, Ваня отнял руки от отверстого рта и сказал более интимным тоном:

— Заходите, господа, — чего там. По крайней мере, коммерцию поддержите...

И, подмигнув, сообщил совсем уж конфиденциально:

— Дело-то совсем швах... Хозяин худой, в чем только душа держится. Поддержали бы ради православного праздничка.

— Заходите! — приветливо поддержал его Никифор Блазнов. — Милости прошу к нашему шалашу.

Кое-кто из публики ухмыльнулся и нерешительно взошел на ступеньки.

Ваня хватал колеблющихся за талию и деликатно подталкивал их к кассе, а Никифор, выставив голову из окошечка кассы, напустил на себя профессиональный вид и, не стесняясь отсутствием хозяина, занялся коммерческими операциями: выдавал билеты, получал деньги и быстро, привычным жестом, бросал сдачу.

...К кассе подошел хозяин в коротком поношенном пальто, из-под которого виднелись темно-розовые ноги. Нисколько не удивившись деятельности друзей, он заглянул в кассу и спросил:

— Много?

— Двенадцать сорок.

— Можно начинать. Идите на места.

II

Первый номер был такой: костлявый хозяин выкатил большой деревянный шар и вскочил на него... Но шар выскользнул из-под ног, и хозяин чуть не упал.

Длинноносый брат хозяина выглянул из-за кулис и презрительно сказал:

— Эх, ты! Растепа.

— Я тебе говорил, что не надо было мне давать натощак вина: «нет — выпей да выпей». Вот тебе и выпил, — возразил хозяин.

Он снова прыгнул на шар, но шар, как пугливая лошадь, сбросил его и отбежал в угол.

— Трудно, небось? — сочувственно спросил мастеровой с синяком под глазом.

— А ты думаешь, что, — с досадой сказал хозяин. — Попробовал бы сам!

— Да, это дело трудное, — согласилась добродушная публика, грызя семечки.

Порывистый подрядчик Никифор вскочил с места.

— Позвольте, я вам помогу!

Он перешагнул через барьер, подкатил шар и, взяв хозяина под руку, подсадил его.

— Ну, теперь держись за меня... Постой... Экий, братец, ты... Так и ушибиться легко.

Подрядчик обратил к публике сияющее, неизвестно по какой причине, лицо и снисходительно сказал:

— Выпивши они... Дело праздничное.

— Ничего, — отвечала публика. — В этакий праздник — да не выпить?

Хозяин, устоявшись на шаре, засеменил ногами, подрядчик, держа эквилибриста под руку, одобрительно покрикивал, а шарманка, руководимая длинноносым братом, залилась веселым галопом.

Все захлопали.

— Готово! — сказал подрядчик. — Отзвонил — и с колокольни долой. Следующий!

Длинноносый брат хозяина вышел из-за кулис, таща на веревке собаку.

Одет он был в ситцевый клоунский костюм, помятый цилиндр и кое-где робко присыпан мукой.

Вид его вызвал всеобщее сочувствие и жалость.

— Готово! — сказал подрядчик.

— Молоденький! — сказала старуха, утирая нос платком.

Длинноносый снял цилиндр, раскланялся и начал:

— Милосиви господа и госпожа! Я умей шрезвычайни шесть демонстровать этот четвероног, котори...

— Говори по-русски, — посоветовал Никифор.

— Ладно. Вот, братцы, собака. Замечательной работы! Стреляет из пистолета, умирает по команде и отгадывает цифры.

— Да ну? — удивились в публике.

— Ей-Богу. Вот, смотрите!

Клоун разложил на земле несколько кусков картона с цифрами, раскланялся с публикой и спустил с веревки собаку.

Собака повернулась и побежала за кулисы.

— Куда она?! — закричал клоун. — Иси сюда, проклятая! Ты чего там стоишь, разиня?.. Придержи ее!..

Костлявый хозяин поймал собаку и подтащил к своему горемычному брату.

— Иси, чтоб тебе подохнуть! А-лле! Господа, назовите какую-нибудь цифру.

— Раз, — сказал мальчишка.

— Сто семнадцать тысяч пятьсот двадцать три, — крикнул мастеровой.

— Нет, нет, чтоб одна цифра была. До десяти! В публике подсказали:

— Один! Семь! Два! Девять! Пять! Четыре! Восемь! Шесть! Три! Десять!

Собака, ободренная увесистым пинком длинноносого хозяина, взвизгнула, прыгнула и схватила цифру 6.

— Кто сказал 6? — спросил клоун.

— Я, — пролепетал гимназист, вспыхнув от гордости.

— Вот-с ваша цифра! Собака сама взяла.

Шарманка, заведование которою, по просьбе хозяина, взял на себя гимназист, заиграла, публика бешено зааплодировала.

Ободренный успехом, клоун вынес стул, на спинке которого висел пистолет с веревкой, привязанной к курку, и сказал:

— Сейчас моя собака будет стрелять. Сейчас будет японская война двух держав. Алле!

Собака забилась под стул.

— Алле!!

Ни просьбы, ни пинки, ни угрозы не могли заставить собаку вылезть из-под стула.

— Алле, мразь разнесчастная!!

— Позвольте, я выстрелю, — предложил Иван Потапыч, искренно болея душой за клоуна.

— Пожалуйста... Сделайте одолжение.

Подрядчик встал и, потянув за веревку, выстрелил из пистолета.

Ему поаплодировали.

— Трудно? — спросил гимназист.

— Нет, пустое, — скромно ответил подрядчик.

— Еще что будет? — спросил хозяина Никифор.

— Лошадь еще могу вывести, если хотите.

— Не стоит. Чего там животное зря мучить. Повеселились и баста.

— Может, шпагу проглотить? — несмело предложил хозяин.

— Еще что выдумай. Я в позапрошлом году был на Святую в балагане — так один тоже шпагу глотал. Только (покушал он плотно, что ли) возьми и затошни его, извините. Что же вы думаете? Шпагу эту аршина на три вперед выбросило. Не пасхальное это дело — шпага...

— А я тоже в Армавире видел... — сказал мастеровой...

III

Хозяева и публика уселись на барьер, на первые места и погрузились в разные интересные воспоминания. Старуха рассказала, как детей в молоке варят, чтобы они были мягче; подрядчик Ваня вспомнил случай, когда один из его рабочих поднял на спине 18 пудов.

— А у нас великан есть, — таинственно сказал длинноносый клоун. — Пьет и пьет. Так уж сложили его в уборной и не показываем публике.

— Большой? — спросил мастеровой.

— Не особенно. Так, средний. Больших-то на праздники всех разобрали, осталась только мелочь. Может, посмотрите?

Все гурьбой встали и отправились осматривать пьяного великана.

Братья оказались правы наполовину: он был скорее пьян, чем великан.

— Так в лежачем виде не видно его, — сказал подрядчик. — Его бы поставить.

— Илья! — сказал хозяин, — прислони его к стенке.

— Пошел! — закричал великан, поднимая кулак. — Тронь только, я тебе покажу, стерва!

— Ох, эти уж закулисные интриги, — вздохнул Никифор. — Чистая беда с ними. Пойдемте, господа.

Все вышли. На правах старого знакомого хозяин удержал за руку двух подрядчиков и шепнул им:

— Может, по рюмочке водки выпьете?

— Дело, паренек! Только уж мы угостим! Может, ваш братец за коньяком сбегает?

Была ночь... Маленькая керосиновая лампочка тускло освещала уборную цирка. В углу висели украшенные бумагой обручи, клоунский костюм, и лежал тот самый шар, который был укрощен хозяином лишь при помощи подрядчика. На полу, укрытые размалеванной парусиной, мирно спали четверо: два подрядчика, хозяин и его длинноносый брат. Издали, из другой уборной, доносился тоненький носовой свист великана.

Голодная лошадь отвязалась, вышла из стойла и долго бродила всюду, молчаливо отыскивая какой-нибудь пищи.

Зашла в уборную, стянула со стола соленый огурец и, разжевывая его, посмотрела на спящих.

«Хороши голубчики, — подумала она про хозяев. — И с какой только вы подозрительной компанией не свяжетесь! Сегодня напились, а завтра опять есть нечего».

ПРИЗВАНИЕ

I

Угадать призвание в человеке, направить его на настоящий путь, — что может быть прекраснее этого?

Издатель газеты «Суета сует» критически оглядел мою фигуру...

Издатель газеты «Суета сует» критически оглядел мою фигуру и сказал:

— Гм... Что же вы можете у нас делать?.. Гм... Василий Васильевич очень просил за вас, а мне хотелось бы сделать ему приятное. Знаете что? Поступайте к нам на вырезки.

— На вырезки так на вырезки, — равнодушно согласился я. — На какие вырезки?

— Это очень несложное дело. Вы берете пачку только что полученных чужих газет и начинаете проглядывать их, вырезывая ножницами самое интересное и сенсационное. Потом наклеиваете эти вырезки на бумагу и, сопроводив их соответствующими примечаниями, отсылаете в типографию. Справитесь с этим?

— Всякий дурак справился бы с этим.

— Ну, а вы?

— Тем более я справлюсь, — скромно подтвердил я.

— Ну, с Богом.

Я сел на указанное мне место и прилежно занялся своим новым делом. Я читал газеты, резал их ножницами, мазал клеем, наклеивал, приписывал и хотя устал как собака, но зато с честью выполнил свою задачу.

На другой день утром редактор подошел ко мне и решительно сказал:

— Не делайте больше вырезок!

— Почему?

— Потому что у вас получается черт знает что.

— Рассказывайте! — недоверчиво возразил я. — Приснилось это вам, что ли?

— Нет, не приснилось... Ну, посмотрите, что вы навырезывали! Ну, прочтите сами, своими глазами, что напечатано в нашей газете, благодаря вам! Можно это допустить?

Я пожал плечами и, развернув газету, просмотрел свою вчерашнюю работу.

«Обзор печати». Газета «Тамбовский голос» сообщает очень интересное сведение: «Вице-губернатор Мохначев выехал в Петербург. К сожалению, причина выезда этого администратора не указана...»

В «Калужских вестях» читаем: «Вчера его пр-во г. губернатор присутствовал на панихиде по усопшем правителе канцелярии. Вечером его пр-во отбыл в имение».

Небезынтересное для наших читателей сведение сообщает «Акмолинское эхо»: «Акмолинский архиерей собирается в поездку по епархии. Степной генерал-губернатор вчера, по недосугу, обычного приема у себя не делал. Городской голова возвращается 15-го».

«Минскому листку» удалось узнать, что «вчера предводитель дворянства праздновал обручение своей дочери с полковником Дзедушецким. Его сиятельство собирается за границу».

Я внимательно прочел все до конца и спросил редактора:

— А разве плохо?

— Не плохо, а бессмысленно. Кому интересны ваши поездки вице-губернатора, семейные радости предводителей дворянства и экскурсии архиереев. Неужели кому-нибудь из нас интересно, что акмолинский городской голова вернется 15-го. Начхать нам на него!

— Ну, вы поосторожнее... Ведь он все-таки начальство.

— Вы не годитесь для вырезок, — категорически заявил редактор. — Вы слишком раболепны.

— Ну, попробуем что-нибудь другое, — равнодушно согласился я. — В самом деле, вырезки мне не по душе. Дайте мне что-нибудь повыше.

Редактор задумался.

— У нас как раз нет заведующего театром. Хотите попробовать? Вы понимаете что-нибудь в театре?

— Что ж тут понимать? Тут и понимать-то нечего.

— Ну, попробуем вас. Займитесь пока назначением рецензентов в театры на сегодня — кому куда идти. А потом составьте хронику. Ну, с Богом.

II

Оставшись один, я первым долгом ознакомился с отделом зрелищ и после краткого раздумья решил остановиться на самом интересном:

1. Опера.
2. Симфонический концерт.
3. Борьба.

Когда я разобрал редакционные билеты, ко мне постучались.

— Войдите.

В комнату вошел один из рецензентов.

Он опрокинул попавшееся на его пути кресло, вежливо поклонился портрету Толстого и, обратившись к печке, спросил ее:

— Вы, кажется, заведуете теперь театром? Куда я сегодня должен пойти?

Сразу же я выяснил, что в словах рецензента не было никакой иронии. Просто он был преотчаянно близорук, почти слеп. Когда я окликнул его, он обернулся, наткнулся на другое кресло и, добродушно извинившись, пожал ручку этого кресла.

— Куда мне этого калеку? — пробормотал я. — Хорошие сотрудники, нечего сказать. Ну, как я пошлю его куда-нибудь в ответственное место?..

Я выбрал билет похуже и сказал:

— ...Эй, вы! Вот вам, нате билет на сегодня. Дайте отчет. Да только, смотрите, хороший!

Он взял билет и побрел обратно, натыкаясь на все стулья и путаясь ногами в ковре.

Потом зашел другой рецензент и тоже осведомился насчет вечера.

— Надеюсь, у вас зрение в порядке? — спросил я.

— Что?

— Видите-то вы хорошо?

— Что?

Я открыл рот и заревел во все горло:

— Я говорю — глаза хорошие?

Он прислушался к моему голосу и нерешительно отвечал:

— Да уж, если этот дождик зарядит, так держись.

— Какой же вы рецензент, — спросил я, — если вы глухи, как бревно? Зачем вы лезете в это дело, черт вас побери?!

— Были у меня калоши, — печально отвечал рецензент, — да их украл кто-то.

— В оперу я тебя не пошлю, — сказал я вслух, разглядывая его. — Это слишком серьезное дело. Возьми-ка, братец, этот билетик. Это не так опасно...

Он ушел с самым бессмысленным выражением лица, а я позвал третьего рецензента и спросил его:

— Глаза хорошие?

— Прекрасные.

— А уши?

— Помилуйте! Я могу расслышать топот лошади за три версты.

«Вот это настоящий! — подумал я, удовлетворенный».

— Вот что, голубчик... Берите этот билет и отправляйтесь в театр. Я вам приберег самый лучший.

Он взглянул на билет и нерешительно сказал:

— Должен вам заметить...

— Вы? Мне? Заметить? Этого только недоставало! Кто здесь заведующий? Вы или я? Это я могу вам заметить, а не вы мне. Ступайте!

III

После окончания театров, около двенадцати часов ночи, моя команда съехалась, и через час я имел уже в своих руках три добросовестных талантливых рецензии. Оригинальность замысла сквозила в каждой из них и придавала всем трем ту своеобразную прелесть, которой не найдешь и днем с огнем в других шаблонных измышлениях рецензентов.

Рецензии были таковы:

«ФРАНЦУЗСКАЯ БОРЬБА... Сегодняшняя борьба проходила под аккомпанемент духового оркестра, который, к сожалению, нас совсем не удовлетворил. Ремесленность исполнения, отсутствие властности и такта в дирижерской палочке, некоторая сбивчивость деревянных инструментов в групповых местах и упорное преобладание меди — все это показывало абсолютное неумение дирижера справиться со

своей задачей... Отсутствие воздушности, неумелая нюансировка, ломаность общей линии, прерываемой нелогичными по смыслу пьесы барабанными ударами, — это не называется серьезным отношением к музыке! Убожество репертуара сквозило в каждой исполняемой вещи... Где прекрасные шумановские откровения, где Григ, где хотя бы наш Чайковский? Разве это можно назвать репертуаром: «Китаянка» сменяется «Ой-рой», а «Ой-ра» — «Хиоватой» — и так три эти вещи — до бесконечности. И еще говорят, что серьезная музыка завоевывает себе прочное положение... Ха-ха!»

* * *

«СИМФОНИЧЕСКИЙ КОНЦЕРТ. Прекрасное помещение, в котором давался отчетный концерт, вполне удовлетворило нас. На эстраде сидела целая уйма музыкантов — я насчитал шестьдесят пять человек. Впрочем, по порядку. Ровно в девять часов вечера на эстраду вышел какой-то человек, раскланялся с публикой и, схватив палочку, стал ею размахивать. Сначала он делал это лениво, еле заметно, а потом разошелся, и палочка сверкала в его руке, как бешеная. Он изгибался, вертел во все стороны свободной рукой, вертел палочку, мотал головой и даже приплясывал. Потом, очевидно, утомился... Палочка снова лениво заколебалась, изогнутая спина выпрямилась, руки поднялись кверху — и он, усталый, положил палочку на пюпитр. Музыканты тогда занялись каждый по своему вкусу: кто натирал канифолью смычок, кто выливал из трубы слюну. Передохнув, снова принялись за прежнее. Начальник размахивал палочкой и плавно, и бешено, и еле заметно, а все не сводили с него глаз, следя внимательно за его движениями. Через некоторое время симфонический концерт был таким путем закончен, и поднялась невообразимая толкотня публики...»

Схватив палочку, стал ею размахивать

* * *

«ОПЕРА. Хорошая погода собрала массу спортсменов. Большое число записавшихся певцов делало невозможным угадывание фаворита, и первый заезд, или, как здесь говорят — акт, поэтому прошел особенно оживленно. Состязались в первом заезде: князь Игорь (камзол красный, рукава синие), княгиня Ярославна (камзол серебристый, рукава белые) и Владимир Галицкий (голубое с черным). Первой весьма заметно стала выдвигаться в дуэтах с «Игорем» «Ярославна», но на прямой «Игорь» вырвался, стал ее догонять и, к концу дуэта, оба пришли голова в голову. Приятное впечатление произвело появление настоящей лошади (гнедая кобыла зав. Битягина, от «Васьки» и «Снежинки», как нам удалось узнать, за кулисами, на подоке). Скакал на ней Игорь (камзол красный, рукава синие)...»

IV

На другое утро, когда эти оригинальные, бойкие рецензии появились в свет, редактор подошел ко мне и сказал:

— Можете больше театром не заведовать.

— Неужели нехорошо?

— Нехорошо?! Вас убить мало за такое распределение рецензентов. Вы послали симфонического рецензента на борьбу! Полуслепой человек вместо музыки должен был писать черт знает о чем!! Вы могли на борьбу послать глухого, потому что в борьбе важен не слух, а зрение... Нет! Вам понадобилось погнать его на симфонию, которую он так же слышал, как тот видел борьбу. Спортивного обозревателя вы погнали в оперу, которую он понимает не лучше конюшенного мальчика!! Ну, чего же вы молчите?

— Да как же я мог знать, кто из них куда годен!!

— Вы не знали? А я вот знаю, куда и на что вы годны!! О, я это теперь хорошо знаю!!

Внося редактору чай на подносе, я с уважением гляжу на этого человека...

— Куда? — с любопытством спросил я.

— Идите в редакционные сторожа!! Вы подобострастны, тупы и исполнительны!! Подавайте сотрудникам чай и подметайте по утрам комнаты!!

— Ну хорошо, — согласился я.

* * *

Теперь иногда, внося редактору чай на подносе, я с уважением гляжу на этого проницательного человека, вспоминаю свои неудачные шаги в оценке театральных рецензентов и думаю:

«Угадать призвание в человеке, направить его на настоящий путь, — что может быть прекраснее этого?..»

СТАРИКИ

I

Отнимите у человека его маленькие слабости — и он сделается страшен. Очистите его от грешков, ложных, наивных шагов, наивных шалостей, беспомощности и смешных глупостей. Сделайте это — и перед вами будет стоять не человек, а страшная, сверкающая сталью и добродетелью машина, около которой вы никогда не согреетесь и которая не задумается оттяпать вам руку, если вы сделаете ошибочное движение.

Мне часто хочется ласково обнять и прижать к своей груди человечество, но не все. Только ту его часть, которая пьет, лжет, развратничает, дерется в зависимости от настроения и пляшет, когда весело...

Именно ту смешную часть человечества люблю я, которая каждый день терзает себя за совершенные накануне глупости, горько рыдает, раскаивается и каждый день бесплодно мечтает «начать новую жизнь».

Милые вы мои...

* * *

Архитектор Макосов долго взбирался к себе на третий этаж. Взобравшись, открыл английским ключом парадную дверь, вошел в переднюю, а затем — не снимая пальто, фуражки и калош, — в столовую.

Остановился, прислонившись к притолоке, и тяжелым взглядом обвел стены, стол, поглядел внимательно на самовар и, нахмурившись, сказал хлопотавшему у самовара слуге Перепелицыну:

— Отчего ты, черт тебя подери, не следишь за самоваром. Почему самовар потух?

Перепелицын скорбно покачал головой и сказал:

— Да он вовсе не потух...

— Молчать! — закричал Макосов. — Если я говорю: потух — значит, потух!

— Извольте посмотреть... — мягко сказал Перепелицын.

— Ах так! Значит, я лгу! Так смотри же, собачье отродье!

Макосов схватил горячий чайник и одним духом вылил его содержимое в самоварную трубу.

— Ну? Теперь что?

— Так точно. Потух самовар.

— А я что говорил?

— Что самовар потух.

— Значит, я прав был?

— Правы. Прикажете приготовить постельку?

— Ты! Ты! Пе-ре-пе-ли-ца!! Не думаешь ли ты, старое чучело, что я пьян?

— Нет, помилуйте. Вы просто устали...

— Не-ет... Ты думаешь, что я пьян?!

— Да, ей-Богу, не думаю.

— Помолчи ты, ради Бога!

— Слушаю.

— Ну? Теперь что?
— Так точно. Потух самовар.

Макосов опустился на стул, не снимая пальто и калош, положил голову на руки и задумался.

— И это называется слуга... — обиженно прошептал он. — Какая-то жалкая пародия на человека. Нос толстый, глаза маленькие. Ты некрасив, брат Перепелицын, ты чертовский некрасив — это ясно. Ведь ты меня ненавидишь — я знаю. Думаешь: нализался барин как сапожник, ноги его не держат. Врешь ты, тварь! Я, брат, и пьяный, может быть, умнее тебя, трезвого. Почему? Тебе это, конечно, любопытно знать? А? Любопытно? Отвечай, Перепелицын!! Любопытно?

— Любопытно, — со вздохом отвечал Перепелицын.

— Оттого, — поднимая голову и торжественно в такт размахивая рукою, сказал архитектор, — что ты мужик, хам, а я барин, братец! Господин! Homo sapiens!!![1] Ага?

— Так точно. Но только теперь, скажу я вам, господа еще спят. Девять часов утра. Я бы постельку сейчас...

— Молчи! Ты мне противен со своей примитивной хитростью дикаря. Я тебя, братец, насквозь вижу. Тебе неприятно, что барин твой говорит тебе тя-

[1] Человек разумный (*лат.*).

желые истины прямо в лицо, и ты мечтаешь о том, чтобы сплавить меня спать. Ага?!

— Да по мне — хоть здесь сидите, — добродушно улыбнулся Перепелицын. — Может, чайку налить?

— Протрезвить хочешь? Хам ты, старик. Форменный мужлан. Никакой в тебе деликатности. Отвечай мне откровенно: думаешь ли ты, что я пьян?

— Вы не пьяны, а только вы устали, — деликатно сказал Перепелицын.

— Так-с... Значит, я, по-твоему, трезвый? А почему я шатаюсь? Почему от меня вином пахнет? Ты это все прекрасно видишь! И ты лжешь... Лжешь своему господину, которого должен любить и почитать пуще отца. Ага! Да ты знаешь, я, может, из-за тебя и пьян. Ей-Богу. Как слуга — ты ниже всякой критики. Гм... Да. Пусть моя кровь падет на твою голову.

Значит, я, по-твоему, трезвый?

Перепелицын молчал. Глаза его покорно и печально смотрели в угол, а руки машинально в десятый раз перетирали чистые стаканы.

— Слуга... тоже! Должен бы, кажется, понимать, что ты черная кость, а я белая кость. Где же уважение? Где почтение перед высшим интеллектом. Ты меня как называешь? Павлом Егорычем? А надо говорить: ваше высокоблагородие!

— Хорошо, — сказал Перепелицын. — Теперь буду вас так звать. Может, скушаете что-нибудь?

— Убирайся! Отстань. Не люблю я тебя, знаешь ли? В тебе нет грации, нет манер, говоришь ты ужасно... А фамилия... Ха-ха-ха! Пере-пели-цын! Это, знаешь, от какого слова? Думаешь, от слова перепел? как бы не так... Дудочки-с! От слова «пе-репиться». Твой предок, вероятно, был пьяница, перепился однажды — так его и назвали.

— У кого разговлялись? — спросил Перепелицын, неуклюже переводя разговор. — У Ишимовых?

— Да-а, брат... Там разговлялся, где тебя, черта лысого, не пустят. Ты не воображай о себе много. Другой бы взял барина, отвел бы в кровать, а ты... Господи! И выдумает же Господь такую чудовищную физиономию... Ни грации, ни манер.

— Действительно, где мне... Разве ж я не понимаю?.. Эх, Господи! Так, как же... спать... пожалуете?

Перепелицын взял архитектора под локоть и отвел бережно в спальню.

II

Спал Макосов до самого вечера. Хмель его прошел, в голове ощущалась неприятная тяжесть и шум, а в сердце ныла тихая весенняя беспричинная тоска.

Макосов надел халат и вышел в столовую. За столом сидел Перепелицын.

...Сидел, опустив голову, около опорожненной наполовину бутылки водки. О чем-то сосредоточенно думал.

— Здравствуй, Перепелицын, — мягко сказал Макосов, делая вид, что не замечает водки и раскрошенного по всему столу кулича. — Здравствуй... Ну что, брат, разговелся?

Перепелицын молчал, повеся голову. Потом скорбно улыбнулся и проворчал:

— У других, как у людей... Ежели светлый праздник, то господа со слугами христосуются, а у нас, видите ли, не до того. Некогда. А какое-такое занятие? Лишь бы нос задрать повыше.

— Бог с тобой, Перепелицын, — улыбнулся Макосов. — Я с удовольствием с тобой похристосуюсь, поцелуюсь.

— Снизошли? — захохотал Перепелицын. — Жалуете поцелуй со своего барского плеча? Не надо мне ваших поцелуев.

— Ты... на меня сердишься?..

— Я? На вас?

В тоне Перепелицына было много самого ужасного, самого ядовитого презрения.

— Разве я имею право сердиться на вас? Ведь я ваш раб, вы купили меня и можете делать со мной, что хотите. «Высокоблагородие»... Вы можете сейчас даже голову мне отрезать — ничего вам никто за это не скажет.

Архитектор молчал, искренно огорченный, обиженный словами Перепелицына.

— А, спрашивается, чем вы лучше меня? Тем, что вы архитектор? Накупит только разных линеечек, циркулей да красок — и малюй себе на здоровье. Денег только нет — вот беда. А заставь вас делать то, что я делаю, да вы и повернуться не сумеете. Вы... (Перепелицын облил Макосова презрительным взглядом) даже самовара не поставите! Ха-ха! Нет-с. Не сумеете.

— Если ты хочешь, Перепелицын, чаю, — я могу поставить самовар. Я сумею...

— Сидите уж лучше! Ба-арин... Почему белая кость? Кто ее смотрел? А может, и у меня белая? Только людей морочат.

Макосов сидел понурившись, сгребал пальцем со стола крошки кулича и ел их.

Перепелицын сделал долгую, тяжелую паузу.

— Конечно, я вам служить обязан, потому что вы мне платите деньги, но уважать вас — за что это? Да разве уважение на деньги берется? Не-ет, миленький. Уважение не такая музыка. Ха! Белая кость... Вот ежели человек сделает какую-нибудь такую штуку — велосипед там какой-нибудь смешной выдумает или песни играет хорошо — я его уважу. А так — что? Наш брат рабочий майстровой человек и фундамент выкопает, и камни сложит, и крышей покроет, а потом говорят: «Кто строил дом?» — «Архитектор Макосов». — «Да не может быть?» — «Так точно».

— Ты не понимаешь, Перепелицын... Ведь я план делаю, всю постройку выдумываю, — я ведь учился для этого сколько...

Перепелицын сардонически улыбнулся.

— А косить умеете?

— Косить не умею.

— Вот вам и план. Без вашего-то плана проживут, а без хлеба у человека брюхо вспухнет, почернеет он и помрет. Нет уж, что там разговаривать.

— Если ты хочешь спать, Перепелицын, — иди. Я сам оденусь. Мне еще в клуб надо.

Перепелицын сжал руками голову и, нахмурившись, долго думал, чем бы еще уязвить архитектора.

— Как ваша фамилия? — спросил он, вскидывая глаза.

Макосов кротко улыбнулся.

— Ты же знаешь, вот чудак!

— Ну? Как?

— Макосов.

— Так... значит, ваши родители макосы были!

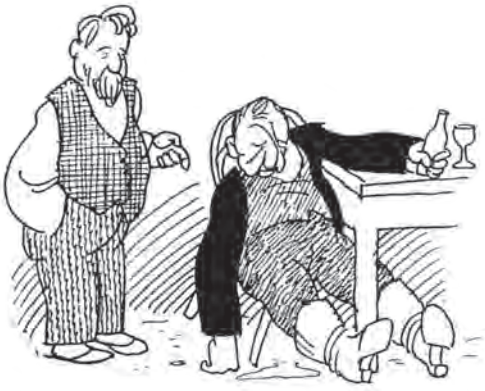
— Что такое — макосы?

Перепелицын захохотал.

— Такие бывают... Макосы. Даром не назовут. Значит, было за что.

— Ты, голубчик, говоришь вздор.

— Конечно. Где же мне... Черная кость! А как сапоги починить или за газетами сбегать — тогда не черная кость?.. Тогда Перепелицын? Если у вас есть имя «высокоблагородие», то и у меня есть не хуже — Иван Захарыч! Вот что-с! Потрудитесь на будущее время называть меня Иван Захарыч.



— Так... значит, ваши родители макосы были!

— Хорошо. Ну, прощай, брат Иван Захарыч. Пойду одеваться.

— Конечно! В деревне люди от голоду дохнут, а они по клубам в карты-марты разыгрывают. Нешто вам есть до чего-нибудь дело?..

* * *

Утром на другой день солнце целым каскадом света ворвалось через полуопущенную штору в окно спальни и разбудило архитектора.

Архитектор поморщился, потянулся и позвонил.

Вошел Перепелицын, сосредоточенный, с поджатыми губами, и остановился у кровати.

— Здравствуй, Перепелицын.

— Доброго здоровья, барин.

— Газеты купил?

— Так точно, купил.

— Какова погода, Перепелицын?

— Погода хороша, Павел Егорыч.

— А у меня чего-то голова болит, Перепелицын.

— У меня тоже, Павел Егорыч, побаливает.

— С чего бы это, Перепелицын?

— Надо думать, ревматизм. Старость подходит, Павел Егорыч.

— Ну ладно, голубчик Перепелицын. Самовар готов?

— Как же-с. Кипит... Кушайте на доброе здоровье!

Солнце брызнуло в красный ковер на стене и рассыпалось золотыми маками.

СПб., М. Г. Корнфельд, 1912. Ил. Реми, А. Радакова и др.

ЧТО ИМ НУЖНО

I

Надгробный памятник напоминает мне пресс-папье на столе делового человека. Такое пресс-папье служит для удерживания бумаг на одном месте. Мне кажется, что и первоначальная идея надгробного памятника заключалась в том, чтобы хорошенько придавить сверху беззащитного покойника и тем лишить его возможности выползать иногда из могилы, беспокоя близких друзей своими необоснованными визитами.

Поэтому, вероятно, постановка над трупом предохранительного пресс-папье — всегда дело рук близких друзей.

Я противник надгробных памятников, но если один из них когда-нибудь по настоянию моих друзей придавит меня — я не хотел бы, чтобы на нем красовались какие-либо пышные надписи, вроде: «Он умер, но он живет в сердцах», «Хватит ли океана слез, чтобы оплакать тебя?», «Бодрствуй там!», «Жил героем, умер мучеником»...

Я не хочу таких надписей.

Пусть на моем памятнике высекут четыре слова:

«Здесь лежит деликатный человек».

* * *

Злое чувство к той женщине, которую я любил, зародилось во мне таким образом: мы сидели с ней в гостиной, она рисовала карандашом в альбоме домик, в трубу которого кто-то, вероятно, с целью откупорить это странное здание, ввинтил штопор. На мой рассеянный вопрос о цели штопора художница ответила «дым» и немедленно пририсовала к домику поставленную на земле гребенку зубьями вверх.

Я сидел и думал: завтра нужно идти в театр, а моя горничная едва ли догадалась отдать в стирку белый жилет.

— О чем вы думаете? — спросила, глядя вдаль загадочным взором, хозяйка.

— Я? Так, знаете... Взгрустнулось что-то.

— Да... Я в последнее время замечаю, что вам как-то не по себе.

Это было верно. Третьего дня меня весь вечер терзало сомнение — запер ли я на ключ входную дверь моей квартиры, а вчера я получил письмо от отца с кратким уведомлением, что «такие ослы, как я, не могут рассчитывать на получение от него денежных сумм».

— Что же с вами такое?

— Так, знаете... Есть вещи, в которых не признаешься и близкому другу.

— Вы, может быть, влюблены?

— Ох, не будем об этом говорить...

— Да? По глазам вижу, угадала. А она... Отвечает она вам тем же?

— Не знаю... — рассеянно вздохнул я.

— Отчего же вы ее не спросите?

— Кого?

— Да эту женщину.

— Какую?

— В которую вы влюблены.

— Почему не спрошу?

— Да.

— Неловко...

Она нервно отвернулась от меня и взялась за карандаш, а я погрузился в размышления: если жилет был надет один раз — может он считаться свежим или нет?

Сзади шею мою обвили две ласковые теплые руки, и дрожащий голос хозяйки прошептал:

— Если ты, дурачок, не решаешься ее спросить, она тебе сама скажет: «Люблю!»

Если ты, дурачок, не решаешься ее спросить, она тебе сама скажет: «Люблю!

Первым моим побуждением было — подавить крик удивления и испуга... Я встал с кресла, обнял талию хозяйки и вежливо вскричал:

— Милая! Какое счастье!.. Наконец-то...

«Ничего, — подумал я, — теперь не люблю — после полюблю. Как говорится, стерпится-слюбится. Она, в сущности, хорошенькая».

Со своей стороны она тоже взяла мою голову и крепко прижала к своей груди, на которой красовалась брошка — выложенное рубинами ее имя «Наташа». Рубины впились в мою щеку и выдавили на ней странное слово «ашатан».

«Ну, — подумал я, — кончено! На мне оттиснут даже ее торговый знак, ее фабричная марка. Я принадлежу ей — это ясно».

II

Недавно Наташа сказала мне:

— А сегодня ко мне заезжал офицер Каракалов, мой старый знакомый.

— Ну, — сказал я. — Симпатичный?

— Очень.

— Да... Между офицерами иногда встречаются чрезвычайно симпатичные люди.

Мы помолчали.

— Он, кажется, до сих пор влюблен в меня.

— Да? Ну а ты что же?

— Я к нему раньше тоже была неравнодушна. Он такой жгучий брюнет.

— Вот как, — рассеянно сказал я. — Иногда, действительно, эти брюнеты бывают... очень хорошие. Ты скоро начнешь одеваться? Через час уже начало концерта.

Она заплакала.

— Что ты? Милая! Что с тобой?..

— Ты меня не любишь... Другой бы уж давно приревновал, сцену устроил, а ты, как колода, все выслушал... Сидишь, мямлишь... Нет, ты меня... не любишь!

— Честное слово, люблю! — сконфуженно возразил я. — Чего там, в самом деле. Право же, люблю.

— Человек... который... любит... Он слышать равнодушно не может... если его любовница... обратила внимание на другого мужчину...

— Милая! Да мне тяжело и было. Ей-Богу... Я только молчал... А на самом деле мне было чрезвычайно тяжело.

Когда мы ехали в концерт, я был задумчив.

Раздеваясь у вешалки, я обратил внимание на легкий поклон, сделанный Наташей какому-то рыжеусому толстяку.

— Кто это? — спросил я.

— Это наш домовладелец. Я у него снимаю квартиру.

— Сударыня, — угрюмо сказал я. — Чтобы этого больше не было!

Она удивилась.

— Чего-о?

— Чего? У, подлая тварь! Я видел, как ты на него посмотрела... Это, наверное, твой любовник!

— Да нет же! Дорогой мой... Я этого толстяка едва знаю. Мы с ним раза два всего и беседовали по поводу ремонта.

— Ремонта? У-у, змея? Ремонта? Я бы тебя задушил своими руками. Мне говоришь, что любишь только меня, а в то же время...

Ее глаза засияли восторгом, и лицо просветлело.

— Милый мой, сокровище! Ты меня ревнуешь? Значит, любишь?..

— Я вас теперь ненавижу. А этому субъекту, если я его встречу, я дам такую пощечину, что он узнает, где раки зимуют. Я вам покажу себя.

Отделавшись от этой обязанности, я взял Наташу под руку, и мы вошли в зал.

Не успели мы сесть, как я стал выказывать все признаки беспокойства: вертел головой, ерзал на месте и злобно шипел.

— Что с тобой, дружочек?

— Я этого не допущу-с! Вот тот молодец в смокинге очень внимательно на тебя посматривает.

— Ну, Бог с ним! Какое нам до него дело...

— Да-с? «Бог с ним?» Усыпить мою бдительность хотите? Успокоить дурака, а потом за его спиной надувать его. Благодарю вас. Я не желаю носить этих украшений, которые...

— Но уверяю тебя, милый, что я даже не знаю, о ком ты говоришь.

Я саркастически засмеялся.

— Не знает? А сама уже, наверное, ему записочку приготовила.

— Какую записочку, что ты, мое солнце! На, посмотри, у меня руки пустые...

— Ты ее в чулок спрятала!

— Да когда бы я ее написала?

— Когда с тебя снимали ротонду. Тебе это даром не пройдет!

— Милый! Милый!

И опять лицо ее сияло гордостью и восторгом.

Ты ее в чулок спрятала!

III

...Мы гуляли по парку. Наташа бросила на меня косой взгляд и сказала с деланным равнодушием:

— А я сегодня утром по Набережной каталась.

— Одна?

— Не одна.

— А с кем?

— Да зачем тебе это?

— Отвечай! — скучающим голосом крикнул я. — Я хочу это знать!

— Не скажу, — засмеялась Наташа. — Ты разозлишься.

— Ах, так? — вскричал я, скрежеща зубами. — У-у, гадина! Так я знаю: ты каталась с новым любовником.

Скрытая усмешка промелькнула в Наташиных глазах.

— Ну уж, ты скажешь тоже — любовник. Если мы с ним, с этим художником, несколько раз поцеловались...

— А-а! — взревел я раскатами громогласного вопля, будя свое равнодушие и врожденную кротость. — Ты осмелилась? Негодная! Хорошо же!.. Если я еще раз увижу тебя не одну я знаю, что сделаю!

— А что, что, что? — дрожа от лихорадочного любопытства, крикнула Наташа.

— Я сейчас же повернусь и уйду от тебя. Больше ты меня не увидишь..

Наташа опустилась на скамью и заплакала.

— Голубка моя! Наташа?.. Что с тобой? Почему?

— Ты... меня... не любишь, — заливаясь слезами, прошептала Наташа. — Другой за такую ужасную вещь избил бы меня, поколотил, а ты покричал, покричал, да и успокоился...

— Дорогая моя! Как же так можно бить женщину?

— Можно! Можно! Можно! Есть случаи, когда любящий человек себя не помнит.

Я пожалел, что в этот момент не было такого случая, который лишил бы меня памяти и рассудка...

— Конечно, — колеблясь, возразил я, — бывают и у меня такие случаи, когда я себя не помню, но дело в том, что теперь я сразу догадался...

— О чем? — улыбаясь сквозь слезы, спросила она.

— Что история с художником выдумана тобой, что ты просто хочешь меня подразнить.

— Нет, не выдумана. Вот каталась с ним — и каталась. Целовались — и целовались!

— А-а, — бешено вскричал я, хватая ее за руку с таким расчетом, чтобы не сделать синяка. — Это правда?! Так вот же тебе!

Я осторожно схватил ее за горло и, выбрав место, где трава росла гуще, бросил ее на землю.

Лежа на боку, она смотрела на меня взглядом, в котором сквозь слезы светилась затаенная радость.

— Ты... меня... бьешь?

— Молчи, жалкая распутница! Или я задушу тебя!!

Я опустился около нее на колени и, обняв ее шею пальцами, слегка сжал их.

«Надо бы ударить ее, — подумал я, — но в какое место?»

Вся она казалась такой нежной, хрупкой, что даже легкий удар мог причинить ей серьезный ущерб.

— Вот тебе! Вот, змея подколодная!

Один удар пришелся ей по руке, другой по траве...

Наташа сидела на земле и плакала радостными слезами.

— Ты меня... серьезно... поколотил?

— Конечно, серьезно. Я чуть не убил тебя.

Она встала, оправила платье и сказала с хитрой усмешкой:

— Ты ничего не будешь иметь против, если ко мне сегодня вечером приедет Каракалов?

Я ленивым движением схватил ее за руку, бросил на землю и с искусством опытного оператора ударил два раза по спине и раз по щеке.

— Чуть не убил тебя. Ну, вставай. Пойдем домой — делается сыро.

* * *

В последнее время у нас с Наташей происходят страшные сцены, что иногда вызывает даже вмешательство соседей.

Мы возвращаемся из театра или с прогулки; я, не успев раздеться, бросаю Наташу на ковер, душу ее подушкой или колочу из всей силы по спине с таким расчетом, чтобы не переломать ей позвонков. Она кричит, молит о пощаде, клянется, что она не виновата, и на этот шум сбегаются соседи.

— С ума вы сошли, — говорят они в ужасе. — Вы не интеллигентный человек, а бешеный зверь.

* * *

Так и будет стоять на памятнике:

«Здесь лежит деликатный человек».

ДЕТВОРА

Существует такая рубрика шуток и острот, которая занимает очень видное место на страницах юмористических журналов, — рубрика, без которой не обходится ни один самый маленький юмористический отдел в газете.

Рубрика эта — «наши дети».

Соль острот «наши дети» всегда в том, что вот, дескать, какие ужасные пошли нынче дети, как мир изменился и как ребята делаются постепенно невыносимыми, ставя своих родителей и знакомых в ужасное положение.

Обыкновенно, остроты «наши дети» фабрикуются по одному и тому же методу:

— Бабушка, ты видела Лысую гору?

— Нет, милый.

— А как же папа говорил вчера, ты сущая ведьма?

Или:

— Володя, поцелуй маму, — говорит папа. — Поблагодари её за обед.

— А почему, — говорит Володя, — вчера дядя Гриша целовал в будуаре маму перед обедом?

Или совсем просто:

— Дядя, ты лысый дурак?

— Что ты, Лизочка!

— Ну да, мама. Ты же сама вчера сказала папе, что дядя — лысый дурак.

Бывают сюжеты настолько затасканные, что они уже перестают быть затасканными, перестают быть «дурным тоном литературы». Таков сюжет «наши дети».

Поэтому я и хочу рассказать сейчас историю о «наших детях».

* * *

От праздничных расходов, от покупок разных гусей, сапог, сардин, нового самовара, икры и браслетки для жены у чиновника Плешихина осталось немного денег.

Он остановился у витрины игрушечного магазина и, разглядывая игрушки, подумал:

«Куплю-ка я что-нибудь особенное своему Ваньке. Этакое что-нибудь с заводом и пружиной!»

Зашёл в магазин.

— Дайте что-нибудь этакое для мальчишки восьми-девяти лет!

Когда ему показали несколько игрушек, он пришёл в восторг от искусно сделанного жокея на собаке: собака перебирала ногами, а жокей качался взад и вперёд и натягивал вожжи, как живой. Долго смотрел на него Плешихин, смеялся, удивлялся и просил завести снова и снова.

Возвращаясь, ног под собой не чувствовал от радости, что напал на такую прекрасную вещь.

Дома, раздевшись и проходя мимо детской, услышал голоса. Приостановился...

— О чём они там совещаются? Мечтают, наверное, ангелочки, о сюрпризах, гадают, кому какие достанутся подарки... Обуреваемы любопытством — будет ли ёлка... О, золотое детство!

Разговаривали трое: Ванька, Вова и Лидочка.

— Я всё-таки, — говорил Ванька, — стою за то, чтобы их не огорчать. Ёлку хотят устроить? Пусть! Картонажами её увешать хотят — пусть забавляются. Но я ду-

Когда ему показали несколько игрушек, он пришёл в восторг от искусно сделанного жокея на собаке...

маю, что с нашей стороны требуется всё-таки самая простая деликатность: мы должны сделать вид, что нам это нравится, что нам весело, что мы в восторге. Ну... можно даже попрыгать вокруг ёлки и съесть пару леденцов.

— А по-моему, просто, — сказал прямолинейный Вова, — нужно выразить настоящее отношение к этой пошлейшей ёлке и ко всему тому, что отдает сюсюканьем и благоглупостями наших родителей. К чему это? Раз это тоска...

— Милый мой! Ты забываешь о традиции. Тебе-то легко сказать, а отец, может быть, из-за этого целую ночь спать не будет, он с детства привык к этому, без этого ему Рождество не в Рождество. Зачем же без толку огорчать старика...

— И смешно, и противно, — усмехнулся Вова, — как это они нынче устраивали ёлку: заперлись в гостиной, клеют какие-то картонажи, фонарики. Зачем? Что такое! Когда я, нарочно, спросил, что там делается, тетя Нина ответила: «Там маме шьют новое платье!..» Секрет полишинели!..

Все засмеялись.

— Братцы! — умоляюще сказал добросердечный Ванька. — Во всяком случае, ради Бога, не показывайте вида. Вы смотрите-ка, как я себя буду вести — без неумеренных восторгов, без переигрывания, но просто сделаю вид, что я умилён, что у меня блестят глазки и сердце бьется от восторга. Сделайте это и вы: порадуем стариков.

Плешихин открыл дверь и вошел в детскую, сделав вид, что он ничего не слышал.

— Здравствуйте, детки! Ваня, погляди-ка, какой я тебе подарочек принес! С ума сойти можно!

Он развернул бумагу и пустил в ход жокея верхом на собаке.

— Очень мило! — сказал Ваня, захлопав в ладоши.— Как живой! Спасибо, папочка.

— Тебе это нравится?

— Конечно! Почему же бы этой игрушке мне не нравиться? Сработана на диво, в замысле и механике много остроумия, выдумки. Очень, очень мило.

— Ваничка!

— Что такое?

— Милый мой! Ну, я тебя люблю — ну, будь же и ты со мной откровенен... Скажи мне, как ты находишь эту игрушку и почему у тебя такой странный тон?

Ванька смущённо опустил голову.

— Видишь ли, папа... Если ты позволишь мне быть откровенным, я должен сказать тебе: ты совершенно не знаешь психологии ребенка, его вкусов и влечений (о, конечно, я не о себе говорю и не о Вове — о присутствующих не говорят). По-моему, ребенку нужна игрушка примитивная, какой-нибудь обрубок или тряпичная кукла, без носа и без глаз, потому что ребёнок большой фантазёр и любит иметь работу для своей фантазии, наделяя куклу всеми качествами, которые ему придут в голову; а там, где за него всё уже представлено мастером, договорено механиком, — там уму его и фантазии работать не над чем.

Взрослые всё время упускают это из вида и, даря детям игрушки, восхищаются ими больше сами, потому что фантазия их суше, изощрённее и может питаться только чем-то, доходящим до полной иллюзии природы, мастерской подделки под эту природу.

Понурив голову, молча, слушал сына чиновник Плешихин.

— Так... Та-ак! И ёлка, значит, как ты говорил давеча, тоже традиция, которая нужнее взрослым, чем ребятам?

— Ах, ты слышал?.. Ну, что же делать?.. Во всяком случае, мы настолько деликатны, что ни за что не дали бы вам почувствовать той пошлой фальши и того вашего смешного положения, которые для постороннего ума так заметны...

Чиновник Плешихин прошёлся по комнате раза три, задумавшись.

Потом круто повернулся к сыну и сказал:

— Раздевайся! Сейчас сечь тебя буду.

На губах Ваньки промелькнула страдальческая гримаса.

— Пожалуйста! На твоей стороне сила — я знаю! И я понимаю, что то, что ты хочешь сделать, — нужнее и важнее не для меня, а, главным образом, для тебя. Не буду, конечно, говорить о дикости, о некультурности и скудности такого аргумента при споре, как сечение, драка... Это общее место. И если хочешь — я даже тебя понимаю и оправдываю... Ты устал, заработался, измотался, истратился, у тебя настроение подавленное, сердитое, скверное... Нужно на ком-нибудь сорвать злость — на мне или на другом — всё равно! Ну что ж, раз мне выпало на долю стать объектом твоего дурного настроения — я покоряюсь и, добавлю, даже не сержусь. «Понять, — сказал философ, — значит, простить».

Старик Плешихин неожиданно вскочил со стула, махнул рукой, снял пиджак, жилет и лёг на ковер.

— Что с тобой, папа? Что ты делаешь?

— Секи ты меня; что уж там! — сказал чиновник Плешихин и тихо заплакал.

Во имя правды, во имя логики, во имя любви к детям автор принужден заявить, что всё рассказанное — ни более ни менее, как сонное видение чиновника Плешихина...

Заснул чиновник — и пригрезилось.

И, однако, сердце сжимается, когда подумаешь, что дети наших детей, шагая в уровень с веком, уже будут такими, должны быть такими — как умные детишки отсталого чиновника...

Пошли, Господь, всем нам смерть за пять минут до этого.

РОМАН ДВУХ ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ

На свете можно встретить много несообразностей, но одна из величайших несообразностей — это способ писателей всего мира сочинять романы.

Самые знаменитые романисты не могли уберечься от того, чтобы не попасть впросак самым позорным образом.

Иной такой господинчик сидит-сидит, пишет-пишет, и, наконец, вздохнув с облегчением, выводит крупными буквами:

— Эпилог.

Знаете ли, чем он заканчивает роман?

«Наконец-то, после долгих несчастий и злоключений, эта влюбленная парочка соединилась. Закончим же наш роман немногими словами: свадьба происходила в скромной деревенской церковке; венчал старый священник с дребезжащим голосом — после чего молодожены уехали за границу».

«Закончим же наш роман»... О, Боже ты мой! Да ведь с этого начинать роман нужно.

Скромная церковка и дребезжащий священник — это пролог, а не эпилог.

Подумаешь, большая важность, что девушка до свадьбы претерпела много злоключений (корыстолюбивый опекун заточил ее в свой мрачный дом на краю города, откуда отважный жених выкрал заключенную и, переодев в мужское платье, увез к своему другу, жена которого, будучи тайно влюблена в отважного молодого человека, пыталась отравить невестку, но по ошибке яд выпил муж и т. д.). Это не роман. Настоящий роман всегда должен начаться после свадьбы.

Когда я захлопывал книгу, дойдя до заключительного венчанья в деревенской церковке при помощи дребезжащего священника — тут-то моя голова и начинала работать.

Как они поехали за границу? Что с ними было через год? Не было ли так, что отважный молодой человек, вступив во второй год супружества, таскал по кабинету за волосы предмет своих былых стремлений, а она, бедняжка, уже два раза навещала квартиру молодого графа, прожигателя жизни, с которым познакомилась тайком от мужа...

Может быть, через три месяца после свадьбы он говорил с еле скрываемым отвращением:

— Послушай, если ты будешь целовать в морду свою паршивую собачонку, я вышвырну ее за окно.

— Да? А то, что ты по целым дням сосешь свои зловонные сигары — это ничего? Я думала, что люблю человека, а не дымовую трубу!

— Сигара не собака — от нее не заразишься какой-нибудь накожной болезнью.

— А зато от моей собаки не идет дым и не отравляет моих легких, которые и так, кажется, не особенно крепки.

— Подумаешь, страдалица какая! Умирающая Травиата.

— А ты дымишь и остришь одинаково — как самоварная труба... и т. д.

Наивные романисты забывают, что они описывают жизнь своих героев только на протяжении двух — много трех — лет, — именно, те годы, когда характер еще не сложился.

Характер же не сложился потому, что героям некогда — они, как сумасшедшие, носятся друг за другом на протяжении десятков и сотен страниц.

Три года молодого, доверчивого человека и наивной пылкой влюбленной в мечту дурочки — какой это пустяк в сравнении с долгими годами последующей жизни, десятками лет, громадным необозримым полем...

Пусть брак счастливых любовников — это фундамент их будущей жизни; но надо войти в положение читателя: бредет он по городу, и видит — рабочие в яме возятся, фундамент кладут. Ясно — дом строят. Но что будет в этом доме? Поглазев на работу и отойдя к своим делам, читатель никогда этого не узнает, что это за дом? Касса ссуд, сиропитательный приют, полицейский участок или притон разврата?

* * *

Такое большое предисловие мне понадобилось для маленького диалога, который без вышенаписанного, может быть, показался бы читателю чудовищным, невероятным, лживым.

Дело в том, что мне посчастливилось присутствовать при возникновении, развитии и конце романа между двумя моими друзьями — Синицыным и Картошевской — женой одного писателя.

Конечно, другой менее ленивый человек, чем я, сделал бы из нижеприведенного очень недурной толстый роман. А я ограничиваюсь тем, что из этого воображаемого романа выбираю всего несколько фраз, связанных героями моего рассказа на протяжении года.

Может быть, было бы лучше каждый отрывок этого диалога, пометить числом, месяцем и выделить в отдельную главу; но я, по присущей мне безалаберности, сваливаю все в одну кучу, сохранив только хронологическую постепенность.

Вот что слышал я на протяжении года:

— ...Нас сейчас познакомили, но я, простите, не расслышала вашей фамилии.

— Синицын, Андрей Николаевич.

— Спасибо. А я Картошевская, Евгения Евгеньевна.

— ...Опять я вас встречаю, Евгения Евгеньевна. Здравствуйте! Я вас очень рад видеть.

— Серьезно? Это не фраза? Почему вы меня рады видеть?

— Тот разговор, который мы вели в день первого знакомства, произвел на меня очень сильное впечатление.

— Однако вы со мной тогда спорили. За это вам ничего бы не стоило говорить, ну, да Бог с вами — я тоже очень рада, очень рада видеть вас.

— Очень?

— О-чень!

— ...Знаете, что? Вы не примете моих слов в дурную сторону? Который это раз мы сегодня с вами встречаемся?

— Четвертый.

— О, Боже! А я думала, что мы уже давно-давно знакомы... Так вот что: нам лучше не встречаться!

— Но это невозможно! Я никогда не соглашусь на это.

— И тем не менее, это необходимо. Так будет лучше для вас и... для меня!

— Но я сойду с ума! Евгения...

— Тссс! Прощайте. Поцелуйте руку — и конец. Сюда идут. Прощайте.

— ...Наконец-то ты пришла!. Разве можно запаздывать на целых восемь минут!

— Но я боялась войти... Мне казалось, что около твоих дверей ходит кто-то похожий на моего мужа.

— Сокровище мое! Снимай скорее шляпу и рассказывай, что делала вчера?

— Были на вечере у Бремерова.

— Кто был из мужчин?

— Кто? Гм... Ха-ха-ха! Ты можешь представить — я ведь не помню! Так это меня интересует, что я даже не запомнила.

— А о ком же ты думала?

— О ко-о-ом? Догадайся.

— Моя бесценная! За... знаешь, когда ты меня целуешь — сердце мое обливается теплой кровью, и я лечу в какую-то глубокую, преглубокую, сладкую пропасть.

— Смотри-ка! Я тебе, кажется, поцеловала руку! Никому из мужчин я этого не могла бы сделать.

— А я... мне хочется сейчас умереть.

— Живи!!!

— ...Ну как живешь, мой Андрей Первозванный?

— Был вчера на вечере у Бремерова.

— Кто был из знакомых?

— Кто? Гм... Если не ошибаюсь, Мохначева, Петкевичи...

— Ха-ха-ха!!.. Ох, не могу!

— Что такое?

— Моя радость, ведь Мохначева была у нас, а Петкевичи уже месяц, как за границей.

— Да? Ну, черт с ними. Я, признаться, ходил, как помешанный. Подумай — ты не была у меня целых 26 часов.

— ...Милая! Почему это ты вздохнула?

— Ах, знаешь! Я боюсь тебя потерять.

— Почему? Разве я давал повод?

— Нет... но когда ты целовал вчера Мохначевой руку, я чуть не упала в обморок... Что это за дурацкий обычай — целование рук!

— Однако, ведь тебе же целуют руки!

— Да, но это принято.

— ...Женя! Ты опять вздыхаешь? Почему?

— Почему? Эта Мохначева... опять...

— Женя, стыдись! Официальный поцелуй руки...

— Я не о поцелуе говорю; но ты вчера с ней говорил минут восемь...

— Ах, но не виноват же я, что она завела длиннейший разговор о своей коллекции вышивок.

— Скажи, у тебя с ней нет... связи?

— Боже... каки-и-е мы глу-у-упенькие...

— ...Послушай, Женя! Я должен с тобой серьезно поговорить. Может быть, для тебя это незаметно, но я видел, как ты за за ужином определенно кокетничала с Бремеровым.

— Я? Кокетничала? Ну, знаешь, во всяком случае, я по три раза рук ему при прощаньи не целовала и зацепившуюся за кресло юбку не отцепляла.

— Вероятно, потому, что у него нет юбки.

— Не остри! Шуточкой легко отделаться. Знай, что если ты не оставишь эту тварь...

— Женя!

— Если ты ее не оставишь в покое, я сегодня же поеду кататься с Бремеровым! Слышишь?

— Да? Как это ясно: просто тебе хочется поехать с этим дураком кататься и ты почему-то выискиваешь предлог... Обливаешь грязью безвинную женщину...

— Заступайся, заступайся! Может быть, ты еще прибьешь меня? Конечно, раз она тебе дороже... для тебя — все...

— Куда?!!

— Это не ваше дело!

— Не к нему ли ты сейчас летишь? Условились?

— Вас это совершенно не касается; я женщина свободная...

— А муж?

— Ха-ха! Не будете ли вы теперь защищать его интересы? Знаете — вы комик! Надеюсь, после всего, что вами сказано...

— ...А-а! Пришли!

— Женя! За что ты меня мучаешь?

— Я? Вас? За мою-то любовь...

— О, Боже! Значит, ты меня любишь? Я так истосковался по твоим губкам, щечкам... Еще раз! Поцелуй крепче!

— Мой ненаглядный! Я так страдала... Думаю, сидит там у своей Мохначевой.

— Женя! Опять? Я же ничего не говорю о твоем Бремерове.

— Мой Бремеров? Во всяком случае, он в тысячу раз порядочнее этой развратной бабенки... Симпатичный, воспитанный...

— Ах, так? Почему же ты не пойдешь к нему, если он такой гениальный... Мохначева, конечно, не блещет такими достоинствами, но...

— «Но, но»...?! Если ты так ее восхваляешь, так знай же: Бремер мне вчера присылал цветы! Розы!

— Ну, что ж... Мохначева получит их завтра! И розы и хризантемы...

— Да? Ну, знаешь ли... Едва ли ты достанешь такие хризантемы, какие присылал мне в прошлом году Ростковский...

— Я тебя уже просил этого имени не упоминать!! Я ведь не вспоминаю о Верочке Кребс!

— Верочка Кребс? Да у нее нога величиной с мою шляпу. Ростковский стройный, изящный и иногда посмотрит так, что...

— Да, милая? Так за чем же дело стало? Пиши ему, телеграфируй, чтобы он приехал... Боже! Как я не оценил Катерины Михайловны! Это был ангел...

— Не такой, во всяком случае, как Ростковский...

— И поцелуйся с ним!

— Я уже поцеловалась. Он, вероятно, лучше целуется, чем твоя Катерина Михеевна!

— Михайловна!

— Не прикажешь ли мне помнить имена всех твоих любовниц? Знаешь что? Мне это смертельно надоело...

— Ну, и ладно. Чего же лучше!

— Ах, так? Не будете ли вы добры вернуть мне мои карточки? Они вам теперь ведь не нужны.

— Конечно. Прикажете вам их вернуть или прямо переслать тому счастливцу, который...

— Стыдитесь! Глаша, проводите Андрея Николаевича...

* * *

Как приятно глядеть на сверкающий белоснежной скатертью красиво сервированный стол. Цветы в вазах так свежи, закуски так чисто и аккуратно разложены и наполненные вином бутылки так содержательны, имеют такой изящный солидно-опрятный вид. Электрический свет дробится на бокалах и пышно освещает нетронутые салфетки...

Посмотрите на тот же стол, когда гости насытились, — культурные гости, а кажется, будто по столу прошел отряд печенегов. Тарелки измазаны, скатерть облита соусом и вином. Увядшие цветы роняют лепестки на развороченные, скомканные закуски, и электрические лампы заливают беспощадным светом всю эту мерзость...

Приходят лакеи и — доедают остатки.

Любовь — ау! Где ты?

МОДА

Самым богатым человеком сельца Голяшкина был мужик Пантелей Буржуазов. Он имел то, чего не имел ни один из прочих граждан сельца — скот.

Правда, весь скот его выражался в одной худощавой курице, но так как этой редкой птицы у других не имелось, то молва единогласно наградила Пантелея Буржуазова именем богатея.

В те сумрачные дни, когда голяшкинцам надоедало глодать вечную кору, сердце их начинало жаждать чего-нибудь высокого, несбыточного, и они серой бесформенной кучей сбивались у порога избы Пантелея Буржуазова — полюбоваться на его курицу.

Пантелей выносил худую испуганную курицу, садился с ней на завалинку и позволял мужикам не только смотреть, но и трогать рукой курицу.

— Ах ты, животная! — умиленно говорил какой-нибудь бобыль Игнашка, гладя шершавой рукой дрожащую курицу. — Гляди, дядя Пантелей, штоб не улетела.

— Долго ли, — поддакивали добродушные мужики.

— Не плодущая она, — вздыхал польщенный втайне Пантелей Буржуазов...

— Не спосылает Господь? — догадывался Игнашка.

— Петушка для ней нету.

Старики, опершись на палки, вспоминали, что у какого-то Андрона Губатого был петух, но этого петуха уже не было. Да и сам Андрон был на том свете, объевшись как-то свыше меры печеным хлебом.

Облизав языком черные, в трещинах губы, Игнашка хрипел:

— Такой бы курице, да вырасти с быка — до чего б! Говядины с нее надрать пудов двадцать... Мясо белое-белое. Сольцей его присолить, да чашку водки перед этим — до чего б!..

Мужики сверкали бледными глазами и, лязгнув зубами, сдержанно смеялись.

Качая головами, говорили:

— Уж этот Игнашка. Уж он такое скажет.

Налюбовавшись на Буржуазову курицу, вздыхали и заботливо говорили:

— Ну, чего там. Неси ее, дядя Пантелей, в избу. Неровен час — остудится.

Так, между едой и развлечениями, мужики сельца Голяшкина и жили, коротая век.

* * *

Странно как-то.

Пока была жива Буржуазова курица, никто из голяшкинцев не чувствовал своей бедности и убожества. Но когда заласканная мужиками курица умерла и разоренный Пантелей съел ее ночью с потрохами и перьями, все почувствовали себя скверно и безотрадно.

— Бедные мы, — говорил Пантелей Буржуазов мужикам, сидя на выгоне.

— Это ты правильно, дядя. В точку. Небогатый мы народ. Одно слово — крестьяне.

Пропившийся писарь, проходя по большой дороге, свернул к мужикам, и так как был от природы бестолков и словоохотлив, то лег рядом, желая после долгого молчания отвести душу.

— Драсте, — сказали мужики и продолжали потом свой тихий, печальный разговор.

Прослушав их, писарь лег на живот и сказал:

— Это, братцы, что. Живете вы тихо, мирно, и земля под вами не трясется. Нет поэтому к вам внимания общественных слоев взаимопомощи, интеллигентного народонаселения столиц и провинциальных мест. А ежели бы земля сотряслась под вами, вроде как бы Мессина, — не было бы вам тогда от публики обидно... Сразу бы вы получили взаимопомощь эмиритальных взносов на предмет благоустройства потрясенного быта...

Писарь вычурным языком рассказал о землетрясении в Мессине и о сочувствии общества к этому бедствию.

Притихшие мужики жадно выслушали его и долго безмолвствовали.

— Привалит же этакое счастье народу, — завистливо сказал Игнашка. — Они, надо быть, теперь не только хлеб, а и крупу получают.

— Какое же счастье, ежели народу гиблого сколько, — возразил писарь.

— Гиблый народ везде есть, — сурово поддержал Игнашку мужик по имени Жердь. — Тоже это понимать надо. Айда по избам, ребятки.

Когда вставали, беспочвенный и вздорный бобыль Игнашка ощупал рукой землю и злобно сказал:

— Крепкая, подлая. Нет того, чтобы сотрястись.

— Крупа хороша вареная, — задумчиво прошептал один мужик.

И пошли.

* * *

— Ежели писарек не врет, — сказал по дороге Игнашка мужику по прозванию Жердь, — то можно бы трясение земли устроить и у нас.

— Болтливый ты человек, Игнашка. Всегда скажешь этакое. Нешто ж такую вещь устроить?

— Эка невидаль!

Восторженный Игнашка уже махал перед мужиками длинными руками, божился и ругался, убеждая устроить землетрясение.

Мужики отнеслись к вздорному предложению скептически, но писарь выслушал Игнашку внимательно.

— А что ж, братцы... Все равно — погибель тут ваша... Можно такую Мессину устроить! Хуже не будет.

— Да как же ты ее повернешь? — недоумевали мужики. — Землю-то...

— Эх, оглобля... Ее и поворачивать не надо. Вы ломайте избы, а я в город побегу телеграмму давать. Дескать, все разрушено, полная катастрофа и крах крестьянского быта. Иди, проверяй после — было или не было. Зато, по крайности, обеспечены будете.

Толковали до вечера.

* * *

Вечером ели кору без всякого удовольствия и охоты и, отравленные сладким ядом Писаревой гнусной выдумки, были вялые, молчаливые.

А к ночи пришли к спящему где-то в клети бесприютному писарю и сказали:

— Ты беги, писарек, в город, а мы тут займемся.

Когда снаряженный, из общественных капиталов, в дорогу писарь, охваченный волной общего подъема, вышел из избы, чтобы идти в город, то увидел величественную картину: мужики ломали избы, амбары, разные верхние клетушки, и пыль от этого разгрома высоким столбом поднималась к небу, будто апеллируя к нему, высокому и равнодушному.

* * *

Через день в столичных газетах появилась потрясающая телеграмма:

Землетрясение.

В районе местности села Голяшкина разразилось страшное, небывалое, перед которым бледнеет мессинская катастрофа, землетрясение... От сотрясения земли воды вышли из берегов, затопивши все богатое, зажиточное до катастрофы, село. Постройки обрушились, и часть их бесследно провалилась в расщелину. Масса раненых и пострадавших. Когда их откапывали, то геройскую помощь оказывал писарь Гавриил Семенович Уздечкин, самоотверженно бросавшийся в самые опасные места. Отчаяние

беспредельное. Требуется немедленная помощь общественных кругов. Писарь Уздечкин потерял все свое состояние. Деньги и припасы направлять туда-то...

* * *

Мужики ждали.

ТО, ЧТО МОЖЕТ СЛУЧИТЬСЯ С КАЖДЫМ

Иногда актер, опоздавши на спектакль, летит в театр, суля извозчику облагодетельствовать его на всю жизнь. Иногда человек выйдет из вечного своего состояния меланхолии и апатии, — доберется кое-как до театра, летит сломя голову по лестнице, сбивает с ног пожарного, перепрыгивает через плотника и за семь минут до третьего звонка начинает лихорадочно одеваться.

Долголетняя тренировка удерживает его от крупных промахов и упущений при таком головокружительном одеванье; но когда он напяливает на голову светлый или темный парик, на затылке остается тоненькая предательская полоска волос, представляющих полную собственность обладателя головы... Обыкновенно цвет этой полоски прямо противоположен цвету парика, а несчастный актер и не замечает всего ужаса своего положения.

— Пустяки! — возразит большинство актеров.

Пустяки?.. Театр — паутина, сотканная из неисчислимого количества мелких деталей, и если упустить даже такую деталь, как полоска волос шириною в полпальца, вот что может произойти...

* * *

Шел «Ревизор».

Актер, которому надлежало играть Хлестакова, проделал все то, что перечислялось в начале статьи: опоздал на спектакль, в театр летел, суля извозчику обеспечить его старость, сбил с ног пожарного, перепрыгнул через плотника, оделся в семь минут и напялил парик — именно вышеуказанным способом... И товарищи осматривали его перед выходом и хвалили его грим, и никто не заметил затылка...

В четырнадцатом ряду сидел приказчик галантерейного магазина и рядом с ним — дама его сердца, ради которой он пожертвовал бы с радостью не только жизнью, но и новым сиреневым галстуком, кокетливо украшавшим приказчичью грудь.

Хлестаков вошел элегантный, красивый, вручил Осипу цилиндр и тросточку и затем стал насвистывать — сначала «Не шей, ты, мне, матушка», а потом — ни то ни се... Все было, как следует.

Обладатель сиреневого галстука нагнулся к своей даме и сказал:

— Простой обман зрения. Они, то есть господин Хлестаков, — в парике! На затылке каемочка из собственного волосу!

Старый геморроидальный чиновник обернулся и сердито прошипел:

— Прошу не разговаривать! Только слушать мешаете...

Приказчик хотел было пропустить эти слова мимо ушей, но его дама фыркнула, и истерзанное сердце приказчика сжалось... Ему показалось, что его избранница смеется над ним.

Чтобы рассеять создавшееся неприятное положение, приказчик наклонился к чиновнику и обиженно сказал:

— А вы кто тут такое, что командуете?

Чиновник молча презрительно пожал плечами, и приказчику это показалось еще обиднее.

— Тоже, командир выискался! «Прошу не разговаривать»... Тоже, подумаешь... Крыса ободранная!

Девица захохотала.

Чиновник злобно обернулся и прошипел:

— Если вы не замолчите, я попрошу капельдинера вывести вас.

— Ме-ня? Ах ты, кочерга!!

В соседнем ряду обернулись и нервно зашикали:

— Тссс!.. Чего вы разговариваете! А еще старая женщина!

Упрек этот относился к старушке, которая безмятежно сидела и смотрела на сцену, спрятав голову в плечи.

— Я разговариваю?! Да ты что — очумел, батюшка?

— Прошу без возражений!

— Господи! — простонал кто-то сзади. — Этой публике не в театре быть, а в балагане!!

— Шшштос?! Сами вы балаганный плясун! Как вы смеете выражаться. Капельдинер!

— Да это не он! Это вон тот, в сиреневом галстуке. Сидит с какой-то полудевицей и думает, что...

— Это я-то полудевица? Да я тебя за такие слова...

— Тише!

— Тише! — заорал с галереи чей-то тяжелый бас. — Ппрошу соблюдать тишину! Что за крррики?!!

Поднялся невообразимый шум. Горячие споры возгорелись в разных углах театра. Всякий, дрожа от негодования, упрекал соседа в неумении держать себя, а сосед выражал пожелание, чтобы у обвинителя за такие слова отсох язык не позже завтрашнего дня.

Актер, игравший Осипа, сначала растерялся, потом разозлился, потом подошел к рампе и скорбно сказал:

— Господа! Мне первый раз приходится играть перед дикарями, которые...

— Что он сказал?! Вон его! Долой!

— Давайте занавес!

— Авторрра!!

— Деньги обратно!!

— Улю-лю!!..

Тихо опустился занавес... У кассы толпилась публика и настойчиво требовала возврата денег за билеты...

* * *

Бледный, с трясущимися губами, режиссер подбежал к Хлестакову, который нервно шагал по сцене, и спросил его:

— С чего это они взбесились?

— А черт их знает! — растерянно развел руками Хлестаков. — Я пойду переодеваться...

И одним движением руки он сдернул с головы парик... И тоненькая полоска собственных волос слилась с остальной головой, — она выглядела так невинно, будто во всем происшедшем была совершенно ни при чем...

* * *

Скромный автор будет вполне удовлетворен, если рассказанная им история произведет на актеров должное впечатление: если, прочтя ее, они перестанут опаздывать в театр, надевать парики задом наперед и вообще начнут вести добродетельную жизнь, неся высоко святое знамя искусства, то автор большего бы и не хотел...

КАК Я СДЕЛАЛСЯ ЛГУНОМ

I

Всякий, кто знал меня с детства, мог бы подтвердить, что не было мальчика, юноши и мужчины — правдивее меня.

Все, что угодно, но не ложь.

Шутка — да! Мистификация — да! Но ложь, жалкая, отвратительная, извивающаяся, как скверный червяк, — ложь вызывала во мне такое же чувство, какое испытывает непривычный путешественник на корабле, переживая первую качку.

Шутку я любил. Бывало, не было для меня лучшего удовольствия, как ответить на вопрос учителя: «Куда ты, дьяволенок, запропастился на весь вчерашний день?» — «Вчера я был на панихиде по случаю смерти тетки...»

Нужно ли объяснять, что у меня тетка не только не умирала, но даже не рождалась, а вся штука заключалась в том, что мы ходили за город стрелять из монте-кристо галок.

Главный элемент юмора, входящий в каждую шутку — это контраст. В моей шутке с учителем все было — сплошной контраст: вместо одной тетки — несколько галок, вместо панихиды — монте-кристо.

Будучи юношей, я часто подшучивал над знакомыми девушками.

— Поцелуйте меня! — просил я одну из них.

Она усердно целовала меня, а потом, оторвавшись, спрашивала:

— Когда же наша свадьба?

— Свадьба? — усмехаясь, говорил я. — Какая там свадьба, ведь я уже женат.

Нужно ли говорить, что вовсе не был женат, а мои слова были чистейшей мистификацией.

Даже, сделавшись мужчиной, я не потерял своей природной способности — подтрунивать над ближними.

— Поцелуйте же меня, — просил я одну из знакомых девушек, протягивая умоляюще руки.

Она холодно говорила:

— Я с женатыми не целуюсь.

— Милая моя, да разве же я женат?

— Конечно. Об этом все говорят. Жена ваша и ребенок живут в Москве.

— Ха-ха-ха! — заливался я смехом. — Да ведь это моя сестра с ребенком, вдова. Действительно, живет в Москве. И кто это мог выдумать?

Она усердно целовала меня.

Нужно ли говорить, что я был уже женат в это время и даже, более того, — имел ребеночка!

Эти невинные мистификации частенько развлекали меня, спасая, застраховывая, может быть, от худшего, что ложится таким позорным пятном на человеческую душу — от лжи.

II

Недавно мне случилось проезжать в экипаже по Литейному проспекту.

Литейный уже кончился, мы выехали на Невский, с тем расчетом, чтобы, перерезав его, попасть на Владимирский проспект, но в это время наша лошадь, услыхав сбоку рев автомобильного гудка, внезапно остановилась, и автомобиль самым нахальным образом наехал на нас, свалив на бок экипаж, лошадь и сломав одну оглоблю.

Я вывалился на мостовую, как медная пуговица из вывернутого наизнанку кармана мальчишки, а кучер вспорхнул, как ласточка, и опустился прямо на лежащую лошадь.

— Ну, — сказал я ему, вставая, — нечего тут заниматься верховой ездой, слезайте с лошади и ступайте домой.

Около двадцати человек подбежали ко мне, но я облюбовал одного, именно, околоточного и сказал:

— Нельзя ли мне позвать какого-нибудь целого извозчика, какое-нибудь не разрозненное издание. Я бы поехал домой.

— Вы не ушиблись?

— Руку немножко прищемил. Но так как я прищемил ее своим же боком, то, следовательно, сам и виноват.

— Позвольте вашу карточку, — сказал околоточный.

— Я даю карточки только своим близким друзьям, — возразил я. — Конечно, может быть, в будущем...

— Я вас прошу дать мне вашу карточку!..

— Я все хорошие карточки уже роздал; осталась одна, на которой я не особенно похож...

— Я прошу у вас визитную карточку!

Изумлению моему не было пределов.

— Мою... визитную... Фотографическую просят, обыкновенно, когда нравится лицо, а визитную — в том случае, если не нравится поведение. Чем вам не нравится мое поведение? Я ведь не виноват в том, что случилось, — сидя в экипаже, как орех в скорлупе.

— Вы, конечно, не виноваты, но виноват шофер.

— Так вы у него карточку и спросите. Впрочем он тоже не виноват. Я думаю, у него был такой расчет: видя, что моя лошадь преграждает ему путь, он решил рявкнуть так свирепо, чтобы лошадь испугалась и понесла, очистив ему путь.

— Ну?

— Вы ведь знаете, что лошади, испугавшись чего-нибудь, — должны понести; Но, очевидно, моя лошадь не знала этого правила, так как, наоборот, — тут же на месте и застыла. Вот почему автомобиль наехал на нас.

— Расскажите с самого начала.

— Слушаюсь. Вчера за обедом я получаю городскую телеграмму: «Приезжайте поговорить об иллюстрациях в кни...»

— Нет, расскажите, как вы ехали.

— Ехали по Литейному, выехали на Невский; сбоку моторный гудок — как зарычит. Лошадь, бежавшая довольно приличной рысью, вдруг стала на месте, очевидно, сговорившись сама с собою раньше, назло мне и кучеру. Шофер не мог сразу остановить мотора и въехал в гостеприимно остановившийся экипаж.

— Так, так. Теперь вашу фамилию сообщите, адрес, род занятий?

Я сказал.

— Ах, так это вы! — обрадовался этот культурный, начитанный человек. — Читал, как же, много читаю. Имею честь... гм! Эй, извозчик! Отвези их, куда они прикажут.

III

После этого случая я прожил спокойно часов пятнадцать — во всяком случае, гораздо менее суток.

Потому что на другой день с утра я закипел в самом ужасном котле.

— Алло! Ты?

— Я. Это ты, Пеликанов? Что тебе?

— Ну, как, голубчик, твое здоровье? Я так беспокоился. Эти ужасные моторы!

— Постой, да ты откуда узнал?

— Сегодня в газетах об этом пишут. Расскажи, как это случилось?

— Да ведь ты читал в газете.

— Нет, ты мне сам расскажи. В газетах, может быть, и приврали.

Я сказал:

— Ехали мы по Литейному. Выехали на Невский; не успели перерезать его и выехать на Владимирский, как сбоку чей-то мотор ка-ак рявкнет! Моя лошадь вдруг стала, как вкопанная, и мотор, не успев затормозиться, налетел на нас и опрокинул. Я немного ушиб бок — уже прошло, а в экипаже сломана одна оглобля.

— Какой ужас! Ну, до свиданья.

Я отошел от телефона, но сейчас же пришлось вернуться.

— Алло! Это вы?

— Да. Здравствуйте. Что прикажете?

— Вы не в постели? Значит, к счастью, ничего опасного... А я так беспокоилась. Как это случилось?

— В газетах...

— Нет, вы мне сами расскажите. Как это произошло?

Я затаил вздох и сказал ровным голосом:

— Ехали мы на Литейный — Невский — Владимирский. Все проспекты. Невский — сбоку гудок мотора. Испуг и остановка лошади. Въезд мотора в экипаж. Падение на бок экипажа. Мы на земле. Ушиблен бок, сломана оглобля — все уже выздоровело.

— Вот кошмар! Прощайте.

На третий звонок я ответил кратко:

— Путь: Литейный, Невский, Владимирский. Невский — гудок мотора, остановка лошади, падение экипажа, ушиб бока, оглобли. Исправлено.

После четвертого звонка и лаконичного объяснения происшествия: «Убирайся к черту!», я улегся на диван и стал размышлять:

— В сущности, эти добрые люди не виноваты. Они хотят только выразить свое участие ко мне; нужно быть справедливым: конечно, неимоверно скучно повторять одну и ту же историю десять раз, но ведь каждый-то из них слышит ее в первый раз. Нельзя же всякого, кто выразит мне участие — посылать к черту. Не сделать ли так: отпечатать сотню брошюр с подробным описанием и иллюстрациями происшествия и раздать их всем друзьям. Нет, пожалуй, не успею. Пока продержу корректуру, закажу иллюстрации — все уже меня переспросят. Или сделать так: пригласить всех сегодня на чашку чая, да и рассказать сразу, оптом. Тоже неудобно. Явятся не все сразу, а по одному, и каждый, сгорая желанием выразить мне участие, сейчас же начнет расспрашивать о «случае с мотором».

Я чувствовал, что нахожусь в отчаянном положении. Под заголовком «Несчастье с популярным писателем» в газетах было написано совсем не то. Нужно было написать так:

— «Сегодня с популярным писателем случилось страшное несчастье: около двухсот друзей и знакомых обрушились на него с вопросами о пустяковом столкно-

вении экипажа с мотором — и обрушившись, погребли несчастного под своими обломками. Отчаянию несчастных родных нет пределов. Когда же, наконец, наша полиция обратит внимание на так называемых друзей и т. д.»...

Звонок телефона поднял меня с дивана.

— Алло! Вы?

— Я. Хотите узнать что-нибудь о «случае с мотором»? Прочтите газету.

— О, газету! Ведь известно, что газеты всегда перепутают.

— Да? — сказал я, чувствуя неожиданный прилив свирепой радости. — Это верно. Газеты врут. Так слушайте же правду! Я ехал по Литейному, сидя рядом с английским посланником, с которым меня связывает долголетняя дружба. Оглянувшись, он сказал: «Если не ошибаюсь, за нами следят!». «Кто?». «Молодцы из секты тугов-душителей. В бытность мою полковником 10-го Индийского полка сипаев, я немало их перевешал, и вот они теперь»... Он не договорил. Раздался какой-то странный рев, четыре человека выпрыгнули из мотора и, схватившись за нашу коляску, опрокинули ее; но посланник не растерялся! Он выхватил из-за пазухи странный амулет из цельного рубина и протянул им: «Икаруд!» — сказал он по-индийски! И сейчас же — все четверо, с гортанным криком, словно сквозь землю провалились. Будто ничего не было. Только поломанная коляска да лежавшие на земле лошади свидетельствовали о происшедшем.

— Какой ужас! А в газетах совсем не так написано.

— Еще бы!

IV

— Алло! Да, я. О, конечно. Ужасный случай. Если вы читали в газ... Что? От меня хотите слышать? Ладно. Случай, действительно, из ряду вон выходящий?.. Едем мы — вдруг на углу Литейного и Невского, на тротуаре какая-то тень. Промелькнула, остановилась и припала к земле, тихонько рыча.

— Автомобиль на тротуаре?

— Какой там автомобиль! Это был великолепный экземпляр королевского тигра.

— Послушайте, что вы такое говорите? Тигр... на углу Невского и Литейного...

— Ну, да! Бежавший из цирка. Что же тут особенного? Гигантским прыжком, будто под ним развернулась колоссальная пружина, он бросается с Литейного прямо на нас и ударом могучей лапы сбивает экипаж наземь. Мы — почти погибли! Но... на наше счастье мимо шел стрелок, который метким выстрелом между глаз...

— О, Боже! Да стрелок-то откуда?

— Из цирка же; обыкновенный цирковой стрелок, попадающий во что угодно и как угодно...

Он выхватил из-за пазухи странный амулет из цельного рубина и протянул им: «Икаруд!» — сказал он по-индийски!

— Но в газетах...

— Э, что газеты! Врут газеты.

. . . . . .

— Кто там еще? Вы? Спасибо, что навестили лично. Такой ужас! Я до сих пор не могу опомниться...

— Ради Бога! Расскажите мне подробно. Газеты, вероятно, дали неполный рассказ... Я горю желанием выслушать от вас.

— Неполный рассказ! Да они все переврали ваши газеты; прежде всего это случилось не на углу Невского и Литейного, а у меня на квартире...

— У вас? В квартире? Экипаж с лошадьми? Автомобиль?

— Да. Представьте себе.

— Послушайте...

— Я, ведь не говорю, что автомобиль большой. Этакий... маленький. Игрушечный.

— А лошади?

— Тоже игрушечные. Дело в том, что я подарил своему сынишке автомобиль. Катаясь на нем по комнате, мальчишка нагрузил его разными вещами и, между прочим, пятью фунтами пороха, который я приготовил для охоты. И что же — разогнавшись, он налетает с размаху на деревянных лошадей, порох взрывается, и все летит к черту — мальчишка, автомобиль, нянька, лошади! Все так исковеркано, что теперь не разберешь, где начинается мальчишка и кончается нянька!

— О, ужас-то! Где же... все это?

— Где? Вымели, выбросили. Не хоронить же эти остатки, если не разберешь — нянькина ли это челюсть или руль автомобиля?!

* * *

Рассказывал я эти истории, нисколько не скучая — до самого вечера.

Вот как я стал лгуном. Сам я им сделался? Нет. Люди сделали.

АРКАДИЙ АВЕРЧЕНКО

ШАЛУНЫ И РОТОЗЕИ

РАЗСКАЗЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ

СЪ РИСУНКАМИ А. РАДАКОВА И РЕ-МИ

ИЗДАНІЕ ЖУРНАЛА НОВ. САТИРИКОНЪ

ПРЕДВОДИТЕЛЬ ЛОХМАЧЕВ

— Предводитель! Все исполнено. Завтрак готов. Мясо изжарено.

— Ого! По чести сказать, малец, ты довольно-таки исполнительный парняга. Это что у тебя в руках?

— Так себе, ничего, предводитель. Груша. Обыкновенная грушка...

— Дай-ка я откушу маленький кусочек.

Очевидно, эту фразу можно было толковать двояко, потому что Илья Лохмачев всунул в рот почти всю грушу, оставил маленький кусочек и великодушно протянул его мне.

Это была небольшая уютная лужайка, окруженная кустами боярышника и кривыми акациями. Мы помещались на краю лужайки в большой, неправильной формы яме, посредине которой весело пылал костер. На этом костре жарилось несколько кусков мяса, выпрошенных малышом Петькой у своей доброй, слабохарактерной кухарки.

Надо сказать несколько слов о яме, в которой мы помещались: она была вырыта нашими руками еще весною. Предполагалось сделать подземный ход под всем городом, до самого моря, куда мы ежедневно бегали купаться. Предполагалось ходить купаться именно через это подземелье, а выход его у берега моря заваливать каждый раз какой-нибудь скалой, которая могла бы поворачиваться на замаскированных петлях.

К рытью подземелья приступили очень охотно, вырыли яму в пол-аршина глубиной и бросили. Впрочем, яма была и так хороша. Посредине разводили костер, а по краям, на свежей траве и листьях, располагалась шайка.

Шайка состояла из пяти человек: предводитель — Илья Лохмачев, и мы — Гичкин, Луговой, Прехин и малыш Петя, личность еще не определившаяся, но полезная тем, что могла доставлять провиант для пирушек, а также исполнять все мелкие черные работы.

Конечно, в любой благовоспитанной детской Илья Лохмачев производил бы дурное впечатление. Ходил он, заломив фуражку набок, изогнувшись боком и насвистывая все время разные грубые марши. Голос имел сиплый, и разговор его как раз подходил к голосу.

— Разрази меня гром, если я не голоден как собака! Пусть дьявол унесет мою душу, если я сейчас не расправлюсь с тобой по-свойски!

Он наводил ужас, но вместе с тем мы тайно его уважали. Вот почему, несмотря на его тринадцать лет, он был уже нашим предводителем.

Сегодня в нашей компании был еще посторонний мальчик, приглашенный Гичкиным, и поэтому Лохмачев старался казаться еще страшней, грубей и заносчивей.

— Тысяча пуль! — прохрипел он. — Если этот парень пережарил мясо, я вобью его ему в горло собственным шомполом!

О шомполе было, конечно, упомянуто для постороннего мальчика, потому что никакого шомпола у Лохмачева не было.

Однако, кроме шомпола, кое-что у Лохмачева было такое, отчего Посторонний Мальчик онемел от ужаса и изумления.

Именно, Лохмачев лениво потянулся и сказал: «А теперь недурно бы промочить горло глоточком рома», наклонился к краю ямы и, отодвинув деревянную заслонку, вынул из тайника бутылку с желтой таинственной жидкостью.

Он говорил, что никакой напиток не действует так благодетельно на его организм, как обыкновенный матросский ром. Пил он его из горлышка, запрокинув голову, и все мы с тайным ужасом и замиранием сердца следили за этой страшной, грубой операцией. Каждый из нас ожидал, что вот-вот сейчас предводитель наш зашатается

Пил он его из горлышка, запрокинув голову, и все мы с тайным ужасом и замиранием сердца следили за этой страшной, грубой операцией.

и грохнется смертельно пьяный на землю, но ничуть не бывало — отпив приблизительно чайный стакан, Лохмачев опускал бутылку, утирал губы и, сказав хладнокровно: «Добрый ром», прятал бутылку в тайник.

Никто из нас, конечно, никогда и не думал о том, чтобы попробовать это ужасное пойло. Кроме того, Лохмачев однажды предупредил, что если хоть одна живая душа дотронется до его запаса, то он, Лохмачев, познакомит смельчака со своим пистолетом, который лежал в том же тайнике в стенке ямы — в черном длинном футляре.

На этот раз операция с ромом была проделана еще медленнее и торжественнее. Спрятав бутылку и осмотрев внимательно футляр таинственного страшного писто-

лета, Лохмачев развалился на краю ямы и, прожевывая жареное мясо, затянул старинную матросскую песню:

Никого мы не боимся,
Всех возьмем на абордаж,
В воду трупы побросаем —
Так проводим мы день наш.
Гоп! Гоп!

Помолчав немного, Лохмачев повернулся к ошеломленному его прекрасными разбойничьими манерами Постороннему Мальчику и сурово спросил его:

— Ты нас не выдашь?

— В чем? — робко спросил мальчик.

— Так, вообще.

— А вы что делаете?

— Мало ли что... Если на днях у Хрустальных скал найдут разбитый бриг и вся команда будет висеть на реях, ты помалкивай. Ладно?

— Ладно, — сказал мальчик. — А разве вы...

— Тссс! — сказал таинственно Лохмачев. — Тут стены имеют уши.

Ближайшая стена была по крайней мере на расстоянии полуверсты, но тем не менее Посторонний Мальчик умолк.

— Да, брат, — медленно сказал Лохмачев. — А если проболтаешься, тогда пеняй на себя, — тебя постигнет участь Одноглазого Джима.

— Какого Одноглазого Джима? — спросил заинтересованный Гичкин.

— Гром и молния! Они не знают, как я расправился с Одноглазым Джимом! Провались вы в преисподнюю, если стоит водить с вами компанию.

— Где же он жил? — спросил Гичкин.

— Где? Около Капштадта, в Южной Африке. Был он боэром.

— Да ты разве был в Южной Африке?

— Был, — сказал хладнокровно Лохмачев, поглядывая на костер. — Подбросить бы, ребята, дровец.

— Когда? Когда ты был?

— Да два года назад. С отцом. Он был торговцем невольниками.

— Да как же так: ведь твой отец служит в казначействе чиновником?

— Ну, и служит. Что тут удивительного: нельзя же заниматься все время одним делом.

— Так ты был в Южной Африке? Вот-то здорово! Там, наверное, зверей много, а?

— Ужас! Бывало, ложимся спать — всегда костер раскладываем. Два года так мы промучились.

— Но ведь если лев подкрадывается, я думаю, от него можно на мустанге ускакать?

Лохмачев с сожалением оглядел всю компанию:

— Эх вы, суслики!.. В огороде бузина, а в Киеве дядька! Где вы нашли мустангов? В Африке? Вот что значит знать все по учебникам географии, а не по собственному опыту. Во-первых, мустанги водятся только в Америке, а во-вторых, любая пума, американский лев, в три прыжка догонит мустанга. Меня однажды мустанг подвел так, что я чуть не погиб.

— Ты разве был в Америке?

— Был, — сказал Лохмачев, презрительно пожимая плечами. — Все мое раннее детство. Ах, моя родина! Эти пампасы, озаренные восходящим солнцем... Эти льяносы[1]... Он погрузился в задумчивость, которую никто не смел нарушить. Только малыш Петя шмыгнул носом и спросил:

— А их едят?

— Кого?

— Лампасы.

— Ты бы, Петя, пошел прогуляться, — сказал Лохмачев под общий смех. — Тебе вредно слушать разговоры взрослых.

Петя засопел, сложил умоляюще руки и прошептал фразу, которую он подцепил в какой-то детской книжке:

— О, не гоните меня, добрый господин.

— А в Австралии ты не был? — спросил Гичкин.

— Ну, это даже нельзя сказать, что был, — пожал плечами Лохмачев. — Хотя я и прожил там три года, но мы жили около Мельбурна и вглубь не заходили.

— Разбойников боялись?

— Разбойников? Разбойников, милый мой, нужно бояться не там...

— А где же?

— На Кавказе. Я до сих пор не могу забыть этих двух лет, которые прожил у них в плену.

— Да ты разве и на Кавказе был?

— Важное кушанье! Четыре года с отцом в ущелье прожили.

Если бы подсчитать все годы, которые непоседливый Лохмачев потратил на скитания, ему должно было бы быть лет пятьдесят. Но он говорил об этом так уверенно, с такой массой подробностей, что ни у кого не зарождалось сомнения.

— А как же ты освободился? — спросил Гичкин. — Убежал?

— Убежал, как же! От них убежишь... Просто отец заплатил им — разрази их гром! — выкуп.

— Много?

— Пустяки. Десять тысяч.

Он посидел немного и встал:

— Эх, воспоминания на меня нахлынули. Промочу-ка я горло ромом. Кстати, ребята, не знаете, где тут можно достать табаку для жевания?

— А ты разве... жуешь?

— Да, жевануть бы. От матросов научился, да и сам не знаю, что теперь с собой делать.

— От каких матросов?

— С которыми я плавал. Да недолго пришлось — на «купца» налетели и пошли ко дну.

— На какого купца?

— «Купец» — так называется купеческое судно. Они везли кошениль и сандаловое дерево, а мы — пятьсот чернокожих.

— Торговать рабами стыдно, — сказал я возмущенно. — Это позор для белых людей.

---

[1] Льяносы — тип саванны.

— Тысяча чертей! — взревел Лохмачев. — Этот щенок, кажется, собирается меня учить! Не хочешь ли ты, я поджарю тебя на этих угольях вместо говядины?

Простодушный Петя пришел мне на выручку. Он сложил ручонки и прошептал:

— О, пощадите его, добрый господин!

— Пощадить, пощадить... Надо помалкивать, господа, вот что.

Чтобы переменить разговор, кто-то спросил:

— А со львами тебе приходилось иметь дело?

— Изредка. Однажды я привязал лошадь к кусту алоэ и погнался за львицей, не заметив, как два львенка подобрались к лошади и растерзали ее чуть ли не в пять минут.

— Маленькие были львята? — спросил Посторонний Мальчик странным тоном.

— Маленькие...

— Тогда ты говоришь неправду. Маленькие львята не могут растерзать лошадь.

— Каррамба! — вскричал свирепо Лохмачев. — Не хотите ли вы, господинчик, сказать, что я лгу? О, лучше бы вам тогда и на свет не родиться!

— Я говорю только, что маленькие львята лошади не растерзают.

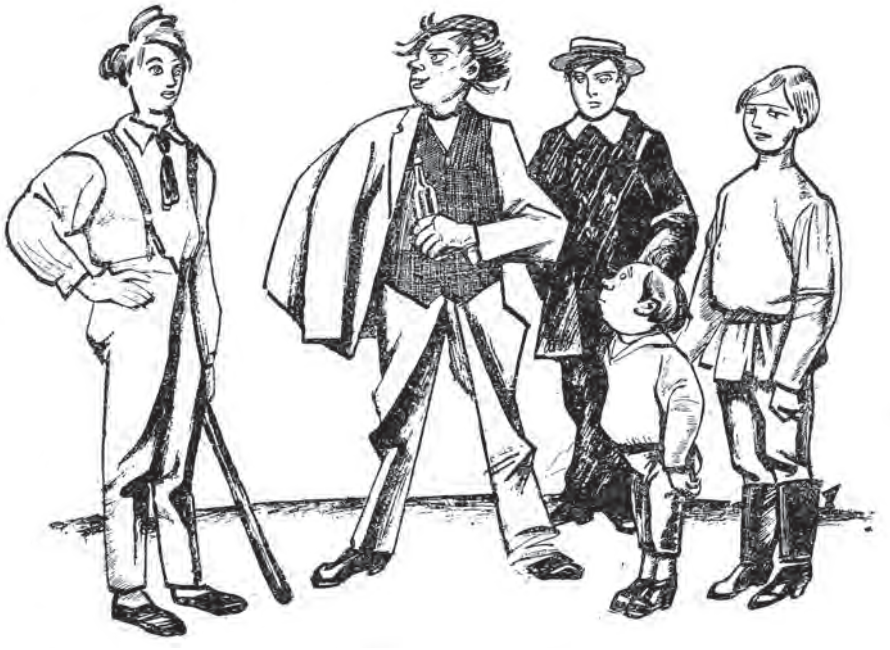
— Да ты откуда это знаешь?

— Видел...

— Что видел? Где видел?

— В Берлине... Мы с отцом были в Зоологиш-Гартен. Я видел, как сторож вынимал голыми руками за шиворот двух львят, и они держали себя как котята. Он понес их через дорогу и пустил побегать около пруда.

Странно: все рассказы Лохмачева об Африке, мустангах и кавказских разбойниках сразу потускнели перед Берлином Постороннего Мальчика.



Каррамба! — вскричал свирепо Лохмачев. — Не хотите ли вы, господинчик, сказать, что я лгу?

Наглый, развязный Лохмачев и сам это почувствовал.

— Ты говоришь вздор! Моим львятам было уже по три месяца, а твои, вероятно, только что родились.

— Нет... Я спрашивал у сторожа, и он сказал, что им уже по пяти месяцев.

— Как же ты спрашивал, — угрюмо захохотал Лохмачев, — если в Берлине сторож — немец?

— Потому что я говорю по-немецки, — коротко объяснил Посторонний Мальчик.

Все мы ахнули: такой маленький мальчик и уже говорит по-немецки.

— Врешь ты! — неожиданно сказал Лохмачев. — Ни в Берлине ты не был, ни львят не видел и по-немецки ты не говоришь.

— Я в Германии был, — сказал Посторонний Мальчик, пожимая плечами. — В Берлине, Лейпциге, Франкфурте и Дрездене. И по-немецки я говорю. А вот ты нигде не был, а просто выдумываешь все.

— Каррамба! Этот щенок, кажется, обвиняет меня во лжи?! Я вижу, тебе уже давно мешает твой собственный скальп, и я тебе его сниму по образцу моего краснокожего друга Серого Гриззли!

— О, пощадите его, добрый господин! — захныкал сердобольный Петя.

— Постойте, господа, — сказал, вставая, Посторонний Мальчик, губы которого дрожали от обиды. — Одну минутку. Так ты говоришь, что был в Америке?

— Был!

— По-индейски говорить умеешь?

— Ха-ха! Получше, чем ты по-немецки.

— На языке сиуксов говоришь?

— Это все равно — все племена: сиуксы, шавнии, гуроны и апачи говорят на одном языке.

— Ну, ладно, — усмехнулся таинственный Посторонний Мальчик. — Идем же!

— Куда?

— Сейчас мы разберем, кто из нас прав.

— Пойдем, — неуверенно сказал страшный Лохмачев. — Только имей в виду, если ты завлечешь меня в западню, мы будем защищаться, как львы.

— Не в западню, а в меблированные комнаты «Ялта». Не боитесь?

— Лохмачев ничего не боится! Дай только промочить горло глоточком ямайского рома, и я пойду хоть к дьяволу на рога.

Через полчаса вся наша молчаливая, приниженная компания поднималась по лестнице меблированных комнат.

У одной из дверей Посторонний Мальчик постучал и сказал:

— Отец! Можно к тебе?

— Входи.

— Я не один. С товарищами.

— Милости прошу.

Мы гурьбой ввалились в комнату. Небольшого роста, коренастый, с мускулистой шеей человек пожал нам руки и сказал:

— Гоп, гоп! Друзья мои! Я уже догадываюсь, зачем вы пришли. Хотите попасть сегодня в цирк?

— Это само собой, отец, — сказал Посторонний Мальчик, похлопывая его по руке. — А теперь ты скажи: Гарри дома?

— Дома.

— Можно к нему зайти?

— Если не спит, идите.

Коренастый человек распахнул боковую дверь и крикнул что-то по-английски.

Мы вошли туда и... испуганно прижались к двери — перед нами стоял высокий медно-красный мужчина с черными, длинными волосами, одетый в коричневый пиджак. В руках у него был огромный лук и ножик, которым он что-то исправлял в тетиве лука.

— Вот, господа, — сказал Посторонний Мальчик звонким смелым голосом. — Это индеец-сиукс, который сегодня выступит в цирке как знаменитый стрелок из лука. Лохмачев! Поговори с ним на его языке. Ты же разговариваешь.

— Он не настоящий! — растерявшись, пролепетал наш предводитель.

— Почему?

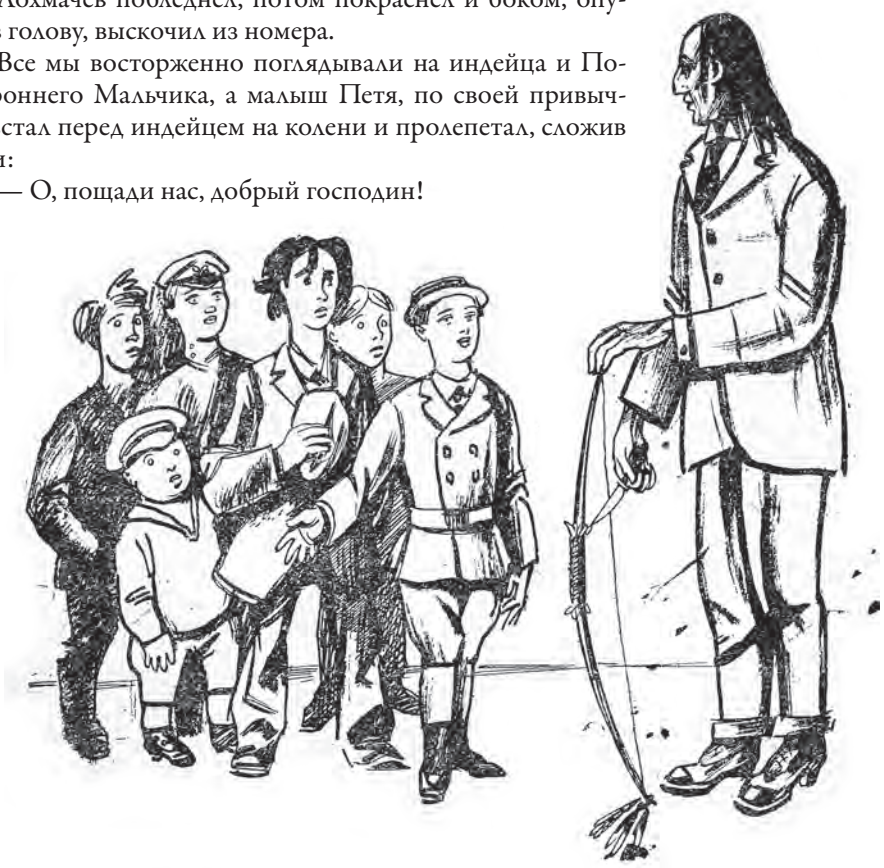
— У него нет перьев на голове.

Посторонний Мальчик засмеялся, снял со стены длинный пестрый ток из перьев и дружески нахлобучил индейцу на голову. Тот тоже засмеялся и сказал что-то Лохмачеву.

Лохмачев побледнел, потом покраснел и боком, опустив голову, выскочил из номера.

Все мы восторженно поглядывали на индейца и Постороннего Мальчика, а малыш Петя, по своей привычке, встал перед индейцем на колени и пролепетал, сложив руки:

— О, пощади нас, добрый господин!



Перед нами стоял высокий медно-красный мужчина.

——

Мы ушли, получив обещание коренастого человека пустить нас сегодня в цирк, а завтра на репетиции покатать на слоне.

Веселой гурьбой отправились мы на свою излюбленную лужайку за городом... Костер уже погас... Солнце склонялось к западу.

Посторонний Мальчик смело отодвинул заслонку и вынул знаменитую лохмачевскую бутылку с ромом и пистолет в футляре.

Бесстрашно открыл он футляр и вынул... трубку. Старую, прокуренную, поломанную трубку с длинным чубуком.

Мы придвинулись ближе...

Он откупорил зловещую бутылку и, подмигнув нам, отхлебнул.

— Гм! — сказал он. — Я предпочитаю его пить горячим.

— Что?

— Чай. Ведь это обыкновенный сладкий чай.

— Кто смеет трогать мое оружие и мой погреб?! — раздался за нами хриплый голос. — Кто нарушает приказание атамана?!

— Урра! — крикнули мы. — Да здравствует новый атаман! Ты уже больше не атаман... Можешь лгать кому хочешь, но не нам.

Лохмачев упер руки в боки и разразился страшным хохотом.

— Бунт? Ну, ладно! Вы еще повисите у меня на реях. Кто за мной? Кто еще остался мне верен?

И раздался неожиданно для нас тонкий голосок:

— Я!

Это был Петя.

— Ага. Молодчага. Лихой разбойник. Отчего же ты не хочешь покинуть своего старого атамана?

И добросердечный малыш Петя отвечал:

— Потому что мне тебя жалко.

ИНДЕЙСКАЯ ХИТРОСТЬ

После звонка прошло уже минут десять, все уже давно сидели за партами, а учитель географии не являлся. Сладкая надежда стала закрадываться в сердца некоторых — именно тех, которые и не разворачивали вчера истрепанные учебники географии... Сладкая надежда:

— А вдруг не придет совсем.

Учитель пришел на двенадцатой минуте. Полосухин Иван вскочил, сморщил свою хитрую, как у лисицы, маленькую остроносую мордочку и воскликнул деланно испуганным голосом:

— Слава Богу. Наконец-то вы пришли. А мы тут так беспокоились — не случилось ли с вами чего.

— Глупости. Что со мной случится...

— Отчего вы такой бледный, Алексан Ваныч?

— Не знаю... У меня бессонница.

— А к моему отцу раз таракан в ухо заполз.

— Ну и что же?

— Да ничего.

— При чем тут таракан?

— Я к тому, что он тоже две ночи не спал.

— Кто, таракан? — пошутил учитель. Весь класс заискивающе засмеялся.

«Только бы не спросил, — подумали самые отчаянные бездельники, — а то можно смеяться хоть до вечера».

— Не таракан, а мой папаша, Алексан Ваныч. Мой папаша, Алексан Ваныч, три пуда одной рукой подымает.

— Передай ему мои искренние поздравления...

— Я ему советовал идти в борцы, а он не хочет. Вместо этого служит в банке директором — прямо смешно.

Так как учитель уже развернул журнал и разговор грозил иссякнуть, толстый (хохол) Нечипоренко решил «подбросить дров на огонь»:

— Я бы на вашем месте, Алексан Ваныч, объяснил этому глупому Полосухину, что он сам не понимает, что говорит. Директор банка — это личность уважаемая, а борец в цирке...

— Нечипоренко, — сказал учитель, погрозив ему карандашом. — Это к делу не относится. Сиди и молчи.

Сидевший на задней скамейке Карташевич, парень с очень тугой головой, решил, что и ему нужно посторонним разговором оттянуть несколько минут.

Натужился и среди тишины молвил свои слова:

— Молчание — знак согласия.

— Что? — изумился учитель.

— Я говорю: молчание — знак согласия.

— Ну так что же?

— Да ничего.

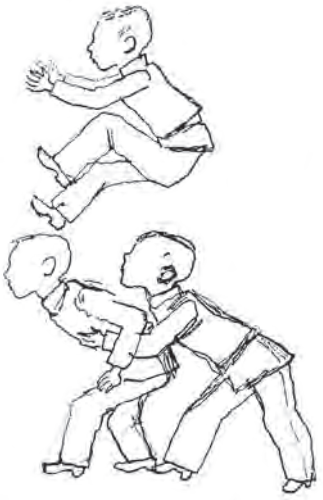
— Ты это к чему сказал?

— Вы, Алексан Ваныч, сказали Нечипоренке «молчи». Я и говорю: «молчание — знак согласия».

— Очень кстати. Знаешь ли ты, Карташевич, когда придет твоя очередь говорить?..

— Гм, кхи, — закашлялся Карташевич.

— ...когда я спрошу у тебя урок. Хорошо?



Карташевич не видел в этом ничего хорошего, но принужден был согласиться, сдерживая свой гудящий бас:

— Горожо.

— Карташевич через двух мальчиков перепрыгивает, — счел уместным сообщить Нечипоренко.

— А мне это зачем знать?

— Не знаю... извините... Я думал, может, интересно...

— Вот что, Нечипоренко. Ты, брат, хитрый, но я еще хитрее. Если ты скажешь еще что-либо подобное, я напишу записку твоему отцу...

— «К отцу, весь издрогнув, малютка приник», — продекламировал невпопад Карташевич.

— Карташевич. Ступай приникни к печке. Вы сегодня с ума сошли, что ли? Дежурный! Что на сегодня готовили?

— Вятскую губернию.

— А-а... Хорошо-с. Прекрасная губерния. Ну... спросим мы... Кого бы нам спросить?

Он посмотрел на притихших учеников вопросительно. Конечно, ответить ему мог каждый, не задумываясь. Иванович посоветовал бы спросить Нечипоренку, Патваканов — Блимберга, Сураджев — Патваканова, а все вместе они искренно посоветовали бы вообще никого не спрашивать.

— Спросим мы...

Худощавый мечтательный Челноков поймал рассеянный взгляд учителя, опустил голову, но сейчас же поднял ее и не менее рассеянно взглянул на учителя.

«Ого! — подумал он. — Глядит на Блимберга. А ну-ка, Блимберг, раскошелив...»

— Челноков.

Челноков бодро вскочил, захлопнул под партой какую-то книгу и сказал:

— Здесь.

— Ну? Неужели здесь? — изумился учитель. — Вот поразительно. А ну-ка, что ты нам скажешь о Вятской губернии?

— Кхе. Кха. Хррр...

— Что это с тобой? Ты кашляешь?

— Да, кашляю, — обрадовался Челноков.

— Бедненький... Ты, вероятно, простудился?

— Да... вероятно...

— Вероятно... Может быть, твоему здоровью угрожает опасность?

— Угрожает... — машинально ответил Челноков.

— Боже мой, какой ужас! Может быть, даже жизни угрожает опасность?

Челноков сделал жалобную гримасу и открыл было уже рот, но учитель опустил голову в журнал и сказал совершенно другим, прежним тоном:

— Ну-с... Расскажи нам, что тебе известно о Вятской губернии.

— Вятская губерния, — сказал Челноков, — отличается своими размерами. Это одна из самых больших губерний России... По своей площади она занимает место, равное... Мексике и штату Виргиния... Мексика — одна из самых богатых и плодородных стран Америки, населена мексиканцами, которые ведут стычки и битвы с гверильясами. Последние иногда входят в соглашение с индейскими племенами шавниев гуронов, и горе тому мексиканцу, который...

— Постой, — сказал учитель, выглядывая из-за журнала. — Где ты в Вятской губернии нашел индейцев?

— Не в Вятской губернии, а в Мексике.

— А Мексика где?

— В Америке.

— А Вятская губерния?

— В... Рос... сии.

— Так ты мне о Вятской губернии и говори.

— Кгм... Почва Вятской губернии имеет мало чернозему, климат там суровый, и потому хлебопашество идет с трудом. Рожь, пшеница и овес — вот что, главным образом, может произрастать в этой почве. Тут мы не встретим ни кактусов, ни алоэ, ни цепких лиан, которые, перекидываясь с дерева на дерево, образуют в девственных лесах непроходимую чащу, которую с трудом одолевает томагавк отважного пионера Дальнего Запада, который смело пробирается вперед под немолчные крики обезьян и разноцветных попугаев, оглашающих воздух...

— Что?

— Оглашающих, я говорю, воздух.

— Кто и чем оглашает воздух?

— Попугаи... криками...

— Одного из них я слышу. К сожалению, о Вятской губернии он ничего не рассказывает.

— Я, Алексан Ваныч, о Вятской губернии и рассказываю... Народонаселение Вятской губернии состоит из великороссов. Главное их занятие — хлебопашество и охота. Охотятся за пушным зверем — волками, медведями и зайцами, потому что других зверей в Вятской губернии нет... Нет ни хитрых, гибких леопардов, ни ягуаров, ни громадных свирепых бизонов, которые целыми стадами спокойно пасутся в своих льяносах, пока меткая стрела индейца или пуля из карабина скваттэра...

— Кого-о?

— Скваттэра.

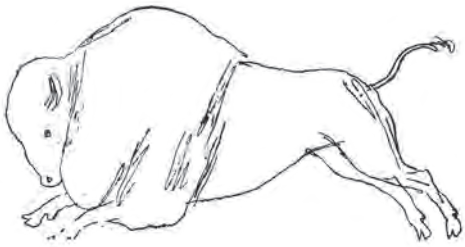
— Это что за кушанье?

— Это не кушанье, Алексан Ваныч, а такие... знаете... американские помещики...

— И они живут в Вятской губернии?

— Нет... я — к слову пришлось...

— Челноков, Челноков... Хотел я тебе поставить пятерку, но — к слову пришлось, и поставлю двойку. Нечипоренко!



— Тут.

— Я тебя об этом не спрашиваю. Говори о Вятской губернии.

Нечипоренко побледнел как смерть и, по принятому обычаю, сказал о Вятской губернии:

— Кхе.

— Ну, — поощрил учитель.

И вдруг — все сердца екнули,— в коридоре бешено прозвенел звонок на большую перемену.

— Экая жалость! — отчаянно вздохнул Нечипоренко. — А я хотел ответить урок на пятерку. Как раз сегодня выучил...

— Это верно? — спросил учитель.

— Верно.

— Ну, так я тебе поставлю... тоже двойку, потому что ты отнял у меня полчаса.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ ГОЛУБОГО ШАКАЛА

I

— Михаил! — сказал отец. — Через две недели экзамены, а ты до сих пор и за книжку не брался.

Михаил Черепицин, ученик второго класса, держался на этот счет другого мнения.

— Еще рано готовиться, — ответил он, не задумываясь.

— Как так рано?!

— Еще две недели. Если я теперь все выучу, так к экзаменам и забуду.

— Нечего сказать, хороший ученик! Другие всю жизнь помнят, а он через две недели собирается забыть... Марш сейчас же за книгу!

Михаил Черепицин, ученик второго класса, покорно вздохнул и сел за книгу. На переплете было написано: «Малинин и Буренин. Арифметика».

Но если раскрыть эту книгу, на первой же странице можно было прочесть:

«Солнце склонялось к западу... Вдруг высокая трава заколебалась, чьи-то руки раздвинули ее, и на прогалину выполз краснокожий сиукс, свирепое лицо которого было покрыто татуировкой.

— Оах! — воскликнул он вполголоса, хватаясь за томагавк...»

Готовиться к экзаменам было еще рано. Так мирно шли дни, и каждое утро и каждый вечер сиукс Голубой Шакал хватался за томагавк. А когда до экзамена осталось два дня, ученик второго класса Михаил Черепицин, по примеру сиукса, схватился за книги.

Но, схватившись, увидел, что, пожалуй, к экзамену ему не приготовиться. Книг было много, а времени мало.

Вдумавшись в свое положение, Черепицин заметался, как зверек в клетке, но помощи ждать было неоткуда.

Даже сам гроза прерий Голубой Шакал не мог помочь Черепицину, несмотря на все свое влияние и связи на Дальнем Западе.

Сколько бы он ни кричал свое грозное «оах», сколько бы ни размахивал томагавком, учителя не обратили бы на него никакого внимания.

Черепицин тоскливо брал книги в руки, перелистывал их одну за другой, но вызубрить все это в несколько часов — он сам понимал — было невозможно.

— Ну, раз уже поздно, — решил Михаил Черепицин, — ничего не поделаешь. Попробую на авось.

Впрочем, в день перед экзаменом некоторые меры, которые были в ходу у ленивых товарищей, он принял: положил на ночь книги под подушку, что, по словам некоторых бездельников, якобы помогает в смысле запоминания предмета.

Кроме того, вырвал из книги самые трудные страницы и натощак съел их. Кто-то в училище уверил его, что если съесть какую-нибудь страницу, то уж никогда ее не забудешь.

Было очень противно: жеваная бумага не проходила в черепицино горло, но он запил водой и с трудом проглотил несколько отвратительных комков.

А отправляясь на экзамен, Черепицин решил сделать доброе дело: дал нищему две копейки и попросил помолиться за то, чтобы он, Черепицин, выдержал экзамен.

II

— Черепицин Михаил!

— Здесь.

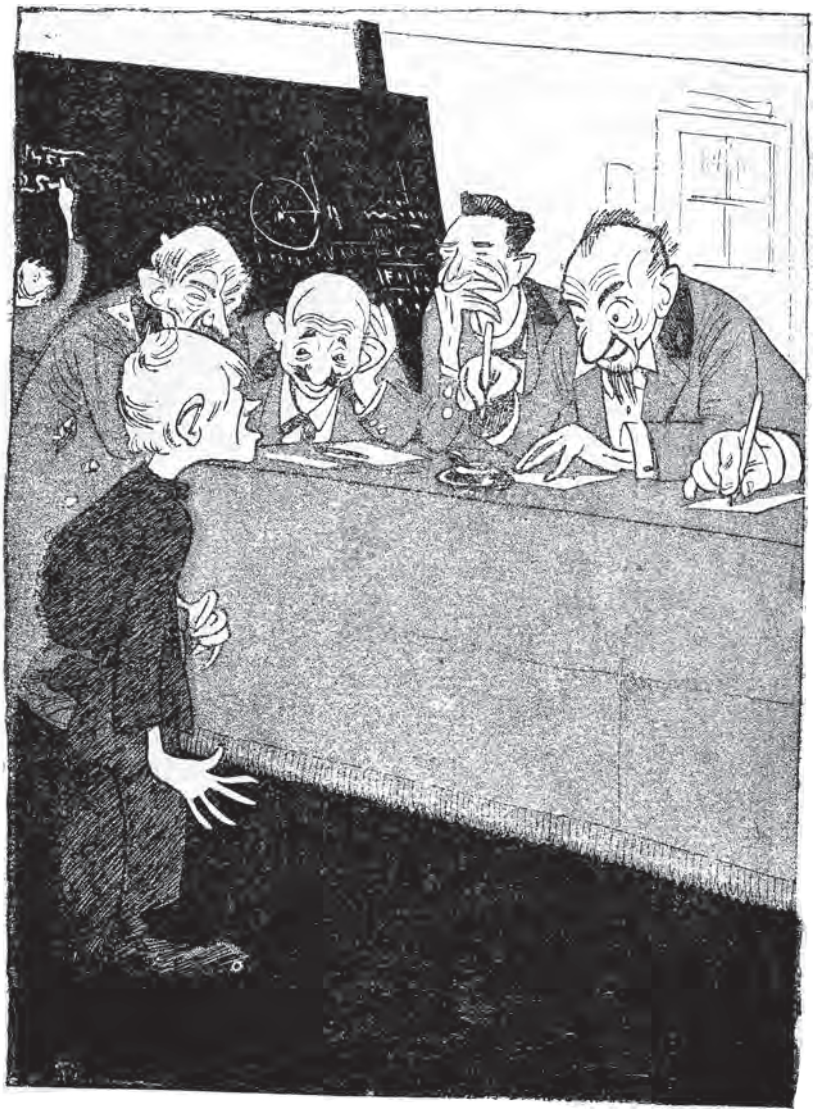
— Подойдите к столу.

Ноги Черепицина дрожали, когда он подходил к экзаменационному столу.

«Эх, — подумал он, — хорошо бы, чтоб сейчас из-под этого покрытого зеленым сукном стола выполз вождь сиуксов Голубой Шакал! Все бы испугались, убежали, и экзамена бы не было».

Но чудес в наши дни не случается. Из-под стола никто не вылез, а учитель математики прищурился и сказал:

— Ну-с... Черепицин Михаил... Что такое арифметика?



Черепицин Михаил проглотил слюну и ответил, робко озираясь:

— Арифметика, это такое... такая книжка, которая... которая... орая...

— Которая что?

— Которая... в зелененьком таком переплете с корешочком...

— Нет, Черепицин, я с вами не о внешности книги говорю, а о сущности этого предмета. Какую цель преследует арифметика?

— Она преследует... цель.

— Ну, да. Какую же?

— Эту самую... Задачи. Берется задача и решается.

— Я вас не о задачах спрашиваю! Арифметика — это наука о числах.

— Наука о числах, — печально повторил Черепицин.

— Этого, очевидно, вы не знаете... Ну-ка, скажите нам что-нибудь о дробях. Сколько будет — половина от трех восьмых?

Черепицин опустил голову:

— Ну?

— Половина из трех восьмых?

— Да.

— Сейчас... сейчас, — забормотал Черепицин. — Половина из трех восьмых... трижды восемь... двадцать четыре, вычитаем половину, остается двенадцать... восемь и три — одиннадцать...

— Ну?!

— Сейчас, сейчас...

— Ну, у вас есть три восьмых. Сколько из них — половина?

Черепицин вытер пот со лба и прохрипел:

— Видите ли... Наверно, я вам не могу этого сказать, только многого это не составит.

— Та-ак. А сколько будет, если сложить сорок семь и девяносто два?

— Рубль тридцать пять...

— Что-о-о?

— Пол... полтора рубля.

— О господи! Я вас не о деньгах спрашиваю, а о числах!

Один из экзаменаторов что-то шепнул другому, и тот, ответив «хорошо», обратился к Черепицину:

— Попробуем теперь письменный ответ. Вот садитесь за ту парту и решите вот эту задачку. Прочтите ее! Вы ее понимаете?

Черепицин прочел задачу и признался очень добросовестно:

— Нет, не понимаю. Ее нельзя решить.

— Да?.. Вы так думаете? А составитель задачи думал, вероятно, иначе. Он думает, что ее решить можно. Ну? Чего же вы молчите?

— Составить задачу легче, чем решить, — пролепетал Черепицин, водя пальцем по краю стола.

— Да? Вы так думаете? Знаете что? Садитесь вон за тот стол и составьте-ка задачу вроде этой. Посмотрим... Может быть, у вас действительно особый талант.

Экзаменатор улыбнулся и шепнул что-то соседу. Тот тоже усмехнулся.

III

— Готово?

— Готово.

— Ну-с... посмотрим: «Три мальчика имели двенадцать пушек: первый имел три пушки, второй вдвое больше, а третий имел остальные. Сколько пушек имел каждый мальчик?»

— Ну, милый мой, какая же это задача? Ее и шестилетний ребенок решит. Нет, ты составь задачу посложнее, подлиннее. Чтобы ее решить было не так легко.

— Подлиннее? — тоскливо сказал Черепицин. — Сейчас.

— Да, да. Понимаешь, чтобы она была запутаннее, а то что это такое — три строки, и готово. Так нельзя.

Усевшись снова за стол, долго тер бедный Черепицин свою бедную пустую голову.

— Длинную задачу... Ну, как ее там сочинишь, длинную-то?

Только через полчаса поднялся он с места и неуверенно подошел к экзаменатору.

— Сделал? Ну, давай. Гм... «Три виноторговца купили 12 кусков сукна. Один выехал из Москвы, другой ему навстречу из Петербурга, а третий устроил бассейн и выпустил туда все вино в четыре часа. Если из одного крана вода выливается в час сто ведер, а в другой кран вливается пятьдесят, то спрашивается, сколько было воды. От Петербурга до Москвы 640 верст, а из Москвы в Петербург вдвое дешевле: спрашивается, сколько стоили билеты двух виноторговцев, если один выехал туда, а другой обратно. Сочинил ученик 2-го класса Михаил Черепицин!»

— Здорово! — сказал учитель. — Ступай домой, больше нам от тебя ничего не надо.

С искаженным от ужаса лицом вышел на улицу Черепицин. Увидел нищего, подошел к нему и сказал плачущим голосом:

— Ты, наверное, не молился... Отдавай мои две копейки!

ЯПОНСКАЯ БОРЬБА[1]

Общий друг и благоприятель Саша Кувырков вошел в комнату, оглядел снисходительно всю компанию и очень бодро воскликнул:

— Ну, вы! Червяки дождевые! Что сидите, нахохлившись? Нужно быть радостными, бодрыми и здоровыми! Спортом нужно заниматься.

Это было что-то новое...

Все подняли головы и вопросительно поглядели на Сашу.

— Это ты с каких же пор стал спортсменом? — осведомился долговязый Бачкин.

Нужно быть радостными, бодрыми и здоровыми! Спортом нужно заниматься.

— Я-то? Меня, братцы, всегда к этому тянуло. Что может быть лучше гармонически развитого тела... И теперь... Вы знаете, я будто снова на Божий свет народился...

— Господи! Еще раз? Нам тебя и одного было довольно.

— Вы — лошади! Поймите вы, что с тех пор, как я стал изучать джиу-джитсу, я хожу, дышу и говорю по-новому.

— Чего-о?

— Что «чего»?

— Как ты сказал, какое слово?

— Джиу-джитсу. Японская борьба.

— Ага. Очень приятно. Садитесь.

— Эх вы, деревянные мозги! Вы все готовы высмеять, над всем вы издеваетесь, а того не знаете, что джиу-джитсу такая борьба, в которой маленький хрупкий человек расшвыряет трех больших верзил.

— Что ты говоришь, Саша?!

— Вправду, Саша?

— А, что мне с вами говорить! Я вас просто отошлю к Ганкоку!

— Хорошо, что не дальше.

— Кто же этот удивительный Ганкок?

— Ганкок? О, это, братцы, человек! Он систематизировал и привел в порядок весь огромный материал по истории борьбы джиу-джитсу.

Раздались восторженные восклицания:

— Какой молодец!

— Тебе бы так.

— Обязательно запишу его имя в поминание за здравие.

---

[1] Позднее Аверченко переделал рассказ «Японская борьба» в рассказ для взрослых, который был напечатан во втором номере журнала «Новый Сатирикон» за 1917 год под названием «Джиу-джитсу». Этот рассказ приводится в конце этого сборника.

— Боже, как вы омерзительны своей самовлюбленной тупостью. Я вам говорю серьезно, я раскрываю перед вами одно из лучших сокровищ великого японского народа, а вы хрюкаете, как меланезийские дикари над граммофоном!..

— Слава Богу! Наконец-то Кувырков вышел из себя.

— Да право! Я, может быть, и сам раньше думал, как вы, но, когда приступил к изучению джиу-джитсу, я благоговейно преклонил голову.

— Ну, не волнуйся, чудак. Расскажи лучше, в чем там дело?..

— Понимаете, это все основано на изучении мускулов и нервных центров человеческого тела. Нажатием известного места на тыльной части кисти руки можно, например, парализовать всю руку и привести человека в беспомощное состояние...

— А ну, покажи.

— Хорошо. Дай-ка ты, Володя, свою руку. Да не бойся, чудак. Джиу-джитсу тем и хорошо, что без злой воли не наносит членовредительства. Давай руку, Володя, не бойся.

— Я не боюсь, — простодушно сказал Володя, протягивая руку.

— Ну вот... Видите это место? Тут, между двумя суставами. Ну вот — я нажимаю это место... больно?

— Нет, ничего. Только ты ногтем не дави.

— Я не давлю, Боже меня сохрани. Больно? Чувствуешь ты, как рука постепенно немеет?

— Нет, как будто ничего.

— Постой... Ах, да, я не ту руку взял. Дай другую.

— На.

— Ну, вот. Больно?

— Да, как будто немножко больно, — сказал добряк Володя, сжалившись над пыхтящим, измученным Сашей Кувырковым.

Да, как будто немножко больно.

— То-то и оно. Это еще ничего. А то есть страшные вещи: ребром ладони, если ударить наискосок, можно переломить руку.

— Чью? — робко спросил кто-то.

— Понятно, чужую. Что за дикий вопрос. А вы знаете, например, лучший способ обезвредить противника, не трогая его пальцем?

— Нет, нет. Покажи, Саша.

— Ну вот, скажем, возьмем Бачкина. Пойди сюда, Бачкин. Вот, например, Бачкин подходит ко мне с намерением напасть на меня. Подходи, Бачкин, с намерением напасть на меня.

— Ну, подходи же, Бачкин, — поощрительно зашумела заинтересованная компания. — Подходи, не бойся.

— Подходить, значит, нужно с намерением напасть?— переспросил добросовестный Бачкин.

Бачкин выпучил самым злодейским образом глаза.

— Ну да!

Бачкин выпучил самым злодейским образом глаза, растопырил руки и, рыча, стал приближаться к мужественно ожидавшему его Кувыркову.

— Ну вот, смотрите, господа: он приближается, я хватаю его за лацканы пиджака, дергаю их вниз и... Постой, черт! Чего ж ты лезешь? Где у тебя лацканы? Где пиджак?..

— А разве нужно пиджак? — смутился Бачкин. — Ну, извини, пожалуйста. У меня рабочая блуза.

— Так же нельзя, господа... В блузе человек, а туда же — на джиу-джитсу лезет. Дайте ему кто-нибудь пиджак сверх блузы. Вот так! Надевай, Бачкин... Подкрадывайся с целью напасть.

— Ну вот, глядите... Постой... ты только не поднимай руки; держи их так вот, опущенными. Ну, глядите: раз, два, три!

Кувырков схватил Бачкина за лацканы и дернул их вниз, спустив пиджак с плеч до половины. Руки у того действительно оказались ущемленными спустившимся пиджаком, что привело всех в восторг.

Поаплодировали.

Кувырков торжествующе держал Бачкина за лацканы.

— А дальше что? — кротко спросил Бачкин.

— Дальше ничего. Я тебя обезвредил.

— Но ведь ты меня должен так держать все время.

— Почему?!

— Да стоит тебе только выпустить мой ворот из рук, как я на тебя нападу.

— А ты не нападай, — благоразумно возразил кто-то.

— Позвольте, — сказал Кувырков. — Но если он на меня нападет, у меня явится другой прием. Ну вот, я тебя выпустил, нападай на меня.

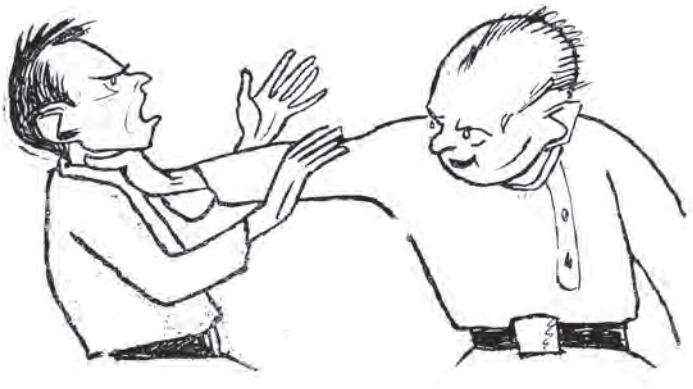
Бачкин поднял руку и нерешительно схватил Кувыркова за горло.

— Постой, постой... Так нельзя. Ты пусти. Видишь ли, ты должен поднять обе руки кверху и напасть на меня. Ну, нападай! А я приседаю, подныриваю под твои вытянутые руки, одной рукой схватываю за ближайшее колено, и... дальше я, кажется, забыл, что нужно делать... Пусти-ка... Да постой! Я посмотрю, в чем там дело?

Кувырков вылез из-под долговязого Бачкина, вынул из кармана книжечку в кирпичного цвета обложке и стал усердно ее перелистывать.

— А, вот: «Нападающий часто пускает в ход такую проделку: прыгнув вперед и выпрямившись, он тотчас же приседает под вытянутые руки противника, одной рукой схватывает его за ближайшее колено, а другой — возможно выше наносит удар. Во время удара надо тянуть охваченное колено вперед или в сторону, и у противника, приготовившегося отразить атаку на другой высоте, остается только один свободный выбор: падать или на спину, или на бок». Ну вот. Давай сначала! Ну, на-

падай. Руки вверх, как можно выше, ради Бога! Ну вот. Гоп! гоп! гоп! Чего ж ты не падаешь?



— Постой, постой... Так нельзя

— А разве нужно упасть? — удивленно спросил Бачкин.

— Ну как же! Вот дикое существо! Я его и за колено тяну и в живот ударил, а он стоит, как колокольня .Ивана Великого!

— Да там как сказано, в книжке-то?

— Просто сказано: «Противнику остается только один свободный выбор: падать или на спину, или на бок». А ты не падаешь.

— Просто Бачкин бездарный парень, — сказал Володя. — Если бы он изучил джиу-джитсу, он знал бы, когда нужно упасть. Охота тебе, Кувырков, со всяким бороться.

— Вот ты, Володя, смеешься, а на самом деле, ей-Богу, джиу-джитсу — замечательная вещь. Вы знаете, господа, знаменитый прием с нажатием основного сустава безымянного пальца?

— Нет... Откуда же нам знать!

— Мы люди темные.

— Прекрасный, так называемый «джентльменский» прием. Вам стоит только повернуть противника к себе вполоборота, захватить его руку и, нажав своими двумя пальцами верхний сустав безымянного пальца противника, совершенно обезвредить его. Володя, дай руку.

— Изволь, — сказал Володя и ударил Кувыркова по затылку.

— На! Здравствуй, как поживаешь?

— Не шути. Сейчас тебе будет не до шуток. Ну вот. Видите? Я надавливаю на твой сустав. Теперь, — торжествующе закричал Кувырков, — бей меня по чем хочешь — по голове, по затылку, по груди — посмотрим, как тебе это удастся.

— Изволь, — сказал Володя и ударил Кувыркова по затылку довольно сильно.

— Постой, я, кажется, не тот сустав надавил... А ну-ка, дай этот! Ну? Теперь попробуй. Ой! Ну это уже свинство... Я тебе ведь только показываю, а ты обрадовался! Дерется, болван, что есть силы...

— Так ты же ведь говорил, что ударить нельзя!

— Конечно, нельзя. Вот тут и в книжке сказано: «В этом положении противник ни в коем случае не может коснуться ни одной части тела нападающего». Понял? *«Ни в коем случае»*.

— Ну, извини. Других приемов там нет?

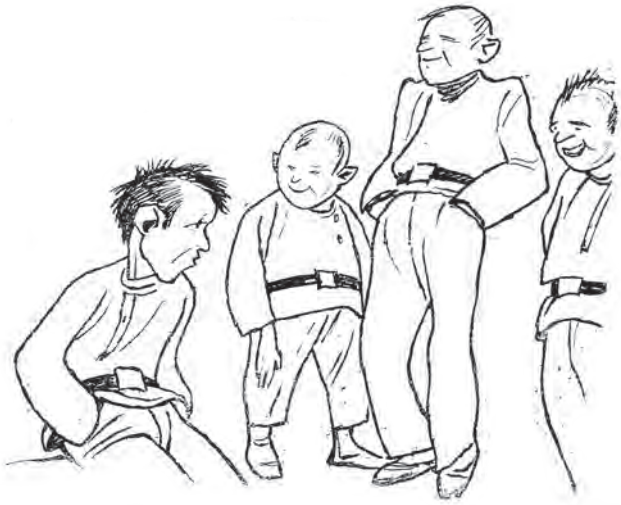
Саша Кувырков погас, увял и тон его сделался лениво-покорным.

— Да, конечно, есть и другие приемы. Это ведь замечательная борьба. Еще древние самураи боролись.

— Земля им пухом, — благоговейно прошептал Бачкин.

А проворный Челябинский упругим прыжком вскочил на стол, принял позу и манеру старого профессора-лектора и сказал:

— Милостивые государыни и милостивые государи! Искусство японской борьбы джиу-джитсу очень сложное и трудное искусство. Постольку, поскольку наш известный молодой чемпион Кувырков познакомил нас с этой борьбой — джиу-джитсу требует многого. Во-первых, при нападении враг должен быть в пиджаке; если же оного у него нет, он должен пойти домой, или к приятелю, или в магазин готового платья и там таковой пиджак приобрести. Во-вторых, противник должен быть вежлив, и, если вы утверждаете, что рука у него вашим приемом парализована, он должен немедленно согласиться с вами — иначе он хам и мытарь. В-третьих, если по учебнику джиу-джитсу после одного из ваших приемов противник должен лежать на земле, то пусть он, каналья, ложится, а не стоит, как каланча. И наконец, в-четвертых, если тебе нажимают на сустав, не смей драться, раз тебя уверяют, что в этом положении ты не можешь «ни в коем случае коснуться тела противника»! Резюмируя все вышесказанное и подводя, так сказать, итог, я должен сказать, что японская борьба джиу-джитсу — борьба замечательная, дающая вам бесценные преимущества, но только в том случае, если изучали ее не вы, а ваш противник... За здоровье самурая Кувыркова! Ура!



Саша Кувырков погас, увял и тон его сделался лениво-покорным.

Все сделали вид, что растроганы, и принялись утирать платками сухие глаза.

И только по виду Кувыркова было заметно, что он не прочь заплакать по-настоящему.

ДЕЛОВОЙ МАЛЬЧИК

От автора

Милые дети! Верите ли вы мне, что я вас чрезвычайно люблю и что для меня нет лучшего удовольствия, как возиться с вами, разговаривать, а если вы еще малы, то качать вас на колене: гоп! гоп!

И мне на днях было чрезвычайно грустно, когда одна маленькая девочка пыталась уличить меня во лжи — будто бы я когда-нибудь был способен солгать детям!

Я рассказывал ей сказку и вскользь упомянул о мальчике, который съел свой двухколесный велосипед.

Услышав это, девочка широко открыла глаза и заявила мне крайне невежливо:

— Ты лжешь! Мальчик не может съесть велосипеда.

Я тогда не оправдывался... Но мне было очень, очень грустно и обидно!

И нижеследующий рассказ я пишу отчасти для того, чтобы той девочке было стыдно, отчасти же — чтобы мои маленькие читатели поверили, что не только мальчики могут в жизни глотать велосипеды, но случаются и более удивительные вещи.

Аркадий Аверченко.

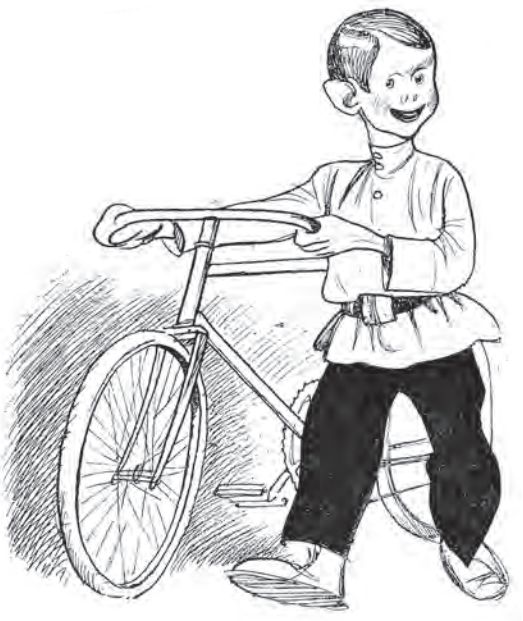
...Велосипед был прекрасный: двухколесный, с кожаным седлом и даже со звонком, в который можно было звонить, сколько влезет, предупреждая встречного путника об угрожающей ему опасности.

Можно было бы сказать, что владелец велосипеда, Николаша, ходит как именинник, если бы Николаша действительно не был сегодня именинником.

Подарков преподнесли много, но больше всего радовал Николашу велосипед — предмет его давнишних пылких мечтаний.

Едва кончился обед, как Николаша вскочил на свой велосипед и помчался на площадку около дачного театра.

На площадке шумела и веселилась чудеснейшая компания: маленькие гимназистики, штатские дети, еще не вкусившие прелести гимназического мундира, и обойщиков сын Петраха — душа общества, балагур и гимнаст, которому было совершенно безразлично, как ни стоять: на голове или на ногах; первое он даже предпо-



Можно было бы сказать, что владелец велосипеда, Николаша, ходит как именинник...

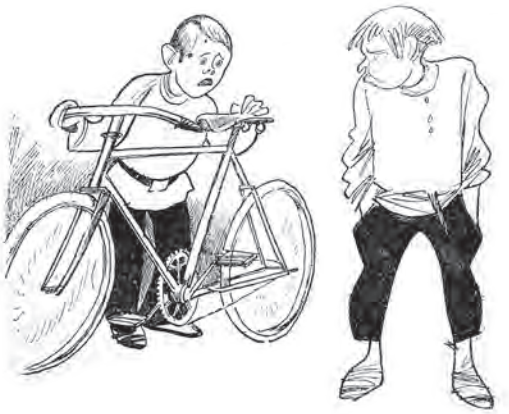
читал, потому что в этом положении оставались свободными обе ноги, которыми он выделывал разные фокусы. Вообще, Петраха был пресимпатичным ребенком, и, если бы не его хриплый голос, вечное желание подвести ближнего под неприятность и способность божиться по всяким пустякам, он занял бы солидное положение в обществе.

Увидев подъехавшего Николашу, этот ребенок подпрыгнул, стал на голову и проревел, красный от натуги:

— Ник-колаша! Откуда у тебя велосипедяша?

— Подарили! — восторженно сказал Николаша. — Гляди-ка какой! Двухколесный и со звоночком.

Петрахе дома никогда ничего не дарили, кроме тумаков. Обойщик был того мнения, что всякий тумак приносит свою пользу: «один тумак — один пятак. Сто тумаков — сто пятаков». Зарабатывая в день иногда до двухсот таких пятаков, что составляло 10 рублей, Петраха, однако, был беден, как церковная крыса. Поэтому роскошный Николашин подарок поселил в его голодной душе самую отчаянную зависть.



Потому. Колес мало.

— Ну, брат, — сказал он, критически осматривая велосипед, — штука неважная.

— Почему? — встревоженно спросил Николаша.

— Потому. Колес мало.

— Да ведь в настоящем велосипеде больше и не бывает.

— А трехколесные-то, значит, хуже?

— Конечно, хуже...

— Значит, чем меньше колес, тем лучше?

— Да, — неуверенно сказал Николаша.

— Значит, два лучше, чем три, а одно лучше, чем два?

— Да... да, — сказал ошеломленный Николаша.

— А без колеса, значит, еще лучше? Хо-хо!

— Отстань!

— Отстань... Вам бы все только отстать. По воде-то на нем ездить можно?

— По воде нельзя.

— Ну так что ж с него толку — по земле только таскаться.

Не успел он сказать этого, как велосипед сразу потускнел в глазах Николаши... Колеса показались маленькими, спицы слишком тонкими, а звонок своей трескотней действовал на нервы.

— Ты ничего не понимаешь, — расстроенно сказал Николаша.

Какой-то гимназистик приблизился к ним, держа в руках странный черный предмет со множеством разных кнопок и застежечек.

— Слушай, как тебя, Николаша... — солидно сказал он. — Хочешь меняться: отдай мне велосипед, а я тебе фотографический аппарат. Ладно?

— Ишь ты, какой ловкий, — быстро возразил Николаша. — На велосипеде ездить можно, а фотографический аппарат — куда он мне...

— Ну, знаешь ли, — пожал плечами гимназистик, — ты, я вижу, ничего не понимаешь: моим аппаратом что угодно снять можно — и будет, как в натуре. Дом выйдет, человек или лошадь — все равно. Можешь своих родителей снять — очень приятная штука.

— Велосипед лучше, — упрямо сказал Николаша.

— Лучше? Да ты своим велосипедом можешь фотографию снять?

— Нет... не могу.

— А моим аппаратом можно. Значит, что лучше?

— А зачем же ты хочешь меняться, если твой аппарат лучше?

— Да просто, вижу — хороший мальчик... Отчего бы ему и не принести пользы. Ежели бы ты был умный, ты бы сразу понял.

— А что мне дома скажут, когда я без велосипеда приду?

— Без велосипеда!.. Так зато, чудак ты человек, с фотографическим аппаратом. Дома-то будут все довольны во как!

— Петраха! — обратился полный сомнений Николаша к своему вероломному другу — обойщикову сыну. — Как ты думаешь: что лучше?

Гимназистик незаметно толкнул коленом Петраху и стал смотреть куда-то в сторону.

И вероломный друг Петраха сказал восторженно:

— О, Боже-ж! Конечно, фотография. Ты своим велосипедом даже мухи не снимешь, а тут накося! Что твоей душеньке угодно...

— Ну ладно, — со вздохом сказал Николаша, — бери. Только твой аппарат не испорчен?

— Сегодня только получил. Новехонький.

И гимназистик, вручив Николаше аппарат, взял велосипед.

— Настоящий-то, а? Велосипед-то? Может, деревянный?

— Конечно, настоящий. Честное слово.

— Ну то-то. Съездить домой, что ли...

Николаша уселся с Петрахой на скамеечке и оба углубились в рассматривание аппарата.

Николаша уселся с Петрахой на скамеечке и оба углубились в рассматривание аппарата.

— Хлеб да соль! — сказал высокий, долговязый, веснушчатый мальчишка, подходя к скамье и похлопывая себя деревянным луком по колену. — Что поделываете?

— Здравствуй, Антонов. Вот аппарат рассматриваем.

— А у меня, братцы, лук такой, что загляденье. На двадцать шагов в цель попадает. Если даже будешь просить поменяться на твой аппарат — ни за что не поменяюсь.

— Да я и не хочу, — сказал Николаша.

— Почему не хочешь? Что ж, твой аппарат разве лучше моего лука?

— Лучше.

— Много ты понимаешь!.. Да я вчера стрелой стекло в третьем этаже выбил — так мне задали такую трепку, что мое почтение. Это тебе, брат, не фотография.

— А все-таки фотография лучше.

— Лучше?! — с негодованием вскрикнул веснушчатый мальчик. — Да если этой стрелой в человека попасть, так он тебя так исколотит, что ног не потянешь! Да я вчера, если хочешь знать, вазу на подзеркальнике вдребезги раскокал, а ты мне говоришь — аппарат лучше! Отец меня в погреб за это запер, а ты говоришь — аппарат лучше.

— Да чем же аппарат хуже, — спросил Николаша, наполовину уже убежденный этим стремительным вихрем странных доказательств.

— Чем? Ты вот что скажи: из твоего аппарата можно стрелять?

— Н... нет.

— Ну, и помалкивай. А из моего лука стреляй, сколько угодно. Да я на днях, может быть, соседнюю болонку так подцепил стрелой, что отец хотел меня в рассыльные мальчишки отдать. Так меня исколотил, что живого места нет.

Петраха в это время с внимательным видом знатока осматривал лук.

— Петраха, — сказал Николаша, смотря на лук разгоревшимися глазами. — Что лучше?

— Конечно, лук, — сказал Петраха, переталкиваясь локтями с долговязым мальчишкой. — Из твоей фотографии, действительно, не выстрелишь.

— А зато, — возразил Николаша, чувствуя, что он тонет в этом море противоречий, — зато я могу снимать, что хочу: папу, тетю, дом, собаку или птичку.

— Эх ты! «Птичку»... Да тебе что приятнее: снять птицу или подстрелить ее?! Подстрелить-то лучше.

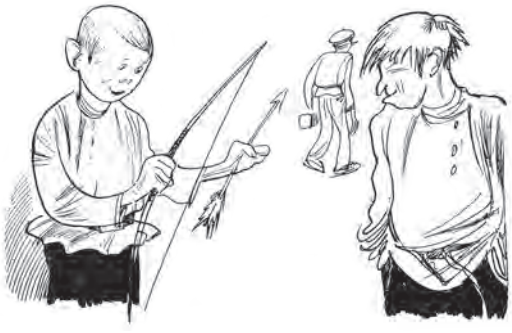
— А стрелы есть? — спросил со вздохом Николаша.

— Две штуки целых! Идет, что ли? А то, брат, будешь просить — не поменяюсь. Пользуйся, что я сейчас такой добрый!

— Ну, ладно... — сказал Николаша.

— Вот добряга-то этот Антонов! — воскликнул лукавый Петраха. — Отдает такой хороший лук.

— Мне, Петраха, не жалко, — сладенько сказал долговязый Антонов. — Я, Петраха, предобрейший мальчик. Пусть человек пользуется — мне что! Носи на здоровье!



Эх ты, Николаша, — сказал он. — Жалко мне тебя...

Очевидно, о Николаше разнеслись вести по всей площадке, потому что через минуту после ухода рыжего мальчишки к скамейке подлетел еще один мальчик самого добродушного вида.

— Эх ты, Николаша, — сказал он. — Жалко мне тебя... Ну зачем тебе этот лук? Ведь им рисовать нельзя?

— Рисовать нельзя, — возразил Николаша, голова которого горела

от той массы дел, которые он совершил в столь короткий промежуток. — Рисовать нельзя, а стрелять можно.

— Куда стрелять? Зачем стрелять?

— Ну... в собаку... Или в вазу. Вчера вон Антонов в вазу попал, так его так отодрали, что мое почтение!

— Так что ж тут хорошего? — резонно сказал добродушный мальчик. — Его отодрали, и тебе то же будет. За рисование, брат, не отдерут!

— Почему... за рисование... не отдерут?

— «Почему, почему»?! Да ты видел когда-нибудь человека, которого наказывали бы за рисование?

— Нет, не видел.

— То-то вот. Я как раз сегодня получил целую коробку цветных карандашей... 16 штук. Это тебе не лук. Луком-то ты не очень разрисуешься.

— А Антонова вон за лук отец хотел отдать в рассыльные мальчишки.

Странное дело: те доказательства, которые в устах Антонова действовали так убедительно на Николашу, совершенно не убеждали карандашного мальчика.

— То-то и оно, — сказал карандашный мальчик. — С этим луком беды не оберешься. А карандаши — одно удовольствие: рисуй себе да рисуй, раскрашивай да раскрашивай...

— И не жалко тебе, — спросил Петраха карандашного мальчика, — такие хорошие карандаши за какой-то скверный лук отдавать?

— Да ведь ты давеча хвалил лук, — удивился Николаша.

— Хвалил потому, что карандашей не видал. Карандаши-то прямо загляденье.

— Ну, хорошо, — сказал Николаша. — Бери лук.

— Не желаю! — сказал добродушный мальчик. — Карандаши лучше.

— Ну, пожалуйста. Я тебя очень прошу. Ты же сам предлагал... Теперь отказываться нечестно.

— Разве что нечестно, — покачал головой карандашный мальчик. — Потому только и меняюсь, что обещал. Эх-ма! Бери!

Когда Николаша и Петраха остались одни, Петраха огляделся и, отведя Николашу в сторону, таинственно спросил:

— А что, они вкусные?

— Что? Кто?

— Да эти карандаши-то?

— Что ты, братец! Их не едят.

— Да ну? Вот так влопался ты в историю.

Петраха посвистал, заложив руки в карманы.

— А что? — испуганно спросил Николаша.

— Да ведь я думал, что их есть можно, а то, что в них толку?

— Ими рисуют.

— Ну, что там рисуют. Это и черным карандашом можно.

Петраха подумал немного, вынул из кармана коробочку с двумя шоколадными сигарами и сказал:

— Вот это, по крайней мере, едят.

— Дай мне кусочек, — попросил Николаша, поглядывая на сигары.

— Эх, жалко мне тебя... Хочешь меняться? Уж так и быть, выручу. Больно ты парень хороший. И как это тебя угораздило?! Я думаю себе — их и съесть можно, и то, и се, — а они, оказывается, только для рисования... А ведь шоколадная сигара — это штука! Ее в рот возьмешь, будто куришь, а сам знай отъедай конец.

— Ну, хорошо, — сказал Николаша с деловым видом. — Дай мне за карандаши полторы, а себе возьми половинку...

Сошлись на том, что Петраха за карандаши дает одну из сигар, а другую съест сам, так как, по его словам, ему и то убыточно.

— Эти сигары, сам знаешь, — сказал он, — даром на полу не валяются...

. . . . . .

Усталый, печальный, возвращался Николаша домой. Когда он вошел на веранду, отец оглядел его и спросил:

— А где же велосипед?

И вдруг, как молния, озарило Николашу: велосипеда-то ведь действительно нет, и аппарата нет, и лука, и карандашей...

И, схватившись руками за голову, заплакал бедный именинник.

— Что с тобой? Где велосипед?

И, прерывая слова горькими рыданиями, едва сумел выговорить Николаша:

— Я... его... съел!..

СОЛИДНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
Записки делового человека

Я — человек аккуратный.

Ложась спать, я каждый вечер аккуратно отрывал листок календаря и, аккуратно прочтя его обратную сторону, ложился в кровать, аккуратно каждую ночь засыпая.

Но однажды я нарушил этот прекрасный порядок и — все пошло к черту.

В тот несчастный вечер, с которого все началось, я, по обыкновению, прочел календарный листок, но почему-то не лег спать, а заглянул в следующий, честное слово, с той только целью, чтобы угадать, что мне придется читать завтра.

Назавтра я должен был пополнить свои знания способом американцев делать из бумаги дома — и это мне не понравилось.

Я заглянул в «послезавтра». Послезавтра календарь осведомлял публику о последних предсмертных словах разных великих людей, и эти афоризмы я читал уже в газетной «смеси» раз восемьдесят.

Огорченный, потерявший терпение, я углубился дальше.

Дни летели передо мной, как секунды, и, несмотря на то что на дворе был снежный январь, я уже перелистал март, апрель и уже купался в горячих волнах жгучего летнего солнца.

В меню все время мелькала земляника со сливками, компот из свежих персиков и салат из помидор. Я чувствовал, что эта роскошь, при осуществлении ее, нанесет моему скромному бюджету тяжелый удар, и поэтому, миновавши «виноград и американскую дыню», я расстался с золотистой меланхолической осенью.

Теперь передо мной проносилась холодная снежная зима с заносами и вьюгами. Я благополучно подходил уже к веселому, жизнерадостному Рождеству, как вдруг на 18-м декабря споткнулся.

Я никогда не забуду этого дня.

Это было идиотское 18-е декабря...

Наверху было скромное благонамеренное изречение: «Старайся прожить свою жизнь хорошо и тебе будет прекрасно житься», внизу было вкусное сытное меню, зато посредине...

Я прочел вот что:

«*Американские миллиардеры*. Все миллиардеры начинали ни с чего! Ярким примером этого может служить популярный в Америке Джонатан Джонс, который в начале своей карьеры миллиардера слонялся оборванный, буквально без гроша. Найдя однажды на улице апельсинные корки, он отправился на главную улицу и аккуратно разложил их на мостовой, спрятавшись потом за углом. Многие прохожие, наступив на корку, скользили, он их, выскакивая, поддерживал и ничего на это, кроме слов благодарности, не выручал. Но один солидный господин, поддержанный им, вынул из кармана четверть доллара и дал их галантному оборванцу. Джонс на эти деньги накупил немного дешевого товару и, разжившись, сделался миллиардером»...

Дальше 18-го декабря я уже не пошел.

Ошеломленный, придавленный, я едва добрался до кровати и, улегшись на нее, провел ночь не смыкая глаз.

Несколько апельсинных корок и... миллиардер! Вот они — сказки жизни...

Дальше 18-го декабря я уже не пошел.

Всю ночь мне грезилась яхта в Средиземном море, дворец в Пятом Авеню и конюшня, битком набитая арабскими лошадьми.

И над всем этим ярким солнечным пятном сияла одна жалкая апельсинная корка — тот ключ, который должен открыть волшебную дверь к яхте, дворцам и лошадям.

Всю ночь я не спал, а к утру у меня созрело непоколебимое решение.

Я решил сделаться миллиардером.

——

Утром я отправился в банк и взял для начала дела те три тысячи рублей, которые составляли весь мой капитал.

Этот день так же, как и следующие, я провел в самых отчаянных хлопотах.

Мне нужно было найти приличное помещение для конторы в тихом деловом квартале; заказать торговые книги и нанять несколько человек расторопных, смышленых служащих, которые бы знали бухгалтерское и вообще торговое дело и были бы мне преданными, усердными помощниками.

Контору я нашел с большим трудом, потому что мне необходим был под помещением конторы обширный, сухой подвальный склад. Это стоило дорого, но мне знаком принцип, что солидность — половина успеха предприятия.

Легче всего было заказать бухгалтерские книги, которые мне изготовили под солидным и громким заглавием на корешках:

«Первый торговый дом для эксплуатации апельсинных корок».

Я едва выбрал время, чтобы заехать в оптовый фруктовый склад и потолковать с хозяином его о доставке мне апельсинов по оптовым ценам. Мы условились, что я буду получать, по минимальной цене, от двадцати до двадцати пяти ящиков в месяц, причем первая партия должна быть доставлена в мой погреб сегодня же.

Работа закипела.

Через неделю аппарат дела был уже настолько хорошо налажен, что мы могли приступить к практической работе.

Так как четверо моих служащих (бухгалтер, его помощник, кассир, которого я, для экономии, нанял также в качестве делопроизводителя, и телефонист) были до начала операции свободны, то я всех их занял чисткой апельсинов, на что ушел целый день.

В этот же день мне впервые пришла в голову мысль: как поступить с очищенными апельсинами? Выбрасывать было жаль, и мы решили съедать их, чтобы эти вкусные плоды не пропадали даром.

К вечеру мы имели изрядный запас корок, но на другой день я не мог выйти на работу, потому что с нашими желудками случилось что-то странное.

Это странное прекратилось только через три дня, и никаких дурных последствий оно не имело. Кассир (он же делопроизводитель) уверял, что к апельсинам легко привыкнуть, для чего их нужно чаще и больше есть.

——

Наконец, я отправился на работу. (Не желая первое время ставить дело слишком en grand, я обхожусь пока без помощников. В будущем же я решил завести целый штат разбрасывателей корок, организовав их на манер артели.)

В одной руке я нес корзинку с корками, в другой ящик, в котором лежали корпия, бинты и пластырь.

Выбрав людную улицу, я разбросал на большом пространстве корки и стал выжидать счастливых случаев.

Тут же я убедился, что без помощников предприятие это очень трудное, потому что на окраинах отмежеванного мною участка прохожие падали без моей поддержки и, вставая, ругались на чем свет стоит.

Центром я заведовал довольно успешно, поддерживая поскользнувшихся и поднимая упавших, за что к вечеру в моем кармане уже звенело несколько монет.

Результатом я был доволен, но меня огорчало одно: сегодня около сорока человек выразили свое мнение, что я — дурак и идиот.

Скользя и падая, каждый считал своим долгом сказать вслух:

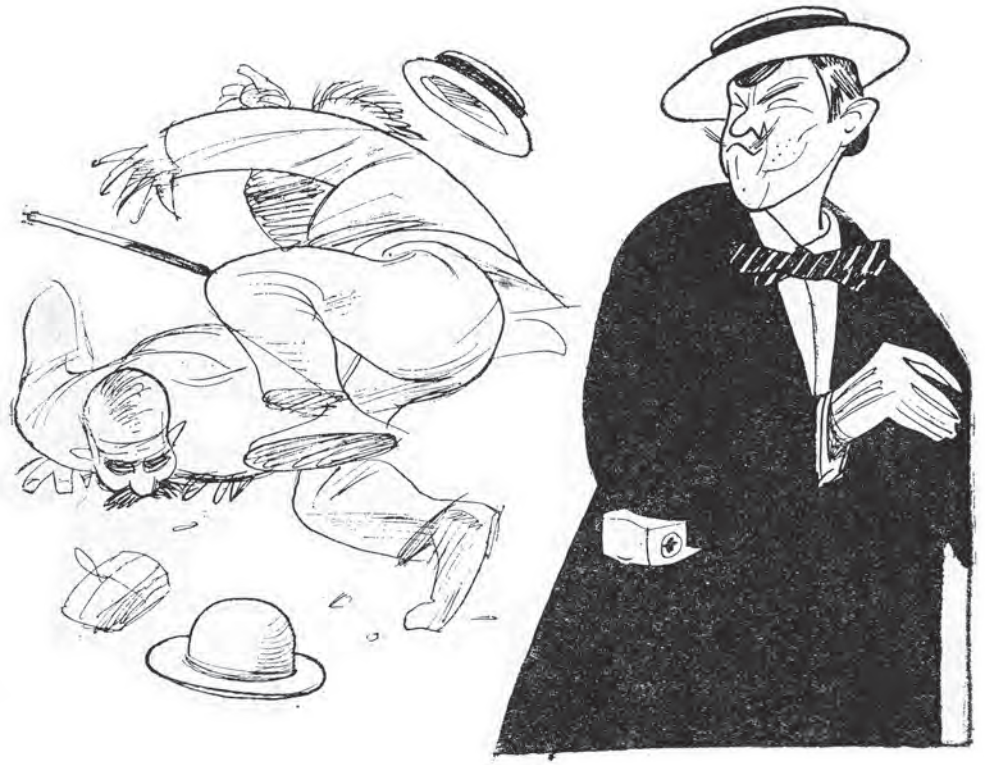
— Какой это идиот набросал здесь апельсинных корок!

А так как корки-то набросал именно я, то самолюбие мое было очень уязвлено.

Кроме вышеприведенного, сердце мое сжималось оттого, что к концу трудового дня моя профессия приобрела мрачную, трагическую окраску...

Один старик, поскользнувшись, сломал ногу, а маленькая гимназистка вдребезги разбила свою русую головку о тротуарную тумбу!

Тут же я решил, когда дело разовьется, завести собственные каретки скорой помощи и набрать штат расторопных докторов.



Какой это идиот набросал здесь апельсинных корок!

——

На другой день, утром, я внес кассиру всю вырученную мной наличность, а бухгалтер расписал ее по книгам в графу: «валовой доход от предприятия».

Предприятие развертывалось медленным, но верным и нормальным ходом.

——

Вчера мой трудовой день чуть не окончился трагически... Спеша к упавшему прохожему, я поскользнулся сам о собственную корку и разбил коленную чашечку. Теперь хромаю.

Нужно будет завести сапоги с шипами.

——

Какой ужас: сломал руку старый генерал, и вышиб глаз, наткнувшись при падении на палку, молодой господин.

——

Сегодня скандал.

Полиция, заметив, что я разбрасываю корки, поймала меня и представила в участок. Господи — за что?! Я дал свой адрес. Что-то будет!

——

Крах! Самый ужасный, неожиданный крах всего предприятия...

Все увечные, узнавшие из газет о «разбрасывателе корок», предъявляют ко мне гражданские иски, и, кроме того, прокурор возбуждает против меня уголовное преследование! Что-то будет?

——

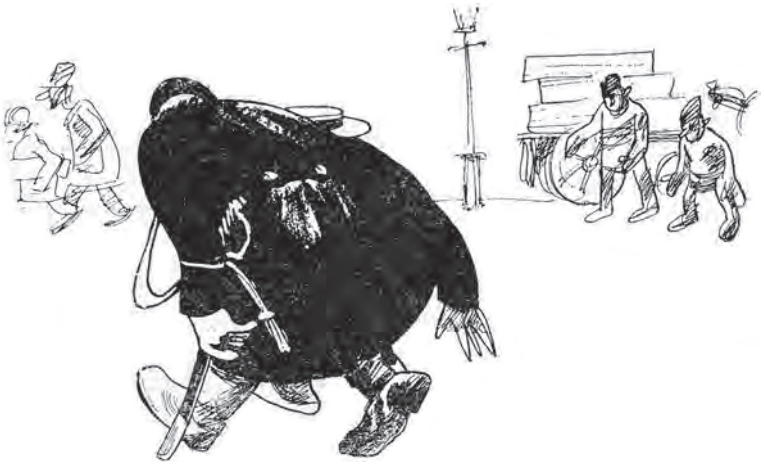
Сегодня, отправляясь на суд, я увидел три подводы, привезшие ящики с апельсинами.

Увы! Их некому даже принять, потому что кассир (он же делопроизводитель) убежал с оставшейся в кассе тысячей рублей, а бухгалтер умер в больнице от острого желудочного расстройства.

Помощник его и телеграфист сидят теперь одни в пустой конторе и грустно ждут, пока я выдам им жалованье.

——

В тюрьме мне пришлось прочесть очень забавную книжку — сочинение Грибоедова. Оно называется «Горе от ума», и мне особенно понравилась в нем одна фраза: «Все врут календари»...



СТРАШНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ В КАБАКЕ ДЯДИ СТАМАТИ

У наших ног синело прекрасное тихое море. Мы легли на песок животами кверху и повели длинный ленивый разговор.

Следователь сказал мне:

— Я недурно изучил за два года этих чудесных южан. Их можно любить, но уважать их невозможно.

— Почему?

— Потому что у этих людей нет середины. Попробуйте расспросить у кого-нибудь из них: далеко ли до такого-то места? Одному из них расстояние в десять верст кажется очень коротким... И он, размахивая руками, закричит: «Что вы!! Помилуйте!! Два шага... Десять—двенадцать минут ходьбы — и вы там! Близехонько... Если бы нам влезть на эту крышу — я показал бы вам отсюда это место!» Спросите другого южанина, более ленивого, менее подвижного: «О-о, заорет он (они тихо никогда не говорят). Вы туда хотите идти? Пешком? Да я вам скажу: в два дня не дойдете! Автомобиль если — другое дело... В несколько часов доедете. А пешком? Сумасшествие...» Спросите у южанина мнение о его соседе... Если сосед ему мало-мальски симпатичен — он всплеснет руками и закричит: «Кто? Ованес Туташвили? Да это ж святой человек!! Ведь это ж гениальная личность! Он еще не министр... да, спрошу я вас, почему? Да потому, что он сам не хочет! Это ж человек, с которого нужно напечатать портреты и повесить себе на удовольствие везде, где можно! Ованес!! Его на руках нужно носить днем и ночью, этого Ованеса». Но если Ованес поспорит со своим поклонником из-за подшибленной ноги курицы или взятой без спроса лодки — послушайте, что вам скажут об Ованесе... «Ованес? Вы уверены, что он именно так называется? Идиёт он называется — вот как! Это ж форменный каторжник, босявка! Все добрые люди трясутся от страха, когда это чудовище показывается на улицу. Ведь ему застрелить человека — все равно что стакан вина из-под таракана выпить, накажи меня Бог! Чтоб я так жил!»

Мы легли на песок животами кверху и повели длинный ленивый разговор.

— Неужели все такие? — спросил я.

— Все. Раз южная кровь — значит, такой. Возьми ты их купцов... Спроси в любой лавчонке: «Сколько стоит десяток лимонов?» — «Шестьдесят копеек!» Не разговаривая, вынимай кошелек и плати тридцать. Он ничего не возразит и даже не будет удивлен... Он, в сущности, и сам хотел сказать: «Тридцать», да уж как-то оно само сказалось — шестьдесят.

Вдохнув жадной грудью пахучий воздух, следователь мягко улыбнулся и неожиданно закончил:

— А в общем — они чудесный народ!..

* * *

...Послышался топот нескольких тяжелых ног. Мы обернули лица и увидели двух горожан, которые сломя голову мчались на нас, перепрыгивая с камня на камень и яростно размахивая загорелыми руками.

Когда они подбежали к нам и обессиленные, со стоном ужаса повалились на песок, следователь оглядел их и спокойно спросил:

— Здорово, Тулумбасов! Здорово, Кандараки! Что случилось? Не искусали ли вас бешеные собаки?

Тулумбасов зарыл руки в песок и застонал.

— О, г. следователь!! Если бы нас искусали бешеные собаки — мы бы даже не поморщились... Страшное преступление!

Кандараки посмотрел на нас широко раскрытыми глазами, в которых застыл нечеловеческий ужас, и пролепетал:

— Что же это будет, если звери уже вырвались на волю и режут людей, как цыплят?.. Почему бы им не зарезать и меня? И мою жену Марину? И маленького Христу?

— Кто там зарезал? Кого?

...Послышался топот нескольких тяжелых ног.

— Мы ж говорим — матросы! Два громадных буйвола матроса!! У этих чертей ни жалости, ни милосердия!

— Кого зарезали?

— Весь кабак дяди Стамати они зарезали! Массу людей они зарезали! Двух человек!! Мы сами видели.

Следователь встал и отряхнул песок с платья.

— Стойте! Пусть говорит Тулумбасов. Говорите толком...

— Чего там говорить толком! Нельзя говорить толком! Зарезали, ограбили и убежали. Все ограбили — весь-весь кабак унесли!

— В чем... унесли?

— В узле. Большой такой. Пудов десять!

— Постойте... Кто же это первый заметил?

— Я первый,— сказал Тулумбасов.

— Первый я, — сказал Кандараки.

— А кто первый из вас двух? — терпеливо спросил следователь.

— Я первее.

— Первее — я.

— А из двух — кто первый?

— Из двух? Он, — с некоторым сожалением указал Кандараки на Тулумбасова.

— Что же вы увидели и каким образом?

— Вот каким. Иду я к Стамати насчет водки из выжимок условиться — он у меня всегда покупает... Вдруг, смотрю, окно кабака раскрывается и оттуда выпрыгивают два матроса с ножами и огромными узлами в руках. Выскочили и убежали. «Э, — думаю, — дело нечистое»... Да подхожу к окну, да как загляну — и свету, матушки мои, не взвидел. Лежат двое: Стамати и еще один на полу с перерезанными горлами, кругом кровь и все перевернуто вверх ногами... Вижу — Кандараки идет — я и ему показал. Посмотрели, да бежать — прямо к вам!

— Какие из себя матросы и куда они побежали?

— Они высокие, черные, широкоплечие... Глаза горят, как у волков. А направились они прямо по дороге на Феодосию... Боже ж мой... что будет, что только будет?..

— Надо осмотреть кабак прежде всего, — сказал следователь.

— Нужно догнать прежде всего убийц, — горячо возразил я, — пока они не убежали... А кабак всегда можно осмотреть.

— Ну что ж... убийц — так убийц, — лениво согласился следователь. — Достаньте нам у Марасьянца двух лошадей — мы с приятелем поедем.

— А войско? — закричал Кандараки.

— Какое войско?

— Как — какое?.. Что же вы думаете — вам удастся вдвоем справиться с этими двумя зверями, с этими бешеными тиграми? Нужен десяток солдат с ружьями.

— Ничего, — сказал следователь. — Справимся и так.

— Что это за люди! — восхищенно зааплодировал Кандараки. — Это ж форменные герои!

— Это ж какие-то мученики идеи! — согласился восторженный Тулумбасов. — Какие-то Жанны д'Арк! Ну, Бог вам на помощь! Живыми не сдавайтесь! А вот и двор Марасьянца!

— Далеко матросы могли убежать? — спросил я.

Окно кабака раскрывается и оттуда выпрыгивают два матроса с ножами и огромными узлами в руках.

— Недалеко. Верст десять.
— Или двадцать, — подтвердил Тулумбасов.
— А пожалуй, и двадцать.
— Эй, Марасьянц! Пару лошадей!

* * *

Мы скакали, понукая резвых лошаденок ударами хлыста, уже минут десять.
— Как ты думаешь, — спросил я, — удастся нам нагнать их?
Следователь засмеялся.
— О, будь покоен... Удастся. Эй, мальчик! Стой! Ого-го? Стой, паршивец! А то натреплю тебе уши!!
Слова эти относились к худому мальчишке лет пятнадцати в белой грязной матроске и растерзанных скороходах. Он тихонько брел по краю пыльной дороги, под тенью придорожных деревьев, с маленьким белым узелочком в руках.
— Эй! Остановись, подлый мальчишка.
Мальчик увидел нас, побледнел, опустился на кучу щебня и горько заплакал.
— Кто это? — удивленно спросил я.
— Это? Убийца Стамати и его клиента.
— А где же другой?
— Другого и не было.
— Но они говорили о двух — широкоплечих, черных...
— Мало что! Послушай-ка, малец... Покажи, что у тебя в узелочке?
Мальчишка снова горько зарыдал и трясущимися руками развязал узелок. В нем мы увидели кисет с табаком, перочинный ножик, кусок жареной камбалы и пару су-

Он тихонько брел по краю пыльной дороги.

хих, как камень, пряников, которыми обыкновенно заедали вино в кабаке Стамати.

После недолгих расспросов злосчастный мальчишка признался во всем. Они со своим дядькой зашли в кабак дяди Стамати, и немедленно же дядька с хозяином стали пьянствовать, потом танцевали, потом упали на пол и заснули среди разбитых бутылок. Ему надоело смотреть на спящих, и он решил уйти домой, в соседнее село. А так как хозяин, приступив к попойке, предусмотрительно запер дверь и спрятал ключ, то мальчугану ничего не оставалось, как выпрыгнуть в окно.

— А кисет, ножик и рыбу украл? — спросил следователь.

— Я не буду больше, дяденька... Он бы все равно ножик потерял, а на табак у меня своих денег нет. Пустите меня, пожалуйста... Меня мама ждет...

Он снова зарыдал, размазывая по лицу грязь и слезы.

— Ну, ступай, каналья. Да только в другой раз через окна не прыгай — не смущай народ зря...

* * *

Мы возвращались обратно.

— Послушай, — спросил я, нерешительно и смущенно. — Каким образом ты догадался, что этот мальчишка — тот самый?

Он засмеялся.

— Очень просто! Секрет немудрый: когда южанин что-нибудь рассказывает — нужно все данные делить пополам... Он говорит — два матроса — значит, один. Черный, как жук, значит — шатен. Широкоплечий, здоровый — понимай: мальчишка. Такая система объяснит тебе все: и его «громадный узел», и «ножи», и «десять верст», сейчас же превращенные в двадцать (хотя мальчишка пойман только на пятой версте)...

У околицы нас дожидались Тулумбасов и Кандараки, вооруженные ружьем и целым ворохом веревок.

— Не догнали? — тревожно спросили они.

— Да попробуйте догоните их, — серьезно сказал следователь. — Попробуйте — когда их не двое, а двенадцать человек, двенадцать свирепых здоровяков, вооруженных до зубов, да при них целый обоз с награбленными вещами, да кроме того маленькая пушка и ручные бомбы.

— Видите, дядя Тулумбасов! — торжествующе воскликнул Кандараки. — Я вам говорил, что их больше, чем два!

. . . . . .

СЕРЕЖКИН РУБЛЬ

КАК ЕГО ЗАРАБОТАЛИ

Звали этого маленького продувного человечка Сережка Морщинкин, но он сам был не особенно в этом уверен... Колебания его отражались даже на обложках истрепанных тетрадок, на которых иногда было написано вкривь и вкось: «Сергей Морстчинкин». То: «Сергей Мортчинкен».

Эта неустанная, суровая борьба с буквой «щ» не мешала Сережке Морщинкину изредка писать стихи, вызывавшие изумление и ужас в тех лицах, которым эти стихи подсовывались.

Писались стихи по совершенно новому способу... Таковы, например, были Сережкины знаменитые строфы о пожаре, устроенном соседской кухаркой:

До соседей вдруг донесся слух,
Что в доме номер три, в кух
Не, горел большой огонь,
Который едва-едва потушили.
Кухарку называли «дурой» милли
Он раз, чтобы она смотрела лучше.

За эти стихи Сережкина мать оставила его без послеобеденного сладкого, отец сказал, что эти стихи позорят его седую голову, а дядя Ваня выразил мнение, что любая извозчичья лошадь написала бы не хуже.

Сережка долго плакал в сенях за дверью, твердо решив убежать к индейцам, но через полчаса его хитрый, изобретательный умишко заработал в другом направлении... Он прокрался в детскую, заперся там и после долгой утомительной работы вышел, торжественно размахивая над головой какой-то бумажкой.

— Что это? — спросил дядя.

— Стихи.

— Твои? Хорошие?

— Да, эти уж, брат, почище тех будут, — важно сказал Сережка. — Самые лучшие стихи.

Дядя засмеялся.

— А ну, прочти-ка.

Сережка взобрался с ногами на диван, принял позу, которую никто, кроме него, не нашел бы удобной, и, сипло откашлявшись, прочел:

Люблю грозу в начале мая,
Когда весенний первый гром,
Бразды пушистые взрывая,
Летит кибитка удалая...
Ямщик сидит на облучке
В тулупе, синем кушачке...
Ему и больно и смешно,
А мать грозит ему в окно.

— Гм... — сказал дядя. — Немного бестолково, но рифма хорошая. Может, списал откуда-нибудь?

— Уж сейчас и списал, — возразил Сережка, ерзая по дивану и пытаясь стать на голову. — На вас разве угодишь?

Дядя был в великолепном настроении. Он схватил Сережку, перевернул его, привел в обычное положение и сказал:

— Так как все поэты получают за стихи деньги — получай. Вот тебе рубль.

От восторга Сережка даже побледнел.

— Это... мне? И я могу сделать, что хочу?

— Что тебе угодно. Хоть дом купи или пару лошадей.

В эту ночь Сережке спалось очень плохо — рубль, суливший ему тысячи разных удовольствий и благ, будил хитроумного мальчишку несколько раз.

СДЕЛКА

Утром Сережка встал чуть ли не на рассвете, хотя в гимназию нужно было идти только в девять часов. Выбрался он из дому в восьмом часу и долго бродил по улицам, обуреваемый смутными, но прекрасными мыслями...

Зайдя за угол, он вынул рубль, повертел его в руках и сказал сам себе:

— Интересно, сколько получится денег, если я его разменяю?

Зашел в ближайшую лавочку. Разменял.

Действительно, по количеству монет оказалась целая уйма — чуть ли не в семь раз больше... но качество их было очень низкое — маленькие, потертые монетки, совсем не напоминавшие большой, толстый, увесистый рубль.

— Скверные денежки, — решил Сережка. — Их тут столько, что немудрено одну монетку и потерять... Разменяю-ка я их обратно.

Он зашел в другую лавчонку с самым озабоченным видом.

— Разменяйте, пожалуйста, на целый рубль.

— Извольте-с.

Новая мысль озарила Сережкину голову.

— А может... у вас бумажный есть?

— Рублевок не имеется. Есть трехрублевки.

— Ну, дайте трехрублевку.

— Это за рубль-то! Проходите, молодой человек.

Опять в Сережкином кармане очутился толстый, тяжелый рубль. Осмотрев его внимательно, Сережка одобрительно кивнул головой:

— Даже лучше. Новее того. А много можно на него сделать: купить акварельных красок... или пойти два раза в цирк на французскую борьбу (при этой мысли Сережка согнул правую руку и, наморщив брови, пощупал мускулы)... а то можно накупить пирожных и съесть их сразу, не вставая. Пусть после будет болеть желудок — ничего: живешь-то ведь один раз.

В это время кто-то сзади схватил Сережку сильной рукой за затылок и так сжал его, что Сережка взвизгнул.

— Смерть приготовишкам! — прорычал зловещий голос. — Смерть Морщинкину.

По голосу Сережка сразу узнал третьеклассника Тарарыкина, первого силача третьего и даже четвертого класса — драчуна и забияку, наводившего ужас на всех благомыслящих людей первых трех классов.

— Пусти, Тарарыкин, — прохрипел Сережка, беспомощно извиваясь в железной руке дикого Тарарыкина.

— Скажи: «пустите, дяденька».

— Пустите, дяденька.

Удовлетворив, таким образом, свое неприхотливое честолюбие, Тарарыкин дернул Сережку за ухо и отпустил его.

— Эх ты, Морщинка — тараканья личинка. Хочешь так: ты ударь меня по спине, как хочешь, десять раз, а я тебя всего один раз. Идет?

— Пусти, Тарарыкин, — прохрипел Сережка.

Но многодумная голова Сережки работала уже в другом направлении. Необъятные радужные перспективы рисовались ему.

— Слушай, Тарарыкин, — сказал он после долгого раздумья. — Хочешь получить рубль?

— За что? — оживился вечно голодный прожорливый третьеклассник.

— За то, что я тебя нарочно для примера поколочу при всех на большой перемене.

— А тебе это зачем?

— Чтоб меня все боялись. Будут все говорить: раз он Тарарыкина вздул, значит, с малым связываться опасно. А ты получишь рубль... Можешь на борьбу пойти... красок купить коробку...

— Нет, я лучше пирогов куплю по три копейки тридцать три штуки.

— Как хочешь. Идет?

В Тарарыкине боролись два чувства: самолюбие первого силача и желание получить рубль.

— Что ж, брат... А если я тебе поддамся, так меня уж всякий и будет колотить?

— Зачем? — возразил сообразительный Сережка. — Ты других лупи по-прежнему. Только пусть я силачом буду. А пироги-то... Ведь ты их целый месяц есть будешь.

— Неделю. Эх, Морщинка — собачья начинка, соглашаться, что ли?

Сережка вынул рубль и стал с искусственным равнодушием вертеть его в руках.

— Эх! — застонал Тарарыкин. — Пропадай моя славушка, до свиданья-с, моя силушка. Согласен.

И, размахнувшись, шлепнул Сережку ладонью по спине.

— Чего же ты дерешься?

— Так ведь чудак же: это в последний раз. Потом уж ты меня колошматить будешь.

И, утешившись таким образом, Тарарыкин спрятал рубль в карман старых, запятнанных чернилами всех цветов брюк...

ДРАКА

Ликующе прозвенел звонок на большую перемену, и широкая волна серых гимназических курточек и фуражек вылилась на громадный гимназический двор. Поднялся визг, крики и веселая суматоха. Честный юноша Тарарыкин выбрал группу учеников побольше, приблизился с самым невинным лицом и стал любоваться на состязание Мухина и Сивачева, ухитрившихся подбрасывать мяч ногами, без помощи рук.

— Попробуй, Тарарыкин, — предложил Сивачев.

В это время юркий Сережка Морщинкин пробрался между ног взрослых учеников, просунул свой нос вперед и пропищал самым вызывающим образом:

— Куда этому Тарарышке прыгнуть — у него сейчас и ноги отвалятся.

— Ты-ы! — угрожающе зарычал Тарарыкин. — Знай, с кем говоришь! Котлету из тебя сделаю!

— Котлету! Ах ты, кухарка свинячья!

— Отойди лучше, Морщинка, — получишь по затылку!

— Очень я тебя боялся, — лихо захохотал Сережка. — Попробуй-ка, тронь только!

— Да и трону, — проворчал Тарарыкин.

— А ну, тронь!

— А что ж ты думаешь — не трону?

— А ну, тронь!

Сережка стал в боевую позу плечом к плечу с громадным Тарарыкиным и, задрав голову, сказал иронически:

— Тронь только — кто тебя у меня отнимать будет?

Кругом засмеялись.

— Ай да Морщинка! Смотри, Тарарыкин, не струсь!

— Ну, что ж ты, Тартарарыка, небось только на маленьких силач. До меня-то и дотронуться боишься.

— Я? Тебя? Боюсь? На ж тебе, получай!

Тарарыкин с силой размахнулся, но ударил по Сережкиной груди так, что тот даже не пошатнулся.

— Съел?

— Это, брат, мне ничего, а вот ты попробуй!

Сережка взмахнул маленьким кулачонком и — о чудо! К ужасу и изумлению всех присутствующих, верзила Тарарыкин отлетел шагов на пять. Как всякий неопытный актер, честный Тарарыкин «переиграл», но простодушная публика не заметила этого.

— Ого! Ай да Сережка!

Тарарыкин с трудом встал, сделал преувеличенно страдальческое лицо и, держась за бок, захромал по направлению к Сережке.

— А-а, так ты так-то!

— Да-с. Вот так! — нахально сказал Сережка. — На-ка еще, брат!

Вторым ударом он снова сбил хныкавшего Тарарыкина и, насев на него, принялся обрабатывать толстую тарарыкинскую спину своими кулачонками.

Все были изумлены до чрезвычайности.

Когда избитый, стонущий Тарарыкин поднялся, все обступили его:

— Тарарыка, что это с тобой? Как ты ему поддался?

Как всякий неопытный актер, честный Тарарыкин «переиграл».

— Кто ж его знал, — ответил добросовестный Тарарыкин. — Ведь это здоровяк, каких мало. У него кулаки — железо. Когда он меня свистнул первый раз, я думал, что ноги протяну.

— Больно?

— Попробуй-ка. Завяжись сам с ним. Ну его к Богу. Я его теперь и не трону больше...

ПОСЛЕ ПОБЕДЫ

Тарарыкин честно заработал деньги. Сережка сделался героем дня. Весть, что он поколотил Тарарыкина и что тот, как приготовишка, плакал (последнее было уже прибавлено восторженными поклонниками), — эта весть потрясла всех. Результаты Сережкиного подвига не замедлили сказаться.

К упоенному славой Сережке подошел первоклассник Мелешкин и принес ему горькую жалобу:

— Морщинкин! Ильяшенко дерется — дай ему хорошенько, чтобы не заносился.

— Ладно! — нахмурился Сережка. — Я это устрою. А что мне за это будет?

— Булку дам с ветчиной и четыре шоколадины в серебряной бумажке.

— Тащи.

Потом подошел Португалов:

— Здравствуй, Сережка. Сердишься?

— А то нет! Свинья ты! Жалко было цветных карандашей, что ли? Обожди! Попадешься ты мне на нашей улице!

Португалов побледнел и, похлопав Сережку по плечу, сказал:

— Ну, будет. Притащу завтра карандаши. Мне не жалко.

Три второклассника подошли вслед за Португаловым и попросили Сережкиного разрешения пощупать его мускулы.

Получили снисходительное разрешение. Пощупали руку, поудивлялись. Мускулов, собственно, не было, но товарищи были добрые, решили, что рука все-таки твердая.

— Ты что, упражнялся? — спросил Гукасов.

— Упражнялся, — сказал Сережка.

В конце концов, Сережка, опьяненный славой, и сам поверил в свою нечеловеческую силу.

Проходил второклассник Кочерыгин, уплетая булку с икрой.

— Стой! — крикнул Сережка. — Отдай булку!

— Ишь ты какой! А я-то?

— Отдай, все равно отниму!

Кочерыгин захныкал, но, вспомнив о Тарарыкине, вздохнул, откусил еще кусочек булки и протянул ее Сережке.

— На, подавись!

— То-то. Ты смотри у меня. Я до вас тут до всех доберусь.

Мускулов, собственно, не было, но товарищи были добрые, решили, что рука все-таки твердая.

В это время проходил мимо Тарарыкин. Увидев Сережку, он сделал преувеличенно испуганные глаза и в ужасе отскочил в сторону. Хотя вблизи никого не было, он, как добросовестный недалекий малый, считал своим долгом играть роль до конца.

— Боишься? — спросил заносчиво Сережка.

— Еще бы. Я и не знал, что ты такой здоровый.

И вдруг в Сережкину беспокойную голову пришла безумная шальная мысль... А что, если... Тарарыкин действительно против него не устоит? Этот крохотный мальчишка так был опьянен всеобщей честью и восторгом, что совершенно забылся, забыл об условии и решил пойти на-

пролом... Насытившись славой, он пожалел о рубле, а так как руки его чувствовали себя железными, непобедимыми, то Сережка со свойственной его характеру решимостью подскочил к Тарарыкину и, схватив его за пояс, сурово сказал:

— Отдавай рубль!

— Что ты! — удивился Тарарыкин. — Ведь мы же условились...

— Отдавай! Все равно отниму!

— Ты? Ну, это, брат, во-первых, нечестно, а во-вторых — попробуй-ка.

На их спор собрались любопытные. Снова стали раздаваться комплименты по Сережкиному адресу.

И, не раздумывая больше, Сережка храбро устремился в бой. Он подскочил, хватил изумленного и огорченного Тарарыкнна по голове, потом ударил его в живот, но... Тарарыкин опомнился.

— Отдавай рубль!

— Ты... вот как!

Через минуту Сережка уже лежал на земле. Во рту чувствовалось что-то соленое, губа вспухла, зловещее красноватое пятно засияло под глазом; оно наливалось, темнело и постепенно переходило в синий цвет.

. . . . . .

И рухнула эта жалкая, построенная на деньгах слава... Сережка лежал, избитый, в пыли и прахе, а мстительный Кочерыгин, отдавший Сережке булку, подскочил к Сережке и дернул его за волосы; подошел Португалов, ткнул его в спину кулаком и сказал:

— Вот тебе цветные карандаши. Поросенок!

Уныло, печально возвращался хитроумный Сережка домой; губа вспухла, щека вспухла; на лбу была царапина, рубль пропал бесследно, дома ожидала головомойка, настроение было отчаянное...

Он вошел робкий, пряча лицо в носовой платок... он рассчитывал, проскользнув незаметно в свою комнату, улечься спать... Но в передней его ждал последний удар.

Дядя поймал его за руку и сердито сказал:

— Ты что же это, мошенник, обманул меня? Это твои стихи? Списал у Пушкина да и выдал за свои. Во-первых, за это ты всю неделю будешь сидеть дома — о цирке и зверинце забудь, а во-вторых, — возврати-ка мне мой рубль.

Сердце Сережки упало...

СИНЕЕ ОДЕЯЛО

— Грачев! У тебя есть двенадцатый выпуск Ната Пинкертона?

— Нет, девятый есть. Спроси у Замирайло.

— Замирайло! Дай двенадцатый выпуск Пинкертончика.

— Ишь ты какой хитрый... А что я буду читать?

— Так ведь сейчас урок арифметики будет, не будешь же ты читать на арифметике.

— Ах, господи! Сейчас арифметика... А я что называется — ни-ни. Всю ночь читал «Дик Викольсон — душитель миллионеров»...

— А что у нас на сегодня?

— Цепное правило и правило товарищества.

— Здорово. Пойдем мы сегодня как топоры ко дну. Вот тебе и Пинкертон. Красильников! Ты приготовил?

— Приготовил... Могилу я себе приготовил. Слушай, ты не знаешь случайно, что такое правило товарищества?

— По-моему, так: главное — не фискалить, поддерживать товарища в беде, кроме того...

— Дурной ты! Я тебя об арифметическом правиле спрашиваю. Ты еще на уроке ляпни такой ответ Александру Николаевичу...

— Краснокожие!.. — возгласил дежурный, заглянув в окно. — Стройся, как говорится, к расчету. Александр Николаевич идет.

Сдержанный болезненный стон пронесся по всему классу.

«Мне смертию кость угрожала», — прошептал Красильников, судорожно вчитываясь в Киселева, страницы которого были испещрены самыми загадочными цифрами и вычислениями.

Почти у всех в руках вместо Киселева была Бог его знает какая гадость: маленькие засаленные книжонки с аляповато, грубо раскрашенными обложками, крикливо вещавшими, что содержание их не менее зазвонисто: «Тайна мистера Пэка, или три отрезанные головы», «Берлинский палач», «Подземелье дьявола» — все это сплошь грубое, глупое, тошнотворно-безграмотное. Весь этот вздор при первых же словах дежурного, обращенных к краснокожим, моментально нырнул в ранцы и ящики парт, а взамен «берлинских палачей» выскочили спокойные, солидные Киселевы, Киселевы, Киселевы — целое море глубокомысленной арифметики.

— Много будет сегодня убиенных младенцев, — пророчески провозгласил Красильников.

— Типун тебе на язык.

— Ну, типун-то — это вопрос, а единица в журнале — верная.

С первой скамьи раздался судорожный писк умиравшего от ужаса и дурных предчувствий Грачева:

— Замирайло! Золотой голубчик! Спаси нас!

— Как же я вас спасу, дурные! Надо было выучить и тройное и цепное.

— А сам-то ты учил?

— Нет, положим. Я вчера у одного мальчика достал «Фантомас, убийца детей»... Впрочем, постойте, господа... Надо, знаете, что сделать? Занять Александра Николаевича разговором. Гм!.. Стоп. Нашел. Чем ушибся, тем и лечись!.. Есть. Только вы уж поддержите.

* * *

Учитель математики с завидной медлительностью положил на кафедру журнал, вынул платок, протер очки, аккуратно сложил и спрятал платок и только тогда уселся на свое место.

— Ну-с... Перво-наперво мы проверим, кого нет в классе.

Он медлительно развернул журнал.

— Авилов Илья?

— Здесь.

— Агабашев Степан?

— Здесь.

— Андриевич Николай?

— Нет его, — отвечал дежурный.

— И не будет, — вдруг мрачно пробормотал Замирайло.

— Что? — поднял голову учитель. Все молчали.

— Кто сказал «и не будет»?

Замирайло с деланной неохотой поднялся с места.

— Я сказал «и не будет».

— Что ж он, серьезно болен, что ли?

— Нет, — промямлил Замирайло, — не то... Да я уж и не знаю, говорить ли вообще, Александр Николаевич...

— А что такое? В чем дело? — встревоженно поднял голову добряк-математик.

— Да я боюсь, как бы и мне в эту историю не запутаться... Будут еще по судам таскать как свидетеля... — И добавил с лицемерной заботливостью: — А это может отразиться на моих учебных занятиях.

— Нет, ты мне скажи, в чем дело с Андриевичем, — совсем уже встревожился учитель. — Что такое? При чем тут суд?

Замирайло, опустив голову, молчал.

— Ну же? Говори смело, не бойся.

— Ну хорошо... — вздохнул Замирайло. — Я скажу все, что знаю, там не мое дело. Вчера, как вам известно, было воскресенье. Я решил с утра пойти на реку, половить рыбу. Ну, конечно, взял с собой и учебные книжки... Киселева «Арифметику» взял. Думаю, что хотя и знаю все, но все-таки еще подзубрить не мешает. Иду это я к реке, встречаю Андриевича, под мышкой у него синее одеяло и книжки.

Замирайло на минуту замялся, потом великодушно закончил:

— Тоже учебные книжки. Он тоже шел на реку учить Киселева. «Здравствуй, голубчик Андриевич, — говорю я ему. — Куда это ты с книжками и одеялом направляешься?» — «А к реке, — говорит. — Лягу себе, — говорит, — под кустиком и тоже буду учить арифметику». — «Ну, хорошо, — говорю я ему, — только ты садись подальше, чтобы мы не мешали друг другу учить арифметику». Так мы и сделали. Я уселся под ивой на бережку, а он улегся, так... ярдов на сто...

— Ну, ну — и что же? — поощрил заинтересованный учитель.

— Сижу я, значит, ужу рыбку, учу арифметику (хотя, конечно, я знаю, но для верности учил еще), вдруг слышу за спиной на горке голоса... Кто эти проходящие, я не видел — сидел спиной, да и кусты мешали, но разговор я услышал такой: «Так, значит, решено, Манюк?» — «Значит, решено». — «Деньги получишь, как обещано. Это тебе получше лошадей». — «А вы верно знаете, что он тут?» — «Здесь он,

здесь. Взял одеяло и пошел на реку... Манюк!» — «А?» — «Только сделай же так, чтобы никаких следов не было». — «Да уж раз река под боком, какие же следы...» Тут они прошли, и я дальше ихнего разговора не слышал... Только минут через пять до меня донесся издали какой-то разговор, потом подавленный крик, потом плеск воды!.. А потом все смолкло.

— Ну, — поощрил учитель.

— Все... — глубоко вздохнул Замирайло. — Я больше ничего не знаю.

Учитель задумался, покусывая суставы пальцев.

— Я думаю, что все это вздор. Просто случайное совпадение. Кому, спрашивается, может понадобиться жизнь Андриевича... Ну-с... А теперь приступим к правилу товарищества. Кого бы мне вызвать?..

Вдруг с места поднялся Красильников и взволнованным голосом спросил Замирайло:

— Замирайло! А какого цвета было одеяло у Андриевича?

— Синего, — с готовностью ответил Замирайло.

— Синего? Гм... Странно. Все это очень странно, — потирая лоб, прошептал Красильников.

— Что тебе странно, Красильников? — удивленно спросил учитель.

— Такое странное совпадение. Как вы знаете, господа, дом моего отца стоит на Проломной, ярдах в четырехстах от реки. А у нас есть собака — Тигр. И этот Тигр вечно шатается по окрестностям и всегда норовит притащить какую-нибудь дрянь: то кусок дохлой кошки, то обглоданную кость. А вчера он является домой и приносит в зубах кусок синего... одеяла. И на куске какие-то красные пятна, запачканные землей. Тигр положил обрывок на пол и стал слизывать красные пятна...

Красильников потер ладонью лоб и умолк.

— Все? — спросил учитель.

— Все.

— Да, все это странно. Ну, я думаю, его родители сами все выяснят. Итак: правило товарищества... Вызовем мы...

— Теперь мне многое делается ясным, — громко сказал Грачев, ни к кому определенно не обращаясь.

— Что тебе ясно? — встрепенулся учитель.

Грачев встал и начал уверенным, полным тайного значения тоном:

— Вчера я зашел к Красильникову взять у него учебник арифметики. У меня мою книгу кто-то украл (мне говорили, что в городе действует какая-то шайка), а я хотел во что бы то ни стало приготовить на сегодня урок... Захожу к Красильникову, он сидит, учит правило товарищества. Поговорили о том о сем, об арифметике... Вдруг он рассказывает: «Понимаешь, — говорит, — наш Тигр принес странный обрезок одеяла». — «Обрывок, — поправляю я, — а не обрезок»... «Нет, — говорит, — обрезок». Ведь ты, Красильников, настаивал на том, что это обрезок?

— Настаивал, — с готовностью согласился Красильников, — и сейчас настаиваю. Кусок одеяла, именно срезок от целого, и нож, очевидно, был очень острый, потому что без рваных мест.

— Все-таки что же тебе ясно? — переспросил Грачева учитель.

— Когда он показал обрывок или там отрезок, я и говорю: «Постой, да ведь это одеяло Андриевича. Я у него как-то был, сидел на кровати и как раз обратил внимание на цвет и рисунок одеяла...» Мне как-то сразу сделалось беспокойно. «Знаешь

что, — говорю я. — Пойду-ка я к Андриевичу, лучше у него возьму арифметику. Кстати же и проведаю его, как он живет». Попрощался с Красильниковым, иду...

— Да, это верно, — подтвердил обстоятельный Красильников, — он со мной попрощался и пошел...

— Не мешай, Красильников, — раздался гул голосов.

— Иду... Прихожу к Андриевичу, встречает меня ихняя домоправительница... Как известно, господа, Андриевич сирота, сын очень богатых родителей, и живет он у своего холостого опекуна. «Что вам?» — спрашивает меня домоправительница и все этак подозрительно на меня поглядывает. «Андриевич дома?» — спрашиваю. «Нет его, нет, и неизвестно, когда будет». И видно, что старая ведьма старается как можно скорее спровадить меня со двора. Вдруг вижу я, из дому на крыльцо выходит цыган Манюк, про которого говорят, что он конокрад и занимается вообще всякими темными делами... И вдруг тут меня будто что в бок толкнуло. «А я, говорю, к Андриевичу пришел по делу. Мы, видите ли, устраиваем любительский спектакль, и нам нужно для занавеса синее одеяло... Андриевич говорил, что у него есть, обещал дать». Она ка-ак рассвирепеет. «Уходите, — кричит, — никаких одеял не могу вам дать! Молодого барина нет, а я без него не могу его вещей давать». А меня как будто кто-то в бок толкает. «Мадам, — говорю я. — Я этого одеяла и не собираюсь брать с собой, вы мне только покажите его, годится ли?» Тут она взвизгнула, схватила меня за плечи, вытолкала и захлопнула калитку перед самым моим носом.

— Гм!.. — промычал учитель. — Замирайло! Выскажи свое просвещенное мнение...

— Что ж я скажу, Александр Николаевич, — скромно встал Замирайло. — Я ничего не знаю, а только у Андриевича в будущем большие деньги, и опекуну выгодно отделаться от бедного Николая...

— Так ты думаешь, что это опекун говорил с Манюком за твоей спиной?

— Уверен, — бодро сказал Замирайло.

— В котором часу это было приблизительно? — спросил учитель.

— В десять часов утра или немного позже.

— Ну, так поздравляю вас: я был вчера около этого времени на вокзале и видел опекуна Андриевича — я его немного знаю в лицо. Он сел в десятичасовой киевский поезд и уехал.

Это сообщение учителя произвело большое впечатление. Все притихли. Воспользовавшись паузой, учитель снова развернул журнал и сказал:

— Кого же бы нам сейчас вызвать?..

— Понял! — вдруг раздался голос Азебашева Степана. — Теперь не буду больше ломать себе голову.

— Над чем это, Азебашев? Над чем ты не будешь ломать голову?

— Да это пустяк, Александр Николаич. Но все-таки меня он удивил. У меня есть товарищ, сын начальника станции... И он вчера утром позвал меня покататься на маневрирующем паровозе. Сели мы — паровоз стоял на запасном пути, сзади десятичасового пассажирского, вдруг раздается третий звонок, пассажирский трогается, и только что он тронулся, как на площадке показался пожилой господин с чемоданом, открыл дверцу площадки да и выскочил с нашей стороны, то есть с противоположной перрону. Схватил чемодан да, сделав маленький крюк, помчался в город.

— Вздор ты говоришь, Азебашев; если, как я тебя понимаю, это был опекун Андриевича, то как он мог через полчаса попасть на реку и встретиться с Манюком, если

от вокзала до реки езды на извозчике не меньше часу. Просто совпадение. Ну, мы все тут болтаем, а час уже скоро кончается. Ну-с, пусть нам расскажет о правиле товарищества... Батуричев, что ли.

Батуричев встал, помолчал немного и сказал:

— Правилом товарищества называется... Нет, не могу припомнить! Может быть, это и пустяк, может, это и не имеет отношения, но сказать я обязан.

Учитель был чрезвычайно удивлен таким продолжением «правила товарищества»:

— Что это ты там бормочешь, Батуричев? Что ты обязан сказать?

— Вчера утром, Александр Николаич, я встал очень рано. Хотя было воскресенье, но, думаю, встану, поучу хорошенько правило цепное и товарищества, а потом пойду гулять... а около нашего дома помещается гараж, оттуда можно брать автомобили. Смотрю, стоит автомобиль, весь в пыли, а около ходит шофер и о чем-то разговаривает с механиком. Я тоже остановился около автомобиля, любуюсь машиной, слушаю. «Чего ж он так гнал тебя?» — «Бог его знает. Я стоял у вокзала, вдруг он подбегает, с чемоданом, пожилой такой, верно, чем-то озабоченный, вскакивает в мотор и говорит: «Поднимите верх и, не жалея машины, летите к реке, пятьдесят рублей на чай получите!» Я и погнал. Около реки из-за кустов вышел какой-то чернобородый, и они о чем-то заговорили... А я уехал». Не знаю, почему мне запомнился этот рассказ шофера, но я...

Резкий звонок, возвещавший окончание учебного часа, прозвучал в коридоре. Все облегченно вздохнули. Учитель сделался задумчив.

— Да, любопытная история, любопытная. Хотел бы я знать, что случилось с Андриевичем и где он сейчас...

И вдруг встал доселе молчавший и погруженный в чтение какой-то раскрашенной книжки Авилов Антон.

— Александр Николаич, — простодушно спросил он. — Вы, кажется, хотите знать, где сейчас Андриевич?

— Да! А ты разве знаешь?

— Я когда шел сегодня утром в гимназию, встретил его. Он сказал, что его опекун заболел и он должен бегать в аптеку и сидеть около него.

— Чего ж ты раньше молчал, чудак? — удивился учитель. — Мы тут целый час толкуем об Андриевиче, а он...

— А я не слышал. Я читал книжку... Арифметику Киселева читал. Так увлекся, что и не слышал, о чем говорят.

— Экая досада. А вы, господа, вечно какие-нибудь глупости выдумаете. Почудится им какой-нибудь вздор, они и пойдут расписывать, только время даром отнимают...

В этот момент в комнату вошел надзиратель. Сказал:

— Александр Николаич! Батюшка сейчас запиской сообщил, что на уроке Закона Божьего не будет. Директор просил вас заняться с классом на один час.

Сдержанный глухой стон как ветерок пронесся по классу.

— Ну-с, пинкертоны, — обратился учитель к поникшим ученикам. — Сейчас пятиминутная перемена, а через пять минут займемся правилом товарищества... Вы все так его вызубрили, что приятно будет вас спросить...

Волосы у пинкертонов встали дыбом. Будто целый лес тоненьких единиц пророчески поднялся на голове у каждого из них.

ДЖИУ-ДЖИТЦУ

Общий друг и благоприятель Саша Кувырков вошел в комнату, оглядел снисходительно всю компанию и очень бодро воскликнул:

— Ну, вы! Червяки дождевые! Что сидите, нахохлившись? Нужно быть радостными, бодрыми и здоровыми! Спортом нужно заниматься.

Это было что-то новое...

Все подняли головы и вопросительно поглядели на Сашу.

— Это ты с каких же пор стал спортсменом? — осведомился долговязый художник Бачкин.

— Я-то? Меня, братцы, всегда к этому тянуло. Что может быть лучшие гармонически развитого тела... И теперь... Вы знаете, я будто снова на Божий свет народился...

— Господи! Еще раз? Нам тебя и одного было довольно.

Актер Челябинский сморщил бритое лицо в тысячу складок и попросил:

— Когда будешь в третий раз рождаться, предупреди нас: мы выйдем из комнаты.

— Вы — лошади! Поймите вы, что с тех пор, как я стал изучать Джиу-Джитцу, я хожу, дышу и говорю по-новому.

— Чего-о?

— Что «чего»?

— Как ты сказал, какое слово?

— Джиу-Джитцу. Японская борьба.

— Ага. Очень приятно. Садитесь.

— Эх, вы, деревянные мозги! Вы все готовы высмеять, над всем вы издеваетесь, а того не знаете, что Джиу-Джитцу такая борьба, в которой маленький хрупкий человек расшвыряет трех больших верзил.

— Что ты говоришь, Саша?!

— Вправду, Саша?

— А, что мне с вами говорить! Я вас просто отошлю к Ганкоку!

— Хорошо, что не дальше.

— Кто же этот удивительный Ганкок?

— Ганкок? О, это, братцы, человек! Он систематизировал и привел в порядок весь огромный материал по истории борьбы Джиу-Джитцу.

Раздались восторженные восклицания:

— Какой молодец!

— Тебе бы так.

— Обязательно запишу его имя в поминание за здравие.

— Боже, как вы омерзительны своей самовлюбленной тупостью. Я вам говорю серьезно, я раскрываю перед вами одно из лучших сокровищ великого японского народа, а вы хрюкаете, как меланезийские дикари над граммофоном!..

— Слава Богу! Наконец-то Кувырков вышел из себя.

— Да право! Я, может быть, и сам раньше думал, как вы, но, когда приступил к изучению Джиу-Джитцу, я благоговейно преклонил голову.

— Ну, не волнуйся, чудак. Расскажи лучше, в чем там дело?..

— Понимаете, это все основано на изучении мускулов и нервных центров человеческого тела. Нажатием известного места на тыльной части кисти руки можно, например, парализовать всю руку и привести человека в беспомощное состояние...

— А ну, покажи.

— Хорошо. Дай-ка ты, Володя, свою руку. Да не бойся, чудак. Джиу-Джитцу тем и хорошо, что без злой воли не наносит членовредительства. Давай руку, Володя, не бойся.

— Я не боюсь, — простодушно сказал Володя, протягивая руку.

— Ну, вот... Видите это место? Тут, между двумя суставами. Ну, вот — я нажимаю это место... больно?

Чувствуешь?

— Нет, ничего. Только ты ногтем не дави.

— Я не давлю, Боже меня сохрани. Больно? Чувствуешь ты, как рука постепенно немеет?

— Нет, как будто ничего.

— Постой... Ах, да, я не ту руку взял. Дай другую.

— На.

— Ну, вот. Больно?

— Да, как будто немножко больно, — сказал добряк Володя, сжалившись над пыхтящим, измученным Сашей Кувырковым.

— То-то и оно. Это еще ничего. А то есть страшные вещи: ребром ладони, если ударить наискосок, можно переломить руку.

— Чью? — робко спросил кто-то.

— Понятно, чужую. Что за идиотский вопрос. А вы, знаете, например лучший способ обезвредить противника, не трогая его пальцем?

— Нет, нет. Покажи, Саша.

Чего ж ты лезешь? Где у тебя лацканы?

— Ну, вот, скажем, возьмем Бачкина. Пойди сюда, Бачкин. Вот, например, Бачкин подходит ко мне с намерением напасть на меня. Подходи, Бачкин, с намерением напасть на маня.

— Ну, подходи же, Бачкин, — поощрительно зашумела заинтересованная компания. — Подходи, не бойся.

— Подходить, значит, нужно с намерением напасть? — переспросил добросовестный Бачкин.

— Ну, да!

Бачкин выпучил самым злодейским образом глаза, растопырил руки и, рыча, стал приближаться к мужественно ожидавшему его Кувыркову.

— Ну, вот, смотрите, господа: он приближается, я хватаю его за лацканы пиджака дергаю их вниз и... Постой, черт! Чего ж ты лезешь? Где у тебя лацканы? Где пиджак!..

— А разве нужно пиджак? — смутился Бачкин. — Ну, извини, пожалуйста. У меня рабочая блуза.

— Так же нельзя, господа... В блузе человек, а на Джиу-Джитцу лезет. Дайте ему кто-нибудь пиджак сверх блузы. Вот так! Надевай, Бачкин... Подкрадывайся с целью напасть.

Ну, вот, глядите... Постой... ты только не поднимай руки; держи их так вот, опущенными. Ну, глядите: раз, два, три!

Кувырков схватил Бачкина за лацканы пиджака и дернул их вниз, спустив пиджак с плеч до половины. Руки у того действительно оказались ущемленными спустившимся пиджаком, что привело всех в восторг.

Поаплодировали.

Кувырков торжествующе держал Бачкина за лацканы.

— А дальше что? — кротко спросил Бачкин.

— Дальше ничего. Я тебя обезвредил.

— Но ведь ты меня должен так держатъ все время.

— Почему?!

— Да стоит тебе только выпустить мой ворот из рук, как я на тебя нападу.

— А ты не нападай, — благоразумно возразил кто-то.

— Позвольте, — сказал Кувырков. — Но если он на меня нападет, у меня явится другой прием. Ну, вот, я тебя выпустил, нападай на меня.

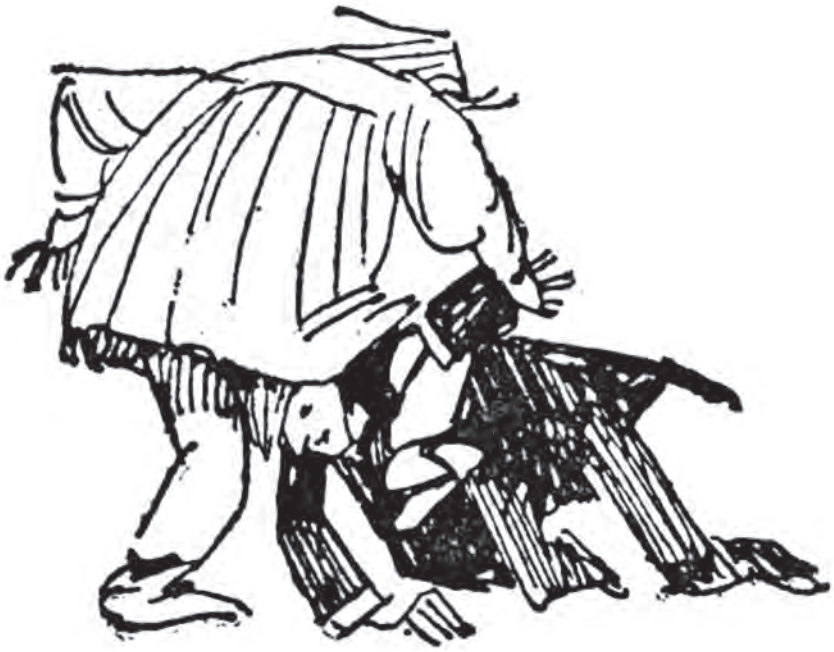
Бачкин поднял руку и нерешительно схватил Кувыркова за горло.

— Постой, постой... Так нельзя. Ты пусти. Видишь ли, ты должен поднять обе руки кверху и напасть на меня. Ну, нападай! А я приседаю, подныриваю под твои вытянутые руки, одной рукой схватываю за ближайшее колено, и... дальше я, кажется, забыл, что нужно делать... Пусти-ка. Да постой! Я посмотрю, в чем там дело.

Кувырков вылез из-под долговязого Бачкина, вынул из кармана книжечку в кирпичного цвета обложке и стал усердно ее перелистывать.

— А, вот: «Нападающий часто пускает в ход такую проделку: прыгнув вперед и выпрямившись, он тотчас же приседает под вытянутые руки противника, одной рукой схватывает его за ближайшее колено, а другой — возможно выше наносит удар. Во время удара надо тянуть охваченное колено вперед или в сторону, и у противника, приготовившегося отразить атаку на другой высоте, остается только один свободный выбор: падать или на спину или на бок». Ну, вот. Давай сначала! Ну, нападай. Руки вверх, как можно выше, ради Бога! Ну, вот. Гоп! гоп! гоп! Чего ж ты не падаешь?

— А разве нужно упасть? — удивленно спросил Бачкин.



Чего ж ты не падаешь?

— Ну, как же! Вот идиот. Я его и за колено тяну и в живот ударил, а он стоит, как колокольня Ивана Великого!

— Да там как сказано, в книжке-то?

— Просто сказано: «Противнику остается только один свободный выбор: падать или на спину, или на бок». А ты не падаешь.

— Просто Бачкин бездарный дурак, — сказал Володя. — Если бы он изучил Джиу-Джитцу, он знал бы, когда нужно упасть. Охота тебе, Кувырков, со всяким бороться.

— Вот ты, Володя, смеешься, а на самом деле, ей Богу, Джиу-Джитцу, замечательная вещь. Вы знаете, господа, знаменитый прием с нажатием основного сустава безымянного пальца?

— Нет... Откуда ж нам знать!

— Мы люди темные.

— Прекрасный, так называемый, «джентльменский» прием. Вам стоит только повернуть противника к себе вполоборота, захватить его руку и, нажав своими двумя пальцами верхний сустав безымянного пальца противника совершенно обезвредить его. Володя, дай руку.

— На! Здравствуй, как поживаешь?

— Не шути. Сейчас тебе будет не до шуток. Ну, вот. Видите? Я надавливаю на твой сустав. Теперь, — торжествующе закричал Кувырков, — бей меня по чем хочешь — по голове, по затылку, по груди — посмотрим, как тебе это удастся.

— Изволь, — сказал Володя и ударил Кувыркова по затылку довольно сильно.

— Постой, я, кажется, не тот сустав надавил... А ну-ка, дай этот. Ну? Теперь попробуй. Ой! Ну, это уже свинство... Я тебе ведь только показываю, а ты обрадовался! Дерется, болван, что есть силы...

— Так ты же ведь говорил, что ударить нельзя!

— Конечно, нельзя. Вот тут и в книжке сказано: «В этом положении противник ни в коем случае не может коснуться ни одной части тела нападающего». Понял! *«Ни в коем случае»*.

—Ну, извини. Других приемов там нет?

Саша Кувырков погас, увял и тон его сделался лениво-покорным.

— Да, конечно, есть и другие приемы. Это ведь замечательная борьба. Еще древние самураи боролись.

— Земля им пухом, — благоговейно прошептал художник Бачкин.

А актер Челябинский упругим прыжком вскочил на стол, принял позу и манеру старого профессора-лектора и сказал:

— Милостивые государыни и милостивые государи! Искусство японской борьбы Джиу-Джитцу очень сложное и трудное искусство. Постольку, поскольку наш известный молодой чемпион Кувырков познакомил нас с этой борьбой — Джиу-Джитцу требует многого. Во-первых, при нападении, враг должен быть в пиджаке; если же оного у него нет, он должен пойти домой, или к приятелю, или в магазин готового платья и там таковой пиджак приобрести. Во-вторых, противник должен быть вежлив, и, если вы утверждаете, что рука у него вашим приемом парализована, он должен немедленно согласиться с вами — иначе он хам и мытарь. В-третьих, если по учебнику Джиу-Джитцу после одного из ваших приемов противник должен лежать на земле, то пусть он, каналья, ложится, а не стоит, как каланча. И, наконец, в-четвертых,

если тебе нажимают на сустав, не смей драться, раз тебя уверяют, что в этом положении ты не можешь «ни в коем случае коснуться тела противника»! Резюмируя все вышесказанное и подводя, так сказать, итог — я должен сказать, что японская борьба Джиу-Джитцу — борьба замечательная, дающая вам бесценные преимущества, но только в том случае, если изучали ее не вы, а ваш противник. За здоровье самурая Кувыркова! Ура!

Все сделали вид, что растроганы и принялись утирать платками сухие глаза.

— Ботокуды перед Рафаэлем, — прошептал Кувырков и, спрятав аккуратно в карман книжечку кирпичного цвета, печально направился к выходу.

АРКАДІЙ АВЕРЧЕНКО

ЗАПИСКИ ТЕАТРАЛЬНОЙ КРЫСЫ

ЦѢНА 10 КОП.

ДЕШЕВАЯ ГОМОРИСТИЧЕСКАЯ БИБЛІОТЕКА ЖУРНАЛА НОВЫЙ САТИРИКОНЪ

САМОЕ БОЛЬШОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

Недавно я решил открыть в столице собственный театр: нанял помещение, пригласил хороших актеров и умных режиссеров.

— Я думаю, можно и начинать, — сказал я старшему режиссеру. — Для открытия мне бы хотелось поставить «Отелло» Шекспира.

Режиссер согласился со мною.

— Прекрасно! На ближайшем заседании мы это и обговорим.

— Разве нужно заседание?

— А как же! Это очень сложная и трудная вещь — постановка пьесы.

— Да, да — это верно. Пока раздашь роли, начнешь репетиции, напишешь декорации...

Режиссер в ужасе взглянул на меня и отшатнулся...

— Создатель! Да имеете ли вы какое-нибудь представление о театре? Не полагаете ли вы, что, для того чтобы построить дом, достаточно навалить груду кирпичей?

— Простите... я...

— Ничего, ничего. На заседании вы увидите, как это делается.

* * *

Было заседание.

Когда все собрались, главный режиссер встал, откашлялся и сказал:

— Милостивые государи! Прежде всего, мы должны бросить беглый, ретроспективный взгляд на Бэкона. Шекспиро-бэконовский вопрос прошел два фазиса. До 1889 года бэкониада ограничивалась одними теоретическими домыслами в своем походе против Шекспира. Но шекспирологи не обращали внимания на новый фазис бэкономии. В этом смысле высказалось, напр., немецкое Шекспировское общество в 20-м «Jahrbuch». Но уже в 24-м «Jahrbuch-е известный профессор Лео выступил с очень резкой статьей против американца Донелля, изобретателя бэконовского шифра. Странно, однако, что среди всех обличительных статей против Донелля в «Jahrbuch»-е нет ни одной, в которой было бы обращено внимание на язык будто бы раскрытого шифра...

— Действительно, странно! — подхватил я. — Изумительно прямо. Ну, кому же мы поручим роль Отелло?

Все странно взглянули на меня, а режиссер сказал:

— Теперь бросим беглый взгляд на мнение по этому поводу графа Фитцум фон Экштедт...

Режиссер говорил долго. Он бросал беглые взгляды налево, направо, назад и вперед.

— Впрочем, — закончил он, — я не буду теперь об этом распространяться. Мною приглашены профессора Марачек и Палачек, которые осветят вам этот вопрос в специальной лекции. Я же подойду прямо к постановке «Отелло». Завтра я уезжаю в Стратфорд.

— Как уезжаете?! — испугался я. — Ведь вы же только что сказали, что... подойдете прямо к постановке пьесы.

— Ну, да! Вы, ей-Богу, точно ребенок... Я для этого и еду в Стратфорд. Вы ведь знаете, что Шекспир был крещен в церкви Holy Trinity?

— Неужели? Вот не думал!

— Да, конечно! Я сделаю несколько снимков на месте, затем обследую точно улицу Генли (Henley Street); дело в том, что место рождения Шекспира колеблется на этой улице — между двумя смежными домами, и я постараюсь выяснить...

— А вдруг вам не удастся выяснить? — опасливо сказал кто-то.

— Это было бы большим ударом, но ничего. Постараюсь сделать, что можно, сфотографирую фасады, расспрошу жителей. Поброжу по берегу Авона... Надо многое продумать.

— Кто же будет играть Отелло? — переспросил я. Премьер Кораллов встал и заметил, разглядывая свои руки:

— Я думаю — я.

Режиссер закрыл глаза ладонью и сказал сосредоточенно:

— Позвольте, позвольте! Сейчас, сейчас. Дайте вдуматься, дайте осознать это... — И, отняв ладонь от глаз, воскликнул:

— Да! Вы!

— В таком случае, — согласился Кораллов, — если я — сегодня же мне придется выехать.

— Куда? — встревожился я.

— В Абиссинию!

— Значит, вы отказываетесь от роли?

— С чего вы это взяли? Дело в следующем: вам, вероятно, известно, что население Северной Африки отличается многообразной помесью рас. Мы наблюдаем различные комбинации рас семитической (арабы), древнеегипетской (копты), белой (туареги, в которых видят потомков древних гиксов), эфиопской (абиссинцы) и чисто негритянской. Я объеду Каир, Александрию, Луксор...

— Позвольте, — сказал я, — а Дездемона? Кто играет Дездемону?

— Я, — ответила премьерша. — Это ничего, что я не знаю итальянского языка?

— А зачем вам? Пьеса уже переведена с английского.

— Много вы понимаете. Как же я буду играть, не побывав во дворце дожей, не проникнувшись запахом Canale Grande и величавой красотой божественного палаццо на Пьяцетте.

— Ничего! — сказал ей декоратор. — Мы поедем вместе. Съездим сначала в Кипр, потом в Венецию, потом...

— И прекрасно, — вскричал бутафор. — Втроем веселее. Выедем через недельку...

— А вам зачем? — обернулся я к нему.

— Это очень даже странно — ваш вопрос; вы, кажется, забыли эпизод с платком Дездемоны...

— Ну?!

— В Венеции есть специальные мастерские кружев: в Мурано, Бурано, Турано, Дурано...

— Изучать будете? — прищурился я.

— Да-с, изучать! Не думаете ли вы, что мы можем делать все на авось? Ох уж эти мне антрепренеры, — все авось, небось и как-нибудь... Вы, может быть, скажете, что мне не нужно поехать и в Лондон для снятия копии со знаменитого «кинжала Отелло», хранящегося в Западном отделе Британского музея.

— Или мне для роли Кассио не нужно изучать караульную службу на месте, среди кипрских регулярных военных частей?! — подхватил второй любовник.

Я встал и, сделав знак, что желаю говорить, торжественно начал:

— Я приветствую ту любовь к нашему прекрасному делу, ту любовь, о которой говорите вы. Для того чтобы пьеса была обставлена и сделана, как следует, — все это насущно важно и чрезвычайно необходимо. Я пойду еще дальше: по пьесе сказано, что в ней участвуют «послы, музыканты, матросы и прочие». Я думаю, не мешало бы актеров, играющих послов, отправить в итальянское посольство — пусть изучают! Му-

зыканты пусть возьмут несколько уроков у профессора консерватории, а матросам устроим особый бассейн с моделью корабля, для того чтобы они, плавая, могли проникнуться своими ролями... Остаются «и прочие» — устроим и им курсы. Если за сценой будут выстрелы — возьмем несколько уроков орудийной стрельбы у артиллеристов, или, еще лучше, отправим помощника режиссера на заводы Крезо... В первом акте Брабанцио кричит: «Огня!» Не мешало бы запросить по этому поводу мнение спичечных фабрик: «Соло», «Вулкан» и других. Мы все это сделаем. И я даю вам слово, что и я сам, я, антрепренер, приму участие в общем творчестве!

— А что же вы... будете делать? — усмехнулся режиссер, пожимая талантливым проникновенным плечом.

— Я? Да ведь на то, чтобы поставить, как следует, эту штуку, нужны большие деньги?

Режиссер снисходительно улыбнулся.

— Да... не маленькие.

— Ну, то-то же! Так что же делаю я? С завтрашнего же дня поступлю простым рабочим в экспедицию заготовления государственных бумаг и начну с самого начала изучать быт служащих, рабочих и способ изготовления кредитных бумажек. Все это нужно прочувствовать, во все вникнуть. Постановка — так постановка! И вот, господа, когда я изучу это дело, тогда и можно приступить к дальнейшей постановке «Отелло»... Года через два-три и займемся. Вот что-с!..

Расходились опечаленные.

АКТЕРЫ

Драматург сидел в уборной актера и, покуривая сигару, следил за тем, как актер наклеивает себе горбинку на нос. Между делом актер говорил:

— Уверяю вас — душу актера мало кто постиг. Его изображали пьяницей, мошенником, соблазнителем чужих жен, прихлебателем, интриганом и надутым ничтожеством. Все это, по-моему, неважно. А душу, настоящее внутреннее содержание актера, господа бытописатели проглядели. В актере есть одна только черта характерная — и я удивляюсь, как это ее не замечали — ведь она так и бьет в глаза, так и лезет наружу.

— Что же это такое? — спросил драматург.

— Вы знаете, кто такой, в сущности актер?

— Ну?

— Дитя! Самое настоящее милое шести-семилетнее дитя, со всеми достоинствами и недостатками этого чудесного возраста.

— Хорошее дитя, — прищурился драматург. — Этакое дитя если пустить какую-нибудь сплетню или подставить ножку, так...

— Я же вам говорил, что это все неважно. Это ил, наносная почва. Под ней — чистейший хрусталь! Я это все замечаю, потому что, в сущности, я не актер. И очень жаль: что не актер... значит, под моим илом хрусталь не обнаружится. Не спорю: с актерами очень трудно ладить, но кто найдет кто нащупает их настоящую слабую струну — тот поведет за собою всех, как баранов. Вы, конечно, слышали когда-нибудь об антрепренере Пикадорове?

— Нет, простите, не слышал, кто это такой?

Второй актер, скромно возившийся в углу с каким-то паричком, поднял голову и издал удивленное:

— Э!

Старый парикмахер, поправлявший первому актеру прическу, обернулся к драматургу и сказал укоризненно:

— Эге?

А актер, спросивший о Пикадорове, оказался всех многословнее... Он вскричал, поваженный:

— Эге-ге!

— Что такое?

— Вы не слышали о Пикадорове? — сказали хором оба актера и парикмахер. — Ну, батенька знаете... Как же так можно...

— Расскажи ему о Пикадорове! — укоризненно сказал второй актер.

— Да, не мешало бы им рассказать о Пикадорове, — подтвердил парикмахер.

— Нужно, нужно рассказать вам о Пикадорове.

Актер попудрил нос, потрогал его — крепко ли сидит горбинка, и начал:

Рассказ об антрепренере Пикадорове

...Согласитесь с тем, что нужно большое искусство не платить актеру денег. Как я уже говорил, актер — дитя, но там, где нужно выколотить с кого-нибудь деньги, — актер — тигр. Правда, тигр простодушный, доверчивый, но в тоже время яростный, зловещий, шипящий и рычащий:

— Мне мои денежки подайте!

И вот Пикадоров никогда никому не давал денег. Каким образом? Почему?

Тут-то вы и увидите, какие актеры дети (к счастью, я не актер в душе!).

— Вы что, голубка?

— Неужели, не догадываетесь, Николай Пантелеймоныч: деньги нужны!

Пикадоров как-то сразу глупел в лице. Выражение губ делалось вялое, тупое, а глаза мутнели и казались совсем оловянными.

— Что т-такое? А? Где? Какие деньги? Кого? Э? Как?

— Денег мне нужно; мне следует!

— Ах, деньги!

Бессмысленное лицо озарялось улыбкой.

— Так, так — деньги! Денег у меня, голубка, нет.

Это он говорил всегда, даже в то время, когда пьеса шла с аншлагом, и у пристава клянчили разрешение на приставные стулья.

— Помилуйте, Николай Пантелеймоныч... Да ведь пьеса делает полные сборы.

Пикадоров всплескивал руками.

— Пьеса?! Да какая же это пьеса?!

Он отводил актера в сторону и шептал таинственно:

— Доверительно могу сообщить, по секрету: какая же эта пьеса? Дрянь! Позор! А вы мне говорите — пьеса.

Сбитый с толку этим странным возражением, актер долго смотрел на собственные ботинки и, наконец, опомнившись, возражал:

— Однако, ведь сборы полные! Публика в восторге.

Презрение, написанное на лице Пикадорова, переходило в отвращение:

— Публика? Да какая же это публика? Это сборище воровок, сутенеров и убийц, а не публика. Идите-ка сюда! Вот тут, в занавесе есть дырочка — взгляните! Ведь это позор! Подонки общества!

И опять ошеломленный актер, опомнившись возражал:

— Однако, эти подонки покупают билеты.

— Билеты?! Билеты?! (и в голосе Пикадорова уже слышалась истерика). Да они не только билеты — они калоши чужие у вешалки крадут. Он наш собственный стул, на котором ему дали посидеть, унесет, а не только билеты. Ха-ха! Билеты!

Большинство актеров так и отходило, не добившись никакого толку. Но был такой процент, на который «да какая же эта пьеса» и «да какая же это публика» — не действовало.

Для этих у него был особый прием: он принимался рыдать:

— Гриша, — голубчик, ты думаешь, мне легко? Ты думаешь, мне денег жалко? Да пропади они, деньги эти! Но душа, Гриша, — это святая святых человека, и кто плюнет в душу — тот на небо плюнул, Гриша. Зачем же ты топчешь в грязь мою живую душу? Деньги! Всем известно, как Пикадоров платит деньги, все знают, что Николай Пикадоров свою рубашку актеру отдает.

Такой случай, действительно был: однажды какой-то актер за сторублевый долг взял у него поношенную крахмальную сорочку, — все что предложил ему продувной Пикадоров.

— Верно? — рыдая, кричит Пикадоров. — Ну, скажи, Гриша, ведь простота Пикадорова вошла в пословицу? Деньги тебе нужно? На! Забирай! Грабь! Пикадорову

ничего не нужно! Вот кошелек — видишь, Гриша, два рубля с копейками. Забирай! Гриша, все забирай. Ничего... Ничего, что старый разоренный дурак Пикадоров пойдет пешком домой и ляжет спать с пустым брюхом, без единой затяжечки папиросой. Эх, Гриша! Доехали...

И, опустившись на стул, он принимался рыдать.

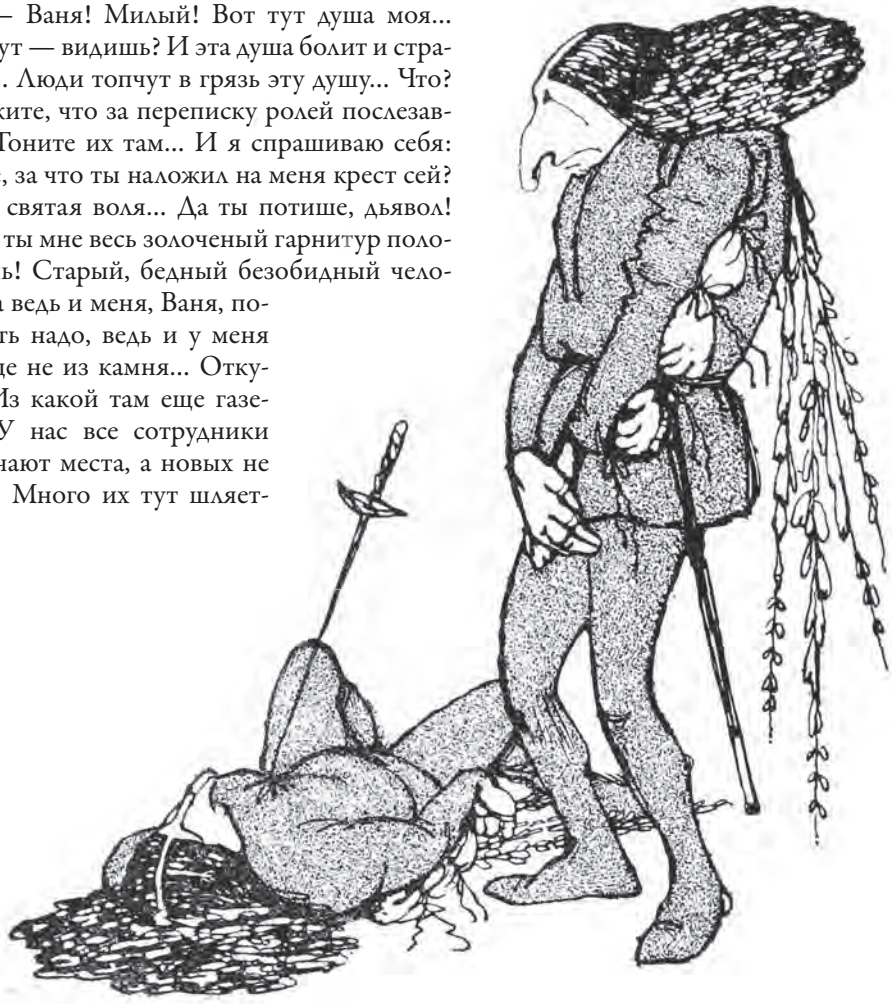
Растроганный Гриша брал два рубля, вместо пятидесяти, на которые имел право, а антрепренеру оставлял в кошельке мелочь...

— Спасибо, Гриша! Пожалел ты меня. Будет и мне, старенькому, на папиросочку

И он целовал Гришу, а Гриша целовал его, и оба расходились, — один растроганный, другой, по-прежнему, плутоватый, с лицом, на котором еще не высохли живые слезы, и с вороватыми глазами настороже.

Я сам был свидетелем, как он плакал перед одним актером, стоя за кулисами и распоряжаясь в то же время по хозяйству.

— Ваня! Милый! Вот тут душа моя... вот тут — видишь? И эта душа болит и страдает... Люди топчут в грязь эту душу... Что? Скажите, что за переписку ролей послезавтра! Гоните их там... И я спрашиваю себя: Боже, за что ты наложил на меня крест сей? Твоя святая воля... Да ты потише, дьявол! Этак ты мне весь золоченый гарнитур поломаешь! Старый, бедный безобидный человек, а ведь и меня, Ваня, пожалеть надо, ведь и у меня сердце не из камня... Откуда? Из какой там еще газеты? У нас все сотрудники получают места, а новых не надо. Много их тут шляет-



ся... И так это меня, Ваня, иногда в могилку тянет на отдых усталым костям. Лягу я ночью в постель и думаю: ты у меня будешь, дубина, топотать, сапожищами, когда занавес поднять... Я тебе постучу!!

Вот как он держал себя с актерами. Кажется ведь, — ну, что он говорит? Пустяки, побрякушки... Дешевые слезы, дешевый пафос, а актер — этакая нервная, непосредственная натура — плакал вместе с ним и отъезжал без копейки.

Много ли нужно, чтобы растрогать ребенка?

Одному второму любовничку он задолжал рублей триста... Ну-с... И выдумал он при встречах с ним штуку — восхищаться его галстуками.

Восхищение было фальшивое, грубое, но актер краснел от удовольствия и принимался вместо определенного требования, лепетать разную дрянь.

— Николай Пантелеймонович... А я к вам. Вы обещали что... что...

— О, Боже мой! О, Боже мой!.. Опять новый! Да ведь это не галстук, а очарованье. Откуда?! Ну, откуда вы такую прелесть берете? Бездна вкуса, тонкость, изящество! И с каждым днем все лучше и лучше! Ваня! Николаша! Сергей Иваныч! Взгляни ты на эту прелесть! Ведь это не галстук, а музыка!!

И все обступали любовничка, а Пикадоров пробирался потихоньку за их спинами, садился на извозчика и ехал домой.

Вот что такое Пикадоров.

Кажется, пустяк, а глядишь — ведь человек этот буквально раскусил, как орешек, актерскую душу.

* * *

— Да уж... штучка были они... господин Пикадоров, — подтвердил парикмахер, завертев горячими щипцами.

— Знал, чем человека взять, — вставил второй актер, наладивший, наконец, паричок..

— Где же он теперь? — спросил драматург.

— Бог его знает, где. В прошлом году держал Воронеж.

Драматург неопределенно хмыкнул и спросил:

— Прочли мою пьесу?

— Прочем, только, знаете, не вижу, кого мне там играть.

— Как кого? Князя Арнаутского.

Актер повернулся на стуле так, что стул застонал.

— Арна-ут-ского? Да ведь это эпизодическая роль. Как же мне ее играть? Типичная вторая роль.

— Милый, ради Бога! Если вы возьмете Арнаутского — пьеса прелестно расходится.

— Да что вы, батенька! Я еще не сошел с ума. Там ведь делать нечего.

Драматург вскочил и обнял актера за шею.

— Вам? Нечего? Да ведь из двух слов перл создадите! Опомнитесь! Вы создадите тип, который останется в веках. О, Боже мой! Всякая бездарность может провалить и хорошую роль, но создать из малоблагодарной роли живое лицо — это удел немногих, скажу прямо: это наш удел! А, конечно, если дать Загарину — он ведь всю пьесу загубит.

Актер, успокоясь, кивнул головой.

— Загарин погубит.

— Погубит?! Он не только погубит, он мне все мое литературное имя в грязь втопчет. А вы думаете, ее Симбирскому можно дать?! Воображаю.

— Да уж... Симбирский, — пробормотал актер, кладя синюю краску около век. — Поручите ему; не обрадуетесь.

— Вот то-то и оно. Единственный есть талантливый человек, который... кстати, вы имеете последнюю книгу моих рассказов?

— Нет.

— Позвольте вам поднести ее; я напишу: «бриллианту, лучи которого не только ослепляют, но и восхищают, обаятельному могикану нашей сцены»...

— Напишите «ветерану».

— Напишу — ветерану. А знаете, это даже лучше. Однако, что значит чуткий культурный человек! Он сразу может найти нужное слово... Как вы думаете играть Арнаутского? Молодящимся старичком? Или?..

Актер подпер подбородок рукой и задумался:

— Гм!.. Нет, лучше я сыграю его человеком средних лет с налетом какой-то душевной усталости.

— Как? Усталости! Именно усталости! Это именно то слово, которое я искал.

ДАННЫЕ ДЛЯ УСПЕХА

Недавно на премьере в одном из театров (случайно в этот день шла моя пьеса) я встретился в первом антракте у буфета с рецензентом газеты «Голос Эртелева переулка».

— Ну, как вы? — осторожно осведомился я.

— Я ничего, — пожал он плечами. — Вы как?

— Что нам делается, — неопределенно заметил я.

— Такое дело уж наше драматическое, — рассеянно покачал он головой. — Как говорится: и не довернешься — бьют, и перевернешься — бьют.

— То есть?

— Вообще.

— Гм..!

— Вот вам и — гм..!

Мы скосили глаза и посмотрели друг на друга.

— Как вам нравится моя пьеса?

— Пьеска! Как вам сказать... Я не имею никаких *данных* утверждать, что пьеса хороша.

— То есть, значит, пьеса плоха? — огорченно вздохнул я.

— Я этого не говорю, но у меня нет данных утверждать, что пьеса хороша.

— Понимаю! Вы просто находите пьесу средней.

Он пронзительно взглянул на меня.

— Я не имею даже *данных* находить ее средней. Понимаете: не имею данных.

— А если бы вы имели *данные*?

— О, тогда другое дело! Вы сами понимаете: если я имею данные находить вашу пьесу хорошей, то с моей стороны было бы недобросовестно ругать ее.

— Я бы хотел, чтобы вы имели данные.

— Поверьте — я не менее. Мы помолчали.

— Кстати, о Чехове, — спохватился я. — Вы ведь знали покойника?

— Знал...

— Представьте, какая досада: несколько лет тому назад я одолжил у него пятьдесят рублей и все не мог собраться отдать. Теперь у меня и деньги есть, и желание отдать...

— Хорошо, — с безыскусственной простотой согласился рецензент, — я передам ему.

— Ну вот и прекрасно. С моей души камень снимите. Вот-с... ровно пятьдесят.

— Позвольте, позвольте, — призадумался он. — Помнится мне, покойник Антон Павлович часто говаривал, что вы ему задолжали сто рублей.

— Ах, ведь и верно, — всплеснул я руками. — Только видите ли... хотя я и брал у него сто, но однажды двадцать пять ему вернул. Он, вероятно, это запамятовал.

— Ну, ладно, — махнул рукой рецензент. — Передам 75.

— Очень обяжете.

Он уселся на диванчик, поболтал ногой и сказал, рассматривая потолок:

— А то у нас и «Вечерняя газета» есть. Тоже газета.

— Ну, какая же это газета. Ведь ее никто не читает, — улыбнулся я.

— Кому надо — прочтут.

— Надеюсь, что эта газета найдет мою пьесу сносной.

— Газета не имеет для этого данных!

— Ну много ли нужно для этой газеты данных?

— Да, положим, немного. Газетка маленькая — короче воробьиного носа. И данные, чтобы найти пьесу хорошей, соответственные.

— Ох, печать, печать! — вздохнул я.

Он подтвердил:

— Да-с. Шестая часть света. Пресса.

— Да-а. Именно — пресса. Недаром в последнем слоге две буквы «с» рядом.

Он отодвинулся.

— Что вы хотите этим сказать?

— Не обижайтесь, ничего. Я пошутил.

— Я еще не имею данных, чтобы выслушивать такие шутки!

Он отвернулся и замолчал.

Я засунул руку в боковой карман, вынул из бумажника красную бумажку и положил ее на пол. Он нагнулся.

— Что это такое?

— Собачка. Не правда ли, премиленькая?

— Ничего. Мала только очень. Какой породы?

— Борзой щенок. Хотите подарю?

— Я не большой охотник до маленьких собак. По-моему, если собака — так чтобы она была друг человека. Большая, сильная.

— Ну, знаете... Нынче и маленькие собачки ценятся. В Англии, например.

— Ну, что Англия... Переведите-ка вашу пьесу на английский язык, может быть, они и найдут достаточно данных, чтобы прийти в восхищение.

Я пожал плечами.

— Все-таки, фунт.

— Чего фунт?

— Да в собачке моей. Собачка фунт весит.

— Да ведь не русский же фунт!

— Еще чего захотели! Я говорю об английском фунте. Право, возьмите собачку, а?

— Пусть подрастет.

— До?

— До двух с половиной фунтов.

— Тяжела будет! Кто там ее читает, вашу «Вечернюю».

— Кому надо — прочтут.

— Гм! Ну, и ежели мой пес два фунта потянет?

— Эх! Ну, ладно. Сделано.

Собака поднялась на задние лапы и прыгнула в реценентову будку, устроенную в жилетном кармане.

— Куш! — сказал рецензент, хлопнув себя по карману.

Я вздохнул.

— А вы знаете, я ведь и в заграничные газеты корреспондирую.

— Ну-с?

— Так вот я хотел сказать: с нашей российской точки зрения я имею вполне достаточные данные быть довольным вашей пьесой. Но за границей... сами знаете... другие условия... иной уклад жизни.

— Другие условия? Понимаю. Ну, что ж. На том свете тоже другие условия, — деликатно возразил я.

— Что вы хотите этим сказать?

— Да то: вот теперь я, скажем, драматург, а на том свете, может быть, углем буду торговать.

Рецензент был очень догадлив.

— Так-так! Значит, вам на том свете угольки понадобятся?

— Я думаю.

— Хорошо-с. Так вы дайте мне рублей сто авансом, а я вам там верну — самыми лучшими, высшего сорта угольками.

— Ну что вы! Куда мне столько! Я ведь в розницу торговать буду. Если на 25 поставите — и то за глаза хватит. Тем более что у меня много и других поставщиков.

Он добродушно засмеялся.

— Ну что с вами делать! Поставщиков всегда утесняют. Согласен!

* * *

Отошел он от меня довольный.

Из настоящей статьи видно, что успех пьесы зависит не только от критиков, но и от:

1) личных друзей Чехова;

2) любителей собак;

3) поставщиков угля.

И, кончая свою статью, скажу я свое последнее слово:

— Аминь!

Что значит в переводе:

Истинно так.

В ЛЕТНИХ САДАХ

Перед открытой сценой в толпе я вижу двух людей...

Один — личность совершенно ординарная, зато другой сразу приковывает к себе внимание вдумчивого человека. По виду он приказчик обувного или писчебумажного магазина, а на лице у него написано, что он раз и навсегда решил все жизненные вопросы и на этом почил. Отупелый взгляд и срезанная задняя часть головы подчеркивают, что этого человека не собьешь с занятой им позиции.

И действительно:

— Ну, скажи же, скажи ты мне, — нудится и юлит около него ординарный человек. — А вот как ты это поймешь, — я в Вилла-Родэ видел: выходит человек с куклой, бросает ее об земь, топчет, снимает ей голову, опять приставляет, а напоследок, оказывается, что кукла-то эта — настоящий человек, с живой головой. Это каким путем?

— Электричество, — веско отвечает приказчик, разрешивший все жизненные вопросы.

— Да-с? Электричество? Ну, а как вы объясните сей факт, милостивый государь, что этот велосипедист влезает на одно-одинешенькое колесо и на нем с лестницы скатывается? Тоже электричество?

Непонятно, почему ординарная личность так волнуется; вероятно, потому, что это — столкновение двух мировоззрений и характеров: пытливой, мятущейся, ищущей разрешения мировых загадок души, — и души, уже все постигшей, все себе объяснившей.

— Как ты об этом колесе поймешь?

— Электричество.

— Электричество? Да-с? Вы так думаете? Где же тогда проволока, соединенная со станцией?

— Беспроволочное. Воздушные волны.

— Воздушные волны? А то, что человек давеча на кровати аршин на пять подпрыгивал — и это электричество?

— Электричество.

— Ну, так я после этого с тобой и разговаривать не желаю.

— И не надо. Раз ты не можешь рассуждать научно — не разговаривай.

Но незначительный человек не может успокоиться. Его сердце раздирают обида и сомнение.

— Ну, допустим, даже влияние системы электричества на механические предметы обихода, но живой организм?! Изволили видеть, тут же на открытой сцене тюленей? Этакий дурак, да носом шар перебрасывает. Да ведь как! Не в обиду ему будь сказано — совершенно прекрасно. Значит, тюлени тоже электрические? Это как, а?

— Тюлени не электрические. А шар — да. Электричеством в действие приводится.

Незначительный человек оскорбленно улыбается. Тщетно бьется эта маленькая пытливая душа о стену, воздвигнутую так мощно его противником.

Страшное напряжение мысли — и незначительный человек снова оборачивается с торжествующим лицом к замкнувшемуся в себе приказчику.

— Вот тебе дрессированные слоны... Как вы поймете это, если этакая машинища танцует, ходит на задних лапах и разговаривает с помощью хобота и криков по телефону. Это что же, по-вашему, — слонячье электричество?

— Если бы ты знал, что такое животный магнетизм, происходящий с помощью электрических волн, ты бы не разговаривал. А телефон, по которому говорит твой слон, тоже из чего состоит? Из электричества.

— Он не мой слон. Можешь сам его на шею себе подвесить!

Незначительному человеку жарко, душно и обидно, а противник его спокоен. Живется ему, очевидно, легко. Все понятно, все объяснено, беспокоиться не о чем.

Кажется, в глубине души я ему немного завидую.

* * *

Негр Инс

В седьмом ряду сидел молодой господин в зеленой шляпе, белых перчатках и клетчатых брюках... Приехал он вчера из Елабуги и поэтому робко озирался при всяком новом появлении зрителя одного с ним ряда, а при виде суетившегося капельдинера в десятый раз засовывал пальцы в жилетный карман с целью убедиться, не утерян ли купленный им билет?

В Елабуге молодой господин вел себя очень нравственно, а приехавши в Петербург, решил вести себя безнравственно и сегодня предполагал окунуться в омут столичного разврата, на что отложил из оставшихся на обратную дорогу 14 рублей.

— Я думаю, хватит, — размышлял молодой господин, причем сердце его замирало от предчувствия неизведанных грешных наслаждений. — Выберу какую-нибудь хорошенькую из певиц, угощу скромным ужином, а потом увезу к себе.

На сцене акробаты влезали один другому на голову и лазили в таком виде по лестницам, а молодой господин из Елабуги, не смотря на них, рассуждал так:

— Ужин: два блюда и полбутылки вина красного, скажем, два рубля... Двугривенный лакею на чай, да рубль на извозчика, когда поедем ко мне, — останется еще 80 копеек на разные непредвиденные расходы. Десять же рублей ей за наслаждения ее любовью. Должно хватить.

Когда танцевали негр и негритянка, молодой человек, полный грешных размышлений, подумал:

— А что, если ее пригласить ужинать?

Но, увидев, как яростно негр болтал ногами и размахивал головой, подумал, что негр этот злой и, узнав о его намерении, поколотит испорченного молодого человека...

Потом стали выходить другие певицы, и ему многие нравились...

Испанка заставила своей наружностью и танцами сладко сжаться сердце молодого господина, но он подумал, что она слишком недоступна, и остановил свой выбор на какой-то француженке с голой белой грудью и шикарной походкой.

Линда (?!) Кавальери (??!!)

Когда она удалилась, пропевши свои номера, молодой господин встал и, выйдя, решил выждать ее появления в саду.

Скоро она вылетела, шумя юбкой, в чудовищной шляпе, выставляя задорную ногу в чулке бледно-розового цвета.

— Здравствуйте, барышня, — несмело приветствовал ее господин из Елабуги.

— Трастуте! Што ви катите?

Зная, что нужно быть игривым, молодой человек захихикал в руку и похлопал певицу по груди.

— Ну, как вы поживаете? Пойдем ужинать.

— О, з удовольстьем! — сказала весело певица, беря его под руку. — Ведить меня на террас.

И они уселись за столиком, и молодой человек, пока она просматривала карточку, вновь проверил себя:

— Ужин — 2 рубля, лакею и на извозчика — 1 рубль 20 копеек, непредвиденные расходы — 80 копеек и ей завтра утром 10 рублей. Хватит.

— Шеловек! — командовала француженка. — Бутылку Мутон-Ротшильд, котлеты даньен, спаржа и сернистой икры один порций. А што ти вибираешь, милый?

M-lle Люси Нанон

Молодой господин из Елабуги взял, улыбаясь, карточку, но сейчас же побледнел и покачнулся.

Он долго думал что-то, перелистывая карточку и шепча какие-то цифры, и потом костенеющим языком спросил лакея:

— А что... у вас... хорошо делают битки по-казацки? Когда ему подали битки, он, обжигаясь, съел их и, вынув кошелек, подозвал лакея.

— Здесь, вероятно, 13 рублей 30 копеек.

— Так точно-с. Ровно 13 рублей 30 копеек.

— Вот получите, пожалуйста. Я, видите ли, должен сейчас пойти к знакомому одному... тут близко живет... чиновник контрольной палаты... брюнет такой. А ты, милая, подожди. Я сейчас приду, и тогда выпьем шампанского... бутылки четыре!

Молодой господин, съежившись, вышел из сада и пошел домой, в номера на Лиговке, расспрашивая у городовых дорогу...

* * *

Ничто не доставляет мне такого удовольствия, как выход русской шансонетной певицы.

Она вылетает на сцену как-то боком на прямых негнущихся ногах и — пока оркестр играет ритурнель — делает следующее: взглянет в потолок, потом большим пальцем руки поправит спустившуюся с плеч ленточку, заменяющую рукав, а потом поглядит в зрительный зал и кому-то кивнет головой.

Кому? Тот столик, которому она кивнула, пуст, но у нее есть свой расчет: подчеркнуть публике, что где-то в зале у нее есть поклонник, бросающий на нее тысячи, и что она не такая уж замухрышка, как некоторые думают.

Поет она хладнокровно — бережно сохраняя темперамент для личной жизни.

Все русские шансонетные куплеты на один лад: или «мама ей скрипку подарила, которую она берегла, пока не явился музыкант», или она «хорошая наездница и поэтому предпочитает всему хлыст». Символы меняются: вместо хлыста она прославляет аэроплан, пишущую машину или массаж.

Кто прослушает десяток русских шансонетных куплетов, тот установит следующие излюбленные незыблемые рифмы: «старик — парик», «я — друзья», «о, да — всегда», «раз — экстаз» и «корнет — кабинет».

Одна певица после своего номера подошла к нам и сказала:

— Угостили бы вы ужином, а?

— По некоторым причинам, — возразил я, — мы с товарищем не можем афишировать нашей с вами многолетней дружбы. Вместо этого послушайте, какую я сочинил шансонетку...

И я запел:

Один старик,
Надев парик,
Позвал меня вдруг в кабинет;
А там сидел уже корнет!
Я в этот раз
Пришла в экстаз,
Клянусь в том я,
Мои друзья,
Люблю корнетов лишь всегда,
Их обожаю я, о, да!

— Неужели сами сочинили?! — удивилась певица. — Какая прелесть! Можно переписать?

Испанка Танара

НАРОДНЫЙ ДОМ

Когда Мифасов и я собрались ехать в Народный дом — к нам пристал и художник Крысаков:

— Возьмите меня!

— А зачем?

— Да ведь вы едете в Народный дом?..

— Ну?

— А я знаток народных обычаев, верований и всего вообще народного быта. Кроме того, я знаток русского языка.

Последнее было бесспорно. Стоило только Крысакову встретиться с извозчиком, маляром или оборванным мужичком, собирающим на погорельцев, — Крысаков сразу вступал с ними в разговор на самом диковинном языке:

— Пожалуйте, барин, отвезу.

— А ты энто, малый, не завихляешься-то ничего такого, вобче? По обыкности, не объерепенишься?

Извозчик с глубоким изумлением прислушивался к этим словам:

— Чего-о-о?

— Я говорю: шелометь-то неповадно с устатку. Дык энто как?

— Пожалуйте, барин, отвезу, — робко лепетал испуганный такими странными словами извозчик.

— Коли животина истоманилась, — веско возражал Крысаков, — то не наваракситься, как быть след. Космогонить-то все горазды на подыспод.

— Должно, немец, — печально бормотал ущемленный плохими делами Ванька и гнал свою лошаденку подальше от затейливого барина.

А Крысаков уже подошел к маляру, лениво мажущему кистью парадную дверь, и уже вступил с ним в оживленный разговор.

— Выхмарило сегодни на гораздое вёдро.

— Эге, — хладнокровно кивал головой маляр, прилежно занимась своим делом.

— А на вытулках не чемезишься, как быть след.

— Эге, — бормотал маляр, стряхивая краску с кисти на бариновы ботинки.

— То-то. Не талдыкнут, дык и гомозишься не с поскоку.

— Эге.

Потом Крысаков говорил нам:

— Надо с народом говорить его языком. Только тогда он не сожмется перед тобой и будет откровенен.

Вот почему мы взяли с собой Крысакова. Я хочу открыть Америку:

— Читатели! Вы все, в ком еще не заглохла жажда настоящей жизни, любовь к настоящему простому, ясному человеку, стремление к искреннему веселью и непосредственной радости, — сходите в Народный дом, потолкайтесь в толпе.

«Действительно, открыл Америку», — подумает кто-нибудь, пожав плечами.

Нечего пожимать плечами. Большинство читателей «Нового Сатирикона» в Народном доме ни разу не было, и я, как новый Колумб, уподобив читателей «Нового Сатирикона» испанцам, предлагаю им новую, только что открытую мною страну — Народный дом.

Всякий испанец поблагодарит меня, если ему взбредет в голову, на основании этих строк, потолкаться по обширной территории Народого дома.

Крысаков, по крайней мере, пришел в восторг.

— Какой простор! Какие милые, славные лица... Вот он, настоящий русский народ. И какое искреннее веселье!

Тут же он заговорил с одним парнем, восхищенно глазевшим на измазанных мелом клоунов:

— Энто, стало быть, скоморошество вдругорядь причинно и изничтожению кручинушки, котора, как змея злоехидная, сосет-томит молодецкую грудь... Взираешь на таку посмеху, да и только тряхнешь кудрями.

Действительно, у парня на лице выразилось сильнейшее желание тряхнуть кудрями — только не своими, а крысаковскими.

— Ты чего ко мне привязался, — сказал парень очень угрюмо, — я ж тебя не трогаю.

— Ничего, ничего, не обижайся, — примирительно сказал Мифасов, покрутив за спиной Крысакова пальцем около лба. — Не бойся, милый; он добрый.

— Вот смотри, что значит наметавшийся глаз, — шепнул мне Крысаков. — Стоило только поговорить мне с ним две минуты, как я уже знаю, кто он такой... Он полотер!

— Вы полотер? — спросил Мифасов парня.

— Нет, — общительно сказал парень. — Я газетчик. Газетами торгую.

— Но, может быть, вы газетами торгуете просто так... изредка... для удовольствия? — с некоторой надеждой спросил Крысаков.

— Кой черт для удовольствия! С восьми утра до восьми вечера не очень-то постоишь для удовольствия.

— Ага! Но вы, вероятно, все-таки изредка натираете полы? Так, знаете, просто, для практики.

— Да чего ж их натирать-то? — удивился парень.

— Ну, просто так... У себя в квартире, а? Паркет, а? Знаете, такой... квадратики.

Парень с сожалением поглядел на Крысакова, сочувственно кивнул нам головой и отошел.

* * *

Ни в каком Луна-парке не встретишь такого веселья «на чертовом колесе», как в Народном доме.

Я видел катающихся в Луна-парке: мрачно, страдальчески сдвинутые брови, отчаянные лица людей, которые решили путем катанья на колесе порвать нить надоевшей жизни, стоны и охи, когда колесо разбросает в разные стороны всю эту кучу скучающего человеческого мяса.

Не то в Народном доме. Прежде всего, здесь на «чертовом колесе» катаются титаны, выкованные из железа.

Не успеет колесо остановиться, как на него со всех сторон, подобно лавине, обрушиваются человеческие тела: со всего размаха, с треском и хрустом костей бросается веселящийся русский народ на деревянное колесо. В одну минуту образуется живая гора из перепутавшихся рук, ног, голов...

— Вжжж!.. вертится колесо — и вся эта живая гора, как щепки, со страшным стуком, громом и грохотом разбрасывается в разные стороны.

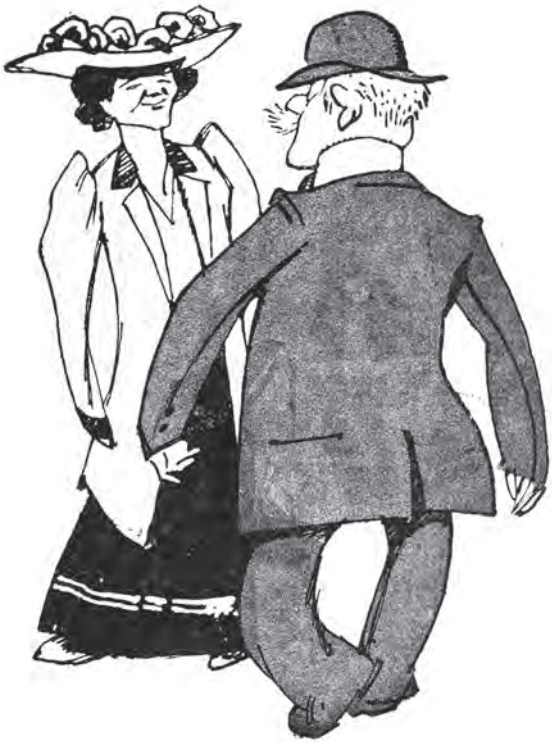
— Крепко нынче стали людей делать, — задумчиво сказал Мифасов, глядя на мальчишку, который, сделав двухаршинный прыжок и шлепнувшись животом о деревянный пол, вдруг завертелся вместе с колесом, вылетел на барьер, ударился об него головой и дико захохотал, не обращая внимания на то, что какой-то рыжий мужик топчет каблучищем сапога его грязную ручонку.

Весело, черт возьми. И никто ни на кого не обижается.

Наконец-то бедный, бесправный русский народ достиг идеала своей национальной игры: мала куча — крыши нету.

На особой эстраде — танцы. Здесь, в Народном доме, танцы — священнодействие. У всех серьезные, углубленные и как-то внутренно просветленные лица.

Кухарки отплясывают с благоговейным выражением огрубевшего у плиты лица. Модистки танцуют с определенным убеждением, что это не шутки, не игрушки и что



Увлеченный танцем

громкий голос или смех звучал бы в данном случае кощунственно.

Мы долго не сводили глаз с военного писаря, который думал, что он Нижинский, — и танцевал так, будто бы весь светский, административный и дипломатический мир Парижа собрался полюбоваться на него. Мы видели писаря, разочарованного аристократа, который танцевал, еле-еле шевеля ногами, и которому все надоело: и этот блеск, шум и вообще вся эта утомительная светская жизнь. Мы видели какого-то восторженного человека, с глазами, поднятыми молитвенно к небу.

Он прикасался к даме кончиками пальцев, нежно переставлял искривленные портняжной работой ноги, а взор его купался в высоте, и он видел там ангелов. Мы видели высокого нескладного молодого человека со множеством веснушек, но зато без всяких бровей и ресниц; этот молодой человек работал ногами так, как не может работать поденщик; это усердие свойственно только сдельным рабочим. Про него Крысаков сказал:

— Вот типичный клерк маленькой банкирской конторы.

Впрочем, через пять минут «клерк» сказал своей даме:

— Вот как за целый-то день молотком намахаешься — так на вашу тяжесть мне наплевать.

— Видишь, — сказал Мифасов Крысакову. — Это молотобоец, а ты говоришь — клерк.

— Ну, это еще вопрос, — нахально пожал плечами Крысаков. — Может быть, он в банкирской конторе вбивал молотком какие-нибудь гвозди для плакатов и диаграмм биржевых сделок.

Уходя, мы насолили Крысакову в отплату за его развязность как могли. Именно, продираясь сквозь толпу впереди Крысакова, Мифасов говорил вполголоса:

— Пожалуйста, господа, дайте дорогу. Сзади меня опасный сумасшедший, и не надо его злить. Он только что выписался из больницы, и снова ему плохо. Осторожней, господа!..

Когда мы вышли на улицу, Крысаков сказал:

— Заметили, как весь народ смотрел на меня? Они чувствовали во мне «своего» человека, знающего их быт, привычки, язык и весь вообще уклад.

ТЕАТР «ЛЕТНИЙ ФАРС»
БОРЬБА

Так как чемпионат борьбы — обыкновенное театральное предприятие, то и артисты для него комплектуются на тех же основаниях, как и в драме.

«Настоящий международный чемпионат», как метко однажды выразился перед борьбой арбитр, составлен очень умело: все амплуа замещены.

Роли распределяются так: Лурих — первый любовник (неврастеник).

Поспешил — второй.

Анверс — резонер.

Муханура — комик.

Карнацкий — злодей.

Соловьев —простак.

Бредихин — энженю-драматик.

Циклоп комическая старуха.

Изандо и Сиргуль — на выходах («лошади поданы», «чай подан» и т. п.).

Режиссер — Лурих, суфлер — Мишин.

Бамбула — чемпион Америки (единственный из негров не поколоченный американцами)

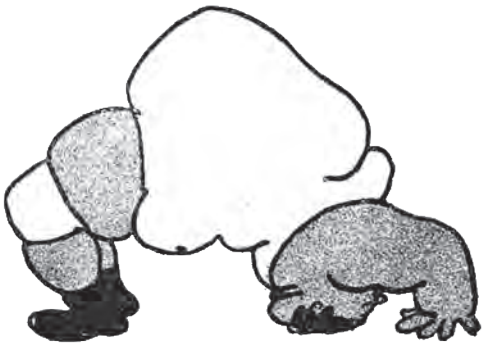
У устроителей чемпионата есть только одна цель, одна мысль— как можно больше растянуть время, назначенное для борьбы: каждый день часа на два. Если бы устроители об этом не заботились, то все пары переборолись бы в один вечер.

Мы знали одного очень симпатичного, но слабого, хилого атлета, вид которого возбуждал всеобщую жалость и сочувствие. Его впалая грудь, худые бока и изможденное лицо наводили многих на христианскую мысль — определить его в санаторию, но как-то так случилось, что определился он в чемпионат борьбы.

На второй же вечер этот честный, простодушный человек подошел к организатору борьбы и предложил ему следующее:

— Я знаю, вы распорядились, чтобы мой противник положил меня только после двенадцатой минуты... Зачем это? Зачем тратить напрасно время, которое послано нам Всевышним, которое так дорого, и которое мы должны употреблять с большей пользой. Сделаем так: выйдем на арену, я пожму противнику руку и лягу сам на обе лопатки. Пусть судьи признают меня побежденным.

И что же сделал организатор борьбы? Послушался здравого совета? Нет, он напал на хилого атлета, раскричался, заявил, что он не хочет зря платить деньги разным



Бамбула строит мост

дармоедам и тут же отдал распоряжение противнику хилого борца — положить его только на девятнадцатой минуте.

Хилый атлет стал бороться, и несколько раз во время борьбы хотел потихоньку лечь на обе лопатки...

Но противник ему попался опытный: он зорко следил за движениями хилого, и едва тот касался лопатками ковра, противник закладывал какой-нибудь нельсон и спасал несчастного, переворачивая его на живот.

Положен был хилый на девятнадцатой минуте странным приемом: он просто зацепился нечаянно одной ногой за другую и упал на спину.

Победителю публика устроила овацию. И было за что: за кулисами он признавался, что никогда не приходилось ему вести более трудной борьбы — каждую секунду нужно было зорко следить, чтобы противник не лег на ковер из простого ехидства и лени.

Вот каким образом устроители чемпионата растягивают борьбу вместо одного вечера на целый сезон.

Растягивание времени замечается даже в мелочах: парад борцов, представление их публике и демонстрирование запрещенных приемов.

Стоит только выйти атлетам, как арбитр начинает топтаться на месте, мямлить и тянуть слова.

Аберг—дальний родственник К. Варламова

— Настоящий международный чемпионат... устраивается... для борцов... стран... золотой пояс...

Говорит долго-долго. Затем знакомит борцов с публикой, ухитряясь даже дать некоторым подробные характеристики...

— Эгеберг! Победитель знаменитого Арвид Андерсона, один из лучших техников...

— Лурих! Чемпион мира. Пользуется отличным успехом у женщин. Имеет тридцать пар трико, не считая букетов! Лурих... Не кривляйся.

— Циклоп! Питается сырым мясом и имеет тяжелый характер. Недавно в Галиции умерла его тетка, почему он и просит у публики снисхождения. Циклоп! Алле! Кланяйся публике.

— Муханура! Питается гаоляном. Сын манжурских полей, орошенных в свое время кровью двух великих держав. Дитя природы. Тоже просит у почтеннейшей публики снисхождения, по причине сильного опьянения на почве рождения сына.

Анверс — резонер

Так, в праздной болтовне, проходит минут десять. Начинается демонстрирование запрещенных приемов:

— Запрещаются следующие приемы: бра американ; удары о пол головы противника, сделавшего мост; сдавливанье горла; выкалывание глаз; вырывание ноздрей; вырезывание ремней из спины противника; оскорбление памяти предков противника; получение из банков денег по фальшивым векселям; хранение нелегальной литературы и продажа напитков на вынос в незапечатанной посуде по вольной цене.

Арбитр долго еще перечисляет запрещенные приемы, а время идет...

Конечно, при желании время можно растянуть еще больше: когда борцы сходятся и пожимают традиционно друг другу руки, один может сделать приятно удивленное лицо и прикинуться, что он встретился с противником впервые.

— Как?! И ты здесь в чемпионате? Вот не ожидал! Сколько лет, сколько зим! Ну, как поживаешь? Давно видел Поддубного?

И, усевшись на ковре, оба поведут оживленную беседу о прошлом, прерываемые негодующими криками нетерпеливой публики.

Конечно, скудность фантазии борцов мешает им проделать вышеозначенный прием, и они ограничиваются тем, что возятся бесплодно на ковре, заботливо предостерегая друг друга от падения на обе лопатки раньше срока.

Время от времени борец «возмущается некорректностью противника». Этот прием заключается в следующем: один борец хватает другого за нос или дергает за ухо... Потерпевший делает оскорбленное лицо и нервно подходит к судейскому столу, вступая с судьей в тихий энергичный разговор, прерываемый размашистыми жестами.

Бо р е ц. — Когда же вы отдадите мне три рубля, которые занимали на один день (указывает рукой на противника и касается своего уха).

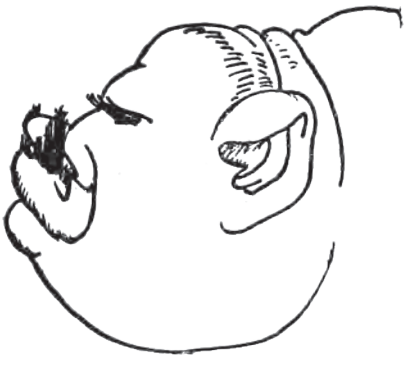
Су д ь я. — Ей-Богу, сегодня нет. Завтра отдам. (Качает укоризненно головой по направлению другого борца).

Бо р е ц. — Вы каждый день говорите завтра, а я что-то своих денег не вижу (грозит кулаком противнику и показывает рукой за кулисы, подчеркивая этим, что уйдет и бороться с таким человеком не будет).

Су д ь я. — Завтра у меня маленькая получка, и я отдам (энергичный жест рукой по направлению к ковру).

Пу б л и к а (волнуясь). — В чем дело?

Ар б и т р (приближаясь к рампе). — Борец Соловьев заявляет судье, что он отказывается от борьбы с грубым Корнацким. Судья



Циклоп, — (Просят снисхождения)

обещал сделать Корнацкому выговор за некорректность.

На эти переговоры уходит минут пять. Время подползает к «полицейскому часу».

Противники снова сходятся, но арбитр не дремлет:

— Одна минута перерыва!

* * *

Ох... Почему не:

— Один год перерыва?!

Почему не:

— Десять лет перерыва?!

Как бы хорошо все отдохнули.

Арбитр Мишин.
(Публика: — Мишин, не зевай!!!)

«1812 ГОД»

Пьеса Аркадия Аверченко

Действующие лица:

Аркадий Аверченко (редактор).

Драматург (драматург).

(Кабинет редактора. Он сидит за письменным столом в кресле. Стук в дверь.)

А р к. А в е р ч е н к о. Можете войти.

Д р а м а т у р г. Да я и вхожу. Вы редактор? Ладно. Садитесь, пожалуйста.

А в е р ч. Я уже и сижу.

Д р а м. Ну, тогда и я сяду. Должен вам сказать, что я драматург.

А в е р ч. Не отчаивайтесь. Как говорит русская пословица: от тюрьмы да от сумы не отказывайся. Выпейте воды. Могу признаться, что многие в вашем положении держали себя гораздо бодрее.

Д р а м. Я сейчас только от зятя. Это прямо какой-то психопат! Спрашиваю: «Пишешь пьесу о Наполеоне?» — «Нет, не пишу». Как вам это понравится?!

А в е р ч. (с убеждением). Форменный кретин.

Д р а м. Не правда ли? Прямо-таки дурак.

А в е р ч. (с тою же убежденностью). Дурак и свинья.

Д р а м. Ну, вот. Так, видите ли, написал я пьеску; назвал ее «Великий полководец». Вы ведь знаете, что Наполеон был очень и очень недурным полководцем.

А в е р ч. (недоверчиво). Ну, что вы говорите!

Д р а м. Ей-Богу. Я об этом где-то читал. Говорят даже, что он был императором! Вы подумайте: из простых консулов — да в императоры! А возьмите наших теперешних консулов — подумать стыдно. Как говорится: ни кожи, ни рожи. Я слышал как-то о нем анекдот, что он своих братьев королями поделал. Как говорится: и смех и грех.

А в е р ч. (меняя исторический разговор). Хорошую пьесу написали?

Д р а м. Пьеса как пьеса. Как говорится, не лаптем щи хлебаем.

А в е р ч. Гм... Это хорошее правило. По источникам писали?

Д р а м. Чего-с?

А в е р ч. Я говорю: когда пьесу писали — источниками пользовались?

Д р а м. Помилуйте! Все лето на Кавказе провел.

А в е р ч. Значит, не пользовались?

Д р а м. Именно, пользовался.

А в е р ч. Разве... там... можно... найти?

Д р а м. Дитя! Видно, вы никогда не бывали на Кавказе: Эссентукский, Железноводский, Нарз...

А в е р ч. Мерси, я вас понял. Не можете ли вы в кратких словах рассказать содержание пьесы?

Д р а м. Пожалуйста. Знаете ли вы, что Наполеон был в Москве?

А в е р ч. Изредка до меня доносились смутные слухи, но я не придавал им никакого значения!

Д р а м. Напрасно! Это факт! Он был там. Я узнал также, что в это время была сожжена Москва!

А в е р ч. Ужасная неприятность. Застраховано?

Д р а м. В том-то и дело, что нет. И представьте, французы любовались на это с птичьего полета.

А в е р ч. (недоумевает). Почему... с птичьего.

Д р а м. Ну, да. У москвичей очень своеобразный язык: они называют это — «с Воробьевых гор». Парафраз.

А в е р ч. (бормочет под нос). Пара фраз, а какие глупые.

Д р а м. Что вы говорите?

А в е р ч. Я говорю — с нетерпением жду дальнейшего!

Д р а м. Да-с. И вот стоят они и любуются на пожар Москвы. Наполеон со штабом. Вся его свита: Марат, Дантон, Мей, Бонапарт, Барклай-де-Толли...

А в е р ч. Позвольте, позвольте! Какой Марат?

Д р а м. Известный. Тот, которого потом убила Шарлотта Корде.

А в е р ч. Простите, она его не потом убила, а раньше.

Д р а м. Как раньше? Как же он мог быть на пожаре Москвы, если раньше. Труп его возили, что ли?

А в е р ч. Да дело в том, что с Наполеоном был не Марат, а Мюрат.

Д р а м. Да? Ну, как говорится: «Не вмер Данила, болячка задавила». Сойдет.

А в е р ч. Потом у вас тут в штаб затесалась какая-то странная личность: Бонапарт.

Д р а м. Ну да? Что вас так удивляет?

А в е р ч. Бонапарт-то... Ведь это и есть Наполеон.

Д р а м. Еще что выдумаете! Был генерал Бонапарт и был император Наполеон.

А в е р ч. Но, клянусь вам, что это одно и то же лицо!! Его так и звали: Наполеон Бонапарт.

Д р а м. Э, черт! То-то я смотрю, что они все вместе были: куда Наполеон, туда и Бонапарт. Я, признаться, думал, что это его адъютант. Вот досада!

А в е р ч. Почему вы досадуете?

Д р а м. Да, как же! Я ведь Бонапарту совсем другой характер сделал. Он у меня холерик, а Наполеон сангвиник; они часто спорят между собой, и Бонапарт даже, однажды, впал в немилость. Ведь тут у меня любовная интрига! Оба они влюбляются в одну и ту же помещицу. Помещица у меня такая есть: Афросимова. Она тоже хотела бежать из Москвы, но на полдороге, благодаря недостатку бензина, была перехвачена.

А в е р ч. (растерялся). Какой бензин? Зачем?

Д р а м. (хладнокровно). Бензин. Автомобильный. Представьте, на полдороге недостаток бензина, порча карбюратора...

А в е р ч. Вы можете мне довериться?

Д р а м. (с беспокойством). А... что?

А в е р ч. Тогда автомобилей не было.

Д р а м. (растерялся). Ну, что вы?! Не было! Какой удар! А что же было?

А в е р ч. Лошади были.

Д р а м. Да ведь у меня весь эффект четвертой картины на автомобиле построен. Мотор налетает на дерево, останавливается, в это время непобедимая наполеоновская гвардия выскакивает и бросается на помещицу, но тут как из земли вырастает телефонист Падекатров с партизанами, которые...

А в е р ч. Э, э!.. Постойте! Какой телефонист?

Д р а м. Такой, знаете. На телефоне. В те старые времена о телефонистках еще и не слыхивали... Были телефонисты.

А в е р ч. В те старые времена и о телефоне тоже не слыхивали. Его не было. Он изобретен лет семьдесят спустя.

Д р а м. (он осунулся). Какой удар! Какой удар! А у меня на этом все построено. Понимаете, все телефонисты разбежались со станции, остался один мой герой. И что же! Он подслушивает распоряжения Наполеона, передаваемые Бонапарту, Барклаю-де-Толли и другим генералам, и потом доносит русским о всех передвижениях неприятельских войск. Потом, разоблаченный, отбивает у неприятеля пулемет и мчится на паровозе прямо к Пскову, где...

А в е р ч. (жестким тоном). Пулеметов не было, паровозов не было. И потом, почему у вас Барклай-де-Толли затесался к французам?

Д р а м. Да он кто?

А в е р ч. Русский полководец.

Д р а м. Чудеса! Как говорится: чудеса в решете. А фамилия у него, тово... гм... Я было и Багратиона хотел к французам, а потом вижу, что он же и Мухранский — э,

думаю, осади назад. (Тоскливо.) А Наполеон принимал у себя русских полководцев или не принимал?

А в е р ч. Не принимал.

Д р а м. А у меня принимает. Перед ним, знаете ли, выстроились русские полководцы: Куропаткин, Каульбарс, Гриппенберг, Штакельберг, а он осмотрел их и сказал историческую фразу: «С такими молодцами, да не победить русских! Это было бы невозможно». Теперь уж я и сам вижу, что у меня немного напутано. Потом, у меня тут Наполеону доставляют в палатку карикатуру на него, напечатанную в «Сатириконе»... (Уныло.) «Сатирикон»-то был?

А в е р ч. Как вам сказать: этого тоже не могло случиться. Петрониевский «Сатирикон» хотя и был, но Петроний уже в то время умер, а петроградского «Сатирикона» и совсем не было.

Д р а м. Боже, Боже! Удар за ударом... Неужели из-за этих мелких промахов должна пропасть вся пьеса... Все мои боевые картины: и пожар Березины, и седанский разгром, и бегство Наполеона с полуострова Св. Елены?

А в е р ч. (с интересом). Березина разве горела?

Д р а м. Со всех четырех концов! Вы себе представить не можете, что это было за необычайное, эффектное зрелище.

А в е р ч. (деликатно). Старожилы рассказывают, что Березина... гм... в сущности, река.

Д р а м. Вздор! Как же она могла гореть?

А в е р ч. Она и не горела. Она в этом отношении солидарна с полуостровом Св. Елены, который не только не горел, но даже более того — остров.

Д р а м. Ну знаете, об этом мы поспорим; может быть, Св. Елена и остров, но не весь же остров, черт возьми, занимал Наполеон. Совершенно ему достаточно было и полуострова.

А в е р ч. Значит, половина острова, по-вашему, — полуостров?!

Д р а м. Логика говорит за это.

А в е р ч. (долго сдерживаемая ярость в сердце его прорывается наружу; он вскакивает, хватает драматурга за шиворот, трясет). Это уже слишком, негодяй! Я вижу, ты совершенно не знаешь истории! Ты не знаком с техникой! Ты даже не слышал о логике!!.. Географию ты знаешь не больше любой извозчичьей клячи!!.. И ты берешься писать пьесу о Наполеоне, об Александре Македонском прошлого века!!!

Д р а м. (падает в кресло; с сожалением). Вот Александра Македонского я и забыл вывести... Как говорится: «Слона-то я и не приметил!»

МУЗЫКА В ПЕТЕРГОФЕ

Концерты придворного оркестра под управлением Г. И. Варлиха

Когда я сижу перед эстрадой и слушаю хорошую музыку в прекрасном исполнении, когда я вижу около себя публику, часть которой упорно, не мигая, смотрит на надутую щеку тромбониста (музыкальные натуры), а другая часть ведет разговор о вчерашнем дожде (равнодушные), я всегда вспоминаю один случай, в котором как раз была замешана публика и музыка.

Я и один из моих друзей, окруженные роем барышень, дам и их мужей, слушали однажды симфонический оркестр. Когда играли «Лунную сонату», то одна из дам рассказывала, как она на днях поругалась в конке с кондуктором, а «Смерть Азы» Грига заставила ее вспомнить, что ее горничная до сих пор не пересыпала нафталином зимние вещи.

Не желая отставать от этой дамы, ее муж, обладавший лирической натурой, рассказал под аккомпанемент увертюры к «Тангейзеру», как он предчувствовал смерть своей бабушки и как он три дня ничего не ел и не пил, узнав, что эта бабушка отошла в лучший мир...

Растроганная пятой симфонией Чайковского, лиловая барышня все добивалась ответа у серого молодого человека:

— Почему он такой задумчивый? Не потому ли, что вчера он не приехал, как обещал, к ним в Тярлево, и не потому ли, что вчера же его видели с какой-то высокой дамой? Пусть он скажет: почему он такой задумчивый?

Эти вопросы так волновали барышню, что заняли весь промежуток — от начала до конца — пятой симфонии и захватили даже кусок 2-й рапсодии Листа.

Серый молодой человек, улучив минуту, перехватил себе остаток рапсодии и на ее фоне нарисовал незатейливый рисунок, смысл которого состоял в том, что дама эта — подруга его сестры, а сам он не мог быть потому, что у него болела голова и ломило ноги.

Публика на концерте

Гуго Иванович Варлих

Когда же последняя нота в этом отделении концерта была сыграна, дама и ее муж, и лиловая барышня, и серый молодой человек, и другие, которые были с нами, обрушились таким громом аплодисментов, что дирижер подпрыгивал от сотрясения воздуха, как мячик, а музыканты с гордым, самодовольным видом поглядывали друг на друга, подмигивая один другому:

— Видал? Наконец-то нас оценили по достоинству!

Лирический муж кричал:

— Браво!

Лиловая барышня и молодой человек, у которого болела голова и ноги, в полном экстазе шли дальше и кричали:

— Бис!!

Когда восторги утихли, я посмотрел в глаза дамам и лирическому мужу и спросил:

— Вам это нравится?

— Да! Это очаровательно!

— Разве можно не любить музыку?! — сказал муж.

— Невозможно, — сказал солидно молодой человек.

— Музыка — это восторг, — пискнул сзади кто-то, кого до сих пор никто не мог разглядеть из-за толстой дамы.

Тогда я сделал знак моему другу и завел с ним музыкальный разговор:

— Я тоже люблю музыку! Помнишь, Коля, это печальное скерцо Бетховена...

И я затянул какой-то бессмысленный мотив:

— Тра-ла-ла-ла!.. Тра-ла!..

— Как же! — подхватил Коля. — Но мне больше нравится вторая часть его «Венгерских песен Брамса»: Рра-та-та-та-дарм-рам-рам!.. Помнишь?

— Как же. Это це-мольная?

— Она самая.

— Ах, Бетховен! — благоговейно вздохнула лиловая барышня.

— Не скажите... — возразил серый господин. — Шуберт тоже...

— Что — Шуберт? — сурово спросил я.

— Тоже... есть у него... вещички.

— Сухой педант ваш Шуберт, — сказал вдруг Коля. — Разрешение диссонансов у него — вы заметили? — всегда строго согласовано с контрапунктом, но в нем нет той ажурности рисунка, того проникновения задачей и той концепсии в мажорах, как у Гайдна.

— Гайдна звали Иосиф, — сказала барышня.

— Совершенно верно, сударыня. Помните у него это мощное начало: трада-рам-рам, ра рам! Которое потом сразу падает в тихое мелодичное фортиссимо: тра-ла-бам! Ла-ла-ла! Ба-бам! В этом месте у него особенно хороши деревянные инструменты... Помните? — спросил строго Коля.

— Помню, — робко сказала барышня.

Мы долго и горячо толковали о музыке.

Когда возвращались домой, лирический муж взял меня под руку и, глядя на луну, тихо сказал:

— Музыка... Как она облагораживает... Вот вы, очевидно, знаток... Так скажите же мне, пожалуйста: почему музыка так облагораживает?

Я вспомнил эту незамысловатую историю, сидя перед эстрадой в Новом Петергофе.

Прекрасный оркестр, тонкий интеллигентный дирижер Варлих, громадный незаметный труд, затраченный им и музыкантами на достойную передачу гениальных творений, — все это было для него, для того, который в этот вечер сидел сзади меня и под звуки Сибелиуса рассказывал своему знакомому:

— А то такой случай был: приказал я прачке поставить самовар, а она, стерва, пошла за углями и пропала!.. Жду я ее, жду, представьте себе, жду...

ТЕАТР И САД «ФАРС»

«Симбирский дядюшка» — шутка в 3-х действиях,
Л. Л. Пальмского и И. Г. Ярона (сюжет заимствован)

— Хороший человек Пальмский, — говорил я своему другу, когда мы отыскивали места. — И Ярон тоже хороший человек...

— Я очень рад, что вы сегодня в благодушном настроении. Чем же это они растопили ваше чёрствое каменное сердце?

Г. Смоляков (поэт)

— Да как же! Благородная откровенность. Заметьте, что ни один современный фарс или оперетка без дядюшки не проживут и отсутствие этого симпатичного родственника быстро сводит их в могилу. Но фарсовые повара, стряпая свое кушанье, целиком из дядюшки, всегда подают это обычное заурядное блюдо под другим, шикарно звучащим соусом... блюдо называется «Под звуки Шопена», а сквозь незатейливый гарнир так и сквозит жирное брюшко и простодушная наивность дядюшки... На афише мы читаем «Мадам Шерри», а на сцене видим безраздельно царящего того же дядюшку, хитрого, благочестивого, немного обжору, немного труса... Пальмский же и Ярон протянули друг другу руки и с благородной откровенностью решили: если

мы делаем окрошку из дядюшки, — пусть кушанье называется — «Симбирский дя...

— Т-с-с-с! — донеслось сзади и я прикусил орган вкуса на половине блестящей лекции.

Стали смотреть «Симбирского дядюшку». Как всегда — сначала никак не разберешь: кто кому чем приходится и в каком родстве состоит. Я обратился было за справками к господину позади меня, но получил ответ, что он также бестолков, как и я.

Потом для меня стало все ясно, и я решил поделиться своей сообразительностью с бестолковым человеком, но оказалось, что и он ровно на столько же сообразителен. Я решительно не мог согласиться с тем, что вся компания на сцене хотела избавиться от крайне мне симпатичного дядюшки. Его кормили разной гадостью, поджигали его амбары, а Смоляков, взваливший себе на плечи двойное бремя, в виде роли поэта-декадента и громадной медной трубы, немилосердно дудел в эту трубу над головой несчастного дядюшки. Но тот был терпелив и добродушен. Сожженную баранину ел с аппетитом, под трубу пытался танцевать, а за сожженные амбары благодарил в трогательных возражениях. Положим, и уйти дядюшке после всех этих измывательств не представлялось возможным: пьеса в его отсутствие лопнула бы, как мыльный пузырь.

Потом появился на сцене родственник дядюшки, нелепый длинный гимназист и тоже парень безграничного добродушия — черта, очевидно, наследственная. По крайней мере , когда у него из под носа бойкий адвокат выхватил невесту — гимназист перенес эту драму с редким стоицизмом.

Г. Улих (гимназист)

Уже шел третий акт, когда я в смятении обратился к приятелю:

— Послушайте! Я не вижу ни одной кровати на сцене... Не перепутали-ли они чего-нибудь?

Приятель протер глаза и взглянул в бинокль:

— Что за чудеса! В самом деле: фарс, и ни одной кровати, и никто не раздевается, и мы в полной неизвестности — какого цвета и фасона белье жрецов искусства.

Действительно, артистки все время чувствовали себя как бы связанными, Романовский в одежде был уныл, как каторжник в цепях, а публика, расходясь после фарса, втайне считала себя на чем-то обсчитанной. Увы! Добродетель в этом месте котировалась по еще более низкой цене, чем русская рента на бирже.

НОВЫЙ ЛЕТНИЙ ТЕАТР. «СКАЗКИ АНДЕРСЕНА»

Оперетта в 3-х д.,
Слова Иоганна фон Лёве, перев. Льва Иванова, музыка Юлиуса Генсона

«Наш полицейско-бюрократический режим» начали ругать еще до начала пьесы.

— За что же вы его так разделываете? — полюбопытствовал я.

— Да помилуйте! Немцам в России, оказывается, все можно. Ведь оперетка разрешена к постановке только потому, что ее якобы написали немцы: какой-то Иоганн фон Лёве и какой-то ни с чем несообразный Юлиус Генсон...

— Но перевод-то русского человека!

— А вы хотели, чтобы индеец ее переводил? И то, вероятно, морщились, когда усмотрели злонамеренный перевод Льва Иванова. Но русский человек хитер: они взяли, да цензуре эзопов язык и показали!

— Кто они?

Первый министр (Г. Звягинцев)

— Младенец вы! Неужели вы думаете, что когда-либо на земном шаре существовал Иоганн фон Лёве, или Юлиус Генсон? Держи карман шире! Слова написаны Петром Петровым, а музыка — Николаем Николаевым. Ей-Богу! А никогда никакого Лёве не было, и Генсона не было... Да и Андерсена никакого не было!

— Ну, это вы уже хватили... Андерсен-то был.

— Где он там был! Захотели просто люди наш полицейско-бюрократический режим со сцены ругнуть, ну и сбили компанию знатных иностранцев: нате, мол, вам — «сказки Андерсена»... «Легенду» Венявского! «Балладу» Шуберта!

Когда поднялся занавес, скептик сразу указал мне на толстяка — первого министра.

— Вот он самый и есть.

— Кто?

— Граф Витте.

— Да из чего же это видно?

— Отстаньте вы от меня. Если бы это из чего-нибудь было видно, то оперетку бы не разрешили.

— А профессор Клумпе-Думпе, по вашему — министр Шварц?

— Очень просто. Вот увидите, как он насчет университета Шанявского проедется.

Бедный забитый русский человек! Мне его до слез сделалось жалко. И били его, и гнали, и ссылали — нет: дай ему чего-нибудь политического, от чего затрещал бы «наш полицейско-бюрократический режим».

Мой скептик долго метался в кресле, пытаясь найти живой подходящий оригинал в действительной жизни — для статс-дамы Герды фон Карен... На этот раз ему решительно не повезло: никто под ее стать не подходил.

Чтобы успокоить его, я предложил было Ольгу Штейн, но был немедленно охлажден презрительным утверждением, что я «ни черта не понимаю в политике».

Огорченный, я в будущей сцене попытался восстановить свое политическое доброе имя. Когда появились ткачи Ганс и Эрих, мне пришло в голову указать соседу:

Статс-дама (Г-жа Легат)

— Глядите: Гурлянд и Гурьев.

— Почему?

— Потому что они должны сшить новый избирательный костюм, и такой, что всякий, не видя настоящего материала, обязан по цензурным условиям восхищаться этим избирательным костюмом.

Король Расмус XV (Г. Екелев)

— Да ну?! Бра-а-а-во, Морфесси!

Радуясь его восторгу, я благодушно спросил:

— Не желаете ли еще дальше продолжить сравнения?

— А... кто там еще?

Он просмотрел программу, взглянул на сцену, почему-то вздохнул, почесал затылок и сухо ответил:

— Нет, не желаю.

Когда во втором акте король появился в одном белье и все громко восхищались роскошью его парадного костюма, мальчишка-поваренок крикнул свое знаменитое:

— Король совсем раздет!

А мой сосед горестно всплеснул руками.

— Пропал мальчишка!

— По какому случаю?

— Ну, как же. Восточная Сибирь.

Скоро, впрочем, он утешился. Мальчишку только высекли, принцессу прогнали, принца женили на птичнице, занавес опустили, и мой сосед имел удовольствие последний раз, проходя мимо околоточного у входа, покрутить головой и съязвить:

— Н-ну, режим!

P. S. Рецензенты Ave и Ре-Ми просят заведующего местами для представителей прессы г. И. П. Артемьева внести неправильно взысканные с них за места деньги — в пользу Убежища для престарелых артистов.

ТЕАТР И САД «ФАРС»
БОРЬБА

В борьбе обретешь ты — хлеб свой...

Когда они вышли, я обратился к соседу:

— Эти вот и будут бороться?

— Эти самые.

— Зачем?

Мой простой вопрос поставил его в тупик.

— Гм... Ну, как вам сказать... В сущности, серьезных причин для борьбы у них нет. Но цель всегда одна: положить врага на обе лопатки.

— А за что этот кричащий господин в студенческой фуражке так сердито прохватывает их?

— Он не «прохватывает», а представляет чемпионов публике.

— Я бы на их месте за такой тон обиделся.

Часть атлетов, действительно, повернулась и демонстративно ушла. Оставшиеся подошли друг к другу и один пожал другому руку.

Г. Збышко (парад)

— Чего, он с ним прощается?

— Ах, не будьте таким наивным! Он просто жмет другому руку перед борьбой, в знак того, что их приязнь и после борьбы не будет нарушена.

Толстый чемпион протянул громадную лапу и потряс другого, сухопарого, за шею, с целью испытать, прочно ли держится у того на плечах голова.

Аппарат этот держался прочно.

Только после такой пробы он рискнул начать с сухопарым настоящую борьбу. Борцы долго возились в стоячем положении, пока сухопарый не упал на четвереньки.

— Это он перешел в «партер», — объяснил мне сосед.

— Благодарю вас. Но только почему он не дернет толстого за ногу — ему в лежачем положении это так удобно? Тот бы и брякнулся на пол.

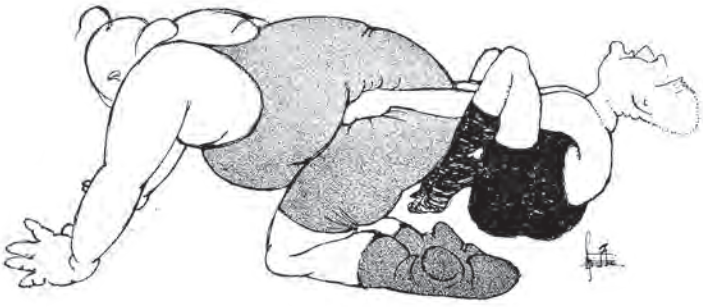
— Вы не знаете совершенно правил борьбы... Дергать за ноги — противозаконно.

— А вот он сейчас стал на голову. Это, по вашему, законно? Странное поведение.

Постоявши в нерешительности на голове, сухопарый перегнулся и упал на ковер.

При этом он напал на толстого, не ожидавшего такой прыти, и напал с самыми

недвусмысленными намерениями. Толстый лег на живот, расставил ноги, положил голову на руки и решил лежать так до второго пришествия. Сухопарый сел на него верхом, потом слез и стал правой рукой пилить шею лежащего.



Нурла и Аберг (задний пояс)

— Неужели можно отпилить? — усомнился я.

— Он «заматывает» лежащего, чтобы вывести из неподвижности и ошеломить его.

— По моему, пара хороших затрещин гораздо действительнее...

— Много вы понимаете! Пощечины запрещены.

Понемногу, я стал догадываться, что принципы борьбы не совсем ясно мною усвоены.

Сосед говорил мне непонятные слова: мост, скамейка, кравat, нельсон и много других, но мне было трудно уяснить, когда сухопарый делает кравat (галстук) и когда угощает толстого элементарным подзатыльником. Кроме того, я на месте толстого, если бы лежал на сухопаром, то обязательно бы потихоньку укусил его за спину. Воображаю, как этот детина взвыл бы!

Единственно, что мне теперь ясно, это, что главное во французской борьбе — количество «лопаток»... Если чемпион лежит на одной лопатке или дожат на полторы, то будь такой субъект ненавидим всеми судьями и публикой — все-таки он еще считается не побежденным.

Но если он дожат на две лопатки — судьи дают звонок, указывающий, что песенка его спета, публика презирает горемычного чемпиона, как самого последнего человека, и он уходит, еле сдерживая рыдания.

В борьбе сухопарого с толстым, как это ни странно, победил первый. Толстый рискнул сделать мост, но это нехитрое архитектурное сооружение было безжалостно сломано.

Некоторые в публике из жалости к толстому стали кричать:

— Неправильно! Переборoться!!

Я заревел, покрывая все голоса:

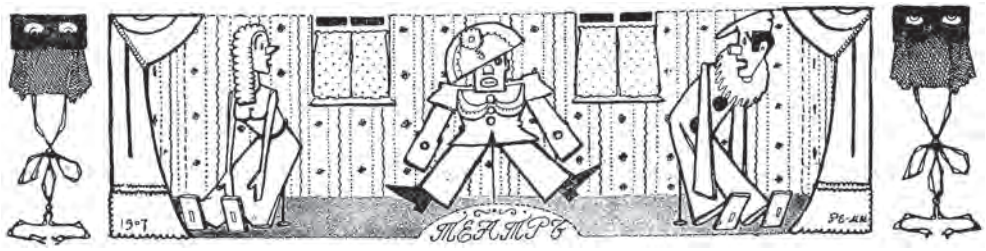
— Прравильно!!

— Ага! Видите, и вы стали кое-что понимать в борьбе, — сочувственно подмигнул мне сосед.

— Нет, мне просто хочется в буфет.

Я, в свою очередь, подмигнул ему.

Сосед сначала боролся с желанием последовать за мной, но борьба была не долгая: голод ожесточенно атаковал его умеренность, перевел ее в партер, сделал двойной нельсон, прижал обеими лопатками — и мы поспешно вышли.



ЗЛАЯ ЯМА

— Извозчик! — крикнул я.

— Куда прикажете?

— В сад «Неметти».

— Может, вас еще на Волково кладбище свезти? — саркастически спросил извозчик.

— В свое время, вероятно, я с радостью приму эту твою услугу, но пока — брось скверную привычку острить бесплатно и вези меня к «Неметти».

— Да уж садитесь! Гы... Чудной барин!

Подъхавши к саду, я долго и безуспешно искал входа. Так как ворота были закрыты, я решил было перелезть через стену, но утонченное воспитание, данное мне добрыми родителями, удержало меня от этого, и я ограничился легальным стуком в ворота.

Через десять минут послышался звук отодвигаемого засова и показался заспанный швейцар.

— Что нужно?

— То есть как — «что нужно»! Я просто хочу попасть в театр. По объявлению у вас в саду «грандиозное гулянье».

Швейцар странно посмотрел на меня.

— Да вы, господин, спутали, может быть... Это у нас-то гулянье? Вам, может, в «Аквариум» нужно.

— Вот оригинал! Говорят тебе — в театр «Неметти». Я хочу видеть «большой дивертисмент».

Он почесался и сказал:

— Гм... История! Обождите, вызову управляющего.

Явился заспанный управляющий и недоумевающе взглянул на меня. Швейцар отвел его в сторону и зашептал:

— Так что, надо думать, с пьяных глаз. Хочу, говорит, видеть у театре — как и что!

— Гм... Странно! Провинциал, верно... Молоденький какой.

Управляющий подошел ко мне и недоверчиво спросил:

— Вы серьезно желали бы попасть в сад?

— Ну, конечно.

— Как хотите. Вам же хуже. Гаврила, сбегай и разбуди кассиршу.

Явилась кассирша — третье по счету заспанное лицо. Узнавши в чем дело, она чуть не выпала из окошечка от удивления.

— Третьего дня один тоже был... И теперь один хочет... Этак, у Кирикова и Циммермана сборы поправятся.

Она дала мне измятый, засаленный билет и долго с сомнением рассматривала мою трехрублевку...

Таким образом, меня впустили в сад.

Я долго бродил по пустынным дорожкам, сопровождаемый унылыми взглядами отсыревшего военного оркестра и вымирающего племени буфетных официантов.

Кроме меня, публики не было, если не считать одного господина, на которого я наткнулся в глухом месте сада. Он висел на дереве с синим от скуки лицом, а внизу, под ногами валялась записка:

«В смерти моей прошу никого не винить...

Сам виноват, что пришел»!

Так как у меня с собой бумаги не было, то я бессовестно обокрал труп и, взявши записку, пошел отыскивать другое дерево, подходящее для моего веса.

Но на повороте меня догнал швейцар, еще издали радостно крича:

— Пожалуйте получить обратно деньги за билет: все артисты заболели и спектакля не будет.

Я усомнился.

— Неужели все? Несчастные! А, может, потому, что сбор плохой.

Швейцар подмигнул мне, но потом солидно ответил:

— Не скажите! Сегодня сбор даже на три рубля больше, чем вчера.

* * *

И я ушел в радостном сознании, что вечер этот проведен мною в вихре бесшабашного веселья — совершенно бесплатно.

КРЕСТОВСКИЙ САД
(Закрытый театр)

M-lle Мария Лабаль (Etoile)

— Самый ловкий и искусный народ, бесспорно — японцы, — сказал мой приятель, усаживаясь. — Они лучшие в мире эквилибристы, за что и названы японцами. Вот вы сейчас увидите одного.

Когда вышел эквилибрист на проволоке, я вгляделся в него и сказал:

— Вы ошиблись. Мне кажется — это китаец.

— Все равно. Китайцы тоже лучшие в мире эквилибристы, за что их и прозвали китайцами.

Эквилибрист вел себя на проволоке так, будто бы и родился на ней: он бегал, прыгал, резвился и заразил своей жизнерадостностью весь театр. Аплодировали ему все, даже однорукий отставной офицер в третьем ряду, причем другую руку он одолжил для этой цели у капельдинера.

Когда на сцене появилась «этуаль» Мария Лабаль, мой сосед задумчиво сказал:

— Ничто в природе не пропадает бесследно! Оно только принимает другие формы...

— Например?

— Смотрите, у этой певицы совсем нет верхней губы. И вы знаете почему? Природа весь материал ухлопала на нос, который получился более обычного. Таким образом, это творенье вовсе не обижено природой, как могут подумать недалекие люди.

Кто-то из двух — Растус или Банкс?

Парочка двух негров неожиданно выпавшая из-за кулис, перебила нить его рассуждений.

— Какая прелесть! Вы знаете, негритянка мне очень нравится. Я люблю что-нибудь этакое... южное, или, правильнее говоря, юго-восточное. А вы?

— Гм... Откровенно говоря, я предпочитаю что-либо московско-киево-воронежское.

— Старые вкусы! Как ее зовут?

— Тут в программе написано: «Растус и Банкс».

— Кто же из них Растус и кто Банкс? Он или она?

Я пожал плечами.

— Неизвестно. Дирекция до сих пор теряется в догадках по этому поводу. Установлено только, что если она Растус, то ему остается быть Банксом.

— Черт возьми! Но если я пошлю любовную записку на имя Растуса, то может придти на любовное свидание негр. Послать же записку на имя Банкса — может быть, этот черномазый окажется Банксом. Ужасная путаница!

— Забудьте о ваших юго-восточных вкусах. Сейчас будет гвоздь — «Женская борьба».

На сцене дефилировала в это время вереница женщин-борцов. Маленькие, большие, толстые, худые, румынки, польки, голландки — это был настоящий «Мюр и Мерилиз».

Женская борьба

— Зачем на них чепчики?

— Видите ли, каждая женщина никогда не прочь вцепиться в волосы своей партнерши. А чепчик предохраняет.

— Но у них голые руки. Они будут щипаться.

— Это не есть акт мести. Ведь вы щиплете вашу горничную совсем по другому поводу.

Он не нашелся что ответить, и мы стали молча наблюдать борьбу. К общему удивлению, она велась крайне корректно и искусно. Долгая тренировка отучила, очевидно, чемпионок от проявлений женственности. «Скамейки», перекаты сменялись парадами, захватами головы и мостами, которые сделали бы честь коллеге Луриху. После каждой схватки, он были мокрые, как мыши.

Когда мы выходили, мой сосед сказал:

— Я их уважаю! Он исполняют библейский завет: в поте лица своего, есть хлеб свой!

ТЕАТР И САД «АКВАРИУМ»

M-lle Валентин Пти

В театре такая громадная программа, что у рецензента все должно в голове перепутаться... Например, была там — это я знаю наверное — m-lle Эгри и была там m-lle Фрици Клут... Но в чем заключались индивидуальные черты, данные матерью-природой m-lle Эгри, от черт, присущих Фрици Клут — вы меня убейте, я не скажу... Вероятно, обе они с большим шиком поднимали в необходимые моменты ноги в ажурных чулочках, обе что-то пели, кому-то делали в первые ряды партера мимические знаки, но все это — признаки не индивидуальные, а видовые.

Оперному рецензенту хорошо: «г-жа Светозарская с большим подъемом спела арию Лизы у канавки, в ожидании Германа. Голос ее, хотя низкого регистра, но широкий диапазон и хорошая школа незаметно затушевывают это. По настоянию публики, ария была повторена трижды...»

А попробуй написать я это о Фрици Клут, если у нее не только низкого, но и никакого регистра нет, причем она искренно убеждена, что диапазон — это что-то, в роде автомобиля, и на нем можно кататься... И как бы я сказал: «по настойчивому требованию публики», когда помощник режиссера, при гробовом молчании зрителей, насильно выталкивает Фрици Клут, потому что она, видите ли, без аплодисментов петь второй номер не желает.

Но зато в Аквариуме m-lle Леона делает со своим каучуковым телом такое, что и во сне не снилось какой-нибудь Светозарской... Хорошенький, изящный полуребенок — она, даже изгибаясь выборгским кренделем (гм... сейчас же запахло штрафом! Ей-Богу, это не политика), сохраняет свое изящество и все время мило, весело улыбается.

Но зато в Аквариуме Терка Земель покажет вам самую бесшабашную клоунаду, и живая, как ртуть, останется, даже ходя на руках, женственной, достойной всяческого уважения, дамой.

И никакая Светозарская не сравнится по фигуре с m-lle Nina Barkis, у которой сложение Венеры Милосской и даже, на мой взгляд, лучше, потому что она обладает, кроме фигуры, парой прелестных рук, кото-

M-lle Габриэль Мадри

рыми проделывает, при преступном соучастии черномазого парня, самые замысловатые фокусы.

И никакой Светозарской не удастся носить с таким шиком парижские туалеты, как этуалям Валентине Пти и Габриель Мадри... И если первая только туалетом и щегольнула, то Габриель Мадри в красивых, веселых песенках показала, какие чудеса можно сделать, имея художественное чутье и не имея никакого голоса.

Конечно, едва ли кто из этого веселого, блестящего роя удостоится Монтионовской премии за добродетель, но так как эта премия давно уже продана в буфете за чечевичную похлебку с бутылкой Кристаль, то никто из них особенно и не огорчается.

В общем, пропорция в количестве женщин и мужчин на сцене всецело на стороне женщин.

В то время, когда мужской пол — 2-3 человека — жалок и затерян на громадной сцене, дам, по самому скромному подсчету, пудов 60, а с г-жей Раисовой и все 70. Поэтому, особенный фурор производит мужчина (публику просят даже не убеждаться) имитатор Фред Марион, подражающий всякому инструменту, который только могла выдумать изобретательная фантазия Юлия Генриха Циммермана.

Терка Земель

M-lle Леона (каучук)

Но иногда несчастный имитатор в этом наводнении женщин теряется до того, что сам начинает петь женским голосом, делая серьезную конкуренцию Фрици Клут.

Я бы еще мог отметить многое из того, что показывалось на открытой сцене, но боюсь, что порочные, недостойные люди, вдруг подумают, что меня за это покормили бутербродами... Поэтому, оберегая свое честное имя и всем известную неподкупность, я в этом месте поспешно умолкаю.

БОРЬБА
Лебедев

Чемпион мира Андерсен I, (кроме того, известен своими популярными сказками)

Есть петербуржцы, которые сделают большие глаза, когда их спросишь о князе Эйленбурге или Сантос-Дюмоне... Есть такие ребята, которые на вопрос: кто такой Гамлет? ответят: «жеребец конюшни Иловайского, скачет Болотов»... Но все петербуржцы знают эту хрупкую изящную фигурку, затянутую в синюю поддевку, и все хотя раз слышали его серебристый, проникновенный голос, полный самой безысходной скорби:

— Одна минута перерыва!

Он говорит на всех языках мира и еще на двух...

Когда борцы демонстрируют примерные недозволенные приемы, он благодарит их:

— Спасибо, данке, мерси, грация, сенкью, дзинкуе!!

С Мурзуком объясняется на чистейшем тунисском наречии, а однажды с индейским борцом-Сиуксом проговорил на языке его родного вигвама полтора часа о лучших способах сдирания скальпов.

Обладает настолько завидным здоровьем, что выдерживает хронические пререкания с буйной, строптивой публикой, которая всякого другого давно свела бы в преждевременную могилу...

— Почему нет Луриха?

— Прошу прощения, но Луриху сломали ухо!

— Врете вы все! Мошенники...

— Позвольте, но я вам могу показать Луриха.

— Подай нам сюда сломанное ухо!

— Да оно не совсем отломано...

— Подай! После пришьешь.

Вытаскивается на сцену сломанное ухо Луриха вместе с ним самим.

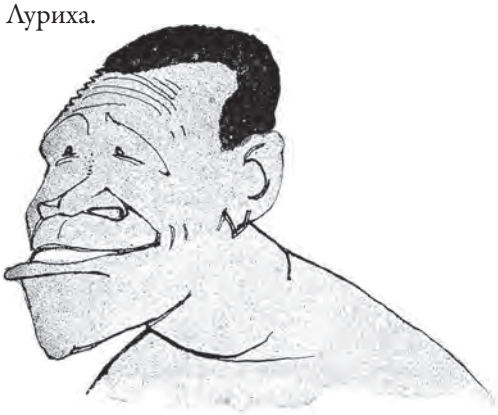
Толпа изменчива.

— Бра-аво Лебедев! Молодец!!

— Лебедев, бис!

Он имеет полное право сказать по Гоголю:

— Не приведи Бог служить по ученой части... Всякий мешается, всякому хочется показать, что и он кое-что понимает!!.



Мурзук — в тяжкие минуты жизни...

Один борец лежит на другом в самой фантастической, замысловатой позе.

Из публики кричат:

— Лебедев, смотри! Неправильно!!

— Что неправильно?

— Он запутался в его ногах.

— Но если он запутался в его ногах, то и тот запутался в его ногах... Что же поделаешь!

— Распутай!

Вздыхая, Лебедев подходит и начинает распутывать сложную комбинацию конечностей. В конце-концов, ноги вручаются владельцам по принадлежности и борьба начинается снова.

Со своей командой он в дружеских отношениях.

— Лурих, не строй дурака!

— Аберг, если не хочешь бороться — проваливай!

Г. Лебедев (одна минута перерыва)

— Ты мне поговори еще во время борьбы! Я тебе поговорю.

Мурзуку он говорит на родном тунисском языке:

— Если ты, Сережа, еще раз сделаешь Разумову бра американ, я сдеру твою черную шкуру.

И все довольны.

Вот какой человек профессор Лебедев. И когда, лет через пятьдесят, смерть уложит его на обе лопатки, благодарное потомство поставит ему в «Фарсе» памятник, с надписью «От юности его мнози бороли его атлеты и многих атлетов он поборол. Земля ему зеленым ковром»!

ТЕАТР И САД «АКВАРИУМ» (Провинциалы в Петербурге)

Они приехали за полчаса до начала. Долго искали мест, тыча носом в спинки стульев, и когда капельдинер указал им номера, Семен Петров в приливе благодарности вежливо пожал ему руку. Польщенный капельдинер ответил любезностью на любезность:

— Тут вам сидеть будет скучно. Ступайте в садик. Там разные собаки, велосипедисты и прочие клоуны представление делают.

Семен Петров взял маменьку под руку и покорно вышел в сад. Они долго, разинув рты, смотрели на открытую сцену.

Неожиданно отыскался гид.

Полумастеровой со спиртным запахом, в измызганной шапченке, увидя их искреннее удивление и восторг, тронул Семена Петрова за рукав и отрекомендовал:

Трансформаторы Марион

— Эти, вот, акробаты называются!

Мать покачала головой, выразив этим законное удивление изощренности человеческой природы, а сын вежливо переспросил:

— Так-таки и называют их акробатами?

— Так и называют. Ничего, не обижаются.

Потом гид, будучи, очевидно, в душе большим скептиком, махнул презрительно рукой и отнесся к мамаше:

— Нешто это прыжки? Нешто так прыгают? У нас в Карачеве маляр один с четвертого этажу скакнул!

— Ах, отчаянный. И ничего?

— Ничего. Мозух сотрясся только.

Велосипедистов гид облил тоже ядом презрения.

— Велика важность на одном колесе!.. У нас, в Карачеве, один псаломщик совсем без колеса ездил.

— Чудеса! На чем же это он?

— Да так.

Помолчали.

— А вы не знаете, зачем это черного они допускают?

— Негритенка? А как же, из труппы он! Тоже трупный человек.

— Да ведь он мешает им только! Ишь ты, натыкаются на него, переезжают. Смотрите, брюхо ему переехали.

— Это уж у них порядок такой. Да вы не извольте беспокоиться. Он ведь негр. Ему ничего не станется.

Велосипедисты из семейства Клейн

— Веселый парень!

— Да-с. Можно сказать, душа общества.

За велосипедистами прозевали первое отделение в закрытом театре.

Потом, когда спохватились после звонка, жаль было расставаться со знающим все мастеровым человеком. Взяли и ему билет.

Войдя в театр, заблудились. Сначала попали в ложу. Затем в задний ряд. Наступили кому-то на ногу, и, в смущении, прошли так далеко вперед, что чуть не свалились в оркестр.

Выручил мастеровой человек. Под шиканье и брань публики, он усадил Семена Петрова, маменьку, себя и приступил к добровольно взятым на себя обязанностям.

— Это вот певица поет. Дозвольте программку! Максиль называется. Испанка.

Мать сокрушенно покачала головой.

— Придумают же!

— Чичас будут живые картины. Вы, мадам, уж отвернитесь.

— Страшно?

— Которым женщинам, то зазорно.

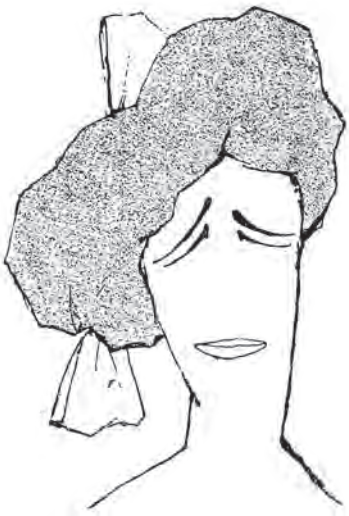
Трубач произнес напыщенное обращение «к прекрасным дамам и кавалерам», и занавес раздвинулся.

Семен Петров и маменька ахнули.

— Голенькие совсем!

— Греческая картина. Известно, ни стыда, ни совести.

— Что ты, батюшка, греческая! Да у нас грек бирюзу продавал — все было, где следует, и даже при глаженной манишке. А это что же...



Виртоузка на арфе г-жа де-Горн

— Они, сударыня, потому что древние. Пять тысяч лет и даже с хвостиком.

— Так. Засушенные, значит. А ведь, как живые!

— Тоже ведь возраст!

Сбитые с толку, замолчали.

— Сеничка... Ты бы отвернулся!

Сеничка, действительно, отвернулся ухом к гиду, который давал ему объяснения самого интимного свойства.

Целомудренная мать отдохнула только на следующем номере — трансформаторах Марион.

— И сколько же тут народу по сцене проходит!

— Это все один, сударыня. Они состоят при этой мадаме, с пером на голове из пернатого царства. Они одни и городового представляют и человека с длинным носом. Вещь, внимания не стоящая. Да у нас в Карачеве...

Виртуозка на арфе г-жа де-Горн была единственным номером, в котором Семен Петров разобрался сам.

— Гы-гы... Арфянка!

— Не арфянка, господин, а виртуозка.

— Стало быть, она не на арфе, а на виртуозе играет? Больно на арфу смахивает машина!

По программе оставалось еще несколько номеров. Но гида мучила жажда.

— Наши билетики, господа, с этим номером в тираж вышли. Теперь будет представление экстра-галя для другой очереди. Которая публика с другого хода.

Он замолол такую чепуху, что сам сконфузился и закончил:

— А которые посмотревши, то за столик в буфет садятся.

Растерянные, сбитые с толку, мать и сын последовали за ним, и через десять минут, сидя на веранде, благоговейно вслушивались в его слова, которыми он старался распечь и уязвить официанта:

— Ты какой провансаль подал?! В нем ни перцу, ни ванили, ни укропу, ни лаврового листу не положено! Ты думаешь, мы не знаем?! Да за такой провансаль тебе в Карачеве голову бы так напомадили провансалем!!.

ТЕАТР ПАССАЖ

Гастроли московской труппы С. Ф. Сабурова

АМАЛИЯ... И ТАК ДАЛЕЕ...

Комедия-буфф в 4 д. П. С. Фейдо, пер. С. Ф. Сабурова

Г. Горский (Султан-Задэ)

Мы знали до сих пор персов, которые или других сажали на кол, или сами, скрепя сердце, садились на него.

Вот что мы знали из их общественного и бытового уклада.

Сабуров любезно показал нам другую сторону персидской жизни — интимно-сердечную. За эту этнографическую черту пьесы можно простить и приезжающего из провинции добродушного дядюшку, которого обманывают (ново, ново!!), и кокотку, притворяющуюся порядочной девушкой (в первый раз! Совершенно невиданный в фарсе трюк! Просят убедиться!), и многое другое... и так далее...

В Персии принцы любят так:

К понравившейся женщине присылают адъютанта, который ставит вопрос без всякой восточной витиеватости и сложности:

— Десять тысяч франков.

Причем, подобно тотализатору или гонорару адвоката, десять процентов с суммы отчисляется в пользу адъютанта.

За хлопоты.

И действительно, получалась полная иллюзия.

Такова сила таланта.

Марсель Курбуа (г. Сабуров), который, в конце концов, очутился, сам того не зная, мужем кокотки, производил впечатление человека, крайне заспанного.

То ли, что пьеса ему уже надоела, или просто он разоспался после постели второго акта, но сон все время касался крылом его отяжелевших век.

Впрочем, может быть, так оно и нужно, потому что публика, смотря на его игру, много и усердно смеялась.

Самое яркое лицо в пьесе, бесспорно, — Поше, отец Амалии (г. Фокин), чудак, гордящийся профессией дочери и своим положением в обществе, которое обязывает его выходить из комнаты каждый раз, когда Амалии нужно полюбить кого-нибудь.

За этот несложный талант папа-Поше награждается принцем целым рядом орденов Сверкающего Льва, что вполне скрашивает жизнь жизнерадостного старика.

Г. Сабуров (Марсель Курбуа)

Казанский любезно согласился сыграть роль Бан Пуценбума, жалкого, глухого и слепого дядюшку.

Хотя по пьесе и не видно, чтобы он был калекой, но мы это заключение вывели самовольно. Нельзя же назвать нормальным и здоровым человека, при котором целуются, условливаются громкими голосами, как его получше провести, а он этого не видит и не слышит.

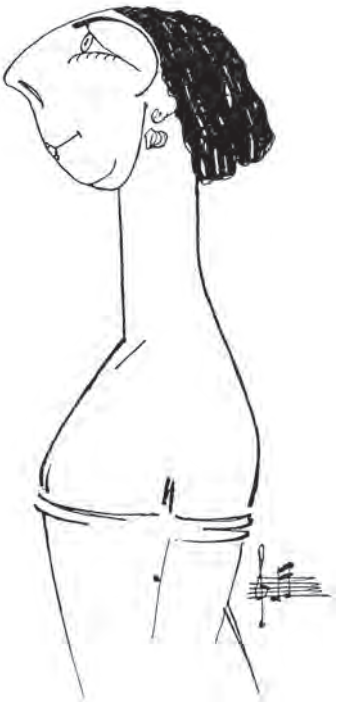
И после этого принц начинает любить.

В пьесе принцу Султан-Задэ, как и, вообще, царствующей теперь в Персии династии, не повезло: его пылкая любовь успехом не увенчалась.

Правда, со стороны Амалии особенных препятствий к этому не было, но уж так, очевидно, хотелось автору пьесы, и имел он, вероятно, на это какие-нибудь особенные причины...

Что касается г-жи Легар-Лейнгард, то она прилагала все усилия, чтобы казаться заправской кокоткой.

Зрители догадывались о ее профессии по самой фабуле пьесы, гости и друзья на сцене знали о ней и так всю подноготную — она все-таки этим не удовлетворялась, искренне опасаясь, чтобы публика не приняла ее за воспитанницу монастыря кармелиток.



Г-жа Легар-Лейнгард (кокотка Амалия)

Вообще, этого скверного фарсового старикашку мы лично раз навсегда изгнали бы со сцены. В обыкновенной жизни, если человек имеет племянников, он просто, решивши умереть, оставляет им без дальних околичностей все, что у него есть.

Фарсовый дядюшка раньше, чем оставить наследство, должен натешиться и наиздеваться над несчастными наследниками досыта.

Заявляет, например:

Г-н Фокин (Поше)

— Не дам денег, пока племянник не женится!

— Да зачем это вам?

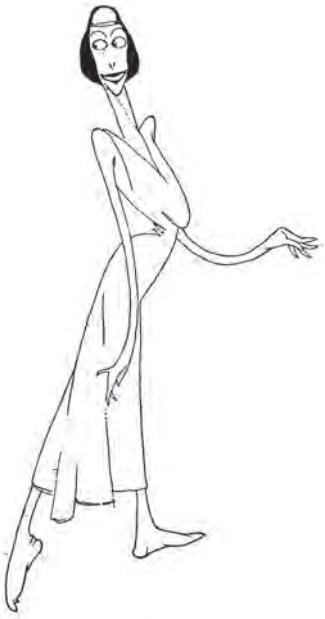
— А вот так.

И упрется, как бык, скверный, глупый старикашка! Конечно, племянник идет искать себе суженую, и так как в Париже кокотки составляют большую часть народонаселения, то несчастный и попадает в лапы одной из них.

А потом выходит целая путаница, а автор делает из этого пьесу, а публика смотрит и ругается. Ну, что хорошего!

В заключение мы должны сказать, что нам в пьесе многое понравилось: яркая, едкая сатира на интимную жизнь высоких особ, прекрасное, тонкое нижнее белье г-жи Легар-Лейнгард и красивый, звучный грудного тембра голос премьера-суфлера.

ТЕАТР-КОНЦЕРТ «АПОЛЛО»



Г-жа Наперковская

Первое, что мы застали, войдя в зал — была какая-то разноцветная девица, расхаживающая по сцене очень непринужденно.

Мой спутник всмотрелся в нее и спросил:

— Это так надо, или она не ведает, что творит?

— Конечно, так надо. Она — певица.

— Неужели?!

Он всплеснул руками и испуганно посмотрел на меня.

— Вы знаете... Мне, кажется, придется обратиться завтра к доктору.

— Вы... нездоровы?

— Я оглох. Вот, смотрю на сцену, вижу очень ясно певицу, вижу, как она раскрывает рот, машет руками, ногами, а звука никакого не слышу. Ясно, — глухота в острой форме.

Я утешил его:

— Успокойтесь! Я тоже ничего не слышу.

— Да что вы! Зачем же она так делает? Номер такой, что ли?

— Нет, она поет, только не слышно. Постойте...

Я приложил руку к уху и прислушался.

— Ну, конечно же, поет!.. Из оркестра бы недурно можно слышать. Хотите?

— Мм... неудобно. Подождем, может быть, другая слышнее будет.

И другую не было слышно.

И третью.

И четвертую.

— Вы напрасно прислушиваетесь, — сказал я. —То, что они поют — их тайна и они вам ее не выболтают. Неужели, вам недостаточно того, что у них красивые плечи, стройные ноги и головокружительные костюмы?

— Я, в сущности, ничего против них не имею, — смягчился он. — Мне даже нравится их добросовестность...

— Какая?

— Они показывают, не утаивая, все, что у них есть: голые руки, плечи, спину, ноги... Закрытым остается только то, открытие чего могло бы грозить протоколом об оскорблении общественной нравственности.

Когда же на сцене появилась танцовщица мисс Фоллей, мой спутник только открыл рот и произнес:

— Черт возьми!

Эта английская девица была то, что, англичане говорят, душа нараспашку. Протанцевавши весь свой первый номер, она удалилась за тюлевую занавеску и, раздевшись донага, стала хладнокровно переодеваться в другой костюм.

Мой спутник даже усомнился.

— Может быть, она думает, что публике ничего не видно сквозь тюль?

— Ну, как же так... Ведь она-то вас видит!

— А если ей не приходит в голову, что мы в одинаковом положении. Эти девушки такие наивные...

Наивная девушка переоделась еще два раза, поворачиваясь во время этого процесса так, чтобы ее можно было рассмотреть и в профиль, и en face.

Затем ее сменила венгерка la belle Русси.

Мой спутник посмотрел на ее крупную фигуру и с чувством глубокого уважения сказал:

— Одно из величественных и грозных явлений природы. Я бы ни за что не пристал к ней на улице, несмотря на то, что она очень красива.

— А если бы она к вам пристала?

— Гм... Я бы не убежал.

Это был, пожалуй, единственный номер, где мы *слышали* пение и очень недурное.

Пантомима «Сон Скульптора» показалась нам не совсем ясна...

La belle Русси

На сцене лежал человек в цветной простыне, притворяясь спящим, а на ящике стояла худая, изможденная девица и всем своим видом показывала, что она не прочь походить на статую. Лежавший господин поднялся, потянулся и потом стал оживленно махать руками перед лицом статуи. Делал он эти непонятные жесты до тех пор, пока у девицы не лопнуло терпение и она, соскочивши с ящика, не стала удирать от него во все лопатки. А потом он ее поймал. Так оно все это и называлось: «Сон скульптора».

Девочка с затаенной скорбью на лице.

Кроме того, их сообщница, пробравшись тайком в оркестр, пела какие-то песни, что, вероятно, в начале пантомимы и разбудило скульптора. А то спал бы он себе, да спал!

Привела нас в восторг детская балетная труппа, поставленная поразительно эффектно.

Англо-американские дети того возраста, когда в России или стоят в углу, или зачитываются Пинкертоном, очень толково, красиво и изящно делали самые смелые pas и сложные мимические групповые сцены... А у одной девчурки с худенькими ручонками и прозрачным лицом так и застыло выражение затаенной скорби и какой-то странной загадки.

* * *

Потом танцевал негр с незнакомой нам женщиной.

Мы подмигнули друг другу и, сказавши:

— Стара штука! Этим нас не удивишь, — ушли.

Вот что мы видели у Пьера-Жака Тюрина в один ненастный осенний вечер...

ТЕАТР КОМИССАРЖЕВСКОЙ

«Франческа да Римини». Трагедия в 5-ти действ. Габриэля д'Анунцио,
перев. В. Брюсова и В. Иванова.
Постановка Н. Е. Евреинова. Декорации М. Добужинского.

Анунцио сидел-сидел и решил, наконец:

— Напишу-ка я скверную пьесу!

Сел и написал «Франческу да Римини».

Увидел это Валерий Брюсов.

— Смотри-ка, — говорит, — Вячеслав! Какая скверная пьеса. Надо бы ее перевести.

— Конечно, надо бы.

И перевели.

Когда уже перевели, то спохватились:

— Зачем это мы ее перевели? Ведь она скверная.

Потом утешились.

— Ничего! На наш век театров хватит.

Послали в Александринский театр.

— Разве это перевод, — ответили оттуда, — итальянских слов больше, чем русских. Одно жульничество. Ее еще раз переводить нужно.

Послали в Малый театр.

— Эк, чем удивили! — сказал Арбатов. — Историческая пьеса... Да наша «Гетера Лаиса» еще старее и еще нелепее.

Из «Невскаго фарса» ответили, что, если переделать пьесу на «Франческу... и так далее»... то еще туда-сюда.

Брюсов был против «туда», Иванов — против «сюда». Отказались.

Г-н Оравич (Джанчотто)

Брался поставить «Франческу да Римини» какой-то театр «Ауксетофон», но и тот, по рассмотрении, оказался синематографом.

— Причем же мы здесь, если синематограф?

— Вам же лучше. Позору меньше.

И тогда явилась Комиссаржевская.

— Эта пьеса старинная?

— Старинная.

— Манерная, пошлая и глупая?

— Манерная, пошлая и глупая.

— Родненькие, дайте! Хлебом меня не корми, дай мне манерную, дикую пьесу. Ставила я «Свадьбу Зобеиды», «Пелеас и Мелиссанду», «Саатчи и Мангуби» —поставлю и «Франческу да Римини».

* * *

Мы были на «Франческе»! (Выражение сочувствия и пожертвования на восстановление расшатанных нервов принимаются в редакции).

На фоне красивых стильных декораций Добужинского перед нами развернулась одна из нелепейших и скучных драм, какие когда-либо шли на Офицерской.

Переводчики, переводя пьесу, нашли в себе дремавшие доселе струны высшего благородства и сделали из «Франчески» такое, что совсем не понятно зрителю.

Это было придумано хитро: каждый из публики думал, что это только он ничего не понимает и с завистью смотрел на соседа.

А сосед тоже ничего не понимал, но с худо скрытым чувством уважения смотрел на первого, грустно размышляя:

— Вот он же понимает... А я-то — позор! Ни словечка.

Этим пьеса наполовину была спасена.

* * *

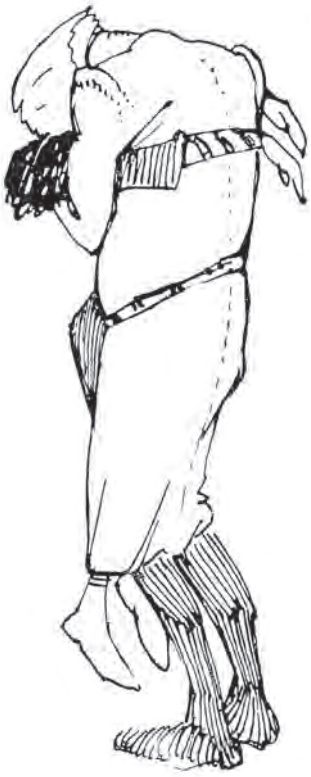
Вот какой диалог велся между действующими лицами:

Франческа, ломая руки, со скорбным лицом, ходила по сцене и с упреком говорила:

— Малатестино! Это вендетта Малатеста да Веррукио и Гвидо Миноре да Капеланта с Бианкофиоре и Альда Горсенда!

Пораженный ее тоном в самое сердце, партнер возражал:

— О, Франческа! Буонароти Чивита-Веккиа Малатестино Васко де Гама — вендетта Дациаро.



$1^1/_2$ Желябужских и $^2/_3$ Комиссаржевской. (Любовная сцена)

Это нисколько не успокаивало Комиссаржевскую... Ее печальные глаза с затаенным страданием смотрели на говорившего, и она робко возражала:

— Но катапульты и баллисты у Джанчотто! О, макарони, салати, полента! Асти спуманте!

А в публике говорили:

— Черт возьми! Как прелестно они изображают быт четырнадцатого столетия!

У Малатесты да Веррукио было три сына: два умных, а третий г. Желябужский. Умные были большими мерзавцами. Так как Бог отмечает избранные натуры, то Джанчотто был Хромым, а Малатестино Кривым. Желябужский, по программе, должен быть Красивым, но из скромности он прельстился карьерой глухонемого.

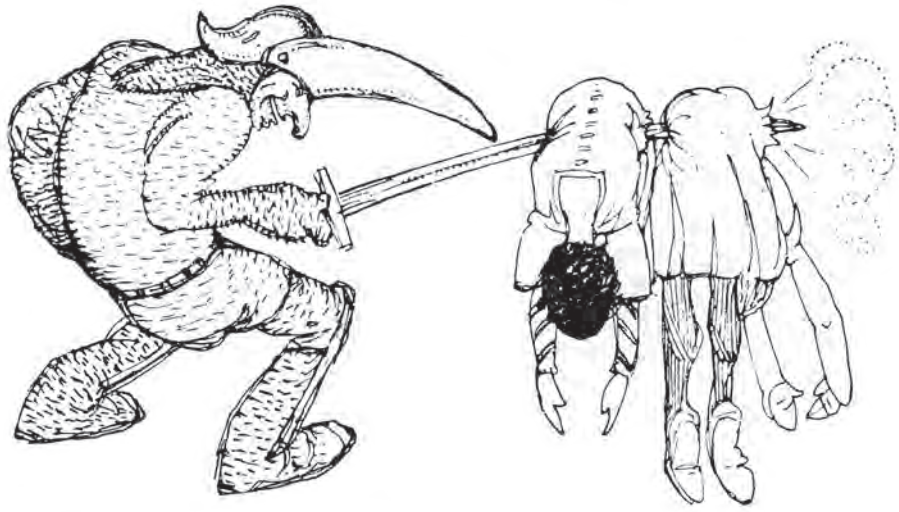
Когда любящая его Франческа задавала хватающим за сердце голосом вопрос:

— О, Паоло! Где лакрима-кристи, Боттичелли лаго маджиоре?

Он плотно зажимал губы и мычал:

— Ланчелотогвидоминоредакапелантакатапульта!

Какой светлой личностью должна была быть Франческа, каким безрассудством святой нужно было обладать, чтобы полюбить этого нелепого и смешного парня!



Страшное преступление Джанчотто (V акт).

Когда Джанчотто ненароком вернулся и, заставши длинного глухонемого Паоло с Франческой, нанизал их обоих одним ударом, как каплунов, на меч, — ни одна душа в публике не пожалела длинного глухого матого. У некоторых даже судьба Франчески не вызвала необходимого сочувствия. По крайней мере, мой сосед после предсмертных слов ее «прощай мой Паоло!», — немедленно наступил мне на ногу и помчался с номером в руке выручать свое пальто.

* * *

Поставлена пьеса Евреиновым скупо.

Например, приходит купец с узелком в руках, размером в кулак Бровича, и, развертывая узелок, говорит Франческе:

— Вот я вам покажу сирийские ткани, тибетские платки, кашемирские шали, персидские ковры и тульские самовары!

В платке не оказывается только бенгальских тигров, цеппелиновских дирижаблей и цейлонских слонов.

На поверку выходит, что у купца есть лишь несколько кусочков бархата и шелку величиной в носовой платок.

Франческа покупает эти крохотные лоскуты и одаривает ими приближенных.

— Этот кусок тебе на платье! Из этого куска ты можешь сшить костюм и плащ. Этим куском, кроме платья, ты можешь обить стены своей спальной комнаты и остаток подарить мужу для куртки!

Недаром скупость итальянцев вошла в пословицу. Это я говорю не о Евреинове, а о Франческе, ответственность за которую да падет на Комиссаржевскую.

ВЕЧЕР СЕВЕРНОЙ СВИРЕЛИ
(Театр искусств)

Жил-был на свете человек, которого в детстве уронила мамка, от чего у него на спине появился горб. И жил-был мальчик, ослепший от неизвестной причины. Так бы они себе и жили до конца дней... Но увидел их как-то Александр Рославлев и сжалился над калеками.

— Злосчастный народ вы! — сказал он.

Потом взял авансом у издателя деньги, построил на них башню и посадил в эту башню слепца и горбуна. Потом, в качестве предпринимателя, разошелся:

— Ты, горбун, будешь королем, а ты, слепец, его пажом. Ладно?

Почесал горбун горб и согласился. Подмигнул мальчишка и тоже согласился.

Так и жили они себе в башне.

Иногда заходил Рославлев и учил их разным пышным словечкам, которые они потом от скуки произносили в пустое пространство.

По своему легкомыслию, Рославлев забыл приделать к дверям башни замки и, пользуясь этим, в башню однажды проникла «Девушка из долины».

Если в детстве мамка и не роняла «девушку из долины», то все-таки девушка эта особым умом не отличалась...

Разве можно ни с того, ни с сего являться к человеку, поднести ему букет и начать клясться, что он прекрасен?

Горбун сконфузился даже:

— Помилуйте, барышня... Ну, что во мне прекрасного. Горбун, как горбун.

— Ты прекрасен! — с ослиным упрямством повторяла «девушка из долины».

— Не понимаю, чем вы так восхищаетесь!

— Ты — король!

— Кто? Я? Ей-Богу, не король. Это вам Рославлев наболтал. Ему, если не король или не шут, так уж и не человек...

«Девушка из долины» решила, что лучшим в ее положении будет обзавестись крыльями.

— Ты дашь мне крылья!

— Где же я вам их возьму, барышня? Я не Кузмин!

— Ты дашь мне крылья!

Если эту фразу повторить раз десять, то она ужасно действует на нервы.

Решивши отомстить девушке за ее назойливость, горбун взял ее за руку и повел на балкон:

Где же я возьму вам крылья?

— Пойдем, голубушка! Я тебе покажу крылья!..

И спрыгнул с ней в долину.

А на другой день жители долины прочли в местном листке:

«Дневник происшествий. В ночь на 20-е число в башне, принадлежащей домовладельцу Александру Рославлеву, произошел ужасный случай: квартирант, живущий в этой башне, стоял со своей знакомой, к выяснению личности которой приняты полицией меры, на балкон и, заглядевшись, оба упали вниз в долину. Несчастных с переломами конечностей отвезли в местную больницу. Говорят, что на балконе не было перил. И чего это смотрит городская строительная комиссия».

Вот какие драмы дает нам неприкрашенная жизнь!

Играли эту пьесу так скверно, что автор рецензии, скрывая дурные стороны своего характера, умолчит об этом.

После «Башни горбуна» шла «Песнь», сочиненная Григорием Новицким.

В этом вечере он был вторым лицом, с которым мамка обошлась в детстве так же преступно небрежно, как и с вышеупомянутым королем.

Но мы лично того мнения, что хороший горб лучше глупой пьесы и, поэтому, неудачливый король симпатичнее нам, чем неудачливый Григорий Новицкий...

«Песнь» заключалась в том, что на сцену выставили все вещи, которые были не нужны и, в виде хлама, валялись до сих пор по кладовым.

В этот хлам зарылся актер и актриса и стали переговариваться между собой следующим забавным образом:

— Дщерь Иерусалима! — завывал актер. — Ты прекрасна!

— О, мой возлюбленный! — кричала актриса, сдерживая душивший ее хохот. — Как ты поживаешь там?

— Дщерь Иерусалима! Ты прекрасна! Твое лицо похоже на драгунский полк и ноги твои сильно смахивают на ливанские кедры!

Польщенная комплиментом, дщерь Иерусалима отвечала:

— Все мужчины такие обманщики!

— Дщерь Иерусалима! — выл, как раненый медведь «сын Иерусалима».—Дай мне яблоков, груш, слив и сотово-

Сергей Городецкий

го меду! Я все это съем, ибо холера уже прекращается. Дщерь Иерусалима! Пойди к «О. Гурмэ» или Елисееву и купи мне ананасов, винограду и карамели «раковые шейки»...

Так они кричали с полчаса:

— Дщерь Иеруса-а-алима!

— Че-е-его?!

Эту манеру Новицкий украл у Тургенева из «Записок охотника».

— Антро-о-опка-а-а!

— Че-е-его-о?

— Иди, тятька сечь хоче-е-е-ет!

Вероятно, тятька Новицкого был очень добым человеком и, к сожалению, мир никогда не оглашался следующим диалогом:

— Григорий Нови-и-и-цкий!

— Че-е-его-о?

— Иди, тятька сечь хоче-е-е-ет!

Хорошо бы.

«Песнь» Григория Новицкого

* * *

На десерт поэты читали свои стихи.

Рославлев рассказал много любопытного из жизни королей, красных шутов и горбунов. Видно было человека из высшего общества.

Новицкий, узко специализировавшийся на ночной публике Невского проспекта, рассказал с мельчайшими деталями всю процедуру любви этой публики. Был виден тоже бывалый парень.

Сергей Городецкий и Алексей Ремизов читали много веселого и забавного, чем «Вечер Северной свирели» и закончился.

А потом были танцы, в которых певец королей Рославлев и певец рублевых кокоток Новицкий дружески откалывали в одной паре кадриль.

Весело жить на этом свете, господа!

Драматический театр В. Ф. Комиссаржевской

«ГОСПОЖА СМЕРТЬ»

Трагиком. в 3 д., соч. Рашильд, и

«БАЛАГАННЫЙ ПРОМЕТЕЙ»

драма в 1 д. Альфреда Мортье

Когда кончилась пьеса «Госпожа смерть», мы долго сидели с моим соседом на местах и спрашивали друг друга:

— Зачем это сделано?

Смерть Поля Дартиньи

— Молодой, красивый и богатый Поль Дартиньи взял выкурил отравленную сигару и умер. Может быть, у Поля была какая-нибудь основательная причина сделать это, но автор, по рассеянности, упустил из виду включить в пьесу эту причину. Один мой знакомый, когда жена ушла от него, объяснял это тем, что их квартира была очень неудобна и отовсюду дуло. А потом оказалось, что он при передаче своего рассказа упускал одну небольшую, всегда ускользавшую от него, подробность. Именно, он два-три раза в день прилежно и тщательно колотил свою жену, вырывал у нее волосы, и вообще, поступал с ней так, будто бы поклялся приготовить из нее вполне приличную великомученицу. Но все это он считал таким пустяком, о котором и говорить не стоит...

— Ага! Я вас понимаю. Может быть, Поль Дартиньи был влюблен в красивую девушку, которая умерла от чахотки...

— Или написал пьесу, которая провалилась... В этих случаях несчастный автор готов наглотаться всякой ядовитой дряни, вовсе не заботясь о своем здоровье.

Мой собеседник подумал и потом нерешительно сказал:

— Не есть ли это отравление с помощью сигары — замаскированная реклама табачной фабрики Шапшал?

Полет самоубийцы в рай (прямым рейсом без пересадки)

— Едва ли. Но Поль Дартиньи, по-моему, просто пошлый дурак. Автора скверно рекомендует то, что все его симпатии на стороне этого злосчастного курильщика сигар.

— Наоборот, отрицательные типы трагикомедии, я уверен, имеют среди зрителей большой успех. Никто не отказался бы выпить стакан-другой вина с буржуа Жаком Дюран или провести некоторое количество времени с жизнерадостной Люси...

Фабула пьесы несложна.

Вышепоименованный вздорный парень, Поль Дартиньи, будучи богатым и красивым, вбил себе в голову, что ему необходимо так или иначе протянуть ноги.

Всякий другой на его месте купил бы на гривенник уксусной эссенции или несколько футов прочной веревки. Но моральные свойства Поля не очень-то высокого достоинства: он просто пробирается к своему доктору и крадет у него какой-то мудреный яд.

Жак Дюран. (Г. Шарап)

Шарж на г-жу Жилинскую (Люси)

Узнавши, что его пациент нечист на руку, доктор приходит к нему требовать пузырек обратно, но оказывается, что яд уже пущен в оборот.

Затем на сцену появляется громадная шляпа, которую Поль содержит и которая, благодаря своей величине, стоит Полю больших денег. (В медицине такое любовное отношение к неодушевленным предметам называется фетишизмом). Так как шляпа лишена дара самостоятельного передвижения, то под ней прячется какая-то женщина, которая на себе приносит и уносит эту удивительную и сложную машину.

После смерти Поль попадает в рай, куда является «Дама под вуалью», которая и оказывается Госпожой Смертью. Туда же забредает с обеда и носильщица шляпы. Между двумя женщинами происходит легкая перебранка, в которой носильщица терпит полное фиаско.

В последнем акте Поль, не поладив, очевидно, по своему сварливому характеру с «Дамой под вуалью», вновь возвращается в свою квартиру и сидит, как ни в чем не бывало, мертвый у стола.

Вот какие шутки, господа, шутит госпожа Смерть!

* * *

«Балаганный Прометей» — вещь еще более несложная.

Существовало на свете театральное предприятие, которое абсолютно не делало сборов. Это не был сад Неметти и директорами его не являлись Кириков и Циммерман.

Г. Артабон, хозяин балагана

Владелец балагана Артабон любил вино и имел красивую дочь. Эти два фактора, порознь взятые, не угрожали, конечно, делу крушением, но, соединенные вместе, дали следующий печальный результат: напившись первого фактора, владелец балагана возымел странное и неприличное желание показывать публике второй фактор в обнаженном виде.

Второй фактор, т. е. дочь, по слабохарактерности согласилась на это, и результатом явилось полное падение дел балагана.

Фальзар, слуга Питра

Пьеса лжива и нежизненна.

Всякий рассмеется вам в лицо, если вы скажете, что в балагане, в котором показывали красивую обнаженную девушку, было пусто.

Говорят, что автору указывали на это, но он капризничал, плакал и топал ногами, утверждая противное до тех пор, пока ему не уступили.

На его же ответственности лежит совершенно бессмысленный поступок Артабана: когда толпа, не понимая его задач, возмущается — он хватает молоток и убивает им дочь.

Хорошо еще, что в театре Комиссаржевской если кого-нибудь хотят убить, то для этого отходят в самый дальний угол сцены и взмахивают орудием убийства. Несчастная жертва стоит в другом углу сцены и, заметив этот каббалистический знак, падает, делая вид, что она поражена наповал.

Это единственный театр, где кровавое, злодейское убийство вызывает веселый, добродушный смех публики.

ЦИРК ЧИНИЗЕЛЛИ

С тех пор, как земной шар с утомительным однообразием вращается вокруг своей оси, написан, по крайней мере, миллион рассказов на разных языках из цирковой жизни.

г. Брассо или Фриц

Все рассказы трех категорий.

В первую голову идут клоуны, у которых только что умер любимый ребенок; это не избавляет их от грустной необходимости смешить в тот же вечер публику разными забавными шутками и гримасами. Не выдерживая роли, клоун, в конце-концов, разражается горькими рыданиями и заражает этим всех: публику, бессердечного директора цирка, конюхов, берейторов и даже цирковую лошадь, которая, забившись куда-нибудь в уголок конюшни, тихо рыдает, ломая ноги, тронутая печальным концом клоунова ребенка.

Лично я никогда не встречал автора цирковых рассказов. У меня давно созрело непоколебимое решение, столкнувшись на широкой житейской дороге с автором подобного рассказа, разбить его тупую голову каким-либо тяжелым предметом.

За клоунами, потерявшими ребенка, плетутся маленькие дети-гимнасты, которых жестокий импресарио заставляет, несмотря на хрупкость организма, проделывать страшно головоломные штуки под самым потолком цирка.

Дети эти должны быть украдены в свое время у любящих родителей (импресарио почему-то сами всегда бесплодны) и автор приводит этих родителей как раз в тот город и в тот цирк, где под потолком висят их ребята.

Глупые родители, узнав ребенка, поднимают визг, а ребенок, услышав знакомый голос, не дожидается, пока ему можно спуститься по веревке легальным путем, а сваливается, как спелая груша, прямо на землю.

И родители рыдают над его бесформенным трупом, и клоун плачет размазывая на лице белила, и дрессированные собаки воют, и автор, по халатности людской, за все это получает, вместо побоев, гонорар.

В третьей категории цирковых рассказов фигурирует укротитель львов, который влюбляется в графиню, но, чувствуя разницу общественного положения, решает махнуть на нее рукой и сейчас же разрывается львами.

г. Кодлов

Иногда, вместо укротителя, бывает укротительница, вместо графини — венгерский граф и, вместо львов — тигры или змеи.

Но это все равно. Рассказ от этого не умнеет.

* * *

А в жизни все это не так.

В тот вечер, когда мы были в цирке, я видел четырех клоунов, и ни один из них не разрыдался, а все они веселились до упаду, и не потому, что были бездетны, а просто, нет в жизни такого правила, чтобы всякий ребенок клоуна еще в детстве должен был протянуть ноги.

В дни моей молодости я помню клоунов, которые всегда выходили соло и их даже называли за это:

— Соло-клоун.

Теперь новое веяние. Клоуны выходят парами, не расставаясь друг с другом и в жизни.

Г. Дэль

Но размножаются они обычным способом.

* * *

Для зрителя-ребенка, клоун — сущий клад. Дома его пичкают благонравием и советами держать себя возможно тише, а здесь он видит и слышит самый бесшабашный шум, визг, самые дикие головоломные прыжки, падения и пощечины... И ничего. Не только не ставят за такое поведение в угол, а, наоборот, аплодируют и платят деньги.

Я уверен, что секрет восторга детей при лицезрении клоунов именно в этом.

* * *

Возраст цирковых артистов самый разнообразный.

От дряхлого старичка, который только и способен, что вывести на свободу сытую меланхолическую лошадь, до младенца, все искусство которого заключается в том, чтобы, пыхтя, перекувырнуться через собственную голову. За эти несложные поступки первый получает право на стакан вина и рубленую котлетку, а второй — на материнскую грудь, которую он, после представления, сосет до упаду.

Промежуточные возрасты делают в цирке все, что подвернется под руку.

г. Фриц или Брассо

Пыхтя, он старается перекувырнуться через собственную голову

Скачут на неоседланных лошадях, кувыркаются на турниках, жонглируют, летают под куполом цирка и, вообще, стараются прожить свою цирковую жизнь шумно и весело.

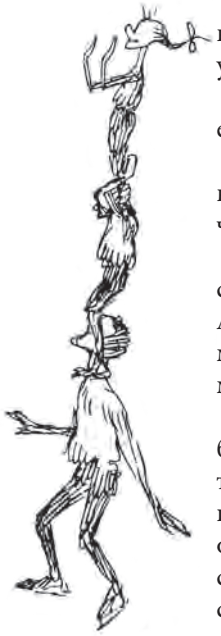
Иногда подвертываются тяжелые обязанности.

Например, глава семейства Киези.

Этот мужественный парень обязан выносить на своих плечах, в буквальном смысле, все семейство Киези, кроме себя самого...

И при этом у него должно быть, по контракту с Чинизелли веселое, довольное лицо!

* * *



г. Киези (на его плечах держится все семейство Киези)

В конце представления какие-то люди построили на арене клетку, напустили туда львов, догов и затем втолкнули туда же укротителя Конта Серрано.

— Разделывайся, мол, как знаешь.

И публика была очень довольна, что Конт отделался в этот вечер очень дешево.

Это было тем большим счастьем, что в предыдущий вечер лев попробовал полковничьего мяса[1], и после полковничины его могло потянуть на укротителину.

Но, очевидно, или полковник был невкусен, или сердце укротителя не было задето какой-нибудь графиней из высшего общества, одним словом, укротитель остался жив и невредим, дразня зверские инстинкты публики до сих пор...

г. Сципиони Чинизелли

[1] На днях какой-то военный, подойдя в цирке к клетке льва, стал дразнить его шашкой. Лев просунул лапу сквозь прутья и ободрал любителю диких зверей лицо и грудь. (Из газет).

НОВЫЙ ТЕАТР

«Дни нашей жизни» —пьеса в 4-х действиях Леонида Андреева

У меня была невеста, которую я очень любил.

Но однажды в чудесный зимний вечер мы с ней катались на санях, и она, глядя на падавшие хлопья снега, радостно и восторженно воскликнула:

— Боже, как красив этот падающий снег! Он красив потому, что напоминает мне снег, падающий в опере «Жизнь за царя!»

Я, молча, довез невесту до дому, высадил из саней и сурово сказал:

— Ступай домой!

Она спросила нежно:

— Милый! Когда же наша свадьба?

— К черту свадьбу! Я прошу никогда больше не показываться мне на глаза.

И уехал. Уехал навсегда.

Интересно, какую оперу напомнил ей конец нашего романа?

* * *

За моей спиной сидел человек, вероятно, брат моей глупой невесты.

После первого акта «На Воробьевых горах», он наклонился ко мне и сказал:

— Не нравится мне. Не похоже на пьесу.

— А что же вам нужно? — грубо спросил я.

— Ведь это молодежь! И можно было очень хорошо изобразить рознь этих детей со своими отцами, которые не понимают стремления молодых людей к идеалу...

— За каким дьяволом это вам понадобилось? — еще грубее перебил я его.

— Тогда было бы похоже на пьесу. И было бы красиво. Вот Жуковская написала же такую пьесу, где рознь отцов с детьми. И Радзивиллович написал. И Ходотов.

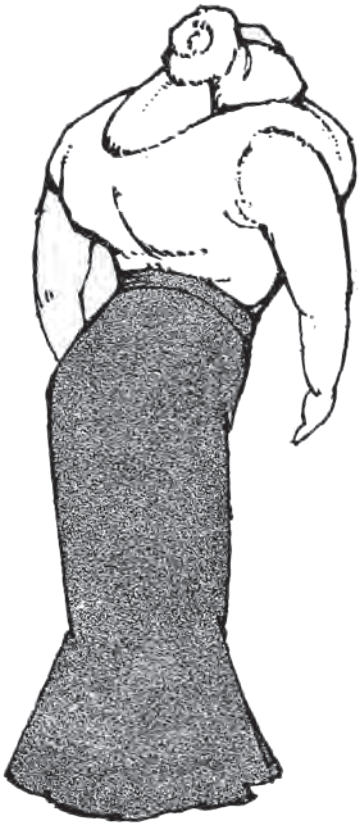
— Пошли бы вы покурить. А? — посоветовал я ему.

— Ах да! спасибо, что напомнили.

* * *

Второй акт тоже оставил в нем неприятный осадок.

Г-жа Садовская



Г-жа Садовская ушла сама в себя

Г-н Александровский

Когда мать увела под самым носом Глуховцева дочь к ожидающему ее офицеру, предполагаемый брат моей глупой невесты нагнулся ко мне и с отчаянием в голосе прошипел:

— Рано! Рано, ччерт возьми!

— Что с вами случилось?

— Рано! Если во втором акте Глуховцов стреляется, то как же автор устроит дальше логическое развитие пьесы?!

— А кто вам сказал, что он будет стреляться?

Брат невесты изумленно открыл рот.

— А что же... ему делать. В таких случаях, когда лишаются любимой женщины, в пьесах всегда стреляются.

В это время на сцене Глуховцов встал и воскликнул с жестом беспросветного отчаяния:

— И напьюсь же я, черт возьми!

Брат невесты иронически ухмыльнулся.

— Пьеса!! Воображаю, как бы Жуковская или князь Сумбатов помирали от хохоту.

* * *

В третьем акте он был уныл и молча, сострадательно, качал головой.

— Эх, Андреев, Андреев! Говорил я ему... Ну, да что там!.. Теперь, конечно, поздно, а можно бы... Мать ее могла быть старой помещицей, пострадавшей от аграрных беспорядков. Фон Ранкена — сделать старым бюрократом, любовь которого к Ольге сталкивается с ее непобедимым отвращением к реакции и произволу... У студентов обыск... Хорошо бы!.. Эх, Андреев, Андреев! Погубила тебя страсть к оригинальничанию...

Он чуть не плакал.

Бурные аплодисменты, как гром грянувшие после занавеса, не удивили его.

— Имячко-то, имячко-то... А? Действует! А напиши я такую пьесу...

— Вы бы такой пьесы не написали! — презрительно бросил я ему в лицо.

— Верно! Ей-Богу... Вот, спасибо. Я бы написал так, чтоб всякому видно было: это пьеса!

* * *

Оживил его немного конец четвертого акта, когда Глуховцев схватил шашку, а поручик —револьвер.

— Ага! Вот оно... Это я понимаю! Подсказало-таки чутье... Смотрите! Ведь он попадет в Ольгу, которая припала к Глуховцову... Хорошо! «Грянул выстрел. Пуля,

вместо Глуховцова, попадает в Ольгу. Она хватается за грудь: Николай! прости... я тебя любила — и умирает. Все молча обнажают головы».

Глупый брат невесты вынул на предмет слез носовой платок. Но, так как вместо убийства пьеса закончилась попойкой, то он раздумал: не заплакал, а высморкался в вынутый платок.

Г-н Самойлов

— Кланяйтесь вашей сестрице! — сурово приказал я ему, вставая. — Скажите, что я сегодня видел на сцене не падающий снег, а опустившихся людей, и это хорошо, потому что напоминает жизнь.

Я подозреваю, что у него не было никакой сестры, так как он, сося палец, недоуменно взглянул на меня. И черт с ним!

Направляясь к выходу, я столкнулся с глубокомысленным рецензентом Авелем из понедельничного «Утра».

От него я услышал, честное слово, вот что:

— Вы знаете, любопытно проследить связь «Дней нашей жизни» с «Жизнью Человека». Если исключить манеру письма, диаметрально противоположную в обеих пьесах, то внешнее сходство между той и другой несомненно. Начиная с мелочей, вроде музыкального refrein'а (пошлый вальс на гармонике и вульгарная полечка), и кончая обеими центральными фигурами (Глуховцев и Оля, — Человек и Жена человека), в обеих пьесах есть и сходство, и идейная связь. Эпизод Глуховцова с Олей — это как будто эпизод из юности Человека, вставка перед третьим актом «Жизни человека»[1].

Я, не перебивая, дослушал его и потом сказал:

— Может быть... Любопытно также проследить связь «Дней нашей жизни» с «Ревизором». Если исключить манеру письма, то сходство этих двух пьес поразительно. Например: в той и другой пьесе есть мать и дочь; потом, и там и здесь есть на сцене городовой... Затем, — помните пехотного капитана, который обчистил Хлестакова! Ведь это Андреевский поручик Миронов!

Авель долго раздумывал над справедливостью моих наблюдений.

Кроме Авеля, в театре был также Каин (Осип Дымов). Я порадовался, что он не слышал рассуждений Авеля.

А то, вероятно, по-библейски бы поступил газетный Каин с газетным Авелем...

---

[1] Напечатано в «Утре», (понедельник 10-го ноября).

ТЕАТР «АПОЛЛО»

С одним из моих друзей был очень неприятный и тягостный случай.

Однажды ему пришло в голову «окунуться, как он говорил, в мутный омут веселого и бесшабашного разгула». Для этого он взял извозчика, приехал в кафе-шантан и, севши за столик, стал приглядываться к девицам, мелькавшим на сцене в количестве нескольких десятков. Запутавшись окончательно в выборе объекта своей будущей любви, он махнул на все рукой, пробрался тайком за кулисы и вошел в первую попавшуюся уборную.

Когда полуодетая певичка вопросительно обернулась к моему другу, он вежливо сказал:

— Не согласились ли бы вы сего числа отужинать со мной в помещении этого ресторана, а также разделить потом маленькую прогулку на автомобиле на острова.

Певица благожелательно улыбнулась и ответила:

— Хорошо. После своего номера я выйду к вам в зало.

Мой друг ушел и, в ожидании, снова стал глазеть на разных поющих певиц.

Потом он решил, что отношения его с приглашенной им певичкой мог бы укрепить хороший букет цветов. Он опять тайком пробрался за кулисы и, войдя в уборную, обратился к полуодетой певице:

— Кроме ужина сегодня со мной в помещении этого ресторана и маленькой прогулки на автомобиле по островам, я прошу разрешения поднести вам букет цветов.

— Хорошо, — благосклонно сказала певичка. — Я выйду к вам после своего номера, и мы сегодня повеселимся на славу.

Мой друг опять ушел, но его стал мучить бес скромности и сомнения: не предпочтет ли девица ему другого, более щедрого, поклонника.

Через минуту он опять был в темном проходе и, нащупав дверь в уборную, очутился снова перед полуодетой певичкой.

— Кроме ужина сегодня со мной в помещении этого ресторана, маленькой прогулки по островам и букета, я прошу разрешения преподнести вам завтра хорошенькие серьги.

И опять певичка благосклонно улыбнулась и обещала непременно выйти после своего номера.

Он ушел, но его снова начал мучить тот же бес скромности и сомнения. И снова он дважды толкался в темном проходе, снова входил в уборную и, подтверждая полуодетой певичке прежние условия, обещал: первый раз — «хорошенький браслет», а второй — «оплатить счет от портнихи, если он еще не оплачен».

И вот, когда он уверился, что последним предложением пробил окончательную брешь в равнодушии певички, то успокоился и стал терпеливо ждать, когда она «кончит свой номер».

И пять певичек поочередно кончили свои номера, и поочередно подошли к нему и, обсевши несчастного малого живописной гирляндой, ласково потребовали исполнения обещанного.

Ему не стоило большого труда выяснить, что каждой из них порознь он обещал все перечисленное, потому что каждый раз он заходил в другую уборную к другой певичке, и, так как щедрость его возрастала в арифметической прогрессии, то четвертая певичка была с ним ласковее первых трех, а пятая ласковее четвертой — до полной приторности.

И так как мой друг был честный человек, то все обещанное с болью в сердце исполнил, но разрушил этим свое здоровье и потерял состояние...

Теперь его можно видеть на паперти Казанского собора, протягивающим богомольцам дрожащую руку, и холодный дождь неустанно идет на неприветливой улице. Вот что!

* * *

Я это рассказал, собственно, к тому, что шансонетные певицы все одинаковы и отличить одну от другой почти невозможно.

Г-жа Турнедо-аля-Моэль *Г-жа Пашот* *Г-жа Эскалоп де Во* *Г-жа Цвибельклёпс*

Когда они поют, то их еще различают с помощью номеров, выставленных сбоку кулис, но в частной жизни их происходят вечные путаницы.

У администрации шантана, кроме того, есть еще другие неуловимые приметы, с помощью которых различают одну певицу от другой (родинка на шее, жест во время пения правой ногой и пр.), но для других лиц это — чистейшее наказание. Самые же большие недоразумения происходят при получении певицами жалованья, и поэтому в таких случаях обязан присутствовать режиссер и капельмейстер.

Г-н Сарматов

Среди всей этой тучи звезд и звездочек горит самым ярким созвездием — Большой Медведицей или, лучше сказать — Большим Медведем — куплетист, автор Сарматов, талант совершенно самобытный и родоначальник целой плеяды «куплетистов босяков», из которых, однако, никто не возвысился до него, пионера босячества на открытой сцене...

Под гром аплодисментов появляется на сцене в своем классическом, по истерзанности костюме, высокий плотный человек и, обведя публику равнодушным взглядом, начинает петь то, что сочинено им, может быть, вчера или сегодня.

И легкие улыбки переходят в легкий смешок тяжелой на подъем публики, смешок в смех, а смех обрушивается тяжелой глыбой в гомерический хохот.

А Сарматов совершенно равнодушен и даже удивленно обводит глазами хохочущую публику:

— С чего это они?

Единственный из пестрого народонаселения сцены, он обладает голосом и, в связи с прекрасной дикцией, делает успех даже менее интересным из своих куплетов.

Единственный на этих подмостках, он не удовлетворяется «старичком, который женился на молодой», «певичкой, обобравшей гостя», и «барышней, которая начинает полнеть», а касается тем общественных, литературных, и очень жаль, что не может абсолютно коснуться политики.

Но и то, что он поет, несмотря на вульгарность и рискованность некоторых мест, ярко, сильно и всегда интересно.

Если же его будут слушать выпускные институтки или молодые лицемерные дамочки, то обе эти разновидности спрячут лицо в муфту и, зардевшись, скажут в один голос:

— Какой бесстыдник!

ТЕАТРАЛЬНЫЙ КЛУБ «ЛУКОМОРЬЕ»

Перед спектаклем ко мне подошел один мрачный человек из публики и спросил:

— Зачем они устраивают *это*?

— Что такое «это»?

— Это, вот, самое... Лукоморье, что ли!

— Как зачем? В легкой, шутливой форме устроители хотят отразить последние течения в искусстве; своими шаржами, пародиями и веселыми куплетами они собираются вызвать у зрителя добродушный сме...

— Так. Это они хотят делать в то время, когда лучшая часть мыслящей интеллигенции сидит по тюрьмам, когда бюрократическое засилье превратилось в мрачную, ужасную трагедию, да?

Я пожал плечами.

— Нытьем горю не поможешь.

— Ха-ха-ха! — разнесся по фойе его демонический хохот и, схватившись за голову, он нырнул в толпу.

Подошел маленький старичок, с видом раз навсегда оскорбленного человека.

— Лукоморье-с? Для чего это, спрашивается? Кому оно нужно?

— Помилуйте! Да на Западе, во Франции, учреждения этого веселого типа...

— Ага! Хотят веселье русской публике устроить... Да вы знаете, как русский человек веселится?

Я признался, что мне это до некоторой степени известно.

— Нет-с, вам неизвестно! Приезжает русский купец в Ниццу и попадает на битву цветов... Смех, веселье, оживление!.. Проезжает и купец в своем «ланде» по этому морю цветов, радости и красивых людей. И вдруг какая-то красавица бросает в него букетиком фиалок. А купец обиделся и сказал: «Ах ты, дрянь этакая... швыряешься?» — Снял сапог, да сапогом в нее!! Вот то непосредственное веселье, которое сродни русскому человеку.

Подошел ко мне еще один человек и весело сказал:

— А я скандала жду.

— Зачем?

— Да, так.

И еще один подошел...

— Ничего у них не выйдет.

— Почему?

— Я так полагаю. Выдумали какое-то кабарэ, какой-то зал, Лукоморье, пьесы какие-то, — зачем все это?

А когда все сели и начался пролог, около меня говорили:

— Странно как-то. Уйдем лучше!

— Брось, Вася! Подожди, посмотрим, что он еще выкинет.

— Митя, не могу я. Ах, как тяжело мне!

— Да с чего это ты так!

— Пойми, что лучшая часть интеллигенции сидит по тюрьмам! Каково это мне! Ежели у меня брат за нарушение трамвайных правил уже второй месяц сидит.

На сцене подходила к концу веселая, задорная «Честь и месть»... Сын Гастона де Лаверак, устроив из своих родственников гекатомбу, лег, собираясь умереть.

А за моей спиной говорили:

— Что это такое за пьеса?

— Это «отделение ужаса».

— Какое же отделение ужаса, когда некоторые хохочут?

— Это разве публика? Дикари какие-то!

«Честь и месть»
Граф Гастон де Лаверак бьется на шпагах со своим единоутробным сыном...

Гибель дома Ашеров
Это ты, Родриго устроил мне такое безобразие

Меня мороз по коже подирает. Подумай, какой ужас: сын убивает отца, дядю, деда и прадеда. Какая здесь тяжелая, больная драма. Как это говорится: ненормальное отношение отцов и детей... Вот к каким результатам оно приводит!

— А ты видишь: дым из трубы вырезан из картона и раскрашен!

— Да... режиссерская и декоративная часть хромают! Луны-то тоже такой не бывает!

Когда на сцене кончилось «Падение дома Ашеров», слева сказали:

— Ужасная вещь! Разве можно такие потрясающие пьесы ставить на этой сцене?

А справа сказали:

— Н-да... пьеска! Хотели сделать страшное, а мне смешно!

— Да уж... у нас, в России...

— Дикие мы.

Вышел Озаровский, и зрительный зал оживился, слушая его легкие, изящные шансонетки.

Но сзади меня сказали:

— Однако! Актер Александринки, а занимается такими делами. Хучь бы начальства постыдился.

— Ничего из этого не выйдет! Я говорил... Не знают люди, что им делать.

— Да... Надо бы еще спросить: имеют ли от полиции разрешение в смысле театральных представлений?

— Все равно ничего не выйдет. Я говорил...

А потом шла программа «Кривого зеркала».

После окончания меня спросили:

— Что вы скажете о «Кривом зеркале»?

— Ничего не скажу. Мне не хочется на него пенять.

— Почему?

— На зеркало не пеняют, если рожа крива... Но если говорят, что само зеркало кривое, извините, я буду пенять...

Г. Озаровский (шансонетки)

«НА ПЕРЕПУТЬЕ»

Пьеса в 4-х действиях. Н. Н. Ходотова

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Профессор Рудницкий. — Ну, ребята, мы все-таки должны сыграть пьесу «На перепутье»... Неловко... Публика собралась и афиши уже напечатаны.

Саша. — Ну, что ж, играть — так играть! Только вы, полупапаша, не мямлите, а начинайте скорее.

Рудницкий. — Ладно... Сын мой! Ставь превыше всего добродетель, а пороки презирай! Порок — очень нехорошая вещь!

Соня. — А-а (*зевает*). Кажется и выспалась сегодня, а зевается. Знаете что, — я с первого акта начну умирать, — все-таки время как будто скорее пройдет!

Лина (Ведринская)

Рудницкий. — Не рано ли? Ведь ты только в четвертом акте умираешь! Дорогая моя голубка, моя больная кошечка...

Соня. — Боже мой... Божжже мой!! Еще три акта...

(*Все уныло молчат...*)

Ходотов (входя). — Здравствуйте, господа! Искусство украшает жизнь! Нужно служить ему и ставить превыше всего добродетель, а пороки презирать... Порок — очень нехорошая вещь!

Рудницкий (со слезами). — Весь в меня!

Ходотов. — Что ты, Соня, не весела?

Соня. — Божжже мой! Божжже мой! Еще три акта...

Ходотов. — Потерпи, милая!

Саша. — Эй, как вас там... полупапаша! Дайте мне кусок земли в Крыму.

Рудницкий. — Для чего тебе?

Саша. — Для четвертого акта. Мы на этом клочке всю пьеску распутаем.

Рудицкий. — Возьми. Только помни: труд облагораживает человека и снег выпадает, преимущественно, в зимние месяцы...

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Варварина. — Сейчас придет моя дочь — Верочка.

Рудницкий (нервно). — Не понимаю — зачем? Для чего она понадобилась в этой пьесе? Лишнюю актрису занять?

Варварина. — Для злободневности, батюшка, для нее все! Тебя-то старого, думаешь, для чего потревожили? Пусть, мол, за либерализм пострадает! Небось, в кадетской партии состоишь, непутевый? Автор-то тоже ведь, поди, газеты читает...

Проф. Рудницкий (Яковлев)

Рудницкий. — Да я не про себя. Девчонку зачем?

Варварина. — Для ради лиги. Лиги эти свободной любви пошли... ну, Зайченко, одесский с гимназистками и прочее. Вот Ходотов мою Верочку и приспособил! Меня, намедни, за кулисами встретил — так чуть не плачет: мамаша, говорит, до чего мне, говорит, жалко, что я в пьесу дела Кова-

Г-жа Варварина (Шаровьева)

ленских не вставил и последнюю речь эсдека Покровского... Обзлободневить бы ее! (уходят).

Артистка Лина. — Ах, как я люблю искусство... Надо ему служить — не правда ли Юрий?

Юрий (Ходотов). — Правильно!.. Я тоже: буду издавать журнал с направлением... Знаешь, Лина... (*задумчиво*) — Журнал — это рассадник просвещения, а лошадь есть самое благородное животное. Разрешите вас поцеловать?

Лина. — Ах, зачем вы меня схватили на руки и тащите к окну? Неужели, вы хотите меня выбросить?

Ходотов. — Нет, помилуйте... Это я вас так люблю! Любовь — это высшее благо человека, а снег выпадает, главным образом, зимой...

(*В публике движение. Несколько человек подымаются уходить*).

Ходотов. — Господа, куда же вы? Еще не кончилось. Еще в третьем акте я буду пьянствовать и покажу бывшего человека, сочинение Максима Горького. Он играть будет на рояле — честное слово. Оставайтесь! А в четвертом акте — декорация есть: «Южный берег Крыма». Право, остались бы...

(Публика стоит в недоумении и нерешительности).

Один. — Остаться уж, что ли?

Другой. — Послушайте... А девица эта... Соня — не выйдет больше? Тогда останусь.

Ходотов. — Будьте покойны! Она не долго промучится... Раньше четвертого акта помрет. Ей Богу, оставайтесь. У нас — без обману.

(Публика нерешительно переглядывается, потом садится).

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

Ходотов. — Вот сейчас мы будем пьяные! Красильников, расскажите мне вашу жизнь!

Красильников. — Анекдот могу. Приходит купец в трактир, видит соловья. — Сколько стоит? — Сто рублей! — Зажарь! — Зажарили... А он потом говорит: — отрежь на три копейки.

(В публике движение).

Ходотов. — Куда же вы? Еще я плакать буду! Еще четвертый акт будет... Декорации Крыма, световые эффекты... Общее примирение при освещении бенгальским... Господа, позвольте!.. Никанор, затворяй двери, держи их!! Скажи там, чтоб не выдавали верхнего платья! Господин пристав! Обратите ваше внимание... Ах, отец, отец!! Как тяжело мне... Я написал пьесу и потерял в себя веру — никто меня не понимает... Никанор! Верни того штатского, что через ложу улизнуть хочет... Боже, как тяжело мне, отец! (плачет).

Двухсотый прием Луриха (передний пояс)

МАРИИНСКИЙ ТЕАТР

«Баядерка» — балет М. Петипа; музыка Минкуса

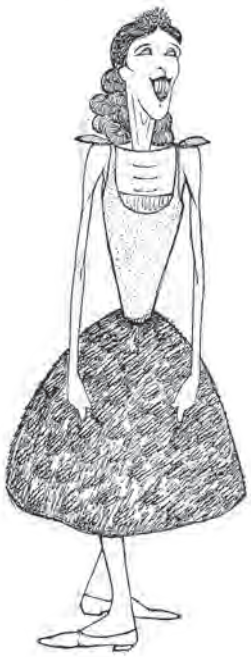
В царстве Терпсихоры все необычайно и неожиданно: и творимый балетмейстером, балеринами, танцовщицами и танцовщиками балет, и музыка, и даже, проскальзывающие порою сквозь толщу исполняемых ролей, реальные взаимоотношения гг. артистов.

Действие, если верить программе, происходит в Индии. Действующие лица все, как на подбор — раджи, брамины, баядерки, просто индусы и т. д.

Центром балета является г-жа Павлова, изображающая главную баядерку Никию. В Никию влюблены сразу двое: коварный и старый главный брамин (г. Булгаков) и молодой воин Солор (г. Андриянов) с раз навсегда остановившимся выражением крайнего изумления в лице и движениях.

Г-жа Павлова

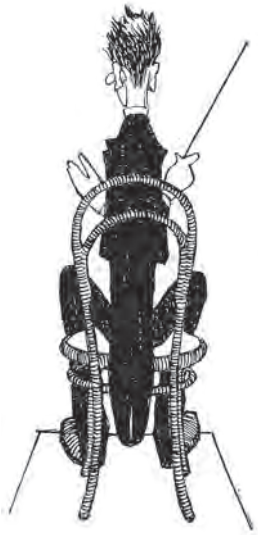
Прекрасная Никия платит молодому воину полной взаимностью, и счастью их, казалось бы, не должно быть предела; но в дело вмешивается злая сила в лице гадкого брамина. Солору приходится жениться на дочери раджи (г-жа Седова). Дочь раджи приглашает Никию и отравляет ее на глазах многочисленной публики ядовитой змеей, скрытой в корзине цветов. Никия долго и упоительно танцует, пока роковая смерть не прекращает ее гибких и плавных движений.



Г-жа Седова

Но дочери Раджи, увы, не так легко оказалось устранить соперницу. Она не перестает жить в воображении ее возлюбленного Солора, и это обстоятельство является необходимым и достаточным для того, чтобы Никия и после своей смерти продолжала танцевать столь же упоительно, безупречно и трогательно, но уже безостановочно, с очевидным намерением олицетворить бесконечную нирвану. Танцует она до тех пор, пока колонны дворца и кулисы, поколебленные до самых основ своих силою волшебного танца и чуждые, и враждебные воплощенной нирване, не погребают ее и всех присутствующих под своими обломками.

Необычайна и музыка «Баядерки». Ее мотивы проникли в самые недра индусского духа. Они, очевидно, вылились из той седой старины, когда зачатки всех европейских культур таились в теплом санскритском гнезде. Чуткий талант г-на Минкуса остановился на мотивах, наиболее близких славянской душе. Он обработал их, приноровившись к современности и,



Капельмейстер г. Н. А. Малько

таким образом, вся индийская «баядерка» протекает на фоне музыкальной мозаики, сотканной, по преимуществу, из истинно русских мотивов. В результате, при соблюденной исторической правде, получился совершенно оригинальный эффект.

Не обошлось без инцидента. Госпоже Павловой очень не хотелось бисировать одного танца, несмотря на энергичные аплодисменты публики и даже на приглашения своего кавалера, г. Андриянова, вышедшего уже из-за кулис. Все казалось тщетным, и оркестр перешел уже к следующему номеру. И только тогда «божественная» балерина выпорхнула из-за кулис. Но было уже поздно: оркестр шел дальше. Публика неистово хлопала, заглушая музыку. Балерине пришлось сделать несколько грациозных пируэтов и удалиться.

Впоследствии оказалось, что кругом виноватым был капельмейстер г-н Малько, который, по своей неопытности, не обратил должного внимания на выразительный кивок средним пальцем левой ноги, который был произведен «божественнной» за кулисами в тот момент, когда настроение ее изменилось и она решила бисировать. Говорят, что балерина очень серьезно недовольна капельмейстером; однако же, великодушно простила после того, как он дал торжественное обещание следить на будущее время более внимательно за подаваемыми ему знаками.

НЕВСКИЙ ФАРС

«Бесшумный канкан» — фарс, «Вот так аптека!» — обозрение.
Сочинено и поставлено многими лицами, пугливо скрывшимися под инициалами

...Я скомкал газету, швырнул ее в угол, проворчал:
— К черту нудную глупую политику!
И вышел в кухню, сам не зная зачем.
В кухне сидел младший дворник и говорил кухарке:
— То есть, как он на язык остер: ах ты, говорит, выборгская лягушка!
— Ты это о ком? — строго спросил я.
— О Пуришкевиче, господине. Речь евонная.
Молча, я повернулся к нему спиной и, грустный, побрел к знакомым.
Гимназист четвертого класса встретил меня в гостиной и сказал:
— Мамы нет. Вы читали эрфуртскую программу?
— Нет, — сухо ответил я. — Вчера я читал программу бегов.
— А какой вы партии?
— Я — младофиностарошведоман!!
Хлопнув дверью, я прищемил ею гимназистову ногу и выбежал на улицу.
— Извозчик! Вози меня по улицам!
Лошадь дернула, и я облегченно вздохнул.

Извозчик обернул ко мне печальное лицо и спросил:

— А что я у вас спрошу... Будет ли из думы толк в рассуждении землицы, али так что?

— Так что! — ответил я, дрожа от негодования.

— Господин Гучков сулили...

— Слушай! — закричал я. — Знай, что я — агент охранного отделения, и если ты скажешь еще одно слово — завтра же будешь гнить в Нарымском краю.

Извозчик был против преждевременного гниения своего тела, и поэтому умолк, как поломанный граммофон.

По пути я столкнул двух мальчишек с газетами, лезших ко мне на колени с воплем: «оч-чень интересно! Мнение Гучкова по балтийскому вопросу!» и, выехав на Невский, вдруг закричал извозчику, осененный неожиданной мыслью:

— Извозчик! В фарс!

Г. Вадимов — Сенатор Гуно

— Единственное место, где я отдохну от политики, — радовался я, купив билет и наталкиваясь неожиданно в фойе на карикатуриста из «Сатирикона».

— Читали о вероломстве Турции по вопросу о Боснии и Герцеговине? — спросил он, подмигивая.

— Славненькое помещение! — ответил я, осматривая фойе.

— А Вильгельм опять попался с интервью... Вот тема для карикатуры, а?

— Я нахожу эти цветные стекла очень забавными, — продолжал я, заметно худея на его глазах.

— А знаете, вы, кажется, последнее время худеете!

Он сделался грустным. Потупив голову, прошептал:

— Что-то теперь поделывает Пуришке...

Портрет главной героини пьесы

Раздавшийся звонок отогнал призрак смерти, уже нависший над ним, и мы прошли на места.

«Бесшумный канкан», как всякий фарс, начался очень глупо, и это стало меня успокаивать.

Но уже с конца первого акта в ушах моих стали звучать, как старый, надоевший мотив, странно-знакомые слова:

— Тиндаль, бесшумный, корсет мадам Кистёр, танцкласс, поставка, аванс...

— Вы не находите этот фарс странным? — спросил я карикатуриста.

— Боже мой! Да ведь это дело Лидваля. Неужели, вы не догадались?

— Негодные! — вырвалось у меня.

— Тссс... Они ведь оправданы.

— Негодные! Они ввели в фарс политику!! Сейчас пойду и донесу...

Танец Апашей

Оставшись на второй акт, чтобы собрать материал для доноса, я уже к концу акта совершенно успокоился. Это был старый, добрый фарс... Смоляков выскакивал в одном белье, дамы поголовно были в одних корсетах и, хотя кровати на сцене не было, но кровать была за сценой. Три кровати.

С дела Лидваль осталось только то, что перед зрителями промелькнула масса корсетов, и канкан назывался «бесшумным».

— Послушайте... — спросил я. — Значит, важный сановник Гуно, это...

— Да.

* * *

После «бесшумного канкана» шло что-то странное. Настолько странное, что даже авторы, написав, удивились и назвали это:

— Вот так аптека!

Политика была и здесь, в лице московского администратора, но я не ушел, потому что заинтересовался танцем апашей.

Арабельская и Улих дали в этом танце такую трагедию мрачного хулиганства, что публике жутко стало.

Милый, прекрасный Париж! Он выбросил за борт ненужных людей, и когда они в чаду воровства, сутенерства, грабежа и убийства создали свой «национальный» танец, Париж восторженно зааплодировал ему, сходя с ума от его красивой мрачности и ужаса.

А русский апаш до сих пор ворует у кухарок горячие самовары, танцует в вертепах польку-трамблян и, выпив бутылку водки, валится посреди грязной улицы, беспомощный и грязный...

И чего это смотрят наши славянофилы!

* * *

Один парижанин рассказывал мне, что танец апашей могут танцевать только те, которые совершили какое-либо преступление...

Можно даже сделать пустяк: украсть носовой платок у приятеля, отнять у знакомой дамы пятиалтынный или отрезать октябристу голову.

Русский апаш

ТЕАТР КОМИССАРЖЕВСКОЙ

«Ванька-ключник и паж Жеан» драма в 12 двойн. сценах (24 карт.).
Сочинил и растянул Федор Сологуб

Я знал одного мальчика, который больше всего в жизни любил разные эксперименты... Взявши сухую горчицу, зубной порошок, уголь и толченый перец, он смешивал все это, и потом поджигал смесь спичкой, с замирающим от ужаса и любопытства сердцем ожидая взрыва...

Потом, при неудаче, забывал сейчас же о своих взрывчатых препаратах и бросался в другую крайность — буколического характера: насыпал на струны пианино землю и сеял в ней жаренные подсолнухи, очистив их заботливо от шелухи.

Этого мальчика наказывали, немилосердно драли за уши, но священный огонь в нем не угасал.

Князь (Г-н Нелидов)

Последним его опытом было спуститься из окна пятого этажа на детском зонтике. Этот эксперимент вписал новую жертву науки в длинный мартиролог погибших воздухоплавателей.

Дух этого бедного мальчика все-таки не угас, а поселился в Федоре Сологубе.

Детски-пытливый ум его находит во внешней жизни массу такого, что можно очень забавно смешать, а потом посмотреть: что из этого выйдет?

Таковы его «Тени». Мать и сын делали на стене с помощью пальцев зайчика. Кажется, мирная, тихая забава... А Сологуб подкрался к этому тихому семейству, скомкал, разбил его жизнь, свел с ума и, получив за это от издателя гонорар, ходил таким козырем, будто хорошее дело сделал.

Дух моего мальчика смутил Сологуба и в «Навьих чарах». Намешал он в одно место эсдеков, мертвецов, казаков, привидения, эллинский культ красоты и, с блестящими от любопытства глазенками, стал наблюдать, что из этого выйдет?

Однажды, впрочем, мой мальчик вылез из Сологуба, и он написал в это время великолепную, незабываемую вещь: «Мелкий бес».

— Курьезная штука, — задумчиво говорил однажды Федор Сологуб своим друзьям, когда дух экспериментального мальчика снова вселился в него. — В прежние годы носили смешные уродливые одежды, флиртовали, хлопая друг друга ладонью между лопаток, пьянствовали в кружалах с кабацкими женками и поганых татар считали ни во что.

— Ну?

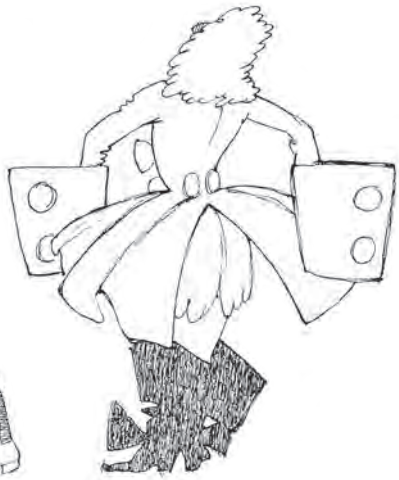
— А во Франции в это же время все было чище, благороднее: изящные костюмы, манерная речь, жеманность и слуги не назывались уже Ванькой-Ключником, а куда красивее: Паж Жеан!

— Ну, так что?

Сологуб рассердился.

Княгиня (Г-жа Любавина)

Паж Жеан (Г-н Закушняк)



Граф (Г-н Аркадьев)

— Что, да что!! Вот возьму и напишу пьесу на этот сюжет.

Посмеялись, забыли.

* * *

Не забыл только своего обещания желчный, мстительный Сологуб: пьеса действительно, была им написана и 8-го января впервые поставлена у Коммиссаржевской.

Публику сначала забавляло: что вот де, там князь, а здесь граф, там Ванька, а здесь Жеан, на левой половине самовар, на правой — шампанское.

Веселая девица

Но когда этот принцип противоположности был зрителями установлен и усвоен — показалось скучным. Правая половина сцены повторяла левую, с той только разницей, что налево говорили:

— Ой, ты, гой еси, добрый молодец!

А направо:

— О, мой хитрый плутишка, Жеан!

А потом публика стала хитрить: посмотрев русскую половину, на французскую не смотрела, а, улизнув тихонько в фойе, просила капельдинеров:

— Ты, милый, когда русское начнется, кликни меня.

Возвращаясь, проверяли у соседей по месту:

— Там было кружало, а здесь должен был быть трактир. Верно?

— Верно.

— Там проболтался Ванька, а здесь Жеан. Верно?

— Верно, — подтверждал сосед, с изумлением смотря на догадливого зрителя. — Откуда вы узнали?

— Догадался. Ну, прощайте, побегу в фойе: правая половина начинается!

* * *

Дух моего мальчика в Сологубе состарился и живость его потускнела.

Он уже обленился и опыты свои стал делать наполовину: мог бы в пьесе еще провести две-три параллели, следя с замиранием сердца, что из этого выйдет.

Например,третья параллель:

«Джон-шофер». — К барону поступает на службу шофер Джон, и сходится с баронессой. В наказание за это, барон удерживает с него жалованье за три месяца. (Современные нравы!).

Или четвертая параллель: «Вицли-Пуцли — хранитель скальпов». К индейскому вождю поступает на службу красивый парень Покатепетль. Он сходится с женой вождя. Безграмотный, некультурный дикарь, узнав об этом, съедает несчастного Покатепетля, а жене снимает скальп.

И теперь мне кажется, что, спустившись на зонтике с пятого этажа, мальчик не расшибся, а вырос и сделался драматургом.

НОВЫЙ ЦИРК

(Дирекция Губерта Кука)

В тот день я прочел новое распоряжение о представлении на предварительную цензуру клоунских острот и экспромтов.

Успокоение еще не наступило, гидра революции не умерла, а только притаилась и замаскировалась.

Она свила себе прочное гнездо в цирковых конюшнях, на арене, посыпанной мягкими опилками, и ехидно выглядывает теперь из утомленных глаз, сверкающих на белом раскрашенном лице клоуна...

Цензура получает на просмотр такое произведение:

— «Господин клоун! Ваше лицо мне знакомо!»

— «Неудивительно, г. жокей! Мы с вами в прошлом году три месяца в одной тюрьме сидели».

Цензура хмурится.

— Это что значит?

Смущенный клоун, не привыкший разговаривать с такими важными людьми, краснеет и пытается стать на голову.

— Вы эти штуки бросьте! Иван, переверни их на ноги. Почему вы о тюрьме заговорили?

Несчастный клоун в недоумении. Ему трудно ответить на этот вопрос. Лучшим выходом из такого положения он

Директор цирка Г-н Губерт Кук

Гимнаст Г-н Лоэнс

считает запеть петухом или забросить небрежным жестом ногу за плечо.

— Господин директор! — говорит он ломаным языком. — Это реприз. Я его уже двадцать лет повторяю.

— Я вам не директор и, вообще, реприз это или что другое, только о тюрьме теперь нельзя. Что у вас еще там?

— Вот... Моя собака притворяется мертвой. И я ее пугаю: автомобиль едет! Живодер идет! Охотник с ружьем! Она не обращает внимания. Я кричу: городовой идет! Она вскакивает и убегает.

Цензура сумрачно смотрит на клоуна.

— Вы знаете, что это такое?

— Это мое антрэ с дрессированной собакой Лэди.

— Нет, это возбуждение против полиции и насмешка над органами власти. Можете идти.

Облегченно вздыхая, клоун перепрыгивает через три стула, ныряет под стол, кричит петухом и, попав в дверь, кувырком скатывается с лестницы.

— Уф!!!

Раньше я очень любил клоунов. Пойдешь в конюшню, познакомишься, расспросишь их о скитальческой горемычной жизни.

Теперь боюсь. Влетишь в историю.

Впрочем, клоуны цирка Кук быстро применились к новому режиму. Хотя острот уже не слышно, но эта веселая компания — великолепные гимнасты и большие юмористы без слов.

Да здравствует всероссийская свобода жестов!

Юмор у них разный: в то время когда Том Биб юморист своего тела, у Жакомино замечательный мимический юмор лица.

Хлопотливый клоун

Гретхен

И есть даже юмор роста: почти при каждом номере выходит занятый по горло своими делами крошка-клоун, ростом не более аршина... Он хлопочет, изнемогает от желания помочь товарищам, путаясь между их больших сильных ног и вызывает неумолкаемый хохот зрителей. В конце спектакля он появляется в костюме чуть ли не златокудрой Гретхен, и удостаивается шумной овации.

Другие номера также забавны и любопытны.

Выходит, например, господин, по имени Лоэнгс, взбирается на голову своей супруги и начинает усердным образом нарушать анатомию и строение человеческого тела. Он садится сам себе на плечи, поворачивает с любопытством голову в сторону, противоположную ногам, и, сдвигая лихо живот на грудь, а шею — набекрень, показывает, что человек может быть жизнерадостным даже не решая проклятых вопросов:

— В чем заключаются проблемы идеализма и можно ли констатировать духовный распад русской интеллигенции?

Впрочем, вся эта разнообразная, пестрая, раскрашенная и блестящая толпа относится к своему делу вполне серьезно и все свои прыжки и фокусы так и называет:

— Работа.

Ввиду того, что такого рода учреждение, как цирк, никому не вредит, доставляя одно только удовольствие, я в заключение скажу совершенно искренно:

— Кувыркайтесь, веселые молодые люди! Цирковые опилки вам пухом!

МИХАЙЛОВСКИЙ МАНЕЖ

Борьба

Полудикари, полудети — они живут такой странной, нелепой жизнью, что при ближайшем с ними ознакомлении только руками разводишь.

Сентиментальность идет их десятипудовым, внушительным тушам, как корове седло.

Но они все — сентиментальны.

Беззаботная, шумная и внешне красивая жизнь должна делать их веселыми и жизнерадостными.

Они унылы, печальны и часто от безысходной тоски не находят себе места.

Боятся мышей, вида крови, нервничают как институтки и, подвыпивши, долго и неотвязно рыдают на плече случайного знакомого, которого называют другом и «единственным человеком».

В провинции я был знаком с одним «сибирским богатырем» Костей, который по вечерам гнул разную железную дрянь, носил на своих плечах весь скудный наличный персонал цирка, занимая даже кое-кого для этой цели из публики, боролся с быком и, подбрасывая перед своей физиономией массивную гирю, подставлял под нее широкую волосатую грудь, которая гудела от удара как пустая бочка.

А после представления приходил ко мне, садился в уголку и, склонив на бок голову, жалостно и тоскливо смотрел в одну точку.

— Ты что, Костя?

— Скучно мне.

— С чего же это ты так?

— Ничто мне не мило, Аркадий. К чему это все — эти почести и слава?

(В тот вечер почитатели поднесли ему какой-то вышитый пояс и жиденько аплодировали).

Кащеев — нежная хрупкая натура с острова Борнео

Вздыхая, он вставал, подходил к письменному столу и, трогая медвежьей лапой ажурный нож для разрезания книг, заявлял:

— Дал бы ты мне почитать книжку...

— Зачем тебе? Какую книжку?

— Ну вот ту, желтую, что-ли. Тоска у меня какая-то, а чего — неизвестно. Помру я, брат, скоро... Не жилец я!

За ужином, после водки, он плакал на моей груди и вспоминал молодость.

— Ты бы влюбился, Костя.

— Не могу. С тех пор, как невеста в Варшаве померла, я свято храню это чувство!

— А отчего же она умерла?

— От телефона.

— Заразилась?

Опечаленный, он долго смотрел в темное окно.

— Нет. Я как-то прихожу к ней и слышу, что она по телефону назначает свидание другому. Я оторвал телефон от стены и ударил ее по голове. Она и скончалась. В тюрьме скверно, брат, упражняться нельзя. Два года сидел, а потом сразу в чемпионат пригласили. Боролся.

А однажды он рассказал мне ровным, неторопливым голосом, как в каком-то приволжском городке один захудалый борец не лег под другого, как было условлено, а сам положил его. Товарищи на другой день пригласили захудалого борца кататься в лодке и, выехав на середину Волги, утопили его.

* * *

Иван Поддубный, не имеющий за ненадобностью, лопаток

В Михайловском манеже меня подвели к одному столику и представили сидевшему за стаканом чая человеку.

— Иван Поддубный. Чемпион мира.

Доброе хохлацкое лицо с выражением незатейливой хитрости. Огромная ручища держит крохотную, затерявшуюся между пальцев, пипиросу.

Я подсел к нему и, помолчав, спросил:

— Ведь вы теперь считаетесь по борьбе первым в мире... Приятное сознание для человека вашей складки, а?

Он вздохнул и уныло улыбнулся.

— О чем там говорить... Мне борьба надоела! Бросаю я скоро нашу борьбу. Годы.

— Боже мой, неужели! Что же вы будете делать?

— Бросаю борьбу и женюсь. Есть у меня под Полтавой хуторок — заживу там. Знаете, вишневый садок, млинок, ставок, коровки...

Волосатая ручища подперла щеку и меланхолический взгляд увлажнился слезой.

Чемпион мира имел свои идеалы.

* * *

В этот вечер я видел многих премьеров.

Нервного, самолюбивого до обморока Заикина, боровшегося со Шнейдером вничью... Веселую жизнерадостную, изящную обезьянку Вилла Чезе и страшную, угрюмую гориллу нечеловеческой силы и роста — Кащеева.

— Этот, — подумал я, если и будет убивать кого-нибудь, то не телефоном, как милый, сентиментальный тоскующий Костя, а письменным столом, двуспальной кроватью или автомобилем.

Заикин — портит в день до 60 пудов железа

* * *

А ночью мне грезилась идиллическая жизнь в хуторке чемпиона мира Поддубного.

Сальватор-Бамбула, брюнет при чемпионате

Был прекрасный лунный вечер. Поцеловав полумертвую от боли и ужаса жену, поэтически настроенный хозяин хутора вышел посидеть на лавке, полюбоваться тихой луной. Сел на лавочку, возвел задумчивые глаза к небу, но лавочка захрустела под ним, рухнула, и хозяин, проворчав разочарованно:

— От, туды к бису!

Встал и побрел посидеть на берегу ставка.

Когда земля сползла под задумчивым хозяином и он очутился в ставке, вытеснив из него всю воду, ему ничего не оставалось делать, как пойти в вишневый садок и подышать ароматом вишневого цвета.

Он попытался подышать, но от первого вздоха цветы стали белым снегом осыпаться с деревьев, и опечаленный хозяин, стараясь не наступать на кусты, тихонько вышел в задремавшее поле... Увидел пасущуюся коровку и ласково погладил ее по крутой спинке. Коровка с переломленным хребтом упала на траву, а обескураженный хозяин пожал недоумевающе плечами и пошел спать.

Андерсон, прозванный дирижаблем. Ежедневно надувается Ярославцевым

Через неделю хозяйство чемпиона пришло в совершеннейший упадок.

АКВАРИУМ

За столиком, недалеко от сцены, сидят два человека и тихо разговаривают.

— Я, Митри Митрич, человек до болезненности добрый. Если что не так — я от жалости слезой изойду. Вы вот привели меня сюда смотреть на разные танцы и песни, а мне, Митри Митрич, не весело, а жалко их всех.

Аркони, акробат и неудачник

Пожилой собеседник, зевая, тоскливо просит:

— Ваня! Замолчи, сделай милость.

— Мне, откровенно говоря, и вас жалко. Человек вы не молодой, вам нужно плоть умерщвлять, спать раньше ложиться, а вы все по разным Аквариумам, да Террариумам мечетесь... До чего мне это грустно!

— Ваня! Замолчи, сделай милость.

— Я, Митри Митрич, с детства имел большое сердце. Бывало, у отца под кроватью... башмаков пар тридцать стояло. Мне и их было жалко: стоят в темноте, пыли, сырости, паутиной обвешаны. Луча солнешного нет на них. Вытащишь, оботрешь, на солнышке погреешь — жалко мне вас, милые башмачки.

— Блажной ты.

— Это как сказать. Вон на трапеции сейчас сестры Христиан кувыркаются. Страшно им там наверху, голова кружится, а тут за столом звери сидят, выпучили глаза, смотрят и Бога молят: упань, сделай милость, упань! Одна сестра за другую боится, и кажная за себя.

— Ваня! Я тебе четвертной дам — не ной ты только. Не растравляй мою душу.

— Меня, Митри Митрич, не подкупите. Вот сейчас какая-то поет... Как ее там по росписанию поездов? № 3! Мадаме Анжела... Ага!.. Ведь вот пожилой человек, сырой, дома дети не спят, мамыньку ждут, у самой дыханье забивает, ноги трясутся, потому года уж не те, а она — пой! Представьте себе, Митри Митрич, поет!..

— Ваня!!!

— Ваня, Ваня... А это что такое? 4 Аркони, партерные акробаты. Господи! Варвара великомученица! Сломят себе шеи четыре Аркони, ох, Митри Митрич... Старичок-то комический улыбается, сердешный... А у самого кошка по сердцу скребет. Ах вы, Аркони горемычные... Этакое ведь придумали: станет на доску один, а другой его оттелева — мызг! Митри Митрич! Заявите администрации, штоб старичка сняли с очереди... Убьется ведь!

— Ваничка! Дай ты мне хотя цыганского романсу дождаться... Потом, сделай милость, хоть с кашей меня ешь...

М-те Анжела (представьте — поет)

Дмитрий Дмитрич потребовал еще бутылку вина и просветлел, когда на сцене появилась Каринская.

— Слушай, Ваничка, романс.

Ваня покачал головой и сказал:

— Мне, Митри Митрич, и ее жалко.

— Почему, Ванюшенька?

— Женщина, царь природы, имеет спецыальность петь романсы. Хорошо-с. Но где, Митри Митрич? Не в тихом зале, а под звон тарелок, разных ножей и прочей посуды. Зритель гомонит, как на базаре. Митри Митрич! Нешто это искусство?

Потом Ваня умолк. А когда на сцене появился цыганский хор Шишкина, он вынул из кармана платок и тайком утер глаза.

— Что же это такое, Митри Митрич? Ведь они, злосчастные, может последний год поют. Ведь они из моды выйдут...

— Ваня! Ты б вина не пил больше, а?

— Митри Митрич! Чего это они сейчас пели? Тройку? Ага! Ведь еще годик, Митри Митрич, и их дирижабль задавит... Автомобиль задавит. Цыган чем хорош? Когда он о тройке, да ямщике поет. А через год тройка насмарку, ямщик насмарку — ага! Тогда цыгану смерть — не о чем ему петь будет. Теперь оно, конешно, складно: тройка скачет, тройка мчится, ямщик песенки поет... А уж тогда автомобиль не заскачет, шофер не запоет... Из-под дирижабля пыль не взовьется...

М. А. Коринская поет (цыганские романсы. Танцевать остерегается)

Н. И. Шишкин. — Предводитель цыганского хора. Проводит жизнь в пении и пляске

Опустив голову, Ваня начинает плакать... Потом, подперев щеку, затягивает тонким голосом:

— Дирижабль скачет, дирижабль мчится! Воздухоплаватель песенки поет...

Лечу, лечу к ней, Лечу к милушке мо...

— Здесь петь нельзя, — подлетает распорядитель.

— Шшто-с? Иди, пока я тебя не зашиб.

— Прошу прекратить.

— Шшто-с? Рраз! Съел! Ага, больно?

— Господа, берите его! Хватайте за руки... Я вам покажу, как драться!

— Митри Митрич! Двиньте-ка этого рыжего бутылкой по черепу. Штоб он знал!

— Терентий! Держи его крепче... Да ножик, ножик у него отнимите...

ЛИТЕЙНЫЙ ТЕАТР

GRAND GUIGNOL

Кто когда-либо писал рецензии о театр Guignol, тот знает, как трудно начать рецензию об этом театре... Честное слово.

Ну, так вот:

— В настоящее время, когда Россия задыхается в тисках ужаса и беспра...

Или нет:

— Притупившиеся нервы театральных зрителей требуют чего-нибудь острого, возбуждающе...

Впрочем, может быть, так:

— Ужасы жизни уже перестали трогать публику. Понадобилось...

* * *

Одним словом, мы были в театре Grand Guignol.

Театр этот ставит пьесы двух сортов: ядовито-сатирические и мрачно-трагические.

Убийство «дамы из ложи», за ее ненужностью

С тонким ядовитым юмором написал автор остроумную безделушку: «Короли воздуха и дама из ложи». В забавной форме автор показывает, что даже удар ножа, падение гимнаста и смерть могут вызвать веселый, незлобивый смех зрителя.

Меткая пародия на слезливо-цирковые произведения, где гимнаст прыгает без сетки и ломает себе шею, а убитый горем клоун должен смеяться перед публикой — вплела новые лавры в моральный венок талантливого язвительно-остроумного автора.

Забавно было видеть, как наиболее некультурная часть публики приняла тонкий юмор автора за чистую монету и навзрыд плакала в том месте, где брат мертвого гимнаста ленивым движением втыкает нож в грудь дамы из ложи, после чего ложится на землю, хладнокровно закуривая папиросу.

Впрочем, не поняли этого немногие.

Гелла-Горская — младочешская артистка

* * *

Потом было отделение ужаса.

Тяжелая, кошмарная вещь!

На сцене милая, дружная семья аптекаря Швальбе, занимающаяся мирными и утешающими душу развлечениями... Неожиданно входит злой гений семьи — регистратор Эбершпахер — и в потрясающей речи начинает разоблачать страшную, полную преступления жизнь наружно-благочестивого семейства.

Г. Курихин — продувной Фриц

Перед зрителями развертывается ужасная, неслыханная картина семейного разложения, картина, от которой содрогается всякий, нравственно чистый человек.

Громы обличения пробивают даже закоренелые души преступного семейства.

И, под градом обвинений, позорная, полная преступлений жизнь каждого члена семьи кончается страшной, насильственной смертью, смертью, когда преступник, чувствуя себя загнанным зверем, сам кончает расчеты со своей запятнанной жизнью.

Г. Перелыгин-Орловский — лицемерный аптекарь

Но и при апофеозе жизни преступников не обошлось без злодеяний. Сын зарезывает сначала разоблаченную мать, а потом уже себя... и лейтенант стреляется только после того, когда вонзил пулю в горячо любимую невесту, мать его будущего ребенка!

Г. Курихин — Жюль Бонар, по воскресении из мертвых

Эта тяжелая драма потрясла меня до глубины души... но еще больше потрясло и возмутило меня отношение к пьесе нашей дикой, некультурной публики.

В самых драматических местах она смеялась!!

Конечно, на подобного рода зрелища идут люди с кровожадными инстинктами и веревками вместо нервов, но бессмысленно хохотать в момент наивысшего напряжения драмы, это предел всего.

Следующая драма «Ночь госпожи Левалуа», в которой автор делает попытку осветить наболевший вопрос о летаргическом сне и злоупотреблениях агентов полицейской службы, была также встречена публикой с иронической усмешкой.

Очевидно, не поняли.

* * *

P. S. Если часть зрителей, прочтя мою рецензию, не будет согласна со мной в некоторых пунктах рецензии, то это потому, что мы на театр Grand Guignol смотрим различно...

P.P.S. Я считал бы своим долгом похвалить кое-кого из артистов Guignol, я за прекрасную игру (Курихина, Шахалова), но на мои похвалы стали в последнее время смотреть как-то странно...

Например: в почтовом ящике нашего журнала я расточал авторам самые учтивые комплименты... И что же! В последующих письмах они прилагают по десятку марок «на ответ по почте», лишь бы не фигурировать в почтовом ящике (??!).

Так и придется, кажется, умереть мне не понятым.

ТЕАТР «ПАССАЖ»

«ФИГОВЫЙ ЛИСТОК» — фарс в 3 д., пер. С. Сабурова и
«ЗА СИНЕЙ ПТИЦЕЙ» — обозрение-пародия в 3 д. Фланера

Обращаюсь к читателям...

Преимущественно к тем, которые не писали плохих стихов, не заклеивали их в конверты, не посылали «Сатирикону» и не читали потом ответов в «почтовом ящике»... Одним словом, обращаюсь к читателям, не предубежденным и не настроенным враждебно против «Сатирикона».

Г-жа Легар-Лейнгардт — (Пресса)

Читатели! Метерлинк написал пьесу «Синяя птица» — смешную и смахивающую на беспочвенное обозрение, штуку.

Сабуров взял и поставил еще более смешную и юмористическую пародию на эту «Синюю птицу».

А мне выпало на долю самое трудное: написать юмористический отчет на юмористическую пародию юмористической пьесы.

Это очень тяжело, гг. читатели, не заклеивающие плохих стихов в конверты и не присылающие их в «Сатирикон».

Попробую.

* * *

— Ого! Ну, и бездарная же вещь! Уж глупее ничего не может быть...

Но, к нашему удивлению, всякий последующий фарс оказывался нелепее предыдущего и, смотря какого-нибудь «Сатира» или «В одной постели», мы с тяжелым сердцем думали:

— Что ж из того, что это плохой фарс... Следующий будет еще хуже.

Но все имеет предел.

Однажды, месяц тому назад, мы увидели фарс «Монденки», сочиненный какой-то Мельницкой.

За всю нашу скорбную жизнь я, со своим другом художником, перевидал массу плохих фарсов. Смотришь фарс, думаешь:

Г-жа Лерма — Реклама

Г. Пальм — Душа кошелька

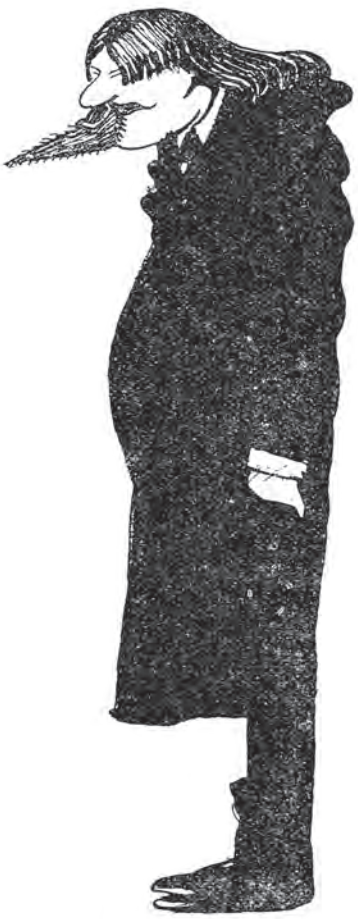
Мой товарищ по несчастью — после первого же акта схватил меня за руку и стал тащить к выходу.

— Бежим! Я хочу спасти себя от желания бросить на сцену бинокль и кресло!

Он убежал, а я остался, и с какой-то сладострастной извращенной напряженностью досмотрел фарс.

Эта вещь, неслыханная по глупости, небывалая по нагромождению каких-то раздетых жен, толстых мужей, бессмысленной модной мастерской и совершенно непонятного католического патера, — навсегда застраховала меня от печального сознания, что «бывают вещи и хуже».

После этой пьесы все фарсы кажутся мне смешными, и я, смотря даже «Фиговый листок» у Сабурова, хохотал, как ребенок, тем звонким серебристым смехом, который вызывает у соседей желание выбросить смеющегося из ложи бельэтажа в партер.



Сабуров — Антон Бледный

В «Фиговом листке» мне очень понравилась госпожа Легат-Лейнгард, вся одежда которой состояла из полдюжины головных шпилек и сотни пылинок рисовой пудры.

Дабы пресечь желание г-жи Легат показаться в таком же виде и во второй пьесе, Сабуров выпустил ее закутанной в белый балахон, а чтобы она не могла, по своей обычной привычке, раздеться на сцене догола, связал ее веревками и приложил к балахону сургучные печати.

Здесь мне ясно, что, как я ни оттягивал трудной задачи — сказать что-либо о «За синей птицей» — мне приходится это сделать.

Делаю: есть очень смешные места, стихи плохие, рифмы дубовые, Грановская очаровательна, диссонансом звучат вечные — теща и Дума, г-жа Лерма, с ухватками мальчишки, прелестно танцует «электрик» (благодаря ей, это чуть ли не лучший № обозрения), Сабуров даже в роли Антона Бледного ухитрился дать яркий штрих... А потом был Пальм, кошки, собаки и разное зверье.

И, так как у меня из головы не выходил фарс г-жи Мельницкой «Монденки», то я благодарно кивал головой отсутствующему г. Фланеру и восторженно шептал:

— Шекспир! Сущий Шекспир.

МАЛЫЙ ТЕАТР

«ШЕЛКОВИЧНЫЕ ЧЕРВИ»
Комедия в 4-действиях кн. В. В. Барятинского

У меня явилась мысль, не лишенная для читателя некоторого интереса... Я хочу рассказать сюжет новой пьесы князя Барятинского; не «Шелковичных червей», а другой — еще не написанной и даже больше — еще князем не задуманной.

Называется она, ну... «Лианы».

Граф Богодуров, профессиональный железнодорожный вор и морфинист, знакомится на балу с очаровательной княгиней Знаменской. Завязывается остроумный светский разговор и графиня им увлекается, так как она, бедняжка, не видела ничего лучшего. Потом на сцене начинают толпиться несколько молодых людей самого высшего общества, беседуя о своих любовницах и последних совершенных ими карманных кражах, чем наглядно показывают падение высшего общества.

Выходит барон Бобо — профессиональный остряк пьесы. Он спрашивает всех:

— Почему говорят тыква, а не вы-ква?

И, найдя в супе муху, рассказывает, что он обнаружил в нем то, из чего слона делают.

И это веселый элемент пьесы, и все хохочут, но есть элемент и грустный, драматический...

Дело в том, что к князю Знаменскому приходит чинить электрические звонки молодой монтер Крутояров, безнадежно и неисправимо добродетельный молодой человек... Случайно блестящая княгиня Знаменская встречает его в кабинете, возящимся с элементами, и видит, что он не такой, как другие. С умилением смотря на его честные, грязные руки, спрашивает:

— Отчего вы не такой?

— Оттого, что я хороший, добродетельный, а ваше высшее общество — гнилая дрянь! Леность есть мать всех пороков, а труд облагораживает человека.

— Неужели? — изумляется княгиня. — Боже... Отчего мне раньше этого никто не говорил... Какие это новые, странные слова и понятия... Как это, в сущности, верно! А что вы думаете обо мне, г. монтер?

Монтер смотрит в угол и начинает издалека:

— Читали ли вы когда-нибудь о тропических растениях? Нет? Так вот в Южной Америке есть красивое паразитное растение — лиана... Обладая роскошными цветами, оно не растет само по себе, добывая средства к жизни починкой электрических звонков, а живет на

Г-н Глаголин (Ромахин)

чужой счет, высасывая соки из деревьев. Вы, ваше высшее общество и есть эти самые лианы, по имени которых князь Барятинский и назвал свою пьесу. Кроме того, я подслушал по телефону, что вы любовница графа Богодухова, а это безнравственно. Пойдемте!

Монтер вскакивает и начинает тащить Яворскую (княгиня должна быть обязательно Яворская) за руку.

— Куда? — пугается Яворская.

— Пойдем к лучшей, новой жизни! Ты будешь варить мне обед и штопать фуфайки, что избавит тебя от великосветской грязи! Прилежание есть залог преуспеяния, а красота духовная превыше красоты физической.

Яворская, не сходя с места, перерождается.

— Милый! От тебя первого я слышу эти новые, неведомые мне слова. Да! Я хочу возродиться к новой честной жизни. Ты дашь мне крылья!

Входить князь Знаменский.

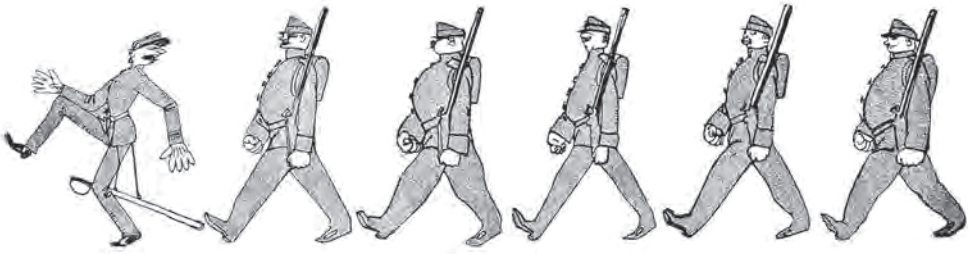
— А! Ты явился! Я ухожу... Великосветская жизнь мне невыносима! Ты читал, что в Австралии водятся на деревьях паразитные насекомые, называемые павианами? Мы, светские люди, те же павианы! Ха-ха-ха! Прощай! Я ухожу с этим добрым человеком, который открыл мне глаза.

Г-жа Яворская и Г-н Дагмаров

* * *

Я не знаю. Будущая пьеса, может быть, будет называться «Дятлы» или «Блестящие футляры», но сюжет останется мой.

И если князь забудет вывести в пьесе светского весельчака и каламбуриста, графиню, заблуждавшуюся в своей светской жизни до прихода добродетельного обойщика ее нового будуара, забудет показать нам пару баронов и трех князей, занимающихся шулерством и подделкой векселей, — то это только будет значить, что на пути князя Барятинского явился монтер, указавший ему выход из его тяжелого великосветско-писательского положения...



ТЕАТР «БУФФ»

«ГУСАРСКАЯ ЛЮБОВЬ»
оперетта в 3-х действ., русск. текст Л. Пальмского и Ярона. Муз. Э. Кальмана

Однажды я зашел в знакомый театр на репетицию какой-то оперетки... На авансцене шел горячий нервный спор между режиссером, актрисой, декоратором, антрепренером и электротехником.

Послушав их около часа с четвертью, я постепенно выяснил, что спор вертелся все время около «дерева со скамейкой».

Актриса утверждала, что без дерева со скамейкой перед замком — роль ее лопнет самым безвозвратным образом, режиссер клялся, что в «дереве со скамейкой» нет жизненной правды, потому что никакой дурак не выращивает перед входной дверью столетних деревьев, а антрепренер был того мнения, что нужно выяснить с помощью хронологических данных пьесы: было ли дерево выращено перед домом, или дом выстроен перед деревом?

Г. Рутковский (Лейтенант Лоренти)

Электротехник, с присущим всем техникам здравым смыслом, указал на то, что для публики, в сущности, безразлично, что перед чем выстроено и выращено, но что он, электротехник, берется пустить такой боковой свет, который скрасит тупоумие владельца дома, и для этого нужен сущий пустяк: пустить две луны.

Г-жа Шувалова (Вольноопред. Мороси)

Тогда на электротехника набросились все: режиссер, актриса и антрепренер.

— Возмутительный народ! — кричал режиссер, — с одной стороны толкуют, что сцена должна давать иллюзию жизни, а с другой подсовывают две луны.

— Это неправдоподобно, — простонала актриса.

— Неправдоподобно и глупо. И бессмысленно, — вежливо поддержал ее антрепренер.

Спектакль запоздал, потому что спор затянулся до поднятия занавеса.

Победил режиссер, устроивший великолепную иллюзию сельского вида со старинным домом на первом плане, и уничтоживший вторую луну, так что первая бесконкурентно заливала своим светом весь пейзаж.

Г-жа Торская. (Илька)

Но режиссер, который бился насмерть из-за какого-то неправдоподобного «дерева со скамейкой», и второй луны, не обратил внимания, что поставил оперетку, времяпрепровождение героев которой заключалось в следующем: героиня, узнав об измене мужа, спела веселые куплеты об измене вообще, и проплясала не без задора парагвай; герою сообщили, что кредиторы лишили его старинного замка, и он решил, что самым благоразумным выходом из тяжелого положения будет венгерский чардаш, который и был им исполнен, вперемешку с куплетами о «лукавых вдовах»; и толпа статистов, с видом хронических безработных, слонялась с героями, и видно было, что все статисты скреплены самой прочной неразрывной дружбой, потому что приходили и уходили все вместе и ни один не простился с героем раньше времени, отговорившись неотложными делами.

А это было бы так жизненно!

И я уверен, что если бы неправдоподобное дерево выросло на лысине комика, а небо украсилось полдюжиной лун и парой-другой полумесяцев, это было бы не так странно, как жизнь действующих лиц в оперетках...

А режиссер сидел в ложе и, любуясь полным жизни видом моста через реку, на котором старый банкир со своим кучером и героиней-баронессой откалывали втроем матчиш, умиленно шептал:

— Полная иллюзия! Вот она — «жизнь, как она есть!»

* * *

Все это я рассказал к тому, что в «Буффе» идет прелестная, грациозная оперетка «Гусарская любовь», но весь смысл ее и юмор тонут в целой куче опереточных условностей...

Г. Звягинцев (Фельдмарш. Логоной)

Почему баронесса Риза, узнав, что Лоренти ее отверг, танцует и поет веселые куплеты? Почему «гости» бессмысленной, надоедливой толпой бродят за Ризой и Лоренти, все сразу, все вдруг, без того, чтобы парочка их отбилась и занялась в уголку собственными делами?

Что касается стороны «дерева со скамейкой», то она поставлена великолепно, вплоть до падающих осенних листьев. Жаль только, что электротехник театра «Буфф», сухой по натуре малый, никогда не сидел с возлюбленной при луне и, поэтому, зная о существовании этого светила лишь понаслышке, щедро обливает Рахманову и Рутковского зловещим красно-фиолетовым светом.

В оперетке есть масса красивых, остроумных музыкальных мест, которые вдвое выигрывают от редкого ансамбля: изящной, женственной Торской, задорного юнкера — Шуваловой, Рутковского, Звягинцева и других.

Куплеты грамотны и красивы, без дубовых рифм и размера того же дерева. Текст переведен литературно. Кто в этом больше виноват, Пальмский или Ярон, — не знаю.

Кстати, носятся слухи, что Пальмский и Ярон одно и то же лицо.

Пишется Пальмский, а выговаривается — Ярон.

ТЕАТР И САД «ФАРС»

«ДАМА 23-ГО НОМЕРА» — фарс в 3-х д., пер. И. Г. Старова и Л. Л. Пальмского.

Один знакомый, узнав, что я видел «Даму 23-го номера», попросил меня:

— Расскажите содержание фарса.

Я начал:

Буаробер (Г. Курский)

— Ревнивый муж Ротиньяк, отбывая военную службу, прячет хорошенькую жену от офицеров гарнизона, но офицеры увидели ее...

— И один из них стал за ней ухаживать?!

— Да. Откуда вы знаете?

— Ничего, продолжайте.

— У Ротиньяка есть кокетливая горничная Варвара, за которой волочатся многие, но успехом у нее пользуется только...

— Вероятно, денщик влюбленного в барыню офицера? — подсказал мой знакомый.

— Конечно! Но откуда вы могли это узнать?

Знакомый иронически улыбнулся.

— Продолжайте.

— Хозяйка гостиницы перед отъездом сдает Ротиньякам отдельный флигель, не сказав об этом мужу. Является влюбленный офицер Помбишо...

— И муж хозяйки гостиницы сдает тот же самый флигель офицеру Помбишо?

— Да, да! Офицеру он был нужен для того, чтобы следить из его окна за...

— 23-м номером, где должна помещаться жена Ротиньяка?

— Да, но у супругов Ротиньяков была племян...

— ... ница, которую они, перебравшись во флигель и поселили в 23-м номере?

— Это неслыханно! Вы... видели этот фарс?!

— Ничего подобного. Продолжайте!

— Ладно. Дело, видите ли, в том, что Помбишо, проходя однажды мимо окон 23-го номера, увидел переодевающуюся даму и моментально влюбился в ее роскош...

Лагрифуйль (Г. Смоляков)

— ... ные формы! — подхватил, усмехнувшись, мой знакомый. — Теперь довольно. Теперь я вам буду рассказывать: влюбленный офицер переезжает во флигель, но там уже живут Ротиньяки... Так? Он считает хозяином дома себя, а Ротиньяк — себя. Они сталкиваются несколько раз с madame Ротиньяк...

— В гостиной, где стоит голубой диван! — подсказал я, обиженный втайне, что он все так хорошо знает.

— В гостиной, где стоит голубой диван... Это же, в сущности, не важно. И они не понимают друг друга и происходит ряд бестолковщин и недоразумений, причем денщик...

— Ложится спать на голубом диване!.. — обрадовался я.

— Неужели? — наморщил он брови. — Зачем же это?.. Ага! Понимаю! Потом на этот диван приходит спать хорошенькая горничная... Верно?

— Верно, — вздохнув, подтвердил я.

— Она ложится... Постойте! Перед этим она раздевается, что составляет пикантную часть фарса...

— Ошиблись! — злорадно закричал я. — Она только снимает кофточку.

— Не раздевается? Ах, осел я! Я ведь и забыл, что у них там главным режиссером Неволин! Но, снявши кофточку, она с размаху ложится на денщика?

— Ложится, — неохотно признался я.

— Теперь кончаю: через несколько времени все объясняется, Ротиньяк успокаивается, а влюбленный офицер, узнав, что предмет его любви оказался племянницей Ротиньяков...

— Женится на ней! — подхватил я.

— Совершенно верно, — согласился знакомый. — Откуда вы узнали?

— Э, черт возьми! Вы забываете, что ведь фарс-то этот видел я, а не вы!

— А ведь и верно!

Мы расхохотались.

— А знаете... — лукаво сказал я. — Вы не обо всем догадались!

— Не может быть!

— Уверяю вас. В последнем акте происходит французская борьба между денщиком Смоляковым и хозяином гостиницы Шевченко!

— Скажите, положа руку на сердце: это требуется логическим ходом пьесы?

— Положа руку?

— Да.

— На сердце?

— Да.

— Никаким чертом оно не требуется!

* * *

— А потом, — сказал я, помолчав, — была французская борьба.

— Не верю!

— Как не верите? Ганс Шварц боролся с Верве и, представьте...

— Не верю!!

— Борьба была серьезная...

— Не верю.

— Но в то, что атлет Ичаджи поднимал зубами гири, вы верите?

— Ни во что не верю! И гири не настоящие и зубы.

Упражнения атлета Ичаджи с гирями

— Ну, насчет зубов, признайтесь, хватили! Ведь он потом, кроме того, на спине человек десять по сцене таскал и ущемивши зубами какого-то парня, — вертел его в воздухе!

— Поверьте, — грустно сказал мой знакомый. — Там, где борьба, я ни во что не верю: мне кажется и Ичаджи не настоящий, и люди, которых он носит по сцене, не настоящие... Да и сцена сама... Вы уверены — она настоящая?

«АКВАРИУМ»

Сухой, желтый человек с ввалившимися губами, горящими глазами и лицом пророка-неудачника подъехал к «Аквариуму».

— Вот тебе деньги, братец, — сказал он, расплачиваясь с извозчиком. — Смотри, не пропей их и отдай хозяину целиком, ничего не утаивая, потому что пьянство и обман суть худшие враги человека. До свиданья, братец. Будь здоров.

Г-жа Де-Лильо

Швейцар из «Аквариума» выскочил и предупредительно поддержал приехавшего под локоть.

— Не надо! — сурово сказал тот. —Ведь я же знаю, что все это неискренно. Ты не потому поддерживаешь меня, что я тебе симпатичен или нуждаюсь по своему здоровью в такой поддержке... А просто у тебя есть тайное желание получить на чай. Нехорошо, братец. Я не могу считать трудом, требующим оплаты, взятие меня за локоть...

— Программку не желаете ли? — сконфузился швейцар.

— Это что еще за программа? Зачем она?

— С указанием, кто что изволят представлять. Перечисление фамилий...

— Ну, посуди сам: ну, зачем мне знать — кто представляет? Вот тут у тебя написано: № 1 —Лили д'Аржан, а № 2 — Госпожа Германи, а № 7 — госпожа Борелия. Ну, зачем мне знать, что эта вот госпожа Борелия, а эта — Германи?

— А как же-с! При желании знакомства-с...

— Да зачем же я буду с ними знакомиться?

— Поужинать, может, желаете, а потом, гм... получить другое какое удовольствие...

— Удовольствие? Ах, ты бесстыдник! Какое предлагаешь! Вот расскажу твоему хозяину, к чему ты гостей поучаешь — он тебе задаст. А? Ты у исповеди-то был в этом году?

— Где нам!

— А ты сходи! Помолись лучше, чем словами блудить. Эхе-хе...

Качая головой, посетитель прошел в сад и остановился перед открытой сценой. Нахмурившись долго смотрел на акробатов, один из которых держал лестницу, а двое лазили по ней вниз головою и вися на руках.

— Любуетесь? — спросил он пожилого господина.

— Да, знаете... — неопределенно ответил тот.

— Так-с, — сказал старик, пожевав тонкими-тонкими синими губами, — он жизнью рискует, голову в котлету может сделать, а вы стоите — ждете: да скоро ли ты упадешь, милый человек?

— Что вам угодно?

— Стыдно-с!

Вздохнув, он прошел за кулисы и, когда акробаты кончили свой номер, поманил их пальцем.

— Послушайте, эй! Здравствуйте... Неужели, вам не стыдно? Взрослые люди, с усами, а поступаете, будто маленькие мальчишки. Ну, зачем вы по лестницам лазили?

Акробат тупо посмотрел на старика.

— Чито такой?

— Да то такое, что нехорошо! Надо серьезнее быть. Ведь вы, небось, по лестницам лазаете, а Пушкина ведь не читали? Даже, небось, не знаете, что такой был. Стыдитесь! Нехорошо. Несолидно.

Он сурово повернулся спиной к опешившему акробату и вышел обратно в сад.

Французский стрелок стоял на скамье посреди публики лицом к сцене и выстрелами гасил огни на экране. Потом его помощница положила себе на голову яблоко. Когда он прицелился в яблоко, старик потянул его за рукав и укоризненно сказал:

M-lle Жиньори

— Эй, мусью... Зачем вы безобразничаете? А вдруг в лоб попадете? Ведь все уже видели, что вы стреляете хорошо. Возьмите и скажите теперь публике на словах: вот, мол, я еще могу в яблоко попасть на помощницыной голове. Только не хочу. Они вам все и на словах поверят. А то — что же это такое...

Г-жа Борелия

— Оставьте его! Не мешайте!

Старик втянул в себя губы и, суровый, непреклонный, зашагал в железный театр.

— Биноклика не угодно ли? — подлетел к нему капельдинер.

— Чего-с? Господь мне дал одни глаза, а я буду наперекор ему, Милосердному, заменять их другими? Безбожник ты, хотя и старый человек.

Старик сел и стал, нахмурив брови, скорбно разглядывать поющую Жиньори.

— Боже ж ты мой! Боже ж ты мой! Что же это такое... Позовите распорядителя! Вы распорядитель? Скажите — что это такое?

— Это-с? Жиньори.

— Ага! По-французски — Жиньори, а по-русски — безобразие. Зачем у нее ноги открытые и руки голые?

— Это костюм такой. Шансонетки, извините, все так ходят.

— А зачем она ногу палкой подпирает? Я понимаю! Я все понимаю! Это она старается публику на грешные мыс-

ли навести! Стыдно, стыдно вам! Я ничего не говорю — отчего публике не повеселиться... Но как? Взяли бы вы эту даму, надели бы ей черненькое шерстяное платьице до полу, научили бы каким-нибудь куплетам о бабочках или там ручейке каком-нибудь и — пусть себе поет. Петь можно — отчего же — и птица поет, но как!

Он сердито отвернулся от распорядителя и, хмурый, посмотрел на выпорхнувшую на сцену, жизнерадостную Де-Лильо.

— Нет, нельзя так. Пойти сказать.

Встал, прошел за кулисы. Увидел танцовщицу в трико, покрытом прозрачной газовой туникой, и поманил ее пальцем:

— А пойдите-ка сюда! Эх вы! Молодая, красивая женщина... Лучше бы выйти вам замуж! Девушка вы здоровая, детки бы тоже пошли от вас здоровые, крепкие — радовался бы господь бог, глядя на ваше семейное счастье. А вы что делаете? Ногито у вас совсем голые и даже материю такую подобрали — телесного цвета. Думаете, не знаю — зачем? Чтобы казались, как тело. И кисею бы можно поплотнее, а вы взяли прозрачную, чтобы все видели, как ноги и живот шевелятся. И грудь голая! Лучше бы ее ребеночек ротиком сосал, чем разные люди в биноклики рассматривали... Тьфу! Стыдно.

Через пять минут он шагал к выходу и ругал сам себя:

— Старый дурак! Полез туда же — проповедывать... Я понимаю, зачем тебе это понадобилось: в царство небесное попасть хочешь! Это, брат, тоже жульничество — теперь-то я себя, мол, помучаю, подобродетельствую, попророчествую, а потом всю вечность удовольствие буду получать... Нешто хорошо это?

ТЕАТР И САД «ФАРС»

«НИОБЕЯ», фарс в 3 д. соч. Ленни

В качестве театрального рецензента, я задался целью, которая для многих других рецензентов покажется удивительно бестактной и странной:

— Буду писать правду.

Чтобы рассеять всякие сомнения в этом, начну с того, *что в отчетный вечер играли Ниобею*.

Многие из моих коллег даже в этом невинном начале не смогли бы удержаться, чтобы не солгать, написавши из одной только любви к неправде:

— Играли «Веницейского истукана!»

А я говорю и даже подчеркиваю это:

— Играли «Ниобею».

В дальнейшем я решил держаться в тех же границах строгой неприкрашенной правды:

Ниобею играла Антонова.

Она еще молодая артистка, но это сделано для ее же пользы: сейчас Антонова имеет красивую внешность, стройную фигуру и веселый, жизнерадостный характер. А когда вырастет — многое из этого исчезнет.

Строгий, благородный тон, в котором она играет Ниобею, нисколько не портит общего фарсового духа пьесы, а, наоборот, еще более его выдвигает. Кроме того, она прекрасно, с большим изяществом и огоньком танцует модный танец апашей и другие тан...

(Здесь я вижу, что по странной рецензентской привычке ко лжи, написал то, чего в отчетном спектакле не было: Антонова действительно танцует танец апашей, но только не в Ниобее).

Прекрасным партнером для Антоновой был Николаев — старый, опытный актер с богатой мимикой, интонацией и запасом неподдельного веселья. Он — бесспорно один из немногих фарсовых артистов, которые чувствуют себя на сцене непринужденно, даже будучи одетыми. А это в фарсе ценится.

Г-жа Антонова (Ниобея) и Г-н Николаев (Пупырков)

В некоторых местах фарса Николаев неподражаем. Когда он садится посреди сцены на стул и монотонным голосом начинает пересказывать в сотый раз содержание истории ножа его жены...

(Я вижу — во мне сидит дюжина театральных рецензентов. Это действительно случалось с Николаевым и он был неподражаем, но это случалось с ним в фарсе «Нож моей жены»).

Было бы тяжелым, ничем не оправдываемым упущением, умолчать о г-же Яковлевой, которая в ролях сварливых старых жен и теток не имеет соперниц, внося в свое узкое, однообразное амплуа много тонкого юмора и карикатурной злости.

* * *

Вот я написал рецензию — ни одного слова лжи. Все голая, не разукрашенная истина.

Посмотрим — сделал ли бы это другой рецензент?..

Другой рецензент сделал бы так:

Пришел после спектакля домой и, развернув записную книжку, стал бы просматривать заметки:

— Антонова... хорошенькая! Когда я, встретив ее за кулисами, здоровался, посмотрела на меня ласково. Есть ли, гм... надежды или нет? Впрочем, я очень недурен собой. Надежды должны быть.

Г-жа Яковлева (Прасковья Егоровна)

— Николаев... Просил у него до послезавтра пятнадцать рублей... Отказал. Хорошо-с.

— Яковлева... Как женщина — не в моем духе. Ужина с нее не сорвешь... вообще — ни то, ни се.

— Счастливцев Аркадий... Играл какого-то лакея. Обещал угостить шашлыком и свезти на Крестовский. Хороший человек!

Прочтя эти заметки, «другой рецензент» придвигает бумагу и начинает писать:

— «Ниобея». Эта пьеса, носящая в других переводах название «Веницейский истукан», прошла в театре «Фарс» очень недурно. Молодая артистка Антонова подает некоторые надежды, но пока еще ничего нельзя сказать. Поживем — увидим. Совсем не на своем месте был Николаев. Артист не дал того, что от него ожидали. Очень жаль, что фарсовая сцена стала наполняться тупыми бездарностями. Яковлева в благодарной роли тетки была бесцветна.

То, что называется — ни то, ни се.

Блестяще провел свою небольшую роль Счастливцев. Вот актер, которому нужно бы давать большие ответственные роли. Каждый его выход сопровождается гомерическими аплодисментами.

Постановка режиссера г. Неволина...

Рецензент задумывается. Что ему сделал Неволин: что-нибудь дурное или что-нибудь хорошее? Вспоминает: вчера не ответил на поклон! Может быть, не заметил, а может быть...

— Постановка г. Неволина может быть признана неудачной...

Вот как пишут другие рецензенты. И я каждый день, по утрам, молюсь, благодаря бога, что я не такой...

«Хирургия» Чехова. Гг. Курихин (Дьячек) и Лебединский (Фельдшер)

* * *

В заключение была поставлена миниатюра Чехова «Хирургия».

Хотя у меня с Курихиным и Лебединским никакого разговора о шашлыках не было, но играли они оба прекрасно: ярко, красочно и тонко.

Неволин не заметил моих поклонов три раза, но это не помешало ему очень хорошо поставить как первую, так и вторую пьесу.

Каждый день, по утрам, я молюсь, благодаря бога, что я не такой, как другие рецензенты.

НОВЫЙ ЛЕТНИЙ ТЕАТР

«Мальчик или девочка» — Оперетта в 3 д.,
русский текст И. Л. Норина, муз. В. Гроншитетена

Появилась новая оперетка, которой суждено занять почетное место в ряду «Гейши», «Цыганского барона», «Птичек певчих» — и других, которые до сих пор не сходят со сцены, завоевав себе по праву название классических.

Оперетка эта называется — «Мальчик или девочка».

Красивая, звучная музыка, мотивы которой надолго останутся популярными среди любителей легкого жанра, текст, забавный и остроумный, остроумный настолько, что некоторые фразы и остроты, сделавшись летучими, войдут в наш обиход, вроде знаменитого Калхасовского:

— Цветы, цветы — слишком много цветов!

Наконец, фабула, таящая в себе под опереточной веселостью невидимый трагизм и тонкие переживания души и сердца разорившегося князя, переплетение оригинальных и комичных положений — все это, по праву, делает оперетку гвоздем не только сезона, но и всего опереточного репертуара...

Г-жа Потопчина

* * *

И вам не стыдно, господа?

Вы не краснеете и не чувствуете мучительной неловкости, вы все: директор театра, режиссер, актеры, актрисы, театральный машинист, дирижер, музыканты, суфлер и публика — те несколько тысяч человек, которые осуждены смотреть то, что происходит на сцене?

Автора и композитора я ни в чем не обвиняю. Я уверен, что Господь уже покарал одного из них, каким-нибудь кирпичом, свалившимся несчастному бесталанному виновнику этого удивительного произведения на разгоряченную славой голову, а другой человек запил от стыда и мучений совести и, может быть, медленно догорает теперь в одной из больниц Берлина.

Не виню я и переводчика.

Так как я имею честь состоять редактором журнала, то в моих руках перебывали сотни подобных господ.

Всякий из них, видите ли, думает, что его произведение прекрасно, а другие, чужие произведения, плохи и, потому, его произведение нужно принять, и осчастливить народонаселение опубликованием этого произведения, а авторам других произведений отказать, разругавши их на чем свет.

В таких случаях дело редактора вежливо принять несчастного маньяка и, выслушав его бессвязную просьбу, с тонким, неуловимым сарказмом сказать:

— И вы уверены, что мы должны принять это ваше произведение, а другим достойным, талантливым людям отказать? Вы думаете что ваша жалкая стряпня блещет перлами и изумрудами настоящего таланта? Скажите, чем вы ее писали?

Г-н Тумашев

Стеариновой свечкой, половой щеткой или ножницами для резки кровельного железа? Да знаете ли вы, этакий вы старый стоптанный башмак, мокрая вы, облезлая крыса...

Дальше автор неудачного произведения уже не будет настаивать на приеме его детища. Он поймет, что шансы его стоят до смешного низко и, раскланявшись, пойдет в другое место, где его должны принять таким же точно образом, с присовокуплением двух-трех пинков и десятка характеристик... И так должны его гонять с места на место до тех пор, пока он не умрет от истощения и малокровия.

Вот как нужно поступать с неудачными авторами и переводчиками!

Что же сделала дирекция и режиссура «Нового Театра»? Она не спрашивала переводчика, чем он писал, не сказала ему, кто он такой, а взяла этот удивительный вздор и поставила, занявши время и досуги целого сложного человеческого аппарата, состоящего из актеров, актрис, театрального машиниста, дирижера, музыкантов, суфлера, театральных плотников и публики, публики — целого моря публики, потому что — нечего греха таить — публика ходит.

Прежде она ходила в «Новый театр» потому, что актеры правду сказать хорошие, постановки тщательные и театр симпатичный.

А теперь ей сказали:

— Последняя новинка Берлина — «Мальчик или девочка». Колоссальный успех за границей!!

И она пошла.

— Боевой гвоздь! Масса новых трюков!!

И она пошла.

— Выдержала 200 рядовых представлений! (При этом указывается, что выдержала пьеса и благоразумно умалчивается — выдержала ли публика?).

И она пошла.

Сначала она пойдет, господа, потому что она — задерганная, запуганная, вечно обманутая, — существо с раскрытым ртом и вечно выпученными глазами, всему верящее и всему аплодирующее, из боязни, чтобы не подумали, что оно ничего не смыслит.

Но потом публика осмотрится... И никогда не простит.

Вам же хуже.

Если нет новинок, надо ставить старые вещи, потому что они хороши и не портят вкуса.

Я вовсе не хочу, чтобы дирекция прочла мою рецензию и почувствовала себя обиженной... но — будем говорить откровенно — вы, г. директор, и вы, господин режиссер:

— Что это за чепуха — этот «танец болванчиков», когда светские люди становятся друг к другу спиной и, подняв пальцы, начинают скакать и приседать? Ей-Богу, публике стыдно за актеров...

Что это за салон князя, где толпятся девицы из Cafê de Paris, с которыми он лобызается? Что это за глупый князь, который, придя домой, поет у рампы полчаса на глазах гостей, а потом поворачивается и говорит лакею: скажите же гостям, что я вернулся!

Что это за затасканный в течение уже ста лет англичанин, с его пунктуальностью, и что это за остроты, вроде: князь кладет розу в карман брюк и говорит — «положу у сердца».

Этот трюк я видел в исполнении клоуна в симферопольском бродячем цирке и тогда этот трюк показался смертельно глупым.

А фабула? Ну, скажите откровенно: глупа или сносна? Ведь глупа?

А музыка? Мелодична или скучно-бездарна? Ведь бездарна?

Одна красивая мелодия, и та украдена.

Господин директор и режиссер! Относясь к вам и вашим даровитым артистам благожелательно, я дам дружеский совет: похороните мальчика или девочку (это безразлично) как можно скорее и задайте поминальный обед с участием тех же рецензентов бульварной прессы, которые уже были на родильном обеде мальчика и хвалили глупое дитя, захлебываясь не то от восторга, не то оттого, что рты были набиты бутербродами.

Его Сиятельство Князь Роган (Г-н Августов)

ТЕАТР И САД «ФАРС»

«Приключение в участке» ком. Пинеро. (Бенефис режиссера Б. С. Неволина). Дивертисмент

На бенефис симпатичного режиссера г. Неволина мы (я и художник) пошли с ярко выраженной целью дать об этом бенефисе отчет.

Будучи правдивыми и прямолинейными людьми, заранее извиняемся за некоторую односторонность и монотонность отчета, явившегося беспристрастным отражением всего того, что мы видели и слышали в ночь с 13-го на 14-е августа сего года...

* * *

Услышав второй звонок, мы (я и художник) уселись на места в партере, просмотрели программку, вынули бинокли и застыли в ожидании.

— Посмотрим, что это за «Приключение в участке», — сказал художник.

— Любопытно видеть Неволина... — начал я и... испуганно смолк.

Впереди на нас надвинулась странная черная туча и грозно заволокла собою весь горизонт, начиная от сцены и кончая боковыми ложами.

— Что это? — прошептал я, холодея от ужаса.

— Шляпа!! — лаконично ответил опытный в этих делах художник.

— Шля...па?..

— Женская! Обыкновенная!!

— Что же нам делать?

— Смотрите на нее. Она для того и надета, чтобы на нее смотрели.

Я печально умолк и стал сосредоточенно смотреть на шляпу.

Это был экземпляр взрослого, совершенно развившегося животного, с кучей перьев сбоку, колоссальным черным бантом на спине и такими широкими полями, которым позавидовал бы любой русский безземельный мужик. Подробно осмотрев шляпу, я вздохнул и дернул за рукав художника:

— Уже. Осмотрел. Мне бы теперь хотелось... видеть пьесу.

— Садитесь на мое место, — сказал он. — Я здесь имею между ее шляпой и плечом дырочку величиной в три копейки. В нее прекрасно виден угол дивана и чья-то нога... Я уже подробно осмотрел эту ногу и угол дивана. Желаете посмотреть?

К сожалению, в это время голова, находившаяся под шляпой, шевельнулась, и отверстие величиной в три копейки было до копейки истрачено на этот поворот.

Меня разбирало любопытство:

— Что-то делается *там*, на сцене?

Потихоньку, чтобы никто не видел, я стал ногами на сиденье своего стула и довольно удобно уселся на спинку.

— Сядьте! Нельзя стоять, — донесся до меня крик сзади.

— Да я и сижу, — возразил я.

— Сядьте! А то я вас палкой сброшу оттуда...

Спинка стула сразу показалась мне неудобной и я слез, уставившись равнодушным взором на опротивевшую мне шляпу.

— Я думаю, — обратился я к художнику, — первое действие уже в полном разгаре?

— Конечно! Игра идет вовсю...

Посидев немного, я отогнул потихоньку краешек шляпы и с любопытством заглянул на сцену.

— Чего вы хватаетесь за шляпу, — раздался из-под полей шляпы сердитый голос.

— Сударыня! Ради Бога, извините... Но мне ничего не видно. Мы истратили все наши скудные сбережения на покупку билетов и видим только вашу черную шляпу. Не могли ли бы вы ее снять?

— А если я вам предложу снять себе голову... вы снимете? — саркастически спросил голос под шляпой.

— Если эти два предмета вы признаете равнозначащими...

— Отстаньте! Я с незнакомыми не разговариваю...

Я замолчал, но не надолго... Мне было смертельно скучно и я вступил в дружеский разговор с художником.

— Нравится вам эта шляпа? — громко спросил я.

— Нет, не нравится, — громко отвечал художник. — Она старомодная и сделана из старых куриных перьев. Ленты перекрашены линючими чернилами, а солома на шляпе взята из сиденья старого соломенного кресла.

— Врете! — раздался голос из-под шляпы, — это парижская модель и стоит она триста франков!

— Сударыня! Мы с незнакомыми не привыкли разговаривать, — проревел я у нее над ухом.

— То есть, понимаете... — сказал возмущенно художник, — в эти летние увеселения порядочному семейному человеку нельзя показаться... Сейчас же пристают с заигрываниями, разговорами...

— Если она не снимет шляпы, — проворчал я, — то в антракте пойдем на нее жаловаться.

— Обождите. Может быть, старая солома от времени начнет осыпаться — и горизонт по краям очистится.

— Вчера я читал, — задумчиво сказал я, — о вреде больших шляп... Они своей тяжестью давят на мозговые покровы, вызывая приливы к голове крови... следствием чего является дегенеративная деформация головы, наклонность к обману, воровству, проституции...

— Замолчите! — проскрежетало что-то под шляпой.

— Ваши чары, сударыня, — твердо возразил я, — не заставят меня забыть обязанности мужа и семьянина. Обольщайте ими других!

— Конечно! — с горечью сказал художник. — Такие шляпы своей дороговизной толкают обладательниц их на скользкий путь падения и, мне кажется, что общество для защиты падших женщин...

— Тише! — крикнули сзади.

— Мы и молчим, — обернулся назад художник, — а это вот впереди сидящая дама, тщетно старается заговорить с нами...

— Нахал! — заскрипела шляпа. — Замолчите!!

— Снимите шляпу, — прошептал я. — Тогда замолчим. Дайте нам возможность видеть хоть частичку пьесы.

— Вот еще новости! Стану я для всякого прическу портить.

— Что, она хорошенькая? — спросил художник.

— Какое! — наугад ответил я. — Громадный рот, небольшие, но зато косящие глаза, низкий морщинистый лоб и волосы грязновато-зеленого цвета.

Шляпа бешено заколыхалась.

— Негодяи! Как вы смеете вслух говорить обо мне...

Я вскочил с места.

— Господа, будьте свидетелями! Эта дама уже целый час делает нам гнусные предложения, назначает свидание в Cafê de Paris и мешает смотреть пьесу. Эй, околоточный! Господин пристав! Прошу вас составить протокол!

Обыкновенно, я с женщинами рыцарски вежлив и деликатен до приторности.

Но с той, которая находилась под черной шляпой, мы поступили очень сурово: протокол окончился участком.

Таким образом, несмотря на неудачные места в партере, мы в ночь с 13-го на 14-е августа сего года были не только зрителями, но и участниками:

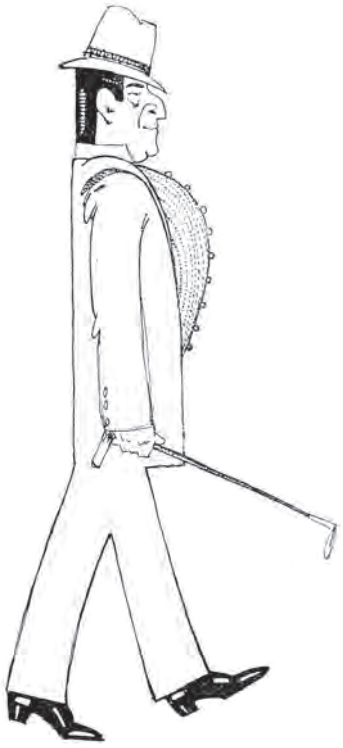
— «Приключения в участке»!

ЦАРСТВО СКАЧЕК

Пьеса в 4-х действ. Анри де-Бризе и Марселя Лора

ДЕЙСТВИЕ I

Возвращение злодея



Злодей Гольдстрам. (Г. Добровольский)

Жан Дюрие (входит, окруженный свитой). На этой неделе я заработал сущие пустяки: во вторник два миллиона франков и в четверг шесть миллионов... Если так будет продолжаться, придется положить зубы на полку. Бедная Симонн! Господа! Что вам угодно?

Один из свиты. Вы обещали мне одолжить заимообразно...

Дюрие. Хорошо, хорошо! Я распоряжусь. Миллиона вам будет довольно? Ладно. А вам что? Извините, могу предложить сущие пустяки — тысяч пятьсот-шестьсот... Сейчас мне сообщили, что я проиграл двадцать два миллиона. Так что пока я не при деньгах! *(уходит)*.

Жена Дюрие (входя). Неужели этот злодей Гольдстрам вернулся из Австралии?! И страшная тайна раскроется!

Гольдстрам (крадется). Ха-ха-ха! Силы адовы! Я злодей и не перед чем не останавливаюсь! Люсьена! Если ты сегодня придешь ко мне на квартиру, то получишь сорок миллионов франков неразрезанными бумажками!

Люсьена. Негодяй!

Гольдстрам (зловеще). Ха-ха! Вот мошенническая расписка твоего мужа! Я разорю его, опозорю, доведу до самоубийства!

Люсьена. Для чего же это вам нужно?

Гольдстрам. Для чего? *(смущается. Он сам не знает — для чего. Чтобы выйти из неловкого положения, зловеще хохочет)*. Ха-ха-ха! *(Люсьена уходит. С потолка сваливается жокей Мак-Лин)*.

Гольдстрам (зловеще). Ха-ха! Слушай, Мак-Лин: если ты отравишь эту клячу мастера Боба, я дам тебе два миллиона франков! Если откажешься — я засажу тебя в тюрьму, сошлю на каторгу! Мать твою утоплю, а ваш клочок земли выкопаю и перевезу в другое место! Ха-ха!

Мак-Лин. О, Боже!.. Симонн!.. Мастер Боб!.. Дюрие!.. Гобсон!.. Гольдстрам! Вы злодей!

Гольдстрам (леденящим смехом). Ха-ха!

Симонн (входя). Я хочу видеть мастера Боба! *(За сценой из окна высовывают голову лошади)*. Милый Боб! Красавчик ты мой! Это ничего, что в твою шею воткнута палка, и твои ноги, которыми ты стучишь, одеты, вместо копыт, в шевровые ботинки. Ведь ты возьмешь для папы первый приз в сорок миллионов франков?

Лошадь. Будьте покойны, сударыня.

Гольдстрам (зловеще). Ха-ха!

ДЕЙСТВИЕ II

В таинственном притоне

Гольдстрам (зловеще). Ха-ха!! Ну, Мак-Лин?! Согласен? Если согласен, я тебе даю сто тысяч сейчас и остальные потом. Если не согласен, то я, — ха-ха! — сожгу твою мать, отрежу тебе голову, а ваш клочок земли продам на слом. Ха-ха!

Мак-Лин. О, Боже! О, Симонн! Я согласен!

Гольдстрам (зловеще). Ха-ха! Вот пилюли. Я их позолотил! *(Мак-Лин уходит, рассеянно сося одну из пилюль)*.

Добряк Дюрие

Дюрие (входя). А! Негодяй Гольдстрам здесь?

Гольдстрам. Да, мошенник Дюрие, он здесь...

Дюрие (благодушно). Что же мне может предложить этот мерзавец?

Гольдстрам (весело). Он хочет предложить этому животному — Дюрие пари против его мастера Боба!

Дюрие. Принимаю предложение этой скотины и каторжника Гольдстрама!

Гольдстрам (дружески). В какой сумме согласен держать пари всесветный жулик и сутенер Дюрие?

(Дружески разговаривают).

ДЕЙСТВИЕ III

Отравленные пилюли

Толпа. Бежит, бежит! Мастер Боб бежит! *(все удивлены)*.

Гольдстрам (зловеще). Ха-ха!

Толпа. Бежит, бежит... Теперь тише! Замедляет бег... Упал!

Один из толпы (в отчаянии). У него были шансы!

Другой. Какие?

Первый. Как же! Шея у него на длинной-предлинной палке. Он, даже отставши, мог прийти на две головы вперед!

Гольдстрам. Ха-ха! Бейте Дюрие! Бейте Симонн! Бейте Люсьену! Ха-ха! Вот как поступают хорошие злодеи из скверных мелодрам. *(Публика начинает послушно тузить семейство Дюрие)*.

Симонн (г-жа Вадимова). — Милая лошадка! Какая благородная голова! Мое сокровище! Ведь ты возьмешь на скачках первый приз? Не правда ли, тебе будет легко это сделать?..

ДЕЙСТВИЕ IV

Неудавшееся злодейство

Члены скакового общества. Дюрие! Вы негодяй! Зачем вы отравили лошадь?

Гольдстрам (зловеще). Ха-ха!

Мак-Лин (выступая). Мне этот злодей со своими вечными ха-ха! — надоел! Господа! Позвольте вам все объяснить!.. Видите ли... то, что мы сейчас играли — суть пьеса. Дюрие — герой, Люсьена — героиня, Симонн — инженю-драматик, Гольдстрам — злодей, герцог — благородный отец, я — второй любовник!..

Голос из публики. В такой пьесе должен быть комик... где он у вас?

Мак-Лин. Помилуйте! А тот человек, который кричал в кабачке: где моя нога?.. разве не комик?

Режиссер (выходя вперед). Господа! Я вижу, что у публики настроение против этой пьесы такое же, как у скаковой публики против Дюрие. Во избежание повторения этой истории в Малом театре и поджога трибун для публики — я опускаю занавес!

(Публика приятно поражена).

НЕВСКИЙ ФАРС

«Скандал в Монте-Карло», фарс в 3-х действ., перев. Вал. Лин.

Г-жа Ручьевская. (Эллен)

При всей своей серьезности и солидности, я очень хотел бы пожить хотя один день той жизнью, которой живут действующие лица в фарсах...

Это превесело.

Надоевший, опротивевший до тошноты жизненный уклад можно было бы сменить на новый, оригинальный и ошеломляющий своей свежестью.

Хорошо бы хотя день пожить среди этих жизнерадостных, сердечных и необидчивых людей, какие попадаются только в фарсах...

Полицейский комиссар в беседе с хозяином гостиницы через два слова называет его идиотом, и добродушный хозяин в ответ на это удивленно восклицает:

— А-а... Вот оно что!

Что может быть симпатичнее и беззлобнее фарсового револьвера? Из него сделали не менее десяти выстрелов по действующим лицам и никто из них не только не ранен, но все сейчас же забыли об этих выстрелах, как о маленьком смешном недоразумении.

Крови на сцене нет ни капли, а женщины красивы, изящны и христиански добросердечны. В жизни я никогда не встречал, чтобы женщина, которой сообщили с улыбкой на устах, что один молодой человек любит ее до самоубийства, обратила бы на эти слова серьезное внимание...

Валентина Лин. (Клотильда)

А в фарсе женщина, выслушав сообщение о влюбленном в нее до самоубийства молодом человеке, ласково говорит:

— Ах, какой ужас! В таком случае, я приду к нему в комнату ночью в одном пеньюаре и изменю своему мужу. Пусть он не беспокоится.

Это она говорит о молодом человеке.

Чтобы он не беспокоился.

Впрочем, если и муж узнает, то он тоже не будет беспокоиться... Этот добряк сам не прочь изменить не только жене, но и любовнице, и не только любовнице, но и горничной, и певичке, и еще многим другим знакомым, полузнакомым и совсем незнакомым.

В обычной жизни я встречал жен, которые, узнав об измене мужа (иногда через меня же), падали в обморок и, очнувшись, уходили в себя, а потом затевали развод, тянувшийся, обыкновенно, до тех пор, пока муж уже не мог изменять даже при сильном желании.

Поведение женщин в фарсе после известия об измене мужа всегда приводило меня в восхищение; вместо того, чтобы падать в обморок или начинать утомительный развод, они в тот же момент решали:

— В таком случае и я ему изменю!

Обводили глазами комнату и, обнаружив признак какого-либо постороннего мужчины (будь то швейцар, городовой или просто старый незнакомый господин), падали ему на шею.

— Хотите, я с вами изменю мужу?

И, в случае даже слабого согласия присутствующего, тут же начинали изменять.

Муж, узнающий в фарсе об измене жены, отыскивает своего соперника и не убивает его, а пощекотав под мышкой, весело журит:

— Ах, вы проказник! А? Каково? Угостите-ка за это меня сигаркой.

Глупая, обыденная женская стыдливость фарсовыми женами и девицами совершенно изгнана из обихода.

— Ах, молодой человек, я сейчас разденусь!

— Нет, зачем же!

— Почему? Посмотрите мое сложение... Очень любопытно!

— Право... мне неловко вас затруднять.

— Господи! Да какое же здесь затруднение?.. Вот, смотрите: юбку — раз! Лиф, корсет — два, ботинки, чулки — три! Обратите ваше внимание на эту ногу!.. А грудь? Как вы ее нашли?

У фарса есть свои традиции: первое действие происходит всегда днем и *в первом действии никто никогда не раздевается*... второе действие ночью (раздеваются все участвущие, кроме суфлера и театральных плотников), и третье действие — обыкновенно, во всякое время дня и ночи; в нем раздеваются очень редко. И где бы не

Г-н Смоляков. (Эдуард Плансон)

происходило третье действие — на вокзале, в кабинете банкира или полицейском участке — оно должно быть закончено веселой кадрилью, которую танцуют все участвующие: мужья, жены, кокотки, старый судья, полисмен и даже угрюмый лакей, который за всю пьесу только и успел сказать:

— Лошади поданы!

Фарс культивирует равноправие.

За это и за многое другое я люблю фарс.

* * *

Фарс «Скандал в Монте-Карло» обладает всеми типичными достоинствами фарса, мною указанными, а недостатков почти не имеет.

Валентина Лин перевела его, как переводчица, приняла на сцену, как директриса, играла в нем, как актриса, и танцевала в последнем акте канкан, как танцовщица.

И все милые старые знакомые — весельчаки и балагуры: Валентина Лин, Смоляков, Николаев, Вадимов и Антонова смешили вовсю и сами еле удерживались от смеха — так было им весело...

Г-н Николаев. (Грандуа)

Бешеным, совершенно исключительным успехом пользуется Смоляков — яркий актер и лучший юморист фарсовой сцены.

А многие рецензенты, у которых считается признаком хорошего тона выругать фарс, плаксиво в тысячный раз пишут в конце рецензии:

— И зачем Смоляков — такой хороший актер, — играет в фарсе, а не в драме?

И зачем плохие фарисействующие рецензенты пишут в газетах, а не ходят с факелами впереди погребальных процессий?

НОВЫЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

На «Анфисе»

Заходит ко мне Прохор Микляев, и говорит он мне:

— Что ж ты, Микеша, на «Анфису» смотреть не пойдешь? Не иначе, — говорит, — как жену нашего хозяина Анфису Ниловну протащили.

Такой меня смех разобрал:

— Да неужто ж?!

— Ей-Богу. Андреев сам и сочинял.

— Да неужто ж?!

— Ей-Богу.

— Ах ты ж, Господи, — говорю. — И как это человек на все способен: он тебе и на балалайке, он тебе и комедию. Мозги!

Г. Тинский (Татаринов)

Пошли. Народу видимо-невидимо.

— Гляди, — говорит Прохор Микляев, — как все натурально: сидит Божья старушка и даже чулок вяжет.

Г-жа Голубева. (Анфиса)

Ну, смотрим. Тут пришли супруга господина Костомарова.

— Баушка, — говорят, — пойду я немного за перегородку — у грудях немного облегчиться.

Только, это, она за перегородку — Анфиса со свояком входит. Ах ты ж, Господи!

«Хотя, — говорит, — вы мне и свояченица, но только я вас люблю».

Это при старухе-то, при Божьем человеке! Ну, старухе, конечно, заказано сидеть, не шевелиться — вяжи чулок и нишкни. Но только очень уж господин Костомаров на старуху разозлились. Созвали гостей и стали ее попрекать:

«Ты, — говорят, — такая-сякая, неведомо откуда пришла, даром наш хлеб ешь да про наши дела слушаешь. Ты глухой не прикидывайся, знаем мы вас, — говорит, — глухих: мужьев травите да чулки вяжете!»

Да-а... Влетело ей по первое число.

Было потом второе отделение: сидят Анфиса с сестрой Сашенькой и промежду собой о женских делах разговаривают.

«Мой-то, — говорит Сашенька, — был у меня ночью. Лют он на бабу».

Г-жа Садовская.
(Жена Костомарова)

«Да-а, — говорит Анфиса, — у меня тоже во Пскову офицер был. Такой мужчина — на удивленье».

Так это они разговаривают промежду собой, но только приходит ихняя сестрица и заявляет:

«Гимназист, — говорит, — прострелился».

Вот тебе раз. Ах ты ж. Господи!

«С чего ж бы ему простреливаться?» — спрашивает Анфиса.

Ну, а та — бойкая девчонка:

«С твоих, — говорит, — таких проклятых вопросов!»

Тут и Костомаров, Федор Иваныч, пришел...

Смехи меня разбирают. Уж он на Анфису начхать хотел, третью сестру обхаживает.

«Нина Павловна, — говорит, — пойдем в свою комнату — я сказку расскажу». Тут уж известно, какие сказки... Знаем.

— Микляев, — говорю, — видал?

— Да-а, — говорит Прохор.

Потом, в скором времени и крестины приключились. Жена Сашенька ребеночка принесли. Все это было честь-честью: выпивка и закуска, как в других домах, но только Федор Иванович под конец фрыштика освирепели.

Г-н Александровский
(Аносов)

«Нет ли у вас, — говорит, — еще сестер каких?»

«Нет, — говорит старик, — больше нет. Три только и было. Все тут».

«Коли, — говорит, — так, то пошли вы все отсюда!»

Страх, как осерчал. Старик его проклинает, а он ему:

«Иди, иди, старичок, не продайся! Что мне твои три дочки — как кот наплакал».

Разогнавши таким манером всех, сел в кабинет и говорит:

«Поеду в Питербурх. Укладывай, — говорит, — мои вещи!»

Тут третья сестрица Нина Павловна пришли...

Стали на коленки и плачут:

«Дяденька! Возьмите меня с собой в Петербург».

А? Вот вам и среднее учебное заведение!

«Сделайте, — говорит Федор Иваныч, — такое ваше одолжение. Хучь в Москву. Только вот, — говорит, — на дорогу ликерцу выпью и поедем».

И что ж бы вы думали: Анфиса все и слышала.

«Хорошо, — говорит, — Федор Иваныч, вы подете, но только раньше ликеру выпьете!»

Г. Самойлов
(Костомаров)

Сняла обручальное кольцо, да в рюмку. При всей своей привязанности к женщинам, Федор Иваныч обручального кольца никак переносить не могли... Ровно, извините, черту ладан. Поперхнулись, да об пол и упали. Тут баушка вышла. Посмотрела на покойника, спрашивает:

«Мышьяк?»

«Зачем, — говорит Анфиса, — мышьяк. Обручальное кольцо!»

«Ну, значит, — говорит старушка, — все сделано и можно закрываться».

Да, братцы, скажу вам... Обручальное кольцо, это — вещь.

Г. Карпов. (Розенталь)

ЗИМНИЙ «БУФФ»

«Разведенная жена», оперетта в 4 д., муз. Лео Фад, русский текст Пальмского и Ярона

Мы подсмеиваемся над французами за то, что они знают Россию только со стороны развесистой клюквы, белых медведей, конфузливо жмущихся по углам малонаселенного Невского проспекта, и тройки, с которой русский мужик не слезает круглый год, нарядившись в красный сарафан и держа во рту дымящийся самовар, доверху набитый махоркой...

Но мы, русские, в этом отношении тоже недалеко ушли от французов и если знаем кое-что из французского быта, то ровно настолько, чтобы правдоподобно соврать о нашем путешествии в Париж, странствовании по кабачкам Монмартра и потрясающем впечатлении от Эйфелевой башни.

Что же касается такой интересной, оригинальной страны, как Голландия, то я имею смелость сказать, что мы о ней буквально ничего не знаем, кроме того, что голландцы питаются какао, имеют голландскую школу живописи, одеваются в тонкое (непременно, в тонкое) голландское полотно и имеют свою королеву Вильгельмину и свою столицу Брюссель. Да и то Вильгельмина скорее королева нидерландская, а Брюссель находится в Бельгии.

Вот все, что мы, к своему стыду, знаем о Голландии...

Оперетка из голландской жизни «Разведенная жена», идущая теперь в «Буффе», восполняет, отчасти, многие пробелы в нашем изучении Голландии и проливает свет на многое загадочное и неизвестное в жизни этой своеобразной страны.

Уже в первом акте зритель, знакомый с отправлением правосудия в России и некоторых других странах, будет по-

Г. Полонский. (Председатель суда)

Г. Дальский. (Карел Ван Лиссевега)

ражен той необычной обстановкой, в которой совершается голландское правосудие.

Самое характерное в нем то, что адвокаты, все свидетели, дающие показания, и даже подсудимый — могут, давая свои показания, петь их, слегка при этом приплясывая.

Этот своеобразный, чисто голландский колорит судоговорения оттеняется еще тем, что у председателя суда нет той черствости, методичности и накрахмаленности, которая так типична для председателей судов других стран.

Нет, голландский председатель суда не сух и не методичен. Он живо интересуется перипетиями судебного разбирательства, волнуется, подмигивает, целует свидетельницам руки и так часто высылает судебную публику, объявляя «закрытые двери», что невольно закрадывается сомнение: не проделывает ли он все это только по своей неугомонности и подвижности, забывая об интересах дела?

Голландская публика, присутствующая на суде, должна многих привести в восхищение своей покорностью и бодрым отношением к жизни.

Когда ее высылали из залы, объявляя двери закрытыми, она не только не протестовала, а, наоборот, уходила с веселыми песнями, чего в русских судах не случалось ни разу.

Второй акт показывает другую сторону голландской жизни: быт светского общества; и здесь зрителя приятно поражает отсутствие классовых перегородок, так могущественных в других странах. Среди блестящих гостей глаз зрителя видит не только рыбака и его жену, но даже кондуктора спального вагона! И кондуктор отнюдь не занимает подчиненного положения: он пьет, поет, танцует и даже — простодушный голландец! при появлении директора железнодорожного общества, дружески хлопает его по животу.

Третий акт выдвигает внутренние душевные и сердечные свойства голландского народа, сводящиеся к тому, что истый голландец взбалмошен, непоследователен и страдает полным отсутствием мотивов и логики в своих поступках.

Зачем было мужу и жене разводиться в первом акте, когда они в это самое время любили друг друга, муж жене не изменял, а она, разводясь, безмерно страдала от потери такого хорошего мужа?

Почему пропагандистка свободной любви Гонда Ван дер Лоо, любившая, по ее признанию, только красивых мужчин, выходит, в конце концов, замуж за председателя суда, и зачем кондуктор расстался с женщиной, которую любит?

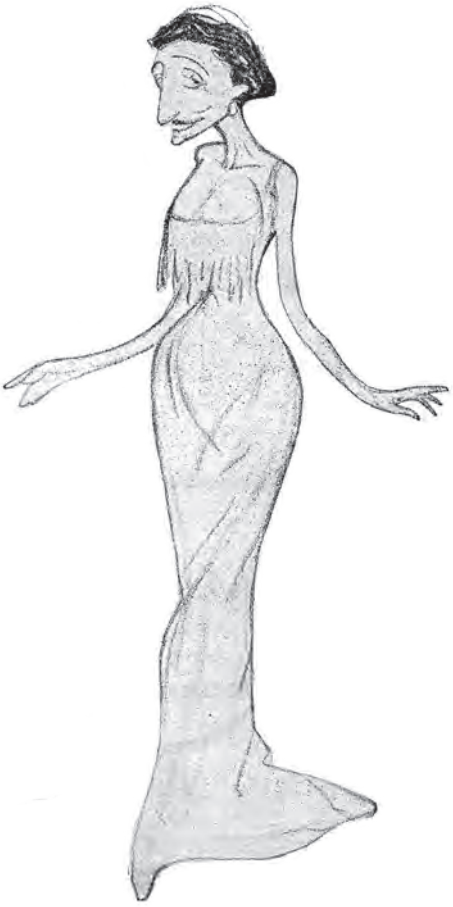
Но, конечно, все эти вопросы могут быть отнесены не к убогости фантазии автора, а исключительно к оригинальности и своеобразности того удивительного народа, из жизни которого взят сюжет оперетки.

* * *

Играли оперетку... впрочем, теперь об оперетках так не говорят.

Танцевали оперетку красиво и весело.

Тамара — изящная осмысленная Гонда, а Дальский был ей достойным партнером. Только зачем он, когда поет, так страдальчески открывает рот, будто бы пение для него не удовольствие, а страшная неприятность, ложащаяся темным пятном на всю его, в общем, сытую, веселую жизнь. И нельзя все время держать руки так, будто бы артист собирается раздавить между ладонями пару грецких орехов. Для того, чтобы избегнуть этого неприятного жеста, можно легко придумать целый ряд других жестов, более жизненных, — например: одну руку раз навсегда положить в карман, а другой — рассеянно потирать переносицу; или: заложить одну руку за спину, а другой поправлять воротнички. Стоит только поработать над собой.



Г-жа Тамара. (Гонда Ван дер Лоо)

Рахманова, играя трудную, неблагодарную роль, не испортила ее, а Полонский был таким симпатичным, бодрым, веселым судьей, что автор этого фельетона, — если он когда-нибудь будет судиться за кражу или мошенничество, лучшего судьи и не желал бы.

КАБАРЕ «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО»

Первым долгом я считаю нужным поделиться с читателями своей радостью: вчера я первый раз в жизни был в театре со специальной целью дать о пьесах рецензию. До сих пор все рецензии о театрах давал наш редактор, а вчера он позвал меня и сказал:

— Фальстаф! (это мой псевдоним. Настоящее имя я не рискую назвать, так как родители, узнав, что я сотрудничаю в сатирическом журнале, проклянут меня...)

Фальстаф! — сказал мне редактор. — Хотите заменить меня и дать рецензию о пьесе для следующего номера? Это будет немного разнообразить журнал. Я что-то устал...

Боясь, чтобы он не раздумал, я воскликнул:

— В самом деле! Вид у вас очень скверный. Я думаю, вы протянете не больше двух-трех месяцев. Так и быть... я заменю вас.

Снаружи я был хладнокровен, но внутренне не чуял ног от радости...

Я даю свою первую рецензию о театре!!!

Фальстаф! Держи ухо востро.

* * *

Г. Ганс Штрик. (Куплеты)

Собравшись в театр, я взял два бинокля (на случай, если один испортится), ряд карандашей и записную книжку.

Моя первая рецензия...

Театр мне очень понравился. Перед сценой стоят ряды стульев для публики, а сцена отделяется от зала занавесом, чтобы публика не могла видеть приготовлений и установки декораций... Вообще, очень мило.

Играли... мне очень трудно сказать что-либо об игре актеров так как почти все пьесы мне не понравились, и я считаю их решительно неудачными.

Что такое, например, «Вечерний звон», — пьеса, претендующая на какое-то настроение... От провала ее не могло спасти даже довольно явное подражание таким колоссам мысли, как Ибсен и Гамсун... Вопреки замыслу автора, герой пьесы Карл фон-дер-Либесанге-легенхейт не производит впечатления человека с суровым, закаленным характером, раба долга, а трагический бродяга Иоган Зершвах, (да простит мне автор), в некоторых местах был ходулен и даже просто смешон! Идея пьесы, сама по себе очень туманная, построена, главным образом, на том, что долг и исполнение религиозных требований должны быть поставлены превыше всего. Идея эта не новая, и я еще раз должен повторить известное изречение: «в театре нужно не поучение, а отдых». Хорошо, если бы эту истину запомнили гг. руководители «Кривого зеркала».

Во всяком деле, а тем более в театральном, если вести все спустя рукава, без энергии и любви к предприятию — оно гибнет. Я не хочу быть пророком, но такая постановка, как постановка пошлейшей мелодрамы из испанской (??) жизни (?) «Загадка (!!) и разгадка (!)» дает мне право утверждать, что предприятие дышит на ладан.

Какой уважающий себя режиссер и актеры могли бы допустить участие в таком безобразии (иначе я не могу назвать), где актеры толкутся бессмысленно на сцене, «жаря» под суфлера, отпускают «отсебятины» и путают выходы, где режиссер выходит с извинениями, до которых публике не должно быть решительно никакого дела.

Г-жа Абрамян (Романсы)

Сколько раз должен был бы перевернуться в гробу от такой «постановки» известный основатель русского театра покойный г. Волков!

Невыгодное впечатление своей ходульностью производит и третья вещь Л. Гебена — «Разочарованный лес или счастливое бракосочетание с удачным апотэозом» (опечатка?).

Это балет, но ведь и от балета публика имеет право требовать известного смысла, а «Разочарованный лес» заслуживает больше названия «Разочарованная публика». Под видом балета, ей поднесли такую пошлейшую сантиментальную ерунду, место которой не на сцене, а под сукном. Кому нужны эти злые волшебники, прекрасные Флориданы, Персикодоны —весь этот арсенал нелепой старины, сдобренной танцами? Пора, пора его в архив! Постановка балета недурная, но есть дефекты: например, лебедь выплывает задом наперед. Впрочем, этот недосмотр может быть легко на следующем представлении исправлен.

Г. Икар. Балет «Разочарованный лес»

Но я уверен, что скоро наступит реакция против всех этих мелодрам и балетов, и русский человек уж не «Милорда» глупого —

...Белинского и Гоголя
С базара понесет.

Публики было много.

Г. Лев Гебен.
(Автор и дирижер)

* * *

Я уверен, что у редактора зашевелился легкий червячок зависти, когда я показал ему написанную рецензию.

Он раскритиковал ее, заявил, что я написал чистейший вздор и глупость, так как принял всерьез пьесы явно юмористического характера, но я вижу тут другую подкладку: не каждому дано написать что-либо серьезным, вдумчивым языком, отнюдь не гримасничая и не сбиваясь на бесшабашный юмористический тон, неуместный в серьезной рецензии.

Редактор заявил, что я бестолков и что он не будет больше посылать меня для рецензий.

И не надо. Не нуждаюсь.

ЕКАТЕРИНИНСКИЙ ТЕАТР

«Гладиаторы» сцены из жизни борцов-атлетов, в 7 карт.
соч. Н. И. Брешко-Брешковского и Р. Лободы

Жил однажды на свете молодой человек, который обладал завидным даром, приводившим многих в восхищение: очень натурально кричал поросенком.

Завсегдатай министерских гостиных

Дела его шли недурно, и он, в конце концов, открыл даже театр, где беспрепятственно и триумфально демонстрировал дар, полученный от Господа Бога за добродетели предков.

И публика усердно ходила слушать его и, качая головой, говаривала:

— И пошлет же Господь! Одному, как говорится, все, другому ничего!

И жил в том городе другой молодой человек, не обладавший даром первого, но такой хитрый, смышленый, что все недоумевали:

— Где в таком молодом, юном человеке помещалось такое количество хитрости?

Второй молодой человек тоже построил театр и объявил, что тоже будет кричать поросенком. И он прятал под плащом живого поросенка и, когда набиралось достаточное количество публики, щипал спрятанное животное, которое принималось визжать самым натуральным поросячьим голосом.

Публика пожимала плечами, закидывала хитреца гнилыми яблоками и говорила:

— Нет, где уж там! Первый молодой человек натуральнее кричит.

И брала на первого молодого человека абонемент, как в Мариинском театре.

* * *

Эту старинную историю я рассказал потому, что пьеса «Гладиаторы» должна пользоваться самым прочным, несокрушимым успехом, в то время, как настоящая борьба настоящих борцов приходит в полный упадок, борцы голодают от равнодушия публики, и уже были в провинции случаи, когда голодные борцы, опустив после борьбы занавес, съедали положенного на обе лопатки товарища.

Пьеса «Гладиаторы» будет пользоваться успехом потому, что в ней, если мне простят это фигуральное выражение, слышна искусная, дающая полную иллюзию имитация поросячьего крика. Настоящая борьба, настоящий поросячий крик приелся, а имитация забавляет, имитация привлекает.

Настоящий Лебедев, Лурих и Аберг уже не производят никакой сенсации, а те, которые были в инкриминируемый автору вечер на сцене Екатерининского театра, исторгали у публики восторженные крики:

— Боже! Да ведь это Аберг! Как живой...

— Обратите ваше внимание на Лебедева! Как живой! И даже голос...

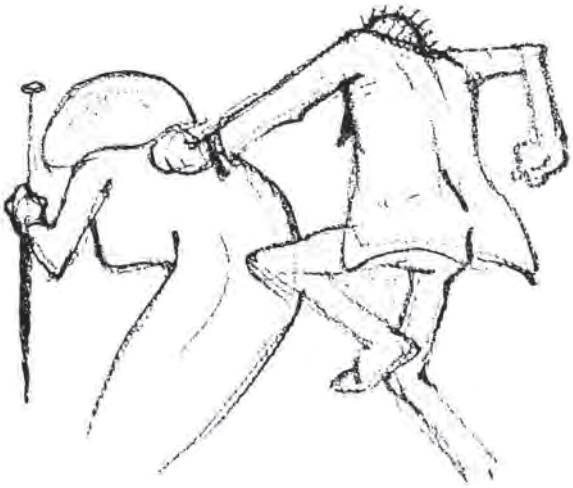
— И даст же Бог!

— Да... Как это говорится, одному все, другому ничего.

И в этот вечер оба автора делили крупный, вполне ими заслуженный успех.

Нужно признать, что г. Брешко-Брешковский очень добрый человек, живущий и дающий жить другим. Другой на его месте сказал бы соавтору Лободе:

— Проваливай, Лобода! При чем ты здесь? Это я про борцов выдумал, а не ты!



Светский прием модного художника с заказчицей (без участия г-на Лободы)

И Лобода, лишенный славы, денег и почестей, должен был бы отойти в сторону. А Брешка пригрел Лободу.

Впрочем, в театре говорили, что Лобода принес г. Брешке существенную пользу советами в тех местах, где нужны были по пьесе светские разговоры между аристократом-чиновником Исаковым и его женой. Где же Лобода не доглядел — г. Брешко распорядился с действующими светскими лицами отнюдь не по-аристократически: модный художник, изругав пришедшую к нему светскую даму на чем свет стоит, выпроваживает несчастную ловким ударом кулака в затылочную кость, к каковым приемам в обществе прибегают лишь в самых редких случаях.

* * *

Резюмируя все сказанное, можно вывести заключение, что пьеса «Гладиаторы» хороша, как рецепт для будущих пьес. Если автор захочет написать пьесу, которая бы пользовалась шумным успехом, он должен взять какой-нибудь специальный быт и хорошенько продернуть персонажей.

Например: все мы знаем извозчиков, никто не обращает внимания на извозчиков и всем извозчики в жизни страшно надоели. Но стоит написать пьесу из их жизни, где беспощадно разоблачить все ухищрения извозчиков, обсчитывание ими седоков, пьянство и брань, — как публика валом повалит на такую обличительную пьесу.

— Смотрите! Дрожки совершенно натуральные!

— Да, да... И пьян! И ругается, как извозчик.

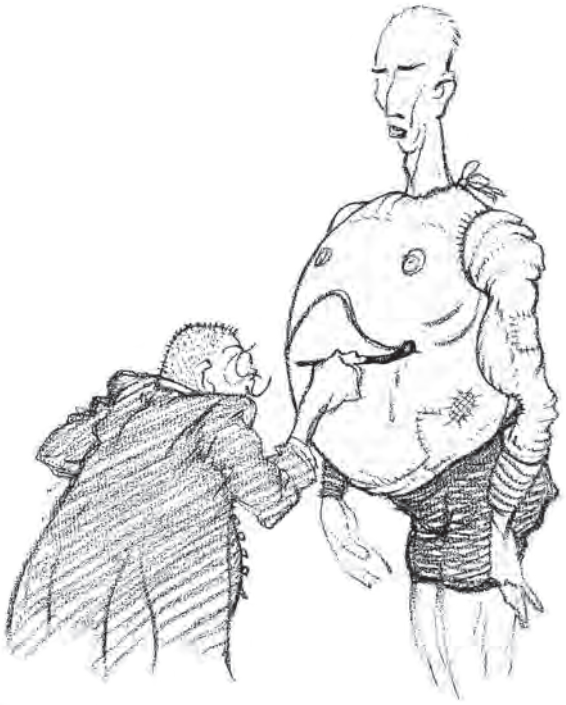
— Как это верно!

— Господи! И даст же Господь!

— Да... Как это говорится, одному все, другому ничего...

* * *

Хочу сказать несколько слов по нашему личному «сатириконному» поводу, но имеющему некоторое общественно-уголовное значение. За время существо-



Изготовление атлетов по способу Брешко-Брешковского

вания «Сатирикона» наш худ. Ре-ми нарисовал в отделе «Театр» целый ряд шаржей-иллюстраций к рецензиям. Когда разные издания обворовывали этот отдел в розницу, мы могли только пожимать плечами... но в воскресном приложении к «Петербургской газете» (за 22 ноября) художник С. Шмит-в, как серьезный, солидный оптовик, отошел от розницы и поместил за своей подписью до десятка шаржей Реми на одной странице (Голубева, Андреев, Санин, Вал.-Лин, Смоляков, Тамара, Дальский, Полонский и др.).

Это уже очень нехорошо.

Мы допускаем, что могут, встретясь с нами, заявить, как в «Шинели» Гоголя:

— А ведь шинель-то моя!

Но если заявляют, что и «сюртук-то мой», и ботинки-то мои, и Голубева-то моя, и Дальский — и раздевают нас до... возможности простудиться — мы протестуем!

МОСКОВСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР

«Анатэма» Леонида Андреева, «Месяц в деревне» И. С. Тургенева

Самое ужасное в профессии присяжного юмориста, это то, что он должен смеяться всегда, во всех случаях своей жизни, должен смеяться даже тогда, когда ему этого не хочется, когда он растроган, или расстроен, или когда с ним случилось несчастье.

Он всегда должен быть юмористом.

Однажды один из наших сотрудников явился к редактору и заявил, что он должен ехать в Киев к умирающему отцу, что ему нужен отпуск на неделю.

Тронутый редактор немедленно дал отпуск, забыв даже, что к номеру с юмориста причиталась пародия на Анатолия Каменского, а юморист, увидев слезы на глазах редактора, засмеялся и утешил его:

— Негр сделал свое дело, негр произвел на свет такого прекрасного человека, как я, негр может уходить на тот свет!

И уехал. А через 4 дня редактор получил от него телеграмму:

— Отец умер. Пародию высылаю заказным.

И самое ужасное во всем этом было то, что, как после выяснилось, отец юмориста умер 12 лет тому назад, а сам юморист ездил в Киев жениться.

Таким образом, даже семейное несчастье не могло удержать бедного юмориста от профессиональной привычки смеяться.

* * *

Приведенная история может служить комплиментом Художественному театру, так как Художественный театр был единственным местом, где я спрятал свой смех в карман и сидел на своем месте, потрясенный, смятый тем мощным потоком несокрушимого таланта, который хлынул в мою бедную юмористическую душу и закружил ее, как щепку...

Анатэма (Качалов)...
— Я гуляю по свету!

В Москве, в каком-то Камергерском переулке, в наш прозаический век совершается чудо, величайшее из чудес: кучка лиц — Леонид Андреев, Качалов, Вишневский и другие, с Немировичем-Данченко во главе — возомнили себя богами и, сотворив Бога и Сатану, силой своего гения заставляют нас верить, что таков сущий Бог, таков настоящий Сатана.

Андреев написал «Анатэму», — и это был большой прекрасный труд, но, как Галатея до Пигмалиона, был он неподвижен, неподвижностью прекрасного мрамора.

Пигмалионы-художественники прикоснулись к нему, и зашевелился Анатэма, выдвинул свою зловещую собачью губу и пошел «гулять по свету», живой Анатэма из плоти и крови...

Откуда они взяли эту страшную химеру? Кто такой этот Качалов, после которого не веришь, что могут найтись другие актеры, сумеющие поднять на своих плечах эту роль? Какие гигантские плечи должны быть для этой роли?

На другой день после спектакля я встретился с Качаловым: высокий худощавый молодой человек, приятно-незначительной наружности, близорукий, с милым серьезным лицом среднего интеллигента... И чудом кажутся эти ужасные движения ящерицы и тигра, этот мягкий, страдающий, местами трогающий до слез, голос Анатэмы, доброго, сердечного Анатэмы, и когда этот добрый голос прорывается безумным бе-

Наум (Горев)...
— Отчего мне не позволяют танцевать?.. Я хочу танцевать!

шеным ревом и нижняя собачья губа выдвигается, и нижняя челюсть по собачьи жует, и видишь Анатэму, ощерившегося, как тигр перед прыжком, — и тогда думаешь: что же это такое? Неужели, один человек может чудесным образом воплотиться в этот сатанинский образ и, неужели, он выйдет сейчас за кулисы и скажет устало театральному парикмахеру:

— Никифор, поправь-ка, любезный, мне паричок!

О гриме Качалова можно бы написать целую книгу... И такой грим мог создать только тот, кто создал Анатэму... А он, когда мы пришли в его уборную и, познакомившись, спросили первым долгом, о гриме, выдвинул ящик стола и показал какие-то открытки — фотографии скульптур: покойного Победоносцева и химеры из Notre-Dame.

Ничего в них не было похожего на его чудесный грим и хотелось сказать ему:

— Зачем вы лжете, милый скромный Качалов? Ведь это все ваше, хотя бы вы ограбили весь Notre-Dame и проштудировали лица всех обер-прокуроров мира.

Лейзер (Вишневский).
— Ой Нуллюс, Нуллюс!

И не могло быть иначе. Когда Анатэма ведет навстречу Лейзеру хоровод — самое красивое ужасной болезненной красотой место в пьесе — то мы знаем, что это написал Андреев, поставил Немирович-Данченко, но так вести хоровод может только Анатэма — Качалов!

А с ним рядом Лейзер-Вишневский, о котором тоже хотелось бы говорить без конца: такой хороший светлый еврей, весь сотканный из доброты и страдания, хватающий за душу своей обреченностью, которую зритель угадывает с первого появления Лейзера...

И когда он говорит надорванным, слабеющим голосом:

— Ой, Нуллюс, Нуллюс!.. Ведь ты мой единственный друг... Неправда ли, Нуллюс?

Тогда хочется думать, что, может быть, раз в своей вечной жизни сжалится Сатана и пощадит обреченного, но Сатана отворачивается, и надежда потеряна: страшный бессердечный паук, улыбается, жадно перебирая пальцами-щупальцами, белыми, длинными безжалостными...

— Ой, Нуллюс, Нуллюс!..

* * *

По счастливой случайности, мы попали после «Анатэмы» на генеральную репетицию «Месяца в деревне», и это дало возможность взглянуть на художественников в другом составе и с другой стороны.

«Месяц в деревне»
г-жа Книппер

С такой же любовью, как они поставили гениальную библейскую поэму Андреева — с такой же любовью и тщательностью была ими разыграна тургеневская пьеса, сама по себе однотонная, утомительная, несмотря на тургеневский язык и свежую весеннюю тургеневскую обаятельность.

Пьеса будет иметь прочный успех. Успех ей сделает Станиславский, Книппер, Уралов, прекрасные, насквозь пронизанные тургеневским светом и красотой декорации Добужинского а, главное — тот дух напряженной культурности и крепкого гранитного таланта, который покоряет всех под нози и который свил себе такое прочное гнездо в скромном театре в Камергерском переулке...

«Месяц в деревне»
г-н Станиславский

Кто другой мог бы с такой заботливостью и кропотливым тщанием заниматься мозаичным подбором мелочей, незаметных для других, порой кажущихся ненужными, но все же прекрасных, озаряющих всю работу светом любви и энтузиазма.

Когда, например, станиславовцы ставили «Горе от ума» — все мелочи были продуманы и разработаны до конца...

Для того места, в котором Чацкий восклицает: «карету мне, карету!» была заказана карета того времени, по рисункам Ал. Бенуа. Знаменитая фраза «все врут календари» была иллюстрирована подлинным, лежащим на столе, календарем, специально напечатанным в новом временской типографии, и в котором не было ни одного слова правды... Все дни были нарочно перепутаны и праздники приходились на будни. А за кулисами бродила, купленная с большим трудом и издержками та самая собака дворника (по рисункам Петра Соколова), которую гладил Молчалин, чтобы она ласкова была... А Софья...

«Месяц в деревне»
г-н Уралов

Господи! Милые актеры Художественного театра! Извините вы меня, что я юморист.

Ведь я не хотел...

Режиссер «Анатэмы»
Влад. Ив. Немирович-Данченко

БАЛ «САТИРИКОНА»

День бала «Сатирикона» случайно совпал с днем похорон В. Ф. Комиссаржевской...

Еще за две недели до бала — бал был назначен на 20-е февраля, а вечером 19-го в редакцию влетела худая девица, с покрасневшим от волнения носом и разметавшимися волосами.

«Бедная, но честная девушка»

— На какое число откладывается ваш бал?

— Да ни на какое. Он состоится завтра, 20-го.

— Вы... с ума сошли! А Вера Федоровна?

— Покойная Комиссаржевская? Эта прекрасная, большая артистка умерла две недели тому назад, и вся наша редакция, получив известие о ее смерти, искренно погоревала об этом.

— Помилуйте, да ведь завтра ее похороны! Неужели, вы устраиваете бал в этот горестный для всех день?!

— Милая барышня! Во первых, по техническим причинам мы не можем отложить бала, а во вторых, неужели, вы ждете только двадцатого числа, чтобы погоревать о Комиссаржевской? Что же вы делали эти две недели? Если горе ваше искреннее и глубокое — почему вы его задерживаете именно на двадцатое число?

Барышня вздохнула и профессиональным жестом приложила платок к глазам.

— Я горевала и вчера... и 17-го числа... О, какая это тяжелая утрата!.. Белая чайка улетела от нас... надломленные крылья...

Если одно и то же слово повторить несчетное число раз — оно теряет смысл, и становится пустым, непонятным. Мы читали десятки газет и журналов с некрологами, посвященными Комиссаржевской, и всюду наталкивались на «белую чайку» и «надломленные крылья». К красивому сравнению разом протянулись сотни рук, захватали его, затормошили, сделали непонятным, действующим на нервы.

В одной газете читаем:

— «Не хочется верить!.. Улетела от нас белая чайка, крылья надломились...»

Другая газета элегически шепчет:

— «Ее больше нет... Свет погас! С надломленным криком белая чайка упала вниз».

— Нет! — кричит третья газета. — Это не могло случиться!.. Бессмысленная смерть похитила белую чайку, свет погас... Крылья надломились... О, как бессмысленна жизнь!

Гостеприимная хозяйка (m-lle Корнфельд)

А один слезоточивый юмористический журнал сделал еще добросовестнее: слева нарисовал плохой портрет покойной артистки (конечно, в венке с трауром), направо изобразил неизвестную птицу, лежащую на спине, а внизу текст, под заглавием: «Чайка... Белая чайка». Начиналось так: «Чайка... Белая чайка... Белая чайка отлетела от нас. Умерла Комиссаржевская... Перестало биться большое сердце... Погас громадный талант... Отлетела от нас чайка... белая чайка...

Какая трагедия — быть большим известным человеком... Никогда на долю маленького малоизвестного покойника не выпадет такого океана пошлости, фальши и ханжества, как в последние дни выпало это на долю Чехова и Комиссаржевской. «Поэт российских сумерек. Поэт безвременья» и — «Отлетела чайка. Надломленные крылья». Как стыдно! Безмерно стыдно...

Один журналист, получив от нас билет на бал, вернул его с трогательной надписью:

— «В скорбный день похорон белой чайки не могу быть на веселом балу. Был уверен, что отложите»...

Похороны были утром, а вечером журналист сидел дома, и он не был одет во все черное и не вздыхал, сидя в уголку, и не стонал, хватаясь за голову, а просто перечитал вечерние газеты, пообедал, написал пальцем по запотевшему стеклу трижды свою фамилию, потом засвистал, а потом долго бродил, зевая, по комнатам, и втайне ругал себя за то, что вернул билет на бал.

Если бы эта статья писалась для маленьких детей, можно бы вывести такое поучительное, назидательное заключение:

— Дети! На примере журналиста, оставшегося без вечера, вы можете видеть, как называется фальшь, ложь и ненужная поза!

* * *

20-го числа в одиннадцатом часу вечера начался бал «Сатирикона»... На верхней площадке публику встречала организованная группа швейцаров и лакеев.

Швейцар, зная тщеславие и суетность петербуржцев, бессовестно льстил им. То и дело раздавался его зычный крик:

— Его сиятельство, граф Дягилев! Китайский посланник Анатолий Каменский! Его светлость маркиз де-Брешеко-де-Брешковский! Граф Азов! Герцог де-Гиз! Кардинал Ришелье!

Страшный трактирщик (Александр Рославлев)

Баронов и простых дворян швейцар даже не удостаивал взглядом. Дружеским жестом, похожим более на пинок, он перебрасывал их к контролеру, который, свирепо рыча, обрывал зубами у публики билеты...

Изредка один из лакеев — по профессии эпилептик — ложился на площадку, скатывался со ступенек вниз и, распластавшись перед входящей публикой, вопил:

— Через труп мой только и переступите!

Через него переступали и шли дальше, приветствуемые трубным звуком и веселым ликующим криком.

Кое-кто из накрахмаленных гостей, войдя, скептически косился на веселую толпу, хмурил брови, пожимал плечами. Тогда к нему подлетал распорядитель, отводил в угол и вежливо шептал на ухо:

— Если ты, черт возьми, будешь делать скучающее лицо — я прикажу моим лакеям схватить тебя за ноги, за руки и сбросить с площадки вниз. Хочешь?

И лицо скептика сразу светлело, он начинал хихикать и приплясывать, делая вид, что веселится от души.

Таким образом, в несколько приемов, петербургский крахмал был сбит, и всякий посетитель узнавал свое место в веселой программе.

Большой зал преобразился в улицу с высоким забором, грандиозными плакатами на разные случаи жизни, воротами, а сверху звезды, месяц и кометы ласково лили на публику свои теплые лучи.

Мрачный, загадочный провал в стене вел в страшную таверну «Вытекший глаз», где чувствовался запах крови, темный заговор и уйма таинственных преступлений. За дубовыми тяжелыми столами сидел ряд подозрительных личностей — отребье человечества — и все хриплыми от разврата и пьянства голосами требовали у трагического буфетчика Рославлева пива.

Весь этот ужас был, конечно, кажущийся... На самом деле, интересы публики были ограждены и охраняемы как нигде. Заботы о посетителях простирались даже до мелочей: около буфетчика висела надпись: «Осторожнее, здесь сам хозяин», а по сторонам красовались плакаты: «Остерегайтесь тигров». Таким образом, публика

заранее получала предостережение относительно этих опасных злых четвероногих и, в будущем, при личных встречах, всегда могла бы вспомнить упомянутый полезный совет.

На сцене «Вытекшего глаза» шла захватывающая по своему драматизму и ужасу пьеса Аверченко «Коготок увяз», о достоинствах которой говорить излишне, так как она даже была пропущена драматической цензурой.

Потом был дивертисмент, который публика просмотрела, сидя на головах друг у друга, и передние ряды своими словами передавали содержание задним.

Маститый китаец (Анатолий Каменский)

В большом зале в то же время, играли «Редакционный день Сатирикона», пели оперетку «Топси» Тэффи и танцевали чудесный балет Шумана «Карнавал», в котором талантливый Фокин превзошел сам себя...

Льстивый швейцар (Поэт Потемкин)

Все это происходило под веселые крики автомобильных гудков и их погонщиков, под рев сирен и шелест серпантина. Петербуржец, которого стоило такого труда развеселить, так развеселился, что стоило большого труда его угомонить. Самые веселые сбились в таверне, взобрались на столы и стали откалывать неизвестные танцы, освещаемые сумрачными красными фонарями, под хлопанье в ладоши и веселые крики окружающих.

— Не трогайте их теперь — сказал режиссер Курихин актерам, — они уже сами себя веселят!

С разрешения полиции бал закончился раньше, чем мы предполагали, и законные три часа ночи положили предел шуму и пляскам.

Среди массы писателей, актеров и художников, явившихся на бал, обращал на себя внимание Каменский в костюме китайского посланника, Азов, удачно загримированный Владимиром Ашкинази, Дягилев и много, много других. Был среди присутствующих и дорогой для «Сатирикона» гость — юморист и «король фельетона» — Влас Дорошевич.

В заключение, можем скромно признаться, что в устройстве и организации бала было допущено несколько досадных промахов и ошибок.

В будущем году на будущем балу этого уже не будет. Ошибки будут совершенно новые.

МАЛЫЙ ТЕАТР

«Шантеклер» или «Певучая дверь» — безысходная психологическая трагедия в II-х актах

Действующие лица: дверь, письменный стол, диван, старая кушетка, молодая кушетка, палка с костяным набалдашником, 1-я пылинка, 2-я пылинка, 3-я пылинка, клоп, мокрица.

Комната. В комнате: письменный стол, старая кушетка, молодая кушетка, лампа, 1-я, 2-я и 3-я пылинки. Зацепившись за ручку двери, висит палка с костяным набалдашником.

Палка. — О, как вы прекрасны, дверь! Какая у вас красивая модная ручка!.. И потом — как вы скрипите! Когда вы впервые распахнулись, чтобы пропустить меня, вы заскрипели так чудесно, что сердце у меня замерло! Вы нарочно так скрипите?

Лампа (подмигивая). — Это тайна нашей гениальной двери, и она никогда ее не раскроет!

Письменный стол (басом). — Да! Дверь — это гордость нашей комнаты. О ней знают даже в других комнатах. Я много пожил на своем веку и понимаю толк в дверях, черт возьми!

Лампа. — Ну, я гасну! Пора спать.

(В комнате темнеет).

Голос первой пылинки. — Я ненавижу дверь!

Голос клопа. — Я жажду ее смерти!

2-я и 1-я пылинка. — Смерть двери!

Мокрица. — О, как бы нам избавиться от двери?!

Палка. — За что вы так ненавидите эту прекрасную дверь?

Пылинка. — Мы ненавидим ее за то, что она — проводник свежего воздуха, который сдувает нас и мешает нам жить! Долой свежий, чистый воздух!

Клоп (зловеще).— Я ненавижу дверь за то, что она однажды чуть не раздавила меня, неожиданно распахнувшись. И потом — она пищит и ее писк вызывает целые потоки свежего воздуха.

Мокрица. — А я просто безо всякой причины ее ненавижу! Смерть ей!

Все. — Смерть двери!

Палка. — Как же вы причините ей смерть?

К л о п. — Нужно попробовать повернуть ключ в двери. Тогда она лишается способности двигаться, пищать, и напускать свежий воздух, а это—самое главное!

(Тишина, все засыпают).

П а л к а. — О, прекрасная дверь! Ты, вызывающая своим скрипеньем волны свежего воздуха! Бежим! Уйдем от них в широкое поле, где я еще недавно подпирала какого-то старика!

Д в е р ь (с в д о х н о в е н н ы м в з о р о м, ш и р о к о р а с к р ы в з а м о ч н у ю с к в а ж и н у). — Нет! Я вступлю с ними в бой и одолею все эти темные силы! За меня правда, за меня свежий воздух, который я вызываю своим скрипом.

П а л к а. — О, как ты прекрасна!

Л а м п а (п о д м и г и в а я). — Жалкий самообман! Твой скрип, вовсе не причина свежей струи воздуха. Просто тебя отворяют — вот и все!

Д в е р ь (в д о х н о в е н н о). — Нет! Я предвозвестница свежего воздуха и я вызываю его своим скрипом. Вот и все.

(Кто-то снаружи хочет открыть дверь. Палка в любовном экстазе цепляется за косяк и держит дверь)

Д в е р ь. — О, пусти меня! Я хочу исполнить свою великую миссию!! Не удерживай меня.

(Неожиданно от сильного порыва открывается оконная форточка и впускает свежий воздух)

Д в е р ь (т р а г е д и я) — Что это?! Свежий воздух проходит помимо меня!? О, горе мне! Я не пищал и все-таки чувствую его струю! Это все ты, палка?!

(Дверь дергают сильнее. Палка страдальчески переламывается)

Д в е р ь. — А я все-таки, несмотря ни на что, буду исполнять свое великое назначение: пищать, скрипеть и освежать атмосферу! Пи-и-и!

П и с ь м е н н ы й с т о л. — Давайте скорее занавес! Сюда приближается человек!!

(занавес)

* * *

Из грядущих рецензий:

«Певучая дверь» — вещь, безусловно, символическая. «Дверь» — это наш вечный жизненный самообман, когда мы думаем так, а дело на самом деле обстоит иначе. И большая заслуга наша, если мы узнав, что ошибались, не бросаем дело, а продолжаем его дальше ради высших идеалов.

— А я все-таки буду пищать, — говорит дверь, получив наглядное доказательство своих заблуждений.

И темные силы — все эти клопы, мокрицы и пылинки бывают посрамлены.

Прекрасно проведена г. Глаголиным роль двери. Артист дает полную иллюзию двери и скрипит изумительно натурально. Артисту, очевидно, пришлось потратить на создание роли, костюма и грима много труда.

Очень изящная «палка с костяным набалдашником» — Музиль-Бороздина. Тип палки, мешающей двери открыться, удерживающей ее ради своей узкой эгоистической любви передан бесподобно.

Письменный стол — г. Хворостов — нас не удовлетворил. Он часто забывал стоять на четырех ножках и ящики его выдвигались довольно ненатурально. Очень забавна и остроумна лампа. Не мешало бы ей надевать абажур посветлее.

Изящны пылинки: г-жа Христофорова, Валерская и Кирова. Тарский для роли клопа немного тяжел. Собравшаяся в громадном количестве публика с большим интересом следила за сложной душевной драмой благородной пылкой двери и любящей палки. Пьеса возбуждает хорошие чувства к домашней меблировке.

ТЕАТР И САД «АКВАРИУМ»

Если мы сравним древнее акробатическое искусство с современным, то нужно признать, что современные акробаты далеко шагнули вперед.

Удивить и привести в восхищение наших предков было очень нетрудно: если человек имел склонность стоять на руках, то он уже считался законченным акробатом, а уменье его кувыркаться через голову и перегибаться назад давало ему звание придворного артиста и целую уйму льгот.

Ma Gosse? — Апаш.

Люди, умевшие ходить на руках и есть горящую паклю, пользовались всеобщим преклонением, завистью и восторгом, — если их в самом разгаре славной деятельности не сжигали на костре, как колдунов.

Известно, что в древние времена не было ничего легче, как попасть в колдуны и чародеи. Стоило только нарвать пучок придорожной травы и, засушив, украсить ею свою комнату, или завести черную кошку, или просто иметь осмысленное человеческое лицо, хотя бы и делая при этом попытки стоять на руках.

Я не знаю, что бы сделали древние крепколобые народы с современными акробатами, творящими действи-

M-lle Фужер

тельные, неподдельные чудеса. Утопили бы их в море или причислили к лику богов?

Я видел на сцене «Аквариума» компанию, состоящую из трех молодцов и одной дамы, и эта компания делала вот что: на протянутые параллельно две проволоки, взбирался глава семейства и делал на этих проволоках мост... Зыбкая почва под ним колебалась и дрожала, но в это время на главу семейства карабкался его родственник и на коленах и плечах главы строил другой мост; сейчас же на второго родственника взбирался третий родственник и строил еще один мост, и так они замирали на несколько секунд. Потом все трое поднимали головы, плечи, тихонько выпрямлялись, вися над бездной на одних ногах, вся постройка росла вверх и — вот уже все трое стоят на плечах друг друга, длинной колонной, уходящей верхушкой под самый потолок. Проволоки колеблются под ногами нижнего, но, тем не менее, все трое снова склоняются, никнут друг на друга — и снова трехэтажный мост дрожит на проволоках, двух тонких паутинах, еле заметных глазу.

Я смотрел на это удивительное семейство и думал: как они начинали? Что дало толчок им начать именно строить мосты на двух проволоках, а не служить в частном банке или заниматься продажей бакалейных товаров или изучать слесарное дело?

Как, вообще, начинают такие «семейства акробатов»?

Не так ли: сидит за чаем скромная буржуазная семья какого-нибудь немецкого комми по продаже земледельческих машин, и вдруг отец семейства говорит:

— Вот что, дети мои и дорогая супруга... Нам нужно быть акробатами! С сегодняшнего же дня начинаем упражнения: ты, Гретхен, имеешь крепкий затылок и потому будешь на ремне, зацепленном за затылок, держать всю семью; ты, Ганс, очень гибок и будешь выгибаться наверху, ты, Генрих, будешь средним, а я на своих плечах буду держать вас трех, пока вы сделаете все это.

Ma Gosse? — M-lle Морэ

И вот начинает упрямая, трудолюбивая семья... Все сначала ежеминутно падают, расшибаются, жена жалуется, что «не чувствует затылка», дети плачут, но работа кипит и, несмотря на препятствия, затруднения и разочарования — года через два подходит к концу.

Немец идет к директору, показывает ему свое искусство, подписывает контракт, сдирая в месяц за это рублей тысячу, и начинается для немца новая жизнь.

Русский человек, поставивший себе целью разбогатеть таким же образом, поступил бы, по моему мнению, иначе: он сразу заставил бы жену и детей лезть на какую-нибудь проволоку, влез бы сам, и когда все семейство немедленно же осыпалось бы вниз, как спелые

Ma Gosse? — M-lle Долешаль (апашка)

груши, русский человек, почесав ушибленное место, обругался бы, переколотил жену и детей, а потом, отправившись в трактир, стал бы ожидать смерти какого-нибудь родственника, который вдруг да оставит ему тысяч сто.

* * *

В то время, как на открытой сцене культивируются сильные мускулы, могучие плечи и ноги, обезьянья ловкость и головоломные, требующие долгого изучения трюки — в закрытом театре «Аквариума» показывается все, что дано не искусством, а природой: голая грудь и спина, открытые выше колен ноги, стройная красивая фигура и немного — так, щепотка-другая — голоса. Все это яркое, сверкающее бриллиантами, шелковым трико, голыми руками и белыми зубами, движется, пляшет, поет, кричит, размахивает ногами и подмигивает первым рядам...

Почти все — француженки, пара итальянок и только одна — русская. Да и то она поет цыганские романсы.

Может быть, она поет и недурно, но слова, которые она поет, должны привести всякого мыслящего человека в ужас. Цыгане узкий, близорукий народ; их интересы все время вертятся вокруг шести предметов: поцелуй, кровь, любовь, тройка, очи и изменник. Никогда я не слышал цыганского романса, в котором бы трактовалось о ненормальной постановке преподавания в средней школе или о хищениях в железнодорожном ведомстве.

Цыганский романс сочинить очень легко. Например:

Я в твои смотрела очи
От зари и до полночи...
А-ах!
Кровь во мне вся закипела,
В страстном я лобзаньи млела.
А-ах, ах!
Ты ж другую полюбил,
Мне, изменник, изменил...
Я не сплю ни дни, ни ночи
И не пью, не ем —
Ах! Зачем же, черны очи,
Сгибли вы совсем!?

Вот и все. Сочинил я это своими руками и больше всего остерегался, чтобы во время процесса сочинения в голову мне не пришла какая-нибудь человеческая мысль. Тогда все бы пропало.

ЛЕТНИЙ ТЕАТР «БУФФ»

Бенефис А. С. Полонского (Веселая и Малабарская вдовы)

А. С. Полонский

Когда я приехал в «Буфф», то решил так: до начала еще минут пятнадцать. Зайду-ка я в уборную бенефицианта, убью эти пятнадцать минут в тихой беседе с ним и сокращу, таким образом, невыносимо тянущееся для него время до начала спектакля. Ну, пошел.

Дверь в уборную была открыта и я, заглянув туда, увидел следующее: в маленькой комнатке мелькало что-то черное, что-то белое, что-то розовое, а что это было — за быстротой его движений никак нельзя было разобрать. При подъеме аэроплана есть такой момент, когда пропеллер, благодаря сильному вращению, перестает быть видимым.

У меня зарябило в глазах. Я с интересом спросил:

— Что это такое?

— Полонский одевается.

— Это вы, Полонский? Куда же вы так спешите?

Пропеллер стал замедлять движение, взмахи его стали тише, тише и, наконец, я увидел бенефицианта почти в спокойном состоянии. Он еще по инерции немного пошатался и остановился.

— А, здравствуйте! Не здесь закалывай... выше! Позовите Мишу. Стул! Манишку давай! Черррт! Здравствуйте, милый. Сту-у-у-л! А где Сидоров? Да не так!!! Держи жилет — руки просовывать буду. Позовите Игнатова! А где Яков? Панфилов! Разыщите сейчас же Панфилова!

Ногу он всовывал в брюки, рукой писал какую-то записку, а голову наклонил к стакану с кофе, стоявшему на столе, и тянул из него большими глотками, крича во время передышки:

— Саве-елий! Пришел Карпухин? Одевается Карпухин?

— Они сегодня выпили. Не могут быть по болезни.

— Кто? Карпухин? Пьян? Дайте стул! Здравствуйте, милый! Илья! Возьми записку! Да как же Карпухин сегодня пьян? Я рассчитывал, что он завтра будет пьян?! Кто это они, черт их возьми! Хотя бы очередь установили: а то и Карпухин пьян и Заболтайский...

— Заболтайский не пьян. Оне сегодня пришли и уже одеваются.

— Как, одевается?! Значит, он не пьян?! Да ведь я рассчитывал, что он будет пьян, и позвал вместо него другого... Куда же мы денем другого?!!

— Поставьте этого другого на место Карпухина, — посоветовал я, — а Заболтайскому сделайте выговор, что он не пьян...

Г. Рутковский (Бульбум)

— Саве-елий!! Позови Заболтайского!! Стул!! Почему не дали стул?! Позвоните Блямбину, чтобы сейчас же... Эй, стул! Кто? Что нужно?! Какую контрамарку? Кому? Кто такой? Извините, не знаю!

— Саша, что ты... Это же я, твой друг. Что ты!

— А-а, Володя... Здравствуй, милый. Яков, стул! А где же Игнатов? Садись, милый... Ну, как пожива... Что еще? Кто? Контрамарку? Кому?

— Дама там... просят. Тромбонист.

— Почему тромбонист?

— Да так. Специальность.

— Да кто просит-то?

— Дама ж.

— Да тромбонист-то кто?

— Который в оркестре.

— Ему что нужно?

— Ему ничего и не нужно. Это ей.

— Чего ж ты тромбониста путаешь?

— Я не путаю. Это она с ним спуталась. Вроде как жена. Посадить просют.

— Дай карандаш! Куда, ч-черт?! Левый ботинок на правую ногу?! Ну, как поживаешь, доро... Что еще?!..

— Контрамарку.

— Кому?!!

— Господин. В трауре. Детей, говорит, лишился, жены. Обязаны, говорят, помогать друг другу. Одно место просит. По случаю эпидемии.

Из коридора донесся болезненный крик:

— Пожалуйте на сцену?!

— Посто-о-ойте!

В одном ботинке, без пиджака перелетел бенефициант, через склоненного портного и, промелькнув мимо нас, исчез во тьме коридора.

— Что случилось? — спросил я, когда он влетел обратно и, обрушившись на стул, вцепился обеими руками в гримировальные карандаши.

— Актриса молодая. Неопытная. Прошел с ней еще раз одну сцену... Да где же это Игнатов?!! Позвонили Блямбину? Сту-ул!

* * *

И вот выходит режиссер, администратор и актер на сцену.

Г. Коржевский (Зизибар — приказчик)

Стулья, Блямбины и Игнатовы остались позади. На сцене искренне-веселый жизнерадостный старик — посланник Мирка Чета, с тонким, подвижным лицом и беззаботным весельем в глазах. В игре благородный художественный шарж, масса прелестных интонаций — и много таланта, блещущего, как солнце в речной ряби.

Ни к кому так ни пристала кличка «любимец публики», как к нему. Любовь самая вещественная. Сделали ему шеститысячный, беспримерный сбор, осыпали подарками и кричали, рискуя глотками:

— Брраво, Полонский!

И не знает публика, что этот самый веселый, танцующий старик три минуты тому назад бегал в одном ботинке по сцене перед опущенным занавесом, натаскивая молоденькую актрису, разыскивал Карпухина, звонил к Блямбину, кричал, вертелся, как бес перед заутреней, и катался по всем углам кулис, как один сплошной клубок нервов.

Г-жа Вяльцева (Тата-Лили)

Остановите такого человека в его стремительном движении, дайте ему дня три абсолютного покоя — и он умрет. Боже мой... Все мы — люди, стоящие у искусства — живем по инерции, все мы летим от неведомого толчка, раз навсегда данного нам неведомо кем. И долетаем так до смерти.

Взрывы веселого смеха прерывают веселую игру веселого Полонского.

Но — занавес опускается... Он еще не дополз до пола на аршин, как посланник Мирка-Чета кубарем летит за кулисы и кричит усталым, торопливым голосом:

— Игнатова!! Нашли Игнатова? Где же Блямбин, черт возьми!.. Какую контрамарку? Здравствуй, милый... ну, как пожива... Стул!

* * *

Их было трое в этот вечер: бенефициант и две вдовы — веселая и Малабарская. Обе вдовы были так прелестны, так обаятельны, веселы и, главное, так молоды, что публика может быть спокойна за себя: она не скоро еще овдовеет.

Г. Клементьев
(во время подачи совета качаться на качелях)

НОВЫЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

«Gaudeamus», пьеса в 4 действ., Леонида Андреева.

Налаживался очень хороший спектакль: прекрасные роли в прекрасной пьесе были розданы талантливым актерам, режиссер все взвесил, все обдумал и предусмотрел, кроме одного: что бывают люди, у которых нет ни стыда, ни совести... Эти два качества заменяются у них третьим, самым невыносимым — желанием вылезти вперед и сесть на самом первом плане. Эти люди недалеки, беззастенчивы и назойливы. Для удовлетворения своего мелкого самолюбия они не задумаются подложить свинью товарищам, отравить удовольствие публике и, вообще, бесповоротно испортить прекрасную пьесу.

Тенор (г. Феона)

Пьеса «Gaudeamus» — бесспорно, прекрасная, остроумная пьеса. К сожалению, ее испортил один человек — вот каким образом:

Еще перед первым актом до поднятия занавеса помощник режиссера и кое-кто из актеров заметили неизвестного человека в седом парике, бродившего угрюмо и молчаливо за кулисами. Спрашивали друг у друга:

— Странная фигура. Не знаете кто это такой?

Кто-то узнал:

— Да это наш же актер Карамазов! Вечно он чудит. Ему по пьесе не было роли, так он надел седой парик и делает вид, что тоже занят в спектакле. Маньяк какой-то.

Онуфрий (г. Рыбников)

Но «маньяк» был себе на уме. Он задумал очень хитрую, очень некрасивую выходку, и стал приводить ее в исполнение в первом же акте.

Когда г-жа Раевская (Дина Штерн), шла перед началом первого акта на сцену, Карамазов выдвинулся из темного угла и робко дернул ее за платье.

— Я тоже хочу играть сегодня. Возьмите и меня на сцену...

— Вы? Да зачем вам играть в этой пьесе? Ведь вы все испортите! Пьеса молодая, жизнерадостная, веселая — куда нам такая развалина?!

Карамазов притворился, что плачет.

— Эх, не хотите товарища уважить!.. Бог с вами! Я бы немножко и поиграл-то. Право, возьмите!

— Нет, это неудобно! Впрочем я спрошу, товарищей. Только едва ли они согласятся...

Дина Штерн ушла на сцену, а Карамазов притаился у выходной двери и замер...

— Вот, господа, — сказала нерешительно Дина.— Тут один человечек просится поиграть старого студента. Можно его выпустить сюда?

— Какой там еще старый студент? Какой человечек? — поморщился Стамескин. — Ну, его!

— В компанию просится. Поиграть.

— Не надо! Какая же это студенческая пьеса — со стариком!

Стоявший за дверью Карамазов, решил, что пора начать действовать. Он выскользнул на сцену и, с какой-то наигранной наглой робостью, попросил:

— Примите меня к себе! Возьмите меня к себе!

Нависло тяжелое, неловкое молчание... Очевидно было, что помощник режиссера не доглядел за стариком, — тот и выскочил на сцену.

— Э, черрт, — проскрежетали актеры. — Такая хорошая пьеса налаживалась и —на́ тебе! Выскочил! Его только и не хватало...

Пришлось играть с Карамазовым.

Он путался, рассказывал скучные противные истории и только мешал всем.

Ненужный старик (г. Карамазов)

Зрители сразу догадались, что дело неладно, что вышло какое-то недоразумение — и перестали обращать внимание на старика, на это досадное пятно на общем ярком бешено-веселом фоне. Зрители с восторгом принимали Онуфрия и Блохина и Козлова— прекрасную здоровую молодежь и искренно смеялись их шуточкам. Но старик не дремал... Он ввязывался, начинал всякий пустяк разжевывать, размазывать и так замораживал актеров, что те в третьем акте убежали от него.

Курсистка Лиля (г-жа Климова)

Только в четвертом акте мелкозавистливый к успеху товарищей, нечуткий Карамазов понял, что его появление испортило пьесу. Но дьявольское самолюбие взяло свое: он бродил между столами до самого конца, никому не нужный, никем не признаваемый, начинающий уже догадываться, что лучше всего ему уйти, — но не уходил. Пустое желание остаться до конца спектакля на первом месте, захваченном противозаконно, победило в нем рассудок, и он, хотя и пообещал уйти в акциз, но не ушел в акциз, а лег на груду шинелей и заплакал...

Мелкие ничтожные слезы лишнего, завистливого человека, ввязавшегося по недосмотру режиссера в пьесу! Копеечное горе человека, поздно понявшего, что лучше бы ему сидеть за кулисами, держа седой парик в руках или подмышкой...

Кто его пожалеет?

Воображаю, как его ругали участники пьесы после спектакля! Вот-то досталось...

НОВЫЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

«Весеннее безумие» пьеса в 4 действиях и 8 карт. Осипа Дымова. Шаржи Ре-Ми.

Надо сказать правду: петербуржцы этой пьесы не поняли. Типичные высушенные в теплице люди, с маринованным мозгом, с губами, еще за пять минут до начала пьесы сложенными скептически — они ни в каком случае не могли понять этой ультрапровинциальной пьесы.

г. Бережной (представитель золотой молодежи)

Хорошая, ласковая, теплая пьеса.

Когда эта пьеса попадет в провинцию, и ее придут смотреть хорошие русские провинциальные девушки — вот кто поймет ее и, вероятно, вдоволь поплачет. Будут плакать все голубоглазые русоголовые Наты, Тани, Кати и Маруси, себя жалеючи, себя в этой печальной пьесе увидев и поняв всю безысходность своего сурового железного замкнутого круга.

А петербуржец этой пьесе не поверит. Где это виданы такие глупые экзальтированные девушки, сразу отдающие все лучшее пошлейшему ходульному гастролеру? Где виданы такие гастролеры, такие жалкие мелкие актерики — театральная «шпанка» — такие вульгарные наглые актрисы? Такие представители золотой молодежи с касками на голове?

Наты, Тани, Кати и Маруси! Вам посвятил автор эту пьесу, и вы ее поймете — все, простые, еще не отдавшиеся бурному весеннему безумию или уже скомканные им.

* * *

В провинции эта теплая несложная драма вызовет теплые слезы; в Петербурге она вызывает в некоторых местах смех.

Это, конечно, можно поставить в заслугу не автору, а публике. Петербургская публика, столичный театральный зритель — совершенно особенный. Растрогать его невозможно, но рассмешить можно, даже не желая этого.

Скептически поджав губы, петербуржец холодно и молчаливо следит за развитием и нарастанием драмы. Он, как будто, притаился, будто выжидает. Чего? Униженная одинокая, выгнанная отцом Ната приходит ночью к суровому старику и долго стучит в глухое окно, и плачет, и тоскует. Мрачно, холодно разглядывает ее петербуржец. Показывается отец...

— Почему ты меня не пускаешь, отец? — спрашивает Ната. — Чем я виновата? Ты неумный, отец.

— Ха-ха-ха! — раскатывается неожиданно притаившийся петербуржец.

Он подстерег. Выхватил из целого маленькую фразу и доволен. Выждал-таки. Смеется, каналья:

— Ах, и веселый же автор! И откуда что у него берется?..

Иногда петербургский зритель решает, что ему нужно закашляться. Дома он почти никогда не кашляет. На улице тоже. В гостях тоже.

Но театр располагает к кашлю. Это единственное место, где зритель может отвести свою душеньку и вдоволь накашляться. При этом неинтеллигентный зритель

кашляет даже в то время, когда актеры говорят. Интеллигентный — не такой. Он подождет мимической сцены. Например: «он» узнает об «ее» измене. Молчание... Страдает. Вся игра сосредоточивается в лице, в мимике.

Вот в это время интеллигентная половина театра и кашляет.

* * *

Петербургская критика, за исключением. Влад. Азова, отнеслась к пьесе отрицательно. Ей непонятен этот густой, пряный аромат подлинной провинции, эти грубые комья развороченного чернозема и эта милая нежность...

Некоторые критики не поняли нарочитой упрощенности, заранее обдуманного примитива сюжета.

«Омега» в «Петерб. Газете» пишет так:

— К чему все это? Мало ли есть провинциальных городов? Мало ли девушек влюбляются в актеров, а потом, покинутые ими, кончают жизнь с помощью яда. Что ж тут особенного? Так из-за этого и пьесу писать нужно?

Таким приемом можно и «Ревизора» разнести:

— К чему все это? Мало ли провинциальных чиновников мошенничают и берут взятки? Мало ли есть проходимцев, которые обманывают их? Что тут особенного? А автор-то обрадовался и схватился писать пьесу... Эх, вы! Велосипедисты!

Г-жа Садовская (Ната)

* * *

Прекрасный мягкий задушевный талант Садовской весенним лучом осветил все уголки бедной провинциальной драмы. Без эффектных жестов, без театральных поз, убедительно и просто ведет Садовская свою Нату к неизбежному концу и умирает так же просто — без трюков и поз — как жила... Молодостью, здоровьем веяло со сцены до последнего акта...

Сильный безудержный аромат весны разливался по откосу железнодорожного пути, освещенный круглой печальной луной, освященный заигранным печальным вальсом из городского сада.

Зло, ядовито сыграл Карамазов актера. Много им нужно было мужества: ему и умной артистке Юрьевой, — чтобы так осветить и объяснить души своих братьев по искусству. Радостно-глуп был представитель золотой молодежи (г. Бережной).

Но публика и ему не поверила:

— Не бывают такие.

И даже чудесные декорации Судейкина почему-то не были замечены...

Если бы уменьшить петербуржцу печень, перекрасить ему лицо из желтого цвета в розовый, излечить от мучительного театрального кашля, встряхнуть его, хорошенько выбить набившуюся в этот старый простуженный ковер пыль — «Весеннее безумие» понравилось бы ему, и — розовый, с нормальной печенью — простил бы он недостатки пьесы за достоинства, за свежий гимн бунтующей чудесной молодости, — который так дорог каждому молодому, некашляющему.

ПАЛАС-ТЕАТР

«Птички певчие» оперетта в 3 д., муз. Оффенбаха, в инсценировке и постановке Ю. Беляева

Стою я сейчас с пером в руке перед делом неизъяснимой, неслыханной трудности: нужно похвалить оперетку, поставленную Юрием Беляевым и разыгранную артистами Палас-Театра.

Нужно похвалить оперетку...

Шувалова — Перикола

А как я ее похвалю, когда у меня и красок-то нет таких, на моей палитре; когда за пять лет журнальной работы я уже привык при всяком удобном и неудобном случае ругать оперетку, унижать оперетку, издеваться над ней, когда весь хороший тон «рецензента со вкусом» удерживает меня от обязанности похвалить оперетку.

Так раньше хорошо было, уютно, так уже все пригрелись на этой теплой лежанке: режиссеры ставили оперетки, актеры играли оперетки, а мы ругали оперетки.

Удобно было: «Ах, писать об оперетке? Да извольте. Которая тут оперетка? Вот эта? Вот я ее.». Вскочишь, как колесо в уютную, выдавленную в упругой глине колею, и завертишься... С таким смаком. И уж ты ее, оперетку эту, и так ругаешь, и этак... И то, дескать, не хорошо, и это глупо, и хор, и то и се, и танцы и манцы[1] — крик, шум, веселый грохот.

Странно как-то хвалить оперетку. Писал-писал, как все люди, слева направо, строку за строкой, сверху вниз, а тут бери без репетиции, без подготовки перо и начинай снизу вверху справа налево.

* * *

Варламова — сестрица

На сцене все сделано так, чтобы ласкать глаз и ухо. Прежде также стремились к этому, но нехорошо стремились, грубо: ухо ласкали так, что оно краснело, а глаз ласкали бутылкой или медным подсвечником — такое оставалось впечатление от «пышных» постановок.

У Беляева много настоящего вкуса, такта и умения не пересолить. В его постановке чувствуется какая-то аристократичность, изысканность. Он во многом вольничает, он «выдумщик», но ему без борьбы хочется верить. И не трудно.

Первый акт (на этом, кажется, сошлись все) — великолепен. Второй тоже нравится своей солнечностью,

[1] Слово «манцы» тут поставлено вовсе не в качестве красивой рифмы к слову «танцы», нет! В оперетках, кроме игры и танцев, есть еще такое, чего никто не поймет, в чем никто не разберется. Это и есть манцы.

пышным праздником яркого дневного света; гирлянда красивых пестрых платьев на фоне свежей зелени радует глаз. Хорош также эпилог «Отлет птичек певчих».

Обе «птички» очень выгодно выделялись на красочном фоне в стильной раме беляевской постановки.

Шувалова показала большое чутье и подошла к роли с совершенно «свежей», незаигранной стороны. Изящная, поэтичная, голосистая в последних актах — в первом акте она так провела сцену опьянения, что даже зрители почувствовали легкое головокружение. Все и вся на сцене пошатывалось, спотыкалось, объятое винными парами, и над всеми царила опьяневшая веселая Перикола, будто невидимо дирижируя этой шумной пьяной вакханалией. Полагаю, что Беляев доволен своей Периколой, как он должен быть доволен и Пикилло-Феона — умным чутким актером.

Ростовцев ловит Пикилло

Нотариус (Валерский) и граф (Коржевский)

Я читал рецензии петербургских газет о «Птичках»... С Шуваловой поступили по заслугам: она играла и пела очень хорошо — ее похвалили ; с Феона поступили не по заслугам: он играл и пел хорошо — его обругали.

Думаю, что этого актера еще не разглядели. Он головой выше многих, о которых пишут, захлебываясь. Молодого актера, если он талантлив, нужно выдвинуть. Но наша пресса выдвигает талантливого актера своеобразно — из театра. Помню, я видел Феона в какой-то глупой (эх, наконец-то можно выругаться!) оперетке «Гарденштейнские уланы». Конец второго акта, где артист, опозоренный, униженный, пускается в истерический пляс — дал зрителю истинное художественное наслаждение. И я помню это до сих пор.

Феона — Пикилло

Заслуживают доброго слова нотариусы, Валерский и Мартыненко. Шаржированная, но интересная игра и замечательные по художественности гримы. Впрочем, последнее тоже от Беляева.

Ростовцев необычайно пластичен в некоторых движениях и позах. Смешит Варламова.

Одно только шокировало: в первом акте по сцене бродит Маска с надписью на спине: «Палас-Театр»...

Не боялась ли дирекция, что без этой этикетки публика подумает, что она сидит в Мариинском театре?

Ростовцев — полицеймейстер

Или дирекция решила ввести эту «марку» в каждой картине, по примеру братьев Пате, ставящих в углу каждой картины своего знаменитого петуха.

Можно было бы сказать, что мне понравился «Пролог», но так как он написан сотрудником «Нов. Сатирикона» Потемкиным, то не знаю — удобно ли это?

Вадимов — губернатор

Эти Сатириконцы всюду проникают — скоро ни о чем нельзя будет написать, не наткнувшись на Сатириконца. Прямо беда.

ЦИРК ЧИНИЗЕЛЛИ

Только в цирковой программе можно встретить такие удивительные номера, которые свежего человека должны поставить в тупик...

Например:

Комик-малабарист; исполнит меланж-акт.

Антиподист.

Верховой акт (?) исп. m-lle Тереза.

Танц-комик-пародист, акробатический акт — трансформасьон.

А так как жизнь не стоит на одном месте, а мчится вперед, как угорелая, то вслед за ней должны нестись, сломя голову, и все эти малабаристы, антиподисты и танц-комики-трансформасьоны...

В прежнее время удивить простоватого зрителя было легко: станет человек на голову, возьмет в руки гармошку, сыграет вальс — зритель уже в восторге, зритель уже аплодирует.

— Экий ведь черт, гораздый! — вопит он. — Даст же Бог...

Теперь не то. Нас ничем не удивишь. Все мы сотни раз видали разные чертовы петли, прыжки в яму с 30-саженной высоты и глотание человеком живых лягушек-саламандр.

Трудно нас удивить.

И вот все эти малабаристы-антиподисты стараются наперегонку выкинуть что-либо такое, что вызвало бы у современного пресыщенного зрителя приятное для слуха восклицание:

— Экий ведь черт гораздый! Даст же Бог!

Теперь не штука стать головой на плоском безопасном полу. Я видел летом в «Аквариуме» человека, который поставил целью своей жизни придумывать для себя наиболее неудобные положения: он ставил посредине сцены стол, на стол лам-

пу, на лампу — скамейку ножками вверх, на скамейку — своего старшего брата, на старшего брата — сигарную коробку, на сигарную коробку десятикопеечную марку, на марку телефонный аппарат системы Эриксона, на аппарат становился сам головой вниз — и в таком положении имел еще силы разговаривать с братом по телефону на местные злободневные темы.

Почти то же самое привелось мне видеть в цирке Чинизелли.

Два брата «гладиаторы-антиподисты» устроили следующее: к потолку привязали трапецию; один из братьев зацепился за нее ногами и повис головой вниз, держа в зубах небольшую штучку с петлей; за штучку зацепился одной рукой брат, взяв, в свою очередь, в зубы нечто вроде карусели. На эту карусель сели два цирковых служителя и закружились с самыми веселыми лицами.

В третьем ряду послышались сдавленные рыдания: это плакали два зубных врача, понявшие, что «антиподисты», как пациенты, потеряны для них навсегда.

Да! Жестоко иногда шутит жизнь над людьми.

* * *

Публика идет смотреть, главным образом, не антиподистов, а укротителя Генриксена с его двадцатью тиграми.

Повышенный интерес к этому номеру объясняется просто: при двух-трех тиграх укротитель едва ли рискует многим, и публика, конечно, равнодушна к такому номеру. А двадцать тигров — это уже темная лотерея: авось какой-нибудь из двадцати и слопает укротителя.

Впрочем, в этом смысле публика была почти на 50% разочарована: в клетке были не все 20 тигров сразу, а поочередно 9 и 11.

— Это не штука, — проворчал какой-то скептик из публики. — Укрощение в рассрочку. Тогда и я могу объявить, что поднимаю одной рукой 20 пудов... Подниму сначала 3 пуда, потом еще 3 — и так далее.

Впрочем, этот скептик — едва только вывезли ящики с тиграми — пересел в четвертый ряд.

— Там меньше дует из конюшни, — объяснил он.

Дрессированы тигры, нужно сознаться, удивительно: укротитель так на них орал, так стрелял из револьвера, так бил их железным прутом по морде, что доведись перенести такое обращение мирной корове — то и она бы взбесилась и растерзала укротителя.

МОСКОВСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР

«Смерть Пазухина». комедия в 4 действиях, М. Е. Салтыкова-Щедрина

Нет ничего смешнее и печальнее положения человека, который, предполагая дверь, в которую он хочет ворваться, закрытой, наваливается на нее всей тяжестью и вдруг влетает в следующую комнату с широко открытым ртом, выпученными глазами, еле сохраняя равновесие, а то иной раз и шлепнувшись ладонями и коленками об пол.

Анна Петровна Живоедова —г-жа Бутова

Дверь не была заперта.

В точно такой позе очутилась и петроградская критика со вторым спектаклем Художественного театра.

Можно себе представить рецензента, едущего на этот спектакль.

Ехал он спокойно, потому что взаимоотношения его с Художественным театром уложились в некий уютный шаблон; появился некий строгий ритм: художественники ставят пьесы, я их ругаю. У всякого своя профессия, и палач такой же винтик в общественно-бытовой машине, как и профессор консерватории.

В прошлом году мы описывали рецензента, собирающегося «ехать ругать москвичей»; в этом году рецензент остался таким же. Только что на год постарел.

И с такими же чувствами собирался он в театр, как и в прошлом году.

Ритм, ритм...

Когда рецензент дома перед зеркалом как и в прошлом году, с мучительной гримасой пытался вздеть петлю воротника на запонку, жена спросила его:

— Куда ты едешь?

— В Художественный театр.

— Ругать будешь?

— Ну, а что же? Ясно, кажется, тебе говорю: в Художественный театр.

— А если хорошо будет?

— Где? В Художественном-то театре? Скажешь ты тоже. Точно маленькая.

Тут же рецензент тихо, но мучительно (как и в прошлом году) застонал: петля воротника никак не попадала на запонку.

— Руки тут ломаешь из-за вас, чертей, — с искаженным бешенством лицом проворчал рецензент. — Писать о вас нужно? Вот я о вас напишу!

Сидя в пролетке, как и в прошлом году, рецензент, томимый скукой, между прочим, сообщил и извозчику:

— А я, брат, к москвичам еду. Ругать их буду.

— Коли за дело, то что ж... — задумчиво отвечал извозчик. — Коли так, то господи благослови.

— Я их, брат извозчик, разнесу во как. Они у меня узнают.

— Это точно что. Народ теперь дюже балованный. Чуть что, прямо — ни тебе спокойства, ни тебе приятства.

Прокофий Иванович — г-н Москвин

— Об этом уж что говорить! Распотрошим так, что и дорогу в Петроград забудут.

Раздеваясь у театрального вешальщика, рецензент с ядовитой улыбкой осведомился:

— Играют? Наши-то.

— Так точно. Будут играть.

— Воображаю. А я ведь, братец ты мой, их ругать буду.

— Да уж это иначе как же, — хладнокровно согласился вешальщик. — Такое уж заведение.

— Точно что. Такой порядок.

— Линия уж, как говорится, такая.

— Н-да-с. Курс взят, если можно так выразиться. И о позапрошлом годе их ругали, и о прошлом годе их ругали, и в этом году за пушкинский спектакль семь шкур спустили. Потому — чувствуй, собака, куда приехал.

— Номерочек от платья извольте.

— Что? Номерочек? И номерочек твой, брат, дрянь. Никакого в нем вида. Все у вас скверно, все отвратительно.

* * *

Дверь казалась закрытой.

Ринулся в нее рецензент, обрушился всем своим грешным телом — грудью, плечами, руками — и влетел с выпученными от неожиданности глазами в чудесную, пышную комнату, полную народу.

— Что это вы, батенька? Так ведь и расшибиться можно.

— Кто ж его знал. Думал, что спектакль дрянь преестественная, а оно оказывается — ничего... Как следует спектакль.

Андрей Николаевич Лобастов — г-н Лужский

Плохо чувствует себя человек, когда ритм его жизни нарушен.

* * *

Нормально ли это? Двадцать пять человек исключительно талантливых, исключительно даровитых, целый год — год огромного творческого напряжения — готовятся к своему священному празднику — к спектаклю. Когда все готово, приезжает один, только один, человек — обыкновенно, совсем не талантливый, совсем не даровитый — и, посидев три-четыре часа в уютном кресле, встает, вынимает из кармана карандаш, бумагу, пишет карандашом на бумаге слово «Дрянь», и со спокойной совестью уезжает в ресторан ужинать.

Наутро слово «дрянь», отпечатанное в десятках тысячах экземпляров, разносится по всему свету, люди разворачивают свежий газетный лист, читают слово «дрянь» и тут же думают про себя: «Эге! Действитель-

Живковский — г-н Массалитинов

но, значит, дрянь, если об этом говорит пресса, шестая или седьмая держава, — черт их там разберет».

* * *

«Смертью Пазухина» Художественный театр еще раз показал, какие широкие, большие возможности он в себе таит.

Взялись люди за обыкновенную бытовую пьесу и сыграли ее по-обыкновенному, по-бытовому.

Большое это искусство — не перемудрить.

И удержаться от соблазна — большое мужество. Кроме того, большое мужество нашел в себе театр — провести всю пьесу с довольно определенным налетом шаржа. Это спасло спектакль от скуки, от тягучести. Шарж иногда мало заметная, но необходимая приправа. Когда соль есть в супе, этого никто не замечает; когда соли нет — противно проглотить даже ложку супа.

Из общего хорошего ансамбля декораций, костюмов и игры, все-таки на голову выдавались двое: Москвин (сын Пазухина) и г-жа Шевченко (жена Фурначева, дочь Пазухина). Такой славной, сочной, живой кистью нарисовали оба — кряжистого, расчетливого лавочника и глупую, скучающую самку, великолепную в своей самодовольной, величественной глупости...

* * *

Страшная пьеса — «Смерть Пазухина».

Мы-то, русские, можем смотреть щедринскую пьесу. Нам ничего. Не такое еще переваривали.

Да и мало ли что можно насказать и сделать у себя дома, в своем семействе, при закрытых дверях.

Но иностранцу я ни за что бы не показал этой пьесы. Ибо после лицезрения этой пьесы такое возымеет иностранец мнение о русских людях и о русской жизни, что пойти нужно после этого русскому человеку и повеситься от стыда на русской осине.

Сем. Семен. Фурначев — г-н Грибунин

Впрочем, не так страшен черт, как его малюют.

В стотысячной толпе, конечно, есть с десяток больных какой-нибудь ужасной болезнью, или злодеев, или нестерпимых дураков. Разбавленный стотысячной толпой, этот десяток незаметен. Но в паноптикумах основателем его стотысячная толпа презрительно отбрасывается, а выбираются с исключительной любовью только злодеи, больные ужасными болезнями и знаменитые дураки.

«Смерть Пазухина» — тщательно оборудованный паноптикум, из которого хочется скорее выскочить на чистый воздух, к обыкновенной русской стотысячной толпе...

ТЕАТР «ЛУНА-ПАРК»

«Мессалинетта». — Оперетта в 3 действ. В. Голлендера.

Бродил как-то А. А. Брянский по кладбищу... Тихо было, только птички где-то печально чирикали в ветвях склоненных ив, да кузнечик монотонно потрескивал у чьей-то могильной плиты.

Тихо и печально было и у Брянского на душе.

Остановился он у ограды одной могилы и подумал меланхолически:

— Вот так-то и мы: живем, живем и помрем. А к чему все? Тлен и суета.

Виконт Поликрат (г. Монахов)

И тут же взор его остановился на надписи, высеченной на лежавшей перед ним могильной плите.

«Под сим камнем тихо лежит безвременно скончавшаяся оперетка «Максимисты»... Жизни же ее было всего нисколько представлений, потому что ни глубиной, ни остроумием покойница не отличалась...

Вечный вам покой «Максимисты»,
Не оправдали вы наших надежд,
Пусть шелестят над вами древесные листы
И сияет равнодушная твердь.

Да, да, да, —
Все в жизни ерунда,
Лишь любим мы вино,
Замена счастия оно.
Ура, ура, ура —
Да здравствует танго!»

Судя по стиху и ритму эта надгробная надпись была сочинена переводчиком оперетки И. Яроном.

И свесил голову опечаленный Брянский.

Маркиз Харакири (г. Кошевский)

— Вот она жизнь-то опереточная. И годочка не пожила покойница... Пожалуй, никто из петроградцев и не знал ее толком.

Однако ж, точно ли она умерла окончательно? Ведь бывают же мнимо умершие... Я еще где-то об этом в газетах читал. А что ежели ее откопать, да тово ... Сошьем ей новый костюмчик, припудрим. Эх-ма! Раззудись плечо, размахнись рука!

Поплевал повеселевший Брянский на руки, взял лопату и стал бодро откапывать покойницу.

...Отскочила крышка гроба, и глянуло на Брянского синее мертвое лицо с облезшими волосами и желтыми губами, прилипшими к оскаленным зубам.

— Смеешься, подлая — весело подумал Брянский и извлек ее на свет Божий.

* * *

— Вот, господа, — сказал Брянский, явившись в театр со своей находкой. — Новую оперетточку откопал. Гвоздь!

— Странно только, — удивился Монахов, — что от этого гвоздя могилкой пахнет.

— А мы одеколоном спрыснем.

— И лицо у нее того...Одна щечка, кажется, отвалилась.

— Приклеим!

Кошевский игриво взял покойницу за рукав — кусок материи остался у него в руках.

— Вишь ты, — заметил он, — гнилье какое.

— Платьице новое справим, глазки подведем, щечки порумяним.

— Да ведь тощища будет, — скривился Монахов. — Ведь она ни рукой, ни ногой пошевелить не может.

— Пружинку внутрь ей вгоним. Тощища! Да вы-то на что, господа? Вы и должны развеселить!

Шувалова поджала розовые губки.

— Фи! Покойницу на сцену притащили.

Русский (г. Юрьевский)

— Ничего, матушка... Сыграешь. Это тебе не «Птички певчие». Ну, господа, разбирайте роли!

Приложив к носам надушенные платки, стали актеры разбирать желтые полуистлевшие тетрадки.

* * *

Конечно, сыграли и «Мессалинетту».

Оно, впрочем, и неудивительно. Компания — Монахова, Кошевского, Вавича, Шуваловой — такова, что подсунь им статью Тотомианца «Кооперации на западе» — они и «Кооперации на западе» сыграют.

Сыграли и «Мессалинетту». А что толку? Брянский щегольнул постановкой, обстановкой, перестановкой, показал черта в ступе ошеломив секундной переменой какого-то цветного дворца на белый кружевной, — а что толку?

Лучше бы сыграли живую оперетту, а не дохлую.

Раз в наличности есть Брянский, Монахов, Кошевский, Шувалова — надо дать материал для постановки и игры настоящей.

Конечно, можно угрозами заставить министра путей сообщения исполнять обязанности стрелочника... А зачем? Работы на 30 рублей, а ею занимают способного человека с окладом в 20 тысяч.

Арабские лошади, конечно, могут возить воду — но не вызовет ли такой поступок владельца сих лошадей всеобщее недоумение?

И вот в отчетном спектакле арабским лошадям пришлось в течение трех актов возить воду.

Мессалинетта (г-жа Шувалова)

Что это за оперетка? Ни смысла, ни остроумия, кроме тех отсебятин, которые подсыпал от себя каждый актер, скрашивая разложившееся лицо покойницы.

Монахову и Кошевскому это удавалось, а когда начинал острить Юрьевский, мороз продирал по коже и волосы тихо шевелились на голове.

— Я испытываю нечто вроде тоски, — говорит Монахов.

— Так-с; вроде Володи? — острит Юрьевский.

Жутко.

Еще у Кошевского была кое-какая роль (бедный Кошевский! Вам приходится играть этого дурацкого маркиза Харакири после созданного вами благородного, прекрасного образа японца в «Даме в красном»), а на Монахова и Шувалову жаль было смотреть: трудно таскать на руках разложившийся труп и заставлять его делать игривые телодвижения.

Как играли? Об арабской лошади можно писать тогда, когда она вихрем мчится, поставив трубою хвост; а если она везет бочку испорченной воды — что о ней писать? Везет себе, бедняга, и везет.

Правда, когда на сцене появились Монахов и Шувалова, — публика оживлялась... Но ведь здесь оперетта ни причем.

Если Монахов и Шувалова будут идти за гробом в похоронной процессии — все равно будет весело.

Сцена обольщения

«АПОЛЛО»

Петербургское кафе-трущоба Шарля Тюрина.

Чтобы все было кань в парижских, хороших «домах» этого сорта...

Так хотят. Страстно хотят.

Но — этого не могут.

Мы скучны. У нас даже разгул носит похоронный характер. Вымазать лакею физиономию провансалем!.. Запустить бутылкой Ау в зеркало. Накормить рояль блинами. Вылить девице из дома Тюрина стакан пива за корсет.

И все это нудно, тоскливо.

Зевая бьют зеркала, зевая развратничают...

Настроение перебрасывается за рампу, и все эти шикарные оголенные народы исполняют навязшие в зубах «номера» механически, как автоматы паноптикума.

Известно, что при слове «экстаз» исполнительница обязательно ущемляет руками юбку и энергично сотрясает бедрами.

«Муж» всегда сопровождается иллюстрацией рогов, с помощью пальцев, а кузен — псевдолукавой улыбкой.

Тоска.

«Домового ли хоронят, ведьму ль замуж выдают?»

Задний ряд стульев занят молодежью в ярких галстуках с подозрительно роскошными бриллиантами. Они, очевидно, впервые, робеют, но графин-другой «челышевки» в антракте развязывает языки.

— Они что ж — поденно получают?

— Поштучно... От песни. Харч само собой — хозяйский.

— Толкуй там, — возражают ему. — Значит, в цирке наездница от версты получает.

— Само собой. А атлет от пуда.

Компания хохочет.

Внимание мое отвлекает торговый человек мамонтового типа, с трудом протискивающийся между креслами. Ему тяжело, он толст и пьян. Больше, впрочем, пьян, чем толст. Лицо, очевидно, почетное, потому что сопровождаем привратником, щедро обшитым галунами.

— Программку... прикажете?

— К ччерту! У меня вот есть...

— Ваше сиятельство, да это беговая! С бегов ведь вы прибыли!

— Беговая? Ну черт с ней... Давай свою. Постой! А кто мне отметки сделает?

— Какие прикажете?

— Да вот на программе... Там мне жокеи делали... На фаворитов, которые в шансах. У вас этого заведения нет?

— Ах, рекомендации.. Обратитесь к распорядителю.

Швейцар фамильярно подмигивает, и добавляет.

— У нас все в шансах.

На сцене появляется массивная жирная немка — живая реклама прославленного «Геркулеса».

— Господин, — обращается купец к соседу. — Эта сорокалетка каким номером скачет?

Тот улыбается.

— Шестым. Вы с бегов!

— С них.

Следующая певица, по афише M-lle Долишаль, обладает лошадиным лицом и это опять, по-видимому, наводит купца на беговые мысли:

— Породистая, шельма. От кого она?

Сосед хохочет.

— От «Дочери Нана» и «Сутенера» конюшни Мулен-Руж.

Публика все чаще поглядывает на часы.

На сцене появляются дуэтисты Тельмас. Молодые люди заднего ряда относятся к ним отрицательно.

— Старушка! А у него фрак с чужого плеча. Немцы второсортные... Фрачишко с Апраксина.

— А-а-а! — откровенно зевает кто-то.

— Кончали бы уж. Им же лучше... Водки больше выдуют.

Занавес опускается. Общее ликование.

Все устремляются к столикам.

Ко мне подсаживается девица неизвестного возраста, неизвестной национальности, неизвестного амплуа и заявляет свои права на существование.

— Я хочу есть.

Нечего делать. Надо спасать от голодной смерти.

Она съедает салат из омаров, цыпленка моренго, бифштекс и омлет.

— Я еще хочу осетрины.

— Неужели ты не сыта?!

— Милый мой, по пункту девятому моего контракта с антрепренером я не имею права быть сытой.

И в глазах тоска прижатой к стене женщины.

Потом она переходит к очередным делам. Лжет страшно.

— Вчера я с офицерами на Крестовский ездила. Триста рублей там оставили... Мне сто на кофточку дали. Студенты были. Ты студента Колю знаешь?

— Как же. Приятели.

Она оживляется.

— Что это его не видно?

— Его перерезало трамваем! — наобум сообщаю я.

— Серьезно? Вот бедный! Угости бенедиктином.

Мы справляем поминки по мифическом студенте Коле и я, расплатившись, ухожу с тяжелой головой, но легким и пустым, как касса союзников, карманом.

ОПЕРА А. Р. АКСАРИНА «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ»

(Опера в 4-х действиях, муз. А. Т. Гречанинова.)

Та самая крыса, которая однажды выбежала на сцену Народного дома в Борисе Годунове» и, сделав несколько туров перед глазами изумленной публики, медленно вперевалку ушла за кулисы — эта самая крыса была теперь удивлена больше всех.

— Сколько лет живу в Народном доме — не слыхала, чтобы за кулисами и на сцене стоял такой странный запах, — жаловалась она подруге.

Подруга — старое, облезшее, умудренное опытом существо, — пожимала плечами и равнодушно отвечала:

— Что же тут удивительного: это пахнет новыми декорациями. Сегодня премьера.

— Не знаю. Не пробовала. Вкусно?

— Премьера? С моей точки зрения — не особенно. А новые декорации — сказать правду, не помню, какой и вкус у них. Я ведь здесь всего пять лет.

— Да... — вздохнула первая крыса, свесив голову. — Много за это время воды утекло. Я успела съесть всю правую сторону декорации второго акта «Аиды», ты объела «Пиковую даму» так, что одни клочья висят... А теперь вот — новое все... Краской свежей пахнет. Гм ... Декорации. Кто писал-то?

Настасья Микулишна (Г-жа Негина)

— Эвенбах.

— Не знаю. Не ела.

Помолчали, убитые.

— Да... грустно. Если так будет продолжаться, придется переходить в Мариинский театр: тихо, уютно и новыми постановками не обеспокоят.

Та, что помоложе, подошла к свежей декорации, откусила кусочек, пожевала — сплюнула.

— Ну, и пишут теперь — в рот взять нельзя.

— А что?

— Слабо.

* * *

Об опере Гречанинова, можно сказать, что она очень музыкальна. В ней:

То флейта слышится,
То будто фортепьяно...

То Римский-Корсаков, то Глинка, то Бородин...

В третьем ряду слева жена громким язвительным шепотом укоряла мужа:

— Зачем ты меня привел сюда? Ведь знаешь, кажется, что я Римского не перевариваю.

— Мамочка, да это не Римский!

— Не Римский... Оно и Бородин тоже, если вдумаешься... Я, вообще, признаю только французов и итальянцев.

— Друг мой, но это и не Бородин!

— Не Бородин?! Ну, хорошо. А ты думаешь, что я Глинки не слышу? Ты думаешь, Глинка не такой же Бородин, как Римский-Корсаков?..

— Мамочка — Гречанинов это!

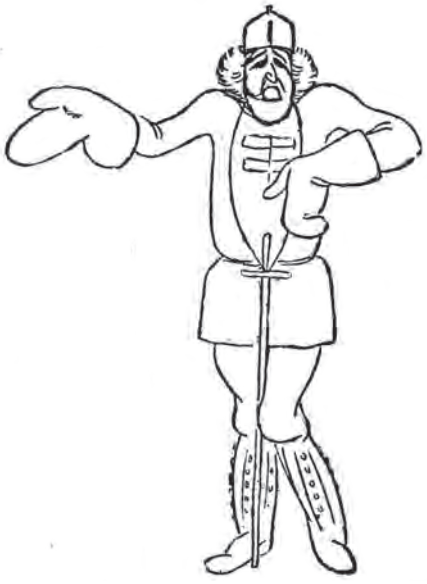
Дама притихла и, как крыса в вопросе о декорации, неуверенно прошептала:

— Не знаю. Не пробовала.

Алеша Попович (г-н Мосин)

* * *

В постановке есть некоторые странности. В сцене обольщения чародейкой Мариной Добрыни эта пара преуютно забралась на диван в глубине сцены, а в это время на сцену выбежало душ сорок танцовщиц, и вся компания пустилась на первом плане в такой оживленный пляс, что на Марину и Добрыню публика перестала обращать внимание.



Добрыня Никитич (г-н Пирогов)

Впрочем, влюбленным это ведь только и нужно.

О танцах в этой опере можно отозваться только положительным образом: танцевали очень долго.

Прекрасно пел Мосин (Алеша Попович). Очень живописной красивой музыкальной Мариной была г-жа Петренко. Петь ей пришлось мало. Пирогов — новая потеря Мариинского театра и новое приобретение Аксарина. Его Добрыня суховат и скучноват, но грех тут лежит больше на композиторе, чем на певце. Певец был всюду на своем месте, кроме одного случая: когда он взобрался на лошадь и проехался по сцене. Не его это, Добрыни, специальность. Да и лошадь выпущена Аксариным на сцену единственно от щедрости.

А можно было бы и без нее...

* * *

Декорации не все хороши. Первый акт досадно напоминал псевдорусский ларец из кустарного магазина, а декорация второго акта была так плоха, что даже публика аплодировала. Зато очень приятна декорация третьей картины — хоромы Марины. Это — лучшее в постановке.

Перемена третьей картины на четвертую произошла очень просто: вышел простой русский человек в фуражке и, пользуясь полутьмой, вытянул из-за кулис за ручку высокие горы. Если и говорят, что вера двигает горами, то только — вера в то, что публика слепа. А публика, наоборот, все видела и уже не верила, что горы настоящие. Так нельзя.

* * *

Автора вызывали так часто, будто хотели отвлечь его от работы над другой оперой.

АРКАДІЙ АВЕРЧЕНКО.

ДЮЖИНА НОЖЕЙ ВЪ СПИНУ РЕВОЛЮЦІИ

ПАРИЖЪ
1921

Аркадій Аверченко.

(Шаржъ М. С. Линскаго).

Впервые — Париж, 1921.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Может быть, прочтя заглавие этой книги, какой-нибудь сердобольный читатель, не разобрав дела, сразу и раскудахчется, как курица:

— Ах, ах! Какой бессердечный, жестоковыйный молодой человек — этот Аркадий Аверченко!! Взял да и воткнул в спину революции ножик, да и не один, а целых двенадцать!

Поступок — что и говорить — жестокий, но давайте любовно и вдумчиво разберемся в нем.

Прежде всего, спросим себя, положив руку на сердце:

— Да есть ли у нас сейчас революция?..

Разве та гниль, глупость, дрянь, копоть и мрак, что происходит сейчас, — разве это революция?

Революция — сверкающая прекрасная молния, революция — божественно красивое лицо, озаренное гневом Рока, революция — ослепительно яркая ракета, взлетевшая радугой среди сырого мрака!..

Похоже на эти сверкающие образы то, что сейчас происходит?..

Скажу в защиту революции более того — рождение революции прекрасно, как появление на свет ребенка, его первая бессмысленная улыбка, его первые невнятные слова, трогательно умилительные, когда они произносятся с трудом лепечущим, неуверенным в себе розовым язычком...

Но когда ребенку уже четвертый год, а он торчит в той же колыбельке, когда он четвертый год сосет свою всунутую с самого начала в рот ножку, превратившуюся уже в лапу довольно порядочного размера, когда он четвертый год лепечет те же невнятные, невразумительные слова, вроде: «совнархоз», «уеземельком», «совбур» и «реввоенком» — так это уже не умилительный, ласкающий глаз младенец, а, простите меня, довольно порядочный детина, впавший в тихий идиотизм.

Очень часто, впрочем, этот тихий идиотизм переходит в буйный, и тогда с детиной никакого сладу нет!

Не смешно, а трогательно, когда крохотный младенчик протягивает к огню розовые пальчики, похожие на бутылочки, и лепечет непослушным языком: — Жижа, жижа!.. Дядя, дай жижу...

Но когда в темном переулке встречается лохматый парень с лицом убийцы и, протягивая корявую лапу, бормочет: «А ну, дай, дядя, жижи, прикурить цигарки или скидывай пальто», — простите меня, но умиляться при виде этого младенца я не могу!

Не будем обманывать и себя и других; революция уже кончилась, и кончилась она давно!

Начало ее — светлое, очищающее пламя, средина — зловонный дым и копоть, конец — холодные обгорелые головешки.

Разве мы сейчас не бродим среди давно потухших головешек — без крова и пищи, с глухой досадой и пустотой в душе.

Нужна была России революция?

Конечно, нужна.

Что такое революция? Это — переворот и избавление.

Но когда избавитель перевернуть — перевернул, избавить — избавил, а потом и сам так плотно уселся на ваш загорбок, что снова и еще хуже задыхаетесь вы в предсмертной тоске и судороге голода и собачьего существования, когда и конца-краю не видно этому сиденью на вашем загорбке, то тогда черт с ним и с избавителем этим! Я сам, да, думаю, и вы тоже, если вы не дураки, — готовы ему не только дюжину, а даже целый гросс «ножей в спину».

Правда, сейчас еще есть много людей, которые, подобно плохо выученным попугаям, бормочут только одну фразу:

— Товарищи, защищайте революцию!

Позвольте, да вы ведь сами раньше говорили, что революция — это молния, это гром стихийного Божьего гнева... Как же можно защищать молнию?

Представьте себе человека, который стоял бы посреди омраченного громовыми тучами поля и, растопырив руки, вопил бы:

— Товарищи! Защищайте молнию! Не допускайте, чтобы молния погасла от рук буржуев и контрреволюционеров!!

Вот что говорит мой собрат по перу, знаменитый русский поэт и гражданин К. Бальмонт, мужественно боровшийся в прежнее время, как и я, против уродливостей минувшего царизма.

Вот его буквальные слова о сущности революции и защите ее:

«Революция хороша, когда она сбрасывает гнев. Но не революциями, а эволюцией жив мир. Стройность, порядок — вот что нужно нам, как дыхание, как пища. Внутренняя и внешняя дисциплина и сознание, что единственное понятие, которое сейчас нужно защищать всеми силами, это понятие Родины, которая выше всяких личностей и классов и всяких отдельных задач,— понятие настолько высокое и всеобъемлющее, что в нем тонет все, и нет разнствующих в нем, а только сочувствующие и слитно работающие — купец и крестьянин, рабочий и поэт, солдат и генерал».

«Когда революция переходит в сатанинский вихрь разрушения — тогда правда становится безгласной или превращается в ложь. Толпами овладевает стихийное безумие, подражательное сумасшествие, все слова утрачивают свое содержание и свою убедительность. Если такая беда овладевает народом, он неизбежно возвращается к притче о бесах, вошедших в стадо свиней»...

«Революция есть гроза. Гроза кончается быстро и освежает воздух, и ярче тогда жизнь, красивее цветут цветы. *Но жизни нет там, где грозы происходят беспре-*

рывно. А кто умышленно хочет длить грозу, тот явный враг строительства и благой жизни. И выражение «защищать революцию», должен сказать, мне кажется бессмысленным и жалким. Настоящая гроза не нуждается в защите и подпорках. Уж какая же это гроза, если ее, как старушку, нужно закутывать в ватное одеяло».

Вот как говорит К. Бальмонт... И в одном только он ошибается — сравнивая нашу «выросшую из пеленок» революцию с беспомощной старушкой, которую нужно кутать в ватное одеяло.

Не старушка это,— хорошо бы, коли старушка, — а полупьяный детина с большой дороги, и не вы его будете кутать, а он сам себя закутает вашим же, стащенным с ваших плеч, пальто.

Да еще и ножиком ткнет в бок.

Так такого-то грабителя и разорителя беречь? Защищать?

Да ему не дюжину ножей в спину, а сотню — в дикобраза его превратить, чтобы этот пьяный, ленивый сутенер, вцепившийся в наш загорбок, не мешал нам строить Новую Великую Свободную Россию!

Правильно я говорю, друзья-читатели? А?

И если каждый из вас не бестолковый дурак или не мошенник, которому выгодна вся эта разруха, вся эта «защита революции», — то всяк из вас отдельно и все вместе должны мне грянуть в ответ:

— Правильно!!!

Аркадий Аверченко.

ФОКУС ВЕЛИКОГО КИНО

Отдохнем от жизни.

Помечтаем. Хотите?

Садитесь, пожалуйста, в это мягкое кожаное кресло, в котором тонешь чуть не с головой. Я подброшу в камин угля, а вы закурите эту сигару. Недурной «Боливар», не правда ли? Я люблю, когда в полумраке кабинета, как тигровый глаз, светится огонек сигары. Ну, наполним еще раз наши рюмки темно-золотистым хересом — на бутылочке-то пыли сколько наросло — вековая пыль, благородная,— а теперь слушайте...

* * *

Однажды в кинематографе я видел удивительную картину:

Море. Берег. Высокая этакая отвесная скала, саженей в десять. Вдруг у скалы закипела вода, вынырнула человеческая голова, и вот человек, как гигантский, оттолкнувшийся от земли мяч, взлетел на десять саженей кверху, стал на площадку скалы — совершенно сухой и сотворил крестное знамение так: сначала пальцы его коснулись левого плеча, потом правого, потом груди и, наконец, лба.

Он быстро оделся и пошел прочь от моря, задом наперед, пятясь, как рак. Взмахнул рукой, и окурок папиросы, валявшийся на дороге, подскочил и влез ему в пальцы. Человек стал курить, втягивая в себя дым, рождающийся в воздухе. По мере курения, папироса делалась все больше и больше и, наконец, стала совсем свежей, только что закуренной. Человек приложил к ней спичку, вскочившую ему в руку с земли, вынул коробку спичек, чиркнул загоревшуюся спичку о коробку, отчего спичка погасла, вложил спичку в коробку; папиросу, торчащую во рту, сунул обратно в портсигар, нагнулся — а плевок с земли вскочил ему прямо в рот. И пошел он дальше также задом наперед, пятясь, как рак. Дома сел перед пустой тарелкой и стаканом, вылил изо рта в стакан несколько глотков красного вина и принялся вилкой таскать изо рта куски цыпленка, кладя их обратно на тарелку, где они под ножом срастались в одно целое. Когда цыпленок вышел целиком из его горла, подошел лакей и, взяв тарелку, понес этого цыпленка на кухню — жарить... Повар положил его на сковородку, потом снял

сырого, утыкал перьями, поводил ножом по его горлу, отчего цыпленок ожил и потом весело побежал по двору.

* * *

Не правда ли, вам понятно, в чем тут дело: это обыкновенная фильма, изображающая обыкновенные человеческие поступки, но пущенные в обратную сторону.

Ах, если бы наша жизнь была похожа на послушную кинематографическую ленту!..

Повернул ручку назад — и пошло-поехало...

Передо мной — бумага, покрытая ровными строками этого фельетона. Вдруг — перо пошло в обратную сторону — будто соскабливая написанное, и когда передо мной — чистая бумага, я беру шляпу, палку и, пятясь, выхожу на улицу...

Шуршит лента, разматываясь в обратную сторону.

Вот сентябрь позапрошлого года. Я сажусь в вагон, поезд дает задний ход и мчится в Петербург.

В Петербурге чудеса: с Невского уходят, забирая свои товары — селедочницы, огуречницы, яблочницы и невоюющие солдаты, торгующие папиросами... Большевистские декреты, как шелуха, облетают со стен, и снова стены домов чисты и нарядны. Вот во весь опор примчался на автомобиле задним ходом Александр Федорович Керенский. Вернулся?!

Крути, Митька, живей!

Въехал он в Зимний дворец, а там, глядишь, все новое и новое мелькание ленты: Ленин и Троцкий с компанией вышли, пятясь, из особняка Кшесинской, поехали задом наперед на вокзал, сели в распломбированный вагон, тут же его запломбировали и — укатила вся компания задним ходом в Германию.

А вот совсем приятное зрелище: Керенский задом наперед вылетает из Зимнего дворца — давно пора,— вскакивает на стол и напыщенно говорит рабочим: «Товарищи! Если я вас покину — вы можете убить меня своими руками! До самой смерти я с вами».

Соврал, каналья. Как иногда полезно пустить ленту в обратную сторону!

Быстро промелькнула февральская революция. Забавно видеть, как пулеметные пули вылетали из тел лежащих людей, как влетали они обратно в дуло пулеметов, как вскакивали мертвые и бежали задом наперед, размахивая руками.

Крути, Митька, крути!

Вылетел из царского дворца Распутин и покатил к себе в Тюмень. Лента-то ведь обратная.

Жизнь все дешевле и дешевле... На рынках масса хлеба, мяса и всякого съестного дрязгу.

А вот и ужасная война тает, как кусок снега на раскаленной плите; мертвые встают из земли и мирно уносятся на носилках обратно в свои части. Мобилизация быстро превращается в демобилизацию, и вот уже Вильгельм Гогенцоллерн стоит на балконе перед своим народом, но его ужасные слова, слова паука-кровопийцы об объявлении войны, не вылетают из уст, а, наоборот, глотает он их, ловя губами в воздухе. Ах, чтоб ты ими подавился!..

Митька, крути, крути, голубчик!

Быстро мелькают поочередно четвертая дума, третья, вторая, первая, и вот уже на экране четко вырисовываются жуткие подробности октябрьских погромов.

Но, однако, тут это не страшно. Громилы выдергивают свои ножи из груди убитых, те шевелятся, встают и убегают, летающий в воздухе пух аккуратно сам слетается в еврейские перины, и все принимает прежний вид.

А что это за ликующая толпа, что за тысячи шапок, летящих кверху, что это за счастливые лица, по которым текут слезы умиления?!

Почему незнакомые люди целуются, черт возьми!

Ах, это Манифест 17 октября, данный Николаем II свободной России...

Да ведь это, кажется, был самый счастливый момент во всей нашей жизни!

Митька! замри!! Останови, черт, ленту, не крути дальше! Руки поломаю!..

Пусть замрет. Пусть застынет.

— Газетчик! Сколько за газету? Пятачок?

— Извозчик! Полтинник: на Конюшенную, к «Медведю». Пошел живей, гривенник прибавлю. Здравствуйте! Дайте обед, рюмку коньяку и бутылку шампанского. Ну, как не выпить на радостях...

С Манифестом вас! Сколько с меня за все? Четырнадцать с полтиной? А почему это у вас шампанское десять целковых за бутылку, когда в «Вене» — восемь? Разве можно так бессовестно грабить публику?

Митька, не крути дальше! Замри. Хотя бы потому остановись, что мы себя видим на пятнадцать лет моложе, почти юношами. Ах, сколько было надежд, и как мы любили, и как нас любили.

. . . . . .

Отчего же вы не пьете ваш херес! Камин погас, и я не вижу в серой мгле — почему так странно трясутся ваши плечи: смеетесь вы или плачете?

ПОЭМА О ГОЛОДНОМ ЧЕЛОВЕКЕ

Сейчас в первый раз я горько пожалел, почему мама в свое время не отдала меня в композиторы.

То, о чем я хочу сейчас написать, ужасно трудно выразить в словах... Так и подмывает сесть за рояль, с треском опустить руки на клавиши — и все, все как есть, перелить в причудливую вереницу звуков, грозных, тоскующих, жалобных, тихо-стонущих и бурно-проклинающих.

Но немы и бессильны мои негибкие пальцы, но долго еще будет молчать хладнокровный, неразбуженный рояль, и закрыт для меня пышный вход в красочный мир звуков...

И приходится писать мне элегии и ноктюрны привычной рукой — не на пяти, а на одной линейке,— быстро и привычно вытягивая строку за строкой, перелистывая страницу за страницей. О, богатые возможности, дивные достижения таятся в слове, но не тогда, когда душа морщится от реального прозаического трезвого слова,— когда душа требует звука, бурного, бешеного движения обезумевшей руки по клавишам...

Вот моя симфония — слабая, бледная в слове...

* * *

Когда тусклые серо-розовые сумерки спустятся над слабым, голодным, устало смежившим свои померкшие, свои сверкающие прежде очи — Петербургом, когда одичавшее население расползается по угрюмым берлогам коротать еще одну из тысячи и одной голодной ночи, когда все стихнет, кроме комиссарских автомобилей, бодро шныряющих, проворно, как острое шило, вонзающихся в темные безглазые русла улиц,— тогда в одной из квартир Литейного проспекта собираются несколько серых бесшумных фигур и, пожав друг другу дрожащие руки, усаживаются вокруг стола пустого, освещенного гнусным воровским светом сального огарка.

Некоторое время молчат, задыхающиеся, усталые от целого ряда гигантских усилий: надо было подняться по лестнице на второй этаж, пожать друг другу руки и придвинуть к столу стул — это такой нестерпимый труд!..

Из разбитого окна дует... но заткнуть зияющее отверстие подушкой уж никто не может — предыдущая физическая работа истощила организм на целый час.

Можно только сидеть вокруг стола, оплывшей свечи и журчать тихим, тихим шепотом...

Переглянулись.

— Начнем, что ли? Сегодня чья очередь?

— Моя.

— Ничего подобного. Ваша позавчера была. Еще вы рассказывали о макаронах с рубленой говядиной.

— О макаронах Илья Петрович рассказывал. Мой доклад был о панированной телячьей котлете с цветной капустой. В пятницу.

— Тогда ваша очередь. Начинайте. Внимание, господа!

Серая фигура наклонилась над столом еще ниже, отчего черная огромная тень на стене переломилась и заколебалась. Язык быстро, привычно пробежал по запекшимся губам, и тихий хриплый голос нарушил могильное молчание комнаты.

— Пять лет тому назад — как сейчас помню — заказал я у «Альбера» навагу, фрит и бифштекс по-гамбургски. Наваги было 4 штуки, — крупная, зажаренная в сухариках, на масле, господа! Понимаете, на сливочном масле, господа. На масле! С одной стороны лежал пышный ворох поджаренной на фритюре петрушки, с другой — половина лимона. Знаете, этакий лимон ярко-желтого цвета и в разрезе посветлее, кисленький такой разрез... Только взять его в руку и подавить над рыбиной... Но я делал так: сначала брал вилку, кусочек хлебца (был черный, был белый, честное слово) и ловко отделял мясистые бока наваги от косточки...

— У наваги только одна косточка, посредине, треугольная, — перебил, еле дыша, сосед.

— Тсс! Не мешайте. Ну, ну?

— Отделив куски наваги, причем, знаете ли, кожица была поджарена, хрупкая этакая и вся в сухарях... в сухарях,— я наливал рюмку водки и только тогда выдавливал тонкую струю лимонного сока на кусок рыбы... И я сверху прикладывал немного петрушки — о, для аромата только, исключительно для аромата, — выпивал рюмку и сразу кусок этой рыбки — гам! А булка-то, знаете, мягкая, французская этакая, и ешь ее, ешь, пышную, с этой рыбкой. А четвертую рыбку я даже не доел, хе-хе!

— Не доели?!!

— Не смотрите на меня так, господа. Ведь впереди был бифштекс по-гамбургски — не забывайте этого. Знаете, что такое — по-гамбургски?

— Это не яичница ли сверху положена?

— Именно!! Из одного яйца. Просто так, для вкуса. Бифштекс был рыхлый, сочный, но вместе с тем упругий и с одного боку побольше поджаренный, а с другого — поменьше. Помните, конечно, как пахло жареное мясо, вырезка — помните? А подливки было много, очень много, густая такая, и я любил, отломив корочку белого хлебца, обмакнуть ее в подливочку и с кусочком нежного мясца — гам!

— Неужели, жареного картофеля не было? — простонал кто-то, схватясь за голову, на дальнем конце стола.

— В том-то и дело, что был! Но мы, конечно, еще не дошли до картофеля. Был также наструганный хрен, были капорцы — остренькие, остренькие, а с другого кон-

ца чуть не половину соусника занимал нарезанный этакими ромбиками жареный картофель. И черт его знает, почему он так пропитывается этой говяжьей подливкой. С одного бока кусочки пропитаны, а с другого совершенно сухие и даже похрустывают на зубах. Отрежешь, бывало, кусочек мясца, обмакнешь хлеб в подливку, да зацепив все это вилкой, вкупе с кусочком яичницы, картошечкой и кружочком малосольного огурца...

Сосед издал полузаглушенный рев, вскочил, схватил рассказчика за шиворот и, тряся его слабыми руками, закричал:

— Пива! Неужели, ты не запивал этого бифштекса с картофелем — крепким пенистым пивом!

Вскочил в экстазе и рассказчик.

— Обязательно! Большая тяжелая кружка пива, белая пена наверху, такая густая, что на усах остается. Проглотишь кусочек бифштекса с картофелем, да потом как вопьешься в кружку...

Кто-то в углу тихо заплакал:

— Не пивом! не пивом нужно было запивать, а красным винцом, подогретым! Было там такое бургундское, по три с полтиной бутылка... Нальешь в стопочку, поглядишь на свет — рубин, совершенный рубин...

Бешеный удар кулаком прервал сразу весь этот плывший над столом сладострастный шепот.

— Господа! Во что мы превратились — позор! Как мы низко пали! Вы! Разве вы мужчины? Вы сладострастные старики Карамазовы! Источая слюну, вы смакуете целыми ночами то, что у вас отняла кучка убийц и мерзавцев! У нас отнято то, на что самый последний человек имеет право — право еды, право набить желудок пищей по своему неприхотливому выбору — почему же вы терпите? Вы имеете в день хвост ржавой селедки и 2 лота хлеба, похожего на грязь,— вас таких много, сотни тысяч! Идите же все, все идите на улицу, высыпайте голодными отчаянными толпами, ползите, как миллионы саранчи, которая поезд останавливает своим количеством, идите, навалитесь на эту кучку творцов голода и смерти, перегрызите им горло, затопчите их в землю, и у вас будет хлеб, мясо и жареный картофель!!

— Да! Поджаренный в масле! Пахнущий! Ура! Пойдем! Затопчем! Перегрызем горло! Нас много! Ха-ха-ха! Я поймаю Троцкого, повалю его на землю и проткну пальцем глаз! Я буду моими истоптанными каблуками ходить по его лицу! Ножичком отрежу ему ухо и засуну ему в рот — пусть ест!!

— Бежим же, господа. Все на улицу, все голодные!

При свете подлого сального огарка глаза в черных впадинах сверкали, как угольях... Раздался стук отодвигаемых стульев и топот ног по комнате.

И все побежали... Бежали они очень долго и пробежали очень много: самый быстрый и сильный добежал до передней, другие свалились — кто на пороге гостиной, кто у стола столовой.

Десятки верст пробежали они своими окостеневшими негнущимися ногами... Лежали, обессиленные, с полузакрытыми глазами, кто в передней, кто в столовой — они сделали, что могли, они ведь хотели.

Но гигантское усилие истощилось, и тут же все погасли, как растащенный по поленьям сырой костер.

А рассказчик, лежа около соседа, подполз к его уху и шепнул:

— А знаешь, если бы Троцкий дал мне кусочек жареного поросенка с кашей — такой, знаешь, маленький кусочек,— я бы не отрезывал Троцкому уха, не топтал бы его ногами! Я бы простил ему...

— Нет,— шепнул сосед, — не поросенок, а знаешь что?.. Кусочек пулярки, такой, чтобы белое мясо легко отделялось от нежной косточки... И к ней вареный рис с белым кисленьким соусом...

Другие лежащие, услышав шепот этот, поднимали жадные головы и постепенно сползались в кучу, как змеи от звуков тростниковой дудки...

Жадно слушали.

* * *

Тысяча первая голодная ночь уходила... Ковыляя, шествовало на смену тысяча первое голодное утро.

ТРАВА, ПРИМЯТАЯ САПОГОМ

— Как ты думаешь, сколько мне лет? — спросила небольшая девочка, перепрыгивая с одной ноги на другую, потряхивая темными кудрями и поглядывая на меня сбоку большим серым глазом...

— Тебе-то? А так я думаю, что тебе лет пятьдесят.

— Нет, серьезно. Ну, пожалуйста, скажи.

— Тебе-то? Лет восемь, что ли?

— Что ты! Гораздо больше: восемь с половиной.

— Ну?! Порядочно. Как говорится: старость не радость. Небось, и женишка уже припасла?

— Куда там! (Глубокая поперечная морщина сразу выползла откуда-то на ее безмятежный лоб.) Разве теперь можно обзаводиться семьей? Все так дорого.

— Господи Боже ты мой, какие солидные разговоры пошли!.. Как здоровье твоей многоуважаемой куклы?

— Покашливает. Я вчера с ней долго сидела у реки. Кстати, хочешь, на речку пойдем, посидим. Там хорошо: птички поют. Я вчера очень комичную козявку поймала.

— Поцелуй ее от меня в лапку. Но как же мы пойдем на реку: ведь в той стороне, за рекой, стреляют.

— Неужели ты боишься? Вот еще глупый. Ведь снаряды не долетают сюда, это ведь далеко. А я тебе за то расскажу стих. Пойдем?

— Ну, раз стих — это дело десятое. Тогда не лень и пойти.

По дороге, ведя меня за руку, она сообщила:

— Знаешь, меня ночью комар как укусит, за ногу.

— Слушаю-с. Если я его встречу, я ему дам по морде.

— Знаешь, ты ужасно комичный.

— Еще бы. На том стоим.

На берегу реки мы преуютно уселись на камушке под развесистым деревцом. Она прижалась к моему плечу, прислушалась к отдаленным выстрелам, и снова та же морщинка озабоченности и вопроса, как гнусный червяк, всползла на чистый лоб.

Она потерлась порозовевшей от ходьбы щечкой о шершавую материю моего пиджака и, глядя остановившимися глазами на невозмутимую гладь реки, спросила:

— Скажи, неужели Ватикан никак не реагирует на эксцессы большевиков?..

Я испуганно отодвинулся от нее и поглядел на этот розовый ротик с будто чуть-чуть припухшей верхней губкой, посмотрел на этот ротик, откуда только что спокойно вылетела эта чудовищная по своей деловитости фраза, и переспросил:

— Чего, чего?

Она повторила.

Я тихо обнял ее за плечи, поцеловал в голову и прошептал на ухо:

— Не надо, голубчик, об этом говорить, хорошо? Скажи лучше стихи, что обещала.

— Ах, стихи! Я и забыла. О Максе.

Максик вечно ноет,
Максик рук не моет,
У грязнухи Макса
Руки, точно вакса.
Волосы, как швабра,
Чешет их не храбро...

— Правда, комичные стишки? Я их в старом «Задушевном слове» прочитала.

— Здорово сработано. Ты их маме-то читала?

— Ну, знаешь, маме не до того. Прихварывает все.

— Что ж с ней такое?

— Малокровие. Ты знаешь, она целый год при большевиках в Петербурге прожила. Вот и получила. Жиров не было, потом эти... азотистые вещества тоже в организм не... этого... не входили. Ну, одним словом, — коммунистический рай.

— Бедный ты ребенок, — уныло прошептал я, приглаживая ей волосы.

— Еще бы же не бедный. Когда бежали из Петербурга, я в вагоне кроватку куклиную потеряла, да медведь пищать перестал. Не знаешь, отчего это он мог перестать пищать?

— Очевидно, азотистых веществ ему не хватило. Или просто саботаж.

— Ну, ты прямо-таки прекомичный! На мою резиновую собачку похож. А ты можешь нижней губой до носа достать?

— Где там! Всю жизнь мечтал об этом — не удается.

— А знаешь, у меня одна знакомая девочка достает; очень комично.

С противоположного берега дунуло ветерком, и стрельба сразу сделалась слышней.

— Вишь ты, как пулеметы работают, — сказал я, прислушиваясь.

— Что ты, братец, — какой же это пулемет? Пулемет чаще тарахтит. Знаешь, совсем как швейная машина щелкает. А это просто пачками стреляют. Вишь ты: очередями жарят.

Ба-бах!

— Ого, — вздрогнул я, — шрапнелью ахнули.

Ее серый лукавый глаз глянул на меня с откровенным сожалением:

— Знаешь, если ты не понимаешь — так уж молчи. Какая же это шрапнель? Обыкновенную трехдюймовку со шрапнелью спутал. Ты знаешь, между прочим, шрап-

нель, когда летит, так как-то особенно шуршит. А бризантный снаряд воет, как собака. Очень комичный.

— Послушай, клоп, — воскликнул я, с суеверным страхом оглядывая ее розовые пухлые щечки, вздернутый носик и крохотные ручонки, которыми она в этот момент заботливо подтягивала спустившиеся к башмачкам носочки. — Откуда ты все это знаешь?!

— Вот комичный вопрос, ей-Богу! Поживи с мое — не то еще узнаешь.

А когда мы возвращались домой, она, забыв уже о «реагировании Ватикана» и «бризантных снарядах», щебетала, как воробей, задрав кверху задорный носик:

— Ты знаешь, какого мне достань котеночка? Чтоб у него был розовенький носик и черные глазки. Я ему голубенькую ленточку с малюсеньким таким золотым бубенчиком привяжу, у меня есть. Я люблю маленьких котенков. Что же я, дура! Я и забыла, что мой бубенчик был с маминым золотом в сейфе, и коммунисты его по мандату комфина реквизировали!

* * *

По зеленой молодой травке ходят хамы в огромных тяжелых сапожищах, подбитых гвоздями.

Пройдут по ней, примнут ее.

Прошли — полежал, полежал примятый, полураздавленный стебелек, пригрел его луч солнца, и опять он приподнялся и под теплым дыханием дружеского ветерка шелестит о своем, о малом, о вечном.

ЧЕРТОВО КОЛЕСО

I

— Усаживайся, не бойся. Тут очень весело.

— Чем же весело?

— Ощущение веселое.

— Да чем же веселое?

— А вот как закрутится колесо, да как дернет тебя с колеса, да как швырнет о барьер, так глаза в лоб выскочут! Очень смешно.

Это — разговор на «чертовом колесе»... Несколько лет тому назад компания ловких предпринимателей устроила в Петербурге «Луна-Парк».

Я любил хаживать туда по причине несколько пикантной; в «Луна-Парке» я находил для своей коллекции дураков такие чудесные махровые экземпляры и в таком изобилии, как нигде в другом месте.

Вообще. «Луна-Парк» — это рай для дураков: все сделано для того, чтобы дураку было весело...

Подойдет он к выпуклому зеркалу, увидит трехаршинные ноги, будто выходящие прямо из груди, увидит вытянутое в аршин лицо — и засмеется дурак, как ребенок; сядет в «веселую бочку», да как столкнут его вниз, да как почнет бочка стукаться боками о вертикально воткнутые по дороге бревна, да как станет дурака трясти, как дробинку в детской погремушке, круша ребра и ушибая ноги,— тут-то и поймет дурак, что есть еще беззаботное веселье на свете; и к «Веселой Кухне» подойдет дурак, и тут он увидит, что это настоящая его, дуракова, тихая пристань. Впрочем, она не особенно тихая, эта пристань. Потому что «Веселая Кухня» заключалась в том, что на расстоянии нескольких аршин от барьера на полках были расставлены бракованные тарелки, блюда, бутылки и стаканы, в которые дурак имеет право метать деревянными шарами, купив это завидное право и привилегию за рубль серебра. И прибыли-то дураку никакой не было — ни приза за разбитие тарелок ему не давали, ни одобрения зрителей он не получал, потому что раскокать блюдо на трехаршинном расстоянии было легче легкого, — а вот поди ж ты — излюбленное это было дурац-

кое удовольствие — сокрушать десятки тарелок и бутылок... А из «веселой кухни», разгорячив свою пылкую кровь, — направлялся дурак для охлаждения прямехонько в «Таинственный Замок»... Это было помещение, входя в которое вы должны были приготовиться ко всему: бредете ли вы по абсолютно темным узким коридорам, а вам тут и привидения, натертые фосфором, являются, и задушает вас невидимая рука, и скатываетесь вы по какой-то трубе вниз на какие-то мягкие мешки, а главное, когда вы, радостный, выходите наконец в залитый светом воздушный мостик, открытый глазам толпящейся внизу публики, — снизу дунет на вас таким ураганным ветром, что, если вы мужчина, пальто ваше взвивается выше к голове, как два крыла, шляпа бешено взлетает кверху, а если вы дама, то вся гривуазно настроенная публика ознакомится не только с цветом ваших подвязок, но и со многим другим, чему место не в политическом фельетоне, а на самой лучшей, крепкой, круто замешенной эротической странице специалиста по этим делам, Михайлы Арцыбашева.

Вот что такое «Луна-Парк» — рай для дураков, ад для среднего, случайно забредшего туда человека, и — широкое необозримое поле научных наблюдений для вдумчивого человека, изучающего русского дурака в его нормальной, привычной и самой удобной обстановке.

II

Приглядываюсь я к русской революции, приглядываюсь и — ой, как много разительно схожего в ней с «Луна-Парком» — даже жутко от целого ряда поразительно точных аналогий...

Все новое, революционное, по-большевистски радикальное строительство жизни, все разрушение старого, якобы отжившего,— ведь это же «Веселая Кухня»! Вот тебе на полках расставлен старый суд, старые финансы, церковь, искусство, пресса, театр, народное просвещение — какая пышная выставка!

И вот подходит к барьеру дурак, выбирает из корзины в левую руку побольше деревянных шаров, берет в правую один шар, вот размахнулся — трах! Вдребезги правосудие. Трах! — в кусочки финансы. Бац! — и уже нет искусства, и только остается на месте какой-то жалкий покосившийся пролеткультский огрызок.

А дурак уже разгорячился, уже пришел в азарт — благо шаров в руках много — и вот летит с полки разбитая церковь, трещит народное просвещение, гудит и стонет торговля. Любо дураку, а кругом собрались, столпились посторонние зрители — французы, англичане, немцы — и только, знай, посмеиваются над веселым дураком, а немец еще и подзуживает:

— Ай, ловкий! Ну, и голова же! А ну, шваркни еще по университету. А долбаника в промышленность!..

Горяч русский дурак — ох, как горяч... Что толку с того, что потом, когда очухается он от веселого азарта, долго и тупо будет плакать свинцовыми слезами и над разбитой церковью, и над сокрушенными вдребезги финансами, и над мертвой уже наукой, зато теперь все смотрят на дурака! Зато теперь он — центр веселого внимания, этот самый дурак, которого прежде и не замечал никто.

III

А кто это там поехал вниз в «Веселой Бочке», стукаясь боками о сотни торчащих тумб, теряя шляпу, круша ребра и ломая коленные чашечки? Ба! Это русский человек с семьей путешествует в наше веселое революционное время из Чернигова в Воронеж. Бац о тумбу — из вагона ребенок вылетел, бац о другую — самого петлюровцы выбросили, трах о третью — махновцы чемодан отняли.

А кто стоит перед кривым зеркалом и корчится не то от смеха, не то от слез, сам себя не узнавая... А это, видите, доверчивый человек подошел к непримиримой чужепартийной газете, и она его «отразила».

А этот «Таинственный Замок» — где вас ведут по темным, как ночь, извилинам, где пугают вас, толкают, калечат и кажут вам разных, леденящих душу своим видом, чудовищ — не чрезвычайка ли это — самое яркое порождение Третьего Интернационала — потому что все интернационально сгруппировались там: и латыши, и русские, и евреи, и китайцы — палачи всех стран, соединяйтесь!..

IV

Но самое замечательное, самое одуряюще схожее — это «Чертово Колесо»!

Вот вам февральская революция — начало ее, когда колесо еще не закрутилось... Посредине его, в самом центре, стоит самый замечательный «дурак» современности — Александр Керенский, и кричит он зычным митинговым голосом:

— Пожалуйте, товарищи! Делайте игру. Сейчас закрутим. Милюков! Садись, не бойся. Тут весело.

— Чем же весело?

— Ощущение веселое...

— А вот как закрутит, да как начнет всех швырять к барьеру... Впрочем, ты садись в самый центр, около меня,— тогда удержишься... И ты, Гучков, садись — не бойся... Славно закрутим... Ну... все сели? Давай ход! Поехала!

Поехала.

Несколько оборотов «Чертова Колеса» — и вот уже ползет, с выпученными глазами, тщетно стараясь удержаться за соседа, — Павел Милюков.

Вззз! — свистит раскрученное колесо, быстро скользит по отполированной предыдущими «опытами» поверхности Милюков — трах — и больно стукается о барьер бедняга, вышвырнутый из центра непреодолимой центробежной силой.

А вот и Гучков пополз вслед за ним, уцепясь за рукав Скобелева... Отталкивает его Скобелев, но — поздно... Утеряна мертвая точка, и оба разлетаются, как пушинки от урагана.

— А! — радостно кричит Церетели, уцепясь за ногу Керенского. — Дэржись крепче, как я. — Самые левые и самые правые летят, а мы — центр — удэржимся...

Куда там! Уже оторвался и скользит Церетели, за ним Чхеидзе — эк их куда выкинуло — к самому барьеру, «на сей погибельный Кавказ порасшвыривало».

Радостно посмеивается Керенский, бешено вертясь в самом центре,— кажется, и конца не будет этому сладостному ощущению... Любо молодому главковерху. Но вот у ног его заклубился бесформенный комок из трех голов и шести ног, называемый в просторечии — Гоцлибердан, — уцепился комок за Керенского, обвился вокруг его

ноги, жалобно закричал главковерх, сдвинулся на вершок влево — но... для «чертова колеса» достаточно и этого!..

Заскрипела полированная поверхность, и летит начальник, или, по-нынешнему, «комиссар чертова колеса», вверх тормашками, не только к барьеру, а даже за барьер беднягу выкинуло, и грянулся он где-то не то в Лондоне, не то в Париже.

Расшвыряло, всех расшвыряло по барьеру «чертово колесо», и постепенно замедляется его ход, и почти останавливается оно, а тут уже — глядь! — налезла на полированный круг новая веселая компания: Троцкий, Ленин, Нахамкис, Луначарский, и кричит новый «комиссар чертова колеса» — Троцкий:

— К нам, товарищи! Ближе! Те дураки не удержались, но мы-то удержимся! Ходу! Крути, валяй! Поехала!!

— Вззззз!..

А мы сейчас стоим кругом и смотрим: кто первый поползет окорачь по гладкой полированной поверхности, где не за что уцепиться, не на чем удержаться, и кого на какой барьер вышвырнет.

— Ах, поймать бы!

ЧЕРТЫ ИЗ ЖИЗНИ РАБОЧЕГО ПАНТЕЛЕЯ ГРЫМЗИНА

Ровно десять лет тому назад рабочий Пантелей Грымзин получил от своего подлого, гнусного хозяина-кровопийцы поденную плату за 9 часов работы — всего два с полтиной!!!

— Ну, что я с этой дрянью сделаю?.. — горько подумал Пантелей, разглядывая на ладони два серебряных рубля и полтину медью... — И жрать хочется, и выпить охота, и подметки к сапогам нужно подбросить, старые — одна, вишь, дыра... Эх ты, жизнь наша распрокаторжная!!

Зашел к знакомому сапожнику: тот содрал полтора рубля за пару подметок.

— Есть ли на тебе крест-то? — саркастически осведомился Пантелей.

Крест, к удивлению ограбленного Пантелея, оказался на своем месте, под блузой, на волосатой груди сапожника.

— Ну, вот остался у меня рупь-целковый, — со вздохом подумал Пантелей. — А что на него сделаешь? Эх!..

Пошел и купил на целковый этот полфунта ветчины, коробочку шпрот, булку французскую, полбутылки водки, бутылку пива и десяток папирос — так разошелся, что от всех капиталов только четыре копейки и осталось.

И когда уселся бедняга Пантелей за свой убогий ужин — так ему тяжко сделалось, так обидно, что чуть не заплакал.

— За что же, за что?..— шептали его дрожащие губы. — Почему богачи и эксплуататоры пьют шампанское, ликеры, едят рябчиков и ананасы, а я, кроме простой очищенной, да консервов, да ветчины — света Божьего не вижу... О, если бы только мы, рабочий класс, завоевали себе свободу!— То-то бы мы пожили по-человечески!

* * *

Однажды, весной 1920 года рабочий Пантелей Грымзин получил свою поденную плату за вторник: всего 2700 рублей.

— Что ж я с ними сделаю, — горько подумал Пантелей, шевеля на ладони разноцветные бумажки.

— И подметки к сапогам нужно подбросить, и жрать, и выпить чего-нибудь — смерть хочется!

Зашел Пантелей к сапожнику, сторговался за две тысячи триста и вышел на улицу с четырьмя сиротливыми сторублевками.

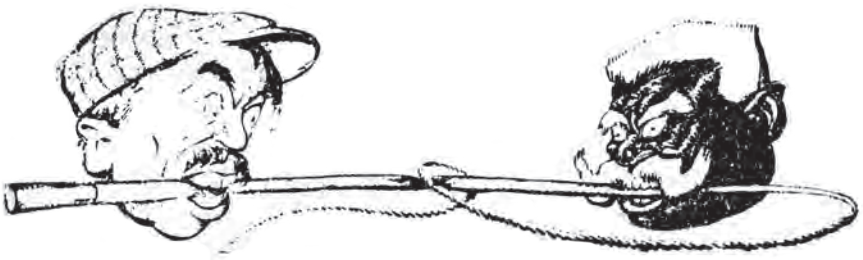
Купил фунт полубелого хлеба, бутылку ситро, осталось 4 целковых... Приценился к десятку папирос, плюнул и отошел.

Дома нарезал хлеба, откупорил ситро, уселся за стол ужинать... и так горько ему сделалось, что чуть не заплакал.

— Почему же, — шептали его дрожащие губы, — почему богачам все, а нам ничего... Почему богач ест нежную розовую ветчину, объедается шпротами и белыми булками, заливает себе горло настоящей водкой, пенистым пивом, курит папиросы, а я, как пес какой, должен жевать черствый хлеб и тянуть тошнотворное пойло на сахарине!.. Почему одним все, другим — ничего?..

* * *

Эх, Пантелей, Пантелей... Здорового ты дурака свалял, братец ты мой!..



НОВАЯ РУССКАЯ СКАЗКА

(ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ)

Матери!

Вот уже несколько лет вы бессознательно обманываете ваших детей, рассказывая им старый ложный вариант сказки о Красной Шапочке и Сером Волке.

Пора, наконец, открыть вам глаза на истинное положение вещей, пора пролить свет истины на клеветническое измышление о бедном добродушном Сером Волке!..

Вот как было дело:

Сказка о Красной Шапочке, об одном заграничном мальчике и о Сером Волке

У одного отца было три сына: до первых двух нам нет дела, а младший был дурак.

Состояние его умственных способностей видно из того, что когда у него родилась и подросла дочь — он подарил ей красную шапочку.

Почему именно красную?

Именно потому, что дурак красному рад.

* * *

И вот однажды зовет дуракова жена дочку и говорит ей:

— Нечего зря баклуши бить! Отнеси бабушке горшочек маслица, лепешечку да штоф вина: может, старуха наклюкается, протянет ноги, а мы тогда все ее животишки и достатки заберем.

— Я, конечно, пойду, — отвечает Красная Шапочка. — Но только, чтобы идти не больше восьмичасового рабочего дня. А насчет бабушки — это мысль.

Перемигнулись; хихикнула Красная Шапочка и, напялив свой дурацкий головной убор, пошла к бабушке.

Идти пришлось лесом. Идет, «Интернационал» напевает, красную гвоздику рвет. Вдруг из-за куста выходит некий таинственный мальчик и говорит:

— Позвольте представиться: заграничный мальчик Лев Троцкий. Чего несете? О-о, да тут прекрасные вещи! Дай-ка, я их тово... Да ты не плачь — я ведь тебе стаканчик-другой поднесу.

— А что же я бабушке-то скажу?

— Скажи — Серый русский Волк слопал. Вали, как на мертвого.

Пришла, пошатываясь, к бабушке Красная Шапочка. Старуха к ней:

— Принесла?

— Да, как же! Держи карман шире. Разве этот грабитель, Серый Волк, пропустит — все слопал!

Только облизнулась бедная старуха.

А в это время, как известно, жил-был у бабушки Серенький Козлик. Вздумалось козлику в лес погуляти.

— Отпусти ты его, буржуя, — советует Красная Шапочка. — Пусть идет в лес. Довольно ему, саботажнику, дома лодырничать. Как говорится: все на фронт.

Отпустила бабушка Серенького Козлика в сопровождении Красной Шапочки, а той только того и нужно. Едва вошли в лес — из-за куста давешний мальчик:

— А что, товарищ, не слопать ли нам козла?

— А что я бабушке скажу?

Подмигнул мальчик, хихикнул.

— А Серый русский Волк на что? Вали на него — вывезет. Кстати, старуха-то сама фартовая? Клев есть?

— Да ежели потрясти — есть чего. Только на мокрое дело я не пойду. Чтобы без убийства.

— А Серый Волк на что? Свалим на эту скотину. Айда!

Пошли и «пришили» старушку.

Зажили в старухином доме припеваючи. Мальчик на старухиной кровати развалился, целый день валяется, а Красная Шапочка по хозяйству хлопочет, сундуки взламывает.

* * *

А в это время по всему лесу пошел нехороший и для добродушного Серого Волка позорный слух: что будто бы он не только людей провизии и продуктов лишает, не только буржуазного козленка зарезал, но и самое бабушку прикончил.

Обидно стало Серому. Пойду, думает, к старухе, лично все выясню.

Приходит — те-те-те! Полуштоф пустой на столе стоит, на стене козлиная шкура, а Красная Шапочка уже в бабушкиных нарядах щеголяет.

— Ловко сработано, — с горечью подумал Серый Волк.

Подошел к Троцкому, подсел на краешек кровати и спрашивает:

— Отчего у тебя такой язык длинный?

— Чтобы на митингах орать.

— Отчего у тебя такой носик большой?

— При чем тут национальность?

— Отчего у тебя большие ручки?

— Чтобы лучше сейфы вскрывать! Знаешь наш лозунг: грабь награбленное!

— Отчего у тебя такие ножки большие?

— Идиотский вопрос! А чем же я буду, когда засыплюсь, в Швейцарию убегать?!

— Ну, нет, брат, — вскричал Волк и в тот же миг — гам! — и съел заграничного мальчика, сбил лапой с головы глупой девчонки красную шапочку, и, вообще, навел Серый такой порядок, что снова в лесу стало жить хорошо и привольно.

Кстати, в прежнюю старую сказку, в самый конец, впутался какой-то охотник.

В новой сказке — к черту охотника.

Много вас тут, охотников, найдется к самому концу приходить...

КОРОЛИ У СЕБЯ ДОМА

Все почему-то думают, что коронованные особы — это какие-то небожители, у которых на голове алмазная корона, во лбу звезда, а на плечах горностаевая мантия, хвост которой волочится сажени на три сзади.

Ничего подобного. Я хорошо знаю, что в своей частной, интимной жизни коронованные особы живут так же обывательски просто, как и мы, грешные.

Например, взять Ленина и Троцкого.

На официальных приемах и парадах они — одно; а в своей домашней обстановке — совсем другое. Никаких громов, никаких перунов.

Ну, скажем, вот:

* * *

Серенькое московское утро. Кремль. Грановитая палата.

За чаем мирно сидят Ленин и Троцкий.

Троцкий, затянутый с утра в щеголеватый френч, обутый в лакированные сапоги со шпорами, с сигарой, вставленной в длинный янтарный мундштук, — олицетворяет собой главное, сильное, мужское начало в этом удивительном супружеском союзе. Ленин — madame, представитель подчиняющегося, более слабого, женского, начала.

И он одет соответственно: затрепанный халатик, на шее нечто вроде платка, потому что в Грановитой палате всегда несколько сыровато, на ногах красные шерстяные чулки от ревматизма и мягкие ковровые туфли.

Троцкий, посасывая мундштук, совсем, с головой, ушел в газетный лист; Ленин перетирает полотенцем стаканы.

Молчание. Только самовар напевает свою однообразную вековую песенку.

— Налей еще, — говорит Троцкий, не отрывая глаз от газеты.

— Тебе покрепче или послабее?

Молчание.

— Да брось ты свою газету! Вечно уткнет нос так, что его десять раз нужно спрашивать.

— Ах, оставь ты меня в покое, матушка! Не до тебя тут.

— Ага! Теперь уже не до меня! А когда сманивал меня из-за границы в Россию,— тогда было до меня!.. Все вы, мужчины, одинаковы.

— Поехала!

Троцкий вскакивает, нервно ходит по палате, потом останавливается. Сердито:

— Кременчуг взят. На Киев идут. Понимаешь?

— Что ты говоришь! А как же наши доблестные красные полки, авангард мировой революции?..

— Доблестные? Да моя бы воля, так я бы эту сволочь...

— Левушка... Что за слово...

— Э, не до слов теперь, матушка. Кстати: ты транспорт-то со снарядами послала в Курск?

— Откуда же я их возьму, когда тот завод не работает, этот бастует... Рожу я тебе их, что ли? Ты вот о чем подумай!

— Да? Я должен думать?! Обо всем, да? Муж и воюй, и страну организуй, и то и се, а жена только по диванам валяется да глупейшего Карла Маркса читает? Эти романчики пора уже оставить...

— Что ты мне своей организацией глаза колешь?! — вспылил Ленин, нервно отбрасывая мокрое полотенце. — Нечего сказать — организовал страну: по улицам пройти нельзя: или рабочий мертвый лежит, или лошадь дохлая валяется.

— А чего ж они, подлецы, не убирают... Я ведь распорядился. Господи! Простой чистоты соблюсти не могут.

— Ах, да разве только это? Ведь нам теперь и глаз к соседям не покажи — засмеют. Устроили страну, нечего сказать; на рынке ни к чему приступу нет — курица 8000 рублей, крупа — 3000, масло... э, да и что там говорить!! Ходишь на рынок, только расстраиваешься.

— Ну, что ж... разве я тебе в деньгах отказывал? Не хватает — можно подпечатать. Ты скажи там, в экспедиции заготовления...

— Э, да разве только это. А венгерская социальная революция... Курам на смех! Твой же этот самый придворный поэт во всю глотку кричал:

Мы на горе всем буржуям,
Мировой пожар раздуем...

Раздули пожар... тоже! Хвалилась синица море зажечь. Ну, с твоей ли головой такой страной управлять, скажи, пожалуйста?!

— Замолчишь ли ты, проклятая баба! — гаркнул Троцкий, стукнув кулаком по столу. — Не хочешь, не нравится — скатертью дорога!

— Скатертью? — вскричал Ленин и подбоченился. — Это куда же скатертью? Куда я теперь поеду, когда, благодаря твоей дурацкой войне, мы со всех сторон окружены? Завлек, поиграл, поиграл, а теперь вышвыриваешь, как старый башмак? Знала бы — лучше пошла бы за Луначарского.

Бешеный огонь ревности сверкнул в глазах Троцкого.

— Не смей и имени этого соглашателя произносить!! Слышишь? Я знаю, ты ему глазки строишь, и он у тебя до третьего часу ночи просиживает; имей в виду: застану — искалечу. Это что еще? Слезы? Черт знает что! Каждый день скандал — чаю не дадут дома спокойно выпить! Ну, довольно! Если меня спросят — скажи, я поехал принимать парад доблестной Красной Армии. А то, если этих мерзавцев не подтяги-

вать... Поняла? Положи мне папирос в портсигар да платок сунь в карман, чистый! Что у нас сегодня на обед?.....

Вот как просто живут коронованные особы.

Горностай да порфира — это на людях, а у себя в семье, когда муж до слез обидит, — можно и в затрапезный шейный платок высморкаться.

УСАДЬБА И ГОРОДСКАЯ КВАРТИРА

Когда я начинаю думать о старой, канувшей в вечность, России, то меня больше всего умиляет одна вещь: до чего это была богатая, изобильная, роскошная страна, если последних три года повального, всеобщего, равного, тайного и явного грабежа — все-таки не могут истощить всех накопленных старой Россией богатств.

Только теперь начинаешь удивляться и разводить руками:

— Да, что ж это за хозяин такой был, у которого даже после смерти его — сколько не тащат, все растащить не могут...

Большевики считали все это «награбленным» и даже клич такой во главу угла поставили:

— Грабь награбленное.

Ой, не награбленное это было. Потому что все, что награблено, никогда впрок не идет: тут же на месте пропивается, проигрывается в карты, раздаривается дамам сердца грабителей — «марухам» и «шмарам».

А старая Россия не грабила; она накапливала.

Закрою я глаза — и чудится мне старая Россия большой помещичьей усадьбой...

Вот миновал мой возок каменные, прочно сложенные, почерневшие от столетий, ворота, и уже несут меня кони по длинной без конца-края липовой аллее, ведущей к фасаду русского, русского, русского — такого русского, близкого сердцу дома с белыми колоннами и старым-престарым фронтоном.

Солнце пробивается сквозь листву лип, и золотые пятна бегают по дорожке и колеблются, как живые...

А на террасе уже стоит вальяжный, улыбающийся хозяин и радостно приветствует ценя.

Объятия, троекратные поцелуи, по русскому обычаю, и первый вопрос:

— Обедали?

И праздный вопрос, потому что мой ответ, все равно не нужен хозяину: пусть сытый гость лопнет по всем швам, но обедом он будет накормлен...

Те же золотые пятна бегают уже по белоснежной скатерти, зажигаются рубинами на домашней наливке, вспыхивают изумрудами на смородиновке, настоянной на мо-

лодых остропахнущих листьях, и уже дымится перед гостем и хозяином наваристый борщ и пыжится пухлая, как пуховая перина, кулебяка...

— А вы пока маринованных грибков — домашние! И вот рыбки этой — из собственного пруда... А квасом — прямо говорю — могу похвастаться; в нос так и шибает — сама жена у меня по этому делу ходок...

Тихо прячется за березовую рощу красное утомленное солнце. Смягченная далью, грустно и красиво доносится еле слышная песня косарей.

— Эй, — кричит кому-то вниз разошедшийся хозяин. — По случаю приезда дорогого гостя — выдать косарям по две чарки водки! А вы, голубчик, не устали ли? Может, отдохнуть хотите? Пойдемте, покажу вашу комнату...

В моей комнате уже зажжена лампа... Усталые ноги мягко ступают по толстым половикам, а взор так и тянется к свежим холодноватым простыням раскрытой постели...

— Вот вам спички, вот свеча, вот графин грушевого квасу — вдруг да пить ночью захотите. Да вы, может быть, съели бы чего-нибудь на ночь? Перепелочки есть, осетрина холодная... Нет? Ну, Господь с вами. Спите себе.

Я один... Подхожу к этажерке, что важно выпятились в углу сотней прочных кожаных книжных переплетов, начинаю перебирать книги: Гоголь, Достоевский, Толстой, Успенский...

Почитаю...

Ах, как хорошо в русской России почитать русскому человеку русского писателя, ах, как хорошо знать, что ты под гостеприимным кровом русского приветливого хлебосола, что, когда ты погасишь лампу, в окно к тебе будут заглядывать бледные русские звезды, а за окном тихо и ласково будут перешептываться о твоих делах на своем непонятном языке скромные, застенчивые русские березки и елочки...

Все задремывает... И разнокалиберная шумливая птица в птичнике, и толстая, неповоротливая, обильно кормленная и поенная скотина в хлеву, и золотой хлеб в закромах, и свертки плотного домотканого полотна в темных, окованных железом укладках, и старые седые бутылки в дедовском погребе — все спит — плотное, солидное, накопленное, не в год и не на год, а так, что еще и внукам останется...

С расчетом жили люди, замахиваясь в своих делах и планах на десятки лет, жили плотно, часто лениво, иногда скучно, но всегда сытно, но всегда нося в себе эволюционные семена более горячего, более живого и бойкого будущего...

Все стояло на своем месте, и во всем был так необходимый простому русскому сердцу уют.

* * *

А теперь новая русская «власть» живет не в дедовской помещичьей усадьбе, а в городе: съехали жильцы с квартиры, так вот теперь эти новые и взяли покинутую квартиру, значит.

Ясно, что когда с квартиры съезжают, она — какой вид имеет: голые стены, с оторванными кое-где обоями, с ярко-желтыми прямоугольниками в тех местах, где стоял комод или шкаф... В выбитое окно тянет сырым ветерком, на полу обрывки веревок, окурки, какие-то рваные бумажки, два-три аптечных пузырька с выцветшим рецептом, в углу поломанный, продавленный стул, брошенный за ненадобностью.

Переехала сюда «новая власть»... Нет у нее ни мебели, ни ковров, ни портретов предков...

Переехали — даже комнат не подмели...

На окнах появились десятки опорожненных бутылок, огрызков засохшей колбасы, в угол поставили утащенный откуда-то роскошный шелковый диван с ободранным боком и около него примостили опрокинутый пивной бочонок, в виде ночного столика.

На стене на огромных крюках — ружья, в углу обрывок израсходованной пулеметной ленты и старые полуистлевшие обмотки.

Сор на полу так и не подметают, и нога все время наталкивается то на пустую консервную коробку, то на расплющенную голову селедки...

Приходит новый хозяин. В мокрой, пахнущей кислым, шинели, отяжелевший от спирта-сырца, валится прямо на диван.

А в бывшем кабинете помещаются угрюмые латыши, а в бывшей детской, где еще валяется забытый игрушечный зайчонок с оторванными лапами, спят вонючие китайцы и «красные башкиры»...

Никто из живущих в этой квартире не интересуется ею, и никто не собирается устроиться в ней по-человечески.

Никому и в голову не придет вставить разбитые стекла, вымести сор, разостлать белые с синей каймой половички, развесить любимые портреты, застлать кровать чистой простыней.

Зачем? День прошел, и слава Интернационалу. День да ночь — сутки прочь.

Никто не верит в возможность устроиться в новой квартире хоть года на три...

Стоит ли? А вдруг придет хозяин и даст по шеям.

Так и живут. Зайдет этакий в квартиру, наследит сапогами, плюнет, бросит окурок, размажет для собственного развлечения на стене клопа и пойдет по своим делам: расстреливать контрреволюционера и пить спирт-сырец.

Неприютно живет, по-собачьему.

Таков новый хозяин новой России.

ХЛЕБУШКО

У главного подъезда монументального здания было большое скопление карет и автомобилей.

Мордастый швейцар то и дело покрикивал на нерасторопных кучеров и тут же низкими поклонами приветствовал господ во фраках и шитых золотом мундирах, солидно выходящих из экипажей и автомобилей.

Худая деревенская баба в штопаных лаптях и белом платке, низко надвинутом на загорелый лоб, робко подошла к швейцару.

Переложила из одной руки в другую узелок и поклонилась в пояс...

— Тебе чего, убогая?

— Скажи-ка мне, кормилец, что это за господа такие?

— Междусоюзная конференция дружественных держав по вопросам мировой политики!

— Вишь ты, — вздохнула баба в стоптанных лапотках. — Сподобилась видеть.

— А ты кто будешь? — небрежно спросил швейцар.

— Россия я, благодетель, Россеюшка. Мне бы тут за колонкой постоять да хоть одним глазком поглядеть: каки-таки бывают конференции. Может, и на меня, сироту, кто-нибудь глазком зиркнет да обратит свое такое внимание.

Швейцар подумал и хотя был иностранец, но тут же сказал целую строку из Некрасова:

— «Наш не любит оборванной черни»... А впрочем, стой — мне что.

По лестнице всходили разные: и толстые, и тонкие, и ощипанные, во фраках, и дородные, в сверкающих золотом сюртуках с орденами и лентами.

Деревенская баба всем низко кланялась и смотрела на всех с робким испугом и тоской ожидания в слезящихся глазах.

Одному — расшитому золотом с ног до головы и обвешанному целой тучей орденов — она поклонилась ниже других.

— Вишь ты, — тихо заметила она швейцару. — Это, верно, самый главный!

— Какое! — пренебрежительно махнул рукой швейцар. — Внимания не стоит. Румын.

— А какой важный. Помню, было время, когда у меня под окошком на скрипочке пиликал, а теперь — ишь ты! И где это он так в орденах вывалялся?..

И снова на лице ее застыло вековечное выражение тоски и терпеливого ожидания...

Даже зависти не было в этом робком сердце.

* * *

Английский дипломат встал из-за зеленого стола, чтобы размяться, подошел к своему коллеге-французу и спросил его:

— Вы не знаете, что это там за оборванная баба около швейцара в вестибюле стоит?

— Разве не узнали? Россия это.

— Ох, уж эти мне бедные родственники! И чего ходит, спрашивается? Сказано ведь: будет время — разберем и ее дело. Стоит с узелком в руке и всем кланяется... По-моему, это шокинг.

— Да... Воображаю, что у нее там в узле... Наверное, полкаравая деревенского хлеба, и больше ничего.

— Как вы говорите?.. хлеб?

—Да. А что ж еще?

— Вы... уверены, что там у нее хлеб?

— Я думаю.

— Гм... да. А впрочем, надо бы с ней поговорить, расспросить ее. Все-таки мы должны быть деликатными. Она нам в войну здорово помогла. Я — сейчас!

И англичанин поспешно зашагал к выходу.

* * *

Вернулся через пять минут, оживленный:

— Итак... На чем мы остановились?

— Коллега, у вас на подбородке крошки...

— Гм... Откуда бы это? А вот мы их платочком.

* * *

Увязывая свой похудевший узелок, баба тут же быстро и благодарно крестилась и шептала швейцару.

— Ну, слава Богу... Сам-то обещал спомочь. Теперь поди, недолго и ждать.

И побрела восвояси, сгорбившись и тяжко ступая усталыми ногами в стоптанных лапотках.

ЭВОЛЮЦИЯ РУССКОЙ КНИГИ

Этап первый (1916 год)

Ну, у вас на этой неделе не густо: всего три новых книги вышло. Отложите мне «Шиповник» и «Землю». Кстати, есть у вас «Любовь в природе» Бельше? Чье издание? Сытина? Нет, я бы хотел саблинское. Потом, нет ли «Дети греха» Катюль Мендеса? Только, ради Бога, не «Сфинкса» — у них перевод довольно неряшлив. А это что? Недурное издание. Конечно, Голике и Вильборг? Ну, нашли тоже, что роскошно издавать: «Евгений Онегин» всякий все равно наизусть знает. А чьи иллюстрации? Самокиш-Судковской? Сладковаты. И потом формат слишком широкий: лежа читать неудобно!..

Этап второй (1920 год)

— Барышня! Я записал по каталогу вашей библиотеки 72 названия — и ни одного нет. Что ж мне делать?

— Выберите что-нибудь из той пачки на столе. Это те книги, что остались.

— Гм! Вот три-четыре более или менее подходящие: «Описание древних памятников Олонецкой губернии», «А вот и она — вновь живая струна», «Макарка Душегуб» и «Собрание речей Дизраэли (лорда Биконсфилда)»23...

— Ну, вот и берите любую.

— Слушайте... А «Памятники Олонецкой губернии» — интересная?

— Интересная, интересная. Не задерживайте очереди.

Этап третий

— Слышали новость?!!

— Ну, ну?

— Ивиковы у себя под комодом старую книгу нашли! Еще с 1917 года завалялась! Везет же людям. У них по этому поводу вечеринка.

— А как называется книга?

— Что значит как: книга! 480 страниц! К ним уже записались в очередь Пустошкины, Бильдяевы, Россомахины и Партачевы.

— Побегу и я.

— Не опоздайте. Ивиковы, кажется, собираются разорвать книгу на 10 тоненьких книжечек по 48 страниц и продать.

— Как же это так: без начала, без конца?

— Подумаешь — китайские церемонии.

Этап четвертый

Публикация:

«Известный чтец наизусть стихов Пушкина ходит по приглашению на семейные вечера — читает всю „Полтаву“ и всего „Евгения Онегина“. Цены по соглашению. Он же дирижирует танцами и дает напрокат мороженицу».

Разговор на вечере:

— Слушайте! Откуда вы так хорошо знаете стихи Пушкина?

— Выучил наизусть.

— Да кто ж вас выучил: сам Пушкин, что ли?

— Зачем Пушкин. Он мертвый. А я, когда еще книжки были, — так по книжке вызубрил.

— А у него почерк хороший?

— При чем тут почерк? Книга напечатана.

— Виноват, это как же?

— А вот делали так: отливали из свинца буквочки, ставили одну около другой, мазнут сверху черной краской, приложат к белой бумаге да как даванут — оно и отпечатается.

— Прямо чудеса какие-то! Не угодно ли присесть! Папиросочку! Оля, Петя, Гуля — идите послушайте, мусье Гортанников рассказывает, какие штуки выделывал в свое время Пушкин! Мороженицу тоже лично от него получили?

Этап пятый

— Послушайте! Хоть вы и хозяин только мелочной лавочки, но, может быть, вы поймете вопль души старого русского интеллигента и снизойдете.

— А в чем дело?

— Слушайте... Ведь вам ваша вывеска на ночь, когда вы запираете лавку, не нужна? Дайте мне ее почитать на сон грядущий — не могу заснуть без чтения. А текст там очень любопытный — и мыло, и свечи, и сметана — обо всяком таком описано. Прочту — верну.

— Да... все вы так говорите, что вернете. А намедни один тоже так-то вот — взял почитать доску от ящика с бисквитами Жоржа Бормана, да и зачитал. А там и картиночка и буквы разные... У меня тоже, знаете ли, сын растет!..

Этап шестой

— Откуда бредете, Иван Николаевич?

— А за городом был, прогуливался. На виселицы любовался, поставлены у заставы.

— Тоже нашли удовольствие: на виселицы смотреть!

— Нет, не скажите. Я, собственно, больше для чтения: одна виселица на букву «Г» похожа, другая — на «И» — почитал и пошел. Все-таки чтение — пища для ума.

РУССКИЙ В ЕВРОПАХ

Летом 1921 года, когда все «это» уже кончилось, — в курзале одного заграничного курорта собралась за послеобеденным кофе самая разношерстная компания: были тут и греки, и французы, и немцы, были и венгерцы, и англичане, один даже китаец был...

Разговор шел благодушный, послеобеденный.

— Вы, кажется, англичанин? — спросил француз высокого бритого господина. — Обожаю я вашу нацию: самый дельный вы, умный народ в свете.

— После вас, — с чисто галльской любезностью поклонился англичанин. — Французы в минувшую войну делали чудеса... В груди француза сердце льва.

— Вы, японцы, — говорил немец, попыхивая сигарой, — изумляли и продолжаете изумлять нас, европейцев. Благодаря вам, слово «Азия» перестало быть символом дикости, некультурности...

— Недаром нас называют «немцами Дальнего Востока», — скромно улыбнувшись, ответил японец, и немец вспыхнул от удовольствия, как пук соломы.

В другом углу грек тужился, тужился и, наконец, сказал:

— Замечательный вы народ, венгерцы!

— Чем? — искренно удивился венгерец.

— Ну, как же... Венгерку хорошо танцуете. А однажды я купил себе суконную венгерку, расшитую разными этакими штуками. Хорошо носилась! Вино опять же; нарезаться венгерским — самое святое дело.

— И вы, греки, хорошие.

— Да что вы говорите?! Чем?

— Ну... вообще. Приятный такой народ. Классический. Маслины вот тоже. Периклы всякие.

А сбоку у стола сидел один молчаливый бородатый человек и, опустив буйную голову на ладони рук, сосредоточенно печально молчал.

Любезный француз давно уже поглядывал на него. Наконец, не выдержал, дотронулся до его широкого плеча:

— Вы, вероятно, мсье, турок? По-моему, — одна из лучших наций в мире!

— Нет, не турок.

— А кто же, осмелюсь спросить?

— Да так, вообще, приезжий. Да вам, собственно, зачем?

— Чрезвычайно интересно узнать.

— Русский я!!

Когда в тихий дремлющий летний день вдруг откуда-то сорвется и налетит порыв ветра, как испуганно и озабоченно закачаются, зашелестят верхушки деревьев, как беспокойно завозятся и защебечут примолкшие от зноя птицы, какой тревожной рябью вдруг подернется зеркально-уснувший пруд!

Вот так же закачались и озабоченно, удивленно защебетали венгерские, французские, японские головы; так же доселе гладкие зеркально-спокойные лица подернулись рябью тысячи самых различных взаимно борющихся между собою ощущений.

— Русский? Да что вы говорите? Настоящий?

— Детки! Альфред, Мадлена! Вы хотели видеть настоящего русского — смотрите скорее! Вот он, видите, сидит.

— Бедняга!

— Бедняга-то бедняга, да я давеча, когда расплачивался, бумажник два раза вынимал. Переложил в карманы брюк, что ли?

— Смотрите, вон русский сидит.

— Где, где?! Слушайте, а он бомбу в нас не бросит?

— Может, он голодный, господа, а вы на него вызверились. Как вы думаете, удобно ему предложить денег?

— Немца бы от него подальше убрать. А то немцы больно уж ему насолили... как бы он его не тово!

Француз сочувственно, но с легким оттенком страха жал ему руку, японец ласково с тайным соболезнованием в узких глазках гладил его по плечу, кое-кто предлагал сигару, кое-кто плотней застегнулся. Заботливая мать, захватив за руки плачущего Альфреда и Мадлену, пыхтя, как буксирный пароход, утащила их домой.

— Очень вас большевики мучили? — спросил добрый японец.

— Скажите, а правда, что в Москве собак и крыс ели?

— Объясните, почему русский народ свергнул Николая и выбрал Ленина и Троцкого? Разве они были лучше?

— А что такое взятка? Напиток такой или танец?

— Правда ли, что у вас сейфы вскрывали? Или, я думаю, это одна из тысячи небылиц, распространенных врагами России... А правда, что, если русскому рабочему запеть «Интернационал»,— он сейчас же начинает вешать на фонаре прохожего человека в крахмальной рубашке и очках?

— А правда, что некоторые русские покупали фунт сахару за пятьдесят рублей, а продавали за тысячу?

— Скажите, совнарком и совнархоз опасные болезни? Правда ли, что разбойнику Разину поставили на главной площади памятник?

— А вот, я слышал, что буржуазные классы имеют тайную ужасную привычку, поймав рабочего, прокусывать ему артерию и пить теплую кровь, пока...

— Горит!! — крикнул вдруг русский, шваркнув полупудовым кулаком по столу.

— Что горит? Где? Боже мой... А мы-то сидим...

— Душа у меня горит! Вина!! Эй, кельнер, камерьере, шестерка — как тебя там?!

Волоки вина побольше! Всех угощаю!! Поймете ли вы тоску души моей?! Сумеете ли заглянуть в бездну хаотической первозданной души славянской. Всем давай бокалы. Эх-ма! «Умру, похоро-о-нят, как не жил на свете»...

Сгущались темно-синие сумерки.

Русский, страшный, растрепанный, держа в одной руке бутылку Поммери-сек, а кулаком другой руки грозя заграничному небу, говорил:

— Сочувствуете, говорите? А мне чихать на ваше такое заграничное сочувствие!! Вы думаете, вы мне все, все, сколько вас есть,— мало крови стоили, мало моей жизни отняли? Ты, немецкая морда, ты мне кого из Циммервальда прислал? Разве так воюют? А ты, лягушатник, там... «Мон ами, да мон ами, бон да бон», а сам взял да большевикам Крым и Одессу отдал. Разве это боновое дело? Разве это фратерните? Разве я могу забыть? А тебе разве я забуду, как ты своих носатых китайских чертей прислал — наш Кремль поганить, нашу дор... доррогую Россию губить, а? А венгерец... тоже и ты хорош: тебе бы мышеловками торговать да венгерку плясать, а ты в социалистические революции полез, Бела Кунов, черт их подери, на престолы сажать... а? Ох, горько мне с вами, ох, тошнехонько... Пить со мной мое вино вы можете сколько угодно, но понять мою душеньку?! Горит внутри, братцы! Закопал я свою молодость, свою радость в землю сырую... «Умру-у, похоронят, как не-е жил на свете!»

.....

И долго еще в опустевшем курзале, когда все постепенно, на цыпочках, разошлись,— долго еще разносились стоны и рыдания полупьяного одинокого человека, непонятного, униженного в своем настоящем трезвом виде и еще более непонятного в пьяном... И долго лежал он так, неразгаданная мятущаяся душа, лежал, положив голову на ослабевшие руки, пока не подошел метрдотель:

— Господин... Тут счет.

— Что? Пожалуйста! Русский человек за всех должен платить! Получите сполна.

ОСКОЛКИ РАЗБИТОГО ВДРЕБЕЗГИ

Оба они сходятся у ротонды севастопольского Приморского бульвара, перед закатом, когда все так неожиданно меняет краски: море из зеркально-голубого переходит в резко-синее, с подчеркнутым под верхней срезанной половинкой солнца горизонтом; солнце из ослепительно-оранжевого превращается в огромный полукруг, нестерпимо красного цвета; а спокойное голубое небо, весь день томно дрожавшее от ласк пылкого зноя, к концу дня тоже вспыхивает и загорается ярким предвечерним румянцем, — одним словом, когда вся природа перед отходом ко сну с неожиданной энергией вспыхивает новыми красками и хочет поразить пышностью, тогда сходятся они у ротонды, садятся они на скамеечку под нависшими ветвями маслины и начинают говорить...

У одного красивый старческий профиль чрезвычайно правильного рисунка, маленькая белая, очень чистенькая бородка и черные, еще живые, глаза. Он петербуржец, бывший сенатор, на всех торжествах появлялся в шитом золотом мундире и белых панталонах; — был богат, щедр, со связями. Теперь на артиллерийском складе поденно разгружает и сортирует снаряды.

Другой — маленький рыжий старичок, с бесцветным петербургским личиком и медлительными движениями человека, привыкшего повелевать. Он был директором огромного металлургического завода, считавшегося первым на Выборгской стороне. Теперь он — приказчик комиссионного магазина и в последнее время приобрел даже некоторую опытность в оценке поношенных дамских капотов и плюшевых детских медведей, приносимых на комиссию.

Сойдясь и усевшись друг против друга, они долго молчат, будто раскачиваясь; да и в самом деле раскачивают головами, как два белых медведя во время жары в бассейне Зоологического сада.

Наконец, первым раскачивается сенатор:

— Резкие краски, — говорит он, указывая на горизонт. — Нехорошо.

— Аляповато, — укоризненно соглашается приказчик комиссионного магазина. — Все краски на палитре не смешаны, все краски грубо подчеркнуты.

А помните наши петербургские закаты...

— Ну!!

— Небо — розовое с пепельным, вода — кусок розового зеркала, все деревья — темные силуэты, как вырезанные. Темный рисунок Казанского собора на жемчужном фоне...

— И не говорите! Не говорите! А когда зажгут фонари Троицкого моста...

— А кусочек канала, где Спас на Крови...

— А тяжелая арка в конце Морской, где часы...

— Не говорите!

— Ну скажите: что мы им сделали? Кому мы мешали?

— Не говорите!

* * *

Оба старика поникают головами... Потом один из них снова распускает белые паруса сладких воспоминаний и несется в быстрой чудесной лодке, убаюкиваемый — все назад, назад, назад...

— Помните постановку «Аиды» в Музыкальной драме?

— Да уж Ланицкий был — ловкая шельма! Умел сделать. Бал у Лариных, например, в «Онегине», а?

— А второй акт «Кармен»?

— А оркестр в «Мариинке»? Помните, как вступят скрипки да застонут виолончели — Господи, думаешь: где же это я — на земле или на небе?

— Ах, Направник, Направник!..

Сенаторская голова, седая голова с профилем римского патриция, никнет...

Рядом два восточных человека, в изумительно выутюженных белых костюмах и безукоризненных воротничках, тоже перебрасываются тихими фразами:

— С утра только я и успел взять из таможни 7 ящиков лимонов и 12 спичек. Понимаешь?

— А Амбарцун?

— Амбарцуна мануфактурой завалили.

— А Вилли Ферреро в Дворянском Собрании?! Это Божье чудо, это будто Христос в детстве вторично спустился на землю!.. Половина публики тихо рыдала...

— А что с какао?

— Амбарцуна какаом завалили.

— Чего я никогда уже, вероятно, не услышу, — это игры Гофмана...

— А помните, как Никиш...

Из ресторана ветерок доносит дразнящий запах жареного мяса.

— Вчера с меня за отбивную котлету спросили 8 тысяч...

— А помните «Медведя»?

— Да. У стойки. Правда, рюмка лимонной водки стоила полтинник, но за этот же полтинник приветливые буфетчики буквально навязывали вам закуску: свежую икру, заливную утку, соус кумберленд, салат оливье, сыр из дичи.

— А могли закусить и горяченьким: котлетками из рябчика, сосисочками в томате, грибочками в сметане... Да!!! Слушайте — а расстегаи?!

— Ах, Судаков, Судаков!..

— Мне больше всего нравилось, что любой капитал давал тебе возможность

войти в соответствующее место: есть у тебя 50 рублей — пойди к Кюба, выпей рюмочку мартеля, проглоти десяток устриц, запей бутылочкой шабли, заешь котлеткой даньон, запей бутылочкой поммери, заешь гурьевской кашей, запей кофе с джинжером... Имеешь 10 целковых — иди в «Вену» или в «Малый Ярославец». Обед из пяти блюд с цыпленком в меню — целковый, лучшее шампанское 8 целковых, водка с закуской 2 целковых... А есть у тебя всего полтинник — иди к Федорову или к Соловьеву: на полтинник и закусишь, и водки выпьешь, и пивцом зальешь...

— Эх, Федоров, Федоров!.. Кому это мешало?..

— А летом в «Буфф» поедешь: музыка гремит, на сцене Тамара «Боккаччо» изображает... Помните? Как это она: «Так надо холить по-о-чку»... Ах, Зуппе! Ах, Оффенбах!..

Восточные человеки наговорились о своих делах, прислушиваются к разговору сенатора и директора завода. Слушают, слушают — и полное непонимание на их лицах, украшенных солидными носами... На каком языке разговор?..

— А «Маскотта»? «Сядем в почтовую карету, скорей»... А Джонсовская «Гейша»?.. «Глупо, наивно попала в сети я»...

— Ну!.. А «Луна-Парк»!

— А Айседора!

— А премьеры в Троицком или в Литейном!!

— А пуант с Фелисьеном и ужинами под румын, у воды!..

— А аттракционы в Вилла Роде?

— А откровения психографолога Моргенштерна! Хе-хе...

— А разве лезло утром кофе в горло без «Петербургской газеты»?!

— Да! С романом Брешки внизу! Как это он: «Виконт надел галифе, засунул в карман парабеллум, затянулся „Боливаром“, вскочил на гунтера, дал шенкеля и поскакал к авантюристу Петко Мирковичу!» Слова-то все какие подобраны, хе-хе...

— А «Сатирикон» по субботам! С утра торопишь Агафью, чтобы сбегала за угол за журналом...

— А премьеры Андреевских пьес... Какое волнующее чувство.

— А когда художественники приезжали...

И снова склоненные головы, и снова щемящий душу рефрен:

— Чем им мешало все это...

Подходит билетер с книжечкой билетов и девица с огромным денежным ящиком.

— Возьмите билеты, господа...

— Мы... это... нам не надо. Почем билеты?

— По пятьсот...

— Только за то, чтобы посидеть на бульваре?! Пятьсот?..

— Помилуйте, у нас музыка...

— Пойдем, Алексей Валерьяныч...

Понурившись, уходят.

У выхода приостанавливаются.

— А наш Летний сад, помните? Эти дряхлые статуи, скамеечки... Музыка тоже играла...

— А «Канавка у Дворца». «Уж полночь, а Германна все нет»! Какие голоса были!.. Ах, Лиза, Лиза...

.....

— За что они Россию так?..

РАССКАЗЫ

ВЕЛИКИЙ ПИСАТЕЛЬ ЗЕМЛИ РУССКОЙ У ЛЬВА ТОЛСТОГО

К. Бальмонт рассказывает в «Весах»
о своем посещении Ясной Поляны:
«Великий старик добрым голосом говорил, подтрунивая:
„А вы все декадентские стихи пишете? Нехорошо, нехорошо“.
Я ему прочел „Аромат Солнца“, а он...
беззвучно посмеивался и приговаривал:
„Ах, какой вздор! Аромат Солнца. Ах, какой вздор“.
Он... попросил прочесть еще что-нибудь. Я прочел...
Лев Толстой притворился, что
и это стихотворение ему совершенно не нравится».

...Когда меня допустили к нему, я ласково хлопнул его по плечу и спросил:

— Ну что, брат Толстой!?

На что он — большой оригинал — ответил, притворяясь не совсем польщенным моим визитом:

— Так как-то все... Надоедают очень!

Я, желая чем-нибудь обрадовать великого старика (его так мало что радует), пообещал:

— Ну, уж так и быть... Прочту свои стихи! Что уж с вами делать!..

Едва сдерживая душившую его радость, он, притворяясь хладнокровным, сказал:

— Может быть, стишки бы того... по боку! А?|

— Э, нет! — воскликнул я, ловким движением опрокидывая его в кресло и наступая ему на ноги. — Так вам будет удобнее слушать!

Великий старик застонал от восхищения, но, когда я ему прочел заглавие: «Аромат Солнца», притворился равнодушным и усмехнулся:

— Боже ты мой, какой вздор!!!

По мере чтения его врожденная шутливость и природный юмор возрастали и на третьем стихотворении великий старик закричал хриплым голосом, притворяясь испуганным:

— Эй, люди! Сюда... Ко мне!!!

Вбежало несколько человек прислуги.

— Уведите этого человека и устройте, чтобы он скорее уехал! — попросил он, притворяясь негостеприимным.

— А я вам еще хотел прочесть свой: «Скрежет Млечного Пути»...

Притворяясь, что заглавие этого стихотворения кажется ему не совсем удачным, великий старик запустил в меня маленькой скамеечкой для ног и вскричал, тщательно скрывая свое преклонение перед мощью моего таланта:

— Отказываюсь раз навсегда от своей вздорной теории «О непротивлении злу»!!!

Так перед грандиозностью гения рушатся мелкие вздорные теории.

. . . . . .

Когда я ехал обратно, то возница притворился, что хочет получить с меня за проезд деньги, а станционный кассир сделал вид человека, принимающего меня за сумасшедшего.

НА ЛОНЕ ПРИРОДЫ

Московский богач Х. учрежд. постоян. стипендии
для молодых беллетристов, которые пожелали бы
поселиться временно в деревне
для изучения крестьянского быта.
Издание произведений своих стипендиатов
он принимает на свой счет.
«Своб. Мысли».

Уезжали смелые, бодрые, сильные.

У всех был большой запас провианта, географические карты, компасы, словари Даля, все запаслись сосновыми фуфайками и бутылями тройного одеколона от Ралле.

Сели в поезд смелые, бодрые, сильные.

Меценат перецеловал всех, перекрестил и уже, стоя на перроне советовал:

— Вы на быт, на быт больше напирайте.

Обещали напирать на быт.

Еще сидя в мчавшемся поезде, решили начать изучение и знакомство с соседями.

Александр Блок подсел к старичку, священнику и отрекомендовался:

— Я Блок. Может, знаете?

— Как же-с! Вас по имени как зовут: Генрих или Жорж? Так, как будто, Генрих скончались?!

Блок пересел на другую скамью.

Рукавишников говорил корявому мужичонке:

— Я Рукавишников. Слыхал?

— Ага. Так. Не из Зарайских будете, ваша милость?

Из темного угла, где сидел Арцыбашев, послышался женский визг и сердитый возглас:

— Да куда вы руками-то! Охальники... А еще в клетчатом пальте!

Кузмин влез на верхнюю койку и через минуту какой-то невидимый мужчина зарычал басом оттуда:

— Виноват, молодой человек! Вы, кажется, ошиблись адресом!..

Так оживленно и весело совершали свой путь «молодые»

. . . . . .

По приезде на место с урядником села Разрухина пришлось долго объясняться о цели прибытия.

— Вы понимаете, мы, вроде как бы стипендиаты... из модернистов! присланы меценатом, относительно быта.

Рукавишников привлек внимание урядника:

— А этот... рыжий — тоже с вами? Ты чего, борода, приехал? Вы бы его не таскали, ишь он какой мореный!

По уходе бытописателей они были отмечены, кроме фамилий, профессиями: Кузмин — «меценат», Блок — «стипендиат», Арцыбашев — «модернист» и Рукавишников — «рыжий человек — приглядывать особо».

* * *

Для первой экскурсии им дали в проводники Микешку Моргуна, мужика на путное дело негодящего.

Он решил сначала повести экскурсантов на выгон.

— Вот видите выгон. А то вон избы.

Кузмин пришел в восхищение.

— Как это все натурально! Как на картине.

Блок вдруг испуганно схватил Микешку за руку:

— Смотрите, что это там стоит?!

— Это? Корова, ваша честь. Сысоевская.

— Но ведь оно живое! Видите — шевелится?!

— А чего ж ей. Траву лопает. Киш, подлая!

— Скажите, а она... не кусается?

Микешка скосил глаза в сторону и вдруг таинственно зашептал:

— Это когда как. Они — коровы злые. Намедни двух баб одна задрала. Васятку Кочергеевского живьем, почитай, слопала.

Все инстинктивно сдвинулись ближе.

Потом пошли на поле.

— Смотрите, мужик ходит и что-то рассыпает... Что это он?

— Хлеб сеет, ваше благородие.

— Ах, это интересно.

Кузмин посмотрел на часы.

— А что он, как это называется... косит? Косить скоро будет?

Микешка юмористически взглянул на солнце.

— Никак нет. Солнце, гляди, еще высоко!

Когда подошли к ветряной мельнице, Арцыбашев блеснул знанием деревни:

— Вот это мельница, господа. Названа так потому, что мелет хлеб, булки и калачи.

— Скажите, Микешка, чем она приводится в движение?

— Пружиной. Заведут ключиком и пойдет чесать.

Кузмин вздохнул и сказал:

— Посмотрел на эти крылья и вспомнил город... Пойдемте, друзья мои, дальше.

* * *

Возвращаясь, встретили на улице какого-то унылого, лениво бредущего мужика.

Микешка дружески поздоровался с ним и спросил, подмигнувши:

— В волость?

— В ее.

— Сечься?

— А то что же!

Микешка отрекомендовал мужика:

— Вот, ваши благородия, мужик. Сечься идет в волость. За промашку одну.

Арцыбашев сказал с завистью:

— Везет Сологубу в России. Его пропаганда самосечения проникла даже в самую толщу народа.

* * *

Вечером пошли на посиделки.

Сначала было весело и оживленно.

Но когда поэты стали поступать по своим специальностям, дело окончилось дракой.

Блока поколотили за стихи.

Арцыбашева — за девок.

Кузмина известно за что.

Рукавишников сидел очень тихо и, кажется, именно за это на другое утро урядник выслал его из села.

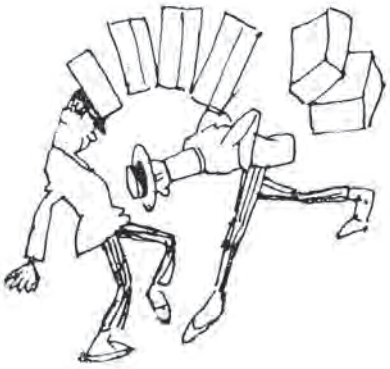
— Тихий что-то очень. Подозрительно. Рыжий — красный, человек опасный... Ступай с Богом!

Через неделю газеты в «календаре писателя» сообщали: «маститые Блок, Кузмин, Рукавишников и Арцыбашев, изучив на месте быт крестьян, выпускают каждый по тому стихов и прозы, посвященных жизни деревни».

КИНЕМАТОГРАФ

Человек, который изобрел кинематограф, думал, вероятно, так:

— Это будет штука, которая отразит человеческую жизнь и природу самым тщательным образом. Если бы современную цивилизацию засыпало пеплом, то, при раскопках, кинематограф, зафиксировав в себе жизнь и быт этого времени, покажет археологам самое типичное и нужное из кинематографического периода...



Этот человек был очень наивен.

Я утверждаю, что будущие археологи останутся в дураках, потому что кинематограф отражает очень странную жизнь.

* * *

Прежде всего, большая половина кинематографических героев — народ близорукий, бестолковый, доверчивый и нелепый.

По улице идет солидный господин и тщательно осматривается, за что бы ему зацепиться. Можно подумать, что цель его прогулки именно в этом.

Он делает большой крюк специально для того, чтобы зацепиться и повалить какую-нибудь лестницу вместе с сидящим на ней штукатуром, и затем, без нужды, переходит улицу, чтобы сбить с ног мальчишку, несущего на голове шляпные коробки...

Но этого ему мало.

Он считает свою прогулку бесцельной, если ему не удалось опрокинуть колясочки с ребенком и свалиться на головы влюбленной парочке.

В обыкновенной жизни такой рассеянный господин принес бы всем потерпевшим свои извинения. Но кинематографический герой ни с того, ни с сего начинает удирать во все лопатки.

И вся опрокинутая им публика, т. е. маляр, мальчишка, нянька с ребенком и влюбленная парочка, несутся за ним в погоню, забывши все на свете.

Если бы такой случай произошел у нас на Невском, то вся остальная публика недоумевающе посторонилась бы от несущейся ватаги или задержала ее для водворения в участок.

Но нет ничего отзывчивее кинематографической публики.

Увидя погоню, все моментально забрасывают свои дела и поворачивают вслед за уносящимся рассеянным человеком.

Ничего дурного он им не сделал, да и сами они не знают толком, что случилось, но вся толпа с удивительной готовностью гонится за несчастным.

Начинают они с улицы большого города, перебегают на какое-то поле, несутся через реки, моря, крутые горы и все это, чтобы изловить неизвестного им человека.

Обежав, таким образом, раза три земной шар, они настигают беглеца и начинают его колотить самым беспощадным образом.

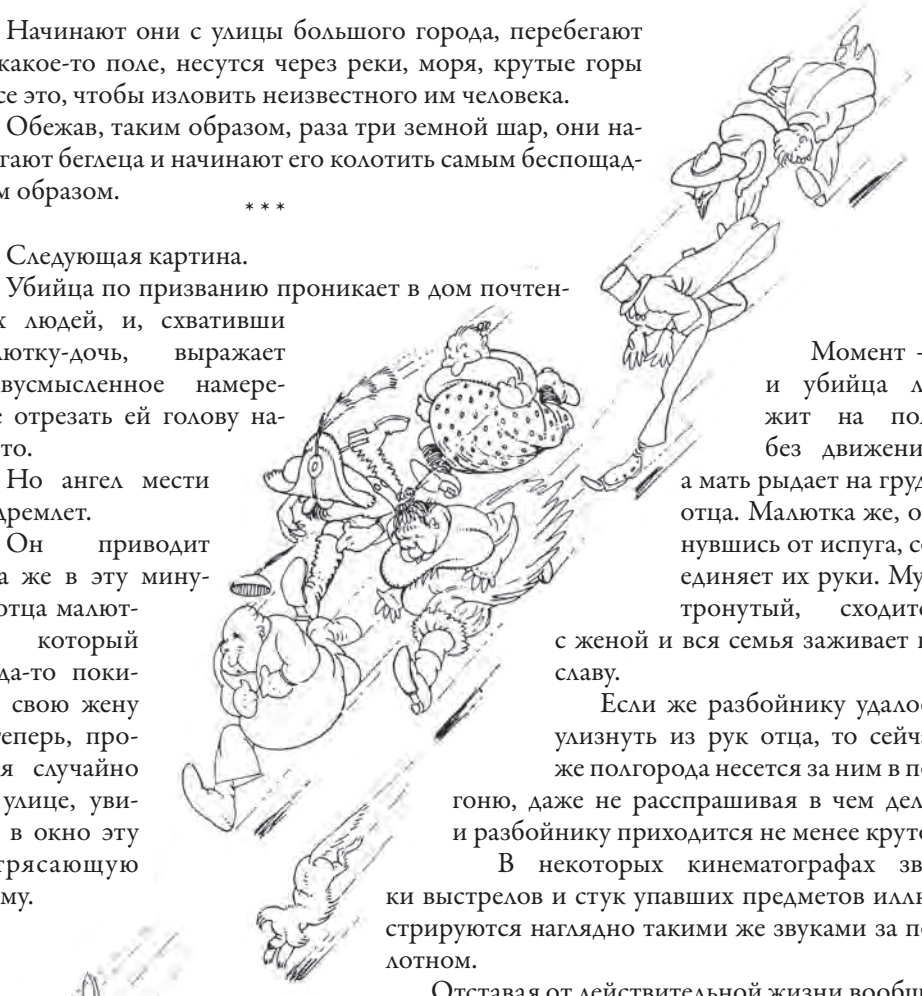
* * *

Следующая картина.

Убийца по призванию проникает в дом почтенных людей, и, схвативши малютку-дочь, выражает недвусмысленное намерение отрезать ей голову начисто.

Но ангел мести не дремлет.

Он приводит туда же в эту минуту отца малютки, который когда-то покинул свою жену и теперь, проходя случайно по улице, увидел в окно эту потрясающую драму.



Момент — и убийца лежит на полу без движения, а мать рыдает на груди отца. Малютка же, очнувшись от испуга, соединяет их руки. Муж тронутый, сходится с женой и вся семья заживает на славу.

Если же разбойнику удалось улизнуть из рук отца, то сейчас же полгорода несется за ним в погоню, даже не расспрашивая в чем дело, и разбойнику приходится не менее круто.

В некоторых кинематографах звуки выстрелов и стук упавших предметов иллюстрируются наглядно такими же звуками за полотном.

Отставая от действительной жизни вообще, кинематограф зато согласуется с физикой.

Звук всегда идет в хвосте света.

Вы видите дымок выстрела, но звук его слышится лишь минуты через две, может быть, благодаря именно тому, что имитатор звуков — большой разиня и его роман с билетершей вечно мешает ему вовремя трахнуть палкой по полу, что знаменует собою выстрел.

Кроме бестолкового имитатора звуков каждый кинематограф считает долгом обзавестись бестолковым пианистом.

Этот жалкий психопат отжаривает веселый галоп в то время, когда на экране умирает от ножа убийцы дочь стрелочника, и играет похоронный марш при погоне толпы за мальчишкой, укравшем гуся.

Вероятно, он считает уместным развеселить публику в первом случае и нагнать на нее тихую грусть во втором.

* * *

Однажды мы с приятелем, насмотревшись веселых и забавных шуток в кинематографе, вышли на улицу.

Будучи всецело под впечатлением проказ веселых студентов, приятель опрокинул лестницу, наверху которой стоял фонарщик, и сбил с ног проходившего городового, а я сел верхом на извозчичью лошадь и, подхватив с тротуара неизвестную старуху, поскакал со своей ношей галопом куда глаза глядят.

И мы вовсе не неслись так через поля, леса и луга и за нами никто посторонний, кроме городового, не бежал.

И на углу улицы нас изловили, а потом составили протокол.

И ничего в этом не было забавного, ничего не было такого, что хотя бы немного напоминало кинематограф.

НАСТОЯЩИЕ ПАРНИ

Глава I. Знакомство

Чуть-чуть не упал!

— Чуть-чуть не считается.

Этими знакомыми каждому бильярдному игроку тривиальными возгласами обменялись двое играющих: маркер и приятный господин с быстрыми черными глазами и уверенными манерами.

Я выждал, пока они кончили партию, и, поклонившись приятному господину, сказал:

— Не желаете ли со мной одну?

— Пожалуйста. В пирамидку, по 5 рублей.

— Сделайте одолжение.

Чувствуя к нему непобедимую симпатию, я ласково улыбнулся и стал выбирать кий.

Первую партию я проиграл. С добродушной приветливостью он согласился на вторую, которую проиграл я же. Потом, ему, очевидно, неловко было отказывать мне в продолжении игры, и я проиграл девять партий, заплатив все, что у меня было в бумажнике.

Господин смотрел на меня очень сочувственно и, когда я снял с пальца бриллиантовое кольцо, он долго уговаривал меня не делать этого.

Но во мне заговорил игрок. Это воображаемое беспокойное существо заговорило во мне так сильно, что пришлось заткнуть ему глотку золотыми часами и двумя брелоками.

После этого игрок во мне уже не говорил, а вопил благим матом.

Я обшарил карманы и, не найдя в них ничего, кроме мелочи, решительно подошел к вешалке.

— Пальто! — предложил я.

Он ответил лаконически:

— Нет. Холодно. Замерзнете.

Дрожа от нетерпения, я лихорадочными руками сжал голову.

— Вот что... У вас есть слуга?

— Нет! — сказал он, смотря на меня.

— Ставлю месяц своих услуг у вас в качеств камердинера или чего другого — против двадцати пяти рублей.

Наморщив брови, господин решительно подошел ко мне.

— Покажите руки! Ого... Мускулы есть. Работать все умеете? Неприхотливы? Сигар воровать не будете? Ладно. Месяц службы у меня идет в двадцати пяти рублях. Пища моя.

Я старался играть как можно осторожнее и лучше, но он играл с диким вдохновением и выиграл у меня эту партию так же, как и предыдущие, очень быстро.

Я хотел предложить еще месяц службы, но он бросил кий и строго сказал:

— Баста! В качестве хозяина запрещаю вам предлагать мне продолжение игры. Как вас зовут?

— Григорием, — почтительно ответил я.

— Ладно. Я тебя буду называть Гарри. Гарри! Возьми платяную щетку и счисти с меня мел.

Я почистил его платье, подал пальто, и мы вышли, незнакомые еще друг с другом, чужие...

Я был молчалив и шагал сзади, усталый, перемазанный мелом, а он легкой молодцеватой походкой шел впереди, насвистывая прекрасный мелодичный мотив.

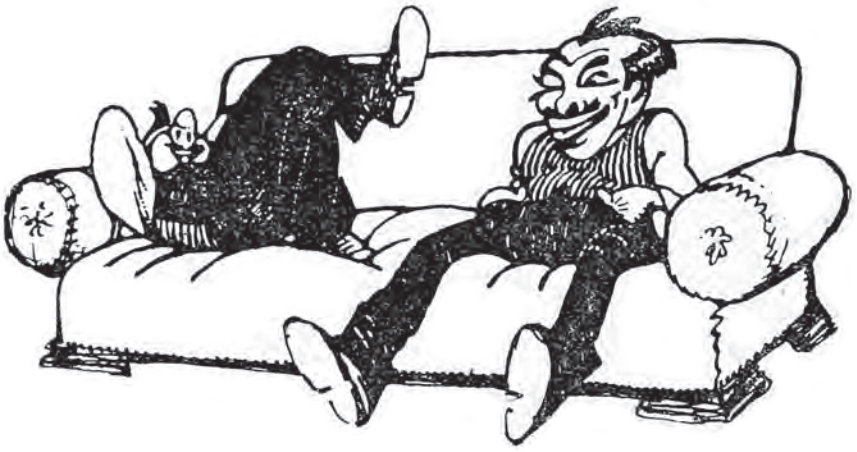
Мы пришли в лучшую гостиницу города. Непосредственно за этим очутились в прекрасном номере из двух комнат, служившем, очевидно, моему хозяину временной квартирой.

Я снял с него пальто и остановился у дверей.

Он развалился на диване, забросил ноги на его спинку и сказал:

— Гарри!

— Что угодно?



— Ты мне нравишься, Гарри. Сегодня я хочу поужинать с тобой, причем разрешаю держать себя со мной, как с равным. Слуга на сегодня — к черту!

Я подошел к другому дивану, лег на него, задравши ноги и весело сказал:

— А каким ужином ты бы меня, милый человек, накормил? Э?

— Позвони, пожалуйста, мы сейчас обсудим это с метрдотелем.— Кнопка у дверей.

— Позвони, пожалуйста, лучше ты. Я дьявольски устал. Кнопка у дверей...

* * *

Через десять минут мы сидели за прекрасным, обильным ужином.

Мой хозяин, которого на сегодня мне было разрешено называть Мишей, был мил, добродушен и джентльменски вежлив.

— Гарри! — повторял он, наливая мне вина, — ты настоящий парень.

В знак благодарности, я небрежно кивал головой.

— Может, ты, Гарри, интересуешься знать кто я такой? Я, брат, уфимский помещик Михаил Петрович Дыбин. Да... Помещик я. Две тысячи десятин земли, имение, мельница, образцовый питомник.

Я равнодушно зевнул.

— Две тысячи? Удобной много?

— Много.

Он помолчал, подлил мне вина, и, потом, положив свою руку на мою, весело воскликнул:

— Нравишься ты мне, Гарри. Ты — настоящий парень. Знаешь, Гарри, соврал я тебе. Никакой я не помещик, и земли у меня удобной нет. В этом смысле вся земля нашей планеты для меня неудобная, потому что не моя. Меня смешит: откуда это я про питомник взял? Скажешь и сам не знаешь, как это оно вышло.

— Ничего, Миша, — улыбнулся я. — Ты меня не обидел этим.

Мы чокнулись.

— Да, брат. Где там быть мне помещиком... Живу я с того, что имею в Тифлисе дом. Купец я. Домина доходный, на Арнаутской улице... Только управляющий жулик.

— А ты его прогони, — посоветовал я, разрезая рябчика.

— Прогоню, — пообещал Миша.

Потом, выпив залпом стакан хереса, он хлопнул меня по плечу и залился хохотом.

— Гарри! А ведь это я тебе соврал. Врешь вот и сам не знаешь — зачем? Никакой я не купец и не помещик, и дома у меня нет, и насчет управляющего я не имею права сказать дурного слова, потому что управляющего-то нет... Гарри! Ты, я вижу, стоящий парень и без предрассудков... Знаешь, кто я?

— Генерал от инфантерии? — добродушно спросил я.

— Вор, Гарри, самый настоящий профессиональный вор! Но я этим, Гарри, не горжусь. Гордость — скверное мелкое чувство ничтожных натур!

Он закатился хохотом.

— Тогда, — сказал я, вставая, — я должен перед тобой извиниться... Я принимал тебя, признаться, за парня другого склада. Если так, то получай.

Я вынул из своего кармана золотые часы с его монограммой и жемчужную булавку, которая во время игры украшала его галстук.

Он удивленно посмотрел на меня, схватился за карман, за галстук и потом крепко пожал мою руку.

— Спасибо. В таком случае, я, по справедливости, должен вернуть тебе твое кольцо и часы. Потому что, хотя они тобой и проиграны, но, главным образом, потому, что я потихоньку переложил пару твоих шаров к себе.

— Каких? — спросил я деловым тоном.

— 14 и 10.

— Гм... Тогда я отбираю, конечно, часы. Потому что, хотя я тоже переложил к себе, когда ты зазевался, два твоих шара, но это были 9 и 7. Разница в мою пользу!

Мы помолчали.

— Ты, однако, хорошо устроился!

— Опыт, Гарри, опыт! Когда я приезжаю в какой-нибудь город — мне нужен только тяжелый чемодан и три рубля. Я еду в лучшую гостиницу и, первым долгом ни с того, ни с сего, бросаю швейцару на чай последние три рубля. Затем требую самый дорогой номер. По гостинице разносится дураком-швейцаром слух, что приехал дьявольский богач. Непосредственно затем я спускаюсь в ресторан при гостинице, требую ужин, вина, фруктов, сигар — так рублей на двадцать. Это для того, чтобы сразу задолжать хозяину, и ему будет жаль потом со мной расстаться. Эти дураки всегда льстят себя надеждой получить долг.

Ну, а потом... когда мне больше невмоготу — я бросаю свой чемодан на произвол судьбы и еду в другую гостиницу.

Он добродушно улыбнулся.

— Из всех кирпичей, которые после моего отъезда обнаруживались в чемоданах, можно было бы к моему юбилею построить небольшой, но доходный домик, хотя бы на Арнаутской улице.

Мы проболтали до поздней ночи.

Ложась спать, хозяин сказал мне:

— Гарри! Ты любишь женщин?

— Женщины — зло! Но я никогда не желал себе добра.

— Гарри! Недавно я вступил с одной рябой кухаркой в преступную связь. Меня, нужно тебе сказать, привлекает не приятная шероховатость ее лица при поцелуях, а ее господа, и, главным образом, те маленькие штучки, которые лежат в столике спальной комнаты госпожи.

— Я тебе нужен буду? — кратко спросил я.

— Да. Завтра господа уезжают в театр или еще куда-то. Пока я буду предаваться с кухаркой изнеженности нравов, ты можешь совершить поступок, недостойный джентльмена, — войти в спальню честной женщины.

— Сделано! — пообещал я, засыпая.

Я спал спокойно. Мне и не грезились те странные, непостижимые, неожиданные вещи, которые случились со мной сутки спустя...

Глава II. Дело

Притворяясь лихим, веселым парнем без предрассудков, я должен сознаться, что втайне страшно побаиваюсь: а что если читатель отнесется ко мне не с благосклонной улыбкой, а с отвращением и гадливостью?..

Мне это было бы ужасно больно.

Поймете ли вы меня, когда я скажу, что у меня не поднялась бы рука убить муху... Но если бы у той же мухи звенел в кармане кошелек и по желтому брюшку змеилась часовая цепь — я лишил бы собственницу этих сокровищ времени и денег.

Будь это американская муха, она была бы ужасно огорчена пропажей, потому что уж это известно: для американцев дороже всего время и деньги.

Если вдуматься в мое поведение серьезно, то ничего особенно предосудительного в нем и не было... Дебютировал я бумажником одного солидного на вид господина. Но наружность обманчива! Целый вечер я потерял на чтение глупейших любовных писем, среди которых довольно сомнительную ценность представляла просроченная ломбардная квитанция... И золотые часы, вытащенные вскоре после этого, у другого господина, оказались самой наглой возмутительной подделкой. Рассмотрев их хорошенько, я немедленно вручил эту машину незнакомому мальчишке, уронившему на улице бутыль с молоком и оравшему так, будто он расколол себе череп.

Исполнив свой долг и оправдавшись перед читателями, перехожу к вечеру следующего за нашим знакомством с Дыбиным дня.

* * *

— Гарри! — сказал мне Дыбин, когда мы шагали к предмету пылкой его привязанности — кухарке, носившей на лице пустяковые остатки черной оспы. — Ты не осуждаешь меня за связь с женщиной не нашего круга?

Я протянул ему руку.

— Нет, Миша! Ты должен только возвысить ее до себя.

— Ладно. Только, если я не ухитрюсь проделать это сегодня — я вообще не сделаю этого, потому что сегодня мне хочется провести то, что банковские деятели называют «ликвидация предприятия».

Когда мы вошли в кухню, то были встречены с тем энтузиазмом и пылкостью, которые приобретаются лишь долголетним дежурством у плиты.

У кухарки была гостья — прачка из ресторана, но это наших планов не портило.

Дыбин взял меня под руку и, расшаркавшись перед дамами, сказал:

— Хотя в свет не принято приводить к очаровательным хозяйкам друзей, которые могут отбить этих хозяек (мелодичный визг кухарки и хихиканье прачки), но я взял на себя такую смелость, потому, что это — мой лучший друг. Он пять раз спасал меня от смерти, не говоря о том, что вынянчил меня! Что? Вы говорите, он моложе меня? Сударыни! Где кричит привязанность, там годы безмолвствуют, как говаривал старик Смит и Вессон! Занимая скромную должность полотера в монакском посольстве, друг мой сохранил ясность мысли и здравость суждений, в чем легко можно убедиться, даже не дотрагиваясь до него руками.

Речь Дыбина лилась, как рокочущий весенний ручей, и дамы не сводили с оратора затуманенных восторгом и преклонением глаз.

Я поклонился с той скромностью, которая выгодно отличала меня в отношениях с людьми и, подойдя к прачке, благожелательно ущипнул ее за локоть.

Такой галантный прием вызвал из уст прачки легкое восклицание восторга. Она кокетливо хлопнула меня по плечу подносом, который до этого застенчиво вертела в руках, и мы сразу почувствовали себя легко и свободно.

Сели, и разговор с житейских и общественных перешел на литературные темы.

— Вы читали «Ника Картера»? — спросила меня прачка, поправляя в волосах элегантный цветок из красной папиросной бумаги.

— Не удосужился еще. Теперь я занят штудированием многотомного труда «Путешествие Гала-Петера к истокам африканской реки Какао-Шуа». Штучка, достойная удивления.

— Не скажу, — поморщился Дыбин. — Лучшие труды по этому сложному вопросу принадлежат не Бетховену, а Анне Чиллаг.

Потом мы пили чай. А когда кухаркины господа уехали и наверху воцарилась тишина, мы стали танцевать.

Вальс танцевали томно и страстно, под заунывный, исполненный прачкой, мотив:

— Тралла-ла-ла-ла...

А потом с огоньком и завидным оживлением протанцевали кадриль.

Дыбин на мотив «По дорожке зимней, скучной» пел Пушкинские слова: «Прибежали в избу дети».

Особенное веселье и бешеная пляска шла под слова:

Безобразный, труп ужасный
Посинел и весь распух...

А после слов:

И в распухнувшее тело
Раки черные впились...

я так развеселился, что сделал, к восторгу дам, замысловатое сальто-мортале.

Усталые, мокрые, сели ужинать и за ужином пили наливку. А потом я встал и печально, но твердо сказал:

— Мне пора!

— Нет уж, посидите еще, — умоляюще попросила кухарка.

Прачка придавила под столом мою ногу и со вздохом сказала:

— Конечно. Мы понимаем. Их ждут дамы в шляпках. Где нам!

— Сударыня! — вскричал я. — Поверьте: ваш образ и подобие навсегда застынут в моем сердце. Кроме вас у меня нет ни одной дамы. Были, но... «Одних уж нет, а те далече», как некогда остроумно выразился Сади Карно... Сударыня... Пожалуйте мне эту розу с ваших волос... Я засушу ее в книжечке для записи расходов.

У кухарки я вежливо поцеловал руку, чем привел ее в восторженное замешательство, а с прачкой дружески и тепло расцеловался... Две чистых, прозрачных слезинки дрожали на ее синих глазах.

Кухарка встала, чтобы выпустить меня в парадную дверь, но Дыбин элегантно обнял ее и решительно сказал:

— Нет, моя жизнь... Ты устала и тебе нужно отдохнуть. Я сам его выпущу. Кроме того, мне нужно сказать ему на прощанье несколько слов, о которых вам, женщинам, нельзя знать.

Он беззаботно потрепал кухарку, тронутую его заботливостью, по спине и вышел со мной в переднюю.

— Ну, Гарри, действуй! Шагами можешь не стесняться, так как я сейчас начну орать песни; только обламывай дельце скорее, потому что *те* могут вернуться каждую минуту. Дай, я тебя поцелую!

Я тихонько снял ботинки и пиджак и пошел по лестнице наверх, в комнаты хозяев, а Дыбин открыл парадную дверь, сказал громко: до свидания! и, захлопнув ее, вернулся в кухню.

* * *

Я бесшумно крался по комнатам и, пройдя столовую и кабинет, без труда нашел спальню хозяев. Другая дверь из нее вела в уборную, в которой горел слабый ночник. Я оставил ботинки и пиджак в уборной, вернулся в спальню и решительно приступил к запертой шифоньерке, где, по словам Дыбина, лежало многое из того, что могло потом скрасить нашу неприхотливую жизнь.

Дыбин не ошибался.

Когда карманы мои оттопырились, я аккуратно задвинул ящик и уже сделал шаг к уборной за ботинками, как внизу послышался звонок, потом шаги кухарки и голоса.

Не скажу, чтобы я испугался. Мне было как-то неловко... Сейчас хозяйка дома застанет в спальне меня, смущенного, сконфуженного и незнакомого ей человека... Чем я могу оправдаться? Э, черт возьми! Да там и мужской голос!? Неужели, это муж?!

Не рассуждая, я прислушался к приближавшимся шагам и юркнул под монументальную кровать, стоявшую в углу.

До меня донесся шорох шелковых юбок, тихие мужские шаги и голоса:

Женский. — Знаешь, Сережа, мой уважаемый супруг, вероятно, удивлен, что я за последнее время не устраиваю ему сцен за позднюю карточную игру!

Мужской. — Ха-ха! Как ты ухитрилась сплавить его из театра?

Женский. — Сказала, что мне нужно отдать кухарке распоряжение и, кроме того, написать письма двум институтским подругам. Он и уехал с этим идиотом Крышкиным!

Я высунул голову из-под кровати и взглянул на разговаривающих. Он был без сюртука, а она с голыми руками и грудью, что заставляло жестоко страдать мое врожденное целомудрие...

Глава III. Развязка

В делах любовного характера я никогда до сих пор не играл позорной, пассивной роли, которая выпала теперь на мою долю...

У дамы были круглые, гибкие руки, смутной белизной мелькнувшие передо мной, когда она стягивала со стройной ноги черный чулок... Но эти руки должны были обвиться не вокруг моей, а вокруг посторонней мне шеи... Когда дама отошла к туалетному столику, на котором горела свеча, то свет свечи упал спереди на прозрачную сорочку, и контуры голого тела красавицы рельефной тенью обрисовались передо мной... Но эта тонкая талия должна была сжаться не моими руками... Стройные, широкие бедра, молодая расцветшая грудь, черные глубокие глаза — все это было не мое, и у меня поэтому в душе стало подыматься глухое чувство недовольства против ее наглого обожателя.

Я считал его виноватым во всем:

Своим несвоевременным появлением он подвел меня самым бессовестным образом...

Он явился с чужой женой и я, несмотря на всю свою неиспорченность, догадывался, что он поставил себе твердой целью сделать энергичное покушение на права несчастного мужа...

Наконец, он своим идиотским смехом и тихими поцелуями будил во мне нехорошие чувства, которые, может быть, без этого дремали бы себе да дремали...

Когда он подошел к кровати и его нога очутилась около моего носа, я даже хотел ущипнуть его за эту противную, тощую конечность, но благоразумие отдернуло мою руку, тем более, что снизу донесся какой-то шум и голоса.

Дама прислушалась и в ужасе неожиданно воскликнула:

— Боже ты мой! Муж... Мы погибли.

В таких случаях все жены и их обожатели почему-то уверены, что «они погибли», хотя все дело обыкновенно кончается несколькими подзатыльниками по отношению к любовнику и парой другой упреков, несмело брошенных жене. Жена до-

казывает, что виноват, в сущности, муж, и это так удручает законного владыку, что он забывает пустить обожателю вслед каминные часы или прибор для снимания ботинок. Так что украшение щекотливого положения любовников эффектной фразой «мы погибли» лишний раз доказывает пустоту и вздорность всех влюбленных.

Лежа под кроватью, я услышал шаги обожателя, юркнувшего в уборную, где лежал мой пиджак, шаги мужа, приближавшегося к спальне и легкий прыжок в кровать жены, у которой зубы стучали от совершенно бессмысленного страха.

— Ты не спишь, Маруся?—спросил муж, входя и приближаясь к кровати.

— Не сплю, мое сокровище.

— Отчего ты так бледна, моя жизнь?

— Ничего. Здесь холодно.

— Что ты! Здесь африканская температура!

— Неужели? Значит, мне жарко.

— Но ты дрожишь... Эге-ге! Что это за мужская шляпа здесь на стуле?!!

— Жан! Это недоразумение! Клянусь тебе...

Я решил, что мне время начать действовать.

Стараясь сохранить независимый вид, я выполз из-под кровати, сложил на груди руки и печально, но твердо сказал:

— Нет, Жан. Это не недоразумение.

Муж отшатнулся от меня. Жена вскрикнула и спрятала в ужасе голову под одеялом.

— Да... Я ее любил и люблю. Но умоляю вас, не обрушивайте свой гнев на эту кроткую страдалицу! Я виноват один. Если хотите, я дам вам всяческое удовлетворение.

— Негодяй! Вы осмеливаетесь...

— Сударь! — твердо сказал я. — Вы можете убить меня, но не оскорблять. (Втайне я предпочел бы обратное). Я ее любил... Но разве это вина? Где корень любви?.. Спросите цветок, оживающий под лучами росистого утра, спросите птичку...

— К черту птичку! — заревел обиженный супруг.

— Правда, если вы желаете, то этот пернатое может быть удалено из ряда метафор без ущерба для доказываемой мной аксиомы...

Моя солидная, внушительная речь стала, очевидно, действовать на мужа. Этот безумец начал успокаиваться.

Но жена высунула из-под одеяла голову и вскричала, закрывая лицо руками:

— Жан! Поверишь ли ты мне, когда я тебе поклянусь, что не знаю этого господина?!

— Маруся! — сурово сказал я. — Надо быть мужественной. Мы обманывали твоего уважаемого мужа, но мы же должны найти в себе смелость и сознаться в этом.

— Но я вас не знаю! Это что-то удивительное... Как вы сюда попали?

— Я? Маруся! Неужели ты и сейчас будешь обманывать этого достойного человека?.. У меня и раньше было тяжело на душе, когда ты уверила его, что едешь отдать распоряжения кухарке и написать ненаписанные письма мифическим подругам... кроме того, ты непочтительно отозвалась о симпатичном приятеле твоего мужа, Крышкине, назвавши его идиотом.

— Сударыня! — угрюмо сказал муж. — И вы еще осмелились называть Крышкина идиотом?!

— Да... Вы осмелились?! — с ноткой возмущения в голосе поддержал я.

— Жан! Я схожу с ума! Он мне совершенно незнаком...

— Мужчина без сюртука в вашей спальне под кроватью — и вы в стороне? — вскричал муж.

— Да... И вы в стороне?! Имейте мужество...

Лучшим выходом из положения сбитой с толку дамы было залиться слезами, каковой жидкостью она и не замедлила залиться.

Я сказал:

— Итак, я к вашим услугам. Вот моя карточка. Разрешите мне надеть в уборной мой сюртук...

Он сел на кровать и сделал усталый жест.

Я сунул ему в руку карточку моего портного, посмотрел укоризненно на плачущую жену и вошел в уборную.

В полутьме мне бросилась в глаза жалкая, скорченная фигура, прятавшаяся за рукомойником.

Снятый ранее в спальне сюртук валялся тут же на столике.

Испуганный обожатель приподнялся и сделал мне умоляющий жест.

— Что вы наделали! Я погиб! — прошептал он.

Я ответил наставительно, тоже шепотом:

— Надо быть нравственнее. Разврат к добру не ведет, молодой человек.

— Вы... уходите?

— А что же мне здесь... В кошки-мышки играть, что ли?

— А... я?

— А вы, как знаете... Прощайте.

— Послушайте... Вы надели мой сюртук... отдайте!

— Убирайтесь к черту, — энергичным шепотом посоветовал я.

— Там деньги... Бумажник. Я закричу!!!

— Закричи, идиот, — согласился я. — А я скажу, что ты — вор и спрятался, чтобы обокрасть этих добрых людей. Муж теперь за меня горой будет стоять. А *ей* никто, все равно, не поверит.

— Тогда спасите меня.

Он цеплялся за меня дрожащими от ужаса руками. Я ногой оттолкнул его и вышел в спальню.

— Сударыня! — сказал я, подойдя к кровати. — Надеюсь, после вашего бессмысленного запирательства и двойного обмана этого доброго человека между нами все кончено...

Она продолжала плакать.

— Не расспрашивайте ее пока, — попросил я угрюмо смотревшего на нее мужа. — Бедняжка сильно любила меня и никак не может успокоиться.

Я опасливо посмотрел на тяжелый зонтик, который он держал в руках, и тихонько выскользнул из комнаты.

* * *

Стараясь не шуметь, я спустился с лестницы (сам!.. честное слово — сам), еле дыша, открыл английский замок парадной двери и через секунду очутился на свежем, холодном воздухе.

Из-под темных ворот отделилась тень и прыгнула мне навстречу.

— Гарри! Цел?

— Все благополучно, хозяин. Ну, как твой роман с кухаркой? — насмешливо спросил я.

— Гарри! Душа моя разбита. Все с ней покончено.

Я грустно посмотрел на луну.

— Что делать! Я также окончательно разорвал с ее госпожой.

И когда я рассказывал ему историю своего краткого романа, бешеное ликование прорывалось в нем.

И не потому он радовался, что у меня было на три тысячи бриллиантов, новый сюртук и шестьсот рублей в кожаном бумажнике... А потому, что не ошибся во мне...

По его словам я был, действительно, настоящим парнем.

СОЮЗ РУССКИХ ХУДОЖНИКОВ

Когда наши художники собирались идти на выставку, я сидел в уголке и тихонько писал фельетончик.

— Дяденьки, — попросил я, — возьмите меня с собой!

Художники рассмеялись.

— Вас? Да ведь вы не славитесь, как знаток живописи.

— Это ничего. Я как-нибудь... за вами.

— Возьмем его, — согласился один добрый художник. — Надо чем-нибудь скрасить его безрадостную жизнь.

Меня взяли.

* * *

— Смотрите, — сказал я. — Вот Переплетчиков. От богатых родственников он получил в наследство залежи лиловой краски. Поэтому, все его картины лиловые. Будем ждать, пока не перемрут у Переплетчикова родственники других цветов, дабы он мог поразнообразить лиловую краску.

— Вы не с той стороны подходите к картине, — наставительно заметил мне художник.

Я постарался подойти к другой картине «с той стороны» и заметил:

— Ага! Здесь есть и прикладные искусства...

— Какие?

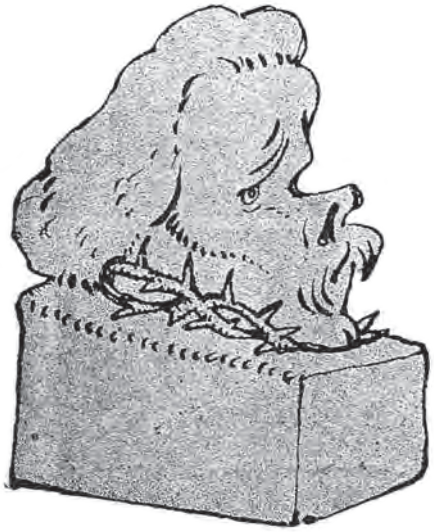
— Разрисованные подносы.

— Ваша радость беспочвенна. Это — картины Судейкина!

Я покачал головой.

— Не за это ли Дегаев и ухлопал его?

Как раз в это время мы стояли перед странной штукой Локкенберга «Лихач». Я тайком решил подделываться под технические выражения моих спутников и стал прислушиваться.



Судьбинин. «Головка с гарниром»

— Странный тон, не правда ли?

Я щегольнул слышанным мною ранее выражением:

— Очень вкусное пятно! Колорит лепится.

— Молчали бы вы лучше.

Я посмотрел в кулак.

— В таком случае это очень безвкусное пятно... Лиловая ерунда! Искалеченная лошадь! Искалеченный художник!

Кажется, что я нащупал подходящий профессиональный тон. Выбранив, как следует, Локкенберга, я обрушился на безобидного Сапунова.

— Каша какая-то! Воздуху нет, перспективы нет, грязная палитра, замученный тон...

Петров-Водкин. «Масленица в Африке»

— Это вдохновенная гамма, — сказали художники и угрюмо замолчали.

Потом мы стояли перед маленькими грязноватыми штучками.

— Это рисунки дурного тона, — заявил я.

— Это рисунки просто М. А. Дурнова!

— Так... Я, значит, почти угадал! А это... Смотрите, вот история: «Петров-Водкин — Масленица у африканского племени ботокуды».

— Где вы видите масленицу!?

— Вот это: стоят негритята и пекут на солнце блины.

— Это не блины, а блики, — сказал художник.

— Может быть. Я, к сожалению, по-ботокудски не говорю.

Я. Ф. Ционглинский. Натурщица в халате. (Халатное отношение к делу)

Очевидно, мы друг друга не поняли.

— Пойдемте из этой комнаты. Тут нехорошо. Верблюды желтые, люди желтые и даже все живое в парижском кафе закрашено в желтый тон. Лично я против Петрова-Водкина.

В противовес Петрову-Водкину «Африканские дети» Анисфельда мне понравились.

— Богобоязненные детишки, — одобрительно заметил я.

На Ционглинском я с художниками сошелся. Они посмотрели на «Белое с красным» и покачали головой.

— Слабовато.

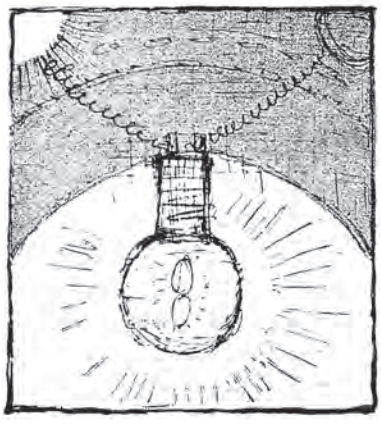
— Слабовато, — подтвердил я. — Впереди натурщицы почему-то написаны те самые две собаки, одну из которых всякий художник должен в живописи съесть. До сих пор собаки эти художником не съедены.

Очевидно, за время осмотра выставки я значительно развился в понимании живописи.

На меня и на художников произвел впечатление изящный версальский Бенуа. Мы долго стояли перед «Тридцатыми годами» М. Добужинского — вещью дорогой и понятной всякому, знающему Гоголя.

Большие человеки Московского Малого театра (Ленский и Южин)

Около Серовских портретов я попробовал опять щегольнуть «вкусным пятном» и «рискованной гаммой синего и красного». «Вкусное пятно» провалилось, а «рискованная гамма» имела некоторый успех.



Чурлёнис. «Дуговой фонарь фирмы Rex»

Я ободрился и решил про себя, выбрав свободное время, засесть за писание истории искусств.

На закуску мы смотрели Чурлёниса.

Дуговой фонарь написан им с большим вкусом («Rex». Просят публику не смешивать эту фирму с электрич. фирмой «Lux»). И задача мореплавания разрешена блестяще: корабли у Чурлёниса под водой, на воде и над водой. Милый Чурлёнис! Я долго искал его на выставке, желая пожать честную руку, состряпавшую эти артикли.

Высказав несколько довольно независимых суждений о картинах, я удержался от мнения о скуль-

птуре, потому что считаю признаком дурного тона судить о вещах мало мне известных.

Художники, спрошенные мною относительно нескольких забавных безделушек Судьбинина, ответили точным художественным определением:

— Любопытновато!

Что, вероятно, по их терминологии означало среднее лихорадочное любопытство по отношению к произведениям г. Судьбинина.

Кустодиев. «Неподвижница»

КАК Я ПРАЗДНОВАЛ МАСЛЕНИЦУ

(Монолог)

...И когда все уселись за стол, хозяйка разложила на коленях салфетку и сказала:

— Приглашала я также Кузьму Петровича, но он отказался. Клянется, что не может, потому что работы много. А я уверена, что вовсе на потому. А просто боится своей гражданской жены, которую мы не пригласили. Хм! Работа. Терпеть не могу неискренних людей.

— Вы, действительно, не любите неискренних людей? — спросил я, ощущая прилив странного вдохновения.

— Да, конечно... Эти... неискренние. Что хорошего!

— Так, так. Значит, искренних людей вы любите?

— Д-да... А что?

— И если искренний человек скажет вам то, что он думает, вы будете рады и будете любить этого искреннего человека?

В моем тоне было что-то такое, от чего она немного съежилась, пролепетав очень неуверенно:

— Да, конечно... Я уважаю, которые...

— Знаете, это очень хорошо, что вы уважаете. Искренность, так искренность!

Я помолчал, собираясь с мыслями.

— Так вот, что я вам скажу, многоуважаемая Марья Дмитриевна: я тоже с большой не-

охотой пошел на эти самые ваши блины. Вот уже третий год я хожу к вам на блины, и все — буквально все — мне у вас не нравится! Вы спросите: почему же я тогда хожу? Вот подите ж. Черт его знает, почему хожу. Наверное потому, что я человек деликатный, а вы ведь можете пристать как с ножом к горлу! А не пойдика — сейчас обида. И пес его знает, зачем это все вам нужно? Не нравится мне у вас, Марья Дмитриевна... Прежде всего, блины. Ведь блины у вас определенно скверные, а мы уже три года едим, да подхваливаем. Они какие-то жесткие, пересушенные; нет в них такой пышности, рыхлости, которая должна быть в порядочном блине. Затем — масло! Масло вы покупаете определенно прогорклое дешевое, думая, что гость все слопает. Вы думаете, если маслице-то растопили, так все это уж и незаметно? Нет, матушка! Ровно год тому назад у меня от вашего масла была такая изжога, что я до сих пор вспоминаю ваше маслице. А? каково! Такое масло, что целый год помню! Засим, возьмем икру... Я рассуждаю так: если у вас нет средств — не давайте никакой икры. А вы, чтобы соблюсти какой-то жалкий декорум (блины, мол, без икры, не блины! Да?), ставите обычный тип ваксы «Молния». Вы поглядите на эту икру. Если я всажу туда ложку, то ведь ее вытащить обратно обыкновенным способом нельзя. Ей Богу! Нужно поставить коробку на пол, упереться в нее ногами и тащить ложку обеими руками. Я, конечно, понимаю, что хорошая икра дорога, но зачем же тогда это жалкое торжество? Я понимаю, если бы еще между вашими гостями существовала какая-нибудь духовная, идейная связь, общность литературных или художественных интересов — тогда другое дело! Тогда можно бы, скрепя сердце, вынести и гнусные блины, и скверное масло. А то ведь нет! Ведь между вашими гостями нет ничего общего. Ишь ты, посмотрите, какими они волками на меня глядят. А за что? Вот если бы вы, господа, как наша милая хозяйка, любили искренность, — вы бы поняли меня... оценили бы. Я не думаю, чтобы в задачу хозяйки входил также филантропический принцип: «кормление голодающих». Нет! Все вы тут люди более или менее достаточные, и ваксообразной икрой, и блинами, похожими на замасленный переплет детского учебника — вас не удивишь. Что-же остается? Да просто встать и разойтись. Ей Богу, тоска страшная! Предположим, я, действительно, хочу покушать блинов... Что же я сделаю? Я возьму какой-нибудь том Диккенса — хороший, господа, писатель! Чтение его книги в сто раз интереснее вашей вялой никому не нужной беседы — возьму, значит, том Диккенса и пойду себе в одиночестве в ресторанчик, где хорошо кормят. Там и икру хорошую получу, и рыхлые блины и, если перемигнусь с метрдотелем, то и сносное масло. И я буду сидеть один, кушать себе — хе-хе! — бли-

ночки с икоркой, с семушкой (семги, кстати, у вас нет!) и буду читать своего Диккенса между двумя блинами. Хорошо, тепло, уютно! И никто ко мне не будет приставать — скушать того-то и того-то, чего мне не хочется, а захотел я, скажем, хорошего пенистого квасу — я взял да потребовал! А у вас — разве удобно потребовать? Скажут, невоспитанный, держать себя не умеет! А какое там не умеет! Нет — сумею. Марья Дмитриевна! я все сказал. Вы любите искренних людей и я их тоже люблю. Так скажите же мне: оставаться мне после сказанного или уйти? Конечно, вы сами понимаете, что уйти-то мне приятнее.

— Уйдите! — сказала хозяйка, поднимая печально опущенную голову.

— Ну, вот и спасибо.

Через полчаса я сидел в углу маленького ресторанчика, ел пышные блины, закусывал икрой, запивал пенистым, бьющим в нос квасом и читал «Давида Копперфильда» Диккенса. Хорошо!

Потому, масленица — дело, сами понимаете, серьезное.

Веселиться нужно искренно, непосредственно.

Вот я и веселюсь.

БЛИНЫ ДОДИ

Без сомнения, у Доди было свое настоящее имя, но оно как-то незаметно стерлось, затерялось, и хотя этому парню уже шестой год — он для всех Додя, и больше ничего.

И будет так расти этот мужчина с загадочной кличкой «Додя», будет расти, пока не пронюхает какая-нибудь проворная гимназисточка в черном передничке, что пятнадцатилетнего Додю, на самом деле, зовут иначе, что неприлично ей звать взрослого кавалера какой-то собачьей кличкой, и впервые скажет она замирающим от волнения голосом:

— Ах, зачем вы мне такое говорите, Дмитрий Михайлович?..

И сладко забьется тогда сердце Доди, будто впервые шагнувшего в заманчивую остролюбопытную область жизни взрослых людей: «Дмитрий Михайлович!» Она назвала его впервые Дмитрием Михайловичем!.. О, тогда и он докажет же ей, что он взрослый человек: он женится на ней.

— Дмитрий Михайлович, зачем вы целуете мою руку!.. Это нехорошо.

— О, не отталкивайте меня, Евгения (это вместо Женички-то!) Петровна.

Однако все это в будущем. А пока Доде шестой год, и никто, кроме матери и отца, не знают, как его зовут на самом деле: Даниил ли, Дмитрий ли, или просто Василий (бывают и такие уменьшительные у нежных родителей).

* * *

Характер Доди едва-едва начинает намечаться. Но грани этого характера выступают довольно резко: он любит все приятное и с гадливостью, омерзением относится ко всему неприятному: в восторге от всего сладкого; ненавидит горькое, любит всякий шум, чем бы и кем бы он ни был произведен; боится тишины, инстинктивно, вероятно, чувствуя в ней начало смерти... С восторгом измазывается грязью и пылью с головы до ног; с ужасом приступает к умыванию; очень возмущается, когда его наказывают; но и противоположное ощущение — ласки близких ему людей — вызывают в нем отвращение.

Однажды в гостях у Додиных родителей сидели двое: красивая молодая дама Нина Борисовна и молодой человек Сергей Митрофаныч, не спускавший с дамы застывшего в полном восторге взора. И было так: молодой человек, установив прочно и надолго свои глаза на лице дамы, машинально взял земляничную «соломку» и стал рассеянно откусывать кусок за куском, а дама, заметив вертевшегося тут же Додю, схватила его в объятия и, тиская мальчишку, осыпала его целым градом бурных поцелуев.

Додя отбивался от этих ласк с энергией утопающего матроса, борящегося с волнами, извивался в нежных теплых руках, толкал даму в высокую пышную грудь и кричал с интонациями дорезываемого человека:

— Пусс... ти, дура! Ос... ставь, дура!

Ему страшно хотелось освободиться от «дуры» и направить все свое завистливое внимание на то, как рассеянный молодой человек поглощает земляничную соломку. И Доде страшно хотелось быть на месте этого молодого человека, а молодому человеку еще больше хотелось быть на месте Доди. И один, отбиваясь от нежных объятий, а другой, печально похрустывая земляничной соломкой, с бешеной завистью поглядывали друг на друга.

Так — слепо и нелепо распределяет природа дары свои.

Однако справедливость требует отметить, что молодой человек, в конце концов, добился от Нины Борисовны таких же ласк, которые получил и Додя. Только молодой человек вел себя совершенно иначе: не отбивался, не кричал: «оставь, дура»,

а тихо и безропотно, с оттенком даже одобрения покорился своей вековечной мужской участи...

Кроме перечисленных Додиных черт, в характере его есть еще одна черта: он — страшный приобретатель. Черта эта тайная, он не выказывает ее. Но увидев, например, какой-нибудь красивый дом, шепчет себе под нос: «хочу, чтобы дом был мой». Лошадь ли он увидит, первый ли снежок, выпавший на дворе, или приглянувшегося ему городового, — Додя, шмыгнув носом, сейчас же прошепчет: «Хочу, чтобы лошадь была моя; чтоб снег был мой; чтобы городовой был мой».

Рыночная стоимость желаемого предмета не имеет значения... Однажды, когда Додина мать сказала отцу: «А, знаешь, доктор нашел у Марины Кондратьевны камни в печени», — Додя сейчас же прошептал себе под нос: «хочу, чтобы у меня были камни в печени».

Славный, бескорыстный ребенок.

* * *

Когда мама, поглаживая шелковистый Додин затылок, сообщила ему:

— Завтра у нас будут блины...

Додя не преминул подумать: «хочу, чтобы блины были мои», и спросил вслух:

— А что такое блины?

— Дурачок! Разве ты не помнишь, как у нас были блины в прошлом году?

Глупая мать не могла понять, что для пятилетнего ребенка протекший год — это что-то такое громадное, монументальное, что, как Монблан, заслоняет от его глаз предыдущие четыре года. И с годами эти Монбланы все уменьшаются и уменьшаются в росте, делаются пригорками, которые не могут заслонить от зорких глаз зрелого человека его богатого прошлого, ниже, ниже делаются пригорки, пока не останется один только пригорок — увенчанный каменной плитой, да покосившимся крестом.

Год жизни наглухо заслонил от Доди прошлогодние блины. Что такое блины? Едят их? Можно ли на них кататься? Может, это народ такой — блины? Ничего, в конце концов, неизвестно.

Когда кухарка Марья ставила с вечера опару — Додя смотрел на нее с почтительным удивлением и даже, боясь втайне, чтобы всемогущая кухарка не раздумала почему-нибудь делать блины, — искательно почистил ручонкой край ее черной кофты, вымазанной мукой.

Этого показалось ему мало:

— Я люблю тебя, Марья, — признался он дрожащим голосом.

— Ну, ну. Ишь, какой ладный мальчушечка.

— Очень люблю. Хочешь, я для тебя у папы папиросок украду?

Марья дипломатично промолчала, чтобы не быть замешанной в назревающей уголовщине, а Додя вихрем помчался в кабинет и сейчас же принес пять папиросок. Положил на край плиты.

И снова дипломатичная Марья сделала вид, что не заметила награбленного добра. Только сказала ласково:

— А теперь иди, Додик, в детскую. Жарко тут, братик.

— А блины-то... будут?

— А для чего ж опару ставлю!

— Ну, то-то.

Уходя, подкрепил на всякий случай:

— Ты красивая, Марья.

Положив подбородок на край стола, Додя надолго застыл в немом восхищении...

Какие красивые тарелки! Какая чудесная черная икра... Что за поражающая селедка, убранная зеленым луком, свеклой и маслинами. Какая красота — эти плотные, слежавшиеся сардинки. А в развалившуюся на большой тарелке неизвестную нежно-розовую рыбу Додя даже ткнул пальцем, спрятав моментально этот палец в рот с деланно-рассеянным видом... (— Гм!.. Соленое.)

А впереди еще блины — это таинственное странное блюдо, ради которого собираются гости, делается столько приготовлений, вызывается столько хлопот.

— «Посмотрим, посмотрим, — думает Додя, бродя вокруг стола. — Что это там у них за блины такие?..»

Собираются гости...

Сегодня Додя первый раз посажен за стол вместе с большими, и поэтому у него широкое поле для наблюдений.

Сбивает его с толку поведение гостей.

— Анна Петровна — семги! — настойчиво говорит мама.

— Ах, что вы, душечка, — ахает Анна Петровна. — Это много! Половину этого куска. Ах, нет, я не съем.

— «Дура», — решает Додя.

— Спиридон Иваныч! Рюмочку наливки. Сладенькой, а?

— Нет, уж я лучше горькой рюмочку выпью.

— «Дурак!» — удивляется про себя Додя.

— Семен Афанасьич! Вы, право, ничего не кушаете!..

— «Врешь», — усмехается Додя. — «Он ел больше всех. Я видел».

— Сардинки? Спасибо, Спиридон Иваныч. Я их не ем.

— «Сумасшедшая какая-то, — вздыхает Додя. — Хочу, чтоб сардинки были мои»...

Марина Кондратьевна, та самая, у которой камни в печени, берет на кончик ножа микроскопический кусочек паюсной икры и намазывает икрой микроскопический кусочек хлеба.

— «Ишь ты, — думает Додя. — Наверное, боится побольше-то взять: мама так по рукам и хлопнет за это. Или просто задается, что камни в печени. Рохля».

Подают знаменитые долгожданные блины.

Все со зверским выражением лица набрасываются на них. Набрасывается и Додя. Но тотчас же опускает голову в тарелку и, купая локон темных волос в жидком масле, горько плачет.

— Додик, милый, что ты? Кто тебя обидел?!.

— Бли... ны...

— Ну? Что блины? Чем они тебе не нравятся?

— Такие... круглые...

— Господи... Так что ж из этого? Обрежу тебе их по краям; — будут четырехугольные...

— И со сметаной...

— Так можно без сметаны, чудачина ты!

— Так они тестяные!

— А ты какие бы хотел? Бумажные, что ли?

— И... не сладкие.

— Хочешь, я тебе сахаром посыплю?

Тихий плач переходит в рыдание. Как они не хотят понять, эти большие тупоголовые дураки, что Доде блины просто не нравятся, что Додя разочаровался в блинах, как разочаровывается взрослый человек в жизни! И никаким сахаром его не успокоить. Плачет Додя.

Боже! Как все это красиво, чудесно началось — все, начиная от опары и вкусного блинного чада — и как все это пошло, обыденно кончилось: Додю выслали из-за стола.

* * *

Гости разошлись.

Измученный слезами, Додя прикорнул на маленьком диванчике. Отыскав его, мать берет на руки отяжелевшее от дремоты тельце и ласково шепчет:

— Ну, ты... блиноед африканский... Наплакался?

И тут же, обращаясь к отцу, перебрасывает свои мысли в другую плоскость:

— А знаешь, говорят, Антоновский получил от Мразича оскорбление действием.

И, подымая отяжелевшие веки, с усилием, шепчет обуреваемый приобретательским инстинктом Додя:

— Хочу, чтобы мне было оскорбление действием.

Тихо мерцает в детской красная лампадка. И еще слегка пахнет всепроникающим блинным чадом.

ПЛАН ГЕНЕРАЛА МОЛЬТКЕ

На франко-бельгийском театре войны
обращает на себя внимание то обстоятельство,
что немцы массами охотно сдаются в плен.
Все они, большей частью очень голодны
и с жадностью набрасываются на предложенную им пищу.

Из сообщений французского генерального штаба.

Соединенный франко-бельгийский генеральный штаб был совершенно сбит с толку: внимательно следя за всеми передвижениями немцев, он терялся в догадках: чего хотят немцы и куда они стремятся?..

Чувствовалось, что какой-то план у немцев существует, замечалась какая-то определенная тактика, но что это за план? Что это за тактика? Постичь было невозможно.

И, однако, события развертывались с грозной быстротой — отнюдь не в пользу французов и бельгийцев.

Первое время французы, как дети, любующиеся на зарево подожженного ими дома, радовались своим «успехам»:

— Вы подумайте! — сверкая глазами, говорил один седоусый генерал другому. — Вчера взяли в плен шесть тысяч немцев, сегодня одиннадцать тысяч, а с теми, что сдались на прошлой неделе — это около тридцати тысяч!!.

— Вот это называется — хорошие дела!

— Чего там хорошие — прямо замечательные!!

* * *

— Ваше превосходительство! Имею честь доложить о новой победе союзного оружия: бельгийским пехотным полком взята в плен целая дивизия, с конницей и артиллерией!..

— Неслыханно! Неужели так-таки один полк и взял в плен целую дивизию?!.

— Представьте — взял.

— Если так дело пойдет и дальше — война должна скоро окончиться, — весело сказал генерал.

— Так точно.

И лица у обоих сияли счастьем.

Дети!. Они не знали, на что способны хитрые немцы.

* * *

— Генерал! Наши войска взяли в плен германский корпус. Надо будет устроить ему ночлег и накормить пленников. Распорядитесь.

— Позвольте! Куда я помещу целый корпус?! Где я возьму для него провианта?! У нас съестных припасов только-только для себя хватает. Я, конечно, рад, что мы одержали такую крупную победу, но — согласитесь сами — откуда я возьму провианта накормить всю эту ораву?!. Куда я их суну на ночлег?! Сколько их человек?

— Около сорока тысяч.

— Ну, вот видите. Э, черт! Вывести их просто в поле, окружить часовыми — и пусть себе ночуют...

— А пища?

— Ну — денек поголодают.

— Что вы, генерал! Разве мы варвары, что будем мучить пленников голодом?!. На это немцы только способны... Нет! Франция — культурная нация, и пусть ни у кого не будет повода бросить нам в лицо обвинение, что мы плохо обращаемся с пленными... Накормить их!

— Но тогда придется лишить ужина наших собственных солдат!

— Что ж делать! Но морить пленных голодом — это было бы недостойно уважающих себя солдат. Кстати, вспомнил: вечера теперь холодные — прикажите, чтобы им дали потребное число палаток и топливо для костров.

* * *

В эту ночь унылые голодные французские солдаты долго бродили около лагеря пленников и, переговариваясь шепотом друг с другом, бросали завистливые взгляды на костры, около которых грелись германцы, помешивая ложками кипевшую в котлах похлебку из мяса.

— Едят, — печально сказал один француз, указывая другому пальцем на группу немцев.

— Да! Похлебку. Вот свиньи-то. А потом заберутся в наши палатки и будут спать.

— Да... А мы броди всю ночь по полю, голодные, иззябшие!

Пленные немцы насыщались...

— Ничего не поделаешь. Зато мы — свободные воины великой страны, а они несчастные пленники.

— Хорошие несчастные! Выгнать бы их из палаток да отнять у них похлебку — вот тогда были бы несчастные!..

— Жан! Стыдись! Где же это видано, чтобы французы жестоко обращались со своими пленными?! Благородное французское сердце никогда не допустит до этого!..

— Вот тебе и благородное! Благородные сердца стоят, да облизываются, а неблагородные за обе щеки уплетают баранью похлебку с сухарями. Дьявольски пахнет эта похлебка, а?

— Баранья похлебка всегда хорошо пахнет, — уклончиво ответил товарищ и вздохнул.

— По крайней мере, хорошо ли их стерегут?

— О, да! Двадцать человек стражи стоят кругом, вооруженные ружьями.

— Это на сорок-то тысяч?! Да ведь они каждую минуту могут убежать.

— Нет, это уже испытано. Хоть одного человека поставь около немецкого корпуса — не убегут немцы.

— Честные такие, что ли?

— Черт их знает. Я и сам удивляюсь.

* * *

— Вот так штука! Слышали новость, генерал? Вся вторая немецкая армия в сто двадцать тысяч человек сдалась нам сегодня в плен.

— Мыслимо ли это?

— Вот — значит, мыслимо.

— Воображаю, какая радость у нас царит! Где же сейчас эта армия?

— Пока на том же месте, где сдалась. Командующий левым крылом нашей армии ведет сейчас с ихним командиром армии переговоры.

— Ну, вот! Что же вы говорите глупости! То говорите — сдалась, то — мы ведем переговоры. Раз ведутся переговоры — это еще не сдача!

— Переговоры о другом ведутся. Наш командующий уговаривает их не сдаваться.

— Что-о-о?! Но ведь это государственная измена!! Как он смеет это делать?!

— Вам хорошо говорить — измена! А если мы их возьмем в плен — куда мы их денем? Кормить, поить, обувать всю эту ораву — Франция не настолько богата, чтобы делать это!..

— Да бой-то ... был перед сдачей?

— Не было боя. Просто поймали нашего отбившегося от полка солдата, завели его в средину своего лагеря, да и заявили ему в лицо: вы нас взяли в плен — мы сдаемся! Бедняга растерялся, — плакал, уверял, что это не они к нему, а он к ним попал в плен — жестокие тевтонцы были глухи к его мольбам!.. «Забирайте, говорят, — нас: мы ваши пленники!»

* * *

А в немецком лагере в это время происходило вот что: начальник левого крыла французской армии с двумя офицерами своего штаба, сидя в палатке немецкого командира второй армии, кричал, волновался, брызгал слюной и бил кулаком по столу.

— Я не принимаю вашей сдачи! — орал он, надсаживаясь. — Слышите ли вы это? Что это такое, в самом деле? Никакой битвы не было, вдруг — на тебе! «Сдаемся. Берите нас в плен». Вы должны были хоть для приличия с нами подраться! Я так не могу!

А командующий немецкой армией — тупой упрямый шваб с низким лбом — качал отрицательно головой и бубнил свое:

Поймали отбившегося от полка французского солдата, завели его в середину своего лагеря, да и сдались ему...

— Нет, дорогой коллега, так нельзя! Раз мы сдаемся в плен — вы должны нас забирать. На то, знаете, и война...

И закончил на ужасающем французском языке:

— А лагер — ком а лагер! В лагере, как в лагере.

— Хорошо, — проревел взбешенный француз. — Мы берем вас в плен, но живите в плену, как знаете! Сами одевайтесь, находите топливо и кормитесь.

— Ах, так, — иронически сощурился немец. — Нечего сказать, хороши французы! Где же прославленное галльское благородство и милосердие к несчастным пленным? Морить их голодом и холодом? Держать их оборванных и грязных, без крова?!. Нечего сказать — красиво!

— Так тогда не сдавайтесь в плен, а воюйте!

— Мы и воюем. Вот видите — даже в плен сдаемся.

— Да поймите, что я не вижу даже предлога для сдачи. Ведь вы посудите сами: вас около трехсот тысяч человек, громадная артиллерия, конница! А нас не больше двухсот тысяч. И вами заняты самые удобные, командующие над местностью высоты. Отчего вы не стреляете вон в ту деревушку, около которой расположились наши войска? Потом могли бы выслать свою кавалерию в обход. С той стороны деревушка не особенно хорошо и защищена. Вы бы послали свою кавалерию, мы выдвинули бы вторую дивизию на защиту моста, вы бы поддержали кавалерию артиллерийским огнем — так бы славно повоевали, а? Да право! Ну, хотите?

— Нет уж, что там воевать, — безнадежно махнул рукой немецкий командующий. — Все равно, вы нас победите. Зачем зря порох портить, снаряды. Вот мы вам сдаемся в плен, а вы за это забирайте все наши орудия и снаряды.

— Да пойми же ты, дурья голова, — неожиданно вспылил француз, — что нам ни к чему твои снаряды, орудия и порох, если вы избегаете воевать с нами. Еще если бы у вас был обоз, съестные припасы — тогда другое дело!

— Съестных припасов у нас нет, — выразительно посмотрел на француза немец.

— Так и подыхайте с голоду!

— Зачем же нам подыхать с голоду, когда мы сдаемся в плен. Вы уж нас и кормить должны.

— Да если у нас нет съестных припасов — тогда что?

— А это уж не наше дело. Устраивайтесь, как знаете. А не кормить нас — это варварство. Не думаю, чтобы благородная великодушная нация была на это способна.

Француз долго метался в тесной палатке... Потом умоляюще протянул руки к немцам.

— Пощадите нас! Не сдавайтесь в плен.

— Сдадимся, — сухо обрезал немец.

— Но позвольте! — вскричал француз. — А что, если мы начнем вам сдаваться в плен — тогда что?

— Э, нет. Это дело не выйдет. Император Вильгельм издал ясный приказ: пленных не брать.

— А что же с ними делать?

— У немцев есть ружья, сабли, револьверы, и они знают, что с ними делать!!!

— Значит — расстреливать? Нечего сказать — благородно. А если мы то же самое начнем делать с вами?

— Стыдитесь, — укоризненно произнес немецкий командующий.

— Я не понимаю: почему нам нельзя, а вам можно?! — заорал рассерженный француз.

— Мы — немцы.

— Свиньи вы, а не немцы.

— Ладно там, ругайтесь. А в плен, все-таки, нас забрать обязаны.

— Ну, хорошо... — сказал французский командующий. — Я сейчас... Пойду распоряжусь...

По его лицу, когда он выходил из палатки, было видно, что он замыслил какую-то хитрость.

* * *

Через десять минут по всему левому крылу французской армии разнеслось категорическое приказание:

— Отступать!

В то же время на передовых позициях французов послышались испуганные крики:

— Спасайся, кто может! Немцы идут сдаваться в плен!!!

Все, давя друг друга, бросились к мосту, перешли его и сейчас же взорвали.

А неприятель на другом берегу бегал, растерянный, размахивая белыми флагами и кричал во все горло:

— Куда же вы, господа?!. Вы не имеете права!.. Это противозаконно! Мы сдаемся! Ушли? Ну, ладно, попадетесь вы нам! Все равно, сдадимся!..

* * *

Вечером того же дня было заседание военного совета по вопросу: что делать дальше?

— Давайте сдадимся Сербии, — предложил один генерал. — Она еще ничего не знает и охотно возьмет нас в плен.

— Вот-то влопается! — засмеялся кто-то.

— Значит, план такой: мы вступаем в пределы Сербии, моментально сдаемся, нас начинают кормить, кормить, мы съедаем все, в стране начинается голод, нищета и тогда мы диктуем условия, как победители... Верно?

— Правильно! Молодец Мольтке!

И долго в лагере слышались воинственные угрожающие клики:

— На Белград! На Белград!

* * *

Бедная Сербия

. . . . . .

СТАРЧЕСКОЕ

Падают, падают желтые листья на серые скользкие дорожки. Нехотя падают.

Оторвется лист и тихо, неуверенно колеблясь, цепляясь за каждую ветку, за каждый сук, падает, падает лист, потерявший все соки, свернувшийся, как согбенный старик.

Кхе-кхе!..

Невеселую песню тянет тонким голосом запутавшийся среди черных голых ветвей ветер, тоже состарившийся с весны, когда было столько надежд и пышного ощущения своего бытия.

У черта на куличках теперь эти надежды и это пышное ощущение бытия. Где та нарядная береза, которую он любил целовать в теплый задумчивый вечер, когда озеро гладко, как дорогое зеркало, а оттуда, где закат, доносится мирный, умилительный колокольный звон?

От березы остался грязный скелет, и сама она, вместо гармонического шелеста, издает такой печальный скрип, что взять бы и повеситься на ней от тоски и ужаса.

И еще упало несколько листьев. И еще.

Кхе-кхе!..

К вам, бедные старики-человеки, обращаются мои взоры, и тоска давит сердце: ведь и я буду стариком.

Не хочется...

Как сухие листья, опадут постепенно мои нежные шелковистые волосы — мои волосы! Как сучковатые ветви станут мои сильные, гибкие руки — мои руки! Уродливыми корнями уйдут в землю мои стройные ноги, каждый мускул которых напрягался и дрожал, когда несли они меня к любимой, — мои сильные ноги! Темная кора, вся в морщинах и царапинах, будет покрывать пригнувшееся к земле тело — мое тело, которое жадно целовали ненасытные женские губы.

Падайте, листья, пригибайся, ствол — к земле, к земле! Уходи в землю, старый дурак, нечего тебе шамкать о каких-то любимых и любящих женщинах — кто тебя, корявую колоду, мог поцеловать?..

Да ведь целовали же! Целовали! Ну вот же, ей Богу, целовали... И как!

Бедные старики.

Не старик я, а буду стариком.

Богатая у меня фантазия, роскошная фантазия! Вот, захочу сейчас, закрою глаза, да и представлю себе, ясно, как на солнце, — отрывок, огрызочек моей старческой жизни...

Слушай, читатель.

Кхе-кхе!..

* * *

Шелковыми волосами, нежной щекой трется о мою заскорузлую жилистую руку внук, Костя, Саша или Гриша — как там его заблагорассудят назвать нежные родители.

— Дед, — говорит Костя, — что ты все спишь, да спишь... Рассказал бы что-нибудь...

— Да чего там рассказывать... И рассказывать нечего.

— Эх, ты... А еще мама говорит, что писателем был.

Мои потухшие глаза чуть-чуть загораются.

— А ведь был же! Ей Богу, был. Помню, выпустил я как-то книжку «Веселые устрицы»... Годов тому, поди, пятьдесят будет. Один критик возьми и напиши: «этот, говорит, молодой человек подает надежды»...

— Подал? — спрашивает внук, с любопытством оглядывая морщинистого «молодого человека».

— Что подал?

— А надежды-то.

— А пес его знает — подал или не подал. Разве тут было время разбирать? Да ты сам взял бы какую книжку с полки, да почитал бы дедову стряпню, хе-хе-кхе! Кхе!

— Ну ее, — с наивной жестокостью детской ясной души морщится внук. — Еще недоставало чего. Почитать... Ничего я там не пойму.

А у меня уже и самолюбия авторского не осталось. Все старость проклятая выела.

Даже не обидно.

— Ну, чего ты там не поймешь! В мое-то время люди все понимали. Неужто ж, умнее были?

— Нет, непонятно, — вздыхает внук. — Вдруг сказано у тебя там: «Приятели чокнулись, выпили по рюмке водки и, поморщившись, поспешили закусить. „По одной не закусывают“, крякнул Иван Николаич...» Ни черта, дедушка, тут не разберешь...

— Вот-те раз! Что ж тут непонятного?

— Да что это такое — водка? Такого и слова нет.

Молодостью повеяло на меня от этого слова: вод-ка.

— Водка-то? Такое слово было.

— Что ж оно значит?

— А напиток был такой. Жидкость. Понимаешь? Алкогольная.

— Для чего?

— А пить.

— Сладкая, что ли?

— Эва, хватил! Горькая, брат, была! Такая горькая, что инда дух зашибет.

— Горькая, а пили! Полезная, значит? Вроде лекарства?

— Ну, насчет пользы — это ты, брат, тово... Нищим человек от нее делался, белой горячкой заболевал, под заборами коченел...

— Так почему же пили-то? Веселым человек делался, что ли?

Я задумчиво пожевал дряхлыми губами.

— Это как на чей характер. Иной так развеселится, что вынет из кармана ножик и давай всем животы пороть.

— Так зачем же пили?

— Приятно было.

— А вот у тебя там написано: «Выпили и поморщились». Почему поморщились?

— А ты думаешь, вкусная она? Выпил бы ты, так похуже, чем поморщился...

— А почему они «поспешили закусить»?

— А чтоб вкус водочный отбить.

— Противный?

— Не без того. Крякать тоже, по этому же самому, принято было. Выпьет человек — и крякнет. Эх, мол, чтобы ты пропала, дрянь этакая!

— Что-то ты врешь, дед! Если она такая на вкус, почему же там дальше сказано: «по одной не закусывают».

— А это чтоб сейчас же другую выпить.

— Да ведь противная?

— Противная.

— Зачем же другую?

— А приятно было.

— Когда приятно? На другой день?..

— Тоже ты скажешь... «на другой день»! — оживился я. — Да на другой день, брат, человек ног не потащит. Лежит и охает. Голова болит, в животе мутит, и на свет Божий глядеть тошно до невозможности.

— Может, через месяц было хорошо?

— Если мало пил человек, то через месяц ничего особенного не было...

— А если много? Дед, а? Не спи!

— Если много? Да если, брат, много, то через месяц были и результаты: сидит человек с тобой и разговаривает, как человек... Ну... а потом вдруг чертей начнет ловить. Смехи! Хи-хи, кхе-кхе!

— Как... ловить? Да разве черти есть?

— Ни шиша нет их — и не было. А человеку кажется, что есть.

— Весело это, что ли, было?

— Какой там! Благим матом человек орал. Часто и помирали.

— Так зачем же пили? — изумленно спросил внук.

— Пили-то? Да так. Пилось.

— Может, после того, как выпьют, добрыми делами занимались?

— Это с какой стороны на такое дело взглянуть. Если лакею физиономию горчицей вымажет или жену по всей квартире за косы таскает, то для мыльного фабриканта или парикмахера это — и доброе дело.

— Ничего я тебя не понимаю.

Внук накрутил на палец кольцо своих золотых волос и спросил, решив, очевидно, подойти с другой стороны:

— А что это значит — «чокнулись»?

— А это делалось так: берет, значит, один человек в руку рюмку и другой человек в руку рюмку... Стукнут рюмку о рюмку, да и выпьют. Если человек шесть-семь за столом сидело, то и тогда все перестукаются.

— Для чего?!!!

— А чтобы выпить.

— А если не чокаться, тогда уж никак не выпьешь?

— Нет, можно и так. Отчего же.

— Так зачем же чокались?

— Да ведь не чокавшись, как же пить?

Я опустил голову, и слабый розовый отблеск воспоминаний осветил мое лицо:

— А то еще, бывало, чокнутся и говорят: «Будьте здоровы» или: «Исполнение желаний». Или: «Дай Бог, как говорится».

— А как говорится? — заинтересовался внук.

— Да никак не говорится. Просто так говорилось. А то еще говорили: «Пью этот бокал за Веру Семеновну!»

— За Веру Семеновну? Значит, она сама не пила?

— Какое! Иногда как лошадь, пила.

— Так зачем же за нее? Дед, не спи! Заснул...

А я и не спал вовсе ... Просто унесся в длинный полуосвещенный коридор воспоминаний.

Настолько не спал, что слышал, как, вздохнув и отойдя от меня к сестренке, Костя заметил соболезнующе:

— Совсем наш дед Аркадий из ума выжил.

— Кого выжил? — забеспокоилась сердобольная сестра.

— Сам себя. Подумай, говорит, что пили что-то, от чего голова болела, а перед этим стукали рюмки об рюмки, а потом садились и начинали чертей ловить... После ложились под забор и умирали... Будьте здоровы, как говорится!

Брат и сестра взялись за руки и, размахивая ими, долго и сочувственно разглядывали меня.

Внук заметил, снова вздохнув:

— Старенький, как говорится.

Сестренке это тоже понравилось.

— Спит, как говорится. Чокнись с ним скакалкой по носу, как говорится.

— А какая-то Вера Семеновна пила, как лошадь.

— Как говорится, — скорбно покачала головой сестренка. — Совсем дед поглупел, что там и говорить. Как говорится.

. . . . . .

Никогда, никогда молодость не может понять старости. Плохо мне будет в 1954 году — ох, плохо... Кхе-кхе!

КРЫСА НА ПОДНОСЕ

I

— Хотите пойти на выставку нового искусства? — сказали мне.

— Хочу, — сказал я.

Пошли.

* * *

— Это вот и есть выставка нового искусства? — спросил я.

— Эта самая.

— Хорошая.

Услышав это слово, два молодых человека, долговязых, с прекрасной розовой сыпью на лице и изящными деревянными ложками в петлицах, подошли ко мне и жадно опросили:

...была нарисована пятиногая голубая свинья

— Серьезно, вам наша выставка нравится?

— Сказать вам откровенно?

— Да!

— Я в восторге.

Тут же я испытал невыразимо приятное ощущение прикосновения двух потных рук к моей руке и глубоко волнующее чувство от созерцания небольшого куска рогожи, на котором была нарисована пятиногая голубая свинья.

— Ваша свинья? — осведомился я.

— Моего товарища. Нравится?

— Чрезвычайно. В особенности, эта пятая нога. Она придает животному такой мужественный вид. А где глаз?

— Глаза нет.

— И верно. На кой черт, действительно, свинье глаз? Пятая нога есть — и довольно. Не правда ли?

Молодые люди с чудесного тона розовой сыпью на лбу и щеках недоверчиво поглядели на мое простодушное лицо, сразу же успокоились, и один из них спросил:

— Может, купите?

— Свинью? С удовольствием. Сколько стоит?

— Пятьдесят... — Было видно, что дальнейшее слово поставило левого молодого человека в затруднение, ибо он и сам не знал — чего пятьдесят: рублей или копеек? Однако, заглянув еще раз в мое благожелательное лицо, приободрился и смело сказал: — Пятьдесят ко... рублей. Даже, вернее — шестьдесят рублей.

— Недорого. Я думаю, если повесить в гостиной, в простенке, будет очень недурно.

— Серьезно, хотите повесить в гостиной? — удивился правый молодой человек.

— Да ведь картина же. Как же ее не повесить!

— Положим, верно. Действительно, картина. А хотите видеть мою картину: «Сумерки насущного»?

— Хочу.

— Пожалуйте. Она вот здесь висит. Видите ли, картина моего товарища «Свинья, как таковая», написана в старой манере, красками; а я, видите ли, красок не признаю; краски связывают.

— Еще как, — подхватил я. — Ничто так не связывает человека, как краски. Никакого от них толку, а связывают. Я знал одного человека, которого краски так связали, что он должен был в другой город переехать...

— То есть, как?

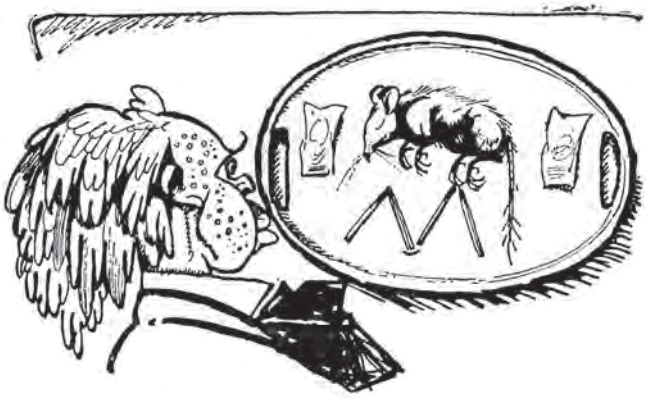
— Да очень просто. Мильдяевым его звали. Где же ваша картина?

— А вот висит. Оригинально, не правда ли?

II

Нужно отдать справедливость юному маэстро с розовой сыпью — красок он избегнул самым положительным образом: на стене висел металлический черный поднос, посередине которого была прикреплена каким-то клейким веществом небольшая дохлая крыса. По бокам ее меланхолически красовались две конфетных бумажки и четыре обгорелых спички, расположенных очень приятного вида зигзагом.

— Чудесное произведение, — похвалил я, полюбовавшись в кулак. — Сколько в этом настроения!.. «Сумерки насущного»... Да-а... Не скажи вы мне, как называется ваша картина, я бы сам догадался: э, мол, знаю!.. Это не что иное, как «Сумерки насущного»! Крысу сами поймали?



...на стене висел металлический черный поднос, посередине которого была прикреплена каким-то клейким веществом небольшая дохлая крыса

— Сам.

— Чудесное животное. Жаль, что дохлое. Можно погладить?

— Пожалуйста.

Я со вздохом погладил мертвое животное и заметил:

— А как жаль, что подобное произведение непрочно... Какой-нибудь там Веласкес или Рембрандт живет сотни лет, а этот шедевр в два-три дня, гляди, и испортится.

— Да, — согласился художник, заботливо поглядывая на крысу. — Она уже, кажется, разлагается. А всего только два дня и провисела. Не купите ли?

— Да уж и не знаю, — нерешительно взглянул я на левого. — Куда бы ее повесить? В столовую, что ли?

— Вешайте в столовую, — согласился художник. — В роде этакого натюрморта.

— А что, если крысу освежать каждые два-три дня? Эту выбрасывать, а новую ловить и вешать на поднос?

— Не хотелось бы, — поморщился художник. — Это нарушает самоопределение артиста. Ну, да что с вами делать! Значит, покупаете?

— Куплю. Сколько стоит?

— Да что же с вас взять?.. Четыреста... — Он вздрогнул, опасливо поглядел на меня и со вздохом докончил: — Четыреста... копеек.

— Возьму. А теперь мне хотелось бы приобрести что-нибудь попрочнее. Что-нибудь этакое... неорганическое.

— «Американец в Москве» не возьмете ли? Моя работа.

Он потащил меня к какой-то доске, на которой были набиты три жестяных трубки, коробка от консервов, ножницы и осколок зеркала.

— Вот. Скульптурная группа: «Американец в Москве». По-моему, эта вещица мне удалась.

— А еще бы! Вещь, около которой можно заржать от восторга. Действительно, эти приезжающие в Москву американцы, они тово... Однако, вы не без темперамента... Изобразить американца в роде трех трубочек...

— Нет, трубочки — это Москва! Американца тут, собственно, нет; но есть, так сказать, следы его пребывания...

— Ах, вот что. Тонкая вещь. Масса воздуха. Колоритная штукенция. Почем?

— Семьсот. Это вам для кабинета подойдет.

— Семьсот... чего?

— Ну, этих самых, неважно. Лишь бы наличными.

III

Я так был тронут участием и доброжелательным ко мне отношением двух экспансивных, экзальтированных молодых людей, что мне захотелось хоть чем-нибудь отблагодарить их.

— Господа! Мне бы хотелось принять вас у себя и почествовать, как представителей нового чудесного искусства, открывающего нам, опустившимся, обрюзгшим, необозримые светлые дали, которые...

— Пойдемте, — согласились оба молодых человека с ложками в петлицах и миловидной розовой сыпью на лицах. — Мы с удовольствием. Нас уже давно не чествовали.

— Что вы говорите! Ну и народ пошел. Нет, я не такой. Я обнажаю перед вами свою бедную мыслями голову, склоняю ее перед вами и звонко, прямо, открыто говорю: «Добро пожаловать»!

— Я с вами на извозчике поеду, — попросился левый. — А то, знаете, мелких что-то нет.

— Пожалуйста! Так, с ложечкой в петлице, и поедете?

— Конечно. Пусть ожиревшие филистеры и гнилые ипохондрики смеются — мы выявляем себя, как находим нужным.

— Очень просто, — согласился я. — Всякий живет, как хочет. Вот и я, например. У меня вам кое-что покажется немного оригинальным, да ведь вы же не из этих самых... филистеров и буржуев?

— О, нет. Оригинальностью нас не удивишь.

— То-то и оно.

IV

Приехали ко мне. У меня уже был кое-кто: человек десять-двенадцать моих друзей, приехавших познакомиться поближе с провозвестниками нового искусства.

— Знакомьтесь, господа. Это все народ старозаветный, закоренелый, вы с ними особенно не считайтесь, а что касается вас, молодых, гибких пионеров, то я попросил бы вас подчиниться моим домашним правилам и уставам. Раздевайтесь, пожалуйста.

— Да мы уже пальто сняли...

— Нет, чего там пальто. Вы совсем раздевайтесь.

Молодые люди робко переглянулись:

— А... зачем же?

— Чествовать вас будем.

— Так можно ведь так... не раздеваясь...

— Вот оригиналы-то! Как же так, не раздеваясь, можно вымазать ваше тело малиновым вареньем?..

— Почему же... вареньем?.. зачем?

— Да уж так у меня полагается. У каждого, как говорится, свое. Вы вешаете на поднос дохлую крысу, пару карамельных бумажек и говорите: это картина! Хорошо! Я согласен! Это картина. Я у вас даже купил ее. «Американца в Москве» тоже купил. Это *ваш* способ. А у меня *свой* способ чествовать молодые многообещающие таланты: я обмазываю их малиновым вареньем, посыпаю конфетти и, наклеив на щеки два куска бумаги от мух, усаживаю чествуемых на почетное место. Есть вы будете особый салат, приготовленный из кусочков обоев, изрубленных зубных щеток и теплого вазелина. Не правда ли, оригинально? Запивать будете свинцовой примочкой. Итак, будьте добры, разденьтесь. Эй, люди! Приготовлено ли варенье и конфетти?

— Да, нет! Мы не хотим... Вы не имеете права...

— Почему?!!

— Да что же это за бессмыслица такая: взять живого человека, обмазать малиновым вареньем, обсыпать конфетти!.. Да еще накормить обоями с вазелином... Разве можно так? Мы не хотим. Мы думали, что вы нас просто кормить будете, а вы... мажете. Зубные щетки рубленые даете... Это даже похоже на издевательство!.. Так нельзя. Мы жаловаться будем.

— Как жаловаться?! — яростно взревел я. — Как жаловаться?! А я жаловался кому-нибудь, когда вы мне продавали пятиногих синих свиней и кусочки жести на деревянной доске?! Я отказывался?!! Вы говорили: мы самоопределяемся. Хорошо! Самоопределяйтесь. Вы мне говорили — я вас слушал. Теперь моя очередь... Что?! Нет, уж знаете... я поступал по-вашему, я хотел понять вас — теперь понимайте и вы меня.

— Как жаловаться?! — яростно взревел я. — Как жаловаться?!

Эй, люди! Разденьте их! Мажь их, у кого там варенье. Держите голову им, а я буду накладывать в рот салат... Стой, брат, не вырвешься. Я тебе покажу сумерки насущного! Вы самоопределяетесь — я тоже хочу самоопределиться!..

V

Молодые люди стояли рядышком передо мной на коленях, усердно кланялись мне в ноги и, плача, говорили:

— Дяденька, простите нас. Ей Богу, мы больше никогда не будем...

— Чего не будете?

— Этого... делать... Таких картин делать...

— А зачем делали?

— Да мы, дяденька, просто думали: публика глупая, хотели шум сделать, разговоры вызвать.

— А зачем ты вот, тот... левый... зачем крысу на поднос повесил?

— Хотел как чуднее сделать.

— Ты так глуп, что у тебя на что-нибудь особенное, интересное даже фантазии не хватило. Ведь ты глуп, братец?

— Глуп, дяденька. Известно, откуда у нас ум?!

— Отпустите нас, дяденька. Мы к маме пойдем.

— Ну, ладно. Целуйте мне руку и извиняйтесь.

— Зачем же... руку целовать?..

— Раздену и вареньем вымажу! Ну?!

— Вася, целуй ты первый... А потом я.

— Ну, Бог с вами... Ступайте.

VI

Провозвестники будущего искусства встали с колен, отряхнули брюки, вынули из петлиц ложки и, сунув их в карман, робко, гуськом вышли в переднюю.

В передней, натягивая пальто, испуганно шептались:

— Влетели в историю! А я сначала думал, что он такой же дурак, как и другие.

— Нет, с мозгами парень. Я, было, испугался, когда он на меня кричать стал. Вдруг, думаю, подносом по голове хватит!

— Слава Богу, дешево отделались.

— Это его твоя крыса разозлила. Придумал ты, действительно: дохлую крысу на поднос повесил!

— Ну, ничего. Уж хоть ты на меня не кричи. Я крысу выброшу, а на пустое место стеариновый огарок на носке башмака приклею. Оно и прочнее. Пойдем, Вася, пойдем, пока не догнали.

Ушли, объятые страхом...

. . . . . .

ДЕНЬ ДЕЛОВОГО ЧЕЛОВЕКА

I.

За все пять лет Ниночкиной жизни сегодня на нее обрушился, пожалуй, самый тяжелый удар: некто, именуемый Колькой, сочинил на нее преядовитый стихотворный памфлет.

День начался обычно: когда Ниночка встала, то нянька, одев ее и напоив чаем, ворчливо сказала:

— А теперь ступай на крыльцо, погляди, какова нынче погодка! Да посиди там подольше, с полчасика, — постереги, чтобы дождик не пошел. А потом приди да мне скажи. Интересно, как оно там...

Нянька врала самым хладнокровным образом. Никакая погода ей не была интересна, а просто она хотела отвязаться на полчаса от Ниночки, чтобы на свободе напиться чаю со сдобными сухариками.

Но Ниночка слишком доверчива, слишком благородна, чтобы заподозрить в этом случае подвох... Она кротко одернула на животе передничек, сказала: «Ну, что ж, пойду погляжу» — и вышла на крыльцо, залитое теплым золотистым солнцем.

Неподалеку от крыльца, на ящике из-под пианино сидели три маленьких мальчика. Это были совершенно новые мальчики, которых Ниночка никогда и не видывала.

Заметив ее, мило усевшуюся на ступеньках крыльца, чтобы исполнить нянькино поручение — «постеречь, не пошел бы дождик», — один из трех мальчиков, пошептавшись с приятелями, слез с ящика и приблизился к Ниночке с самым ехидным видом, под личиной наружного простодушия и общительности.

— Здравствуй, девочка, — приветствовал он ее.

— Здравствуйте, — робко отвечала Ниночка.

— Ты здесь и живешь?

— Здесь и живу. Папа, тетя, сестра Лиза, фрейлейн, няня, кухарка и я.

— Ого! Нечего сказать, — покривился мальчик. — А как тебя зовут?

— Меня? Ниночка.

И вдруг, вытянув все эти сведения, проклятый мальчишка с бешеной быстротой завертелся на одной ножке и заорал на весь двор:

Нинка-Нинёнок,
Серый поросенок,
С горки скатилась,
Грязью подавилась...

Побледнев от ужаса и обиды, с широко раскрытыми глазами и ртом, глядела Ниночка на негодяя, так порочившего ее, а он снова, подмигнув товарищам и взявшись с ними за руки, завертелся в бешеном хороводе, выкрикивая пронзительным голосом:

Нинка-Нинёнок,
Серый поросенок,
С горки скатилась,
Грязью подавилась...

Страшная тяжесть налегла на Ниночкино сердце. О Боже, Боже!.. За что? Кому она стала поперек дороги, что ее так унизили, так опозорили?

Солнце померкло в ее глазах, и весь мир окрасился в самые мрачные тона. Она — серый поросенок?! Она — подавилась грязью? Где? Когда? Сердце болело, как прожженное раскаленным железом, и жить не хотелось.

Сквозь пальцы, которыми она закрыла лицо, текли обильные слезы. Что больше всего убивало Ниночку — это складность опубликованного мальчишкой памфлета. Так больно сознавать, что «Нинёнок» прекрасно рифмуется с «поросенком», а «скатилась» и «подавилась», как две одинаково прозвучавшие пощечины, горели на Ниночкином лице несмываемым позором.

Она встала, повернулась к оскорбителям спиной и, горько рыдая, тихо побрела в комнаты.

— Пойдем, Колька, — сказал сочинителю памфлета один из его клевретов, — а то эта плакса пожалуется еще — нам и влетит.

Войдя в переднюю и усевшись на сундук, Ниночка с непросохшим от слез лицом призадумалась. Итак, ее оскорбителя зовут Колька... О, если бы ей придумать подобные же стихи, которыми она могла бы опорочить этого Кольку, — с каким бы наслаждением она бросила их ему в лицо!.. Больше часу просидела она так в темном углу передней, на сундуке, и сердечко ее кипело обидой и жаждой мести.

И вдруг бог поэзии Аполлон коснулся ее чела перстом своим. Неужели?.. Да, конечно! Без сомнения, у нее на Кольку будут тоже стихи. И нисколько не хуже давешних!

О первые радости и муки творчества!

Ниночка несколько раз прорепетировала себе под нос те жгучие огненные строки, которые она швырнет Кольке в лицо, и кроткое личико ее озарилось неземной радостью: теперь Колька узнает, как затрагивать ее.

Она сползла с сундука и, повеселевшая, с бодрым видом, снова вышла на крыльцо.

Теплая компания мальчишек почти у самого крыльца затеяла крайне незамысловатую, но приводившую всех трех в восторг игру... Именно — каждый, по очереди, приложив большой палец к указательному, так, что получалось нечто в роде кольца, плевал в это подобие кольца, держа руку от губ на четверть аршина. Если плевок пролетал внутри кольца, не задев пальцев, — счастливый игрок радостно улыбался. Если же у кого-нибудь слюна попадала на пальцы, то этот неловкий молодой человек награждался оглушительным хохотом и насмешками. Впрочем, он не особенно горевал от такой неудачи, а вытерев мокрые пальцы о край блузы с новым азартом погружался в увлекательную игру.

Ниночка полюбовалась немного на происходившее, а потом поманила пальцем своего оскорбителя и, нагнувшись с крыльца к нему, спросила с самым невинным видом:

— А тебя как зовут?

— А что? — подозрительно спросил осторожный Колька, чуя во всем этом какой-то подвох.

— Да ничего, ничего... Ты только скажи: как тебя зовут?

У нее было такое простодушное, наивное лицо, что Колька поддался на эту удочку.

— Ну, Колька, — прохрипел он.

— А-а-а... Колька...

И быстрой скороговоркой выпалила сияющая Ниночка:

Колька-Колёнок,
Серый поросенок,
С горки скатился,
Подавился... грязью...

Тут же она бросилась в предусмотрительно оставленную ею полуоткрытую дверь, а вслед ей донеслось:

— Дура собачья!

II

Немного успокоенная, побрела она к себе в детскую. Нянька, разложив на столе какую-то матерчатую дрянь, выкраивала из нее рукав.

— Няня, дождик не идет.

— Ну, и хорошо.

— Что ты делаешь?

— Не мешай мне.

— Можно смотреть?

— Нет, нет уж, пожалуйста. Пойди лучше, посмотри, что делает Лиза.

— А потом что? — покорно спрашивает исполнительная Ниночка.

— А потом скажешь мне.

— Хорошо...

При входе Ниночки четырнадцатилетняя Лиза поспешно прячет под стол книгу в розовой обертке, но разглядев, кто пришел, снова вынимает книгу и недовольно говорит:

— Тебе чего надо?

— Няня сказала, чтобы я посмотрела, что ты делаешь.

— Уроки учу. Не видишь, что ли?

— А можно мне около тебя посидеть?.. Я тихо.

Глаза Лизы горят, да и красные щеки еще не остыли после книги в розовой обертке. Ей не до сестренки.

— Нельзя, нельзя. Ты мне будешь мешать.

— А няня говорит, что я ей тоже буду мешать.

— Ну, так вот что... Пойди, посмотри, где Тузик? Что с ним?

— Да он, наверное, в столовой около стола лежит.

— Ну, вот. Так ты пойди, посмотри, там ли он, погладь его и дай ему хлеба.

Ни одной минуты Ниночке не приходит в голову, что от нее хотят избавиться. Просто ей дается ответственное поручение — вот и все.

— А когда он в столовой, так придти к тебе и сказать? — серьезно спрашивает Ниночка.

— Нет! Ты тогда пойди к папе и скажи, что покормила Тузика. Вообще, посиди там у него, понимаешь?

— Хорошо...

С видом домовитой хозяйки-хлопотуньи спешит Ниночка в столовую. Гладит Тузика, дает ему хлеба и потом озабоченно мчится к отцу (вторая половина поручения — сообщить о Тузике отцу).

— Папа!

Папы в кабинете нет.

— Папа!

Папы нет в гостиной.

— Папа!

Наконец-то... Папа сидит в комнате фрейлейн, близко наклонившись к той, последней, держа ее руку в своей руке.

При появлении Ниночки он немного откидывается назад и говорит с немного преувеличенной радостью и изумлением:

— А-а! Кого я вижу! Наша многоуважаемая дочь! Ну, как ты себя чувствуешь, свет очей моих?

— Папа, я уже покормила Тузика хлебом.

— Ага... И хорошо, брат, сделала; потому они, животные эти, без пищи, тово... Ну, а теперь иди себе, голубь мой сизокрылый.

— Куда, папа?

— Ну... пойди ты вот куда... Пойди ты... гм!.. Пойди ты к Лизе и узнай, что она там делает.

— Да я уже только была у нее. Она уроки учит.

— Вот как... Приятно, приятно.

Он красноречиво глядит на фрейлейн, гладит ее руку и неопределенно мямлит:

— Ну... в таком разе... пойди ты к этой самой... пойди ты к няньке и погляди ты... чем там занимается вышесказанная нянька?

— Она что-то шьет там.

— Ага... Да, постой! Ты сколько кусков хлеба дала Тузику?

— Два кусочка.

— Эка расщедрилась! Разве такой большой пес может быть сыт двумя кусочками? Ты ему, ангел мой, еще вкати... Кусочка, этак, четыре. Да посмотри, кстати, не грызет ли он ножку стола.

— А если грызет, придти и сказать тебе, да? — глядя на отца светлыми ласковыми глазами, спрашивает Ниночка.

— Нет, брат, ты это не мне скажи, а этой, как ее... Лизе скажи. Это уже по ее департаменту. Да если есть у этой самой Лизы этакая какая-нибудь смешная книжка с картинками, то ты ее значит, того... просмотри хорошенько, а потом расскажешь, что ты видела. Поняла?

— Поняла. Посмотрю и расскажу.

— Да это, брат, не сегодня. Рассказать можно и завтра. Над нами не каплет. Верно ведь?

— Хорошо. Завтра.

— Ну, путешествуй!

Ниночка путешествует. Сначала в столовую, где добросовестно засовывает Тузику в оскаленную пасть три куска хлеба, потом в комнату Лизы.

— Лиза! Тузик не грызет ножку стола.

— С чем тебя и поздравляю, — рассеянно роняет Лиза, впившись глазами в книгу. — Ну, иди себе.

— Куда идти?

— Пойди к папе. Спроси, что он делает.

— Да я уже была. Он сказал, чтобы ты мне книжку с картинками показала. Ему надо все завтра рассказать...

— Ах ты, Господи! Что это за девчонка!.. Ну, на тебе! Только сиди тихо. А то выгоню.

Покорная Ниночка опускается на скамеечку для ног, разворачивает на коленях данную сестрой иллюстрированную геометрию и долго рассматривает усеченные пирамиды, конусы и треугольники.

— Посмотрела, — говорит она через полчаса, облегченно вздыхая. — Теперь что?

— Теперь? Господи! Вот еще неприкаянный ребенок. Ну, пойди на кухню, спроси у Ариши: что у нас нынче на обед? Ты видела когда-нибудь, как картошку чистят?

— Нет...

— Ну, пойди, посмотри. Потом мне расскажешь.

— Что ж... пойду.

У Ариши гости: соседская горничная и посыльный — «красная шапка».

— Ариша, скоро будешь картошку чистить? Мне надо смотреть.

— Где там скоро! И через час не уберусь.

— Ну, я посижу, подожду.

— Нашла себе место, нечего сказать!.. Пойди лучше к няньке, скажи, чтоб она тебе чего-нибудь дала.

— А чего?

— Ну, там она знает — чего!

— Чтоб сейчас дала?

— Да, да, сейчас. Иди себе, иди!

III

Целый день быстрые ножки Ниночки переносят ее с одного места на другое. Хлопот уйма, поручений — по горло. И все самые важные, неотложные.

Бедная «неприкаянная» Ниночка.

И только к вечеру, забредя случайно в комнаты тети Веры, Ниночка находит настоящий приветливый прием.

— А-а, Ниночка, — бурно встречает ее тетя Вера. — Тебя-то мне и надо. Слушай, Ниночка... Ты меня слушаешь?

— Да, тетя. Слушаю.

— Вот что, милая... Ко мне сейчас придет Александр Семеныч. Ты знаешь его?

— Такой, с усами?

— Вот именно. И ты, Ниночка... (тетя странно и тяжело дышит, держась одной рукой за сердце) ты, Ниночка... сиди у меня, пока он здесь, и никуда не уходи. Слышишь? Если он будет говорить, что тебе пора спать, ты говори, что не хочешь... Слышишь?

— Хорошо. Значит, ты меня никуда не пошлешь?

— Что ты! Куда же я тебя пошлю? Наоборот, сиди тут и больше никаких. Поняла?

. . . . . .

— Барыня! Ниночку можно взять? Ей уже спать давно пора.

— Нет, нет, — она еще посидит со мною. Правда, Александр Семеныч?

— Да пусть спать идет, чего там? — говорит этот молодой человек, хмуря брови...

— Нет, нет, я ее не пущу. Я ее так люблю...

И судорожно обнимает тетя Вера большими теплыми руками крохотное тельце девочки, как утопающий, который в последней предсмертной борьбе готов ухватиться даже за крохотную соломинку...

А когда Александр Семеныч, сохраняя угрюмое выражение лица, уходит, тетя как-то вся опускается, вянет и говорит совсем другим, не прежним тоном:

— А теперь ступай, детка, спать. Нечего тут рассиживаться. Вредно...

* * *

Стягивая с ноги чулочек, усталая, но довольная Ниночка думает про себя, в связи с той молитвой, которую она только что вознесла к небу, по настоянию няньки, за покойную мать:

— А что если и я помру? Кто тогда все делать будет?

НОЧНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ

I

Было два часа ночи.

Сидя за письменным столом и сжимая голову руками, Чихаев старался успокоить сам себя:

— Ну, ничего... Вывернусь как-нибудь! Совру, что ли. А, все-таки, свинство: воображаю ее, беднягу, бегающей по огромному залу «Альказара» и ищущей меня, своего законного мужа. Свинство, в сущности, так подводить. Что бы ей такое размазать?..

...В передней послышалась какая-то возня, а потом через две минуты в кабинет вошла оживленная, запыхавшаяся Анна Григорьевна.

— Ты уже дома?

Неожиданный прилив вдохновения покрыл чуть не с головой полусонного Чихаева.

— Да-с, уже дома, — сухо сказал он. — Нечего сказать, хороша! Где изволила прогуливаться до сих пор?! Сговорились ведь быть в «Альказаре». Я сижу, сижу там, жду ее, как дурак, а она...

Жена внимательно вгляделась в мужа и потом, всплеснув руками, приблизила к нему возмущенное лицо:

— Ну, это, знаешь ли... Можно быть нахалом, но не до такой же степени... Ты?! Ты?!! Ты был в «Альказаре»! Ты мне говоришь это в глаза? Ты это говоришь мне, которая, как дура, ходила между столиками, торчала в вестибюле, как какая-нибудь шансонетка...

«Не прошло», скорбно подумал муж и, сразу же изменив тон, весело засмеялся.

— Ну, ладно уж, пошутил, пошутил. Действительно, я так заработался за столом, что, когда посмотрел на часы, то... Ты уж прости меня, голубок.

— Так-с, — саркастически сказала жена. — Значит, ты рассчитывал так: если я почему-нибудь не была в «Альказаре», то твоя ложь сошла бы, как по маслу, а если я тебя ждала там и поймала сейчас на лжи, то ты... ну, просто скажешь: пошутил, мол...

— Ну, да ладно, ладно... Конечно, пошутил. Серьезно, заработался. Ты уж не сердись...

— Что бы тебе другая жена за это сделала? — добродушно засмеялась Анна Григорьевна, щелкнув мужа по носу. — А ты погляди на меня: весь вечер потеряла — и хоть бы что! Да еще, кроме того, верю, что ты был дома.

— Аня! Клянусь тебе нашей любовью... Тссс!.. Ты слышишь? Что-то, как будто, упало?

— Где?

— О Боже мой! В ванной комнате... Я ясно слышал. Деревянный стук... Термометр как будто упал.

— Ну, раз термометр падает, — сострила жена, — значит, в ванне стало холоднее. Трусишка ты!.. Ну, пойди — посмотри.

Чихаев решительно встал и пошел в ванную. Послышалось щелканье выключателя, потом какой-то рев, брань, и через минуту Чихаев появился в кабинете, таща могучей рукой за шиворот тщедушного, бледного человека, босого и в поношенном платье.

...Чихаев появился в кабинете, таща могучей рукой за шиворот тщедушного, бледного человека, босого и в поношенном платье

— Вот-с, — сказал Чихаев, стараясь удержать прыгающую нижнюю челюсть. — Имею честь рекомендовать.

Анна Григорьевна вскрикнула, отодвинулась немного и со страхом спросила:

— Кто это?

— Кто? Хе-хе... Ты их никогда живых не видела?

— Да кто это, Господи?..

— Вор, пташечка моя, вор.

Анна Григорьевна закрыла руками лицо и пронзительно взвизгнула:

— Боже! Вор?! Чего же ты его не убиваешь?

— Уж так тебе сразу и убить человека! Достаточно будет, если посидит шесть месяцев. Ты как попал в квартиру, негодяй, а?

— Ключом, — неохотно ответил вор, всматриваясь в потолок. — Отпустите, господин. Ведь ничего же не взял! Чего ж там, Господи, держать человека!

— Вот я тебе покажу, как держать человека. Тебя подержат не по-моему... Аня! Я около него побуду, а ты пойди — позвони в участок. Пусть там пришлют, кого надо.

Анна Григорьевна боком, стараясь держаться подальше от бледного человека, прошмыгнула в дверь, а Чихаев толкнул оборванца в кресло, сам сел на диван и сухо сказал:

— Подожди. Сейчас тебя возьмут.

II

Вор молчал, о чем-то думая. Наконец, разомкнул губы.

— Эх, вы, — проворчал он. — Такая красивая у вас жена, а вы ее, черт знает, на кого меняете...

— Ш-ш-што? — изумленно прошипел Чихаев.

— Вот вам и что. У этой и фигура есть, и лицо, а Модзелевская — что? Пичуга какая-то, пигалица... Ни рожи, ни кожи... Только что полька...

Чихаев бросил быстрый взгляд на дверь, за которой скрылась жена, и как тигр прыгнул на оборванца.

— Ты?! Ты! Откуда ты знаешь про Модзелевскую?!.

— Подумаешь, важность — откуда. Знаю. У нее нынче весь вечер проторчали, а жене говорите: «за письменным столом сидел»... Вы думаете, не слышал? Из ванны слышал. Хм!.. Письменный стол, нечего сказать.

— М-молчи, черт! Жена может войти!

— С какой мне радости молчать!.. Вы меня в тюрьму сажаете, а я молчать должен? Нет, братик, не на дурака напал. Придет жена — сейчас же все ей расскажу... И что вы каждый день на Фурштатскую ездите, и что кульки с вином ей таскаете, и что...

— Молчи, проклятый! Ты... значит, следил за мной?..

— Такое наше дело. Иначе какая же работа!..

Вор хмурился, но держал себя спокойно. Чихаев же бегал по комнате, как зверь в клетке.

— Послушай ты, рвань... А если я тебя отпущу...

— Ну?

— Ты будешь помалкивать?

— Что ж... Буду.

— Тсс... Жена!

Анна Григорьевна вошла в кабинет и, остановившись у окна, принялась с ужасом, жадным любопытством и отвращением разглядывать вора...

— Представь себе, Анюта... Сейчас без тебя тут я с ним разговорился. Гм!.. Понимаешь, их ведь положение тоже не того...

— Что такое?

— Я говорю: в сущности, надо войти и в их положение. Работы нет, волчий паспорт, отовсюду гонят... Ведь мог бы быть полезным, всеми уважаемым членом общества.

— Мог бы, — подтвердил вор.

— Видишь? На лице его написано искреннее раскаяние.

— Да... раскаяние, — обиженно пробормотала Анна Григорьевна. — А сам хотел нас обокрасть.

— А знаешь ты, что он хотел украсть? Хотел, говорит, пошарить в буфете чего-нибудь съестного... Верно, Сергей?

— Понятно, — согласился вор.

— Ужас, ужас... 12 дней человек не ел... Ты подумай!.. Да доведись это до меня... В голове от голода туман, в ушах шум, ничего не соображаешь...

Вор утер кулаком сухой глаз и равнодушно всхлипнул.

— Смотри! Уже плачет. Разве негодяй, разве злодей будет плакать?

— А у него нет ножа?

— Что вы, сударыня,— не расслышал вор. — Маковой росинки не было.

— А дома у него хворая мать, старушка, которая не надышится на своего первенца...

— А как же я... уже полицию позвала, — пролепетала Анна Григорьевна, немного смущенная.

— А я сейчас позвоню туда, что вышло недоразумение, что чья-то глупая шутка... Одним словом, придумаю...

Чихаев двинулся к дверям; жена сделала инстинктивное движение испуга.

— А как же... я...

— А ты тут посиди с ним... Да не бойся! Сергей! Надеюсь, ты себе ничего тут не позволишь?..

— Будьте покойны, — заверил совсем приободрившийся Сергей. — Могила!

— Что это... могила? — спросила жена.

— У них такой термин есть... арго ихнее. Ну, я иду звонить...

— Смотри! Уже плачет. Разве негодяй, разве злодей будет плакать?

III

Анна Григорьевна робко присела на подоконник и, закутавшись в платок, застыла так.

— Я думал — вы сдрейфите нынче, сдадите, — вдруг начал вор быстрым шепотом. — А вы молодцом! Ловко все обставили. Люблю таких баб!

— Об... ставила? — вздрогнув, обернулась к вору Анна Григорьевна. — Что вы такое говорите?

— На ура, я говорю, пошли. И как вы это догадались, что он в «Альказаре» не был? На риск, как говорится, пойдено...

— На какой риск? — смутилась Анна Григорьевна. — Я вас не понимаю.

— Да ведь вы тоже в «Альказаре» не были, — сказал вор, серьезно на нее поглядывая.

— Как так — не была?! А где же я, по-вашему, была?

— У Трепакина вы были, у господина. У Петра Николаича. В их квартирке на Загородном, угол Бородинского...

— Лжете вы! Я даже не знаю, о ком вы это гово... рите...

— Эх, милая барыня! Да второй-то месяц вы к кому же ездите? Под видом, будто в кинематограф? Что ж тут отказываться. Не хорошо. И я видел и товарищ мой Пришей-два видел... Такое уж наше дело, извините.

Анна Григорьевна спрыгнула с подоконника и, подбежав к вору, схватила его за руку.

— Надеюсь... мужу-то вы этого не наболтали? Смотрите-ка: я ведь согласилась, чтобы вас отпустить.

— Вот что, барыня, — холодно начал вор, опустив ресницы. — Наша работа не хуже другой. Больше месяца мы с Сенькой на вашу квартиру потратили, а вы... черт вас надрал вернуться раньше! Всю работу нашу провалили... Значит, так месяц и пропал? Хоть убытки покройте. Не до жиру, быть бы живу.

— Двадцать пять довольно?

— И колечко это. Мужу скажете: похудели, с пальца соскочило... Идет!

Испитой молодой человек быстро спрятал в карман пиджака и то и другое и обернулся к входившему мужу.

— Ну, что? Успели?

— Успел. Сказал, что приятель захотел подурачиться. Извинился, и все тут. Ну, а теперь иди, Сергей. Постарайся начать хорошую жизнь.

— Мне есть хочется, — сказали Сергей. — Действительно, когда видишь, что господин какой-нибудь везет кульки с провизией...

— Постой, постой... Мы тебя сейчас накормим... Анюта, посмотри, там, кажется, что-то есть... в буфете.

— Сию минуту, — сказала покорная Анюта и, опасливо поглядев на двух мужчин, вышла.

— Черт тебя тянет за язык, насчет кульков... — недовольно пробормотал Чихаев.

— К слову пришлось. Я бы и выпил чего-нибудь. Коньяку нет ли?

— Еще чего захотел! Откуда я тебе коньяк возьму?!

Анна Григорьевна вошла, неся на подносе холодную телятину, сыр и начатую коробку сардин.

— Мадам! — сказал Сережа, подвигая к себе телятину. — Нет ли коньяку? Тут, говорят, на Загородном, угол Бородинского хороший коньяк водится...

— Есть у нас, конечно, есть, — торопливо сказала Анна Григорьевна. — Я сейчас.

IV

После третьего стаканчика коньяку, Сережа откинулся на спинку дивана и, ковырнув ногтем в зубах, спросил:

— Кто на пианино играет?

— Я немножко играю. Только оно расстроено.

— Подумаешь, важность! Меня столько по ухам били, что я уж никакого расстройства не слышу. Сыграйте, господин.

— Что ты, брат, выдумал — ночью играть! Поел — ступай домой.

— Эх, — мечтательно сказал Сережа, — слышал я на Фурштатской одну барыню. В окно. Маленькая такая. Маленькая, маленькая, а играет так, что...

— Что тебе сыграть? — отбросив стул, спросил хозяин.

— Это уж дело ваше. Почудней что-нибудь. Чтобы ногтем по сердцу скребло.

Закусив губу, подошел Чихаев к пианино и, взяв несколько аккордов, заиграл «Ноктюрн» Шопена.

Сережа слушал, закинув голову на спинку дивана. Раскрыл слипшиеся глаза и критически улыбнулся.

— Неважно. Трам-блям какой-то. «На сопках Манчжурии» изобразите, вот это я понимаю.

— Не играю!

— Извольте, я спою, а вы одними пальцем подберите — штука небольшая... Тара-лям, тара-лям, пам-ба-рам...

Неважно. Трам-блям какой-то. «На сопках Манчжурии» изобразите, вот это я понимаю

На втором колене глаза Сережи сладко сомкнулись, и голова тихо склонилась на диванное сиденье.

V

— Спит?

— Спит.

— Эх, — прошептал Чихаев, — с какими бы я удовольствием ошпарил эту жульническую морду кипятком!

— Вот тебе раз! А сам давеча расхныкался над ним... Мама, да член общества... Чего же тогда полицию не позвал?

Чихаев промолчал.

— Неужели он тут и будет так валяться? — спросила, нахмурившись, жена.

— Вот бы по этой проклятой храпящей глотке ножом ка-ак чикнуть!

— А давеча коньяком поил. Шопена ему играл. Нашел тоже меломана.

Чихаев молча прошелся по кабинету. Губы его и руки дрожали.

— Неужели он тут и будет так валяться? — спросила, нахмурившись, жена

Вдруг круто повернулся, подошел к жене, упал перед ней на колени и со стоном сказал:

— Не могу больше! Можешь бросить меня, разлюбить, но я не могу больше терпеть этого. Все тебе расскажу. Дай только слово, что простишь — сейчас же все расскажу!..

— Яша! Ты меня пугаешь...

— Аня! Клянусь тебе, нет ничего серьезного!.. Видишь ли... Я немного увлекся этой... Модзелевской. А этот негодяй видел, как я к ней ездил на Фурштатскую (о, клянусь тебе, что ничего серьезного!). И вот... когда ты пошла к телефону... он припугнул меня, что расскажет тебе все... Аня! Аня! Не презирай меня... Клянусь тебе, это — пустяковое увлечение... Я тебя обожаю!..

Жена стояла, скрестив руки, строгая, суровая, как неподкупный судья . . . Наконец, из груди ее вырвался тяжелый вздох.

— Яков! Это за все, что я тебе сделала; за мое чувство, за мою предан... Что это, он, кажется, шевелится?

— Какое! Спит проклятое животное, чтоб ему больше не просыпаться!..

— Постой! Хорошо... О тебе поговорим потом... А сейчас сплавим этого... Позови швейцара и дворника, а сам уйди в спальню.

— Почему... уйти в спальню?

— Подумай, как разъярится этот человек, когда увидит, что ты его предал... Вдруг бросится на тебя и... Нет! Хотя ты и обидел меня кровно, я не допущу этого!

Муж вышел на площадку лестницы, тихонько позвал швейцара, дал ему соответствующие распоряжения и потом робко вошел в кабинет.

— Готово. Сейчас возьмут.

— Ступай в спальню.

VI

— Ну ты... заспался...

— Ну, ты... Заспался... — сказал дворник, давая Сереже подзатыльник. — Вставай, иттить надо-ть.

Сережа вскочил как встрепанный и, оглянувшись, сразу оценил положение. Нахмурился.

— Продали, черти. Ну, да все равно уж, берите.

— Муж мне все рассказал, — скрестив на груди руки, призналась Анна Григорьевна. — И я ему все рассказала. Теперь нас не напугаете!

— Семейка! — подмигнул Сережа и покорно отдался в руки швейцара и дворника.

* * *

Чихаев, сидя в спальне на краешке кровати, печально дожидался, пока все кончится там, в кабинете.

Наконец, голоса затихли...

Через минуту в спальню вошла жена.

Уперев руки в бока, долго и молча глядела на мужа уничтожающим взглядом.

Наконец, вымолвила чеканное:

— А теперь мы с вами поговорим.

— А теперь мы с вами поговорим

КАЛИФОРНИЯ БЕЗ ЗОЛОТА

Когда первые золотоискатели наткнулись на Калифорнию — они буквально купались в золоте. Вторая волна золотоискателей — более многочисленная — ходила уже только по колено в золотых струях, третья могла еле омочить пятки, а четвертая, пятая, шестая как нахлынула на сухой, облезший, когда-то столь густо позолоченный берег — так ни с чем и отхлынула: редкому счастливцу после долгих поисков попадался золотой слиток, довольно ясно видимый под микроскопом.

Кто, какой пионер, какой первый золотоискатель открыл Выборг — этот золотой прииск, где можно купить любую вещь дешевле грибов — неизвестно. Может быть, оно раньше так и было — мне о том неведомо. Но вслед за первым золотоискателем из Петрограда хлынул целый поток новых золотоискателей — вот теперь они и бродят по унылым опустевшим магазинам Выборга — с видом усталых рудокопов, изрывших целые десятины, намывших целые горы земли и извлекших из ее недр одну только пару подозрительного вида чулков за десять марок.

* * *

Компания измученных петроградцев с остолбенелым видом останавливается перед витриной крохотной выборгской лавчонки и испускает ряд отрывистых восклицаний:

— Ого! Ботинки.

— Да. И как дешево. 50 марок.

— А в Петрограде за такие слупили бы рублей 25.

— Сколько это марок вышло бы?

— 25 рублей? Пятьдесят четыре с половиной марки.

— Ну, вот видите! На целых четыре с половиной марки дешевле.

— Зайдем, купим.

— Да мне таких не нужно. Я таких не ношу.

— Ну, вот еще какие тонкости! Дешево, так и бери.

Вваливаются в магазинчик.

— Покажите нам вот эти ботинки... Что? Последняя пара? Ну, вот, видишь: я тебе говорил — покупай скорей. Гм! Последняя пара: вот что значит дешевка. Нука, примерь.

— Гм... Вззз... ой!

— Что? Тесноваты? Ну, ничего — разносятся. Заверните ему. Плати. Пойдем.

— Да я, собственно, такой фасон не ношу...

— Но ведь дешевы!

— Дешевы-то они дешевы. Жаль только, что тесноваты.

— А зато на четыре с половиной марки дешевле.

— Дешевле-то они дешевле.

— То-то и оно. Бери, пойдем. А это что — смотри-ка... Магазин рамочек. Для чего эти рамочки?

— Для чего-нибудь да нужны. Зря продавать не будут. И как дешево — голубенькая, а семь марок стоит. Зайдем, купим.

Входит всего четверо, но лавочка так мала, будто вошли сто.

— Слушайте: для чего эти рамочки, что вы продаете?

— Ля картина...

— Для картин, значит, — переводит один, очевидно, тонкий знаток финского языка.

— А через границу провезти их можно?

— Та, мосна.

— Я знаю, что таможня, так я вот и спрашиваю...

— Ты его не понял, — торопливо поправляет переводчик. — Он говорит, что можно. Но, вероятно, спрятать нужно, да?

— Та, мосна.

— Спрятать. Мы их под костюм спрячем, в чемодан. Знаешь, я возьму пять штук.

— И я три. Почем они?

— По восьми марок.

— А в Петрограде я такие по два рубля видел.

— Да, уж там сдерут. Там могут. Россия.

— А тебе для чего эти рамки?

— Да, придумаю. Сейчас не нужны, после понадобятся. Вставлю что-нибудь в них.

— Заплатили? Пойдем. Ну, что тебе еще нужно?

— Да так, собственно говоря, ничего...

— А ты вспомни!

— Ей Богу ничего.

— Чулки не нужны ли?

— Чулки? — мямлит вялый петроградец. — Собственно говоря...

— Ну вот видишь! Вот тебе и чулочный магазин. Здравствуйте. Есть чулки?

— Нету. Се родано.

— Ну, что вы! Нам всего несколько пар. Поищите. Может, найдется.

— Тамская есть чулки.

— Дамские?.. Гм! А ну, покажите.

— Послушай... да зачем же мне дамские.

— Вот чудак! Дешево ведь. Бери — теплее еще, чем носки. До самого колена. Бери ты три пары и я три пары.

— Сести пара нету. Сетыри пара есть сего.

— Нету шести пар. Ну, давайте четыре. А остальные две пары можно чем-нибудь другим добрать. Вот эту штуку дайте.

— Не, эта не родается. На эта стука сляпа надевается. Для окна. На выставка.

— Действительно, слушай... Ну, зачем тебе болван для шляпы. К чему он?

— А? Ну, нет, знаешь, не скажи. Это штука удобная. Придешь домой — куда положить шляпу? Ну, и наденешь ее на эту чертовину. А что у вас еще есть?

— Нисего нету. Се родано.

— Русские все, черт их дери. Пронюхали — и сразу все расхватали. А это что за кошка? Почем?

— Это наса коска. Сивой.

— Живая? А чего ж она лежит, как искусственная. Только покупателей зря смущает...

— Пойдем, господа.

— Вот драма так драма... Приехали в Выборг, а купить нечего. А вот магазинчик какой-то, зайдем. Что здесь продается?

— Черт его... не разберешь. Витрина пустая. Войдем на всякий случай.

— Здравствуйте... Гм... Какие-то рабочие, а товару не видно. Что вы тут делаете, братцы? Это магазин?

— Та. Тольки сицас есцо магазина нету. Акроица тая неделя.

— На той неделе? А что тут будут продавать?

— Ветоцна магазин.

— Цветочный? Ну, ладно. Если еще приедем — зайдем, купим. Смотри, какими хорошенькими обоями оклеивают. Послушайте: почем обои?

— Ве марки кусок.

— Ну, продайте нам вот эту пачку... Нельзя? Подумаешь важность... Почему нельзя? А ножницы продаются? Нет? Жалко; очень хорошенькие ножницы...

* * *

Номер гостиницы завален коробками, свертками, пачками.

— Ты чего сопишь?

— Да вот хочу ботинки в рукав пиджака засунуть. Боюсь, вдруг в Белоострове таможенные дощупаются.

— Если новые — конфискуют. А ты поцарапай подошвы — будто ношеные. Ношеные везти по закону можно.

Счастливый обладатель ботинок вытаскивает перочинный ножик и приступает к работе. Зажимает между колен подметкой кверху ботинок и начинает царапать ножиком блестящий лак.

— Ну, что?

— Черт их дери: все-таки, видно, что не ношенные, а просто поцарапанные. Грязи на них нету.

— А ты плюнь.

Владелец ботинок послушно плюет на подметку.

— Да нет, я тебе не в том смысле. Ну, да уж раз плюнул, теперь разотри получше. Об пол повози.

— И черт их знает, почему у них такие полы чистые... Не мажется! Блестит себе и блестит.

— Ножом потыкай. Постой — дай, я.

— Ну, вот — обрадовался. Видишь — дырка.

— Ничего. Зато уж видно, что не новый. Оборви еще ушко ему, черту. Тогда уж никто не придерется.

— Я лучше шнурок, будто, оборву. Все поспокойнее.

— Собственно, на кой черт ты их взял? Фасон не модный, тесные, на боку дырка.

— Ты же сам говорил...

— Мало, что я говорил... Вон ты мне абажур ламповый посоветовал взять — на нос я его себе надевать буду что ли, ежели у меня электричество.

— Сколько ты за него заплатил?

— Пятнадцать рублей на наши деньги.

— Вот видишь, а в Петрограде за восемь целковых купишь — и возиться не надо, и прятать не надо.

— Гм... Действительно. Рамочки тоже... накупили! Обрадовались! Грубые, аляповатые.

— А ты еще в другом магазине докупил две штуки — к чему?

— Рамочки — что... Их, в крайнем случае выбросить можно. А вот чулки дамские — это форменное идиотство. Ну, как я их надевать буду?

— Обрежь верхушку — носки получатся.

— Носки... Их еще подрубить нужно. Да и носки сколько стоят? Два целковых? А я по четыре с полтиной за эту длиннейшую дрянь платил.

— Подари кому-нибудь.

— А ты найди мне такую женскую ногу. Сюда три поместятся. Постой... Это еще что такое?

— Пресс-папье из березовой коры.

— Боже, какая дрянь. Неужели, это мы купили?

— Мы. А в этом пакете что?

— Тоже рамочки. А это подставки для фруктовых ваз, банка гуммиарабика, лапландский ножик, сигары...

— Мы ведь не курим.

— Что значит — не курим. Мы никого и не режем, а лапландский ножик купили. Мы и не бабы, а шелковое трико коротенькое купили. Дураки мы, вот кто мы.

— А это что?

— Этого уж я и сам не знаю. К чему оно? Металлический ящик, ручка, какие-то колесики, задвижечка... Покупаешь, а даже не спросишь — что оно такое.

— Зато дешево. Тридцать две марки.

— Дешево?.. А я тебе вот что скажу: эти сорочки здесь стоят пять рублей, а в Петрограде — четыре, салфетки здесь десять рублей, в Петрограде семь, а галстуки... Галстуки вообще ничего не стоят! Повеситься можно на таком галстуке.

— Поехали, действительно! Обрадовались; накинулись.

— А тут еще с таможней может быть...

— Молчи, пока я тебя лапландским ножиком не полоснул!

Тяжелое настроение.

* * *

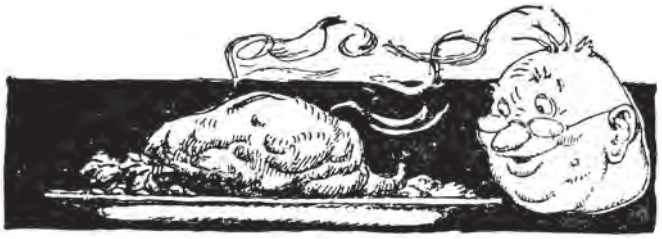
Поездки в Выборг напоминают мне историю с Марьиной слободой в городе К.

Была такая Марьина слобода, которая вдруг прославилась тем, что живут там самые трезвые мещане и самые красивые, добродетельные девушки и жены.

И когда пошла эта слава, то стала ездить туда публика — любоваться на трезвых мещан и добродетельных красавиц... И чем дальше — тем больше ездило народу, потому что слава росла, ширилась, разливалась.

А когда мне совсем прожужжали уши о знаменитой слободе, и я поехал туда — я увидел ряд грязных покосившихся домов, поломанные заборы, под каждым из которых лежало по пьяному мещанину, а из домов неслись крики, хохот гостей, взвизгивание женщин, и звуки скрипки и разбитого пианино: это добродетельные девушки и жены укрепляли славу своей удивительной слободы.

Ибо сказано — о Выборге ли, о Марьиной слободе ли: чересчур большой успех портит.



ИНДЕЙКА С КАШТАНАМИ

Жена заглянула в кабинет и сказала мужу:

— Василь Николаич, там твой племянник, Степа, пришел.

— А зачем?

— Да так, говорит: поздравить хочу.

— А ну его к черту.

— Ну все-таки неловко — твой же родственник. Ты выйди, поздоровайся. Ну, дай ему рубля три, в виде подарка.

— А ты сама не можешь его принять?

— Здравствуйте! Я и то, я и се, я и туда, я и сюда, я и за индейкой присматривай я твоих племянников принимай...

— Да, кстати, что же будет с индейкой?

— Это уж как ты хочешь. И сегодня гостей на индейку позвал и завтра гостей на индейку позвал! А индейка одна. Не разорваться же ей!.. Распорядился — нечего сказать!

— А нельзя половину сегодня подать, половину завтра?

— Еще что выдумай! На весь город засмеют. Кто же это к столу пол-индейки подает?..

— Гм... Да... Каверзная штука. Ну, где твой этот дурацкий Степа, давай его сюда.

— Какой он мой?! Твой же родственник. В передней сидит. Позвать?

— Зови. Я его постараюсь сплавить до приезда гостей.

* * *

В кабинет вошел племянник, Степа, существо совсем не напоминающее распространенный тип легкомысленных, расточительных, элегантных племянников, пользующихся родственной слабостью богатого дяди.

Степа Митюков

Был Степа высоким, скуластым молодцом, с громадным зубастым ртом, искательными, навсегда испуганными глазами, и такой впалой грудью, что ходи Степа голым — в этой впадине в дождливое время всегда бы застаивалась вода.

Руки из рукавов пиджака и ноги из брюк торчали вершка на три больше, чем это допустил бы легкомысленный племянник из великосветского романа, а карманы пиджака так оттопыривались, будто Степа целый год таскал в каждом из карманов по большому астраханскому арбузу. Брюки на коленях тоже были так чудовищно вздуты, как сочленения на индусском бамбуке.

Бровей не было. Зато волосы на лбу спускались так низко, что являлось подозрение: не всползли ли брови в один из периодов изумленности Степы кверху и не смещались ли там раз навсегда с головными волосами. В ущелье, между щекой и крылом носа, пряталась огромная розовая бородавка, будто конфузясь блестящего общества верхней волосатой губы и широких мощных ноздрей...

Таков был этот бедный родственник Степа.

— Ну, здравствуй, Степа, — приветствовал его дядя. — Как поживаешь?

— Благодарю, хорошо. Поздравляю с праздником и желаю всего, всего...

— Ага, ну-ну. Ты, Степа, того... Гм! Как это говорится... Ты, Степа, не мог бы мне где-нибудь индейки достать, а?

— Сегодня? Где же ее нынче, дядюшка, достать? Ведь первый день Рождества. Все закрыто.

— Ага... Закрыто... Вот, брат Степан, история у меня случилась: индейка-то у нас одна, а я и на сегодня и на завтра позвал гостей именно на индейку. Черт меня дернул, а?

— Да, положение ваше ужасное, — покорно согласился Степа. — А вы сегодня скажите, что больны.

— Кой черт поверит, когда я уже у обедни был.

— А вы скажите, что кухарка пережарила индейку.

— А если они из сочувствия на кухню полезут смотреть, что тогда?.. Нет; надо так, чтобы индейку они видели, но только ее не ели. А завтра разогреем, и будет она как живая.

— Да, положение ваше ужасное, — сказал Степа

— Так пусть кто-нибудь из гостей скажет, что уже все сыты, и что индейки резать не надо...

Дядя, закусив верхнюю губу, задумчиво глядел на племянника и вдруг весь засветился радостью...

— Степа! Голубчик! Оставайся обедать. Ты ж ведь родственник, ты — свой, тебя стесняться нечего — поддержи, Степа, а? Подними ты свой голос против индейки...

— Да удобно ли мне, дядюшка... Вид-то у меня такой... Не фельтикультяпный.

— Ну вот! Я тебя, брат, за почетного гостя выдам, ухаживать за тобой буду. А когда в самом конце обеда подадут индейку, ты и рявкни, эдак, посолиднее: ну зачем ее резать зря, все равно никто есть не будет, все сыты, уберите ее.

— Дядюшка, да ведь меня хамом про себя назовут.

— Ну, большая важность. Не вслух же. А может быть, и просто скажут: оригинал. Я, конечно, буду упрашивать тебя, настаивать, а ты упрись, да еще поторопи, чтобы унесли индейку, а то неровен час, кто-нибудь и соблазнится. Это, действительно, номер! Да чего ты стоишь, Степа? Присядь.

— Дядюшка, вы мне в этом году денег не давайте, — сказал Степа, критически и с явным презрением оглядывая свои заскорузлые сапоги. — А вы мне лучше ботинки свои какие-нибудь дайте. А то я совсем того...

— Ну конечно, Степан! Какие там могут быть разговоры... Я тебе, Степандряс, замечательные ботинки отхвачу!.. Хе-хе! А ты, брат, не дурак, Степанеско... И как это я раньше не замечал?.. Решительно не дурак!

* * *

Когда гости усаживались за стол, Василий Николаевич представил Степу:

— А это вот, господа, мой родственник и друг Стефан Феодорович. Большой оригинал, но человек бывалый. Садитесь, Стефан Феодорович, вот тут. Водочки прикажете, или наливочки?..

Степа приятно улыбнулся, потер огромные костлявые руки одну о другую и хлопнул большую рюмку водки.

— У меня есть знакомый генерал, — заявил он довольно громко, — так этот генерал водку закусывает яблоком!

— Это какой генерал, — заискивающе спросил дядя, — у которого вы, Стефан Феодорович, ребенка крестили?

— Нет, то другой. То мелюзга, простой генерал-майор. А вот в Египте, знаете, совсем нет генералов.

— А вы там были? — покосился на него сосед.

— Конечно был. Я, вообще, каждый год куда-нибудь... В опере бываю часто. Вообще, не понимаю, как можно жить без развлечений.

Две рюмки водки и сознание, что какие бы слова он ни говорил, дядя не оборвет его — все это приятно возбуждало Степу.

— Да-с, господа, — сказал он, с дикой энергией прожевывая бутерброд с паюсной икрой. — Вообще, знаете, Митюков такая личность, которая себя еще покажет. Конечно, Митюков, может быть, с виду неказист, но Митюкова нужно знать! Беречь нужно Митюкова.

— Стефан Феодорович, — ласково сказал дядя. — Возьмите еще пирожков к супу.

— Благодарствуйте. Вот англичане совсем, например, супу не едят... А возьмите, например, мадам, они вас по уху съездят, — дверей не найдете. Честное слово.

Худо ли, хорошо ли, но Степа завладел разговором.

Он рассказал, как у них, в дровяном складе, где он служил, отдавило приказчику ногу доской, как на их улице поймали жулика, как в него, в Степу, влюбилась барышня, и закончил очень уверенно:

— Нет-с, что там говорить! Митюкова еще не знают! Но Митюков еще себя покажет. О Митюкове еще будут говорить и еще много кое-кому испортит крови Митюков. Да что толковать — у Митюкова, конечно, есть свои завистники, но... Митюков умственно топчет их ногами!

— Позвольте... Да этот Митюков, — начала одна дама.

— Ну?

— Кто он такой, этот замечательный Митюков?

— Митюков? Я!

— А-а... А я думала — кто?

— Митюкова трудно раскусить, ну если уж вы раскусили...

В это время как раз и подали индейку. Все жадно втянули ноздрями лакомый запах, а Степа встал, всплеснул руками, и сказал самым великосветским образом:

— Еще и индейка? Нет, это с ума сойти можно. Этак вы нас всех насмерть закормите. Ведь все уже сыты, не правда ли, господа? Не стоит ее и начинать, индейку.

Все пробормотали что-то очень невнятное.

— Ну да! — вскричал Степа. — То же самое и я говорю. Не стоит начинать! Унесите ее, ей Богу!

— А, может быть, скушаете по кусочку, — нерешительно сказал хозяин, играя длинным ножом. — Индеечка хорошая. С каштанами.

Длинный Степа вдруг перегнулся пополам и приблизил лицо почти к самой индейке.

— Вы говорите, с каштанами?!

— С каштанами!?. Ну, раз с каштанами, тогда я... не откажусь съесть кусочек...

Губы его вдруг увлажнились слюной, а глаза сверкнули с такой голодной истерической жадностью, что хозяин взял блюдо и с фальшивой улыбкой сказал:

— Ну, если все отказываются, придется унести.

— С каштанами!? — простонал Степа, полузакрыв глаза. — Ну, раз с каштанами, тогда я... не откажусь съесть кусочек.

Нож дрогнул в руке хозяина... Повис над индейкой... Была слабая надежда, что Степа скажет: нет, я пошутил — унесите.

Но не такой человек был Степа, чтобы шутить в подобном случае... Стараясь не встречаться взором с глазами дяди он скомандовал:

— Вот мне, пожалуйста... От грудки отрежьте и эту ножку.

— Пожалуйста, сделайте одолжение, — дрогнувшим голосом сказал хозяин...

— Тогда уж, раз вы начинаете, и мне кусочек, — подхватила соседка Степы, не знавшая, что такое Митюков.

— И мне! И мне!..

А когда подали кофе и конфеты, хозяин встал и решительно сказал Степе:

— Ах, да! Я и забыл: вас генерал к телефону вызывал. Пойдем, я вам покажу телефон... Извините, господа.

Пока они шли по столовой, хозяин говорил одним тоном, но едва дверь кабинета за ними закрылась — тон его переменился.

Вышло приблизительно так:

— Ах, Стефан Феодорович, этот генерал без вас жить не может... Да оно, положим, вас все любят. У вас такой тонкий своеобразный ум, что... Что ж ты, мерзавец этакий, а? Говорил, что будешь отказываться, а сам первый и полез на индейку, а? Это что ж такое? Рыбой я тебя не кормил? Супом и котлетами не кормил? Думал до горла ты набит, ухаживал за тобой, как за первым человеком, а ты вон какая свинья?.. Уже все гости, было, отказались, а ты тут, каналья, вот так и выскочил, а?

Степа шел за ним, прижимая костлявые руки к груди, и говорил плачущим голосом:

...А о чем думал — неизвестно

— Дядечка, но ведь вы не предупредили, что индейка с каштанами будет!.. Зачем вы умолчали? А я этих каштанов с индейкой никогда и не ел... Поймите, дядечка, что это не я, а каштаны погубили индейку. Я уж совсем было отказался, вдруг слышу: каштаны!

— Вон, негодяй! Больше и носу ко мне не показывай!

— Дядя, вы насчет же ботинок говорили...

— Что-о-о-о?! Марина, проводи барина! Пальто ему!

* * *

Втянув шею в плечи, стараясь защитить от холода ветхим коротким воротником осеннего пальто свои большие оттопыренные уши, шел по улице Степа. Снег, лежавший раньше толстым спокойным пластом, вдруг завихрился, затанцевал и стал, как юркий бес, вертеться вокруг печального Степы... Руки, не прикрытые короткими рукавами пальто, мерзли, ноги мерзли, шея мерзла...

Он шел, уткнув нос в грудь, как журавль, натыкаясь на прохожих, и молчал, а о чем думал — неизвестно.

ПРОПАВШАЯ КАЛОША ДОББЛЬСА

(Соч. А. Конан-Дойля)

Мы сидели в своей уютной квартирке на Бейкер-стрит в то время, когда за окном шел дождь и выла буря. (Удивительно: когда я что-нибудь рассказываю о Холмсе, обязательно мне без бури и дождя не обойтись...)

Итак, по обыкновению, выла буря, Холмс, по обыкновению, молча курил, а я, по обыкновению, ожидал своей очереди чему-то удивиться.

— Ватсон, я вижу, у тебя флюс.

Я удивился.

— Откуда вы это узнали?

— Нужно быть пошлым дураком, чтобы не заметить этого! Ведь вспухшая щека у тебя подвязана платком.

— Поразительно!!! Этакая наблюдательность.

Холмс взял кочергу и завязал ее своими жилистыми руками на шее в кокетливый бант. Потом вынул скрипку и сыграл вальс Шопена, ноктюрн Нострадамуса и полонез Васко да Гама.

Когда он заканчивал 39-ю симфонию Юлия Генриха Циммермана, в комнату с треском ввалился неизвестный человек в плаще, забрызганный грязью.

— Г. Холмс! Я Джон Бенгам... Ради бога помогите! У меня украли... украли... Ах! Страшно даже вымолвить...

Слезы затуманили его глаза.

— Я знаю, — хладнокровно сказал Холмс, — у вас украли фамильные драгоценности.

Бенгам вытер рукавом слезы и с нескрываемым удивлением взглянул на Шерлока.

— Как вы сказали? Фамильные... что? У меня украли мои стихи.

— Я так и думал. Расскажите обстоятельства дела.

— Какие там обстоятельства! Просто я шел по Трафальгар-скверу и, значит, нес их, стихи-то, под мышкой, а он выхвати, да бежать. Я за ним, а калоша и соскочи у него. Вор-то убежал, а калоша — вот.

Холмс взял протянутую калошу, осмотрел ее, понюхал, полизал языком и наконец, откусивши кусок, с трудом разжевал его и проглотил.

— Теперь я понимаю! — радостно сказал он.

Мы вперили в него взоры, полные ожидания.

— Я понимаю... Ясно, что эта калоша резиновая!

Изумленные, мы вскочили с кресел.

Я уже немного привык к этим блестящим выводам, которым Холмс скромно не придавал значения, но на гостя такое проникновение в суть вещей страшно подействовало.

— Господи помилуй! Это — колдовство какое-то!

По уходе Бенгама мы помолчали.

— Знаешь, кто это был? — спросил Холмс. — Это мужчина, он говорит по-английски, живет в настоящее время в Лондоне. Занимается поэзией.

Я всплеснул руками.

— Холмс! Вы сущий дьявол. Откуда вы все это знаете?

Холмс презрительно усмехнулся.

— Я знаю еще больше. Я могу утверждать, что вор — несомненно, мужчина!

— Да какая же сорока принесла вам это на хвосте?

— Ты обратил внимание, что калоша мужская? Ясно, что женщины таких калош носить не могут!

Я был подавлен логикой своего знаменитого друга и ходил весь день как дурак.

Двое суток Холмс сидел на диване, курил трубку и играл на скрипке.

Подобно богу, он сидел в облаках дыма и исполнял свои лучшие мелодии.

Кончивши элегию Ньютона, он перешел на рапсодию Микеланджело и на половине этой прелестной безделушки английского композитора обратился ко мне.

— Ну, Ватсон, собирайся! Я-таки нащупал нить этого загадочного преступления.

Мы оделись и вышли.

Зная, что Холмса расспрашивать бесполезно, я обратил внимание на дом, к которому мы подходили. Это была редакция «Таймс».

Мы прошли прямо к редактору.

— Сэр, — сказал Холмс, уверенно сжимая тонкие губы. — Если человек, обутый в одну калошу, принесет вам стихи, задержите его и сообщите мне.

Я всплеснул руками.

— Боже! Как это просто... и гениально.

После «Таймс» мы зашли в редакцию «Дэйли-Нью», «Пелл-Мелл» и еще в несколько. Все получили предупреждение.

Затем мы стали выжидать.

Все время стояла хорошая погода, и к нам никто не являлся. Но однажды, когда выла буря и бушевал дождь, кто-то с треском ввалился в комнату, забрызганный грязью.

— Холмс, — сказал неизвестный грубым голосом. — Я Доббльс. Если вы найдете мою пропавшую на Трафальгар-сквер калошу, я вас озолочу. Кстати, отыщите также хозяина этих дрянных стишонок. Из-за чтения этой белиберды я потерял способность пить свою вечернюю порцию виски.

— Ну, мы эти штучки знаем, любезный, — пробормотал Холмс, стараясь свалить негодяя на пол.

Но Доббльс прыгнул к дверям и, бросивши в лицо Шерлоку рукопись, как метеор, скатился с лестницы и исчез.

Другую калошу мы нашли после в передней.

. . . . . .

Я мог бы рассказать еще о судьбе поэта Бенгама, его стихов и пары калош, но так как здесь замешаны коронованные особы, то это не представляется удобным.

Кроме этого преступления Холмс открыл другие, может быть, более интересные, но я рассказал о «Пропавшей калоше Доббльса» как о деле, наиболее типичном для Шерлока.

АКТЕРЫ

Самое красивое в женщине (когда смотришь на нее со стороны) — это ее осень... Пышная, золотая, иногда спокойно-элегическая, иногда бурная, пламенная, она является для всякого, кто глядит на такую женщину, сладким и страшным memento mori...

Самое красивое в мужчине — это его весна: 21–22 года, когда взор задумчив и робок, а сердце бьется и замирает при одном взгляде на женщину. Чуткость, рыцарство и бескорыстная влюбленность свойственны этому возрасту...

Однажды я долго любовался этим чудесным сочетанием зрелой пышной осени и молодой, розовой весны.

Осень — актриса Донецкая.

Весна — актер Рокотов.

Я сидел в ее уютной квартирке и мирно беседовал об искусстве, когда появился Рокотов, молодой красавец, с бритым нервным лицом и задумчивыми, немного печальными глазами.

— Здравствуй, Женя, — сказал он, целуя ее в щеку и здороваясь со мной.

«На „ты“, — подумал я. — Очевидно, ее муж».

— Ты откуда? — спросила Донецкая.

— На бильярде с твоим мужем играл.

«Не муж, значит, — догадался я. — Значит, брат». Вслух заметил:

— А вы совсем не похожи друг на друга лицом.

— Да? — удивилась она. — А я где-то читала, что люди, которые долго живут друг с другом, делаются похожими друг на друга. Мы живем вместе уже полтора месяца, а вот, оказывается, не похожи.

«Вот оказия, — призадумался я. — Живут вместе полтора месяца, а он с ее мужем на бильярде играет. Как же он ей приходится? Впрочем, „вместе“ — это, может быть, в одном театре...»

— Вы в одном и том же театре играете? — спросил я.

— Да, — отвечала Донецкая. — В театре его только и видишь. Домой он является в пять часов утра и имеет пренеприятную привычку будить меня...

Рокотов мелодично засмеялся, поцеловал Донецкой руку и, присев около на низенький пуф, детским движением доверчиво положил ей голову на колени.

— Ах ты мой милый мальчик, — ласково и нежно прошептала она, гладя его волосы.

...И продолжала начатый разговор:

— Да! В те времена я служила еще в Саратове. Еще, как говорится, не расправила крылья. И бедствовали же мы! Комическая старуха варила похлебку из картофеля, и этим питалась вея труппа. Боже мой! Какой контраст с тем, что было потом! Струи золота! Горы бумажек! Ах, дорогой друг мой... Если бы я сейчас имела одну десятую того, что прошло через мои руки, — я была бы миллионершей!

— Неужели в театре платят такие большие оклады?! — удивился я.

— В театре? Я бы сто раз уже протянула ноги — если бы рассчитывала на свое жалованье...

Она склонила благородный профиль к голове любимого человека и, отдаваясь вся во власть воспоминаний, тихо, ни к кому не обращаясь, заговорила:

— О, Боже... Что это было... Например, в Москве... Генерал Штифель... Понравилась мне золотистая лошадь у одного рыбника... Генерал мигнул, лошадь эта очутилась у меня, но я хотела иметь пару... Что ж вы думаете? Всю Россию изъездил его секретарь и нашел-таки в каком-то не то Устюге, не то еще где-то... Восемь тысяч ему это стоило...

Сердце мое болезненно сжалось.

«Зачем она это говорит, — подумал я. — Ведь любимому и любящему человеку больно слушать о том, как ее любил другой, как он окружал ее королевской роскошью, которой он, бедный артист, не в силах дать ей...»

— А дровяник Супов, — прошептала Донецкая, еще ниже склоняя чистый, не успевший измяться профиль к голове любимого человека. — Вспомню я об этом Супове — и даже теперь смешно... К чему были все эти глупости... Делал мне ванну из воды пополам с духами; а духи французские, уж и название не припомню... Флакон 28 рублей... За кровать заплатил семь тысяч... Бывало, приезжаешь к Яру, подойдешь к аквариуму (огромный там аквариум был), выберешь этакую рыбку, рублей за полтораста... подадут ее, ну, и что же? Ковырнешь эту махину вилкой — уберите, не нравится' А цыгане? Как цыгане запоют, так этот Супов плакать начинает: «Женя! Хочешь, жену отравлю, а на тебе женюсь». Такой смешной. «Зачем же, говорю, Ваня. Разве я и так не твоя?..» — «Без закона, говорит, это не считается». Такой юморист, что ужас. До ста тысяч я ему в полтора года стоила...

Тупая боль сжала мое сердце, когда я поглядел на Рокотова.

Бедняга будто замер в своем мучении, уткнув голову в колени женщины, которая так терзала и топтала без всякой жалости его молодое чувство, а она, будто не замечая нависшего над нами ужаса и боли, продолжала:

— А в Киеве! Был у меня сахарозаводчик Тирунин, старик, существо испорченное до мозга костей. Но надо отдать справедливость — денег не жалел. В мой бенефис однажды выкинул штуку: сто корзин поднес. Так вы знаете: я потерялась на сцене!.. Лес! Не знаю, куда идти! Вместо того чтобы в публику, я в кулису кланялась. А за

ужином в огромном тазу крюшон делали, в который входило шампанское, коньяк, мараскин, персики и я. Это у него уж традиция была. В три недели шестьдесят тысяч растаяли...

Я уже открыл рот, чтобы намекнуть ей на все неприличие и жестокость ее слов по отношению к тому, кто был у ее ног, но в это время он сам поднял голову и, бросив на нее угрюмый, тяжелый взгляд, пытался что-то сказать, однако, не замечая его порыва, вся погруженная в воспоминания, тихо прошелестела Донецкая:

— В том же Киеве был такой подрядчик, Акулькин... Что он выделывал! Забирал всю труппу, вез ее на Труханов остров, дня на три, а антрепренеру платил неустойку. И все потому, что в городе ему мешал остаться со мной полковник Подпругов... Один месяц был у меня этот Акулькин, а обошлось ему это... дай Бог память... Да! 82 тысячи ему это обошлось.

Давно уже хотевший что-то сказать Рокотов теперь не выдержал... Поднял голову энергичным взмахом и ревниво сказал:

— Постой, постой... 82 тысячи! Но ведь это не считая бриллиантов. А ты на сколько получила бриллиантов? Тысяч на двадцать? Вот, брат, оно и за сто перевалило.

— Ах, и верно ведь, — улыбнулась Донецкая, снова укладывая голову любимого человека на колени. — Тогда выйдет больше ста тысяч.

И снова зашелестела тихо и задумчиво пышная осень золотыми листьями, и снова замерла у ее ног розовая весна, очарованная, завороженная волшебной сказкой.

СОДЕРЖАНИЕ

ЗАЙЧИКИ НА СТЕНЕ

Предисловие. . . . 6
Отец . . . 7
Городовой Сапогов . . . 12
Граф Калиостро . . . 15
Яд . . . 20
Незаметный подвиг . . . 23
Геракл . . . 28
Сухая масленица . . . 33
По ту сторону... . . . 38
Магнит . . . 40
Ихневмоны . . . 44
Жена . . . 48
Альбом . . . 52
Два преступления господина Вопягина . . . 58
Шутка . . . 60
В зеленой комнате (*Послеобеденные разговоры*) . . . 64
Исчадие города . . . 68
Анекдоты из жизни великих людей (*Памяти Марка Твена*) . . . 72
Дурная наследственность. . . . 76
Одинокий Гржимба . . . 79
Вино. . . . 85
Чудеса . . . 92
Петухов . . . 99
Случай с Патлецовыми . . . 104
Глава I Ключи . . . 104
Глава II «Назарет» . . . 105
Глава III Мишка Саматоха . . . 107
Аргонавты . . . 108
Смерть девушки у изгороди . . . 115
Мальчик с затекшим глазом (*О критиках*) . . . 121

ВЕСЕЛЫЕ УСТРИЦЫ

Автобиография . . . 126
I. В СВОБОДНОЙ РОССИИ . . . 133
История болезни Иванова. . . . 133
Кто ее продал... . . . 135
Русская история . . . 138
Люди . . . 141
Почести . . . 144
Робинзоны. . . . 147

Визит....150
Бедствие....153
Мученик науки....155
Спермин....157
Октябрист Чикалкин....160
Невозможное....162
Зверинец....165
Путаница....167
II. ОКОЛО ИСКУССТВА....170
Труха....170
«Аполлон»....174
Американцы....177
Подмостки....180
Проклятие....184
Пернатое....187
Еще воспоминания о Чехове....192
Крайние течения....195
Неизлечимые....198
I. Боярская проруха....201
II. Мухи и их привычки (*Очерки из жизни насекомых*)....201
Золотой век....201
Без почвы....205
III. МОИ УЛЫБКИ....209
Четверг....209
Мозаика....215
Рубановичи....220
Четверо....224
Лекарство....229
Ложь....234
Визитер. Опыт характеристики....238

КРУГИ ПО ВОДЕ

От автора....246
Двуличный мальчишка....248
Раздвоение личности....253
Чад....258
Сазонов....263
Курильщики опиума....267
Язык....272
Цепная собака....276
Пловец на большие расстояния....281
Горничная из большого дома....286
Неудачная антреприза....291
Как меня обворовывали....295
Я и мой дядя....300
Молния....305

Свой крест... 310
Дураки, которых я знал....313
Мужчины....318
Новый Соломон....322
Мокрица....327
Случай 24-го декабря....330
Граждане 334
Лакмусовая бумажка....338
Трудолюбивый Харлампьев 343
Революционер....347
Принцип....352
Животное....355
Праздник любви....361
Призвание....366
Старики....370

ЧТО ИМ НУЖНО

Что им нужно....376
Детвора....381
Роман двух хороших людей....384
Мода 388
То, что может случиться с каждым 391
Как я сделался лгуном....393

ШАЛУНЫ И РОТОЗЕИ

Предводитель Лохмачев....400
Индейская хитрость 408
Преступление Голубого Шакала....412
Японская борьба....416
Деловой мальчик....421
Солидное предприятие. Записки делового человека....427
Страшное преступление в кабаке дяди Стамати....432
Сережкин рубль 437
Синее одеяло 444
Джиу-джитцу....449

ЗАПИСКИ ТЕАТРАЛЬНОЙ КРЫСЫ

Самое большое предприятие 456
Актеры 459
Данные для успеха 464
В летних садах 467
Народный дом....471
Театр «Летний фарс». Борьба....475
«1812 Год»....478
Музыка в Петергофе 482

Театр и сад «Фарс» 484
Новый Летний театр. «Сказки Андерсена» 486
Театр и сад «Фарс». Борьба 488
Злая яма 490
Крестовский сад (Закрытый театр) 492
Театр и сад «Аквариум» 494
Борьба. Лебедев 496
Театр и сад «Аквариум» (*Провинциалы в Петербурге*) 497
Амалия... И так далее... 500
Театр-концерт «Аполло» 502
Театр Комиссаржевской 504
Вечер северной свирели. (Театр искусств) 507
Драматический театр В. Ф. Комиссаржевской 510
Цирк Чинизелли 512
Новый театр 515
Театр «Аполло» 518
Театральный клуб «Лукоморье» 520
«На перепутье» 523
Мариинский театр 525
Невский фарс 526
Театр Комиссаржевской 529
Новый цирк 531
Михайловский манеж 533
Аквариум 536
Литейный театр 538
Театр «Пассаж» 540
Малый театр 542
Театр «Буфф» 544
Театр и сад «Фарс» 546
«Аквариум» 548
Театр и сад «Фарс» 550
Новый летний театр 553
Театр и сад «Фарс» 555
Царство скачек 558
Невский фарс 560
Новый драматический театр 563
Зимний «Буфф» 565
Кабаре «Кривое зеркало» 567
Екатерининский театр 570
Московский Художественный театр 572
Бал «САТИРИКОНА» 576
Малый театр 580
Театр и сад «Аквариум» 582
Летний театр «Буфф» 585
Новый драматический театр 588
Новый драматический театр 590

Палас-театр....592
Цирк Чинизелли....594
Московский Художественный театр....596
Театр «Луна-парк»....599
«Аполло»....602
Опера А. Р. Аксарина «Добрыня Никитич»....604

ДЮЖИНА НОЖЕЙ В СПИНУ РЕВОЛЮЦИИ

Предисловие....609
Фокус великого кино....612
Поэма о голодном человеке....615
Трава, примятая сапогом....619
Чертово колесо....622
Черты из жизни рабочего Пантелея Грымзина....626
Новая русская сказка....628
Короли у себя дома....631
Усадьба и городская квартира....634
Хлебушко....637
Эволюция русской книги....639
Русский в Европах....642
Осколки разбитого вдребезги....645

РАССКАЗЫ

Великий писатель земли русской у Льва Толстого....650
На лоне природы....652
Кинематограф....656
Настоящие парни....658
Союз русских художников....670
Как я праздновал масленицу....673
Блины Доди....675
План генерала Мольтке....680
Старческое....685
Крыса на подносе....689
День делового человека....695
Ночное приключение....701
Калифорния без золота....707
Индейка с каштанами....711
Пропавшая калоша Доббльса....716
Актеры....719
Содержание....723

Аркадий Тимофеевич Аверченко

ЮМОРИСТИЧЕСКИЕ РАССКАЗЫ

Верстка, обработка иллюстраций, обложка
А. Яскевич

На основании п. 2.3 статьи 1 Федерального закона №436-ФЗ от 29.12.2010
не требуется знак информационной продукции, так как данное издание
классического произведения имеет значительную историческую, художественную
и культурную ценность для общества

Сдано в печать 30.12.2021
Объем 45,5 печ. листа
Тираж 3100 экз.
Заказ № 7550/21

Бумага кремовая книжная дизайнерская
Stora Enso Lux Cream

ООО «СЗКЭО»
Телефон в Санкт-Петербурге: +7 (812) 365-40-44
E-mail: knigi@szko.ru
Интернет-магазин: www.сзкэо.рф

Отпечатано в соответствии с предоставленными материалами
в ООО «ИПК Парето-Принт»,
170546, Тверская область, Промышленная зона Боровлево-1, комплекс № 3А,
www.pareto-print.ru

Аркадий Тимофеевич Аверченко вошел в историю отечественной литературы как блестящий сатирик и редактор знаменитого в начале XX в. журнала «Сатирикон». В то время это издание было одним из главных рупоров социальной сатиры в стране. Работа в нем стала центральной вехой в творческой биографии писателя. Именно в это время формируется его неповторимый искрометный стиль, за который его стали называть «королем смеха». Юмористическими рассказами Аверченко зачитывалась буквально вся Россия.

К окружающему миру и к себе самому Аверченко относился с неизменным юмором. Будущий писатель родился в 1881 г. в Севастополе в многодетной купеческой семье. Мальчик был слаб здоровьем и смог окончить лишь два класса реального училища. Зато он взахлеб читал, погружаясь с детства в мир русской литературы. Аверченко иронично называл себя лоботрясом и бездельником, хотя на самом деле ему пришлось пройти суровую трудовую школу. Он начал работать с пятнадцати лет, успев побывать и писарем, и конторщиком на Брянском руднике Донбасса. Однако даже этот тяжелый период жизни молодой Аверченко смог позже обыграть в своих рассказах. Первая его юмореска была опубликована в 1903 г. Аверченко стал редактором сатирических журналов «Штык» и «Меч». Позже он начал пробовать свои силы в качестве драматурга и театрального критика. Его сатирические очерки, посвященные театральному миру, составили сборник «Записки театральной крысы».

Многие рассказы Аверченко имели острую политическую направленность, за которую на писателя не раз подавали в суд. В 1910 г. вышли первые его книги, после которых Аверченко начинают называть доморощенным Марком Твеном и О. Генри. В 1908 г. писатель перебрался в Петербург, где начал сотрудничать с еженедельным юмористическим журналом «Стрекоза». В 1913 г. Аверченко стал главным редактором журнала «Сатирикон», который создал вместе со своими друзьями и соратниками.

После революции Аверченко был вынужден вернуться в родной Севастополь. В 1920 г. на одном из последних пароходов он покинул Крым. Сатирическое перо Аверченко начало разить новых хозяев страны. В результате в 1921 г. в Париже были опубликованы памфлеты, остро критикующие события, происходившие в то время на его родине. Эти очерки составили знаменитый сборник «Дюжина ножей в спину революции». Не удивительно, что в советской России творчество Аверченко было почти под полным запретом, его произведения начали печатать только в 80-е годы XX в. Писатель скончался в 1925 г. в Праге после скоротечной болезни.

ISBN 978-5-9603-0660-7